Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ



15

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

* * *

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМА I—XVII

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · ЛЕНИНГРАД
1976

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ТОМ ПЯТНАДЦАТЫЙ

БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ

Книги XI—XII. Эпилог

Рукописные редакции

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • ЛЕНИНГРАД
1976

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

Текст подготовили и примечания составили:
А. И. БАТЮТО, В. Е. ВЕТЛОВСКАЯ, А. А. ДОЛИНИН,
Е. И. КИЙКО, Г. В. СТЕПАНОВА,
Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Редактор XV тома Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Д $\frac{70301-516}{042(02)-76}$ Подписное

БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ

Книга одиннадцатая

БРАТ ИВАН ФЕДОРОВИЧ

I

У ГРУШЕНЬКИ

Алеша направился к Соборной площади, в дом купчихи Морозовой, к Грушеньке. Та еще рано утром присылала к нему Феню с настоятельною просьбой зайти к ней. Опросив Феню, Алеша узнал, что барыня в какой-то большой и особливой тревоге еще со вчерашнего дня. Во все эти два месяца после ареста Мити Алеша часто захаживал в дом Морозовой и по собственному побуждению, и по поручениям Мити. Дня три после ареста Мити Грушенька сильно заболела и хворала чуть не пять недель. Одну неделю из этих пяти пролежала без памяти. Она сильно изменилась в лице, похудела и пожелтела, хотя вот уже почти две недели как могла выходить со двора. Но, на взгляд Алеши, лицо ее стало как бы еще привлекательнее, и он любил, входя к ней, встречать ее взгляд. Что-то как бы укрепилось в ее взгляде твердое и осмысленное. Сказывался некоторый переворот духовный, являлась какая-то неизменная, смиренная, но благая и бесповоротная решимость. Между бровями на лбу появилась небольшая вертикальная морщинка, придававшая милому лицу ее вид сосредоточенной в себе задумчивости, почти даже суровой на первый взгляд. Прежней, например, ветрености не осталось и следа. Странно было для Алеши и то, что, несмотря на всё несчастие, постигшее бедную женщину, невесту жениха, арестованного по страшному преступлению, почти в тот самый миг, когда она стала его невестой, несмотря потом на болезнь и на угрожающее впереди почти неминуемое решение суда, Грушенька все-таки не потеряла прежней своей молодой веселости. В гордых прежде глазах ее засияла теперь какая-то тихость, хотя... хотя, впрочем, глаза эти изредка опять-таки пламенели некоторым зловещим огоньком,

когда ее посещала одна прежняя забота, не только не заглохнувшая, но даже и увеличившаяся в ее сердце. Предмет этой заботы был всё тот же: Катерина Ивановна, о которой Грушенька, когда еще лежала больная, поминала даже в бреду. Алеша понимал, что она страшно ревнует к ней Митю, арестанта Митю, несмотря на то, что Катерина Ивановна ни разу не посетила того в заключении, хотя бы и могла это сделать когда угодно. Всё это обратилось для Алеши в некоторую трудную задачу, ибо Грушенька только одному ему доверяла свое сердце и беспрерывно просила у него советов; он же иногда совсем ничего не в силах был ей сказать.

Озабоченно вступил он в ее квартиру. Она была уже дома; с полчаса как воротилась от Мити, и уже по тому быстрому движению, с которым она вскочила с кресел из-за стола к нему навстречу, он заключил, что ждала она его с большим нетерпением. На столе лежали карты и была сдана игра в дурачки. На кожаном диване с другой стороны стола была постлана постель, и на ней полулежал, в халате и в бумажном колпаке, Максимов, видимо больной и ослабевший, хотя и сладко улыбавшийся. Этот бездомный старичок, как воротился тогда, еще месяца два тому, с Грушенькой из Мокрого, так и остался у ней и при ней с тех пор неотлучно. Приехав тогда с ней в дождь и слякоть, он, промокший и испуганный, сел на диван и уставился на нее молча, с робкою просящею улыбкой. Грушенька, бывшая в страшном горе и уже в начинавшейся лихорадке, почти забывшая о нем в первые полчаса по приезде за разными хлопотами,— вдруг как-то пристально посмотрела на него: он жалко и потерянно хихикнул ей в глаза. Она кликнула Феню и велела дать ему покушать. Весь этот день он просидел на своем месте, почти не шелохнувшись; когда же стемнело и заперли ставни, Феня спросила барыню:

— Что ж, барыня, разве они ночевать останутся?

— Да, постели ему на диване,— ответила Грушенька.

Опросив его подробнее, Грушенька узнала от него, что действительно ему как раз теперь некуда деться совсем и что «господин Калганов, благодетель мой, прямо мне заявили-с, что более меня уж не примут, и пять рублей подарили». «Ну, бог с тобой, оставайся уж»,— решила в тоске Грушенька, сострадательно ему улыбнувшись. Старика передернуло от ее улыбки, и губы его задрожали от благодарного плача. Так с тех пор и остался у ней скитающийся приживальщик. Даже в болезни ее он не ушел из дома. Феня и ее мать, кухарка Грушеньки, его не прогнали, а продолжали его кормить и стлать ему постель на диване. Впоследствии Грушенька даже привыкла к нему и, приходя от Мити (к которому, чуть оправившись, тотчас же стала ходить, не уснев даже хорошенько выздороветь), чтоб убить тоску, садилась и начинала разговаривать с «Максимушкой» о всяких пустяках, только чтобы не думать о своем горе. Оказалось, что старичок умел иногда кое-что и порассказать, так что стал ей наконец даже и необходимым. Кроме Алеши, заходившего, однако, не каждый день, и всегда ненадолго,

Грушенька никого почти и не принимала. Старик же ее, купец, лежал в это время уже страшно больной, «отходил», как говорили в городе, и действительно умер всего неделю спустя после суда над Митей. За три недели до смерти, почувствовав близкий финал, он кликнул к себе наконец наверх сыновей своих, с их женами и детьми, и повелел им уже более не отходить от себя. Грушеньку же с этой самой минуты строго заказал слугам не принимать вовсе, а коли придет, то говорить ей: «Приказывает, дескать, вам долго в веселии жить, а их совсем позабыть». Грушенька, однако ж, посылала почти каждый день справляться об его здоровье.

— Наконец-то пришел! — крикнула она, бросив карты и радостно здороваясь с Алешей,— а Максимушка так пугал, что, пожалуй, уж и не придешь. Ах, как тебя нужно! Садись к столу; ну что тебе, кофею?

— А пожалуй,— сказал Алеша, подсаживаясь к столу,— очень проголодался.

— То-то; Феня, Феня, кофею! — крикнула Грушенька.— Он у меня уж давно кипит, тебя ждет, да пирожков принеси, да чтобы горячих. Нет, постой, Алеша, у меня с этими пирогами сегодня гром вышел. Понесла я их к нему в острог, а он, веришь ли, назад мне их бросил, так и не ел. Один пирог так совсем на пол кинул и растоптал. Я и сказала: «Сторожу оставлю; коли не съешь до вечера, значит тебя злость ехидная кормит!» — с тем и ушла. Опять ведь поссорились, веришь тому. Что ни приду, так и поссоримся.

Грушенька проговорила всё это залпом, в волнении. Максимов, тотчас же оробев, улыбался, потупив глазки.

— Этот-то раз за что же поссорились? — спросил Алеша.

— Да уж совсем и не ожидала! Представь себе, к «прежнему» приревновал: «Зачем, дескать, ты его содержишь. Ты его, значит, содержать начала?» Всё ревнует, всё меня ревнует! И спит и ест — ревнует. К Кузьме даже раз на прошлой неделе приревновал.

— Да ведь он же знал про «прежнего»-то?

— Ну вот поди. С самого начала до самого сегодня знал, а сегодня вдруг встал и начал ругать. Срамно только сказать, что говорил. Дурак! Ракитка к нему пришел, как я вышла. Может, Ракитка-то его и уськает, а? Как ты думаешь? — прибавила она как бы рассеянно.

— Любит он тебя, вот что, очень любит. А теперь как раз и раздражен.

— Еще бы не раздражен, завтра судят. И шла с тем, чтоб об завтрашнем ему мое слово сказать, потому, Алеша, страшно мне даже и подумать, что завтра будет! Ты вот говоришь, что он раздражен, да я-то как раздражена! А он об поляке! Экой дурак! Вот к Максимушке небось не ревнует.

— Меня супруга моя очень тоже ревновала-с,— вставил свое словцо Максимов.

— Ну уж тебя-то,— рассмеялась нехотя Грушенька,— к кому тебя и ревновать-то?

— К горничным девушкам-с.

— Э, молчи, Максимушка, не до смеху мне теперь, даже злость берет. На пирожки-то глаз не пяль, не дам, тебе вредно, и бальзамчику тоже не дам. Вот с ним тоже возись; точно у меня дом богадельный, право,— рассмеялась она.

— Я ваших благодеяний не стою-с, я ничтожен-с,— проговорил слезящимся голоском Максимов.— Лучше бы вы расточали благодеяния ваши тем, которые нужнее меня-с.

— Эх, всякий нужен, Максимушка, и по чему узнать, кто кого нужней. Хоть бы и не было этого поляка вовсе, Алеша, тоже ведь разболеться сегодня вздумал. Была и у него. Так вот нарочно же и ему пошлю пирогов, я не посылала, а Митя обвинил, что посылаю, так вот нарочно же теперь пошлю, нарочно! Ах, вот и Феня с письмом! Ну, так и есть, опять от поляков, опять денег просят!

Пан Муссялович действительно прислал чрезвычайно длинное и витиеватое, по своему обыкновению, письмо, в котором просил ссудить его тремя рублями. К письму была приложена расписка в получении с обязательством уплатить в течение трех месяцев; под распиской подписался и пан Врублевский. Таких писем и всё с такими же расписками Грушенька уже много получила от своего «прежнего». Началось это с самого выздоровления Грушеньки, недели две назад. Она знала, однако, что оба пана и во время болезни ее приходили наведываться о ее здоровье. Первое письмо, полученное Грушенькой, было длинное, на почтовом листе большого формата, запечатанное большою фамильною печатью и страшно темное и витиеватое, так что Грушенька прочла только половину и бросила, ровно ничего не поняв. Да и не до писем ей тогда было. За этим первым письмом последовало на другой день второе, в котором пан Муссялович просил ссудить его двумя тысячами рублей на самый короткий срок. Грушенька и это письмо оставила без ответа. Затем последовал уже целый ряд писем, по письму в день, всё так же важных и витиеватых, но в которых сумма, просимая взаймы, постепенно спускаясь, дошла до ста рублей, до двадцати пяти, до десяти рублей, и наконец вдруг Грушенька получила письмо, в котором оба пана просили у ней один только рубль и приложили расписку, на которой оба и подписались. Тогда Грушеньке стало вдруг жалко, и она, в сумерки, сбегала сама к пану. Нашла она обоих поляков в страшной бедности, почти в нищете, без кушанья, без дров, без папирос, задолжавших хозяйке. Двести рублей, выигранные в Мокром у Мити, куда-то быстро исчезли. Удивило, однако же, Грушеньку, что встретили ее оба пана с заносчивою важностью и независимостью, с величайшим этикетом, с раздутыми речами. Грушенька только рассмеялась и дала своему «прежнему» десять рублей. Тогда же, смеясь, рассказала об этом Мите, и тот вовсе не приревновал. Но с тех пор

паны ухватились за Грушеньку и каждый день ее бомбардировали письмами с просьбой о деньгах, а та каждый раз посылала понемножку. И вот вдруг сегодня Митя вздумал жестоко приревновать.

— Я, дура, к нему тоже забежала, всего только на минутку, когда к Мите шла, потому разболелся тоже и он, пан-то мой прежний,— начала опять Грушенька, суетливо и торопясь,— смеюсь я это и рассказываю Мите-то: представь, говорю, поляк-то мой на гитаре прежние песни мне вздумал петь, думает, что я расчувствуюсь и за него пойду. А Митя-то как вскочит с ругательствами... Так вот нет же, пошлю панам пирогов! Феня, что они там девчонку эту прислали? Вот, отдай ей три рубля да с десяток пирожков в бумагу им уверни и вели снести, а ты, Алеша, непременно расскажи Мите, что я им пирогов послала.

— Ни за что не расскажу,— проговорил, улыбнувшись, Алеша.

— Эх, ты думаешь, что он мучается; ведь он это нарочно приревновал, а ему самому всё равно,— горько проговорила Грушенька.

— Как так нарочно? — спросил Алеша.

— Глупый ты, Алешенька, вот что, ничего ты тут не понимаешь при всем уме, вот что. Мне не то обидно, что он меня, такую, приревновал, а то стало бы мне обидно, коли бы вовсе не ревновал. Я такова. Я за ревность не обижусь, у меня у самой сердце жестокое, я сама приревную. Только мне то обидно, что он меня вовсе не любит и теперь *нарочно* приревновал, вот что. Слепая я, что ли, не вижу? Он мне об той, об Катьке, вдруг сейчас и говорит: такая-де она и сякая, доктора из Москвы на суд для меня выписала, чтобы спасти меня выписала, адвоката самого первого, самого ученого тоже выписала. Значит, ее любит, коли мне в глаза начал хвалить, бесстыжие его глаза! Предо мной сам виноват, так вот ко мне и привязался, чтобы меня прежде себя виноватой сделать да на меня на одну и свалить: «ты, дескать, прежде меня с поляком была, так вот мне с Катькой и позволительно это стало». Вот оно что! На меня на одну всю вину свалить хочет. Нарочно он привязался, нарочно, говорю тебе, только я...

Грушенька не договорила, что она сделает, закрыла глаза платком и ужасно разрыдалась.

— Он Катерину Ивановну не любит, — сказал твердо Алеша.

— Ну, любит не любит, это я сама скоро узнаю,— с грозною ноткой в голосе проговорила Грушенька, отнимая от глаз платок. Лицо ее исказилось. Алеша с горестью увидел, как вдруг из кроткого и тихо-веселого лицо ее стало угрюмым и злым.

— Об этих глупостях полно! — отрезала она вдруг,— не затем вовсе я и звала тебя. Алеша, голубчик, завтра-то, завтра-то что будет? Вот ведь что меня мучит! Одну только меня и мучит! Смотрю на всех, никто-то об том не думает, никому-то до этого и дела нет никакого. Думаешь ли хоть ты об этом? Завтра ведь судят! Расскажи ты мне, как его там будут судить? Ведь это лакей, лакей

убил, лакей! Господи! Неужто ж его за лакея осудят, и никто-то за него не заступится? Ведь и не потревожили лакея-то вовсе, а?

— Его строго опрашивали,— заметил Алеша задумчиво, — но все заключили, что не он. Теперь он очень больной лежит. С тех пор болен, с той падучей. В самом деле болен,— прибавил Алеша.

— Господи, да сходил бы ты к этому адвокату сам и рассказал бы дело с глазу на глаз. Ведь из Петербурга за три тысячи, говорят, выписали.

— Это мы втроем дали три тысячи, я, брат Иван и Катерина Ивановна, а доктора из Москвы выписала за две тысячи уж она сама. Адвокат Фетюкович больше бы взял, да дело это получило огласку по всей России, во всех газетах и журналах о нем говорят, Фетюкович и согласился больше для славы приехать, потому что слишком уж знаменитое дело стало. Я его вчера видел.

— Ну и что ж? Говорил ему? — вскинулась торопливо Грушенька.

— Он выслушал и ничего не сказал. Сказал, что у него уже составилось определенное мнение. Но обещал мои слова взять в соображение.

— Как это в соображение! Ах они мошенники! Погубят они его! Ну, а доктора-то, доктора зачем та выписала?

— Как эксперта. Хотят вывести, что брат сумасшедший и убил в помешательстве, себя не помня,— тихо улыбнулся Алеша,— только брат не согласится на это.

— Ах, да ведь это правда, если б он убил! — воскликнула Грушенька.— Помешанный он был тогда, совсем помешанный, и это я, я, подлая, в том виновата! Только ведь он же не убил, не убил! И все-то на него, что он убил, весь город. Даже Феня и та так показала, что выходит, будто он убил. А в лавке-то, а этот чиновник, а прежде в трактире слышали! Все, все против него, так и галдят.

— Да, показания ужасно умножились,— угрюмо заметил Алеша.

— А Григорий-то, Григорий-то Васильич, ведь стоит на своем, что дверь была отперта, ломит на своем, что видел, не собьешь его, я к нему бегала, сама с ним говорила. Ругается еще!

— Да, это, может быть, самое сильное показание против брата,— проговорил Алеша.

— А про то, что Митя помешанный, так он и теперь точно таков, — с каким-то особенно озабоченным и таинственным видом начала вдруг Грушенька.— Знаешь, Алешенька, давно я хотела тебе про это сказать: хожу к нему каждый день и просто дивлюсь. Скажи ты мне, как ты думаешь: об чем это он теперь начал всё говорить? Заговорит, заговорит — ничего понимать не могу, думаю, это он об чем умном, ну я глупая, не понять мне, думаю; только стал он мне вдруг говорить про дитё, то есть про дитятю какого-то, «зачем, дескать, бедно дитё?» «За дитё-то это я теперь и в Сибирь пойду, я не убил, но мне надо в Сибирь пойти!» Что это

такое, какое такое дитё — ничегошеньки не поняла. Только расплакалась, как он говорил, потому очень уж он хорошо это говорил, сам плачет, и я заплакала, он меня вдруг и поцеловал и рукой перекрестил. Что это такое, Алеша, расскажи ты мне, какое это «дитё»?

— Это к нему Ракитин почему-то повадился ходить, — улыбнулся Алеша,— впрочем... это не от Ракитина. Я у него вчера не был, сегодня буду.

— Нет, это не Ракитка, это его брат Иван Федорович смущает, это он к нему ходит, вот что...— проговорила Грушенька и вдруг как бы осеклась. Алеша уставился на нее как пораженный.

— Как ходит? Да разве он ходил к нему? Митя мне сам говорил, что Иван ни разу не приходил.

— Ну... ну, вот я какая! Проболталась! — воскликнула Грушенька в смущении, вся вдруг зарумянившись.— Стой, Алеша, молчи, так и быть, коль уж проболталась, всю правду скажу: он у него два раза был, первый раз только что он тогда приехал — тогда же ведь он сейчас из Москвы и прискакал, я еще и слечь не успела, а другой раз приходил неделю назад. Мите-то он не велел об том тебе сказывать, отнюдь не велел, да и никому не велел сказывать, потаенно приходил.

Алеша сидел в глубокой задумчивости и что-то соображал. Известие видимо его поразило.

— Брат Иван об Митином деле со мной не говорит,— проговорил он медленно,— да и вообще со мною он во все эти два месяца очень мало говорил, а когда я приходил к нему, то всегда бывал недоволен, что я пришел, так что я три недели к нему уже не хожу. Гм... Если он был неделю назад, то... за эту неделю в Мите действительно произошла какая-то перемена...

— Перемена, перемена! — быстро подхватила Грушенька.— У них секрет, у них был секрет! Митя мне сам сказал, что секрет, и, знаешь, такой секрет, что Митя и успокоиться не может. А ведь прежде был веселый, да он и теперь веселый, только, знаешь, когда начнет этак головой мотать, да по комнате шагать, а вот этим правым пальцем себе тут на виске волосы теребить, то уж я и знаю, что у него что-то беспокойное на душе... я уж знаю!.. А то был веселый; да и сегодня веселый!

— А ты сказала: раздражен?

— Да он и раздражен, да веселый. Он и всё раздражен, да на минутку, а там веселый, а потом вдруг опять раздражен. И знаешь, Алеша, всё я на него дивлюсь: впереди такой страх, а он даже иной раз таким пустякам хохочет, точно сам-то дитя.

— И это правда, что он мне не велел говорить про Ивана? Так и сказал: не говори?

— Так и сказал: не говори. Тебя-то он, главное, и боится, Митя-то. Потому тут секрет, сам сказал, что секрет... Алеша, голубчик, сходи, выведай: какой это такой у них секрет, да и приди мне сказать,— вскинулась и взмолилась вдруг Грушенька,—

пореши ты меня, бедную, чтоб уж знала я мою участь проклятую! С тем и звала тебя.

— Ты думаешь, что это про тебя что-нибудь? Так ведь тогда бы он не сказал при тебе про секрет.

— Не знаю. Может, мне-то он и хочет сказать, да не смеет. Предупреждает. Секрет, дескать, есть, а какой секрет — не сказал.

— Ты сама-то что же думаешь?

— А что думаю? Конец мне пришел, вот что думаю. Конец мне они все трое приготовили, потому что тут Катька. Всё это Катька, от нее и идет. «Такая она и сякая», значит, это я не такая. Это он вперед говорит, вперед меня предупреждает. Бросить он меня замыслил, вот и весь тут секрет! Втроем это и придумали — Митька, Катька да Иван Федорович. Алеша, хотела я тебя спросить давно: неделю назад он мне вдруг и открывает, что Иван влюблен в Катьку, потому что часто к той ходит. Правду он это мне сказал или нет? Говори по совести, режь меня.

— Я тебе не солгу. Иван в Катерину Ивановну не влюблен, так я думаю.

— Ну, так и я тогда же подумала! Лжет он мне, бесстыжий, вот что! И приревновал он теперь меня, чтобы потом на меня свалить. Ведь он дурак, ведь он не умеет концов хоронить, откровенный он ведь такой... Только я ж ему, я ж ему! «Ты, говорит, веришь, что я убил», — это мне-то он говорит, мне-то, это меня-то он тем попрекнул! Бог с ним! Ну постой, плохо этой Катьке будет от меня на суде! Я там одно такое словечко скажу... Я там уж всё скажу!

И опять она горько заплакала.

— Вот что я тебе могу твердо объявить, Грушенька,— сказал, вставая с места, Алеша,— первое то, что он тебя любит, любит более всех на свете, и одну тебя, в этом ты мне верь. Я знаю. Уж я знаю. Второе то скажу тебе, что я секрета выпытывать от него не хочу, а если сам мне скажет сегодня, то прямо скажу ему, что тебе обещался сказать. Тогда приду к тебе сегодня же и скажу. Только... кажется мне... нет тут Катерины Ивановны и в помине, а это про другое про что-нибудь этот секрет. И это наверно так. И не похоже совсем, чтобы про Катерину Ивановну, так мне сдается. А пока прощай!

Алеша пожал ей руку. Грушенька всё еще плакала. Он видел, что она его утешениям очень мало поверила, но и то уж было ей хорошо, что хоть горе сорвала, высказалась. Жалко ему было оставлять ее в таком состоянии, но он спешил. Предстояло ему еще много дела.

II

БОЛЬНАЯ НОЖКА

Первое из этих дел было в доме госпожи Хохлаковой, и он поспешил туда, чтобы покончить там поскорее и не опоздать к Мите. Госпожа Хохлакова уже три недели как прихварывала:

у ней отчего-то вспухла нога, и она хоть не лежала в постели, но всё равно, днем, в привлекательном, но пристойном дезабилье полулежала у себя в будуаре на кушетке. Алеша как-то раз заметил про себя с невинною усмешкой, что госпожа Хохлакова, несмотря на болезнь свою, стала почти щеголять: явились какие-то наколочки, бантики, распашоночки, и он смекал, почему это так, хотя и гнал эти мысли как праздные. В последние два месяца госпожу Хохлакову стал посещать, между прочими ее гостями, молодой человек Перхотин. Алеша не заходил уже дня четыре и, войдя в дом, поспешил было прямо пройти к Лизе, ибо у ней и было его дело, так как Лиза еще вчера прислала к нему девушку с настоятельною просьбой немедленно к ней прийти «по очень важному обстоятельству», что, по некоторым причинам, заинтересовало Алешу. Но пока девушка ходила к Лизе докладывать, госпожа Хохлакова уже узнала от кого-то о его прибытии и немедленно прислала попросить его к себе «на одну только минутку». Алеша рассудил, что лучше уж удовлетворить сперва просьбу мамаши, ибо та будет поминутно посылать к Лизе, пока он будет у той сидеть. Госпожа Хохлакова лежала на кушетке, как-то особенно празднично одетая и видимо в чрезвычайном нервическом возбуждении. Алешу встретила криками восторга.

— Века, века, целые века не видала вас! Целую неделю, помилуйте, ах, впрочем вы были всего четыре дня назад, в среду. Вы к Lise, я уверена, что вы хотели пройти к ней прямо на цыпочках, чтоб я не слыхала. Милый, милый Алексей Федорович, если б вы знали, как она меня беспокоит! Но это потом. Это хоть и самое главное, но это потом. Милый Алексей Федорович, я вам доверяю мою Лизу вполне. После смерти старца Зосимы — упокой господи его душу! (Она перекрестилась.), — после него я смотрю на вас как на схимника, хотя вы и премило носите ваш новый костюм. Где это вы достали здесь такого портного? Но нет, нет, это не главное, это потом. Простите, что я вас называю иногда Алешей, я старуха, мне всё позволено,— кокетливо улыбнулась она,— но это тоже потом. Главное, мне бы не забыть про главное. Пожалуйста, напомните мне сами, чуть я заговорюсь, а вы скажите: «А главное?» Ах, почему я знаю, что теперь главное! С тех пор как Lise взяла у вас назад свое обещание, — свое детское обещание, Алексей Федорович, — выйти за вас замуж, то вы, конечно, поняли, что всё это была лишь детская игривая фантазия больной девочки, долго просидевшей в креслах, — слава богу, она теперь уже ходит. Этот новый доктор, которого Катя выписала из Москвы для этого несчастного вашего брата, которого завтра... Ну что об завтрашнем! Я умираю от одной мысли об завтрашнем! Главное же, от любопытства... Одним словом, этот доктор вчера был у нас и видел Lise... Я ему пятьдесят рублей за визит заплатила. Но это всё не то, опять не то... Видите, я уж совсем теперь сбилась. Я тороплюсь. Почему я тороплюсь? Я не знаю. Я ужасно перестаю теперь знать. Для меня всё смешалось в какой-

то комок. Я боюсь, что вы возьмете и выпрыгнете от меня от скуки, и я вас только и видела. Ах, боже мой! Что же мы сидим, и во-первых — кофе, Юлия, Глафира, кофе!

Алеша поспешно поблагодарил и объявил, что он сейчас только пил кофе.

— У кого?

— У Аграфены Александровны.

— Это... это у этой женщины! Ах, это она всех погубила, а впрочем, я не знаю, говорят, она стала святая, хотя и поздно. Лучше бы прежде, когда надо было, а теперь что ж, какая же польза? Молчите, молчите, Алексей Федорович, потому что я столько хочу сказать, что, кажется, так ничего и не скажу. Этот ужасный процесс... я непременно поеду, я готовлюсь, меня внесут в креслах, и притом я могу сидеть, со мной будут люди, и вы знаете ведь, я в свидетелях. Как я буду говорить, как я буду говорить! Я не знаю, что я буду говорить. Надо ведь присягу принять, ведь так, так?

— Так, но не думаю, чтобы вам можно было явиться.

— Я могу сидеть; ах, вы меня сбиваете! Этот процесс, этот дикий поступок, и потом все идут в Сибирь, другие женятся, и всё это быстро, быстро, и всё меняется, и, наконец, ничего, все старики и в гроб смотрят. Ну и пусть, я устала. Эта Катя — cette charmante personne, [1] она разбила все мои надежды: теперь она пойдет за одним вашим братом в Сибирь, а другой ваш брат поедет за ней и будет жить в соседнем городе, и все будут мучить друг друга. Меня это с ума сводит, а главное, эта огласка: во всех газетах в Петербурге и в Москве миллион раз писали. Ах да, представьте себе, и про меня написали, что я была «милым другом» вашего брата, я не хочу проговорить гадкое слово, представьте себе, ну представьте себе!

— Этого быть не может! Где же и как написали?

— Сейчас покажу. Вчера получила — вчера и прочла. Вот здесь в газете «Слухи», в петербургской. Эти «Слухи» стали издаваться с нынешнего года, я ужасно люблю слухи, и подписалась, и вот себе на голову: вот они какие оказались слухи. Вот здесь, вот в этом месте, читайте.

И она протянула Алеше газетный листок, лежавший у ней под подушкой.

Она не то что была расстроена, она была как-то вся разбита, и действительно, может быть, у ней всё в голове свернулось в комок. Газетное известие было весьма характерное и, конечно, должно было на нее очень щекотливо подействовать, но она, к своему счастью может быть, не способна была в сию минуту сосредоточиться на одном пункте, а потому чрез минуту могла забыть даже и о газете и перескочить совсем на другое. Про то же, что повсеместно по всей России уже прошла слава об ужасном

---

[1] эта очаровательная особа *(франц.)*.

процессе, Алеша знал давно, и, боже, какие дикие известия и корреспонденции успел он прочесть за эти два месяца среди других, верных, известий о своем брате, о Карамазовых вообще и даже о себе самом. В одной газете даже сказано было, что он от страху после преступления брата посхимился и затворился; в другой это опровергали и писали, напротив, что он вместе со старцем своим Зосимой взломали монастырский ящик и «утекли из монастыря». Теперешнее же известие в газете «Слухи» озаглавлено было: «Из Скотопригоньевска (увы, так называется наш городок, я долго скрывал его имя), к процессу Карамазова». Оно было коротенькое, и о госпоже Хохлаковой прямо ничего не упоминалось, да и вообще все имена были скрыты. Извещалось лишь, что преступник, которого с таким треском собираются теперь судить, отставной армейский капитан, нахального пошиба, лентяй и крепостник, то и дело занимался амурами и особенно влиял на некоторых «скучающих в одиночестве дам». Одна-де такая дама из «скучающих вдовиц», молодящаяся, хотя уже имеющая взрослую дочь, до того им прельстилась, что всего только за два часа до преступления предлагала ему три тысячи рублей с тем, чтоб он тотчас же бежал с нею на золотые прииски. Но злодей предпочел-де лучше убить отца и ограбить его именно на три же тысячи, рассчитывая сделать это безнаказанно, чем тащиться в Сибирь с сорокалетними прелестями своей скучающей дамы. Игривая корреспонденция эта, как и следует, заканчивалась благородным негодованием насчет безнравственности отцеубийства и бывшего крепостного права. Прочтя с любопытством, Алеша свернул листок и передал его обратно госпоже Хохлаковой.

— Ну как же не я? — залепетала она опять, — ведь это я, я почти за час предлагала ему золотые прииски, и вдруг «сорокалетние прелести»! Да разве я затем? Это он нарочно! Прости ему вечный судья за сорокалетние прелести, как и я прощаю, но ведь это... ведь это знаете кто? Это ваш друг Ракитин.

— Может быть, — сказал Алеша, — хотя я ничего не слыхал.

— Он, он, а не «может быть»! Ведь я его выгнала... Ведь вы знаете всю эту историю?

— Я знаю, что вы его пригласили не посещать вас впредь, но за что именно — этого я... от вас по крайней мере, не слыхал.

— А стало быть, от него слышали! Что ж он, бранит меня, очень бранит?

— Да, он бранит, но ведь он всех бранит. Но за что вы ему отказали — я и от него не слыхал. Да и вообще я очень редко с ним встречаюсь. Мы не друзья.

— Ну, так я вам это всё открою и, нечего делать, покаюсь, потому что тут есть одна черта, в которой я, может быть, сама виновата. Только маленькая, маленькая черточка, самая маленькая, так что, может быть, ее и нет вовсе. Видите, голубчик мой,— госпожа Хохлакова вдруг приняла какой-то игривый вид, и на устах ее замелькала милая, хотя и загадочная улыбочка,—

видите, я подозреваю... вы меня простите, Алеша, я вам как мать... о нет, нет, напротив, я к вам теперь как к моему отцу... потому что мать тут совсем не идет... Ну, всё равно как к старцу Зосиме на исповеди, и это самое верное, это очень подходит: назвала же я вас давеча схимником, — ну так вот этот бедный молодой человек, ваш друг Ракитин (о боже, я просто на него не могу сердиться! Я сержусь и злюсь, но не очень), одним словом, этот легкомысленный молодой человек вдруг, представьте себе, кажется, вздумал в меня влюбиться. Я это потом, потом только вдруг приметила, но вначале, то есть с месяц назад, он стал бывать у меня чаще, почти каждый день, хотя и прежде мы были знакомы. Я ничего не знаю... и вот вдруг меня как бы озарило, и я начинаю, к удивлению, примечать. Вы знаете, я уже два месяца тому назад начала принимать этого скромного, милого и достойного молодого человека, Петра Ильича Перхотина, который здесь служит. Вы столько раз его встречали сами. И не правда ли, он достойный, серьезный. Приходит он в три дня раз, а не каждый день (хотя пусть бы и каждый день), и всегда так хорошо одет, и вообще я люблю молодежь, Алеша, талантливую, скромную, вот как вы, а у него почти государственный ум, он так мило говорит, и я непременно, непременно буду просить за него. Это будущий дипломат. Он в тот ужасный день меня почти от смерти спас, придя ко мне ночью. Ну, а ваш друг Ракитин приходит всегда в таких сапогах и протянет их по ковру... одним словом, он начал мне даже что-то намекать, а вдруг один раз, уходя, пожал мне ужасно крепко руку. Только что он мне пожал руку, как вдруг у меня разболелась нога. Он и прежде встречал у меня Петра Ильича и, верите ли, всё шпыняет его, всё шпыняет, так и мычит на него за что-то. Я только смотрю на них обоих, как они сойдутся, а внутри смеюсь. Вот вдруг я сижу одна, то есть нет, я тогда уж лежала, вдруг я лежу одна, Михаил Иванович и приходит и, представьте, приносит свои стишки, самые коротенькие, на мою больную ногу, то есть описал в стихах мою больную ногу. Постойте, как это:

Эта ножка, эта ножка
Разболелася немножко... —

или как там, — вот никак не могу стихов запомнить, — у меня тут лежат, — ну я вам потом покажу, только прелесть, прелесть, и, знаете, не об одной только ножке, а и нравоучительное, с прелестною идеей, только я ее забыла, одним словом, прямо в альбом. Ну, я, разумеется, поблагодарила, и он был видимо польщен. Не успела поблагодарить, как вдруг входит и Петр Ильич, а Михаил Иванович вдруг насупился как ночь. Я уж вижу, что Петр Ильич ему в чем-то помешал, потому что Михаил Иванович непременно что-то хотел сказать сейчас после стихов, я уж предчувствовала, а Петр Ильич и вошел. Я вдруг Петру Ильичу стихи и показываю, да и не говорю, кто сочинил. Но я уверена, я уверена, что он сейчас догадался, хотя и до сих пор не признается, а гово-

рит, что не догадался; но это он нарочно. Петр Ильич тотчас захохотал и начал критиковать: дрянные, говорит, стишонки, какой-нибудь семинарист написал, — да, знаете, с таким азартом, с таким азартом! Тут ваш друг, вместо того чтобы рассмеяться, вдруг совсем и взбесился... Господи, я думала, они подерутся: «Это я, говорит, написал. Я, говорит, написал в шутку, потому что считаю за низость писать стихи... Только стихи мои хороши. Вашему Пушкину за женские ножки монумент хотят ставить, а у меня с направлением, а вы сами, говорит, крепостник; вы, говорит, никакой гуманности не имеете, вы никаких теперешних просвещенных чувств не чувствуете, вас не коснулось развитие, вы, говорит, чиновник и взятки берете!» Тут уж я начала кричать и молить их. А Петр Ильич, вы знаете, такой не робкий, и вдруг принял самый благородный тон: смотрит на него насмешливо, слушает и извиняется: «Я, говорит, не знал. Если б я знал, я бы не сказал, я бы, говорит, похвалил... Поэты, говорит, все так раздражительны...» Одним словом, такие насмешки под видом самого благородного тона. Это он мне сам потом объяснил, что это всё были насмешки, а я думала, он и в самом деле. Только вдруг я лежу, как вот теперь пред вами, и думаю: будет или не будет благородно, если я Михаила Ивановича вдруг прогоню за то, что неприлично кричит у меня в доме на моего гостя? И вот верите ли: лежу, закрыла глаза и думаю: будет или не будет благородно, и не могу решить, и мучаюсь, мучаюсь, и сердце бьется: крикнуть аль не крикнуть? Один голос говорит: кричи, а другой говорит: нет, не кричи! Только что этот другой голос сказал, я вдруг и закричала и вдруг упала в обморок. Ну, тут, разумеется, шум. Я вдруг встаю и говорю Михаилу Ивановичу: мне горько вам объявить, но я не желаю вас более принимать в моем доме. Так и выгнала. Ах, Алексей Федорович! Я сама знаю, что скверно сделала, я всё лгала, я вовсе на него не сердилась, но мне вдруг, главное вдруг, показалось, что это будет так хорошо, эта сцена... Только верите ли, эта сцена все-таки была натуральна, потому что я даже расплакалась и несколько дней потом плакала, а потом вдруг после обеда всё и позабыла. Вот он и перестал ходить уже две недели, я и думаю: да неужто ж он совсем не придет? Это еще вчера, а вдруг к вечеру приходят эти «Слухи». Прочла и ахнула, ну кто же написал, это он написал, пришел тогда домой, сел — и написал; послал — и напечатали. Ведь это две недели как было. Только, Алеша, ужас я что говорю, а вовсе не говорю, об чем надо? Ах, само говорится!

— Мне сегодня ужасно как нужно поспеть вовремя к брату,— пролепетал было Алеша.

— Именно, именно! Вы мне всё напомнили! Послушайте, что такое аффект?

— Какой аффект? — удивился Алеша.

— Судебный аффект. Такой аффект, за который всё прощают. Что бы вы ни сделали — вас сейчас простят.

— Да вы про что это?

— А вот про что: эта Катя... Ах, это милое, милое существо, только я никак не знаю, в кого она влюблена. Недавно сидела у меня, и я ничего не могла выпытать. Тем более что сама начинает со мною теперь так поверхностно, одним словом, всё об моем здоровье и ничего больше, и даже такой тон принимает, а я и сказала себе: ну и пусть, ну и бог с вами... Ах да, ну так вот этот аффект: этот доктор и приехал. Вы знаете, что приехал доктор? Ну как вам не знать, который узнает сумасшедших, вы же и выписали, то есть не вы, а Катя. Всё Катя! Ну так видите: сидит человек совсем не сумасшедший, только вдруг у него аффект. Он и помнит себя и знает, что делает, а между тем он в аффекте. Ну так вот и с Дмитрием Федоровичем, наверно, был аффект. Это как новые суды открыли, так сейчас и узнали про аффект. Это благодеяние новых судов. Доктор этот был и расспрашивает меня про тот вечер, ну про золотые прииски: каков, дескать, он тогда был? Как же не в аффекте — пришел и кричит: денег, денег, три тысячи, давайте три тысячи, а потом пошел и вдруг убил. Не хочу, говорит, не хочу убивать, и вдруг убил. Вот за это-то самое его и простят, что противился, а убил.

— Да ведь он же не убил,— немного резко прервал Алеша. Беспокойство и нетерпение одолевали его всё больше и больше.

— Знаю, это убил тот старик Григорий...

— Как Григорий? — вскричал Алеша.

— Он, он, это Григорий. Дмитрий Федорович как ударил его, так он лежал, а потом встал, видит, дверь отворена, пошел и убил Федора Павловича.

— Да зачем, зачем?

— А получил аффект. Как Дмитрий Федорович ударил его по голове, он очнулся и получил аффект, пошел и убил. А что он говорит сам, что не убил, так этого он, может, и не помнит. Только видите ли: лучше, гораздо лучше будет, если Дмитрий Федорович убил. Да это так и было, хоть я и говорю, что Григорий, но это наверно Дмитрий Федорович, и это гораздо, гораздо лучше! Ах, не потому лучше, что сын отца убил, я не хвалю, дети, напротив, должны почитать родителей, а только все-таки лучше, если это он, потому что вам тогда и плакать нечего, так как он убил, себя не помня или, лучше сказать, всё помня, но не зная, как это с ним сделалось. Нет, пусть они его простят; это так гуманно, и чтобы видели благодеяние новых судов, а я-то и не знала, а говорят, это уже давно, и как я вчера узнала, то меня это так поразило, что я тотчас же хотела за вами послать; и потом, коли его простят, то прямо его из суда ко мне обедать, а я созову знакомых, и мы выпьем за новые суды. Я не думаю, чтоб он был опасен, притом я позову очень много гостей, так что его можно всегда вывести, если он что-нибудь, а потом он может где-нибудь в другом городе быть мировым судьей или чем-нибудь, потому что те, которые сами перенесли несчастие, всех лучше судят. А главное, кто

ж теперь не в аффекте, вы, я — все в аффекте, и сколько примеров: сидит человек, поет романс, вдруг ему что-нибудь не понравилось, взял пистолет и убил кого попало, а затем ему все прощают. Я это недавно читала, и все доктора подтвердили. Доктора теперь подтверждают, всё подтверждают. Помилуйте, у меня Lise в аффекте, я еще вчера от нее плакала, третьего дня плакала, а сегодня и догадалась, что это у ней просто аффект. Ох, Lise меня так огорчает! Я думаю, она совсем помешалась. Зачем она вас позвала? Она вас позвала, или вы сами к ней пришли?

— Да, она звала, и я пойду сейчас к ней,— встал было решительно Алеша.

— Ах, милый, милый Алексей Федорович, тут-то, может быть, и самое главное,— вскрикнула госпожа Хохлакова, вдруг заплакав.— Бог видит, что я вам искренно доверяю Lise, и это ничего, что она вас тайком от матери позвала. Но Ивану Федоровичу, вашему брату, простите меня, я не могу доверить дочь мою с такою легкостью, хотя и продолжаю считать его за самого рыцарского молодого человека. А представьте, он вдруг и был у Lise, а я этого ничего и не знала.

— Как? Что? Когда? — ужасно удивился Алеша. Он уж не садился и слушал стоя.

— Я вам расскажу, я для этого-то, может быть, вас и позвала, потому что я уж и не знаю, для чего вас позвала. Вот что: Иван Федорович был у меня всего два раза по возвращении своем из Москвы, первый раз пришел как знакомый сделать визит, а в другой раз, это уже недавно, Катя у меня сидела, он и зашел, узнав, что она у меня. Я, разумеется, и не претендовала на его частые визиты, зная, сколько у него теперь и без того хлопот, — vous comprenez, cette affaire et la mort terrible de votre papa, [1]— только вдруг узнаю, что он был опять, только не у меня, а у Lise, это уже дней шесть тому, пришел, просидел пять минут и ушел. А узнала я про это целых три дня спустя от Глафиры, так что это меня вдруг фрапировало. Тотчас призываю Lise, а она смеется: он, дескать, думал, что вы спите, и зашел ко мне спросить о вашем здоровье. Конечно, оно так и было. Только Lise, Lise, о боже, как она меня огорчает! Вообразите, вдруг с ней в одну ночь — это четыре дня тому, сейчас после того, как вы в последний раз были и ушли,— вдруг с ней ночью припадок, крик, визг, истерика! Отчего у меня никогда не бывает истерики? Затем на другой день припадок, а потом и на третий день, и вчера, и вот вчера этот аффект. А она мне вдруг кричит: «Я ненавижу Ивана Федоровича, я требую, чтобы вы его не принимали, чтобы вы ему отказали от дома!» Я обомлела при такой неожиданности и возражаю ей: с какой же стати буду я отказывать такому достойному молодому человеку и притом с такими познаниями и с таким несчастьем, потому что все-таки все эти истории — ведь это несчастье, а не

[1] вы понимаете, это дело и ужасная смерть вашего отца *(франц.)*.

счастие, не правда ли? Она вдруг расхохоталась над моими словами и так, знаете, оскорбительно. Ну я рада, думаю, что рассмешила ее, и припадки теперь пройдут, тем более что я сама хотела отказать Ивану Федоровичу за странные визиты без моего согласия и потребовать объяснения. Только вдруг сегодня утром Лиза проснулась и рассердилась на Юлию и, представьте, ударила ее рукой по лицу. Но ведь это монструозно, я с моими девушками на *вы*. И вдруг чрез час она обнимает и целует у Юлии ноги. Ко мне же прислала сказать, что не придет ко мне вовсе и впредь никогда не хочет ходить, а когда я сама к ней потащилась, то бросилась меня целовать и плакать и, целуя, так и выпихнула вон, ни слова не говоря, так что я так ничего и не узнала. Теперь, милый Алексей Федорович, на вас все мои надежды, и, конечно, судьба всей моей жизни в ваших руках. Я вас просто прошу пойти к Lise, разузнать у ней всё, как вы только один умеете это сделать, и прийти рассказать мне, — мне, матери, потому что, вы понимаете, я умру, я просто умру, если всё это будет продолжаться, или убегу из дома. Я больше не могу, у меня есть терпение, но я могу его лишиться, и тогда... и тогда будут ужасы. Ах, боже мой, наконец-то Петр Ильич! — вскрикнула, вся вдруг просияв, госпожа Хохлакова, завидя входящего Петра Ильича Перхотина.— Опоздали, опоздали! Ну что, садитесь, говорите, решайте судьбу, ну что ж этот адвокат? Куда же вы, Алексей Федорович?

— Я к Lise.

— Ах, да! Так вы не забудете, не забудете, о чем я вас просила? Тут судьба, судьба!

— Конечно, не забуду, если только можно... но я так опоздал, — пробормотал, поскорее ретируясь, Алеша.

— Нет, наверно, наверно заходите, а не «если можно», иначе я умру! — прокричала вслед ему госпожа Хохлакова, но Алеша уже вышел из комнаты.

III

БЕСЕНОК

Войдя к Лизе, он застал ее полулежащею в ее прежнем кресле, в котором ее возили, когда она еще не могла ходить. Она не тронулась к нему навстречу, но зоркий, острый ее взгляд так и впился в него. Взгляд был несколько воспаленный, лицо бледно-желтое. Алеша изумился тому, как она изменилась в три дня, даже похудела. Она не протянула ему руки. Он сам притронулся к ее тонким, длинным пальчикам, неподвижно лежавшим на ее платье, затем молча сел против нее.

— Я знаю, что вы спешите в острог, — резко проговорила Лиза, — а вас два часа задержала мама, сейчас вам про меня и про Юлию рассказала.

— Почему вы узнали? — спросил Алеша.

— Я подслушивала. Чего вы на меня уставились? Хочу подслушивать и подслушиваю, ничего тут нет дурного. Прощенья не прошу.

— Вы чем-то расстроены?

— Напротив, очень рада. Только что сейчас рассуждала опять, в тридцатый раз: как хорошо, что я вам отказала и не буду вашей женой. Вы в мужья не годитесь: я за вас выйду, и вдруг дам вам записку, чтобы снести тому, которого полюблю после вас, вы возьмете и непременно отнесете, да еще ответ принесете. И сорок лет вам придет, и вы всё так же будете мои такие записки носить.

Она вдруг засмеялась.

— В вас что-то злобное и в то же время что-то простодушное,— улыбнулся ей Алеша.

— Простодушное это то, что я вас не стыжусь. Мало того, что не стыжусь, да и не хочу стыдиться, именно пред вами, именно вас. Алеша, почему я вас не уважаю? Я вас очень люблю, но я вас не уважаю. Если б уважала, ведь не говорила бы не стыдясь, ведь так?

— Так.

— А верите вы, что я вас не стыжусь?

— Нет, не верю.

Лиза опять нервно засмеялась; говорила она скоро, быстро.

— Я вашему брату Дмитрию Федоровичу конфет в острог послала. Алеша, знаете, какой вы хорошенький! Я вас ужасно буду любить за то, что вы так скоро позволили мне вас не любить.

— Вы для чего меня сегодня звали, Lise?

— Мне хотелось вам сообщить одно мое желание. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь истерзал, женился на мне, а потом истерзал, обманул, ушел и уехал. Я не хочу быть счастливою!

— Полюбили беспорядок?

— Ах, я хочу беспорядка. Я всё хочу зажечь дом. Я воображаю, как это я подойду и зажгу потихоньку, непременно чтобы потихоньку. Они-то тушат, а он-то горит. А я знаю, да молчу. Ах, глупости! И как скучно!

Она с отвращением махнула ручкой.

— Богато живете, — тихо проговорил Алеша.

— Лучше, что ль, бедной-то быть?

— Лучше.

— Это вам ваш монах покойный наговорил. Это неправда. Пусть я богата, а все бедные, я буду конфеты есть и сливки пить, а тем никому не дам. Ах, не говорите, не говорите ничего,— замахала она ручкой, хотя Алеша и рта не открывал,— вы мне уж прежде всё это говорили, я всё наизусть знаю. Скучно. Если я буду бедная, я кого-нибудь убью,— да и богата если буду, может быть, убью,— что сидеть-то! А знаете, я хочу жать, рожь жать. Я за вас выйду, а вы станьте мужиком, настоящим мужиком, у нас жеребеночек, хотите? Вы Калганова знаете?

— Знаю.

— Он всё ходит и мечтает. Он говорит: зачем взаправду жить, лучше мечтать. Намечтать можно самое веселое, а жить скука. А ведь сам скоро женится, он уж и мне объяснялся в любви. Вы умеете кубари спускать?

— Умею.

— Вот это он, как кубарь: завертеть его и спустить и стегать, стегать, стегать кнутиком: выйду за него замуж, всю жизнь буду спускать. Вам не стыдно со мной сидеть?

— Нет.

— Вы ужасно сердитесь, что я не про святое говорю. Я не хочу быть святою. Что сделают на том свете за самый большой грех? Вам это должно быть в точности известно.

— Бог осудит, — пристально вглядывался в нее Алеша.

— Вот так я и хочу. Я бы пришла, а меня бы и осудили, а я бы вдруг всем им и засмеялась в глаза. Я ужасно хочу зажечь дом, Алеша, наш дом, вы мне всё не верите?

— Почему же? Есть даже дети, лет по двенадцати, которым очень хочется зажечь что-нибудь, и они зажигают. Это вроде болезни.

— Неправда, неправда, пусть есть дети, но я не про то.

— Вы злое принимаете за доброе: это минутный кризис, в этом ваша прежняя болезнь, может быть, виновата.

— А вы таки меня презираете! Я просто не хочу делать доброе, я хочу делать злое, а никакой тут болезни нет.

— Зачем делать злое?

— А чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось! Знаете, Алеша, я иногда думаю наделать ужасно много зла и всего скверного, и долго буду тихонько делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть. Это очень приятно. Почему это так приятно, Алеша?

— Так. Потребность раздавить что-нибудь хорошее али вот, как вы говорили, зажечь. Это тоже бывает.

— Я ведь не то что говорила, я ведь и сделаю.

— Верю.

— Ах, как я вас люблю за то, что вы говорите: верю. И ведь вы вовсе, вовсе не лжете. А может быть, вы думаете, что я вам всё это нарочно, чтобы вас дразнить?

— Нет, не думаю... хотя, может быть, и есть немного этой потребности.

— Немного есть. Никогда пред вами не солгу,— проговорила она со сверкнувшими каким-то огоньком глазами.

Алешу всего более поражала ее серьезность: ни тени смешливости и шутливости не было теперь в ее лице, хотя прежде веселость и шутливость не покидали ее в самые «серьезные» ее минуты.

— Есть минуты, когда люди любят преступление,— задумчиво проговорил Алеша.

— Да, да! Вы мою мысль сказали, любят, все любят и всегда любят, а не то что «минуты». Знаете, в этом все как будто когда-то условились лгать и все с тех пор лгут. Все говорят, что ненавидят дурное, а про себя все его любят.

— А вы всё по-прежнему дурные книги читаете?

— Читаю. Мама читает и под подушку прячет, а я краду.

— Как вам не совестно разрушать себя?

— Я хочу себя разрушать. Тут есть один мальчик, он под рельсами пролежал, когда над ним вагоны ехали. Счастливец! Послушайте, теперь вашего брата судят за то, что он отца убил, и все любят, что он отца убил.

— Любят, что отца убил?

— Любят, все любят! Все говорят, что это ужасно, но про себя ужасно любят. Я первая люблю.

— В ваших словах про всех есть несколько правды,— проговорил тихо Алеша.

— Ах, какие у вас мысли! — взвизгнула в восторге Лиза,— это у монаха-то! Вы не поверите, как я вас уважаю, Алеша, за то, что вы никогда не лжете. Ах, я вам один мой смешной сон расскажу: мне иногда во сне снятся черти, будто ночь, я в моей комнате со свечкой, и вдруг везде черти, во всех углах, и под столом, и двери отворяют, а их там за дверями толпа, и им хочется войти и меня схватить. И уж подходят, уж хватают. А я вдруг перекрещусь, и они все назад, боятся, только не ухо́дят совсем, а у дверей стоят и по углам, ждут. И вдруг мне ужасно захочется вслух начать бога бранить, вот и начну бранить, а они-то вдруг опять толпой ко мне, так и обрадуются, вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь — а они все назад. Ужасно весело, дух замирает.

— И у меня бывал этот самый сон,— вдруг сказал Алеша.

— Неужто? — вскрикнула Лиза в удивлении.— Послушайте, Алеша, не смейтесь, это ужасно важно: разве можно, чтоб у двух разных был один и тот же сон?

— Верно, можно.

— Алеша, говорю вам, это ужасно важно,— в каком-то чрезмерном уже удивлении продолжала Лиза.— Не сон важен, а то, что вы могли видеть этот же самый сон, как и я. Вы никогда мне не лжете, не лгите и теперь: это правда? Вы не смеетесь?

— Правда.

Лиза была чем-то ужасно поражена и на полминутку примолкла.

— Алеша, ходите ко мне, ходите ко мне чаще,— проговорила она вдруг молящим голосом.

— Я всегда, всю жизнь буду к вам приходить,— твердо ответил Алеша.

— Я ведь одному вам говорю,— начала опять Лиза.— Я себе одной говорю, да еще вам. Вам одному в целом мире. И вам охотнее, чем самой себе говорю. И вас совсем не стыжусь. Алеша,

почему я вас совсем не стыжусь, совсем? Алеша, правда ли, что жиды на пасху детей крадут и режут?

— Не знаю.

— Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, чрез четыре часа. Эка скоро! Говорит: стонал, всё стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо!

— Хорошо?

— Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите?

Алеша молчал и смотрел на нее. Бледно-желтое лицо ее вдруг исказилось, глаза загорелись.

— Знаете, я про жида этого как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет (ведь четырехлетние мальчики понимают), а у меня всё эта мысль про компот не отстает. Утром я послала письмо к одному человеку, чтобы *непременно* пришел ко мне. Он пришел, а я ему вдруг рассказала про мальчика и про компот, *всё* рассказала, *всё*, и сказала, что «это хорошо». Он вдруг засмеялся и сказал, что это в самом деле хорошо. Затем встал и ушел. Всего пять минут сидел. Презирал он меня, презирал? Говорите, говорите, Алеша, презирал он меня или нет? — выпрямилась она на кушетке, засверкав глазами.

— Скажите,— проговорил в волнении Алеша,— вы сами его позвали, этого человека?

— Сама.

— Письмо ему послали?

— Письмо.

— Собственно про это спросить, про ребенка?

— Нет, совсем не про это, совсем. А как он вошел, я сейчас про это и спросила. Он ответил, засмеялся, встал и ушел.

— Этот человек честно с вами поступил,— тихо проговорил Алеша.

— А меня презирал? Смеялся?

— Нет, потому что он сам, может, верит ананасному компоту. Он тоже очень теперь болен, Lise.

— Да, верит! — засверкала глазами Лиза.

— Он никого не презирает, — продолжал Алеша. — Он только никому не верит. Коль не верит, то, конечно, и презирает.

— Стало быть, и меня? Меня?

— И вас.

— Это хорошо,— как-то проскрежетала Лиза.— Когда он вышел и засмеялся, я почувствовала, что в презрении быть хорошо.

И мальчик с отрезанными пальчиками хорошо, и в презрении быть хорошо...

И она как-то злобно и воспаленно засмеялась Алеше в глаза.

— Знаете, Алеша, знаете, я бы хотела... Алеша, спасите меня! — вскочила она вдруг с кушетки, бросилась к нему и крепко обхватила его руками.— Спасите меня,— почти простонала она.— Разве я кому-нибудь в мире скажу, что вам говорила? А ведь я правду, правду, правду говорила! Я убью себя, потому что мне всё гадко! Я не хочу жить, потому что мне всё гадко! Мне всё гадко, всё гадко! Алеша, зачем вы меня совсем, совсем не любите! — закончила она в исступлении.

— Нет, люблю! — горячо ответил Алеша.

— А будете обо мне плакать, будете?

— Буду.

— Не за то, что я вашею женой не захотела быть, а просто обо мне плакать, просто?

— Буду.

— Спасибо! Мне только ваших слез надо. А все остальные пусть казнят меня и раздавят ногой, все, все, не исключая *никого*! Потому что я не люблю никого. Слышите, ни-ко-го! Напротив, ненавижу! Ступайте, Алеша, вам пора к брату! — оторвалась она от него вдруг.

— Как же вы останетесь? — почти в испуге проговорил Алеша.

— Ступайте к брату, острог запрут, ступайте, вот ваша шляпа! Поцелуйте Митю, ступайте, ступайте!

И она с силой почти выпихнула Алешу в двери. Тот смотрел с горестным недоумением, как вдруг почувствовал в своей правой руке письмо, маленькое письмецо, твердо сложенное и запечатанное. Он взглянул и мгновенно прочел адрес: Ивану Федоровичу Карамазову. Он быстро поглядел на Лизу. Лицо ее сделалось почти грозно.

— Передайте, непременно передайте! — исступленно, вся сотрясаясь, приказывала она,— сегодня, сейчас! Иначе я отравлюсь! Я вас затем и звала!

И быстро захлопнула дверь. Щелкнула щеколда. Алеша положил письмо в карман и пошел прямо на лестницу, не заходя к госпоже Хохлаковой, даже забыв о ней. А Лиза, только что удалился Алеша, тотчас же отвернула щеколду, приотворила капельку дверь, вложила в щель свой палец и, захлопнув дверь, изо всей силы придавила его. Секунд через десять, высвободив руку, она тихо, медленно прошла на свое кресло, села, вся выпрямившись, и стала пристально смотреть на свой почерневший пальчик и на выдавившуюся из-под ногтя кровь. Губы ее дрожали, и она быстро, быстро шептала про себя:

— Подлая, подлая, подлая, подлая!

IV
ГИМН И СЕКРЕТ

Было уже совсем поздно (да и велик ли ноябрьский день), когда Алеша позвонил у ворот острога. Начинало даже смеркаться. Но Алеша знал, что его пропустят к Мите беспрепятственно. Всё это у нас, в нашем городке, как и везде. Сначала, конечно, по заключении всего предварительного следствия, доступ к Мите для свидания с родственниками и с некоторыми другими лицами всё же был обставлен некоторыми необходимыми формальностями, но впоследствии формальности не то что ослабели, но для иных лиц, по крайней мере приходивших к Мите, как-то сами собой установились некоторые исключения. До того что иной раз даже и свидания с заключенным в назначенной для того комнате происходили почти между четырех глаз. Впрочем, таких лиц было очень немного: всего только Грушенька, Алеша и Ракитин. Но к Грушеньке очень благоволил сам исправник Михаил Макарович. У старика лежал на сердце его окрик на нее в Мокром. Потом, узнав всю суть, он изменил совсем о ней свои мысли. И странное дело: хотя был твердо убежден в преступлении Мити, но со времени заключения его всё как-то более и более смотрел на него мягче: «С хорошею, может быть, душой был человек, а вот пропал, как швед, от пьянства и беспорядка!» Прежний ужас сменился в сердце его какою-то жалостью. Что же до Алеши, то исправник очень любил его и давно уже был с ним знаком, а Ракитин, повадившийся впоследствии приходить очень часто к заключенному, был одним из самых близких знакомых «исправничьих барышень», как он называл их, и ежедневно терся в их доме. У смотрителя же острога, благодушного старика, хотя и крепкого служаки, он давал в доме уроки. Алеша же опять-таки был особенный и стародавний знакомый и смотрителя, любившего говорить с ним вообще о «премудрости». Ивана Федоровича, например, смотритель не то что уважал, а даже боялся, главное, его суждений, хотя сам был большим философом, разумеется «своим умом дойдя». Но к Алеше в нем была какая-то непобедимая симпатия. В последний год старик как раз засел за апокрифические евангелия и поминутно сообщал о своих впечатлениях своему молодому другу. Прежде даже заходил к нему в монастырь и толковал с ним и с иеромонахами по целым часам. Словом, Алеше, если бы даже он и запоздал в острог, стоило пройти к смотрителю, и дело всегда улаживалось. К тому же к Алеше все до последнего сторожа в остроге привыкли. Караул же, конечно, не стеснял, было бы лишь дозволение начальства. Митя из своей каморки, когда вызывали его, сходил всегда вниз в место, назначенное для свиданий. Войдя в комнату, Алеша как раз столкнулся с Ракитиным, уже уходившим от Мити. Оба они громко говорили. Митя, провожая его, чему-то очень смеялся, а Ракитин как будто ворчал. Ракитин, особенно в последнее время, не любил встречаться с Але-

шей, почти не говорил с ним, даже и раскланивался с натугой. Завидя теперь входящего Алешу, он особенно нахмурил брови и отвел глаза в сторону, как бы весь занятый застегиванием своего большого теплого с меховым воротником пальто. Потом тотчас же принялся искать свой зонтик.

— Своего бы не забыть чего, — пробормотал он, единственно чтобы что-нибудь сказать.

— Ты чужого-то чего не забудь! — сострил Митя и тотчас же сам расхохотался своей остроте. Ракитин мигом вспылил.

— Ты это своим Карамазовым рекомендуй, крепостничье ваше отродье, а не Ракитину! — крикнул он вдруг, так и затрясшись от злости.

— Чего ты? Я пошутил! — вскрикнул Митя,— фу, черт! Вот они все таковы,— обратился он к Алеше, кивая на быстро уходившего Ракитина,— то всё сидел, смеялся и весел был, а тут вдруг и вскипел! Тебе даже и головой не кивнул, совсем, что ли, вы рассорились? Что ты так поздно? Я тебя не то что ждал, а жаждал всё утро. Ну да ничего! Наверстаем.

— Что он к тебе так часто повадился? Подружился ты с ним, что ли? — спросил Алеша, кивая тоже на дверь, в которую убрался Ракитин.

— С Михаилом-то подружился? Нет, не то чтоб. Да и чего, свинья! Считает, что я... подлец. Шутки тоже не понимают — вот что в них главное. Никогда не поймут шутки. Да и сухо у них в душе, плоско и сухо, точно как я тогда к острогу подъезжал и на острожные стены смотрел. Но умный человек, умный. Ну, Алексей, пропала теперь моя голова!

Он сел на скамейку и посадил с собою рядом Алешу.

— Да, завтра суд. Что ж, неужели же ты так совсем не надеешься, брат? — с робким чувством проговорил Алеша.

— Ты это про что? — как-то неопределенно глянул на него Митя,— ах, ты про суд! Ну, черт! Мы до сих пор всё с тобой о пустяках говорили, вот всё про этот суд, а я об самом главном с тобою молчал. Да, завтра суд, только я не про суд сказал, что пропала моя голова. Голова не пропала, а то, что в голове сидело, то пропало. Что ты на меня с такою критикой в лице смотришь?

— Про что ты это, Митя?

— Идеи, идеи, вот что! Эфика. Это что такое эфика?

— Эфика? — удивился Алеша.

— Да, наука, что ли, какая?

— Да, есть такая наука... только... я, признаюсь, не могу тебе объяснить, какая наука.

— Ракитин знает. Много знает Ракитин, черт его дери! В монахи не пойдет. В Петербург собирается. Там, говорит, в отделение критики, но с благородством направления. Что ж, может пользу принесть и карьеру устроить. Ух, карьеру они мастера! Черт с эфикой! Я-то пропал, Алексей, я-то, божий ты человек!

Я тебя больше всех люблю. Сотрясается у меня сердце на тебя, вот что. Какой там был Карл Бернар?

— Карл Бернар? — удивился опять Алеша.

— Нет, не Карл, постой, соврал: Клод Бернар. Это что такое? Химия, что ли?

— Это, должно быть, ученый один,— ответил Алеша,— только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только, ученый, а какой, не знаю.

— Ну и черт его дери, и я не знаю,— обругался Митя.— Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы. А Ракитин пролезет, Ракитин в щелку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось!

— Да что с тобою? — настойчиво спросил Алеша.

— Хочет он обо мне, об моем деле статью написать, и тем в литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет: «дескать, нельзя было ему не убить, заеден средой», и проч., объяснял мне. С оттенком социализма, говорит, будет. Ну и черт его дери, с оттенком так с оттенком, мне всё равно. Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не жалует. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень, однако. Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд». Смеется, злобно так. А я ему: де мыслибус non est disputandum, [1] хороша острота? По крайней мере и я в классицизм вступил,— захохотал вдруг Митя.

— Отчего ты пропал-то? Вот ты сейчас сказал? — перебил Алеша.

— Отчего пропал? Гм! В сущности... если всё целое взять — бога жалко, вот отчего!

— Как бога жалко?

— Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть там в мозгу эти нервы (ну черт их возьми!) ... есть такие этакие хвостики, у нервов этих хвостики, ну, и как только они там задрожат... то есть видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то... а как задрожат, то и является образ, и не сейчас является, а там какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, то есть не момент,— черт его дери момент,— а образ, то есть предмет али происшествие, ну там черт дери — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие, всё это глупости. Это, брат, мне Михаил еще вчера объяснял, и меня точно обожгло. Великолепна, Алеша, эта наука! Новый человек пойдет, это-то я понимаю... А все-таки бога жалко!

— Ну и то хорошо,— сказал Алеша.

---

[1] о мыслях не спорят *(лат.)*.

— Что бога-то жалко? Химия, брат, химия! Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет! А не любит бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое больное место у всех! Но скрывают. Лгут. Представляются. «Что же, будешь это проводить в отделении критики?» — спрашиваю. «Ну, явно-то не дадут»,— говорит, смеется. «Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь всё позволено, всё можно делать?» «А ты и не знал?» — говорит. Смеется. «Умному, говорит, человеку всё можно, умный человек умеет раков ловить, ну а вот ты, говорит, убил и влопался и в тюрьме гниешь!» Это он мне-то говорит. Свинья естественная! Я этаких прежде вон вышвыривал, ну а теперь слушаю. Много ведь и дельного говорит. Умно тоже пишет. Он мне с неделю назад статью одну начал читать, я там три строки тогда нарочно выписал, вот постой, вот здесь.

Митя, спеша, вынул из жилетного кармана бумажку и прочел:

— «Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своею действительностью». Понимаешь иль нет?

— Нет, не понимаю, — сказал Алеша.

Он с любопытством приглядывался к Мите и слушал его.

— И я не понимаю. Темно и неясно, зато умно. «Все, говорит, так теперь пишут, потому что такая уж среда»... Среды боятся. Стихи тоже пишет, подлец, Хохлаковой ножку воспел, ха-ха-ха!

— Я слышал,— сказал Алеша.

— Слышал? А стишонки слышал?

— Нет.

— У меня они есть, вот, я прочту. Ты не знаешь, я тебе не рассказывал, тут целая история. Шельма! Три недели назад меня дразнить вздумал: «Ты вот, говорит, влопался как дурак из-за трех тысяч, а я полтораста их тяпну, на вдовице одной женюсь и каменный дом в Петербурге куплю». И рассказал мне, что строит куры Хохлаковой, а та и смолоду умна не была, а в сорок-то лет и совсем ума решилась. «Да чувствительна, говорит, уж очень, вот я ее на том и добью. Женюсь, в Петербург ее отвезу, а там газету издавать начну». И такая у него скверная сладострастная слюна на губах,— не на Хохлакову слюна, а на полтораста эти тысяч. И уверил меня, уверил; всё ко мне ходит, каждый день: поддается, говорит. Радостью сиял. А тут вдруг его и выгнали: Перхотин Петр Ильич взял верх, молодец! То есть так бы и расцеловал эту дурищу за то, что его прогнала! Вот он как ходил-то ко мне, тогда и сочинил эти стишонки. «В первый раз, говорит, руки мараю, стихи пишу, для обольщения значит, для полезного дела. Забрав капитал у дурищи, гражданскую пользу потом принести могу». У них ведь всякой мерзости гражданское оправдание есть! «А все-таки, говорит, лучше твоего Пушкина написал, потому что и в шутовской стишок сумел гражданскую скорбь всучить». Это что про Пушкина-то — я понимаю. Что же, если в самом

деле способный был человек, а только ножки описывал! Да ведь гордился-то стишонками как! Самолюбие-то у них, самолюбие! «На выздоровление больной ножки моего предмета» — это он такое заглавие придумал — резвый человек!

Уж какая ж эта ножка,
Ножка, вспухшая немножко!
Доктора к ней ездят, лечат,
И бинтуют, и калечат.

Не по ножкам я тоскую, —
Пусть их Пушкин воспевает:
По головке я тоскую,
Что идей не понимает.

Понимала уж немножко,
Да вот ножка помешала!
Пусть же вылечится ножка,
Чтоб головка понимала.

Свинья, чистая свинья, а игриво у мерзавца вышло! И действительно «гражданскую»-то всучил. А как рассердился, когда его выгнали. Скрежетал!

— Он уже отмстил,— сказал Алеша.— Он про Хохлакову корреспонденцию написал.

И Алеша рассказал ему наскоро о корреспонденции в газете «Слухи».

— Это он, он! — подтвердил Митя нахмурившись, — это он! Эти корреспонденции... я ведь знаю... то есть сколько низостей было уже написано, про Грушу, например!.. И про ту тоже, про Катю... Гм!

Он озабоченно прошелся по комнате.

— Брат, мне нельзя долго оставаться,— сказал, помолчав, Алеша.— Завтра ужасный, великий день для тебя: божий суд над тобой совершится... и вот я удивляюсь, ходишь ты и вместо дела говоришь бог знает о чем...

— Нет, не удивляйся,— горячо перебил Митя.— Что же мне о смердящем этом псе говорить, что ли? Об убийце? Довольно мы с тобой об этом переговорили. Не хочу больше о смердящем, сыне Смердящей! Его бог убьет, вот увидишь, молчи!

Он в волнении подошел к Алеше и вдруг поцеловал его. Глаза его загорелись.

— Ракитин этого не поймет,— начал он весь как бы в каком-то восторге,— а ты, ты всё поймешь. Оттого и жаждал тебя. Видишь, я давно хотел тебе многое здесь, в этих облезлых стенах выразить, но молчал о главнейшем: время как будто всё еще не приходило. Дождался теперь последнего срока, чтобы тебе душу вылить. Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать,

не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек! Можно найти и там, в рудниках, под землею, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце и сойтись с ним, потому что и там можно жить, и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя! А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты! Зачем мне тогда приснилось «дитё» в такую минуту? «Отчего бедно дитё?» Это пророчество мне было в ту минуту! За «дитё» и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех «дитё», потому что есть малые дети и большие дети. Все — «дитё». За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю! Мне это здесь всё пришло... вот в этих облезлых стенах. А их ведь много, их там сотни, подземных-то, с молотками в руках. О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а богу быть, ибо бог дает радость, это его привилегия, великая... Господи, истай человек в молитве! Как я буду там под землей без бога? Врет Ракитин: если бога с земли изгонят, мы под землей его сретим! Каторжному без бога быть невозможно, невозможнее даже, чем некаторжному! И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн богу, у которого радость! Да здравствует бог и его радость! Люблю его!

Митя, произнося свою дикую речь, почти задыхался. Он побледнел, губы его вздрагивали, из глаз катились слезы.

— Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землею! — начал он опять.— Ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу, какая жажда существовать и сознавать именно в этих облезлых стенах во мне зародилась! Ракитин этого не понимает, ему бы только дом выстроить да жильцов пустить, но я ждал тебя. Да и что такое страдание? Не боюсь его, хотя бы оно было бесчисленно. Теперь не боюсь, прежде боялся. Знаешь, я, может быть, не буду и отвечать на суде... И, кажется, столько во мне этой силы теперь, что я всё поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь — но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце,— это уже вся жизнь. Алеша, херувим ты мой, меня убивают разные философии, черт их дери! Брат Иван...

— Что брат Иван? — перебил было Алеша, но Митя не расслышал.

— Видишь, я прежде этих всех сомнений никаких не имел, но всё во мне это таилось. Именно, может, оттого, что идеи бушевали во мне неизвестные, я и пьянствовал, и дрался, и бесился. Чтоб утолить в себе их, дрался, чтоб их усмирить, сдавить. Брат

Иван не Ракитин, он таит идею. Брат Иван сфинкс и молчит, всё молчит. А меня бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как его нет? Что, если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Вопрос! Я всё про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога. Ну это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракитину: «Ты,— говорит он мне сегодня,— о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями». Я ему на это и отмочил: «А ты, говорю, без бога-то, сам еще на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку». Рассердился. Ибо что такое добродетель? — отвечай ты мне, Алексей. У меня одна добродетель, а у китайца другая — вещь, значит, относительная. Или нет? Или не относительная? Вопрос коварный! Ты не засмеешься, если скажу, что я две ночи не спал от этого. Я удивляюсь теперь только тому, как люди там живут и об этом ничего не думают. Суета! У Ивана бога нет. У него идея. Не в моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал — молчит. В роднике у него хотел водицы испить — молчит. Один только раз одно словечко сказал.

— Что сказал? — поспешно поднял Алеша.

— Я ему говорю: стало быть, всё позволено, коли так? Он нахмурился: «Федор Павлович, говорит, папенька наш, был поросенок, но мыслил он правильно». Вот ведь что отмочил. Только всего и сказал. Это уже почище Ракитина.

— Да,— горько подтвердил Алеша.— Когда он у тебя был?

— Об этом после, теперь другое. Я об Иване не говорил тебе до сих пор почти ничего. Откладывал до конца. Когда эта штука моя здесь кончится и скажут приговор, тогда тебе кое-что расскажу, всё расскажу. Страшное тут дело одно... А ты будешь мне судья в этом деле. А теперь и не начинай об этом, теперь молчок. Вот ты говоришь об завтрашнем, о суде, а веришь ли, я ничего не знаю.

— Ты с этим адвокатом говорил?

— Что адвокат! Я ему про всё говорил. Мягкая шельма, столичная. Бернар! Только не верит мне ни на сломанный грош. Верит, что я убил, вообрази себе,— уж я вижу. «Зачем же, спрашиваю, в таком случае вы меня защищать приехали?» Наплевать на них. Тоже доктора выписали, сумасшедшим хотят меня показать. Не позволю! Катерина Ивановна «свой долг» до конца исполнить хочет. С натуги! — Митя горько усмехнулся. — Кошка! Жестокое сердце! А ведь она знает, что я про нее сказал тогда в Мокром, что она «великого гнева» женщина! Передали. Да, пока-

зания умножились, как песок морской! Григорий стоит на своем. Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки. Это — мысль Ракитина. Григорий мне враг. Иного выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей. Говорю это про Катерину Ивановну. Боюсь, ох боюсь, что она на суде расскажет про земной поклон после четырех-то тысяч пятисот! До конца отплатит, последний кодрант. Не хочу ее жертвы! Устыдят они меня на суде! Как-то вытерплю. Сходи к ней, Алеша, попроси ее, чтобы не говорила этого на суде. Аль нельзя? Да черт, всё равно, вытерплю! А ее не жаль. Сама желает. Поделом вору мука. Я, Алексей, свою речь скажу.— Он опять горько усмехнулся. — Только... только Груша-то, Груша-то, господи! Она-то за что такую муку на себя теперь примет! — воскликнул он вдруг со слезами.— Убивает меня Груша, мысль о ней убивает меня, убивает! Она давеча была у меня...

— Она мне рассказывала. Она очень была сегодня тобою огорчена.

— Знаю. Черт меня дери за характер. Приревновал! Отпуская раскаялся, целовал ее. Прощенья не попросил.

— Почему не попросил? — воскликнул Алеша.

Митя вдруг почти весело рассмеялся.

— Боже тебя сохрани, милого мальчика, когда-нибудь у любимой женщины за вину свою прощения просить! У любимой особенно, особенно, как бы ни был ты пред ней виноват! Потому женщина — это, брат, черт знает что такое, уж в них-то я по крайней мере знаю толк! Ну попробуй пред ней сознаться в вине, «виноват, дескать, прости, извини»: тут-то и пойдет град попреков! Ни за что не простит прямо и просто, а унизит тебя до тряпки, вычитает, чего даже не было, всё возьмет, ничего не забудет, своего прибавит, и тогда уж только простит. И это еще лучшая, лучшая из них! Последние поскребки выскребет и всё тебе на голову сложит — такая, я тебе скажу, живодерность в них сидит, во всех до единой, в этих ангелах-то, без которых жить-то нам невозможно! Видишь, голубчик, я откровенно и просто скажу: всякий порядочный человек должен быть под башмаком хоть у какой-нибудь женщины. Таково мое убеждение; не убеждение, а чувство. Мужчина должен быть великодушен, и мужчину это не замарает. Героя даже не замарает, Цезаря не замарает! Ну, а прощения все-таки не проси, никогда и ни за что. Помни правило: преподал тебе его брат твой Митя, от женщин погибший. Нет, уж я лучше без прощения Груше чем-нибудь заслужу. Благоговею я пред ней, Алексей, благоговею! Не видит только она этого, нет, всё ей мало любви. И томит она меня, любовью томит. Что прежде! Прежде меня только изгибы инфернальные томили, а теперь я всю ее душу в свою душу принял и через нее сам человеком стал! Повенчают ли нас? А без того я умру от ревности. Так и снится что-нибудь каждый день... Что она тебе обо мне говорила?

Алеша повторил все давешние речи Грушеньки. Митя выслушал подробно, многое переспросил и остался доволен.

— Так не сердится, что ревную,— воскликнул он.— Прямо женщина! «У меня у самой жестокое сердце». Ух, люблю таких, жестоких-то, хотя и не терплю, когда меня ревнуют, не терплю! Драться будем. Но любить, — любить ее буду бесконечно. Повенчают ли нас? Каторжных разве венчают? Вопрос. А без нее я жить не могу...

Митя нахмуренно прошелся по комнате. В комнате становилось почти темно. Он вдруг стал страшно озабочен.

— Так секрет, говорит, секрет? У меня, дескать, втроем против нее заговор, и «Катька», дескать, замешана? Нет, брат Грушенька, это не то. Ты тут маху дала, своего глупенького женского маху! Алеша, голубчик, эх, куда ни шло! Открою я тебе наш секрет!

Он оглянулся во все стороны, быстро вплоть подошел к стоявшему пред ним Алеше и зашептал ему с таинственным видом, хотя по-настоящему их никто не мог слышать: старик сторож дремал в углу на лавке, а до караульных солдат ни слова не долетало.

— Я тебе всю нашу тайну открою! — зашептал спеша Митя.— Хотел потом открыть, потому что без тебя разве могу на что решиться? Ты у меня всё. Я хоть и говорю, что Иван над нами высший, но ты у меня херувим. Только твое решение решит. Может, ты-то и есть высший человек, а не Иван. Видишь, тут дело совести, дело высшей совести — тайна столь важная, что я справиться сам не смогу и всё отложил до тебя. А все-таки теперь рано решать, потому надо ждать приговора: приговор выйдет, тогда ты и решишь судьбу. Теперь не решай; я тебе сейчас скажу, ты услышишь, но не решай. Стой и молчи. Я тебе не всё открою. Я тебе только идею скажу, без подробностей, а ты молчи. Ни вопроса, ни движения, согласен? А впрочем, господи, куда я дену глаза твои? Боюсь, глаза твои скажут решение, хотя бы ты и молчал. Ух, боюсь! Алеша, слушай: брат Иван мне предлагает *бежать*. Подробностей не говорю: всё предупреждено, всё может устроиться. Молчи, не решай. В Америку с Грушей. Ведь я без Груши жить не могу! Ну как ее ко мне там не пустят? Каторжных разве венчают? Брат Иван говорит, что нет. А без Груши что я там под землей с молотком-то? Я себе только голову раздроблю этим молотком! А с другой стороны, совесть-то? От страдания ведь убежал! Было указание — отверг указание, был путь очищения — поворотил налево кругом. Иван говорит, что в Америке «при добрых наклонностях» можно больше пользы принести, чем под землей. Ну, а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что, Америка опять суета! Да и мошенничества тоже, я думаю, много в Америке-то. От распятья убежал! Потому ведь говорю тебе, Алексей, что ты один понять это можешь, а больше никто, для других это глупости, бред, вот всё то, что

я тебе про гимн говорил. Скажут, с ума сошел аль дурак. А я не сошел с ума, да и не дурак. Понимает про гимн и Иван, ух понимает, только на это не отвечает, молчит. Гимну не верит. Не говори, не говори: я ведь вижу, как ты смотришь: ты уж решил! Не решай, пощади меня, я без Груши жить не могу, подожди суда!

Митя кончил как исступленный. Он держал Алешу обеими руками за плечи и так и впился в его глаза своим жаждущим, воспаленным взглядом.

— Каторжных разве венчают? — повторил он в третий раз, молящим голосом.

Алеша слушал с чрезвычайным удивлением и глубоко был потрясен.

— Скажи мне одно, — проговорил он, — Иван очень настаивает, и кто это выдумал первый?

— Он, он выдумал, он настаивает! Он ко мне всё не ходил и вдруг пришел неделю назад и прямо с этого начал. Страшно настаивает. Не просит, а велит. В послушании не сомневается, хотя я ему всё мое сердце, как тебе, вывернул и про гимн говорил. Он мне рассказал, как и устроит, все сведения собрал, но это потом. До истерики хочет. Главное деньги: десять тысяч, говорит, тебе на побег, а двадцать тысяч на Америку, а на десять тысяч, говорит, мы великолепный побег устроим.

— И мне отнюдь не велел передавать? — переспросил снова Алеша.

— Отнюдь, никому, а главное, тебе: тебе ни за что! Боится, верно, что ты как совесть предо мной станешь. Не говори ему, что я тебе передал. Ух, не говори!

— Ты прав, — решил Алеша, — решить невозможно раньше приговора суда. После суда сам и решишь; тогда сам в себе нового человека найдешь, он и решит.

— Нового человека аль Бернара, тот и решит по-бернаровски! Потому, кажется, я и сам Бернар презренный! — горько осклабился Митя.

— Но неужели, неужели, брат, ты так уж совсем не надеешься оправдаться?

Митя судорожно вскинул вверх плечами и отрицательно покачал головой.

— Алеша, голубчик, тебе пора! — вдруг заспешил он. — Смотритель закричал на дворе, сейчас сюда будет. Нам поздно, беспорядок. Обними меня поскорей, поцелуй, перекрести меня, голубчик, перекрести на завтрашний крест...

Они обнялись и поцеловались.

— А Иван-то, — проговорил вдруг Митя, — бежать-то предложил, а сам ведь верит, что я убил!

Грустная усмешка выдавилась на его губах.

— Ты спрашивал его: верит он или нет? — спросил Алеша.

— Нет, не спрашивал. Хотел спросить, да не смог, силы не хватило. Да всё равно, я ведь по глазам вижу. Ну, прощай!

Еще раз поцеловались наскоро, и Алеша уже было вышел, как вдруг Митя кликнул его опять:

— Становись предо мной, вот так.

И он опять крепко схватил Алешу обеими руками за плечи. Лицо его стало вдруг совсем бледно, так что почти в темноте это было страшно заметно. Губы перекосились, взгляд впился в Алешу.

— Алеша, говори мне полную правду, как пред господом богом: веришь ты, что я убил, или не веришь? Ты-то, сам-то ты, веришь или нет? Полную правду, не лги! — крикнул он ему исступленно.

Алешу как бы всего покачнуло, а в сердце его, он слышал это, как бы прошло что-то острое.

— Полно, что ты... — пролепетал было он как потерянный.

— Всю правду, всю, не лги! — повторил Митя.

— Ни единой минуты не верил, что ты убийца, — вдруг вырвалось дрожащим голосом из груди Алеши, и он поднял правую руку вверх, как бы призывая бога в свидетели своих слов. Блаженство озарило мгновенно всё лицо Мити.

— Спасибо тебе! — выговорил он протяжно, точно испуская вздох после обморока. — Теперь ты меня возродил... Веришь ли: до сих пор боялся спросить тебя, это тебя-то, тебя! Ну иди, иди! Укрепил ты меня на завтра, благослови тебя бог! Ну, ступай, люби Ивана! — вырвалось последним словом у Мити.

Алеша вышел весь в слезах. Такая степень мнительности Мити, такая степень недоверия его даже к нему, к Алеше, — всё это вдруг раскрыло пред Алешей такую бездну безвыходного горя и отчаяния в душе его несчастного брата, какой он и не подозревал прежде. Глубокое, бесконечное сострадание вдруг охватило и измучило его мгновенно. Пронзенное сердце его страшно болело. «Люби Ивана!» — вспомнились ему вдруг сейчашние слова Мити. Да он и шел к Ивану. Ему еще утром страшно надо было видеть Ивана. Не менее, как Митя, его мучил Иван, а теперь, после свидания с братом, более чем когда-нибудь.

V

НЕ ТЫ, НЕ ТЫ!

По дороге к Ивану пришлось ему проходить мимо дома, в котором квартировала Катерина Ивановна. В окнах был свет. Он вдруг остановился и решил войти. Катерину Ивановну он не видал уже более недели. Но ему теперь пришло на ум, что Иван может быть сейчас у ней, особенно накануне такого дня. Позвонив и войдя на лестницу, тускло освещенную китайским фонарем, он увидал спускавшегося сверху человека, в котором, поравнявшись, узнал брата. Тот, стало быть, выходил уже от Катерины Ивановны.

— Ах, это только ты, — сказал сухо Иван Федорович. — Ну, прощай. Ты к ней?

— Да.

— Не советую, она «в волнении», и ты еще пуще ее расстроишь.

— Нет, нет! — прокричал вдруг голос сверху из отворившейся мигом двери. — Алексей Федорович, вы от него?

— Да, я был у него.

— Мне что-нибудь прислал сказать? Войдите, Алеша, и вы, Иван Федорович, непременно, непременно воротитесь. Слы-ши-те!

В голосе Кати зазвучала такая повелительная нотка, что Иван Федорович, помедлив одно мгновение, решился, однако же, подняться опять вместе с Алешей.

— Подслушивала! — раздражительно прошептал он про себя, но Алеша расслышал.

— Позвольте мне остаться в пальто, — проговорил Иван Федорович, вступая в залу. — Я и не сяду. Я более одной минуты не останусь.

— Садитесь, Алексей Федорович, — проговорила Катерина Ивановна, сама оставаясь стоя. Она изменилась мало за это время, но темные глаза ее сверкали зловещим огнем. Алеша помнил потом, что она показалась ему чрезвычайно хороша собой в ту минуту.

— Что ж он велел передать?

— Только одно, — сказал Алеша, прямо смотря ей в лицо, — чтобы вы щадили себя и не показывали ничего на суде о том... — он несколько замялся, — что было между вами... во время самого первого вашего знакомства... в том городе...

— А, это про земной поклон за те деньги! — подхватила она, горько рассмеявшись. — Что ж, он за себя или за меня боится — а? Он сказал, чтоб я щадила — кого же? Его иль себя? Говорите, Алексей Федорович.

Алеша всматривался пристально, стараясь понять ее.

— И себя, и его, — проговорил он тихо.

— То-то, — как-то злобно отчеканила она и вдруг покраснела. — Вы не знаете еще меня, Алексей Федорович, — грозно сказала она, — да и я еще не знаю себя. Может быть, вы захотите меня растоптать ногами после завтрашнего допроса.

— Вы покажете честно, — сказал Алеша, — только этого и надо.

— Женщина часто бесчестна, — проскрежетала она. — Я еще час тому думала, что мне страшно дотронуться до этого изверга... как до гада... и вот нет, он всё еще для меня человек! Да убил ли он? Он ли убил? — воскликнула она вдруг истерически, быстро обращаясь к Ивану Федоровичу. Алеша мигом понял, что этот самый вопрос она уже задавала Ивану Федоровичу, может, всего за минуту пред его приходом, и не в первый раз, а в сотый, и что кончили они ссорой.

— Я была у Смердякова... Это ты, ты убедил меня, что он отцеубийца. Я только тебе и поверила! — продолжала она, всё обращаясь к Ивану Федоровичу. Тот как бы с натуги усмехнулся.

Алеша вздрогнул, услышав это *ты*. Он и подозревать не мог таких отношений.

— Ну, однако, довольно, — отрезал Иван. — Я пойду. Приду завтра. — И тотчас же повернувшись, вышел из комнаты и прошел прямо на лестницу. Катерина Ивановна вдруг с каким-то повелительным жестом схватила Алешу за обе руки.

— Ступайте за ним! Догоните его! Не оставляйте его одного ни минуты, — быстро зашептала она. — Он помешанный. Вы не знаете, что он помешался? У него горячка, нервная горячка! Мне доктор говорил, идите, бегите за ним...

Алеша вскочил и бросился за Иваном Федоровичем. Тот не успел отойти и пятидесяти шагов.

— Чего тебе? — вдруг обернулся он к Алеше, видя, что тот его догоняет, — велела тебе бежать за мной, потому что я сумасшедший. Знаю наизусть, — раздражительно прибавил он.

— Она, разумеется, ошибается, но она права, что ты болен, — сказал Алеша. — Я сейчас смотрел у ней на твое лицо; у тебя очень больное лицо, очень, Иван!

Иван шел не останавливаясь. Алеша за ним.

— А ты знаешь, Алексей Федорович, как сходят с ума? — спросил Иван совсем вдруг тихим, совсем уже не раздражительным голосом, в котором внезапно послышалось самое простодушное любопытство.

— Нет, не знаю; полагаю, что много разных видов сумасшествия.

— А над самим собой можно наблюдать, что сходишь с ума?

— Я думаю, нельзя ясно следить за собой в таком случае, — с удивлением отвечал Алеша. Иван на полминутки примолк.

— Если ты хочешь со мной о чем говорить, то перемени, пожалуйста, тему, — сказал он вдруг.

— А вот, чтобы не забыть, к тебе письмо, — робко проговорил Алеша и, вынув из кармана, протянул к нему письмо Лизы. Они как раз подошли к фонарю. Иван тотчас же узнал руку.

— А, это от того бесенка! — рассмеялся он злобно и, не распечатав конверта, вдруг разорвал его на несколько кусков и бросил на ветер. Клочья разлетелись.

— Шестнадцати лет еще нет, кажется, и уж предлагается! — презрительно проговорил он, опять зашагав по улице.

— Как предлагается? — воскликнул Алеша.

— Известно, как развратные женщины предлагаются.

— Что ты, Иван, что ты? — горестно и горячо заступился Алеша. — Это ребенок, ты обижаешь ребенка! Она больна, она сама очень больна, она тоже, может быть, с ума сходит... Я не мог тебе не передать ее письма... Я, напротив, от тебя хотел что услышать... чтобы спасти ее.

— Нечего тебе от меня слышать. Коль она ребенок, то я ей не нянька. Молчи, Алексей. Не продолжай. Я об этом даже не думаю.

Помолчали опять с минуту.

— Она теперь всю ночь молить божию матерь будет, чтоб указала ей, как завтра на суде поступить, — резко и злобно заговорил он вдруг опять.

— Ты... ты об Катерине Ивановне?

— Да. Спасительницей или губительницей Митеньки ей явиться? О том молить будет, чтоб озарило ее душу. Сама еще, видите ли, не знает, приготовиться не успела. Тоже меня за няньку принимает, хочет, чтоб я ее убаюкал!

— Катерина Ивановна любит тебя, брат, — с грустным чувством проговорил Алеша.

— Может быть. Только я до нее не охотник.

— Она страдает. Зачем же ты ей говоришь... иногда... такие слова, что она надеется? — с робким упреком продолжал Алеша, — ведь я знаю, что ты ей подавал надежду, прости, что я так говорю, — прибавил он.

— Не могу я тут поступить как надо, разорвать и ей прямо сказать! — раздражительно произнес Иван. — Надо подождать, пока скажут приговор убийце. Если я разорву с ней теперь, она из мщения ко мне завтра же погубит этого негодяя на суде, потому что его ненавидит и знает, что ненавидит. Тут всё ложь, ложь на лжи! Теперь же, пока я с ней не разорвал, она всё еще надеется и не станет губить этого изверга, зная, как я хочу вытащить его из беды. И когда только придет этот проклятый приговор!

Слова «убийца» и «изверг» больно отозвались в сердце Алеши.

— Да чем таким она может погубить брата? — спросил он, вдумываясь в слова Ивана. — Что она может показать такого, что прямо могло бы сгубить Митю?

— Ты этого еще не знаешь. У нее в руках один документ есть, собственноручный, Митенькин, математически доказывающий, что он убил Федора Павловича.

— Этого быть не может! — воскликнул Алеша.

— Как не может? Я сам читал.

— Такого документа быть не может! — с жаром повторил Алеша. — Не может быть, потому что убийца не он. Не он убил отца, не он!

Иван Федорович вдруг остановился.

— Кто же убийца, по-вашему, — как-то холодно по-видимому спросил он, и какая-то даже высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса.

— Ты сам знаешь кто, — тихо и проникновенно проговорил Алеша.

— Кто? Эта басня-то об этом помешанном идиоте эпилептике? Об Смердякове?

Алеша вдруг почувствовал, что весь дрожит.

— Ты сам знаешь кто, — бессильно вырвалось у него. Он задыхался.

— Да кто, кто? — уже почти свирепо вскричал Иван. Вся сдержанность вдруг исчезла.

— Я одно только знаю, — всё так же почти шепотом проговорил Алеша. — Убил отца *не ты*.

— «Не ты»! Что такое не ты? — остолбенел Иван.

— Не ты убил отца, не ты! — твердо повторил Алеша.

С полминуты длилось молчание.

— Да я и сам знаю, что не я, ты бредишь? — бледно и искривленно усмехнувшись, проговорил Иван. Он как бы впился глазами в Алешу. Оба опять стояли у фонаря.

— Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты.

— Когда я говорил?.. Я в Москве был... Когда я говорил? — совсем потерянно пролепетал Иван.

— Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти странные два месяца, — по-прежнему тихо и раздельно продолжал Алеша. Но говорил он уже как бы вне себя, как бы не своею волей, повинуясь какому-то непреодолимому велению. — Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, не ты! Меня бог послал тебе это сказать.

Оба замолчали. Целую длинную минуту протянулось это молчание. Оба стояли и всё смотрели друг другу в глаза. Оба были бледны. Вдруг Иван весь затрясся и крепко схватил Алешу за плечо.

— Ты был у меня! — скрежущим шепотом проговорил он. — Ты был у меня ночью, когда он приходил... Признавайся... ты его видел, видел?

— Про кого ты говоришь... про Митю? — в недоумении спросил Алеша.

— Не про него, к черту изверга! — исступленно завопил Иван. — Разве ты знаешь, что он ко мне ходит? Как ты узнал, говори!

— Кто *он*? Я не знаю, про кого ты говоришь, — пролепетал Алеша уже в испуге.

— Нет, ты знаешь... иначе как же бы ты... не может быть, чтобы ты не знал...

Но вдруг он как бы сдержал себя. Он стоял и как бы что-то обдумывал. Странная усмешка кривила его губы.

— Брат, — дрожащим голосом начал опять Алеша, — я сказал тебе это потому, что ты моему слову поверишь, я знаю это. Я тебе на всю жизнь это слово сказал: *не ты!* Слышишь, на всю жизнь. И это бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с сего часа навсегда возненавидел меня...

Но Иван Федорович, по-видимому, совсем уже успел овладеть собой.

— Алексей Федорович, — проговорил он с холодною усмешкой, — я пророков и эпилептиков не терплю; посланников божиих особенно, вы это слишком знаете. С сей минуты я с вами разрываю

и, кажется, навсегда. Прошу сей же час, на этом же перекрестке, меня оставить. Да вам и в квартиру по этому проулку дорога. Особенно поберегитесь заходить ко мне сегодня! Слышите?

Он повернулся и, твердо шагая, пошел прямо, не оборачиваясь.

— Брат, — крикнул ему вслед Алеша, — если что-нибудь сегодня с тобой случится, подумай прежде всего обо мне!..

Но Иван не ответил. Алеша стоял на перекрестке у фонаря, пока Иван не скрылся совсем во мраке. Тогда он повернул и медленно направился к себе по переулку. И он, и Иван Федорович квартировали особо, на разных квартирах: ни один из них не захотел жить в опустевшем доме Федора Павловича. Алеша нанимал меблированную комнату в семействе одних мещан; Иван же Федорович жил довольно от него далеко и занимал просторное и довольно комфортное помещение во флигеле одного хорошего дома, принадлежавшего одной небедной вдове чиновнице. Но прислуживала ему в целом флигеле всего только одна древняя, совсем глухая старушонка, вся в ревматизмах, ложившаяся в шесть часов вечера и встававшая в шесть часов утра. Иван Федорович стал до странности в эти два месяца нетребователен и очень любил оставаться совсем один. Даже комнату, которую занимал, он сам убирал, а в остальные комнаты своего помещения даже и заходил редко. Дойдя до ворот своего дома и уже взявшись за ручку звонка, он остановился. Он почувствовал, что весь еще дрожит злобною дрожью. Вдруг он бросил звонок, плюнул, повернул назад и быстро пошел опять совсем на другой, противоположный конец города, версты за две от своей квартиры, в один крошечный, скосившийся бревенчатый домик, в котором квартировала Марья Кондратьевна, бывшая соседка Федора Павловича, приходившая к Федору Павловичу на кухню за супом и которой Смердяков пел тогда свои песни и играл на гитаре. Прежний домик свой она продала и теперь проживала с матерью почти в избе, а больной, почти умирающий Смердяков, с самой смерти Федора Павловича поселился у них. Вот к нему-то и направился теперь Иван Федорович, влекомый одним внезапным и непобедимым соображением.

VI

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ СО СМЕРДЯКОВЫМ

Это уже в третий раз шел Иван Федорович говорить со Смердяковым по возвращении своем из Москвы. В первый раз после катастрофы он видел его и говорил с ним сейчас же в первый день своего приезда, затем посетил его еще раз две недели спустя. Но после этого второго раза свидания свои со Смердяковым прекратил, так что теперь с лишком месяц, как он уже не видал его и почти ничего не слыхал о нем. Воротился же тогда Иван Федо-

рович из Москвы уже на пятый только день после смерти родителя, так что не застал и гроба его: погребение совершилось как раз накануне его приезда. Причина замедления Ивана Федоровича заключалась в том, что Алеша, не зная в точности его московского адреса, прибегнул, для посылки телеграммы, к Катерине Ивановне, а та, тоже в неведении настоящего адреса, телеграфировала к своей сестре и тетке, рассчитывая, что Иван Федорович сейчас же по прибытии в Москву к ним зайдет. Но он к ним зашел лишь на четвертый день по приезде и, прочтя телеграмму, тотчас же, конечно, сломя голову полетел к нам. У нас первого встретил Алешу, но, переговорив с ним, был очень изумлен, что тот даже и подозревать не хочет Митю, а прямо указывает на Смердякова как на убийцу, что было вразрез всем другим мнениям в нашем городе. Повидав затем исправника, прокурора, узнав подробности обвинения и ареста, он еще более удивился на Алешу и приписал его мнение лишь возбужденному до последней степени братскому чувству и состраданию его к Мите, которого Алеша, как и знал это Иван, очень любил. Кстати, промолвим лишь два слова раз навсегда о чувствах Ивана к брату Дмитрию Федоровичу: он его решительно не любил и много-много что чувствовал к нему иногда сострадание, но и то смешанное с большим презрением, доходившим до гадливости. Митя весь, даже всею своею фигурой, был ему крайне несимпатичен. На любовь к нему Катерины Ивановны Иван смотрел с негодованием. С подсудимым Митей он, однако же, увиделся тоже в первый день своего прибытия, и это свидание не только не ослабило в нем убеждения в его виновности, а даже усилило его. Брата он нашел тогда в беспокойстве, в болезненном волнении. Митя был многоречив, но рассеян и раскидчив, говорил очень резко, обвинял Смердякова и страшно путался. Более всего говорил всё про те же три тысячи, которые «украл» у него покойник. «Деньги мои, они были мои, — твердил Митя, — если б я даже украл их, то был бы прав». Все улики, стоявшие против него, почти не оспаривал и если толковал факты в свою пользу, то опять-таки очень сбивчиво и нелепо — вообще как будто даже и не желая оправдываться вовсе пред Иваном или кем-нибудь, напротив, сердился, гордо пренебрегал обвинениями, бранился и кипятился. Над свидетельством Григория об отворенной двери лишь презрительно смеялся и уверял, что это «черт отворил». Но никаких связных объяснений этому факту не мог представить. Он даже успел оскорбить в это первое свидание Ивана Федоровича, резко сказав ему, что не тем его подозревать и допрашивать, которые сами утверждают, что «всё позволено». Вообще на этот раз с Иваном Федоровичем был очень недружелюбен. Сейчас после этого свидания с Митей Иван Федорович и направился тогда к Смердякову.

Еще в вагоне, летя из Москвы, он всё думал про Смердякова и про последний свой разговор с ним вечером накануне отъезда. Многое смущало его, многое казалось подозрительным. Но давая

свои показания судебному следователю, Иван Федорович до времени умолчал о том разговоре. Всё отложил до свидания со Смердяковым. Тот находился тогда в городской больнице. Доктор Герценштубе и встретившийся Ивану Федоровичу в больнице врач Варвинский на настойчивые вопросы Ивана Федоровича твердо отвечали, что падучая болезнь Смердякова несомненна, и даже удивились вопросу: «Не притворялся ли он в день катастрофы?» Они дали ему понять, что припадок этот был даже необыкновенный, продолжался и повторялся несколько дней, так что жизнь пациента была в решительной опасности, и что только теперь, после принятых мер, можно уже сказать утвердительно, что больной останется в живых, хотя очень возможно (прибавил доктор Герценштубе), что рассудок его останется отчасти расстроен «если не на всю жизнь, то на довольно продолжительное время». На нетерпеливый спрос Ивана Федоровича, что, «стало быть, он теперь сумасшедший?», ему ответили, что «этого в полном смысле еще нет, но что замечаются некоторые ненормальности». Иван Федорович положил сам узнать, какие это ненормальности. В больнице его тотчас же допустили к свиданию. Смердяков находился в отдельном помещении и лежал на койке. Тут же подле него была еще койка, которую занимал один расслабленный городской мещанин, весь распухший от водяной, видимо готовый завтра или послезавтра умереть; разговору он помешать не мог. Смердяков осклабился недоверчиво, завидев Ивана Федоровича, и в первое мгновение как будто даже сробел. Так по крайней мере мелькнуло у Ивана Федоровича. Но это было лишь мгновение, напротив, во всё остальное время Смердяков почти поразил его своим спокойствием. С самого первого взгляда на него Иван Федорович несомненно убедился в полном и чрезвычайном болезненном его состоянии: он был очень слаб, говорил медленно и как бы с трудом ворочая языком; очень похудел и пожелтел. Во все минут двадцать свидания жаловался на головную боль и на лом во всех членах. Скопческое, сухое лицо его стало как будто таким маленьким, височки были всклочены, вместо хохолка торчала вверх одна только тоненькая прядка волосиков. Но прищуренный и как бы на что-то намекающий левый глазок выдавал прежнего Смердякова. «С умным человеком и поговорить любопытно», — тотчас же вспомнилось Ивану Федоровичу. Он уселся у него в ногах на табурете. Смердяков со страданием пошевельнулся всем телом на постели, но не заговорил первый, молчал, да и глядел уже как бы не очень любопытно.

— Можешь со мной говорить? — спросил Иван Федорович, — очень не утомлю.

— Очень могу-с, — промямлил Смердяков слабым голосом. — Давно приехать изволили? — прибавил он снисходительно, как бы поощряя сконфузившегося посетителя.

— Да вот только сегодня... Кашу вашу здешнюю расхлебывать.

Смердяков вздохнул.

— Чего вздыхаешь, ведь ты знал? — прямо брякнул Иван Федорович.

Смердяков солидно помолчал.

— Как же это было не знать-с? Наперед ясно было. Только как же было и знать-с, что так поведут?

— Что поведут? Ты не виляй! Ведь вот ты же предсказал, что с тобой падучая будет тотчас, как в погреб полезешь? Прямо так на погреб и указал.

— Вы это уже в допросе показали? — спокойно полюбопытствовал Смердяков.

Иван Федорович вдруг рассердился.

— Нет, еще не показал, но покажу непременно. Ты мне, брат, многое разъяснить сейчас должен, и знай, голубчик, что я с собою играть не позволю!

— А зачем бы мне такая игра-с, когда на вас всё мое упование, единственно как на господа бога-с! — проговорил Смердяков, всё так же совсем спокойно и только на минутку закрыв глазки.

— Во-первых, — приступил Иван Федорович, — я знаю, что падучую нельзя наперед предсказать. Я справлялся, ты не виляй. День и час нельзя предсказать. Как же ты мне тогда предсказал и день и час, да еще и с погребом? Как ты мог наперед узнать, что провалишься именно в этот погреб в припадке, если не притворился в падучей нарочно?

— В погреб надлежало и без того идти-с, в день по нескольку даже раз-с, — не спеша протянул Смердяков. — Так точно год тому назад я с чердака полетел-с. Беспременно так, что падучую нельзя предсказать вперед днем и часом, но предчувствие всегда можно иметь.

— А ты предсказал день и час!

— Насчет моей болезни падучей-с осведомьтесь всего лучше, сударь, у докторов здешних: истинная ли была со мной али не истинная, а мне и говорить вам больше на сей предмет нечего.

— А погреб? Погреб-то как ты предузнал?

— Дался вам этот самый погреб! Я тогда, как в этот погреб полез, то в страхе был и в сумлении; потому больше в страхе, что был вас лишимшись и ни от кого уже защиты не ждал в целом мире. Лезу я тогда в этот самый погреб и думаю: «Вот сейчас придет, вот она ударит, провалюсь али нет?», и от самого этого сумления вдруг схватила меня в горле эта самая неминучая спазма-с... ну и полетел. Всё это самое и весь разговор наш предыдущий с вами-с, накануне того дня вечером у ворот-с, как я вам тогда мой страх сообщил и про погреб-с, — всё это я в подробности открыл господину доктору Герценштубе и следователю Николаю Парфеновичу, и всё они в протокол записали-с. А здешний доктор господин Варвинский так пред всеми ими особо настаивали, что так именно от думы оно и произошло, от самой то есть той мнительности, «что вот, дескать, упаду аль не упаду?» А она

тут и подхватила. Так и записали-с, что беспременно этому так и надо было произойти, от единого то есть моего страху-с.

Проговорив это, Смердяков, как бы измученный утомлением, глубоко перевел дыхание.

— Так ты уж это объявлял в показании? — спросил несколько опешенный Иван Федорович. Он именно хотел было пугнуть его тем, что объявит про их тогдашний разговор, а оказалось, что тот уж и сам всё объявил.

— Чего мне бояться? Пускай всю правду истинную запишут, — твердо произнес Смердяков.

— И про наш разговор с тобой у ворот всё до слова рассказал?

— Нет, не то чтобы всё до слова-с.

— А что представляться в падучей умеешь, как хвастался мне тогда, тоже сказал?

— Нет, этого тоже не сказал-с.

— Скажи ты мне теперь, для чего ты меня тогда в Чермашню посылал?

— Боялся, что в Москву уедете, в Чермашню всё же ближе-с.

— Врешь, ты сам приглашал меня уехать: уезжайте, говорил, от греха долой!

— Это я тогда по единому к вам дружеству и по сердечной моей преданности, предчувствуя в доме беду-с, вас жалеючи. Только себя больше вашего сожалел-с. Потому и говорил: уезжайте от греха, чтобы вы поняли, что дома худо будет, и остались бы родителя защитить.

— Так ты бы прямее сказал, дурак! — вспыхнул вдруг Иван Федорович.

— Как же бы я мог тогда прямее сказать-с? Один лишь страх во мне говорил-с, да и вы могли осердиться. Я, конечно, опасаться мог, чтобы Дмитрий Федорович не сделали какого скандалу, и самые эти деньги не унесли, так как их всё равно что за свои почитали, а вот кто же знал, что таким убивством кончится? Думал, они просто только похитят эти три тысячи рублей, что у барина под тюфяком лежали-с, в пакете-с, а они вот убили-с. Где же и вам угадать было, сударь?

— Так если сам говоришь, что нельзя было угадать, как же я мог догадаться и остаться? Что ты путаешь? — вдумываясь, проговорил Иван Федорович.

— А потому и могли догадаться, что я вас в Чермашню направляю вместо этой Москвы-с.

— Да как тут догадаться!

Смердяков казался очень утомленным и опять помолчал с минуту.

— Тем самым-с догадаться могли-с, что коли я вас от Москвы в Чермашню отклоняю, то, значит, присутствия вашего здесь желаю ближайшего, потому что Москва далеко, а Дмитрий Федорович, знамши, что вы недалеко, не столь ободрены будут. Да и меня могли в большей скорости, в случае чего, приехать и защи-

тить, ибо сам я вам на болезнь Григория Васильича к тому же указывал, да и то, что падучей боюсь. А объяснив вам про эти стуки, по которым к покойному можно было войти, и что они Дмитрию Федоровичу через меня все известны, думал, что вы уже сами тогда догадаетесь, что они что-нибудь непременно совершат, и не то что в Чермашню, а и вовсе останетесь.

«Он очень связно говорит, — подумал Иван Федорович, — хоть и мямлит; про какое же Герценштубе говорил расстройство способностей?»

— Хитришь ты со мной, черт тебя дери! — воскликнул он, осердившись.

— А я, признаться, тогда подумал, что вы уж совсем догадались, — с самым простодушным видом отпарировал Смердяков.

— Кабы догадался, так остался бы! — вскричал Иван Федорович, опять вспыхнув.

— Ну-с, а я-то думал, что вы, обо всем догадамшись, скорее как можно уезжаете лишь от греха одного, чтобы только убежать куда-нибудь, себя спасая от страху-с.

— Ты думал, что все такие же трусы, как ты?

— Простите-с, подумал, что и вы, как и я.

— Конечно, надо было догадаться, — волновался Иван, — да я и догадывался об чем-нибудь мерзком с твоей стороны... Только ты врешь, опять врешь, — вскричал он, вдруг припомнив. — Помнишь, как ты к тарантасу тогда подошел и мне сказал: «С умным человеком и поговорить любопытно». Значит, рад был, что я уезжаю, коль похвалил?

Смердяков еще и еще раз вздохнул. В лице его как бы показалась краска.

— Если был рад, — произнес он, несколько задыхаясь, — то тому единственно, что не в Москву, а в Чермашню согласились. Потому всё же ближе; а только я вам те самые слова не в похвалу тогда произнес, а в попрек-с. Не разобрали вы этого-с.

— В какой попрек?

— А то, что, предчувствуя такую беду, собственного родителя оставляете-с и нас защитить не хотите, потому что меня за эти три тысячи всегда могли притянуть, что я их украл-с.

— Черт тебя дери! — опять обругался Иван. — Стой: ты про знаки, про стуки эти, следователю и прокурору объявил?

— Всё как есть объявил-с.

Иван Федорович опять про себя удивился.

— Если я подумал тогда об чем, — начал он опять, — то это про мерзость какую-нибудь единственно с твоей стороны. Дмитрий мог убить, но что он украдет — я тогда не верил... А с твоей стороны всякой мерзости ждал. Сам же ты мне сказал, что притворяться в падучей умеешь, для чего ты это сказал?

— По единому моему простодушию. Да и никогда я в жизни не представлялся в падучей нарочно, а так только, чтоб похва-

литься пред вами, сказал. Одна глупость-с. Полюбил я вас тогда очень и был с вами по всей простоте.

— Брат прямо тебя обвиняет, что ты убил и что ты украл.

— Да им что же больше остается? — горько осклабился Смердяков, — и кто же им поверит после всех тех улик? Дверь-то Григорий Васильевич отпертую видели-с, после этого как же-с. Да что уж, бог с ними! Себя спасая, дрожат...

Он тихо помолчал и вдруг, как бы сообразив, прибавил:

— Ведь вот-с, опять это самое: они на меня свалить желают, что это моих рук дело-с, — это я уже слышал-с, — а вот хоть бы это самое, что я в падучей представляться мастер: ну сказал ли бы я вам наперед, что представляться умею, если б у меня в самом деле какой замысел тогда был на родителя вашего? Коль такое убивство уж я замыслил, то можно ли быть столь дураком, чтобы вперед на себя такую улику сказать, да еще сыну родному, помилуйте-с?! Похоже это на вероятие? Это, чтоб это могло быть-с, так, напротив, совсем никогда-с. Вот теперь этого нашего с вами разговору никто не слышит, кроме самого этого провидения-с, а если бы вы сообщили прокурору и Николаю Парфеновичу, так тем самым могли бы меня вконец защитить-с: ибо что за злодей за такой, коли заранее столь простодушен? Все это рассудить очень могут.

— Слушай, — встал с места Иван Федорович, пораженный последним доводом Смердякова и прерывая разговор, — я тебя вовсе не подозреваю и даже считаю смешным обвинять... напротив, благодарен тебе, что ты меня успокоил. Теперь иду, но опять зайду. Пока прощай, выздоравливай. Не нуждаешься ли в чем?

— Во всем благодарен-с. Марфа Игнатьевна не забывает меня-с и во всем способствует, коли что мне надо, по прежней своей доброте. Ежедневно навещают добрые люди.

— До свидания. Я, впрочем, про то, что ты притвориться умеешь, не скажу... да и тебе советую не показывать, — проговорил вдруг почему-то Иван.

— Очень понимаю-с. А коли вы этого не покажете, то и я-с всего нашего с вами разговору тогда у ворот не объявлю...

Тут случилось так, что Иван Федорович вдруг вышел и, только пройдя уже шагов десять по коридору, вдруг почувствовал, что в последней фразе Смердякова заключался какой-то обидный смысл. Он хотел было уже вернуться, но это только мелькнуло, и проговорив: «Глупости!» — он поскорее пошел из больницы. Главное, он чувствовал, что действительно был успокоен, и именно тем обстоятельством, что виновен не Смердяков, а брат его Митя, хотя, казалось бы, должно было выйти напротив. Почему так было — он не хотел тогда разбирать, даже чувствовал отвращение копаться в своих ощущениях. Ему поскорее хотелось как бы что-то забыть. Затем в следующие несколько дней он уже совсем убедился в виновности Мити, когда ближе и основательнее ознакомился со всеми удручавшими того уликами. Были

показания самых ничтожных людей, но почти потрясающие, например Фени и ее матери. Про Перхотина, про трактир, про лавку Плотниковых, про свидетелей в Мокром и говорить было нечего. Главное, удручали подробности. Известие о тайных «стуках» поразило следователя и прокурора почти в той же степени, как и показание Григория об отворенной двери. Жена Григория, Марфа Игнатьевна, на спрос Ивана Федоровича, прямо заявила ему, что Смердяков всю ночь лежал у них за перегородкой, «трех шагов от нашей постели не было», и что хоть и спала она сама крепко, но много раз пробуждалась, слыша, как он тут стонет: «Всё время стонал, беспрерывно стонал». Поговорив с Герценштубе и сообщив ему свое сомнение о том, что Смердяков вовсе не кажется ему помешанным, а только слабым, он только вызвал у старика тоненькую улыбочку. «А вы знаете, чем он теперь особенно занимается? — спросил он Ивана Федоровича, — французские вокабулы наизусть учит; у него под подушкой тетрадка лежит и французские слова русскими буквами кем-то записаны, хе-хе-хе!» Иван Федорович оставил наконец все сомнения. О брате Дмитрии он уже и подумать не мог без омерзения. Одно было все-таки странно: что Алеша упорно продолжал стоять на том, что убил не Дмитрий, а «по всей вероятности» Смердяков. Иван всегда чувствовал, что мнение Алеши для него высоко, а потому теперь очень недоумевал на него. Странно было и то, что Алеша не искал с ним разговоров о Мите и сам не начинал никогда, а лишь отвечал на вопросы Ивана. Это тоже сильно заметил Иван Федорович. Впрочем, в то время он очень был развлечен одним совсем посторонним обстоятельством: приехав из Москвы, он в первые же дни весь и бесповоротно отдался пламенной и безумной страсти своей к Катерине Ивановне. Здесь не место начинать об этой новой страсти Ивана Федоровича, отразившейся потом на всей его жизни: это всё могло бы послужить канвой уже иного рассказа, другого романа, который и не знаю, предприму ли еще когда-нибудь. Но всё же не могу умолчать и теперь о том, что когда Иван Федорович, идя, как уже описал я, ночью с Алешей от Катерины Ивановны, сказал ему: «Я-то до нее не охотник», — то страшно лгал в ту минуту: он безумно любил ее, хотя правда и то, что временами ненавидел ее до того, что мог даже убить. Тут сходилось много причин: вся потрясенная событием с Митей, она бросилась к возвратившемуся к ней опять Ивану Федоровичу как бы к какому своему спасителю. Она была обижена, оскорблена, унижена в своих чувствах. И вот явился опять человек, который ее и прежде так любил, — о, она слишком это знала, — и которого ум и сердце она всегда ставила столь высоко над собой. Но строгая девушка не отдала себя в жертву всю, несмотря на весь карамазовский безудерж желаний своего влюбленного и на всё обаяние его на нее. В то же время мучилась беспрерывно раскаянием, что изменила Мите, и в грозные, ссорные минуты с Иваном (а их было много) прямо высказывала это ему. Это-то и назвал он, говоря

с Алешей, «ложью на лжи». Тут, конечно, было и в самом деле много лжи, и это всего более раздражало Ивана Федоровича... но всё это потом. Словом, он на время почти забыл о Смердякове. И, однако, две недели спустя после первого к нему посещения начали его опять мучить всё те же странные мысли, как и прежде. Довольно сказать, что он беспрерывно стал себя спрашивать: для чего он тогда, в последнюю свою ночь, в доме Федора Павловича, пред отъездом своим, сходил тихонько, как вор, на лестницу и прислушивался, что делает внизу отец? Почему с отвращением вспоминал это потом, почему на другой день утром в дороге так вдруг затосковал, а въезжая в Москву, сказал себе: «Я подлец!» И вот теперь ему однажды подумалось, что из-за всех этих мучительных мыслей он, пожалуй, готов забыть даже и Катерину Ивановну, до того они сильно им вдруг опять овладели! Как раз, подумав это, он встретил Алешу на улице. Он тотчас остановил его и вдруг задал ему вопрос:

— Помнишь ты, когда после обеда Дмитрий ворвался в дом и избил отца, и я потом сказал тебе на дворе, что «право желаний» оставляю за собой, — скажи, подумал ты тогда, что я желаю смерти отца, или нет?

— Подумал, — тихо ответил Алеша.

— Оно, впрочем, так и было, тут и угадывать было нечего. Но не подумалось ли тебе тогда и то, что я именно желаю, чтоб «один гад съел другую гадину», то есть чтоб именно Дмитрий отца убил, да еще поскорее... и что и сам я поспособствовать даже не прочь?

Алеша слегка побледнел и молча смотрел в глаза брату.

— Говори же! — воскликнул Иван. — Я изо всей силы хочу знать, что ты тогда подумал. Мне надо; правду, правду! — Он тяжело перевел дух, уже заранее с какою-то злобой смотря на Алешу.

— Прости меня, я и это тогда подумал, — прошептал Алеша и замолчал, не прибавив ни одного «облегчающего обстоятельства».

— Спасибо! — отрезал Иван и, бросив Алешу, быстро пошел своею дорогой. С тех пор Алеша заметил, что брат Иван как-то резко начал от него отдаляться и даже как бы невзлюбил его, так что потом и сам он уже перестал ходить к нему. Но в ту минуту, сейчас после той с ним встречи, Иван Федорович, не заходя домой, вдруг направился опять к Смердякову.

VII

ВТОРОЙ ВИЗИТ К СМЕРДЯКОВУ

Смердяков к тому времени уже выписался из больницы. Иван Федорович знал его новую квартиру: именно в этом перекосившемся бревенчатом маленьком домишке в две избы, разделенные сенями. В одной избе поместилась Марья Кондратьевна с матерью, а в другой Смердяков, особливо. Бог знает на каких основаниях

он у них поселился: даром ли проживал или за деньги? Впоследствии полагали, что поселился он у них в качестве жениха Марьи Кондратьевны и проживал пока даром. И мать и дочь его очень уважали и смотрели на него как на высшего пред ними человека. Достучавшись, Иван Федорович вступил в сени и, по указанию Марьи Кондратьевны, прошел прямо налево в «белую избу», занимаемую Смердяковым. В этой избе печь стояла изразцовая и была сильно натоплена. По стенам красовались голубые обои, правда все изодранные, а под ними в трещинах копошились тараканы-прусаки в страшном количестве, так что стоял неумолкаемый шорох. Мебель была ничтожная: две скамьи по обеим стенам и два стула подле стола. Стол же, хоть и просто деревянный, был накрыт, однако, скатертью с розовыми разводами. На двух маленьких окошках помещалось на каждом по горшку с геранями. В углу киот с образами. На столе стоял небольшой, сильно помятый медный самоварчик и поднос с двумя чашками. Но чай Смердяков уже отпил, и самовар погас... Сам он сидел за столом на лавке и, смотря в тетрадь, что-то чертил пером. Пузырек с чернилами находился подле, равно как и чугунный низенький подсвечник со стеариновою, впрочем, свечкой. Иван Федорович тотчас заключил по лицу Смердякова, что оправился он от болезни вполне. Лицо его было свежée, полнее, хохолок взбит, височки примазаны. Сидел он в пестром ватном халате, очень, однако, затасканном и порядочно истрепанном. На носу его были очки, которых Иван Федорович не видывал у него прежде. Это пустейшее обстоятельство вдруг как бы вдвое даже озлило Ивана Федоровича: «Этакая тварь, да еще в очках!» Смердяков медленно поднял голову и пристально посмотрел в очки на вошедшего; затем тихо их снял и сам приподнялся на лавке, но как-то совсем не столь почтительно, как-то даже лениво, единственно чтобы соблюсти только лишь самую необходимейшую учтивость, без которой уже нельзя почти обойтись. Всё это мигом мелькнуло Ивану, и всё это он сразу обхватил и заметил, а главное — взгляд Смердякова, решительно злобный, неприветливый и даже надменный: «чего, дескать, шляешься, обо всем ведь тогда сговорились, зачем же опять пришел?» Иван Федорович едва сдержал себя:

— Жарко у тебя, — сказал он, еще стоя, и расстегнул пальто.

— Снимите-с, — позволил Смердяков.

Иван Федорович снял пальто и бросил его на лавку, дрожащими руками взял стул, быстро придвинул его к столу и сел. Смердяков успел опуститься на свою лавку раньше его.

— Во-первых, одни ли мы? — строго и стремительно спросил Иван Федорович. — Не услышат нас оттуда?

— Никто ничего не услышит-с. Сами видели: сени.

— Слушай, голубчик: что ты такое тогда сморозил, когда я уходил от тебя из больницы, что если я промолчу о том, что ты мастер представляться в падучей, то и ты-де не объявишь всего следователю о нашем разговоре с тобой у ворот? Что это такое

всего? Что ты мог тогда разуметь? Угрожал ты мне, что ли? Что я в союз, что ли, в какой с тобою вступал, боюсь тебя, что ли?

Иван Федорович проговорил это совсем в ярости, видимо и нарочно давая знать, что презирает всякий обиняк и всякий подход и играет в открытую. Глаза Смердякова злобно сверкнули, левый глазок замигал, и он тотчас же, хотя по обычаю своему сдержанно и мерно, дал и свой ответ: «Хочешь, дескать, начистоту, так вот тебе и эта самая чистота».

— А то самое я тогда разумел и для того я тогда это произносил, что вы, знамши наперед про это убивство родного родителя вашего, в жертву его тогда оставили, и чтобы не заключили после сего люди чего дурного об ваших чувствах, а может, и об чем ином прочем, — вот что тогда обещался я начальству не объявлять.

Проговорил Смердяков хоть и не спеша и обладая собою по-видимому, но уж в голосе его даже послышалось нечто твердое и настойчивое, злобное и нагло-вызывающее. Дерзко уставился он в Ивана Федоровича, а у того в первую минуту даже в глазах зарябило:

— Как? Что? Да ты в уме али нет?

— Совершенно в полном своем уме-с.

— Да разве я *знал* тогда про убийство? — вскричал наконец Иван Федорович и крепко стукнул кулаком по столу. — Что значит: «об чем ином прочем»? — говори, подлец!

Смердяков молчал и всё тем же наглым взглядом продолжал осматривать Ивана Федоровича.

— Говори, смердящая шельма, об чем «ином прочем»? — завопил тот.

— А об том «ином прочем» я сею минутой разумел, что вы, пожалуй, и сами очень желали тогда смерти родителя вашего.

Иван Федорович вскочил и изо всей силы ударил его кулаком в плечо, так что тот откачнулся к стене. В один миг всё лицо его облилось слезами, и, проговорив: «Стыдно, сударь, слабого человека бить!», он вдруг закрыл глаза своим бумажным с синими клеточками и совершенно засморканным носовым платком и погрузился в тихий слезный плач. Прошло с минуту.

— Довольно! Перестань! — повелительно сказал наконец Иван Федорович, садясь опять на стул. — Не выводи меня из последнего терпения.

Смердяков отнял от глаз свою тряпочку. Всякая черточка его сморщенного лица выражала только что перенесенную обиду.

— Так ты, подлец, подумал тогда, что я заодно с Дмитрием хочу отца убить?

— Мыслей ваших тогдашних не знал-с, — обиженно проговорил Смердяков, — а потому и остановил вас тогда, как вы входили в ворота, чтобы вас на этом самом пункте испытать-с.

— Что испытать? Что?

— А вот именно это самое обстоятельство: хочется иль не хочется вам, чтобы ваш родитель был поскорее убит?

Всего более возмущал Ивана Федоровича этот настойчивый наглый тон, от которого упорно не хотел отступить Смердяков.

— Это ты его убил! — воскликнул он вдруг.

Смердяков презрительно усмехнулся.

— Что не я убил, это вы знаете сами доподлинно. И думал я, что умному человеку и говорить о сем больше нечего.

— Но почему, почему у тебя явилось тогда такое на меня подозрение?

— Как уж известно вам, от единого страху-с. Ибо в таком был тогда положении, что, в страхе сотрясаясь, всех подозревал. Вас тоже положил испытать-с, ибо если и вы, думаю, того же самого желаете, что и братец ваш, то и конец тогда всякому этому делу, а сам пропаду заодно, как муха.

— Слушай, ты две недели назад не то говорил.

— То же самое и в больнице, говоря с вами, разумел, а только полагал, что вы и без лишних слов поймете и прямого разговора не желаете сами, как самый умный человек-с.

— Ишь ведь! Но отвечай, отвечай, я настаиваю: с чего именно, чем именно я мог вселить тогда в твою подлую душу такое низкое для меня подозрение?

— Чтоб убить — это вы сами ни за что не могли-с, да и не хотели, а чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели.

— И как спокойно, как спокойно ведь говорит! Да с чего мне хотеть, на кой ляд мне было хотеть?

— Как это так на кой ляд-с? А наследство-то-с? — ядовито и как-то даже отмстительно подхватил Смердяков. — Ведь вам тогда после родителя вашего на каждого из трех братцев без малого по сорока тысяч могло прийтись, а может, и того больше-с, а женись тогда Федор Павлович на этой самой госпоже-с, Аграфене Александровне, так уж та весь бы капитал тотчас же после венца на себя перевела, ибо они очень не глупые-с, так что вам всем троим братцам и двух рублей не досталось бы после родителя. А много ль тогда до венца-то оставалось? Один волосок-с: стоило этой барыне вот так только мизинчиком пред ними сделать, и они бы тотчас в церковь за ними высуня язык побежали.

Иван Федорович со страданием сдержал себя.

— Хорошо, — проговорил он наконец, — ты видишь, я не вскочил, не избил тебя, не убил тебя. Говори дальше: стало быть, я, по-твоему, брата Дмитрия к тому и предназначал, на него и рассчитывал?

— Как же вам на них не рассчитывать было-с; ведь убей они, то тогда всех прав дворянства лишатся, чинов и имущества, и в ссылку пойдут-с. Так ведь тогда ихняя часть-с после родителя вам с братцем Алексеем Федоровичем останется, поровну-с, значит, уже не по сороку, а по шестидесяти тысяч вам пришлось

бы каждому-с. Это вы на Дмитрия Федоровича беспременно тогда рассчитывали!

— Ну терплю же я от тебя! Слушай, негодяй: если б я и рассчитывал тогда на кого-нибудь, так уж конечно бы на тебя, а не на Дмитрия, и, клянусь, предчувствовал даже от тебя какой-нибудь мерзости... тогда... я помню мое впечатление!

— И я тоже подумал тогда, минутку одну, что и на меня тоже рассчитываете, — насмешливо осклабился Смердяков, — так что тем самым еще более тогда себя предо мной обличили, ибо если предчувствовали на меня и в то же самое время уезжали, значит, мне тем самым точно как бы сказали: это ты можешь убить родителя, а я не препятствую.

— Подлец! Ты так понял!

— А всё чрез эту самую Чермашню-с. Помилосердуйте! Собираетесь в Москву и на все просьбы родителя ехать в Чермашню отказались-с! И по одному только глупому моему слову вдруг согласились-с! И на что вам было тогда соглашаться на эту Чермашню? Коли не в Москву, а поехали в Чермашню без причины, по единому моему слову, то, стало быть, чего-либо от меня ожидали.

— Нет, клянусь, нет! — завопил, скрежеща зубами, Иван.

— Как же это нет-с? Следовало, напротив, за такие мои тогдашние слова вам, сыну родителя вашего, меня первым делом в часть представить и выдрать-с... по крайности по мордасам тут же на месте отколотить, а вы, помилуйте-с, напротив, нимало не рассердимшись, тотчас дружелюбно исполняете в точности по моему весьма глупому слову-с и едете, что было вовсе нелепо-с, ибо вам следовало оставаться, чтобы хранить жизнь родителя... Как же мне было не заключить?

Иван сидел насупившись, конвульсивно опершись обоими кулаками в свои колена.

— Да, жаль, что не отколотил тебя по мордасам, — горько усмехнулся он. — В часть тогда тебя тащить нельзя было: кто ж бы мне поверил и на что я мог указать, ну а по мордасам... ух, жаль не догадался; хоть и запрещены мордасы, а сделал бы я из твоей хари кашу.

Смердяков почти с наслаждением смотрел на него.

— В обыкновенных случаях жизни, — проговорил он тем самодовольно-доктринерским тоном, с которым спорил некогда с Григорием Васильевичем о вере и дразнил его, стоя за столом Федора Павловича, — в обыкновенных случаях жизни мордасы ноне действительно запрещены по закону, и все перестали бить-с, ну, а в отличительных случаях жизни, так не то что у нас, а и на всем свете, будь хоша бы самая полная французская республика, всё одно продолжают бить, как и при Адаме и Еве-с, да и никогда того не перестанут-с, а вы и в отличительном случае тогда не посмели-с.

— Что это ты французские вокабулы учишь? — кивнул Иван на тетрадку, лежавшую на столе.

— А почему же бы мне их не учить-с, чтобы тем образованию моему способствовать, думая, что и самому мне когда в тех счастливых местах Европы, может, придется быть.

— Слушай, изверг, — засверкал глазами Иван и весь затрясся, — я не боюсь твоих обвинений, показывай на меня что хочешь, и если не избил тебя сейчас до смерти, то единственно потому, что подозреваю тебя в этом преступлении и притяну к суду. Я еще тебя обнаружу!

— А по-моему, лучше молчите-с. Ибо что можете вы на меня объявить в моей совершенной невинности и кто вам поверит? А только если начнете, то и я всё расскажу-с, ибо как же бы мне не защитить себя?

— Ты думаешь, я тебя теперь боюсь?

— Пусть этим всем моим словам, что вам теперь говорил, в суде не поверят-с, зато в публике поверят-с, и вам стыдно станет-с.

— Это значит опять-таки что: «с умным человеком и поговорить любопытно» — а? — проскрежетал Иван.

— В самую точку изволили-с. Умным и будьте-с.

Иван Федорович встал, весь дрожа от негодования, надел пальто и, не отвечая более Смердякову, даже не глядя на него, быстро вышел из избы. Свежий вечерний воздух освежил его. На небе ярко светила луна. Страшный кошмар мыслей и ощущений кипел в его душе. «Идти объявить сейчас на Смердякова? Но что же объявить: он все-таки невинен. Он, напротив, меня же обвинит. В самом деле, для чего я тогда поехал в Чермашню? Для чего, для чего? — спрашивал Иван Федорович. — Да, конечно, я чего-то ожидал, и он прав...» И ему опять в сотый раз припомнилось, как он в последнюю ночь у отца подслушивал к нему с лестницы, но с таким уже страданием теперь припомнилось, что он даже остановился на месте как пронзенный: «Да, я этого тогда ждал, это правда! Я хотел, я именно хотел убийства! Хотел ли я убийства, хотел ли?.. Надо убить Смердякова!.. Если я не смею теперь убить Смердякова, то не стоит и жить!..» Иван Федорович, не заходя домой, прошел тогда прямо к Катерине Ивановне и испугал ее своим появлением: он был как безумный. Он передал ей весь свой разговор со Смердяковым, весь до черточки. Он не мог успокоиться, сколько та ни уговаривала его, всё ходил по комнате и говорил отрывисто, странно. Наконец сел, облокотился на стол, упер голову в обе руки и вымолвил странный афоризм:

— Если б убил не Дмитрий, а Смердяков, то, конечно, я тогда с ним солидарен, ибо я подбивал его. Подбивал ли я его — еще не знаю. Но если только он убил, а не Дмитрий, то, конечно, убийца и я.

Выслушав это, Катерина Ивановна молча встала с места, пошла к своему письменному столу, отперла стоявшую на нем шкатулку, вынула какую-то бумажку и положила ее пред Иваном. Эта бумажка была тот самый документ, о котором Иван Федорович потом объявил Алеше как о «математическом доказательстве»,

что убил отца брат Дмитрий. Это было письмо, написанное Митей в пьяном виде к Катерине Ивановне, в тот самый вечер, когда он встретился в поле с Алешей, уходившим в монастырь, после сцены в доме Катерины Ивановны, когда ее оскорбила Грушенька. Тогда, расставшись с Алешей, Митя бросился было к Грушеньке; неизвестно, видел ли ее, но к ночи очутился в трактире «Столичный город», где как следует и напился. Пьяный, он потребовал перо и бумагу и начертал важный на себя документ. Это было исступленное, многоречивое и бессвязное письмо, именно «пьяное». Похоже было на то, когда пьяный человек, воротясь домой, начинает с необычайным жаром рассказывать жене или кому из домашних, как его сейчас оскорбили, какой подлец его оскорбитель, какой он сам, напротив, прекрасный человек и как он тому подлецу задаст, — и всё это длинно-длинно, бессвязно и возбужденно, со стуком кулаками по столу, с пьяными слезами. Бумага для письма, которую ему подали в трактире, была грязненький клочок обыкновенной письменной бумаги, плохого сорта и на обратной стороне которого был написан какой-то счет. Пьяному многоречию, очевидно, недостало места, и Митя уписал не только все поля, но даже последние строчки были написаны накрест уже по написанному. Письмо было следующего содержания: «Роковая Катя! Завтра достану деньги и отдам тебе твои три тысячи, и прощай — великого гнева женщина, но прощай и любовь моя! Кончим! Завтра буду доставать у всех людей, а не достану у людей, то даю тебе честное слово, пойду к отцу и проломлю ему голову и возьму у него под подушкой, только бы уехал Иван. В каторгу пойду, а три тысячи отдам. А сама прощай. Кланяюсь до земли, ибо пред тобой подлец. Прости меня. Нет, лучше не прощай: легче и мне и тебе! Лучше в каторгу, чем твоя любовь, ибо другую люблю, а ее слишком сегодня узнала, как же ты можешь простить? Убью вора моего! От всех вас уйду на Восток, чтоб никого не знать. *Ее* тоже, ибо не ты одна мучительница, а и она. Прощай!

P. S. Проклятие пишу, а тебя обожаю! Слышу в груди моей. Осталась струна и звенит. Лучше сердце пополам! Убью себя, а сначала все-таки пса. Вырву у него три и брошу тебе. Хоть подлец пред тобой, а не вор! Жди трех тысяч. У пса под тюфяком, розовая ленточка. Не я вор, а вора моего убью. Катя, не гляди презрительно: Димитрий не вор, а убийца! Отца убил и себя погубил, чтобы стоять и гордости твоей не выносить. И тебя не любить.

PP. S. Ноги твои целую, прощай!

PP. SS. Катя, моли бога, чтобы дали люди деньги. Тогда не буду в крови, а не дадут — в крови! Убей меня!

Раб и враг
Д. Карамазов».

Когда Иван прочел «документ», то встал убежденный. Значит, убил брат, а не Смердяков. Не Смердяков, то, стало быть, и не он, Иван. Письмо это вдруг получило в глазах его смысл матема-

тический. Никаких сомнений в виновности Мити быть для него не могло уже более. Кстати, подозрения о том, что Митя мог убить вместе со Смердяковым, у Ивана никогда не было, да это не вязалось и с фактами. Иван был вполне успокоен. На другое утро он лишь с презрением вспоминал о Смердякове и о насмешках его. Чрез несколько дней даже удивлялся, как мог он так мучительно обидеться его подозрениями. Он решился презреть его и забыть. Так прошел месяц. О Смердякове он не расспрашивал больше ни у кого, но слышал мельком, раза два, что тот очень болен и не в своем рассудке. «Кончит сумасшествием», — сказал раз про него молодой врач Варвинский, и Иван это запомнил. В последнюю неделю этого месяца Иван сам начал чувствовать себя очень худо. С приехавшим пред самым судом доктором из Москвы, которого выписала Катерина Ивановна, он уже ходил советоваться. И именно в это же время отношения его к Катерине Ивановне обострились до крайней степени. Это были какие-то два влюбленные друг в друга врага. Возвраты Катерины Ивановны к Мите, мгновенные, но сильные, уже приводили Ивана в совершенное исступление. Странно, что до самой последней сцены, описанной нами у Катерины Ивановны, когда пришел к ней от Мити Алеша, он, Иван, не слыхал от нее ни разу во весь месяц сомнений в виновности Мити, несмотря на все ее «возвраты» к нему, которые он так ненавидел. Замечательно еще и то, что он, чувствуя, что ненавидит Митю с каждым днем всё больше и больше, понимал в то же время, что не за «возвраты» к нему Кати ненавидел его, а именно *за то, что он убил отца!* Он чувствовал и сознавал это сам вполне. Тем не менее дней за десять пред судом он ходил к Мите и предложил ему план бегства, — план, очевидно, еще задолго задуманный. Тут, кроме главной причины, побудившей его к такому шагу, виновата была и некоторая незаживавшая в сердце его царапина от одного словечка Смердякова, что будто бы ему, Ивану, выгодно, чтоб обвинили брата, ибо сумма по наследству от отца возвысится тогда для него с Алешей с сорока на шестьдесят тысяч. Он решился пожертвовать тридцатью тысячами с одной своей стороны, чтоб устроить побег Мити. Возвращаясь тогда от него, он был страшно грустен и смущен: ему вдруг начало чувствоваться, что он хочет побега не для того только, чтобы пожертвовать на это тридцать тысяч и заживить царапину, а и почему-то другому. «Потому ли, что в душе и я такой же убийца?» — спросил было он себя. Что-то отдаленное, но жгучее язвило его душу. Главное же, во весь этот месяц страшно страдала его гордость, но об этом потом... Взявшись за звонок своей квартиры после разговора с Алешей и порешив вдруг идти к Смердякову, Иван Федорович повиновался одному особливому, внезапно вскипевшему в груди его негодованию. Он вдруг вспомнил, как Катерина Ивановна сейчас только воскликнула ему при Алеше: «Это ты, только ты один уверил меня, что он (то есть Митя) убийца!» Вспомнив это, Иван даже остолбенел: никогда

в жизни не уверял он ее, что убийца Митя, напротив, еще себя подозревал тогда пред нею, когда воротился от Смердякова. Напротив, это *она*, она ему выложила тогда «документ» и доказала виновность брата! И вдруг она же теперь восклицает: «Я сама была у Смердякова!» Когда была? Иван ничего не знал об этом. Значит, она совсем не так уверена в виновности Мити! И что мог ей сказать Смердяков? Что, что именно он ей сказал? Страшный гнев загорелся в его сердце. Он не понимал, как мог он полчаса назад пропустить ей эти слова и не закричать тогда же. Он бросил звонок и пустился к Смердякову. «Я убью его, может быть, в этот раз», — подумал он дорогой.

VIII

ТРЕТЬЕ, И ПОСЛЕДНЕЕ, СВИДАНИЕ СО СМЕРДЯКОВЫМ

Еще на полпути поднялся острый, сухой ветер, такой же, как был в этот день рано утром, и посыпал мелкий, густой, сухой снег. Он падал на землю, не прилипая к ней, ветер крутил его, и вскоре поднялась совершенная метель. В той части города, где жил Смердяков, у нас почти и нет фонарей. Иван Федорович шагал во мраке, не замечая метели, инстинктивно разбирая дорогу. У него болела голова и мучительно стучало в висках. В кистях рук, он чувствовал это, были судороги. Несколько не доходя до домишка Марьи Кондратьевны, Иван Федорович вдруг повстречал одинокого пьяного, маленького ростом мужичонка, в заплатанном зипунишке, шагавшего зигзагами, ворчавшего и бранившегося и вдруг бросавшего браниться и начинавшего сиплым пьяным голосом песню:

Ах поехал Ванька в Питер,
Я не буду его ждать!

Но он всё прерывал на этой второй строчке и опять начинал кого-то бранить, затем опять вдруг затягивал ту же песню. Иван Федорович давно уже чувствовал страшную к нему ненависть, об нем еще совсем не думая, и вдруг его осмыслил. Тотчас же ему неотразимо захотелось пришибить сверху кулаком мужичонку. Как раз в это мгновение они поверстались рядом, и мужичонко, сильно качнувшись, вдруг ударился изо всей силы об Ивана. Тот бешено оттолкнул его. Мужичонко отлетел и шлепнулся, как колода, об мерзлую землю, болезненно простонав только один раз: о-о! и замолк. Иван шагнул к нему. Тот лежал навзничь, совсем неподвижно, без чувств. «Замерзнет!» — подумал Иван и зашагал опять к Смердякову.

Еще в сенях Марья Кондратьевна, выбежавшая отворить со свечкой в руках, зашептала ему, что Павел Федорович (то есть Смердяков) оченно больны-с, не то что лежат-с, а почти как не в своем уме-с и даже чай велели убрать, пить не захотели.

— Что ж он, буянит, что ли? — грубо спросил Иван Федорович.

— Какое, напротив, совсем тихие-с, только вы с ними не очень долго разговаривайте... — попросила Марья Кондратьевна.

Иван Федорович отворил дверь и шагнул в избу.

Натоплено было так же, как и в прежний раз, но в комнате заметны были некоторые перемены: одна из боковых лавок была вынесена, и на место ее явился большой старый кожаный диван под красное дерево. На нем была постлана постель с довольно чистыми белыми подушками. На постели сидел Смердяков всё в том же своем халате. Стол перенесен был пред диван, так что в комнате стало очень тесно. На столе лежала какая-то толстая в желтой обертке книга, но Смердяков не читал ее, он, кажется, сидел и ничего не делал. Длинным, молчаливым взглядом встретил он Ивана Федоровича и, по-видимому, нисколько не удивился его прибытию. Он очень изменился в лице, очень похудел и пожелтел. Глаза впали, нижние веки посинели.

— Да ты и впрямь болен? — остановился Иван Федорович. — Я тебя долго не задержу и пальто даже не сниму. Где у тебя сесть-то?

Он зашел с другого конца стола, придвинул к столу стул и сел.

— Что смотришь и молчишь? Я с одним только вопросом, и клянусь, не уйду от тебя без ответа: была у тебя барыня, Катерина Ивановна?

Смердяков длинно помолчал, по-прежнему всё тихо смотря на Ивана, но вдруг махнул рукой и отвернул от него лицо.

— Чего ты? — воскликнул Иван.

— Ничего.

— Что ничего?

— Ну, была, ну и всё вам равно. Отстаньте-с.

— Нет, не отстану! Говори, когда была?

— Да я и помнить об ней забыл, — презрительно усмехнулся Смердяков и вдруг опять, оборотя лицо к Ивану, уставился на него с каким-то исступленно-ненавистным взглядом, тем самым взглядом, каким глядел на него в то свидание, месяц назад.

— Сами, кажись, больны, ишь осунулись, лица на вас нет, — проговорил он Ивану.

— Оставь мое здоровье, говори, об чем спрашивают.

— А чего у вас глаза пожелтели, совсем белки желтые. Мучаетесь, что ли, очень?

Он презрительно усмехнулся и вдруг совсем уж рассмеялся.

— Слушай, я сказал, что не уйду от тебя без ответа! — в страшном раздражении крикнул Иван.

— Чего вы ко мне пристаете-с? Чего меня мучите? — со страданием проговорил Смердяков.

— Э, черт! Мне до тебя нет и дела. Ответь на вопрос, и я тотчас уйду.

— Нечего мне вам отвечать! — опять потупился Смердяков.

— Уверяю тебя, что я заставлю тебя отвечать!

— Чего вы всё беспокоитесь? — вдруг уставился на него Смердяков, но не то что с презрением, а почти с какою-то уже гадливостью, — это что суд-то завтра начнется? Так ведь ничего вам не будет, уверьтесь же наконец! Ступайте домой, ложитесь спокойно спать, ничего не опасайтесь.

— Не понимаю я тебя... чего мне бояться завтра? — удивленно выговорил Иван, и вдруг в самом деле какой-то испуг холодом пахнул на его душу. Смердяков обмерил его глазами.

— Не по-ни-маете? — протянул он укоризненно. — Охота же умному человеку этакую комедь из себя представлять!

Иван молча глядел на него. Один уж этот неожиданный тон, совсем какой-то небывало высокомерный, с которым этот бывший его лакей обращался теперь к нему, был необычен. Такого тона все-таки не было даже и в прошлый раз.

— Говорю вам, нечего вам бояться. Ничего на вас не покажу, нет улик. Ишь руки трясутся. С чего у вас пальцы-то ходят? Идите домой, *не вы убили*.

Иван вздрогнул, ему вспомнился Алеша.

— Я знаю, что не я... — пролепетал было он.

— Зна-е-те? — опять подхватил Смердяков.

Иван вскочил и схватил его за плечо:

— Говори всё, гадина! Говори всё!

Смердяков нисколько не испугался. Он только с безумною ненавистью приковался к нему глазами.

— Ан вот вы-то и убили, коль так, — яростно прошептал он ему.

Иван опустился на стул, как бы что рассудив. Он злобно усмехнулся.

— Это ты всё про тогдашнее? Про то, что и в прошлый раз?

— Да и в прошлый раз стояли предо мной и всё понимали, понимаете и теперь.

— Понимаю только, что ты сумасшедший.

— Не надоест же человеку! С глазу на глаз сидим, чего бы, кажется, друг-то друга морочить, комедь играть? Али всё еще свалить на одного меня хотите, мне же в глаза? Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил.

— Совершил? Да разве ты убил? — похолодел Иван.

Что-то как бы сотряслось в его мозгу, и весь он задрожал мелкою холодною дрожью. Тут уж Смердяков сам удивленно посмотрел на него: вероятно, его, наконец, поразил своею искренностью испуг Ивана.

— Да неужто ж вы вправду ничего не знали? — пролепетал он недоверчиво, криво усмехаясь ему в глаза.

Иван всё глядел на него, у него как бы отнялся язык.

Ах поехал Ванька в Питер,
Я не буду его ждать, —

прозвенело вдруг в его голове.

— Знаешь что: я боюсь, что ты сон, что ты призрак предо мной сидишь? — пролепетал он.

— Никакого тут призрака нет-с, кроме нас обоих-с, да еще некоторого третьего. Без сумления, тут он теперь, третий этот, находится, между нами двумя.

— Кто он? Кто находится? Кто третий? — испуганно проговорил Иван Федорович, озираясь кругом и поспешно ища глазами кого-то по всем углам.

— Третий этот — бог-с, самое это провидение-с, тут оно теперь подле нас-с, только вы не ищите его, не найдете.

— Ты солгал, что ты убил! — бешено завопил Иван. — Ты или сумасшедший, или дразнишь меня, как и в прошлый раз!

Смердяков, как и давеча, совсем не пугаясь, всё пытливо следил за ним. Всё еще он никак не мог победить своей недоверчивости, всё еще казалось ему, что Иван «всё знает», а только так представляется, чтоб «ему же в глаза на него одного свалить».

— Подождите-с, — проговорил он наконец слабым голосом и вдруг, вытащив из-под стола свою левую ногу, начал завертывать на ней наверх панталоны. Нога оказалась в длинном белом чулке и обута в туфлю. Не торопясь, Смердяков снял подвязку и запустил в чулок глубоко свои пальцы. Иван Федорович глядел на него и вдруг затрясся в конвульсивном испуге.

— Сумасшедший! — завопил он и, быстро вскочив с места, откачнулся назад, так что стукнулся спиной об стену и как будто прилип к стене, весь вытянувшись в нитку. Он в безумном ужасе смотрел на Смердякова. Тот, нимало не смутившись его испугом, всё еще копался в чулке, как будто всё силясь пальцами что-то в нем ухватить и вытащить. Наконец ухватил и стал тащить. Иван Федорович видел, что это были какие-то бумаги или какая-то пачка бумаг. Смердяков вытащил ее и положил на стол.

— Вот-с! — сказал он тихо.

— Что? — ответил трясясь Иван.

— Извольте взглянуть-с, — так же тихо произнес Смердяков.

Иван шагнул к столу, взялся было за пачку и стал ее развертывать, но вдруг отдернул пальцы как будто от прикосновения какого-то отвратительного, страшного гада.

— Пальцы-то у вас всё дрожат-с, в судороге, — заметил Смердяков и сам не спеша развернул бумагу. Под оберткой оказались три пачки сторублевых радужных кредиток.

— Все здесь-с, все три тысячи, хоть не считайте. Примите-с, — пригласил он Ивана, кивая на деньги. Иван опустился на стул. Он был бледен как платок.

— Ты меня испугал... с этим чулком... — проговорил он, как-то странно ухмыляясь.

— Неужто же, неужто вы до сих пор не знали? — спросил еще раз Смердяков.

— Нет, не знал. Я всё на Дмитрия думал. Брат! Брат! Ах! — Он вдруг схватил себя за голову обеими руками. — Слушай: ты один убил? Без брата или с братом?

— Всего только вместе с вами-с; с вами вместе убил-с, а Дмитрий Федорович как есть безвинны-с.

— Хорошо, хорошо... Обо мне потом. Чего это я всё дрожу... Слова не могу выговорить.

— Всё тогда смелы были-с, «всё, дескать, позволено», говорили-с, а теперь вот так испугались! — пролепетал, дивясь, Смердяков. — Лимонаду не хотите ли, сейчас прикажу-с. Очень освежить может. Только вот это бы прежде накрыть-с.

И он опять кивнул на пачки. Он двинулся было встать кликнуть в дверь Марью Кондратьевну, чтобы та сделала и принесла лимонаду, но, отыскивая чем бы накрыть деньги, чтобы та не увидела их, вынул было сперва платок, но так как тот опять оказался совсем засморканным, то взял со стола ту единственную лежавшую на нем толстую желтую книгу, которую заметил, войдя, Иван, и придавил ею деньги. Название книги было: «Святого отца нашего Исаака Сирина слова». Иван Федорович успел машинально прочесть заглавие.

— Не хочу лимонаду, — сказал он. — Обо мне потом. Садись и говори: как ты это сделал? Всё говори...

— Вы бы пальто хоть сняли-с, а то весь взопреете.

Иван Федорович, будто теперь только догадавшись, сорвал пальто и бросил его, не сходя со стула, на лавку.

— Говори же, пожалуйста, говори!

Он как бы утих. Он уверенно ждал, что Смердяков *всё* теперь скажет.

— Об том, как это было сделано-с? — вздохнул Смердяков. — Самым естественным манером сделано было-с, с ваших тех самых слов...

— Об моих словах потом, — прервал опять Иван, но уже не крича, как прежде, твердо выговаривая слова и как бы совсем овладев собою. — Расскажи только в подробности, как ты это сделал. Всё по порядку. Ничего не забудь. Подробности, главное подробности. Прошу.

— Вы уехали, я упал тогда в погреб-с...

— В падучей или притворился?

— Понятно, что притворился-с. Во всем притворился. С лестницы спокойно сошел-с, в самый низ-с, и спокойно лег-с, а как лег, тут и завопил. И бился, пока вынесли.

— Стой! И всё время, и потом, и в больнице всё притворялся?

— Никак нет-с. На другой же день, наутро, до больницы еще, ударила настоящая, и столь сильная, что уже много лет таковой не бывало. Два дня был в совершенном беспамятстве.

— Хорошо, хорошо. Продолжай дальше.

— Положили меня на эту койку-с, я так и знал, что за перегородку-с, потому Марфа Игнатьевна во все разы, как я болен, всегда

меня на ночь за эту самую перегородку у себя в помещении клали-с. Нежные они всегда ко мне были с самого моего рождения-с. Ночью стонал-с, только тихо. Всё ожидал Дмитрия Федоровича.

— Как ждал, к себе?

— Зачем ко мне. В дом их ждал, потому сумления для меня уже не было никакого в том, что они в эту самую ночь прибудут, ибо им, меня лишимшись и никаких сведений не имемши, беспременно приходилось самим в дом влезть через забор-с, как они умели-с, и что ни есть совершить.

— А если бы не пришел?

— Тогда ничего бы и не было-с. Без них не решился бы.

— Хорошо, хорошо... говори понятнее, не торопись, главное — ничего не пропускай!

— Я ждал, что они Федора Павловича убьют-с... это наверно-с. Потому я их уже так приготовил... в последние дни-с... а главное — те знаки им стали известны. При ихней мнительности и ярости, что в них за эти дни накопилась, беспременно через знаки в самый дом должны были проникнуть-с. Это беспременно. Я так их и ожидал-с.

— Стой, — прервал Иван, — ведь если б он убил, то взял бы деньги и унес; ведь ты именно так должен был рассуждать? Что ж тебе-то досталось бы после него? Я не вижу.

— Так ведь деньги-то бы они никогда и не нашли-с. Это ведь их только я научил, что деньги под тюфяком. Только это была неправда-с. Прежде в шкатунке лежали, вот как было-с. А потом я Федора Павловича, так как они мне единственно во всем человечестве одному доверяли, научил пакет этот самый с деньгами в угол за образа перенесть, потому что там совсем никто не догадается, особенно коли спеша придет. Так он там, пакет этот, у них в углу за образами и лежал-с. А под тюфяком так и смешно бы их было держать вовсе, в шкатунке по крайней мере под ключом. А здесь все теперь поверили, что будто бы под тюфяком лежали. Глупое рассуждение-с. Так вот если бы Дмитрий Федорович совершили это самое убивство, то, ничего не найдя, или бы убежали-с поспешно, всякого шороху боясь, как и всегда бывает с убивцами, или бы арестованы были-с. Так я тогда всегда мог-с, на другой день али даже в ту же самую ночь-с за образа слазить и деньги эти самые унести-с, всё бы на Дмитрия Федоровича и свалилось. Это я всегда мог надеяться.

— Ну, а если б он не убил, а только избил?

— Если бы не убил, то я бы денег, конечно, взять не посмел и осталось бы втуне. Но был и такой расчет, что изобьют до бесчувствия, а я в то время и поспею взять, а там потом Федору-то Павловичу отлепартую, что это никто как Дмитрий Федорович, их избимши, деньги похитили.

— Стой... я путаюсь. Стало быть, всё же Дмитрий убил, а ты только деньги взял?

— Нет, это не они убили-с. Что ж, я бы мог вам и теперь сказать, что убивцы они... да не хочу я теперь пред вами лгать, пото-

му... потому что если вы действительно, как сам вижу, не понимали ничего доселева и не притворялись предо мной, чтоб явную вину свою на меня же в глаза свалить, то всё же вы виновны во всем-с, ибо про убивство вы знали-с и мне убить поручили-с, а сами, всё знамши, уехали. Потому и хочу вам в сей вечер это в глаза доказать, что главный убивец во всем здесь единый вы-с, а я только самый не главный, хоть это и я убил. А вы самый законный убивец и есть!

— Почему, почему я убийца? О боже! — не выдержал наконец Иван, забыв, что всё о себе отложил под конец разговора. — Это всё та же Чермашня-то? Стой, говори, зачем тебе было надо мое согласие, если уж ты принял Чермашню за согласие? Как ты теперь-то растолкуешь?

— Уверенный в вашем согласии, я уж знал бы, что вы за потерянные эти три тысячи, возвратясь, вопля не подымете, если бы почему-нибудь меня вместо Дмитрия Федоровича начальство заподозрило али с Дмитрием Федоровичем в товарищах; напротив, от других защитили бы... А наследство, получив, так и потом когда могли меня наградить, во всю следующую жизнь, потому что всё же вы через меня наследство это получить изволили, а то, женимшись на Аграфене Александровне, вышел бы вам один только шиш.

— А! Так ты намеревался меня и потом мучить, всю жизнь! — проскрежетал Иван. — А что, если б я тогда не уехал, а на тебя заявил?

— А что же бы вы могли тогда заявить? Что я вас в Чермашню-то подговаривал? Так ведь это глупости-с. К тому же вы после разговора нашего поехали бы али остались. Если б остались, то тогда бы ничего и не произошло, я бы так и знал-с, что вы дела этого не хотите, и ничего бы не предпринимал. А если уж поехали, то уж меня, значит, заверили в том, что на меня в суд заявить не посмеете и три эти тысячи мне простите. Да и не могли вы меня потом преследовать вовсе, потому что я тогда всё и рассказал бы на суде-с, то есть не то, что я украл аль убил, — этого бы я не сказал-с, — а то, что вы меня сами подбивали к тому, чтоб украсть и убить, а я только не согласился. Потому-то мне и надо было тогда ваше согласие, чтобы вы меня ничем не могли припереть-с, потому что где же у вас к тому доказательство, я же вас всегда мог припереть-с, обнаружив, какую вы жажду имели к смерти родителя, и вот вам слово — в публике все бы тому поверили и вам было бы стыдно на всю вашу жизнь.

— Так имел, так имел я эту жажду, имел? — проскрежетал опять Иван.

— Несомненно имели-с и согласием своим мне это дело молча тогда разрешили-с, — твердо поглядел Смердяков на Ивана. Он был очень слаб и говорил тихо и устало, но что-то внутреннее и затаенное поджигало его, у него, очевидно, было какое-то намерение. Иван это предчувствовал.

— Продолжай дальше, — сказал он ему, — продолжай про ту ночь.

— Дальше что же-с! Вот я лежу и слышу, как будто вскрикнул барин. А Григорий Васильич пред тем вдруг поднялись и вышли и вдруг завопили, а потом всё тихо, мрак. Лежу это я, жду, сердце бьется, вытерпеть не могу. Встал наконец и пошел-с — вижу налево окно в сад у них отперто, я и еще шагнул налево-то-с, чтобы прислушаться, живы ли они там сидят или нет, и слышу, что барин мечется и охает, стало быть, жив-с. Эх, думаю! Подошел к окну, крикнул барину: «Это я, дескать». А он мне: «Был, был, убежал!» То есть Дмитрий Федорович, значит, были-с. «Григория убил!» — «Где?» — шепчу ему. «Там, в углу», — указывает, сам тоже шепчет. «Подождите», — говорю. Пошел я в угол искать и у стены на Григория Васильевича лежащего и наткнулся, весь в крови лежит, в бесчувствии. Стало быть, верно, что был Дмитрий Федорович, вскочило мне тотчас в голову и тотчас тут же порешил всё это покончить внезапно-с, так как Григорий Васильевич если и живы еще, то, лежа в бесчувствии, пока ничего не увидят. Один только риск и был-с, что вдруг проснется Марфа Игнатьевна. Почувствовал я это в ту минуту, только уж жажда эта меня всего захватила, ажно дух занялся. Пришел опять под окно к барину и говорю: «Она здесь, пришла, Аграфена Александровна пришла, просится». Так ведь и вздрогнул весь, как младенец: «Где здесь? Где?» — так и охает, а сам еще не верит. «Там, говорю, стоит, отоприте!» Глядит на меня в окно-то и верит и не верит, а отпереть боится, это уж меня-то боится, думаю. И смешно же: вдруг я эти самые знаки вздумал им тогда по раме простучать, что Грушенька, дескать, пришла, при них же в глазах: словам-то как бы не верил, а как знаки я простучал, так тотчас же и побежали дверь отворить. Отворили. Я вошел было, а он стоит, телом-то меня и не пускает всего. «Где она, где она?» — смотрит на меня и трепещет. Ну, думаю: уж коль меня так боится — плохо! и тут у меня даже ноги ослабели от страху у самого, что не пустит он меня в комнаты-то, или крикнет, али Марфа Игнатьевна прибежит, али что ни есть выйдет, я уж не помню тогда, сам, должно быть, бледен пред ним стоял. Шепчу ему: «Да там, там она под окном, как же вы, говорю, не видели?» — «А ты ее приведи, а ты ее приведи!» — «Да боится, говорю, крику испугалась, в куст спряталась, подите крикните, говорю, сами из кабинета». Побежал он, подошел к окну, свечку на окно поставил. «Грушенька, кричит, Грушенька, здесь ты?» Сам-то это кричит, а в окно-то нагнуться не хочет, от меня отойти не хочет, от самого этого страху, потому забоялся меня уж очень, а потому отойти от меня не смеет. «Да вон она, говорю (подошел я к окну, сам весь высунулся), вон она в кусте-то, смеется вам, видите?» Поверил вдруг он, так и затрясся, больно уж они влюблены в нее были-с, да весь и высунулся в окно. Я тут схватил это самое пресс-папье чугунное, на столе у них, помните-с, фунта три ведь в нем будет, размахнулся, да сзади его в самое темя углом.

Не крикнул даже. Только вниз вдруг осел, а я в другой раз и в третий. На третьем-то почувствовал, что проломил. Они вдруг навзничь и повалились, лицом кверху, все-то в крови. Осмотрел я: нет на мне крови, не брызнуло, пресс-папье обтер, положил, за образа сходил, из пакета деньги вынул, а пакет бросил на пол и ленточку эту самую розовую подле. Сошел в сад, весь трясусь. Прямо к той яблоньке, что с дуплом, — вы дупло-то это знаете, а я его уж давно наглядел, в нем уж лежала тряпочка и бумага, давно заготовил; обернул всю сумму в бумагу, а потом в тряпку и заткнул глубоко. Так она там с лишком две недели оставалась, сумма-то эта самая-с, потом уж после больницы вынул. Воротился к себе на кровать, лег да и думаю в страхе: «Вот коли убит Григорий Васильевич совсем, так тем самым очень худо может произойти, а коли не убит и очнется, то оченно хорошо это произойдет, потому они будут тогда свидетелем, что Дмитрий Федорович приходили, а стало быть, они и убили, и деньги унесли-с». Начал я тогда от сумления и нетерпения стонать, чтобы Марфу Игнатьевну разбудить поскорей. Встала она наконец, бросилась было ко мне, да как увидала вдруг, что нет Григория Васильевича, выбежала и, слышу, завопила в саду. Ну, тут-с всё это и пошло на всю ночь, я уж во всем успокоен был.

Рассказчик остановился. Иван всё время слушал его в мертвенном молчании, не шевелясь, не спуская с него глаз. Смердяков же, рассказывая, лишь изредка на него поглядывал, но больше косился в сторону. Кончив рассказ, он видимо сам взволновался и тяжело переводил дух. На лице его показался пот. Нельзя было, однако, угадать, чувствует ли он раскаяние или что.

— Стой, — подхватил, соображая, Иван. — А дверь-то? Если отворил он дверь только тебе, то как же мог видеть ее прежде тебя Григорий отворенною? Потому ведь Григорий видел прежде тебя?

Замечательно, что Иван спрашивал самым мирным голосом, даже совсем как будто другим тоном, совсем незлобным, так что если бы кто-нибудь отворил к ним теперь дверь и с порога взглянул на них, то непременно заключил бы, что они сидят и миролюбиво разговаривают о каком-нибудь обыкновенном, хотя и интересном предмете.

— Насчет этой двери и что Григорий Васильевич будто бы видел, что она отперта, то это ему только так почудилось, — искривленно усмехнулся Смердяков. — Ведь это, я вам скажу, не человек-с, а всё равно что упрямый мерин: и не видал, а почудилось ему, что видел, — вот его уж и не собьете-с. Это уж нам с вами счастье такое выпало, что он это придумал, потому что Дмитрия Федоровича несомненно после того вконец уличат.

— Слушай, — проговорил Иван Федорович, словно опять начиная теряться и что-то усиливаясь сообразить, — слушай... Я много хотел спросить тебя еще, но забыл... Я всё забываю и путаюсь... Да! Скажи ты мне хоть это одно: зачем ты пакет распечатал и тут же на полу оставил? Зачем не просто в пакете унес...

Ты когда рассказывал, то мне показалось, что будто ты так говорил про этот пакет, что так и надо было поступить... а почему так надо — не могу понять...

— А это я так сделал по некоторой причине-с. Ибо будь человек знающий и привычный, вот как я, например, который эти деньги сам видел зараньше и, может, их сам же в тот пакет ввертывал и собственными глазами смотрел, как его запечатывали и надписывали, то такой человек-с с какой же бы стати, если примерно это он убил, стал бы тогда, после убивства, этот пакет распечатывать, да еще в таких попыхах, зная и без того совсем уж наверно, что деньги эти в том пакете беспременно лежат-с? Напротив, будь это похититель, как бы я, например, то он бы просто сунул этот пакет в карман, нисколько не распечатывая, и с ним поскорее утек-с. Совсем другое тут Дмитрий Федорович: они об пакете только понаслышке знали, его самого не видели, и вот как достали его примерно будто из-под тюфяка, то поскорее распечатали его тут же, чтобы справиться: есть ли в нем в самом деле эти самые деньги? А пакет тут же бросили, уже не успев рассудить, что он уликой им после них останется, потому что они вор непривычный-с и прежде никогда ничего явно не крали, ибо родовые дворяне-с, а если теперь украсть и решились, то именно как бы не украсть, а свое собственное только взять обратно пришли, так как всему городу об этом предварительно повестили и даже похвалялись зараньше вслух пред всеми, что пойдут и собственность свою от Федора Павловича отберут. Я эту самую мысль прокурору в опросе моем не то что ясно сказал, а, напротив, как будто намеком подвел-с, точно как бы сам не понимаючи, и точно как бы это они сами выдумали, а не я им подсказал-с, — так у господина прокурора от этого самого намека моего даже слюнки потекли-с...

— Так неужели, неужели ты всё это тогда же так на месте и обдумал? — воскликнул Иван Федорович вне себя от удивления. Он опять глядел на Смердякова в испуге.

— Помилосердуйте, да можно ли это всё выдумать в таких попыхах-с? Заранее всё обдумано было.

— Ну... ну, тебе значит сам черт помогал! — воскликнул опять Иван Федорович. — Нет, ты не глуп, ты гораздо умней, чем я думал...

Он встал с очевидным намерением пройтись по комнате. Он был в страшной тоске. Но так как стол загораживал дорогу и мимо стола и стены почти приходилось пролезать, то он только повернулся на месте и сел опять. То, что он не успел пройтись, может быть, вдруг и раздражило его, так что он почти в прежнем исступлении вдруг завопил:

— Слушай, несчастный, презренный ты человек! Неужели ты не понимаешь, что если я еще не убил тебя до сих пор, то потому только, что берегу тебя на завтрашний ответ на суде. Бог видит, — поднял Иван руку кверху, — может быть, и я был виновен, может быть, действительно я имел тайное желание, чтоб... умер отец,

но, клянусь тебе, я не столь был виновен, как ты думаешь, и, может быть, не подбивал тебя вовсе. Нет, нет, не подбивал! Но всё равно, я покажу на себя сам, завтра же, на суде, я решил! Я всё скажу, всё. Но мы явимся вместе с тобою! И что бы ты ни говорил на меня на суде, что бы ты ни свидетельствовал — принимаю и не боюсь тебя; сам всё подтвержу! Но и ты должен пред судом сознаться! Должен, должен, вместе пойдем! Так и будет!

Иван проговорил это торжественно и энергично, и видно было уже по одному сверкающему взгляду его, что так и будет.

— Больны вы, я вижу-с, совсем больны-с. Желтые у вас совсем глаза-с, — произнес Смердяков, но совсем без насмешки, даже как будто соболезнуя.

— Вместе пойдем! — повторил Иван, — а не пойдешь — всё равно я один сознаюсь.

Смердяков помолчал, как бы вдумываясь.

— Ничего этого не будет-с, и вы не пойдете-с, — решил он наконец безапелляционно.

— Не понимаешь ты меня! — укоризненно воскликнул Иван.

— Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всем признаетесь. А пуще того бесполезно будет, совсем-с, потому я прямо ведь скажу, что ничего такого я вам не говорил-с никогда, а что вы или в болезни какой (а на то и похоже-с), али уж братца так своего пожалели, что собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как всё равно меня как за мошку считали всю вашу жизнь, а не за человека. Ну и кто ж вам поверит, ну и какое у вас есть хоть одно доказательство?

— Слушай, эти деньги ты показал мне теперь, конечно, чтобы меня убедить.

Смердяков снял с пачек Исаака Сирина и отложил в сторону.

— Эти деньги с собою возьмите-с и унесите, — вздохнул Смердяков.

— Конечно, унесу! Но почему же ты мне отдаешь, если из-за них убил? — с большим удивлением посмотрел на него Иван.

— Не надо мне их вовсе-с, — дрожащим голосом проговорил Смердяков, махнув рукой. — Была такая прежняя мысль-с, что с такими деньгами жизнь начну, в Москве али пуще того за границей, такая мечта была-с, а пуще всё потому, что «всё позволено». Это вы вправду меня учили-с, ибо много вы мне тогда этого говорили: ибо коли бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил.

— Своим умом дошел? — криво усмехнулся Иван.

— Вашим руководством-с.

— А теперь, стало быть, в бога уверовал, коли деньги назад отдаешь?

— Нет-с, не уверовал-с, — прошептал Смердяков.

— Так зачем отдаешь?

— Полноте... нечего-с! — махнул опять Смердяков рукой. —

Вы вот сами тогда всё говорили, что всё позволено, а теперь-то почему так встревожены, сами-то-с? Показывать на себя даже хотите идти... Только ничего того не будет! Не пойдете показывать! — твердо и убежденно решил опять Смердяков.

— Увидишь! — проговорил Иван.

— Не может того быть. Умны вы очень-с. Деньги любите, это я знаю-с, почет тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться — это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде приняв. Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с.

— Ты не глуп, — проговорил Иван, как бы пораженный; кровь ударила ему в лицо, — я прежде думал, что ты глуп. Ты теперь серьезен! — заметил он, как-то вдруг по-новому глядя на Смердякова.

— От гордости вашей думали, что я глуп. Примите деньги-то-с.

Иван взял все три пачки кредиток и сунул в карман, не обертывая их ничем.

— Завтра их на суде покажу, — сказал он.

— Никто вам там не поверит-с, благо денег-то у вас и своих теперь довольно, взяли из шкатунки да и принесли-с.

Иван встал с места.

— Повторяю тебе, если не убил тебя, то единственно потому, что ты мне на завтра нужен, помни это, не забывай!

— А что ж, убейте-с. Убейте теперь, — вдруг странно проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана. — Не посмеете и этого-с, — прибавил он, горько усмехнувшись, — ничего не посмеете, прежний смелый человек-с!

— До завтра! — крикнул Иван и двинулся идти.

— Постойте... покажите мне их еще раз.

Иван вынул кредитки и показал ему. Смердяков поглядел на них секунд десять.

— Ну, ступайте, — проговорил он, махнув рукой. — Иван Федорович! — крикнул он вдруг ему вслед опять.

— Чего тебе? — обернулся Иван уже на ходу.

— Прощайте-с!

— До завтра! — крикнул опять Иван и вышел из избы.

Метель всё еще продолжалась. Первые шаги прошел он бодро, но вдруг как бы стал шататься. «Это что-то физическое», — подумал он, усмехнувшись. Какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую-то бесконечную твердость: конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим всё последнее время! Решение было взято, «и уже не изменится», — со счастьем подумал он. В это мгновение он вдруг на что-то споткнулся и чуть не упал. Остановясь, он различил в ногах своих поверженного им мужичонку, всё так же лежавшего на том же самом месте, без чувств и без движения. Метель уже засыпала ему почти

всё лицо. Иван вдруг схватил его и потащил на себе. Увидав направо в домишке свет, подошел, постучался в ставни и откликнувшегося мещанина, которому принадлежал домишко, попросил помочь ему дотащить мужика в частный дом, обещая тут же дать за то три рубля. Мещанин собрался и вышел. Не стану в подробности описывать, как удалось тогда Ивану Федоровичу достигнуть цели и пристроить мужика в части, с тем чтобы сейчас же учинить и осмотр его доктором, причем он опять выдал и тут щедрою рукой «на расходы». Скажу только, что дело взяло почти целый час времени. Но Иван Федорович остался очень доволен. Мысли его раскидывались и работали. «Если бы не было взято так твердо решение мое на завтра, — подумал он вдруг с наслаждением, — то не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо его и только плюнул бы на то, что он замерзнет... Однако как я в силах наблюдать за собой, — подумал он в ту же минуту еще с большим наслаждением, — а они-то решили там, что я с ума схожу!» Дойдя до своего дома, он вдруг остановился под внезапным вопросом: «А не надо ль сейчас, теперь же пойти к прокурору и всё объявить?» Вопрос он решил, поворотив опять к дому: «Завтра всё вместе!» — прошептал он про себя, и, странно, почти вся радость, всё довольство его собою прошли в один миг. Когда же он вступил в свою комнату, что-то ледяное прикоснулось вдруг к его сердцу, как будто воспоминание, вернее, напоминание о чем-то мучительном и отвратительном, находящемся именно в этой комнате теперь, сейчас, да и прежде бывшем. Он устало опустился на свой диван. Старуха принесла ему самовар, он заварил чай, но не прикоснулся к нему; старуху отослал до завтра. Он сидел на диване и чувствовал головокружение. Он чувствовал, что болен и бессилен. Стал было засыпать, но в беспокойстве встал и прошелся по комнате, чтобы прогнать сон. Минутами мерещилось ему, что как будто он бредит. Но не болезнь занимала его всего более; усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как будто что-то высматривая. Так было несколько раз. Наконец взгляд его пристально направился в одну точку. Иван усмехнулся, но краска гнева залила его лицо. Он долго сидел на своем месте, крепко подперев обеими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку, на стоявший у противоположной стены диван. Его видимо что-то там раздражало, какой-то предмет, беспокоило, мучило.

IX

ЧЕРТ. КОШМАР ИВАНА ФЕДОРОВИЧА

Я не доктор, а между тем чувствую, что пришла минута, когда мне решительно необходимо объяснить хоть что-нибудь в свойстве болезни Ивана Федоровича читателю. Забегая вперед, скажу лишь одно: он был теперь, в этот вечер, именно как раз накануне

белой горячки, которая наконец уже вполне овладела его издавна расстроенным, но упорно сопротивлявшимся болезни организмом. Не зная ничего в медицине, рискну высказать предположение, что действительно, может быть, ужасным напряжением воли своей он успел на время отдалить болезнь, мечтая, разумеется, совсем преодолеть ее. Он знал, что нездоров, но ему с отвращением не хотелось быть больным в это время, в эти наступающие роковые минуты его жизни, когда надо было быть налицо, высказать свое слово смело и решительно и самому «оправдать себя пред собою». Он, впрочем, сходил однажды к новому, прибывшему из Москвы доктору, выписанному Катериной Ивановной вследствие одной ее фантазии, о которой я уже упоминал выше. Доктор, выслушав и осмотрев его, заключил, что у него вроде даже как бы расстройства в мозгу, и нисколько не удивился некоторому признанию, которое тот с отвращением, однако, сделал ему. «Галлюцинации в вашем состоянии очень возможны, — решил доктор, — хотя надо бы их и проверить... вообще же необходимо начать лечение серьезно, не теряя ни минуты, не то будет плохо». Но Иван Федорович, выйдя от него, благоразумного совета не исполнил и лечь лечиться пренебрег: «Хожу ведь, силы есть пока, свалюсь — дело другое, тогда пусть лечит кто хочет», — решил он, махнув рукой. Итак, он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреду, и, как уже и сказал я, упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, бог знает как вошедший, потому что его еще не было в комнате, когда Иван Федорович, возвратясь от Смердякова, вступил в нее. Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых, «qui frisait la cinquantaine», [1] как говорят французы, с не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженой бородке клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды, так что из светских достаточных людей таких уже два года никто не носил. Белье, длинный галстук в виде шарфа, всё было так, как и у всех шиковатых джентльменов, но белье, если вглядеться ближе, было грязновато, а широкий шарф очень потерт. Клетчатые панталоны гостя сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как теперь уже перестали носить, равно как и мягкая белая пуховая шляпа, которую уже слишком не по сезону притащил с собою гость. Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах. Похоже было на то, что джентльмен принадлежит к разряду бывших белоручек-помещиков, процветавших еще при крепостном праве; очевидно, видавший свет и порядочное общество, имевший когда-то

---

[1] «под пятьдесят» *(франц.)*.

связи и сохранивший их, пожалуй, и до сих пор, но мало-помалу с обеднением после веселой жизни в молодости и недавней отмены крепостного права обратившийся вроде как бы в приживальщика хорошего тона, скитающегося по добрым старым знакомым, которые принимают его за уживчивый складный характер, да еще и ввиду того, что всё же порядочный человек, которого даже и при ком угодно можно посадить у себя за стол, хотя, конечно, на скромное место. Такие приживальщики, складного характера джентльмены, умеющие порассказать, составить партию в карты и решительно не любящие никаких поручений, если их им навязывают, — обыкновенно одиноки, или холостяки, или вдовцы, может быть и имеющие детей, но дети их воспитываются всегда где-то далеко, у каких-нибудь теток, о которых джентльмен никогда почти не упоминает в порядочном обществе, как бы несколько стыдясь такого родства. От детей же отвыкает мало-помалу совсем, изредка получая от них к своим именинам и к рождеству поздравительные письма и иногда даже отвечая на них. Физиономия неожиданного гостя была не то чтобы добродушная, а опять-таки складная и готовая, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение. Часов на нем не было, но был черепаховый лорнет на черной ленте. На среднем пальце правой руки красовался массивный золотой перстень с недорогим опалом. Иван Федорович злобно молчал и не хотел заговаривать. Гость ждал и именно сидел как приживальщик, только что сошедший сверху из отведенной ему комнаты вниз к чаю составить хозяину компанию, но смирно молчавший ввиду того, что хозяин занят и об чем-то нахмуренно думает; готовый, однако, ко всякому любезному разговору, только лишь хозяин начнет его. Вдруг лицо его выразило как бы некоторую внезапную озабоченность.

— Послушай, — начал он Ивану Федоровичу, — ты извини, я только чтобы напомнить: ты ведь к Смердякову пошел с тем, чтоб узнать про Катерину Ивановну, а ушел, ничего об ней не узнав, верно забыл...

— Ах да! — вырвалось вдруг у Ивана, и лицо его омрачилось заботой, — да, я забыл... Впрочем, теперь всё равно, всё до завтра, — пробормотал он про себя. — А ты, — раздражительно обратился он к гостю, — это я сам сейчас должен был вспомнить, потому что именно об этом томило тоской! Что ты выскочил, так я тебе и поверю, что это ты подсказал, а не я сам вспомнил?

— А не верь, — ласково усмехнулся джентльмен. — Что за вера насилием? Притом же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить. Вот, например, спириты... я их очень люблю... вообрази, они полагают, что полезны для веры, потому что им черти с того света рожки показывают. «Это, дескать, доказательство уже, так сказать, материальное, что есть тот свет». Тот свет и материальные доказательства, ай-люли! И наконец, если дока-

зан черт, то еще неизвестно, доказан ли бог? Я хочу в идеалистическое общество записаться, оппозицию у них буду делать: «дескать реалист, а не материалист, хе-хе!»

— Слушай, — встал вдруг из-за стола Иван Федорович. — Я теперь точно в бреду... и, уж конечно, в бреду... ври что хочешь, мне всё равно! Ты меня не приведешь в исступление, как в прошлый раз. Мне только чего-то стыдно... Я хочу ходить по комнате... Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слышу, как в прошлый раз, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что *это я, я сам говорю, а не ты!* Не знаю только, спал ли я в прошлый раз или видел тебя наяву? Вот я обмочу полотенце холодною водой и приложу к голове, и авось ты испаришься.

Иван Федорович прошел в угол, взял полотенце, исполнил, как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад и вперед по комнате.

— Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на *ты,* — начал было гость.

— Дурак, — засмеялся Иван, — что ж я *вы,* что ли, стану тебе говорить. Я теперь весел, только в виске болит... и темя... только, пожалуйста, не философствуй, как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай, ведь ты приживальщик, так сплетничай. Навяжется же такой кошмар! Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в сумасшедший дом!

— C'est charmant, [1] приживальщик. Да я именно в своем виде. Кто ж я на земле, как не приживальщик? Кстати, я ведь слушаю тебя и немножко дивлюсь: ей-богу, ты меня как будто уже начинаешь помаленьку принимать за нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию, как стоял на том в прошлый раз...

— Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, — как-то яростно даже вскричал Иван. — Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что некоторое время надобно прострадать. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог бы быть даже мне любопытен, если бы только мне было время с тобой возиться...

— Позволь, позволь, я тебя уличу: давеча у фонаря, когда ты вскинулся на Алешу и закричал ему: «Ты от *него* узнал! Почему ты узнал, что *он* ко мне ходит?» Это ведь ты про меня вспоминал. Стало быть, одно маленькое мгновеньице ведь верил же, верил, что я действительно есмь, — мягко засмеялся джентльмен.

— Да, это была слабость природы... но я не мог тебе верить. Я не знаю, спал ли я или ходил прошлый раз. Я, может быть, тогда тебя только во сне видел, а вовсе не наяву...

---

[1] Это восхитительно *(франц.)*.

— А зачем ты давеча с ним так сурово, с Алешей-то? Он милый; я пред ним за старца Зосиму виноват.

— Молчи про Алешу! Как ты смеешь, лакей! — опять засмеялся Иван.

— Бранишься, а сам смеешься — хороший знак. Ты, впрочем, сегодня гораздо со мной любезнее, чем в прошлый раз, и я понимаю отчего: это великое решение...

— Молчи про решение! — свирепо вскричал Иван.

— Понимаю, понимаю, c'est noble, c'est charmant,[1] ты идешь защищать завтра брата и приносишь себя в жертву... c'est chevaleresque.[2]

— Молчи, я тебе пинков надаю!

— Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель достигнута: коли пинки, значит, веришь в мой реализм, потому что призраку не дают пинков. Шутки в сторону: мне ведь всё равно, бранись, коли хочешь, но всё же лучше быть хоть каплю повежливее, хотя бы даже со мной. А то дурак да лакей, ну что за слова!

— Браня тебя, себя браню! — опять засмеялся Иван, — ты — я, сам я, только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю... и ничего не в силах сказать мне нового!

— Если я схожусь с тобою в мыслях, то это делает мне только честь, — с деликатностью и достоинством проговорил джентльмен.

— Только всё скверные мои мысли берешь, а главное — глупые. Ты глуп и пошл. Ты ужасно глуп. Нет, я тебя не вынесу! Что мне делать, что мне делать! — проскрежетал Иван.

— Друг мой, я все-таки хочу быть джентльменом и чтобы меня так и принимали, — в припадке некоторой чисто приживальщицкой и уже вперед уступчивой и добродушной амбиции начал гость. — Я беден, но... не скажу, что очень честен, но... обыкновенно в обществе принято за аксиому, что я падший ангел. Ей-богу, не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного человека и живу как придется, стараясь быть приятным. Я людей люблю искренно — о, меня во многом оклеветали! Здесь, когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас всё очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас всё какие-то неопределенные уравнения! Я здесь хожу и мечтаю. Я люблю мечтать. К тому же на земле я становлюсь суеверен — не смейся, пожалуйста: мне именно это-то и нравится, что я становлюсь суеверен. Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить, можешь ты это представить, и люблю с купцами и попами париться. Моя мечта это — воплотиться,

---

[1] это благородно, это прекрасно *(франц.)*.
[2] это по-рыцарски *(франц.)*.

но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал — войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, ей-богу так. Тогда предел моим страданиям. Вот тоже лечиться у вас полюбил: весной оспа пошла, я пошел и в воспитательном доме себе оспу привил — если б ты знал, как я был в тот день доволен: на братьев славян десять рублей пожертвовал!.. Да ты не слушаешь. Знаешь, ты что-то очень сегодня не по себе, — помолчал немного джентльмен. — Я знаю, ты ходил вчера к тому доктору... ну, как твое здоровье? Что тебе доктор сказал?

— Дурак! — отрезал Иван.

— Зато ты-то как умен. Ты опять бранишься? Я ведь не то чтоб из участия, а так. Пожалуй, не отвечай. Теперь вот ревматизмы опять пошли...

— Дурак, — повторил опять Иван.

— Ты всё свое, а я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю.

— У черта ревматизм?

— Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь. Воплощаюсь, так и принимаю последствия. Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto. [1]

— Как, как? Сатана sum et nihil humanum... это неглупо для черта!

— Рад, что наконец угодил.

— А ведь это ты взял не у меня, — остановился вдруг Иван как бы пораженный, — это мне никогда в голову не приходило, это странно...

— C'est du nouveau n'est ce pas? [2] На этот раз я поступлю честно и объясню тебе. Слушай: в снах, и особенно в кошмарах, ну, там от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такою интригой, с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит, а между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые заурядные люди, чиновники, фельетонисты, попы... Насчет этого даже целая задача: один министр так даже мне сам признавался, что все лучшие идеи его приходят к нему, когда он спит. Ну вот так и теперь. Я хоть и твоя галлюцинация, но, как и в кошмаре, я говорю вещи оригинальные, какие тебе до сих пор в голову не приходили, так что уже вовсе не повторяю твоих мыслей, а между тем я только твой кошмар, и больше ничего.

— Лжешь. Твоя цель именно уверить, что ты сам по себе, а не мой кошмар, и вот ты теперь подтверждаешь сам, что ты сон.

---

[1] Я сатана, и ничто человеческое мне не чуждо *(лат.)*.

[2] Это ново, не правда ли? *(франц.)*

— Друг мой, сегодня я взял особую методу, я потом тебе растолкую. Постой, где же я остановился? Да, вот я тогда простудился, только не у вас, а еще там...

— Где там? Скажи, долго ли ты у меня пробудешь, не можешь уйти? — почти в отчаянии воскликнул Иван. Он оставил ходить, сел на диван, опять облокотился на стол и стиснул обеими руками голову. Он сорвал с себя мокрое полотенце и с досадой отбросил его: очевидно, не помогало.

— У тебя расстроены нервы, — заметил джентльмен с развязно-небрежным, но совершенно дружелюбным, однако, видом, — ты сердишься на меня даже за то, что я мог простудиться, а между тем произошло оно самым естественным образом. Я тогда поспешал на один дипломатический вечер к одной высшей петербургской даме, которая метила в министры. Ну, фрак, белый галстук, перчатки, и, однако, я был еще бог знает где, и, чтобы попасть к вам на землю, предстояло еще перелететь пространство... конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут, а тут, представь, во фраке и в открытом жилете. Ду́хи не замерзают, но уж когда воплотился, то... словом, светренничал, и пустился, а ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, яже бе над твердию, — ведь это такой мороз... то есть какое мороз — это уж и морозом назвать нельзя, можешь представить: сто пятьдесят градусов ниже нуля! Известна забава деревенских девок: на тридцатиградусном морозе предлагают новичку лизнуть топор; язык мгновенно примерзает, и олух в кровь сдирает с него кожу; так ведь это только на тридцати градусах, а на ста-то пятидесяти, да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и его как не бывало, если бы... только там мог случиться топор...

— А там может случиться топор? — рассеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федорович. Он сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие окончательно.

— Топор? — переспросил гость в удивлении.

— Ну да, что станется там с топором? — с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович.

— Что станется в пространстве с топором? Quelle idée! [1] Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора, Гатцук внесет в календарь, вот и всё.

— Ты глуп, ты ужасно глуп! — строптиво сказал Иван, — ври умнее, а то я не буду слушать. Ты хочешь побороть меня реализмом, уверить меня, что ты есь, но я не хочу верить, что ты есь! Не поверю!!

— Да я и не вру, всё правда; к сожалению, правда почти всегда бывает неостроумна. Ты, я вижу, решительно ждешь от

---

[1] Какая идея! *(франц.)*

меня чего-то великого, а может быть, и прекрасного. Это очень жаль, потому что я даю лишь то, что могу...

— Не философствуй, осел!

— Какая тут философия, когда вся правая сторона отнялась, кряхчу и мычу. Был у всей медицины: распознать умеют отлично, всю болезнь расскажут тебе как по пальцам, ну а вылечить не умеют. Студентик тут один случился восторженный: если вы, говорит, и умрете, то зато будете вполне знать, от какой болезни умерли! Опять-таки эта их манера отсылать к специалистам: мы, дескать, только распознаем, а вот поезжайте к такому-то специалисту, он уже вылечит. Совсем, совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор, который ото всех болезней лечил, теперь только одни специалисты и всё в газетах публикуются. Заболи у тебя нос, тебя шлют в Париж: там, дескать, европейский специалист носы лечит. Приедешь в Париж, он осмотрит нос: я вам, скажет, только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, это не моя специальность, а поезжайте после меня в Вену, там вам особый специалист левую ноздрю долечит. Что будешь делать? Прибегнул к народным средствам, один немец-доктор посоветовал в бане на полке медом с солью вытереться. Я, единственно чтобы только в баню лишний раз сходить, пошел: выпачкался весь, и никакой пользы. С отчаяния графу Маттеи в Милан написал; прислал книгу и капли, бог с ним. И вообрази: мальц-экстракт Гоффа помог! Купил нечаянно, выпил полторы стклянки, и хоть танцевать, всё как рукой сняло. Непременно положил ему «спасибо» в газетах напечатать, чувство благодарности заговорило, и вот вообрази, тут уже другая история пошла: ни в одной-то редакции не принимают! «Ретроградно очень будет, говорят, никто не поверит, le diable n'existe point. [1] Вы, советуют, напечатайте анонимно». Ну какое же «спасибо», если анонимно. Смеюсь с конторщиками: «Это в бога, говорю, в наш век ретроградно верить, а ведь я черт, в меня можно». — «Понимаем, говорят, кто же в черта не верит, а все-таки нельзя, направлению повредить может. Разве в виде шутки?» Ну в шутку-то, подумал, будет неостроумно. Так и не напечатали. И веришь ли, у меня даже на сердце это осталось. Самые лучшие чувства мои, как например благодарность, мне формально запрещены единственно социальным моим положением.

— Опять в философию въехал! — ненавистно проскрежетал Иван.

— Боже меня убереги, но ведь нельзя же иногда не пожаловаться. Я человек оклеветанный. Вот ты поминутно мне, что я глуп. Так и видно молодого человека. Друг мой, не в одном уме дело! У меня от природы сердце доброе и веселое, «я ведь тоже разные водевильчики». Ты, кажется, решительно принимаешь меня за поседелого Хлестакова, и, однако, судьба моя гораздо серьезнее.

---

[1] дьявола-то больше не существует *(франц.)*.

Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен «отрицать», между тем я искренно добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать, без отрицания-де не будет критики, а какой же журнал, если нет «отделения критики»? Без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны», надо, чтоб «осанна»-то эта переходила через горнило сомнений, ну и так далее, в этом роде. Я, впрочем, во всё это не ввязываюсь, не я сотворял, не я и в ответе. Ну и выбрали козла отпущения, заставили писать в отделении критики, и получилась жизнь. Мы эту комедию понимаем: я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было всё благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... всё же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие — всё обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато. Ну а я? Я страдаю, а всё же не живу. Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала, и даже сам позабыл наконец, как и назвать себя. Ты смеешься... нет, ты не смеешься,ты опять сердишься. Ты вечно сердишься, тебе бы всё только ума, а я опять-таки повторю тебе, что я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и богу свечки ставить.

— Уж и ты в бога не веришь? — ненавистно усмехнулся Иван.

— То есть как тебе это сказать, если ты только серьезно...

— Есть бог или нет? — опять со свирепою настойчивостью крикнул Иван.

— А, так ты серьезно? Голубчик мой, ей-богу, не знаю, вот великое слово сказал.

— Не знаешь, а бога видишь? Нет, ты не сам по себе, ты — *я*, ты есть *я* и более ничего! Ты дрянь, ты моя фантазия!

— То есть, если хочешь, я одной с тобой философии, вот это будет справедливо. Je pense donc je suis, [1] это я знаю наверно, остальное же всё, что кругом меня, все эти миры, бог и даже сам сатана — всё это для меня не доказано, существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего *я*, существующего довременно и единолично... словом, я быстро прерываю, потому что ты, кажется, сейчас драться вскочишь.

---

[1] Я мыслю, следовательно, я существую *(франц.)*.

— Лучше бы ты какой анекдот! — болезненно проговорил Иван.

— Анекдот есть и именно на нашу тему, то есть это не анекдот, а так, легенда. Ты вот укоряешь меня в неверии: «видишь-де, а не веришь». Но, друг мой, ведь не я же один таков, у нас там все теперь помутились, и всё от ваших наук. Еще пока были атомы, пять чувств, четыре стихии, ну тогда всё кое-как клеилось. Атомы-то и в древнем мире были. А вот как узнали у нас, что вы там открыли у себя «химическую молекулу», да «протоплазму», да черт знает что еще — так у нас и поджали хвосты. Просто сумбур начался; главное — суеверие, сплетни; сплетен ведь и у нас столько же, сколько у вас, даже капельку больше, а, наконец, и доносы, у нас ведь тоже есть такое одно отделение, где принимают известные «сведения». Так вот эта дикая легенда, еще средних наших веков — не ваших, а наших — и никто-то ей не верит даже и у нас, кроме семипудовых купчих, то есть опять-таки не ваших, а наших купчих. Всё, что у вас есть, — есть и у нас, это я уж тебе по дружбе одну тайну нашу открываю, хоть и запрещено. Легенда-то эта об рае. Был, дескать, здесь у вас на земле один такой мыслитель и философ, «всё отвергал, законы, совесть, веру», а главное — будущую жизнь. Помер, думал, что прямо во мрак и смерть, ан перед ним — будущая жизнь. Изумился и вознегодовал: «Это, говорит, противоречит моим убеждениям». Вот его за это и присудили... то есть, видишь, ты меня извини, я ведь передаю сам, что слышал, это только легенда... присудили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадриллион километров (у нас ведь теперь на километры), и когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и всё простят...

— А какие муки у вас на том свете, кроме-то квадриллиона? — с каким-то странным оживлением прервал Иван.

— Какие муки? Ах, и не спрашивай: прежде было и так и сяк, а ныне всё больше нравственные пошли, «угрызения совести» и весь этот вздор. Это тоже от вас завелось, от «смягчения ваших нравов». Ну и кто же выиграл, выиграли одни бессовестные, потому что ж ему за угрызения совести, когда и совести-то нет вовсе. Зато пострадали люди порядочные, у которых еще оставалась совесть и честь... То-то вот реформы-то на неприготовленную-то почву, да еще списанные с чужих учреждений, — один только вред! Древний огонек-то лучше бы. Ну, так вот этот осужденный на квадриллион постоял, посмотрел и лег поперек дороги: «Не хочу идти, из принципа не пойду!» Возьми душу русского просвещенного атеиста и смешай с душой пророка Ионы, будировавшего во чреве китове три дня и три ночи, — вот тебе характер этого улегшегося на дороге мыслителя.

— На чем же он там улегся?

— Ну, там, верно, было на чем. Ты не смеешься?

— Молодец! — крикнул Иван, всё в том же странном оживлении. Теперь он слушал с каким-то неожиданным любопытством. — Ну что ж, и теперь лежит?

— То-то и есть, что нет. Он пролежал почти тысячу лет, а потом встал и пошел.

— Вот осел-то! — воскликнул Иван, нервно захохотав, всё как бы что-то усиленно соображая. — Не всё ли равно, лежать ли вечно или идти квадриллион верст? Ведь это биллион лет ходу?

— Даже гораздо больше, вот только нет карандашика и бумажки, а то бы рассчитать можно. Да ведь он давно уже дошел, и тут-то и начинается анекдот.

— Как дошел! Да где ж он биллион лет взял?

— Да ведь ты думаешь всё про нашу теперешнюю землю! Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и всё в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...

— Ну-ну, что же вышло, когда дошел?

— А только что ему отворили в рай, и он вступил, то, не пробыв еще двух секунд — и это по часам, по часам (хотя часы его, по-моему, давно должны были бы разложиться на составные элементы у него в кармане дорогой), — не пробыв двух секунд, воскликнул, что за эти две секунды не только квадриллион, но квадриллион квадриллионов пройти можно, да еще возвысив в квадриллионную степень! Словом, пропел «осанну», да и пересолил, так что иные там, с образом мыслей поблагороднее, так даже руки ему не хотели подать на первых порах: слишком-де уж стремительно в консерваторы перескочил. Русская натура. Повторяю: легенда. За что купил, за то и продал. Так вот еще какие там у нас обо всех этих предметах понятия ходят.

— Я тебя поймал! — вскричал Иван с какою-то почти детскою радостью, как бы уже окончательно что-то припомнив, — этот анекдот о квадриллионе лет — это я сам сочинил! Мне было тогда семнадцать лет, я был в гимназии... я этот анекдот тогда сочинил и рассказал одному товарищу, фамилия его Коровкин, это было в Москве... Анекдот этот так характерен, что я не мог его ниоткуда взять. Я его было забыл... но он мне припомнился теперь бессознательно — мне самому, а не ты рассказал! Как тысячи вещей припоминаются иногда бессознательно, даже когда казнить везут... во сне припомнился. Вот ты и есть этот сон! Ты сон и не существуешь!

— По азарту, с каким ты отвергаешь меня, — засмеялся джентльмен, — я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь.

— Нимало! На сотую долю не верю!

— Но на тысячную веришь. Гомеопатические-то доли ведь самые, может быть, сильные. Признайся, что веришь, ну на десятитысячную...

— Ни одной минуты! — яростно вскричал Иван. — Я, впрочем, желал бы в тебя поверить! — странно вдруг прибавил он.

— Эге! Вот, однако, признание! Но я добр, я тебе и тут помогу. Слушай: это я тебя поймал, а не ты меня! Я нарочно тебе твой же анекдот рассказал, который ты уже забыл, чтобы ты окончательно во мне разуверился.

— Лжешь! Цель твоего появления уверить меня, что ты есь.

— Именно. Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия — это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься. Я именно, зная, что ты капельку веришь в меня, подпустил тебе неверия уже окончательно, рассказав этот анекдот. Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с: ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле, я тебя уж знаю; вот я тогда и достигну цели. А цель моя благородная. Я в тебя только крохотное семечко веры брошу, а из него вырастет дуб — да еще такой дуб, что ты, сидя на дубе-то, в «отцы пустынники и в жены непорочны» пожелаешь вступить; ибо тебе оченно, оченно того втайне хочется, акриды кушать будешь, спасаться в пустыню потащишься!

— Так ты, негодяй, для спасения моей души стараешься?

— Надо же хоть когда-нибудь доброе дело сделать. Злишься-то ты, злишься, как я погляжу!

— Шут! А искушал ты когда-нибудь вот этаких-то, вот что акриды-то едят, да по семнадцати лет в голой пустыне молятся, мохом обросли?

— Голубчик мой, только это и делал. Весь мир и миры забудешь, а к одному этакому прилепишься, потому что бриллиант-то уж очень драгоценен; одна ведь такая душа стоит иной раз целого созвездия — у нас ведь своя арифметика. Победа-то драгоценна! А ведь иные из них, ей-богу, не ниже тебя по развитию, хоть ты этому и не поверишь: такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, только бы еще один волосок — и полетит человек «вверх тормашки», как говорит актер Горбунов.

— Ну и что ж, отходил с носом?

— Друг мой, — заметил сентенциозно гость, — с носом всё же лучше отойти, чем иногда совсем без носа, как недавно еще изрек один болящий маркиз (должно быть, специалист лечил) на исповеди своему духовному отцу-иезуиту. Я присутствовал — просто прелесть. «Возвратите мне, говорит, мой нос!» И бьет себя в грудь. «Сын мой, — виляет патер, — по неисповедимым судьбам провидения всё восполняется и видимая беда влечет иногда за собою чрезвычайную, хотя и невидимую выгоду. Если строгая судьба лишила вас носа, то выгода ваша в том, что уже никто во всю вашу жизнь не осмелится вам сказать, что вы остались с носом». — «Отец святой, это не утешение! — восклицает отчаянный, — я был бы, напротив, в восторге всю жизнь каждый день оставаться с носом, только бы он был у меня на надлежащем

месте!» — «Сын мой, — вздыхает патер, — всех благ нельзя требовать разом, и это уже ропот на провидение, которое даже и тут не забыло вас; ибо если вы вопиете, как возопили сейчас, что с радостью готовы бы всю жизнь оставаться с носом, то и тут уже косвенно исполнено желание ваше: ибо, потеряв нос, вы тем самым всё же как бы остались с носом...»

— Фу, как глупо! — крикнул Иван.

— Друг мой, я хотел только тебя рассмешить, но, клянусь, это настоящая иезуитская казуистика, и, клянусь, всё это случилось буква в букву, как я изложил тебе. Случай этот недавний и доставил мне много хлопот. Несчастный молодой человек, возвратясь домой, в ту же ночь застрелился; я был при нем неотлучно до последнего момента... Что же до исповедальных этих иезуитских будочек, то это воистину самое милое мое развлечение в грустные минуты жизни. Вот тебе еще один случай, совсем уж на днях. Приходит к старику патеру блондиночка, норманочка, лет двадцати, девушка. Красота, телеса, натура — слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. «Что вы, дочь моя, неужели вы опять уже пали?.. — восклицает патер. — O Sancta Maria, [1] что я слышу: уже не с тем. Но доколе же это продолжится, и как вам это не стыдно!» — «Ah mon père, [2] — отвечает грешница, вся в покаянных слезах. — Ça lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine!» [3] Ну, представь себе такой ответ! Тут уж и я отступился: это крик самой природы, это, если хочешь, лучше самой невинности! Я тут же отпустил ей грех и повернулся было идти, но тотчас же принужден был и воротиться: слышу, патер в дырочку ей назначает вечером свидание, а ведь старик — кремень, и вот пал в одно мгновение! Природа-то, правда-то природы взяла свое! Что, опять воротишь нос, опять сердишься? Не знаю уж, чем и угодить тебе...

— Оставь меня, ты стучишь в моем мозгу как неотвязный кошмар, — болезненно простонал Иван, в бессилии пред своим видением, — мне скучно с тобою, невыносимо и мучительно! Я бы много дал, если бы мог прогнать тебя!

— Повторяю, умерь свои требования, не требуй от меня «всего великого и прекрасного» и увидишь, как мы дружно с тобой уживемся, — внушительно проговорил джентльмен. — Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, «гремя и блистая», с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде. Ты оскорблен, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости: как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый черт? Нет, в тебе таки есть эта романтическая струйка, столь осмеянная еще Белинским. Что делать, молодой человек. Я вот думал давеча, собираясь к тебе,

---

[1] О святая Мария *(лат.)*.
[2] Ах, мой отец *(франц.)*.
[3] Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало труда! *(франц.)*

для шутки предстать в виде отставного действительного статского советника, служившего на Кавказе, со звездой Льва и Солнца на фраке, но решительно побоялся, потому ты избил бы меня только за то, как я смел прицепить на фрак Льва и Солнце, а не прицепил по крайней мере Полярную звезду али Сириуса. И всё ты о том, что я глуп. Но бог мой, я и претензий не имею равняться с тобой умом. Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро. Ну, это как ему угодно, я же совершенно напротив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренно желает добра. Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих: «Осанна», и громовый вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и всё мироздание. И вот, клянусь же всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми: «Осанна!» Уже слетало, уже рвалось из груди... я ведь, ты знаешь, очень чувствителен и художественно восприимчив. Но здравый смысл — о, самое несчастное свойство моей природы — удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение! Ибо что же, — подумал я в ту же минуту, — что же бы вышло после моей-то «осанны»? Тотчас бы всё угасло на свете и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости. Но я не завидую чести жить на шаромыжку, я не честолюбив. Почему изо всех существ в мире только я лишь один обречен на проклятия ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо, воплощаясь, должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись в чем дело, рявкну «осанну», и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и журналам, потому что кто ж на них тогда станет подписываться. Я ведь знаю, в конце концов я помирюсь, дойду и я мой квадриллион и узнаю секрет. Но пока это произойдет, будирую и скрепя сердце исполняю мое назначение: губить тысячи, чтобы спасся один. Сколько, например, надо было погубить душ и опозорить честных репутаций, чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время óно! Нет, пока не открыт секрет, для меня существуют две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. И еще неизвестно, которая будет почище... Ты заснул?

— Еще бы, — злобно простонал Иван, — всё, что ни есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного, как падаль, — ты мне же подносишь как какую-то новость!

— Не потрафил и тут! А я-то думал тебя даже литературным изложением прельстить: эта «осанна»-то в небе, право, недурно ведь у меня вышло? Затем сейчас этот саркастический тон à la Гейне, а, не правда ли?

— Нет, я никогда не был таким лакеем! Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты?

— Друг мой, я знаю одного прелестнейшего и милейшего русского барчонка: молодого мыслителя и большого любителя литературы и изящных вещей, автора поэмы, которая обещает, под названием: «Великий инквизитор»... Я его только и имел в виду!

— Я тебе запрещаю говорить о «Великом инквизиторе», — воскликнул Иван, весь покраснев от стыда.

— Ну, а «Геологический-то переворот»? Помнишь? Вот это так уж поэмка!

— Молчи, или я убью тебя!

— Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих! «Там новые люди, — решил ты еще прошлою весной, сюда собираясь, — они полагают разрушить всё и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать — о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от бога (а я верю, что этот период — параллель геологическим периодам — совершится), то само собою, без антропофагии, падет всё прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни всё, что она может дать, но непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную»... ну и прочее, и прочее в том же роде. Премило!

Иван сидел, зажав себе уши руками и смотря в землю, но начал дрожать всем телом. Голос продолжал:

— Вопрос теперь в том, думал мой юный мыслитель: возможно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? Если наступит, то всё решено, и человечество устроится окончательно. Но так как, ввиду закоренелой глупости человеческой, это, пожа-

луй, еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему «всё позволено». Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, но так как бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и, уж конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для бога не существует закона! Где станет бог — там уже место божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... «всё дозволено», и шабаш! Всё это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человечек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил...

Гость говорил, очевидно увлекаясь своим красноречием, всё более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на хозяина; но ему не удалось докончить: Иван вдруг схватил со стола стакан и с размаху пустил в оратора.

— Ah, mais c'est bête enfin! [1] — воскликнул тот, вскакивая с дивана и смахивая пальцами с себя брызги чаю, — вспомнил Лютерову чернильницу! Сам же меня считает за сон и кидается стаканами в сон! Это по-женски! А ведь я так и подозревал, что ты делал только вид, что заткнул свои уши, а ты слушал...

В раму окна вдруг раздался со двора твердый и настойчивый стук. Иван Федорович вскочил с дивана.

— Слышишь, лучше отвори, — вскричал гость, — это брат твой Алеша с самым неожиданным и любопытным известием, уж я тебе отвечаю!

— Молчи, обманщик, я прежде тебя знал, что это Алеша, я его предчувствовал, и, уж конечно, он недаром, конечно с «известием»!.. — воскликнул исступленно Иван.

— Отопри же, отопри ему. На дворе метель, а он брат твой. Monsieur, sait-il le temps qu'il fait? C'est à ne pas mettre un chien dehors... [2]

Стук продолжался. Иван хотел было кинуться к окну; но что-то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Изо всех сил он напрягался как бы порвать свои путы, но тщетно. Стук в окно усиливался всё больше и громче. Наконец вдруг порвались путы, и Иван Федорович вскочил на диване. Он дико осмотрелся. Обе свечки почти догорели, стакан, который он только что бросил в своего гостя, стоял пред ним на столе, а на противоположном диване никого не было. Стук в оконную раму хотя и продолжался настойчиво, но совсем не так громко, как сейчас только мерещилось ему во сне, напротив, очень сдержанно.

---

[1] Ах, но это же глупо, наконец! *(франц.)*

[2] Известно ли мсье, какая стоит погода? В такую погоду и собаку на двор не выгоняют... *(франц.)*

— Это не сон! Нет, клянусь, это был не сон, это всё сейчас было! — вскричал Иван Федорович, бросился к окну и отворил форточку.

— Алеша, я ведь не велел приходить! — свирепо крикнул он брату. — В двух словах: чего тебе надо? В двух словах, слышишь?

— Час тому назад повесился Смердяков, — ответил со двора Алеша.

— Пройди на крыльцо, сейчас отворю тебе, — сказал Иван и пошел отворять Алеше.

X

«ЭТО ОН ГОВОРИЛ!»

Алеша, войдя, сообщил Ивану Федоровичу, что час с небольшим назад прибежала к нему на квартиру Марья Кондратьевна и объявила, что Смердяков лишил себя жизни. «Вхожу этта к нему самовар прибрать, а он у стенки на гвоздочке висит». На вопрос Алеши: «Заявила ль она кому следует?» — ответила, что никому не заявляла, а «прямо бросилась к вам к первому и всю дорогу бежала бегом». Она была как помешанная, передавал Алеша, и вся дрожала как лист. Когда же Алеша прибежал вместе с ней в их избу, то застал Смердякова всё еще висевшим. На столе лежала записка: «Истребляю свою жизнь своею собственною волей и охотой, чтобы никого не винить». Алеша так и оставил эту записку на столе и пошел прямо к исправнику, у него обо всем заявил, «а оттуда прямо к тебе», — заключил Алеша, пристально вглядываясь в лицо Ивана. И всё время, пока он рассказывал, он не отводил от него глаз, как бы чем-то очень пораженный в выражении его лица.

— Брат, — вскричал он вдруг, — ты, верно, ужасно болен! Ты смотришь и как будто не понимаешь, что я говорю.

— Это хорошо, что ты пришел, — проговорил как бы задумчиво Иван и как бы вовсе не слыхав восклицания Алеши. — А ведь я знал, что он повесился.

— От кого же?

— Не знаю от кого. Но я знал. Знал ли я? Да, он мне сказал. Он сейчас еще мне говорил...

Иван стоял среди комнаты и говорил всё так же задумчиво и смотря в землю.

— Кто *он?* — спросил Алеша, невольно оглядевшись кругом.

— Он улизнул.

Иван поднял голову и тихо улыбнулся:

— Он тебя испугался, тебя, голубя. Ты «чистый херувим». Тебя Дмитрий херувимом зовет. Херувим... Громовый вопль восторга серафимов! Что такое серафим? Может быть, целое созвездие. А может быть, всё-то созвездие есть всего только какая-

нибудь химическая молекула... Есть созвездие Льва и Солнца, не знаешь ли?

— Брат, сядь! — проговорил Алеша в испуге, — сядь, ради бога, на диван. Ты в бреду, приляг на подушку, вот так. Хочешь полотенце мокрое к голове? Может, лучше станет?

— Дай полотенце, вот тут на стуле, я давеча сюда бросил.

— Тут нет его. Не беспокойся, я знаю, где лежит; вот оно, — сказал Алеша, сыскав в другом углу комнаты, у туалетного столика Ивана, чистое, еще сложенное и не употребленное полотенце. Иван странно посмотрел на полотенце; память как бы вмиг воротилась к нему.

— Постой, — привстал он с дивана, — я давеча, час назад, это самое полотенце взял оттуда же и смочил водой. Я прикладывал к голове и бросил сюда... как же оно сухое? Другого не было.

— Ты прикладывал это полотенце к голове? — спросил Алеша.

— Да, и ходил по комнате, час назад... Почему так свечки сгорели? Который час?

— Скоро двенадцать.

— Нет, нет, нет! — вскричал вдруг Иван, — это был не сон! Он был, он тут сидел, вон на том диване. Когда ты стучал в окно, я бросил в него стакан... вот этот... Постой, я и прежде спал, но этот сон не сон. И прежде было. У меня, Алеша, теперь бывают сны... но они не сны, а наяву: я хожу, говорю и вижу... а сплю. Но он тут сидел, он был, вот на этом диване... Он ужасно глуп, Алеша, ужасно глуп, — засмеялся вдруг Иван и принялся шагать по комнате.

— Кто глуп? Про кого ты говоришь, брат? — опять тоскливо спросил Алеша.

— Черт! Он ко мне повадился. Два раза был, даже почти три. Он дразнил меня тем, будто я сержусь, что он просто черт, а не сатана с опаленными крыльями, в громе и блеске. Но он не сатана, это он лжет. Он самозванец. Он просто черт, дрянной, мелкий черт. Он в баню ходит. Раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, бурый... Алеша, ты озяб, ты в снегу был, хочешь чаю? Что? холодный? Хочешь, велю поставить? C'est à ne pas mettre un chien dehors...

Алеша быстро сбегал к рукомойнику, намочил полотенце, уговорил Ивана опять сесть и обложил ему мокрым полотенцем голову. Сам сел подле него.

— Что ты мне давеча говорил про Лизу? — начал опять Иван. (Он становился очень словоохотлив.) — Мне нравится Лиза. Я сказал про нее тебе что-то скверное. Я солгал, мне она нравится... Я боюсь завтра за Катю, больше всего боюсь. За будущее. Она завтра бросит меня и растопчет ногами. Она думает, что я из ревности к ней гублю Митю! Да, она это думает! Так вот нет же! Завтра крест, но не виселица. Нет, я не повешусь. Знаешь ли ты, что я никогда не могу лишить себя жизни, Алеша! От подлости, что ли? Я не трус. От жажды жить! Почему это я знал, что Смердяков повесился? Да, это *он* мне сказал...

— И ты твердо уверен, что кто-то тут сидел? — спросил Алеша.

— Вон на том диване, в углу. Ты бы его прогнал. Да ты же его и прогнал: он исчез, как ты явился. Я люблю твое лицо, Алеша. Знал ли ты, что я люблю твое лицо? А *он* — это я, Алеша, я сам. Всё мое низкое, всё мое подлое и презренное! Да, я «романтик», он это подметил... хоть это и клевета. Он ужасно глуп, но он этим берет. Он хитер, животно хитер, он знал, чем взбесить меня. Он всё дразнил меня, что я в него верю, и тем заставил меня его слушать. Он надул меня, как мальчишку. Он мне, впрочем, сказал про меня много правды. Я бы никогда этого не сказал себе. Знаешь, Алеша, знаешь, — ужасно серьезно и как бы конфиденциально прибавил Иван, — я бы очень желал, чтоб он в самом деле был *он*, а не я!

— Он тебя измучил, — сказал Алеша, с состраданием смотря на брата.

— Дразнил меня! И знаешь, ловко, ловко: «Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги». Это он говорил, это он говорил!

— А не ты, не ты? — ясно смотря на брата, неудержимо вскричал Алеша. — Ну и пусть его, брось его и забудь о нем! Пусть он унесет с собою всё, что ты теперь проклинаешь, и никогда не приходит!

— Да, но он зол. Он надо мной смеялся. Он был дерзок, Алеша, — с содроганием обиды проговорил Иван. — Но он клеветал на меня, он во многом клеветал. Лгал мне же на меня же в глаза. «О, ты идешь совершить подвиг добродетели, объявишь, что убил отца, что лакей по твоему наущению убил отца...»

— Брат, — прервал Алеша, — удержись: не ты убил. Это неправда!

— Это он говорит, он, а он это знает: «Ты идешь совершить подвиг добродетели, а в добродетель-то и не веришь — вот что тебя злит и мучит, вот отчего ты такой мстительный». Это он мне про меня говорил, а он знает, что говорит...

— Это ты говоришь, а не он! — горестно воскликнул Алеша,— и говоришь в болезни, в бреду, себя мучая!

— Нет, он знает, что говорит. Ты, говорит, из гордости идешь, ты станешь и скажешь: «Это я убил, и чего вы корчитесь от ужаса, вы лжете! Мнение ваше презираю, ужас ваш презираю». Это он про меня говорит, и вдруг говорит: «А знаешь, тебе хочется, чтоб они тебя похвалили: преступник, дескать, убийца, но какие у него великодушные чувства, брата спасти захотел и признался!» Вот это так уж ложь, Алеша! — вскричал вдруг Иван, засверкав глазами. — Я не хочу, чтобы меня смерды хвалили! Это он солгал, Алеша, солгал, клянусь тебе! Я бросил в него за это стаканом, и он расшибся об его морду.

— Брат, успокойся, перестань! — упрашивал Алеша.

— Нет, он умеет мучить, он жесток, — продолжал, не слушая, Иван. — Я всегда предчувствовал, зачем он приходит. «Пусть, говорит, ты шел из гордости, но ведь всё же была и надежда, что уличат Смердякова и сошлют в каторгу, что Митю оправдают, а тебя осудят лишь *нравственно* (слышишь, он тут смеялся!), а другие так и похвалят. Но вот умер Смердяков, повесился — ну и кто ж тебе там на суде теперь-то одному поверит? А ведь ты идешь, идешь, ты все-таки пойдешь, ты решил, что пойдешь. Для чего же ты идешь после этого?» Это страшно, Алеша, я не могу выносить таких вопросов. Кто смеет мне задавать такие вопросы!

— Брат, — прервал Алеша, замирая от страха, но всё еще как бы надеясь образумить Ивана, — как же мог он говорить тебе про смерть Смердякова до моего прихода, когда еще никто и не знал о ней, да и времени не было никому узнать?

— Он говорил, — твердо произнес Иван, не допуская и сомнения. — Он только про это и говорил, если хочешь. «И добро бы ты, говорит, в добродетель верил: пусть не поверят мне, для принципа иду. Но ведь ты поросенок, как Федор Павлович, и что тебе добродетель? Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? А потому что ты сам не знаешь, для чего идешь! О, ты бы много дал, чтоб узнать самому, для чего идешь! И будто ты решился? Ты еще не решился. Ты всю ночь будешь сидеть и решать: идти или нет? Но ты все-таки пойдешь и знаешь, что пойдешь, сам знаешь, что как бы ты ни решался, а решение уж не от тебя зависит. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь, — это уж сам угадай, вот тебе загадка!» Встал и ушел. Ты пришел, а он ушел. Он меня трусом назвал, Алеша! Le mot de l'énigme, [1] что я трус! «Не таким орлам воспарять над землей!» Это он прибавил, это он прибавил! И Смердяков это же говорил. Его надо убить! Катя меня презирает, я уже месяц это вижу, да и Лиза презирать начнет! «Идешь, чтоб тебя похвалили» — это зверская ложь! И ты тоже презираешь меня, Алеша. Теперь я тебя опять возненавижу. И изверга ненавижу, и изверга ненавижу! Не хочу спасать изверга, пусть сгниет в каторге! Гимн запел! О, завтра я пойду, стану пред ними и плюну им всем в глаза!

Он вскочил в исступлении, сбросил с себя полотенце и принялся снова шагать по комнате. Алеша вспомнил давешние слова его: «Как будто я сплю наяву... Хожу, говорю и вижу, а сплю». Именно как будто это совершалось теперь. Алеша не отходил от него. Мелькнула было у него мысль бежать к доктору и привесть того, но он побоялся оставить брата одного: поручить его совсем некому было. Наконец Иван мало-помалу стал совсем лишаться памяти. Он всё продолжал говорить, говорил не умолкая, но уже совсем нескладно. Даже плохо выговаривал слова и вдруг сильно покачнулся на месте. Но Алеша успел поддержать его. Иван дал

---

[1] Отгадка в том *(франц.)*.

себя довести до постели, Алеша кое-как раздел его и уложил. Сам просидел над ним еще часа два. Больной спал крепко, без движения, тихо и ровно дыша. Алеша взял подушку и лег на диване не раздеваясь. Засыпая, помолился о Мите и об Иване. Ему становилась понятною болезнь Ивана: «Муки гордого решения, глубокая совесть!» Бог, которому он не верил, и правда его одолевали сердце, всё еще не хотевшее подчиниться. «Да, — неслось в голове Алеши, уже лежавшей на подушке, — да, коль Смердяков умер, то показанию Ивана никто уже не поверит; но он пойдет и покажет! — Алеша тихо улыбнулся: — Бог победит! — подумал он. — Или восстанет в свете правды, или... погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит», — горько прибавил Алеша и опять помолился за Ивана.

Книга двенадцатая

СУДЕБНАЯ ОШИБКА

I

РОКОВОЙ ДЕНЬ

На другой день после описанных мною событий, в десять часов утра, открылось заседание нашего окружного суда и начался суд над Дмитрием Карамазовым.

Скажу вперед, и скажу с настойчивостью: я далеко не считаю себя в силах передать всё то, что произошло на суде, и не только в надлежащей полноте, но даже и в надлежащем порядке. Мне всё кажется, что если бы всё припомнить и всё как следует разъяснить, то потребуется целая книга, и даже пребольшая. А потому пусть не посетуют на меня, что я передам лишь то, что меня лично поразило и что я особенно запомнил. Я мог принять второстепенное за главнейшее, даже совсем упустить самые резкие необходимейшие черты... А впрочем, вижу, что лучше не извиняться. Сделаю как умею, и читатели сами поймут, что я сделал лишь как умел.

И во-первых, прежде чем мы войдем в залу суда, упомяну о том, что меня в этот день особенно удивило. Впрочем, удивило не одного меня, а, как оказалось впоследствии, и всех. Именно: все знали, что дело это заинтересовало слишком многих, что все сгорали от нетерпения, когда начнется суд, что в обществе нашем много говорили, предполагали, восклицали, мечтали уже целые два месяца. Все знали тоже, что дело это получило всероссийскую огласку, но все-таки не представляли себе, что оно до такой уже жгучей, до такой раздражительной степени потрясло всех и каждого, да и не у нас только, а повсеместно, как оказалось это на самом суде в этот день. К этому дню к нам съехались гости не

только из нашего губернского города, но и из некоторых других городов России, а наконец, из Москвы и из Петербурга. Приехали юристы, приехало даже несколько знатных лиц, а также и дамы. Все билеты были расхватаны. Для особенно почетных и знатных посетителей из мужчин отведены были даже совсем уже необыкновенные места сзади стола, за которым помещался суд: там появился целый ряд занятых разными особами кресел, чего никогда у нас прежде не допускалось. Особенно много оказалось дам — наших и приезжих, я думаю, даже не менее половины всей публики. Одних только съехавшихся отовсюду юристов оказалось так много, что даже не знали уж, где их и поместить, так как все билеты давно уже были розданы, выпрошены и вымолены. Я видел сам, как в конце залы, за эстрадой, была временно и наскоро устроена особая загородка, в которую впустили всех этих съехавшихся юристов, и они почли себя даже счастливыми, что могли тут хоть стоять, потому что стулья, чтобы выгадать место, были из этой загородки совсем вынесены, и вся набравшаяся толпа простояла всё «дело» густо сомкнувшеюся кучей, плечом к плечу. Некоторые из дам, особенно из приезжих, явились на хорах залы чрезвычайно разряженные, но большинство дам даже и о нарядах забыло. На их лицах читалось истерическое, жадное, болезненное почти любопытство. Одна из характернейших особенностей всего этого собравшегося в зале общества и которую необходимо отметить, состояла в том, что, как и оправдалось потом по многим наблюдениям, почти все дамы, по крайней мере огромнейшее большинство их, стояли за Митю и за оправдание его. Может быть, главное, потому, что о нем составилось представление как о покорителе женских сердец. Знали, что явятся две женщины-соперницы. Одна из них, то есть Катерина Ивановна, особенно всех интересовала; про нее рассказывалось чрезвычайно много необыкновенного, про ее страсть к Мите, несмотря даже на его преступление, рассказывались удивительные анекдоты. Особенно упоминалось об ее гордости (она почти никому в нашем городе не сделала визитов), об «аристократических связях». Говорили, что она намерена просить правительство, чтоб ей позволили сопровождать преступника на каторгу и обвенчаться с ним где-нибудь в рудниках под землей. С не меньшим волнением ожидали появления на суде и Грушеньки, как соперницы Катерины Ивановны. С мучительным любопытством ожидали встречи пред судом двух соперниц — аристократической гордой девушки и «гетеры»; Грушенька, впрочем, была известнее нашим дамам, чем Катерина Ивановна. Ее, «погубительницу Федора Павловича и несчастного сына его», видали наши дамы и прежде, и все, почти до единой, удивлялись, как в такую «самую обыкновенную, совсем даже некрасивую собой русскую мещанку» могли до такой степени влюбиться отец и сын. Словом, толков было много. Мне положительно известно, что собственно в нашем городе произошло даже несколько серьезных семейных ссор из-за Мити. Многие дамы горячо поссорились

со своими супругами за разность взглядов на всё это ужасное дело, и естественно после того, что все мужья этих дам явились в залу суда уже не только нерасположенными к подсудимому, но даже озлобленными против него. И вообще положительно можно было сказать, что, в противоположность дамскому, весь мужской элемент был настроен против подсудимого. Виднелись строгие, нахмуренные лица, другие даже совсем злобные, и это во множестве. Правда и то, что Митя многих из них сумел оскорбить лично во время своего у нас пребывания. Конечно, иные из посетителей были почти даже веселы и весьма безучастны собственно к судьбе Мити, но всё же опять-таки не к рассматривающемуся делу; все были заняты исходом его, и большинство мужчин решительно желало кары преступнику, кроме разве юристов, которым дорога была не нравственная сторона дела, а лишь, так сказать, современно-юридическая. Всех волновал приезд знаменитого Фетюковича. Талант его был известен повсеместно, и это уже не в первый раз, что он являлся в провинции защищать громкие уголовные дела. И после его защиты таковые дела всегда становились знаменитыми на всю Россию и надолго памятными. Ходило несколько анекдотов и о нашем прокуроре и о председателе суда. Рассказывалось, что наш прокурор трепетал встречи с Фетюковичем, что это были старинные враги еще с Петербурга, еще с начала их карьеры, что самолюбивый наш Ипполит Кириллович, считавший себя постоянно кем-то обиженным еще с Петербурга, за то что не были надлежаще оценены его таланты, воскрес было духом над делом Карамазовых и мечтал даже воскресить этим делом свое увядшее поприще, но что пугал его лишь Фетюкович. Но насчет трепета пред Фетюковичем суждения были не совсем справедливы. Прокурор наш был не из таких характеров, которые падают духом пред опасностью, а, напротив, из тех, чье самолюбие вырастает и окрыляется именно по мере возрастания опасности. Вообще же надо заметить, что прокурор наш был слишком горяч и болезненно восприимчив. В иное дело он клал всю свою душу и вел его так, как бы от решения его зависела вся его судьба и всё его достояние. В юридическом мире над этим несколько смеялись, ибо наш прокурор именно этим качеством своим заслужил даже некоторую известность, если далеко не повсеместно, то гораздо большую, чем можно было предположить ввиду его скромного места в нашем суде. Особенно смеялись над его страстью к психологии. По-моему, все ошибались: наш прокурор, как человек и характер, кажется мне, был гораздо серьезнее, чем многие о нем думали. Но уж так не умел поставить себя этот болезненный человек с самых первых своих шагов еще в начале поприща, а затем и во всю свою жизнь.

Что же до председателя нашего суда, то о нем можно сказать лишь то, что это был человек образованный, гуманный, практически знающий дело и самых современных идей. Был он довольно самолюбив, но о карьере своей не очень заботился. Главная цель

его жизни заключалась в том, чтобы быть передовым человеком. Притом имел связи и состояние. На дело Карамазовых, как оказалось потом, он смотрел довольно горячо, но лишь в общем смысле. Его занимало явление, классификация его, взгляд на него как на продукт наших социальных основ, как на характеристику русского элемента, и проч., и проч. К личному же характеру дела, к трагедии его, равно как и к личностям участвующих лиц, начиная с подсудимого, он относился довольно безразлично и отвлеченно, как, впрочем, может быть, и следовало.

Задолго до появления суда зала была уже набита битком. У нас зала суда лучшая в городе, обширная, высокая, звучная. Направо от членов суда, помещавшихся на некотором возвышении, был приготовлен стол и два ряда кресел для присяжных заседателей. Налево было место подсудимого и его защитника. На средине залы, близ помещения суда стоял стол с «вещественными доказательствами». На нем лежали окровавленный шелковый белый халат Федора Павловича, роковой медный пестик, коим было совершено предполагаемое убийство, рубашка Мити с запачканным кровью рукавом, его сюртук весь в кровавых пятнах сзади на месте кармана, в который он сунул тогда свой весь мокрый от крови платок, самый платок, весь заскорузлый от крови, теперь уже совсем пожелтевший, пистолет, заряженный для самоубийства Митей у Перхотина и отобранный у него тихонько в Мокром Трифоном Борисовичем, конверт с надписью, в котором были приготовлены для Грушеньки три тысячи, и розовая тоненькая ленточка, которою он был обвязан, и прочие многие предметы, которых и не упомню. На некотором расстоянии дальше, в глубь залы, начинались места для публики, но еще пред балюстрадой стояло несколько кресел для тех свидетелей, уже давших свое показание, которые будут оставлены в зале. В десять часов появился суд в составе председателя, одного члена и одного почетного мирового судьи. Разумеется, тотчас же появился и прокурор. Председатель был плотный, коренастый человек, ниже среднего роста, с геморроидальным лицом, лет пятидесяти, с темными с проседью волосами, коротко обстриженными, и в красной ленте — не помню уж какого ордена. Прокурор же показался мне, да и не мне, а всем, очень уж как-то бледным, почти с зеленым лицом, почему-то как бы внезапно похудевшим в одну, может быть, ночь, потому что я всего только третьего дня видел его совсем еще в своем виде. Председатель начал с вопроса судебному приставу: все ли явились присяжные заседатели?.. Вижу, однако, что так более продолжать не могу, уже потому даже, что многого не расслышал, в другое пропустил вникнуть, третье забыл упомнить, а главное, потому, что, как уже и сказал я выше, если всё припоминать, что было сказано и что произошло, то буквально недостанет у меня ни времени, ни места. Знаю только, что присяжных заседателей, тою и другою стороной, то есть защитником и прокурором, отведено было не очень много. Состав же двенадцати присяжных запом-

нил: четыре наших чиновника, два купца и шесть крестьян и мещан нашего города. У нас в обществе, я помню, еще задолго до суда, с некоторым удивлением спрашивали, особенно дамы: «Неужели такое тонкое, сложное и психологическое дело будет отдано на роковое решение каким-то чиновникам и, наконец, мужикам, и «что-де поймет тут какой-нибудь такой чиновник, тем более мужик?» В самом деле, все эти четыре чиновника, попавшие в состав присяжных, были люди мелкие, малочиновные, седые — один только из них был несколько помоложе, — в обществе нашем малоизвестные, прозябавшие на мелком жалованье, имевшие, должно быть, старых жен, которых никуда нельзя показать, и по куче детей, может быть даже босоногих, много-много что развлекавшие свой досуг где-нибудь картишками и уж, разумеется, никогда не прочитавшие ни одной книги. Два же купца имели хоть и степенный вид, но были как-то странно молчаливы и неподвижны; один из них брил бороду и был одет по-немецки; другой, с седенькою бородкой, имел на шее, на красной ленте, какую-то медаль. Про мещан и крестьян и говорить нечего. Наши скотопригоньевские мещане почти те же крестьяне, даже пашут. Двое из них были тоже в немецком платье и оттого-то, может быть, грязнее и неприглянднее на вид, чем остальные четверо. Так что действительно могла зайти мысль, как зашла и мне, например, только что я их рассмотрел: «Что могут такие постичь в таком деле?» Тем не менее лица их производили какое-то странно внушительное и почти грозящее впечатление, были строги и нахмурены.

Наконец председатель объявил к слушанию дело об убийстве отставного титулярного советника Федора Павловича Карамазова — не помню вполне, как он тогда выразился. Судебному приставу велено было ввести подсудимого, и вот появился Митя. Всё затихло в зале, муху можно было услышать. Не знаю как на других, но вид Мити произвел на меня самое неприятное впечатление. Главное, он явился ужасным франтом, в новом с иголочки сюртуке. Я узнал потом, что он нарочно заказал к этому дню себе сюртук в Москве, прежнему портному, у которого сохранилась его мерка. Был он в новешеньких черных лайковых перчатках и в щегольском белье. Он прошел своими длинными аршинными шагами, прямо до неподвижности смотря пред собою, и сел на свое место с самым бестрепетным видом. Тут же сейчас же явился и защитник, знаменитый Фетюкович, и как бы какой-то подавленный гул пронесся в зале. Это был длинный, сухой человек, с длинными, тонкими ногами, с чрезвычайно длинными, бледными, тонкими пальцами, с обритым лицом, со скромно причесанными, довольно короткими волосами, с тонкими, изредка кривившимися не то насмешкой, не то улыбкой губами. На вид ему было лет сорок. Лицо его было бы и приятным, если бы не глаза его, сами по себе небольшие и невыразительные, но до редкости близко один от другого поставленные, так что их разделяла всего только одна тонкая косточка его продолговатого тонкого носа. Словом, физи-

ономия эта имела в себе что-то резко птичье, что поражало. Он был во фраке и в белом галстуке. Помню первый опрос Мити председателем, то есть об имени, звании и проч. Митя ответил резко, но как-то неожиданно громко, так что председатель встряхнул даже головой и почти с удивлением посмотрел на него. Затем был прочитан список лиц, вызванных к судебному следствию, то есть свидетелей и экспертов. Список был длинный; четверо из свидетелей не явились: Миусов, бывший в настоящее время уже в Париже, но показание которого имелось еще в предварительном следствии, госпожа Хохлакова и помещик Максимов по болезни и Смердяков за внезапною смертью, причем было представлено свидетельство от полиции. Известие о Смердякове вызвало сильное шевеление и шепот в зале. Конечно, в публике многие еще вовсе не знали об этом внезапном эпизоде самоубийства. Но что особенно поразило, это — внезапная выходка Мити: только что донесли о Смердякове, как вдруг он со своего места воскликнул на всю залу:

— Собаке собачья смерть!

Помню, как бросился к нему его защитник и как председатель обратился к нему с угрозой принять строгие меры, если еще раз повторится подобная этой выходка. Митя отрывисто и кивая головой, но как будто совсем не раскаиваясь, несколько раз повторил вполголоса защитнику:

— Не буду, не буду! Сорвалось! Больше не буду!

И уж, конечно, этот коротенький эпизод послужил не в его пользу во мнении присяжных и публики. Объявлялся характер и рекомендовал себя сам. Под этим-то впечатлением был прочитан секретарем суда обвинительный акт.

Он был довольно краток, но обстоятелен. Излагались лишь главнейшие причины, почему привлечен такой-то, почему его должно было предать суду, и так далее. Тем не менее он произвел на меня сильное впечатление. Секретарь прочел четко, звучно, отчетливо. Вся эта трагедия как бы вновь появилась пред всеми выпукло, концентрично, освещенная роковым, неумолимым светом. Помню, как сейчас же по прочтении председатель громко и внушительно спросил Митю:

— Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?

Митя вдруг встал с места:

— Признаю себя виновным в пьянстве и разврате, — воскликнул он каким-то опять-таки неожиданным, почти исступленным голосом, — в лени и в дебоширстве. Хотел стать навеки честным человеком именно в ту секунду, когда подсекла судьба! Но в смерти старика, врага моего и отца, — не виновен! Но в ограблении его — нет, нет, не виновен, да и не могу быть виновным: Дмитрий Карамазов подлец, но не вор!

Прокричав это, он сел на место, видимо весь дрожа. Председатель снова обратился к нему с кратким, но назидательным увещанием отвечать лишь на вопросы, а не вдаваться в посторонние

и исступленные восклицания. Затем велел приступить к судебному следствию. Ввели всех свидетелей для присяги. Тут я увидел их всех разом. Впрочем, братья подсудимого были допущены к свидетельству без присяги. После увещания священника и председателя свидетелей увели и рассадили, по возможности, порознь. Затем стали вызывать их по одному.

II

ОПАСНЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Не знаю, были ли свидетели прокурорские и от защиты разделены председателем как-нибудь на группы и в каком именно порядке предположено было вызывать их. Должно быть, всё это было. Знаю только, что первыми стали вызывать свидетелей прокурорских. Повторяю, я не намерен описывать все допросы и шаг за шагом. К тому же мое описание вышло бы отчасти и лишним, потому что в речах прокурора и защитника, когда приступили к прениям, весь ход и смысл всех данных и выслушанных показаний были сведены как бы в одну точку с ярким и характерным освещением, а эти две замечательные речи я, по крайней мере местами, записал в полноте и передам в свое время, равно как и один чрезвычайный и совсем неожиданный эпизод процесса, разыгравшийся внезапно еще до судебных прений и несомненно повлиявший на грозный и роковой исход его. Замечу только, что с самых первых минут суда выступила ярко некоторая особая характерность этого «дела», всеми замеченная, именно: необыкновенная сила обвинения сравнительно со средствами, какие имела защита. Это все поняли в первый миг, когда в этой грозной зале суда начали, концентрируясь, группироваться факты и стали постепенно выступать весь этот ужас и вся эта кровь наружу. Всем, может быть, стало понятно еще с самых первых шагов, что это совсем даже и не спорное дело, что тут нет сомнений, что, в сущности, никаких бы и прений не надо, что прения будут лишь только для формы, а что преступник виновен, виновен явно, виновен окончательно. Я думаю даже, что и все дамы, все до единой, с таким нетерпением жаждавшие оправдания интересного подсудимого, были в то же время совершенно уверены в полной его виновности. Мало того, мне кажется, они бы даже огорчились, если бы виновность его не столь подтвердилась, ибо тогда не было бы такого эффекта в развязке, когда оправдают преступника. А что его оправдают — в этом, странное дело, все дамы были окончательно убеждены почти до самой последней минуты: «виновен, но оправдают из гуманности, из новых идей, из новых чувств, которые теперь пошли», и проч., и проч. Для того-то они и сбежались сюда с таким нетерпением. Мужчины же наиболее интересовались борьбой прокурора и славного Фетюковича. Все удивлялись и спрашивали себя: что может сделать из такого потерянного дела, из такого

выеденного яйца даже и такой талант, как Фетюкович? — а потому с напряженным вниманием следили шаг за шагом за его подвигами. Но Фетюкович до самого конца, до самой речи своей остался для всех загадкой. Опытные люди предчувствовали, что у него есть система, что у него уже нечто составилось, что впереди у него есть цель, но какая она — угадать было почти невозможно. Его уверенность и самонадеянность бросались, однако же, в глаза. Кроме того, все с удовольствием сейчас же заметили, что он, в такое краткое пребывание у нас, всего в какие-нибудь три дня может быть, сумел удивительно ознакомиться с делом и «до тонкости изучил его». С наслаждением рассказывали, например, потом, как он всех прокурорских свидетелей сумел вовремя «подвести» и, по возможности, сбить, а главное, подмарать их нравственную репутацию, а стало быть, само собой подмарать и их показания. Полагали, впрочем, что он делает это много-много что для игры, так сказать для некоторого юридического блеска, чтоб уж ничего не было забыто из принятых адвокатских приемов: ибо все были убеждены, что какой-нибудь большой и окончательной пользы он всеми этими «подмарываниями» не мог достичь и, вероятно, это сам лучше всех понимает, имея какую-то свою идею в запасе, какое-то еще пока припрятанное оружие защиты, которое вдруг и обнаружит, когда придет срок. Но пока все-таки, сознавая свою силу, он как бы играл и резвился. Так, например, когда опрашивали Григория Васильева, бывшего камердинера Федора Павловича, дававшего самое капитальное показание об «отворенной в сад двери», защитник так и вцепился в него, когда ему в свою очередь пришлось предлагать вопросы. Надо заметить, что Григорий Васильевич предстал в залу, не смутившись нимало ни величием суда, ни присутствием огромной слушавшей его публики, с видом спокойным и чуть не величавым. Он давал свои показания с такою уверенностью, как если бы беседовал наедине со своею Марфой Игнатьевной, только разве почтительнее. Сбить его было невозможно. Его сначала долго расспрашивал прокурор о всех подробностях семейства Карамазовых. Семейная картина ярко выставилась наружу. Слышалось, виделось, что свидетель был простодушен и беспристрастен. При всей глубочайшей почтительности к памяти своего бывшего барина, он все-таки, например, заявил, что тот был к Мите несправедлив и «не так воспитал детей. Его, малого мальчика, без меня вши бы заели, — прибавил он, повествуя о детских годах Мити. — Тоже не годилось отцу сына в имении его материнском, родовом, обижать». На вопрос же прокурора о том, какие у него основания утверждать, что Федор Павлович обидел в расчете сына, Григорий Васильевич, к удивлению всех, основательных данных совсем никаких не представил, но все-таки стоял на том, что расчет с сыном был «неправильный» и что это точно ему «несколько тысяч следовало доплатить». Замечу кстати, что этот вопрос — действительно ли Федор Павлович недоплатил чего Мите? — прокурор с особенною настой-

чивостью предлагал потом и всем тем свидетелям, которым мог его предложить, не исключая ни Алеши, ни Ивана Федоровича, но ни от кого из свидетелей не получил никакого точного сведения; все утверждали факт, и никто не мог представить хоть сколько-нибудь ясного доказательства. После того как Григорий описал сцену за столом, когда ворвался Дмитрий Федорович и избил отца, угрожая воротиться убить его, — мрачное впечатление пронеслось по зале, тем более что старый слуга рассказывал спокойно, без лишних слов, своеобразным языком, а вышло страшно красноречиво. За обиду свою Митей, ударившим его тогда по лицу и сбившим его с ног, он заметил, что не сердится и давно простил. О покойном Смердякове выразился, перекрестясь, что малый был со способностью, да глуп и болезнью угнетен, а пуще безбожник, и что его безбожеству Федор Павлович и старший сын учили. Но о честности Смердякова подтвердил почти с жаром и тут же передал, как Смердяков, во время óно, найдя оброненные барские деньги, не утаил их, а принес барину, и тот ему за это «золотой подарил» и впредь во всем доверять начал. Отворенную же дверь в сад подтвердил с упорною настойчивостью. Впрочем, его так много расспрашивали, что я всего и припомнить не могу. Наконец опросы перешли к защитнику, и тот первым делом начал узнавать о пакете, в котором «будто бы» спрятаны были Федором Павловичем три тысячи рублей для «известной особы». «Видели ли вы его сами — вы, столь многолетне приближенный к вашему барину человек?» Григорий ответил, что не видел, да и не слыхал о таких деньгах вовсе ни от кого, «до самых тех пор, как вот зачали теперь все говорить». Этот вопрос о пакете Фетюкович со своей стороны тоже предлагал всем, кого мог об этом спросить из свидетелей, с такою же настойчивостью, как и прокурор свой вопрос о разделе имения, и ото всех тоже получал лишь один ответ, что пакета никто не видал, хотя очень многие о нем слышали. Эту настойчивость защитника на этом вопросе все с самого начала заметили.

— Теперь могу ли обратиться к вам с вопросом, если только позволите, — вдруг и совсем неожиданно спросил Фетюкович, — из чего состоял тот бальзам, или, так сказать, та настойка, посредством которой вы в тот вечер, перед сном, как известно из предварительного следствия, вытерли вашу страдающую поясницу, надеясь тем излечиться?

Григорий тупо посмотрел на опросчика и, помолчав несколько, пробормотал:

— Был шалфей положен.

— Только шалфей? Не припомните ли еще чего-нибудь?

— Подорожник был тоже.

— И перец, может быть? — любопытствовал Фетюкович.

— И перец был.

— И так далее. И всё это на водочке?

— На спирту.

В зале чуть-чуть пронесся смешок.

— Видите, даже и на спирту. Вытерши спину, вы ведь остальное содержание бутылки, с некоею благочестивою молитвою, известной лишь вашей супруге, изволили выпить, ведь так?

— Выпил.

— Много ли примерно выпили? Примерно? Рюмочку, другую?

— Со стакан будет.

— Даже и со стакан. Может быть, и полтора стаканчика?

Григорий замолк. Он как бы что-то понял.

— Стаканчика полтора чистенького спиртику — оно ведь очень недурно, как вы думаете? Можно и «райские двери отверсты» увидеть, не то что дверь в сад?

Григорий всё молчал. Опять прошел смешок в зале. Председатель пошевелился.

— Не знаете ли вы наверно, — впивался всё более и более Фетюкович, — почивали вы или нет в ту минуту, когда увидели отворенную в сад дверь?

— На ногах стоял.

— Это еще не доказательство, что не почивали (еще и еще смешок в зале). Могли ли, например, ответить в ту минуту, если бы вас кто спросил о чем — ну, например, о том, который у нас теперь год?

— Этого не знаю.

— А который у нас теперь год, нашей эры, от рождества Христова, не знаете ли?

Григорий стоял со сбитым видом, в упор смотря на своего мучителя. Странно это, казалось, по-видимому, что он действительно не знает, какой теперь год.

— Может быть, знаете, однако, сколько у вас на руке пальцев?

— Я человек подневольный, — вдруг громко и раздельно проговорил Григорий, — коли начальству угодно надо мною надсмехаться, так я снести должен.

Фетюковича как бы немножко осадило, но ввязался и председатель и назидательно напомнил защитнику, что следует задавать более подходящие вопросы. Фетюкович, выслушав, с достоинством поклонился и объявил, что расспросы свои кончил. Конечно, и в публике, и у присяжных мог остаться маленький червячок сомнения в показании человека, имевшего возможность «видеть райские двери» в известном состоянии лечения и, кроме того, даже не ведающего, какой нынче год от рождества Христова; так что защитник своей цели все-таки достиг. Но пред уходом Григория произошел еще эпизод. Председатель, обратившись к подсудимому, спросил: не имеет ли он чего заметить по поводу данных показаний?

— Кроме двери, во всем правду сказал, — громко крикнул Митя. — Что вшей мне вычесывал — благодарю, что побои мне

простил — благодарю; старик был честен всю жизнь и верен отцу как семьсот пуделей.

— Подсудимый, выбирайте ваши слова, — строго проговорил председатель.

— Я не пудель, — проворчал и Григорий.

— Ну так это я пудель, я! — крикнул Митя. — Коли обидно, то на себя принимаю, а у него прощения прошу: был зверь и с ним жесток! С Езопом тоже был жесток.

— С каким Езопом? — строго поднял опять председатель.

— Ну с Пьеро... с отцом, с Федором Павловичем.

Председатель опять и опять внушительно и строжайше уже подтвердил Мите, чтоб он осторожнее выбирал свои выражения.

— Вы сами вредите себе тем во мнении судей ваших.

Точно так же весьма ловко распорядился защитник и при спросе свидетеля Ракитина. Замечу, что Ракитин был из самых важных свидетелей и которым несомненно дорожил прокурор. Оказалось, что он всё знал, удивительно много знал, у всех-то он был, всё-то видел, со всеми-то говорил, подробнейшим образом знал биографию Федора Павловича и всех Карамазовых. Правда, про пакет с тремя тысячами тоже слышал лишь от самого Мити. Зато подробно описал подвиги Мити в трактире «Столичный город», все компрометирующие того слова и жесты и передал историю о «мочалке» штабс-капитана Снегирева. Насчет же того особого пункта, остался ли что-нибудь должен Федор Павлович Мите при расчете по имению — даже сам Ракитин не мог ничего указать и отделался лишь общими местами презрительного характера: «кто, дескать, мог бы разобрать из них виноватого и сосчитать, кто кому остался должен при бестолковой карамазовщине, в которой никто себя не мог ни понять, ни определить?» Всю трагедию судимого преступления он изобразил как продукт застарелых нравов крепостного права и погруженной в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений. Словом, ему дали кое-что высказать. С этого процесса господин Ракитин в первый раз заявил себя и стал заметен; прокурор знал, что свидетель готовит в журнал статью о настоящем преступлении и потом уже в речи своей (что увидим ниже) цитовал несколько мыслей из этой статьи, значит, уже был с нею знаком. Картина, изображенная свидетелем, вышла мрачною и роковою и сильно подкрепила «обвинение». Вообще же изложение Ракитина пленило публику независимостию мысли и необыкновенным благородством ее полета. Послышались даже два-три внезапно сорвавшиеся рукоплескания, именно в тех местах, где говорилось о крепостном праве и о страдающей от безурядицы России. Но Ракитин, всё же как молодой человек, сделал маленький промах, которым тотчас же отменно успел воспользоваться защитник. Отвечая на известные вопросы насчет Грушеньки, он, увлеченный своим успехом, который, конечно, уже сам сознавал, и тою высотой благородства, на которую воспарил, позволил себе выразиться об Аграфене

Александровне несколько презрительно, как о «содержанке купца Самсонова». Дорого дал бы он потом, чтобы воротить свое словечко, ибо на нем-то и поймал его тотчас же Фетюкович. И всё потому, что Ракитин совсем не рассчитывал, что тот в такой короткий срок мог до таких интимных подробностей ознакомиться с делом.

Позвольте узнать, — начал защитник с самою любезною и даже почтительною улыбкой, когда пришлось ему в свою очередь задавать вопросы, — вы, конечно, тот самый и есть господин Ракитин, которого брошюру, изданную епархиальным начальством, «Житие в бозе почившего старца отца Зосимы», полную глубоких и религиозных мыслей, с превосходным и благочестивым посвящением преосвященному, я недавно прочел с таким удовольствием?

— Я написал не для печати... это потом напечатали, — пробормотал Ракитин, как бы вдруг чем-то опешенный и почти со стыдом.

— О, это прекрасно! Мыслитель, как вы, может и даже должен относиться весьма широко ко всякому общественному явлению. Покровительством преосвященного ваша полезнейшая брошюра разошлась и доставила относительную пользу... Но я вот о чем, главное, желал бы у вас полюбопытствовать: вы только что заявили, что были весьма близко знакомы с госпожой Светловой? (Nota bene.[1] Фамилия Грушеньки оказалась «Светлова». Это я узнал в первый раз только в этот день, во время хода процесса.)

— Я не могу отвечать за все мои знакомства... Я молодой человек... и кто же может отвечать за всех тех, кого встречает, — так и вспыхнул весь Ракитин.

— Понимаю, слишком понимаю! — воскликнул Фетюкович, как бы сам сконфуженный и как бы стремительно спеша извиниться, — вы, как и всякий другой, могли быть в свою очередь заинтересованы знакомством молодой и красивой женщины, охотно принимавшей к себе цвет здешней молодежи, но... я хотел лишь осведомиться: нам известно, что Светлова месяца два назад чрезвычайно желала познакомиться с младшим Карамазовым, Алексеем Федоровичем, и только за то, чтобы вы привели его к ней, и именно в его тогдашнем монастырском костюме, она пообещала вам выдать двадцать пять рублей, только что вы его к ней приведете. Это, как и известно, состоялось именно в вечер того дня, который закончился трагическою катастрофой, послужившею основанием настоящему делу. Вы привели Алексея Карамазова к госпоже Светловой и — получили вы тогда эти двадцать пять рублей наградных от Светловой, вот что я желал бы от вас услышать?

— Это была шутка... Я не вижу, почему вас это может интересовать. Я взял для шутки... и чтобы потом отдать...

---

[1] Заметь особо *(лат.)*.

— Стало быть, взяли. Но ведь не отдали же и до сих пор... или отдали?

— Это пустое... — бормотал Ракитин, — я не могу на этакие вопросы отвечать... Я, конечно, отдам.

Вступился председатель, но защитник возвестил, что он свои вопросы господину Ракитину кончил. Господин Ракитин сошел со сцены несколько подсаленный. Впечатление от высшего благородства его речи было-таки испорчено, и Фетюкович, провожая его глазами, как бы говорил, указывая публике: «вот, дескать, каковы ваши благородные обвинители!» Помню, не прошло и тут без эпизода со стороны Мити: взбешенный тоном, с каким Ракитин выразился о Грушеньке, он вдруг закричал со своего места: «Бернар!» Когда же председатель, по окончании всего опроса Ракитина, обратился к подсудимому: не желает ли он чего заметить со своей стороны, то Митя зычно крикнул:

— Он у меня, уже у подсудимого, деньги таскал взаймы! Бернар презренный и карьерист, и в бога не верует, преосвященного надул!

Митю, конечно, опять образумили за неистовство выражений, но господин Ракитин был докончен. Не повезло и свидетельству штабс-капитана Снегирева, но уже совсем от другой причины. Он предстал весь изорванный, в грязной одежде, в грязных сапогах, и, несмотря на все предосторожности и предварительную «экспертизу», вдруг оказался совсем пьяненьким. На вопросы об обиде, нанесенной ему Митей, вдруг отказался отвечать.

— Бог с ними-с. Илюшечка не велел. Мне бог там заплатит-с.

— Кто вам не велел говорить? Про кого вы упоминаете?

— Илюшечка, сыночек мой: «Папочка, папочка, как он тебя унизил!» У камушка произнес. Теперь помирает-с...

Штабс-капитан вдруг зарыдал и с размаху бухнулся в ноги председателю. Его поскорее вывели, при смехе публики. Подготовленное прокурором впечатление не состоялось вовсе.

Защитник же продолжал пользоваться всеми средствами и всё более и более удивлял своим ознакомлением с делом до мельчайших подробностей. Так, например, показание Трифона Борисовича произвело было весьма сильное впечатление и уж, конечно, было чрезвычайно неблагоприятно для Мити. Он именно, чуть не по пальцам, высчитал, что Митя, в первый приезд свой в Мокрое, за месяц почти пред катастрофой, не мог истратить менее трех тысяч или «разве без самого только малого. На одних этих цыганок сколько раскидано! Нашим-то вшивым мужикам не то что „полтиною по улице шибали“, а по меньшей мере двадцатипятирублевыми бумажками дарили, меньше не давали. А сколько у них тогда просто украли-с! Ведь кто украл, тот руки своей не оставил, где же его поймать, вора-то-с, когда сами зря разбрасывали! Ведь у нас народ разбойник, душу свою не хранят. А девкам-то, девкам-то нашим деревенским что пошло! Разбогатели у нас с той

поры, вот что-с, прежде бедность была». Словом, он припомнил всякую издержку и вывел всё точно на счетах. Таким образом, предположение о том, что истрачены были лишь полторы тысячи, а другие отложены в ладонку, становилось немыслимым. «Сам видел, в руках у них видел три тысячи как одну копеечку, глазами созерцал, уж нам ли счету не понимать-с!» — восклицал Трифон Борисович, изо всех сил желая угодить «начальству». Но когда опрос перешел к защитнику, тот, почти и не пробуя опровергать показание, вдруг завел речь о том, что ямщик Тимофей и другой мужик Аким подняли в Мокром, в этот первый кутеж, еще за месяц до ареста, сто рублей в сенях на полу, оброненные Митей в хмельном виде, и представили их Трифону Борисовичу, а тот дал им за это по рублю. «Ну так возвратили вы тогда эти сто рублей господину Карамазову или нет?» Трифон Борисович как ни вилял, но после допроса мужиков в найденной сторублевой сознался, прибавив только, что Дмитрию Федоровичу тогда же свято всё возвратил и вручил «по самой честности, и что вот только оне сами, будучи в то время совсем пьяными-с, вряд ли это могут припомнить». Но так как он все-таки до призыва свидетелей-мужиков в находке ста рублей отрицался, то и показание его о возврате суммы хмельному Мите, естественно, подверглось большому сомнению. Таким образом, один из опаснейших свидетелей, выставленных прокуратурой, ушел опять-таки заподозренным и в репутации своей сильно осаленным. То же приключилось и с поляками: те явились гордо и независимо. Громко засвидетельствовали, что, во-первых, оба «служили короне» и что «пан Митя» предлагал им три тысячи, чтобы купить их честь, и что они сами видели большие деньги в руках его. Пан Муссялович вставлял страшно много польских слов в свои фразы и, видя, что это только возвышает его в глазах председателя и прокурора, возвысил наконец свой дух окончательно и стал уже совсем говорить по-польски. Но Фетюкович поймал и их в свои тенета: как ни вилял позванный опять Трифон Борисович, а все-таки должен был сознаться, что его колода карт была подменена паном Врублевским своею, а что пан Муссялович, меча банк, передернул карту. Это уже подтвердил Калганов, давая в свою очередь показание, и оба пана удалились с некоторым срамом, даже при смехе публики.

Затем точно так произошло почти со всеми наиболее опаснейшими свидетелями. Каждого-то из них сумел Фетюкович нравственно размарать и отпустить с некоторым носом. Любители и юристы только любовались и лишь недоумевали опять-таки, к чему такому большому и окончательному всё это могло бы послужить, ибо, повторяю, все чувствовали неотразимость обвинения, всё более и трагичнее нараставшего. Но по уверенности «великого мага» видели, что он был спокоен, и ждали: недаром же приехал из Петербурга «таков человек», не таков и человек, чтобы ни с чем назад воротиться.

III

МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОДИН ФУНТ ОРЕХОВ

Медицинская экспертиза тоже не очень помогла подсудимому. Да и сам Фетюкович, кажется, не очень на нее рассчитывал, что и оказалось впоследствии. В основании своем она произошла единственно по настоянию Катерины Ивановны, вызвавшей нарочно знаменитого доктора из Москвы. Защита, конечно, ничего не могла через нее проиграть, а в лучшем случае могла что-нибудь и выиграть. Впрочем, отчасти вышло даже как бы нечто комическое, именно по некоторому разногласию докторов. Экспертами явились: приехавший знаменитый доктор, затем наш доктор Герценштубе и, наконец, молодой врач Варвинский. Оба последние фигурировали тоже и как просто свидетели, вызванные прокурором. Первым спрошен был в качестве эксперта доктор Герценштубе. Это был семидесятилетний старик, седой и плешивый, среднего роста, крепкого сложения. Его все у нас в городе очень ценили и уважали. Был он врач добросовестный, человек прекрасный и благочестивый, какой-то гернгутер или «моравский брат» — уж не знаю наверно. Жил у нас уже очень давно и держал себя с чрезвычайным достоинством. Он был добр и человеколюбив, лечил бедных больных и крестьян даром, сам ходил в их конуры и избы и оставлял деньги па лекарство, но притом был и упрям, как мул. Сбить его с его идеи, если она засела у него в голове, было невозможно. Кстати, уже всем почти было известно в городе, что приезжий знаменитый врач в какие-нибудь два-три дня своего у нас пребывания позволил себе несколько чрезвычайно обидных отзывов насчет дарований доктора Герценштубе. Дело в том, что хоть московский врач и брал за визиты не менее двадцати пяти рублей, но всё же некоторые в нашем городе обрадовались случаю его приезда, не пожалели денег и кинулись к нему за советами. Всех этих больных лечил до него, конечно, доктор Герценштубе, и вот знаменитый врач с чрезвычайною резкостью окритиковал везде его лечение. Под конец даже, являясь к больному, прямо спрашивал: «Ну, кто вас здесь пачкал, Герценштубе? Хе-хе!» Доктор Герценштубе, конечно, всё это узнал. И вот все три врача появились один за другим для опроса. Доктор Герценштубе прямо заявил, что «ненормальность умственных способностей подсудимого усматривается сама собой». Затем, представив свои соображения, которые я здесь опускаю, он прибавил, что ненормальность эта усматривается, главное, не только из прежних многих поступков подсудимого, но и теперь, в сию даже минуту, и когда его попросили объяснить, в чем же усматривается теперь, в сию-то минуту, то старик доктор со всею прямотой своего простодушия указал на то, что подсудимый, войдя в залу, «имел необыкновенный и чудный по обстоятельствам вид, шагал вперед как солдат и держал глаза впереди себя, упираясь, тогда как вернее было ему смотреть налево, где в публике сидят дамы, ибо он был большой

любитель прекрасного пола и должен был очень много думать о том, что теперь о нем скажут дамы», — заключил старичок своим своеобразным языком. Надо прибавить, что он говорил по-русски много и охотно, но как-то у него каждая фраза выходила на немецкий манер, что, впрочем, никогда не смущало его, ибо он всю жизнь имел слабость считать свою русскую речь за образцовую, «за лучшую, чем даже у русских», и даже очень любил прибегать к русским пословицам, уверяя каждый раз, что русские пословицы лучшие и выразительнейшие изо всех пословиц в мире. Замечу еще, что он, в разговоре, от рассеянности ли какой, часто забывал слова самые обычные, которые отлично знал, но которые вдруг почему-то у него из ума выскакивали. То же самое, впрочем, бывало, когда он говорил по-немецки, и при этом всегда махал рукой пред лицом своим, как бы ища ухватить потерянное словечко, и уж никто не мог бы принудить его продолжать начатую речь, прежде чем он не отыщет пропавшего слова. Замечание его насчет того, что подсудимый, войдя, должен был бы посмотреть на дам, вызвало игривый шепот в публике. Старичка нашего очень у нас любили все дамы, знали тоже, что он, холостой всю жизнь человек, благочестивый и целомудренный, на женщин смотрел как на высшие и идеальные существа. А потому неожиданное замечание его всем показалось ужасно странным.

Московский доктор, спрошенный в свою очередь, резко и настойчиво подтвердил, что считает умственное состояние подсудимого за ненормальное, «даже в высшей степени». Он много и умно говорил про «аффект» и «манию» и выводил, что по всем собранным данным подсудимый пред своим арестом за несколько еще дней находился в несомненном болезненном аффекте и если совершил преступление, то хотя и сознавая его, но почти невольно, совсем не имея сил бороться с болезненным нравственным влечением, им овладевшим. Но кроме аффекта доктор усматривал и манию, что уже пророчило впереди, по его словам, прямую дорогу к совершенному уже помешательству. (NB. Я передаю своими словами, доктор же изъяснялся очень ученым и специальным языком.) «Все действия его наоборот здравому смыслу и логике,— продолжал он. — Уже не говорю о том, чего не видал, то есть о самом преступлении и всей этой катастрофе, но даже третьего дня, во время разговора со мной, у него был необъяснимый неподвижный взгляд. Неожиданный смех, когда вовсе его не надо. Непонятное постоянное раздражение, странные слова: „Бернар, эфика“ и другие, которых не надо». Но особенно усматривал доктор эту манию в том, что подсудимый даже не может и говорить о тех трех тысячах рублей, в которых считает себя обманутым, без какого-то необычайного раздражения, тогда как обо всех других неудачах и обидах своих говорит и вспоминает довольно легко. Наконец, по справкам, он точно так же и прежде, всякий раз, когда касалось этих трех тысяч, приходил в какое-то почти исступление, а между тем свидетельствуют о нем, что он бескорыстен

и нестяжателен. «Насчет же мнения ученого собрата моего, — иронически присовокупил московский доктор, заканчивая свою речь,—что подсудимый, входя в залу, должен был смотреть на дам, а не прямо пред собою, скажу лишь то, что, кроме игривости подобного заключения, оно, сверх того, и радикально ошибочно; ибо хотя я вполне соглашаюсь, что подсудимый, входя в залу суда, в которой решается его участь, не должен был так неподвижно смотреть пред собой и что это действительно могло бы считаться признаком его ненормального душевного состояния в данную минуту, но в то же время я утверждаю, что он должен был смотреть не налево на дам, а, напротив, именно направо, ища глазами своего защитника, в помощи которого вся его надежда и от защиты которого зависит теперь вся его участь». Мнение свое доктор выразил решительно и настоятельно. Но особенный комизм разногласию обоих ученых экспертов придал неожиданный вывод врача Варвинского, спрошенного после всех. На его взгляд, подсудимый как теперь, так и прежде, находится в совершенно нормальном состоянии, и хотя действительно он должен был пред арестом находиться в положении нервном и чрезвычайно возбужденном, но это могло происходить от многих самых очевидных причин: от ревности, гнева, беспрерывно пьяного состояния и проч. Но это нервное состояние не могло заключать в себе никакого особенного «аффекта», о котором сейчас говорилось. Что же до того, налево или направо должен был смотреть подсудимый, входя в залу, то, «по его скромному мнению», подсудимый именно должен был, входя в залу, смотреть прямо пред собой, как и смотрел в самом деле, ибо прямо пред ним сидели председатель и члены суда, от которых зависит теперь вся его участь, «так что, смотря прямо пред собой, он именно тем самым и доказал совершенно нормальное состояние своего ума в данную минуту», — с некоторым жаром заключил молодой врач свое «скромное» показание.

— Браво, лекарь! — крикнул Митя со своего места, — именно так!

Митю, конечно, остановили, но мнение молодого врача имело самое решающее действие как на суд, так и на публику, ибо, как оказалось потом, все с ним согласились. Впрочем, доктор Герценштубе, спрошенный уже как свидетель, совершенно неожиданно вдруг послужил в пользу Мити. Как старожил города, издавна знающий семейство Карамазовых, он дал несколько показаний, весьма интересных для «обвинения», и вдруг, как бы что-то сообразив, присовокупил:

— И, однако, бедный молодой человек мог получить без сравнения лучшую участь, ибо был хорошего сердца и в детстве, и после детства, ибо я знаю это. Но русская пословица говорит: «Если есть у кого один ум, то это хорошо, а если придет в гости еще умный человек, то будет еще лучше, ибо тогда будет два ума, а не один только...»

— Ум хорошо, а два — лучше, — в нетерпении подсказал прокурор, давно уже знавший обычай старичка говорить медленно, растянуто, не смущаясь производимым впечатлением и тем, что заставляет себя ждать, а, напротив, еще весьма ценя свое тугое, картофельное и всегда радостно-самодовольное немецкое остроумие. Старичок же любил острить.

— О, д-да, и я то же говорю, — упрямо подхватил он, — один ум хорошо, а два гораздо лучше. Но к нему другой с умом не пришел, а он и свой пустил... Как это, куда он его пустил? Это слово — куда он пустил свой ум, я забыл, — продолжал он, вертя рукой пред своими глазами, — ах да, шпацирен.

— Гулять?

— Ну да, гулять, и я то же говорю. Вот ум его и пошел прогуливаться и пришел в такое глубокое место, в котором и потерял себя. А между тем, это был благодарный и чувствительный юноша, о, я очень помню его еще вот таким малюткой, брошенным у отца в задний двор, когда он бегал по земле без сапожек и с панталончиками на одной пуговке.

Какая-то чувствительная и проникновенная нотка послышалась вдруг в голосе честного старичка. Фетюкович так и вздрогнул, как бы что-то предчувствуя, и мигом привязался.

— О да, я сам был тогда еще молодой человек... Мне... ну да, мне было тогда сорок пять лет, а я только что сюда приехал. И мне стало тогда жаль мальчика, и я спросил себя: почему я не могу купить ему один фунт... Ну да, чего фунт? Я забыл, как это называется... фунт того, что дети очень любят, как это — ну, как это... — замахал опять доктор руками, — это на дереве растет, и его собирают и всем дарят...

— Яблоки?

— О н-не-е-ет! Фунт, фунт, яблоки десяток, а не фунт... нет, их много и всё маленькие, кладут в рот и кр-р-рах!..

— Орехи?

— Ну да, орехи, и я то же говорю, — самым спокойным образом, как бы вовсе и не искал слова, подтвердил доктор, — и я принес ему один фунт орехов, ибо мальчику никогда и никто еще не приносил фунт орехов, и я поднял мой палец и сказал ему: «Мальчик! Gott der Vater»,[1] — он засмеялся и говорит: «Gott der Vater. — Gott der Sohn».[2] Он еще засмеялся и лепетал: «Gott der Sohn. — Gott der heilige Geist».[3] Тогда он еще засмеялся и проговорил сколько мог: «Gott der heilige Geist». А я ушел. На третий день иду мимо, а он кричит мне сам: «Дядя, Gott der Vater, Gott der Sohn», и только забыл «Gott der heilige Geist», но я ему вспомнил, и мне опять стало очень жаль его. Но его увезли, и я более не видал его. И вот прошло двадцать три года, я сижу

---

[1] Бог отец *(нем.)*.
[2] Бог отец. — Бог сын *(нем.)*.
[3] Бог сын. — Бог дух святой *(нем.)*.

в одно утро в моем кабинете, уже с белою головой, и вдруг входит цветущий молодой человек, которого я никак не могу узнать, но он поднял палец и смеясь говорит: «Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der heilige Geist! Я сейчас приехал и пришел вас благодарить за фунт орехов; ибо мне никто никогда не покупал тогда фунт орехов, а вы один купили мне фунт орехов». И тогда я вспомнил мою счастливую молодость и бедного мальчика на дворе без сапожек, и у меня повернулось сердце, и я сказал: «Ты благодарный молодой человек, ибо всю жизнь помнил тот фунт орехов, который я тебе принес в твоем детстве». И я обнял его и благословил. И я заплакал. Он смеялся, но он и плакал... ибо русский весьма часто смеется там, где надо плакать. Но он и плакал, я видел это. А теперь, увы!..

— И теперь плачу, немец, и теперь плачу, божий ты человек! — крикнул вдруг Митя со своего места.

Как бы там ни было, а анекдотик произвел в публике некоторое благоприятное впечатление. Но главный эффект в пользу Мити произведен был показанием Катерины Ивановны, о котором сейчас скажу. Да и вообще, когда начались свидетели à décharge,[1] то есть вызванные защитником, то судьба как бы вдруг и даже серьезно улыбнулась Мите и — что всего замечательнее — неожиданно даже для самой защиты. Но еще прежде Катерины Ивановны спрошен был Алеша, который вдруг припомнил один факт, имевший вид даже как будто положительного уже свидетельства против одного важнейшего пункта обвинения.

IV

СЧАСТЬЕ УЛЫБАЕТСЯ МИТЕ

Случилось это вовсе нечаянно даже для самого Алеши. Он вызван был без присяги, и я помню, что к нему все стороны отнеслись с самых первых слов допроса чрезвычайно мягко и симпатично. Видно было, что ему предшествовала добрая слава. Алеша показывал скромно и сдержанно, но в показаниях его явно прорывалась горячая симпатия к несчастному брату. Отвечая по одному вопросу, он очертил характер брата как человека, может быть и неистового, и увлеченного страстями, но тоже и благородного, гордого и великодушного, готового даже на жертву, если б от него потребовали. Сознавался, впрочем, что брат был в последние дни, из-за страсти к Грушеньке, из-за соперничества с отцом, в положении невыносимом. Но он с негодованием отверг даже предположение о́ том, что брат мог убить с целью грабежа, хотя и сознался, что эти три тысячи обратились в уме Мити в какую-то почти манию, что он считал их за недоданное ему, обманом отца, наследство и что, будучи вовсе некорыстолюбивым, даже не мог

[1] защиты *(франц.)*,

заговорить об этих трех тысячах без исступления и бешенства. Про соперничество же двух «особ», как выразился прокурор, то есть Грушеньки и Кати, отвечал уклончиво и даже на один или два вопроса совсем не пожелал отвечать.

— Говорил ли вам по крайней мере брат ваш, что намерен убить своего отца? — спросил прокурор. — Вы можете не отвечать, если найдете это нужным, — прибавил он.

— Прямо не говорил, — ответил Алеша.

— Как же? Косвенно?

— Он говорил мне раз о своей личной ненависти к отцу и что боится, что... в крайнюю минуту... в минуту омерзения... может быть, и мог бы убить его.

— И вы, услышав, поверили тому?

— Боюсь сказать, что поверил. Но я всегда был убежден, что некоторое высшее чувство всегда спасет его в роковую минуту, как и спасло в самом деле, потому что *не он* убил отца моего, — твердо закончил Алеша громким голосом и на всю залу. Прокурор вздрогнул, как боевой конь, заслышавший трубный сигнал.

— Будьте уверены, что я совершенно верю самой полной искренности убеждения вашего, не обусловливая и не ассимилируя его нисколько с любовью к вашему несчастному брату. Своеобразный взгляд ваш на весь трагический эпизод, разыгравшийся в вашем семействе, уже известен нам по предварительному следствию. Не скрою от вас, что он в высшей степени особлив и противоречит всем прочим показаниям, полученным прокуратурою. А потому и нахожу нужным спросить вас уже с настойчивостью: какие именно данные руководили мысль вашу и направили ее на окончательное убеждение в невинности брата вашего и, напротив, в виновности другого лица, на которого вы уже указали прямо на предварительном следствии?

— На предварительном следствии я отвечал лишь на вопросы, — тихо и спокойно проговорил Алеша, — а не шел сам с обвинением на Смердякова.

— И всё же на него указали?

— Я указал со слов брата Дмитрия. Мне еще до допроса рассказали о том, что произошло при аресте его и как он сам показал тогда на Смердякова. Я верю вполне, что брат невиновен. А если убил не он, то...

— То Смердяков? Почему же именно Смердяков? И почему именно вы так окончательно убедились в невиновности вашего брата?

— Я не мог не поверить брату. Я знаю, что он мне не солжет. Я по лицу его видел, что он мне не лжет.

— Только по лицу? В этом все ваши доказательства?

— Более не имею доказательств.

— И о виновности Смердякова тоже не основываетесь ни на малейшем ином доказательстве, кроме лишь слов вашего брата и выражения лица его?

— Да, не имею иного доказательства.

На этом прокурор прекратил расспросы. Ответы Алеши произвели было на публику самое разочаровывающее впечатление. О Смердякове у нас уже поговаривали еще до суда, кто-то что-то слышал, кто-то на что-то указывал, говорили про Алешу, что он накопил какие-то чрезвычайные доказательства в пользу брата и в виновности лакея, и вот — ничего, никаких доказательств, кроме каких-то нравственных убеждений, столь естественных в его качестве родного брата подсудимого.

Но начал спрашивать и Фетюкович. На вопрос о том: когда именно подсудимый говорил ему, Алеше, о своей ненависти к отцу и о том, что он мог бы убить его, и что слышал ли он это от него, например, при последнем свидании пред катастрофой, Алеша, отвечая, вдруг как бы вздрогнул, как бы нечто только теперь припомнив и сообразив:

— Я припоминаю теперь одно обстоятельство, о котором я было совсем и сам позабыл, но тогда оно было мне так неясно, а теперь...

И Алеша с увлечением, видимо сам только что теперь внезапно попав на идею, припомнил, как в последнем свидании с Митей, вечером, у дерева, по дороге к монастырю, Митя, ударяя себя в грудь, «в верхнюю часть груди», несколько раз повторил ему, что у него есть средство восстановить свою честь, что средство это здесь, вот тут, на его груди... «Я подумал тогда, что он, ударяя себя в грудь, говорил о своем сердце, — продолжал Алеша, — о том, что в сердце своем мог бы отыскать силы, чтобы выйти из одного какого-то ужасного позора, который предстоял ему и о котором он даже мне не смел признаться. Признаюсь, я именно подумал тогда, что он говорит об отце и что он содрогается, как от позора, при мысли пойти к отцу и совершить с ним какое-нибудь насилие, а между тем он именно тогда как бы на что-то указывал на своей груди, так что, помню, у меня мелькнула именно тогда же какая-то мысль, что сердце совсем не в той стороне груди, а ниже, а он ударяет себя гораздо выше, вот тут, сейчас ниже шеи, и всё указывает в это место. Моя мысль мне показалась тогда глупою, а он именно, может быть, тогда указывал на эту ладонку, в которой зашиты были эти полторы тысячи!..»

— Именно! — крикнул вдруг Митя с места. — Это так, Алеша, так, я тогда об нее стучал кулаком!

Фетюкович бросился к нему впопыхах, умоляя успокоиться, и в тот же миг так и вцепился в Алешу. Алеша, сам увлеченный своим воспоминанием, горячо высказал свое предположение, что позор этот, вероятнее всего, состоял именно в том, что, имея на себе эти тысячу пятьсот рублей, которые бы мог возвратить Катерине Ивановне, как половину своего ей долга, он все-таки решил не отдать ей этой половины и употребить на другое, то есть на увоз Грушеньки, если б она согласилась...

— Это так, это именно так, — восклицал во внезапном возбуждении Алеша, — брат именно восклицал мне тогда, что половину, половину позора (он несколько раз выговорил: *половину!*) он мог бы сейчас снять с себя, но что до того несчастен слабостью своего характера, что этого не сделает... знает заранее, что этого не может и не в силах сделать!

— И вы твердо, ясно помните, что он ударял себя именно в это место груди? — жадно допрашивал Фетюкович.

— Ясно и твердо, потому что именно мне подумалось тогда: зачем это он ударяет так высоко, когда сердце ниже, и мне тогда же показалась моя мысль глупою... я это помню, что показалась глупою... это мелькнуло. Вот потому-то я сейчас теперь и вспомнил. И как я мог позабыть это до самых этих пор! Именно он на эту ладонку указывал как на то, что у него есть средства, но что он не отдаст эти полторы тысячи! А при аресте, в Мокром, он именно кричал, — я это знаю, мне передавали, — что считает самым позорным делом всей своей жизни, что, имея средства отдать половину (именно половину!) долга Катерине Ивановне и стать пред ней не вором, он все-таки не решился отдать и лучше захотел остаться в ее глазах вором, чем расстаться с деньгами! А как он мучился, как он мучился этим долгом! — закончил, восклицая, Алеша.

Разумеется, ввязался и прокурор. Он попросил Алешу еще раз описать, как это всё было, и несколько раз настаивал, спрашивая: точно ли подсудимый, бия себя в грудь, как бы на что-то указывал? Может быть, просто бил себя кулаком по груди?

— Да и не кулаком! — восклицал Алеша, — а именно указывал пальцами, и указывал сюда, очень высоко... Но как я мог это так совсем забыть до самой этой минуты!

Председатель обратился к Мите с вопросом, что может он сказать насчет данного показания. Митя подтвердил, что именно всё так и было, что он именно указывал на свои полторы тысячи, бывшие у него на груди, сейчас пониже шеи, и что, конечно, это был позор, «позор, от которого не отрекаюсь, позорнейший акт во всей моей жизни! — вскричал Митя. — Я мог отдать и не отдал. Захотел лучше остаться в ее глазах вором, но не отдал, а самый главный позор был в том, что и вперед знал, что не отдам! Прав Алеша! Спасибо, Алеша!»

Тем кончился допрос Алеши. Важно и характерно было именно то обстоятельство, что отыскался хоть один лишь факт, хоть одно лишь, положим самое мелкое, доказательство, почти только намек на доказательство, но которое всё же хоть капельку свидетельствовало, что действительно существовала эта ладонка, что были в ней полторы тысячи и что подсудимый не лгал на предварительном следствии, когда в Мокром объявил, что эти полторы тысячи «были мои». Алеша был рад; весь раскрасневшись, он проследовал на указанное ему место. Он долго еще повторял про себя: «Как

это я забыл! Как мог я это забыть! И как это так вдруг только теперь припомнилось!»

Начался допрос Катерины Ивановны. Только что она появилась, в зале пронеслось нечто необыкновенное. Дамы схватились за лорнеты и бинокли, мужчины зашевелились, иные вставали с мест, чтобы лучше видеть. Все утверждали потом, что Митя вдруг побледнел «как платок», только что она вошла. Вся в черном, скромно и почти робко приблизилась она к указанному ей месту. Нельзя было угадать по лицу ее, что она была взволнована, но решимость сверкала в ее темном, сумрачном взгляде. Надо заметить, потом весьма многие утверждали, что она была удивительно хороша собой в ту минуту. Заговорила она тихо, но ясно, на всю залу. Выражалась чрезвычайно спокойно или по крайней мере усиливаясь быть спокойною. Председатель начал вопросы свои осторожно, чрезвычайно почтительно, как бы боясь коснуться «иных струн» и уважая великое несчастие. Но Катерина Ивановна сама, с самых первых слов, твердо объявила на один из предложенных вопросов, что она была помолвленною невестой подсудимого «до тех пор, пока он сам меня не оставил...» — тихо прибавила она. Когда ее спросили о трех тысячах, вверенных Мите для отсылки на почту ее родственникам, она твердо проговорила: «Я дала ему не прямо на почту; я тогда предчувствовала, что ему очень нужны деньги... в ту минуту... Я дала ему эти три тысячи под условием, чтоб он отослал их, если хочет, в течение месяца. Напрасно он так потом себя мучил из-за этого долга...»

Я не передаю всех вопросов и в точности всех ее ответов, я только передаю существенный смысл ее показаний.

— Я твердо была уверена, что он всегда успеет переслать эти три тысячи, только что получит от отца, —продолжала она, отвечая на вопросы. — Я всегда была уверена в его бескорыстии и в его честности... высокой честности... в денежных делах. Он твердо был уверен, что получит от отца три тысячи рублей, и несколько раз мне говорил про это. Я знала, что у него с отцом распря, и всегда была и до сих пор тоже уверена, что он был обижен отцом. Я не помню никаких угроз отцу с его стороны. При мне по крайней мере он ничего не говорил, никаких угроз. Если б он пришел тогда ко мне, я тотчас успокоила бы его тревогу из-за должных мне им этих несчастных трех тысяч, но он не приходил ко мне более... а я сама... я была поставлена в такое положение... что не могла его звать к себе... Да я и никакого права не имела быть к нему требовательною за этот долг, — прибавила она вдруг, и что-то решительное зазвенело в ее голосе, — я сама однажды получила от него денежное одолжение еще большее, чем в три тысячи, и приняла его, несмотря на то, что и предвидеть еще тогда не могла, что хоть когда-нибудь в состоянии буду заплатить ему долг мой...

В тоне голоса ее как бы почувствовался какой-то вызов. Именно в эту минуту вопросы перешли к Фетюковичу.

— Это было еще не здесь, а в начале вашего знакомства? — осторожно подходя, подхватил Фетюкович, вмиг запредчувствовав нечто благоприятное. (Замечу в скобках, что он, несмотря на то, что был вызван из Петербурга отчасти и самою Катериною Ивановной, — все-таки не знал ничего об эпизоде о пяти тысячах, данных ей Митей еще в том городе и о «земном поклоне». Она этого не сказала ему и скрыла! И это было удивительно. Можно с уверенностию предположить, что она сама, до самой последней минуты, не знала: расскажет она этот эпизод на суде или нет и ждала какого-то вдохновения.)

Нет, никогда я не могу забыть этих минут! Она начала рассказывать, она *всё* рассказала, весь этот эпизод, поведанный Митей Алеше, и «земной поклон», и причины, и про отца своего, и появление свое у Мити, и ни словом, ни единым намеком не упомянула о том, что Митя, чрез сестру ее, сам предложил «прислать к нему Катерину Ивановну за деньгами». Это она великодушно утаила и не устыдилась выставить наружу, что это она, она сама, прибежала тогда к молодому офицеру, своим собственным порывом, надеясь на что-то... чтобы выпросить у него денег. Это было нечто потрясающее. Я холодел и дрожал слушая, зала замерла, ловя каждое слово. Тут было что-то беспримерное, так что даже и от такой самовластной и презрительно-гордой девушки, как она, почти невозможно было ожидать такого высокооткровенного показания, такой жертвы, такого самозаклания. И для чего, для кого? Чтобы спасти своего изменника и обидчика, чтобы послужить хоть чем-нибудь, хоть малым, к спасению его, произведя в его пользу хорошее впечатление! И в самом деле: образ офицера, отдающего свои последние пять тысяч рублей — всё, что у него оставалось в жизни, — и почтительно преклонившегося пред невинною девушкой, выставился весьма симпатично и привлекательно, но... у меня больно сжалось сердце! Я почувствовал, что может выйти потом (да и вышла потом, вышла!) клевета! Со злобным смешком говорили потом во всем городе, что рассказ, может быть, не совсем был точен, именно в том месте, где офицер отпустил от себя девицу «будто бы только с почтительным поклоном». Намекали, что тут нечто «пропущено». «Да если б и не было пропущено, если б и всё правда была, — говорили даже самые почтенные наши дамы, — то и тогда еще неизвестно: очень ли благородно так поступить было девушке, даже хоть бы спасая отца?» И неужели Катерина Ивановна, с ее умом, с ее болезненною проницательностью, не предчувствовала заранее, что так заговорят? Непременно предчувствовала, и вот решилась же сказать всё! Разумеется, все эти грязненькие сомнения в правде рассказа начались лишь потом, а в первую минуту всё и все были потрясены. Что же до членов суда, то Катерину Ивановну выслушали в благоговейном, так сказать, даже стыдливом молчании. Прокурор не позволил себе ни единого дальнейшего вопроса на эту тему. Фетюкович глубоко поклонился ей. О, он почти

торжествовал! Многое было приобретено: человек, отдающий, в благородном порыве, последние пять тысяч, и потом тот же человек, убивающий отца ночью с целью ограбить его на три тысячи, — это было нечто отчасти и несвязуемое. По крайней мере хоть грабеж-то мог теперь устранить Фетюкович. «Дело» вдруг облилось каким-то новым светом. Что-то симпатичное пронеслось в пользу Мити. Он же... про него рассказывали, что он раз или два во время показания Катерины Ивановны вскочил было с места, потом упал опять на скамью и закрыл обеими ладонями лицо. Но когда она кончила, он вдруг рыдающим голосом воскликнул, простирая к ней руки:

— Катя, зачем меня погубила!

И громко зарыдал было на всю залу. Впрочем, мигом сдержал себя и опять прокричал:

— Теперь я приговорен!

А затем как бы закоченел на месте, стиснув зубы и сжав крестом на груди руки. Катерина Ивановна осталась в зале и села на указанный ей стул. Она была бледна и сидела потупившись. Рассказывали бывшие близ нее, что она долго вся дрожала как в лихорадке. К допросу явилась Грушенька.

Я подхожу близко к той катастрофе, которая, разразившись внезапно, действительно, может быть, погубила Митю. Ибо я уверен, да и все тоже, все юристы после так говорили, что не явись этого эпизода, преступнику по крайней мере дали бы снисхождение. Но об этом сейчас. Два слова лишь прежде о Грушеньке.

Она явилась в залу тоже вся одетая в черное, в своей прекрасной черной шали на плечах. Плавно, своею неслышною походкой, с маленькою раскачкой, как ходят иногда полные женщины, приблизилась она к балюстраде, пристально смотря на председателя и ни разу не взглянув ни направо, ни налево. По-моему, она была очень хороша собой в ту минуту и вовсе не бледна, как уверяли потом дамы. Уверяли тоже, что у ней было какое-то сосредоточенное и злое лицо. Я думаю только, что она была раздражена и тяжело чувствовала на себе презрительно-любопытные взгляды жадной к скандалу нашей публики. Это был характер гордый, не выносящий презрения, один из таких, которые, чуть лишь заподозрят от кого презрение, — тотчас воспламеняются гневом и жаждой отпора. При этом была, конечно, и робость, и внутренний стыд за эту робость, так что немудрено, что разговор ее был неровен — то гневлив, то презрителен и усиленно груб, то вдруг звучала искренняя сердечная нотка самоосуждения, самообвинения. Иногда же говорила так, как будто летела в какую-то пропасть: «всё-де равно, что бы ни вышло, а я все-таки скажу...» Насчет знакомства своего с Федором Павловичем она резко заметила: «Всё пустяки, разве я виновата, что он ко мне привязался?» А потом через минуту прибавила: «Я во всем виновата, я смеялась над тем и другим — и над стариком, и над этим — и их обоих до того довела. Из-за меня всё произошло». Как-то коснулось

дело до Самсонова: «Какое кому дело, — с каким-то наглым вызовом тотчас же огрызнулась она, — он был мой благодетель, он меня босоногую взял, когда меня родные из избы вышвырнули». Председатель, впрочем весьма вежливо, напомнил ей, что надо отвечать прямо на вопросы, не вдаваясь в излишние подробности. Грушенька покраснела, и глаза ее сверкнули.

Пакета с деньгами она не видала, а только слыхала от «злодея», что есть у Федора Павловича какой-то пакет с тремя тысячами. «Только это всё глупости, я смеялась, и ни за что бы туда не пошла...»

— Про кого вы сейчас упомянули как о «злодее»? — осведомился прокурор.

— А про лакея, про Смердякова, что барина своего убил, а вчера повесился.

Конечно, ее мигом спросили: какие же у ней основания для такого решительного обвинения, но оснований не оказалось тоже и у ней никаких.

— Так Дмитрий Федорович мне сам говорил, ему и верьте. Разлучница его погубила, вот что, всему одна она причиной, вот что, — вся как будто содрогаясь от ненависти, прибавила Грушенька, и злобная нотка зазвенела в ее голосе.

Осведомились, на кого она опять намекает.

— А на барышню, на эту вот Катерину Ивановну. К себе меня тогда зазвала, шоколатом потчевала, прельстить хотела. Стыда в ней мало истинного, вот что...

Тут председатель уже строго остановил ее, прося умерить свои выражения. Но сердце ревнивой женщины уже разгорелось, она готова была полететь хоть в бездну...

— При аресте в селе Мокром, — припоминая, спросил прокурор, — все видели и слышали, как вы, выбежав из другой комнаты, закричали: «Я во всем виновата, вместе в каторгу пойдем!» Стало быть, была уже и у вас в ту минуту уверенность, что он отцеубийца?

— Я чувств моих тогдашних не помню, — ответила Грушенька, — все тогда закричали, что он отца убил, я и почувствовала, что это я виновата и что из-за меня он убил. А как он сказал, что неповинен, я ему тотчас поверила, и теперь верю, и всегда буду верить: не таков человек, чтобы солгал.

Вопросы перешли к Фетюковичу. Между прочим, я помню, он спросил про Ракитина и про двадцать пять рублей «за то, что привел к вам Алексея Федоровича Карамазова».

— А что ж удивительного, что он деньги взял, — с презрительною злобой усмехнулась Грушенька, — он и всё ко мне приходил деньги канючить, рублей по тридцати, бывало, в месяц выберет, всё больше на баловство: пить-есть ему было на что и без моего.

— На каком же основании вы были так щедры к господину Ракитину? — подхватил Фетюкович, несмотря на то, что председатель сильно шевелился.

— Да ведь он же мне двоюродный брат. Моя мать с его матерью родные сестры. Он только всё молил меня никому про то здесь не сказывать, стыдился меня уж очень.

Этот новый факт оказался совершенною неожиданностью для всех, никто про него до сих пор не знал во всем городе, даже в монастыре, даже не знал Митя. Рассказывали, что Ракитин побагровел от стыда на своем стуле. Грушенька еще до входа в залу как-то узнала, что он показал против Мити, а потому и озлилась. Вся давешняя речь господина Ракитина, всё благородство ее, все выходки на крепостное право, на гражданское неустройство России — всё это уже окончательно на этот раз было похерено и уничтожено в общем мнении. Фетюкович был доволен: опять бог на шапку послал. Вообще же Грушеньку допрашивали не очень долго, да и не могла она, конечно, сообщить ничего особенно нового. Оставила она в публике весьма неприятное впечатление. Сотни презрительных взглядов устремились на нее, когда она, кончив показание, уселась в зале довольно далеко от Катерины Ивановны. Всё время, пока ее спрашивали, Митя молчал, как бы окаменев, опустив глаза в землю.

Появился свидетелем Иван Федорович.

V

ВНЕЗАПНАЯ КАТАСТРОФА

Замечу, что его вызвали было еще до Алеши. Но судебный пристав доложил тогда председателю, что, по внезапному нездоровью или какому-то припадку, свидетель не может явиться сейчас, но только что оправится, то когда угодно готов будет дать свое показание. Этого, впрочем, как-то никто не слыхал, и узнали уже впоследствии. Появление его в первую минуту было почти не замечено: главные свидетели, особенно две соперницы, были уже допрошены; любопытство было пока удовлетворено. В публике чувствовалось даже утомление. Предстояло еще выслушать несколько свидетелей, которые, вероятно, ничего особенного не могли сообщить ввиду всего, что было уже сообщено. Время же уходило. Иван Федорович приблизился как-то удивительно медленно, ни на кого не глядя и опустив даже голову, точно о чем-то нахмуренно соображая. Одет он был безукоризненно, но лицо его, на меня по крайней мере, произвело болезненное впечатление: было в этом лице что-то как бы тронутое землей, что-то похожее на лицо помирающего человека. Глаза были мутны; он поднял их и медленно обвел ими залу. Алеша вдруг вскочил было со своего стула и простонал: ах! Я помню это. Но и это мало кто уловил.

Председатель начал было с того, что он свидетель без присяги, что он может показывать или умолчать, но что, конечно, всё показанное должно быть по совести, и т. д., и т. д. Иван Федорович слушал и мутно глядел на него; но вдруг лицо его стало медленно

раздвигаться в улыбку, и только что председатель, с удивлением на него смотревший, кончил говорить, он вдруг рассмеялся.

— Ну и что же еще? — громко спросил он.

Всё затихло в зале, что-то как бы почувствовалось. Председатель забеспокоился.

— Вы... может быть, еще не так здоровы? — проговорил он было, ища глазами судебного пристава.

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я достаточно здоров и могу вам кое-что рассказать любопытное, — ответил вдруг совсем спокойно и почтительно Иван Федорович.

— Вы имеете предъявить какое-нибудь особое сообщение? — всё еще с недоверчивостью продолжал председатель.

Иван Федорович потупился, помедлил несколько секунд и, подняв снова голову, ответил как бы заикаясь:

— Нет... не имею. Не имею ничего особенного.

Ему стали предлагать вопросы. Он отвечал совсем как-то нехотя, как-то усиленно кратко, с каким-то даже отвращением, всё более и более нараставшим, хотя, впрочем, отвечал все-таки толково. На многое отговорился незнанием. Про счеты отца с Дмитрием Федоровичем ничего не знал. «И не занимался этим», — произнес он. Об угрозах убить отца слышал от подсудимого. Про деньги в пакете слышал от Смердякова...

— Всё одно и то же, — прервал он вдруг с утомленным видом, — я ничего не могу сообщить суду особенного.

— Я вижу, вы нездоровы, и понимаю ваши чувства... — начал было председатель.

Он обратился было к сторонам, к прокурору и защитнику, приглашая их, если найдут нужным, предложить вопросы, как вдруг Иван Федорович изнеможенным голосом попросил:

— Отпустите меня, ваше превосходительство, я чувствую себя очень нездоровым.

И с этим словом, не дожидаясь позволения, вдруг сам повернулся и пошел было из залы. Но, пройдя шага четыре, остановился, как бы что-то вдруг обдумав, тихо усмехнулся и воротился опять на прежнее место.

— Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка... знаете, как это: «Захоцу — вскоцу, захоцу — не вскоцу». За ней ходят с сарафаном али с паневой, что ли, чтоб она вскочила, чтобы завязать и венчать везти, а она говорит: «Захоцу — вскоцу, захоцу — не вскоцу»... Это в какой-то нашей народности...

— Что вы этим хотите сказать? — строго спросил председатель.

— А вот, — вынул вдруг Иван Федорович пачку денег, — вот деньги... те самые, которые лежали вот в том пакете, — он кивнул на стол с вещественными доказательствами, — и из-за которых убили отца. Куда положить? Господин судебный пристав, передайте.

Судебный пристав взял всю пачку и передал председателю.

— Каким образом могли эти деньги очутиться у вас... если это те самые деньги? — в удивлении проговорил председатель.

— Получил от Смердякова, от убийцы, вчера. Был у него пред тем, как он повесился. Убил отца он, а не брат. Он убил, а я его научил убить... Кто не желает смерти отца?..

— Вы в уме или нет? — вырвалось невольно у председателя.

— То-то и есть, что в уме... и в подлом уме, в таком же, как и вы, как и все эти... р-рожи! — обернулся он вдруг на публику. — Убили отца, а притворяются, что испугались, — проскрежетал он с яростным презрением. — Друг пред другом кривляются. Лгуны! Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину... Не будь отцеубийства — все бы они рассердились и разошлись злые... Зрелищ! «Хлеба и зрелищ!» Впрочем, ведь и я хорош! Есть у вас вода или нет, дайте напиться, Христа ради! — схватил он вдруг себя за голову.

Судебный пристав тотчас к нему приблизился. Алеша вдруг вскочил и закричал: «Он болен, не верьте ему, он в белой горячке!» Катерина Ивановна стремительно встала со своего стула и, неподвижная от ужаса, смотрела на Ивана Федоровича. Митя поднялся и с какою-то дикою искривленною улыбкой жадно смотрел и слушал брата.

— Успокойтесь, не помешанный, я только убийца! — начал опять Иван. — С убийцы нельзя же спрашивать красноречия... — прибавил он вдруг для чего-то и искривленно засмеялся.

Прокурор в видимом смятении нагнулся к председателю. Члены суда суетливо шептались между собой. Фетюкович весь навострил уши, прислушиваясь. Зала замерла в ожидании. Председатель вдруг как бы опомнился.

— Свидетель, ваши слова непонятны и здесь невозможны. Успокойтесь, если можете, и расскажите... если вправду имеете что сказать. Чем вы можете подтвердить такое признание... если вы только не бредите?

— То-то и есть, что не имею свидетелей. Собака Смердяков не пришлет с того света вам показание... в пакете. Вам бы всё пакетов, довольно и одного. Нет у меня свидетелей... Кроме только разве одного, — задумчиво усмехнулся он.

— Кто ваш свидетель?

— С хвостом, ваше превосходительство, не по форме будет! Le diable n'existe point! [1] Не обращайте внимания, дрянной, мелкий черт, — прибавил он, вдруг перестав смеяться и как бы конфиденциально, — он, наверно, здесь где-нибудь, вот под этим столом с вещественными доказательствами, где ж ему сидеть, как не там? Ви́дите, слушайте меня: я ему сказал: не хочу молчать, а он про геологический переворот... глупости! Ну, освободите же изверга... он гимн запел, это потому, что ему легко! Всё равно что пьяная каналья загорланит, как «поехал Ванька в Питер»,

[1] Дьявола-то больше не существует! *(франц.)*

а я за две секунды радости отдал бы квадриллион квадриллионов. Не знаете вы меня! О, как это всё у вас глупо! Ну, берите же меня вместо него! Для чего же нибудь я пришел... Отчего, отчего это всё, что ни есть, так глупо!..

И он опять стал медленно и как бы в задумчивости оглядывать залу. Но уже всё заволновалось. Алеша кинулся было к нему со своего места, но судебный пристав уже схватил Ивана Федоровича за руку.

— Это что еще такое? — вскричал тот, вглядываясь в упор в лицо пристава, и вдруг, схватив его за плечи, яростно ударил об пол. Но стража уже подоспела, его схватили, и тут он завопил неистовым воплем. И всё время, пока его уносили, он вопил и выкрикивал что-то несвязное.

Поднялась суматоха. Я не упомню всего в порядке, сам был взволнован и не мог уследить. Знаю только, что потом, когда уже всё успокоилось и все поняли, в чем дело, судебному приставу таки досталось, хотя он и основательно объяснил начальству, что свидетель был всё время здоров, что его видел доктор, когда час пред тем с ним сделалась легкая дурнота, но что до входа в залу он всё говорил связно, так что предвидеть было ничего невозможно; что он сам, напротив, настаивал и непременно хотел дать показание. Но прежде чем хоть сколько-нибудь успокоились и пришли в себя, сейчас же вслед за этою сценой разразилась и другая: с Катериной Ивановной сделалась истерика. Она, громко взвизгивая, зарыдала, но не хотела уйти, рвалась, молила, чтоб ее не уводили, и вдруг закричала председателю:

— Я должна сообщить еще одно показание, немедленно... немедленно!.. Вот бумага, письмо... возьмите, прочтите скорее, скорее! Это письмо этого изверга, вот этого, этого! — она указывала на Митю. — Это он убил отца, вы увидите сейчас, он мне пишет, как он убьет отца! А тот больной, больной, тот в белой горячке! Я уже три дня вижу, что он в горячке!

Так вскрикивала она вне себя. Судебный пристав взял бумагу, которую она протягивала председателю, а она, упав на свой стул и закрыв лицо, начала конвульсивно и беззвучно рыдать, вся сотрясаясь и подавляя малейший стон в боязни, что ее вышлют из залы. Бумага, поданная ею, была то самое письмо Мити из трактира «Столичный город», которое Иван Федорович называл «математической» важности документом. Увы! за ним именно признали эту математичность, и, не будь этого письма, может быть и не погиб бы Митя, или по крайней мере не погиб бы так ужасно! Повторяю, трудно было уследить за подробностями. Мне и теперь всё это представляется в такой суматохе. Должно быть, председатель тут же сообщил новый документ суду, прокурору, защитнику, присяжным. Я помню только, как свидетельницу начали спрашивать. На вопрос: успокоилась ли она? мягко обращенный к ней председателем, Катерина Ивановна стремительно воскликнула:

— Я готова, готова! Я совершенно в состоянии вам отвечать, — прибавила она, видимо всё еще ужасно боясь, что ее почему-нибудь не выслушают. Ее попросили объяснить подробнее: какое это письмо и при каких обстоятельствах она его получила?

— Я получила его накануне самого преступления, а писал он его еще за день из трактира, стало быть, за два дня до своего преступления — посмотрите, оно написано на каком-то счете! — прокричала она задыхаясь. — Он меня тогда ненавидел, потому что сам сделал подлый поступок и пошел за этою тварью... и потому еще, что должен был мне эти три тысячи... О, ему было обидно за эти три тысячи из-за своей же низости! Эти три тысячи вот как были — я вас прошу, я вас умоляю меня выслушать: еще за три недели до того, как убил отца, он пришел ко мне утром. Я знала, что ему надо деньги, и знала на что — вот, вот именно на то, чтобы соблазнить эту тварь и увезти с собой. Я знала тогда, что уж он мне изменил и хочет бросить меня, и я, я сама протянула тогда ему эти деньги, сама предложила будто бы для того, чтоб отослать моей сестре в Москве, — и когда отдавала, то посмотрела ему в лицо и сказала, что он может, когда хочет, послать, «хоть еще через месяц». Ну как же, как же бы он не понял, что я в глаза ему прямо говорила: «Тебе надо денег для измены мне с твоею тварью, так вот тебе эти деньги, я сама тебе их даю, возьми, если ты так бесчестен, что возьмешь!..» Я уличить его хотела, и что же? Он взял, он их взял, и унес, и истратил их с этою тварью там, в одну ночь... Но он понял, он понял, что я всё знаю, уверяю вас, что он тогда понял и то, что я, отдавая ему деньги, только пытаю его: будет ли он так бесчестен, что возьмет от меня, или нет? В глаза ему глядела, и он мне глядел в глаза и всё понимал, всё понимал, и взял, и взял, и унес мои деньги!

— Правда, Катя! — завопил вдруг Митя, — в глаза смотрел и понимал, что бесчестишь меня и все-таки взял твои деньги! Презирайте подлеца, презирайте все, заслужил!

— Подсудимый, — вскричал председатель, — еще слово — я вас велю вывесть.

— Эти деньги его мучили, — продолжала, судорожно торопясь, Катя, — он хотел мне их отдать, он хотел, это правда, но ему деньги нужны были и для этой твари. Вот он и убил отца, а денег все-таки мне не отдал, а уехал с ней в ту деревню, где его схватили. Там он опять прокутил эти деньги, которые украл у убитого им отца. А за день до того, как убил отца, и написал мне это письмо, написал пьяный, я сейчас тогда увидела, написал из злобы и зная, наверно зная, что я никому не покажу этого письма, даже если б он и убил. А то бы он не написал. Он знал, что я не захочу ему мстить и его погубить! Но прочтите, прочтите внимательно, пожалуйста внимательнее, и вы увидите, что он в письме всё описал, всё заранее: как убьет отца и где у того деньги лежат. Посмотрите, пожалуйста не пропустите, там есть одна фраза: «Убью, только бы уехал Иван». Значит, он заранее уж обдумал,

как он убьет, — злорадно и ехидно подсказывала суду Катерина Ивановна. О, видно было, что она до тонкости вчиталась в это роковое письмо и изучила в нем каждую черточку. — Не пьяный он бы мне не написал, но посмотрите, там всё описано вперед, всё точь-в-точь, как он потом убил, вся программа!

Так восклицала она вне себя и уж, конечно, презирая все для себя последствия, хотя, разумеется, их предвидела еще, может, за месяц тому, потому что и тогда еще, может быть, содрогаясь от злобы, мечтала: «Не прочесть ли это суду?» Теперь же как бы полетела с горы. Помню, кажется, именно тут же письмо было прочитано вслух секретарем и произвело потрясающее впечатление. Обратились к Мите с вопросом: «Признает ли он это письмо?»

— Мое, мое! — воскликнул Митя. — Не пьяный бы не написал!.. За многое мы друг друга ненавидели, Катя, но клянусь, клянусь, я тебя и ненавидя любил, а ты меня — нет!

Он упал на свое место, ломая руки в отчаянии. Прокурор и защитник стали предлагать перекрестные вопросы, главное в том смысле: «что, дескать, побудило вас давеча утаить такой документ и показывать прежде совершенно в другом духе и тоне?»

— Да, да, я давеча солгала, всё лгала, против чести и совести, но я хотела давеча спасти его, потому что он меня так ненавидел и так презирал, — как безумная воскликнула Катя. — О, он презирал меня ужасно, презирал всегда, и знаете, знаете — он презирал меня с самой той минуты, когда я ему тогда в ноги за эти деньги поклонилась. Я увидала это... Я сейчас тогда же это почувствовала, но я долго себе не верила. Сколько раз я читала в глазах его: «Все-таки ты сама тогда ко мне пришла». О, он не понял, он не понял ничего, зачем я тогда прибежала, он способен подозревать только низость! Он мерил на себя, он думал, что и все такие, как он, — яростно проскрежетала Катя, совсем уже в исступлении. — А жениться он на мне захотел потому только, что я получила наследство, потому, потому! Я всегда подозревала, что потому! О, это зверь! Он всю жизнь был уверен, что я всю жизнь буду пред ним трепетать от стыда за то, что тогда приходила, и что он может вечно за это презирать меня, а потому первенствовать, — вот почему он на мне захотел жениться! Это так, это всё так! Я пробовала победить его моею любовью, любовью без конца, даже измену его хотела снести, но он ничего, ничего не понял. Да разве он может что-нибудь понять! Это изверг! Это письмо я получила только на другой день вечером, мне из трактира принесли, а еще утром, еще утром в тот день, я хотела было всё простить ему, всё, даже его измену!

Конечно, председатель и прокурор ее успокоивали. Я уверен, что им всем было даже, может быть, самим стыдно так пользоваться ее исступлением и выслушивать такие признания. Я помню, я слышал, как они говорили ей: «Мы понимаем, как вам тяжело,

поверьте, мы способны чувствовать», и проч., и проч., — а показания-то все-таки вытянули от обезумевшей женщины в истерике. Она, наконец, описала с чрезвычайною ясностью, которая так часто, хотя и мгновенно, мелькает даже в минуты такого напряженного состояния, как Иван Федорович почти сходил с ума во все эти два месяца на том, чтобы спасти «изверга и убийцу», своего брата.

— Он себя мучил, — восклицала она, — он всё хотел уменьшить его вину, признаваясь мне, что он и сам не любил отца и, может быть, сам желал его смерти. О, это глубокая, глубокая совесть! Он замучил себя совестью! Он всё мне открывал, всё, он приходил ко мне и говорил со мной каждый день как с единственным другом своим. Я имею честь быть его единственным другом! — воскликнула она вдруг, точно как бы с каким-то вызовом, засверкав глазами. — Он ходил к Смердякову два раза. Однажды он пришел ко мне и говорит: если убил не брат, а Смердяков (потому что эту басню пустили здесь все, что убил Смердяков), то, может быть, виновен и я, потому что Смердяков знал, что я не люблю отца и, может быть, думал, что я желаю смерти отца. Тогда я вынула это письмо и показала ему, и он уж совсем убедился, что убил брат, и это уже совсем сразило его. Он не мог снести, что его родной брат — отцеубийца! Еще неделю назад я видела, что он от этого болен. В последние дни он, сидя у меня, бредил. Я видела, что он мешается в уме. Он ходил и бредил, его видели так по улицам. Приезжий доктор, по моей просьбе, его осматривал третьего дня и сказал мне, что он близок к горячке, — всё чрез него, всё чрез изверга! А вчера он узнал, что Смердяков умер — это его так поразило, что он сошел с ума... и всё от изверга, всё на том, чтобы спасти изверга!

О, разумеется, так говорить и так признаваться можно только какой-нибудь раз в жизни — в предсмертную минуту, например, всходя на эшафот. Но Катя именно была в своем характере и в своей минуте. Это была та же самая стремительная Катя, которая кинулась тогда к молодому развратнику, чтобы спасти отца; та же самая Катя, которая давеча, пред всею этою публикой, гордая и целомудренная, принесла себя и девичий стыд свой в жертву, рассказав про «благородный поступок Мити», чтобы только лишь сколько-нибудь смягчить ожидавшую его участь. И вот теперь точно так же она тоже принесла себя в жертву, но уже за другого, и, может быть, только лишь теперь, только в эту минуту, впервые почувствовав и осмыслив вполне, как дорог ей этот другой человек! Она пожертвовала собою в испуге за него, вдруг вообразив, что он погубил себя своим показанием, что это он убил, а не брат, пожертвовала, чтобы спасти его, его славу, его репутацию! И, однако, промелькнула страшная вещь: лгала ли она на Митю, описывая бывшие свои к нему отношения, — вот вопрос. Нет, нет, она не клеветала намеренно, крича, что Митя презирал ее за земной поклон! Она сама верила в это, она была

глубоко убеждена, с самого, может быть, этого поклона, что простодушный, обожавший ее еще тогда Митя смеется над ней и презирает ее. И только из гордости она сама привязалась к нему тогда любовью, истерическою и надорванною, из уязвленной гордости, и эта любовь походила не на любовь, а на мщение. О, может быть, эта надорванная любовь и выродилась бы в настоящую, может, Катя ничего и не желала, как этого, но Митя оскорбил ее изменой до глубины души, и душа не простила. Минута же мщения слетела неожиданно, и всё так долго и больно скоплявшееся в груди обиженной женщины разом, и опять-таки неожиданно, вырвалось наружу. Она предала Митю, но предала и себя! И, разумеется, только что успела высказаться, напряжение порвалось, и стыд подавил ее. Опять началась истерика, она упала, рыдая и выкрикивая. Ее унесли. В ту минуту, когда ее выносили, с воплем бросилась к Мите Грушенька со своего места, так что ее и удержать не успели.

— Митя! — завопила она, — погубила тебя твоя змея! Вон она вам себя показала! — прокричала она, сотрясаясь от злобы, суду. По мановению председателя ее схватили и стали выводить из залы. Она не давалась, билась и рвалась назад к Мите. Митя завопил и тоже рванулся к ней. Им овладели.

Да, полагаю, что наши зрительницы дамы остались довольны: зрелище было богатое. Затем помню, как появился приезжий московский доктор. Кажется, председатель еще и прежде того посылал пристава, чтобы распорядиться оказать Ивану Федоровичу пособие. Доктор доложил суду, что больной в опаснейшем припадке горячки и что следовало бы немедленно его увезти. На вопросы прокурора и защитника подтвердил, что пациент сам приходил к нему третьего дня и что он предрек ему тогда же скорую горячку, но что лечиться он не захотел. «Был же он положительно не в здравом состоянии ума, сам мне признавался, что наяву видит видения, встречает на улице разных лиц, которые уже померли, и что к нему каждый вечер ходит в гости сатана», — заключил доктор. Дав свое показание, знаменитый врач удалился. Представленное Катериной Ивановной письмо было присоединено к вещественным доказательствам. По совещании суд постановил: продолжать судебное следствие, а оба неожиданные показания (Катерины Ивановны и Ивана Федоровича) занести в протокол.

Но уже не буду описывать дальнейшего судебного следствия. Да и показания остальных свидетелей были лишь повторением и подтверждением прежних, хотя все со своими характерными особенностями. Но повторяю, всё сведется в одну точку в речи прокурора, к которой и перейду сейчас. Все были в возбуждении, все были наэлектризованы последнею катастрофой и со жгучим нетерпением ждали поскорее лишь развязки, речей сторон и приговора. Фетюкович был видимо потрясен показаниями Катерины Ивановны. Зато торжествовал прокурор. Когда кончилось судебное следствие, был объявлен перерыв заседания, продолжавшийся

почти час. Наконец председатель открыл судебные прения. Кажется, было ровно восемь часов вечера, когда наш прокурор, Ипполит Кириллович, начал свою обвинительную речь.

VI

РЕЧЬ ПРОКУРОРА. ХАРАКТЕРИСТИКА

Начал Ипполит Кириллович свою обвинительную речь, весь сотрясаясь нервною дрожью, с холодным, болезненным потом на лбу и висках, чувствуя озноб и жар во всем теле попеременно. Он сам так потом рассказывал. Он считал эту речь за свой chef d'œuvre,[1] за chef d'œuvre всей своей жизни, за лебединую песнь свою. Правда, девять месяцев спустя он и помер от злой чахотки, так что действительно, как оказалось, имел бы право сравнить себя с лебедем, поющим свою последнюю песнь, если бы предчувствовал свой конец заранее. В эту речь он вложил всё свое сердце и всё сколько было у него ума и неожиданно доказал, что в нем таились и гражданское чувство, и «проклятые» вопросы, по крайней мере поскольку наш бедный Ипполит Кириллович мог их вместить в себе. Главное, тем взяло его слово, что было искренно: он искренно верил в виновность подсудимого; не на заказ, не по должности только обвинял его и, взывая к «отмщению», действительно сотрясался желанием «спасти общество». Даже дамская наша публика, в конце концов враждебная Ипполиту Кирилловичу, сознавалась, однако, в чрезвычайном вынесенном впечатлении. Начал он надтреснутым, срывающимся голосом, но потом очень скоро голос его окреп и зазвенел на всю залу, и так до конца речи. Но только что кончил ее, то чуть не упал в обморок.

«Господа присяжные заседатели, — начал обвинитель, — настоящее дело прогремело по всей России. Но чему бы, кажется, удивляться, чего так особенно ужасаться? Нам-то, нам-то особенно? Ведь мы такие привычные ко всему этому люди! В том и ужас наш, что такие мрачные дела почти перестали для нас быть ужасными! Вот чему надо ужасаться, привычке нашей, а не единичному злодеянию того или другого индивидуума. Где же причины нашего равнодушия, нашего чуть тепленького отношения к таким делам, к таким знамениям времени, пророчествующим нам незавидную будущность? В цинизме ли нашем, в раннем ли истощении ума и воображения столь молодого еще нашего общества, но столь безвременно одряхлевшего? В расшатанных ли до основания нравственных началах наших или в том, наконец, что этих нравственных начал, может быть, у нас совсем даже и не имеется? Не разрешаю эти вопросы, тем не менее они мучительны, и всякий гражданин не то что должен, а обязан страдать ими. Наша начинающаяся, робкая еще наша пресса оказала уже,

---

[1] шедевр, образцовое произведение (*франц.*).

однако, обществу некоторые услуги, ибо никогда бы мы без нее не узнали, сколько-нибудь в полноте, про те ужасы разнузданной воли и нравственного падения, которые беспрерывно передает она на своих страницах уже всем, не одним только посещающим залы нового гласного суда, дарованного нам в настоящее царствование. И что же мы читаем почти повседневно? О, про такие вещи поминутно, пред которыми даже теперешнее дело бледнеет и представляется почти чем-то уже обыкновенным. Но важнее всего то, что множество наших русских, национальных наших уголовных дел, свидетельствуют именно о чем-то всеобщем, о какой-то общей беде, прижившейся с нами и с которой, как со всеобщим злом, уже трудно бороться. Вот там молодой блестящий офицер высшего общества, едва начинающий свою жизнь и карьеру, подло, в тиши, безо всякого угрызения совести, зарезывает мелкого чиновника, отчасти бывшего своего благодетеля, и служанку его, чтобы похитить свой долговой документ, а вместе и остальные денежки чиновника: „пригодятся-де для великосветских моих удовольствий и для карьеры моей впереди". Зарезав обоих, уходит, подложив обоим мертвецам под головы подушки. Там молодой герой, обвешанный крестами за храбрость, разбойнически умерщвляет на большой дороге мать своего вождя и благодетеля и, подговаривая своих товарищей, уверяет, что „она любит его как родного сына, и потому последует всем его советам и не примет предосторожностей". Пусть это изверг, но я теперь, в наше время, не смею уже сказать, что это только единичный изверг. Другой и не зарежет, но подумает и почувствует точно так же, как он, в душе своей бесчестен точно так же, как он. В тиши, наедине со своею совестью, может быть, спрашивает себя: „Да что такое честь, и не предрассудок ли кровь?" Может быть, крикнут против меня и скажут, что я человек болезненный, истерический, клевещу чудовищно, брежу, преувеличиваю. Пусть, пусть, — и боже, как бы я был рад тому первый! О, не верьте мне, считайте меня за больного, но все-таки запомните слова мои: ведь если только хоть десятая, хоть двадцатая доля в словах моих правда, то ведь и тогда ужасно! Посмотрите, господа, посмотрите, как у нас застреливаются молодые люди: о, без малейших гамлетовских вопросов о том: „Что будет *там*?", без признаков этих вопросов, как будто эта статья о духе нашем и о всем, что ждет нас за гробом, давно похерена в их природе, похоронена и песком засыпана. Посмотрите, наконец, на наш разврат, на наших сладострастников. Федор Павлович, несчастная жертва текущего процесса, есть пред иными из них почти невинный младенец. А ведь мы все его знали, „он между нами жил"... Да, психологией русского преступления займутся, может быть, когда-нибудь первенствующие умы, и наши и европейские, ибо тема стоит того. Но это изучение произойдет когда-нибудь после, уже на досуге, и когда вся трагическая безалаберщина нашей настоящей минуты отойдет на более отдаленный план, так что ее уже можно будет рассмотреть и умнее,

и беспристрастнее, чем, например, люди, как я, могут сделать. Теперь же мы или ужасаемся, или притворяемся, что ужасаемся, а сами, напротив, смакуем зрелище как любители ощущений сильных, эксцентрических, шевелящих нашу цинически-ленивую праздность, или, наконец, как малые дети, отмахиваем от себя руками страшные призраки и прячем голову в подушку, пока пройдет страшное видение, с тем чтобы потом тотчас же забыть его в веселии и играх. Но когда-нибудь надо же и нам начать нашу жизнь трезво и вдумчиво, надо же и нам бросить взгляд на себя как на общество, надо же и нам хоть что-нибудь в нашем общественном деле осмыслить или только хоть начать осмысление наше. Великий писатель предшествовавшей эпохи, в финале величайшего из произведений своих, олицетворяя всю Россию в виде скачущей к неведомой цели удалой русской тройки, восклицает: „Ах, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал!“ — и в гордом восторге прибавляет, что пред скачущею сломя голову тройкой почтительно сторонятся все народы. Так, господа, это пусть, пусть сторонятся, почтительно или нет, но, на мой грешный взгляд, гениальный художник закончил так или в припадке младенчески невинного прекрасномыслия, или просто боясь тогдашней цензуры. Ибо если в его тройку впрячь только его же героев, Собакевичей, Ноздревых и Чичиковых, то кого бы ни посадить ямщиком, ни до чего путного на таких конях не доедешь! А это только еще прежние кони, которым далеко до теперешних, у нас почище...»

Здесь речь Ипполита Кирилловича была прервана рукоплесканиями. Либерализм изображения русской тройки понравился. Правда, сорвалось лишь два-три клака, так что председатель не нашел даже нужным обратиться к публике с угрозою «очистить залу» и лишь строго поглядел в сторону клакеров. Но Ипполит Кириллович был ободрен: никогда-то ему до сих пор не аплодировали! Человека столько лет не хотели слушать и вдруг возможность на всю Россию высказаться!

«В самом деле, — продолжал он, — что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность по всей даже России? Может быть, я слишком преувеличиваю, но мне кажется, что в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества — о, не все элементы, да и мелькнуло лишь в микроскопическом виде, „как солнце в малой капле вод“, но всё же нечто отразилось, всё же нечто сказалось. Посмотрите на этого несчастного, разнузданного и развратного старика, этого „отца семейства“, столь печально покончившего свое существование. Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальщиком, чрез нечаянную и неожиданную женитьбу схвативший в приданое небольшой капитальчик, вначале мелкий плут и льстивый шут, с зародышем умственных способностей, довольно, впрочем, неслабых, и прежде всего ростовщик. С годами, то есть с нарастанием капитальчика, он ободряется. Прини-

женность и заискивание исчезают, остается лишь насмешливый и злой циник и сладострастник. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная. Свелось на то, что, кроме сладострастных наслаждений, он ничего в жизни и не видит, так учит и детей своих. Отеческих духовных каких-нибудь обязанностей — никаких. Он над ними смеется, он воспитывает своих маленьких детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже вовсе. Все нравственные правила старика — après moi le déluge.[1] Всё, что есть обратного понятию о гражданине, полнейшее, даже враждебное отъединение от общества: „Гори хоть весь свет огнем, было бы одному мне хорошо". И ему хорошо, он вполне доволен, он жаждет прожить так еще двадцать — тридцать лет. Он обсчитывает родного сына и на его же деньги, на наследство матери его, которые не хочет отдать ему, отбивает у него, у сына же своего, любовницу. Нет, я не хочу уступать защиту подсудимого высокоталантливому защитнику, прибывшему из Петербурга. Я и сам скажу правду, я и сам понимаю ту сумму негодования, которую он накопил в сердце своего сына. Но довольно, довольно об этом несчастном старике, он получил свою мзду. Вспомним, однако, что это отец, и один из современных отцов. Обижу ли я общество, сказав, что это один даже из многих современных отцов? Увы, столь многие из современных отцов лишь не высказываются столь цинически, как этот, ибо лучше воспитаны, лучше образованны, а в сущности — почти такой же, как и он, философии. Но пусть я пессимист, пусть. Мы уж условились, что вы меня прощаете. Уговоримся заранее: вы мне не верьте, не верьте, я буду говорить, а вы не верьте. Но все-таки дайте мне высказаться, все-таки кое-что из моих слов не забудьте. Но вот, однако, дети этого старика, этого отца семейства: один пред нами на скамье подсудимых, об нем вся речь впереди; про других скажу лишь вскользь. Из этих других, старший — есть один из современных молодых людей с блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни во что, однако, не верующим, многое, слишком уже многое в жизни отвергшим и похерившим, точь-в-точь как и родитель его. Мы все его слышали, он в нашем обществе был принят дружелюбно. Мнений своих он не скрывал, даже напротив, совсем напротив, что и дает мне смелость говорить теперь о нем несколько откровенно, конечно не как о частном лице, а лишь как о члене семьи Карамазовых. Здесь умер вчера, самоубийством, на краю города, один болезненный идиот, сильно привлеченный к настоящему делу, бывший слуга и, может быть, побочный сын Федора Павловича, Смердяков. Он с истерическими слезами рассказывал мне на предварительном следствии, как этот молодой Карамазов, Иван Федорович, ужаснул его своим духовным безудержем. „Всё, дескать, по-ихнему, позволено, что ни есть в мире, и ничего впредь не должно быть запрещено, —

---

[1] после меня хоть потоп *(франц.)*.

вот они чему меня всё учили“. Кажется, идиот на этом тезисе, которому обучили его, и сошел с ума окончательно, хотя, конечно, повлияли на умственное расстройство его и падучая болезнь, и вся эта страшная, разразившаяся в их доме катастрофа. Но у этого идиота промелькнуло одно весьма и весьма любопытное замечание, сделавшее бы честь и поумнее его наблюдателю, вот почему даже я об этом и заговорил: „Если есть, — сказал он мне, — который из сыновей более похожий на Федора Павловича по характеру, так это он, Иван Федорович!“ На этом замечании я прерываю начатую характеристику, не считая деликатным продолжать далее. О, я не хочу выводить дальнейших заключений и, как ворон, каркать молодой судьбе одну только гибель. Мы видели еще сегодня здесь, в этой зале, что непосредственная сила правды еще живет в его молодом сердце, что еще чувства семейной привязанности не заглушены в нем безверием и нравственным цинизмом, приобретенным больше по наследству, чем истинным страданием мысли. Затем другой сын, — о, это еще юноша, благочестивый и смиренный, в противоположность мрачному растлевающему мировоззрению его брата, ищущий прилепиться, так сказать, к „народным началам“, или к тому, что у нас называют этим мудреным словечком в иных теоретических углах мыслящей интеллигенции нашей. Он, видите ли, прилепился к монастырю; он чуть было сам не постригся в монахи. В нем, кажется мне, как бы бессознательно, и так рано, выразилось то робкое отчаяние, с которым столь многие теперь в нашем бедном обществе, убоясь цинизма и разврата его и ошибочно приписывая всё зло европейскому просвещению, бросаются, как говорят они, к „родной почве“, так сказать, в материнские объятия родной земли, как дети, напуганные призраками, и у иссохшей груди расслабленной матери жаждут хотя бы только спокойно заснуть и даже всю жизнь проспать, лишь бы не видеть их пугающих ужасов. С моей стороны я желаю доброму и даровитому юноше всего лучшего, желаю, чтоб его юное прекраснодушие и стремление к народным началам не обратилось впоследствии, как столь часто оно случается, со стороны нравственной в мрачный мистицизм, а со стороны гражданской в тупой шовинизм — два качества, грозящие, может быть, еще большим злом нации, чем даже раннее растление от ложно понятого и даром добытого европейского просвещения, каким страдает старший брат его».

За шовинизм и мистицизм опять раздались было два-три клака. И уж конечно, Ипполит Кириллович увлекся, да и всё это мало подходило к настоящему делу, не говоря уже о том, что вышло довольно неясно, но уж слишком захотелось высказаться чахоточному и озлобленному человеку хоть раз в своей жизни. У нас потом говорили, что в характеристике Ивана Федоровича он руководился чувством даже неделикатным, потому что тот раз или два публично осадил его в спорах, и Ипполит Кириллович, помня это, захотел теперь отомстить. Но не знаю, можно

ли было так заключить. Во всяком случае, всё это было только введением, затем речь пошла прямее и ближе к делу.

«Но вот третий сын отца современного семейства, — продолжал Ипполит Кириллович, — он на скамье подсудимых, он перед нами. Перед нами и его подвиги, его жизнь и дела его: пришел срок, и всё развернулось, всё обнаружилось. В противоположность „европеизму" и „народным началам" братьев своих, он как бы изображает собою Россию непосредственную — о, не всю, не всю, и боже сохрани, если бы всю! И, однако же, тут она, наша Россеюшка, пахнет ею, слышится она, матушка. О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера и в то же время мы бушуем по трактирам и вырываем у пьянчужек, собутыльников наших, бороденки. О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы — именно обуреваемы — благороднейшими идеалами, но только с тем условием, чтоб они достигались сами собою, упадали бы к нам на стол с неба и, главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень любим, и это во всем. О, дайте, дайте нам всевозможные блага жизни (именно всевозможные, дешевле не помиримся) и особенно не препятствуйте нашему нраву ни в чем, и тогда и мы докажем, что можем быть хороши и прекрасны. Мы не жадны, нет, но, однако же, подавайте нам денег, больше, больше, как можно больше денег, и вы увидите, как великодушно, с каким презрением к презренному металлу мы разбросаем их в одну ночь в безудержном кутеже. А не дадут нам денег, так мы покажем, как мы их сумеем достать, когда нам очень того захочется. Но об этом после, будем следить по порядку. Прежде всего пред нами бедный заброшенный мальчик, „на заднем дворе без сапожек", как выразился давеча наш почтенный и уважаемый согражданин, увы, происхождения иностранного! Еще раз повторю — никому не уступлю защиту подсудимого! Я обвинитель, я и защитник. Да-с, и мы люди, и мы человеки, и мы сумеем взвесить то, как могут повлиять на характер первые впечатления детства и родного гнездышка. Но вот мальчик уже юноша, уже молодой человек, офицер; за буйные поступки и за вызов на поединок ссылают его в один из отдаленных пограничных городков нашей благодатной России. Там он служит, там и кутит, и конечно — большому кораблю большое и плавание. Нам надо средств-с, средств прежде всего, и вот, после долгих споров, порешено у него с отцом на последних шести тысячах рублях, и их ему высылают. Заметьте, он выдал документ, и существует письмо его, в котором он от остального почти отрекается и этими шестью тысячами препирание с отцом по наследству оканчивает. Тут происходит его встреча с молодою, высокого характера и развития девушкой. О, я не смею повторять подробностей, вы их только что слышали: тут честь, тут самоотвержение, и я умолкаю. Образ молодого человека, легкомысленного

и развратного, но склонившегося пред истинным благородством, пред высшею идеей, мелькнул перед нами чрезвычайно симпатично. Но вдруг после того, в этой же самой зале суда последовала совсем неожиданно и оборотная сторона медали. Опять-таки не смею пускаться в догадки и удержусь анализировать — почему так последовало. Но, однако, были же причины — почему так последовало. Эта же самая особа, вся в слезах негодования, долго таившегося, объявляет нам, что он же, он же первый и презирал ее за ее неосторожный, безудержный, может быть, порыв, но всё же возвышенный, всё же великодушный. У него же, у жениха этой девушки, и промелькнула прежде всех та насмешливая улыбка, которую она лишь от него одного не могла снести. Зная, что он уже изменил ей (изменил в убеждении, что она уже всё должна вперед сносить от него, даже измену его), зная это, она нарочно предлагает ему три тысячи рублей и ясно, слишком ясно дает ему при этом понять, что предлагает ему деньги на измену ей же: „Что ж, примешь или нет, будешь ли столь циничен", — говорит она ему молча своим судящим и испытующим взглядом. Он глядит на нее, понимает ее мысли совершенно (он ведь сам сознался здесь при вас, что он всё понимал) и безусловно присвояет себе эти три тысячи и прокучивает их в два дня с своею новою возлюбленной! Чему же верить? Первой ли легенде — порыву ли высокого благородства, отдающего последние средства для жизни и преклоняющегося пред добродетелью, или оборотной стороне медали, столь отвратительной? Обыкновенно в жизни бывает так, что при двух противоположностях правду надо искать посередине; в настоящем случае это буквально не так. Вероятнее всего, что в первом случае он был искренно благороден, а во втором случае так же искренно низок. Почему? А вот именно потому, что мы натуры широкие, карамазовские, — я ведь к тому и веду, — способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. Вспомните блестящую мысль, высказанную давеча молодым наблюдателем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, господином Ракитиным: „Ощущение низости падения так же необходимо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства", — и это правда: именно им нужна эта неестественная смесь постоянно и беспрерывно. Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент — без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия, мы всё вместим и со всем уживемся! Кстати, господа присяжные заседатели, мы коснулись теперь этих трех тысяч рублей, и я позволю себе несколько забежать вперед. Вообразите только, что он, этот характер, получив тогда эти деньги, да еще таким образом, чрез такой стыд, чрез такой позор, чрез последней степени унижение, — вообразите только,

что он в тот же день возмог будто бы отделить из них половину, зашить в ладонку и целый месяц потом иметь твердость носить их у себя на шее, несмотря на все соблазны и чрезвычайные нужды! Ни в пьяном кутеже по трактирам, ни тогда, когда ему пришлось лететь из города доставать бог знает у кого деньги, необходимейшие ему, чтоб увезть свою возлюбленную от соблазнов соперника, отца своего, — он не осмеливается притронуться к этой ладонке. Да хоть именно для того только, чтобы не оставлять свою возлюбленную на соблазны старика, к которому он так ревновал, он должен бы был распечатать свою ладонку и остаться дома неотступным сторожем своей возлюбленной, ожидая той минуты, когда она скажет ему наконец: „Я твоя", чтоб лететь с нею куда-нибудь подальше из теперешней роковой обстановки. Но нет, он не касается своего талисмана, и под каким же предлогом? Первоначальный предлог, мы сказали, был именно тот, что когда ему скажут: „Я твоя, вези меня куда хочешь", то было бы на что увезти. Но этот первый предлог, по собственным словам подсудимого, побледнел перед вторым. Поколь, дескать, я ношу на себе эти деньги — „я подлец, но не вор", ибо всегда могу пойти к оскорбленной мною невесте и, выложив пред нею эту половину всей обманно присвоенной от нее суммы, всегда могу ей сказать: „Видишь, я прокутил половину твоих денег и доказал тем, что я слабый и безнравственный человек и, если хочешь, подлец (я выражаюсь языком самого подсудимого), но хоть и подлец, а не вор, ибо если бы был вором, то не принес бы тебе этой половины оставшихся денег, а присвоил бы и ее, как и первую половину". Удивительное объяснение факта! Этот самый бешеный, но слабый человек, не могший отказаться от соблазна принять три тысячи рублей при таком позоре, — этот самый человек ощущает вдруг в себе такую стоическую твердость и носит на своей шее тысячи рублей, не смея до них дотронуться! Сообразно ли это хоть сколько-нибудь с разбираемым нами характером? Нет, и я позволю себе вам рассказать, как бы поступил в таком случае настоящий Дмитрий Карамазов, если бы даже и в самом деле решился зашить свои деньги в ладонку. При первом же соблазне — ну хоть чтоб опять чем потешить ту же новую возлюбленную, с которой уже прокутил первую половину этих же денег, — он бы расшил свою ладонку и отделил от нее, ну, положим, на первый случай хоть только сто рублей, ибо к чему-де непременно относить половину, то есть полторы тысячи, довольно и тысячи четырехсот рублей — ведь всё то же выйдет: „подлец, дескать, а не вор, потому что всё же хоть тысячу четыреста рублей да принес назад, а вор бы все взял и ничего не принес". Затем еще через несколько времени опять расшил бы ладонку и опять вынул уже вторую сотню, затем третью, затем четвертую, и не далее как к концу месяца вынул бы наконец предпоследнюю сотню: дескать, и одну сотню принесу назад, всё то же ведь выйдет: „подлец, а не вор. Двадцать девять сотен прокутил, а всё же одну возвратил, вор бы и ту не возвратил".

И, наконец, уже прокутив эту предпоследнюю сотню, посмотрел бы на последнюю и сказал бы себе: „А ведь и впрямь не стоит относить одну сотню — давай и ту прокучу!“ Вот как бы поступил настоящий Дмитрий Карамазов, какого мы знаем! Легенда же об ладонке — это такое противоречие с действительностью, какого более и представить нельзя. Можно предположить всё, а не это. Но мы к этому еще вернемся».

Обозначив в порядке всё, что известно было судебному следствию об имущественных спорах и семейных отношениях отца с сыном, и еще, и еще раз выведя заключение, что, по известным данным, нет ни малейшей возможности определить в этом вопросе о дележе наследства, кто кого обсчитал или кто на кого насчитал, Ипполит Кириллович по поводу этих трех тысяч рублей, засевших в уме Мити как неподвижная идея, упомянул об медицинской экспертизе.

VII

ОБЗОР ИСТОРИЧЕСКИЙ

«Экспертиза медиков стремилась доказать нам, что подсудимый не в своем уме и маньяк. Я утверждаю, что он именно в своем уме, но что это-то и всего хуже: был бы не в своем, то оказался бы, может быть, гораздо умнее. Что же до того, что он маньяк, то с этим я бы и согласился, но именно в одном только пункте — в том самом, на который и экспертиза указывала, именно во взгляде подсудимого на эти три тысячи, будто бы недоплаченные ему отцом. Тем не менее, может быть, можно найти несравненно ближайшую точку зрения, чтоб объяснить это всегдашнее исступление подсудимого по поводу этих денег, чем наклонность его к помешательству. С своей стороны, я вполне согласен с мнением молодого врача, находившего, что подсудимый пользуется и пользовался полными и нормальными умственными способностями, а был лишь раздражен и озлоблен. Вот в этом и дело: не в трех тысячах, не в сумме собственно заключался предмет постоянного и исступленного озлобления подсудимого, а в том, что была тут особая причина, возбуждавшая его гнев. Причина эта — ревность!»

Здесь Ипполит Кириллович пространно развернул всю картину роковой страсти подсудимого к Грушеньке. Начал он с самого того момента, когда подсудимый отправился к «молодой особе», чтоб «избить ее», выражаясь его собственными словами, пояснил Ипполит Кириллович, «но вместо того, чтоб избить, остался у ног ее — вот начало этой любви. В то же время бросает взгляд на ту же особу и старик, отец подсудимого, — совпадение удивительное и роковое, ибо оба сердца зажглись вдруг, в одно время, хотя прежде и тот и другой знали же и встречали эту особу, — и зажглись эти оба сердца самою безудержною, самою карамазовскою страстью. Тут мы имеем ее собственное признание: „Я, — говорит она, — смеялась над тем и другим“. Да, ей захотелось вдруг по-

смеяться над тем и другим; прежде не хотелось, а тут вдруг влетело ей в ум это намерение, — и кончилось тем, что оба пали перед ней побежденные. Старик, поклонявшийся деньгам, как богу, тотчас же приготовил три тысячи рублей лишь за то только, чтоб она посетила его обитель, но вскоре доведен был и до того, что за счастье почел бы положить к ногам ее свое имя и всё свое состояние, лишь бы согласилась стать законною супругой его. На это мы имеем свидетельства твердые. Что же до подсудимого, то трагедия его очевидна, она пред нами. Но такова была „игра" молодой особы. Несчастному молодому человеку обольстительница не подавала даже и надежды, ибо надежда, настоящая надежда, была ему подана лишь только в самый последний момент, когда он, стоя перед своею мучительницей на коленях, простирал к ней уже обагренные кровью своего отца и соперника руки: в этом именно положении он и был арестован. „Меня, меня вместе с ним в каторгу пошлите, я его до того довела, я больше всех виновата!" — восклицала эта женщина сама, уже в искреннем раскаянии, в минуту его ареста. Талантливый молодой человек, взявший на себя описать настоящее дело, — всё тот же господин Ракитин, о котором я уже упоминал, — в нескольких сжатых и характерных фразах определяет характер этой героини: „Раннее разочарование, ранний обман и падение, измена обольстителя-жениха, ее бросившего, затем бедность, проклятие честной семьи и, наконец, покровительство одного богатого старика, которого она, впрочем, сама считает и теперь своим благодетелем. В молодом сердце, может быть заключавшем в себе много хорошего, затаился гнев еще слишком с ранней поры. Образовался характер расчетливый, копящий капитал. Образовалась насмешливость и мстительность обществу". После этой характеристики понятно, что она могла смеяться над тем и другим единственно для игры, для злобной игры. И вот в этот месяц безнадежной любви, нравственных падений, измены своей невесте, присвоения чужих денег, вверенных его чести, — подсудимый, кроме того, доходит почти до исступления, до бешенства, от беспрерывной ревности, и к кому же, к своему отцу! И главное, безумный старик сманивает и прельщает предмет его страсти — этими же самыми тремя тысячами, которые сын его считает своими родовыми, наследством матери, в которых укоряет отца. Да, я согласен, это было тяжело перенести! Тут могла явиться даже и мания. Не в деньгах было дело, а в том, что этими же деньгами с таким омерзительным цинизмом разбивалось счастье его!»

Затем Ипполит Кириллович перешел к тому, как постепенно зарождалась в подсудимом мысль отцеубийства, и проследил ее по фактам.

«Сначала мы только кричим по трактирам — весь этот месяц кричим. О, мы любим жить на людях и тотчас же сообщать этим людям все, даже самые инфернальные и опасные наши идеи, мы любим делиться с людьми и, неизвестно почему, тут же, сейчас

же и требуем, чтоб эти люди тотчас же отвечали нам полнейшею симпатией, входили во все наши заботы и тревоги, нам поддакивали и нраву нашему не препятствовали. Не то мы озлимся и разнесем весь трактир. (Следовал анекдот о штабс-капитане Снегиреве.) Видевшие и слышавшие подсудимого в этот месяц почувствовали наконец, что тут уже могут быть не одни крики и угрозы отцу, но что при таком исступлении угрозы, пожалуй, перейдут и в дело. (Тут прокурор описал семейную встречу в монастыре, разговоры с Алешей и безобразную сцену насилия в доме отца, когда подсудимый ворвался к нему после обеда.) Не думаю настойчиво утверждать, — продолжал Ипполит Кириллович, — что до этой сцены подсудимый уже обдуманно и преднамеренно положил покончить с отцом своим убийством его. Тем не менее идея эта уже несколько раз предстояла ему, и он обдуманно созерцал ее — на это мы имеем факты, свидетелей и собственное сознание его. Признаюсь, господа присяжные заседатели, — присовокупил Ипполит Кириллович, — я даже до сегодня колебался оставить за подсудимым полное и сознательное преднамерение напрашивавшегося к нему преступления. Я твердо был убежден, что душа его уже многократно созерцала роковой момент впереди, но лишь созерцала, представляла его себе лишь в возможности, но еще не определяла ни срока исполнения, ни обстоятельств. Но я колебался лишь до сегодня, до этого рокового документа, представленного сегодня суду госпожою Верховцевой. Вы сами слышали, господа, ее восклицание: „Это план, это программа убийства!“ — вот как определяла она несчастное „пьяное“ письмо несчастного подсудимого. И действительно, за письмом этим всё значение программы и преднамерения. Оно написано за двое суток до преступления, и, таким образом, нам твердо теперь известно, что за двое суток до исполнения своего страшного замысла подсудимый с клятвою объявлял, что если не достанет завтра денег, то убьет отца, с тем чтобы взять у него деньги из-под подушки „в пакете с красною ленточкой, только бы уехал Иван“. Слышите: „только бы уехал Иван“, — тут, стало быть, уже всё обдумано, обстоятельства взвешены — и что же: всё потом и исполнено как по писаному! Преднамеренность и обдуманность несомненны, преступление должно было совершиться с целью грабежа, это прямо объявлено, это написано и подписано. Подсудимый от своей подписи не отрицается. Скажут: это писал пьяный. Но это ничего не уменьшает и тем важнее: в пьяном виде написал то, что задумал в трезвом. Не было бы задумано в трезвом, не написалось бы в пьяном. Скажут, пожалуй: к чему он кричал о своем намерении по трактирам? Кто на такое дело решается *преднамеренно,* тот молчит и таит про себя. Правда, но кричал он тогда, когда еще не было планов и преднамерения, а лишь стояло одно желание, созревало лишь стремление. Потом он об этом уже меньше кричит. В тот вечер, когда было написано это письмо, напившись в трактире „Столичный город“, он, против обыкновения, был

молчалив, не играл на биллиарде, сидел в стороне, ни с кем не говорил и лишь согнал с места одного здешнего купеческого приказчика, но это уже почти бессознательно, по привычке к ссоре, без которой, войдя в трактир, он уже не мог обойтись. Правда, вместе с окончательным решением подсудимому должно же было прийти в голову опасение, что он слишком много накричал по городу предварительно и что это может весьма послужить к его уличению и его обвинению, когда он исполнит задуманное. Но уж что же делать, факт огласки был совершен, его не воротишь, и, наконец, вывозила же прежде кривая, вывезет и теперь. Мы на звезду свою надеялись, господа! Я должен к тому же признаться, что он много сделал, чтоб обойти роковую минуту, что он употребил весьма много усилий, чтоб избежать кровавого исхода. „Буду завтра просить три тысячи у всех людей, — как пишет он своим своеобразным языком, — а не дадут люди, то прольется кровь". Опять-таки в пьяном виде написано и опять-таки в трезвом виде как по писаному исполнено!»

Тут Ипполит Кириллович приступил к подробному описанию всех стараний Мити добыть себе деньги, чтоб избежать преступления. Он описал его похождения у Самсонова, путешествие к Лягавому — всё по документам. «Измученный, осмеянный, голодный, продавший часы на это путешествие (имея, однако, на себе полторы тысячи рублей — и будто, о, будто!), мучаясь ревностью по оставленному в городе предмету любви, подозревая, что она без него уйдет к Федору Павловичу, он возвращается наконец в город. Слава богу! Она у Федора Павловича не была. Он же сам ее и провожает к ее покровителю Самсонову. (Странное дело, к Самсонову мы не ревнивы, и это весьма характерная психологическая особенность в этом деле!) Затем стремится на наблюдательный пост „на задах" и там — и там узнает, что Смердяков в падучей, что другой слуга болен, — поле чисто, а „знаки" в руках его — какой соблазн! Тем не менее он все-таки сопротивляется; он идет к высокоуважаемой всеми нами временной здешней жительнице госпоже Хохлаковой. Давно уже сострадающая его судьбе, эта дама предлагает ему благоразумнейший из советов: бросить весь этот кутеж, эту безобразную любовь, эти праздношатания по трактирам, бесплодную трату молодых сил и отправиться в Сибирь на золотые прииски: „Там исход вашим бушующим силам, вашему романическому характеру, жаждущему приключений"». Описав исход беседы и тот момент, когда подсудимый вдруг получил известие о том, что Грушенька совсем не была у Самсонова, описав мгновенное исступление несчастного, измученного нервами ревнивого человека при мысли, что она именно обманула его и теперь у него, Федора Павловича, Ипполит Кириллович заключил, обращая внимание на роковое значение случая: «успей ему сказать служанка, что возлюбленная его в Мокром, с „прежним" и „бесспорным" — ничего бы и не было. Но она опешила от страха, заклялась-забожилась, и если подсудимый не убил ее тут же,

то это потому, что сломя голову пустился за своей изменницей. Но заметьте: как ни был он вне себя, а захватил-таки с собою медный пестик. Зачем именно пестик, зачем не другое какое оружие? Но, если мы уже целый месяц созерцали эту картину и к ней приготовлялись, то чуть мелькнуло нам что-то в виде оружия, мы и схватываем его как оружие. А о том, что какой-нибудь предмет в этом роде может послужить оружием, — это мы уже целый месяц представляли себе. Потому-то так мгновенно и бесспорно и признали его за оружие! А потому всё же не бессознательно, всё же не невольно схватил он этот роковой пестик. И вот он в отцовском саду — поле чисто, свидетелей нет, глубокая ночь, мрак и ревность. Подозрение, что она здесь, с ним, с соперником его, в его объятиях и, может быть, смеется над ним в эту минуту, — захватывает ему дух. Да и не подозрение только — какие уж теперь подозрения, обман явен, очевиден: она тут, вот в этой комнате, откуда свет, она у него там, за ширмами, — и вот несчастный подкрадывается к окну, почтительно в него заглядывает, благонравно смиряется и благоразумно уходит, поскорее вон от беды, чтобы чего не произошло, опасного и безнравственного, — и нас в этом хотят уверить, нас, знающих характер подсудимого, понимающих, в каком он был состоянии духа, в состоянии, нам известном по фактам, а главное, обладая знаками, которыми тотчас же мог отпереть дом и войти!» Здесь по поводу «знаков» Ипполит Кириллович оставил на время свое обвинение и нашел необходимым распространиться о Смердякове, с тем чтоб уж совершенно исчерпать весь этот вводный эпизод о подозрении Смердякова в убийстве и покончить с этою мыслию раз навсегда. Сделал он это весьма обстоятельно, и все поняли, что, несмотря на всё выказываемое им презрение к этому предположению, он все-таки считал его весьма важным.

VIII

ТРАКТАТ О СМЕРДЯКОВЕ

«Во-первых, откуда взялась возможность подобного подозрения? — начал с этого вопроса Ипполит Кириллович. — Первый крикнувший, что убил Смердяков, был сам подсудимый в минуту своего ареста, и, однако, не представивший с самого первого крика своего и до самой сей минуты суда ни единого факта в подтверждение своего обвинения — и не только факта, но даже сколько-нибудь сообразного с человеческим смыслом намека на какой-нибудь факт. Затем подтверждают обвинение это только три лица: оба брата подсудимого и госпожа Светлова. Но старший брат подсудимого объявил свое подозрение только сегодня, в болезни, в припадке бесспорного умоисступления и горячки, а прежде, во все два месяца, как нам положительно это известно, совершенно разделял убеждение о виновности своего брата, даже

не искал возражать против этой идеи. Но мы этим займемся особенно еще потом. Затем младший брат подсудимого нам объявляет давеча сам, что фактов в подтверждение своей мысли о виновности Смердякова не имеет никаких, ни малейших, а заключает так лишь со слов самого подсудимого и „по выражению его лица“ — да, это колоссальное доказательство было дважды произнесено давеча его братом. Госпожа же Светлова выразилась даже, может быть, и еще колоссальнее: „Что подсудимый вам скажет, тому и верьте, не таков человек, чтобы солгал“. Вот все фактические доказательства на Смердякова от этих трех лиц, слишком заинтересованных в судьбе подсудимого. И между тем обвинение на Смердякова ходило и держалось, и держится — можно этому поверить, можно это представить?»

Тут Ипполит Кириллович нашел нужным слегка очертить характер покойного Смердякова, «прекратившего жизнь свою в припадке болезненного умоисступления и помешательства». Он представил его человеком слабоумным, с зачатком некоторого смутного образования, сбитого с толку философскими идеями не под силу его уму и испугавшегося иных современных учений о долге и обязанности, широко преподанных ему практически — бесшабашною жизнию покойного его барина, а может быть и отца, Федора Павловича, а теоретически — разными странными философскими разговорами с старшим сыном барина, Иваном Федоровичем, охотно позволявшим себе это развлечение — вероятно, от скуки или от потребности насмешки, не нашедшей лучшего приложения. Он мне сам рассказывал о своем душевном состоянии в последние дни своего пребывания в доме своего барина, — пояснил Ипполит Кириллович, — но свидетельствуют о том же и другие: сам подсудимый, брат его и даже слуга Григорий, то есть все те, которые должны были знать его весьма близко. Кроме того, удрученный падучею болезнию, Смердяков был „труслив как курица“. „Он падал мне в ноги и целовал мои ноги, — сообщал нам сам подсудимый в ту минуту, когда еще не сознавал некоторой для себя невыгоды в таком сообщении, — это курица в падучей болезни“, — выразился он про него своим характерным языком. И вот его-то подсудимый (о чем и сам свидетельствует) выбирает в свои доверенные и запугивает настолько, что тот соглашается наконец служить ему шпионом и переносчиком. В этом качестве домашнего соглядатая он изменяет своему барину, сообщает подсудимому и о существовании пакета с деньгами, и про знаки, по которым можно проникнуть к барину, — да и как бы он мог не сообщить! „Убьют-с, видел прямо, что убьют меня-с“, — говорил он на следствии, трясясь и трепеща даже перед нами, несмотря на то, что запугавший его мучитель был уже сам тогда под арестом и не мог уже прийти наказать его. „Подозревали меня всякую минуту-с, сам в страхе и трепете, чтобы только их гнев утолить, спешил сообщать им всякую тайну-с, чтобы тем самым невинность мою перед ними видеть могли-с и живого

на покаяние отпустили-с“. Вот собственные слова его, я их записал и запомнил: „Как закричит, бывало, на меня, я так на коленки перед ними и паду“. Будучи высокочестным от природы своей молодым человеком и войдя тем в доверенность своего барина, отличившего в нем эту честность, когда тот возвратил ему потерянные им деньги, несчастный Смердяков, надо думать, страшно мучился раскаянием в измене своему барину, которого любил как своего благодетеля. Сильно страдающие от падучей болезни, по свидетельству глубочайших психиатров, всегда наклонны к беспрерывному и, конечно, болезненному самообвинению. Они мучаются от своей „виновности“ в чем-то и перед кем-то, мучаются угрызениями совести, часто, даже безо всякого основания, преувеличивают и даже сами выдумывают на себя разные вины и преступления. И вот подобный-то субъект становится действительно виновным и преступным от страху и от запугивания. Кроме того, он сильно предчувствовал, что из слагающихся на глазах его обстоятельств может выйти нечто недоброе. Когда старший сын Федора Павловича, Иван Федорович, перед самою катастрофой уезжал в Москву, Смердяков умолял его остаться, не смея, однако же, по трусливому обычаю своему, высказать ему все опасения свои в виде ясном и категорическом. Он лишь удовольствовался намеками, но намеков не поняли. Надо заметить, что в Иване Федоровиче он видел как бы свою защиту, как бы гарантию в том, что пока тот дома, то не случится беды. Вспомните выражение в „пьяном“ письме Дмитрия Карамазова: „Убью старика, если только уедет Иван“; стало быть, присутствие Ивана Федоровича казалось всем как бы гарантией тишины и порядка в доме. И вот он-то и уезжает, а Смердяков тотчас же, почти через час по отъезде молодого барина, упадает в падучей болезни. Но это совершенно понятно. Здесь надо упомянуть, что, удрученный страхами и своего рода отчаянием, Смердяков в последние дни особенно ощущал в себе возможность приближения припадков падучей, которая и прежде всегда случалась с ним в минуты нравственного напряжения и потрясения. День и час этих припадков угадать, конечно, нельзя, но расположение к припадку каждый эпилептик ощутить в себе может заранее. Так говорит медицина. И вот только что съезжает со двора Иван Федорович, как Смердяков, под впечатлением своего, так сказать, сиротства и своей беззащитности, идет за домашним делом в погреб, спускается вниз по лестнице и думает: „Будет или не будет припадок, а что, коль сейчас придет?“ И вот именно от этого настроения, от этой мнительности, от этих вопросов и схватывает его горловая спазма, всегда́ предшествующая падучей, и он летит стремглав без сознания на дно погреба. И вот, в этой самой естественной случайности ухищряются видеть какое-то подозрение, какое-то указание, какой-то намек на то, что он *нарочно* притворился больным! Но если нарочно, то является тотчас вопрос: для чего же? Из какого расчета, с какою же целью? Я уже не говорю про медицину; наука,

дескать, лжет, наука ошибается, доктора не сумели отличить истины от притворства, — пусть, пусть, но ответьте же мне, однако, на вопрос: для чего ему было притворяться? Не для того ли, чтобы, замыслив убийство, обратить на себя случившимся припадком заранее и поскорее внимание в доме? Видите ли, господа присяжные заседатели, в доме Федора Павловича в ночь преступления было и перебывало пять человек: во-первых, сам Федор Павлович, но ведь не он же убил себя, это ясно; во-вторых, слуга его Григорий, но ведь того самого чуть не убили, в-третьих, жена Григория, служанка Марфа Игнатьева, но представить ее убийцей своего барина просто стыдно. Остаются, стало быть, на виду два человека: подсудимый и Смердяков. Но так как подсудимый уверяет, что убил не он, то, стало быть, должен был убить Смердяков, другого выхода нет, ибо никого другого нельзя найти, никакого другого убийцы не подберешь. Вот, вот, стало быть, откуда произошло это „хитрое“ и колоссальное обвинение на несчастного, вчера покончившего с собой идиота! Именно только по тому одному, что другого некого подобрать! Будь хоть тень, хоть подозрение на кого другого, на какое-нибудь шестое лицо, то я убежден, что даже сам подсудимый постыдился бы показать тогда на Смердякова, а показал бы на это шестое лицо, ибо обвинять Смердякова в этом убийстве есть совершенный абсурд.

Господа, оставим психологию, оставим медицину, оставим даже самую логику, обратимся лишь к фактам, к одним только фактам, и посмотрим, что скажут нам факты. Убил Смердяков, но как? Один или в сообществе с подсудимым? Рассмотрим сперва первый случай, то есть, что Смердяков убивает один. Конечно, если убил, то для чего же нибудь, из какой-нибудь выгоды. Но, не имея ни тени мотивов к убийству из таких, какие имел подсудимый, то есть ненависти, ревности и проч., и проч., Смердяков, без сомнения, мог убить только лишь из-за денег, чтобы присвоить себе именно эти три тысячи, которые сам же видел, как барин его укладывал в пакет. И вот, замыслив убийство, он заранее сообщает другому лицу — и к тому же в высочайшей степени заинтересованному лицу, именно подсудимому, — все обстоятельства о деньгах и знаках: где лежит пакет, что именно на пакете написано, чем он обернут, а главное, главное сообщает про эти „знаки“, которыми к барину можно пройти. Что ж, он прямо, чтоб выдать себя, это делает? Или чтобы найти себе соперника, который, пожалуй, и сам пожелает войти и приобресть пакет? Да, скажут мне, но ведь он сообщил от страху. Но как же это? Человек, не смигнувший задумать такое бесстрашное и зверское дело и потом исполнить его, — сообщает такие известия, которые знает только он в целом мире и о которых, если бы только он об них умолчал, никто и не догадался бы никогда в целом мире. Нет, уж как бы ни был труслив человек, а уж если такое дело задумал, то уже ни за что бы не сказал никому по крайней мере про пакет и про знаки, ибо это значило бы вперед всего себя выдать. Что-нибудь

выдумал бы нарочно, что-нибудь налгал бы другое, если уж от него непременно требовали известий, а уж об этом бы умолчал! Напротив, повторяю это, если б он промолчал хоть только об деньгах, а потом убил и присвоил эти деньги себе, то никто бы никогда в целом мире не мог обвинить его по крайней мере в убийстве для грабежа, ибо денег этих ведь никто, кроме него, не видал, никто не знал, что они существуют в доме. Если бы даже и обвинили его, то непременно сочли бы, что он из другого какого-нибудь мотива убил. Но так как мотивов этих за ним никто предварительно не приметил, а все видели, напротив, что он барином любим, почтен бариновою доверенностью, то, конечно бы, его последнего и заподозрили, а заподозрили бы прежде всего такого, который бы имел эти мотивы, кто сам кричал, что имеет эти мотивы, кто их не скрывал, перед всеми обнаруживал, одним словом, заподозрили бы сына убитого, Дмитрия Федоровича. Смердяков бы убил и ограбил, а сына бы обвинили — ведь Смердякову-убийце уж конечно было бы это выгодно? Ну, так вот этому-то сыну Дмитрию Смердяков, замыслив убийство, и сообщает вперед про деньги, про пакет и про знаки — как это логично, как это ясно!

Приходит день замышленного Смердяковым убийства, и вот он летит с ног, *притворившись,* в припадке падучей болезни, для чего? Уж конечно, для того, чтобы, во-первых, слуга Григорий, замысливший свое лечение и, видя, что совершенно некому стеречь дом, может быть, отложил бы свое лечение и сел караулить. Во-вторых, конечно для того, чтобы сам барин, видя, что его никто не караулит и страшно опасаясь прихода сына, чего не скрывал, усугубил свою недоверчивость и свою осторожность. Наконец, и главное, конечно для того, чтоб его, Смердякова, разбитого припадком, тотчас же перенесли из кухни, где он всегда отдельно ото всех ночевал и где имел свой особенный вход и выход, в другой конец флигеля, в комнатку Григория, к ним обоим за перегородку, в трех шагах от их собственной постели, как всегда это бывало, спокон века, чуть только его разбивала падучая, по распоряжениям барина и сердобольной Марфы Игнатьевны. Там, лежа за перегородкой, он, вероятнее всего, чтоб вернее изобразиться больным, начнет, конечно, стонать, то есть будить их всю ночь (как и было, по показанию Григория и жены его), — и всё это, всё это для того, чтоб тем удобнее вдруг встать и потом убить барина!

Но скажут мне, может быть, он именно притворился, чтоб на него, как на больного, не подумали, а подсудимому сообщил про деньги и про знаки именно для того, чтоб тот соблазнился и сам пришéл, и убил, и когда, видите ли, тот, убив, уйдет и унесет деньги и при этом, пожалуй, нашумит, нагремит, разбудит свидетелей, то тогда, видите ли, встанет и Смердяков, и пойдет — ну, что же делать пойдет? А вот именно пойдет в другой раз убить барина и в другой раз унести уже унесенные деньги. Господа, вы смеетесь? Мне самому стыдно делать такие предположения, а

между тем, представьте себе это, именно ведь подсудимый это самое и утверждает: после меня, дескать, когда я уже вышел из дому, повалив Григория и наделав тревоги, он встал, пошел, убил и ограбил. Уж я и не говорю про то, как бы мог Смердяков рассчитать это всё заранее и всё предузнать как по пальцам, то есть что раздраженный и бешеный сын придет единственно для того только, чтобы почтительно заглянуть в окно и, обладая знаками, отретироваться, оставив ему, Смердякову, всю добычу! Господа, я серьезно ставлю вопрос: где тот момент, когда Смердяков совершил свое преступление? Укажите этот момент, ибо без этого нельзя обвинять.

„А может быть, падучая была настоящая. Больной вдруг очнулся, услыхал крик, вышел“ — ну и что же? Посмотрел да и сказал себе: дай пойду убью барина? А почему он узнал, что тут было, что тут происходило, ведь он до сих пор лежал в беспамятстве? А впрочем, господа, есть предел и фантазиям.

„Так-с, — скажут тонкие люди, — а ну как оба были в согласии, а ну как это они оба вместе убили и денежки поделили, ну тогда как же?“

Да, действительно, подозрение важное, и во-первых — тотчас же колоссальные улики, его подтверждающие: один убивает и берет все труды на себя, а другой сообщник лежит на боку, притворившись в падучей, — именно для того, чтобы предварительно возбудить во всех подозрение, тревогу в барине, тревогу в Григории. Любопытно, из каких мотивов оба сообщника могли бы выдумать именно такой сумасшедший план? Но, может быть, это было вовсе не активное сообщество со стороны Смердякова, а, так сказать, пассивное и страдальческое: может быть, запуганный Смердяков согласился лишь не сопротивляться убийству и, предчувствуя, что его же ведь обвинят, что он дал убить барина, не кричал, не сопротивлялся, — заранее выговорил себе у Дмитрия Карамазова позволение пролежать это время как бы в падучей, „а ты там убивай себе как угодно, моя изба с краю“. Но если и так, то так как и опять-таки эта падучая должна была произвести в доме переполох, предвидя это, Дмитрий Карамазов уж никак не мог бы согласиться на такой уговор. Но я уступаю, пусть он согласился; так ведь все-таки вышло бы тогда, что Дмитрий Карамазов убийца, прямой убийца и зачинщик, а Смердяков лишь пассивный участник, да и не участник даже, а лишь попуститель от страха и против воли, ведь суд-то это бы уже непременно мог различить, и вот, что же мы видим? Только что арестовали подсудимого, как он мигом сваливает всё на одного Смердякова и его *одного* обвиняет. Не в сообщничестве с собой обвиняет, а его одного: один, дескать, он это сделал, он убил и ограбил, его рук дело! Ну что это за сообщники, которые тотчас же начинают говорить один на другого, — да этого никогда не бывает. И заметьте, какой риск для Карамазова: он главный убийца, а тот не главный, тот только попуститель и пролежал за перегородкой, и вот он сваливает на

лежачего. Так ведь тот, лежачий-то, мог рассердиться, и из-за одного только самосохранения поскорее объявить правду истинную: оба, дескать, участвовали, только я не убивал, а лишь дозволил и попустил, от страху. Ведь он же, Смердяков, мог понять, что суд тотчас бы различил степень его виновности, а стало быть, мог и рассчитать, что если его и накажут, то несравненно ничтожнее, чем того, главного убийцу, желающего всё свалить на него. Но тогда, стало быть, уж поневоле сделал бы признание. Этого мы, однако же, не видали. Смердяков и не заикнулся о сообщничестве, несмотря на то, что убийца твердо обвинял его и всё время указывал на него как на убийцу единственного. Мало того: Смердяков же и открыл следствию, что о пакете с деньгами и о знаках сообщил подсудимому *он сам* и что без него тот и не узнал бы ничего. Если б он был действительно в сообщничестве и виновен, сообщил ли бы он так легко об этом следствию, то есть что это всё он сам сообщил подсудимому? Напротив, стал бы запираться и уж непременно искажать факты и уменьшать их. Но он не искажал и не уменьшал. Так может делать только невинный, не боящийся, что его обвинят в сообщничестве. И вот он, в припадке болезненной меланхолии от своей падучей и от всей этой разразившейся катастрофы, вчера повесился. Повесившись, оставил записку, писанную своеобразным слогом: „Истребляю себя своею волей и охотой, чтобы никого не винить". Ну что б ему прибавить в записке: убийца я, а не Карамазов. Но этого он не прибавил: на одно совести хватило, а на другое нет?

И что же: давеча сюда, в суд, приносят деньги, три тысячи рублей, — „те самые, дескать, которые лежали вот в этом самом пакете, что на столе с вещественными доказательствами, получил, дескать, вчера от Смердякова". Но вы, господа присяжные заседатели, сами помните грустную давешнюю картину. Я не возобновлю подробностей, однако же позволю себе сделать лишь два-три соображения, выбирая из самых незначительнейших, — именно потому, что они незначительны, а стало быть, не всякому придут в голову и забудутся. Во-первых, и опять-таки: от угрызения совести Смердяков вчера отдал деньги и сам повесился. (Ибо без угрызений совести он бы денег не отдал.) И уж конечно только вчера вечером в первый раз признался Ивану Карамазову в своем преступлении, как объявил и сам Иван Карамазов, иначе зачем бы он молчал до сих пор? Итак, он признался, почему же, опять повторю это, в предсмертной записке не объявил нам всей правды, зная, что завтра же для безвинного подсудимого страшный суд? Одни деньги ведь не доказательство. Мне, например, и еще двум лицам в этой зале совершенно случайно стал известен, еще неделю назад, один факт, именно, что Иван Федорович Карамазов посылал в губернский город для размена два пятипроцентные билета по пяти тысяч каждый, всего, стало быть, на десять тысяч. Я только к тому, что деньги у всех могут случиться к данному сроку и что, принеся три тысячи, нельзя доказать непремен-

но, что это вот те самые деньги, вот именно из того самого ящика или пакета. Наконец, Иван Карамазов, получив вчера такое важное сообщение от настоящего убийцы, пребывает в покое. Но почему бы ему не заявить об этом тотчас же? Почему он отложил всё до утра? Полагаю, что имею право догадываться почему: уже неделю как расстроенный в своем здоровье, сам признавшийся доктору и близким своим, что видит видения, что встречает уже умерших людей; накануне белой горячки, которая сегодня именно и поразила его, он, внезапно узнав о кончине Смердякова, вдруг составляет себе следующее рассуждение: „Человек мертв, на него сказать можно, а брата спасу. Деньги же есть у меня: возьму пачку и скажу, что Смердяков пред смертью мне отдал". Вы скажете, это нечестно; хоть на мертвого, но нечестно же лгать, даже и для спасения брата? Так, ну а что, если он солгал бессознательно, если он сам вообразил, что так и было, именно окончательно пораженный в рассудке своем известием об этой внезапной смерти лакея? Вы ведь видели давешнюю сцену, видели, в каком положении был этот человек. Он стоял на ногах и говорил, но где был ум его? За давешним показанием горячечного последовал документ, письмо подсудимого к госпоже Верховцевой, писанное им за два дня до совершения преступления, с подробною программой преступления вперед. Ну так чего же мы ищем программу и ее составителей? Точь-в-точь по этой программе и совершилось, и совершилось не кем другим, как ее составителем. Да, господа присяжные заседатели, „совершилось как по писаному!" И вовсе, вовсе мы не бежали почтительно и боязливо от отцова окошка, да еще в твердой уверенности, что у того теперь наша возлюбленная. Нет, это нелепо и неправдоподобно. Он вошел и — покончил дело. Вероятно, он убил в раздражении, разгоревшись злобой, только что взглянул на своего ненавистника и соперника, но убив, что сделал, может быть, одним разом, одним взмахом руки, вооруженной медным пестом, и убедившись затем уже после подробного обыска, что ее тут нет, он, однако же, не забыл засунуть руку по подушку и достать конверт с деньгами, разорванная обложка которого лежит теперь здесь на столе с вещественными доказательствами. Я говорю к тому, чтобы вы заметили одно обстоятельство, по-моему прехарактерное. Будь это опытный убийца и именно убийца с целью одного грабежа, — ну, оставил ли бы он обложку конверта на полу, в том виде, как нашли ее подле трупа? Ну будь это, например, Смердяков, убивающий для грабежа, — да он бы просто унес весь пакет с собой, вовсе не трудясь распечатывать над трупом жертвы своей; так как знал наверно, что в пакете есть деньги — ведь при нем же их вкладывали и запечатывали, — а ведь унеси он пакет совсем, и тогда становится неизвестным, существовало ли ограбление? Я вас спрашиваю, господа присяжные, поступил ли бы так Смердяков, оставил ли бы он конверт на полу? Нет, именно так должен был поступить убийца исступленный, уже плохо рассуждающий, убийца не вор и никогда ничего

до тех пор не укравший, да и теперь-то вырвавший из-под постели деньги не как вор укравший, а как свою же вещь у вора укравшего унесший — ибо таковы именно были идеи Дмитрия Карамазова об этих трех тысячах, дошедшие в нем до мании. И вот, захватив пакет, которого он прежде никогда не видал, он и рвет обложку, чтоб удостовериться, есть ли деньги, затем бежит с деньгами в кармане, даже и подумать забыв, что оставляет на полу колоссальнейшее на себя обвинение в виде разорванной обложки. Всё потому, что Карамазов, а не Смердяков, не подумал, не сообразил, да и где ему! Он убегает, он слышит вопль настигающего его слуги, слуга хватает его, останавливает и падает, пораженный медным пестом. Подсудимый соскакивает к нему вниз из жалости. Представьте, он вдруг уверяет нас, что он соскочил тогда к нему вниз из жалости, из сострадания, чтобы посмотреть, не может ли ему чем помочь. Ну такова ли эта минута, чтобы выказать подобное сострадание? Нет, он соскочил именно для того, чтоб убедиться: жив ли единственный свидетель его злодеяния? Всякое другое чувство, всякий другой мотив были бы неестественны! Заметьте, он над Григорием трудится, обтирает ему платком голову и, убедясь, что он мертв, как потерянный, весь в крови, прибегает опять туда, в дом своей возлюбленной — как же не подумал он, что он весь в крови и что его тотчас изобличат? Но подсудимый сам уверяет нас, что он даже и внимания не обратил, что весь в крови; это допустить можно, это очень возможно, это всегда бывает в такие минуты с преступниками. На одно — адский расчет, а на другое не хватает соображения. Но он думал в ту минуту лишь о том, где *она*. Ему надо было поскорее узнать, где она, и вот он прибегает в ее квартиру и узнает неожиданное и колоссальнейшее для себя известие: она уехала в Мокрое со своим „прежним", „бесспорным"!»

IX

ПСИХОЛОГИЯ НА ВСЕХ ПАРАХ. СКАЧУЩАЯ ТРОЙКА. ФИНАЛ РЕЧИ ПРОКУРОРА

Дойдя до этого момента в своей речи, Ипполит Кириллович, очевидно избравший строго исторический метод изложения, к которому очень любят прибегать все нервные ораторы, ищущие нарочно строго поставленных рамок, чтобы сдерживать собственное нетерпеливое увлечение, — Ипполит Кириллович особенно распространился о «прежнем» и «бесспорном» и высказал на эту тему несколько в своём роде занимательных мыслей. «Карамазов, ревновавший ко всем до бешенства, вдруг и разом как бы падает и исчезает перед „прежним" и „бесспорным". И тем более это странно, что прежде он совсем почти и не обращал внимания на эту новую для себя опасность, грядущую в лице неожиданного для него соперника. Но он всё представлял себе, что это еще так далеко,

а Карамазов всегда живет лишь настоящею минутой. Вероятно, он считал его даже фикцией. Но мигом поняв больным сердцем своим, что, может быть, потому-то эта женщина и скрывала этого нового соперника, потому-то и обманывала его давеча, что этот вновь прилетевший соперник был слишком для нее не фантазией и не фикцией, а составлял для нее всё, всё ее упование в жизни, — мигом поняв это, он смирился. Что же, господа присяжные, я не могу обойти умолчанием эту внезапную черту в душе подсудимого, который бы, казалось, ни за что не способен был проявить ее, высказалась вдруг неумолимая потребность правды, уважения к женщине, признания прав ее сердца, и когда же — в тот момент, когда из-за нее же он обагрил свои руки кровью отца своего! Правда и то, что и пролитая кровь уже закричала в эту минуту об отмщении, ибо он, погубивший душу свою и всю земную судьбу свою, он невольно должен был почувствовать и спросить себя в то мгновение: „Что значит он и что может он значить *теперь* для нее, для этого любимого им больше души своей существа, в сравнении с этим «прежним» и «бесспорным», покаявшимся и воротившимся к этой когда-то погубленной им женщине с новой любовью, с предложениями честными, с обетом возрожденной и уже счастливой жизни. А он, несчастный, что даст он ей *теперь*, что ей предложит?“ Карамазов всё это понял, понял, что преступление его заперло ему все дороги и что он лишь приговоренный к казни преступник, а не человек, которому жить! Эта мысль его раздавила и уничтожила. И вот он мгновенно останавливается на одном исступленном плане, который, при характере Карамазова, не мог не представиться ему как единственным и фатальным исходом из страшного его положения. Этот исход — самоубийство. Он бежит за своими заложенными чиновнику Перхотину пистолетами и в то же время дорогой, на бегу, выхватывает из кармана все свои деньги, из-за которых только что забрызгал руки свои отцовскою кровью. О, деньги теперь ему нужнее всего: умирает Карамазов, застреливается Карамазов, и это будут помнить! Недаром же мы поэт, недаром же мы прожигали нашу жизнь, как свечку с обоих концов. „К ней, к ней, — и там, о, там я задаю пир на весь мир, такой, какого еще не бывало, чтобы помнили и долго рассказывали. Среди диких криков, безумных цыганских песен и плясок мы подымем заздравный бокал и поздравим обожаемую женщину с ее новым счастьем, а затем — тут же, у ног ее, размозжим перед нею наш череп и казним нашу жизнь! Вспомнит когда-нибудь Митю Карамазова, увидит, как любил ее Митя. пожалеет Митю!“ Много картинности, романического исступления, дикого карамазовского безудержу и чувствительности — ну и еще чего-то другого, господа присяжные, чего-то, что кричит в душе, стучит в уме неустанно и отравляет его сердце до смерти; это *что-то* — это совесть, господа присяжные, это суд ее, это страшные ее угрызения! Но пистолет всё помирит, пистолет — единственный выход, и нет другого, а там — я не знаю, думал

ли в ту минуту Карамазов, „*что будет там*“, и может ли Карамазов по-гамлетовски думать о том, что там будет? Нет, господа присяжные, у тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!»

Тут Ипполит Кириллович развернул подробнейшую картину сборов Мити, сцену у Перхотина, в лавке, с ямщиками. Он привел массу слов, изречений, жестов, всё подтвержденных свидетелями, — и картина страшно повлияла на убеждение слушателей. Главное, повлияла совокупность фактов. Виновность этого исступленно мятущегося и уже не берегущего себя человека выставилась неотразимо. «Нечего уже ему было беречь себя, — говорил Ипполит Кириллович, — два-три раза он чуть-чуть было не сознался вполне, почти намекал и только разве не договаривал (здесь следовали показания свидетелей). Даже ямщику в дороге крикнул: „Знаешь ли, что ты убийцу везешь!“ Но договорить все-таки ему нельзя было: надо было попасть сперва в село Мокрое и уже там закончить поэму. Но что же, однако, ожидает несчастного? Дело в том, что почти с первых же минут в Мокром он видит и, наконец, постигает совершенно, что „бесспорный“ соперник его вовсе, может быть, уж не так бесспорен и что поздравлений с новым счастьем и заздравного бокала от него не хотят и не принимают. Но вы уже знаете факты, господа присяжные, по судебному следствию. Торжество Карамазова над соперником оказалось неоспоримым и тут — о, тут начался совсем уже новый фазис в его душе, и даже самый страшный фазис изо всех, какие пережила и еще переживет когда-либо эта душа! Положительно можно признать, господа присяжные, — воскликнул Ипполит Кириллович, — что поруганная природа и преступное сердце — сами за себя мстители полнее всякого земного правосудия! Мало того: правосудие и земная казнь даже облегчают казнь природы, даже необходимы душе преступника в эти моменты как спасение ее от отчаяния, ибо я и представить себе не могу того ужаса и тех нравственных страданий Карамазова, когда он узнал, что она его любит, что для него отвергает своего „прежнего“ и „бесспорного“, что его, его, „Митю“, зовет с собою в обновленную жизнь, обещает ему счастье, и это когда же? Когда уже всё для него покончено и когда уже ничего невозможно! Кстати, сделаю вскользь одну весьма важную для нас заметку для пояснения настоящей сущности тогдашнего положения подсудимого: эта женщина, эта любовь его до самой этой последней минуты, до самого даже мига ареста, пребывала для него существом недоступным, страстно желаемым, но недостижимым. Но почему, почему он не застрелился тогда же, почему оставил принятое намерение и даже забыл, где лежит его пистолет? А вот именно эта страстная жажда любви и надежда ее тогда же, тут же утолить и удержали его. В чаду пира он приковался к своей возлюбленной, тоже вместе с ним пирующей, прелестной и обольстительной для него более, чем когда-либо, — он не отходит от нее, любуется ею, исчезает пред нею. Эта страстная жажда даже могла на миг подавить не только страх

ареста, но и самые угрызения совести! На миг, о, только на миг! Я представляю себе тогдашнее состояние души преступника в бесспорном рабском подчинении трем элементам, подавившим ее совершенно: во-первых, пьяное состояние, чад и гам, топот пляски, визг песен, и она, она, раскрасневшаяся от вина, поющая и пляшущая, пьяная и смеющаяся ему! Во-вторых, ободряющая отдаленная мечта о том, что роковая развязка еще далеко, по крайней мере не близко, — разве на другой только день, лишь наутро придут и возьмут его. Стало быть, несколько часов, это много, ужасно много! В несколько часов можно много придумать. Я представляю себе, что с ним было нечто похожее на то, когда преступника везут на смертную казнь, на виселицу: еще надо проехать длинную-длинную улицу, да еще шагом, мимо тысяч народа, затем будет поворот в другую улицу и в конце только этой другой улицы страшная площадь! Мне именно кажется, что в начале шествия осужденный, сидя на позорной своей колеснице, должен именно чувствовать, что пред ним еще бесконечная жизнь. Но вот, однако же, уходят дома, колесница всё подвигается — о, это ничего, до поворота во вторую улицу еще так далеко, и вот он всё еще бодро смотрит направо и налево и на эти тысячи безучастно любопытных людей, приковавшихся к нему взглядами, и ему всё еще мерещится, что он такой же, как и они, человек. Но вот уже и поворот в другую улицу — о! это ничего, ничего, еще целая улица. И сколько бы ни уходило домов, он всё будет думать: „Еще осталось много домов“. И так до самого конца, до самой площади. Так, представляю себе, было тогда и с Карамазовым. „Еще там не успели, — думает он, — еще можно что-нибудь подыскать, о, еще будет время сочинить план защиты, сообразить отпор, а теперь, теперь — теперь она так прелестна!“ Смутно и страшно в душе его, но он успевает, однако же, отложить от своих денег половину и где-то их спрятать — иначе я не могу объяснить себе, куда могла исчезнуть целая половина этих трех тысяч, только что взятых им у отца из-под подушки. Он в Мокром уже не раз, он там уже кутил двое суток. Этот старый, большой деревянный дом ему известен, со всеми сараями, галереями. Я именно предполагаю, что часть денег скрылась тогда же, и именно в этом доме, незадолго пред арестом, в какую-нибудь щель, в расщелину, под какую-нибудь половицу, где-нибудь в углу, под кровлей — для чего? Как для чего? Катастрофа может совершиться сейчас, конечно мы еще не обдумали, как ее встретить, да и некогда нам, да и стучит у нас в голове, да и к *ней-то* тянет, ну а деньги? — деньги во всяком положении необходимы! Человек с деньгами — везде человек. Может быть, такая расчетливость в такую минуту вам покажется неестественною? Но ведь уверяет же он сам, что еще за месяц пред тем, в один тоже самый тревожный и роковой для него момент, он отделил от трех тысяч половину и зашил себе в ладонку, и если, конечно, это неправда, что и докажем сейчас, то всё же эта идея Карамазову знакомая, он ее созерцал.

Мало того, когда он уверял потом следователя, что отделил полторы тысячи в ладонку (которой никогда не бывало), то, может быть, и выдумал эту ладонку, тут же мгновенно, именно потому, что два часа пред тем отделил половину денег и спрятал куда-нибудь там в Мокром, на всякий случай, до утра, только чтобы не хранить на себе, по внезапно представившемуся вдохновению. Две бездны, господа присяжные, вспомните, что Карамазов может созерцать две бездны, и обе разом! В том доме мы искали, но не нашли. Может, эти деньги и теперь еще там, а может, и на другой день исчезли и теперь у подсудимого. Во всяком случае, арестовали его подле нее, перед ней на коленях, она лежала на кровати, он простирал к ней руки и до того забыл всё в ту минуту, что не расслышал и приближения арестующих. Он ничего еще не успел приготовить в уме своем для ответа. И он и ум его были взяты врасплох.

И вот он пред своими судьями, пред решителями судьбы своей. Господа присяжные заседатели, бывают моменты, когда, при нашей обязанности, нам самим становится почти страшно пред человеком, страшно и за человека! Это минуты созерцания того животного ужаса, когда преступник уже видит, что всё пропало, но всё еще борется, всё еще намерен бороться с вами. Это минуты, когда все инстинкты самосохранения восстают в нем разом и он, спасая себя, глядит на вас пронизывающим взглядом, вопрошающим и страдающим, ловит и изучает вас, ваше лицо, ваши мысли, ждет, с которого боку вы ударите, и создает мгновенно в сотрясающемся уме своем тысячи планов, но все-таки боится говорить, боится проговориться! Эти унизительные моменты души человеческой, это хождение ее по мытарствам, эта животная жажда самоспасения — ужасны и вызывают иногда содрогание и сострадание к преступнику даже в следователе! И вот мы этому всему были тогда свидетелями. Сначала он был ошеломлен, и в ужасе у него вырвалось несколько слов, его сильно компрометирующих: „Кровь! Заслужил!“ Но он быстро сдержал себя. Что сказать, как ответить — всё это пока еще у него не готово, но готово лишь одно голословное отрицание: „В смерти отца не виновен!“ Вот пока наш забор, а там, за забором, мы, может быть, еще что и устроим, какую-нибудь баррикаду. Компрометирующие первые восклицания свои он спешит, предупреждая вопросы наши, объяснить тем, что считает себя виновным лишь в смерти слуги Григория. „В этой крови виновен, но кто же убил отца, господа, кто убил? Кто же мог убить его, *если не я*?“ Слышите это: спрашивает он нас же, нас же, пришедших к нему самому с э́тим самым вопросом! Слышите вы это забегающее вперед словечко: „если не я“, эту животную хитрость, эту наивность и эту карамазовскую нетерпеливость? Не я убил, и думать не моги, что я: „Хотел убить, господа, хотел убить, — признается он поскорее (спешит, о, спешит ужасно!), — но всё же неповинен, не я убил!“ Он уступает нам, что хотел убить: видите, дескать, сами,

как я искренен, ну так тем скорее поверьте, что не я убил. О, в этих случаях преступник становится иногда неимоверно легкомыслен и легковерен. И вот тут, совсем как бы нечаянно, следствие вдруг задало ему самый простодушный вопрос: „Да не Смердяков ли убил?“ Так и случилось, чего мы ожидали: он страшно рассердился за то, что предупредили его и поймали врасплох, когда он еще не успел приготовить, выбрать и ухватить тот момент, когда вывести Смердякова будет всего вероятнее. По натуре своей он тотчас же бросился в крайность и сам начал нас изо всех сил уверять, что Смердяков не мог убить, не способен убить. Но не верьте ему, это лишь его хитрость: он вовсе, вовсе еще не отказывается от Смердякова, напротив, он еще его выставит, потому что кого же ему выставить как не его, но он сделает это в другую минуту, потому что теперь это дело пока испорчено. Он выставит его только, может быть, завтра или даже через несколько дней, приискав момент, в который сам же крикнет нам: „Видите, я сам отрицал Смердякова больше, чем вы, вы сами это помните, но теперь и я убедился: это он убил, и как же не он!“ А пока он впадает с нами в мрачное и раздражительное отрицание, нетерпение и гнев подсказывают ему, однако, самое неумелое и неправдоподобное объяснение о том, как он глядел отцу в окно и как он почтительно отошел от окна. Главное, он еще не знает обстоятельств, степени показаний очнувшегося Григория. Мы приступаем к осмотру и обыску. Осмотр гневит его, но и ободряет: всех трех тысяч не разыскали, разысканы только полторы. И уж конечно, лишь в этот момент гневливого молчания и отрицания вскакивает ему в голову в первый раз в жизни идея об ладонке. Без сомнения, он чувствует сам всю невероятность выдумки и мучится, страшно мучится, как бы сделать ее вероятнее, так сочинить, чтоб уж вышел целый правдоподобный роман. В этих случаях самое первое дело, самая главная задача следствия — не дать приготовиться, накрыть неожиданно, чтобы преступник высказал заветные идеи свои во всем выдающем их простодушии, неправдоподобности и противоречии. Заставить же говорить преступника можно лишь внезапным и как бы нечаянным сообщением ему какого-нибудь нового факта, какого-нибудь обстоятельства дела, которое по значению своему колоссально, но которого он до сих пор ни за что не предполагал и никак не мог усмотреть. Этот факт был у нас наготове, о, уже давно наготове: это показание очнувшегося слуги Григория об отворенной двери, из которой выбежал подсудимый. Про эту дверь он совсем забыл, а что Григорий мог ее видеть, и не предполагал. Эффект вышел колоссальный. Он вскочил и вдруг закричал нам: „Это Смердяков убил, Смердяков!” — и вот выдал свою заветную, свою основную мысль, в самой неправдоподобной форме ее, ибо Смердяков мог убить лишь после того, как он поверг Григория и убежал. Когда же мы ему сообщили, что Григорий видел отпертую дверь раньше своего падения, а выходя из своей спальни, слышал стонущего за перегородкой

Смердякова — Карамазов был воистину раздавлен. Сотрудник мой, наш почтенный и остроумный Николай Парфенович, передавал мне потом, что в это мгновение ему стало его жалко до слез. И вот в это-то мгновение, чтоб поправить дело, он и спешит нам сообщить об этой пресловутой ладонке: так и быть, дескать, услышьте эту повесть! Господа присяжные, я уже выразил вам мои мысли, почему считаю всю эту выдумку об зашитых за месяц перед тем деньгах в ладонку не только нелепицей, но и самым неправдоподобным измышлением, которое только можно было приискать в данном случае. Если б даже искать на пари: что можно сказать и представить неправдоподобнее, — то и тогда нельзя бы было выдумать хуже этого. Тут, главное, можно осадить и в прах разбить торжествующего романиста подробностями, теми самыми подробностями, которыми всегда так богата действительность и которые всегда, как совершенно будто бы незначащая и ненужная мелочь, пренебрегаются этими несчастными и невольными сочинителями и даже никогда не приходят им в голову. О, им в ту минуту не до того, их ум создает лишь грандиозное целое — и вот смеют им предлагать этакую мелочь! Но на этом-то их и ловят! Задают подсудимому вопрос: „Ну, а где вы изволили взять материал для вашей ладонки, кто вам сшил ее?“ — „Сам зашил“. — „А полотно где изволили взять?“ Подсудимый уже обижается, он считает это почти обидною для себя мелочью и, верите ли, искренно, искренно! Но таковы все они. „Я от рубашки моей оторвал“. — „Прекрасно-с. Стало быть, в вашем белье мы завтра же отыщем эту рубашку с вырванным из нее клочком“. И сообразите, господа присяжные, ведь если бы только мы нашли в самом деле эту рубашку (а как бы ее не найти в его чемодане или комоде, если бы такая рубашка в самом деле существовала), — то ведь это уж факт, факт осязательный в пользу справедливости его показаний! Но этого он не может сообразить. — „Я не помню, может, не от рубашки, я в хозяйкин чепчик зашил“. — „В какой такой чепчик?“ — „Я у ней взял, у нее валялся, старая коленкоровая дрянь“. — „И вы это твердо помните?“ — „Нет, твердо не помню...“ И сердится, сердится, а между тем представьте: как бы это не помнить? В самые страшные минуты человеческие, ну на казнь везут, вот именно эти-то мелочи и запоминаются. Он обо всем забудет, а какую-нибудь зеленую кровлю, мелькнувшую ему по дороге, или галку на кресте — вот это он запомнит. Ведь он, зашивая ладонку свою, прятался от домашних, он должен был помнить, как унизительно страдал он от страху с иглой в руках, чтобы к нему не вошли и его не накрыли; как при первом стуке вскакивал и бежал за перегородку (в его квартире есть перегородка)... Но, господа присяжные, для чего я вам это всё сообщаю, все эти подробности, мелочи! — воскликнул вдруг Ипполит Кириллович. — А вот именно потому, что подсудимый стоит упорно на всей этой нелепице до самой сей минуты! Во все эти два месяца, с той самой роковой для него ночи, он ничего не разъяснил, ни одного объяснительного

реального обстоятельства к прежним фантастическим показаниям своим не прибавил; всё это, дескать, мелочи, а вы верьте на честь! О, мы рады верить, мы жаждем верить, хотя бы даже на честь! Что же мы, шакалы, жаждущие крови человеческой? Дайте, укажите нам хоть один факт в пользу подсудимого, и мы обрадуемся, — но факт осязательный, реальный, а не заключение по выражению лица подсудимого родным его братом или указание на то, что он, бия себя в грудь, непременно должен был на ладонку указывать, да еще в темноте. Мы обрадуемся новому факту, мы первые откажемся от нашего обвинения, мы поспешим отказаться. Теперь же вопиет справедливость, и мы настаиваем, мы ни от чего отказаться не можем». Ипполит Кириллович перешел тут к финалу. Он был как в лихорадке, он вопиял за пролитую кровь, за кровь отца, убитого сыном «с низкою целью ограбления». Он твердо указывал на трагическую и вопиющую совокупность фактов. «И что бы вы ни услышали от знаменитого своим талантом защитника подсудимого, — не удержался Ипполит Кириллович, — какие бы ни раздались здесь красноречивые и трогательные слова, бьющие в вашу чувствительность, всё же вспомните, что в эту минуту вы в святилище нашего правосудия. Вспомните, что вы защитники правды нашей, защитники священной нашей России, ее основ, ее семьи, ее всего святого! Да, вы здесь представляете Россию в данный момент, и не в одной только этой зале раздастся ваш приговор, а на всю Россию, и вся Россия выслушает вас как защитников и судей своих и будет ободрена или удручена приговором вашим. Не мучьте же Россию и ее ожидания, роковая тройка наша несется стремглав и, может, к погибели. И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, беспардонную скачку. И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса — это заметьте. От ужаса, а может, и от омерзения к ней, да и то еще хорошо, что сторонятся, а пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться, и станут твердою стеной перед стремящимся видением, и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации! Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали. Они раздаваться уже начинают. Не соблазняйте же их, не копите их всё нарастающей ненависти приговором, оправдывающим убийство отца родным сыном!...»

Одним словом, Ипполит Кириллович хоть и очень увлекся, но кончил-таки патетически — и, действительно, впечатление, произведенное им, было чрезвычайное. Сам он, окончив речь свою, поспешно вышел и, повторяю, почти упал в другой комнате в обморок. Зала не аплодировала, но серьезные люди были довольны. Не так довольны были только одни дамы, но всё же и им понравилось красноречие, тем более что за последствия они совсем не боялись и ждали всего от Фетюковича: «наконец-то он заговорит

и, уж конечно, всех победит!» Все поглядывали на Митю; всю речь прокурора он просидел молча, сжав руки, стиснув зубы, потупившись. Изредка только подымал голову и прислушивался. Особенно, когда заговорили о Грушеньке. Когда прокурор передавал о ней мнение Ракитина, в лице его выразилась презрительная и злобная улыбка, и он довольно слышно проговорил: «Бернары!» Когда же Ипполит Кириллович сообщал о том, как он допрашивал и мучил его в Мокром, Митя поднял голову и прислушивался со страшным любопытством. В одном месте речи как будто хотел даже вскочить и что-то крикнуть, но, однако, осилил себя и только презрительно вскинул плечами. Про этот финал речи, именно про подвиги прокурора в Мокром, при допросе преступника, потом у нас в обществе говорили и над Ипполитом Кирилловичем подсмеивались: «Не утерпел, дескать, человек, чтобы не похвастаться своими способностями». Заседание было прервано, но на очень короткий срок, на четверть часа, много на двадцать минут. В публике раздавались разговоры и восклицания. Я иные запомнил:

— Серьезная речь! — нахмуренно заметил господин в одной группе.

— Психологии навертел уж много, — раздался другой голос.

— Да ведь всё правда, неотразимая истина!

— Да, это он мастер.

— Итог подвел.

— И нам, и нам тоже итог подвел, — присоединился третий голос, — в начале-то речи, помните, что все такие же, как Федор Павлович?

— И в конце тоже. Только он это соврал.

— Да и неясности были.

— Увлекся маленько.

— Несправедливо, несправедливо-с.

— Ну нет, все-таки ловко. Долго ждал человек, а вот и сказал, хе-хе!

— Что-то защитник скажет?

В другой группе:

— А петербургского-то он напрасно сейчас задел: «биющих-то на чувствительность» помните?

— Да, это он неловко.

— Поспешил.

— Нервный человек-с.

— Вот мы смеемся, а каково подсудимому?

— Да-с. Митеньке-то каково?

— А вот что́-то защитник скажет?

В третьей группе:

— Это какая такая дама, с лорнетом, толстая, с краю сидит?

— Это генеральша одна, разводка, я ее знаю.

— То-то, с лорнетом.

— Фушера.

— Ну нет, пикантненькая.

— Подле нее через два места сидит блондиночка, та лучше.

— А ловко они его тогда в Мокром накрыли, а?

— Ловко-то ловко. Опять рассказал. Ведь он про это здесь по домам уж сколько рассказывал.

— И теперь не утерпел. Самолюбие.

— Обиженный человек, хе-хе!

— И обидчивый. Да и реторики много, фразы длинные.

— Да и пугает, заметьте, всё пугает. Про тройку-то помните? «Там Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!» Это он ловко.

— Это он либерализму подкуривал. Боится!

— Да и адвоката боится.

— Да, что-то скажет господин Фетюкович?

— Ну, что бы ни сказал, а наших мужичков не прошибет.

— Вы думаете?

В четвертой группе:

— А про тройку-то ведь у него хорошо, это где про народы-то.

— И ведь правда, помнишь, где он говорит, что народы не будут ждать.

— А что?

— Да в английском парламенте уж один член вставал на прошлой неделе, по поводу нигилистов, и спрашивал министерство: не пора ли ввязаться в варварскую нацию, чтобы нас образовать. Ипполит это про него, я знаю, что про него. Он на прошлой неделе об этом говорил.

— Далеко куликам.

— Каким куликам? Почему далеко?

— А мы запрем Кронштадт да и не дадим им хлеба. Где они возьмут?

— А в Америке? Теперь в Америке.

— Врешь.

Но зазвонил колокольчик, всё бросилось на места. Фетюкович взошел на кафедру.

X

РЕЧЬ ЗАЩИТНИКА. ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

Всё затихло, когда раздались первые слова знаменитого оратора. Вся зала впилась в него глазами. Начал он чрезвычайно прямо, просто и убежденно, но без малейшей заносчивости. Ни малейшей попытки на красноречие, на патетические нотки, на звенящие чувством словечки. Это был человек, заговоривший в интимном кругу сочувствующих людей. Голос у него был прекрасный, громкий и симпатичный, и даже в самом голосе этом как будто заслышалось уже нечто искреннее и простодушное. Но всем тотчас же стало понятно, что оратор может вдруг подняться до истинно патетического — и «ударить по сердцам с неве-

домою силой». Говорил он, может быть, неправильнее Ипполита Кирилловича, но без длинных фраз и даже точнее. Одно не понравилось было дамам: он всё как-то изгибался спиной, особенно в начале речи, не то что кланяясь, а как бы стремясь и летя к своим слушателям, причем нагибался именно как бы половиной своей длинной спины, как будто в середине этой длинной и тонкой спины его был устроен такой шалнер, так что она могла сгибаться чуть не под прямым углом. В начале речи говорил как-то раскидчиво, как будто без системы, схватывая факты наразбив, а в конце концов вышло целое. Речь его можно было бы разделить на две половины: первая половина — это критика, это опровержение обвинения, иногда злое и саркастическое. Но во второй половине речи как бы вдруг изменил и тон и даже прием свой и разом возвысился до патетического, а зала как будто ждала того и вся затрепетала от восторга. Он прямо подошел к делу и начал с того, что хотя поприще его и в Петербурге, но он уже не первый раз посещает города России для защиты подсудимых, но таких, в невинности которых он или убежден, или предчувствует ее заранее. «То же самое произошло со мной и в настоящем случае, — объяснил он. — Даже только из одних первоначальных газетных корреспонденций мне уже мелькнуло нечто, чрезвычайно меня поразившее в пользу подсудимого. Одним словом, меня прежде всего заинтересовал некоторый юридический факт, хотя и часто повторяющийся в судебной практике, но никогда, мне кажется, в такой полноте и с такими характерными особенностями, как в настоящем деле. Факт этот надо бы мне формулировать лишь в финале моей речи, когда я закончу мое слово, но, однако, я выскажу мою мысль и в самом начале, ибо имею слабость приступать прямо к предмету, не babприпрятывая эффектов и не экономизируя впечатлений. Это, может быть, с моей стороны нерасчетливо, но зато искренно. Эта мысль моя, формула моя — следующая: подавляющая совокупность фактов против подсудимого и в то же время ни одного факта, выдерживающего критику, если рассматривать его единично, самого по себе! Следя далее по слухам и по газетам, я утверждался в моей мысли всё более и более, и вдруг я получил от родных подсудимого приглашение защищать его. Я тотчас же поспешил сюда и здесь уже окончательно убедился. Вот чтобы разбить эту страшную совокупность фактов и выставить недоказанность и фантастичность каждого обвиняющего факта в отдельности, я и взялся защищать это дело».

Так начал защитник и вдруг возгласил:

«Господа присяжные заседатели, я здесь человек свежий. Все впечатления легли на меня непредвзято. Подсудимый, буйный характером и разнузданный, не обидел меня предварительно, как сотню, может быть, лиц в этом городе, отчего многие и предупреждены против него заранее. Конечно, и я сознаюсь, что нравственное чувство здешнего общества возбуждено справедливо: подсудимый буен и необуздан. В здешнем обществе его, однако же,

принимали, даже в семействе высокоталантливого обвинителя он был обласкан. (Nota bene. При этих словах в публике раздались два-три смешка, хотя и быстро подавленные, но всеми замеченные. Всем у нас было известно, что прокурор допускал к себе Митю против воли, потому единственно, что его почему-то находила любопытным прокурорша — дама в высшей степени добродетельная и почтенная, но фантастическая и своенравная и любившая в некоторых случаях, преимущественно в мелочах, оппонировать своему супругу. Митя, впрочем, посещал их дом довольно редко.) Тем не менее я осмелюсь допустить, — продолжал защитник, — что даже и в таком независимом уме и справедливом характере, как у моего оппонента, могло составиться против моего несчастного клиента некоторое ошибочное предубеждение. О, это так натурально: несчастный слишком заслужил, чтобы к нему относились даже с предубеждением. Оскорбленное же нравственное и, еще пуще того, эстетическое чувство иногда бывает неумолимо. Конечно, в высокоталантливой обвинительной речи мы услышали все строгий анализ характера и поступков подсудимого, строгое критическое отношение к делу, а главное, выставлены были такие психологические глубины для объяснения нам сути дела, что проникновение в эти глубины не могло бы вовсе состояться при сколько-нибудь намеренно и злостно предубежденном отношении к личности подсудимого. Но ведь есть вещи, которые даже хуже, даже гибельнее в подобных случаях, чем самое злостное и преднамеренное отношение к делу. Именно, если нас, например, обуяет некоторая, так сказать, художественная игра, потребность художественного творчества, так сказать, создания романа, особенно при богатстве психологических даров, которыми бог оделил наши способности. Еще в Петербурге, еще только собираясь сюда, я был предварен — да и сам знал безо всякого предварения, что встречу здесь оппонентом глубокого и тончайшего психолога, давно уже заслужившего этим качеством своим некоторую особливую славу в нашем молодом еще юридическом мире. Но ведь психология, господа, хоть и глубокая вещь, а все-таки похожа на палку о двух концах (смешок в публике). О, вы, конечно, простите мне тривиальное сравнение мое; я слишком красноречиво говорить не мастер. Но вот, однако же, пример — беру первый попавшийся из речи обвинителя. Подсудимый, ночью, в саду, убегая перелезает через забор и повергает медным пестом вцепившегося в его ногу лакея. Затем тотчас же соскакивает обратно в сад и целых пять минут хлопочет над поверженным, стараясь угадать: убил он его или нет? И вот обвинитель ни за что не хочет поверить в справедливость показания подсудимого, что соскочил он к старику Григорию из жалости. „Нет, дескать, может ли быть такая чувствительность в такую минуту; это-де неестественно, а соскочил он именно для того, чтоб убедиться: жив или убит единственный свидетель его злодеяния, а стало быть, тем и засвидетельствовал, что он совершил это злодеяние,

так как не мог соскочить в сад по какому-нибудь другому поводу, влечению или чувству". Вот психология; но возьмем ту же самую психологию и приложим ее к делу, но только с другого конца, и выйдет совсем не менее правдоподобно. Убийца соскакивает вниз из предосторожности, чтоб убедиться, жив или нет свидетель, а между тем только что оставил в кабинете убитого им отца своего, по свидетельству самого же обвинителя, колоссальную на себя улику в виде разорванного пакета, на котором было написано, что в нем лежали три тысячи. „Ведь унеси он этот пакет с собою, то никто бы и не узнал в целом мире, что был и существовал пакет, а в нем деньги, и что, стало быть, деньги были ограблены подсудимым". Это изречение самого обвинителя. Ну так на одно, видите ли, не хватило предосторожности, потерялся человек, испугался и убежал, оставив на полу улику, а как вот минуты две спустя ударил и убил другого человека, то тут сейчас же является самое бессердечное и расчетливое чувство предосторожности к нашим услугам. Но пусть, пусть это так и было: в том-то де и тонкость психологии, что при таких обстоятельствах я сейчас же кровожаден и зорок, как кавказский орел, а в следующую минуту слеп и робок, как ничтожный крот. Но если уж я так кровожаден и жестоко расчетлив, что, убив, соскочил лишь для того, чтобы посмотреть, жив ли на меня свидетель или нет, то к чему бы, кажется, возиться над этою новою жертвою моей целых пять минут, да еще нажить, пожалуй, новых свидетелей? К чему мочить платок, обтирая кровь с головы поверженного, с тем чтобы платок этот послужил потом против меня же уликой? Нет, если мы уж так расчетливы и жестокосерды, то не лучше ли бы было, соскочив, просто огорошить поверженного слугу тем же самым пестом еще и еще раз по голове, чтоб уж убить его окончательно и, искоренив свидетеля, снять с сердца всякую заботу? И наконец, я соскакиваю, чтобы проверить, жив или нет на меня свидетель, и тут же на дорожке оставляю другого свидетеля, именно этот самый пестик, который я захватил у двух женщин и которые обе всегда могут признать потом этот пестик за свой и засвидетельствовать, что это я у них его захватил. И не то что забыл его на дорожке, обронил в рассеянности, в потерянности: нет, мы именно отбросили наше оружие, потому что нашли его шагах в пятнадцати от того места, где был повержен Григорий. Спрашивается, для чего же мы так сделали? А вот именно потому и сделали, что нам горько стало, что мы человека убили, старого слугу, а потому в досаде, с проклятием и отбросили пестик, как оружие убийства, иначе быть не могло, для чего же его было бросать с такого размаху? Если же могли почувствовать боль и жалость, что человека убили, то, конечно, уж потому, что отца не убили: убив отца, не соскочили бы к другому поверженному из жалости, тогда уже было бы иное чувство, не до жалости бы было тогда, а до самоспасения, и это, конечно, так. Напротив, повторяю, размозжили бы ему череп окончательно, а не возились бы с ним пять минут. Яви-

лось место жалости и доброму чувству именно потому, что была пред тем чиста совесть. Вот, стало быть, другая уж психология. Я ведь нарочно, господа присяжные, прибегнул теперь сам к психологии, чтобы наглядно показать, что из нее можно вывесть всё что угодно. Всё дело, в каких она руках. Психология подзывает на роман даже самых серьезных людей, и это совершенно невольно. Я говорю про излишнюю психологию, господа присяжные, про некоторое злоупотребление ею».

Здесь опять послышались одобрительные смешки в публике, и всё по адресу прокурора. Не буду приводить всей речи защитника в подробности, возьму только некоторые из нее места, некоторые главнейшие пункты.

XI

ДЕНЕГ НЕ БЫЛО. ГРАБЕЖА НЕ БЫЛО

Был один пункт, даже всех поразивший в речи защитника, а именно полное отрицание существования этих роковых трех тысяч рублей, а стало быть, и возможности их грабежа.

«Господа присяжные заседатели, — приступил защитник, — в настоящем деле всякого свежего и непредубежденного человека поражает одна характернейшая особенность, а именно: обвинение в грабеже и в то же время совершенная невозможность фактически указать на то: что именно было ограблено? Ограблены, дескать, деньги, именно три тысячи — а существовали ли они в самом деле — этого никто не знает. Рассудите: во-первых, как мы узнали, что были три тысячи, и кто их видел? Видел их и указал на то, что они были уложены в пакет с надписью, один только слуга Смердяков. Он же сообщил о сем сведении еще до катастрофы подсудимому и его брату Ивану Федоровичу. Дано было тоже знать госпоже Светловой. Но все эти три лица сами этих денег, однако, не видали, видел опять-таки лишь Смердяков, но тут сам собою вопрос: если и правда, что они были и что видел их Смердяков, то когда он их видел в последний раз? А что, если барин эти деньги из-под постели вынул и опять положил в шкатулку, ему не сказавши? Заметьте, по словам Смердякова, деньги лежали под постелью, под тюфяком; подсудимый должен был их вырвать из-под тюфяка, и однако же, постель была ничуть не помята, и об этом старательно записано в протокол. Как мог подсудимый совсем-таки ничего не помять в постели и вдобавок с окровавленными еще руками не замарать свежейшего, тонкого постельного белья, которое нарочно на этот раз было постлано? Но скажут нам: а пакет-то на полу? Вот об этом-то пакете и стоит поговорить. Давеча я был даже несколько удивлен: высокоталантливый обвинитель, заговорив об этом пакете, вдруг сам — слышите, господа, сам — заявил про него в своей речи, именно в том месте, где он указывает на нелепость предположения, что убил Смердя-

ков: „Не было бы этого пакета, не останься он на полу как улика, унеси его грабитель с собою, то никто бы и не узнал в целом мире, что был пакет, а в нем деньги, и что, стало быть, деньги были ограблены подсудимым“. Итак, единственно только этот разорванный клочок бумаги с надписью, даже по признанию самого обвинителя, и послужил к обвинению подсудимого в грабеже, „иначе-де не узнал бы никто, что был грабеж, а может быть, что были и деньги“. Но неужели одно то, что этот клочок валялся на полу, есть доказательство, что в нем были деньги и что деньги эти ограблены? „Но, отвечают, ведь видел их в пакете Смердяков“, но когда, когда он их видел в последний раз, вот об чем я спрашиваю? Я говорил с Смердяковым, и он мне сказал, что видел их за два дня пред катастрофой! Но почему же я не могу предположить, например, хоть такое обстоятельство, что старик Федор Павлович, запершись дома, в нетерпеливом истерическом ожидании своей возлюбленной вдруг вздумал бы, от нечего делать, вынуть пакет и его распечатать: „Что, дескать, пакет, еще, пожалуй, и не поверит, а как тридцать-то радужных в одной пачке ей покажу, небось сильнее подействует, потекут слюнки“, — и вот он разрывает конверт, вынимает деньги, а конверт бросает на пол властной рукой хозяина и уж, конечно, не боясь никакой улики. Послушайте, господа присяжные, есть ли что возможнее такого предположения и такого факта? Почему это невозможно? Но ведь если хоть что-нибудь подобное могло иметь место, то ведь тогда обвинение в грабеже само собою уничтожается: не было денег, не было, стало быть, и грабежа. Если пакет лежал на полу как улика, что в нем были деньги, то почему я не могу утверждать обратное, а именно, что пакет валялся на полу именно потому, что в нем уже не было денег, взятых из него предварительно самим хозяином? „Да, но куда ж в таком случае делись деньги, если их выбрал из пакета сам Федор Павлович, в его доме при обыске не нашли?“ Во-первых, в шкатулке у него часть денег нашли, а во-вторых, он мог вынуть их еще утром, даже еще накануне, распорядиться ими иначе, выдать их, отослать, изменить, наконец, свою мысль, свой план действий в самом основании и при этом совсем даже не найдя нужным докладываться об этом предварительно Смердякову? А ведь если существует хотя бы даже только возможность такого предположения, то как же можно столь настойчиво и столь твердо обвинять подсудимого, что убийство совершено им для грабежа и что действительно существовал грабеж? Ведь мы, таким образом, вступаем в область романов. Ведь если утверждать, что такая-то вещь ограблена, то надобно указать эту вещь или по крайней мере доказать непреложно, что она существовала. А ее даже никто и не видал. Недавно в Петербурге один молодой человек, почти мальчик, восемнадцати лет, мелкий разносчик с лотка, вошел среди бела дня с топором в меняльную лавку и с необычайною, типическою дерзостью убил хозяина лавки и унес с собою тысячу пятьсот рублей денег. Часов через пять он был

арестован, на нем, кроме пятнадцати рублей, которые он уже успел истратить, нашли все эти полторы тысячи. Кроме того, воротившийся после убийства в лавку приказчик сообщил полиции не только об украденной сумме, но и из каких именно денег она состояла, то есть сколько было кредиток радужных, сколько синих, сколько красных, сколько золотых монет и каких именно, и вот на арестованном убийце именно такие же деньги и монеты и найдены. Вдобавок ко всему последовало полное и чистосердечное признание убийцы в том, что он убил и унес с собою эти самые деньги. Вот это, господа присяжные, я называю уликой! Вот тут уж я знаю, вижу, осязаю деньги и не могу сказать, что их нет или не было. Так ли в настоящем случае? А между тем ведь дело идет о жизни и смерти, о судьбе человека. „Так, скажут, но ведь он в ту же ночь кутил, сорил деньгами, у него обнаружено полторы тысячи рублей — откуда же он взял их?“ Но ведь именно потому, что обнаружено было всего только полторы тысячи, а другой половины суммы ни за что не могли отыскать и обнаружить, именно тем и доказывается, что эти деньги могли быть совсем не те, совсем никогда не бывшие ни в каком пакете. По расчету времени (и уже строжайшему) дознано и доказано предварительным следствием, что подсудимый, выбежав от служанок к чиновнику Перхотину, домой не заходил, да и никуда не заходил, а затем всё время был на людях, а стало быть, не мог отделить от трех тысяч половины и куда-нибудь спрятать в городе. Вот именно это соображение и было причиною предположения обвинителя, что деньги где-то спрятаны в расщелине в селе Мокром. Да уж не в подвалах ли Удольфского замка, господа? Ну не фантастическое ли, не романическое ли это предположение. И заметьте, ведь уничтожься только это одно предположение, то есть что спрятано в Мокром, — и всё обвинение в грабеже взлетает на воздух, ибо где же, куда же девались тогда эти полторы тысячи? Каким чудом они могли исчезнуть, если доказано, что подсудимый никуда не заходил? И такими-то романами мы готовы погубить жизнь человеческую! Скажут: „Все-таки он не умел объяснить, где взял эти полторы тысячи, которые на нем обнаружены, кроме того, все знали, что до этой ночи у него не было денег“. А кто же это знал? Но подсудимый дал ясное и твердое показание о том, откуда взял деньги, и если хотите, господа присяжные заседатели, если хотите, — никогда ничего не могло и не может быть вероятнее этого показания и, кроме того, более совместного с характером и душой подсудимого. Обвинению понравился собственный роман: человек с слабою волей, решившийся взять три тысячи, столь позорно ему предложенные невестой его, не мог, дескать, отделить половину и зашить ее в ладонку, напротив, если б и зашил, то расшивал бы каждые два дня и отколупывал бы по сотне и таким образом извел бы всё в один месяц. Вспомните, всё это было изложено тоном, не терпящим никаких возражений. Ну а что, если дело происходило вовсе не так, а ну как вы создали роман, а в нем

совсем другое лицо? В том-то и дело, что вы создали другое лицо! Возразят, пожалуй: „Есть свидетели, что он прокутил в селе Мокром все эти три тысячи, взятые у госпожи Верховцевой, за месяц перед катастрофой, разом, как одну копейку, стало быть, не мог отделить от них половину". Но кто же эти свидетели? Степень достоверности этих свидетелей на суде уже обнаружилась. Кроме того, в чужой руке ломоть всегда больше кажется. Наконец, никто из этих свидетелей денег этих сам не считал, а лишь судил на свой глаз. Ведь показал же свидетель Максимов, что у подсудимого было в руках двадцать тысяч. Видите, господа присяжные, так как психология о двух концах, то уж позвольте мне и тут другой конец приложить, и посмотрим, то ли выйдет.

За месяц до катастрофы подсудимому были вверены для отсылки по почте три тысячи рублей госпожою Верховцевой, но вопрос: справедливо ли, что были вверены с таким позором и с таким унижением, как провозглашено было давеча? В первом показании о том же предмете у госпожи Верховцевой выходило не так, совершенно не так; во втором же показании мы слышали лишь крики озлобления, отмщения, крики долго таившейся ненависти. Но уж одно то, что свидетельница раз в первом показании своем показала неверно, дает право нам заключить, что и второе показание могло быть неверно. Обвинитель „не хочет, не смеет" (его слова) дотрогиваться до этого романа. Ну и пусть, я тоже не стану дотрогиваться, но, однако, позволю себе лишь заметить, что если чистая и высоконравственная особа, какова бесспорно и есть высокоуважаемая госпожа Верховцева, если такая особа, говорю я, позволяет себе вдруг, разом, на суде, изменить первое свое показание, с прямою целью погубить подсудимого, то ясно и то, что это показание ее было сделано не беспристрастно, не хладнокровно. Неужели же у нас отнимут право заключить, что отомщавшая женщина могла многое преувеличить? Да, именно преувеличить тот стыд и позор, с которым были ею предложены деньги. Напротив, они были предложены именно так, что их еще можно было принять, особенно такому легкомысленному человеку, как наш подсудимый. Главное, он имел тогда в виду скорое получение от отца этих должных ему по расчету трех тысяч. Это легкомысленно, но именно по легкомыслию своему он и был твердо уверен, что тот их выдаст ему, что он их получит и, стало быть, всегда может отправить вверенные ему госпожою Верховцевой деньги по почте и расквитаться с долгом. Но обвинитель ни за что не хочет допустить, что он мог в тот же день, в день обвинения, отделить из полученных денег половину и зашить в ладонку: „не таков, дескать, это характер, не мог иметь таких чувств". Но ведь сами же вы кричали, что широк Карамазов, сами же вы кричали про две крайние бездны, которые может созерцать Карамазов. Карамазов именно такая натура о двух сторонах, о двух безднах, что при самой безудержной потребности кутежа может остановиться, если что-нибудь его поразит с другой стороны.

А ведь другая-то сторона — любовь, именно вот эта новая загоревшаяся тогда как порох любовь, а на эту любовь нужны деньги, и нужнее, о! гораздо нужнее, чем даже на кутеж с этою самою возлюбленною. Скажет она ему: „Твоя, не хочу Федора Павловича“, и он схватит ее и увезет — так было бы на что увезти. Это ведь важнее кутежа. Карамазову ль этого не понять? Да он именно этим и болен был, этою заботой, — что ж невероятного, что он отделил эти деньги и припрятал на всякий случай? Но вот, однако, время уходит, а Федор Павлович трех тысяч подсудимому не выдает, напротив, слышно, что определил их именно на то, чтобы сманить ими его же возлюбленную. „Если не отдаст Федор Павлович, — думает он, — то ведь я перед Катериной Ивановной выйду вором“. И вот у него рождается мысль, что эти же полторы тысячи, которые он продолжает носить на себе в этой ладонке, он придет, положит пред госпожою Верховцевой и скажет ей: „Я подлец, но не вор“. И вот, стало быть, уже двойная причина хранить эти полторы тысячи как зеницу ока, отнюдь не расшивать ладонку и не отколупывать по сту рублей. Отчего откажете вы подсудимому в чувстве чести? Нет, чувство чести в нем есть, положим неправильное, положим весьма часто ошибочное, но оно есть, есть до страсти, и он доказал это. Но вот, однако же, дело усложняется, мучения ревности достигают высшей степени, и всё те же, всё прежние два вопроса обрисовываются всё мучительнее и мучительнее в воспаленном мозгу подсудимого: „Отдам Катерине Ивановне: на какие же средства увезу я Грушеньку?“ Если он безумствовал так, и напивался, и бушевал по трактирам во весь этот месяц, то это именно, может быть, потому, что самому было горько, невмочь переносить. Эти два вопроса до того наконец обострились, что довели его наконец до отчаяния. Он послал было своего младшего брата к отцу просить у него эти три тысячи в последний раз, но, не дождавшись ответа, ворвался сам и кончил тем, что избил старика при свидетелях. После этого получить, значит, уже не у кого, избитый отец не даст. В тот же день вечером он бьет себя по груди, именно по верхней части груди, где эта ладонка, и клянется брату, что у него есть средство не быть подлецом, но что все-таки он останется подлецом, ибо предвидит, что не воспользуется средством, не хватит силы душевной, не хватит характера. Почему, почему обвинение не верит показанию Алексея Карамазова, данному так чисто, так искренно, неподготовленно и правдоподобно? Почему, напротив, заставляет меня верить деньгам в какой-то расщелине, в подвалах Удольфского замка? В тот же вечер, после разговора с братом, подсудимый пишет это роковое письмо, и вот это-то письмо и есть самое главное, самое колоссальное уличение подсудимого в грабеже! „Буду просить у всех людей, а не дадут люди, убью отца и возьму у него под тюфяком, в пакете с розовою ленточкой, только бы уехал Иван“ — полная-де программа убийства, как же не он? „Совершилось по написанному!“ — восклицает обвинение. Но,

во-первых, письмо пьяное и написано в страшном раздражении; во-вторых, опять-таки о пакете он пишет со слов Смердякова, потому что сам пакета не видал, а в-третьих, написано-то оно написано, но совершилось ли по написанному, это чем доказать? Достал ли подсудимый пакет под подушкой, нашел ли деньги, существовали ли они даже? Да и за деньгами ли подсудимый побежал, припомните, припомните! Он побежал сломя голову не грабить, а лишь узнать, где она, эта женщина, его сокрушившая, — не по программе, стало быть, не по написанному он побежал, то есть не для обдуманного грабежа, а побежал внезапно, нечаянно, в ревнивом бешенстве! „Да, скажут, но все-таки, прибежав и убив, захватил и деньги". Да, наконец, убил ли он еще или нет? Обвинение в грабеже я отвергаю с негодованием: нельзя обвинять в грабеже, если нельзя указать с точностью, что именно ограблено, это аксиома! Но убил ли еще он, без грабежа-то убил ли? Это-то доказано ли? Уж не роман ли и это?»

XII

ДА И УБИЙСТВА НЕ БЫЛО

«Позвольте, господа присяжные, тут жизнь человеческая, и надо быть осторожнее. Мы слышали, как обвинение само засвидетельствовало, что до самого последнего дня, до сегодня, до дня суда, колебалось обвинить подсудимого в полной и совершенной преднамеренности убийства, колебалось до самого этого рокового „пьяного" письма, представленного сегодня суду. „Совершилось как по писаному!" Но опять-таки повторяю: он побежал к ней, за ней, единственно только узнать, где она. Ведь это факт непреложный. Случись она дома, он никуда бы не побежал, а остался при ней и не сдержал бы того, что в письме обещал. Он побежал нечаянно и внезапно, а о „пьяном" письме своем он, может быть, вовсе тогда и не помнил. „Захватил, дескать, пестик" — и помните, как из этого одного пестика нам вывели целую психологию: почему-де он должен был принять этот пестик за оружие, схватить его как оружие, и проч., и проч. Тут мне приходит в голову одна самая обыкновенная мысль: ну что, если б этот пестик лежал не на виду, не на полке, с которой схватил его подсудимый, а был прибран в шкаф? — ведь подсудимому не мелькнул бы он тогда в глаза, и он бы убежал без оружия, с пустыми руками, и вот, может быть, никого бы тогда и не убил. Каким же образом я могу заключать о пестике как о доказательстве вооружения и преднамерения? Да, но он кричал по трактирам, что убьет отца, а за два дня, в тот вечер, когда написал свое пьяное письмо, был тих и поссорился в трактире лишь с одним только купеческим приказчиком, „потому-де, что Карамазов не мог не поссориться". А я отвечу на это, что уж если замыслил такое убийство, да еще по плану, по написанному, то уж наверно бы не поссорился и с приказчиком,

да, может быть, и в трактир не зашел бы вовсе, потому что душа, замыслившая такое дело, ищет тишины и стушевки, ищет исчезновения, чтобы не видали, чтобы не слыхали: „Забудьте-де обо мне, если можете“, и это не по расчету только, а по инстинкту. Господа присяжные, психология о двух концах, и мы тоже умеем понимать психологию. Что же до всех этих трактирных криков во весь этот месяц, то мало ли раз кричат дети али пьяные гуляки, выходя из кабаков и ссорясь друг с другом: „Я убью тебя“, но ведь не убивают же. Да и самое это роковое письмо — ну не пьяное ли оно раздражение тоже, не крик ли из кабака выходящего: убью, дескать, всех вас убью! Почему не так, почему не могло быть так? Почему это письмо роковое, почему, напротив, оно не смешное? А вот именно потому, что найден труп убитого отца, потому что свидетель видел подсудимого в саду, вооруженного и убегающего, и сам был повержен им, стало быть, и совершилось всё по написанному, а потому и письмо не смешное, а роковое. Слава богу, мы дошли до точки: „коли был в саду, значит, он и убил“. Этими двумя словечками: коли *был,* так уж непременно и *значит,* всё исчерпывается, всё обвинение — „был, так и значит“. А если не *значит,* хотя бы и был? О, я согласен, что совокупность фактов, совпадение фактов действительно довольно красноречивы. Но рассмотрите, однако, все эти факты отдельно, не внушаясь их совокупностью: почему, например, обвинение ни за что не хочет допустить правдивости показания подсудимого, что он убежал от отцова окошка? Вспомните даже сарказмы, в которые пускается здесь обвинение насчет почтительности и „благочестивых“ чувств, вдруг обуявших убийцу. А что, если и в самом деле тут было нечто подобное, то есть хоть не почтительность чувств, но благочестивость чувств? „Должно быть, мать за меня замолила в эту минуту“, — показывает на следствии подсудимый, и вот он убежал, чуть лишь уверился, что Светловой у отца в доме нет. „Но он не мог увериться чрез окно“, — возражает нам обвинение. А почему же не мог? Ведь окно отворилось же на поданные подсудимым знаки. Тут могло быть произнесено одно какое-нибудь такое слово Федором Павловичем, мог вырваться какой-нибудь такой крик — и подсудимый мог вдруг удостовериться, что Светловой тут нет. Почему непременно предполагать так, как мы воображаем, как предположили воображать? В действительности может мелькнуть тысяча вещей, ускользающих от наблюдения самого тонкого романиста. „Да, но Григорий видел дверь отворенною, а стало быть, подсудимый был в доме наверно, а стало быть, и убил“. Об этой двери, господа присяжные... Видите ли, об отворенной этой двери свидетельствует лишь одно лицо, бывшее, однако, в то время в таком состоянии само, что... Но пусть, пусть была дверь отворена, пусть подсудимый отперся, солгал из чувства самозащиты, столь понятного в его положении, пусть, пусть он проник в дом, был в доме — ну и что же, почему же непременно коли был, то и убил? Он мог ворваться, пробежать по комнатам, мог оттолкнуть отца, мог даже ударить отца,

но, удостоверившись, что Светловой нет у него, убежал, радуясь, что ее нет и что убежал, отца не убив. Именно потому, может быть, и соскочил через минуту с забора к поверженному им в азарте Григорию, что в состоянии был ощущать чувство чистое, чувство сострадания и жалости, потому что убежал от искушения убить отца, потому что ощущал в себе сердце чистое и радость, что не убил отца. Красноречиво до ужаса описывает нам обвинитель страшное состояние подсудимого в селе Мокром, когда любовь вновь открылась ему, зовя его в новую жизнь, и когда ему уже нельзя было любить, потому что сзади был окровавленный труп отца его, а за трупом казнь. И однако же, обвинитель все-таки допустил любовь, которую и объяснил по своей психологии: „Пьяное, дескать, состояние, преступника везут на казнь, еще долго ждать, и проч., и проч.". Но не другое ли вы создали лицо, господин обвинитель, опять-таки спрашиваю? Так ли, так ли груб и бездушен подсудимый, что мог еще думать в тот момент о любви и о вилянии пред судом, если бы действительно на нем была кровь отца? Нет, нет и нет! Только что открылось, что она его любит, зовет с собою, сулит ему новое счастье, — о, клянусь, он должен был тогда почувствовать двойную, тройную потребность убить себя и убил бы себя непременно, если бы сзади его лежал труп отца! О нет, не забыл бы, где лежат его пистолеты! Я знаю подсудимого: дикая, деревянная бессердечность, взведенная на него обвинением, несовместна с его характером. Он бы убил себя, это наверно; он не убил себя именно потому, что „мать замолила о нем", и сердце его было неповинно в крови отца. Он мучился, он горевал в ту ночь в Мокром лишь о поверженном старике Григории и молил про себя бога, чтобы старик встал и очнулся, чтоб удар его был несмертелен и миновала бы казнь за него. Почему не принять такое толкование событий? Какое мы имеем твердое доказательство, что подсудимый нам лжет? А вот труп-то отца, укажут нам тотчас же снова: он выбежал, он не убил, ну так кто же убил старика?

Повторяю, тут вся логика обвинения: кто же убил, как не он? Некого, дескать, поставить вместо него. Господа присяжные заседатели, так ли это? Впрямь ли, действительно ли уж так-таки совсем некого поставить? Мы слышали, как обвинение перечло по пальцам всех бывших и всех перебывавших в ту ночь в этом доме. Нашлось пять человек. Трое из них, я согласен, вполне невменяемы: это сам убитый, старик Григорий и жена его. Остаются, стало быть, подсудимый и Смердяков, и вот обвинитель с пафосом восклицает, что подсудимый потому указывает на Смердякова, что не на кого больше ему указать, что будь тут кто-нибудь шестой, даже призрак какого-либо шестого, то подсудимый сам бы тотчас бросил обвинять Смердякова, устыдившись сего, а показал бы на этого шестого. Но, господа присяжные, почему бы я не мог заключить совершенно обратно? Стоят двое: подсудимый и Смердяков — почему же мне не сказать, что вы обвиняете моего клиента

единственно потому, что вам некого обвинять? А некого лишь потому, что вы совершенно предвзято заранее исключили Смердякова из всякого подозрения. Да, правда, на Смердякова показывают лишь сам подсудимый, два брата его, Светлова, и только. Но ведь есть же и еще кое-кто из показывающих: это некоторое, хотя и неясное брожение в обществе какого-то вопроса, какого-то подозрения, слышен какой-то неясный слух, чувствуется, что существует какое-то ожидание. Наконец, свидетельствует и некоторое сопоставление фактов, весьма характерное, хотя, признаюсь, и неопределенное: во-первых, этот припадок падучей болезни именно в день катастрофы, припадок, который так старательно принужден был почему-то защищать и отстаивать обвинитель. Затем это внезапное самоубийство Смердякова накануне суда. Затем не менее внезапное показание старшего брата подсудимого, сегодня на суде, до сих пор верившего в виновность брата и вдруг приносящего деньги и тоже провозгласившего опять-таки имя Смердякова как убийцы! О, я вполне убежден вместе с судом и с прокуратурой, что Иван Карамазов — больной и в горячке, что показание его действительно могло быть отчаянною попыткой, замышленною притом же в бреду, спасти брата, свалив на умершего. Но, однако же, все-таки произнесено имя Смердякова, опять-таки как будто слышится что-то загадочное. Что-то как будто тут не договорено, господа присяжные, и не покончено. И может быть, еще договорится. Но об этом пока оставим, это еще впереди. Суд решил давеча продолжать заседание, но теперь пока, в ожидании, я бы мог кое-что, однако, заметить, например, по поводу характеристики покойного Смердякова, столь тонко и столь талантливо очерченной обвинителем. Но, удивляясь таланту, не могу, однако же, вполне согласиться с сущностью характеристики. Я был у Смердякова, я видел его и говорил с ним, он произвел на меня впечатление совсем иное. Здоровьем он был слаб, это правда, но характером, но сердцем — о нет, это вовсе не столь слабый был человек, как заключило о нем обвинение. Особенно не нашел я в нем робости, той робости, которую так характерно описывал нам обвинитель. Простодушия же в нем не было вовсе, напротив, я нашел страшную недоверчивость, прячущуюся под наивностью, и ум, способный весьма многое созерцать. О! обвинение слишком простодушно почло его слабоумным. На меня он произвел впечатление совершенно определенное: я ушел с убеждением, что существо это решительно злобное, непомерно честолюбивое, мстительное и знойно завистливое. Я собрал кой-какие сведения: он ненавидел происхождение свое, стыдился его и со скрежетом зубов припоминал, что „от Смердящей произошел". К слуге Григорию и к жене его, бывшим благодетелями его детства, он был непочтителен. Россию проклинал и над нею смеялся. Он мечтал уехать во Францию, с тем чтобы переделаться во француза. Он много и часто толковал еще прежде, что на это недостает ему средств. Мне кажется, он никого не любил, кроме себя, уважал же себя

до странности высоко. Просвещение видел в хорошем платье, в чистых манишках и в вычищенных сапогах. Считая себя сам (и на это есть факты) незаконным сыном Федора Павловича, он мог ненавидеть свое положение сравнительно с законными детьми своего господина: им, дескать, всё, а ему ничего, им все права, им наследство, а он только повар. Он поведал мне, что сам вместе с Федором Павловичем укладывал деньги в пакет. Назначение этой суммы, — суммы, которая могла бы составить его карьеру, — было, конечно, ему ненавистно. К тому же он увидал три тысячи рублей в светленьких радужных кредитках (я об этом нарочно спросил его). О, не показывайте никогда завистливому и самолюбивому человеку больших денег разом, а он в первый раз увидал такую сумму в одной руке. Впечатление радужной пачки могло болезненно отразиться в его воображении, на первый раз пока безо всяких последствий. Высокоталантливый обвинитель с необыкновенною тонкостью очертил нам все pro и contra предположения о возможности обвинить Смердякова в убийстве и особенно спрашивал: для чего тому было притворяться в падучей? Да, но ведь он мог и не притворяться вовсе, припадок мог прийти совсем натурально, но ведь мог же и пройти совсем натурально, и больной мог очнуться. Положим, не вылечиться, но всё же когда-нибудь прийти в себя и очнуться, как и бывает в падучей. Обвинение спрашивает: где момент совершения Смердяковым убийства? Но указать этот момент чрезвычайно легко. Он мог очнуться и встать от глубокого сна (ибо он был только во сне: после припадков падучей болезни всегда нападает глубокий сон) именно в то мгновение, когда старик Григорий, схватив за ногу на заборе убегающего подсудимого, завопил на всю окрестность: „Отцеубивец!“ Крик-то этот необычайный, в тиши и во мраке, и мог разбудить Смердякова, сон которого к тому времени мог быть и не очень крепок: он, естественно, мог уже час тому как начать просыпаться. Встав с постели, он отправляется почти бессознательно и безо всякого намерения на крик, посмотреть, что такое. В его голове болезненный чад, соображение еще дремлет, но вот он в саду, подходит к освещенным окнам и слышит страшную весть от барина, который, конечно, ему обрадовался. Соображение разом загорается в голове его. От испуганного барина он узнает все подробности. И вот постепенно, в расстроенном и больном мозгу его созидается мысль — страшная, но соблазнительная и неотразимо логическая: убить, взять три тысячи денег и свалить всё потом на барчонка: на кого же и подумают теперь, как не на барчонка, кого же могут обвинить, как не барчонка, все улики, он тут был? Страшная жажда денег, добычи, могла захватить ему дух, вместе с соображением о безнаказанности. О, эти внезапные и неотразимые порывы так часто приходят при случае и, главное, приходят внезапно таким убийцам, которые еще за минуту не знали, что захотят убить! И вот Смердяков мог войти к барину и исполнить свой план, чем, каким оружием, — а первым камнем, который он

поднял в саду. Но для чего же, с какою же целью? А три-то тысячи, ведь это карьера. О! я не противоречу себе: деньги могли быть и существовать. И даже, может быть, Смердяков-то один и знал, где их найти, где именно они лежат у барина. „Ну, а обложка денег, а разорванный на полу пакет?“ Давеча, когда обвинитель, говоря об этом пакете, изложил чрезвычайно тонкое соображение свое о том, что оставить его на полу мог именно вор непривычный, именно такой, как Карамазов, а совсем уже не Смердяков, который бы ни за что не оставил на себя такую улику, — давеча, господа присяжные, я, слушая, вдруг почувствовал, что слышу что-то чрезвычайно знакомое. И представьте себе, именно это самое соображение, эту догадку о том, как бы мог поступить Карамазов с пакетом, я уже слышал ровно за два дня до того от самого Смердякова, мало того, он даже тем поразил меня: мне именно показалось, что он фальшиво наивничает, забегает вперед, навязывает эту мысль мне, чтоб я сам вывел это самое соображение и мне его как будто подсказывает. Не подсказал ли он это соображение и следствию? Не навязал ли его и высокоталантливому обвинителю? Скажут: а старуха, жена Григория? Ведь она же слышала, как больной подле нее стонал во всю ночь. Так, слышала, но ведь соображение это чрезвычайно шаткое. Я знал одну даму, которая горько жаловалась, что ее всю ночь будила на дворе шавка и не давала ей спать. И однако, бедная собачонка, как известно стало, тявкнула всего только раза два-три во всю ночь. И это естественно; человек спит и вдруг слышит стон, он просыпается в досаде, что его разбудили, но засыпает мгновенно снова. Часа через два опять стон, опять просыпается и опять засыпает, наконец, еще раз стон, и опять через два часа, всего в ночь раза три. Наутро спящий встает и жалуется, что кто-то всю ночь стонал и его беспрерывно будил. Но непременно так и должно ему показаться; промежутки сна, по два часа каждый, он проспал и не помнит, а запомнил лишь минуты своего пробуждения, вот ему и кажется, что его будили всю ночь. Но почему, почему, восклицает обвинение, Смердяков не признался в посмертной записке? „На одно-де хватило совести, а на другое нет“. Но позвольте: совесть — это уже раскаяние, но раскаяния могло и не быть у самоубийцы, а было лишь отчаяние. Отчаяние и раскаяние — две вещи совершенно различные. Отчаяние может быть злобное и непримиримое, и самоубийца, накладывая на себя руки, в этот момент мог вдвойне ненавидеть тех, кому всю жизнь завидовал. Господа присяжные заседатели, поберегитесь судебной ошибки! Чем, чем неправдоподобно всё то, что я вам сейчас представил и изобразил? Найдите ошибку в моем изложении, найдите невозможность, абсурд? Но если есть хотя тень возможности, хотя тень правдоподобия в моих предположениях — удержитесь от приговора. А тут разве тень только? Клянусь всем священным, я вполне верю в мое, в представленное вам сейчас, толкование об убийстве. А главное, главное, меня смущает и выводит из себя всё та же мысль, что изо всей массы фактов,

нагроможденных обвинением на подсудимого, нет ни единого, хоть сколько-нибудь точного и неотразимого, а что гибнет несчастный единственно по совокупности этих фактов. Да, эта совокупность ужасна; эта кровь, эта с пальцев текущая кровь, белье в крови, эта темная ночь, оглашаемая воплем „отцеубивец!", и кричащий, падающий с проломленною головой, а затем эта масса изречений, показаний, жестов, криков — о, это так влияет, так может подкупить убеждение, но ваше ли, господа присяжные заседатели, ваше ли убеждение подкупить может? Вспомните, вам дана необъятная власть, власть вязать и решить. Но чем сильнее власть, тем страшнее ее приложение! Я ни на йоту не отступаю от сказанного мною сейчас, но уж пусть, так и быть, пусть на минуту и я соглашусь с обвинением, что несчастный клиент мой обагрил свои руки в крови отца. Это только предположение, повторяю, я ни на миг не сомневаюсь в его невинности, но уж так и быть, предположу, что мой подсудимый виновен в отцеубийстве, но выслушайте, однако, мое слово, если бы даже я и допустил такое предположение. У меня лежит на сердце высказать вам еще нечто, ибо я предчувствую и в ваших сердцах и умах большую борьбу... Простите мне это слово, господа присяжные заседатели, о ваших сердцах и умах. Но я хочу быть правдивым и искренним до конца. Будем же все искренни!..»

В этом месте защитника прервал довольно сильный аплодисмент. В самом деле, последние слова свои он произнес с такою искренне прозвучавшею нотой, что все почувствовали, что, может быть, действительно ему есть что сказать и что то, что он скажет сейчас, есть и самое важное. Но председатель, заслышав аплодисмент, громко пригрозил «очистить» залу суда, если еще раз повторится «подобный случай». Всё затихло, и Фетюкович начал каким-то новым, проникновенным голосом, совсем не тем, которым говорил до сих пор.

XIII

ПРЕЛЮБОДЕЙ МЫСЛИ

«Не совокупность только фактов губит моего клиента, господа присяжные заседатели,— возгласил он,— нет, моего клиента губит, по-настоящему, один лишь факт: это — труп старика отца! Будь простое убийство, и вы при ничтожности, при бездоказательности, при фантастичности фактов, если рассматривать каждый из них в отдельности, а не в совокупности,— отвергли бы обвинение, по крайней мере усумнились бы губить судьбу человека по одному лишь предубеждению против него, которое, увы, он так заслужил! Но тут не простое убийство, а отцеубийство! Это импонирует, и до такой степени, что даже самая ничтожность и бездоказательность обвиняющих фактов становится уже не столь ничтожною и не столь бездоказательною, и это в самом непредубежденном

даже уме. Ну как оправдать такого подсудимого? А ну как он убил и уйдет ненаказанным — вот что чувствует каждый в сердце своем почти невольно, инстинктивно. Да, страшная вещь пролить кровь отца, — кровь родившего, кровь любившего, кровь жизни своей для меня не жалевшего, с детских лет моих моими болезнями болевшего, всю жизнь за мое счастье страдавшего и лишь моими радостями, моими успехами жившего! О, убить такого отца — да это невозможно и помыслить! Господа присяжные, что такое отец, настоящий отец, что это за слово такое великое, какая страшно великая идея в наименовании этом? Мы сейчас только указали отчасти, что такое и чем должен быть истинный отец. В настоящем же деле, которым мы так все теперь заняты, которым болят наши души,— в настоящем деле отец, покойный Федор Павлович Карамазов, нисколько не подходил под то понятие об отце, которое сейчас сказалось нашему сердцу. Это беда. Да, действительно, иной отец похож на беду. Рассмотрим же эту беду поближе — ведь ничего не надо бояться, господа присяжные, ввиду важности предстоящего решения. Мы даже особенно не должны бояться теперь и, так сказать, отмахиваться от иной идеи, как дети или пугливые женщины, по счастливому выражению высокоталантливого обвинителя. Но в своей горячей речи уважаемый мой противник (и противник еще прежде, чем я произнес мое первое слово), мой противник несколько раз воскликнул: „Нет, я никому не дам защищать подсудимого, я не уступлю его защиту защитнику, приехавшему из Петербурга,— я обвинитель, я и защитник!“ Вот что он несколько раз воскликнул и, однако же, забыл упомянуть, что если страшный подсудимый целые двадцать три года столь благодарен был всего только за один фунт орехов, полученных от единственного человека, приласкавшего его ребенком в родительском доме, то, обратно, не мог же ведь такой человек и не помнить, все эти двадцать три года, как он бегал босой у отца „на заднем дворе, без сапожек, и в панталончиках на одной пуговке“, по выражению человеколюбивого доктора Герценштубе. О господа присяжные, зачем нам рассматривать ближе эту „беду“, повторять то, что все уже знают! Что встретил мой клиент, приехав сюда к отцу? И зачем, зачем изображать моего клиента бесчувственным, эгоистом, чудовищем? Он безудержен, он дик и буен, вот мы теперь его судим за это, а кто виноват в судьбе его, кто виноват, что при хороших наклонностях, при благородном чувствительном сердце он получил такое нелепое воспитание? Учил ли его кто-нибудь уму-разуму, просвещен ли он в науках, любил ли кто его хоть сколько-нибудь в его детстве? Мой клиент рос покровительством божиим, то есть как дикий зверь. Он, может быть, жаждал увидеть отца после долголетней разлуки, он, может быть, тысячу раз перед тем, вспоминая как сквозь сон свое детство, отгонял отвратительные призраки, приснившиеся ему в его детстве, и всею душой жаждал оправдать и обнять отца своего! И что ж? Его встречают одними циническими насмешками, подозрительностью и крюч-

котворством из-за спорных денег; он слышит лишь разговоры и житейские правила, от которых воротит сердце, ежедневно „за коньячком“, и, наконец, зрит отца, отбивающего у него, у сына, на его же сыновние деньги, любовницу,— о господа присяжные, это отвратительно и жестоко! И этот же старик всем жалуется на непочтительность и жестокость сына, марает его в обществе, вредит ему, клевещет на него, скупает его долговые расписки, чтобы посадить его в тюрьму! Господа присяжные, эти души, эти на вид жестокосердые, буйные и безудержные люди, как мой клиент, бывают, и это чаще всего, чрезвычайно нежны сердцем, только этого не выказывают. Не смейтесь, не смейтесь над моею идеей! Талантливый обвинитель смеялся давеча над моим клиентом безжалостно, выставляя, что он любит Шиллера, любит „прекрасное и высокое“. Я бы не стал над этим смеяться на его месте, на месте обвинителя! Да, эти сердца — о, дайте мне защитить эти сердца, столь редко и столь несправедливо понимаемые,— эти сердца весьма часто жаждут нежного, прекрасного и справедливого, и именно как бы в контраст себе, своему буйству, своей жестокости,— жаждут бессознательно, и именно жаждут. Страстные и жестокие снаружи, они до мучения способны полюбить, например, женщину, и непременно духовною и высшею любовью. Опять-таки не смейтесь надо мной: это именно так всего чаще бывает в этих натурах! Они только не могут скрыть свою страстность, подчас очень грубую,— вот это и поражает, вот это и замечают, а внутри человека не видят. Напротив, все их страсти утоляются быстро, но около благородного, прекрасного существа, этот по-видимому грубый и жестокий человек ищет обновления, ищет возможности исправиться, стать лучшим, сделаться высоким и честным — „высоким и прекрасным“, как ни осмеяно это слово! Давеча я сказал, что не позволю себе дотронуться до романа моего клиента с госпожою Верховцевой. Но, однако, полслова-то можно сказать: мы слышали давеча не показание, а лишь крик исступленной и отмщающей женщины, и не ей, о, не ей укорять бы в измене, потому что она сама изменила! Если б имела хоть сколько-нибудь времени, чтоб одуматься, не дала бы она такого свидетельства! О, не верьте ей, нет, не „изверг“ клиент мой, как она его называла! Распятый человеколюбец, собираясь на крест свой, говорил: „Аз есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает душу свою за овцы, да ни одна не погибнет...“ Не погубим и мы души человеческой! Я спрашивал сейчас: что такое отец, и воскликнул, что это великое слово, драгоценное наименование. Но со словом, господа присяжные, надо обращаться честно, и я позволю назвать предмет собственным его словом, собственным наименованием: такой отец, как убитый старик Карамазов, не может и недостоин называться отцом. Любовь к отцу, не оправданная отцом, есть нелепость, есть невозможность. Нельзя создать любовь из ничего, из ничего только бог творит. „Отцы, не огорчайте детей своих“, — пишет из пламенеющего любовью сердца своего апостол. Не ради

моего клиента привожу теперь эти святые слова, я для всех отцов вспоминаю их. Кто мне дал эту власть, чтоб учить отцов? Никто. Но как человек и гражданин взываю — vivos voco! [1] Мы на земле недолго, мы делаем много дел дурных и говорим слов дурных. А потому будем же все ловить удобную минуту совместного общения нашего, чтобы сказать друг другу и хорошее слово. Так и я: пока я на этом месте, я пользуюсь моею минутой. Недаром эта трибуна дарована нам высшею волей — с нее слышит нас вся Россия. Не для здешних только отцов говорю, а ко всем отцам восклицаю: „Отцы, не огорчайте детей своих!“ Да исполним прежде сами завет Христов и тогда только разрешим себе спрашивать и с детей наших. Иначе мы не отцы, а враги детям нашим, а они не дети наши, а враги нам, и мы сами себе сделали их врагами! „В ню же меру мерите, возмерится и вам“ — это не я уже говорю, это Евангелие предписывает: мерить в ту меру, в которую и вам меряют. Как же винить детей, если они нам меряют в нашу меру? Недавно в Финляндии одна девица, служанка, была заподозрена, что она тайно родила ребенка. Стали следить за нею и на чердаке дома, в углу за кирпичами, нашли ее сундук, про который никто не знал, его отперли и вынули из него трупик новорожденного и убитого ею младенца. В том же сундуке нашли два скелета уже рожденных прежде ею младенцев и ею же убитых в минуту рождения, в чем она и повинилась. Господа присяжные, это ли мать детей своих? Да, она их родила, но мать ли она им? Осмелится ли кто из нас произнести над ней священное имя матери? Будем смелы, господа присяжные, будем дерзки даже, мы даже обязаны быть таковыми в настоящую минуту и не бояться иных слов и идей, подобно московским купчихам, боящимся „металла“ и „жупела“. Нет, докажем, напротив, что прогресс последних лет коснулся и нашего развития и скажем прямо: родивший не есть еще отец, а отец есть — родивший и заслуживший. О, конечно, есть и другое значение, другое толкование слова „отец“, требующее, чтоб отец мой, хотя бы и изверг, хотя бы и злодей своим детям, оставался бы все-таки моим отцом, потому только, что он родил меня. Но это значение уже, так сказать, мистическое, которое я не понимаю умом, а могу принять лишь верой, или, вернее сказать, *на веру*, подобно многому другому, чего не понимаю, но чему религия повелевает мне, однако же, верить. Но в таком случае это пусть и останется вне области действительной жизни. В области же действительной жизни, которая имеет не только свои права, но и сама налагает великие обязанности,— в этой области мы, если хотим быть гуманными, христианами наконец, мы должны и обязаны проводить убеждения, лишь оправданные рассудком и опытом, проведенные чрез горнило анализа, словом, действовать разумно, а не безумно, как во сне и в бреду, чтобы не нанести вреда человеку, чтобы не измучить и не погубить человека. Вот, вот тогда это и будет настоя-

[1] призываю живых! *(лат.)*

щим христианским делом, не мистическим только, а разумным и уже истинно человеколюбивым делом...»

В этом месте сорвались было сильные рукоплескания из многих концов залы, но Фетюкович даже замахал руками, как бы умоляя не прерывать и чтобы дали ему договорить. Всё тотчас затихло. Оратор продолжал:

«Думаете ли вы, господа присяжные, что такие вопросы могут миновать детей наших, положим, уже юношей, положим, уже начинающих рассуждать? Нет, не могут, и не будем спрашивать от них невозможного воздержания! Вид отца недостойного, особенно сравнительно с отцами другими, достойными, у других детей, его сверстников, невольно подсказывает юноше вопросы мучительные. Ему по-казенному отвечают на эти вопросы: „Он родил тебя, и ты кровь его, а потому ты и должен любить его". Юноша невольно задумывается: „Да разве он любил меня, когда рождал,— спрашивает он, удивляясь всё более и более, — разве для меня он родил меня: он не знал ни меня, ни даже пола моего в ту минуту, в минуту страсти, может быть разгоряченной вином, и только разве передал мне склонность к пьянству — вот все его благодеяния... Зачем же я должен любить его, за то только, что он родил меня, а потом всю жизнь не любил меня?" О, вам, может быть, представляются эти вопросы грубыми, жестокими, но не требуйте же от юного ума воздержания невозможного: „Гони природу в дверь, она влетит в окно",— а главное, главное, не будем бояться „металла" и „жупела" и решим вопрос так, как предписывает разум и человеколюбие, а не так, как предписывают мистические понятия. Как же решить его? А вот как: пусть сын станет пред отцом своим и осмысленно спросит его самого: „Отец, скажи мне: для чего я должен любить тебя? Отец, докажи мне, что я должен любить тебя?" — и если этот отец в силах и в состоянии будет ответить и доказать ему,— то вот и настоящая нормальная семья, не на предрассудке лишь мистическом утверждающаяся, а на основаниях разумных, самоотчетных и строго гуманных. В противном случае, если не докажет отец, — конец тотчас же этой семье: он не отец ему, а сын получает свободу и право впредь считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим. Наша трибуна, господа присяжные, должна быть школой истины и здравых понятий!»

Здесь оратор был прерван рукоплесканиями неудержимыми, почти исступленными. Конечно, аплодировала не вся зала, но половина-то залы все-таки аплодировала. Аплодировали отцы и матери. Сверху, где сидели дамы, слышались визги и крики. Махали платками. Председатель изо всей силы начал звонить в колокольчик. Он был видимо раздражен поведением залы, но «очистить» залу, как угрожал недавно, решительно не посмел: аплодировали и махали платками оратору даже сзади сидевшие на особых стульях сановные лица, старички со звездами на фраках, так что, когда угомонился шум, председатель удовольствовался лишь прежним строжайшим обещанием «очистить» залу,

а торжествующий и взволнованный Фетюкович стал опять продолжать свою речь.

«Господа присяжные заседатели, вы помните ту страшную ночь, о которой так много еще сегодня говорили, когда сын, через забор, проник в дом отца и стал наконец лицом к лицу с своим, родившим его, врагом и обидчиком. Изо всех сил настаиваю — не за деньгами он прибежал в ту минуту: обвинение в грабеже есть нелепость, как я уже и изложил прежде. И не убить, о нет, вломился он к нему; если б имел преднамеренно этот умысел, то озаботился бы по крайней мере заранее хоть оружием, а медный пест он схватил инстинктивно, сам не зная зачем. Пусть он обманул отца знаками, пусть он проник к нему — я сказал уже, что ни на одну минуту не верю этой легенде, но пусть, так и быть, предположим ее на одну минуту! Господа присяжные, клянусь вам всем, что есть свято, будь это не отец ему, а посторонний обидчик, он, пробежав по комнатам и удостоверясь, что этой женщины нет в этом доме, он убежал бы стремглав, не сделав сопернику своему никакого вреда, ударил бы, толкнул его, может быть, но и только, ибо ему было не до того, ему было некогда, ему надо было знать, где она. Но отец, отец — о, всё сделал лишь вид отца, его ненавистника с детства, его врага, его обидчика, а теперь — чудовищного соперника! Ненавистное чувство охватило его невольно, неудержимо, рассуждать нельзя было: всё поднялось в одну минуту! Это был аффект безумства и помешательства, но и аффект природы, мстящей за свои вечные законы безудержно и бессознательно, как и всё в природе. Но убийца и тут не убил — я утверждаю это, я кричу про это — нет, он лишь махнул пестом в омерзительном негодовании, не желая убить, не зная, что убьет. Не будь этого рокового песта в руках его, и он бы только избил отца, может быть, но не убил бы его. Убежав, он не знал, убит ли поверженный им старик. Такое убийство не есть убийство. Такое убийство не есть и отцеубийство. Нет, убийство такого отца не может быть названо отцеубийством. Такое убийство может быть причтено к отцеубийству лишь по предрассудку! Но было ли, было ли это убийство в самом деле, взываю я к вам снова и снова из глубины души моей! Господа присяжные, вот мы осудим его, и он скажет себе: „Эти люди ничего не сделали для судьбы моей, для воспитания, для образования моего, чтобы сделать меня лучшим, чтобы сделать меня человеком. Эти люди не накормили и не напоили меня, и в темнице нагого не посетили, и вот они же сослали меня в каторгу. Я сквитался, я ничего им теперь не должен и никому не должен во веки веков. Они злы, и я буду зол. Они жестоки, и я буду жесток‟. Вот что он скажет, господа присяжные! И клянусь: обвинением вашим вы только облегчите его, совесть его облегчите, он будет проклинать пролитую им кровь, а не сожалеть о ней. Вместе с тем вы погубите в нем возможного еще человека, ибо он останется зол и слеп на всю жизнь. Но хотите ли вы наказать его страшно, грозно, самым ужасным наказанием, какое только можно вообразить, но с тем чтобы спасти

и возродить его душу навеки? Если так, то подавите его вашим милосердием! Вы увидите, вы услышите, как вздрогнет и ужаснется душа его: „Мне ли снести эту милость, мне ли столько любви, я ли достоин ее“,— вот что он воскликнет! О, я знаю, я знаю это сердце, это дикое, но благородное сердце, господа присяжные. Оно преклонится пред вашим подвигом, оно жаждет великого акта любви, оно загорится и воскреснет навеки. Есть души, которые в ограниченности своей обвиняют весь свет. Но подавите эту душу милосердием, окажите ей любовь, и она проклянет свое дело, ибо в ней столько добрых зачатков. Душа расширится и узрит, как бог милосерд и как люди прекрасны и справедливы. Его ужаснет, его подавит раскаяние и бесчисленный долг, предстоящий ему отселе. И не скажет он тогда: „Я сквитался“, а скажет: „Я виноват пред всеми людьми и всех людей недостойнее“. В слезах раскаяния и жгучего страдальческого умиления он воскликнет: „Люди лучше, чем я, ибо захотели не погубить, а спасти меня!“ О, вам так легко это сделать, этот акт милосердия, ибо при отсутствии всяких чуть-чуть похожих на правду улик вам слишком тяжело будет произнести: „Да, виновен“. Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одного невинного — слышите ли, слышите ли вы этот величавый голос из прошлого столетия нашей славной истории? Мне ли, ничтожному, напоминать вам, что русский суд есть не кара только, но и спасение человека погибшего! Пусть у других народов буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение погибших. И если так, если действительно такова Россия и суд ее, то — вперед Россия, и не пугайте, о, не пугайте нас вашими бешеными тройками, от которых омерзительно сторонятся все народы! Не бешеная тройка, а величавая русская колесница торжественно и спокойно прибудет к цели. В ваших руках судьба моего клиента, в ваших руках и судьба нашей правды русской. Вы спасете ее, вы отстоите ее, вы докажете, что есть кому ее соблюсти, что она в хороших руках!»

XIV

МУЖИЧКИ ЗА СЕБЯ ПОСТОЯЛИ

Так кончил Фетюкович, и разразившийся на этот раз восторг слушателей был неудержим, как буря. Было уже и немыслимо сдержать его: женщины плакали, плакали и многие из мужчин, даже два сановника пролили слезы. Председатель покорился и даже помедлил звонить в колокольчик: «Посягать на такой энтузиазм значило бы посягать на святыню» — как кричали потом у нас дамы. Сам оратор был искренно растроган. И вот в такую-то минуту и поднялся еще раз «обменяться возражениями» наш Ипполит Кириллович. Его завидели с ненавистью: «Как? Что это? Это он-то смеет еще возражать?» — залепетали дамы. Но если бы даже залепетали дамы целого мира, и в их главе сама прокурорша,

супруга Ипполита Кирилловича, то и тогда бы его нельзя было удержать в это мгновение. Он был бледен, он сотрясался от волнения; первые слова, первые фразы, выговоренные им, были даже и непонятны; он задыхался, плохо выговаривал, сбивался. Впрочем, скоро поправился. Но из этой второй речи его я приведу лишь несколько фраз.

«...Нас упрекают, что мы насоздавали романов. А что же у защитника, как не роман на романе? Не доставало только стихов. Федор Павлович в ожидании любовницы разрывает конверт и бросает его на пол. Приводится даже, что он говорил при этом удивительном случае. Да разве это не поэма? И где доказательство, что он вынул деньги, кто слышал, что он говорил? Слабоумный идиот Смердяков, преображенный в какого-то байроновского героя, мстящего обществу за свою незаконнорожденность,— разве это не поэма в байроновском вкусе? А сын, вломившийся к отцу, убивший его, но в то же время и не убивший, это уж даже и не роман, не поэма, это сфинкс, задающий загадки, которые и сам, уж конечно, не разрешит. Коль убил, так убил, а как же это, коли убил, так не убил — кто поймет это? Затем возвещают нам, что наша трибуна есть трибуна истины и здравых понятий, и вот с этой трибуны „здравых понятий" раздается, с клятвою, аксиома, что называть убийство отца отцеубийством есть только один предрассудок! Но если отцеубийство есть предрассудок и если каждый ребенок будет допрашивать своего отца: „Отец, зачем я должен любить тебя?" — то что станется с нами, что станется с основами общества, куда денется семья? Отцеубийство — это, видите ли, только „жупел" московской купчихи. Самые драгоценные, самые священные заветы в назначении и в будущности русского суда представляются извращенно и легкомысленно, чтобы только добиться цели, добиться оправдания того, что нельзя оправдать. „О, подавите его милосердием", — восклицает защитник, а преступнику только того и надо, и завтра же все увидят, как он будет подавлен! Да и не слишком ли скромен защитник, требуя лишь оправдания подсудимого? Отчего бы не потребовать учреждения стипендии имени отцеубийцы, для увековечения его подвига в потомстве и в молодом поколении? Исправляются Евангелие и религия: это, дескать, всё мистика, а вот у нас лишь настоящее христианство, уже проверенное анализом рассудка и здравых понятий. И вот воздвигают пред нами лжеподобие Христа! *В ню же меру мерите, возмерится и вам,* восклицает защитник и в тот же миг выводит, что Христос заповедал мерить в ту меру, в которую и вам отмеряют,— и это с трибуны истины и здравых понятий! Мы заглядываем в Евангелие лишь накануне речей наших для того, чтобы блеснуть знакомством все-таки с довольно оригинальным сочинением, которое может пригодиться и послужить для некоторого эффекта, по мере надобности, всё по размеру надобности! А Христос именно велит не так делать, беречься так делать, потому что злобный мир так делает, мы же должны прощать и ланиту свою подставлять,

а не в ту же меру отмеривать, в которую мерят нам наши обидчики. Вот чему учил нас бог наш, а не тому, что запрещать детям убивать отцов есть предрассудок. И не станем мы поправлять с кафедры истины и здравых понятий Евангелие бога нашего, которого защитник удостоивает назвать лишь „распятым человеколюбцем“, в противоположность всей православной России, взывающей к нему: „Ты бо еси бог наш!..“».

Тут председатель вступился и осадил увлекшегося, попросив его не преувеличивать, оставаться в должных границах, и проч., и проч., как обыкновенно говорят в таких случаях председатели. Да и зала была неспокойна. Публика шевелилась, даже восклицала в негодовании. Фетюкович даже и не возражал, он взошел только, чтобы, приложив руку к сердцу, обиженным голосом проговорить несколько слов, полных достоинства. Он слегка только и насмешливо опять коснулся «романов» и «психологии» и к слову ввернул в одном месте: «Юпитер, ты сердишься, стало быть, ты не прав», чем вызвал одобрительный и многочисленный смешок в публике, ибо Ипполит Кириллович уже совсем был не похож на Юпитера. Затем на обвинение, что будто он разрешает молодому поколению убивать отцов, Фетюкович с глубоким достоинством заметил, что и возражать не станет. Насчет же «Христова лжеподобия» и того, что он не удостоил назвать Христа богом, а назвал лишь «распятым человеколюбцем», что «противно-де православию и не могло быть высказано с трибуны истины и здравых понятий»,— Фетюкович намекнул на «инсинуацию» и на то, что, собираясь сюда, он по крайней мере рассчитывал, что здешняя трибуна обеспечена от обвинений, «опасных для моей личности как гражданина и верноподданного...» Но при этих словах председатель осадил и его, и Фетюкович, поклонясь, закончил свой ответ, провожаемый всеобщим одобрительным говором залы. Ипполит же Кириллович, по мнению наших дам, был «раздавлен навеки».

Затем предоставлено было слово самому подсудимому. Митя встал, но сказал немного. Он был страшно утомлен и телесно, и духовно. Вид независимости и силы, с которым он появился утром в залу, почти исчез. Он как будто что-то пережил в этот день на всю жизнь, научившее и вразумившее его чему-то очень важному, чего он прежде не понимал. Голос его ослабел, он уже не кричал, как давеча. В словах его послышалось что-то новое, смирившееся, побежденное и поникшее.

«Что мне сказать, господа присяжные! Суд мой пришел, слышу десницу божию на себе. Конец беспутному человеку! Но как богу исповедуясь, и вам говорю: „В крови отца моего — нет, не виновен!“ В последний раз повторяю: „Не я убил“. Беспутен был, но добро любил. Каждый миг стремился исправиться, а жил дикому зверю подобен. Спасибо прокурору, многое мне обо мне сказал, чего и не знал я, но неправда, что убил отца, ошибся прокурор! Спасибо и защитнику, плакал, его слушая, но неправда, что я убил отца, и предполагать не надо было! А докторам не верьте, я в пол-

ном уме, только душе моей тяжело. Коли пощадите, коль отпустите — помолюсь за вас. Лучшим стану, слово даю, перед богом его даю. А коль осудите — сам сломаю над головой моей шпагу, а сломав, поцелую обломки! Но пощадите, не лишите меня бога моего, знаю себя: возропщу! Тяжело душе моей, господа... пощадите!»

Он почти упал на свое место, голос его пресекся, последнюю фразу он едва выговорил. Затем суд приступил к постановке вопросов и начал спрашивать у сторон заключений. Но не описываю подробности. Наконец-то присяжные встали, чтоб удалиться для совещаний. Председатель был очень утомлен, а потому и сказал им очень слабое напутственное слово: «Будьте-де беспристрастны, не внушайтесь красноречивыми словами защиты, но, однако же, взвесьте, вспомните, что на вас лежит великая обязанность», и проч., и проч. Присяжные удалились, и наступил перерыв заседания. Можно было встать, пройтись, обменяться накопившимися впечатлениями, закусить в буфете. Было очень поздно, уже около часу пополуночи, но никто не разъезжался. Все были так напряжены и настроены, что было не до покоя. Все ждали, замирая сердцем, хотя, впрочем, и не все замирали сердцем. Дамы были лишь в истерическом нетерпении, но сердцами были спокойны: «Оправдание-де неминуемое». Все они готовились к эффектной минуте общего энтузиазма. Признаюсь, и в мужской половине залы было чрезвычайно много убежденных в неминуемом оправдании. Иные радовались, другие же хмурились, а иные так просто повесили носы: не хотелось им оправдания! Сам Фетюкович был твердо уверен в успехе. Он был окружен, принимал поздравления, перед ним заискивали.

— Есть,— сказал он в одной группе, как передавали потом,— есть эти невидимые нити, связующие защитника с присяжными. Они завязываются и предчувствуются еще во время речи. Я ощутил их, они существуют. Дело наше, будьте спокойны.

— А вот что-то наши мужички теперь скажут? — проговорил один нахмуренный, толстый и рябой господин, подгородный помещик, подходя к одной группе разговаривавших господ.

— Да ведь не одни мужички. Там четыре чиновника.

— Да, вот чиновники, — проговорил, подходя, член земской управы.

— А вы Назарьева-то, Прохора Ивановича, знаете, вот этот купец-то с медалью, присяжный-то?

— А что?

— Ума палата.

— Да он всё молчит.

— Молчит-то молчит, да ведь тем и лучше. Не то что петербургскому его учить, сам весь Петербург научит. Двенадцать человек детей, подумайте!

— Да помилуйте, неужто не оправдают? — кричал в другой группе один из молодых наших чиновников.

— Оправдают наверно,— послышался решительный голос.

— Стыдно, позорно было бы не оправдать! — восклицал чиновник.— Пусть он убил, но ведь отец и отец! И наконец, он был в таком исступлении... Он действительно мог только махнуть пестом, и тот повалился. Плохо только, что лакея тут притянули. Это просто смешной эпизод. Я бы на месте защитника так прямо и сказал: убил, но не виновен, вот и черт с вами!

— Да он так и сделал, только «черт с вами» не сказал.

— Нет, Михаил Семеныч, почти что сказал,— подхватил третий голосок.

— Помилуйте, господа, ведь оправдали же у нас великим постом актрису, которая законной жене своего любовника горло перерезала.

— Да ведь не дорезала.

— Всё равно, всё равно, начала резать!

— А про детей-то как он? Великолепно!

— Великолепно.

— Ну, а про мистику-то, про мистику-то, а?

— Да полноте вы о мистике,— вскричал еще кто-то,— вы вникнете в Ипполита-то, в судьбу-то его отселева дня! Ведь ему завтрашний день его прокурорша за Митеньку глаза выцарапает.

— А она здесь?

— Чего здесь? Была бы здесь, здесь бы и выцарапала. Дома сидит, зубы болят. Хе-хе-хе!

— Хе-хе-хе!

В третьей группе.

— А ведь Митеньку-то, пожалуй, и оправдают.

— Чего доброго, завтра весь «Столичный город» разнесет, десять дней пьянствовать будет.

— Эх ведь черт!

— Да черт-то черт, без черта не обошлось, где ж ему и быть, как не тут.

— Господа, положим, красноречие. Но ведь нельзя же и отцам ломать головы безменами. Иначе до чего же дойдем?

— Колесница-то, колесница-то, помните?

— Да, из телеги колесницу сделал.

— А завтра из колесницы телегу, «по мере надобности, всё по мере надобности».

— Ловкий народ пошел. Правда-то есть у нас на Руси, господа, али нет ее вовсе?

Но зазвонил колокольчик. Присяжные совещались ровно час, ни больше, ни меньше. Глубокое молчание воцарилось, только что уселась снова публика. Помню, как присяжные вступили в залу. Наконец-то! Не привожу вопросов по пунктам, да я их и забыл. Я помню лишь ответ на первый и главный вопрос председателя, то есть «убил ли с целью грабежа преднамеренно?» (текста не помню). Всё замерло. Старшина присяжных, именно тот чиновник, который был всех моложе, громко и ясно, при мертвенной тишине залы, провозгласил:

— Да, виновен!

И потом по всем пунктам пошло всё то же: виновен да виновен, и это без малейшего снисхождения! Этого уж никто не ожидал, в снисхождении-то по крайней мере почти все были уверены. Мертвая тишина залы не прерывалась, буквально как бы все окаменели — и жаждавшие осуждения, и жаждавшие оправдания. Но это только в первые минуты. Затем поднялся страшный хаос. Из мужской публики много оказалось очень довольных. Иные так даже потирали руки, не скрывая своей радости. Недовольные были как бы подавлены, пожимали плечами, шептались, но как будто всё еще не сообразившись. Но, боже мой, что сталось с нашими дамами! Я думал, что они сделают бунт. Сначала они как бы не верили ушам своим. И вдруг, на всю залу, послышались восклицания: «Да что это такое? Это еще что такое?» Они повскакали с мест своих. Им, верно, казалось, что всё это сейчас же можно опять переменить и переделать. В это мгновение вдруг поднялся Митя и каким-то раздирающим воплем прокричал, простирая пред собой руки:

— Клянусь богом и Страшным судом его, в крови отца моего не виновен! Катя, прощаю тебе! Братья, други, пощадите другую!

Он не договорил и зарыдал на всю залу, в голос, страшно, каким-то не своим, а новым, неожиданным каким-то голосом, который бог знает откуда вдруг у него явился. На хорах, наверху, в самом заднем углу раздался пронзительный женский вопль: это была Грушенька. Она умолила кого-то еще давеча, и ее вновь пропустили в залу еще пред началом судебных прений. Митю увели. Произнесение приговора было отложено до завтра. Вся зала поднялась в суматохе, но я уже не ждал и не слушал. Запомнил лишь несколько восклицаний, уже на крыльце, при выходе.

— Двадцать лет рудничков понюхает.

— Не меньше.

— Да-с, мужички наши за себя постояли.

— И покончили нашего Митеньку!

Конец четвертой и последней части

ЭПИЛОГ

I

ПРОЕКТЫ СПАСТИ МИТЮ

На пятый день после суда над Митей, очень рано утром, еще в девятом часу, пришел к Катерине Ивановне Алеша, чтоб сговориться окончательно о некотором важном для них обоих деле и имея, сверх того, к ней поручение. Она сидела и говорила с ним в той самой комнате, в которой принимала когда-то Грушеньку; рядом же, в другой комнате, лежал в горячке и в беспамятстве Иван Федорович. Катерина Ивановна сейчас же после тогдашней сцены в суде велела перенести больного и потерявшего сознание Ивана Федоровича к себе в дом, пренебрегая всяким будущим и неизбежным говором общества и его осуждением. Одна из двух родственниц ее, которые с ней проживали, уехала тотчас же после сцены в суде в Москву, другая осталась. Но если б и обе уехали, Катерина Ивановна не изменила бы своего решения и осталась бы ухаживать за больным и сидеть над ним день и ночь. Лечили его Варвинский и Герценштубе; московский же доктор уехал обратно в Москву, отказавшись предречь свое мнение насчет возможного исхода болезни. Оставшиеся доктора хоть и ободряли Катерину Ивановну и Алешу, но видно было, что они не могли еще подать твердой надежды. Алеша заходил к больному брату по два раза в день. Но в этот раз у него было особое, прехлопотливое дело, и он предчувствовал, как трудно ему будет заговорить о нем, а между тем он очень торопился: было у него еще другое неотложное дело в это же утро в другом месте, и надо было спешить. Они уже с четверть часа как разговаривали. Катерина Ивановна была бледна, сильно утомлена и в то же время в чрезвычайном болезненном возбуждении: она предчувствовала, зачем, между прочим, пришел к ней теперь Алеша.

— О его решении не беспокойтесь,— проговорила она с твердою настойчивостью Алеше.— Так или этак, а он все-таки придет

к этому выходу: он должен бежать! Этот несчастный, этот герой чести и совести — не тот, не Дмитрий Федорович, а тот, что за этой дверью лежит и что собой за брата пожертвовал,— с сверкающими глазами прибавила Катя,— он давно уже мне сообщил весь этот план побега. Знаете, он уже входил в сношения... Я вам уже кой-что сообщила... Видите, это произойдет, по всей вероятности, на третьем отсюда этапе, когда партию ссыльных поведут в Сибирь. О, до этого еще далеко. Иван Федорович уже ездил к начальнику третьего этапа. Вот только неизвестно, кто будет партионным начальником, да и нельзя это так заранее узнать. Завтра, может быть, я вам покажу весь план в подробности, который мне оставил Иван Федорович накануне суда, на случай чего-нибудь... Это было в тот самый раз, когда, помните, вы тогда вечером застали нас в ссоре: он еще сходил с лестницы, а я, увидя вас, заставила его воротиться — помните? Вы знаете, из-за чего мы тогда поссорились?

— Нет, не знаю, — сказал Алеша.

— Конечно, он тогда от вас скрыл: вот именно из-за этого плана о побеге. Он мне еще за три дня перед тем открыл всё главное — вот тогда-то мы и начали ссориться и с тех пор все три дня ссорились. Потому поссорились, что когда он объявил мне, что в случае осуждения Дмитрий Федорович убежит за границу вместе с той тварью, то я вдруг озлилась — не скажу вам из-за чего, сама не знаю из-за чего... О, конечно, я за тварь, за эту тварь тогда озлилась, и именно за то, что и она тоже, вместе с Дмитрием, бежит за границу! — воскликнула вдруг Катерина Ивановна с задрожавшими от гнева губами.— Иван Федорович как только увидел тогда, что я так озлилась за эту тварь, то мигом и подумал, что я к ней ревную Дмитрия и что, стало быть, всё еще продолжаю любить Дмитрия. Вот и вышла тогда первая ссора. Я объяснений дать не захотела, просить прощения не могла; тяжело мне было, что такой человек мог заподозрить меня в прежней любви к этому... И это тогда, когда я сама, уже давно перед тем, прямо сказала ему, что не люблю Дмитрия, а люблю только его одного! Я от злости только на эту тварь на него озлилась! Через три дня, вот в тот вечер, когда вы вошли, он принес ко мне запечатанный конверт, чтоб я распечатала тотчас, если с ним что случится. О, он предвидел свою болезнь! Он открыл мне, что в конверте подробности о побеге и что в случае, если он умрет или опасно заболеет, то чтоб я одна спасла Митю. Тут же оставил у меня деньги, почти десять тысяч, — вот те самые, про которые прокурор, узнав от кого-то, что он посылал их менять, упомянул в своей речи. Меня страшно вдруг поразило, что Иван Федорович, всё еще ревнуя меня и всё еще убежденный, что я люблю Митю, не покинул, однако, мысли спасти брата и мне же, мне самой доверяет это дело спасения! О, это была жертва! Нет, вы такого самопожертвования не поймете во всей полноте, Алексей Федорович! Я хотела было упасть к ногам его в благоговении, но как подумала

вдруг, что он сочтет это только лишь за радость мою, что спасают Митю (а он бы непременно это подумал!), то до того была раздражена лишь одною только возможностью такой несправедливой мысли с его стороны, что опять раздражилась и вместо того, чтоб целовать его ноги, сделала опять ему сцену! О, я несчастна! Таков мой характер — ужасный, несчастный характер! О, вы еще увидите: я сделаю, я доведу-таки до того, что и он бросит меня для другой, с которой легче живется, как Дмитрий, но тогда... нет, тогда уже я не перенесу, я убью себя! А когда вы вошли тогда и когда я вас кликнула, а ему велела воротиться, то, как вошел он с вами, меня до того захватил гнев за ненавистный, презрительный взгляд, которым он вдруг поглядел на меня, что — помните — я вдруг закричала вам, что это *он, он один* уверил меня, что брат его Дмитрий убийца! Я нарочно наклеветала, чтоб еще раз уязвить его, он же никогда, никогда не уверял меня, что брат — убийца, напротив, в этом я, я сама уверяла его! О, всему, всему причиною мое бешенство! Это я, я и приготовила эту проклятую сцену в суде! Он захотел доказать мне, что он благороден и что пусть я и люблю его брата, но он все-таки не погубит его из мести и ревности. Вот он и вышел в суде... Я всему причиною, я одна виновата!

Еще никогда не делала Катя таких признаний Алеше, и он почувствовал, что она теперь именно в той степени невыносимого страдания, когда самое гордое сердце с болью крушит свою гордость и падает побежденное горем. О, Алеша знал и еще одну ужасную причину ее теперешней муки, как ни скрывала она ее от него во все эти дни после осуждения Мити; но ему почему-то было бы слишком больно, если б она до того решилась пасть ниц, что заговорила бы с ним сама, теперь, сейчас, и об этой причине. Она страдала за свое «предательство» на суде, и Алеша предчувствовал, что совесть тянет ее повиниться, именно перед ним, перед Алешей, со слезами, со взвизгами, с истерикой, с битьем об пол. Но он боялся этой минуты и желал пощадить страдающую. Тем труднее становилось поручение, с которым он пришел. Он опять заговорил о Мите.

— Ничего, ничего, за него не бойтесь! — упрямо и резко начала опять Катя,— всё это у него на минуту, я его знаю, я слишком знаю это сердце. Будьте уверены, что он согласится бежать. И, главное, это не сейчас; будет еще время ему решиться. Иван Федорович к тому времени выздоровеет и сам всё поведет, так что мне ничего не придется делать. Не беспокойтесь, согласится бежать. Да он уж и согласен: разве может он свою тварь оставить? А в каторгу ее не пустят, так как же ему не бежать? Он, главное, вас боится, боится, что вы не одобрите побега с нравственной стороны, но вы должны ему это великодушно *позволить,* если уж так необходима тут ваша санкция,— с ядом прибавила Катя. Она помолчала и усмехнулась.

— Он там толкует,— принялась она опять,— про какие-то гимны, про крест, который он должен понести, про долг какой-то,

я помню, мне много об этом Иван Федорович тогда передавал, и если б вы знали, как он говорил! — вдруг с неудержимым чувством воскликнула Катя,— если б вы знали, как он любил этого несчастного в ту минуту, когда мне передавал про него, и как ненавидел его, может быть, в ту же минуту! А я, о, я выслушала тогда его рассказ и его слезы с горделивою усмешкою! О, тварь! Это я тварь, я! Это я народила ему горячку! А тот, осужденный,— разве он готов на страдание, — раздражительно закончила Катя, — да и такому ли страдать? Такие, как он, никогда не страдают!

Какое-то чувство уже ненависти и гадливого презрения прозвучало в этих словах. А между тем она же его предала. «Что ж, может, потому, что так чувствует себя пред ним виноватой, и ненавидит его минутами»,— подумал про себя Алеша. Ему хотелось, чтоб это было только «минутами». В последних словах Кати он заслышал вызов, но не поднял его.

— Я для того вас и призвала сегодня, чтоб вы обещались мне сами его уговорить. Или, по-вашему, тоже бежать будет нечестно, не доблестно, или как там... не по-христиански, что ли? — еще с пущим вызовом прибавила Катя.

— Нет, ничего. Я ему скажу всё...— пробормотал Алеша.— Он вас зовет сегодня к себе,— вдруг брякнул он, твердо смотря ей в глаза. Она вся вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась от него на диване.

— Меня... разве это возможно? — пролепетала она побледнев.

— Это возможно и должно! — настойчиво и весь оживившись, начал Алеша.— Ему вы очень нужны, именно теперь. Я не стал бы начинать об этом и вас преждевременно мучить, если б не необходимость. Он болен, он как помешанный, он всё просит вас. Он не мириться вас к себе просит, но пусть вы только придете и покажетесь на пороге. С ним многое совершилось с того дня. Он понимает, как неисчислимо перед вами виновен. Не прощения вашего хочет: «Меня нельзя простить»,— он сам говорит, а только чтоб вы на пороге показались...

— Вы меня вдруг... — пролепетала Катя,— я все дни предчувствовала, что вы с этим придете... Я так и знала, что он меня позовет!.. Это невозможно!

— Пусть невозможно, но сделайте. Вспомните, он в первый раз поражен тем, как вас оскорбил, в первый раз в жизни, никогда прежде не постигал этого в такой полноте! Он говорит: если она откажет прийти, то я «во всю жизнь теперь буду несчастлив». Слышите: каторжный на двадцать лет собирается еще быть счастливым — разве это не жалко? Подумайте: вы безвинно погибшего посетите,— с вызовом вырвалось у Алеши,— его руки чисты, на них крови нет! Ради бесчисленного его страдания будущего посетите его теперь! Придите, проводите во тьму... станьте на пороге, и только... Ведь вы должны, *должны* это сделать! — заключил Алеша, с неимоверною силой подчеркнув слово «должны».

— Должна, но... не могу,— как бы простонала Катя,— он на меня будет глядеть... я не могу.

— Ваши глаза должны встретиться. Как вы будете жить всю жизнь, если теперь не решитесь?

— Лучше страдать во всю жизнь.

— Вы должны прийти, вы *должны* прийти,— опять неумолимо подчеркнул Алеша.

— Но почему сегодня, почему сейчас?.. Я не могу оставить больного...

— На минуту можете, это ведь минута. Если вы не придете, он к ночи заболеет горячкой. Не стану я говорить неправду, сжальтесь!

— Надо мной-то сжальтесь,— горько упрекнула Катя и заплакала.

— Стало быть, придете! — твердо проговорил Алеша, увидав ее слезы. — Я пойду скажу ему, что вы сейчас придете.

— Нет, ни за что не говорите! — испуганно вскрикнула Катя.— Я приду, но вы ему вперед не говорите, потому что я приду, но, может быть, не войду... Я еще не знаю...

Голос ее пресекся. Она дышала трудно. Алеша встал уходить.

— А если я с кем-нибудь встречусь? — вдруг тихо проговорила она, вся опять побледнев.

— Для того и нужно сейчас, чтоб вы там ни с кем не встретились. Никого не будет, верно говорю. Мы будем ждать,— настойчиво заключил он и вышел из комнаты.

II

НА МИНУТКУ ЛОЖЬ СТАЛА ПРАВДОЙ

Он поспешил в больницу, где теперь лежал Митя. На второй день после решения суда он заболел нервною лихорадкой и был отправлен в городскую нашу больницу, в арестантское отделение. Но врач Варвинский по просьбе Алеши и многих других (Хохлаковой, Лизы и проч.) поместил Митю не с арестантами, а отдельно, в той самой каморке, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце коридора стоял часовой, а окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную, но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому, как Митя, прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников и что к этому надо сперва привыкнуть. Посещения же родных и знакомых были разрешены и доктором, и смотрителем, и даже исправником, всё под рукой. Но в эти дни посетили Митю всего только Алеша да Грушенька. Порывался уже два раза увидеться с ним Ракитин; но Митя настойчиво просил Варвинского не впускать того.

Алеша застал его сидящим на койке, в больничном халате, немного в жару, с головою, обернутой полотенцем, смоченным

водою с уксусом. Он неопределенным взглядом посмотрел на вошедшего Алешу, но во взгляде все-таки промелькнул как бы какой-то испуг.

Вообще с самого суда он стал страшно задумчив. Иногда по получасу молчал, казалось что-то туго и мучительно обдумывая, забывая присутствующего. Если же выходил из задумчивости и начинал говорить, то заговаривал всегда как-то внезапно и непременно не о том, что действительно ему надо было сказать. Иногда с страданием смотрел на брата. С Грушенькой ему было как будто легче, чем с Алешей. Правда, он с нею почти и не говорил, но чуть только она входила, всё лицо его озарялось радостью. Алеша сел молча подле него на койке. В этот раз он тревожно ждал Алешу, но не посмел ничего спросить. Он считал согласие Кати прийти немыслимым и в то же время чувствовал, что если она не придет, то будет что-то совсем невозможное. Алеша понимал его чувства.

— Трифон-то, — заговорил суетливо Митя, — Борисыч-то, говорят, весь свой постоялый двор разорил: половицы подымает, доски отдирает, всю «галдарею», говорят, в щепки разнес — всё клада ищет, вот тех самых денег, полторы тысячи, про которые прокурор сказал, что я их там спрятал. Как приехал, так, говорят, тотчас и пошел куролесить. Поделом мошеннику! Сторож мне здешний вчера рассказал; он оттудова.

— Слушай,— проговорил Алеша,— она придет, но не знаю когда, может сегодня, может на днях, этого не знаю, но придет, придет, это наверно.

Митя вздрогнул, хотел было что-то вымолвить, но промолчал. Известие страшно на него подействовало. Видно было, что ему мучительно хотелось бы узнать подробности разговора, но что он опять боится сейчас спросить: что-нибудь жестокое и презрительное от Кати было бы ему как удар ножом в эту минуту.

— Вот что она, между прочим, сказала: чтоб я непременно успокоил твою совесть насчет побега. Если и не выздоровеет к тому времени Иван, то она сама возьмется за это.

— Ты уж об этом мне говорил, — раздумчиво заметил Митя.

— А ты уже Груше пересказал, — заметил Алеша.

— Да,— сознался Митя.— Она сегодня утром не придет,— робко посмотрел он на брата.— Она придет только вечером. Как только я ей вчера сказал, что Катя орудует, смолчала; а губы скривились. Прошептала только: «Пусть ее!» Поняла, что важное. Я не посмел пытать дальше. Понимает ведь уж, кажется, теперь, что та любит не меня, а Ивана?

— Так ли? — вырвалось у Алеши.

— Пожалуй, и не так. Только она утром теперь не придет,— поспешил еще раз обозначить Митя,— я ей одно поручение дал... Слушай, брат Иван всех превзойдет. Ему жить, а не нам. Он выздоровеет.

— Представь себе, Катя хоть и трепещет за него, но почти не сомневается, что он выздоровеет,— сказал Алеша.

— Значит, убеждена, что он умрет. Это она от страху уверена, что выздоровеет.

— Брат сложения сильного. И я тоже очень надеюсь, что он выздоровеет,— тревожно заметил Алеша.

— Да, он выздоровеет. Но та уверена, что он умрет. Много у ней горя...

Наступило молчание. Митю мучило что-то очень важное.

— Алеша, я Грушу люблю ужасно, — дрожащим, полным слез голосом вдруг проговорил он.

— Ее к тебе *туда* не пустят,— тотчас подхватил Алеша.

— И вот что еще хотел тебе сказать,— продолжал каким-то зазвеневшим вдруг голосом Митя,— если бить станут дорогой аль *там*, то я не дамся, я убью, и меня расстреляют. И это двадцать ведь лет! Здесь уж *ты* начинают говорить. Сторожа мне *ты* говорят. Я лежал и сегодня всю ночь судил себя: не готов! Не в силах принять! Хотел «гимн» запеть, а сторожевского тыканья не могу осилить! За Грушу бы всё перенес, всё... кроме, впрочем, побой... Но ее *туда* не пустят.

Алеша тихо улыбнулся.

— Слушай, брат, раз навсегда,— сказал он,— вот тебе мои мысли на этот счет. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же: ты не готов, и не для тебя такой крест. Мало того: и не нужен тебе, не готовому, такой великомученический крест. Если б ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест. Но ты невинен, и такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека; по-моему, помни только всегда, во всю жизнь и куда бы ты ни убежал, об этом другом человеке — и вот с тебя и довольно. То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты ощутишь в себе еще больший долг и этим беспрерывным ощущением впредь, во всю жизнь, поможешь своему возрождению, может быть, более, чем если б пошел *туда*. Потому что там ты не перенесешь и возропщешь и, может быть, впрямь наконец скажешь: «Я сквитался». Адвокат в этом случае правду сказал. Не всем бремена тяжкие, для иных они невозможны... Вот мои мысли, если они так тебе нужны. Если б за побег твой остались в ответе другие: офицеры, солдаты, то я бы тебе «не позволил» бежать,— улыбнулся Алеша.— Но говорят и уверяют (сам этот этапный Ивану говорил), что большого взыску, при умении, может и не быть и что отделаться можно пустяками. Конечно, подкупать нечестно даже и в этом случае, но тут уже я судить ни за что не возьмусь, потому, собственно, что если б мне, например, Иван и Катя поручили в этом деле для тебя орудовать, то я, знаю это, пошел бы и подкупил; это я должен тебе всю правду сказать. А потому я тебе не судья в том, как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда. Да и

странно, как бы мог я быть в этом деле твоим судьей? Ну, теперь я, кажется, всё рассмотрел.

— Но зато я себя осужу! — воскликнул Митя.— Я убегу, это и без тебя решено было: Митька Карамазов разве может не убежать? Но зато себя осужу и там буду замаливать грех вовеки! Ведь этак иезуиты говорят, этак? Вот как мы теперь с тобой, а?

— Этак,— тихо улыбнулся Алеша.

— Люблю я тебя за то, что ты всегда всю цельную правду скажешь и ничего не утаишь! — радостно смеясь, воскликнул Митя.— Значит, я Алешку моего иезуитом поймал! Расцеловать тебя всего надо за это, вот что! Ну, слушай же теперь и остальное, разверну тебе и остальную половину души моей. Вот что я выдумал и решил: если я и убегу, даже с деньгами и паспортом и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, не хуже, может быть, этой! Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже! Я эту Америку, черт ее дери, уже теперь ненавижу. Пусть Груша будет со мной, но посмотри на нее: ну американка ль она? Она русская, вся до косточки русская, она по матери родной земле затоскует, и я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует, для меня такой крест взяла, а чем она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов, хоть они, может быть, все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку уж теперь! И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие али что — черт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию люблю, Алексей, русского бога люблю, хоть я сам и подлец! Да я там издохну! — воскликнул он вдруг, засверкав глазами. Голос его задрожал от слез.

— Ну так вот как я решил, Алексей, слушай! — начал он опять, подавив волнение,— с Грушей туда приедем — и там тотчас пахать, работать, с дикими медведями, в уединении, где-нибудь подальше. Ведь и там же найдется какое-нибудь место подальше! Там, говорят, есть еще краснокожие, где-то там у них на краю горизонта, ну так вот в тот край, к последним могиканам. Ну и тотчас за грамматику, я и Груша. Работа и грамматика, и так чтобы года три. В эти три года аглицкому языку научимся как самые что ни на есть англичане. И только что выучимся — конец Америке! Бежим сюда, в Россию, американскими гражданами. Не беспокойся, сюда в городишко не явимся. Спрячемся куда-нибудь подальше, на север али на юг. Я к тому времени изменюсь, она тоже, там, в Америке, мне доктор какую-нибудь бородавку подделает, недаром же они механики. А нет, так я себе один глаз проколю, бороду отпущу в аршин, седую (по России-то поседею) — авось не узнают. А узнают, пусть ссылают, всё равно, значит, не судьба! Здесь тоже будем где-нибудь в глуши землю пахать, а я всю жизнь американца из себя представлять буду. Зато помрем на родной земле. Вот мой план, и сие непреложно. Одобряешь?

— Одобряю,— сказал Алеша, не желая ему противоречить.

Митя на минуту смолк и вдруг проговорил:

— А как они в суде-то подвели? Ведь как подвели!

— Если б и не подвели, всё равно тебя б осудили,— проговорил, вздохнув, Алеша.

— Да, надоел здешней публике! Бог с ними, а тяжело! — со страданием простонал Митя.

Опять на минуту смолкли.

— Алеша, зарежь меня сейчас! — воскликнул он вдруг,— придет она сейчас или нет, говори! Что сказала? Как сказала?

— Сказала, что придет, но не знаю, сегодня ли. Трудно ведь ей! — робко посмотрел на брата Алеша.

— Ну еще бы же нет, еще бы не трудно! Алеша, я на этом с ума сойду. Груша на меня всё смотрит. Понимает. Боже, господи, смири меня: чего требую? Катю требую! Смыслю ли, чего требую? Безудерж карамазовский, нечестивый! Нет, к страданию я не способен! Подлец, и всё сказано!

— Вот она! — воскликнул Алеша.

В этот миг на пороге вдруг появилась Катя. На мгновение она приостановилась, каким-то потерянным взглядом озирая Митю. Тот стремительно вскочил на ноги, лицо его выразило испуг, он побледнел, но тотчас же робкая, просящая улыбка замелькала на его губах, и он вдруг, неудержимо, протянул к Кате обе руки. Завидев это, та стремительно к нему бросилась. Она схватила его за руки и почти силой усадила на постель, сама села подле и, всё не выпуская рук его, крепко, судорожно сжимала их. Несколько раз оба порывались что-то сказать, но останавливались и опять молча, пристально, как бы приковавшись, с странною улыбкой смотрели друг на друга; так прошло минуты две.

— Простила или нет? — пролепетал наконец Митя и в тот же миг, повернувшись к Алеше, с искаженным от радости лицом прокричал ему:

— Слышишь, что спрашиваю, слышишь!

— За то и любила тебя, что ты сердцем великодушен! — вырвалось вдруг у Кати.— Да и не надо тебе мое прощение, а мне твое; всё равно, простишь аль нет, на всю жизнь в моей душе язвой останешься, а я в твоей — так и надо...— она остановилась перевести дух.

— Я для чего пришла? — исступленно и торопливо начала она опять,— ноги твои обнять, руки сжать, вот так до боли, помнишь, как в Москве тебе сжимала, опять сказать тебе, что ты бог мой, радость моя, сказать тебе, что безумно люблю тебя,— как бы простонала она в муке и вдруг жадно приникла устами к руке его. Слезы хлынули из ее глаз.

Алеша стоял безмолвный и смущенный; он никак не ожидал того, что увидел.

— Любовь прошла, Митя! — начала опять Катя,— но дорого до боли мне то, что прошло. Это узнай навек. Но теперь, на одну минутку, пусть будет то, что могло бы быть,— с искривленною улыбкой пролепетала она, опять радостно смотря ему в глаза.— И ты теперь любишь другую, и я другого люблю, а все-таки тебя вечно буду любить, а ты меня, знал ли ты это? Слышишь, люби меня, всю твою жизнь люби! — воскликнула она с каким-то почти угрожающим дрожанием в голосе.

— Буду любить и... знаешь, Катя,— переводя дух на каждом слове, заговорил и Митя,— знаешь, я тебя, пять дней тому, в тот вечер любил... Когда ты упала, и тебя понесли... Всю жизнь! Так и будет, так вечно будет...

Так оба они лепетали друг другу речи почти бессмысленные и исступленные, может быть даже и неправдивые, но в эту-то минуту всё было правдой, и сами они верили себе беззаветно.

— Катя,— воскликнул вдруг Митя,— веришь, что я убил? Знаю, что теперь не веришь, но тогда... когда показывала... Неужто, неужто верила!

— И тогда не верила! Никогда не верила! Ненавидела тебя и вдруг себя уверила, вот на тот миг... Когда показывала... уверила и верила... а когда кончила показывать, тотчас опять перестала верить. Знай это всё. Я забыла, что я себя казнить пришла! — с каким-то вдруг совсем новым выражением проговорила она, совсем непохожим на недавний, сейчашний любовный лепет.

— Тяжело тебе, женщина! — как-то совсем безудержно вырвалось вдруг у Мити.

— Пусти меня,— прошептала она,— я еще приду, теперь тяжело!..

Она поднялась было с места, но вдруг громко вскрикнула и отшатнулась назад. В комнату внезапно, хотя и совсем тихо, вошла Грушенька. Никто ее не ожидал. Катя стремительно шагнула к дверям, но, поравнявшись с Грушенькой, вдруг остановилась, вся побелела как мел, и тихо, почти шепотом, простонала ей:

— Простите меня!

Та посмотрела на нее в упор и, переждав мгновение, ядовитым, отравленным злобой голосом ответила:

— Злы мы, мать, с тобой! Обе злы! Где уж нам простить, тебе да мне? Вот спаси его, и всю жизнь молиться на тебя буду.

— А простить не хочешь! — прокричал Митя Грушеньке, с безумным упреком.

— Будь покойна, спасу его тебе! — быстро прошептала Катя и выбежала из комнаты.

— И ты могла не простить ей, после того как она сама же сказала тебе: «Прости»? — горько воскликнул опять Митя.

— Митя, не смей ее упрекать, права не имеешь! — горячо крикнул на брата Алеша.

— Уста ее говорили гордые, а не сердце,— с каким-то омерзением произнесла Грушенька.— Избавит тебя — всё прощу...

Она замолкла, как бы что задавив в душе. Она еще не могла опомниться. Вошла она, как оказалось потом, совсем нечаянно, вовсе ничего не подозревая и не ожидая встретить, что встретила.

— Алеша, беги за ней! — стремительно обратился к брату Митя,— скажи ей... не знаю что... не дай ей так уйти!

— Приду к тебе перед вечером! — крикнул Алеша и побежал за Катей. Он нагнал ее уже вне больничной ограды. Она шла скоро, спешила, но как только нагнал ее Алеша, быстро проговорила ему:

— Нет, перед этой не могу казнить себя! Я сказала ей «прости меня», потому что хотела казнить себя до конца. Она не простила... Люблю ее за это! — искаженным голосом прибавила Катя, и глаза ее сверкнули дикою злобой.

— Брат совсем не ожидал,— пробормотал было Алеша,— он был уверен, что она не придет...

— Без сомнения. Оставим это,— отрезала она.— Слушайте: я с вами туда на похороны идти теперь не могу. Я послала им на гробик цветов. Деньги еще есть у них, кажется. Если надо будет, скажите, что в будущем я никогда их не оставлю... Ну, теперь оставьте меня, оставьте, пожалуйста. Вы уж туда опоздали, к поздней обедне звонят... Оставьте меня, пожалуйста!

III

ПОХОРОНЫ ИЛЮШЕЧКИ. РЕЧЬ У КАМНЯ

Действительно, он опоздал. Его ждали и даже уже решились без него нести хорошенький, разубранный цветами гробик в церковь. Это был гроб Илюшечки, бедного мальчика. Он скончался два дня спустя после приговора Мити. Алеша еще у ворот дома был встречен криками мальчиков, товарищей Илюшиных. Они все с нетерпением ждали его и обрадовались, что он наконец пришел. Всех их собралось человек двенадцать, все пришли со своими ранчиками и сумочками через плечо. «Папа плакать будет, будьте с папой»,— завещал им Илюша, умирая, и мальчики это запомнили. Во главе их был Коля Красоткин.

— Как я рад, что вы пришли, Карамазов! — воскликнул он, протягивая Алеше руку.— Здесь ужасно. Право, тяжело смотреть. Снегирев не пьян, мы знаем наверно, что он ничего сегодня не пил, а как будто пьян... Я тверд всегда, но это ужасно. Карамазов, если не задержу вас, один бы только еще вопрос, прежде чем вы войдете?

— Что такое, Коля? — приостановился Алеша.

— Невинен ваш брат или виновен? Он отца убил или лакей? Как скажете, так и будет. Я четыре ночи не спал от этой идеи.

— Убил лакей, а брат невинен,— ответил Алеша.

— И я то же говорю! — прокричал вдруг мальчик Смуров.

— Итак, он погибнет невинною жертвой за правду! — воскликнул Коля.— Хоть он и погиб, но он счастлив! Я готов ему завидовать!

— Что вы это, как это можно, и зачем? — воскликнул удивленный Алеша.

— О, если б и я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду,— с энтузиазмом проговорил Коля.

— Но не в таком же деле, не с таким же позором, не с таким же ужасом! — сказал Алеша.

— Конечно... я желал бы умереть за всё человечество, а что до позора, то всё равно: да погибнут наши имена. Вашего брата я уважаю!

— И я тоже! — вдруг и уже совсем неожиданно выкрикнул из толпы тот самый мальчик, который когда-то объявил, что знает, кто основал Трою, и, крикнув, точно так же, как и тогда, весь покраснел до ушей, как пион.

Алеша вошел в комнату. В голубом, убранном белым рюшем гробе лежал, сложив ручки и закрыв глазки, Илюша. Черты исхудалого лица его совсем почти не изменились, и, странно, от трупа почти не было запаху. Выражение лица было серьезное и как бы задумчивое. Особенно хороши были руки, сложенные накрест, точно вырезанные из мрамора. В руки ему вложили цветов, да и весь гроб был уже убран снаружи и снутри цветами, присланными чем свет от Лизы Хохлаковой. Но прибыли и еще цветы от Катерины Ивановны, и когда Алеша отворил дверь, штабс-капитан с пучком цветов в дрожащих руках своих обсыпа́л ими снова своего дорогого мальчика. Он едва взглянул на вошедшего Алешу, да и ни на кого не хотел глядеть, даже на плачущую помешанную жену свою, свою «мамочку», которая всё старалась приподняться на свои больные ноги и заглянуть поближе на своего мертвого мальчика. Ниночку же дети приподняли с ее стулом и придвинули вплоть к гробу. Она сидела, прижавшись к нему своею головой, и тоже, должно быть, тихо плакала. Лицо Снегирева имело вид оживленный, но как бы растерянный, а вместе с тем и ожесточенный. В жестах его, в вырывавшихся словах его было что-то полоумное. «Батюшка, милый батюшка!» — восклицал он поминутно, смотря на Илюшу. У него была привычка, еще когда Илюша был в живых, говорить ему ласкаючи: «Батюшка, милый батюшка!»

— Папочка, дай и мне цветочков, возьми из его ручки, вот этот беленький, и дай! — всхлипывая попросила помешанная «мамочка». Или уж ей так понравилась маленькая беленькая роза, бывшая в руках Илюши, или то, что она из его рук захотела взять цветок на память, но она вся так и заметалась, протягивая за цветком руки.

— Никому не дам, ничего не дам! — жестокосердно воскликнул Снегирев.— Его цветочки, а не твои. Всё его, ничего твоего!

— Папа, дайте маме цветок! — подняла вдруг свое смоченное слезами лицо Ниночка.

— Ничего не дам, а ей пуще не дам! Она его не любила. Она у него тогда пушечку отняла, а он ей по-да-рил,— вдруг в голос прорыдал штабс-капитан при воспоминании о том, как Илюша уступил тогда свою пушечку маме. Бедная помешанная так и залилась вся тихим плачем, закрыв лицо руками. Мальчики, видя, наконец, что отец не выпускает гроб от себя, а между тем пора нести, вдруг обступили гроб тесною кучкой и стали его подымать.

— Не хочу в ограде хоронить! — возопил вдруг Снегирев,— у камня похороню, у нашего камушка! Так Илюша велел. Не дам нести!

Он и прежде, все три дня говорил, что похоронит у камня; но вступились Алеша, Красоткин, квартирная хозяйка, сестра ее, все мальчики.

— Вишь, что выдумал, у камня поганого хоронить, точно бы удавленника,— строго проговорила старуха хозяйка.— Там в ограде земля со крестом. Там по нем молиться будут. Из церкви пение слышно, а дьякон так чисторечиво и словесно читает, что всё до него кажный раз долетит, точно бы над могилкой его читали.

Штабс-капитан замахал наконец руками: «Несите, дескать, куда хотите!» Дети подняли гроб, но, пронося мимо матери, остановились пред ней на минутку и опустили его, чтоб она могла с Илюшей проститься. Но увидав вдруг это дорогое личико вблизи, на которое все три дня смотрела лишь с некоторого расстояния, она вдруг вся затряслась и начала истерически дергать над гробом своею седою головой взад и вперед.

— Мама, окрести его, благослови его, поцелуй его,— прокричала ей Ниночка. Но та, как автомат, всё дергалась своею головой и безмолвно, с искривленным от жгучего горя лицом, вдруг стала бить себя кулаком в грудь. Гроб понесли дальше. Ниночка в последний раз прильнула губами к устам покойного брата, когда проносили мимо нее. Алеша, выходя из дому, обратился было к квартирной хозяйке с просьбой присмотреть за оставшимися, но та и договорить не дала:

— Знамо дело, при них буду, христиане и мы тоже.— Старуха, говоря это, плакала.

Нести до церкви было недалеко, шагов триста, не более. День стал ясный, тихий; морозило, но немного. Благовестный звон еще раздавался. Снегирев суетливо и растерянно бежал за гробом в своем стареньком, коротеньком, почти летнем пальтишке, с непокрытою головой и с старою, широкополою, мягкою шляпой в руках. Он был в какой-то неразрешимой заботе, то вдруг протягивал руку, чтоб поддержать изголовье гроба, и только мешал несущим, то забегал сбоку и искал, где бы хоть тут пристроиться. Упал один цветок на снег, и он так и бросился подымать его, как будто от потери этого цветка бог знает что зависело.

— А корочку-то, корочку-то забыли,— вдруг воскликнул он в страшном испуге. Но мальчики тотчас напомнили ему, что корочку хлебца он уже захватил еще давеча и что она у него в кармане. Он мигом выдернул ее из кармана и, удостоверившись, успокоился.

— Илюшечка велел, Илюшечка,— пояснил он тотчас Алеше,— лежал он ночью, а я подле сидел, и вдруг приказал: «Папочка, когда засыплют мою могилку, покроши на ней корочку хлебца, чтоб воробушки прилетали, я услышу, что они прилетели, и мне весело будет, что я не один лежу».

— Это очень хорошо,— сказал Алеша,— надо чаще носить.

— Каждый день, каждый день! — залепетал штабс-капитан, как бы весь оживившись.

Прибыли наконец в церковь и поставили посреди ее гроб. Все мальчики обступили его кругом и чинно простояли так всю службу. Церковь была древняя и довольно бедная, много икон стояло совсем без окладов, но в таких церквах как-то лучше молишься. За обедней Снегирев как бы несколько попритих, хотя временами все-таки прорывалась в нем та же бессознательная и как бы сбитая с толку озабоченность: то он подходил к гробу оправлять покров, венчик, то, когда упала одна свечка из подсвечника, вдруг бросился вставлять ее и ужасно долго с ней провозился. Затем уже успокоился и стал смирно у изголовья с тупоозабоченным и как бы недоумевающим лицом. После Апостола он вдруг шепнул стоявшему подле его Алеше, что Апостола *не так* прочитали, но мысли своей, однако, не разъяснил. За Херувимской принялся было подпевать, но не докончил и, опустившись на колена, прильнул лбом к каменному церковному полу и пролежал так довольно долго. Наконец приступили к отпеванию, роздали свечи. Обезумевший отец засуетился было опять, но умилительное, потрясающее надгробное пение пробудило и сотрясло его душу. Он как-то вдруг весь съежился и начал часто, укороченно рыдать, сначала тая голос, а под конец громко всхлипывая. Когда же стали прощаться и накрывать гроб, он обхватил его руками, как бы не давая накрыть Илюшечку, и начал часто, жадно, не отрываясь целовать в уста своего мертвого мальчика. Его наконец уговорили и уже свели было со ступеньки, но он вдруг стремительно протянул руку и захватил из гробика несколько цветков. Он смотрел на них, и как бы новая какая идея осенила его, так что о главном он словно забыл на минуту. Мало-помалу он как бы впал в задумчивость и уже не сопротивлялся, когда подняли и понесли гроб к могилке. Она была недалеко, в ограде, у самой церкви, дорогая; заплатила за нее Катерина Ивановна. После обычного обряда могильщики гроб опустили. Снегирев до того нагнулся, с своими цветочками в руках, над открытою могилой, что мальчики, в испуге, уцепились за его пальто и стали тянуть его назад. Но он как бы уже не понимал хорошо, что совершается. Когда стали засыпать могилу, он вдруг озабоченно

стал указывать на валившуюся землю и начинал даже что-то говорить, но разобрать никто ничего не мог, да и он сам вдруг утих. Тут напомнили ему, что надо покрошить корочку, и он ужасно заволновался, выхватил корку и начал щипать ее, разбрасывая по могилке кусочки: «Вот и прилетайте, птички, вот и прилетайте, воробушки!» — бормотал он озабоченно. Кто-то из мальчиков заметил было ему, что с цветами в руках ему неловко щипать и чтоб он на время дал их кому подержать. Но он не дал, даже вдруг испугался за свои цветы, точно их хотели у него совсем отнять, и, поглядев на могилку и как бы удостоверившись, что всё уже сделано, кусочки покрошены, вдруг неожиданно и совсем даже спокойно повернулся и побрел домой. Шаг его, однако, становился всё чаще и уторопленнее, он спешил, чуть не бежал. Мальчики и Алеша от него не отставали.

— Мамочке цветочков, мамочке цветочков! Обидели мамочку,— начал он вдруг восклицать. Кто-то крикнул ему, чтоб он надел шляпу, а то теперь холодно, но, услышав, он как бы в злобе шваркнул шляпу на снег и стал приговаривать: «Не хочу шляпу, не хочу шляпу!» Мальчик Смуров поднял ее и понес за ним. Все мальчики до единого плакали, а пуще всех Коля и мальчик, открывший Трою, и хоть Смуров, с капитанскою шляпой в руках, тоже ужасно как плакал, но успел-таки, чуть не на бегу, захватить обломок кирпичика, красневший на снегу дорожки, чтоб метнуть им в быстро пролетевшую стаю воробушков. Конечно, не попал и продолжал бежать плача. На половине дороги Снегирев внезапно остановился, постоял с полминуты как бы чем-то пораженный и вдруг, поворотив назад к церкви, пустился бегом к оставленной могилке. Но мальчики мигом догнали его и уцепились за него со всех сторон. Тут он, как в бессилии, как сраженный, пал на снег и, бьясь, вопия и рыдая, начал выкрикивать: «Батюшка, Илюшечка, милый батюшка!» Алеша и Коля стали поднимать его, упрашивать и уговаривать.

— Капитан, полноте, мужественный человек обязан переносить,— бормотал Коля.

— Цветы-то вы испортите,— проговорил и Алеша,— а «мамочка» ждет их, она сидит плачет, что вы давеча ей не дали цветов от Илюшечки. Там постелька Илюшина еще лежит...

— Да, да, к мамочке! — вспомнил вдруг опять Снегирев.— Постельку уберут, уберут! — прибавил он как бы в испуге, что и в самом деле уберут, вскочил и опять побежал домой. Но было уже недалеко, и все прибежали вместе. Снегирев стремительно отворил дверь и завопил жене, с которою давеча так жестокосердно поссорился.

— Мамочка, дорогая, Илюшечка цветочков тебе прислал, ножки твои больные! — прокричал он, протягивая ей пучочек цветов, померзших и поломанных, когда он бился сейчас об снег. Но в это самое мгновение увидел он перед постелькой Илюши, в уголку, Илюшины сапожки, стоявшие оба рядышком, только

что прибранные хозяйкой квартиры,— старенькие, порыжевшие, закорузлые сапожки, с заплатками. Увидав их, он поднял руки и так и бросился к ним, пал на колени, схватил один сапожок и, прильнув к нему губами, начал жадно целовать его, выкрикивая: «Батюшка, Илюшечка, милый батюшка, ножки-то твои где?»

— Куда ты его унес? Куда ты его унес? — раздирающим голосом завопила помешанная. Тут уж зарыдала и Ниночка. Коля выбежал из комнаты, за ним стали выходить и мальчики. Вышел наконец за ними и Алеша. «Пусть переплачут,— сказал он Коле,— тут уж конечно нельзя утешать. Переждем минутку и воротимся».

— Да, нельзя, это ужасно,— подтвердил Коля.— Знаете, Карамазов,— понизил он вдруг голос, чтоб никто не услышал, — мне очень грустно, и если б только можно было его воскресить, то я бы отдал всё на свете!

— Ах, и я тоже,— сказал Алеша.

— Как вы думаете, Карамазов, приходить нам сюда сегодня вечером? Ведь он напьется.

— Может быть, и напьется. Придем мы с вами только вдвоем, вот и довольно, чтоб посидеть с ними часок, с матерью и с Ниночкой, а если все придем разом, то им опять всё напомним,— посоветовал Алеша.

— Там у них теперь хозяйка стол накрывает,— эти поминки, что ли, будут, поп придет; возвращаться нам сейчас туда, Карамазов, иль нет?

— Непременно,— сказал Алеша.

— Странно всё это, Карамазов, такое горе, и вдруг какие-то блины, как это всё неестественно по нашей религии!

— У них там и семга будет,— громко заметил вдруг мальчик, открывший Трою.

— Я вас серьезно прошу, Карташов, не вмешиваться более с вашими глупостями, особенно когда с вами не говорят и не хотят даже знать, есть ли вы на свете,— раздражительно отрезал в его сторону Коля. Мальчик так и вспыхнул, но ответить ничего не осмелился. Между тем все тихонько брели по тропинке, и вдруг Смуров воскликнул:

— Вот Илюшин камень, под которым его хотели похоронить!

Все молча остановились у большого камня. Алеша посмотрел, и целая картина того, что Снегирев рассказывал когда-то об Илюшечке, как тот, плача и обнимая отца, восклицал: «Папочка, папочка, как он унизил тебя!» — разом представилась его воспоминанию. Что-то как бы сотряслось в его душе. Он с серьезным и важным видом обвел глазами все эти милые, светлые лица школьников, Илюшиных товарищей, и вдруг сказал им:

— Господа, мне хотелось бы вам сказать здесь, на этом самом месте, одно слово.

Мальчики обступили его и тотчас устремили на него пристальные, ожидающие взгляды.

— Господа, мы скоро расстанемся. Я теперь пока несколько времени с двумя братьями, из которых один пойдет в ссылку, а другой лежит при смерти. Но скоро я здешний город покину, может быть очень надолго. Вот мы и расстанемся, господа. Согласимся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать — во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг об друге. И что бы там ни случилось с нами потом в жизни, хотя бы мы и двадцать лет потом не встречались, — все-таки будем помнить о том, как мы хоронили бедного мальчика, в которого прежде бросали камни, помните, там у мостика-то? — а потом так все его полюбили. Он был славный мальчик, добрый и храбрый мальчик, чувствовал честь и горькую обиду отцовскую, за которую и восстал. Итак, во-первых, будем помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей или впали бы в какое великое несчастье — всё равно не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви нашей к бедному мальчику, может быть, лучшими, чем мы есть в самом деле. Голубчики мои, — дайте я вас так назову — голубчиками, потому что вы все очень похожи на них, на этих хорошеньких сизых птичек, теперь, в эту минуту, как я смотрю на ваши добрые, милые лица, — милые мои деточки, может быть, вы не поймете, что я вам скажу, потому что я говорю часто очень непонятно, но вы все-таки запомните и потом когда-нибудь согласитесь с моими словами. Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. Может быть, мы станем даже злыми потом, даже пред дурным поступком устоять будем не в силах, над слезами человеческими будем смеяться и над теми людьми, которые говорят, вот как давеча Коля воскликнул: «Хочу пострадать за всех людей», — и над этими людьми, может быть, злобно издеваться будем. А все-таки как ни будем мы злы, чего не дай бог, но как вспомним про то, как мы хоронили Илюшу, как мы любили его в последние дни и как вот сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту! Мало того, может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит, и он одумается и скажет: «Да, я был тогда добр, смел и честен». Пусть усмехнется

про себя, это ничего, человек часто смеется над добрым и хорошим; это лишь от легкомыслия; но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же в сердце скажет: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться!»

— Это непременно так будет, Карамазов, я вас понимаю, Карамазов! — воскликнул, сверкнув глазами, Коля. Мальчики заволновались и тоже хотели что-то воскликнуть, но сдержались, пристально и умиленно смотря на оратора.

— Это я говорю на тот страх, что мы дурными сделаемся,— продолжал Алеша,— но зачем нам и делаться дурными, не правда ли, господа? Будем, во-первых и прежде всего, добры, потом честны, а потом — не будем никогда забывать друг об друге. Это я опять-таки повторяю. Я слово вам даю от себя, господа, что я ни одного из вас не забуду; каждое лицо, которое на меня теперь, сейчас, смотрит, припомню, хоть бы и чрез тридцать лет. Давеча вот Коля сказал Карташову, что мы будто бы не хотим знать, «есть он или нет на свете?» Да разве я могу забыть, что Карташов есть на свете и что вот он не краснеет уж теперь, как тогда, когда Трою открыл, а смотрит на меня своими славными, добрыми, веселыми глазками. Господа, милые мои господа, будем все великодушны и смелы, как Илюшечка, умны, смелы и великодушны, как Коля (но который будет гораздо умнее, когда подрастет), и будем такими же стыдливыми, но умненькими и милыми, как Карташов. Да чего я говорю про них обоих! Все вы, господа, милы мне отныне, всех вас заключу в мое сердце, а вас прошу заключить и меня в ваше сердце! Ну, а кто нас соединил в этом добром хорошем чувстве, об котором мы теперь всегда, всю жизнь вспоминать будем и вспоминать намерены, кто как не Илюшечка, добрый мальчик, милый мальчик, дорогой для нас мальчик на веки веков! Не забудем же его никогда, вечная ему и хорошая память в наших сердцах, отныне и во веки веков!

— Так, так, вечная, вечная, — прокричали все мальчики своими звонкими голосами, с умиленными лицами.

— Будем помнить и лицо его, и платье его, и бедненькие сапожки его, и гробик его, и несчастного грешного отца его, и о том, как он смело один восстал на весь класс за него!

— Будем, будем помнить! — прокричали опять мальчики,— он был храбрый, он был добрый!

— Ах как я любил его! — воскликнул Коля.

— Ах, деточки, ах, милые друзья, не бойтесь жизни! Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!

— Да, да,— восторженно повторили мальчики.

— Карамазов, мы вас любим! — воскликнул неудержимо один голос, кажется Карташова.

— Мы вас любим, мы вас любим, — подхватили и все. У многих сверкали на глазах слезинки.

— Ура Карамазову! — восторженно провозгласил Коля.

— И вечная память мертвому мальчику! — с чувством прибавил опять Алеша.

— Вечная память! — подхватили снова мальчики.

— Карамазов! — крикнул Коля, — неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?

— Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу всё, что было, — полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша.

— Ах, как это будет хорошо! — вырвалось у Коли.

— Ну, а теперь кончим речи и пойдемте на его поминки. Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, и тут есть хорошее, — засмеялся Алеша. — Ну пойдемте же! Вот мы теперь и идем рука в руку.

— И вечно так, всю жизнь рука в руку! Ура Карамазову! — еще раз восторженно прокричал Коля, и еще раз все мальчики подхватили его восклицание.

ПРИЛОЖЕНИЕ

⟨ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО, СКАЗАННОЕ НА ЛИТЕРАТУРНОМ УТРЕ В ПОЛЬЗУ СТУДЕНТОВ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 30 ДЕКАБРЯ 1879 Г. ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ГЛАВЫ «ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР»⟩ [1]

Один страдающий неверием [2] атеист в одну из мучительных минут своих сочиняет дикую, фантастическую поэму, в которой выводит Христа в разговоре с одним из католических первосвященников — Великим инквизитором. Страдание сочинителя поэмы происходит именно оттого, что он в изображении своего первосвященника с мировоззрением католическим, столь удалившимся от древнего апостольского православия, видит воистину настоящего служителя Христова. Между тем его Великий инквизитор есть, в сущности, сам атеист. Смысл тот, что если исказишь Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится [3] и весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть в безверие, вместо великого Христова идеала созиждется [4] лишь новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христианства на человечество [5] понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом *социальной* любви к человечеству является уже не замаскированное презрение к нему. Изложено в виде разговора двух братьев. Один брат, атеист, рассказывает сюжет своей поэмы другому.

---

[1] *Рукою А. Г. Достоевской вписан заголовок:* Предисловие, сказанное на литературном чтении в пользу студентов С.-П⟨етер⟩б⟨ургского⟩ университета ⟨пропуск⟩ декабря 1879 г. пред чтением отрывка из романа «Братья Карамазовы» под названием «Великий инквизитор».

[2] *Незачеркнутый вариант:* от неверия

[3] *Было:* исчезнет

[4] *Было:* наступит

[5] *Далее было начато:* униж⟨ается⟩

РУКОПИСНЫЕ РЕДАКЦИИ

Черновые наброски (ЧН)

⟨ЧАСТЬ ПЕРВАЯ⟩

Memento[1] (о романе).

Узнать, можно ли пролежать между рельсами под вагоном, когда он пройдет во весь карьер?

Справиться: жена *осужденного* в каторгу тотчас ли может выйти замуж за другого?

Имеет ли право Идиот держать такую ораву приемных детей, иметь школу и проч.?

Справиться о детской работе на фабриках.

О гимназиях, быть в гимназии.

Справиться о том: может ли юноша, дворянин и помещик, на много лет заключиться в монастыре (хоть у дяди) послушником? (№3. По поводу провонявшего Филарета.)

В детском приюте.

У Бычкова.

У Александра Николаевича.

У Михаила Николаевича (Воспит⟨ательный⟩ дом).

С Бергман.

О Песталоцци, о Фребеле. Статью Льва Толстого о школьном современном обучении в «От⟨ечественных⟩ зап⟨исках⟩» (75 или 74).

Ходит по Невскому с костылями. Если выбить костыль, то каким процессом пойдет суд и где и как?

Участвовать в фребелевской прогулке. См. «Новое время», среда, 12 апреля, № 762. ⟨1⟩

Посмотреть, *всё* ли там? Прямолинейность юности. Может быть, подействовали на юношеское воображение его эта сила и слава.

Он видел, как стекались, особенно бабы, и исцелялись. Он веровал так же, как гробу.

А может быть, старичок поразил его тогда и какими-нибудь

---

[1] Помнить (*лат.*).

особенными свойствами души своей, только он прилепился к нему весь беззаветно.

Чиновник.

Он верил летающему гробу. Это не мешало.

1, 2, 3.

— Как вы дерзаете делать такие дела?

№3. Вот в это-то время и назначено свидание 3-х братьев.

Кажется, на Алешу производило сильное влияние приезд братьев. С Дмитрием сошелся. К Ивану присматривался.

Два знакомых: *Семинарист* и Мечтатель. [1]

Алеша приглядывался, но более всего кипел идеей о славе Старца.

Жил в келье у Старца, который был очень добр к нему.

Алеша мог выходить из монастыря. Жил в келье и носил подрясник, по благослов⟨ению⟩, не принадлежа, однако же, вовсе монастырю.

Описание скита, цветы (слегка).

№3. Были в монастыре и враждебные Старцу монахи, но их было немного. Молчали, затаив злобу, хотя важные лица. Один постник, другой полуюродивый. Но большинство стояло, были фанатики до того, что, предвидя близкую смерть, [2] многие честно считали за святого, не один Алеша, ждали смерти, будет святой. (Молчаливое ожидание.) [3]

Слова. Говорили, Макарий видит по глазам. ⟨2⟩

Может быть, 4-х лет воспомина⟨ние⟩, луч солнца, амвон и мать.

Может быть, чтение Евангелия.

Уединенность полюбит, целомудрие.

Красота пуст⟨ыни⟩, пение, вернее же всего, Старец. Честность поколения. Герой из нового поколения.

Захотел и сделал — умилительное, а не фанатическое.

Старцы. Порядок.

Предисловная глава.

Я сказал, что не буду в подробности. Но вот эти-то главные и основные черты.

Глав⟨ное⟩ — почему в монастыре?

Мистик ли? Никогда!

Фанатик? Отнюдь!

Стар⟨ший⟩, Дмитрий, — 27 [4] — да 23, а Алексею всего только двадцатый. Был он вовсе не фанатик. Он и явился год назад, но как-то дико — с странной целью, которую вовсе и не скрывал. Отец тогда приехал из Одессы. Но явился он не к отцу, не кончив курса. Явился он не потому, что там не у кого жить, — его любили. Явился найти могилу матери. У отца.

---

[1] Кажется ∾ Мечтатель. *вписано.*

[2] до того, что ∾ смерть *вписано.*

[3] *Рядом с текстом:* №3. Были в монастыре ∾ ожидание.) — *помета на полях:* Слегка закинуть лишь слово.

[4] *Было:* 26

Ст⟨арец?⟩ — все дви⟨жения?⟩ болезненны.

Ноги болезненные. Красные щеки.

Я должен сказать, что, предавшись раз, он уверовал вполне, несмотря на то что ум его был сильно развит.

Предаваться личности — дело второстепенное, первостепенное — Старец. Алексей не так, как Иван, деньги — сердце цело, а остальное всё только временно отвело Ал⟨ешу⟩.

Об этом Алексее, моем герое, всего труднее сказать что-нибудь рассказом. Предисловие, прежде чем вывести его на сцену. Но, повторяю, без этого мне нельзя ничего начать, но я ограничусь лишь главными пунктами.

Его тоже ничего не поразил отец, но от оргий он уходил молча.

Сначала упрекал. Отец целовать начал.

Ведь он какой был враль. Так и болтал всякий вздор, ну, и насчет женского пола. Как один поп хотел...

Он уверовал как реалист. Такой коли раз уверует, то уверует совсем, бесповоротно.

Мечтатель [1] уверует с условиями, по-лютерански. Этакого же не только не смутит чудо, но он сам захочет чуда.

Он понял, что знание и вера — разное и противуположное, но он понял — постиг, по крайней мере, или почувствовал даже только,[2] — что если есть другие миры и если правда, что человек бессмертен, то есть и сам из других миров, то, стало быть, есть и всё, есть связь с другими мирами. Есть и чудо. И он жаждал чуда. Но тут Старец в святость, в святыню. ⟨3⟩

В мире много необъяснимого, если не чудес.

Почему же и не быть чудесам? Но тут Старец.

Дама. «Как вы дерзаете делать такие дела?»

Гроб летающий.

Старчество, инок Парфений.

Монахи, 2 партии.

Владыко поощрял старчество.

С братьями еще не *сошелся*.

— МОЙ ТИХИЙ МАЛЬЧИК.

№3. Если есть связь с тем миром, то ясное дело, что она может и должна даже выражаться *иногда* фактами (гроб летающий) необыкновенными, не на сей только одной земле восполняемыми.

Неверие же людей не смущало его вовсе; те не верят в бессмертие и в другую жизнь, стало быть, и не могут верить [3] в чудеса, потому что для них всё на земле совершено ⟨?⟩.

А что до доказательств, так сказать, научных, то он хоть и не кончил курса, но все-таки считал и был вправе не верить этим доказательствам, ибо чувствовал, и что знанием, которое от мира сего, нельзя опровергнуть дела, которые по существу своему не от мира сего, короче, в то время он был спокоен и тверд, как скала.

---

[1] *Далее было:* и поэт

[2] но он понял ∾ только *вписано на полях.*

[3] *Было:* уверовать

Щека.

Красив.

Мистик.

Реализм.

Чудо — Фома. Пожелал поверить. То же и было.

Я сказал уже, что у него человеколюбие на эту дорогу, на эту дорогу старика.

За святого.

Ждал чудес и даже уже видел их.

Дама — «дерзаете».

Про этого Старца. Старчество из Оптиной. Приходили бабы, на коленях.

Распри, владыко.

Он был больной, из чиновников. Аскет.

Старец устроил; в день свидания его интересовало очень, как будет Старец.

Принимал за святого, ждал чудес. Это был больной человек.

Он выходил. Сошелся с братьями. Дмитрий — Иван. Вот в это-то время и было назначено свидание. Случилось это так, что Миусов.

— L'ombre d'un carrosse.[1]

— Ну, ступай, мой ангел, доберись до правды да приди рассказать. Всё же легче умирать будет, значишь ⟨?⟩ то. Да и жаль даже. А право, ведь, ей-богу, жаль, что легче.

— Ибо редко сдержится любовь на одном сострадании.

— Мне всё так и кажется каждый час, что меня за шута принимают, так вот, давай же я и в самом деле буду шутом, не боюсь ваших мнений! Вот почему я и шут, по злобе, от мнительности. Я от мнительности буяню.

Трудно было решить, шутит ли он или в самом деле в таком умилении. ⟨4⟩

Удовлетворительного ответа он, без сомнения, не получил, но тут встретил он этого Старца.

Действительный клад внутри себя, но какая-то внешность, чудо. Как будто ждавший чуда.

Старца святым. И хотя бы он хотел, но всё же боялся.

Которая себя не нашла в себе — Фома. ⟨5⟩

Высшая красота не снаружи, а извнутри (см. Гете, 2-я часть «Фауста»).

Идиот разъясняет детям о положении человечества в 10-м столетии (Тен); разъясняет детям «*Поминки*»: «Злое злой конец приемлет»; разъясняет дьявола (Иов, Пролог); разъясняет искушение в пустыне; разъясняет о грядущем социализме, новые люди. Maxime du Camp, отрицательное, нет, положительное, положительное — Россия, — христиане.

[1] — Тень кареты (*франц.*).

Помещик: «Что мне делать, чтобы спастися?» (на коленях). «В Законе что написано, как читаешь?»

Стар⟨ец⟩: «Главное, не лгать. Имущества не собирать, любить (Дамаскина, Сирина)».

— Нос, говорит, подымает, нахально смотрит, меня оскорбляет.

У *игумена*... «возлюбила много». «Не про эту же любовь говорил Христос». — «Нет, про эту. А если про ту, то и про эту. Потому эти слова тогда прекраснее, соблазнительнее...»

— Я рыцарь, я рыцарь чести!

— И ведь знает, что никто его не обидел, а обижается до приятности.[1] ⟨6⟩

Слова, словечки и выражен⟨ия⟩. Справиться.[2]

«Новое время», сентябрь, 7, четверг, № 907. Среди газет и журналов известие об архимандрите, завещавшем в завещании выбросить тело его за грех пьянства, от которого не мог отвязаться, на съедение псам на распутье.

Ильинский в келье говорит, что он еще не позволит читать ему наставления вслух за ребенка.[3] Кутеж в городе.

Помещик желает после кельи отслужить молебен.

NB. Ильинский рассчитывает еще что-нибудь получить наследства. Главное, ему поскорее нужны 3000, потому что он задержал невестины. Вечером, в 1-й части, после сцены в келье, Ильинский затем является к отцу с Идиотом, чтоб предложить мировую на 3000 тысячах. «Ведь у вас теперь есть». И тут драка.

Деньги в пакете: «Моему цыпленочку».

Влюблен, как моська.

— Они думают, что я деньги за сапог спрятал.

— Встала злее собаки.

Ослиное ухо.

Исаака Сирина (Семинарист).

Любовь непосредственная. (Мальчик и утопающий.)

Воскресение предков. Помещик про Ильинского: «Этот не только не воскресит, но еще упечет». Ильинский встает: «Недостойная комедия!»

«Всё дозволено». Вечером Убийце: «Знаешь, мой друг, я кой в чем усумнил⟨ся⟩, просто-запросто Христос был обыкновенный человек, как и все, но добродетель⟨ный⟩. А всё это сделал».[4]

— Я страстный человек.

«Grattez le Russe — trouverez le tartare».[5]

«La Russie se recueille».[6]

---

[1] — И ведь знает ∾ до приятности. *вписано позднее.*
[2] *Слова* ∾ *Справиться. вписано позднее.*
[3] *Далее было начато:* и за
[4] Вечером ∾ это сделал». *вписано позднее.*
[5] «Поскоблите русского — найдете татарина» (*франц.*).
[6] «Россия собирается с мыслями» (*франц.*).

Камень убрать — 100 руб.

Мостки, выштукатурить в Германии, 100 руб.

Одно высшее государственное лицо. «Я говорю, mon cher.[1] А тут входит самое высшее государственное лицо».

Дидро и Платон. «Рече безумец в сердце своем несть бог». Преклонился.

С муровием.

«Свою главу любезно лобызаше».

— Дмитрий Федорович, впредь не знайте меня!

«Да я готов на дуэль вас вызвать». Ильин⟨ский⟩ ему: «Комик, проклинаю!»

У игумена: «И Христос простил за то, что возлюбила много. Она лучше вас. А то, что́ вы: большие кресты».

— В Евангелии: раздай нищим. Но мы хоть не раздаем, так все-таки чтим. ⟨7⟩

Идиот получил письмо от *невесты,* в котором она зовет его к себе.[2]

«У бога ангелы божии». — «Не ври».

«Ci-gît Piron, qui ne fût rien, pas même academicien».

— Un chevalier d'honneur.[3]

— Карл Мор и Франц Мор.

«Илюша,[4] прокляну. Ведь отцовское проклятие, знаешь, что значит?» Lettre de cachet.[5]

Прилог по Дамаскину. Мечты о богатстве. Дьявол.

Барыня. Леша. Они *дерзновенны*. Барыня и дочь. О том, что она верует, но мало. *Баба*: «Отдай 60 к. тому, кто меня беднее... Какой-нибудь бедной, бедней, чем я».

— Спасибо, мать.

Старик имеет привычку вдруг начать кланяться на коленках: «Простите меня...»

Слово о том, что Ильинский подрался и за бороду тянул Капитана.

Ильинский помогал брату еще в университете.

Блудилище.

— Обидеться иногда очень приятно.

Болезнь сердца у Старца.

Иов возлюбил других детей (барыня). *Перемещение* любви. Не забыл и тех. Вера, что оживим и найдем друг друга все в общей гармонии.

Революция, кроме конца любви, ни к чему не приводила (права лучше).

Воскресение предков зависит от нас.

---

[1] дорогой (*франц.*).

[2] Идиот ∾ его к себе. *вписано позднее.*

[3] «Здесь покоится Пирон, который был никем, даже не академиком». — Рыцарь чести (*франц.*).

[4] *В рукописи, очевидно, описка; нужно:* Алеша

[5] Королевский приказ об изгнании или заточении (*франц.*).

О родственных обязанностях. Старец говорит, что бог дал родных, чтоб учиться на них *любви*. Общечеловеки ненавидят лиц в частности.

— Был бы один ум на свете, ничего бы и не было.

Из Исаака Сирина (Семинарист).

— Regierender Graf von Moor.[1]

Старец, вероятно, был человек образованный. Был и теперь есть, о рассеянности: анекдот.

О волке речь, а волк навстречу.

— Направник.

Кастет. Компрометирующее слово вперед (о убийстве отца).

Ученый о том, что нет причины делать добро.

Ползает по земле: «Не выйду, пока не простят». — «Не лги».

— Точность есть добродетель королей.

— А жаль, если ничего на том свете не будет. А может, оно бы и лучше было.[2]

— Вероятно больше, что ничего не будет.

Сигары. «Вот они тут, но не буду курить из уважения».

О разводе. 4-х жен. Магометане лучше.

«Humble et hautain comme tous les fanatiques» (V. Hugo).[3]

L'ame d'un conspirateur и l'âme d'un laquais.[4]

— Индеек и кур нельзя на Афоне.

Барышня с матерью и нехороша собой (Идиот влюблен).

«Заложи карету». Приносит 1000 руб.

Ученый брат, оказывается, был у Старца[5] прежде (потом). ⟨8⟩

Сигары. «Я бросил их, я не курю».

Об чинах на исповеди спрашивал.

На пистолетах. «Вот грудь моя, рази».

(Смотри № 0Δ.)

— Я рыцарь чести. Я могу какую угодно еще и теперь победить.

См. № O_2, O_3, № O_1.

№ 0_4. Старец говорит про прилог, про стяжание и про лицо.

— А Надежда Ивановна — это исчадие ада.

— У иного сердце, как у Александра Македонского, а у иного — как у собачки Фидельки.

Человек есть воплощенное Слово. Он явился, чтоб сознать и сказать.

«Вьель филька» (смотр⟨и⟩ № 0_5).

№ 0_6.

См. у Старца в келье № 0_7.

№ 0_8. Разговоры об убийцах. «А известно ли вам убийство ф⟨он⟩ Зона?»

---

[1] — Владетельный граф фон Моор (*нем.*).

[2] А может ∾ было. *вписано.*

[3] «Скромный и надменный, как все фанатики» (В. Гюго) (*франц.*).

[4] Душа заговорщика и душа лакея (*франц.*).

[5] *Было начато:* у бр⟨ата⟩

Мальчик научил булавку в хлеб. *За Жучку.*

№ 0_9, 0_{10} — непременно.

«Блаженно чрево, носившее тя, и сосцы, тебя питавши⟨е⟩».

ВАЖНЕЙШЕЕ. Помещик [1] цитует из Евангелия и грубо ошибается. *Миусов* поправляет его и ошибается еще грубее. Даже Ученый ошибается. Никто Евангелия не знает. «Блаженно чрево, носившее тя», — сказал Христос. Это не Христос сказал и т. д.

Старец говорит: «Был ученый профессор (Вагнер)». Из Евангелия: «Похвалил господин ловкого грабителя управляющего». «Как же это? Я не понимаю».

Старец непременно: «Вот только то, что, может быть, не веровали сами тому, что написали».

— За что вы его ненавидите?

— А я раз сделал против него одну подлость — вот потому и ненавижу.

— Щекотливая женщина.[2]

Федор Павлович зовет помещика Маркова фон Зоном, тайный ф⟨он⟩ Зон.[3] ⟨9⟩

— Я вас беспокою моею живостию.

— О, не беспокойтесь и не стесняйтесь, будьте как дома.

— Тем для меня лучше, я увижу вас, как вы живете.

— Алешка, не смей ходить в монастырь! Прокляну!

Ив⟨ан⟩ Фед⟨орович⟩ фон Зона вытолкнул.

Стар⟨ик⟩ усмирел вдруг. «Так ты бы мне сказал, я бы давно перестал, а то я думал, что тебя же веселю, для того и творил».

На Назарьевской станции Мияжской железной дороги.

Это подвержено мраку неизвестности.

Ст⟨арец⟩: «Много берете, говорят».

Кабаков наставили.

— Вагон загорелся, при ваших женах и незамужних дочерях (нет, еще не было дочерей, но могли быть). А то ведь лезет к роже, так прямо к роже и лезет. Вдохновение. Записную книжку. Кто вы? Государств⟨енный⟩ ста⟨тс⟩-секр⟨етарь⟩ князь Мурузов, на второй станции ушел. Проехали благополучно.

— Раз за Тургенева себя выдал.

— Превосходно, — кричит Саня Калганов.

— Мне доказательств не нужно, а я административным порядком.

— Не лгите.

— Именно воистину, позвольте рассказать, как ложь иногда полезна.

— А то чем я защищусь, скажите, пожалуйста? ⟨10⟩

Старец возвращается в келью. Идет разговор — даже не прерываясь.

---

[1] *Было:* Миусов

[2] — За что ∾ женщина. *вписано.*

[3] Федор Павлович ∾ ф⟨он⟩ Зон. *вписано.*

Сообщают Старцу *тему*: есть ли на земле нечто, что б заставляло любить человечество?

Или: есть ли такой закон природы, чтоб любить человечество? Это закон божий. Закона природы такого нет, правда ли? [1]

Он (Убийца) утверждает, что нет закона и что любовь лишь существует из веры в бессмертие.

Стар⟨ец⟩: «Блаженны вы, коли так веруете, или уж очень несчастны».

Уб⟨ийца⟩: «Почему несчастен?»

Ст⟨арец⟩: «В случае, если вы в бессмертие сами не веруете».

Уб⟨ийца⟩: «Да, вы угадали».

— В вас этот вопрос не решен, и в том ваше горе.

Входит Ильинский, *поклоны*.

Миусов: «Я в высшей степени несогласен. Любовь к человечеству лежит в самом человеке, как закон природы».

Все молчат. «Стараться-то не для чего», — бормочет кто-нибудь.[2]

Миусов: «В таком случае, в случае, если нет бессмертия, как определить, где предел?»

— Предел, когда я врежу человечеству.

— Да для чего стесняться?

— Да чтоб хоть прожить удобнее. Если не будет любви, то устроятся на разуме.

— Если б всё на разуме, ничего бы не было.

— В таком случае можно делать что угодно?

— Да.

Помещик: «Научите меня любви. Что мне делать, чтобы спастися?»

— Не лгите. Имущество. Лицо.

— Учитесь любить. Нос.

— С родственников.

— Я знаю, что не воскресит. Карл Мор.

— Если нет бога и [3] бессмертия души, то не может быть и любви к человечеству. ⟨11⟩

Summarium[4] 2

Миусов: «Вы не шутите?» Церковн⟨ый⟩ суд.[5]

— Этот вопрос у вас не решен.

— А решится?

— Помоги вам бог (благословил).

---

[1] Это закон ∾ правда ли? *вписано на полях.*

[2] *Было начато:* говорит Убий⟨ца⟩

[3] *Далее было начато:* люб⟨ви⟩

[4] Итог (*лат.*).

[5] Summarium 2 ∾ Церковн⟨ый⟩ суд. *вписано позднее.*

Подошел и поцеловал руку. Старец встал. Алеша.

«Блаженно чрево», слова Христовы.

— А вы не лгите.

(Сцена вне.)

Воротились, горячий спор, иноки и Семинарист.

Руссо — любовь, общество само из себя любовь.

Ученый. Нехотя. Старец ввязывается в спор.

Входит Ильинский — впечатление, поклоны.

Нет никакого долгу любить и не делать зла.

Старец. Нос. В народе утопал, мальчика.

Помещик на колени, любить.

Имущество, лицо, на родственниках учиться любви.

Ильинский против родственников.

Бурная короткая заметка.

Помещик: «Ну, этот родственников не воскресит».

— Карл Мор, Франц Мор, Regierender Graf von Moor.

— Недостойная комедия.

. . . .

Б⟨---⟩дь возлюбила много.

... А не большие кресты.

Старец встал, молебен.

N3. — Все вещи и всё в мире для человека не окончены, а между тем значение всех вещей мира в человеке же заключаются.

Земля благородит. Только владение землей благородит.

Без земли же и миллионер — пролетарий. А что такое пролетарий? Пока еще сволочь. Чтоб не быть сволочью, надо его перетродить, а перетродить можно только землей. Надо, чтоб он стал владельцем земли.

У нас что падает, то уж и лежит. Что раз упало, то уж и лежи.

У нас молодежь ищет истины, это правда, и я не раз соглашался с этим.

— Что церковь — для шутки или нет?

Если не для шутки, то как же ей соглашаться рядом допускать то, что допускает государство как установление языческое, ибо многое осталось в государстве еще с древнего Рима как языческое, а к христианскому обществу принадлежащее. ⟨12⟩

Мнение это основано на нормальности языческого порядка, а стало быть, и всех его отправлений. Между прочим, и на нормальности языческого уголовного суда. Государственное и языческое — это всё равно. Если церковь допустит языческий суд, то она отречется от своего назначения. Не борьбой, но в идеале.[1]

Элементы — богословский и юридический, прократия и бюрократия.

Что это смешение элементов будет вечное, что его и *нельзя* привесть в нормальный порядок, разъяснить, потому что ложь в основании.

---

[1] Между прочим ∾ в идеале. *вписано на полях.*

233 стр. Не определенное положение в государстве, а заключающее само в себя всё государство, и если теперь это невозможно, то несомненно (желательно) должно поставиться целью всего дальнейшего развития христианского общества.

236. ⟨Не⟩ общественный союз в государстве, а общественный союз для устранения государства, для перевоплощения в себе государства.[1]

Тут Миусов возражает: «Уголовщина».

Убийце — не казнь, а отлучение.

Лафарж. ⟨?⟩

Старец: «Да ведь так оно и есть. Как ни несогласимы оба начала, а правда выступает [2] наружу при столкновении (которое и проч.). Да ведь это и теперь почти делается».[3]

Вопрос: кончилась ли церковь как общество Христово на земле, достигла ли идеала и последней своей формы или идет, развиваясь сообразно с своей божественной целью? Тут не догматическая сторона веры взята в расчет, а лишь нравственное состояние человека и общества в данный момент.

Ни один общественный союз не может, не должен присваивать себе власти распоряжаться гражданскими и политическими правами своих членов.

Церковь — царство не от мира сего.

Уголовная и судногражданская власть не должны ей принадлежать и не совместимы с природою ее и как божественного установления, и как союза людей, соединенных для религиозных целей.

— «Если не от мира сего, то и не может быть на земле совсем». Недостойный каламбур для духовного лица. Я читал это место у этого духовного лица, его книгу, на которую вы возражаете, и удивлен был этому. В божьей книге [4] это не про то сказано. Играть так словами нельзя. Христос именно приходил установить церковь на земле, царство небесное, разумеется, в небе, но в него входят не иначе, как через церковь, а потому недостойно игры слов [5] и каламбуры тут невозможны, потому что каламбур ваш основан на величайшем слове Христове.[6] Церковь же есть воистину царство, и должна быть царством, и явится [7] на земле как царство, на что имеются обетования.[8] Впрочем, ленивые церкви именно этим каламбуром всегда отделываются. Я не про положение клириков в *⟨нрзб.⟩*. Говорю, если б церковь, вся церковь вместо государства,[9] то не было бы неправды.

---

[1] ⟨Не⟩ общественный союз ∾ государства. *вписано на полях*.
[2] *Далее было:* иногда
[3] «Да ведь ∾ делается». *вписано*.
[4] Недостойный ∾ В божьей книге *вписано*.
[5] недостойно игры слов *вписано*.
[6] что каламбур ∾ Христове. *вписано на полях*.
[7] *Незачеркнутый вариант:* будет им
[8] Церковь ∾ обетования. *вписано*.
[9] вместо государства *вписано*.

Ведомство православного исповедания. ⟨13⟩

Миусов: «Это ультрамонтанство!»

Ст⟨арец⟩: «Эх, да у нас и гор-то нет!»

Ст⟨арец⟩: «Благословенная идея, если вы ей сами веруете».

Миусов: «Почему же вы думаете, что он не верует? Он еще дальше ультрамонта⟨нства⟩, он уверяет, что нет причины любить и что причина одна, бессмертие души».

Ст⟨арец⟩ вскинул на него взоры: «Воистину так, и блаженны вы, если так думаете».

Убийцу (передергивает, он нехотя говорит).

Миусов горячо спорит, что мимо религии спасутся люди.

Ст⟨арец⟩: «Не думаю, любовь обратится в мучение. Или вы счастливы, или мучаетесь, если не веруете. В вас не кончен процесс».

Старец встает и идет к народу. (Вся сцена в веселом и как бы шутливом тоне, как будто все пытают друг друга.)

Воротился, спор. Помещик на колена: «Научите спастися».

— Не лгите. Имущество, любовь, нос.

Иов самый... Родственники. Этот родственник — Карл Мор.

Миусов Старцу: «Вы всё как будто шутите».

Старец с тихою улыбкой: «Нет, я говорю серьезно, ибо, слава богу, Русь еще верует».[1]

— И однако, церковь сама от сего устраняется, и делает споаве⟨дливо⟩.

Баба, мужика извела: «Простите, простите».

— Дети-то простили? [2]

Summarium 1

Конец августа.

Приглашение обедать к игумену $^1/_2$ второго, $1^1/_2$.[3]

Приехали вместе те и те. Лица.

Через лес в скит.

Несмотря на непост — много баб. Одна дама с дочерью.

— Это у них отдельных женщин не пускают.

«А на Афоне и кур нет». — «Вы только и знаете». — «Вы-то много знаете».

«Да тут долина роз». — «Ну, роз-то нет. 30 пудов капусты в неделю».

Бледный монах. Келья. Настоятель скита и Макарий, еще ученый монах. Семинарист. Помещик на коленях.

Вышел, с Алешей, сел, описание лица. Под благословение. «Верую». Дидерот и Платон.

— Удивляюсь я вашей способности.

---

[1] ибо, слава богу, Русь еще верует». *вписано на полях.*

[2] — И однако ∾ простили? — *разрозненные записи.*

[3] Приглашение ∾ $1^1/_2$. *вписано.*

Помещик: «Соглашаюсь, я вру. Je suis humble et hautain».[1]

— Часы аккуратно, Митя опоздал — не то что я, точность — вежливость королей.

— Но ведь вы не король.

— Точно. Направник.

Заврался.

— Макарий к *Ивану*: «А вы вашей статьей» — и т. д.

Миусов никогда не видал. Помещик большие кресты.

— Направник.

— Ci-gît Pyron был образованным человеком. Значит, теперь необразованный. О всяк речь, а всяк навстречь, так они меня чуть палкой.[2] ⟨14⟩

N3. Две вставки к полулистку: вставки в строку.

1) «Вы меня сейчас замечанием вашим: „Не стыдиться столь самого себя, потому что от сего лишь всё и выходит", — вы меня замечанием этим как бы насквозь прочкнули и внутри прочли. Именно мне всё так и кажется, когда я к людям вхожу,[3] что я подлее всех и что меня все за шута принимают, — так вот, давай же я и в самом деле им сыграю шута, не боюсь ваших мнений, потому что все вы до единого подлее [4] меня! Вот почему я и шут,[5] от стыда шут, старец великий, от стыда.[6] От мнительности одной и буяню. Ведь если б я только [7] был уверен, когда вхожу,[8] что все меня за милейшего и умнейшего человека сейчас же примут,[9] — господи! — какой бы я был тогда добрый человек!»

2) Трудно было и теперь[10] решить: шутит он или в самом деле в таком умилении? ⟨15⟩

Словечки

— Почему Новый год приходится всегда 1-го января?

Ответ: «Потому что январь первый месяц в году, а декабрь последний месяц в году».

— Они сходят с крыльца, а мы — вот они.

— А он святым-то кулаком, да по окаянной шее.

— В этой речи было, так сказать, plus de noblesse que de sincérité (и бывает обратно: plus de sincérité que de noblesse).[11]

---

[1] Я скромный и надменный (*франц.*). *Далее было:* Направник

[2] Миусов ∾ палкой. *вписано на полях.*

[3] *Было: а.* когда я вхожу *б.* когда я вхожу куда-нибудь

[4] *Было:* глупее

[5] *Далее было:* именно

[6] *Вместо:* шут, старец великий, от стыда — *было:* и от мнительности

[7] только *вписано.*

[8] когда вхожу *вписано.*

[9] *Вместо:* сейчас же примут — *было:* принимают

[10] и теперь *вписано.*

[11] больше благородства, чем искренности (*франц.*). *Рядом с текстом:* — Они сходят ∾ noblesse). — *три восклицательных знака.*

Смердяков.[1] «Ударил[2] ножом», — вскричала она и стала ловиться за нож.[3]

— Э-эх! да зачем же и жить, коли не для гордости?

Медиумяты.

— Русский язык для них неприличен. Для него.[4]

— Этот грубый подкопытный язык (проповедей).[5]

— Наше гнило-гуманное племя.

Извозчик говорит: «А с добрым барином проехать любопытно».[6]

— Вот они и взяли в это дело баш на баш (сто на сто).

— Вот тебе трешница (3-хрублевая).[7]

Смердяков.[8] Лизавета Смердящая. «Тело невеличко,[9] всего двух аршин, двух вершков была (всего двух аршин, двух вершков с малыим)».

— Тут весь безудерж наших генералов... и проч.

Смердяков:[10] «Э-эх, влюбился в одну подлую, с тем[11] и пропал».

Смердяков: «Нет-с, женщину я бы стал в повиновении держать».[12] ⟨16⟩

Сад Федора Павловича забором отделялся от другого сада, соседского. Соседский сад был такой же величины, как и сад Федора Павловича, т. е. не менее одной квадратной десятины,[13] в нем росли яблони, крыжовник, малины, по возможности поддерживались гряды, накашивалось несколько пудов травы, и это был почти весь доход обитателей жалкого соседского домишки, к которому[14] принадлежал этот сад. Федор Павлович подумал было когда-то приобресть это соседское место, единственно чтоб увеличить свой сад, но скоро смекнул своим хитрым умком, что приобретать тут нечего. Хозяева домишка были[15] безногая старуха, вдова-мещанка и ее дочь. Домишка их был давно в закладе. Случались даже и покупатели; одному из них[16] старуха отда-

---

[1] *Смердяков. вписано позднее.*

[2] *Вместо:* Ударил — *было начато:* Закри⟨чала⟩

[3] *Рядом с текстом:* «Ударил ∾ за нож. — *три восклицательных знака.*

[4] — Русский язык ∾ Для него. *вписано позднее.*

[5] *Рядом с текстом:* — Русский язык ∾ (проповедей). — *три восклицательных знака.*

[6] *Рядом с текстом: Извозчик* ∾ любопытно». — *три восклицательных знака.*

[7] *Рядом с текстом:* — Вот они ∾ 3-хрублевая)». — *три восклицательных знака.*

[8] Смердяков. *вписано на полях позднее.*

[9] *Было:* малое

[10] *Смердяков вписано на полях позднее.*

[11] с тем *вписано.*

[12] *Смердяков:* «Нет-с ∾ держать». *вписано позднее.*

[13] *Вместо:* такой же величины ∾ квадратной десятины — *было: а.* довольно обширен *б.* такой же величины, как и сад Федора Павловича, не менее как в квадратную десятину величиной

[14] *Было:* жалкого домишки, которому

[15] *Далее было:* старая

[16] одному из них *вписано.*

вала всё рублей за 350 и взяла[1] задаток, не объявляв, что дом где-то и кому-то давно заложен. Покупатель, узнав[2] перед совершением купчей (она же к нему сама и подсылала уведомить о том[3] будто со стороны),[4] прибежал,[5] бранился, но старуха задатка не отдала,[6] тем и кончилось.[7] Федор Павлович предлагал было цену «маленькую», но она вдруг жидовела,[8] набавляла цену безмерно, торговалась — и дело кончалось ничем.

Старуха еще года два тому могла ходить и кое-что работала, ходила по людям комиссионеркой, вещи продавала и процент брала, но зарабатывала чем дальше, тем меньше. Когда же у нее отнялись совсем ноги, то приехала к ним ее двадцатидвухлетняя дочка, Марья Николавна,[9] проживавшая[10] до того в губернском городе «на месте» в одном богатом доме. Хоть и была она всего только горничной, но держалась как барышня и имела два-три недурных платья. Делать она ничего не умела, даже шить. Просила, правда, Марфу Игнатьевну доставить ей шитье белья, но исполняла заказы неаккуратно и неумело, из-за чего они почти и прекратились. Дело было летом, есть совершенно нечего. Молодая девушка начала ходить к Марфе Игнатьевне за супом, та наливала им миску и давала им хлеба, тем и питалась старуха соседка с дочкой.[11] Тем не менее никогда в Марье Николавне, приходившей с миской, нельзя было заметить ничего[12] просительного и приниженного. Она являлась[13] как посланная от матери. Каждый раз почти, вступая в разговоры, заявляла, что она не привыкла к этой участи и гнушается ⟨17⟩ ею. Суп брала почти что с высокомерием, точно выговаривая: еще бы вы нам-то не дали. Платья свои она не закладывала и не находила ровно ничего дурного в попрошайничестве. Правда, она была довольно разбитного и приятного характера, как отзывалась об ней Марфа Игнатьевна. Она много рассказывала о губернской жизни, про всяких господ, как они живут. Григорий хоть и хмурился подчас, но был вежлив.

Одну ошибку она[14] сделала в самом начале, а именно как бы[15] не заметила Смердякова, по какому-то предрассудку, отдаленному

---

[1] *Было:* и брала
[2] *Было:* узнавал
[3] *Было:* о закладе
[4] *Далее было начато:* бран⟨ился⟩
[5] *Было:* прибегал
[6] *Было:* не отдавала
[7] *Было:* кормилась. *Далее было:* Впрочем, проделала она вещь эту всего только два раза.
[8] жидовела *вписано.*
[9] Марья Николавна *вписано.*
[10] *Было начато:* жив⟨шая⟩
[11] *Далее было:* Смердяков
[12] *Вместо:* нельзя было заметить ничего — *было начато:* не было ничего
[13] *Вместо:* являлась — *было начато:* прих⟨одила⟩
[14] *Далее было:* как бы
[15] *Было: а. Начато:* не з⟨аметила⟩ *б.* почти

преданию или вообще почему-то считая его внимания не стоящим.[1] А Смердяков-то и был [2] настоящий повар, и суп во многом зависел от него, не только во вкусе, но и в отпуске. Марфа Игнатьевна намекнула легкомысленной девице, та поняла и стала с Смердяковым совершенно любезною. Тот очень долго не поддавался, не прощал,[3] суп отпускал, но с чрезмерною важностью в физиономии. И что ж? Случилось нечто, чего даже ожидать нельзя было. Марье Николавне, любившей господ и высшее общество, понравилась именно неподатливость Смердякова, именно его холодный тон и совершенно⟨е⟩ несходство ни с каким «человеком» из того класса, в котором пребывал Смердяков. Смердякову ж очень понравились два ее платья, одно с хвостом, и то, как она умеет повернуть этот хвост. Вначале он пришел от хвоста в негодование, но потом [4] очень понравилась. Оба отличили друг в друге высших людей. При всем этом Марья Николавна не отличалась слишком большой красотой: была высока ростом и очень худощава, на лице же ее было несколько даже рябинок, правда [5] лишь несколько, но всё же ее портивших. Добрая Марфа Игнатьевна находила ее даже очень хорошенькой.

Марья Николавна долго зазывала [6] Смердякова посетить их и познакомиться, причем выражалась [7] приятно: посетить их прибежище (т. е. убежище), посетить их уголок или гнездышко. Смердяков всегда что-то мычал [8] в ответ, по крайней мере не бранился. Все-таки она приглашала с какой-то улыбкой и даже развязностью. Смердяков и не шел. Но вот наконец стала приглашать уже без всякой развязности и прямо с просящим лицом.

— Да чтой-то ты не хочешь пожаловать, время, что ли, нет у тебя, — заметила наконец раз Марфа Игнатьевна, которой было очень про себя приятно видеть знакомство двух молодых людей. Скажи при этом Марфа ⟨18⟩ Игнатьевна какую-нибудь неловкость, намекни она [9] на то, что вот, дескать, вы молодые люди и в дальнейшей судьбе волен бог, и всё бы испортила. Ни за что бы и никогда не пошел к соседкам Смердяков и даже говорить бы перестал. Но бог пронес тучу, и Смердяков пошел в гости,[10] — не на другой день, не на третий, а лишь на четвертый. Конечно, он считал это изящнее.

— Я зашел-с, и напротив-с. Я вас давно прежде видел.

— И я вас видела.

---

[1] *Вместо:* внимания не стоящим — *было:* ничем
[2] *Далее было начато:* на самом
[3] *Вместо:* не прощал — *было начато:* хранил видимость
[4] *Далее было начато: а.* пон⟨равилась⟩ *б.* ст⟨ала⟩
[5] *Далее было начато:* немно⟨го⟩
[6] *Далее было начато:* к се⟨бе⟩
[7] *Было начато:* говор⟨ила⟩
[8] *Далее было:* про себя
[9] *Далее было начато:* пользуясь своим стар⟨шинством⟩
[10] в гости *вписано.*

Иглу проглотила (недели две).
«Непобедимой силой».[1] ⟨19⟩

— Разве она может любить такого, как я? (№3 сравнительно с Иваном).
— А мне так кажется, что она любит такого, как ты.
— Она добродетель любит, а не меня.
— Не беспокойся, она истинно добра, она великодушна.
— Зачем же я эти три недели с отцом-то? Я ведь знаю, что ничего не имею права. Я так бы и бросил его, да вот 3000 эти отдать.
Ильинский Алеше (мельком): «Он Ивана всё отсылает в Чермашню. Ждет ее».
— Калоши буду. За водой бегать. Нет уж, тут кончено! — сказал фатально.
— Не беспокойся, она истинно добра, она великодушна.[2]
— 3000, от Смердякова знаю.
— Скажи, что кланяться велел.
— Убью, может быть.
— Иван — ученый.
Ильинск⟨ий⟩ задумчиво: «Я их мизинца не стою, но если она любит, то простит».
— Она спасать меня хочет. ⟨20⟩
В Чермашню?
— Когда к отцу придет, тогда ведь конец всему моему фантому. Как я женюсь тогда?
— Убью, может быть, и себя убью.
Алеша: «Ах, Дмитрий, как ты несчастлив!»

— Да ведь и моя, я думаю, мать его мать, *как вы думаете?* ⟨21⟩
Задумался Ф⟨едор⟩ П⟨авлови⟩ч.

— Ах ты, казуист! Да ты вот что созерцаешь. Да ты, пожалуй, черт знает до чего дойдешь.[3]
— Он какой-то точно и не наш вовсе, на нас глядит.
— Да ты сам в себе отрекся?
— А, вот что. Это грех, действительно, если сам в себе, только грех невеликий-с. Разве за сумление справедливо очень наказывать? Что же, коли на меня тогда, примерно, сумление как раз в ту самую минуту нашло, примерно даже от страху, когда и рассудить-то нельзя хорошо. Чем же я тут особенно виноват даже перед всеми людьми? К примеру, перед всеми прочими человеками? Ведь сказано, гора — в море. Попробуйте сказать, чтоб не только гора, а наш дом в речку съехал, так и увидите, что всё останется в целости и ничего не сдвинется. Скажите, что и вы не

---

[1] — Я зашел-с ∞ силой». — *разрозненные записи на полях.*
[2] — Не беспокойся ∞ великодушна. — *заметки на полях.*
[3] Задумался ∞ дойдешь. *вписано позднее.*

верите, Григ⟨орий⟩ Васильич, как следует,[1] а только других за это самое неверие ожесточенно браните. А так как никто в наше время, никто решительно, не может сбросить горы в море, значит, и все, как один, точно так же неверны.[2] Так неужели же всех проклянет господь и при милосердии своем, столь известном, никому не простит? А потому я уповаю, что, раз усумнившись, буду прощен, когда раскаяния слезы пролью. Что ж, если сие придется так, что я именно всё был верен, а вдруг пред мучителями-то и усумлюсь. А что я не по-обыкновенному, как все, виноват, а перед самыми мучителями отрекся.[3] А что я отрекся от него пред мучителями, потому что я тогда, согрешив, был уже всё равно как потерян и отрекаться мне ни от чего вовсе и не было. Ведь коли б я тогда веровал, то действительно был бы грешен, если б мук за свою веру не принял. Но до мук и не дошло бы тогда-с, если б я, то есть впрямь, веровал...[4] Стоило бы мне тогда ближней горе али даже дубу какому стоящему[5] сказать: подави мучителей, и она бы их всех подавила, и никто бы с меня шкуры не снял, и пошел бы я как ни в чем не бывало.[6] А коли я притом в этот момент нарочно именно и специально кричал: подави гора, а она не давила. Значит, как же бы я не усумнился? В конце концов, никакого тут специального греха не было-с, а коли был грешок, так обыкновенный весьма-с... И напрасно они кожу свою[7] какому-нибудь поганцу азияту, который всё равно как бы мыши, дали с себя содрать...

Ф⟨едор⟩ П⟨авлови⟩ч очень смеялся и очень был доволен.

— А коли она не движется, то как же мне веру не потерять, да еще в такой страшный специальный[8] момент? Тут ведь я всё равно не верую, а может, и нет ничего, за что же я шкуру отдам?

— Что ты, анафема, проклят, а потому не христианин. Так как думаешь, там в аду-то тебя за это по головке погла⟨дят⟩?

— Врешь, врешь, врешь, галиматья![9] Это бред⟨?⟩ всё ⟨?⟩ Вал⟨аамовой ослицы⟩⟨?⟩.[10] ⟨22⟩

⟨ЧАСТЬ ВТОРАЯ⟩

Старец худ, обряды.
Целование.
Поучения.

---

[1] как следует *вписано.*
[2] *Над строкой:* ⟨*нрзб.*⟩.
[3] А что я ∾ отрекся *вписано.*
[4] если б ∾ веровал... *вписано.*
[5] али даже дубу какому стоящему *вписано.*
[6] и пошел ∾ не бывало. *вписано.*
[7] *Над строкой было начато:* Не побоялся
[8] специальный *вписано позднее.*
[9] *Над строкой:* ⟨*нрзб.*⟩.
[10] — А коли она ∾ ослицы?⟩ — *заметки на полях.*

Волнение.

Ракитип.

Това⟨рищ⟩ у Алеши.

Алеша заметил монашка.

Монашек и инок Ферапонт.

Монашек, воротившись, на колени встал, чуду внимал, монашек мелькал, но Алеша не заметил, потом он припомнил всё, но в настоящую минуту было не до того. Старец вдруг, утомясь, уже в постели и заведя глаза, как бы вспомнил о нем и потребовал его к себе.[1]

Старец высылает Алешу.

Отец Паисий подтверждает: «Ступай, сирота».[2]

Выходит в волнении.

Почувствовав, что еще *силен:* «Буду говорить».[3]

— Вы не можете не сообщить, не имеете права.

Хотя Алеша и поспел, но Ракитин раньше его передал отцу Паисию, которого тоже вызвал.

— То ли еще узрим.

Стало быть, и Паисий подвергался сему легкомысл⟨ию⟩ монахов.

Всех же больше совершившимся чудом, казалось, был поражен захожий монашек из Обдорска. Дело в том, что он был в некотором недоумении и почти не знал, чему верить. Еще вчера он был за пост, а про старчество он и прежде слыхал как про вредное новшество. Не без того, что заметил в монастыре, он выслушал и некоторые осуждения, сходные с своими, иных легкомысленных и ропщущих братий — и вот теперь вновь чудо. Алеша заметил, что шныряет.

Всего более поразил он инока, что был виду крепкого. «Человечьим».

— Но я тебя во сне видел.

— Человечьим.

— Содержишь ли посты? Ныне поганцы говорят, что поститься столь нечего, великое заблуждение.

— У нас устав. Но что значит сие перед вашими двумя ломтями.

— Говорите вы, лишь хлебца кусок вкушаете.

— А грузди, — произнося придыхательно, вроде французского *аш.* NB выговаривая *г* придыхательно, почти как *хер.*

— Я-то от их хлеба уйду, не нуждаясь, хотя бы и в лес. А они-то[4] пе уйдут от хлеба...

— Кто?

— Здешние.

---

[1] монашек мелькал ∾ его к себе. *вписано.*

[2] «Ступай, сирота». *вписано на полях.*

[3] Почувствовав ∾ говорить». *вписано на полях.*

[4] *Далее было:* здесь

— Ныне ученые. Я малограмотен, а достигну.

— Что говорят, будто вы Святодух.

— А черти? один на пупе висит. Страшно, а как унесет?

— Хвост придавил да закрестил, погнил, должно быть, теперь. ⟨23⟩

— Правда ли, что со святым духом общение имеете?

— Слетает. Бывает.

— Как же слетает, в каком же виде?

— Птицы, в виде птицы.

— Святой дух в виде голубине.

— То святой дух, а то Святодух, Святодух слетает. Птицею, ино ласточкой, ино щеглом, а ино и синицей.

— Как же вы узнаете его?

— Говорит.

— Как говорит, каким же языком?

— Человечьим, человечьим.

— Чего же он вам говорит?

— Вот сегодня возвестил, что дурак посетит. Много, инок, знать хочешь.

— Страшно и ужасно сие.

— Бестолковые вы люди. Како наблюдаете пост?

— Трапезник наш по древлему скитскому. [1] ⟨24⟩

— Красным-то лучше, а белое-то на больницу похоже.

— Она услышит, что я засадил, — она к нему пойдет. А услышит, что тот меня избил, — она ко мне придет. Вот характер — (только чтоб насупротив делать).

— Коньячку хочешь, я тебе кофе дам.

— Вот вы и добрые стали.

— Ничего, совсем не добрые, ступай.

Руку поцеловал.

— Ну хорошо (bis), — боясь расчувствоваться. — Ты что? (расчувствовался) еще увидимся. Алеша! Думаешь, не увидимся? [2]

— С тобой только одним бывали у меня добренькие минутки, а то я злой человек.[3]

— Он у Дмитрия невесту хочет отбить, для того здесь и живет. Он мне сам сказал.

— Неужто он это вам сказал? (Тревожное чувство. И вдруг ему померещилось, что он действительно мог сказать это, не в самом деле, а для того, чтоб глаза отвести, зачем он живет. Но в таком случае зачем он живет? Не сам же зарезать хочет.) [4]

— А то как же? не от меня же ему денег выманить.

Нос. Подтеки пятнами. Придавало злобный вид. Он, кажется, это знал сам и злобно поглядел на входившего Алешу.

---

[1] — Бестолковые ∾ скитскому. *вписано на полях.*

[2] — Вот вы и добрые ∾ не увидимся? *вписано на полях.*

[3] — С тобой ∾ злой человек. *вписано на полях позднее.*

[4] Не сам же зарезать хочет. *вписано позднее.*

— Красный-то лучше. Зачем пожаловал?

— Узнать о вашем здоровье.

— Да. И, кроме того, я тебе сам велел. Только: напрасно тревожишься... Вздор это! Я его раздавлю. Тараканы ползают. Иван. И никакой у него такой учености нет, да и образования нет. Коньячок в шкафу. Я сегодня на ухе. 15 лет жить, для себя жить. ⟨25⟩

— У меня теперь вдруг озарение (дрожь).

— Да то, что ни вы Дмитрия не любите вовсе, с самого начала, ни Дмитрий вовсе не любит вас, а только чтит (да, он чтит, я знаю это).

— Что это, Ал⟨ексей⟩ Ф⟨едорови⟩ч, что с вами!

— Я не знаю, что со мной, и, право, не знаю, как я это вот смел, но надо сказать правду.

— Какую правду?

— А вот какую (как будто летя с кровли).[1]

— Позовите Дмитрия и пусть руки соединит — потому что вы только его и любите, а мучаете его. Если вы его любите, то подайте ему руку, а если не любите, то скажите это ему прямо, чтоб он уже знал и не думал [2] ничего, потому что он вас любит и мучается.[3]

— Вы подлый... юродивый.

— Может быть, может быть, я ужасно виноват.

Иван выходит.

— С Кат⟨ериной⟩ Ив⟨ановной⟩. Смех и слезы.

— Подите, вот 200.

— Только ты ошибся, мой добрый Алеша: никогда она не любила меня.[4] Гордая женщина, как Катерина Ив⟨ановна⟩, не нуждается даже и в дружбе.[5] Тоже было мщение мне за вчерашнее. И два месяца сряду дост⟨аточно⟩ [6] я выслушивал о любви к тому, но Катер⟨ина⟩ Ив⟨ановна⟩ знала о любви моей к ней, хотя я ей никогда не говорил о любви.[7] Я никогда ведь вам не говорил о [8] любви.[9] Таким образом я доставлял ей наслаждение язвить каждодневно рассказами о любви к тому. Теперь еду. Но знайте, вы любите только себя и никого больше,[10] по мере оскорблений — всё больше и больше.

И всю жизнь, всю жизнь будете уверять себя, что любите того,[11]

---

[1] — Какую правду? ∾ с кровли). *вписано позднее.*

[2] *Незачеркнутый вариант:* не надеял⟨ся⟩

[3] Если вы его ∾ и мучается. *вписано на полях.*

[4] — Только ты ∾ не любила меня. *вписано позднее.*

[5] как Катерина Ив⟨ановна⟩ ∾ в дружбе. *вписано.*

[6] И два ∾ дост⟨аточно⟩ *вписано.*

[7] *Далее было начато:* Зная

[8] *В рукописи:* про

[9] Я никогда ∾ любви. *вписано.*

[10] *Вместо:* себя и никого больше — *было:* того

[11] И всю жизнь ∾ любите того *вписано на полях.*

и именно такого, как он, и именно вас оскорбляющего, чтоб созерцать ваш подвиг, вашу верность, как я уже вам и сказал, и тем любить лишь одну себя.

— Иван! Это неправда, неправда, в эту минуту по крайней мере неправда, потому что она слишком оскорблена.[1]

— Надрывом боретесь с ним, и это не от принижения, а именно от гордости. Принижение паче гордости. Я слишком молод, и я влюблен в 1-й раз. Я позволил себе это высказать. Можно б было не объяснять вовсе. Но ведь я еду навсегда. И не сердитесь на меня,[2] знайте, что я уже наказан: более вас никогда не увижу. Прощайте, мне не надобно руки вашей; вы слишком сознательно меня мучали, а этого я вам простить не могу. «Den Dank, Dame, begehr ich nicht».[3]

— Таким молоденьким человеком вышел, что *очаровательно,* вовсе не ученым таким, что очаровательно.

— В вас гораздо больше ума, чем я думала.

— Благодарю за комплимент.

— Ах, простите, простите.

— Но видите, теперь я опять не знаю, Ивана ли любит она или Дмитрия?

— И какой я был мальчик! И как я смел! Как я смел! ⟨26⟩

Ему казалось, что он причиною новых несчастий. Во всяком случае наглупил, выскочил.

Надо было Ивана. Непременно, непременно.

Усложнение.

Поручение близ квартиры Мити.

Тут он стал обдумывать поручение.

Мальчик припомнился.

Столичный трактир.

Доброе лицо, какой-то новый человек сидел перед ним (брат Иван).[4]

— Там произошло такое, об чем тебе и еще слишком рано знать, Lise; всё, что можно тебе рассказать, я расскажу тебе сама, когда вернусь от Кат⟨ерины⟩ Ивановны...

Алеша и Lise.

— Всё, что можно знать. Вы охраняете нравственность. Министр доносит, что нравственность хороша.

— А.

— А об остальных мильонах людей ни слова, надо, чтоб все...

— Все, все, — крикнула Lise.

— Давайте вместе!

---

[1] и именно такого ∾ слишком оскорблена. *вписано на предыдущей странице рукописи.*

[2] Можно б было ∾ на меня *вписано.*

[3] «Награда не нужна мне, госпожа» (*нем.*).

[4] Столичный трактир. ∾ Иван). *вписано и очерчено рамкой.*

— Если б вы знали, Lise, какие голодные! Мы виноваты (Старец).

Lise: «Чем же мы-то?»

Ал⟨еша⟩: «Всё равно мы возьмем на себя, и если б никто не взял, а мы одни возьмем, то и то *не сомневаться*...»

— Вы новое платье наденете? Бархатный сюртучок. Белая пуховая шляпа и маленькая роза в петлице. Это очень хорошо. Вы будете не отходить от меня.

— Нет, Lise, это не так, я уж об этом думал. Если надо идти, так я, естественно, уйду. Ведь насмотримся.

— Нет, это не так. Это потому, что вы еще меня не любите, что́ между нами происходит теперь, то это брак по рассудку, вам Старец велел жениться, вот вы меня и выбрали. Вы холодны.

И потом: «О, как вы холодны!»

Ходил, ходил и поцеловал.

— Нет, это мы еще не умеем.

Поцеловал.

— Что с вами?

— Я и сам думаю, что это ужасно глупо.

— Глупо?

— Я думал, что жених. Вы говорите, холодный. От маменьки тихонько.

— Тихонько, тихонько, я сама скажу, а вы раньше меня ни слова. ⟨27⟩

— Евпл. Нравится вам мое имя?

— Отменно хорошо умею понимать-с.[1]

Воротился Алеша.

— Катерина Ив⟨ановна⟩ больна, в жару, бредит — заснула.

Вышел от Катер⟨ины⟩ Ив⟨ановны⟩. «*Наглупил!* вот выскочил». (Старец).

Брата Митю — на квартиру (поручение к мочалке недалеко от квартиры Мити).

— Я, может быть, даже много напортил.

— Как *глубоко* говорил ей брат Иван, как он был зол.

— И все-таки, может быть.

Ему надо было брата Ивана.[2]

Брата же Ивана он уверен был, что встретит.

После Lise пошел к Фоме, *две хозяйки*.

Смердяков.

Ивана — в трактире.

Съел свой хлебец.

Банная мочалка, мальчик.

— Высеку.

---

[1] — Евпл. Нравится ∾ понимать-с. *вписано*.

[2] — Я, может быть ∾ брата Ивана. *вписано на полях*.

— Не высеку. Отрежьте пальцы-с.
— Папа, папа, какой это нехороший город, папа.
— Вот мы переедем в хороший город, Саша.
— Ведь мальчик у нас с лошадкой родится.
— Фокусик, фокусик я вам один покажу-с.
— А что же я моему мальчику скажу-с, если 200 приму, ведь я уже не вправе принять.
— Губенки-то вздрагивают. Змей спускать.
— Словоерс приобретается в унижении-с.
— Штабс я капитан-с.
— Словоерсом стал говорить-с.
— Штабс-капитан Словоерсов-с.
— Снегирев-с.
— Я этот хлеб, говорит, не заработала и сидит голодная.
— Мудреное наше время-с.
— И ничего во всей природе благословить он не хотел-с.
— Вы меня прослезили-с.
— Так ведь прослезил меня.
— Мой помет-с.
— Умру я — кто-то их возлюбит.
— ...Ну так вот, так и доложите-с, вот она какая, мочалка-с. ⟨28⟩
— Офицер русской армии-с. Хоть и посрамленный офицер, но всё же офицер-с. Мочалка чести своей не продает! А кабы продал, что бы я мальчику-то моему сказал-с?
— Горничную девушку надо нанять, я-то, положим, горничная, но ведь разве только собака-с, а горничную девушку нанять, надо денежки заплатить.
— В России пьяные люди [1] самые добрые. Самые добрые люди у нас самые пьяные-с есть.[2] Маменьку люблю-с.[3] Нечего делать, надо бюджет-с. Надо, чтоб Россия в Европе сияла-с, за просвещение Европе надо заплатить-с, вот и пьют наши самые добрые, чтоб за весь этот блеск оплатить. Шутка ли, сколько надо денег, чтоб одних дипломатов держать. Хотел было я с малых лет в дипломаты-с, да вышло, что рылом не вышел-с. Шуты вы, говорят, паяцы, разве может у вас что разумное быть. Так говорю, Варвара Николавна: разве может у нас что разумное быть? ⟨29⟩
«Фокусик». Что-то как бы *дернулось* в его лице.
На дороге: «Я очень бы хотел помириться с вашим мальчиком».
— Точно так-с. Позвольте-с.
— Кричал, бежал: папа, папа. Пришли мы сюда-с. Обхватил мне ручками шею, обнял, заплакал: папа, папа! И я заплакал-с... Оба заплакали. Знаете, как у детей, когда слезы от большого горя

---

[1] *Далее было:* у нас
[2] *Вместо:* Самые добрые ∾ пьяные-с есть. — *было:* так что выходит у нас, что самые добрые люди и самые пьяные есть.
[3] Маменьку люблю-с. *вписано.*

текут, — ведь это брызгами-с, теплыми брызгами-с; обмочил мне лицо, зарыдал, как в судороге затрясся, обнял меня: папочка, папочка. Бог видел-с. Дети, коли молчаливые, гордые, да перемогают долго слезы в себе, да как прорвутся: трепещется, как раненый голубочек.[1] Обнялись мы, сидим и сотрясаемся. Бог всё это видел-с, видел-с и записал-с.

— Денег с него не бери. В школе говорят, что он тебе даст 15 руб.[2]

— Как же ты, говорит, его сам.

— Слаб я, говорю, а он вдвое сильнее.

— Кто же сильные?

— Богатые сильные, говорю.

— Папа, я разбогатею. Я в офицеры, я всех разобью, я приеду, и тогда никто не смеет.[3]

— Я вам советую не посылать его в школу.

— Больше не пошлю-с, да и болен он. Кашель.

— Федор Павлович разгневались и лишили своих милостей. Заподозрил меня, что я будто бы про его замыслы на Аграфену Александровну Степану Михайловичу передал.

— Фребелевску⟨ю⟩ систему у нас вводят-с, — просвещение-с. Читают. Песенки поют-с.

— Из простых-с, Алексей Федотыч, Федот Алексеич, Федот Федотыч. ⟨30⟩

M-me Хохлакова вышла в беспокойстве: Катерина Ив⟨ановна⟩ затворилась, генеральша хотела было домой, заснула. Все сидят около. Заперлась. «Боюсь, что серьезно» (NB. Действительно горячка.)

— Посидите с Lise. Простите ее. Она плакала, что оскорбила вас. Помиритесь, посидите здесь, а я там.

A part:[4] «Алексей Федорович, не обижайтесь ею, не имейте претензии: она добрая, но она больная. Я сама только и делаю, что щажу ее. Она говорит, что вы были ее другом детства. У ней очень серьезные на этот счет чувства. Если б вы знали, у ней на этот счет воспоминания. Стояла сосна. Мама, я помню это со сна. И тут она мне наговорила что-то такое хорошее, я не умею выразить, до свидания. Посидите с ней, ободрите ее, как вы сумеете сделать».

Ушла, Алеша воротился.

— Послушайте (без глупостей). Мне мама сказала, какое поручение. К бедному отставному офицеру. Вот вы теперь рассказали, что не удалось. Почему же не удалось, я мало поняла...

---

[1] Знаете, как у детей ∾ как раненый голубочек. *вписано на предыдущей странице рукописи.*

[2] — Денег с него ∾ даст 15 руб. *вписано на предыдущей странице рукописи.*

[3] — Как же ты ∾ никто не смеет. *вписано на полях.*

[4] В сторону (*франц.*).

Алеша рассказал и про Илюшу. Сильное впечатление: «Как же вы ему не вручили?»

— Завтра вручу.

Рассуждение Алеши. Восторг Lise, *дебаты вместе.*

— Как вы умны, я бы никогда не выдумала.

— Lise, Lise, Старец говорил, [1] что как за детьми ходить.

— Давайте ходить вместе. Откиньте глупости — давайте ходить, ваш Старец святой.

— Да — народ, сколько бедных, один мильон.

— Пойдемте вместе. Вы не думайте, эти глупости, это только, это вздор.[2]

— Пойдемте.

— Ах, как я счастлива!

— И я счастлив. Я вас помню, Lise: вы еще с детства необыкновенно высказывались (quelque chose dans un mot),[3] вы из всех одна. Избрана будете. ⟨31⟩

— Как я счастлива! Алеша, я ведь... (и не может сказать). Я ведь в самом деле написала.

— И тем лучше.[4]

— Тем лучше? Разве вы любите? 15 лет и $^3/_4$ и т. д. Но вы так холодно. Что это с вами? Вы так хладнокровно (поцеловал).

— Вы не умеете. Алеша, как вы любите? Я вас просто люблю.

Алеша: «Я не знаю, просто ли я вас люблю. Вообще я ничего в этом не смыслю».[5]

— Давеча письмо.

— А! так значит, вы так много понимаете.

— Посмотрите, не подслушивает ли мамаша? Поцелуйте мне руку.

Бархатный костюм. Упоение Лизы. Опять поцелуй.

— Маменька подслушивает. Ну, идите, идите к Старцу... и проч.

— Ах, он хороший! Ах, он великий!

Выходит: Хохлакова.

— Выйдя в свет, надо жениться. Это-то я знаю, как я ни молод. Я заметил в вас много способностей, каких во мне недостает. Потом заметил, что вы любите бедных. Потом, что вы задаете вопросы и что вопросы эти вас очень интересуют. Я знал женщин, но с вами я рос, хотя мы и разных лет, так что всех ближе — это вы. Сидя в креслах, вы должны были думать.

Алеша: «Вы лучше меня, вы глубже. У вас душа веселее и вы добрее. Вы смеетесь как ребенок и мыслите [6] как мученица.

---

[1] *Далее было:* о народе: сколько бедных, сколько горя

[2] Вы не думайте ∾ вздор. *вписано.*

[3] нечто в одном слове (*франц.*).

[4] *Далее было:* Вы такой холодный.

[5] — Тем лучше? ∾ не смыслю». *вписано на полях.*

[6] *Далее было:* иногда

Вы очень глубокие вопросы иногда задаете. Я вас с детства знаю. Вы сейчас задали один вопрос. Я каждую мысль вашу знаю. Вы и не знаете, как вы хороши и чисты сердцем. (Давеча письмо.)».

— Алеша, как я счастлива. Знаете, я давеча *это письмо*. Я за вами буду смотреть, как мамаша, в щелку.

— Это, конечно, предрассудок, но ведь нельзя же вам не быть женщиной.

— Вы думаете, что все женщины подсматривают? Алеша, ведь вы ничего не понимаете в женщине.

— Ах, правда, вы правы, только подслушивать нехорошо.

— Да ведь я же из любви подслушиваю, беспокоюсь за милое существо.

— На практике, без сомнения, это может быть иногда прекрасно, но по принципу — нехорошо.

— Нет, Алеша, не будем ссориться в самом начале. Видите, это может быть и впрямь дурно, только я все-таки это буду делать.

Алеша: «Делайте. Ведь мне всё равно, я не за себя, я, что бы вы там ни подглядели и ни подслушали, буду в главном поступать, как я прежде по долгу решил».

— В главном пусть.

— А не ⟨в⟩ главном?

— А не ⟨в⟩ главном во всем уступлю.

— Так и я вам во всем уступлю.[1]

— А я вам в самом главном уступлю.

— Объявляю вам, что я не буду подслушивать, никогда, никогда, потому что вы правы, и хотя бы мне ужасно хотелось подслушать... *(Ну, ступайте к Старцу.)* ⟨32⟩

— О, теперь уже приходите как можно чаще. Разве мне можно теперь без вас? *Мы всё* будем говорить, как мы будем вместе жить. Мы всё будем с вами говорить об этом. Т-с... Мама подслушивала, она сейчас отошла. Я знаю ее ногу, я слышала, ступайте, ступайте.

Когда Алеша вышел.[2]

— Ах да! Какое горе у вас? вы давеча говорили.

— Ах, Lise, я вас не стою совсем, вот вы вспомнили про мое горе. Братья губят себя, отец тоже, и других губят, и так это всё безобразно, помочь нечем, а я — лишаюсь [3] друга, отца моего, и должен начать совсем новую жизнь. И, клянусь, то, что вы мне сказали, воскресило меня... Но мне пора — может быть, он умирает.[4] ⟨33⟩

Алеша о штабс-капитане с Lise: «Это человек трусливый и очень слабый характер. Он очень измученный и очень добрый. Я об этом думаю, чем он обиделся? Он многим обиделся: первое, тем, что очень

---

[1] *Далее было начато:* и даже в
[2] — Т-с... Мама ∾ Алеша вышел. *вписано.*
[3] *Было:* должен бросить
[4] И, клянусь ∾ умирает. *вписано.*

деньгам обрадовался. Нет, уж он очень обрадовался...[1] Я ведь видел, у него голос был такой слабый, ослабленный, а говорил он мне скоро-скоро... в восхищении и плакал... до того в восхищении, что вдруг ему и стыдно стало за то, что слишком восхищен. Я тут ошибку одну сделал... Этот человек больной, слабонервный, очень слабый. Он обиженный человек, Lise, и обида внутрь *вошла*,[2] второе, что передо мной восторга не скрыл и слишком меня за друга припял — вот это очень важно — слишком меня за друга принял[3] и мне доверил, а в-третьих, что я ему очень уж сам проговорился, сказал, что мы и еще дадим и что и у меня есть для него деньги сколько угодно... Тут вдруг он и обиделся, что я ему тоже и от себя предложил сколько угодно. Главное то, что он, хоть и не знал до самого последнего мгновения, что растопчет кредитки, но всё же со страданием что-то предчувствовал *про это* среди еще восторга — потому-то и восторг так был силен, что он это предчувствовал, он и предчувствия хотел избавиться этим восторгом. Он восторгом хотел задавить предчувствие и избавиться его.[4] Но знаете, это, может быть, к лучшему. Я так решил, что к самому лучшему».

— Почему же?

— Потому что растоптать кредитки было слишком прельстительно, хоть и стоило ему это 200 руб., т. е. всех надежд, всего счастия. Если б он не растоптал, а взял кредитки, он бы заплакал, придя домой, через час о своем унижении... А теперь он пришел гордый и торжествующий, хоть и погубил себя. А стало быть, теперь ничего нет легче, как заставить его взять эти 200 руб., потому что он раз уже честь свою доказал... и уверен теперь, что его за гордого человека знают. А потому его теперь очень недолго придется упрашивать и т. д.

Иван: «Я поеду (в Москву), но не завтра, не сию минуту, несколько дней еще надо здесь пробыть, но я постараюсь так устроить, чтобы ее не видеть, скрыться от нее. У меня даже просьба к тебе, Алеша, покриви душой, скажи, что я уехал, ну, что, *кажется*, уехал». ⟨34⟩

«Великая корона».

«Милочка» (стих сочиняет).

— Что вы к нам не ходите? Что вы нас презираете? — это почти всегда повторяла Марья Ив⟨ановна⟩ (в веснушках). Но он обижался. Не являлся по неделям — был неразговорчив, молчал, становился у притолки. Разве соблазнила его лесть его стихотворному таланту. Сочинил один стих.

Тирада Смердякова о себе.

---

[1] *Далее было начато:* до того обрадо⟨вался⟩
[2] Нет, уж он ∾ внутрь *вошла вписано на полях.*
[3] вот это ∾ за друга принял *вписано.*
[4] Он восторгом ∾ избавиться его. *вписано.*

Алеша с расспросами насчет 3000.

Смердяков: «*Перелезают* забор-с. Позвольте узнать, вы как же прошли-с?»

— Ах, как я люблю, когда сочиняют стихи!

— Это чтоб стихи, то это существенный вздор-с.

— Почему ж? Как же вы про русскую-то корону написали? Это стихи-с.[1]

— Стих не дело-с. Кто же в рифмах говорит? Это что я в рифму, в склад говорю: корона — здорова, силой — милой.

— Какой вы умный.

— Я бы не то еще знал-с. Если б не жребий мой «с малыим». Ненавижу русский народ-с.

— Кабы вы военным были.

— Я не только не желаю быть военным, но я желаю уничтожения всех солдат-с.

— Ах, господи. Кто же бы нас спас, когда неприятель придет?

— В 12 году-с хорошо кабы — и всё было бы теперь по-иному.

NB. — На дуэли очень, я думаю, хорошо. ⟨35⟩

Мать растерзанного ребенка.[2]

Камни веры.

— Понимаешь меня, Алеша?

— Очень понимаю.

— Не видал Дмитрия.

О Смердякове (очень заинтриговал).

— Тебя занимает Смердяков?

— Да.

— Брат, ты в самом деле завтра едешь?

— Не знаю — давеча о Катерине Ивановне.

— Всё о Катерине Ивановне — уеду.

— А Дмитрий и отец?

— Что я, сторож брату моему? (Каинов ответ.)

— Что ты, тверд в идее? Али нет?

— И тверд, и нет.

— Давеча (у Катер⟨ины⟩ Ив⟨ановны⟩): нам всем было так мало лет, и мы друг другу читали наставления.

— Брат, если ты уедешь, то Дмитрий...

— Сторож брату моему (жить сам хочу).

— Брат, ты в самом деле завтра уедешь?

— Я праздную, кончил с любовью. Это была глупенькая вещь, Алеша, однако ж так меня увлекшая на целые почти полгода, а это — институтка.

ГЛАВНОЕ.

Катерина Ивановна в бреду.

— Что там? ты был?

---

[1] Как же вы ∾ Это стихи-с. *вписано на полях.*
[2] Мать растерзанного ребенка. *вписано позднее.*

— Там очень нехорошо.

Омрачился. Сейчас же и рассмеялся.

— Я излечился (от любви).

— Я поеду мои могилы целовать.

— Не могу я допустить, чтоб эта будущая гармония стоила того, чем она куплена. А если и стоит того, то не хочу допускать, мне деток жальче, и я прошу меня от гармонии заранее уволить, возвращаю билет назад.

— Это бунт, — сказал Алеша.

— Бунт? Я бы не хотел, чтобы ты так это назвал. Можно ли жить бунтом, когда я не то что *не хочу* принять, а *не могу* принять. Ты можешь принять? Скажи.

(Молчит.)

— Алеша, веруешь ты в бога?

— Верую всем сердцем моим и более, чем когда-нибудь.

— А можешь принять? Можешь понять, как параллельные [1] линии сойдутся? Можешь понять, как мать обнимет генерала и простит ему?

Алеша молчит.

— Нет, еще не могу. *Еще* не могу.[2]

— Ты сама правда, ты не можешь лгать.

— Пойдем, поздно. (Расчет.)

— Как же ты клейкие листочки любишь? Как же ты жить хочешь?

— По-карамазовски.

— То есть всё позволено?

— Всё позволено. Я бы желал совершенно уничтожить идею бога. Не то, по-карамазовски, до 30 лет оттенка благородства хватит.

— А там?

— Или погрузиться в вонь сладострастия, али честолюбия, али жестокости, али карты полюбить, или...

— Или?

— Или истребить себя.

— Я рассуждал — можно бы погрузиться в игру, полюбить шахматы, стать банкиром и биржевую игру, стать придворным. Но [3] я пришел к заключению, что это мне, что это нам с тобой невозможно. Идея не умрет. Червем будет жить. Есть одна только вещь: скотское сладострастие, со всеми последствиями, до жестокости, до преступления, до маркиза де Сада. С этим еще можно бы, кажется, протянуть. Но для этого все-таки надо развить в себе всею жизнью этот огонь крови, но если и можно, то это гадко, а потому — истребить себя! Я стал на том, что до 30 лет и само проживется силою жизни, обаянием кубка,[4] обманами

---

[1] *В рукописи:* ⌗-е

[2] Можешь понять ∾ не могу. *вписано.*

[3] *Далее было начато:* мне

[4] *Вместо:* обаянием кубка — *было:* кубка

то есть,[1] ну а там истребить себя. До 30 лет еще и так проживу. Надеюсь на подлость натуры. Я тебе прямо говорю: если б меня отдали в каторгу или отдали в лакеи или в рабы и кормили каждый день пощечинами, то и тогда не истощилась бы моя жажда жить. Надеюсь на подлость натуры.

— Не проклинай.

— Как же ты жить хочешь?

— По-карамазовски (всё позволено).

— Сладострастие, но, может быть, и нельзя.

— Для тебя нельзя.

— Сладострастие. Погрузиться в скотское упоение, как отец. Да грязно очень. Лучше *ИСТРЕБИТЬ* себя.

— И... и ведь мы знаем, что он там ничего не нашел. Глупая проба — так ведь это мне обидно даже, вот ведь что!

— У нас сознание (30 000).

— Ты думаешь, я про бедных, про мужика, про работников? Они так вонючи, грубы, пьяны. Я желаю им всего лучшего, но не понимаю, как Христос согласился это любить, я Христовой любви не понимаю.

Ребенка.

— Если бы ты создавал мир, создал ли бы ты его на слезинке ребенка? Хотя бы и в самом деле было полное озарение, можешь ты согласиться?

— Где-то в трактире говорим о такой ахинее. Это только в России возможно.

Генерал.

— Расстрелять?

— Да.

— О, если уж ты говоришь «расстрелять». Слушай еще, но гляди-ка, Louis XVII, отрубить всем головы.

— Если б ты создавал мир, создал ли бы ты на слезинке ребенка с целью в финале осчастливить людей, дать им мир и покой? и для этого необходимо непременно было замучить лишь всего-то одно только крохотное существо, вот то самое, било себя кулачонками в грудь и плакало к богу ⟨*нрзб.*⟩. Слезы ребенка (я только про ребенка говорю). Нет, если ты честен, стоит мир кулачонка? Единственно потому, что можно формулировать один вопрос: согласился ли бы ты так создать?

— Нет.

— Пусть непонятное нам возмещение вечной гармонии. Аллилуйя. Согласился ли быть таким архитектором здания? Вот почему я мира не принимаю. Я говорил только про детей, пусть я клоп по уму, но если я честный клоп, то не должен согласиться из любви к человечеству, не должен. Возвращаю билет на вход — как слишком дорого стоит.

---

[1] обманами то есть *вписано*.

— Жизнь подла. Ум выдумал возмездие бога, но и бессмертие, если меня не будет — то подло.

— Прощай!

— Прощай, Иван. Я тебя люблю, Иван.

— И я тебя тоже.

— Больше не приходи, ступай к своему Зосиме.

— Жив ли твой Pater Seraphicus?

— Жив и последнее слово записал.

Инквизитор: «Зачем нам там? Мы человечнее тебя. Мы любим землю — Шиллер поет о радости, Иоанн Дамаскин. Чем куплена радость? Каким потоком крови, мучений, подлости и зверства, которых нельзя перенести? Про это не говорят. О, распятье — это страшный аргумент».

Инквизитор: «*Бог как купец.* Я люблю человечество больше *тебя*». ⟨36⟩

Христос. «Не стоит весь мир этой мысли — выдумка бога. Так она свята, так она трогательна — так разумна! И всё вздор — глупая проба».

— Пробный шар пущен.

«Верь тому, что сердце скажет».

Инкв⟨изитор⟩: «Разве это справедливо? Пусть справедливо, но я не принимаю».

— Тайну — что истины нет, бога, т. е. того бога, которого ты проповедовал.

Отчаяние не трагическое, а комическое.

Смеется. Когда повезли подлую тварь, поганую каналью поганого парламента.

Алеша встал и поцеловал его (молчит).

Ив⟨ан⟩: «Инквизитор! Инквизитор!»

Встали, вышли. «Прощай, голубчик». О делах.

— Ты не хотел, ты хотел свободного признания. Сделаю вас свободными, — говорил ты.

— Идея об 40 000 отцовских денег есть только грязь карамазовская.

— И если принять на этих условиях жизнь — то стоит она этого или нет?

— Нет, не стоит, — всё с тою же остановившеюся полуулыбкой ответил Алеша.

Смердяков: «Им бы тысяч 40 аль 50 досталось».

— О да, отдал сына своего, послал сам на пропятие, — смутил. О, это страшной силы аргумент, вековечный аргумент.

— Для чего ты пришел смущать наше дело? Я тебя сожгу.

Инкв⟨изитор⟩: «Из любви к человечеству говорю тебе, — тебе, возлюбившему его более самого себя.[1] Ты один можешь понять меня, потому и открываю тебе тайну нашу. А завтра чем свет я тебя сожгу».

— Чем глупее, тем ближе к цели. Глупость всегда коротка, а чем короче, тем ближе. Я пожертвовал собственным достоинством.

— Но я не принимаю, потому что, как ни велика эта идея, она не стоит этого страдания. Будут петь ангелы. Если мать обнимется с мучителем сына, простит от ума,[2] то значит тут произошло что-то до того высшее, что, конечно, стоит всех несчастий, да я-то не хочу.

— Это бунт.

— Эвклида геометрия. А потому прими бога, тем более что это вековечный старый боженька и его не решишь. Итак, пусть боженька. Это стыднее.

— И если мне предложено участвовать, то не могу участвовать, извините. Званый вечер.

— Объяснишь ты это?

— Для того и начал, чтобы объяснить. Эй, Алешка, ты думаешь, я фанфароню. Нет. Я нарочно начал так, как глупее нельзя начать.

— Для чего же?

— Ближе к делу. Слушай. А во-2-х, для русизма. Русские разговоры на эти темы все так у всех русских мальчиков происходят.

Нигилист.

— Я этому не верю, пусть, пусть параллельные линии сойдутся (и обнимутся). Параллельные [3] линии сойдутся, где мне, маленькому клопппному уму, это понять.

— Пусть он мучается, зато он *яблоко* съел.

— Апокалипсис. В финале выразится [4] что-то такое драгоценное, чего стоили все мировые эти страдания и что искупает их до того, что можно и примириться.

— А потому 3-е положение. Я не считаю затею за что-нибудь серьезное.

— Но я этого мира не принимаю, и я не хочу на него согласиться. Вот 3-е мое положение.

— Да, пусть есть порядок, бьют ⟨?⟩ человечество. Трогательная вера. Смерть Христа. Для такого огромного, что равносильно этому страданию.

---

[1] *Далее было начато:* Понять

[2] *Вместо:* простит от ума — *было начато:* то это, конечно

[3] *В рукописи:* # -е

[4] *Незачеркнутый вариант:* явится

— Мало того, я должен непременно воскреснуть, чтоб видеть возмездие — иначе же, иначе всё пробный шар. Пробный мыльный пузырь, и больше ничего.

Это было движение любви: хоть посмотрю на них, хоть пройду между ними, хоть прикоснусь к ним.

От риз его исходила сила.

Как его узнали? Да разве он был похож на нас, ведь он чудо, тайна небесная.

— Мы бы сохранили тайну, мы взяли бы страдание на себя, мы принесли бы себя в жертву человечеству.

— Когда могучий и умный дух, дух смерти и уничтожения, дух небытия искушал тебя.

— Ум — подлец, а глупость пряма и честна. Глупость режет в одну точку, не виляет, в меридианы не заходит, где ей.

Где ломает свое жало змий.

Поцелуй горит на его сердце, но он остается в прежних мыслях. ⟨37⟩

— И что так наивно подхватил брат Дмитрий: «Да, пожалуй, всё позволено, если уж слово произнесено, не отрекаюсь».[1]

Испов⟨едь⟩ Старц⟨а⟩: «Не хочу оставить вас в неведении, как это сам понимаю. (Иди, входи.)».

Портрет.

— Зачем ты пришел к нам? Для чего ты пришел мешать нам?

Не говори, я знаю, что ты скажешь, но выслушай меня и прежде всего то, что я тебя завтра сожгу.

Мне стоит лишь сказать одно слово, что ты извержен из ада и еретик, и тот же народ, который падал перед тобой, завтра же будет подгребать уголья.

Ты видел народ? Чего тебе надобно было? Ты говорил, я хочу их сделать свободными, и вот ты видел этих свободных? Видел их? Это дело нам дорого стоило, и мы принуждены были сделать его во имя твое — 15 век⟨ов⟩ ломки, но теперь это крепко.[2]

Зачем же мешаешь нам, зачем разрушаешь дело наше? Нет, если есть достойный костра, то это ты.

Человек создан бунтовщиком.[3]

Праведнейшие бегут от нас в пустыню. Мы их чествовали, как святых, но они действовали, как бунтовщики, ибо не смели бежать от нас.[4]

---

[1] — И что так наивно ∾ не отрекаюсь». *вписано и обведено рамкой.*
[2] 15 век⟨ов⟩ ∾ это крепко. *вписано.*
[3] Человек ∾ бунтовщиком. *вписано.*
[4] Праведнейшие ∾ от нас. *вписано на полях.*

Когда умный дух предлагал тебе — ты хотел свободы — не сошел со креста.

Разве свободный бывает счастлив?

Камни в хлебы.

Все мудрецы *земли* не выдумали бы премудрее, что там записано в строках.

Накорми сначала и спрашивай.

Веру внутри твою пытал. Ты не поддался — но разве все такие, как ты? Разве могут одною верой, а остальные, чем уберечь их от бунтующих?

Царство.

Ты отверг царство, мы принуждены были принять, и если будет стоить крови и целых поколений, то ты, единый ты, виноват.

Тебе поют: единый, безгрешный, а я говорю тебе — ты единый виновный.[1]

И еще долго нам ждать, пока устроим царство.

Целая саранча выйдет из земли, которая будет кричать про нас, что мы в рабство, растлеваем дев. Но и эти несчастные укротятся. Кончится тем, что укротятся, и высшие из них присоединятся к нам и поймут, что за владычество мы принимаем страдание. Но они, проклятые, не знают, что́ мы берем на себя: мы берем знание и страдание.

Блудница. Пусть разорвут, но ты не имеешь права. А за мной Истина — и тогда разорви, если можешь.[2]

Может быть, и возможно. По крайней мере, это будет, потому что так должно быть. ⟨38⟩

Алеша: «Я воображал, что ты сделаешь иначе, ты осуждаешь лишь католическое духовенство».

Ив⟨ан⟩: «Глупость моя поэма, но согласись, что Великий инквизитор наполовину прав».

Ал⟨еша⟩: «Ты думаешь, ты думаешь? ты не веришь в бога». ГЛАВНОЕ.

Алеша: «Но это Рим. Ты оправдываешь жадный католицизм».

— А ты и теперь видишь лишь жадность.[3] Это правда, искания. Месса. Золото.

— Ты думаешь, — сказал Иван, — сколько презренья в вас. Но хотя бы один, и какая должна быть грусть, чтобы он, — Иван кончает.

— Ты не веришь в бога. Как же клейкие листочки? Старик остается в своей идее. А ты?

— Я в идее Старика, ибо он больше любит человечество. Можно ли об идиотах?

— Может быть, можно. Ты не веруешь в бога. Клейкие листочки.

---

[1] Ты отверг ∾ виновный. *вписано на полях.*
[2] Блудница. ∾ если можешь. *вписано на полях.*
[3] Ты оправдываешь ∾ лишь жадность. *вписано.*

Иван: «У него авторитет неотразимый. 140 000, а те куды?»

Ал⟨еша⟩: «Так для тебя неотразим, ты не веришь в бога. В чем же и тайна-то. А можно ли идею Старика и счастье людей? Может быть, можно».

2-е искушение. «Да не преткнеши ногу».

— Да, ты так должен был сделать, как гордое существо. Правда, ты понял, что ты бы расшибся.

Но ты отверг авторитет чуда — и вот сколько мы принуждены были бороться, чтоб поправить, и если есть единый грешный — то это ты. Сожгу.

Ты провозгласил то, что *грезилось* людям *издавна,* что они свободны; центробежная сила, не принадлежит к земле, *свобода от чуда.*

В этом 3-м предложении тебе Рим предлагал свое знамя. Ты отверг его.[1]

Ты не сошел со креста, но ты бог, ты слишком много требовал от людей. Людям нужно чудо, т. е. авторитет. Чудо и тайна. Да, тайна. Теперь об тайне. У нас в болезни умрет человечество, как отец в скверне известной страсти.[2]

— Какую тайну, — спросил Алеша, — ты оправд⟨ываешь⟩? [3]

⟨39⟩

— В человечестве и в муках бытия его заключена задача найти то общее, прежде чем уже все бесспорно должны преклониться. Без этого человек спокоен не может быть и не устроится ни в какое общество. Тайна же сия основана на [4] грубом несовершенстве устройства природы человеческой.[5] Человеку дана при рождении свобода, и первая забота человека, получивши дар свободы, кому б отдать ее поскорей.[6] С этим он создает себе богов во всю свою историю, и кто знает эту тайну бытия человеческого, тот знает и каким путем покорить его, а кто может — тот покоряет.

Тебе дано было знамя, указано нечто абсолютное, перед чем ни человек отдельно, ни целый мир вместе не подумает бунтовать. Но ты отверг всё во имя свободы.[7]

Вопрос личный — то есть совести, [8] — как справиться с совестью. Вопрос социальный и государственный, — и вопрос абсолютный, вопрос предвечный, — вопрос, — перед кем поклониться — ибо никогда они не будут спокойны лично и не устроятся в целое, если не будут знать, пред кем преклониться.

Приняв хлебы, ты бы ответил на вопрос человеческий, кому поклониться.

---

[1] В этом 3-м ∾ отверг его. *вписано на полях.*

[2] как отец ∾ страсти. *вписано позднее на полях.*

[3] — Какую тайну ∾ оправд⟨ываешь⟩? *вписано позднее поперек текста.*

[4] *Далее было:* том

[5] Тайна ∾ человеческой. *вписано на полях.*

[6] Человеку дана ∾ поскорей. *вписано.*

[7] Тебе дано ∾ свободы. *вписано позднее поперек текста.*

[8] *Вместо:* личный — то есть совести — *было:* совести

Тебе следовало прийти так, чтоб оробел пред тобою, а ты сам же еще провозгласил для него неслыханную дотоле свободу.

3-я тайна — необходимость соединения всемирного, ибо как бы ни были сильны нации, но все грезят и мечтают в пророках их о соединении всемирном. ⟨40⟩

— Публика аплодирует — чему, кому? Тому, что оправдали истязание ребенка? Э-эх, меня не было там: я бы рявкнул предложение учредить стипендию в честь него же, истязателя!

— Вообще картинки прелестны,[1] но из таких (и тогда уже, правда, весьма немногих).

— Потребность соединиться в одно: Чингис-ханы, Тимуры, Аттилы, Великая Рим⟨ская⟩ империя, которую ты разрушил, ибо разрушил ее ты, а не кто иной.

Ибо устройство совести человеческой возможно лишь, отняв свободу. Ибо, начиная жить, люди прежде всего ищут спокойствия... ты же провозгласил, что жизнь есть бунт и отнял навек спокойствие. Вместо твердых, ясных и простых начал ты взял всё.

А 2-й тезис, 2-я тайна природы человека основана была на потребности устроить совесть человека — добра и зла общего. Кто научит, кто укажет — тот и пророк.[2]

Приходящий же, как ты, с тем чтоб овладеть людьми и повести за собою, необходимо должен устроить их совесть, навести и поставить их на твердое понятие, что такое добро и что зло. И вот, предпринимая такое великое дело, ты не знал, — о, ты не знал, что никогда не устроишь совести человеческой и не дашь человечеству спокойствия духа и радости, прежде чем не отнимешь у него свободы. ⟨41⟩

И ты думал, что [3] твое знамя хлеба небесного могло бы соединить людей всех вместе в бесспорном согласии.[4] Но все силы человеческие различны. Есть великие и есть слабые. Есть такие, что не могут уже по одной природе своей вместить хлеба небесного, ибо не для них он, и такие многочисленны, как песок морской.[5] Где же будет тут общность поклонения,[6] когда [7] большинство людей даже и не понимает, что такое? Вместо [8] согласного преклонения воздвиглось знамя раздора и войны вовеки,[9] не то было

---

[1] *Далее было начато:* Воздашь Кесарево

[2] добра ∾ пророк. *вписано.*

[3] *Было:* Но разве

[4] *Вместо:* всех вместе в бесспорном согласии — *было:* в общности преклонения

[5] *Вместо:* ибо не для них ∾ морской. — *было:* и многочисленны, как песок морской.

[6] *Далее было:* и может ли быть исполнен закон бытия человеческого

[7] *Далее было начато:* люди, даже огромное

[8] *Далее было:* знамени всеобщего и

[9] *Вместо:* воздвиглось ∾ вовеки — *было:* я вижу лишь [спор] раздор, споры и войну вовеки

бы с знаменем хлеба земного. Но взгляни, из-за этого всеобщего преклонения [1] они истребляли друг друга мечом. Они [2] созидали богов и стремились заставить остальных [3] людей пред ними преклониться. Взывали друг другу: бросьте ваших богов, поклонитесь нашему, иначе смерть вам и богам вашим.[4] И так будет до скончания; [5] если б исчезли в мире и боги, будет и тогда, если исчезнут в мире даже и боги, ибо падут и пред идолом.[6]

Что религия невместима для безмерного большинства людей, а потому не может быть названа религией любви, что приходил он лишь для избранных, для сильных и могучих, и что и те, претерпев крест его, не найдут ничего, что было обещано, точно так же как и он сам не нашел ничего после креста своего. Вот твой единый безгреш⟨ный⟩, которого выставляли твои. А стало быть, идея рабства, порабощения и тайны — идея римской церкви, а может быть и масонов, гораздо вернее для счастья людей, хотя бы основанном на всеобщем обмане. Вот что значит твой единый безгрешный.

В пустыне бог на все эти места тебе укажет. ⟨42⟩

«... перед кем [7] преклониться?» Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться.[8] Но ищет человек преклониться перед тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтоб все люди разом согласились перед ним преклониться.[9] Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит,[10] чтобы сыскать того, перед кем мне или другому [11] преклониться, но чтоб сыскать такого, чтоб и все уверовали в него [12] и преклонились пред ним непременно все вместе. Вот [13] эта потребность общности преклонения [14] есть главнейшее мучение каждого человека единолично [15] и как целого человечества [16] с начала веков. Ты знал, ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой,[17] но ты отверг

---

[1] *Вместо:* всеобщего преклонения — *было:* мучались

[2] *Было:* Одни

[3] *Было:* всех других

[4] Взывали ∾ вашим. *вписано.*

[5] *Далее было начато:* мира, да

[6] из-за этого ∾ пред идолом. *вписано на полях.*

[7] *Далее было:* ему

[8] *Далее было:* Человеку дается при рождении свобода, и самая главная забота [человеческая] человека, получившего свободу, состоит лишь в том, чтобы, родясь и получив свободу, отыскать того, кому бы [отдать] передать поскорей этот дар свободы, которая столь для [него] человека мучительна.

[9] *Вместо:* согласились ∾ преклониться. — *было:* примут его.

[10] *Вместо:* этих жалких ∾ состоит — *было:* не в том только

[11] мне или другому *вписано.*

[12] уверовали в него *вписано.*

[13] непременно все вместе. Вот *вписано.*

[14] *Далее было:* и

[15] *Далее было:* Из-за этого человек созидает себе богов во всю свою историю

[16] *Далее несколько густо зачеркнутых строк.*

[17] *Было:* его

единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтоб заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, [1] — знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного.[2]

Взгляни же,[3] что сделал ты далее.[4] ⟨43⟩

И всё опять во имя свободы! Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, которому бы передать [5] поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть.[6] С хлебом тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб — и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя, — о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который [7] обольстит его совесть. В этом ты был прав: [8] ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить,[9] а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом ⟨44⟩ его всё были хлебы. Это так, но что же вышло: [10] вместо того чтоб овладеть свободой людей,[11] ты увеличил им ее еще больше! Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже [12] свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. [13] И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда, ты взял всё, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял всё, что было не по силам людей,[14] а потому поступил, как бы и не любя их [15] вовсе, — и это кто же: тот, который пришел отдать за них жизнь свою! Вместо того чтоб овладеть людской свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями [16]

---

[1] чтоб заставить ∾ бесспорно *вписано.*

[2] и хлеба небесного. *вписано.*

[3] *Вместо:* Взгляни же — *было: а.* Смотри же *б.* Теперь смотри

[4] *Далее было:* когда [задан] предложен был тебе второй вопрос.

[5] *Было:* отдать

[6] *Далее было:* и в этом состоял второй тезис, второй вопрос, второе предложение, которое было обращено к тебе.

[7] *Далее было:* растолкует ему, что добро и что зло, и тем

[8] В этом ты был прав *вписано.*

[9] *Вместо:* только жить — *было:* жить, как живут животные

[10] *Вместо:* Это так ∾ вышло — *было:* И вот

[11] *Далее было вписано:* чтоб взять ее у них

[12] *Далее было:* свободы и особенно

[13] *Вместо*: Нет ничего ∾ мучительнее. — *было*: Смотри, сами бунтовщики против [нас] нашей власти в результате ищут лишь одного спокойствия. Почему [безбожники] люди так любят материализм и материальные учения? ⟨*4 нрзб.*⟩ Именно потому, что с учением этим всё так скоро кончается, всё бесследно проходит и, стало быть, дает уничтожение и смерть, т. е. покой, покой [вместо волнений свободы] [без малейшего ожидания продолжения в будущем] без мучений.

[14] *Далее было вписано:* и увеличил их волнения

[15] *Было:* людей

[16] *Вместо:* ее мучениями — *было:* ею

душевное царство человека вовеки.[1] Ты возжелал свободной любви человека, чтоб свободно ⟨45⟩ пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона [2] свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою, — но неужели ты не подумал, что он отвергнет же, наконец, и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут, наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько заботы и неразрешимых задач.[3] Таким образом, сам ты и положил [4] основание к разрушению своего же царства и не вини никого в этом более. А между тем то ли предлагалось тебе? [5] Есть [6] три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть [7] этих слабосильных бунтовщиков для их счастья; эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье, и сам подал пример тому. ⟨46⟩

ИВАН И СМЕРДЯКОВ

(Сцена)

Смердяков Ивану: «Положение-то мое отчаянное-с, посоветоваться хотел-с.

Кажный день: что же она нейдет, точно я виноват. Револьвер вынули. Ну, чтоб пришла. Скажу завтра утром *нарочно*, что придет, тогда как она и не придет-с».

— Зачем говорить?

— Убьют-с. Скажу, что, может быть, придет, оченно хотела прийти. Барину тоже сказать надо; тоже на меня как дети малые: это ты, что она нейдет (виноват то есть). Они на Аграфене Александровне женятся (то есть Фед⟨ор⟩ Павл⟨ови⟩ч). Потому и братец замыслил убить-с, во-1-х, из ревности, а во-2-х, чтоб наследства не лишиться.[8]

Важно. «Унесут они 3000 — боюсь, меня тронут, боюсь, меня прикоснется: ты тоже, стало быть, замешан и с ним 3000 разделил».

---

[1] *Далее было вписано:* [мучений] мучениями, говорю я, ибо, несмотря на то что они так невыносимы, нет ничего для человека ее прельстительнее

[2] Вместо твердого древнего закона *вписано*.

[3] *Вместо:* оставить их ∾ задач. — *было:* оставить в смятении и мучении, как ты, который оставил столько забот людям.

[4] *Вместо:* сам ты и положил — *было:* сам же ты положил

[5] *Далее было:* Разумный дух указал тебе прежде всего, как этот род ничтожен, слабосилен, неблагороден и неблагодарен,

[6] *Было:* Он указал тебе

[7] *Было:* душу

[8] — Они на Аграфене Александровне ∾ не лишиться, *вписано на полях*.

«Братья Карамазовы». Страница автографа черновых набросков к главе VI книги пятой. 1879 г.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград).

— Помилуйте, им вся выгода: чтобы наследства лишить.[1]

№3 *Иван: «Прежние подходы были».*

Смердяков: «Помилуйте, они вчера так прямо говорили: я его убью, приду и убью».

Смердяков про Митю: «Деньги уж мне очень нужны-с».

— Кастет носят.

— Знак: . . .

— Я знак им показал-с.[2]

— Григорий пьян будет, переспит боль, лекарство, они *на то и надеются*, а Марфа Игнатьевна и сама притом всегда выпьет, да как полено. Как раз завтра они это испытать намерены.

— Ф⟨едор⟩ П⟨авлови⟩ч. Сидят одни, и условлено, чтоб я стукнул: Грушенька пришла. Сейчас выскочит. А коль придет, чтоб я другой раз стукнул: *надо* — и отворит.

Смерд⟨яков⟩: «Я сказал Ильинскому, что она беспременно придет».

— Да зачем ты сказал?

— Убить хотели-с. Я от страха болен стану. А они и без меня постучат.

— Да коли Грушеньки не будет?

— А за деньгами?

— Не возьмет он.

— Не знаете вы их-с. Поезжайте-с.

— Как же ехать?

— Мне бы только, чтоб на меня эту сумму-с. Чтоб потом меня не трогали подозрением-с.[3]

— Кто тронет?

— Вы, например. ⟨47⟩

Ночью после разговоров ⟨с⟩ Смердяков⟨ым⟩.

Сначала: «Он смеялся надо мной. Да, смеялся».

А потом ночью вскакивает: «Уж не полагает ли, мерзавец, что мне приятно будет, что убьют отца? Да, это именно полагает!» (Фамильярность оскорбляет.)

(Главное — смутно, о главном не догадывается.)

— Черт возьми! А может, мне и в самом деле приятно, ха-ха. Уж не считает ли он меня в заговоре с Дмитрием? Пожалуй, чего доброго, от него станется.

— Черт возьми, пожалуй, ему самому приятно, что убить хотят? Это, впрочем, вздор, шельма просто всего боится, чтоб его не запутали.

— Черт возьми, может быть, он-то и хочет убить? [4]

Иван *еще* в разговоре с Смердяковым:

— Всё это вздор — не может быть, чтоб брат Дмитрий Федорович наверно с предвзятым намерением задумал убить. Если б

---

[1] — Помилуйте ∾ лишить. *вписано на полях.*

[2] — Знак ∾ показал-с. *вписано на полях.*

[3] *Смерд⟨яков⟩* ∾ подозрением-с. *вписано на полях.*

[4] — Черт возьми ∾ убить? *вписано на полях.*

случился грех, то нечаянно в драке, когда он Грушеньку отнимал бы.

Смердяков: «Сумму эту они могут искать (3000)».

Ив⟨ан⟩: «Вздор».

См⟨ердяков⟩: «Деньги им оченно нужны-с».

Иван: «Ничего не будет».

См⟨ердяков⟩: «Конечно, всякий благоразумный человек так и должен судить-с. Потому оно говорится, что с умным человеком и поговорить любопытно-с».

— Ему на бороду надо глядеть. Коли бороденка трясется, а он много говорит и как бы сердится — значит, ладно, правду говорит, а когда бороду гладит левой рукой, а сам подсмеивается — ну, значит, надуть хочет, плутует. На глаза ему не гляди, никогда правды нет.

— Горсткин, а Лягавый.

— Задаток выдаст, начнет про б⟨- - -⟩й.

— А будешь добр и *милостив* и сам завези.

— Через пятницкого батюшку, отца Ивана, найди его — золото человек, отдай.[1] ⟨48⟩

А Ф⟨едор⟩ П⟨авлови⟩ч, проводив сынка, остался чрезвычайно доволен. Целых[2] два часа чувствовал он себя почти счастливым, как вдруг в доме произошло одно предосадное и пренеприятное для всех обстоятельство, погрузившее[3] Федора Павловича в большое смущение. Смердяков пошел за чем-то в погреб и упал вниз с верхней ступеньки. Хорошо еще, что на дворе случилась[4] в то время Марфа Игнатьевна. Паденья она не видела, но зато услышала крик, крик особенный, странный, но ей очень известный — крик эпилептика, падающего в припадке. Приключился ли с ним припадок, когда он сходил по ступенькам вниз, так что он, конечно, тотчас же и упал вниз в бесчувствии, или, напротив, от падения и от сотрясения произошел у Смердякова, известного эпилептика, его припадок, разобрать нельзя было, но нашли его уже на дне погреба в корчах, судорогах, бьющегося и с пеной у рта. Думали сначала, что он сломал что-нибудь и расшибся, но, однако, «сберег господь», как выразилась Марфа Игнатьевна, ничего такого не случилось, а только трудно было достать его и вынести из погреба, но позвали от соседей народу и кое-как это совершили. Находился[5] при всей этой церемонии и сам Федор Павлович, сам помогал, видимо перепуганный и как бы потерявшийся. Больной, однако же, не входил в чувство: припадки хотя и прекращались на время, но зато возобновлялись опять, и все заключили, что произойдет то же самое, как и про-

---

[1] — Ему на бороду ∾ отдай. *вписано на полях.*

[2] Целых *вписано.*

[3] *Было начато:* ввергнувши

[4] *Было:* была

[5] *Было:* Был

шлого года,[1] когда он нечаянно упал с чердака. Вспомнили, что тогда прикладывали ему к темени льду. Ледок в погребе еще нашли, и Марфа Игнатьевна распорядилась, а Федор Павлович решил [2] под вечер послать за Герценштубе, который и прибыл почти немедленно. Осмотрев больного тщательно (это был самый тщательный и внимательный доктор, пожилой и почтенный старик), он заключил, что припадок чрезвычайный и грозящий опасностью, что покамест он, Герценштубе, еще не всё понимает, но что завтра утром, если не помогут теперешние, он решит принять другие.

Больного положили во флигеле, в комнатке рядом с помещением Григория и Марфы Игнатьевны. Затем Федор Павлович весь день претерпевал несчастье за несчастьем. Обед сготовила Марфа Игнатьевна, и суп — сравнительно с смердяковским — вышел «словно помои», а курица оказалась до того пересушенною, что ее и прожевать не было возможности. Марфа Игнатьевна на горькие упреки барина отвечала, что курица была уж очень стара и что ведь она в поварах не училась.[3] К вечеру произошла другая забота: доложили ему, что Григорий, который с третьего дня расхворался, как раз совсем почти слег, отнялась поясница. Федор П⟨авлови⟩ч окончил свой чай как можно пораньше и заперся один в доме. Был он в страшном и тревожном ожидании. Дело в том, что [4] в этот вечер [5] Грушеньку ждал он почти *наверное*, по крайней мере, она вчера ему сама намекнула.[6] Кроме того, еще поутру получил от Смердякова почти заверение, что они прибудут. Сердце его билось, он ходил по комнате и прислушивался. Надо было держать ухо востро: мог [7] где-нибудь ее сторожить Дмитрий, а как она постучится в окно (Смердяков уверял, что он ей передал, где и куда постучаться надо), то тотчас же надо было дверь отворить, чтоб не задерживать ее напрасно в сенях и чтоб — чего, боже сохрани, — не испугалась и не убежала.

Хлопотливо было Ф⟨едору⟩ П⟨авлови⟩чу, но никогда еще сердце его не купалось в более сладкой надежде. Ведь уж наверно, почти наверно можно было сказать, что придет, что уж в этот-то раз придет. ⟨49⟩

ИСПОВЕДЬ СТАРЦА

№ 0. Прилог. Лицо — период людей, стяжание 28 800, доведет это вечное мечтание *до уединения*.

— И видел я чудное видение, человек *28 000*.

---

[1] *Было:* третьего года

[2] *Было:* порешил. *Далее было начато:* что если не поможет и в ночь, то завтра

[3] *Далее было начато:* Федор

[4] *Далее было:* он

[5] *Было:* в этот раз

[6] она вчера ∽ намекнула. *вписано. Далее было начато:* когда он успел

[7] *Далее было начато:* прибыть Д⟨митрий⟩

— И видел я *утопленницу.*

См. «Русское решение вопроса».

— *Всё рай.* Не многим дано, но так легко видеть.

Мечта о том, что все братья, а не $^1/_{10}$ над $^9/_{10}$. *Мечта, как у Тихона,* освобождение крестьян.

Архимандрит: тело бросить на распутье на растерзание псам.

1) Ротшильд.

4) — Деток люби. *За что только любили меня*?

— *Были бы братья, будет и братство.*

— Божий образ на человека. Баре и Леблаз.

— Самообладание, самопобеждение, труд. Мы, монастыри, — образ того. Напротив, в мире теперь: развивай свои потребности, пользуйся всем.

16) — Неверующий у нас в России ничего не сделает.

— Знание края, край узнай.

23) — Люби смиренной любовью — и мир покоришь.

— Если ты атеист и если ты усумнился — то люби деятельной любовью, воротишься к богу и узришь его.

— Сократи, господи, времена и сроки ради всех детей.[1]

25) — *У птиц просил* прощения. *Всё соприкасается...*

26) — Будь *средний* человек.

27) — Всякий за всех и вся виноват.

28) — Хочу тебя еще в 1-м деле служения людям крепким видеть.

30) — Молитва: ради всех детей и т. д.

32) — А коли младенца убьют? Пойди и прими за кого-нибудь муки — легче будет.

(Из частного организма в общий организм.)

СЛОВАМИ СТАРЦА.

34) — Стою ли я того весь, чтоб мне другой служил?

35) — Веруй, тихий, веруй, милый.

36) — Не может быть, чтобы мир стоял для $^1/_{10}$-й доли людей.

36) — Каждый за всех виноват. Ты ребенком был, а я прошел мимо... был рассержен... ⟨50⟩

37) — Пострадай, пролей кровь, все обнимутся...

(История о том, что *все сольются,* — говорит это грешник, 15 лет тому убивший: «Пострадать хочу».)

41) — Аще кто и в 9-й час ничто же сумняшеся (предмогильное слово).

41) Про самоубийц и про тех, которые говорят: «*Скорей бы день прошел*».

41) — Церковь — за что это нам, как бы их все полюбили и за что нам сердиться.

45) — Жизнь есть великая радость (Лазарь). Пострадай, делай свое дело.

---

[1] — **Если ты атеист ∾ всех детей.** *вписано на полях.*

Философ: «Тяжело мне». «Пострадай, люби деятельно, бога найдешь».[1]

47) — И хотя бы в *последние дни* осталось *вас двое* — восхвалите, принесите жертву, и хотя бы один — деревце, червячок, всем могилам, и всему прекрасному, и всему злобному молитву, пади, целуй землю, плачь и *ненасытимо люби*! Мечтал я об этом, что 2-е останутся.[2]

— Не верь, как другие говорят: «Не надо молиться». *В молитве воспитание.*[3]

Главное. 50) — За всех виноват, загноили землю. Мог светить, как единый безгрешный. *Ибо всяк может поднять ношу его, всяк — если захочет такого счастья. Он был человеческий образ.*

51) — Всю землю спасти можешь. Всегда избивали пророков. Муки прими. (Смирение — величайшая сила.)

51) — Все счастливы, все прекрасны, *все сейчас же бы могли сделать рай.*

51) — Прости злодею — земля прощает и терпит. Если же очень удручает тебя — страдания для себя ищи.

51) — Не бойся ни богатых, ни сильных, но будь премудр... будь благолепен!

51) — Деток люби и, хотя бы ты один па всей земле исполнил правду, не унывай.

51) — За всех и вся виноват, без этого не возможешь спастися. Не возможешь спастися, не возможешь и спасти. *Спасая других, сам спасаешься.*

52) — Ничто не умирает, всё объявится.

— В молитве твоей каждый раз мелькнет чувство... и *новое*, хотя бы всю жизнь, ибо на земле ничего не восполнено. ⟨51⟩

52) — Не может быть на земле судья преступника, прежде чем не познает, что и сам он преступник...

52) — Люби людей во гресех их, *люби и грехи их.*

— Люби *животных, медведь и Сергий.*

53) — Дела милосердия воспитывают душу. Будь *атеист*, но делами милосердия придешь к познанию бога.

53) — Люби животных, растения, будешь любить — и тайну божию узришь в них.

53) — Вспомнишь в ночи: я не исполнил. Восстань и исполни.

53) — Будь весел, моли у бога веселья... Молитва — воспитывает.

54) О застрелившихся (Авраам и Лазарь).

55) — Будьте братьями, и будет братство, а то — Вавилонская башня.

---

[1] «Пострадай, люби деятельно, бога найдешь». *вписано.*

[2] Мечтал я ∾ останутся. *вписано.*

[3] — Не верь ∾ *воспитание. вписано на полях.*

58) — Дети, не ищите чудес, чудом веру убьете.

58) — Что есть ад? Жажда вновь возлюбить, что презрел и не любил на земле.

— Самоубийцы. Дар жизни презрели. Однажды в вечность дается он.

— Одно мгновение в мириаде веков.

59) — Девица говорит: я не заработала. Проси милостыню. На народе нет стыда. В *особливость* уходишь. А то аристократ, нет братства, а лишь *мое право.*

64) — Изменится плоть ваша. (Свет фаворский.) Жизнь есть рай, ключи у нас.

65) Воспоминание о чтении Библии. Умирающий солдат. Ходил просить прощения к одной женщине.

67) О девушке-целке, утопленнице.

Мальчики в городе: «Здравствуй, дяденька», ручку дает.

— Иова искушал господь. Детей отнял.

— На том свете: никто не может простить, но *все* простить могут. ⟨52⟩

— Вы тут падали предо мной. За что меня это любите? Это Христа любят.

— Проклят гнев их, ибо жесток.

ПОРЯДОК.

Умирающий брат — просил птичек.

Стал жить: слуги.

— $^1/_{10}$-я. Нет братьев, не будет братства.

Дуэль, любовь. Накануне дуэли припомнился *брат.*

— После (вследствие этого) рай.

— Об рае. Говорил с убийцей, приходил ко мне.

— После этого поступил в монахи, стал странствовать. Надо Россию знать.[1]

— $^1/_{10}$-я только. Сколько грехов. Мать избил, и догадался я, что весь мир на другую дорогу вышел.[2]

Мальчики, умирающий солдат, целка.

— За всех и вся виноват. Дети, школа, что есть ад?

— Что есть ад?

— Люби животных, растения, деток.

— Люби грехи! Воистину жизнь есть рай. Раз в мириаде веков дается.

— Прими страдание, ищи страданий.

— Стал странствовать — великое смущение, разрешение задачи $^1/_{10}$-я.

— Легче христианство, чем ваше (социализм).

— Мир на другую дорогу вышел.

— Наука служит только гордым и удручающим.

---

[1] *Далее было:* Библию читать.

[2] — $^1/_{10}$-я только. ∾ вышел. *вписано на полях.*

— Во аде праведные грешным: «Приидите, всё равно приидите, любим вас».

— Ибо нас господь столь возлюбил, что мы и не стоим того, а мы вас.

— Простите нас за то, что мы вас прощаем.

— Вечный огонь — в том, что мы грешны и прощены, а они нас любят, в мириаде веков мгновение.

— Но и сей огонь погаснет, ибо ощутят радость, что прощены, кроме гордых — вечная хула.

— Кругом человека тайна божия, тайна великая порядка и гармонии.

— Свет фаворский: откажется человек от питания, от крови — злаки.

Книги читать. *Право* — социализм.

Библия. «Зерно, аще не умрет, *останется одно*».

— Пойдем в монахи.

— И стал я это говорить, что жизнь есть рай, и отметил меня один человек.

— Кровинушка ты моя.

— У птичек прощение.

— За что меня это любят, подумай, так и рай.

— Праздник, праздник наступил.

— Листики.

— Что вы ссоритесь?

— Деточки.

— Жизнь есть рай.

— Ну, какой рай, голубчик!

— Потому говорю, что у меня рай в душе.

— Да не того я боялся, что ты откроешь, ты бы и не открыл. Но как я смотреть-то на тебя буду? Ненависть гордости, но одну лишь минуту. Победил мой ангел беса в моем сердце. *Ушел* я от тебя *тогда*.

Черная роза.

— Да это, пожалуй, что так говорят, только слишком он пламенно поступил.

— До сего, думаю, не проживет, чахоточный был — вырастил детей сосланного.[1] ⟨53⟩

— Юноша на реке — вижу, что он понял. Заснул сном легким. Потом припомнил. Благослови, господь, юность.

— Это совесть моя будет смотреть на меня (убить приходил).

Изваяние мира.

— И что можно с этой книгой сделать. Господи, ныне иереи жалуются, что не могут читать, ибо мало у них содержания.

— А народ милостив.

— Господи, подай бог мир и тишину всем божиим людям!

---

[1] Книги читать. ∾ детей сосланного. *вписано на полях.*

— Что есть ад? Ибо отнять у них эту муку, то, мню, станут они еще более несчастными.

Иосиф: «Люблю вас и мучаю, любя мучаю».

— Прочти-ка это мужичку, аль пророка Иону. Да не с важным видом *от себя*, а как бы всех грешнее.

— Томил, любя ведь томил, изнывая любовью к ним, к отчизне, к милому детству, возлюбленному отцу и возлюбленной милой матери своей. Ведь всю жизнь свою помнил, как предали его где-нибудь там, у колодца, как он ломал руки.

— Отцы и учители, не сердитесь, что вас собрал, чтоб такие пустяки вам поведать, что давно уже вы знали, и меня во сто крат больше научите, от восторга говорю вам, и простите мне слезы мои.

— Нельзя сказать: «Простите». И вот на этом на одном уже видно, как неправильно устроен мир, на другую дорогу вышел.

— Пришел, в шутку ли сказал. Нет, не в шутку, в монастырь. И вот что же тогда случилось во всем нашем обществе.[1] ⟨54⟩

— Отпустил я денщика моего, стыдно как-то смотреть, потом встретил меня.

— Батюшка, как это вы? (в рясе). Заплакал, на меня глядя, облобызались мы и таково радостно.

— Что есть *ад*?

— Что есть жизнь? Определить себя наиболее, есмь, существую. Господу уподобится, рекущему: аз есмь сый, но уже во всей полноте всего мироздания. И потом всё отдать. Ротшильд. Христос. Как и бог отдает всем в свободе. К Слову; и возвращают⟨ся⟩ к нему, и опять исходят, и это есть жизнь. ⟨55⟩

— Не может быть, чтобы $^1/_{10}$-я.

— К тому (на Руси) и стремимся.

— Что мне в том, что ты велик и с талантами? Я сам чту тебя и *в сем уважаю себя,* в том, *что силу в себе обрел тебя* чтить, не завидуя.

— Что в мире? Посади свинью за стол, она и ноги на стол. А будущий великий человек сам умалится. А малый, глядя на его смирение, умилится. То же самое (задатки) в простолюдине нахожу и теперь, не отмстил.

— Здравствуйте, дяденька.

— А если что, то целуй землю.

— Претерпи страдание.

— Если мечта, то легче к осуществлению она во Христе, чем без Христа, ибо без него невозможно.

— А весь мир без него ломит.

— Что есть ад? ⟨56⟩

Встреча с слугою (денщиком).

— «Батюшка, милый», и вижу, что он еще всё ко мне, как денщик к офицеру, как слуга к господину, но вижу, что уже

---

[1] — Нельзя сказать ∾ обществе, *вписано на полях.*

совершилось и *человеческое единение наше,* что русские наши души общее обрели. Поцеловались мы с ним. «Благословите меня».

— Уж и где мне благословлять.

— Ожеро Наполеону: «ты». А у нас денщик...

— $^1/_{10}$-я не может быть. Отчего такой ропот и недовольство? От этого самого, бессознательно (развивай потребности).

— *Проклят гнев их, ибо жесток.*

О монашеском служении обществу. Ходил по Руси, $^1/_{10}$-я. Работа детей.

— Чтоб не было сего, чтоб не было. А коли нельзя без сего, то пусть лучше государство пропадет, и мы вместе, а чтоб детей не трогать.[1]

— У нас народ-богоносец — будь ты велик, а я чту тебя.

— Были бы братья, будет и братство.[2]

— А без братства ничего не будет. Неверующий у нас в России ничего не сделает.

— Учите же тому в смирении и в вере.

— Ибо наша земля только народом спасется. Правда народная с атеизмом общества — встреча будет страшная.

— Страдание народа. Дети. Прими на себя, во всем виноват. Слезами землю и люби. Что есть ад?

Смерть Старца.

Мечта. Христос гораздо вернее, чем Вав⟨илонская⟩ башня. Предпоследний умертвит последнего.

— Монах есть служитель, берегомый на день, и час, и месяц, и год, ибо правда у народа доселе от нас же, от святителей, от преподобных, от богоносных отец.

— Образ Христа *храни* и, если возможешь, в себе изобрази.

— Милостыней живем. Горд человек милостыни не просит.

— И неужели такой мелкий слуга? Да он меня всего потряс, убеждал, что рай настанет.[3] ⟨57⟩

— Многие не захотят в рай и останутся с сатаною. Гордость же сатанинскую даже трудно нам и постичь. Знаем лишь, что бог есть жизнь,[4] к жизни и к Слову, к завершению жизни, а сатана есть смерть и жажда саморазрушения. Гордость же сатанинскую трудно нам на земле и постичь. Да и многое из самых сильных чувств и стремлений наших пока на земле мы не можем постичь. Корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Бог взял семена из миров иных, и посеял на сей земле, и взрастил сад своих, и взошло, что могло взойти, и всё взращенное живет,[5] но с чувством соприкосновения таинственным мирам иным. Вот почему и говорят, что сущность вещей не можем понять на земле. Мню так.

---

[1] Работа детей. ∾ не трогать. *вписано.*

[2] Были бы ∾ братство. *обведено рамкой.*

[3] Встреча с слугою ∾ рай настанет. — *разрозненные записи.*

[4] *Далее было:* а это смерть

[5] и всё взращенное живет *вписано.*

— Заметили же целое в тяготении планет, не смеются материализму,[1] как же не быть целому и во всем остальном. Скажут, что и всего-то остального нет ничего — кроме тяготения планет — так ведь это безумие. Всего заметить не могли, а только лишь начали примечать. И не к одним планетам тяготеем мы.

— Брат Анфим одно только словцо: «Господи!»

О Волге.

— А отец Анфим на монастырские деньги пряничков да сахарцу им покупал и давал.

— Ты тоже, ох, тоже.

— Много и отдавать должны, — заметил отец игумен.

— Мир на другую дорогу вышел. Баре и Леблаз. Сносят хладнокровно. А в улицах езда, экипажи, господи. Алеша молитву: «Всех к тебе представших...»

Освободить себя от тиранства вещей и привычек.

Семейство как практическое начало любви.

Семейство расширяется: вступают и неродные, заткалось начало нового организма. ⟨58⟩

— И вот еще что: никто не исполнен такого матерьялизма, как духовное сословие. Мы у тайны, мы делаем тайну. Дети — атеизм и сейчас же матерьялизм (поп в ризе почтен, а без ризы стяжатель и обиратель). Светский же матерьялен, если профессор, насмешливо холоден к делу и резать Россию живьем, живое тело и кровь ему ничего не значит, хуже иностранца и лиходея. Из народа извержены — вот беда их; и фантастичен, если чиновник (несбыточные [2] проекты, ибо жизни не знает совсем). Никто так не накопит, как [3] сын попа. Копит [4] и поп, да тому часто не из чего.

— Просить милостыни стыдно, один другому личности своей уступить не может, по грехам нашим так, но *народа не стыдно*.

— ... Но есть во аде и гордые, не захотят ни простить, ни прощения принять.

— Огонь любви столь сильный. Вещественный огонь лишь прохлада, ибо утоление. Отвлечение от того огня.

— За самоубийц, грешен, всегда молился.

— Но если все всё простили (за себя), неужто не сильны они *все* простить всё и за чужих? Каждый за всех и вся виноват, каждый *потому* за всех вся и силен простить, и станут тогда все христовым делом, и явится Сам среди их, и узрят его и сольются с ним, простит и первосвященнику Каиафу, ибо народ свой любил, по-своему, да любил,[5] простит и Пилата высокоумного, об истине думавшего, ибо не ведал, что творил. Что есть Истина? А она-то стояла пред ним, сама Истина.[6]

---

[1] не смеются материализму *вписано*.
[2] *Над строкой:* полон
[3] *Далее было:* поп и
[4] *Было:* Накопил бы
[5] по-своему, да любил *вписано*.
[6] Что есть ∾ сама Истина. *вписано*.

Будут и гордые, о, будут, те с сатаной, не захотят войти, хотя всем можно будет, и сатана восходил, но не захотят сами.

— Мир полон дорогих покойников, полон великих людей.

— Мечтают об алюминиевых колоннах, царица — блудодейная женщина.

— Прежде не примечали меня, а теперь вдруг все стали звать. Сами смеются надо мной, а меня полюбили. ⟨59⟩

— Монах. Разные монахи. Великая идея. На час, на день, на месяц...

— Образ Христа храни, ибо монастыри хранят.

— Ибо народ верит по-нашему.

— А неверующий у нас в России ничего не сделает.

— Без Христа и не будет ничего. Вот чему надо уверовать.

— У нас и прежде всегда из монастырей деятели народные выходили, отчего не может быть и теперь?

Свобода потребности. Вещей больше, а радости меньше.

— От табаку отстать, да как я пойду на служение, когда я же отстать не могу. И не двинусь. Уединение.[1]

— Россия. Будь велик, а я чту тебя.

$^{1}/_{10}$-я.

Афанасий.

— С гневом и пролита кровь, но проклят гнев их.[2]

Вавилонская башня. Предпоследнего.

— Проклят гнев их, ибо жесток.

— Без братьев не будет братства.

— Мечта Христова вернее.

— А в народе греха много.

Разврат отъединения.

Дети, пьянство. Пропился.

— В народе спасение. Встреча атеистов с народом. Берегите народ, воспитайте. Вот ваш иноческий подвиг.

— Тут $^{1}/_{10}$-я. Не в жидовском золоте дело. У нас и милостыни просить не стыдно. Чувство солидарности. Стыдятся — застреливаются.

Девица-целка.

— Всяк за всех виноват. 25.

Слуги. Птицы — молитва, воспитание (52).

— И перестанет отъединяться, откладывать капитал.

Разруше⟨ние⟩ великой мысли о братском соединении.[3]

— ТОГДА НЕ ПОБОИМСЯ И НАУКИ. ПУТИ ДАЖЕ НОВЫЕ В НЕЙ УКАЖЕМ.

— *Ад.* Останутся гордые. Будут гореть в огне гнева своего и гордости своей и требовать смерти, прокляв живое.

— Что же, нельзя не сознаться, в России мерзко... Кулаки,

---

[1] — Без Христа ∾ Уединение. — *разрозненные записи между строками и на полях.*

[2] — С гневом ∾ гнев их. *вписано.*

[3] Разруше⟨ние⟩ ∾ соединении. *вписано.*

«Братья Карамазовы». Страница автографа черновых набросков к книге шестой. 1879 г.
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград).

маклаки, но нельзя одно худое видеть, драгоценный алмаз просмотрели.

— Народ-богоносец, сколь вежлив.

— $^{1}/_{10}$-я, у нас к тому идет.

— Гнев их проклят.

— У нас у 1-х кончится отъединение капиталом. ⟨60⟩

Афанасий.

— Полтину подал — единение произошло. Слуги.

— Повторяю, нельзя, чтобы не было слуг.

— Народ: неустанно верует, умилительно плачет.

— Афанасиев неужто мало. Да все-то такие.

— Верую живою душой. Дети, любите друг друга и не бойтесь греха людей.

— Люби во грехе, но *ибо сие уже божеская любовь.*

— Что есть ад?.. Теперь уже знание имею и хоть жажду любить, хоть и люблю, но подвига не будет в любви, в любви и не может уже бы⟨ть⟩. И заплатить любовью за любовь не могу теперь. Ибо нет уже жизни и «времени больше не будет».

— Ад, гордые. Для тех ад добровольный и непасытимый, ибо сами прокляли себя, прокляв бога и жизнь. Злобные отчаянием своим насыщаются,[1] как если бы голодный кровь свою сосать начал, — но не насытятся во веки веков. И о тех бога просите, грех, говорят, но просите. За любовь не осердится бог.[2] ⟨61⟩

... ибо сатана входит к господу и беседует с ним...

— Были званы и не пошли, пока зовутся и не идут. И не пойдут во веки веков, и сами уже жаждая пламени, никем не мучимы, даже любимые, даже вечно призываемые. Вот ад, вот муки, вот пламень, и, мыслю, был бы действительно пламень, как верует иной, то, может, обрадовались бы сему огню матерьяльному, ибо хоть на минуту забыли бы в страдании матерьяльном страшный пламень духовный, вечно их пожирающий. ⟨61а⟩

— Медведь грозный и свирепый и ничем в том не виноватый.

— Деточки с животными должны воспитываться — с лошадкой, с коровкой, с собачкой. Добрее будут, и осмысленнее станут их души.

— «Ненавижу Россию». До ненависти даже дошло. Напиши что хошь дурное про русского человека — великим человеком тебя вознесут. Напиши, что ленив русский (Обломов), русский ли народ не работает. Всё оттого, что *общего* нет вот уже двести лет, всё стадо было раздроблено многомиллионное на единицы. Общего дела никакого, кроме одной веры, да и та была подкопана. Не оставляйте народ. Монастырей это дело. Хоть в вере-то общее дело поддерживайте, дойдете и до всего.

— Дети 8 лет работают, 6 лет лишены невинности. Вопийте против этого и работайте. Я так говорю: коли скучаешь, великий

---

[1] *Далее было:* завистью и злобой питаются

[2] *Далее было начато:* Сотвори, и тогда в даре сем, то, сколь возможно будет

философ, не имея в рост свой для себя деятельности, насади деревце али [1] обучи ребеночка грамоте. А коли захочешь господу услужить, обласкай ребеночка и помоги ему. Мало надо иной раз, очень мало, а навеки закинешь семя. (Горячée.)

— Вопят духовные, что мало доходу. Другие приходят, стадо отбивают. А ты, не думая, начинай с детей, обрабатывай ниву — и увидишь, как все помогут тебе. Что теперь для народа священник? Святое лицо, когда он во храме или у тайн. А дома у себя — он для народа стяжатель. Так нельзя жить. И веры не убережешь, пожалуй. Устанет народ веровать, воистину так. Что за слова Христовы без примера? А ты и слова-то Христовы ему за деньги продаешь. Гибель народу, гибель и вере, но бог спасет. Кричишь, что мало содержания: а ты поди хуже, поди пеш и бос, и увидишь, как увеличится и любовь к тебе, и содержание твое. Правду ли говорят маловерные, что не от попов [2] спасение, что вне храма спасение? [3] Может, и правда. Страшно сие. ⟨62⟩

— А с детьми видал я духовных: [4] учат закону, что есть причастье, на текстах, катехизис. Пусть это в школах. То ли надо бедному деревенскому мальчику; прочти ты ему всю историю, как Иаков пошел к Лавану, как Иосиф прекрасный, Алексея, человека божьего, Марию Египетскую — на всю жизнь его переменишь. И что это за книги — я тебе скажу.

— Умер на пароходе — (нищий) — уединенный.

— Целка. Красота мешала. Кто же, как не город, виноват? Кажется, так. Но город — значит, другие. Кто же, как не ты, виноват — вот где правда.

— Всё чтоб сейчас готовое было.

— И про царицу Иезавель, и про Эсфирь и Вастию надменную. Милые личики смотрят, в глазах их нарастает и изменяется чувство, и никто не говорит, что тебя любят, а любят тебя. Что награды выше? Ляжешь спать, светлые сны засветил луч божий. Господи, еще день, благослови делать. Не думай, что мало сделал, не думай, о, не думай. Многое, таковое многое, что и не вместить тебе. Где знать все ходы истории...

— Работника встретил, на Волге, шли вместе — восхищался природой, ночью (медведь, гармония природы), «прости, голубчик»? Потом встречаю — пьяный. Заплакал. Зачтет ему слезу эту бог, а виноваты мы, все мы. И неужто фантазия этот раб⟨отник⟩? Менее фантастичен, чем ваш экономический строй.

— Воссияет истина, обетование имеем.

— Мир на другую дорогу вышел, а тут чего: только люби друг друга, и всё сейчас сделается.

— Вы не верите в бога, как же вам не жить матерьяльно? Чем матерьяльнее, напротив, тем лучше, ибо здесь всё кончается...

---

[1] насади деревце али *вписано.*
[2] *Было:* от них
[3] что вне храма спасение *вписано.*
[4] *Было:* народных

Матерьялизму же пет пределов, и дойдете до утопченностей тиранства и до поядения друг друга. И не мечтайте о том, матерьялисты, что взаимная выгода заставит и вас устроиться в порядке, как бы и впрямь в общество. Не может этого и быть, ибо общество ваше потребует жертв от каждого, а распущенное желание не захочет дать жертв. Сильное желание и сильная способность не захочет быть сравнена с ординарною, а так как нравственной связи [1] не будет, кроме взаимной выгоды хлеба, то и восстанет великий могучий дух со зверством и способниками, и начнете побивать друг друга в вечной вражде, и поедите друг друга, кончится тем. ⟨63⟩

⟨ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ⟩

Соборование. (Повторяется ли соборование?)

Чин.

Причащение. Чин.

Погребение. Чин.

Вода. Масло. Срачица. Параман. Крест спереди. Туфли. Мантия. Куколь с ☦ крестом, на воскрыльях херувим, мантия. Черный воздух — лицо, а куколь открыт.

Сколько времени в келье до выноса в церковь?

Кто читает над телом?

Иеромонах. Евангелие. Иеромонахи и иеродиаконы. ⟨64⟩

ГЛАВА «ГРУШЕНЬКА»

История легкомыслия и ветрености людей.

О легкомыслии много. Историю легкомыслия людей и ветрености.[2] Старец, *противно описывать*. Но должен, ибо произошло нечто имевшее влияние на душу и *смысл* одного из героев рассказа (Алеши).

Хохлакова — не ожидала этого от Старца (такого поступка).

Груш⟨а⟩. *Луковка*.

Семинарист заступает⟨ся⟩ за попов.

2) *Грушенька:* «Зачем мне таких слов никто не говорил?»

— Да народ не захочет. *Сем⟨инарист⟩:* «Устранить народ».

5) — Та слишком свята, а в Грушеньке более соответствующий моей порочной душе энтузиазм. (N3. Семинар⟨ист⟩ Алеше, *когда идут к Грушеньке*.)

12) Монахи про Старца: «Зачем писем не вскрывал?» А другие: «Зачем вскрывал?..»

16) Алеша был бы в ужасе, укусило *накануне сладострастие к Грушеньке!* (Но с *Семинаристом* идет.)

---

[1] *Далее было начато:* не будет, кроме способов

[2] Историю ∾ ветрености. *вписано*.

21) *Семинар⟨ист⟩* Алеше: «Ты говоришь, что я бесчестен. А он говорит, что я бездарный либеральный мешок (попы у тайны стоят, за попов)» (*когда к Грушеньке идут*). *У Грушеньки: «Да зачем мне вас любить?»*

22) Грушенька про Катерину Ив⟨ановну⟩: «Митя сказывал, что кричала: плетьми ее. А я бы ее просто посекла. Зазвала бы и посекла. А впрочем, побольнее».

23) *Грушенька:* «Победить хотела. Зазвала и победила меня барышня».

... из всех единого неутерпевшего, взбежавш⟨его⟩ вслед за отцом Ферапонтом по лестнице, из-за [1] ⟨65⟩

23) Когда провонял труп, то Алеша и потому еще усумнился, что вчера Иван зерно бросил: «Старец свят, но бога-то нет».

Алеша Грушеньке: «Ты меня к богу *обратила*».

Семинарист, выйдя, — *обиженный вид*.

28) Алеша, вместо того чтоб учить, у Грушеньки же *покоя* ищет: «Дай мне покой. Сестра моя».

— И я перед тобой виноват, как перед птичками.

— *Что праведники!* не было бы их, были бы все братья, а ты всем сестра.

У Грушеньки рядом со слезами и смешок: «Пойдем за всех бога молить».[2]

29) Обвинения Старца монахами.

30) Звездная слава.

32) Монахи о Старце: «Варенье ел».

Ферапонт: «Старчество новшество, во ад пойдет. Ломоть в седмицу».

33) Монахи о Старце: «Почему зловоние, тело малое». Окна. «Нарочно хотел бог указать. Значит, суд божий не то, что человеческий». «Я *малограмотный*». Помощники и покровители.

34) *Монахи:* «Таинством исповеди злоупотреблял».

Грушенька: «*Луковку* подала».

36) — Ты ребенком была, я прошел мимо.

Груш⟨енька⟩: «Да ты не родился еще».

Мир для $^1/_{10}$-ой людей.

43) Отец Иосиф робко: «*На Афоне желтые кости*».

45) Монахи: «Учил, что жизнь есть радость, и сладости себе разрешал».

46) *Алеша Груш⟨еньке⟩:* «Зачем ты несчастна, с этих пор будем счастливы. Всё, что истинно и прекрасно, всегда полно всепрощения».

Звездная слава. ⟨66⟩

49) Тлетворный дух. Алеша в лес. Лег в роще. (Что до Илюши, до Мити!) Сыскал Ракитин.

---

[1] из всех единого неутерпевшего, взбежавш⟨его⟩ вслед за отцом Ферапонтом по лестнице, из-за *вписано на полях.*

[2] *Рядом помета:* Богаче.

53) Ракитин и Алеша: «Бог справедлив, да мира-то его я не принимаю. Старец был светел, и вот...»

Ракитин: «Да неужели такая глупость (как провонял) тебя с толку сбила (от бога отбила)? Чину не дали, бунтуетесь».

— А ты бы не взбунтовался?

— Выпей водки.

— Давай.

У Грушеньки про животных вспоминает, про детство, дивит.

«*Кто тебя качал, кто над твоей люлькой песенку пел?*»

Ракитин: «Русский народ не добр, потому что не цивилизован».

54) «Босоногая я была» (Грушенька). «Растлил. Озлилась я, подлая стала. Поиграй на фортепьяно». (Шампанское. Ракит⟨ин⟩ кричит: «Давай шампанского, привел! Обещалась бутылку».)

Алеша: «Прости, что о тебе плачу».

Груш⟨енька⟩: «Он царь, а ты груздь».

Ракит⟨ин⟩: «Я вам докажу еще» (озлился); (взял 25 руб. *Груш⟨енька⟩:* «Он тебя предал. Ведь я ему 25 руб. обещала».)

55) *Алеша* Груш⟨еньке⟩: «Я за тебя виноват».

Груш⟨енька⟩: «Мальчик ты маленький, чем ты за меня виноват?» Ракитину: «Не смейся, дурак. Ты никогда этого не говорил. Он дело говорит».

Ракит⟨ин⟩: «Не стану я глупостей говорить-то». ⟨67⟩

59) — Грушенька, ты добрая, убереги меня.

— Нет, я *не добрая,* я тебя *проглотить* сбиралась, понимаешь? Я ведь со злобы.

68) — Ты была натолкнута с детства. Тебя не пощадили.

Грушенька: «А ведь ты правду говоришь... Дай поплакать-то... Плакать славно, баба я подлая».

70) — Зачем ты, херувим, не приходил ко мне?.. Я всю жизнь этого ждала... Знала, что кто-то придет... Верила, что и меня кто-то полюбит, гадкую, *не за один только срам.* Раздеру я лицо.

72) — Луковку подала. *А остальное всё нагрешила...*

— Те под туркой сидят и всё перезабыли.

Ракитин: «Да неужели ты верил (в мощи)?»

Алеша: «Верил, и верую, и хочу веровать, и буду веровать».

— Всё же ты образованный.

Монахи: отворить окна; подразумевалось, что от мощей какой же будет запах? «*Худенькой*» [1] №3.

Грушенька Ракитину: «Не смей говорить мне *ты*».

(Свинья) — Что-о-о?

— Таковое немедленное ожидание — что-либо необычайное — есть легкомысленное, простительное светским, но не подобающее нам...

Ракитин. Обдорский монашек.[2] Алеша (рыдал в углу). «Чего

---

[1] «*Худенькой*» *обведено рамкой.*

[2] Обдорский монашек. *вписано.*

ты, радуемся, а не плачем... А впрочем, плачь, плачь умиленно и радостно. Умиленные слезы есть отдых душевный, веселие сердца, в горнем пребывающего».

Ферапонт к заходящу солнцу. Заходящу солнцу.[1]

Алеша слышал. Паисий, хоть и не мог того слышать, что слышал Алеша, но угадывал всё. Он знал свою среду насквозь и пронзающим, трезвым и небоящимся взглядом следил за нею.

— От отца Леонида ничего ⟨*нрзб.*⟩ не пахло, ничего, ничего, постник был. ⟨68⟩

Ракит⟨ин⟩ имел обиженный вид, но еще крепился. Он, полячок и проч., и вдруг — насмешки: «ты обратил». «Полно, не сердись», — сказал Алеша.

— А убирайтесь вы все к черту. Да и ты убирайся. Знать я тебя вперед не хочу.

У Груш⟨еньки⟩. Стоял Ракитин и удивлялся на них: почему всё так необыкновенно между ними. А и действительно, они каждый были еще и до встречи с необыкновенной заботой в сердце, как бы вне себя (возбуждены). (У той любовник приехал, и у Алеши Старец оставил его.)

Как вошли к Грушеньке, она в необыкновенном возбуждении. И, *между прочим*, воскликнула, смотря на Алешу (впрочем, радостно): «Ну не вовремя ты угодил с ним прийти, не до того мне теперь».

Грушенька кричит вослед Алеше: «Да скажи от меня Мите моими словами: „Прощай, Митя, не поминай лихом и не сердись, любила я тебя несколько, да не тебе, знать, бриллиант сохраняла. Другому суждено..."» («А о Мите она и *не упомянула* до тех пор всё время», — подумал Алеша.)

Кана Галилейская. Тексты по мере засыпания.

Вот и Кана Галилейская, вот и брак, вот молодой и мудрый архитриклин нагнулся с лукавой и доброй усмешкой к жениху.[2]

Кана Галилейская, Зосима в числе гостей, сухонький старичок, куколь, осьмиконечный крест, но лицо открыто. Какое радостное лицо.

— Я луковку подал, — тихо смеясь, и тонкие черты его прыгали.[3] Алеше: «Чего удивляешься, я луковку подал, вот и здесь. И все здесь только по луковке подали, пойдем, солнце видишь, видишь, солнце наше».

— Вижу... боюсь, — прошептал Ал⟨еша⟩.

— Не бойся его. Страшен величием перед нами, ужасен высотою своею,[4] по милостив бесконечно, словно как и мы, будто всего только[5] луковку подал.

---

[1] Ферапонт ∾ солнцу. *вписано на полях.*
[2] Вот и Кана ∾ к жениху. *вписано между строками и на полях.*
[3] сухонький старичок ∾ прыгали. *вписано на полях.*
[4] перед нами ∾ своею *вписано на полях.*
[5] будто всего только *вписано.*

Нам из любви уподобил⟨ся⟩, точно гость, собеседник на брачном пире сидит, воду в вино претворил, чтоб не пресеклась радость, вот обносят сосуды,[1] вот он, видишь его.

Что-то горело в сердце Алеши, рвалось, но и замирало сердце любовью.

— Где он? — раздался чей-то голос. Проснулся вдруг, и как бы вся вселенная сказалась в сердце Алеши. ⟨69⟩

Рак⟨итин⟩ и Алеша входят.

Груш⟨енька⟩: «Эх, ах, ну!.. Нашли когда прийти!» (Смеется.)

Рак⟨итин⟩: «Аль не вовремя?»

Гр⟨ушенька⟩: «Гости будут».

Рак⟨итин⟩: «Какие гости? Сюда?»

Гр⟨ушенька⟩: «Ну, сюда ли, нет ли? Жду. Смущена я, а ты его привел. Хотя бы вчера, а то именно под такую минуту. Да всё равно. Рада и так. Может, даже лучше. Я тебе, Алеша, ух как всегда рада. Чего я тебе рада, и сама не знаю, — потому что прежде *совсем за другим* желала тебя, чтоб ты пришел.[2] Веришь ты этому. Ну садитесь, садитесь. Потчевать буду. Я теперь подобрела, Ракитка. Ныне я добрая. Садись, Алешечка. Садись и ты, Ракитка, ах, да ты сам уж сел.[3] Знаешь, Алеша, вот он сидит да обижается — зачем это я его раньше не пригласила садиться.[4] Да как ты его так залучил, нет, да нет, как он, этакое сокровище, сюда попал: верно, шли».[5]

Рак⟨итин⟩: «У него горе. Чину не дали. Провонял».

Гр⟨ушенька⟩: «Так умер старец Зосима, господи (и перекрестилась набожно). Ну, вот в какую ты его минуту привел. А я-то думала и т. д., но вздор всё, у него на коленках сижу», — вскочи⟨ла⟩.

— Чего боишь⟨ся⟩? Колбасу.[6]

Рак⟨итин⟩: «Давай-ка шампанского. Он шампанское ведь пить будет. Колбасу есть собирался. На все грехи пошел».

Гр⟨ушенька⟩: «Что так?»

Алеша *твердо:* «Ну, вздор всё, ничего не поним⟨аю⟩. Полно, Ракитин. Мне, глядя на тебя, лучше стало, Грушенька. Не взбунтовался я, Ракитин».[7]

Рак⟨итин⟩: «Говорю тебе, провонял. Вот он и взбунтовался».

Алеша: «Не взбунтовал⟨ся⟩ я, что грустно сел и закрыл лицо руками». Грушенька к нему с состраданием. А потом: «Развеселю,

---

[1] точно гость ∾ сосуды *вписано.*

[2] Чего я тебе ∾ пришел. *вписано на полях. К словам:* совсем за другим — *незачеркнутый вариант:* совсем из-за другого

[3] Садись ∾ сам уж сел. *вписано.*

[4] Знаешь ∾ садиться. *вписано.*

[5] нет, да нет ∾ верно, шли». *вписано.*

[6] А я-то думала ∾ Колбасу. *вписано.*

[7] Алеша *твердо* ∾ Ракитин». *вписано.*

развеселю я тебя. В самом деле шампанского, хоть я и скупая, а бутылка-то у меня есть. Митя оставил».

На коленки: «Неужели пустишь, неужели не рассердишь⟨ся⟩?»

— Можно, можно сесть. Ах, да не та теперь минута.[1]

Ракит⟨ин⟩: «А ведь она, Алеша, шампанского за тебя обещала. Приведешь — поставлю бутылку. Я потому и требую».

Гр⟨ушенька⟩: «Ну уж, ты! Не для тебя ж подам! Глазки его. (Алеше). Я хоть и рада, хоть и гостей жду, а дебоширить хочу».

Рак⟨итин⟩: «Да ты, точно нас ждала, и причесалась, приоделась».

Гр⟨ушенька⟩: «Он едет. Офицер в Мокром».

Рак⟨итин⟩: «Почему в Мокром? То-то Митеньке теперь».

Гру⟨шенька⟩: «Не поминай мне об Митеньке. Сердце он мне всё разбил. Да не хочу ни о чем я в эту минуту думать. Я на Алешеньку гляжу. Да улыбнись. А ведь улыбнулся. Ишь ласково смотрит. А я, знаешь, Алеша, думала, что ты на меня сердишься? (у институтки-то)... Нет, хорошо оно было. Я, плотоядная, тебя звала. Да вот и боялась всё, что сердишься».

Рак⟨итин⟩: «В самом деле, ведь она боялась тебя! Боится всегда. Да чего ⟨70⟩ ты его-то боишься, цыпленка этакого».

Гр⟨ушенька⟩: «Это для тебя он цыпленок, вот что, а я боюсь. Я, видишь... Я люблю его душой, вот что. Веришь, Алеша, что я люблю тебя, вот что. И не то чтоб позорно как, а как ангела какого люблю. Право, Алеша, смотрю на тебя давно. Всё думаю, ведь это ангел мой ходит и уж как де он меня, скверную, презирает. И стыжусь. Веришь ли, иной раз, право, подумаю про тебя и стыжусь... Потому... потому я было на тебя другую мысль питала. И как это я об тебе думать стала и с которых пор — и не знаю, и не помню».

Р⟨акитин⟩: «Ах ты, бесстыдница. Это она в любви объясняется».

Гр⟨ушенька⟩: «А что ж, и люблю».

— А офицер-то в Мокр⟨ом⟩?

— А что ж офицер. Я того вовсе не так люблю. Да что ты такой грустный (и вскочила на коленки). Неужель пустишь (на коленки), неужель не сердит? Что ты так хорошо смотришь на меня?

Алеша: «Не сумею сказать, что со мною. Зосима. Спаси меня от меня самого».

— Говорю тебе, наставник его пропах.[2]

...Гр⟨ушенька⟩: «А ты не скучай». Ракит⟨ину⟩: «Играй, Ракитка. Не говори про душу, Ракитин.[3] Вот и шампанское несут».

Хлебнул Алеша: «Нет уж, лучше не надо».

---

[1] На коленки ∾ минута. *вписано.*
[2] — Говорю тебе ∾ пропах. *вписано.*
[3] Не говори про душу, Ракитин. *вписано.*

Гр⟨ушенька⟩: «Ну, потом. Да и я не хочу. Пей, Ракитка, один. Нет, уж лучше, что ты так грустен, Алеша, не сидеть. Прости, Алеша».

— Добрая ты. Луковку подала.[1]

Груш⟨енька⟩: «Я-то добрая? Я плотоядная (опять про барышню)».

Груш⟨енька⟩: «Не годится мне у тебя на коленях сидеть. Прости ты меня. Соблазнить хотела. На коленки. А ты говоришь, что я добрая».[2]

Алеша: «Да и я об тебе думал».

Гр⟨ушенька⟩: «Что — что ты обо мне думал?»

Алеша — про красоту ее и про душу. Дифирамб. Кончает Зосимой. Заплакал. Ракитин острит.

— Молчи ты, Ракитка. Ты груздь, а он князь.[3]

Рак⟨итин⟩: «Долг давай».

Гру⟨шенька⟩: вынесла 25 р. «Ведь он тебя продал, Иуда».[4]

— Не любишь ты нас.

Рак⟨итин⟩: «За что мне любить».

Груш⟨енька⟩: «А ни за что люби. *Луковку подала*».

Рак⟨итин⟩: — — —

Груш⟨енька⟩: «Не смей говорить мне *ты*. Он князь, а ты груздь».

Ал⟨еша⟩: «Кто над колыбелью пел?»

Груш⟨енька⟩: признания. «Лежу злая, встала злее собаки».

Ал⟨еша⟩: «Я, может, прошел мимо».

Груш⟨енька⟩: «Да ты и не родился тогда».

Алеша: «Всё равно, другой. Все один за другого виноваты».

Груш⟨енька⟩. Вдумчиво: «Хорошо ты это сказал» (тут про колыбельку. «Ты чистая, великодушная»).

Гр⟨ушенька⟩: «Я развратная».

Алеша: «Нет, пройдут годы — найдешь и свое сердце».

Луковку. «Видишь, Алеша, едет он: простить иль нет? Ну, говори! вот я лежала, думала, кто мне скажет?»

— Он едет. Хочу чистая быть. (Опять Ракитин.) Прощать или нет, Алеша?[5] ⟨71⟩

Груш⟨енька⟩: «Алеша, поверишь ты мне?»

Алеша: «Поверю тебе».

Груш⟨енька⟩ (отклонясь с улыбкой): «Неужто во всем поверишь?»

Але⟨ша⟩: «Во всем поверю тебе».

Груш⟨енька⟩: «Я боялась, что ты меня как мерзавку презирать будешь».

---

[1] Нет, уж лучше ∾ Луковку подала. *вписано.*

[2] Груш⟨енька⟩: «Не годится ∾ добрая». *вписано.*

[3] Ты груздь, а он князь. *вписано.*

[4] *Далее было начато:* Не смей

[5] Алеша: «Всё равно ∾ Алеша? *вписано.*

Груш⟨енька⟩ (у него на коленках): «Глаза у него, Ракитин, что за глаза. Я давно глаза его заметила».

Ракитин про жениха: «А куда он приедет?»

Груш⟨енька⟩: «Может, сюда, а может, и в иное место сперва. Мне дадут знать».

— Когда?

— Да, может, сейчас. Со вчерашнего дня на каждый час жду.[1] Ракитка, скажи ты мне и т. д.

Грушенька: «А я-то тебя развратить хотела. Вот он (Ракитин) всё хотел, меня подговаривал. Стыдно мне за себя перед тобою».

— Добрая ты.

— Пьем вино новое, вино радости новой, великой.

Вот он сидит, нежный к нам, кроткий и милосердный, в нашем образе человеческом сидит, точно и сам только луковку одну подал.

— *Груш⟨енька⟩:* «То лежу злая целые дни... То, думаю, пойду работать на всех людей».

Груш⟨енька⟩: «Ночью лежишь, злишься. *Утром* встанешь злее собаки».

Алеша: «Да этого народ не позволит».

— Что ж, истребить народ, сократить его, молчать его заставить. Потому что европейское просвещение выше народа... (помолчал).

— Нет, видно, крепостное-то право не исчезло, — промолвил Алеша.[2]

— Да и черт вас дери, и с народом-то. Пошел! Не хочу я с тобой знаться больше! (поворотился и ушел гневный).

Рак⟨итин⟩ шел гневный от Грушеньки. Алеша молчал. А Ракитин пустился говорить: «Без религии всё сделать, просвещение. Люди всё гуманнее делаются. Просвещенные гуманнее непросвещенных. Религия дорого стоит. Ты бы хоть Бокля прочел. А мы ее уничтожим».

— Народ не позволит.

Обнаженно, без приготовлений, когда вдруг высказывают самые крайности в досаде и злобе, только бы высказать.

Главное, Ракитину досадно было, что Алеша молчит и с ним не спорит. Крестами поменялись.

— Барчук ты, Ракитин.

— Я поповский сын, а не барчук, ну и черт вас дери, пошел и т. д.

— Ты обиделся и говоришь так.

— Это у Грушеньки-то. Я-то обиделся! Ах вы, дрянь! пошел!

---

[1] — Когда? ∾ жду. *вписано.*

[2] — Нет, видно ∾ Алеша. *вписано.*

Черт тебя дери, и зачем я с тобой связался! Знать я тебя не хочу больше.

А если уж всё сказать, он связывался, надеясь, что Алеша имеет в монастыре силу.[1] ⟨72⟩

— Простить или нет?

— Да ведь уже простила.

— И впрямь простила. Хотя... Ну да нет еще, может быть, еще не простила. Лежала я и всё думала, как вы взошли... Сердце у меня билось.

— Похваляешься, — ехидно укорял Ракитин.

— А нарядилась-то зачем? — *ехидно* спросил Ракитин.

— Не кори меня нарядом, Ракитка. Не знаешь ты моего сердца. Захочу — сорву этот наряд, не знаешь ты, для чего этот наряд; может быть, выйду к нему, скажу: видел меня, хороша али нет? [2] Да обольщу его, да удивлю его, ведь он меня 17-летнюю, тоненькую, чахоточную оставил! Видел, какова я теперь, скажу. Ну так и оставайся при том: по усам текло, а в рот не попало. Посмотрю я сперва, каков он сам-то есть [3] (злобно хохочет). Неистовая я, Алеша, злобная.

Колыбелька. Заплакала. «Да что ты ей такое сказал?»

— Сорву.

Ракитин встал: «Довольно».

— Да куда же ты? [4]

— Алеша! Люблю я его аль нет, говори!

— Любишь, Грушенька, очень любишь, — улыбнулся Алеша.

— Верно, Алеша, подлая я. Кликнет, как собачонка прибегу. Экое подлое сердце! Бокал: выпей, Алеша, за подлое мое сердце! — выпила и бокал разбила. А ведь, может, еще и не люблю, ну, поборемся, видишь, Алеша, я слезы мои за все эти 5 лет люб⟨лю⟩.[5] Я мечтания мои люблю за эти все года. Я обиду мою люблю...

— Ну, не хотел бы я быть в его коже.

— Не будешь, Ракитка, никогда в его коже не будешь. Ты мне башмаки будешь шить, Ракитка, вот я тебя на какое дело употреблю, а такой, как я, тебе никогда не видать. Да и ему, может, меня не видать.

— Я плотоядная. Съесть хотела тебя. *Грешное тело.* Да под такую минуту вы зашли.

— Пришло известие. Еду! 5 лет, 5 лет! Господи!

— Он ведь поляк.

— Почему поляка не любить? Упилась я, как пьяная. Прощай, Митя, любила я и его, нравился мне часок, очень нравился. Подлецу достанусь, а не ему, благородному.

---

[1] Рак⟨итин⟩ шел гневный ∾ в монастыре силу. *вписано на полях.*

[2] *Далее было:* Ну так и оставайся при том.

[3] Посмотрю ∾ есть *вписано.*

[4] Заплакала. ∾ куда же ты? *вписано.*

[5] видишь, Алеша ∾ люб⟨лю⟩. *вписано.*

— Пусть страдает, — закри⟨чал⟩ Рак⟨итин⟩.

Ракитин (выйдя): «Он ведь поляк, кажется?» — «Может, поляк. А и всё-то ты, Ракитка, знаешь».

Алеша: «Ракитин!» Ракитин закричал.[1] ⟨73⟩

Ракитин: «Ну что ж, *обратил*? Ведь *обратил* грешницу? Изгнал семь бесов. Рад тому».

Тут сказывались 22 года,[2] нетерпение юности. *Невыдержка* юности.

Грушенька: «А я-то тебя соблазнить хотела. Никому-то я *тела моего грешного не отдавала,* кроме старика того, а *тебе хотела отдать,* так и положила тебя соблазнить... Подлая я, подлая!»

— Пием вино новое (чудодеемое).

СВЕЧИ.[3]

— Бытдо? [4]

Ракитин удивлялся на их восторженность, на их как бы исступление. Но ведь у них обоих как раз сошлось всё, что должно было потрясти их души: у одного смерть Старца и всё то, что случилось в этот день, а другая только что получила известие о прибытии человека, столь рокового в ее жизни, которому она, неопытной девчоночкой, отдала когда-то свою любовь, безжалостно и грубо бросившему ее, женившемуся, обидевшему ее, и вот теперь, овдовев, он об ней вспомнил, а коль вспомнил, была же, стало быть, и в нем любовь, теперь он едет, почти приехал уже, возвещает о себе, и хоть давно уже знала об его приезде Грушенька, хоть он еще 2 месяца тому назад напомнил и возвестил о себе, но всё же известие о том, что он уже здесь, должно было страшно потрясти ее душу, — и она была в исступлении. А у Ракитина ничего не было. Но он продолжал удивляться и даже злобно сердился на их исступление.

Вышли: «Поляк он, не хотел я быть в его коже...»

— Ах, Ракитин.

— Ты за 25 р. злишься, презираешь меня небось...

Ал⟨еша⟩: «Я и думать забыл».

— А, черт с вами.[5] ⟨74⟩

Паисий Ферапонту: «Изыди, отче. Не человеки судят, а бог. А ты человек.[6] Может, и здесь указание видим, коего не в силах понять.[7] Изыди, отче, не возмущай стада. Властию моею говорю тебе!»

---

1 — Я плотоядная. ∾ закричал. *вписано на полях.*
2 *Незачеркнутый вариант:* молодость
3 *Рядом помета:* Не забыть.
4 *Рядом помета:* Не забыть.
5 Вышли ∾ с вами. *вписано на полях.*
6 *Незачеркнутый вариант:* А ты человек есмь
7 *Незачеркнутый вариант:* объять

— Постов не соблюдает. Сладостями брюхо свое наполняет, а ум помышлени⟨ем⟩.[1]

— Нечистого изгоняешь, а ему же, может, и служишь. И кто про себя сказать может: «*Свят есмь*»? Легкомысленны словеса твои, отче. Постничеству и подвижничеству твоему поклоняюсь, но легкомысленны словеса твои, отче, реку тебе, изыди, отче, и стада не возмущай...

— Я ли возношусь? Над тем. Помощник и покровитель.[2]

Ферапонт: «Извергая, извергну. Премудры, а я и прибыл-то малограмотен, а здесь и совсем забыл».

Паисий Алеше: «Неужто и ты?» (усумнился). Алеша хотел было сказать, но усмехнулся и махнул рукой, даже как бы без почтения. «Что с ним!» — подумал Паисий, наблюдая за ним. Но Алеша вышел. «Придешь», — сказал про себя отец Паисий и стал читать.

Бокал; выпил полглоточка: «Довольно». Грушенька: «И я довольно, не буду».

Ракитин: «Нет, я буду. Не скоро шампанское-то увидишь».

Груш⟨енька⟩: «Ведь он это потому, что я обещала поставить шампанского, если он тебя приведет». (Вскочила на коленки.)

Ракитин: «Да за что я вас буду любить? Скажи ты мне только, за что я вас буду любить?»

Груш⟨енька⟩: «Да ни за что люби — вот как надо любить».

Рак⟨итин⟩: «Бессмыслица! Ну кто же любит без выгоды и причины?»

Груш⟨енька⟩ (к слову): «Никто-то меня никогда не любил... (и начала плакаться). Босоножка, растлил, уехал. Вот он теперь пишет, что едет. Ведь он подлец передо мной вышел, а кликнет[3] только — сейчас побегу».

— Это другое. И тут есть причина, почему побежишь. ⟨75⟩

Грушенька Ракитину: «Ты мне не говорил таких слов?»

— Да что же он тебе такое особенное сказал?

— А не знаю что, а сказал! Сердцу сказалось.

Грушенька Алеше (пошла, села в сторону): «Что ты надо мной делаешь, нет, скажи, что ты надо мной теперь делаешь?» (Сложила ручки на коленях и устремила в воздух глаза.)

Уходит Алеша, Грушенька кричит в горестном изумлении: «Да что же ты уходишь, что же ты меня теперь одну оставляешь (всю воззвал и истерзал), в сумерки оставляешь?»

Алеша в видении Старца о *брате* вспомнил, что не был. И об Илюше.

Идя от Грушеньки, вспоминает.

СЛАЩАВОСТЬ.

---

[1] — Постов ∾ помышлени⟨ем⟩. *вписано. Далее было начато:* проститель⟨ным⟩

[2] — Я ли возношусь ∾ покровитель. *вписано.*

[3] *Было:* позовет

— Брат твой Иван уехал. И неужто ты, образованный, зарыдал? Ел или пил? Хочешь водки? — спросил он легкомысленно.

— Давай, — криво усмехнулся Алеша.

— Нет, постой — пойдем.

— Идем куда хочешь.

— Нет, не куда хочешь. К Грушеньке, — как бы вспомнил вдруг Ракитин.

Без цели (выгодной) ничего не делал.[1]

Сейчас еще он слышал голос его, и вот он протянут перед ним безгласен с ик⟨он⟩ой Спасителя на груди его.

И повергся на землю, — он чувствовал... и т. д.

Звездная слава.

Как будто нити от всех этих бесчисленных миров божьих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «*соприкасаясь мирам иным*».

Пал на землю, «благословляя жизнь — и любя сии исступленные слезы свои».[2] ⟨76⟩

Стоит ее ангел-хранитель и думает: «Какую бы мне такую ее добродетель вспомнить, чтобы богу сказать. Вспомнил и [3] говорит богу: „Она в огороде луковку выдернула и нищенке подала"».

И отвечает ему бог: «Возьми же ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянет. Коли вытянешь ее вон, пусть в рай идет, а не вытянешь, там ей и оставаться, где теперь».

Побежал ангел к бабе: [4] протянул ей луковку и стал ее осторожно тянуть и уже всю было вытянул. Да грешники, как увидели, что ее тянут вон, почали сзади за нее хвататься, чтоб и их с нею вытянули. А баба-то была злющая-презлющая и почала она их сзади ногами брыкать. «Моя была луковка, а не ваша, меня тянут, а не вас», — как только она это сказала, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро и мучится и по сие время. А ангел заплакал. [5]

Улыбка восторга на *распухшем* от слез лице ее. «Ну вот и я, как эта самая баба: всего тоже какую-нибудь луковку во всю-то жизнь подала, а прочее всё пакостила, да и то надеюсь».

Грушенька: «Врешь ты, знал бог, что и за луковку за единую можно все грехи простить, так и Христос обещал, да знал на-

---

[1] — Брат твой ∾ не делал. *перечеркнуто.*

[2] Сейчас еще ∾ слезы свои». — *разрозненные записи.*

[3] *Далее было начато:* идет

[4] *Далее было начато:* начал

[5] *К тексту:* Побежал ангел ∾ заплакал. — *незачеркнутый вариант:* —На, — говорит бабе, — ухватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть. Да грешники-то прочие в озере, как увидели, что ее из озера вон тянут, почали за нее хвататься, чтоб и их вытянули. И упала баба в озеро и горит по сей день (по сих пор).

перед, что вытянуть-то бабу-то эту нельзя, потому она и тут насквернит. Самая чистая это правда, вот что! Врешь ты, мухомор. Да я-то какая святая, я стерьва».

И на коленях *ползя* за ним.[1] ⟨77⟩

— Поехать мне к нему, Алеша, к обидчику моему, говори!

— Ступай.

— Пойду. Кликнет, и пойду. Знаешь, в эти 5 лет иной раз ночью спишь и проснешься, и с такой злобой. Ну уж я ж ему! А как вспомню, что ничего-то я ему не сделаю, брошусь на подушку и зальюсь слезой, поутру встану злее собаки. А вот он едет, может, приехал уж, кликнет, как собачонка побегу, побегу, побегу, Алеша, побегу. Простить мне ему, Алеша, аль нет?

— Как знаешь. Милая ты.

— Поляк он. Ведь я забубенная, я ведь уж не та, как тогда. Я теперь яростная. Вчера-то барышне-то... Да что ж ты, Алеша, сидишь скучный?

— Чина не дали.

— Нет, не то... — Алеша заплакал. А потом Грушеньке: «Ты нас всех лучше. *Чем ты могла быть?* Да и будешь, будешь, я вижу».

— Почему ты видишь?

— Добрая ты, великодушная. Ты ему простила.

— Нет, еще не простила. *Еще только собирается сердце* простить. Аль простила?

— Сестра ты моя, коли в тебе столько любви, полюби ты меня, успокой ты горе мое. Тоска мне.

— Он меня же просит.

— Лучше ты нас всех. И будешь. Ангел и хранитель твой тебя хранит.

— Как бабу, плачет по мне. Хорошо, коли бы он на тебя был похож, чего ж ты-то, херувим, не приходил ко мне. Никогда я теперь не буду злая. Буду всегда теперь добрая! — на коленки становится и кается: — Подлая я была. Изувечу я себя, мою красоту. Обожгу себе лицо, разрежу, пойду милостыню просить. Не пойду я теперь никуда, ни к кому. Не пойду к купцу, отошлю ему меха, деньги его.

Да и что ты мне такое сказал? Скажи ты мне: что ты это мне такое сказал, что всее меня повернул? Пожалел ты меня первый, вот что. А ведь я такого, как ты,[2] жизнь ждала, веровала, что придет такой.[3] Недаром, как первый раз на тебя поглядела, что-то такое подумала. А ведь хотела тебя соблазнить. А еще говоришь, что я лучше всех.

— Как же ты не лучше всех, когда из-за одного только словечка моего тебе столько благодарна? А я? Господи, что ты мне дала? Сколько ты мне дала? И что я сегодня был? Как возроптал?

---

[1] Улыбка восторга ∾ за ним. — *разрозненные записи.*

[2] *Далее было:* всю

[3] *Было:* он

Укрепила ты меня, Груша, сестра моя милая. Чего ты на коленях стоишь, чего ты мне руки отняла?

Но та разрыдалась. Они выходят, а кто-то подъехал: «Приехал, приехал!»[1] ⟨78⟩

— А она собирается простить, она простить едет, это слышно, видно. Она не возьмет ножа.

— Я ей одно только доброе слово сказал.

— Мне, может, еще и Митя нравится. А может, и в тебя влюблена, Алеша, прав Ракитка.

«На смерть еду» — боялся, что у Грушеньки замысел.

— И у Грушеньки счастье.

— Прячется горе в тихую, умиленную радость.

— А и сколько таких, как она, господи, за всех, за всё.

Кана Галилейская.

Пока Ракитин о своей обиде будет думать, всегда уйдет в переулок.

Рак⟨итин⟩. Ушел в переулок.[2]

— И матер⟨ь⟩ Иисусов⟨а⟩, странно это. Кана. Не горе, а радость людскую посетил Христос, в первый раз сотворяя чудо, радости помог. Кто любит человечество, тот радость его любит. «Без радости жить нельзя», — говорит Митя. Так и надо.

(Чтения.)

— Что это такое? Господи, откуда же пир? Где это? Да, это пир.

К НЕМУ.

— Знало другое великое сердце другого великого существа, бывшего тут же, матери его, что для милости и для тихой радости людей сошел сын ее, что на нежном[3] сердце его — безгрешная, простодушная радость каких-то бедных, нищих, может быть, людей, позвавших его на убогий брак свой: «Вина нет у них, а не пришел еще час мой», — отвечает он с тихою улыбкою, однако ж, пошел и сделал по просьбе ее. И тихо, без глас⟨у⟩ совершилось радостное такое чудо.[4]

— Прелестная повесть... Грушенька поехала — там, пожалуй, веселее: она не возьмет ножа. «На смерть еду!» Это так, только крик. ⟨79⟩

Офицер, об этом уже сильно забегая вперед, говорю.

Хоть и не думал об офицере, но как-то чувствовал, что надо уступить. Так что, может быть, душа его в сущности своей была

---

[1] Никогда я теперь ∾ приехал!» *вписано на полях.*
[2] Рак⟨итин⟩. Ушел в переулок. *вписано на полях.*
[3] *Незачеркнутый вариант:* доступ⟨ном⟩
[4] И тихо, без глас⟨у⟩ ∾ чудо. *вписано на полях.*

гораздо шире и справедливее того образа, который, вероятно, составил уже о нем мой читатель единственно вследствие неумелости и слабости моего рассказа.

Может, читателю покажется невозможным обнаружение столько *чистейшей любви* в столь наивном и грубейшем ревнивце.

НАКАЖУ СЕБЯ ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ, ВСЮ ЖИЗНЬ МОЮ НАКАЖУ![1]

Странное дело: казалось бы, тут полное отчаяние, но он не был в отчаянии. Всё казалось, что достанет. Это бывает у тех, которые тратят и не имеют понятия, как трудно наживаются и достаются деньги. Это был офицер, труда не знал. Но метался.

Фантазии.

Самсонов не хотел принять.

Но увидел, что тот в исступлении. Чтоб отделаться ли, а может быть, и чтоб посмеяться, указал на Лягавого. Есть, дескать, человечек, который, может быть, и возьмется за это дело: «Мы, ваше благородие, этими делами не орудуем. Суды пойдут, адвокаты — это беда!»

Трудно было представить, но, как обнаружилось потом, он сделал это в насмешку. Но несчастный Митя принял это за истину и вышел от старика в восторге.

Лягавый и начал ругаться. В другое время Митя *избил* бы его, но теперь сел и полетел. 2-я глава. Возвратясь, он был в невообразимом состоянии. Дорогой ему померещилось, что Самсонов держит руку Федора Павловича и нарочно услал его вот к Лягавому, чтобы...

Факт за фактом.

— Как ты отсюда попал⟨а⟩? Гостинчик приготовлен. Пойдем покажу.

— Это он про деньги, — подумал Митя, и в сердце его вдруг закипела нестерпимая, невозможная *злоба*.

. . . .

В это время Григорий Васильич был глубоко пьян.[2] ⟨80⟩

— Ничего я не знаю.

— Отвяжись, отвяжись, Христом говорю, отвяжись.

— Укажи закон.

— Кто ты?

— Врешь.

— Нет, не вру. Сын Фед⟨ора⟩ П⟨авловича⟩ К⟨арамазова⟩.

Красильщик: «Никакого я Карамазова не знаю».

И только через час вдруг почувствовал, какой вздор он делает.

Вышел, мрачно сел и страшно погонял.

Груш⟨еньку⟩ проводил.

---

[1] Может, читателю ∾ НАКАЖУ! *вписано на полях.*

[2] — Как ты отсюда попал⟨а⟩? ∾ глубоко пьян. *вписано позднее.*

— Какие страшные трагедии устраивает с людьми реализм! Раздраженный, раздавленный, с потерянной идеей. «Судьба — страшилище», — пробормотал Митя. Бить, но смирение, его самого мог избить ребенок.[1]

Было что-то бессмысленное: «Реализм, реализм, — твердил Митя. — С обесхлебенных полей. Какое отчаяние, какая смерть всюду!»

— Я опытный доктор, Дмитр⟨ий⟩ Федорович.

— Ну, если вы опытный доктор, то я зато опытный больной.

— У меня нет денег, и я никому не даю взаймы, я такое слово дала, потому что мы рассоримся. Но если б и были, то я бы вам, собственно вам, ни за что бы не дала, потому что люблю вас, из любви бы к вам не дала, чтоб спасти вас, не дала бы.

Хохлакова: «Я вам скажу вашу идею. Я вам сказала: прииски, прииски и прииски, вот ваша цель, вот ваше истинное назначение, призвание! С вашей энергией, с вашим умом вы тотчас же отыщете много приисков.[2] Вы воротитесь и будете деятелем, будете и нас (двигать), направляя, подвигать к добру. И всё будет чрезвычайно счастливо. Россия выиграет, и никто из частных лиц не проиграет. Все будут задавать пиры и помогать бедным, а когда умрут — перейдут в небо».

Хлопнул, тут была трагедия.

Вышел от Хохлаковой. Задрожали губы и заплакал, вдруг столкнулся.

— Ах, батюшка, что толкаешься? ⟨81⟩

Да, Отелло не ревнив, как сказал Пушкин: он гораздо спокойнее к отысканию подробностей, к беганию, к пряткам, к грязному подслушиванию. У него просто разможжена душа и вся жизнь, оттого что погиб его идеал, но он не прячется под столы. Не такова ревность: с самою чистейшею любовью, с любовью, полною всепрощения и самопожертвования, можно прятаться под столы и уживаться, увы, с самою грязною грязью открытого подслушиванья и с доказанною изменою — только бы *она* опять воротилась. Это не Отелло и проч., не дошло до *известного* предела.

Иной ревнивец простит охотно объятия и поцелуи, если она поклянется, что далее не пойдет, и уживется со всем, что вам угодно, только бы не доходило до *известного дела*. Всех скорее и всего более прощают именно ревнивцы, только бы их уверить, что старое забыто и всё пойдет по-новому. Тут идеалов мало, но эта тирада... Явилась возвышенная любовь — самоотвержение и самопожертвование.

И эта кровь не кричала за ним: написано было — *накажу*. Но было и другое страдание не меньшее крови, так, по крайней мере, по характеру Мити. Это страдание было: *эти деньги*, это

---

[1] Бить, но смирение ∾ ребенок. *вписано.*

[2] Я вам сказала ∾ приисков. *вписано между строками и на полях.*

шампанское, этот весь бомбанс... «Ты вор, ты ведь вор!» — говорил бы он себе поминутно, если б вчера или третьего дня стал бы разбрасывать эти деньги. Говорил и теперь, и знал, что он вор и грабитель, но без жгучей муки совести, без проклятия, потому что уже приговор был произнесен: *накажу* мою жизнь. Завтра на рассвете казнь — и ничего не будет. ⟨82⟩

Мокрое, Грушенька: «Будем бога молить. А потом всполохнемся и вдруг закутим! Бунтовая я баба!»

Кутеж. Митя в восторге Максимову: «Уважаю тебя, преклоняюсь пред тобой. Всякий из-за чего-нибудь подл. Ты просто подл».

— Великолепно! — кричал Калганов.

— Ну, хочешь, хочешь повезу тебя верхом на себе.

— Повезите-с, — сказал Максимов.

— Садись.

— А не прибьете?

— Не прибью, а высеку, может быть.

— Нет, уж лучше не надо-с.

— Да ведь я из любви, из любви, понимаешь ты?

— Да из любви-то еще больней, пожалуй.[1]

— Ах, оставь ты его, — крикнула Грушенька, — поди сюда (за занавесь).

Саботьеро: Грушенька смотрела любопытно, кисло улыбаясь, но не очень развеселилась. Митя, однако же, остался страшно доволен, думая, что и Груша в восторге.

— Ну, довольно (Максимову). Цигарочку, может, хочешь?

— Папиросочку-с.

— Выпить не хочешь ли, аль гостинцу, монпансье?

— Шоколадцу погрызть дайте.

— Бери, бери.

— С ванилью бы-с.

— Ишь ты какой.

— Послушайте-с (отвел в сторону). Это, девочку-с, Марью, бы-с, как бы мне, того-с?

— Э, брат, многого захотел! Это, брат, не то: тут только песни, а ты думал и вправду?

— Нет, брат, врешь, слишком обнаженно выставляешь свои качества.

— Да ведь я никому зла не делаю-с.

— Хорошо, хорошо, подожди маленько, это потом, потом, может быть, а теперь подожди, удержи свои страсти. Хочешь денег?

— Потом-с.[2]

Грушенька, тирада в слезах: «Почему я такая хорошая? Пляшу».

---

[1] *Далее было:* меня уж раз секли из любви.

[2] — Нет, брат ∾ Потом-с. *вписано выше* ⟨82⟩.

Калганов: «Не ставьте».

— Пане?

— Ну да, пане ль, не пане, а я не хочу, чтобы ставили. Не ставьте, потом скажу.

Поляки ушли. Грушенька: «Ах, как стыдно, стыдно, стыдно мне, Митя, стыдно...»

— Веселит мало.

— Здоровье одного ясного сокола! Не скажу кого. Калганову: «Поди сюда. Экой милый!»

Митя: «Пшепрошем ясновельможного».

Мокрое. Поляк показывает, что 3000 хотел завтра же дать.

— Значит, нет ли, не припрятал ли где, отложенных денег в городе?

— Припрятаны, в городе припрятаны (исправник). ⟨83⟩

За шампанским. «Да вы, пожалуй, и впрямь застрелитесь, да я не дам».

— Не успеете.

— Пойду скажу кому-нибудь. Ей-богу, скажу.

— Не успеете, голубчик, не успеете, взлетит шар. Дайте мне вас поцеловать.

— Вы как сумасшедший.

— Я — порядка во мне нет, высш⟨его⟩ поря⟨дка⟩. Было мало порядка высш⟨его⟩.

— Знаете, вы хоть и дикий, но вы мне как-то всегда нравились!

— Спасибо, брат. Дикий, говоришь ты. Дикари! Дикари! Я одно только и твержу, что дикари. Порядка во мне нет, высшего порядка! [1]

— В Мокрое.

— Да зачем в Мокр⟨ое⟩?

— Грушенька улетела.

Чиновник: «Те-те-те, вот оно как, так вот оно что. Понимаю теперь, ну, батюшка, наделаете вы там бед».

— Ничего, устранюсь. Едем вместе. Пойдем выпьем у Плотникова, выпьем.

— Да вы меня помните?

— Как не помнить, — ходили вместе, жестикулировал, стихи говорил, — что вы спрашиваете-то пустяки, точно в бреду?

— В Мокрое? да зачем я туда поеду? Далеко.

— Покутим, шампанс⟨кого⟩ вып⟨ьем⟩.

— Пожалуй, я в трактир.

— С каким это дураком вы дрались? С кем подрались? Охота вам со всяким. Это как тогда с капитаном.

— Старушонка на дороге пропищала — задавил.

---

[1] — Знаете, вы ∾ порядка! *вписано на полях.*

— Старушонка?
— Нет, старик.
— Без беды, однако?
— Простил меня теперь, теперь простил.[1]
— *Пуля*. Вы думаете, мне смерть ничего. Жить хочу, жизни желаю.
Пьют шампанское: да здравствует жизнь!
— Прости меня, Андрей. Так прости меня за всё.
— Остановить бы вас.
— (Шепотом) Не успеете. Не взлетит Феб, и я там.
— Да вы пьяны иль нет?
— А теперь я пьян?
— Хуже, чем пьяный.
— Я духом пьяный.
Садясь в телегу: «Виноват, Феня, забыл у тебя давеча попросить прощенья, что вбежал и обидел тебя, да ведь ты уж простила».
— Неужто дала? [2] ⟨84⟩
Про чиновника с Андреем: «Он хороший барин».
— Економ?
— Економ, сударь, економный, подлый, еко⟨нсм⟩.
— А попаду я в царство?
— Вы-то? за простоту свою попадете?
— Батюшка, Дм⟨итрий⟩ Фед⟨орович⟩, разрешите сумлен⟨ие⟩, что это Федосья Марков⟨на⟩ говорила, о чем просила? [3]
— Поехала с Тимофеем.
— Ах, сударь, боюсь я, везу нас.
— Можно ли в час прожить?
— Прости ты меня! Прости ты меня один за всех.
— Застонал ад, не стони, аде, будешь и впредь восполнен. Вельможи, главные судьи и богачи — перейдут к тебе... Это так, это было такое слово, было этакое слово. Этому, барин, многие не веруют, а я вам скажу одну истину. Народная мудрость.[4]
К Фене.
Поздно.
Партия.
3-ю партию, положил кий и пошел к Фене.
— Достучусь! — сказал он сам в себе.
А Митя скакал.
— Попаду я в ад за три тысячи?
— Не знаю, голубчик, от вас зависит.
— Пусть и в ад, простишь ты меня, Андрей? Нет, ты один, простишь ты меня, Андрей?

---

[1] С кем подрались? ∽ простил. *вписано*.
[2] — Неужто дала? *вписано позднее*.
[3] — Економ ∽ о чем просила? *вписано*.
[4] Народная мудрость. *вписано на полях*.

— Боюсь я вас, везу как-то...

— Так погоняй, голубчик, погоняй. Спустишь с телеги и бояться перестанешь. Вези меня скорее, скорее. Погоняй, голубчик, погоняй, эй, вы!

— Да вот никак половина двенадцатого.

— Как не читать Чичикова, — Митя рад что привязал⟨ся⟩ к слову, чтоб заговорить.

Мысль о старике сзади.

Устранить себя решил.

О ней: «Дорогу дам. Всем надо дорогу дать, Андрей. Я другим дорогу заслоняю, порчу другим жизнь, порчу... Потому что сам слишком жизнь возлюбил. Чем ушибся, тем и лечись». Дума. Сердце рвется к ней.

Он несся, а ему припомнилось, как он летел тогда с нею, поднял цыганок, мужиков перепоил.

— Еще что он мужик понимает (в шампанском).

— Тимофей, а ну как они там спать легли? — всполохнулся вдруг Митя.

— Надо думать, что легли...

Митя задумался: «А ну как спят в самом деле?» Злое чувство закипело.

— Поезжай, поезжай! — крикнул он вдруг.

— Греми, колокольчик. Еду! Подкати молодц⟨ом⟩, ухарем, вскачь, за служ⟨бу⟩ полсотн⟨и⟩ руб⟨лей⟩, — в восторге закричал Митя.[1]

Насреди дороги перевоз, речка.

— Помнишь, помнишь. ⟨*Нрзб.*⟩.

— Это Тимофей тогда с вами был.

— Да, Тимофей, я забыл.

Душа рвалась к Грушеньке.

— Не спят! — крикнул Митя. — Это что, это Мокрое?

— Что спят — не спят! Упредили, вон и Мокрое, огни вижу.

— Господа, проезжему можно, путешественнику, господа, путешественнику?

— Здесь есть и другие покои (апартаменты)...

— Не хочу состязаться. Хочу прощаться, деньги вытащил.

— Девок можно. Кажись, сидят всё ваши знакомые.

— Ну — прятаться будем, в жмурки играть, хотите?

— Они карты предлагали (Максимов). ⟨85⟩

— Господи, прими меня во всем моем беззаконии, но не суди меня! Не суди, потому что сам осудил себя, не суди, потому что люблю тебя, господи! Мерзок есмь, а люблю, во ад пошлешь — и там любить буду и оттуда буду кричать тебе, что люблю тебя, —

[1] — Греми, колокольчик. ∾ Митя. *вписано.*

но мерзок и подл, а ты, Андрей, прости, душа, душу, — простонал он, — простишь меня али нет?

А зачем ничего не сделал для тебя — страстей не укротил, себя не победил? Господи, знаешь всё — но не суди, взгляни, молю, не осуди — пропусти меня, молю, господи, мимо себя, но не огорчи сердца моего. Не смею... не смею... Молю, а не смею молить. Эта грудь всецело принадлежала человечеству, хотя я и ничего не сделал.[1] Ибо люблю царицу души моей, паду пред ней, права ты, что мимо меня прошла, но обожаю тебя, и теперь дай долюбить, позволь здесь долюбить, пять часов, всего пять часов оста⟨лось⟩.

Обожание кипело в душе его. Странно: кровь — но он не думал.

Смутно, однако, что-то не давало ему покою. «А что, коли спят?»

Мокрое. Признание Грушеньке на постели о деньгах. Оба пьяны. «Я вор — Катькины. Свинья и подлец. Я этого Алеше не открыл».

Грушенька: «Не Катька. Сходим, поклонимся, деньги отдадим, попросим прощенья, уедем...[2] Бери деньги. Ты сокол. Экова селезня любила».

Груш⟨енька⟩: «Не Катькины, поклонимся... работать буду... Много мы с тобой наработаем... Плакать не буду... Конец слезам (т. е. об офицере). О, подлые 5 эти лет! (с ненавистью и злобою). Возьми ты меня и дальше увези от этих мест... Пусть колокольчик звенит, а я твоя верная и послушная».

— Бутылку шампанского Андрею; обидел я мужика.

Потом Андрей говорил: «Идет, деньги в руках несет (крови в темноте не рассмотрел)».

РОБКО-РАДОСТНЫЙ ВИД.

— Ну что ж он? (т. е. Максимов). Восторг собачонки.

— Какие у него глазки славные (у Калганова).

— Завтра — на золотые прииски.

Митя: «Я хоть возить всех буду: садись, пан, на меня верхом, повезу тебя».[3] ⟨86⟩

— ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ МОЯ, ДЕНЬ МОЕЙ РАДОСТИ ПОМЯНУ.

— Спознавались мы здесь.

Мокрое. «Еду! Еду! Уезжаю совсем, навеки!» РЕАЛИЗМ.

Тост. Банк. А после банка — девки. Поляк, понявший, что видели, как он передернул, восстал против девок: другие апартаменты. А Грушенька кричит: «Не хочу, я не купленая». Поляк намекает, что если так, то он уедет, а замуж не возьмет. Грушенька говорит: «И уезжай, а я так хочу». Тут Митя тащит его

---

[1] Эта грудь ∾ не сделал. *вписано.*

[2] Свинья ∾ уедем... *вписано.*

[3] — Бутылку шампанского ∾ повезу тебя». *вписано между строками и на полях.*

в другую комнату и торгуется за 3000. Возвращаются. Объявляют, что торговались. Грушенька кричит: «Да и не надо денег давать». Поляк зовет хозяина и претендует на девок. Хозяин говорит: «Ты передергивал». «Ай, стыдно», — кричит Грушенька. Поляк *обижает* ее. Митя подхватывает и выталкивает. Грушенька требует песен. «Веселиться хочу, дебоширить хочу». Вдруг страстная речь со слезами: «Кого я любила! 5 лет любила, а он смешной. Дура была, дура была! Валяй, Митя». Песни, питье. Саботьеро. Груша Мите: «Поди сюда, любил ты меня, ты сокол. Ты мой, лучше всех и т. д. Плясать хочу». Пляски. На постели, Митя у ног.[1]

— Другой ломит, и всю-то жизнь так. Удержу нет ему.
— Так и ломит. Прямо во ад?
— Офицер там, какой.
— Ах, это мы то⟨гда⟩ с Тимофеем ехали. Да, с Тим⟨офеем⟩. Хороший человек, Т⟨имофей⟩. Что это, барин, сумл⟨ение⟩⟨?⟩.
Спят.
— Что это Федосья Марков⟨на⟩ просила?
— Дорогу давать. Ты ямщик и дорогу даешь.
— Правда, сударь. А не всяк ведь дорогу дает.
— Ад. И застонал ад. Об этом, что уже больше, *думал*, к нему никто не придет, грешников-то. И будешь восполнен так же точно во веки веков до того времени, как опять приду.
Мокрое.
— Так вот, сударь, для кого ад остался, а вы, сударь.[2]
Митя захохотал деревянно.
— А попаду я во ад?
— Вы-то? По простоте.
— Катай.
Теперь уже только и мысли, что о ней. Мгновение увидеть.
— Тимофей, ведь в час можно всю жизнь пережить. Простишь ты меня — за всех?
— Чтой-то вы странно говорите, барин.
50 руб. 3 руб.
— Да не в станцию. А у Пластуновых на постоялом дворе. У них вольная станция.
— Знаю, где прежде в карты играли. Сумление.[3] ⟨87⟩

64) Митя = 64 рассмотре⟨ть⟩⟨?⟩.
80) Митя. Появление в Мокром. Грушенька струсила. Максимов. Поляки. Митя кричит: «Да ведь я ничего, ничего!» Поляки ободряются, а *жених* произносит *тяжелую* и *важную* речь, что,

---

[1] *Рядом с текстом:* Тост. Банк. ∾ Митя у ног. — *помета на полях: Здесь конспект* au naturel (в натуральном виде — *франц.*).
[2] И застонал ад. ∾ вы, сударь. *вписано.*
[3] — Да не в станцию. ∾ Сумление. *вписано на полях.*

так как он хочет *удостоить* Грушеньку *руки*, то сколь неприятно ему появление *прежних лиц*. Выходки *против этой речи* Грушеньки. Грушенька в *оппозицию*, принимает Митю с радостью, и Митя вдруг ободряется. Начинается с Буало.

— А тут был банчишка. Шампанское привезли. Девок. Просыпали 3000, просыпали, мы свидетели.

Словцо: «*прежних лиц*».

Грушенька: «Какие вы глупые».

Сперва поляки против хора девок, но хор явился *как раз к ссоре*.

О 4-х дюжинах шампанского.

Много забрал, вспомнив прежнее.

Револьвер. Грушенька: «Не хочу я, чтоб ты застрелился, и не будет того».

№3. *Грушенька*, когда панов прогнали: «*Не скажу, кого люблю*», — перед питьем.

№3. Грушенька на постели, Митя на коленях: «Не достоин счастья, хочется *великое несчастье принять*».[1]

— Я не знал, я не знал, что я тебя так любил! — восклицал Митя. ⟨88⟩

Поляк: «Моей прекрасной повелительнице». И целует ручки у Грушеньки.

— Да любишь ли? — спрашивает Грушенька.

Потом вдруг после напыщенной речи поляка Грушенька вдруг начинает говорить: «Как-то это вы не так. И по-моему было бы иначе». Говорит насчет любви: *весело* и *насмешливо. Предпочтение Мите*. Начинает кокетничать и бесить поляка.

Грушенька *обрывает* Митю, когда тот вначале заговорил, что она чиста и сияет: «Глупости говоришь, не смей прощения за меня просить. Что хочу, то и делаю, не продана ведь я».

Грушенька: «Я хочу девок». Насчет развлечений. Карты предлагает.

— Ну давай, пан, ну давай! — Митя уже рад и в восторге, что Грушенька к нему благосклонна и *стоит за него*.

— Прежде был веселый, а теперь педант стал. Мундир.

— Не из добродетели я чиста была и не потому, что Кузьмы боялась, а чтоб перед тобой гордой быть, чтоб право иметь тебя подлецом назвать. ⟨89⟩

— Ктось колачэ. (Кто-то стучит.)

— Идзь отвужь джни. (Отвори дверь.)

— Подай кжесло. (Подай стул, кресло.)

— Пжынесь кжесло.

— Пане, спешышь сен бардзо. (Очень спешишь.)

— Чем ци моген служиць. (Что могу вам предложить.)

— Цо венцэй волпшь. (Что любишь больше.)

— Тжеба бендзе зробиць як можно. (Надо сделать, что можно.)

---

[1] №3. Грушенька ∾ *принять». вписано поперек страницы.*

— Чего хцешь? (Чего хотите?)
— Эстэм. (Вот и я пришел.)
— Бардзо ци дзенкуен. (Очень вас благодарю.)
— Не церемонитесь ли вы? (Не робишь пжеце церемоний?)
— Тераз эстэм готув. (Я готов.)
— Усёндзь обок мне. (Садитесь подле меня.)
— Не шумите. (Не руб халасу, пане.)
— Не бардзо добже. (Не очень хорошо.)
— Вспанялы (великолепный).
— Пузьно (поздно).
— Еще ест вчасьне. (Еще рано.)
— Знам то досконале. (Знаю его коротко.)
— То есть досыць подобнем. (Это весьма вероятно.)
— Тем гожей для других. (Тем хуже для других.)
— Бувай здрув. (Прощай.)
— Цо до мне, а ни хвили длужей не чекам. (Что до меня, то ни минуты больше ждать не буду.)
— Ежели хцешь исьць зе мнон, идзьмы, если не, бывай здрув. (Если хочешь идти со мной, пойдем, а если нет, то прощай.) ⟨90⟩
— Дзенкуен ци. (Благодарю вас.)
— Тако мысьлялэм. (Я так полагал.)
— Осьвидчь ей мое ушановане. (Передай ей мое почтение.)
— Цуж так нагли? (А зачем?)
— Ходзь, ходзь, не мам часу расправиць с тобой. (Скорее, не время с вами рассуждать.)
— Естэм готув. (Я готов.)
— Так, але то не было без труду. (Ладно, но сколько хлопот нужно было.)
— Але не можна не мець слабосьци до своего краю. (Нельзя не иметь пристрастия к своему отечеству.)
— От часу до часу. (От времени до времени.)
— Чы потжебуешь ещэ чего? (Не угодно ли еще чего?)
— То ест неподобнэм. (Это невозможно.)
— То правда. (Ваша правда.)
— Ото есть твуй рахунэк. (Вот вам счет.)
— Чы сен не мылишь? (Не ошибся ли ты?)
— Тэнды, пане, есьли ласка. (Пожалуйста сюда, если вам угодно.)
— Тэм лепей. (Тем лучше.)
— То ест здзе ми сен веле пенендзы. (Кажется, этого много.)
— То сен ма розумець. (Само собою разумеется.)
— Ото ест бардзо пенкна. (Вот отменный.)
— То ест найлепши спосуб. (Это самое лучшее дело.)
— Не заведзь мен. (Только не обмани.)
— Можешь на то раховаць. (Вы можете на это положиться.) ⟨91⟩
— Как вам угодно. Як ци сен подоба.
— Не машь мейсца. (Нет места.)

— Тжеба зачекаць. (Надо подождать.)

— На мейсца, панове. (Извольте садиться, господа.)

— То добже. (Это хорошо.)

— Бардзо добже зробилесь. (Вы хорошо сделали.)

— Дзенкуен ци. (Благодарю вас и принял.)

— Незаводне (непременно), мешать (мешаць), говорить (мувиць), мувил — говорил, не слухаць (не слушаться), караць (наказывать). Злото, сребро.

— Зневажаць (обесчестить), покуй (комната). Слухаць (слушать). Згрухотал бы джни (сломал бы двери).

— Щенсливы — нещенсливы.

— Я былем здзавены (удивлен).

— Вы были бы сыце вини.

— Бондзе розсодными. (Будьте благоразумны.)

— Бондзь по честным. (Будь честен.)

— Нех бендон верными. (Чтоб они были верными.)

— Жебым был слепым. (Чтоб я был слеп.)

— Васолы (веселый).

— Смутны (печальный).

— Невдвдзенчна (неблагодарна).

— Невстыдлива (нестыдлива).

— Замятаць (метать).

— Чи не были бы сь це смешными? (Не были бы мы смешными?)

— Кохаць, любиць — любить.

— Забияць (убить).

— Красьць (красть).

— Упарта (своенравная). ⟨92⟩

— Этакий селезень, разве он был такой? И я-то плакала? Я-то 5 лет по нем плакала. Да он вовсе не такой! Это его старший брат какой-то! Ах, дура я! Ах, дура я!

— Да говори по-русски, прежде ведь умел говорить по-русски, говори по-русски.

— Допельнен моего пжыжеченя. (Исполню мое обещание.)

— Банк был мильоновым.

— Завтра (ютро).

— Дзись (сегодня).

— Жартуешь, пане. (Шутишь, пане.)

— Неподобна (невероятно).

— Естэм до живего доткнентным. (Я оскорблен как нельзя более.)

— То есть бардзо зле. (Это очень неприятно.)

— Пфе! А пфе!

— Срам, стыдно!

— Чи не машь в стыду? (Не стыдно ли тебе?)

— Як сен поважашь то робиць. (Как смеешь это делать.)

— Скончь (перестаньте).

— Я так хцен (желаю). Мильчь (молчать).

— Цихо (молчите).
— Есть впул до другей ($^1/_2$ второго).
— Цо робишь? (Что делать?)
— Слышалом же... (Слышал, что...)
— Я не мувен. (Я не говорю.)
— Я ниц не мувен. (Ничего не скажу.)

Грушенька за занавесь. «Угадай, кого я люблю». Поцелуй Калганову. «Бей меня, щипли меня». Митя — застрелиться. Целует Мите руки. «5 лет мучилась. Зачем он такой? Это брат его, а не он. Я добрая. Зачем я такая добрая? Оттого я и злюсь порой, что я очень добрая».

— Пляшу. Помиримся с ним. Он придет. Я прощу ему, а тебя буду любить.[1] ⟨93⟩
— Мастности, пане.
— Пан ойц и пани матка.
— Свёнтка, ксанжка, слоньце.
— Польски злотый, пане.
— Превозможет.
— Кажет.
— Слухам, пане. Гонор, крулевство.
— Подбавляет.
— Не могим.
— Коловратно. Протестую.
— Супруга. Путь держал, всецело.
— Первобытно. Изначалу. Корчма. Жолюр.
— Пане добродзею. Як пшиехал.
— Падам до ног. Свёнтка матка Ченстохова.
— Здрав, пане. Не може, пане. Фольварк.
— Экономия. До лясу. Стара вудка.
— Подсобник. Схизматики. Схизма. Смекаю.
— Пане — лайдак. Пес. Песья кровь. Рабска вяра.
— Свободна. Вольна. Крыж.
— Цихо вшендзе, бендзе. Цо то. Дьябли.
— Вшисци. Нехай, пане. Посполита жечь.
— Ржонд. Камора. Всуе. Брехать. Дурни.
— Подлый. Пшепрошем пана до нас. Польска дама.
— Непреложно. Неможпо. Показую. Подневольно.
— Возможет. Некой. Есть истина.
— Чужеядно. Плотоядный. «Брешешь, пане».
— Мильон. Непригодно. На потребу. Бялый.
— Фрукты. Кое място. Кторы. Пенензы.
— Слышишь року. Пане Врублевский.
— Приватно.
— Не надо ему денег давать.
— Я дал мое сердце. Но панна... или... Или девок прочь, или я удаляюсь.

---

[1] Грушенька ∾ тебя буду любить. *вписано поперек страницы.*

Грушенька кричит на него в исступлении.

— Ото ест!

— Ктура годзина?

— Еще *двунасти* не *выбила.*

— Есть ноць.

— Я мнемам. (Я так полагаю.)

— Я не мнемам.

— Як быць може найлепей. (Как нельзя лучше.)

— Як звычайце. (По-обыкновенному.)

— Бардзо мен то цешы. (Я этому рад.)

— Стучат. (Стукай он.)

— Яка есть погода?

— С цалэго сердца, пане.

— Да чего он боится, думаю. А ведь ты забоялся, совсем забоялся, не их ведь, разве ты боишься кого.

— В банк. Сами скучные сидят. Перед тобой, Митя, они всё молчали и надо мной хорохорились. Я ехала... я думала... А они вот...

— Пани, пани по ⟨*нрзб.*⟩ всё готов.

— Изволь, пане, спроси карты.

— Здешние карты. От хозяина. ⟨94⟩

— За Пирона.

— Да так сперва-наперво я стал эпиграммы говорить. Известная эпи⟨грамма⟩: «Ты ль это, Буало, какой смешной наряд». Они и рассердились.[1] А потом я сказал им еще одну: «Ты Сафо, я Фаон». Это очень известная едкая эпиграмма. Они обиделись пуще, приняли на свой счет, и я тут на беду и рассказал про Пирона, как его не избрали в Академию, а он в отместку сочинил себе надгробную надпись: «Ci-gît Piron, qui ne fût rien»; как только я это сказал, они взяли да меня и высекли. Мало ли за что люди могут высечь.[2] За образование-с. Зачем я образование мое им высказал. Только больше Шкворнев, а Носов только кричал и подстрекал его.

— Нет, это он вправду, вправду. Он искренний подлец!

— Ну, а еще-то *драли?*

— Уж как это *драли?*

— Обидели? Ну, высекли. Я только что похвалил.[3]

— А я семпелями, милыми. Семпелями.

— Семпелечками-то скромнее.

Митя: «Ну чем нам заняться? Ну чем нам заняться?»

---

[1] *Незачеркнутый вариант:* обиделись

[2] Мало ли ∾ высечь. *вписано.*

[3] *К тексту:* Они обиделись ∾ похвалил. — *незачеркнутый предварительный вариант:* Они обиделись пуще, а я сказал им про Пирона: «Ci-gît Piron, qui ne fût rien».

Они взяли да меня и высекли.

— За Пирона.

— Да-с, за образование мое-с. Мало ли за что люди могут высечь. Только мы тогда же и помирились.

Калганов: «Да, скучно. Неужто в фанты играть?»
Митя: «А что ж в фанты? (оглядываясь на всех) или нет?»
Максимов: «В банчок б-с».
— Поздно, пане, — подхватил вдруг как бы нехотя пан.
Груша.
Митя: «Я тебе много проиграю денег, пане, садись».
Ответил. «Пан слыхал: Подвысоцкий». ⟨95⟩

— Я следила за вами, я изучила даже вашу походку и решила: этому человеку надо на прииски, и он найдет много приисков.

— По походке, сударыня!

— Почти по походке. Что ж, разве вы отрицаете, что можно по походке узнавать характер? [1]

— Но я поеду, сударыня, я поеду...

— Вы едете, я так и знала, что вы придете к этому решению. (Образ Варвары-мученицы.)

— Три тысячи? рублей? Ох, нет, я вам не могу выдать 3000 рублей.

— Сударыня, но как же вы?

— Ох, нет, нет, я вам ни за что не могу выдать денег. Вы будете строить здания и разные предприятия. Вы станете известны и необходимы министерству финансов. Тогда вы найдете любимую особу, я знаю, что вы ее найдете. Это будет девушка со всеми совершенствами, кроткая и нежная... Я вовсе не прочь от теперешнего женского вопроса, Дмитр⟨ий⟩ Фед⟨орович⟩, женское развитие и даже политическая роль женщины. Это мой идеал. Я написала Щедрину по этому поводу, *этот* писатель мне столько указал, столько указал в назначении женщины. Знаете, я ему отправила анонимное письмо в две строки: обнимаю и целую вас, мой писатель, за современную женщину.[2]

— Я не прочь от женского вопроса, но с этой стороны меня мало знают. У меня дочь, Дмитр⟨ий⟩ Ф⟨едорови⟩ч, и я имею всё право требовать развития жребия женщины.

— Нет, нет, нет и нет, ни за что. Вы будете счастливы с другой стороны, со стороны приисков.

— Министерству финансов, которое теперь так нуждается. Падение нашего кредитного рубля не дает мне спать, Дмитр⟨ий⟩ Ф⟨едорови⟩ч, с этой стороны меня мало знают. Я с сегодняшнего дня после всей этой истории в монастыре совершенная реалистка, Дмитрий Ф⟨едорови⟩ч, и хочу броситься из идеалов на современность. Я излечена, Дмитрий Федорович. «*Довольно*», — как сказал Тургенев.

— ...Щедрину; и подписалась: «Мать. Современная мать».

---

[1] и решила ∾ характер? *вписано.*

[2] *Между строками сделанная ранее запись:* Фене: О, твой испуг!.. Она там.

— У меня кузина, ее муж, коннозаводство. Вы, конечно, имеете понятие о коннозаводстве, Дмитрий Ф⟨едорови⟩ч... ⟨96⟩

— Вы меня заставляете плакать.

— Поплачьте, поплачьте, это хорошо, это облегчает, но потом вы будете радоваться и нарочно приедете меня благодарить из Сибири.

— Я хотела было подписаться: «Современная мать» — и колебалась, но остановилась на «Матери» просто: внушительнее и поэтичнее. А «Современная мать» напомнит им, сверх того, «Современник» — воспоминание для них горькое, Дм⟨итрий⟩ Ф⟨едорови⟩ч, при нынешней цензуре.

— Пощадите, пощадите меня, сударыня, пощадите.

— «Мать»: больше красоты нравственной, Дмитрий Федорович.

Мокрое. Митя в Мокром признается Грушеньке про деньги на груди его и что он — вор.

Мокрое. «Отца убить: хотел, хотел!»

— Может быть, сами не помните себя, как ударили.

Грушенька (пьяная): «Нет, скажите вы мне: отчего я такая хорошая? Нет, я хорошая. Сердцем слышу, что я хорошая».

И прежде непьяная про поляка: «Скакала сюда, думала, как-то встречу, что-то скажу. Бог знает, думаю, что скажу, и вот он меня точно из шайки окатил. Точно учитель говорит. Всё такое ученое, важное, встретил так форменно, так я и стала в тупик.[1] Слова некуда всунуть. Сижу на него и смотрю: почему это я так говорить не могу, без языка стала при нем... Митя, кого я люблю?» ⟨97⟩

— Ноги тонки, боки звонки. Хвостик закорючкой. Рот до ушей, хоть...

Митя Андрею водки. «Болит мое сердце».

Гру⟨шенька⟩: «Да чего оно у тебя болит, веселись, видишь, я весела».

— Веселюсь, царица. Хочешь я тебя на себе повожу?

Максимов: «Мне один поручик уступил. Он вывез ее,[2] я так, для услужливости. Она хромая, только она скрыла это. Я думал, что она подпрыгивает, а она хромая».

— Я образованный человек.

— Да ведь это первая, 2-я сбежала. Вся кавалерия.[3]

— Польки прыгают на коленки.[4]

— Прыгала от игривости...

— От радости, что за вас идет?

---

[1] *Далее было начато:* И теперь всё ст⟨ою⟩

[2] *В рукописи, очевидно, описка:* его

[3] Вся кавалерия. *вписано на полях.*

[4] — Польки ∾ коленки. *вписано.*

— Да. А вышло, что у ней одна нога короче другой. Через лужу будто бы она перескакивала да сломала.

Калганов: «Я люблю его, и, знаете, ведь он правду говорит».

— Как же, я слышал, что ваша жена...[1] (Митя)

— Нет, это уже вторая-с, да та сбежала. Как же, вторая жена сбежала. Да, я имел это несчастье.

— 3-я жена, незаконная, отобрала имение. Ты, говорит, образованный человек, ты и так найдешь.

— Знаете, он часто лжет, говорил, что его высекли. Ноздрев.

Грушенька противоречит полякам.

Грушенька видела, что не нравится, и нарочно поддерживает разговор.[2]

— Ну, полноте, — кричит Грушень⟨ка⟩. — В фанты играть?

— Да я готов (Митя).

— В банчик бы-с.

Митя побежал распоряжаться, девки. Конфеты. Максимов — 5 руб.[3]

— Знаете, он это лжет. Вот мы его похвалили, он и начинает лгать. И знаете, не из порочного чувства, а от доброго, чтоб удовольствие доставить.

— Ноздрев. С ним совсем стыдно. Бог с ним!

— Лет 20 тому назад, во дни моей юно⟨сти⟩, за то, что я по-французски говорил, взяли да и высекли из патриотизма. А Пирон — это академ⟨ик⟩. Ну, вот и это не понравилось.

Груш⟨енька⟩ мелко придирчива, раздражительна.[4] ⟨98⟩

— Чиста и сияет. («Не смей прощения за меня просить!»)

— Не из добродетели я чиста была и не потому, что [5] Кузьмы боялась (2).

— Да ведь я ничего, ничего, чего вы... (64).

— Моей прекрасной повелительницы (2).

— Господа, проезжему можно, путешественнику?

— Господа путешественники, имеются на то другие покои.

— Зачем другие покои? (357)

— Не хочу состязаться, хочу прощат⟨ься⟩ (деньги вытащил).

— Зачем ничего не сделал для себя. Царицу.

— Эта грудь всецело принадлежала человечеству.

— До завтра лишь, до завтра, до рассвету (деньги) (хор приводят). Ах, весело!

— Последняя ночь моя, день моей радости помяну.

— Стойте, не ставьте! — Калган⟨ов⟩.

— Выпьем! — кричит Ми⟨тя⟩.

---

[1] *Далее было:* сбежала

[2] Грушенька ∾ разговор. *вписано на полях.*

[3] Митя побежал ∾ 5 руб. *вписано между страницами.*

[4] — Лет 20 ∾ раздражительна. *вписано.*

[5] *Далее было начато:* купца боя⟨лась⟩

— Глуп же ты, пане, — крикнул Митя, — виноват, пане, виноват.

«Лайдак» — встал и прошелся.

— Да чего ты прощенья просишь, что он ходит, как петух.

Жених произносит речь, «старых любовников».

— Она чиста! подлецу сказать. Пане, — крикнул Митя, — в другую комнату.

Митя хоть и кричал: «Прости, пане», но уже из прежнего созерцательного состояния он вышел. Давно уже ему замерещилось, что Грушенька (брезглив⟨ый⟩ вид) и проч. Он становился энергичнее, порывистей.

Девки набрал⟨ись⟩.[1]

— Подвысоцки.

Груш⟨енька⟩: «Ну вот еще, так это и правда».

Митя: «Да у них и банку-то нет».

Митя всматривался одну минутку, и он кой-что понял. ⟨99⟩

Митя к Самсонову не ревновал.

— Три лба столкнулись. Не ревнует *к прежнему*. Коли там меня не нашел, значит, туда ходил и там был.

Разбитая шкатулка. («Тимофей, *убийцу везешь*»).

Почему-то надо было сказать, что все 3000 прокутил.

№ O_3. Угрожал убить в келье, а потом дома, когда бил старика. Свидетельство Григория, Григорий говорит следователю: «С тех пор я за ним и стал следить».

— Был Мастрюк во всем (слова, словечки).

345. — Нынешнего преступника не мучают угрызения совести.

— Экстрафеферу задам.

3) *Мокрое*: «Хоть я и не виновен в том, за что меня карает рок, *но я весь виновен*».

5) *Мокрое*. «Дикари! дикари, я одно твержу: дикари!»

— Распрекрасный этот сад и проч.

5) СЫСКНЫЕ ЧИНЫ.

6) — «Слава Высшему на свете, слава Высшему во мне». *Не стихи, а слеза*.

10) — Я его убью. Похвалялся убить (Григорий).

13) — Я с Улиссом согласен: «*Легковерен женский нрав*».

— Экстрафеферу задал.

14) — По убеждениям я русист. Восстание мертвецов в «Роберте». За душу хватает.

16) — Прости меня, прости меня, а не простишь — всё равно.

19) — Русские сердца. Ангелы пели в небе. ⟨100⟩

21) — Порядка во мне нет, высшего порядка! Я сам ломаю свою шпагу и иду в бездну позора и пакости.

28) — Пойдем за всех бога молить.

32) *Грушенька:* «Это я во всем виновата! Это он из-за меня».

---

[1] Девки набрал⟨ись⟩. *вписано*.

53) Поляки: «Русский народ не может быть добр, потому что не цивилизован».

55) Чугунный пресс-папье. Марья Кондратьевна слышала, как похвалялся.

58) Временное отделение Петерб⟨ургского⟩ окружного суда в городе Гдове и проч.

63) — Курочки кудах-так-тах (Максимов).

Груш⟨енька⟩: «Хочу шалить. Бог простит. Кабы богом была, всё бы людям простила: „Милые вы мои, грешите, а я люблю вас"».

— Ходи изба, ходи печь.

66) Митя скачет в Мокрое, разговор с извозчиком (Москва, пегая лошадь, всё девки). Не Тимофей сел, а посадили старичонку полупьяненького — всё девки. «*Он не тутошний*».

66) Груш⟨енька⟩: «Я подлая, я развратная» и всё остальное. *Прельстилась Митей, что уступил* ее бесспорно *законному* (а сам завтра пулю в лоб).

66) Грушенька пьяная.

67) Арест Мити. Прокурор и проч. Вопрос: где Митя взял деньги? Ибо был у Самсонова, *под Чермашню просил*. Тот его к Горсткину направил, и тот за 3000 ему всё свое право на Чермашню уступал. *Насмеялись* над ним.

67) О *крови*, где и кто на Мите видели кровь.

100 девушке подарил.

У Федора Павловича нашли письмо батюшки Ильинского.[1]

67) Митя: «Бог сыскал». Груш⟨енька⟩: «Ой, горе мое, горе», — в ногах валяется. «Да, это ты», — говорит исправник. ⟨101⟩

68) Судебный следователь *ввернул*, что убить себя хотел от *своих злодейств*. «Нет, судьи, — кричит Митя, — ошибаетесь: я хотел себя убить от страсти, а не от омерзения к себе. А жить мне ужасно хотелось, хотя бы и подлому! Таковы Карамазовы».

— А ведь, в сущности, таковы и все теперешние русские люди, — говорит вдруг исправник.

68) — Тащи меня куда-нибудь, только отсюда чтоб навеки долой. Будем пахать. Завтра в монастырь, а теперь дай попляшу.

— Я, может, убил, Груша, ну так и погибнем вместе.

Грушенька: «А ведь я, может, одного человека любила... брата твоего, Алешу. Я, может, кого люблю. Кого я люблю?»[2]

69) — Хочу быть доброй, ходи изба, ходи печь, вертится, вертится (*не может составить* фразы), виновата, слаба. Поди сюда, целуй меня в губы, сильней, *прибей меня,* мучай меня. Ох, да и впрямь меня надо мучить. Слушай: не касайся меня, твоя... потом, а теперь не касайся. Люблю тебя. Хорошо на свете! [3]

69) — Да неужто вы не хотите мириться, точно вы не люди, я вот всех люблю. Поглядите, как я пляшу...

---

[1] У Федора Павловича ∾ Ильинского. *вписано на полях.*

[2] Я, может ∾ люблю?» *вписано.*

[3] Люблю тебя. Хорошо на свете! *вписано.*

Тоже с Грушенькой.

Митя — *серебряные часы за два рубля.*

— Я вор, я ограбил 3000 (вспоминая о деньгах Катерины Ивановны), — говорит вслух в Мокром.

70) — Слаба, простите, вино радости [1] не дает. И спокойствия. Хочу прощения просить. У всех. ⟨102⟩

70) Подкуп поляка в другой комнате. Выдвигается на вид опять 3000.

71) Груша *пьяная.* «Вино спокойствия не дает.[2] Хорошо на свете, хоть и скверные мы, но хорошо на свете» и т. д.

72) После неудавшегося подкупа *стреляться* через платок. «Завтра застрелюсь». 2 *пистолета* заряженные с собою. Грушенька кричит: «*Ай, убери!*»

«Эй, вы, Подвысоцкие» и проч. — «Пане — лайдак». — «А ты *подлайдак*».

72) На кровати: «Не трогай меня. Ты хоть и зверь, а благородный, — шельме такой, как я, богу молиться хочется. Дай шампанского. Нет, не надо, не давай. Не давай, хоть и просить буду. Вино спокойствия не дает».[3] Бред. *Колокольчик.*

73) — Найми тройку. Звенит, а я дремлю. Сон видела, с милым человеком ехала, обнимала его, целовала его, а снег блестит и хрустит, и месяц светит, и *точно я где не на земле* и проч.

73) Митя *в банк.* Весь разговор с поляками. «*Кабы не служили, лучше б было.* У вас ксендз».

73) «Пане пулковнику»: «Зато у вас паненки!» и проч.

Максимов:

Ты ль это, Буало, какой смешной наряд.
Молчи, сбираюсь в маскарад, т. е. в баню.
Ты Сафо, я Фаон,
Об этом...
Пути не знаешь к морю.
Ci-gît Piron, qui ne fut rien.

74) «Лайдак», «Не бей их» и проч.

Подкуп поляка и предложение 3000.

Вслух: «Хочешь 3000? *Со мной как раз 3000*». ⟨103⟩

— Фон Зон. С чего это взял Ф⟨едор⟩ Пав⟨лови⟩ч?

— Ну да ведь вы же не знали его.

— То есть знал-то я его знал и проч.

Митя: «Не говори мне про старика. Старика чуть не убил... (Старик в крови другой.) Убить себя приехал. А сегодня кутить. Поляки, я космополит. Пью — 72 года». Банчишка, подкуп в другой комнате. «Выгони их и денег не давай». Хозяин подделывал карты, драка. Песни.[4] Курочка. Грушенька пьет. Максимов

[1] *Было начато:* спокой⟨ствия⟩

[2] «Вино ∾ не дает. *вписано.*

[3] Вино ∾ не дает». *вписано.*

[4] *Далее было начато:* Грушенька

заснул в креслах. На кровати Грушенька с Митей. Колокольчик. Допрос.

После Буало и ф⟨он⟩ Зона. Груша подсела к Мите. С ним веселей.

Торжественный и мрачно трагический монолог Мити: «Уступаю! Застрелюсь! Купить. За границы 72». Банчишка. Вызвал подкупать. «*Не давай*» и проч.[1]

3000. Мокрое. «Может, растерял».

Максимов: «А я саботьеро танцевал».

Калганов: «Да нет, он какой-то. С ним стыдно».

Ноздрев высек. *Калганов* говорит с презрением, что он всё это нарочно сочинил, чтоб понравиться, и, что ни скажешь ему, он всё принимает на себя. *Но Максимов* возражает, что это было, только не Ноздрев, а другой, и что в самом деле было. *Калганов* в восторге, обнимает его и кричит, что он виноват.[2] ⟨104⟩

Волостной старшина.

Полиц⟨ейский⟩. Сотский.

Сельский староста.

Для пресечения способов уклоняться от следствия и суда заклю⟨чают⟩ в тюремный замок.

Сотский. Становой пристав.

Обывательски⟨й⟩, волостной.

Предварительное следствие. ⟨105⟩

NB. — Вдруг пробужусь, а милый-то подле, так хорошо. Колокольчик.[3]

74) Грушенька: «Не надо ему денег» и проч. «Выгони», драка.

NB. Груше: «Богиня!» Он и тогда говорил: «БОГИНЯ!»[4]

— Как человека любить можешь, а как русского нет.

— Нет, и как русского.

— Какой же бы ты был поляк после этого?

74. Груша на постели: «Не трогай. Колокольчик. Я вот этаких люблю, как ты...» и проч.

— Митя... Эх, старика боюсь.

74) Хозяин постоялого двора насчет фальшивых карт.

75) Груша: «Люблю таких безрассудных».

75) «Пулковнику»: «Графини вскакивают на колени».[5] «Подвысоцкий», и Митя: «Подвысоцкий».

75) Следователь: «Говорили вы тут сейчас кому, что отца вашего убили? Ей говорили?»

— Ах, говорил!

---

[1] *Рядом с текстом:* После Буало ∾ «Не давай» и проч. — *помета на полях:* Варьянт

[2] *Текст:* Ноздрев высек. ∾ он виноват. — *вписан на полях.*

[3] NB. — Вдруг ∾ Колокольчик. *вписано позднее.*

[4] NB. Груше ∾ «БОГИНЯ!» *вписано позднее.*

[5] *Было:* на коленки

75. — Деньги вот здесь, на груди, долго рассказывать, да и всё равно. Сбивается. «*Он пьян*».

75) «Так отца вы видели?» — «В окошко». — «Кто ж отворил?» — «Не знаю». И потом, спохватясь: «Да я и не входил. Смердяков больной лежал».

76) — Пострадать хочу.

— *Пресечь* и *высечь*.

— Так старик жив, слава тебе, господи.

— Есть поляки честные, есть и такие, как вы, и т. п.

— 3000 — я здесь 3000 в прошлый раз просыпал.

Хозя⟨ин⟩: «Просыпали, батюшка, просыпали, мы свидетели».

— Да разве я пакостник? Кто решил, что я пакостник, тот меня не знает.

— Здесь, на груди.

— Да ведь я же вор, я на груди носил приговор, что я вор (легкомысленный человек, но не вор).[1] ⟨106⟩

77) — Я космополит, пью первый.

Поляк не пьет: «За Россию в границах 72-го года».

— Дурак же ты, пане.

О Польше и России (бред Ивана).

77) Револьвер заложен утром. Выкупил, видели служанка и купец.

«Зачем взял пестик у Фени?» — «Так. Зачем палку носят?» и проч.

3000. 77) Подкуп 3000. «Бери 500».

77) Запускает пулю в револьвер. Мысль, при Фене.

Подъезжает к Мокрому, 25 на водку. Андрей не берет. «Рублик дай».

78) О Григории. Звенит колокольчик. «10 лет, чтобы был жив. Обидел *Езопа*» и проч.

78) *Следователю:* «Я вам всю правду скажу. Я постучался знаком. Он отворил: „Груша, ты?" Я убежал».

Следователь: «Тут море фактов, но вывод ясен».

79) «Вот здесь на груди были деньги зашиты». — «Откудова?» — «Не скажу, слишком подло». — «Сколько было денег, 3000?» — «Да, было три, а потом полторы».

Исправник: «Да, уже конечно, сперва 3, а потом осталось полторы».

3000. 79) Подкуп. 3000 и проч. «Мерзавец» и проч.

80) 100 рублей в нужнике. «Если б *твои, то не бросал* бы по 100 руб.».

— Вы не знаете сердца ЕЕ, исправник; бунтуюсь; принимаю.

N3. Исправник: «В страстях своих убил. От страстей убил».[2] ⟨107⟩

---

[1] — Здесь ∾ но не вор). *вписано позднее.*

[2] N3. Исправник ∾ убил». *вписано на полях.*

80) Груша. Кричит (вслушалась): «Уж коль он говорит, что *не он,* значит, *не он,* он честный».

80) За преферансом. Мартьян Крестьянович. *Опыты над больными*. Бросил всех и привязался к Смердякову и проч.

80) Револьвер за 2 руб. Купец, услыхав о катастрофе, донес о 2-х руб.: «*Еще в 5-м часу денег 2-х рублей искал*».

80) Груша: «Помнишь, как бутылку разбил?» — и проч.

80) Смердяков и Мартьян Крестьяныч.

Максимов: «Высекли, Ноздрев в пьяном виде».

Максимов рассказывает, как Ноздрев высек розгами: «Мы потом брудершафт пили. Это поручик Кувшинников подбил жаловаться. Мы помирились на 25 руб. Я ему проиграл в чет иль нечет».

Мадмуазель *Фенарди*. (Какую-нибудь историю с Фенарди.) ⟨108⟩

— Мелкий ты подляченочек, пане, вот тебе и сказ. Прощай. Сиди смирно.

БРЕД.

5 лет.

— Жалко, Митя, стыдно, Митя!

Он предчувствовал свое счастье: «А я кого-то люблю», — начала говорить Грушенька.

То призовет, то отошлет.

— Нет, я хорошая, я очень хорошая.

— Он был тогда веселый, Митя, и молодой. Такой молодой! Он пел песни, и мне на гитаре играл.

Хозяин отказывался пить, но входил часто, не ложился спать.

— Но не вор, не вор, ни за что не вор![1]

У следователя тоненькие крошечные ручки с перстеньком.[2]

Следствие. Грушенька в другой комнате: «Ой, горе мое, горе!»— вскочила и вбежала в комнату. «Позвольте, можно снять показания и теперь. К тому же следует...»

«Сколько прокутил?» — «3000».

Следствие. Митя отказывается сказать, откуда деньги, долго. Но вдруг говорит: «Я скажу, откуда деньги». Удаляет всех, *говорит*. Не верят. Долго молчал (выдумал). «Говорили вы кому-нибудь прежде это?» — «Никому». Показание поляка. 100 свидетелей.[3]

«Славно, Митя!» В Грушеньке злобные черточки. «Дай мне выпить вина, Митя. Что же они не пьют?» Жидки, хор.[4] Началась

---

[1] *Текст:* — Мелкий ты ∾ ни за что не вор! — *перечеркнут косыми линиями.*

[2] У следователя ∾ с перстеньком. *вписано.*

[3] *Далее вписано и зачеркнуто:* «Вор, вор и кровь, кровь!»

[4] *Далее вписано и зачеркнуто:* «Я выйду, выйду. Пусть поют».

оргия.[1] Бред, Митя предчувствовал свое счастье. Взглянул на пистолеты.[2] Сжал было голову: «Не хочу и думать».

Он не отходил от Грушеньки: «Как ты приехал? Да как ты вошел? Посмотри, Калганов спит. Поцелуй. Я кого-то люблю, я кого-то здесь люблю». Грушенька развеселилась.

— Что ты кричал: последняя ночь моя?

— Сама плясать пойду.

«Горько мне!» — «Что тебе горько? Веселись». Саботьеро, «шоколадцу», обернулся — нет Грушеньки; за занавеской: «Митя! (крикнула). Я его любила. Он мне на гитаре играл. 5 лет. Долой, тоска. Знаешь, кого я люблю? Бей меня» — поцелуй исступленный, но она вырвалась.[3] Выбегает. «Кричать хочу». Шампанское. Поцелуй Калганову. «Я хорошая.[4] Дай еще шампанское. В монастырь пойду завтра, а сегодня кутить. Если б богом была». Объявила наконец, что хочет плясать и т. д.[5]

N3. *Номера первое дело.*[6]

Андрей, хозяин не пьет. Занавес и после занавеса.[7] Призывает и отпускает. В дверях села. Песни. Представл⟨ение⟩. Пришли закуски. Питье. Пистолеты. Митя выходит. Она зовет его. «Горько мне». — «Веселись». Саботьеро, ваниль. *За занавесом.*

После занавеса: «Дай вина, третий стакан пью, а всё не пьяная». Калганову поцелуй. «Я добрая. *Алеша,* в монастырь пойду. А сегодня плясать хочу».

Три раза подзывает:

1) — Как ты давеча вошел (ну, ступай). — Поразило, что смирился. — Так ты меня уступил? Твоего счастья взять не хотел? — блаженно смотрела на него.[8]

2) Застрелиться хотел («Нет, не стреляй».) «Подожди, я тебе еще что-нибудь скажу».

3) «Чего тебе грустно? (А Митя как раз смеялся.) Нет, я вижу, что тебе грустно». — «Ты видишь? Горько мне». — «Иди, веселись». (Тут саботьеро.) В углу: «Я вор, кровь». Воротился, нет ее.

N3. Каждый раз, как уходит, — то песни.[9] То пришли припасы. Хозяин хмурый, то Андрей и саботьеро. Митя выпил, голова кружилась, он хлопнул стакан шампанского и в 1-й раз почувствовал себя пьяным, хорошо ему стало, всё завертелось.

---

[1] *Далее было:* жидки

[2] *Далее вписано и зачеркнуто:* Взглянул за занавески. Слезы.

[3] но она вырвалась. *вписано.*

[4] «Я хорошая. *вписано.*

[5] *Текст:* «Славно, Митя!» ∾ плясать и т. д. — *перечеркнут продольными линиями.*

[6] *Рядом запись:* 25 руб.

[7] *Вместо:* Андрей, хозяин ∾ занавеса. — *было:* До занавеса

[8] Твоего счастья ∾ на него. *вписано.*

[9] *Над строкой помета:* Описание.

Грушенька: «Митя, дай мне еще вина. Три стакана», — охмелела и она: «Бей меня».[1]

Калганов смотрел с каким-то даже любопытством, но ему не нравилось.[2]

Митя суд⟨ьям⟩, когда в острог: «Я *согласен*. Это дело завтра же, завтра же объяснится, и вы увидите... вы всё увидите...»

— Так старик жив? О, благодарю тебя, боже! Благодарю тебя, боже! Он меня нянчил на руках своих. (К ней.)

— Не корите меня за вино.

— Я хотел последнюю ночь мою кончить так, как когда спознавался с тобою, вспомнить то счастье и тебе напомнить, а к утру кончить и черту провести.

Полковник. «Цо то есть, пшепрошем, пане, пшепрошем пана до нас, пан ойц и пани матка, — начал выкладывать Алексей Макарыч свои познания в польском языке, — но что у них хорошо, так это паненки».

— Знамо, знамо, «нет на свете царицы краше польской девицы...»

— Стихи сочиняет полковник, — ввернул следователь, не зная стиха Пушк⟨ина⟩.

Полко⟨вник⟩: «Нет, ведь как у них там: танцует она с русским офицером мазурку, а потом вдруг к нему на коленки сядет. При всех, при всех! У нас нельзя, а у них принято. Он-то и растает, а на другой день женится. Так у нас вся кавалерия там переженилась».

Поляк: «Пане пулковнику сам был в Польше?»

— Нет, там брат мой служил и женился, — темно ответил полковник.

— Кате поклонись в ножки. Зачем деньги? Деньги проживем. Будешь ли любить-то?

— Навек, навеки верная. Отчего я хорошая?[3] А коль бросишь, утоплюсь. А Катю не люби. Я ей глаза выколю. Не люби. Колокольчик. Слышишь, колокольчик звенит. ⟨109⟩

— Все одеты, а я раздет. Раздеваться надо всем людям вместе, тогда не стыдно.

— Раздетый. Они de facto [4] имеют право быть высокомерны, первенствовать.[5]

Рубашку унесли без его позволения. Он даже и вид не сделал, что просит, а прямо сказал: «Нет, уже мы унесем».

«Подождите». — «Что-то уж слишком долго ждать».

---

[1] *Далее было:* «Если я тебе сказал подлеца, не значит еще, что я всей Польше сказал подлеца».

[2] Калганов смотрел ∾ не нравилось. *вписано на полях. Текст:* Андрей, хозяин ∾ не нравилось. — *перечеркнут продольными линиями.*

[3] Отчего я хорошая? *вписано.*

[4] фактически (*лат.*).

[5] *Рядом с текстом:* — Все одеты ∾ первенствовать. — *помета:* Раздетый.

— Я, двадцать лет проживя, не поумнел бы столько, как в одну только эту ужасную ночь моей жизни.[1]

— Мы сделали в данном случае всё, что могли. Не перенес Григория.

Задрожали губы — «Довольно!» [2]

Перед. «Я вам всё покажу». Митя устал, ослаб, утро, дождь. Что-то как бы шаталось в его голове. *Свечи* задули. *Признание денег.* «Да, я хотел убить себя и думал, что вынесу идею, что я вор. Ведь всё равно, убью себя, стало быть, уже всё равно. Так вот нет же, оказалось, не всё равно! Тяжело умирать в бесчестии. Умирать надо честно и свободно. О, я многому в эту ночь научился. Научился, я в 20 лет столько не узнал бы...» и т. д.

— Довольно. Скажите, из чего у вас этот перстень?

— Дымчатый топаз.

Взял и бросил, «не надо». Закрыл глаза, задрожали губы. Пересилил. «Господа, про Григория. Неужели бы перенес?»

Свидетели. В лавке говорили, что 3000 показывал. ⟨110⟩

— И зачем я вам признался! Это вы меня, прокурор, довели! Пойте, пойте себе гимн, если можете, если смеете! Но совесть, совесть! Будьте вы прокляты, — вытянули!

Еще вчера можно было замыслить самоубийство в ночи кромешной, в грубости невежества, страстей и неведенья. А теперь, теперь как можно рваться из мира? Теперь жить поскорее, жить, зовущий свет, знание.

И никогда еще человек, более преисполненный надежд, жажды жизни и веры, не входил в тюрьму.

№3. *Следствие еще не заключилось.*

Маврикий Маврикич.

— Не погоняйте, пожалуйста.

— Буду бороться с вами, а там, как бог. ⟨111⟩

Про Грушеньку: «Господа, благодарю, что вы сократили. Вы все-таки честные, все-таки благородные люди».

От окна (махнул рукой).

Про Грушеньку: «Господа! Но ее нет, ведь вы ее не возьмете, ведь вы ее не заподазриваете».

Прок⟨урор⟩: «Очень может быть, что он убил старика нечаянно в великом гневе».

— А все-таки жаль природу человеческую, — проговорил Михаил Макарович.

— Мы наторели... Мы с ней возимся, пластуем ее.

— Да, надо в город.

И они славно позавтракали.

— Сболтнуть что — сболтнет, али для смеху, али с упрямства, но против совести ни за что не скажет, никогда не солжет, тому верьте. На смерть пойдет — не солжет.

---

[1] *Рядом с текстом:* — Я, двадцать лет ∾ жизни. — *помета: Final.*

[2] *Рядом с текстом:* — Мы сделали ∾ «Довольно!» — *помета:* Раздетый. Final.

— Благодарю, Аг⟨рафена⟩ А⟨лександров⟩на, одна душа меня знает.

— На струнке благородства.

— Строил наивного (мелочи, мелочи!)

— Противен был.[1]

От каждого допытывались в подробности.

Отметили только два пункта: 1500 и Смердяков.

— А думаю, что вам и нечего меня об том спрашивать, а мне нечего вам отвечать. ⟨112⟩

...но не на него, а поверх его головы — пристально и до странности неподвижно... Какое-то удивление выразилось вдруг в лице ее, почти испуг.

— Митя, кто это глядит сюда из-за занавески на нас? — прошептала она вдруг ему.

Митя обернулся и увидел, что, действительно, кто-то раздвинул к ним осторожно занавеску и глядит на них, как бы их высматривая.[2] Да и не один, как будто.

Он [3] вскочил и быстро подошел к смотревшему...

— Сюда, пожалуйте, сюда, — негромко, но твердо [4] и настойчиво проговорил чей-то голос.

Митя вышел [5] из-за занавески и стал неподвижно.

Вся комната была наполнена людьми, но не давешними, а совсем новыми, холод мгновенно пробежал по спине его, и он вздрогнул. Всех этих людей он узнал в один миг. Вот этот высокий и дебелый старик, в пальто с выпушкой⟨?⟩ на плечах и в фуражке с кокардой, — это исправник.[6] А этот большой, бледный и худой [7] — это товарищ прокурора, а этот молоденький мальчик в фуражке с кокардой — очень молоденький, но осанистый человечек в очках,[8] — это... Он только вот фамилью его не мог вспомнить... но он знал и его — это следователь, судебный следователь... А дальше кто же: это становой Маврикий Маврик⟨ич⟩, а эти с бляхами кто же? [9] И еще двое каких-то, а вот там в дверях Калганов и Тимофей Борисыч...[10]

— Господа... Что это вы, господа? — пробормотал было Митя, но вдруг как бы вне себя, как бы не сам собой воскликнул громко, во всё горло:

---

[1] — На струнке ∾ был. *вписано.*

[2] *Вместо:* осторожно занавеску ∾ высматривая — *было:* занавеску и осторожно смотрел, высматривая их. *Между строками начато:* Стоял Маврикий Маврикич и их как бы высматривал.

[3] *Далее было:* быстро

[4] твердо *вписано.*

[5] *Было:* ступил

[6] *Далее было:* Митя слишком знал.

[7] *Далее было:* прокурор

[8] очень молоденький, но осанистый человечек в очках *вписано на полях.*

[9] *Вместо:* кто же? — *было:* это солдаты

[10] *Далее было:* тоже

— По-ни-маю!

— Понимаешь? Понимаешь? — чуть не громче его и укоризненно воскликнул вдруг подступивший к нему старик исправник, — понял? [1]

— Михайло Макарыч, Михайло Макарыч, это не так, не так-с... Я вас изо всех сил прошу удержаться... — живо проговорил самый молоденький маленький человечек в фуражке с кокардочкой — и, сам обращаясь к Мите, начал было как-то наскоро и как бы вдруг сбившись: — Мы имеем к вам... Одним словом, я вас попрошу сюда, вот сюда, к дивану... Нам надо немного объясниться.

— Я вас особенно попрошу, голубчик Михайло Макарыч, — начал было приятель прокурора исправнику, но не договорил.[2]

— Старик! — вскричал Митя в исступлении, — старик и его кровь!..[3]

И, как подкошенный,[4] сел, словно упал, на подле стоявший стул.

— Да, изверг, да, отцеубийца! Кровь отца твоего вопиет перед тобою!.. — заревел над ним, опять не удержавшись, старик исправник. Он был вне себя, побагровел и весь так и трясся. — Пьяный, с беспутной девкой, в крови. Бред, ведь это бред! [5]

— Но это невозможно же, наконец, Михаил Макарович! Прошу позволить мне одному говорить! — настойчиво [6] крикнул опять молоденький маленький человечек и, обращаясь к Мите, твердо и важно произнес: — Господин отставной поручик Карамазов, я обязан вам объявить, что вы обвиняетесь в убийстве отца вашего Федора Павловича Карамазова, происшедшем в сию ночь...

Он что-то еще продолжал говорить,[7] тоже прокурор что-то начал говорить,[8] но Митя хоть слушал, но уже не понимал их. Он дикими глазами обводил их всех.

— Так чтоб убедиться жив или нет?

— Да.

— Как же вы убедились?

— Убедился, что убит.

— И тогда уже пустились далее истреблять свидетеля. Для чего бы соскакивать через забор человеку, за которым вопиет такая кровь, как отца его? Он принял бы за второстепенность. Но, чтоб убедиться, вскочил и, лишь убедившись, убежал.

Увы! Митя не сказал про жалкие слова.[9]

---

[1] *Рядом с текстом:* — Понимаешь ∾ понял? — *на полях:* Отец.

[2] — Я вас особенно ∾ не договорил. *вписано.*

[3] *Далее было:* Завопила кровь! Понял, всё понял!..

[4] *Далее было начато:* упал и

[5] Он был ∾ это бред! *вписано на полях.*

[6] настойчиво *вписано.*

[7] *Вместо:* продолжал говорить — *было:* кажется, сказал

[8] *Вместо:* начал говорить — *было:* сказал

[9] — Так чтоб ∾ жалкие слова. *вписано на полях. Рядом помета:* Психология.

Испр⟨авник⟩: «Ты меня, матушка, извини. Я тебя обвинять не хочу, вижу, что ты неповинна».

— Позвольте. Как же. Сядьте на забор, на стул, примерно: как он вас схватил.

— Хорошо, прекрасно, превосходно! (к каждому слову).

— Позволено ли [1] мне говорить? Или уж мне не позволено?

Очутившись на диване, не помнит. «И старик убит, так кто же убил его?»

— Про как⟨ого⟩ старика? Старик Григорий не убит.

— Не убит, слава тебе, господи. Ох, как вы напугали меня, но [2] позвольте, — вскочил было бежать, — позвольте. [3] ⟨113⟩ ЭТУ ЛИЧНОСТЬ.

— Я ведь понимаю же, что вы меня посадите за Григория — нельзя же в самом деле давать безнаказанно драться... Ну год, ну два — а там... Я и сам хотел в Сибирь ехать. Вы меня ободрили, благодарю вас.

И хоть многое терзало теперь его [4] душу, но в этот момент всё существо его устремилось непреодолимо лишь к ней, [5] к его царице, [6] к которой летел, чтоб взглянуть на нее в последний раз, а там, ну а там приступить и ко всем остальным решениям, и до этой минуты он старался [7] всё отбросить от себя. [8]

— Сивую-то, сивую-то держи.

— Не беспокойтесь, — проговорил становой (Митя вздрогнул ⟨?⟩).

— Вообразите, эта дама... (про Хохлакову вольный и интимный анекдот рассказывает Митя). NB НЕПРЕМЕННО.

Прок⟨урор⟩: «Не припомните ли вы хоть кого-нибудь, кому бы вы показали или хоть намеком сказали? (про зашитые деньги). Итак, совершенно никому? Уж коль вы 3000 задержали — то какой уж тут особенный стыд?»

Митя: «Эти деньги (вор). Знаете, меня всю ночь мучило больше всего не то, что я убил старика слугу и грозила Сибирь, — и когда же — когда увенчалась любовь и небо открылось мне снова, — ничего, ничего не мучило так ужасно, как сознание, что я сорвал наконец с груди эти проклятые деньги и их растратил. Вор, вор и бесчестен — вот что я говорил себе каждую секунду в эту ночь! О, я вчера приговорил себя к смерти и думал, что уж приговоренному всё равно распечатать. Вышло не всё равно. Значит, не только жить подлецом невозможно, но и умереть подлецом невозможно. [9]

---

[1] *Далее было:* уж

[2] *Далее было начато:* смею

[3] *Текст:* Испр⟨авник⟩ ∾ бежать, — позвольте. — *вписан на полях.*

[4] *Вместо:* терзало теперь его — *было:* мучило эту

[5] *Далее было начато:* к ней он летел и

[6] *Далее было:* к роковому существу

[7] *Далее было начато:* оттолкнуть от себя всё, что так

[8] И хоть ∾ от себя. *вписано на полях.*

[9] Значит ∾ невозможно. *вписано на полях.*

А умирать подлецом нельзя, а жить — невозможно. Мне по крайней мере невозможно. Особенно теперь, особенно после того, что произошло на рассвете. Понимаете ли меня, господа? Это вопль благородного человека. Исповедь благородного человека благородным людям! Неужто не понимаете? О, в таком случае я застрелюсь! За что же я омерзил себя и обесчестил признанием?»

— Выпейте воды.

— О, для чего я омерзил себя рассказом вам! [1]

— Но удивительно, почему вы, когда носили, не чувствовали этих мук?

— Чувствовал, но не такие, ибо я еще не истратил. Я мог завтра пойти и отдать.

— Но если вы истратили половину, с каким же вы лицом пришли бы отдавать!

И т. д.

— Непонятно. Мы всё для вас сделаем. Как же можно: желать лучше убить другого, чтоб ограбить и этими деньгами отдать.

— О боже, живая жизнь, господа, живая жизнь.

Митя следов⟨ателю⟩: «Мне кажется, я имел честь, честь и удовольствие, встретить вас однажды у родственника моего Миусова».

Митя прокур⟨ору⟩ и следов⟨ателю⟩: «Я понимаю, что вы меня припираете к стене, ведь вам нужно, ваша обязанность такая. Не взял бы я на себя вашу обязанность, господа (ха-ха). Не можете же вы не быть убеждены в очевидности дела, но вы исполняете обязанность, святую обязанность, а потому и травите меня, я ведь понимаю, понимаю. [2] Прокурор во что бы то ни стало обвиняет,[3] не взирая на убеждения сердца и ума своего, по должности, а защитник защищает во что бы то ни стало (ха-ха) и т. д.

Господа, слушаю я вас, и мне кажется... Я во сне иногда вижу, что кто-то за мной гонится в темноте, ищет меня, и я знаю, что он знает, где я спрятался, но он нарочно ищет, чтоб мучить меня, — вот что вы делаете».

Заключение: «А, да! Что делать, покориться надо. „Терпи, смир⟨яйся⟩ и молчи"».

Следователь: «Я считаю вас за благородного человека, увлеченного своими страстями». (Маленький фат. Митя странно смотрел.) [4]

— Зачем же вы подкупали Бема тремя тысячами?

— Я ей хотел доказать его подлость.

— Почему же вы думали, что он так подл?

— По глазам узнал.

— А где бы вы взяли остальные 2300, коли у вас, вы говорите, нет?

---

[1] — О, для чего ∾ рассказом вам! *вписано на полях.*
[2] Не можете ∾ понимаю. *вписано на полях.*
[3] *Далее было начато:* защит⟨ник⟩
[4] Следователь: «Я считаю ∾ смотрел.) *вписано на полях.*

— Я ему хотел права *мои* на имение передать, составить акт.

— И вы думаете, что он бы взял?

— Помилуйте, да тут не только три — тут четыре, тут шесть тысяч взять можно. Эти поляки на это мастера: он бы набрал своих адвокатов, полячишек да жидишек, и всю бы Чермашню у него оттягал, не то что участочек какой-то. Непременно бы согласился!

— Могу я посмотреть в окно, господа?

Митю везет становой.

Вспомнил про Грушеньку и крики ее.

Начало очищения духовного (патетически, как и главу «Кана Галилейская»).[1] ⟨114⟩

— Такие презренные глупости.

— Я волк, а вы за мной охотники, ну и травите меня, ха-ха!

Митя: «Кто же его убил? (О, Смердяков болен, болен.) — И потом: Кто же его убил? *Может быть, Смердяков*».

— Подлинно злом очиститься можно! — восклицал Митя. — Вы не давите меня, вы дух мой подняли, господа (обвинителям).

КАПИТАЛЬНОЕ.

Григорий показывает, что дверь (из дому в сад) была отперта.

Следователя догадки: Дмитрий Федорович представился, что шел с пачкой денег к чиновнику. (Он уж не скрывался, а представлялся.)

Следователь: «Вопрос, представляющийся с самого первого взгляда: в окно он убит или в дверь? Но дверь отворена, стало быть, в дверь... Знаком вам этот пакет?..»

Исправник (наедине): «А что если Смердяков, господа?»

Прощается Митя с следовате⟨лем⟩ и прокурором *запанибрата*, завтра, дескать, всё объяснится, но худо то, что и сам, в глубине *в какой-то,* чувствует, что они уж ему не товарищи, что он *уж* не ровен им, что они судьи его, *господа судьбы его*.

Едет со становым тоже, мысль *мельком* про Федора Павловича: «Ну, умер старик, надо простить. Еще, пожалуй, я-то перед ним столько же[2] виноват, как и он передо мной».

Митя (после признания о Катиных деньгах): «Господа, я с грустью[3] замечаю, что вы мне не верите».

Митя: «Эх, господа, как вы это понять не можете? Я ношу деньги, завтра же я могу решиться их отдать, и я уже не подлец, но решиться-то я не мог, вот что: *хорош? хорош?*»

Или: «Хорошо, хорошо. Положим, так, положим, вы совершенно справедливы — ну и passons:[4] чепчик так чепчик, тряпка так тряпка».

---

[1] — Зачем же вы ∾ «Кана Галилейская»). *вписано на полях.*

[2] *Незачеркнутый вариант:* не меньше

[3] с грустью *вписано.*

[4] прекратим (*франц.*).

— Чепчик или тряпка?

— Господа, вы меня замучаете! Я вам об страданиях падшего ангела говорю, а вы о бабьем чепчике. Passons, говорю вам, passons, будем о существенном.

— Да переверните же страницу, господа, иначе мы ни до чего не договоримся.

— Нет, господа, вы не хотели перевернуть страницу, оттого так и вышло.

Прокурор придирается к тому: как, когда и почему? Митя кричит им: «Эх, господа, не надо на мелочах останавливаться:[1] как ступил, куда ступил, когда ступил?.. Вы держитесь сущности, следите за сущностью, а то я в самом деле собьюсь. А то это прямо значит бог знает с чего ненки снимать».

Митя: «Господа! С вами говорит благородный человек — главное, этого не упускайте из виду, человек, наделавший хоть и много подлого, но всегда бывший благороднейшим существом по существу (простите, каламбур вышел, но я не литератор). Именно тем-то и мучился всю жизнь, что жаждал благородства, был, так сказать, страдалец благородства и искатель благородства, его-с форм⟨?⟩,[2] — а между тем всю жизнь делал[3] одни только подлости — вот весь я, и это-то и было мучением моим всю жизнь. Надо же ведь это различать, господа!»

Митя: «Господа, я замечаю, что вы решительно мне не доверяете. „Кто же отворил дверь?" Да-с, вот кто отворил? Не сама же она отворилась. Смердяков? Но Смердяков невозможен, это человек по чувствам своим — курица, курица в падучей болезни, и, наконец, ведь он сын его... святым духом — но не может быть, чтобы св⟨ятой⟩ дух решился на такую подлость и пошлость, сверх того, пошлость! Это низкое какое-то волшебство, но в наш век положительный и век наук, так сказать, в которых (я всегда это знал) волшебства быть не может. Смердяков — но ведь он и отец ему».

— Но ведь вот вы же хотели убить?

— Да, хотел, о господи, хотел. И, может быть, убил бы... Да, хотел убить! Воистину хотел! Были минуты... Да, подлец человек, господа, воистину подлец — и в целом и в частности... за редкими исключениями, и подло вам мне об этом напоминать, когда уже я вам изложил мои чувства. ⟨115⟩

Глава 1. Рассказ.

Глава 2. Митя показывает. Отказывается положительно сказать, откуда явились деньги.

Прежде того следователь спросил про дверь, но не сказал про показание Григория.

---

[1] *Над строкой начато:* толку нет в

[2] его-с форм ⟨?⟩ *вписано.*

[3] *Было:* строил

Когда Митя отказался сказать, откуда деньги (мои, у меня были), то спросил: «Сколько было денег?»

— Нет, не три тысячи, а полторы.

— Знаком вам этот пакет?

У Хохлаковой 3 (показания Перхотина).

В лавке тоже показали (может быть, говорил).

Трифон Борисыч.

Бем.

Грушенька (у Кати). Грушенька взволновала Митю.

— Я вам должен сказать показание Григория.

— Как же дверь была отворена?

(? Убил Смердяков?)

Следователь: «Имея в виду, что вы отказываетесь сказать, где *взяли* деньги, и вот это точное показание Григория, как же прикажете нам заключить?»

Митя в страшном волнении: «Господа, я вам открою всю тайну. (облегчите наказание)».

Допросы: «Как же дверь-то отворена?»

Прокурор: «Да, конечно, если б вы убили старика Григория, то показания этого не было бы».

№3. Узнав, что Григорий жив, Митя *мгновенно* изменил тон показаний на бодрый и веселый: «Имел честь вас встречать». [1]

Крик Грушеньки. Исправник и Грушенька. [2]

Хохлакова: «О боже! вы мне даете идею: ведь он меня мог убить!»

— Ну, вас-то он бы не убил.

— Убивал! Убивал!

Записочку к исправнику: «Денег я никогда не давала».

Следователь приговаривает часто: «*Благодарю вас!*»

Митя насчет «Кто же убил?» вначале: «Это меня сбивает с толку! Это меня положительно сбивает с толку!»

Митя на телеге: «Я не стану честнее... Не таким, как я, подыматься и спасать себя, неисправим! Но я всю жизнь зато посвящу ей, ей одной, и в лучах ее святости, ее честности очищусь сам. Вот теперь я добр, а теперь нельзя уже быть добрым, чувства высказать не смею, я арестант».

Разговор после увоза Мити.

Прокурор: «Дверь — факт подавляющий. Он ведь что думал? Он думал, что Григорий, бросившись за ним, авось не видел, [3] что дверь отворена. Тогда легко подвесть, что Смердяков. Как узнал — весь осовел. О, он боролся хитро».

После раздеванья: «Реализм, реализм, реализм действительной жизни, господа».

Перед свидетелями рассвело, утро.

После допроса [4] свидетелей, когда для пресечения способов

---

[1] №3. Узнав ∾ встречать». *вписано на полях.*

[2] Крик ∾ Грушенька. — *запись на полях.*

[3] *Было:* позабыл

[4] *Было:* Перед допросом

и т. д., после подписания протокола: «Господа, я гад, и никогда бы не поднялся, ни при каких клятвах исправиться. Нам нужен толчок, плеть нам нужна. Принимаю страдание, несчастье очистит меня, но — я невинен, я хотел — вот за то, что я хотел, и принимаю. Но, может быть, бог еще спасет меня. Я невинен — и твердо уповаю. Во всяком случае благодарю вас, господа, вы были со мной гуманны, — *руки*».

Отобранные деньги — куда? Обыск? Разуть сапоги?

Прокурор и следователь, порядок допроса. Один другого перебивают.

Земский врач (как называется). Врач всякий ли или земский? Берут ли с собой врача в Мокрое? Присягают ли свидетели? Может ли прокурор открывать подсудимому факты следствия, н⟨а⟩п⟨ример⟩ допрос Григория? О том, какие меры и права должен предположить и разъяснить меры прокурор как не знающему законов.

Понятые в 1-ой главе. Писарь (мундир). Понятые сидели ли в комнате? Повез становой и кто? Обыск Мити в карманах. Можно ли проститься с Грушенькой?[1] ⟨116⟩

Следователь: «По каким, собственно, причинам[2] так был ненавистен вам ваш родитель? ревность?»

Митя: «Я не скрывал моих чувств, их знают все... в трактире. Знаете, господа, я признаю,[3] что вы не имеете права[4] об этом меня спрашивать. Это мое дело, внутреннее мое... Но так как я всем говорил, и в трактире, то я не сделаю и теперь из этого тайны. Это всем известно. Я говорил... И, признаюсь, в этом случае немало улик. Всем говорил, что убью, и вдруг его убили, как же не я в таком случае? Я вас *извиняю*, господа, я вас *вполне извиняю*».[5]

— Что же? ревность?

— Ну да, ревность, и не одна.

— Имение?

— Ну да, и имение. Ну довольно, господа, довольно. Видите: мне не нравилась его наружность, что-то бесчестное, похвальба, попирание всего, сальное, гадкое... Но теперь, я, когда уж он умер, думаю иначе.

— Как иначе?

— Видите, не иначе, но я жалею, что так его ненавидел.

— Чувствуете раскаяние?

— Нет, не то чтобы раскаяние... Сам-то я не хорош, господа, вот что! Сам-то я не очень хорош. А потому права не имел его считать отвратительным.

---

[1] Отобранные деньги ∾ с Грушенькой? — *заметки на полях.*

[2] *Незачеркнутый вариант:* принципам

[3] *Было начато:* ду⟨маю⟩

[4] *Далее было:* так

[5] Я говорил... ∾ *вполне извиняю». вписано.*

— Горе мое, горе — вырвалось бежать.

Опять вели.[1]

О убийстве *Митя* вдруг: «Это дикая мысль, господа. Это дикая мысль. Я вам докажу, что это дикая мысль».

Следователь: «Зачём вам так надо было 3000, чтоб такою позднею порой и так эксцентрически добывать их?»

Митя: «Это частная жизнь моя, господа, это моя частная жизнь, и я не позволю никому вторгаться. И хотя вы *облечены,* но все-таки бесчестно было бы мне позволить вам вторгаться [2] в те эпизоды по крайней мере, где на карте стояла моя честь. Не позволю».

Митя: «Это, господа, лишнее (т. е. вопросы). Это не надо, это лишнее. Я вам говорю: следите только за мной, и вы всё узнаете».

Прокурор: «Но не лучше ли было бы снести к г-же Верховцевой *сперва всего* эти 1500, сказать ей именно то, что вы говорили: т. е. я малодушен, может быть, и подлец, но я не вор,— и затем уже искать денег, сколько вам надо, для ваших надобностей?»

Митя: «Нет, господа, не лучше!»

— Почему же? даже можно было бы у ней спросить эти деньги: видите, дескать, я не подлец, я отдаю и отдам, но дайте мне эти деньги взаймы... ну, хоть под обеспечение, которое вы представляли г-ну Самсонову и г-же Хохлаковой. Именно могли бы представить это обеспечение и в старом долге и в новом — если вы уж раз сочли это обеспечение столь ценным?

— О, как это было бы подло!

— Но почему же? [3]

Митя: «Господа, господа! Знаете вы, господа, вы меня *мучаете,* господа! Но я всё скажу, всё, всё, всё! в какой инфернальности вам признаюсь.[4] Знайте же, что у меня была эта мысль, знайте, что я почти даже *решался,* — до того подл человек. Но идти *к ней,* объявить ей мою измену, и на эту же измену, для исполнения ее, у нее же *просить* денег (просить, слышите, просить), денег, чтоб убежать от нее с другой, — о, это была такая мерзость, это бы так воняло, что я уж и не знаю!»

— Да, конечно, если тут ревность и проч., — пробор⟨мотал⟩ прок⟨урор⟩.

— Да знаете, знаете ли [5] — ведь она могла мне дать, господа, дать эти деньги, и я бы взял, и тогда... всю жизнь, о боже! Господа, я сделал вам это признание, страшное признание, во всей моей низости. Оцените же его, господа! Мало того, господа, не оцените, а цените его, господа, иначе — иначе вы прямо в глаза

---

[1] — Горе мое ∾ вели. *вписано позднее.*

[2] *Далее было:* в мою частную жизнь

[3] — О, как ∾ почему же? *вписано.*

[4] в какой ∾ признаюсь. *вписано.*

[5] что я уж и не знаю!» ∾ знаете ли *вписано.*

мне заявите, что меня не уважаете, что я подлец! О господи, не мучьте, не мучьте. Я подлец, да, я подлец уж тем, что признался вам в этом, открыл вам тайну мою, — так не называйте хоть вы-то меня в глаза подлецом за это. Ведь это слишком было бы жестоко.

— Успокойтесь, выпейте воды.

— Стойте, господа! Я еще более подлец, чем вы думаете и чем я сам о себе думал. Я почему не снес Кате деньги прежде, чем стал искать для себя? Потому что отдал бы 1500 — у меня уже их бы и не было. Стал бы своих искать у Самсонова, у Хохлаковой, а ну если не получу. А тут-то уж они есть, и приди минута бежать с Грушенькой, а ну как она вдруг сказала бы: едем [1] — деньги тут! Эта мысль была, господа, была! Скажите, господа, была у меня эта мысль или не была? Вы, сердцеведы, вы, прокуроры, мне кажется, что не была, а может быть, была, была, о, была! О, для чего до такой степени бывает подл человек! [2] ⟨117⟩

Прокурор хочет записать показания (т. е. для того хранил сумму и не отдавал долг,[3] чтоб иметь ее в случае нужды всегда под рукой для увоза любовницы).

Митя кричит: «Господа! Не пишите этого! Постыдитесь! Не пишите, что хотел идти к ней. Ведь я, так сказать, душу мою разорвал пополам, а вы воспользовались и роетесь пальцами по разорванному месту в обеих половинках».

«Мы записывали для себя, вы сами потом прослушаете, но теперь позвольте к делу. Всем, однако, известно. Всем твердо известно. Ведь что-нибудь значат же слова все, да и вчера, до езды, о 3000, а не 1500». Ладанка. «Я застрелюсь».[4]

Свидетели. Трифон Борисыч: «Говорил, что привез 3000».

Митя: «Неужто говорил, Трифон Борисыч? Кажется, я тебе положительно не говорил, что 3000 привез?»

Триф⟨он⟩: «Говорили, Дмитрий Ф⟨едорови⟩ч».

Разговор суда наедине. Полковник возражает: «Да!» (выходит). Прок⟨урор⟩: «Всему свету сказал,[5] всему свету».

Речь следователя к Грушеньке (после всего), важная и проникновенная.

Исправник говорит: «*Шалун*». Прокурор улыбается.

Мальчик следователь: «Господа, вы самым искренним порывам человеческого духа не верите».

Митя: «Я ведь из таких, которые, сколько ни дают себе обетов исправиться, со слезами, в грудь себя ударяя, а все-таки продолжают делать пакости, и так вся жизнь пройдет. Теперь, господа, теперь — я благословляю удар судеб, он отрезвит меня,

---

[1] а ну ∾ едем *вписано.*
[2] — Стойте, господа! ∾ человек! — *заметки на полях.*
[3] и не отдавал долг *вписано.*
[4] «Мы записывали ∾ «Я застрелюсь». *вписано.*
[5] Прок⟨урор⟩ ∾ сказал *вписано.*

ибо для нашего брата нужна внешняя сила, нужен внешний толчок... И тогда, может быть, и скрутит его... к исправлению. Принимаю, господа, принимаю муку обвинения, муку всенародного позора моего — и, может, видите, пострадать хочу, ибо страдание очищает.[1] Господа, знаете ли, вам ⟨?⟩...» [2]

Следов⟨атель⟩: «Мы вас признаем за благородного в основе своей человека, но увлекаемого страстями своими».

Маленькая фигурка, но Митя был в пафосе, и хоть и поскребло ему что-то на сердце (видя маленькую фигурку), но он схватил было за руку и закричал: «Я и не сомневался, [3] что вы благородный человек!»

Митя: «Вы можете не верить преступнику... Или подсудимому, истязуемому вопросами. Но благородному человеку, господа, благороднейшим порывам души — нет, этому вам нельзя не верить».

Митя (на телеге): «Терпи, смиряйся и молчи!»

Митя: «Словами из Шиллера: „Только тот чертог [4] и крепок" — господа, это у нас было не крепко!»

Прокурор (потом): «Кричит: мелочи, passons, представляется таким *наивным офицером,* точно он не понимает, где сидит·и какие показания дает».

Следователь: «Да, да. Мне он был даже противен в эту минуту».

Прокурор: «Я просто наблюдал его с любопытством как субъект. Он нас хотел обмануть видом трогательной наивности».

Следователь: «Ох, какие есть в этом роде мошенники из простонародья, да вот в июле месяце Снегирев, дело мещанина Снегирева: „Ничего не знаю, ничего не ведаю..." А ведь оказалось потом математически, что он-то и убил и ограбил. Завился».

Прокурор излагает [5] душу Мити: «Сначала преступление могло быть наполовину неумышленное. Он в целом, вообще, так сказать, мог решиться и положить убить, но это еще далеко до частности, до минуты преступления. Он мог одуматься даже. Но повлияла минута. Эти 3000 можно понять отчасти, сделав, он действительно, может быть, хотел застрелиться, ибо к этой женщине у него страсть. Но, как улыбнулась ему, он стал тосковать... А как мы нагрянули — у него мгновенно, уже, может быть, во время допроса, уже сидя за столом, явилась мысль об этих зашитых за пазухой деньгах».

Исправник: «Вы ему, кажется, уже очень сильную твердость духа придаете, прокурор, и находчивость».

Прокурор: «У него и есть она: он сидит на заборе и, по собственному показанию, соскакивает к Григорию. Казалось бы,

---

[1] *Было:* страданием очищусь

[2] Господа, знаете ли, вам ⟨?⟩...» *начато позднее.*

[3] *Вместо:* и не сомневался — *было:* я знаю

[4] *Незачеркнутый вариант:* союз

[5] *Далее было:* его

после отца — третьестепенное дело, но он соскакивает, чтобы *удостовериться:* убит ли единственный свидетель. В этом, я вам скажу, я вижу не столько твердость, но, так сказать, зверское присутствие духа...»

Следователь: «Браво, прокурор (сердцеведец вы!). Ну, а покупка вина и гостинцев?»

Завился.

Следователь: «И к тому же деньги имеют на этих расточителей действие опьяняющее, как попадут в руки, эти радужные, эти десятки екатерин.[1] ⟨118⟩

О, потом он, может быть, и затоскует, по слабонервности (по слабонервности, прокурор, не правда ли, удачное выражение), но пока еще опьянел от кредиток — он — по всем по трем. К тому же, действительно, может быть, хотел застрелиться — и в таком случае эта пьяная поэма имеет quelque chose de grandiose [2] — не правда ли? не правда ли?»

— Ну, grandeur не grandeur.[3]

След⟨ователь⟩: «Но интересное дельце, прокурор, на всю Россию можно блеснуть (хи-хи)».

Прокурор: «Я [4] полагаю, что у него может явиться рука, выпишут защитника — Миусов, эта Вершонская...»

След⟨ователь⟩: «Да, но вы их раздавите, Иннокентий Семенович, — надо служить истине, общему делу» (и т. д. *Щедрин,* кн. Урусов).

Следователь: «О, вы поставите дело, Иннокентий Кириллыч, предчувствую: это будет филигранная работа, и мы здесь, в нашем захолустье, — блеснем-с! Хоть самого Фетюковича, аблаката из Петербурга, присылай — мы их здесь раздавим-с».[5]

— Ну почему же в захолустье...

— О, патриот!

Следов⟨атель⟩: «Так и должно, так и должно, Михаил Макарыч, я уважаю, как я ни молод, а я эти порывы патриотизма ценю-с и уважаю искренно, было бы вам известно».

— Да вы прекрасный молодой человек, только...

— Что?

— Шалун.

— Хи-хе-хи. Ах да, кстати, эта особа... — и убегает к Грушеньке: *шалун.*[6]

Прокурор про Митю: «Твердый характер».

Следователь: «Невыдержанный».[7]

---

[1] Прокурор излагает ∾ екатерин. *вписано на полях.*
[2] нечто величественное (*франц.*).
[3] величественное не величественное (*франц.*).
[4] *Далее было:* так
[5] Хоть самого ∾ раздавим-с». *вписано.*
[6] и убегает к Грушеньке: *шалун. вписано.*
[7] *Далее было начато:* Следователь, после того как прокурор закончил

Прокурор о том, как он соскочил к Григорию: «Я не знаю, выдержанный он или нет, но решимость и рас-чет-ливость в критические минуты у него есть».

Следователь: «Браво, Иннокентий Кириллыч, я бы этого просто не заметил. Экой вы психолог! Да с вами оставаться страшно: этак вы и мою душу вынете и анатомически рассечете! Блеснете-с!»

Принимаются за чаек: «Ну-с, господа, чаек-то мы заслужили».

После показания Бема: «Ну, теперь становится понятен весь этот роман — понимаю».

Грушенька: «Как он вам говорит, так и верьте».

— Вы же как верили: *три* или полторы тысячи прокутил в 1-й раз.

— Я-то верила, что тогда 3000.

— И говорил он вам сам об этом?

— Говорил.

Митя: «Говорите правду, Аграфена Александровна, говорил так говорил, всему свету говорил».

Митя: «Это черт отворил» (дверь).

Прокурор: «Да вот разве...»

Про Катерину Ивановну: «Это вы даже и недостойны знать, господа».

— Но я видел, что *ненавидела.* Вот почему я и бросил ее, господа.

— Подлец, но не вор!

— Вы делаете в этом такую разницу?

— Да, такую разницу. Подлецом может быть всякий, да и есть всякий, а вором может быть не всякий, а только архиподлец. Ну да я там этим тонкостям не умею... А только вор подлее подлеца — мое убеждение.[1]

Пестик. «Так запишите же: может быть, с намерением убить старика — вот вам, господа, видите».

Жадные расспросы прокурора, когда начался допрос свидетелей. Видно, что прокурор по чертам хотел усвоить себе всё психологическое состояние Мити в эту ночь в Мокром.

Прокурор: «Мне теперь одно ясно. Он разыгрывает свою фантазию на струне благородства и уж не отстанет от этой струнки. Это довольно ловко, когда ни одного существенного доказательства, даже сомнения, в его пользу, т. е. буквально ни одного, а, напротив, все до единого против него. И их несколько, не десяток какой-нибудь, а сотня, две сотни — против. Но он не отвертится».[2] ⟨119⟩

---

[1] *К тексту:* Подлецом может ∾ убеждение. — *помета на полях:* Здесь! важное.

[2] Прокурор: «Мне теперь ∾ не отвертится». *вписано на полях.*

— Или сойдемся друзьями, или расстанемся врагами, — покраснел (не сказал ли глупость).[1]

N3. Мальчики. «Прощайте, из вас может человек выйти.[2] Вы думаете. В вас много мистического, но действительность вас излечит».

Красоткин (про женщину): «Так я вам скажу: рожа такой рыловорот, что и не бывало».[3]

— Колбасников, учитель, женится — такой рыловорот, что и представить нельзя. Влюблен.

Красоткин: «Как люди, так и мы. Я не люблю это». Красоткин рассказывает, как мальчик подлез под вагон и вагон пролетел над ним. Это сам Красоткин. «Страшно?» — «Так, не особенно».

— А то в Америке, растопили и поехали. Читал в газетах. Может, врут. В газетах много врут.

— Древние тоже врали — 28 000 раз лгала Кассандра. Сколько же ей лет и когда она успела?

— Всё изменяется под нашим зодиак⟨ом⟩,[4] стало быть, нет добра, застрелиться хочет.

4) Истязания 4-хлетнего мальчика.

6) Кота продал.

7) — Старший брат хочет застрелиться, по-моему, в Америку бежать. (Красоткин с Алешей.)

7) Мальчики украли сундук с деньгами. Красоткин: «Я это презираю».

8) Из окна стрелял. Самоубийство маленького мальчика.

Красоткин: мистицизм.

Красоткин: «В девичий пансион компания бросилась».

Мальчик с ручкой: «Нет, он холесяго халяктера и немного выпивает».

N3. «Если забуду тебя, Иерусалиме» (в сенях). Вдруг скрючился и заплакал, подлез как-то под лавку, сотрясается.

Штабс-капитан ходил за щеночком и принес нового щенка, а дети пришли сообщить, что Жучка пропала (так сказал Красоткин).

Про щенка: «Черный нос, значит, злой».

— Трою основали Тевкр, Дардан, Иллюс и Трос. Смуров, объявив, почувствовал себя виноватым (подсмотрел у Смарагдова). Красоткин не сбился, ⟨120⟩ посмотрел высокомерно: «Что ж, как же они основали? Что значит основали? Пришли 4 дурака и основали?» Этого уже не сумел разъяснить Смуров.

---

[1] — Или сойдемся ∾ глупость). *вписано.*
[2] *Вместо:* может человек выйти — *было:* может быть человек
[3] *Вместо:* что и не бывало — *было:* что и представить нельзя
[4] под нашим зодиак⟨ом⟩ *вписано.*

— Осел 1-й руки и последней степени. Учитель Дарданелов.

— Не верую Дарвину. Происхождение стрекозы.

— Опять же взять и бога — всё это гипотезы.

— Я ничего против бога не говорю. Он нужен для порядка.[1] Его надо бы выдумать.

— Я не мистик и, признаюсь вам, терпеть не могу вступать во все эти препирания. Впрочем, можно, и не веруя, любить человечество.

— Я «Кандида» читал (Вольтер, например, любил человечество, а в бога не верил).

— Нет, он верил.

— Разве верил? Я, впрочем...

— Да вы читали Вольтера?

— Я немного читал. Я «Кандида» читал.

— И всё поняли?

— О да... всё... т. е. я там не понимаю, почему он сальничает. Я, разумеется, понимаю, что это роман философский и написан, чтоб доказать [2] мысль, но...

— А Шиллера читали?

— Знаете, это всё сладости. Шиллер идеалист.

26 страница (мечтатель).

27 страница (детям о Куликовском сражении).

28. Катерина родила. Не муж, а ребенок. Красоткин приходит, *слушает:* «Пойдем, пупырь. Ты войдешь и скажешь: пришел Красоткин».

29. Семинарист о Гурии и Варсонофии.

31) Красоткин с Алешей об отсталости русского народа, но всё же этих немцев надо б душить.

33) Не педагогия, а педагог. ⟨121⟩ [3]

Коля: «Дорого мне стоило».

Мальчик как будто стыдился. Но если б знали, как ему вредно, сердечко, побледнел.

Все стали хвалить Колю.

ФОРСНУЛ КОЛЯ.

— Начнет выть, и ты будешь несчастлив.

— Не хочу мальчика.

— Как тебе (про меня) *новый доктор* сказал.

— Ухо надрезано, точь-в-точь как ты мне говорил. Я его по этим приметам и разыскал. *Ничья.* Я его запер дома, чтоб никто не видал, и тебе не сказал.

— И основать социальную коммуну на разумных началах.

— Но я отверг. Можно и у нас показать себя.

— Это сам Колбасников нам же и говорил.

---

[1] для порядка *вписано.*

[2] *Незачеркнутый вариант:* провести

[3] *⟨120⟩, ⟨121⟩ соответствует авторская нумерация:* 1, 2.

— Я неисправимый социалист, Карамазов, и в этом смысле не позволю над собой смеяться.[1]

— Илюшечка, подари ты мне эту пушечку.

— Нет, чтобы совсем уж моя была, а не твоя.

12 часов.

Ниночка: «Приходите к Илюшечке. Нет, приходите к нам каждый день». ⟨122⟩

Тевкр, Дардан. Попавшийся мальчик.

Коля про горбатую: «Хорошая она, хорошая?»

— Ах, очень хорошая. ⟨123⟩

— Я про Дард⟨анелова⟩ ничего не говорю, человек с познаниями, с решительными познани⟨ями⟩, этаких я уважаю.

— Однако ж, вы сбили его на истории: кто основал Трою.

— Неужто так и сбились — о том, как основали Трою.

— Он, папа, всё знает, он ведь только прикидывал⟨ся⟩, а он первый ученик.[2]

— Ну, это вздор, ничего, я и сам считаю этот вопрос пустым. ⟨124⟩

Дарданелов. «Он что-то промямлил, он затруднился, я ничего не понял. И притом покраснел».

Коля: порох — мякоть, маленькая сажа, ничтожная сажа.

— Это вы меня, старика, взорвать хотели, — распредставлялся, выпороли, со мной не позволяют. *О гусе.*

Дарданелов. «Он с познаниями. Он с решительными познаниями».

Не снимает пальто: «*Я ведь на мгновение*».

— История: бабьи сказки; изучение глупости человеческой.

— Опять теперь эти классические языки: ведь все переведены и проч. Сумасшествие.

— Нет, это потому, что это скучно. Так как же сделать, чтоб еще больше скуки. Колесо вертеть. Для дисциплины. Воду толочь. Для высшего послушания. Но этого, вероятно,[3] нельзя, ну так и выдумали классические языки.

— Да я не отстаю.

— Он первый, первый, он только так говорит.[4]

— Это правда, — сказал Смуров.

— Человек — образ божий — и воду толчет.

— Нет, это Иванов говорил, учитель.

— 12-ый год. Скоро 12. До моих лет никому нет надобности. Дело в том, правильно или нет я сужу, а не который мне год, не правда ли?

Коля Алеше. *Мистицизм.* «Согласитесь в том, что христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтоб *держать в рабстве низший класс*». ⟨125⟩

---

[1] — Я неисправимый ∾ смеяться. *вписано на полях.*

[2] — Неужто ∾ ученик. *вписано.*

[3] *Далее было:* все-таки

[4] Но этого, вероятно ∾ говорит. *вписано на полях.*

— Я не против Христа, это был гуманный человек,[1] и, будь он в наше время и получи современное образование,[2] он бы прямо примкнул к революционерам. Ведь это ясно.

Алеша: «Таким образом, прелестная натура, как ваша, еще и не начавшая жить, уже совершенно испорчена убеждениями».

— Я еще не такой революционер. Я, например, считаю, что бежать в Америку из отечества низость.[3] Хуже низости — глупость.

— Вы уж не хотели ли бежать? [4]

— Признаюсь, меня подбивали, но я отверг. Это между нами, разумеется, Карамазов, слышите, никому ни слова. Я не желаю попасться на зубок 3-му Отделению и брать уроки... у Цепного моста.

— Помните, «Будешь помнить зданье у Цепного моста»? Великолепно.

Христос. «И, может быть, играл бы не совсем последнюю роль».

— Где это вы нахватались?

— Помилуйте, правды не скроешь. Это еще старик Белинский говорил.

— Где же это он говорил?

— Говорят, что говорил.[5]

— А вы читали Белинского?

— Нет, я не совсем читал, но... место о Татьяне я читал.

— И всё поняли?

— Помилуйте, вы меня, кажется, принимаете за Смурова.

— Смотрите, каковы мои убеждения, а не который мне год. ⟨126⟩

— Но о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал.

— Как не пошла с Онегиным? Вы это разве... поняли?

— Помилуйте, вы, кажется, меня принимаете за Смурова.

— Да ведь вам еще только 12 лет.

— Мне скоро 13 лет. 13, а не 12, и, наконец, какое кому дело.

— Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы. Именно теперь. Целое поле самой плодотворной [6] деятельности.

Коля и Алеша. «Рад познакомиться, телячьи нежности».

Коля: «Я социалист, Карамазов, социалист по убеждению».[7]

Коля: «Это собака Перезвон. А не Жучка. Знаю, что вам хотелось бы всем Жучку, слышал всё. Слушайте, я вам объясню дело».

— Не ходил... по одной причине. Скоро узнаете.

— А уже как будет рад.

---

[1] *Незачеркнутый вариант:* личность

[2] *Вместо:* получи современное образование — *было:* имей образование

[3] *Далее было начато:* Мало то⟨го⟩

[4] *Было:* — А разве вы хотели бежать?

[5] — Где же это ∾ говорил. *вписано.*

[6] самой плодотворной *вписано.*

[7] Коля: «Я социалист ∾ по убеждению». *вписано.*

— Да, я слышал, что обо мне поминает. Он умрет.

Алеша: «Жучка снится ему, мальчик плачет, найдите мне Жучку.[1] Жаль, что Жучку не нашли, на вас была последняя надежда. Отец на вас надеялся. Да, жаль. Щенок».[2]

Коля (заплакал): «Я могу тебе показать пушку».

Коля: «Что гусь думает? Я люблю на базаре говорить с народом. Мы отстали от народа, и, уже конечно, надо вознести народ до себя. Я всегда готов [3] отдать справедливость народу, только не очень его балуя. Это sine qua».[4] ⟨127⟩

— Федорченко стихи сочинил, начинается:

Поразила весть третьеклассников,
Что женился наш Колбасников.

Ну и там дальше очень смешно, всем собакам...

— Ну, думаю, тут душок, надо его выкурить.

Онегин. «Я против эмансипации женщин...»

— За Смурова принимаете.

— Да ведь вам 12 лет!

— Какие мои убеждения, а не сколько мне лет.

— Звездного неба.

— Это прелестно, это немец, это хорошо. Значит, независимый дух, а не дух рабства немецкого. Немцев душить. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душить.[5]

Развращен и атеист. Прелестный характер.[6]

— Я не против Христа, — примкнул бы. Я ведь не такой революционер.

— В Америку; у Цепного моста. Я не мистик — от вас можно научиться. «Аще забуду Иерусалим».

Илюша обнял⟨ся⟩ с Колей.

— Папа, возьми мальчика.

«Аще забуду».

— Про меня есть клевета, что я в разбойники с *ребятишками* играл. Что я играл — это действительность, но что я для себя играл, для доставления себе самому удовольствия, то это клевета.

— А хоть бы и для себя?

— Ну, для себя в мои лета.

— Помилуйте, ну а театр, где представлены приключения великих героев, иногда тоже с войной, — разве это не то же? Игра в войну или в разбойники — это зарождающе⟨еся⟩ искусство, потребность искусства в юной душе. Стало быть, чего же стыдиться?

---

[1] Алеша: «Жучка ∽ Жучку. *вписано.*
[2] Щенок *вписано.*
[3] *Далее было начато:* признать
[4] непременное условие (*лат.*).
[5] Значит ∽ душить. *вписано.*
[6] Прелестный характер. *вписано.*

— Вы так думаете? Таково ваше убеждение? Ну, я еще об этом подумаю, шевельну мозгами наедине... А знаете, вы глубокую вещь сказали; у вас можно научиться. Я намерен учиться у вас, Карамазов.

— А я у вас.

— Нет, позвольте. Перезвон пусть ляжет. ⟨128⟩

Заложил карету. Красоткин. Это слышали.

О. С. Смердяков.

Красоткин: «Я ему экстрафеферу задал».

Красоткин Алеше: «Удивляюсь, как это у вас хватает на всё времени: завтра у вас брат судится, а вы такие пустяки [1] с этими мальчиками. Значит, хотите действовать на молодое поколение. Вы не гордый, это видно».

Грушенька зовет Алешу и в тревоге говорит ему, что Митя говорит решительный вздор — изменить людей хочет. «Ракитин это с ним».

Митя про Ракитина: «У них как-то сухо, точно к тюрьме здешней подъезжал. Но правда. Что же, коль правда».

— Веришь ли ты, что это я?

— Ни одной минуты не верил.[2]

— Оставь Ивана. Тут что-то такое, что я не осмыслю.

Посылает к Кате с поручением не рассказывать в его пользу о земном поклоне. «Не хочу.[3] Она способна предать себя всенародно за меня. Мне намекал адвокат».

Катя Алеше: «Я порою думала, что мне страшно до него дотронуться, как до *жабы* (отцеубийца). Нет, он всё еще для меня человек».

Алеша Кате: «*Щадите себя*» (на допросе).

Катя с горящими глазами: «Вы не знаете еще меня, да и я еще не знаю *себя*. Может быть, вы захотите растоптать меня ногами после допроса».

— Женщина часто [4] бесчестна. ⟨129⟩

Лиза и брат Иван (не забыть).

Красоткин: «Я ненавижу имя мое, Николай».

— Почему же?

— Казенно очень, официально.

Илюша: «Папа, купи птичку, выпусти».

Коля и Смуров: «Вздор, может быть. Все эти вещи с Карамазовым. Деятельность Алексея Карамазова.[5] Карамазов мне непонятен».

---

[1] такие пустяки *вписано.*

[2] *Рядом с текстом:* Митя про Ракитина ∾ не верил. — *помета:* Митя.

[3] *Рядом с текстом:* — Оставь Ивана. ∾ «Не хочу. — *помета:* Алеша.

[4] часто *вписано.*

[5] Деятельность Алексея Карамазова. *вписано.*

— Жучка — имя тривиальное.

«Что такое „Аще забуду тя, Иерусалиме...”?» — «Это вот что значит... такой характер, он зашутовался и даже в трагедии шутом... Не забывает выверт».

Коля: «Это вы хорошо. Знаете, от вас можно кой-чему научиться, Карамазов».

— А я от вас учусь, от деток.

N3. После похорон отец бежал и манил Жучку.

Тевкр, Дардан — *Красоткин:* «Я этим мало интересуюсь. Нынче больше естественные науки».

— Семиричная система... Да и я не знаю, как решить, я только вопрос задал. Но Дарданелов решительно затруднился ответить.

— Ты умный мужик.

— Знаю, что умный.

— Это, во всяком случае, умный мужик. Я всегда готов признать ум в народе.

Красоткин: «Они не позволяют со мной. Я для них почему-то опасен».

Илюша сказал отцу: «Это я за то болен, что я собаке Жучке...»

— Это та самая Жучка, это уж я могу вам гарантировать, только она теперь *Перезвон,* не правда ли, прекрасное имя? Славянское, это я сам приискал.[1]

Костя [2] Алеше: «У меня и теперь на шее дома два птенца сидят».

Илюша отвечал: «Как ему угодно, а скажите ему, что я опять брошу другой собаке и что всем собакам буду так делать».

— Я бы и раньше помирился. Но надобно было ее выучить (Жучку).

— Я не люблю чувствительность.

— НУ ЧТО, СТАРИК. ⟨130⟩

Умножились показания на Дмитрия: *притоны.*

Смердяк⟨ов⟩ Ивану: 1-е) свиданье: «Грешный человек, подумал, что и вам хотелось-с. Как же бы вы не хотели-с?»

Смерд⟨яков⟩, 62. («Когда она, падучая, *столь* натурально пришла».)

1-е свидание, 62 страница. «Как же бы я сказал, *если б вместе;* с простоты одной говорил. Подлинно не зная, говорил, что и обо мне могли вы подозрение получить, а только, *очень боясь, говорил*».

— Коли боялся, стало быть, ожидал чего?

— Как же не ожидал? Именно в те дни, и что Гр⟨игорий⟩ Василь⟨евич⟩ заболел, всё это вам рассказал.

— Как же ты меня в Чермашню посылал, коли подозревал?

---

[1] — Ты умный ∾ приискал. *вписано на полях.*

[2] *В рукописи, очевидно, описка; нужно:* Коля

— Да я думал, что и вы подозреваете уже-с и что я вас достаточно тем навел-с.

— Так ты думал, что я заодно с Дмитрием хочу убить?

— Господи помилуй, что вы! Напротив, думал, что вы после моих слов ни за что не поедете, потому и наводил вас...

— Как наводил? Как не поеду, что ты? [1]

— Чего это вы-с? Именно подумал, что вы почувствуете, что будет несомненно убийство, и останетесь, чтоб жизнь родителя охранить.[2]

— Да ты бы лучше прямо попросил, чтоб я остался?

Смердяков (подумав, робко): «Прямо-то попросить было боязно-с...»

— Чем это?

— А ну как вы рассердиться могли? [3]

— Да из чего же, черт?

— Не знал я ваших мыслей тогдашних и хотел испытать вас-с.

— Как? Это что?

— Простите-с, виноват-с; а ну как и им самим хочется, вам т. е., чтоб родителя убили?

— Как ты смеешь...

— Простите-с, виноват-с, в таком был положении, оробел весь, сотрясался, всех подозревал.

— И меня тоже, что я убью? 〈131〉

См〈ердяков〉: «Полноте, господи-с, никогда это и в мыслях моих не имел, господи, что вы это-с».

— Не понимаю я тебя после этого?

— Видите-с, чтоб убить, этого вы ни за что не могли, а чтоб хотеть, чтоб убили, это подумал, виноват-с.

— Да для чего хотеть, зачем?

— А наследство — Грушенька, женится, тогда ничего, виноват-с, про всех тогда худо думал.

— Чем же я тебе дал повод так думать?

— Бог знает-с, так-с, Алексею Ф〈едорови〉чу вы изволили говорить, что как будто желаете-с. «Всё, дескать, позволено», — прибавили.[4] (Ив〈ан〉 задумался, припомнил, в самом деле вроде того.)

Ив〈ан〉: «Хорошо же ты обо мне подумал, когда я в телеге сидел, — ты тогда сказал, помню: поговорить любопытно».

См〈ердяков〉: «Помню» (потупил глаза).

— Что же это значило?

— Со злобы сказал-с, подумал, что хотите.

---

[1] *Рядом с текстом:* — Как наводил? ∾ что ты? — *помета на полях:* Ноябрь, в начале

[2] *Текст:* — Господи помилуй ∾ охранить. — *перечеркнут.*

[3] *Текст: Смердяков* (подумав ∾ могли? — *перечеркнут.*

[4] «Всё, дескать ∾ прибавили. *вписано.*

— А почему сказал, что притворяться в падучей умеешь?

— А чтоб подумали, что и я тут вместе с братцем вашим убить замыслили, что у нас заговор уж такой. А коль промолчали, значит, сами желаете, грешный, подумал. Страх на меня тогда напал. Морду мне разбить надо было.[1] С простоты сказал-с, чтобы похвалиться. Одна глупость-с. Полюбил я вас тогда очень-с и был с вами по всей простоте. Если б я хотел убить, сказал ли бы я вам, что умею притвориться.[2]

N3. (Иван ушел, выругал его дураком, но убедился, что *Смерд⟨яков⟩* совсем искренен и невинен.)

Во 2-ом же свидании Смердяков злобно настаивает, что Иван знал и хотел убить. («Боялся, что, случись грех, *вы на меня донесете,* а теперь не донесете, побоитесь».)

Падучая была натуральна.[3]

N3. 63 (2-ое свидание.)

Илюшечка — XIII, XII, XI, VI, I. ⟨132⟩

Мальчики любят Илюшу. Про Жучку знает Красоткин, говорит, пропала. (Это Алеше объясняют мальчики.)[4] Красоткин хотел прийти. Мальчики идут к Илюше. Проснулся. Походить. Сапожки плохи.

Красоткин уходит, провожает Алеша. Алеша возвращается. Илюша отцу: «Папа, возьми мальчика». «Аще забуду тебя, Иерусалиме».[5]

Красоткин (гусь). «Я, говорит, вместо проекта сказал».

Смурова выпороли. За гуся. Историю с гусем.

— А Смурова за что же?

— А он пришел и смеется. Я, говорит, тут был, видел. Ах, так и ты был? Нет, говорит, соврал. Всё равно выпороли. Не позволяют со мной. Коли ты, говорит, был, то тебя пороть, а коли не был, зачем соврал. Логически.

— А тебя выпорют?

— Меня? — гордо посмотрел мальчик.

Красоткин сказал, что Жучка пропала. Красоткин свистнул. Жучка заскреблась. Пустили.

— Она?

— Я тогда нарочно не говорил.

Жучку покормили, дали хлеба.

Красоткин встал и помирился: «Я, брат, излияний не люблю». Зайчика показали (посмотрел высокомерно).[6]

Красоткин смотрит на Илюшу: «Ничего».

— Есть пушка хорошая.

---

[1] — А чтоб подумали ∾ надо было. *вписано на полях.*

[2] чтобы похвалиться. ∾ притвориться. *вписано на полях.*

[3] *Рядом помета:* По морде.

[4] *Над строкой:* N3

[5] Красоткин уходит ∾ Иерусалиме». *вписано на полях.*

[6] за что же? ∾ высокомерно). *вписано.*

Смурова выпороли за порох — 24 селитры, 10 серы и 6 березов⟨ого⟩ угл⟨я⟩.

Сделали в помадной *банке*, горит.

— Меня, старика, взорвать хотели. Выпороли.

— Ширяева хотят выпороть за гуся.

Красоткин: «Прощай». «Прощай, Красоткин». — «Я приду». — «Ах, приходи. Вот тебе свистулька».

Красоткин («Выпорют и тебя»): «Я на это плевать хотел. (И потом гордо встает): Я *на то* пошел».

Красоткин Алеше наедине: «Я этого мальчишку люблю. Умрет?»

— Умрет.

— Шельмы!

— Кто?

— Так, все, — и камнем пустил в воробьев.

Красоткин Илюше: «Помнишь, пушку делали?[1] Я ему пушку принесу: можно? Пушка из ключа, выпалили. Где бы пороху достать? Дробью, в окно». Достал Алеша.

— Я в географии Иванова (учителя) собью. Из арифметики первый.

N3. Прежде Илюша был под началом у Красоткина.

— Как вы полагаете насчет Америки? (В Америку бежать.) По-моему, глупость. ⟨133⟩

ПРОЕКТ 4-Й ЧАСТИ

Митя с Ракитиным. *Социализм.* Ракитин, смеясь, *Алеше* о Мите.[2]

Мальчик-шалун. Пришел к Илюше. Алеша с мальчиками, мальчик-шалун не согласен помириться.[3]

Пришел, увидел Илюшу, расплакался.

Алеша, капитан, семья и проч.

Алеша у Мити. Настроение социальное. *Митя просит сходить* к Катерине Ив⟨ановн⟩е и узнать, не хочет ли она сказать на суде о земном поклоне? *Чтоб не говорила.*[4]

Алеша к Катерине Ивановне. Та кротка, подчинилась. «Не люблю, но спасу».

Сказала адвокату о поклоне и вдруг Ивану Ф⟨едорови⟩чу при Алеше: «Да убил ли? убил ли? Я была у Смердякова». Затем раздражительность, сарказмы, намеки.

Ив⟨ан⟩ вышел и удивился: почему он только раз был у Смердякова (описание этого 1-го разу). И потом идет теперь во 2-й раз. 2-е свидание с Смердяковым. Беглая встреча с Алешей.

---

[1] Красоткин Илюше ∾ делали? *вписано.*

[2] Митя с Ракитиным. ∾ о Мите. — *позднейшая приписка.*

[3] *Над строкой:* N3

[4] Настроение социальное. ∾ *не говорила. вписано.*

2

Смерть Илюши. Похороны. Накануне суда Алеша у Грушеньки. Та боится Кат⟨ерины⟩ Ив⟨анов⟩ны. Алеша к Катерине Ивановне: его не принимают. Иван дома после 2-го свид⟨ания⟩ с Смердяковым. Смердяков зовет его вдруг. Признается и возвращает деньги. Повесился. Алеша приходит к Ивану и говорит ему ночью, что Смердяков повесился. Иван пошел посмотреть. Воротился домой Иван; один.

3

СУД

На суде: «К вам порядочные люди не пойдут, всякий порядочный человек должен иметь вид недовольного. Либерализм прикрывает взяточника и подлеца — потому, потому что он имеет вид европейца».

Алеша знает тайну *про себя* (Калганов, вместе живут).[1] ⟨134⟩

Все в лихорадочном состоянии и все как бы *В СВОЕМ СИНТЕЗЕ*.

Алеша спрашивает Катю: «Зачем вы спасаете его, если уверены, что он виновен?»

Митя накануне как бы в лихорадочном состоянии.

Митя интересуется отношениями Кати и Ивана.

Об Иване Митя таинственно: «Это человек... Это высший человек. Это не мы с тобой».

Катя не хочет[2] явиться свидетельницей.

Митя ревнует к поляку, потому что Грушенька помогает поляку.

«Ты веришь, что я убил», — говорит Грушеньке.

№3. *Тайна Мити*, объявляет Алеше, что Иван предлагает бежать.

— А сам ведь верит, что я убил (никогда Митя до этого не настаивал перед Алешей, что не он убил. Какая-то гордость была).

И вот, прощаясь с Алешей, руки на плечи: «Веришь ли ты, что я убил?»

— Спасибо.

Стал мнителен.

О показании Григория.

Митя говорит о воскресении в нем иного человека: «Был заключен во мне и никогда бы не явился на свет, если б не этот случай». Говорит Алеше: «Что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать? Можно широко жить

---

[1] Алеша ∾ вместе живут). *приписано на полях.*

[2] *Незачеркнутый вариант:* боится

и там. Можно найти и там, и под землей, рядом с собою в таком же каторжном и убийце человеческое сердце, можно сойтись с любовью, можно возродить и воскресить ⟨135⟩ это погибшее, замершее сердце, ухаживать за ним годы и выбить на свет высокую душу, страдальческое сознание, погибшего героя. А их ведь много, их сотни. О да, мы в цепях, и нам воли нет; но тогда в великом горе своем мы, воскресшие и обретшие в себе сознание человека нового, запоем грустный, трагический гимн из недр земли природе, таинственному и неотвратимому гению судьбы. Богу, наконец. Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землею! Ты не поверишь, как я жить хочу, какая жажда существовать и сознавать! И что такое страдания? Не боюсь их, хотя бы они были бесчисленны, кажется, столько во мне силы, что я всё поборю, только чтоб сказать и говорить себе поминутно, я есмь, в тысяче мук есмь, в пытке корчусь, но есмь. В столпе сидеть, Симеон Столпник. Знаешь, меня мучат разные философии, например идея:[1] чем сильнее ощущение жизни (ведь, кажется бы, тут здоровье), ан нет, плачу́ смертью. Я никогда прежде этих идей не имел, но всё во мне бродило, таилось. Именно, может быть, оттого, что идеи таились и бушевали во мне, стесненные, я и пил и бесился, чтоб утолить в себе что-нибудь, что-то. Я говорил Ракитину в этом смысле, он ухмыляется. Он умный человек».

— А ты видишь Ракитина часто?

— Гм. Но брат Иван не Ракитин, нет, это сфинкс. Он выше нас с тобой (смотри⟨т⟩ выше). Он таит идею. Меня одно только мучит. Знаешь, меня мучит бог, идея о боге. А что как его нет? Что если эта идея — *искусственная* в человечестве. Тогда если его нет, то человек *шеф* земли, мироздания. Велик. ⟨136⟩ Только как он будет добродетелен, без бога-то? Ибо кого же он будет тогда любить, кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоет?[2] Вопрос! Но, может быть, тогда будет иная добродетель. Ибо что такое добродетель? У китайца одна, у меня другая — вещь относительная (стало быть). Или нет? Или нет? Или не относительная? [3] Вопрос громадный, коварный. Я удивляюсь теперь, как люди там живут, а об этом ничего не думают.[4] Ты не засмеешься, если скажу тебе, что я две ночи не спал от этого. У Ивана бога нет, у него идея, но он молчит, он не открывается.[5] Я его спрашивал. Это масон, в роднике у него хотел напиться [6] холодной водой. Молчит.[7]

— Что же с тобой говорит Иван?

---

[1] *Над строкой:* Иван говорил Алеше
[2] Ибо кого ∾ воспоет. *вписано.*
[3] Или не относительная? *вписано позднее.*
[4] Я удивляюсь ∾ не думают. *вписано позднее.*
[5] *Далее было начато:* Я не говорил об этом с
[6] *Было начато:* испи⟨ть⟩
[7] Я его спрашивал. ∾ Молчит. *вписано позднее.*

— А, — вскинув глаза,[1] — так, ничего, потом. Я не говорил об этом с тобою до сих пор. Я откладывал до конца. Когда эта моя штука здесь кончится и скажут приговор, тогда буду с тобой говорить, а теперь не начинай об этом.

— Хорошо, завтра ведь суд, готов ли ты?

— Вот ты об суде.[2] Знаешь ли, веришь ли, сам понимаю ведь что такое, кошмар, решение судьбы, а почти не думаю. Думаю вот всё об этих вещах и вопросах. Вопросы.[3] А что ты разве что-нибудь об этом знаешь?

Тут разговор об адвокате, об докторе, об Кате (о том, что она знает, что я сказал, что великого гнева женщина), о Грушеньке, ревность. О накопившихся показаниях. О показании Григория. Знаешь, я, может быть, вовсе не буду говорить. А впрочем. О слухах в городе, о городе, о всей России: отцеубийца, дескать! [4] Я в газетах читал, уже до приговора приговорен газетами! [5] Знаешь, я тебе тайну открою, хотел потом открыть, ибо ты у меня главный, ты у меня всё. Я хоть и говорю, что Иван над нами высший,[6] но ты у меня херувим. Твое решение всё решит. Может, ты-то и есть высший человек.[7] Видишь, тут одна тайна, столь важная, что только ты один можешь ее решить. Дело совести, дело ⟨137⟩ высшей совести. Так я и отложил до твоего решения, ибо сам не могу решить: я перед тобой инфернал, я бес, а ты херувим, тебе и решать.[8] Но решишь после... после их приговора то есть, и вместе решишь судьбу. Не они решат, ты решишь. Не открывал тебе, но вот как теперь, т. е. сейчас, сделаю, всё скажу, подробно не скажу, но [9] идею скажу тебе сейчас,[10] теперь, но с тем, чтоб ты выслушал молча и ни слова не сказал как решение, скажешь потом. Выслушай, ни малейшего вопроса, ни движения, слышишь, согласен? А впрочем, господи, куда я дену глаза твои? Боюсь, что глаза твои решение выскажут. Всё равно скажу, видишь: бежать. Молчи, не решай.

О Грушеньке еще раз. Пламенно.

(N3 об Илюше.)

1) Ход дела. Умножившиеся показания. Выписки адвоката и доктора.

2) У Грушеньки. (У Хохлаковой.)

3) У арестанта.

---

[1] вскинув глаза *вписано позднее.*

[2] Вот ты об суде. *вписано позднее.*

[3] и вопросах. Вопросы. *вписано позднее.*

[4] *Далее было начато:* Знаешь

[5] *Далее было начато: а.* Я тебе тай⟨ну⟩ *б.* Иван предлагает бежать, денег много

[6] *Далее было:* человек

[7] Может, ты-то ∾ человек. *вписано позднее.*

[8] *Было:* ты и решишь

[9] всё скажу ∾ не скажу, но *вписано позднее.*

[10] *Было начато:* скажу, скажу прав⟨ду⟩

4) У Кати. У Кати Иван.
5) Катя и Алеша.
6) Иван к Смердякову (все прежние разы).
7) Иван дома. Ночью Алеша, от Илюши.
8) Иван один. Сатана.

Митя Алеше о том, что он не решил еще насчет бога, что смущает его бог и проч.[1]

— И там жить с Грушей навек. Без Груши я жить не могу, жить не могу, вот ведь что, каторжных разве венчают? Ну а совесть-то? ну а гимн-то из-под земли? От страдания убежал, значит. Отнюдь не велел тебе говорить. Иван говорит, что и в Америке, при добрых наклонностях, ты больше пользу принесешь, чем под землей. Ну а распятье-то, распятье — что от распятья ведь я убежал! Не решай. Можно подождать суда. Я *ведь вижу, как ты смотришь*. Ты уже решил. Подождем суда. Без Груши я жить не могу, а каторжных разве венчают? Так и Иван говорит.

— Иван очень настаивает?

— Очень. Очень. Изо всех сил уговаривает. 10 000, говорит, тебе на побег, а 20 000 на Америку. За 10 000 побег, говорит, превосходно можно устроить.

— Что делать, жалко немножко. Жалконько. Нечего делать, посторонитесь, ваше преподобие.

— Ты спрашивал: верит он или нет?

— Нет, не спрашивал, не могу спросить, но ведь я вижу, что верит.

— Ты прав, решишь после приговора, — сказал Алеша.

— Ты решишь, ты, ты решишь, а не я! Ты решитель. А теперь прощай, пора тебе, да и мне пора! Слышишь, об секрете ни-ни. Ну да что тебе говорить. Брат-то Иван-то верит, что я убил, и бежать предлагает.

— Да, он верит, — задумчиво и грустно сказал Ал⟨еша⟩.

— Прощай же, обними, поцелуй. Перекрести меня, Алеша, на завтра, прощай.

— Алеша, воротись, ты веришь?

— Полно.

— Спасибо. Никогда не лжешь. Веришь ли, боялся тебя до сих пор спросить. До сих пор откладывал... Ну, ты меня возродил.

Ему надо, очень надо было видеть Ивапа. Не меньше, как Митя, его мучил Иван.

— *Люби Ивана.*[2] ⟨138⟩

— Войти в сношение, с деньгами всё можно, говорит. Беги в Америку.[3]

— Эфика.

---

[1] *Далее помета:* КОРОЧЕ

[2] *Текст:* И там жить с Грушей ∾ — *Люби Ивана.* — *вписан между строками и на полях позднее.*

[3] — Войти в сношение ∾ в Америку. *вписано позднее.*

— Секуляризовать.

«Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность вразрез со своею действительностью».

«Зачем бедно дитё?» — *горячая тирада.*[1]

Митя (на суде): «700 пуделей, я пудель».

Иван один. Сатана входит и садится (седой старик, бородавка). Разговор. «Ты видение». Сатана: «Я тебе советую лечиться».[2] Эмбрион из бабочки, орангутанг и человек. «Я тебе советую лечиться». Встал и вдруг уходит. И проч. «Я вижу мои⟨ми⟩ чувствами, но правильно ли это, не знаю». «1000 лет пролежал. Громовый вопль восторга серафимов, две правды» и проч.

Иван у Катерины Ив⟨ановны⟩, раздражен. Алеше, выходя: «Я очень себя чувствую больным». Алеша приходит и приносит известие, что Смердяков повесился.

Сатана. Либеральничает по-нашему. Кончает патетически.

Ив⟨ан⟩ плюет. Сатана сам над собой хохочет.

Сатана: «Rien de nouveau».[3]

Сатана Ивану: «Ведь ты веришь, что я есть».

Иван: «Ни одной минуты (я бы желал, чтоб ты был)».

Сатана: «Эге!»

Митя: «Ну, брат, человек менее всего слушается собственного ума. Это-то и я знаю. Разумеется, коли порядочный человек; русский порядочный человек всегда чужого ума слушается, хотя бы сам очень самолюбив. А вот непорядочные, а тупые — ну, те свой ум ценят и всегда с брюхом смешивают, так что в конце концов одного брюха своего и слушаются. Мудрено небось, а мне это ясно».

— Да что с тобой, Митя? Тирада.[4]

Митя (несколько раз в разговоре): «Люблю тебя». И раз, уже отпуская Алешу: «Люби Ивана». ⟨139⟩

Митя: «Вообрази себе: это там в нервах, в голове, т. е. там в мозгу, эти нервы (ну черт их возьми),[5] есть такие хвостики-то,[6] — т. е., видишь ли, я посмотрю на что-нибудь глазами,[7] и они задрожат, а как задрожат, то и является образ, и не сейчас является, а там какое-то мгновение, секунда пройдет — и является такой [8] момент, т. е. не момент, черт его дери момент, а образ, т. е. предмет или происшествие, ну там, черт дери,[9] — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... а вовсе не потому, что у меня

---

[1] *Рядом помета на полях:* Митя, Алеша.

[2] *Рядом с текстом:* Разговор. ∾ лечиться». — *помета:* Satan.

[3] «Ничего нового» (*франц.*).

[4] Мудрено ∾ Тирада. *вписано.*

[5] *Далее было:* это всё доктора узнали

[6] хвостики-то *вписано.*

[7] на что-нибудь глазами *вписано.*

[8] такой *вписано.*

[9] ну там, черт дери *вписано.*

душа и что я там какой-то [1] образ и подобие, все эти глупости. Это, брат, мне все вещи эти самые [2] теперь объяснили (Ракитин)... и меня точно обожгло. Право.[3] Новое. Великолепно, Алеша, это наука. Новый человек пойдет. Это я понимаю.[4] А все-таки бога жалко».

Митя: «Жаль бога».

Алеша: «Ну и то хорошо, что жаль».[5]

Митя: «Что бога-то жаль? [6] Химия, братец, химия. *Что* тут делать. Не любит бога Ракит⟨ин⟩. Богу нет места. Ах, как он пишет, постой: вразрез с действительностью».[7]

Ракитин: «Как бы своего чего не забыть».

Митя: «Ты чужого-то не забудь».

Ракитин сердится.[8]

Митя: «Человек [9] с сладострастной слюной на губах, а губы-то жирные, красные».

Митя: «А был там Карл Бернар». (Это вдруг после Грушеньки или Кати.)

Алеша: «Какой Бернал?»

Митя: «Т. е., видишь ли,[10] Клодт или Бернал, я не знаю, только химия...»

Алеша: «Клодт Бернар, верно?»

Митя: «Да он, должно быть,[11] это кто он такой?»

Алеша: «Я, признаюсь тебе, мало о нем знаю. Слыхал только, что великий ученый, но какой именно — я [12] не знаю».

Митя: «Ну и черт его дери, и я не знаю. Видишь...» (N3. И начинает совсем о другом, о суде или о Катерине Ивановне.)

Митя: «Видишь ли, все подлецы. Эти Бернары... У нас тоже свои Бернары. Этот адвокатик — это тоже Бернар, у, Бернар, да еще какой».

Митя и потом, впоследствии: «Бернар!» (вместо подлец).

Ив⟨ан⟩ сатане: «Дрянь! (в ответ на его тираду). Я вижу в тебе дрянь, вышедшую из меня».

Сатана: «А ведь это презабавная мысль. Ну, а объективность не смущает тебя? Ну, да вот что меня можно взять, — чуть не пощупать: а может быть, дескать, он и существует!» Иван бьет его, а тот очутывается на разных стульях.[13] ⟨140⟩

---

[1] какой-то *вписано.*
[2] вещи эти самые *вписано.*
[3] Право. *вписано.*
[4] Это я понимаю. *вписано.*
[5] что жаль *вписано позднее.*
[6] «Что бога-то жаль? *вписано.*
[7] *Что* тут делать. ∾ с действительностью». *вписано позднее.*
[8] *К тексту:* Ракитин: «Как бы ∾ сердится. — *помета на полях:* Митя.
[9] Человек *вписано.*
[10] *Далее было:* барон
[11] *Вместо:* он, должно быть — *было:* какой же это
[12] *Было:* и я
[13] Ив⟨ан⟩ сатане ∾ стульях. *вписано на полях.*

— Есть бог?

Сатана: «Ей-богу, не знаю. Вот я великое слово сказал».

Алеша и Иван: «Кто же убил?»

— Хочешь ответ: *не ты* (т. е. не ты убил).

Сатана: «Мальц-экстракт Гоффа тоже помогает».

Ив⟨ан⟩: «Молчи, дурак».

Сатана: «Вопль восторга серафимов».

Иван: «Молчи, я всё это знаю, это всё мое».

— Да, конечно, ты в университете учился.

Сат⟨ана⟩: «150 град. ниже нуля. Ревматизм. Медом с солью».

Сатана. У него бородавка. Выходя, сатана ищет платок.

Сатана: «Удивляюсь я, зачем ты со мной говоришь? А заметил ты, мы с тобой *на ты*».

— Амфазники.

Митя: «Ты что на меня с такой критикой в лице смотришь?»

Митя: «Я прежде этаких вон вышвыривал, ну а теперь слушаю».

Сатана: «Мой друг, я становлюсь с тобой суеверен. Я люблю мечты».

Ив⟨ан⟩: «Это глупо».

Сатана: «Нет, напрасно, это довольно остроумно».

Митя: «Кто убил — Смердяков? Веришь ли, адвокат не верит, что не я убил?»

И потом Алеше: «Веришь ли, что не я убил?» (и проч.)

Митя про Хохлакову: «Старуха-то в исступлении. Ты знаешь, он тут хотел карьеру сделать, ну и бросил взгляды. Да только Перхотин пересилил».

Стихи.

— Так я тебе покажу, у меня записано.

Архимандрит и отделение критики. ⟨141⟩[1]

Ив⟨ан⟩: «Он ужасно глуп. Он глуп, как и я. Ровно так же, как я. Но он этим берет.[2] Он взял из меня всё самое глупое и воплотил в себе. Я на портрет гляжу. И если хочешь, в художественном отношении фигура удовлетворительная».

Алеша: «Сатана».

Ив⟨ан⟩: «Какой это сатана! Это черт, просто черт, я не могу представить себе, чтоб это был сатана. Раздень его и, наверно, хвост найдешь,[3] длинный, гладкий, как у датской собаки, аршина в полтора, бурый».

3-Й РАЗГОВОР

— Конечно, я-с. Будто вы и не знали.

Причина. Слова Кати: «Я была у Смердякова». Самолюбие. Была и еще причина (сатана).

---

[1] *⟨129⟩—⟨141⟩ соответствует авторская нумерация:* 3—15.

[2] Но он этим берет. *вписано.*

[3] *Незачеркнутый вариант:* отыщешь

Ив⟨ан⟩. После 2-го разговора сам произвел следствие — и Феню и всё — и все-таки не знал, что сказать, тогда Катерина Ивановна показала ему письмо. Он уверился; но вопрос: не он ли убил? *Хотел убить.* Иногда смеялся, иногда в отчаянии.

Алеша: «Хотел».

Мысль, что Смердяков думает, что он его подбивал убить.

Угроза Смердякова.

Смердяков, 2-ое свидание:

— Мордасы следовало бы мне расшибить.

— Нынче не бьют.

— В обыкновенных случаях это так, перестали бить, потому больше, что запретили, ну а в *отличительных* случаях так и теперь, как при Адаме и Еве.

Алеше, конечно, сказала Катя.[1]

3-е свидание. У звонка (причина свидания, — что говорил Алеша). «Он с ума сошел, все с ума сошли.[2] Да, была идея, если б убил Смердяков, то, конечно, я с ним солидарен. Для чего Мите предлагал бежать. Из жалости и Катерину Ивановну (он думал). Нет, а потому, что чувствовал себя нравственно таким же убийцей, как он, за те же желания, может быть, пожалев, что деньги у отца уйдут черт знает на что, на Грушеньку, а его минуют. Документ.[3] Только факт убийства не совершил, а Смердякова подбивал. *Да, подбивал...* Если б не совершил Митя, то совершил бы Смердяков, и тогда, уж конечно, он с Смердяковым». Иван дивился, что всё это как будто в первый раз он это говорит себе, но это вздор, не в первый, хоть он и не говорил себе никогда, но что-то во весь этот месяц само говорилось в нем, хотя и не словами, хотя и не сознательно, и почему он так ненавидел Митю, именно за убийство, почему так настаивал, что это он убил? Потому что убеждение, что убил Митя, было ему якорем спасения. Не убей Митя, а убей Смердяков, и тогда он, Иван, несомненно убийца, ибо он несомненно подговаривал Смердякова. Да подговаривал ли, так ли это? Не знаю.

Таковы были мысли до звонка, но, схватившись за звонок, другая мысль: «Она была у Смердякова, а он и не знал. Зачем была? Неужели она сомневается, что Митя убийца? А документ? Неужели не верит документу? Что мог ей сказать Смердяков? Уж не презирает ли она меня? И будто я ее уверял, что тот убийца! Я не уверял, я только презрительно говорил о нем. Что мог ей сказать Смердяков? Почему документ мне казался до сих пор математикой, почему он пошел к Мите с предложением бежать?» Отвратительная идея смердяковская —

---

[1] Алеше, конечно, сказала Катя. *вписано.*
[2] что говорил ∾ с ума сошли. *вписано.*
[3] Документ. *вписано.*

старался не думать — может быть, что он рад деньгам, 40 000, Мити.

Он, он говорил: «Всё позволено».

Тайна Ивана.[1] ⟨142⟩

SINE QUA.

Иван в восторженном расстройстве еще с Смердяковым и сатаной.

Мужик. С сатаной хохочет.

Взял решение, потому мужик.

Алеше говорит, что безумно и страстно любит Катю.

«Лиза мне нравится. — И потом пересек: — Эта девочка мне нравится».

— Ты про Лизу? — спрашивает Алеша, вглядываясь.

Не отвечая: «Боюсь, что я прямо в Федоры Павловичи вступаю. В известном отношении, по крайней мере. (Смеется.) Не гляди на него... Не гляди в тот угол...»

Ив⟨ан⟩: «Расскажи мне о твоем старце: вопль восторга серафимов, серафим? Может быть, целое созвездие или мир? А целое созвездие, может, всего только химическая молекула своего рода по химии, которая где-нибудь на Сириусе. Не гляди *на него...*»

Алеша: «Ты три раза сказал „не гляди на него". На кого „на *него*"?»

Ив⟨ан⟩: «На мой бред», — осклабился вдруг Иван.

Алеша: «Нет, я к твоему бреду из всей силы *приглядываюсь*».

Иван. Серьезно: «Ты ничего не видишь там в углу? Вот в этом правом углу на диване?» и т. д. ⟨143⟩

Смердяков.

Ив⟨ан⟩: «Нынче не бьют по морде».

Смерд⟨яков⟩: «В обыкновенных случаях жизни это действительно, что перестали бить-с, ну а в экстренных случаях не то что у нас, а на всем свете, хотя бы была самая полная республика, всё равно продолжают бить, как и при Адаме-с, да и никогда того не перестанут» (доктринер и мыслитель Смердяков: «будь хоша бы республика»).

— Будь хоша бы в республике. Будь и при самой полной республике.[2]

Смердяков: «Как и при Адаме и Еве-с».

1-е свидание. Иван настаивает, почему так непременно *сошлась падучая и в погреб упал,* как говорил? Герценштубе спрашивал. Ответ: «Можно». Смердяков объяснил как. (Герценштубе

---

[1] *Текст:* 3-е свидание. У звонка ∾ Тайна Ивана. — *вписан между строками и на полях позднее.*

[2] Будь и при ∾ республике. *вписано на полях.*

сказал Ивану, что Смердяков не в своем уме) (Смердяков про падучую: от ожидания).

— Лезу в погреб: будет иль не будет, да и упал-с, как полетел, стукнулся, сейчас она и пришла-с.

Смердяков (3-е свидание): «Главное, потому что всё позволено-с и что бога бесконечного нет-с. Коли бога бесконечного нет-с, то и нет никакой добродетели, а всяк по себе,[1] да и не надобно тогда вовсе, вот как я рассудил».

— Иван: «Своим умом, шельма, дошел».

— Вашим руководством-с.

— А теперь в бога веришь?

— Нет-с.

— Так почему же отдаешь?

— Бога-то нет-с, слова, а всё-то гордость. Ну, а наследство вам всё же нужно было-с.

Ив⟨ан⟩ вышел потрясенный: «Да, конечно, он прав». Но злоба Смердякова [2] поразила его. И потом стал: «Всё так и было.[3] Конечно, Митя убил, но если убил Смердяков, то я убил вместе с ним».

Затем опять исследования: «Митя ли убил?»

Документ.

Хотя строгая девушка не дала себя в жертву, несмотря на весь безудерж желаний своего нового любовника.[4] ⟨144⟩

16/17 июня.

I. *Катя*. (За Иваном идет. Но Митю, хоть и ненавидит, хочет спасти. Верит, что Митя убил.)

II. Катя и Иван.

Грушенька содержит поляка.

III и IV. Сатана.

IV. Катерина Ивановна с письмом Мити на суде.

V. Речь Фетюковича.

VI. Сатана.

VIII. Сатана.

Митя. X. «Чтоб не плакало дитё».

XI. Письмо Мити к Кате.

Митя (XI) о показании Григория (мысль Ракитина).

XIII. *Митя* в тюрьме.

XIII. Митя в тюрьме. Мистицизм.

XIII. Катя. Молит божию матерь. Ненависть к Мите. Исповедь Алеше: «Я должна пересилить себя».

XIV. Брат Иван.

XV. Сатана.

---

[1] а всяк по себе *вписано*.

[2] *Было*: его

[3] *Далее было начато:* Если

[4] — А теперь в бога ∾ любовника. *вписано между строками и на полях.*

XV. *Митя* о женщине (под башмак).
XV. Сатана. «*Я*».
XV. Иван про совесть. Сатана.
XV. *Митя:* «Иного в числе врагов выгоднее, чем друзей».
XV. Митя. Сын отцу: «За что я тебя должен любить?» ⟨145⟩
XVI. Сатана (бородавка и проч.).
XVII. Сатана («Становлюсь суеверен»).
XVII. *Митя:* «Карамазовы не подлецы, а философы. Де мыслпбус non est disputandum».[1]
XVII. Ракитина стихи. Ножка.
XVIII. Митя про Ракитина: «Он, брат, одну брошюру издает».
Об Илюше: виновата среда.
3. Митя про Ракитина: «*У них сухо*».
3. О земном поклоне, «в мою пользу хочет сказать».
4. Лиза и брат Иван.
5. — Умножились показания на Митю (с Хохлаковой).
Хохлакова про Катю: «Я знаю одно показание, которое она таит и которым сразу может убить его».
5. (Иван и Смердяков.)
6. (Иван и Смердяков.)
8. Митя. Поручение к Кате, чтоб не говорила о земном поклоне.
8. Катя Ивану при Алеше: «Да убил ли? Убил ли?» Сарказмы.
9) Алеша и Катя. Митя. (ВСЁ ГЛАВНОЕ.)
10) 11) ВСЁ ГЛАВНОЕ.
12) ВСЁ ГЛАВНОЕ.[2]
12. О Грушеньке пламенно и нежно.
12) Ход дела. ГЛАВЫ.
13. Митя: «Люби Ивана». (Сатана.) «Эфика» и проч. *Всё главное.*[3]
14. *Митя*: «Хвостики. Жаль бога. Чужого-то не забудь. Бернары».
14. Сатана (много).
15) Ив⟨ан⟩: «Кто убил?»
Алеша: «Не ты».
15. *Митя.* ⟨146⟩

— Секрет, какой такой это секрет?
— Знаешь, жест этот его я знаю.
— Иван (Алеша стал серьезен).
— Нет, тут она, тут она, что хочешь, тут она! Это она, это она! Это Катька! [4] Все втроем против меня замышляют.

---

[1] О мыслях не спорят (*лат.*).
[2] *Рядом помета:* Митя.
[3] *Всё главное. вписано.*
[4] Это она ∾ Катька! *вписано на полях.*

Ну, что он завтра будет говорить? Алеша, как это судят? Расскажи ты мне, как? Кто судит — ведь это лакей, лакей убил, лакей! Господи, неужто же его за лакея осудят?

— Показания умножились.

— Приди рассказать. Сумасшедший он или нет? [1]

(Письмо от поляков: «Ну вот, опять!»)

— Ты, говорит, им пироги посылаешь. Послать полякам пирогов.

— Глупый ты, Алешенька, не то обидно, что ревнует, а обидно, коль не ревнует. Я такова, только меня-то он не любит. Он это *нарочно*. Потому, он ее любит, так во мне вину сыскать.[2]

Максимов: «Нет-с, супруга меня очень ревновала».

— Тебя-то, да к кому тебя ревновать-то?

— К горничным девушкам-с.

— Да вот что, Алеша, это он всё такое говорит. Точно помешанный. Думаю, ну, всё у меня что-нибудь (Ракитку слушает), а потом и сомнение: да не с ума ли сошел?

— Знаешь: погубит она его на суде! Вот помяни мое слово, погубит. Нет, она что-то готовит. 〈147〉

— Секрет. Да, сегодня сказал, *ведь он добрый*, только ты, Алешка, не говори, слышишь, не говори, когда пальцами начнет за висок себя теребить.

— А я и сказала, да нет, показалось. Это не то, это у них с Кат〈ериной〉 Ивановной. Это они втроем что против меня положили и адвоката научили.

— Знаешь, она хочет за ним в Сибирь ехать, сам говорит. Она, дескать, за мною в Сибирь поедет. Тем более что я так рассердилась, что и сама хотела ему отказать.[3]

— Вы были у адвоката: что там делается? Новое это слово или старое? Я в восторге. Таким образом вашего брата оправдают.

— Но не он убил.

— Но нет, пусть лучше он убил, это было бы лучше.

Аффект. Григорий. Lise. «Что у ней? И скажите мне».

— Я должен к брату.[4]

— Но нет, нет, это всё не главное, постойте, что, бишь, самое-то главное. Как мне теперь поступить?

Икс или *Хохлакова*.

— У Лизы вздор, я вам доверила Лизу, она ведь взяла назад свое обещание. Милая фантазия больной девочки, игрушки, Ал〈ексей〉 Федорович.

Иван и Катя.

— Одни уходят в каторгу, другие женятся. И всё это быстро,

---

[1] Сумасшедший он или нет? *вписано на полях.*

[2] *Рядом с текстом:* Я такова ∾ сыскать. — *помета на полях:* Под конец.

[3] Тем более ∾ отказать. *вписано.*

[4] — Вы были ∾ к брату. *вписано на полях.*

быстро, быстро, и всё меняется, и ничего не вменяется. А тут вдруг старость, и все старики и смотрят в гроб. И все прощают друг другу. В этом жизнь. Это очень хорошо, Алексей Федорович (вздохнула).

Но об Ива⟨не⟩ Фе⟨доровиче⟩ и об Кате потом.[1] У меня тут свои ужасные наблюдения. Тут не только роман, тут сто романов. Катерина Ив⟨ановна⟩ пойдет за тем в каторгу, не любя его и любя Ив⟨ана⟩ Фе⟨доровича⟩,[2] а Иван Фе⟨дорови⟩ч поедет за ней и будет жить в соседнем городе и мучиться тоской... Тут десять поэм, Ал⟨ексей⟩ Ф⟨едорови⟩ч. Но это всё потом, потом. Lise, Lise. Я не знаю, что такое с Lise. Представьте, она прибила служанку. ⟨148⟩

Митя: «Берегись просить прощения у женщины. Сохрани и избави. Вот они, эти ангелы, без ⟨них?⟩ жить-то нельзя. Тут не один Смердяков... Я не хочу ⟨обрыв листа⟩ и я не хочу говорить. Оба что-то ⟨обрыв листа⟩».

Митя простился и поцеловал А⟨лешу⟩.

— Люби Ивана.

Алеша: «Меня удивляет».

— Нет, не удивляйся. Видишь, этого Ракитин не понимает, а ты, ты понимаешь. Видишь,[3] Карамазовы не подлецы, а философы.

Митя про адвоката: «Он, кажется, верит, что ⟨я убил⟩. В таком случае зачем же меня защищать?»

Ножка.

— Свинья, чистая свинья.[4]

— У сукина сына вышло.[5] И действительно, пропустил направл⟨ение⟩, гражданскую-то в ⟨обрыв листа⟩. ⟨149⟩

— Он никого не презирает; оттого ⟨обрыв листа⟩

— Коль не верит, конечно, презирает.

— И меня, меня?

— И вас.

— Я хочу, чтоб меня завел, прибил и ушел (в конце).[6]

— Он ответил, встал и ушел.

— Он честно поступил, помните сцену?

— Я опять не стыжусь. Алеша ⟨обрыв листа⟩.

— Почему вы меня совсем не лю⟨бите; обрыв листа⟩.

— Нет, люблю.

— Нет, со⟨всем; обрыв листа⟩.

— Лучше ничего не было.

---

[1] *Далее было начато:* Тут не ⟨только⟩

[2] не любя ∾ Ив⟨ана⟩ Фе⟨доровича⟩ *вписано вместо начатого:* а думаю ⟨?⟩

[3] Алеша: «Меня ∾ Видишь *вписано.*

[4] *Вместо:* чистая свинья — *было:* согласись сам, что свинья

[5] — У сукина сына вышло. *вписано.*

[6] *Далее по краю обрыва листа слова:* Нет, сов⟨сем⟩; Это, А⟨леша⟩; я сейч⟨ас⟩; спро⟨сила⟩

— Я не верил, что хорошо мальчика замучить, быть в презрении.

Сон про чертей.

— И у меня был этот сон.

— Неужто? Алеша, это ужас⟨но⟩ важно. Разве можно, чтоб у разных был один и тот же ⟨сон⟩?

— Верно, можно.

— Алеша, — говорит, — это ужасно в⟨ажно⟩, не сон важен, а то, что вы не лжете.[1] Это правда?

— Правда.

— Алеша, ходите ко мне, ходите ко мне.

— Я всегда буду приходить.

— Я ведь вам говорю... ⟨150⟩

1-е свид⟨ание⟩. 57, 59. №3.

57 смотри. *Причина 2-го свидания.*

ДС) Смотри для 1-го свидания.

Прибавить: «Из дружества сказал-с» (потупя глаза).

— Отчего лучше бы в Чермашню?

— Чермашня ближе. Сподручнее [2] было, что если вы тут поближе,[3] меня защитить могли-с. А коль в Москву, так тем братцу вашему полную бы смелость причинили.

Ив⟨ан⟩: «Он тебя обвиняет».

Смердяков: «Им *что ж* больше-то остается. Дверь-то Григорий Васильич видели-с».

Ив⟨ан⟩: «А как же ты мне сказал, что представиться в падучей умеешь?»

Смердяк⟨ов⟩: «По простодушию говорил-с... (и потом, помолчав, как бы припомнив, что говорил, что может представиться в падучей): [4] сами посудите-с, вот они (Дм⟨итрий⟩ Ф⟨едорови⟩ч) на меня свалить желают, что я убил, а вот вы сами моим свидетелем после сего можете быть и перед начальством показать,[5] потому сказал ли бы я вам наперед, что представиться умею, если б у меня в самом деле желание что сделать [6] было? Ведь это наш разговор теперь. Этого никто не знает, нашего разговора о том, что и вы сказали, что, коль убивство замыслил, можно ли быть столь простодушным, чтоб на себя же вперед улики давать. Ведь вы же на меня засвидетельствуете».

— Ты показал следователю?

— Нет, этого я не показывал.[7]

---

[1] *Было начато:* не счит⟨аете⟩

[2] *Было:* Как-то сподручнее

[3] *Было:* что вы тут

[4] как бы припомнив ∾ в падучей) *вписано.*

[5] и перед начальством показать *вписано.*

[6] что сделать *вписано.*

[7] *Вместо:* Ведь это наш ∾ не показывал. — *было:* Этого никто не знает, нашего разговора. Как убивство замыслишь, можно ли быть столь простодушным?

— Боялся, что в Москву уедете, в Чермашню всё же ближе-с.

Ив⟨ан⟩: «Врешь, ты просто приглашал меня уехать».

— Нет-с, я чтобы вы в Чермашню-с. По дружеству к вам-с.

Смер⟨дяков⟩: «Да я думал, что и сами вы догадаетесь-с, так как прямо говорить вам всего не смел-с».

— Об чем догадаюсь? Что не посмел?

— Да вот чтоб чего не случилось. Коли я вас от Москвы в Чермашню отклонял, значит, присутствия вашего здесь желаю ближайшего.[1] Думал, догадаетесь сами,[2] да и не поедете, меня и родителя [3] защитите.

— Да ты бы прямо сказал?

— Я думал, что вы и без того догадались-с.

Ив⟨ан⟩: «Да я бы тогда остался, если б догадался».

Смердяков: «А я, представьте, ведь думал, что вы не то что обо всем догадались-с, а даже прямо уезжаете от греха, чтоб только убежать куда-нибудь».

Ив⟨ан⟩: «Да зачем мне тогда бежать?»

Смердяк⟨ов⟩: «Себя спасая, со страху-с. Али отчего».

Ив⟨ан⟩: «Ты думаешь, что все такие трусы, как ты».

Смерд⟨яков⟩: «Простите-с, думал, что и вы боитесь, как я. Мне-то куда же было деваться? А вот, думаю, человек вольный, вот он и уезжает. Помните, я вам тогда сказал: с умным человеком и поговорить любопытно? В попрек я вам тогда это сказал-с».

— В какой попрек? в чем?

См⟨ердяков⟩: «Что не остаетесь родителя и нас защитить».

— Так я рад, что ли, был? Желал?

См⟨ердяков⟩ (помолчав): «Убежать рады были-с. Это вы истинно хотели».

Заплакал опять.

— Слушай, я тебя не подозреваю и считаю смешными оговоры. Я не скажу про наш разговор на следствии...

См⟨ердяков⟩: «По-моему, как хотите, коли вы не скажете, и я не скажу... С умным человеком». [4]

— Черт, говори, что хочешь. Я тебя щадя.

— Ручку поцеловать.

Первые попытки. Видел Митю. «Всё позволено». Смердяков убил, но показания отвращали. Сумасшедший, говорил бессвязно, *путался*.[5] ⟨151⟩

ГДЕ ЖИВУТ АЛЕША И ИВАН?

Больное лицо у Ивана.

Ив⟨ан⟩ Смердякову: «Ты болен».

См⟨ердяков⟩: «Да и вы не лучше-с. Давно не бывали-с».

---

[1] ближайшего *вписано.*

[2] *Было:* вы

[3] и родителя *вписано.*

[4] С умным человеком». *вписано.*

[5] *Текст:* Мне-то куда же было ∾ *путался. — вписан между строками и на полях.*

— Говорил ты Алек⟨сею⟩ Ф⟨едорови⟩чу?

— Вам этого нечего знать.

— Говорил иль нет, прошу тебя?

— Прямо не говорил-с, а нечто говорил-с. Мог ли бы я им прямо сказать?

— Ну, это сморчок сопливый. Может только говорить. *Говядина.*[1] ⟨152⟩

2-е *свидание.* Причины (не объяснять). «Ты тогда про 3000 говорил». Катя: «Он или не он?»

№3 ??? (придумать причины).

При 2-м свидании. *Иван:* «Ты тогда не то говорил».

Смердяков: «То же самое и тогда говорил».

Ив⟨ан⟩: «Врешь, ты говорил тогда про один только мой страх».

Смерд⟨яков⟩: «Это правда-с. Не посмел я тогда вам сказать, что и вы знаете. Я вас пытал-с. Но совсем был уверен, что знаете-с. С горечи сказал, что с умным человеком и поговорить любопытно».

Причина 3-го свидания. (Когда дошел до своего звонка.) Ревность к Кате. И то, что трус.

После 2-го свидания документ: «Завтра убью отца, как только брат Иван уедет, и отдам тебе 3000».

Катерина Ивановна ободрила документом, но явилось страшное сомнение: «*В самом* ли *деле* я хотел?» Железная дорога, подлец (Алеша в разговоре припомнил ему слова, что желать он оставляет за собой). С тех пор не видался.

№3. Сам Алешу спросил: «Помнишь, я сказал, что желать может всякий, ты, пожалуй, подумать мог, что я желаю... Что ж ты молчишь?»

Алеша: «Я подумал, что ты желаешь».

Ив⟨ан⟩ перебил разговор, но потом избегал встречи с Алешей.

3 свидание. Смердяков: «Всё позволено — вы учили-с».

ДОКУМЕНТ.

Первое письмо, что убьет отца, о 3000, было за месяц. Этот-то документ она решилась не представлять на следствии, и не представила, и хранила в тайне от всех.[2]

Второе — накануне. Напился в трактире, из трактира подали на другой день: «Завтра достану деньги и отдам тебе 3000, роковая Катя. И квиты. Прощай, великого гнева женщина, но прощай и любовь моя. Завтра буду доставать у всех людей, и квиты. А не достану у людей, то, даю тебе честное слово мое, пойду к отцу и убью его,[3] только проломлю ему голову». ⟨153⟩

Перед 1-м свиданием.

---

[1] — Ну, это. ∾ *Говядина. вписано и перечеркнуто.*

[2] Этот-то документ ∾ от всех. *вписано.*

[3] *Вместо:* И квиты. Прощай ∾ убью его — *было:* Прощай, великого гнева женщина, но завтра у тебя будут 3000, и квиты! А не достану у людей, пойду к отцу и убью его.

Катерина Ивановна дала свои показания со слезами в пользу Мити.

«Как бы уехал твой Иван.[1] У него возьму, у вора моего... [2] В каторгу пойду, а 3000 отдам. Жди! А сама прощай. Кланяюсь до земли, ибо подлец перед тобой. Прости! Нет, лучше не прощай! Легче [3] будет. Ибо другую люблю.[4] Лучше в каторгу, чем твоя любовь.[5] Стало быть, как же ты можешь простить? Убью вора моего [6] и пойду в каторгу. От всех вас уйду, чтобы никого не знать. *Ее* тоже.

P. S. Проклятие пишу, а слышу,[7] что тебя обожаю. Осталась струна и звенит. Слышу.[8] Нет, лучше сердце пополам. Убью себя. А сначала пса. Вырву три и брошу тебе. Хоть подлец перед тобой,[9] а не вор, Дмитрий Карамазов трижды подлец, а не вор! Жди 3000, трех тысяч. У пса под тюфяком лежат, розовая ленточка. Вора моего убью.[10] Не смей глядеть на меня презрительно, Катя, Дмитрий не вор, а убийца. Отца убил, себя погубил, чтоб только [11] и гордости твоей не выносить, а тебя не любить.

Ноги твои целую, прощай!»

Пьяное разглагольствие.

Кате: «Моли бога, чтоб дали люди 3000, — тогда не буду в крови, а не дадут — в крови.[12] Для того в крови, чтоб тебе отдать! О, убей меня! Дмитрий».

Кляксы. Кончил *на всех полях,* многословие пьяное. Прервалось по недостатку бумаги.

Смердяков: «Это чтобы это могло быть-с — то, напротив, совсем никогда-с».

Смерд⟨яков⟩: «Бога-то на свете нет-с, это пусть ваша правда-с, только совесть есть». ⟨154⟩

СМЕРДЯКОВ И ИВАН

Смотри ДС и на другой странице.

(14) Французские разговоры. Готовлю специально.

(57) Герценштубе, что Смердяков не в уме, после 1-го свидания.

---

[1] *Было: а.* Как уедет Иван. *б.* Как бы уехал Иван.

[2] У него возьму ∾ моего... *вписано. Далее было начато:* Ублюдок ⟨?⟩

[3] *Далее было:* мне

[4] Ибо другую люблю [обпдчпцу]. *вписано.*

[5] чем твоя любовь *вписано. Далее было:* Убью старика и пойду в каторгу.

[6] *Было:* старикашку

[7] *Было:* знаешь ли, слышу

[8] Слышу. *вписано*

[9] *Вместо:* Хоть подлец перед тобой — *было:* Хоть перед миром подлец, а не перед тобой

[10] Вора моего убью. *вписано на полях.*

[11] *Далее было:* вором перед тобой не [быть] стоять.

[12] *Далее было:* Только бы ты вором не презирала меня.

Ивану было *как бы стыдно,* что он во 2-й раз пошел к Смердякову.

2-е свидание (57). «Для чего ты меня тогда звал в Чермашню, если предчувствовал?»

(59) — Чтоб в пакете не заподозрили (боялся).

(60) Для 2-го свидания.

(61) (В третьем свидании.) *Важнейшее* 2-ое свидание.

— Ты убил *вместе* с Митей.[1]

(62) 2-ое свидание и 3-ье. («Простите, подумал, что и вы желаете убивства».)

(63) 2-ое свидание. («Вы тоже хотели убивства».)

(65) Перед 2-м свиданием. *Причина,* почему пошел во 2-й раз к Смердякову.[2]

(65) 2-ое свидание. Иван поражен. Хотел донести. Но Катин документ, но убеждение, что Смердяков *не мог* быть вместе с Митей в ту ночь [3] (был у Мити для этого). Показание Григория. Приписал злобе Смердякова и его сумасшествию (Герценштубе). Не ходил опять к Смердякову и даже *старался забыть* о разговоре *из страху,* что Смердяков и в самом деле докажет, что он убил.

N3. В третьем свидании Смердяков ему прямо говорит, *как и Алеша:* «Вы несколько раз себя спрашивали, вы ли убили? (Иван вздрогнул). А во 2-ом свидании я вам пригрозил, и вы ушли, поджав хвост. Тут я и догадался, что вы мне безопасны».

— После 2-го свидания?

— Да, после 2-го свидания.

Струсил. Убить себя. Решимость доказать.

— Мне она нравится. ⟨155⟩

САТАНА.

30 июля.

— Ведь ты веришь, что я есмь.[4]

— Я, может быть, желал бы, чтоб ты был.

— А давеча Алеше крикнул: «Ты от *него* узнал». Это ты про меня вспомнил. Маленькое мгновение верил.

Ив⟨ан⟩: «А ты веруешь в бога»?

— С⟨атана⟩: «Ей-богу, не знаю».

С⟨атана⟩: «Принято, что я падший ангел. Я, напротив, порядочный человек. (Кто ж я, как не приживальщик?)»

С⟨атана⟩: «Вся жизнь на минусе лепится».

— Теперь везде не километры.

С⟨атана⟩: «Теперь. Но это не должно смущать истинного философа. 30 год».

---

[1] *Важнейшее* ∾ с Митей. *вписано.*

[2] *Рядом с текстом:* Перед 2-м свиданием. ∾ к Смердякову. — *помета на полях:* Тайна Ивана, здесь?

[3] в ту ночь *вписано.*

[4] *Рядом помета:* Листки. 13.

С⟨атана⟩: «Мы на *ты,* и ты это позволил».

Ив⟨ан⟩: «Ты не видишь *синих* лучей».

С⟨атана⟩: «Почему ты не сейчас, давеча, к прокурору?»

С⟨атана⟩: «Всё позволено. Для тебя геологический переворот совершился».

Гл⟨авное⟩ №3. С⟨атана⟩: «Решимость твоя доказать есть следствие того, что ты струсил».

С⟨атана⟩: «Нет добродетели или нет бессмертия. Это я тебе говорю».

— Остаться с носом. Ревматизм. Гоффа лечение и проч. Газеты.

— Без страдания какое в жизни удовольствие? Вечная «осанна». Бесконечный молебен. Если б я *примкнул* и «осанна», то не было бы отрицания и критики. Всё стоит на критике. Игра верований и сомнений. Страдание, *но зато живут.* Тут *тайна*... Правда моя, правда *твоя.* Вот ты говоришь, я глуп. Сердце доброе. Козел отпущения. Во мне гораздо больше нравственности, чем предполагают.

— Вот ты и не спросил Смерд⟨яко⟩ва о Катерине Ивановне.

Сарказмы.

— Что тебе всё ума да ума.

— Игра идей и противуречий.

«Огнем жегома». Ив⟨ан⟩: «Ты у меня берешь». С⟨атана⟩: «Это мне делает только честь».

Ив⟨ан⟩ Алеше: «Ходил к доктору. Сказал: возможно, видение».

Et qui frisait la cinquantaine.[1]

— Примкнуть к хору.

— Ну, давай читать «С того берега». 100 лет лежал. Спиритизм. *Абсолют* рожки показывает.

— Рад бы в рай, да не пускают. Питаюсь сознанием, что приношу несомненную пользу.

Сатана иногда покашливал (реализм, бородавка).

— Либерал, 1000 лет. Хотел крикнуть «*осанна*» — угаснет.

⟨156⟩

Сат⟨ана⟩: «Ты от меня ждешь чего-то великого, необыкновенного».

— Вы сами не понимаете свое значение.

ИВАН И АЛЕША.

— С носом или без носу.

— За что купил, за то и продал. Мальц-экстракт. Мороз 150 град. Если б было там чему мерзнуть, всё бы замерзло. Духи не мерзнут, а я был как раз на тот случай в человеческом виде, поспешая на землю. По глупости переодеваться не хотел, ну и рискнул человеком пролететь и схватил ревматизм.

Сатана: «О реализме и о снах. Во сне умерший 15 лет ты принимаешь за факт. В идеалистическое общество записаться».

---

[1] И которому под пятьдесят (*франц.*).

— Берегись ревматизмов. Очень пошло.
— Ты нездоров?
— Ив⟨ан⟩: «Помолчи, дурак».
— Помирись с абсолютом. 1000 лет. Намерен будировать. Отзвонил, и с колокольни долой.
— Искушал ли Марию Египетскую? Созвездие. Нос. И проч.
— Как ты глуп.
Сат⟨ана⟩: «Зато ты, как ты-то умен».
— Смысл твоего явления — уверить меня, что ты есть, а не мой кошмар, не фантазия (Гегель. Ив. Кузьмич).
— Капельку веришь. Гомеопатия. Семечко — дуб. Вырастает дуб; в отцы пустынники и в жены непорочны пойдешь.
Ив⟨ан⟩: «Это чтоб меня обратить».
С⟨атапа⟩: «Надо же доброе дело когда-нибудь сделать».
После серафимов. *Ив⟨ан⟩:* «Всё это я знаю, и всё это глупо».
— В прятки. Не веришь в меня и бьешь. C'est bête, mon cher.[1] Это по-женски. Мы есмы, вы есте, они суть.
— Мы с папашей помиримся.
— 150 град. морозу. Яйца печь на свечке.
Сатана: «Ты сочинил поэму „Великий инквизитор". Благородное исступление».
— Я дошел до отрицания самого себя, дальше тебя пошел.
— Катар дыхательных путей. Берлинский профессор — 15 лет проживу. И вообрази себе мнительность: два раза привил себе оспу. Satana sum et nihil humanum a me alienum puto.[2]
Ив⟨ан⟩: «Humanum?? Это не глупо для сатаны. Вот это не я выдумал. Откуда ты взял?» (В снах реальность всего, а наяву не выдумаешь.)
Ив⟨ан⟩: «Идиот».
Сатана: «Как вежливо».
Сатана (про Алешу): «Он милый».
NB. Про Зосиму. «Я тут постарался, таких духов нанес».
NB. — Барыни-кокетки наиболее воняют в могилах. Я у каждой взял по букету. ⟨157⟩
Ив⟨ан⟩: «Какие муки на том свете?»
Сат⟨ана⟩: «Да прежде было и так и сяк, а теперь больше нравственные. С Жан-Жак Руссо это пошло, угрызения совести, так что те, у которых совести мало, даже и выиграли».

Главные сарказмы

XVII. *Иван и Алеша.*
Ив⟨ан⟩ сатане: «Ты глуп».
С⟨атана⟩: «Увы, я всегда это подозревал. Глуп, что тебя себе напредставил».

[1] Это глупо, мой дорогой (*франц.*).
[2] Я сатана, и ничто человеческое мне не чуждо (*лат.*).

Сат⟨ана⟩: «Я люблю мечты».

XV, IX. «Я тебе советую остановиться на этой мысли (Гегель). Иначе мы подеремся. Что ж, и подеремся, *может быть,* в фантазии». Satan: «Ah, c'est charmant».[1]

XV и XVI. *Иван и Алеша.* «Это *он!*»

XV. Ив⟨ан⟩: «Совесть сами делаем».

С⟨атана⟩: «Зачем же мучаешься?»

— Привык. Отвыкнем и будем боги.

С⟨атана⟩: «По крайней мере *какой-нибудь* выход».

Сатана: «Один бог знает, кто *он,* и не умирает от этого знания».

XIV. *Иван и Алеша.*

VIII. — Я славнейший из серафимов. Что мне легко было оторваться от тебя, что ли?

Сатана и Михаил.

VI. *Сатана и бог.* «Ты бы тотчас простил меня. Но здравый смысл... самое несчастное свойство мое, нет, я бы этого не выдумал, сколько проклятий посылали мне эти добрые люди».

— Две правды, моя и твоя.

IV. — Сернисто-водород⟨ный⟩ газ. Оттого и душонки их этим пахнут.

— Сколько нужно было погубить душ, чтоб получить одного праведного Иова, на котором меня так жестоко поддели во время оно.

— Главное (III), сатана и бог. (После того как хотел крикнуть «осанна».)

II. — Если б всё на свете происходило разумно, то ничего бы и не произошло.

Исповедников подслушивал. Нос.[2]

N3. — Cela lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine.[3]

— Почему ты со всяким?

С⟨атана⟩: «Я отступил. Это совершенная невинность. Я-то отступился, а исповедник тут-то и приступил. Назначил ей в тот же вечер в свое окошечко. Свидание». ⟨158⟩

Сатана Ивану: «Где бы я ни сел,[4] там всегда будет первое место».

N3, N3, N3. «Геологический переворот». *Сатана Ивану.* В сарказмы.

N3. Сатана. Сарказмы: «*Надеюсь, я всё еще говорю с автором „Великого инквизитора“*».

— Ревматизм. Мед с солью.[5]

Бородавки. Ищет папиросницу.

Сатана: «Мой друг, я становлюсь с тобой суеверен. Я не

---

[1] *Сатана:* «Ах, это очаровательно» (*франц.*).

[2] Исповедников подслушивал. Нос. *вписано на полях.*

[3] — Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало труда (*франц.*)

[4] *Далее было начато:* я всегда

[5] *Рядом помета:* Листок 15-й.

ропщу, я не ропщу. Это очень мило. 2 раза оспу привил. Satana sum et nihil».[1]

Иван и Алеша.

— Лиза мне нравится.

— Он глуп, глуп, как и я. Это просто черт. Хвост в $1^1/_2$ аршина.

NB. — *Молекулы* и *протоплазмы* поджали хвосты.

NB. — Топор? Если б туда попал? Ну, стал бы вертеться около земли, сам не зная зачем.

NB. Иван: «Мели вздор, я тебе позволяю. У меня сегодня праздник». (Ходит.)

С⟨атана⟩: «Ах да, ты нашел решение, завтра на суде. C'est noble, c'est généreux, c'est chevaleresque,[2] я меньше от тебя и не ждал».

— Дурак.

— Ну вот, за что же ты бранишься, а впрочем, оставим это. Ты нездоров?

— Дурак. Мели какой-нибудь вздор.

— Помилуй, ревматизмы пошли.

Катерина Иван⟨овна⟩.

Алеша капельку поверил. («Он милый, зачем ты его так? Я тогда старцу Зосиме».)

— Реализм. Льва и Солнца.

— Предрассудки. Суеверия.

— 2 раза оспу.

Ив⟨ан⟩: «Я тебя иногда *перестаю* видеть, а *слышу лишь* твой голос».

Сатана: «Я знаю одного баловника, одного милого [3] русского барина из молодых мыслителей, автора поэмы — эмбриона „Великого инквизитора", который...»

Ив⟨ан⟩: «Я тебе запрещаю говорить о „Великом инквизиторе"».

С⟨атана⟩: «Passons — но это поэма — этот жар, эта энергия.[4] (Теория «Всё позволено».)». ⟨159⟩

— После *Слова* и всего.

— Молчи, дурак.

— А я думал, что я выразил это патетически, литературно. Вот веришь, я этак иногда что-нибудь выдумаю, вот о Слове например, и даже плачу.

— Дурак.

— А я так думал, что ты любишь литературу. „Великий инквизитор".

Тайна Ивана.

Чертенок.

---

[1] *Далее помета:* Листок 15.

[2] Это благородно, это великодушно, это по-рыцарски (*франц.*).

[3] *Далее было начато:* молод⟨ого⟩

[4] Ив⟨ан⟩: «Я тебе ∾ эта энергия. *вписано.*

— Я ведь тоже разные водевильчики. Ты, кажется, принимаешь меня за поседелого Хлестакова?

— Мефистофель: хочу дел⟨ать⟩ зло, а делаю добро. Ну, это как ему угодно. А я так именно напротив. Я, может быть, единственный человек, который любит истину и искренно [1] желает добра, а между тем у меня выходит одно только злое. Почему? единственно по социальному своему положению. Я жажду новых учреждений, а до тех пор решил будировать.[2] Я добр и хочу в рай, а мне говорят, ступай в отделение критики, потому что без тебя ничего не будет. И как меня оклеветали, как я презираем, а за что? единственно потому, что меня выбрали в козлы отпуще⟨ния⟩. Я был при том, когда Слово... ⟨160⟩

3000. Допрошенные остаются. Доследование. После каждого свидетеля председатель предлагает подсудимому вопрос: не имеет ли чего возразить?

По окончании судебных прений подсудимому всегда последнее слово. ⟨161⟩

Местный судебн⟨ый⟩ следователь.

Протокол полиции передается судебно⟨му⟩ следовате⟨лю⟩.

Должен не видеть родных и знакомых.

Судебный округ, окружной суд.

Окружи⟨ой⟩ суд.

Дальнейш⟨ий⟩ ход: копия обвинительн⟨ого⟩ акта. Список свидетелей. Список членов суда и прокурор. Список присяжных.

От следователя к товар⟨ищу⟩ прокурора для составления обвинительного акта в судебную палату.

Утверждение в судебной палате (обвинительный конец).

Судеб⟨ная⟩ палата утверждает и передает в окруж⟨ной⟩ суд.

Камера судебного следователя. Он, кандидат и судебный письмоводитель.

7-дневный срок для вызова свидетелей.

Клуба, думы городской, в полицейском помещении. ⟨162⟩

СУД

1) Доктор может сидеть в зале заседания.

2) Суд входит в залу.

Председатель спрашивает, все ли явились присяжные заседатели.

Судебный пристав отвечает: все или кроме таких-то и таких-то.

Секретарь спрашивает: какие причины неявки?

Секретарь отвечает: таким-то вручены повестки, а другим нет (заболел или просто не явился).

---

[1] искренно *вписано.*

[2] Я жажду ∾ будировать. *вписано.*

Вопрос председателя: какие последствия неявки?

Прокурор отвечает о законности и незаконности причин неявки. (NB. Законные причины: неврученне повестки, болезнь, болезнь жены тяжелая.)

Председатель объявляет: к слушанию такое-то дело, ввести подсудимого (это судебн⟨ому⟩ приставу).

Подсудимого ввели. Опросы имени, звания и проч.

Подсудимый и прокурор могут отвести по 6-ти присяжных.

Подсудимый, если прокурор отвел 3, то подсудимый может 9 (т. е. 12 вкупе могут отвести).

Состав присяжных, если список проверен, то баллотировкой (из 36) выбирают 12 присяжных и 2-х запасных. 4-х чиновн⟨иков⟩, 2-х купцов, 6 мещан и крестьян или обратно.

Затем прочитывает список лиц, вызванных к судебн⟨ому⟩ следствию (т. е. свидетели и эксперты), и спрашивают: все ли здесь?

Прокурор при обвинительном акте представляет список лиц (свидетелей), коих необходимо ему вызвать к судебному следствию.

NB. Если внезапный свидетель (не назначенный [1] прежде) вдруг вызывается тою или другою стороною, то председатель предлагает той и другой стороне: согласны ли они или нет? В случае несогласия суд может сам назначить, если усмотрит необходимость ввести свидетеля.

Состав суда: председатель, 2 члена или 1 член и почетный мировой судья; в 10 часов утра [2] ⟨163⟩

Число свидетелей неопределенно.

Секретарь объявляет, что Смердяков (свидетель) не явился за внезапной смертью. Свидетельство от полиции.

Показание может быть прочитано в свое время.[3]

Обвинительный акт (читает секретарь).

Изложение тех главных данных вкратце.

Почему привлечен, по мнению прокурора, почему должно предать суду.

— Признаете ли вы себя виновным? (председатель) (Если: «Да, признаю», — то председатель предлагает рассказать [4] обстоятельства дела.)

Если нет, то приступают к судебн⟨ому⟩ следствию и одного за другим вводят свидетелей. Сначала прокурорских (порядка особого, т. е. почему тот свидетель прежде другого, нет, но иногда делят на группы по усмотрению председателя).[5]

Председатель родным свидетелям без присяги.

---

[1] *Незачеркнутый вариант:* не вписанный
[2] Состав ∾ утра. *вписано.*
[3] *Рядом с текстом:* Показание ∾ в свое время. — *помета:* Хохлакова.
[4] *Далее было:* подробно
[5] но иногда делят ∾ председателя). *вписано.*

N3. Вводят свидетелей, сначала всех разом, и поп их приводит вместе к присяге; поп увещание, председатель тоже, после попа. Сначала имя, звание спрашивается — всё это сейчас после прочтения обвинительного акта и после слов подсудимого: виновен он или нет.

Сначала свидетели сидят все вместе (по удобству помещения), но после присяги изолируются по возможности порознь (сторожа, часовые). (Наблюдает судебн⟨ый⟩ пристав.)

Сообщение с внешним миром свидетелям запрещается. Если ребенок сломал ногу, то записку, судебн⟨ый⟩ пристав докладывает председателю. ⟨164⟩

Свидетель опрошенный, дав показание, может остаться в зале (или попроситься уйти).

Сидят свидетели допрошенные не за решеткой, против председателя.

Если свидетель хочет сказать еще что-нибудь после того уже, как дал показание, то сообщает суд⟨ебному⟩ приставу (чаще защитнику), те заявляют председателю, и защитник просит задать еще вопрос председателю ввиду нового показания.

«Забыл я (свидетель) одно обстоятельство, которое хочу сказать». Защитник или прокурор сейчас вступаются и просят председателя дать показание.

N3. Свидетелей оставляют в зале собственно для того, чтоб иметь возможность давать им дополнительные вопросы.

N3. Помещение суда (клуб, съезд мировых судей, земское собрание, недели 2-3).

Порядок опроса каждого свидетеля.

Сперва председатель спрашивает вообще и предлагает рассказать всё, что знает по делу. Затем прокурор, потом защитник (или перекрест), причем каждый раз прокурор и свидетель [1] объявляют прокурору,[2] что они имеют надобность задать вопрос и пр.

Опросив свидетелей *вообще* по делу, председатель обращается к прокурору или защитнику (смотря по тому, кто вызвал) и предлагает приступить к вопросам.[3]

И вот после часу перерыва говорит: «Имею дополнить одно обстоятельство». Вторичный допрос; начинает спрашивать председатель: что он имеет сказать? И вот говорит: «Это я убил». Председатель просит объяснить подробнее. ⟨165⟩

Иван рассказывает, что он убил (приостановился).

Председатель и защитник могут каждый ввязаться и задать вопрос Ивану (с позволения председателя).

Когда Иван, не договорив, начал бредить, а потом завопил нелепо, то его выносят и председатель велит следователю занести показание Ивана в протокол и сказать, что суд положил продол-

---

[1] *В рукописи, очевидно, описка, нужно:* защитник

[2] *Описка, нужно:* председателю

[3] Опросив свидетелей ∾ к вопросам. *вписано на полях.*

жать дело.[1] (Может сейчас же велеть распорядиться приставу оказать медицинское пособие. Может и эксперт⟨изу⟩ доктора.)

Доктор может взойти и доложить, что больного увезли в таком положении, что не может оставаться в суде [2] (через судеб⟨ного⟩ пристава), и председатель может спросить стороны...

Катерина Ив⟨ановна⟩. Сперва свидетельствует за Ивана.[3] Через час встает и говорит против.

Председатель объявляет, что она не так говорила при предварит⟨ельном⟩ следствии.

Она кричит, что она была в ложном нравств⟨енном⟩ настроении.

Председатель говорит, что новому показанию ее будет дана оценка, и предлагает садиться.

Но прокурор и защитник могут ввязаться и начать давать вопросы и долго расспрашивать.

К⟨атерина⟩ Ив⟨ановна⟩, раздраженная словами председателя, предъявляет и *факт.* Записку. Судебный пристав передает суду. Суд предъявляет записку прокурору, защитнику и присяжным. (К вещественным доказательствам.)

Свидетель кончил, судебное следствие закончено, председатель предлагает сторонам дополнить.

Затем предлагает прокурору.

Суд приступает к судебным прениям.

— Слово принадлежит вам, г-н прокурор.

После речи защитника возражает прокурор.

Ему еще раз возражает защитник.

Подсудимому. Председатель после каждого свидетельского показания предлагает подсудимому, что он может сказать по поводу этого показания.

Председатель. Судебные прения окончены. После прения сторон последнее слово подсудимого.[4] Суд приступает к постановке вопросов и спрашивает у сторон заключение (прочитав проект). После вопросов речь председателя к присяжным.

Присяжные: «Да, виновен». Председатель о мере наказания прокурору и защитнику. Затем уже сам постановляет. ⟨166⟩

17 августа.

Книга «Суд»

№3. На суде, еще перед показанием Катерины Ивановны, Груша оскорбляет ее своим показанием («От ревности ко мне на него показала»). Ответ на один вопрос об отношениях Мити к ней и к Катерине Ивановне. Катерину Ивановну спросили прежде,

---

[1] и сказать ∾ дело. *вписано на полях.*

[2] в таком положении ∾ в суде. *вписано на полях.*

[3] *В рукописи, очевидно, описка; нужно:* Митю

[4] После прения ∾ подсудимого. *вписано.*

отвечала хорошо и кротко, но Груша рассердилась и сказала резкое слово об ревности ее: «Зазвала меня, шоколадом потчевала, улестить хотела, да я не далась. С тех пор у ней и злоба на него. Вот почему против него показала». Это после 1-го показания Кати. Оскорбление от Груши уже вызвало гнев в Катерине Ивановне. А *тут катастрофа* с Иваном, и она показала документ с истерическими признаниями против Мити. Рассказ о земном поклоне в новом роде.

Фетюкович о психологии прокурора. Маньяк или вор Митя? Фетюкович о том, что денег, может, и не было. Пакет мог быть разорван самим покойником. Нашли всего 1500 р. Постель не тронута. Смердяков мог быть не в своем уме.

Прокурор — всё на развитии страсти. 3000 — мания. Пакет на полу. Совокупность доказательств неотразима.

Фетюкович: «Отец и дети. С словом надо обходиться честно. Я назову вещь своим именем. Евангелие и проч.».

Прокурор: «Митя — маньяк».

Фетюкович: «В нем какая-то беспорядочная академичность».

Фетюкович: «Он всех оскорбил, из присяжных двое отведены, как прибитые им».

Фетюкович: «Не огорчайте детей» и т. д.

Фетюк⟨ович⟩: «Когда зачинал его, любя ли его зачинал?»

Фетюкович об Илюше: «Видите ли, я не щажу моего клиента».

Фетюкович: «Я человек свежий, я только что приехал, а тут все предубеждены. Он был буен — кто виноват? Записка Катер⟨ины⟩ Ивановны. Есть ли здравый смысл, чтоб человек, задумавший убить, уведомлял об этом? Пьяный вид. Это письмо — лишь раздражение. Прокурор указывает как улику, а я как мечту».[1]

Фетюкович: «Ребенок отцу: „За что мне любить тебя?“» ⟨167⟩

68, 69. *Речь Фетюковича.* Свистящая розга, о разорванном пакете. Он не убил, он махнул, ударил. Зачал и передал — пьянство. Груша распаляла знойную кровь. «Вы слышали ее крики».

72) Прокурор о Ракитине: «Мы не властны в том, с какими родственниками нас жизнь родит. Зато „малое деление“».

76) Митя на суде: «Пострадать хочу, сам хочу, зову и принимаю. Достоин!»

78) *Митя:* «С Езопом тоже был жесток».

— Какой Езоп?

— Ну, Пьеро, отец.

80) *Груша:* «Не такой он человек, чтоб из страху солгал, не знаете вы его!»

— Сто рублей в сортире (Трифон Борисыч).

Митя: «Да, я хотел стать с того дня добродетельным».

Фетюкович: «Отец. Что такое отец? И вот мы имеем умилительный рассказ благочестивого доктора (орехи)».

---

[1] Прокурор ∾ мечту». *вписано.*

— Ты великодушное[1] сердце, ибо помнил всю жизнь фунт орехов. Я благословил его и обнял, и мы оба заплакали...

Д-р Герценштубе... и имел добросовестность даже после выходки знаменитого московского врача подтвердить предположение его о мании.

— Между тем это благодарный и великодушный молодой человек, о, я помню его с самого детства, когда он бегал на дворе без сапожек и с панталончиками на одной пуговке.

Адвокат привязался.

— Это было в цветущую пору моей юности... да, я имел[2] тогда 45 лет... и мне стало жаль[3]... и я спросил себя: почему я не могу купить ему фунт... я забыл слово... одного растения, древесный плод... вот что на дереве растет. Ну как это? ну... фунт, фунт же — и сложил руки.

— Яблоки? Апельсины?[4]

— Апельсин растет в Сицилии, а не в Скотогоньевске... Это их много,[5] и всё маленькие, и положишь в рот, и... кррах. Ибо мальчику никто еще и никогда не покупал фунт орехов.

Любил рассказывать. По-русски говорил довольно хорошо, но часто забывал слова самые обыкновенные, впрочем, забывал и на немецком языке, причем махал рукою, как бы ища этих слов, и уж никто бы не мог принудить его продолжать рассказ, прежде чем он не находил слова, ибо был очень упрям.[6] ⟨168⟩

Фетюкович: «Вы видели, я не пользуюсь ни экспертизой медицины, ни предположениями о слуге, а прямо принимаю, что он убил».

Грушенька о Кате: «Стыда у ней мало истинного».

Прокурор о неестественности показания Ивана.

Прокурор: «К несчастью, все таковы, как Федор Павлович».

XVII. Ракитин. Брошюра о Зосиме.

XV. Митя: «Попреклива. Папильонничать. Амфазники. Бернары».

VI. К ссоре прокурора и Фетюковича.

V. Фетюкович: «Значение отца по истинному, а не мистическому христианству». (N3. Шовинизм.) Смех в публике.

Фетюкович. Опровергает прокурора: почему соскочил к Григорию. «Не требуйте от человека невозможного. Анвелопа конверта, конверта же никто не видал».

IV. Катерина Ивановна о том, что дала Мите 3000.

II. Грушенька *Светлова*. Катя: «Rome — l'unique objet de mon ressentiment».[7]

---

[1] *Было начато:* благо⟨дарное⟩
[2] *Было:* мне было
[3] *Далее было начато:* почему я не
[4] *Было:* Лимоны
[5] *Было:* мало
[6] Любил рассказывать. ∾ упрям. *вписано.*
[7] «Рим — исключительный предмет моих мстительных помыслов» (*франц.*).

Фетюкович: «Обуславливать, развитие, ассимилировать, луна и звезды».

№3, №3. Перхотин, комиссариатск⟨ий⟩ чиновник, про Митю: «Был как помешанный». Экспертиза докторов. Смотрел направо, смотрел налево.

№3. Свидетельство одного исступленного.

Тимофей: «Чуть-чуть человека не убил».

— Да ты знаешь ли: ты убийцу везешь?

Перекрестный допрос адвоката и прокурора.[1]

Прокурор. О прокученных 3000-х.

345) Фетюкович: «При другом клиенте простили бы, а этот всем насолил. Но будем беспристрастны».

Временное отделение Петербургского окружного суда в городе Гдове.

Прокурор. Фетюкович насчет отброшенного, но не оброненного пестика. Значит, убил нечаянно, скрыл бы концы, был в исступлении.

Тоже и пакет. Не обронил бы, прибрал бы. Дворянин. ⟨169⟩

Груша на суде о Ракитине.

Муссялевич: «Служил короне».

Митя: «Я Шиллера любитель, я идеалист. Кто решил, что я пакостник, меня еще не знает».

Митя: «От адвоката отрекаюсь».

Отдал ли Смердяков 100 руб.?[2]

Григорий, по спросу адвоката, говорит, что *расчет* с Дмитрием был неправильно произведен и что — это точно — ему несколько тысяч следовало доплатить.

— На чем вы основываетесь? и т. д.

Прокурор говорит, казалось бы, без обдуманного заране намерения, но это не так — ибо (по тем-то и тем-то причинам) и, наконец, в предъявленном документе колоссальная улика: если *уедет Иван* и положительное обещание убить.

Адвокат Григорию: «Стаканчика полтора чистенького спирту, оно недурно».

Адвокат Григорию: «И райские врата[3] отверсты можно видеть?»

Председатель прерывает.

Адвокат: «Только чтоб уехал Иван, но для того ли, чтоб убить? Написано: я убью. И дети говорят, бранясь друг с дружкой: я убью».

Адвокат: «Но труп молчит, и неотразимый вопрос: „Кто убил?" Не думаю о Смердякове. Может быть, Смердяков. Но посторонний? Бывали страшные ошибки. Крик был слышен. Заборы не высоки. Я вам отдаю моего клиента, хотя и умоляю припомнить, чтоб не было судебной ошибки. Грабеж же отвергаю».

---

[1] Перекрестный ∾ прокурора. *вписано на полях.*
[2] Отдал ли Смердяков 100 руб. *вписано.*
[3] *Незачеркнутый вариант:* двери

Адвокат: «Он видит отца — соперника, врага, сладострастный вид, тьма, он зовет ее — стало быть, верно, что она должна прийти, — разрушу кошмар, разрушу страшное видение, он махнул кистенем, махнул, а не убил. Не спрашивайте же с человека невозможного, немыслимого, будем христиане, не по одному только, что ходим в церковь и исполняем обряды... Нет, вы *отпустите* моего клиента!» ⟨170⟩

— И что конец колебаниям его, столь ужасно его мучавшим всё последнее время.

Григорий: «Был самонравен (пресамонравный)».

Адвокат: «Чем же проявлял он свое самонравие?»

Адвокат: «Можете ли по крайней мере сказать мне, который нынче год?»

Адвокат: «Не знаете ли вы наверно: спали вы или нет в ту минуту?» (отворенная дверь).

Адвокат: «Какой состав того лекарства, который вы принимали?»

Григорий: «Я человек подневольный. Коли начальству угодно смеяться, так я снести должен».

Фетюкович: «Показания двух ревнующих одна к другой женщин — что вероятнее?»

Герценштубе *забыл слово*. Немецкая фамилья на П.

Показание штабс-капитана. Был пьяненький, расплакался, прогнали.

Фетюкович: «Вы получили 200 р.?» (в попрек).

Фетюкович. (Во 100 раз преувеличено, Глеб Успенский): «Пресса оказала услуги, показав неперемежающееся явление зверств, перед которыми настоящее дело шутка. Отчего? Учреждений нет. Мы не Европа. А у нас всё двинулось».

Прокурор: «Значение семьи Карамазовых — вся Россия?»[1]

Митя на суде: «Сам ломаю мою шпагу и иду в бездну позора и гадости!»

— Убеждения — это ведь жизнь!

— Порядка во мне нет, высшего порядка!

— 700 пуделей.

Груша на суде: «Я виновата, я его довела».

Митя: «Ну, быть русским человеком иногда очень неумно».

Груша: «Босоногая я бегала. Никто меня не любил. Озлилась я».

Митя: «Шитокрытость была».

— Подарил ли Фене 100 р.? (нет).

— Прислал Фене.

Прочтено показание Самсонова. Босоножка. Красильщик.⟨171⟩

Прокурор в финале речи присяжным: «И что бы вы ни услышали от знаменитого своим талантом защитника, прибывшего из

---

[1] *Фраза:* Прокурор: «Значение семьи Карамазовых — вся Россия?» — *вписана и отмечена в начале и в конце вопросительным знаком.*

Петербурга, все-таки помните, что вы защитники России, правды в России, ее основ, ее семьи, ее всего святого, вы представители России в данный момент».

N3. Прокурор прибавил из трусости перед тем, что-то скажет Фетюкович.

Прокурор. Напоминает, что Грушенька начала кричать при аресте Мити, когда того назвали отцеубийцей: «Вместе, вместе! Это я виновата, я его подвела!» «Стало быть, он вам или сказал, что он убил отца своего, или вы крепко подозревали сами?»

Груша: «Не помню чувств моих. Он мне про кровь пролитую и про какого-то старика говорил, это помню».

Митя: «700 пуделей. Я пудель».

Митя: «Русский человек менее всего слушается собственного ума, это-то и я знаю. Зато более всего слушается собственных чувств и страстей, страстей, главное, страстей! [1] Это нам тоже известно».

Митя: «УПЛАТА ПО ИТОГУ!» (название книги).

Митя: «Сам ломаю свою шпагу,[2] но сохраню обломки с благоговением во всю жизнь мою!»

Герценштубе. «Петров? Петерсон? Песталоцци? Миусов?»[3] — «Миусов! Я 20 лет знаком с г-м Миусовым, и я знаю, но я забыл. Я знаю, как его фамилия, но я не могу выговорить, потому что я забыл».[4]

«Во что положить». — «Бумажник? Папиросочница, ящик?» — «О нет, ящик в столе, а это, это в сюртуке». — «Карман?» — «Карман».

«Он имел... он имел... я забыл это слово, что он имел». — «Деньги?..» — «Не-нет!» — «Страсти!» — «О нет, совсем противоположное». — «Религию?» — «Это... это похоже, но пусть уж не надо, я хотел сказать, идею... но пусть не надо... Я перейду дальше. Ах да! Совесть! [5] Он имел совесть и честь,[6] а потом не имел ее, ибо русская пословица говорит: береги молодую честь». — «Береги честь смолоду?» — «Ну да-а, в молодых твоих годах. Это всё равно. Ибо русская пословица говорит: если ты за чем-нибудь пойдешь,[7] то на дороге то самое и найдешь». ⟨172⟩

FINAL

Человек, отдающий последние 5000 р., и бестиальная жажда 3000 — всё это представляло дело в каком-то новом свете. О 3000-х, данных на почту, Мите для отсылки.[8] «Я дала ему не

---

[1] и страстей ∾ страстей! *вписано.*
[2] *Было:* шапку
[3] *Далее было начато:* Идея
[4] «Миусов! Я 20 лет ∾ забыл». *вписано на полях.*
[5] *Было:* Честь
[6] *Незачеркнутый вариант:* совесть и потом честь
[7] *Незачеркнутый вариант:* шел
[8] Мите для отсылки. *вписано.*

прямо на почту. Я предчувствовала, что ему очень нужны деньги на одно дело... и не знала, как ему предложить[1] деликатнее. Напрасно он так себя потом мучил. Я твердо была уверена, что он всегда успеет переслать эти 3000, только что получит с отца... Я знала, что у него с отцом распря, и всегда и до сих пор уверена, что он был обижен отцом. Я не помню никаких угроз отцу с его стороны. При мне, по крайней мере, он ничего не говорил, никаких угроз.[2] Он твердо был уверен, что получит. И если б он пришел ко мне, я бы немедленно успокоила его тревогу. Но он не приходил ко мне. А я... а я была поставлена в такое положение, что не могла его звать к себе.[3] Тем более что я никакого права не имела быть требовательною, ибо получила сама от него денежное одолжение гораздо большее, еще прежде, и приняла его, несмотря на то что тогда и предвидеть еще не могла, что хоть когда-нибудь[4] в состоянии буду заплатить ему долг мой».

Была помолвленной невестой Мити до тех пор, пока он сам ее не оставил. Для кого оставил — прокуратура[5] из деликатности не коснулась этого вопр⟨оса⟩.[6] Ее стали спрашивать между други⟨ми⟩ вопро⟨сами⟩[7] о трех тысячах.

— Это было еще не здесь, а в начале вашего знакомства? — осторожно подходя, начал Фетюкович, предчувствуя нечто благоприятное. (NB. Замечательно то, что, хоть он и вызван был ими,[8] об эпизоде с данными ей Митей 5000-ми рублей он ничего не знал до самой сей минуты.)

— Да, это было не здесь. Это было еще там... Нет, никогда не в силах забыть этих минут.

Зазвенел энтузиазм и скрытые рыдания. Эта исповедь во всяком случае была новостью.

— Неизвестно еще, да очень ли это честно и так ли надо было во всяком случае поступить невинной девушке.

Но К⟨атерина⟩ И⟨вановна⟩ с самых первых слов твердо объявила на один из предложенных вопросов.

— Через меня всё и было, в меня влюбился и барышню оставил. Еще бы, шоколадом потчевала, обольстить меня хотела. Стыда в ней мало истинного, вот что...

Председатель внушительно сказал.

Огрызаться, втягивалась всё дальше и дальше: «Вот когда еще босоногая бегала. Ничего я этого пе знала».

Опускала вопросы прок⟨урора⟩. Когда арестовали, выкрики.[9]
⟨173⟩

---

[1] *Было:* дать
[2] Я знала, что ∾ угроз. *вписано на полях.*
[3] А я ∾ к себе. *вписано.*
[4] *Далее было начато:* смогу
[5] *Далее было начато:* считала себя
[6] Для кого ∾ этого вопр⟨оса⟩. *вписано.*
[7] между други⟨ми⟩ вопро⟨сами⟩ *вписано.*
[8] Замечательно ∾ вызван был ими. *вписано.*
[9] Зазвенел ∾ выкрики. — *записи на полях.*

— АССИМИЛИРОВАТЬ.

Прокурор: «Это лжеподобие Христа».

Прокурор: «Ничего общего, ничего культурного, всё разъединившееся на первоначальные свои стихии».

Прокур⟨ор⟩: «Он бы помнил о чепчике, именно как он похитил чепчик».

— Чем спасем мы общество от разнузданности, как не строгим коллективным решением? Не обольщайтесь Фетюковичем (надтреснутый голос его зазвучал).

— Где же тот момент, когда Смердяков совершил преступление? Если Смердяков, то, стало быть, вместе с Митей. Но вот Григорий застает Митю одного, а другого слышит стонущего за перегородкой, в 3-х шагах от своей кровати. И если вместе, как же они один на другого? Слышите ли вы всю эту неправдоподобность?

ИСТОРИЧЕСКИЙ ХОД.

— Мне случайно известно, что он как раз разменял два пятитысячных рублевых билета.

О чепчике.

Под конец: документ. «Ведь это программа, если уедет Иван. Не в пьяном, а еще в трезвом мо⟨з⟩гу составилось. Как же не преднамеренность, как же не расчет?»

Экспертиза показала.

— Пусть дадут нам хоть какое-нибудь, хоть малейшее положительное доказательство. Мы жаждем его.

Фетюкович: «Это человеколюбец распятый сказал».

Фетюк⟨ович⟩: «Как можно в чужих руках угадать на вид, сколько денег, если не сосчитать их. В чужих руках ломоть всегда велик кажется. Ведь засвидетельствовал же помещик Максимов, что видел 20 000. Поляки прямо говорят, что видели 7000. С необузданным характером, каким обрисовал прокурор подсудимого, он предложил бы не 700, а три тысячи, иль если ему нужны были деньги на продолжение кутежа, то 2000, если б имел их. Небось не таков человек, чтоб остановиться и рассчитывать». ⟨174⟩

Фет⟨юкович⟩: «Где на нашей грязной[1] площади через сутки найти клочок коленкорового чепца? Да его унес на подошве первый[2] наступивший на него мужик».

— Человек, подкупающий поляков, уже не хотел застрелиться. Убил, завтра схватят, и столько энергии; я понимаю, если б он всё еще имел намерение застрелиться: дотанцевал до конца, и пулю в лоб. Но нет, он уже тогда имел надежду.

Фет⟨юкович⟩: «Подавите его прощением за недостаточностью, за двусмысленностью улик, которые очевидны».

---

[1] грязной *вписано.*

[2] *Далее было начато:* про⟨хожий⟩

Фет⟨юкович⟩: «Но пусть он убил. Я не утверждаю. Напротив, в высшей степени отрицаю, что он убил, но пусть он убил, сделаем лишь это предположение, пусть это наша фантазия, пусть мы видели сон такой».

Фетюкович: «Уж то, что он кричал по всем трактирам, что убьет отца, уже то одно показывает, что он не хотел убить. Если б хотел, да еще с преднамерением, разве бы он говорил на себя? По крайней мере так много бы не говорил, на всех перекрестках бы не кричал! Ведь это неестественно. И не говорят разве дети друг другу, когда подерутся: я тебя убью! Пьяные мужики, выйдя из кабака, не кричат разве поминутно в ссоре: я тебя убью! А ведь он в последнее время жил почти в кабаке! Но самая колоссальная улика — это: *когда уедет Иван?*»[1]

Но аплодировали и те, сзади сидевшие лица, и председатель удержался.

Фетюкович: «Да, я согласен, масса показаний против подсудимого страшна своей совокупностью, эта кровь, эта с пальцев падающая кровь, белье в крови, эта темная ночь, оглашаемая воплем: „⟨Отце⟩убивец“,[2] и кричащий падает с проломленной медным пестом головой! Кстати: этот пестик, ведь он его схватил в последнюю минуту, так схватил, почти бессознательно. Если б было такое твердое и преднамеренное убийство, то он *похлопотал ⟨бы⟩ об оружии*. Ведь разговаривай он, примерно, с служанкой в сенях — так не было бы пестика, и он побежал бы безоружный. Пусть это мелочь, но возьмите их, совокупите их вместе, и они составят странную массу противоречий. А ведь это и не мелочи».

Фетюкович: «Если нам деньги попадутся, так разве мы их ценим? Здесь разыгрался эпизод (Катерина Ив⟨ановна⟩ и документ), берегитесь его. Я составляю о нем себе такое понятие: 2 бездны».[3] ⟨175⟩

Иван: «Смердяков повесился. С того света не пришлет показаний. Федор Павлович — я думаю, как и все (такой же), один гад съест другую гадину. Всяк желает смерти отца. Я думаю, эта публика разошлась бы в большом горе, если б не убили».

(Эксцентричный. Председатель не нашел⟨ся⟩.)

— Вы нездоровы?

— Да, я нездоров, а впрочем, это не ваше дело. Деньги видел.

— Вы видели деньги?

— Вот они. Я должен сделать одно показание.

---

[1] Но самая ∾ *уедет Иван?» вписано. Рядом помета:* 2 бездны.

[2] *В рукописи, очевидно, описка:* Сыноубпвец

[3] Фетюкович: «Если нам ∾ 2 бездны». *вписано на полях.*

— Он помешался на том, чтоб спасти этого изверга. Он себя мучил: «Я сам не любил отца, я сам желал его смерти».

Он был два раза у Смердякова и каждый раз приходил ко мне вполне убежденный, что убил брат, а не Смердяков. Однажды, придя от Смердякова: «Если б только это убил Смердяков, то тут и я виноват, потому что Смердяков не так понял мои слова и что я хочу смерти отца». Тогда я вынула ему это письмо, и он тогда вполне убедился, что виновник он, брат.

— Что побудило вас дать в противность присяги показания иного значения?

— Я хотела спасти его. Он мучил меня. Он взял деньги, глядя мне в глаза.

N3 (бессвязно).

— О, он смеялся за земной поклон. Я ненавидела его.[1]

Митя. Припоминая: «Ну что же, *теперь погиб*. Зарезала Катя!» Показание Кати.

— Мачеха, — горько восклицает Митя.

Истерика. Грушенька. Увели и ее. Вошел доктор. Продолжение. В 8 часов начались прения

Груша после 2-го показания Катер⟨ины⟩ Иван⟨овны⟩: «Вот она вам себя показала, Митя, Митя!» — и она бросилась к нему. Ее вывели в истерике. Чтение документа.

Фетюкович. Я подозреваю, что он был обижен тем, что ему не сообщили всего. ⟨176⟩

— Ладанка: нет, этого им никогда не приходит в голову.

ПРОКУРОР.

— Человек, дескать, с деньгами — везде человек.

— Если он и не отделил 1500 р., то всё же эта идея ему знакома, он ее созерцал.[2]

— Я тогда только хорош, когда мне везет; когда я в хорошем расположении духа, не то — берегитесь меня, о, берегитесь, я ужасен. И он ужасен.

— Он всегда весь в одной минуте.

Прокурор: «Ведь вы меня продержите же месяцев 6 в тюрьме за Григория, нельзя же, дескать, ломать головы старикам безнаказанно — это он говорит, его слова, — но ведь без лишения же прав, слышите ли вы это беспокойство, это карамазовское нетерпение, это забегание вперед?»

Final: «Чем остановим мы эту тройку, переменим лошадей, как починим экипаж? Не переменить ли лошадей, не починить ли экипаж?»

Вначале: «Последний раз все видели у него значительные деньги в руках здесь, в Мокром, месяц назад, ну вот от этих, значит, и отделил. Ибо какие же иначе? Нужно представить и

---

[1] — Он помешался ∾ ненавидела его. *вписано*.
[2] — Если он ∾ созерцал. *вписано*.

напомнить о деньгах, чтоб было вероятно, а то 1500 р., а сам часы продает, пистолеты закладывает».[1]

— В том-то и ужас, что это почти перестало быть у нас ужасом.

— Образец разъединения. Гори хоть весь свет огнем, было бы мне хорошо.

Об Иване: «Но рассудок весьма, впрочем, сильного ума не совладал с действительностью».

Об Мите: «Чтоб цинически взглянуть на ее же великодушие».

— Он не знал про дверь, — узнав, крикнул, что Смердяков.

О Ракитине.

ПРОКУРОР.

Выказал талант больше, чем предполагали.[2] Кажется, он написал ее предварительно и, стало быть, говорил как по-писаному.[3] Всё сердце отдал в это дело. Доказал, что было и гражданское чувство, и философия. Шедевр. Умере⟨ть⟩. Кто бы мог подумать, что это был мыслитель.

— Настоящее дело гремит по всей России. Чего удивляться? В том-то и ужас, что такие дела почти перестали у нас быть ужасными. Пресса оказала услуги. Блестящий офицер режет Власова, убивает мать и хвалится, что та считает его за ⟨сына⟩.[4] А о разврате — то Ф⟨едор⟩ П⟨авлови⟩ч еще младенец. Куда мы едем, куда мы мчимся? Великий писатель недавней эпохи в финале величайшего из произведений своих[5] говорит: «Тройка, птица тройка, кто тебя выдумал!» Тройка у него изображает Россию. И летит, и *сторонятся в почтительном недоумении народы*. Не в ужасе ли, не в недоумении ли сторонятся, напротив, народы?[6] ⟨177⟩

И дивятся другие народы, — так, господа, но великий писатель или по простодушию[7] своему,[8] или боясь цензуры. Если в эту тройку впряжен Чичиков, Собакевич, Ноздрев, Сквозник, то при каком хотите ямщике ни до чего хорошего не доедете. Не починить ли тройку? А для этого что — вникнуть и осмотреть.

Ну вот, вникнем и мы в нашу тройку, ибо тройка, нам предстоящая, если не вся Россия, то *тоже* как бы эмблема и картина ее.

В самом деле, для меня семейство Карамазовых представляется как бы какой-то картиной, в которой в уменьшенном микроскопически, пожалуй, виде (ибо наше отечество велико и необъятно) изображает⟨ся⟩ многое, что похоже на всё, на целое, на всю Россию, пожалуй. Эта семья, во главе отец, кто отец? Мы все его помним. «Он между нами жил». Сначала приживальщик,

---

[1] *Вначале:* «Последний раз ∾ закладывает». *вписано.*
[2] *Незачеркнутый вариант:* Выказал несравненно больше таланта.
[3] Кажется, он ∾ по-писаному. *вписано.*
[4] *В рукописи, очевидно, описка:* мать
[5] *Далее было начато:* смотр ⟨ит?⟩
[6] Не в ужасе ли ∾ народы? *вписано.*
[7] *Незачеркнутый вариант:* прекраснодушно
[8] своему *вписано.*

мелкий плут, и шут, и прежде всего ростовщик. С возрастанием ободрявший. Капитал. «Après moi le déluge».[1] Только в сладострастии, и всё. Полное разъединение. Воспитание детей, вши. (Я ведь не дам другим защищать, я покажу, каким взрос Митя.) Потом его дети. Старший. Сильный ум философский, но еще не вступивший и уже всё отвергший. Смердяков плакал: «Всё позволено. Оне как Федор Павлов⟨ич⟩ были-с». О, я не смею говорить, но есть же моменты общественные, когда мы должны возвышаться над страхом оскорбления личности. Да и чем оскорбление? Духовный цинизм. Но натура еще борется. Вы слышали здесь признание! «Он помешался на брате, он хочет спасти его». Он уверен, что Смердяков прав, но вот тот умер. И он решает. Но солгать и на мертвого стыдно. Для очистки совести он жертвует собой, приносит три тысячи (менял билеты по 5000). Правда, всё это сделано в безумии, галлюсинации, дай ему бог впереди. Но это образец интеллигентного слоя нашего общества, отвлеченно философски уже всё отвергшего, и лишь практически еще юность и добрые семена наук и просвещения борются. Дай ему бог, но... О, так часто цинизм жизни заглушает крик природы, и выйдет Федор Павлович, но лишь в лучшем виде. Мы все таковы, вся интеллигентная Россия. Другой сын — мистицизм и шовинизм. Остается непосредственная Россия. Картина. Митя. Не дам ⟨?⟩ Герценштубе. Но лишь тогда хорош, когда мне хорошо. Митя: дайте, дайте мне всевозможные блага жизни и особенно не препятствуйте моему нраву ни в чем, и тогда и я буду очень хорош и прекрасен.[2] В трактире штабс-капитан. Добрые ⟨178⟩ моменты; мы видели жертву молодой девушке: отдал последнее, отдал всё, без надежды отдачи. Но мы слышали и другой крик той же девушки. О, не сужу, не осмелюсь! Это нейдет к моему делу. Т. е. причины. Но у ней вырвалось восклицание: «Всю жизнь презирал за поклон». Что ж, не посредине правда. Могло быть и то, и другое, мы Карамазовы.

Маньяк, но до известной степени. Алчность и великодушие. Случилась страсть. О Грушеньке (смеялась над отцом и сыном). Он изменяет Кате, он берет у ней 3000, и в глаза друг другу смотрели. Он взял! Инфернальность, безудерж! В миг прокутил, но и понравился. И в женщине этой есть зверь. Он понравился. В ненависти к отцу наступает ревность и жажда денег. Да, я согласен, что он мог мучиться и от благородного стыда перед Катей, в высшей степени согласен. Но надо денег. Отец приманивает Грушу тремя тысячами, да, он именно должен эти 3000 ему же. Его же деньгами у него сокровище (Грушу берет). Ревность и исступление. Избил. Алеше говорит, что убьет. Тут эти 1 $^1/_2$ тысячи. Это фантазия — есть все доказательства. Тысячи свидетелей, что он все прокутил. Вы слышали. Говорил

---

[1] «После меня хоть потоп» (*франц.*).
[2] Митя: дайте ∾ прекрасен. *вписано на полях.*

даже ей, Грушеньке, но *мы об этом ниже*. Пишет *документ* из «Столичного города». Это роковой документ. Это программа. Пишет, надеясь на безнаказанность, после ссоры двух женщин. Но тут есть одна чрезвычайно важная строка: *если уедет брат Иван*. Преднамеренность. О, скажут, как же он кричал? Но твердое намерение убить не сейчас явилось, а прежде он кричал. А теперь, как *явилось,* что ему за дело, что кричал. Только бы достичь цели. Вся преднамеренность была. Заручился знаками. Наблюдательный пост. Правда, тут ревность и страсть, но и деньги.

Связь с Смердяковым. Знаки. Целовал сапоги. «Курица в падучей болезни». Но к Смердякову потом вернемся. Написав письмо, на другой день искать деньги. Согласен, он употребил все средства достать. Если б достал, отдал ли бы Кате? Нет. Да он потом достал, а не отдал же. Чтоб ехать, продал [1] часы. Описание дня путешествия. Приехал, ревность. Она тут. Довел. К Самсонову не ⟨179⟩ ревнует. Закладывает пистолеты Перхотину. Идет к г-же Хохлаковой. Благоразумные советы... Чуть не убил. Нет, теперь где же достать три тысячи, он владеет знаками и к тому же поклялся Кате убить отца, коль уедет Иван. Но Иван уехал. Выходя, случайно узнает, что она не у Самсонова. Летит к ней, нет ее. Схватывает пестик. Пусть бессознательно, но уже природа его знала, для чего. Идет. Смердяков болен, это он должен был знать. Под окнами. И, владея-то знаками, удержаться? И как он мог видеть, что Грушеньки нет? (Описание комнаты, занавеска, она могла быть за занавеской.) Нет, он сначала постучал в окно, а потом уже в дверь со знак⟨ами⟩ ⟨?⟩. Убил. Проломлена именно пестом. Пакет, разорванный. Непривычка двор⟨янина⟩, не истребил концов. Побежал. Григорий, соскочил к нему. Убежал. Там его ждало известие: она уехала с прежним!

Но прежде чем — о Смердякове, весь эпизод. Они вместе или порознь? В таком случае зачем объявил про знаки? Стало быть, вместе. Но тот лежит. Может быть, так договорились.[2] Дверь. Стонет. Чтоб помешать?

Если вместе, для чего падучая? [3] Стало быть, не вместе. Встал: дай я человека убью! (но если бы пришел Митя?)

Абсурд. Я видел его убитого. Он кончил сумасшествием.

Если один: для чего сообщать знаки? Если вместе — как раз ложится в постель. Чтоб мешать? Может, вместе, но он, как пассивное существо, и не смел обвинять. Но Митя прямо на него говорит, что тот один. Откровенно сообщил мне, что дал знаки. Стало быть, один. Но если один, то для чего же он лежал, зная, что придет Митя. Для чего притворился? Ведь уж Митя взял бы деньги до него. Случайно: дай убью человека. Сейчас один на другого показывает. Написал: истребляю себя. Почему не

---

[1] *Было:* заложил

[2] Может быть ∾ договорились. *вписано.*

[3] Если вместе, для чего падучая? *вписано.*

приписал, что он убийца? Сказки перед действительностью, что он, запуганный, дал убить, но вот на него показание, что он убил. Он бы мог рассказать, и для чего падучая? Он мог спать и при Мите, чтоб сказать, он был болен, и чтоб подозрение не пало. Но Григорий мог не спать.[1]

Но воротимся к герою. Скачет. Хотел застрелить себя, это верно. Но по-карамазовски. Ни одного гамлетовского вопроса. Ямщику Андрею: убийцу везешь. Там прямо говорит, что 6-ю тысячу. Этих свидетельств без числа. Но обстоятельства переменяются: прежний прогнан, нравственное состояние.[2] Он не думал, что так скоро откроют, он думал, что Григорий убит. До завтра — для Карамазова это вечность.

Пьян и страсть, может быть, убил бы себя из пистолета, на всякий случай прячет 1 $^1/_2$ тысячи. С паном торгуется, он у ней в объятии, но его мучит убийство. *Но объятия все-таки сильнее.* И вот божий гром! «*Не я*». (Самосохранение.)

Допрос. Он хитро про Смердякова, как бы не вспомнить про чепчик?..

— Взгляните — все свидетельства против. Что за него? Алеша — по лицу.

Мы спасем тройку.

Ив⟨ан⟩. Мы видим, что непосредственная сила правды еще живет в этом молодом сердце, что еще глубокая совестливость не заглушена безверием и отрицанием, приобретенным больше по наследству, чем страданием мысли.

Конечно, стоит чрезвычайное множество умов, твердых и благонамеренных, ждущих обновления от Европы. Но такие, как Иван Ф⟨едорови⟩ч, и в Европу не верят. И таких много, и, может быть, они еще больше имеют в таком важном деле влияния на ход событий, чем это множество твердых и прекрасных умов, ждущих обновления от Европы. Крайняя молодежь из этих опасных отрицателей рвется в социализм, но *высшие* из них и в него не верят и пребывают почти в отчаянии. Это отчаяние недалеко до воплощения в образ Федора Павловича: было бы мне хорошо. Затем непосредственная Россия. Ибо имеют какое-то высшее обаяние над просто верующими во обновление от европейского просвещения и от прививки к нам европейской цивилизации.

Прекраснодушие, перерождающееся в мрачный мистицизм и в тупой шовинизм, грозящее, может быть, еще большим злом нации, чем раннее растление и прирожденный цинизм противоположной партии.[3] ⟨180⟩

Но вот зазвонил колок⟨ольчик⟩, и столь ожидаемый Ф⟨етюкович⟩ *взошел на кафедру*. Всё затихло. Муха.[4]

---

[1] Если один ∾ не спать. *вписано на полях.*
[2] *Далее было начато:* но для К⟨арамазова⟩
[3] *Ив⟨ан⟩*. Мы видим ∾ противоположной партии. *вписано на полях.*
[4] Но вот ∾ Муха. *вписано на полях.*

«Братья Карамазовы». Страница автографа черновых набросков к книге двенадцатой. 1880 г.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград).

Фетюкович говорил неправильнее, но точнее — нагнувшись половиной своей длинной спины.[1]

О письме Катерины Ивановны.

— Но ведь это роман, это посторонний роман, вторгающийся в нашу область. А что знаем мы в этом романе? Но если он сказал, что убью, — и вдруг оказал⟨ся⟩ человек убитым, почему име⟨нно⟩ он убил? [2]

Фетюкович: «Почему Смердяков не оставил записку: „на одно совести хватило, а на другое нет"?

Позвольте: совесть — это уже раскаяние, но раскаяния могло и не быть у самоубийцы, а было лишь отчаяние. Отчаяние и раскаяние — две вещи совершенно различные. Отчаяние может быть злобное и непримиримое...»

Фетюкович: «Но тут стоит отец — вот беда. Да, беда, иной отец действительно беда. Рассмотрим же поближе эту беду, господа».

Фетюкович: «В Финляндии девица. В сундуке три ребенка. Что она — мать, господа? Да, она их родила, но мать ли она им, господа? Осмелится ли кто [3] из нас произнесть над ней священное имя матери? Назвать ее матерью — это уже и не предрассудок, это преступление».

После речи Фетюковича: нити.

— Что-то наши мужички скажут?

Фетюкович: «Я здесь человек свежий. Все впечатления легли на меня непредвзято. Подсудимый, буйный характером и разнузданный, не обидел меня предварительно, как сотни, тысячи, может быть, лиц в этом городе во время своего здесь пребывания, отчего все предупреждены против него. О, предубеждение страшная вещь.[4]

Мне же, непредубежденному, всё же легче [5] видеть истину, вы с этим должны согласиться, может быть чем даже, например, высокоталантл⟨ивому⟩ обвинит⟨елю⟩,[6] в искренность которого я глубоко верю и чту ее, но который слишком нервен и болезнен. В речи его много личного. О, эту речь я выслушал с глубоким уважением.[7]

Отправляясь сюда, я знал, что встречу психолога. Меня предупреждали. Я выслушал эту речь, столь глубокую и заключающую так много психологических обобщений. [8] О двух концах».

Фетюк⟨ович⟩: «В таком случае любовь к отцу, не оправданная отцом, есть нелепость, есть предрассудок. Откуда он возьмет

[1] нагнувшись ∾ спины. *вписано.*

[2] *Поверх текста:* О письме ∾ он убил? — *помета:* БЕДА.

[3] *Далее было начато: а.* знает *б.* из нас сказать

[4] *Далее начато:* Но мне как человеку непредубежденному и подсудимым не обиженному

[5] *Далее было:* чем многим

[6] *Далее было:* подсуди⟨мого⟩

[7] Мне же, непредубежденному ∾ уважением. *вписано на полях.*

[8] и заключающую ∾ обобщений. *вписано.*

эту любовь?[1] Нельзя создать человеку существующее из ничего. Это удел лишь бога».

Фет⟨юкович⟩: «Можно бы было и не бить мещанина в трактире, такое замыслив». ⟨181⟩

Фетюкович: «Почему я должен верить вашей фантазии о спрятанных деньгах в Мокром, а не верить показанию Алексея Карамазова, столь искреннему, так неприготовленно,[2] так внезапно, так неподдельно вырвавшемуся?

Подавите милосердием — и он скажет, он скажет: „*Люди лучше, чем я*". Если он и не виновен — он это скажет. А накажете — он скажет: „Сами подлецы, а меня же судят. Я сквитался"».

Прокурор: «„В ню же меру мерите, возмери⟨тся⟩ и вам", так ли это в Евангелии? Не так делать, а беречься так делать, потому что мир, злобный мир[3] так делает, мир злобных люд⟨ей⟩ так делает, предостерегая, говорил. А прощать и ланиту свою подставлять.[4] Вот чему учил нас бог наш, а не распятый[5] человеколюбец, которого вы называете лишь распятым человеколюбцем. Вы говорите „распятый человеколюбец", а мы говорим „ты бо еси бог наш".[6] Но что нам до Евангел⟨ия⟩, мы заглядываем в него накануне речей, чтоб блеснуть красноречием».

— Этого он не велел. Человеколюбец великий того не велел.

Фетюкович: «Инсинуации, опасные для моей личности как гражданина».

Прокурор: «Мы услышали великую истину, недоставало двух слов до великой истины,[7] что запрещать убивать отцов есть *предрассудок*». ⟨182⟩

FINAL

Митя: «Роковая Катя, прощаю тебя! Други, братья, пощадите другую. Люди, слуш⟨айте⟩.[8] Свидетельствую богом, жизнию и спасением вечным,[9] в крови неповинен. Не я убил отца! Катя, прощаю тебя! Други, братья,[10] пощадите другую!»

Перед присяжными: «Спасибо прокурору, многое мне обо мне сказал, но[11] неправда, что я убил отца. Ошибся прокурор. Спасибо защитнику, плакал, его слушая, хотя и неправда, что можно убивать отцов, и предполагать не надо было.[12] Бернаром не буду. Сам сломаю над собой свою шпагу и поцелую обломки».

---

[1] Откуда ∾ любовь? *вписано.*
[2] *Было:* вырвавшемуся неприготовленно
[3] злобный мир *вписано.*
[4] А прощать ∾ подставлять. *вписано.*
[5] *Далее было:* лишь
[6] Вот чему ∾ бог наш". *вписано.*
[7] недоставало двух слов до великой истины *вписано.*
[8] Люди, слуш⟨айте⟩. *вписано.*
[9] жизнию и спасением вечным *вписано.*
[10] *Далее было начато:* помо⟨гите⟩
[11] *Было:* только
[12] и предполагать не надо было. *вписано.*

Много бы еще наговорил Ипполит Кириллович, но председатель вступился и осадил прокурора.

Преувеличение, в должных границах.

Фетюкович, прикладывая руку к сердцу, возразил.

Прокур⟨ор⟩: «Подавить — когда ему только того и надобно».

— Кончилась Митькина карьера.

— А ну как погубили напрасно?

— Может быть, эх ведь, черт!

— Да черт-то черт, без черта не обошлось. Где же ему и быть, как не тут!

— А вам несладко.

— Да мне не до черта.[1]

— Господа, положим, красноречие. Но ведь нельзя же и отцам ломать головы безнаказанно, иначе до чего же дойдем.

— Колесница-то, колесница-то, а, помните?

— То-то колесница-то.

— Из телеги колесницу сделал.

— Всё по мере надобности-с.

Митя: «Помолюсь за вас. Лучше буду, стре⟨млюсь⟩, исправлюсь.[2] Обещание даю. Дикому зверю подобен. Беспутен был, но добро любил. Смирил⟨ся⟩ исправиться, а жил диком⟨у⟩ зверю уподобляясь. Суд мой пришел, слышу десницу божию на себе, но, как богу, исповедуюсь. Говорю и вам в последний раз: нет, невиновен, в крови отца моего невиновен! Тяжело душе моей, не возропщу! Докторам не верьте. Я в полном уме. Пощадите, не лишите меня бога моего, может, и возропщу». ⟨183⟩

— Далеко кулику.

— А ну как-с?

— А мы запрем Кронштадт, да и не дадим им хлеба. Где они возьмут?

— Ну, это, брат, не так стра⟨шно⟩.[3] Да в Америке.

— Врешь.

Прокурор. 2-ая речь.

— Да не слишком ли скромен защитник, требуя лишь оправдания подсудимого?[4] Отчего бы не учредить[5] стипендии имени отцеубийцы для увековечения в потомстве и в молодом поколении?

— Я вкратце, только главное.

Он говорил, больше и больше углубляясь. Действительно, факты, не защищал себя, а главное, идея о том, что не было совсем денег, очень заинтересовала и осталась очень памятною. Но вдруг началась 2-я часть речи.[6]

[1] — А вам несладко. ∾ черта. *вписано.*
[2] стре⟨млюсь⟩, исправлюсь. *вписано.*
[3] — Ну, это, брат, не так стра⟨шно⟩. *вписано.*
[4] *Было:* отцеубийцы
[5] *Было:* Отчего бы ему не спросить
[6] — Я вкратце ∾ часть речи. *вписано.*

Пестик.

— Роман и романисты, а между тем человека губите. Что роману даете значение, то ясно из документа.

Представьте, даже до сегодня прокурор, по собственным словам своим, колебался на преднамеренности, а вот теперь же *он*: только бы уехал Иван.

Позвольте, я дотронусь. Человек кричит по трактирам, это ли преднамеренность, затем бежит — бежит совсем нечаянно, совсем не за тем: не будь пестика, не было бы убийства. Так ворвавшись к отцу — убил, а затем похитил *из-под постели*.

Об деньгах сейчас, но предварительно о Смердякове,[1] 5 человек входило, стало быть, упало подозрение на Смердякова. А почему же непременно оно должно упасть на Митю? Как же нет: все видимости на него, кричал, письмо написал, в саду его видели, Григория ударил, пестик схватил.

Но прокурор кричит: где момент, что убил Смердяков, — всё о Смердякове.

Чем это хуже вашего предположен⟨ия⟩?

Господа, всё это романы, твердых фактов нет.

В Тобольске. Но, главное, денег не было. Менялу убил.[2]

Затем денег не нашли. Спрятал в щель. Ломоть в чужих руках. Максимов, поляки. Чепчик! Столько психологии на чепчике.

КТО ЖЕ УБИЛ?

Речь Фетюков⟨ича⟩: «Забор, пестик, когда уедет Иван. Осмелюсь дотронуться (Катер⟨ина⟩ Иван⟨овна⟩). Смердяков. Но что главное — нет денег.

Затем о чепчике (как мог забыть). Карамазов не мог зашить — но ведь сами говорили: *две бездны*».

N3. Так точно рассмотрел и другие пункты — чепчик и проч.

— Создается роман и губится человек — всё для психологичности.

— Тратить на старый чепчик[3] столько психологии.[4]

— Но тут есть факт, бросающийся в глаза (нет денег).

Кто же убил: Ильинский и другой случай.

2 мужика, два кума. Он успевает сообразить. Ильинский.

— Во всяком случае нет тверд⟨ых⟩ фак⟨тов⟩, кроме того, что если не Смерд⟨яков⟩, то Митя.

— Зачем не оставил Смердяков?

Пестик. «Согласитесь, что не взял бы пестика, не было бы убийства».[5]

Митя: «Буду хороший человек, буду, пощадите теперь». ⟨184⟩

---

[1] *Далее было начато:* о том, что

[2] *Далее было начато:* Но вошел, увидел отца

[3] *Было:* старую тряпку

[4] — Тратить ∾ психологии. *вписано на полях.*

[5] *Пестик.* ∾ убийства». *вписано.*

Фетюкович: «Психология. А ну как это не то лицо?»

Ракитин. Прокурор: «Говорили вы чиновнику Перхотину, что ждете катастрофы? Что вас побудило сказать это?» Ответ: крепостники и проч. Отношения к Грушеньке. «Да, завлекала».

Защитник. Еще предварительно спрашивает Алешу про Ракитина. Глубокая религиозность и проч. Взял ли 25 рублей за Грушеньку? Алеша конфузливо дает ответ.

NB. Защитник и Алешу , и Григория, и всех спрашивает о пакете. (Кто, дескать, его видел?)

— Почему не заявили прокурору?

Иван: «Я сказал Алеше».

NB. Когда унесли Ивана, прокурор и защита требуют вторичного опроса Алеши: *он* денег не видал, и о деньгах брат ему не сказал.

О ударах в грудь.

Алеша и в 1-м допросе убежден, что убил Смердяков.

Прокурор и защитник особенно расспрашивают Герценштубе и Варвинского о Смердякове.

Марфу Игнатьевну и Марью Кондратьевну особенно расспрашивают, не слыхали ли они чего-нибудь от Смердякова о пакете. *Ничего*. Постель не тронута. [1]

Смердяков отдал 100 руб.

Адвокат: «Подавите его прощением».

Штабс-капитан: «Бог с ним-с. Илюшечка не велел. „Папочка, папочка, как он тебя унизил!" У камушка-с».

Адв⟨окат⟩: «Что у камушка, у какого камушка?»

Ш⟨табс⟩-к⟨апитан⟩: «Ничего-с, не надо-с. Прощайте-с», — стал (пьяненький) кланяться.

Адвокат: «*Вперед!* с этими мыслями, с этим духом (т. е. не одна только буква) — и спасена Россия!»

Прокурор: «Самые драгоценные мысли русского духа подхватил и поволок по улице, только чтоб выиграть неправое и гнуснейшее дело!»

Фетюкович: «Нет ни одного доказанного факта».[2] ⟨185⟩

Алеша: «Убил Смердяков. Я не имею никаких доказательств, это лишь мое убеждение. На предварительном следствии я отвечал лишь на вопросы, я не шел сам с обвинением на Смердякова. Я говорю со слов брата (Мити). Я верю, что брат невиновен, другому, кроме Смердякова, убить некому».

— Как он сделал — я не знаю. Смердяков был честен.[3]

— Дверь, вероятно, не была отворена.

— Об существовании пакета я знал от Мити.

— Да, Митя говорил, что убьет.

— Верили вы тому?

---

[1] Постель не тронута. *вписано на полях.*

[2] *Фетюкович* ∾ факта». *вписано на полях.*

[3] Смердяков был честен. *вписано на полях.*

— Боюсь сказать, что верил. Но я убежден, что высшее чувство спасет его в данную минуту.

Алеша: «Я не считал Смердякова сумасшедшим, не считал и дураком. Но ум его был несомненно поврежден. («От божественного?» — «Да, и от божественного».) Чрезмерное самомнение. Уверенность, что он мог бы занимать несравненно высшую роль. Ненависть к России. Никаких корней в родной земле. От Смердящей родился. Я приехал, застал его на идее бежать за границу. Он всё расспрашивал о Франции и об Америке».

Прокурор Алеше: «Если это дело Смердякова, для чего было бы ему сообщать про пакет и про стуки вашему брату? Или вы полагаете, что они вместе сделали?»

N3. — Нет, не полагаю.[1]

— Но странно, что и тот и другой тотчас же стали показывать один на другого? К тому же мы имеем и точное свидетельство, что предположение о совместном действии невозможно: именно Григорий, поднявшись, чтоб идти на крик в сад, видел Смердякова лежащим спокойно за перегородкой и стонущим.

Если б Смердяков был сообщником, то не стал бы он говорить[2] о знаках и о пакете, о которых он повестил вашего брата. Это могло быть сказано им лишь тогда, когда бы он вполне сознался в сообщничестве. Он же передал эти факты, совсем не признаваясь в сообщничестве, *стало быть* не боясь, что его обвинят *через это признание* в сообщничестве. Но это может сделать лишь совершенно невинный.

Что за сообщники, которые тотчас же стали друг на друга показывать? *Подождали бы немного*. Убив и поделив, разумеется, добычу, тотчас же и признаваться — это абсурдно.

Прокурор: «*Иван* представил деньги, но нам известно, что он разменял 15 000 всего 7 дней тому назад». ⟨186⟩

— 2 бездны.

Фетюкович: «Человеколюбец, собираясь на крест, говорил: „Аз есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает душу свою за овец, да ни одна не погибнет". Подавите ее милосердием (прощением), и вы найдете и воскресите заблудшую овцу».

Фетюкович: «Вам дана необъятная власть вязать и решать. Будем же осторожнее. Чем сильнее власть, тем надо быть осторожнее. „Лучше оправдать 10 виновных, чем погубить одного невинного". Слышите вы этот великий голос еще из прошлого века? А что, если это невинный? А что, если это хоть и преступник, но не преступный?»

Прокурор (2-я речь): «А что, если не то, а что, если не так — вот все доводы защиты. Странно представить *постороннего* убийцу!»

Прокурор: «Всё, что есть святого, потащить на позор, только чтоб выиграть дело.

---

[1] N3. — Нет, не полагаю. *вписано на полях.*

[2] *Незачеркнутый вариант:* нам сообщать

Если отцеубийство предрассудок, если сын будет допрашивать отца: „Почему я должен любить тебя?”, что станется с нами? Что будет с основами общества? Куда денет⟨ся⟩ семья, свяще⟨нная⟩ основа социа⟨льного⟩?»[1]

Фетюкович: «Зачем бы ему оставлять деньги, если он ехал застрелиться?»

Прокурор: «Но он оставил их не в городе. Может быть, сунул их где-нибудь в Мокром?

Для чего ему деньги, коли застрелиться? Но ведь он уже раздумал застрелиться. Суд ли предстоит, бежать ли, — нет, деньги большая полезность. Для Карамазова деньги большая полезность. Инфернальность душевная Карамазова. Ведь он уже раз прежде, как сам уверяет, отложил 1500. Если не отложил, то ведь такая идея, что можно отложить, была же в душе его. С паном уже он скупится. И, наконец, если б даже он и отложил, то не снимается все-таки подозрение, что он и эти 3000 взял. „Их никто не видал”, — говорит защитник. Но ведь это — плавать в самых неосновательных предположениях. Ф⟨едор⟩ П⟨авлович⟩ сам-де распечатал. Как можно это утверждать.

Не помята постель — но чего и мять? Засунул деньги под тюфяк. Не окровавил? Но ведь на таком случае нельзя же основываться? Ведь всё это только если и если: если б капуста росла, огород бы был, но ведь не росла капуста, а стало быть, не было и огорода». ⟨187⟩

Фетюкович: «Не одна лишь кара, но и спасение души человеческой».

Фетюкович (о Кате): «Я позволю себе дотронуться. Это крик раздраженной женщины. Не ей укорять в измене, потому что она сама изменила, она любит другого брата, и, заслышав для него[2] опасность в его показании, пораженная болезнью его, она засвидетельствовала другое, чем час перед тем. Если б имела *хоть сколько-нибудь времени одуматься* — она бы не сделала такого показания. Это показание несправедливое. Одно лишь слово: только бы уехал Иван. Отметь⟨те⟩ только преувели⟨чения⟩».[3]

Прокурор про Митю, описав возвращение от Лягавого: «Страдало и его самолюбие, хотя этот субъект менее многих других самолюбив, странно это. Он жаждет справедливости. Он рассердится, если вы его презираете. Но вдруг покажите ему уважение, и он ваш друг, он забудет целые годы презрения. Возвеличьте его похвалы, и он вдруг сам станет непомерно унижать себя и стыдиться ваших похвал. Да, эта звериная природа добродушна, я не могу отрицать этого».[4]

---

[1] Куда денет⟨ся⟩ ∾ социа⟨льного⟩?» *вписано*.

[2] для него *вписано*.

[3] Это показание ∾ преувели⟨чения⟩». *вписано*.

[4] *К тексту: Прокурор* про Митю ∾ отрицать этого». — *помета на полях:* Лягавый.

Фетюкович: «Отец, отбивающий у сына любовницу, — тут есть нечто отвратительное. Прокурор обвинял: это безжалостно. Будь не отец, он бы, может быть, не совершил убийства. Всё поднялось в одну минуту. Аффект природы, мстящей за свои вечные, святые законы безудержно, бессознательно.

Такие отцеубийства даже менее, чем простые убийства, ибо именно воспоминание того, что этот враг мой есть отец мой, и подтолкнуло, может быть, мою руку.

Тем сильнее и подталкивает мою руку».

Им как будто [1] казалось, что всё это сейчас же можно опять переменить.

Это совершенное отрицание не только грабежа денег, но и самого существования их поразило всех неожиданностью — тем более что имело в себе большую логичность.[2]

Фетюк⟨ович⟩: «Он не убил — он махнул пестиком. Не будь этого несчастного пестика, он, может быть, только бы убил [3] его. Смело утверждаю, что это убийство было нечаянное, без намерения убить».

Прокурор: «Ощущение низости [4] падения так же необходимо этим душам, как и ощущение высшего торжества. Две бездны, две бездны, господа, две бездны в один и тот же момент — без того мы несчастливы и существование наше неполное.

Эти 2 бездны есть основа характера Карамазовых».[5]

Фетюкович: «Есть души, которые в ограниченности своей обвиняют весь свет. Но подавите эту душу милосердием, покажите ей свет в другом виде, и она проклянет свое дело, ибо в ней столько добрых зачатков. Душа расширится и узрит, как бог милосерд и как люди».[6] ⟨188⟩

Прокурор: «О, он не жаден, но, однако же, подавайте денег, больше, больше и как можно больше денег, и вы увидите, как великодушно мы разбросаем их в одну ночь в безудержном кутеже. Не дадут — так мы зарежем для этого кутежа!»

— Но не предупрежд⟨аю⟩ нашу мысль.[7]

— О, мы любители поэзии, Шиллера!

— Дайте, дайте мне средств. («Дайте, дайте мне взаймы», — кричит Хлестаков.)

Прокурор (во 2-й речи): «При инфернальности, при желании прокутить — возможно ли предположить, чтоб он целый месяц носил на себе тысячи и удовольствовался двугривенным для пьянства или шел заложить пистолеты, когда всё зависело от денег (чтоб спасти себя)».

---

[1] *Незачеркнутый вариант:* верно

[2] *К тексту:* Это совершенное ∾ логичность. — *помета:* Фетюкович.

[3] *В рукописи, очевидно, описка, нужно:* прибил

[4] *Далее было начато:* соб⟨ственного⟩

[5] Эти 2 бездны ∾ Карамазовых». *вписано.*

[6] *Фетюкович:* «Есть души ∾ и как люди». *вписано на полях.*

[7] — Но не предупрежд⟨аю⟩ нашу мысль. *вписано.*

№3. Прокурор: «Пусть он 1400 воротит Катерине Ивановне, но 100-то рублей он бы мог отделить, и так по 100 все. *Вот бы как было*».

— Отлупливая, как листики от артишока.

— Застреливать⟨ся⟩ — цинизм. Гамлетовский вопрос. Это у нас пустяк.[1]

Прок⟨урор⟩: «Да, психологией русского преступления займутся, может быть, когда-нибудь первенствующие умы. Теперь же мы или ужасаемся — дурной призрак,[2] или, как дети, гоним, махаем руками и прячем голову в подушку, только бы не стоял перед нами ужасный кошмар. Но надо и осмыслить когда-нибудь. Надо начать когда-нибудь, — это я и намерен сделать. Ибо в предстоящем деле как бы сконцентрирован весь ужас нашего времени. Отворена дверь.[3] „Это Смердяков!" И уже Смердякова он употребил вовсе без расчету, а уже безо всякого смысла. Верите ли, мне стало даже жалко его в ту минуту.

Чепчик — все подробности угаснут, а зеленая кровля останется в голове. Марию Антуанетту везли, не на оскорбления обратила внимание, а вывеска, на которой было что-то написано».

Фетюкович: «Равно как и об этом чепчике. Ну вот зеленую-то крышу он, может, и помнит, а это-то вот забыл».

Фетюкович: «Во-1-х, подсудимый чрезвычайно худо рекомендуется чувствами своими к отцу. Но что такое отец?» [4]

— Маньяк. Ему надо деньги. Он всё же мечтал отдать их. Он присвоитель, но он не хочет быть присвоител⟨ем⟩. Я, дескать, не вор, я подлец, но не вор. ⟨189⟩

Фетюкович: «Разорванная обложка: клянусь вам, я слышал эту мысль от самого Смердякова, он мне ее *подсказывал*. Не он ли подсказал ее и моему талантливому сопернику? Заключаю потому, что слышал слишком знакомое».[5]

Фетюкович: «Мой противник говорит: я не дам одному защитнику защищать, я и сам защищу. И однако же, он не упомянул, что если б он был благодарен за фунт орехов, то, обратно, не мог не помнить, как он бегал босой, без сапожек и с панталончиками на одной ⟨пуговке⟩.[6] Помнил хорошее, не забыл и злое».

Фетюков⟨ич⟩: «„Отец, зачем я должен любить тебя?" И если отец в силах доказать ему, *имеет чем* доказать, — о, тогда он отец!»

Фетюк⟨ович⟩: «Отцеубийство сравнительно с убийством есть

---

[1] — Застреливать⟨ся⟩ ∾ у нас пустяк. *вписано.*
[2] дурной призрак *вписано.*
[3] Отворена дверь. *вписано.*
[4] Фетюкович: «Равно как ∾ Но что такое отец?» *вписано на полях.*
[5] Фетюкович: «Разорванная ∾ знакомое». *вписано позднее.*
[6] *В рукописи, очевидно, описка:* покупке

предрассудок. Это только старое, страшное слово, это „жупел" московской купчихи».[1]

Прокурор. В своей речи — «о стуках».

Митя. В последней речи про Бернаров.

Прокурор: «Прося уйти панов, он представлял себе *свое* будущее. Обрывки мыслей. Он весь в настоящем. Отложил деньги. Во всяком случае не ждал, что так скоро».

Фетюкович: «Психология. Соскочил к Григорию. Было место доброму чувству, ибо совесть чиста».

Прокурор: «Тут — массу слов, изречений, жестов — всё подтвержденных свидетелями».

Фетюкович: «Есть эти невидимые нити, связующие оратора[2] с присяжными. Я их ощутил. Дело наше».

Фетюкович: «Вам создают характер, как романист, как повествователь, и вот вы роману моему верьте. Игра художественности, психологии, красноречия. А ведь из-за этой игрушки может погибнуть судьба человека! Что мы здесь роман модного писателя сошлись слушать или судьбу человека?

Создает характер, навязывает ему свои мысли и чувства — *выходит складно*. А между тем если совсем другое?»[3]

— ПОКОНЧИЛИ МИТЮ! — говорили выходившие из залы.

Фетюк⟨ович⟩: «Смердяков — существо знойно-завистливое, озлобленное, ненавидящее господ. Отчего не оставил в записке? Он унес месть в гроб свой».

Фетюкович: «Вы спрашиваете — момент: вот тогда-то и тогда-то».[4] ⟨190⟩

Показание Кати. Образ офицера, отдающего свои последние 5000 рублей и почтительно преклонившегося перед невинной девушкой, выставился весьма симпатично и привлекательно.

Алеша, конечно, без присяги, может не отвечать, но тут вышел один неожиданный эпизод, которым тотчас же сумел воспользоваться защитник.

Документ произвел самое мрачное впечатление, и, действительно, победа прокурора была полная... Последовавшие затем показания: кровь, Фени, Перхотина, ямщика; речь прокурора.

Прокурор: «Если б не эта женщина, он бы повинился еще в Мокром, но она только что... она была в его объятиях, он обнимал ее своими запятнанными кровью руками... И вот тут он решился защищать⟨ся⟩. Ладанка, хитро».

После показания Кати (2-й раз) Митя вскакивает: «Достоин. (Тяжело, тяжело, но достоин!) Катя, Катя, что мя гониши?»

---

[1] *К тексту:* Фетюк⟨ович⟩: «Отцеубийство ∾ купчихи». — *помета:* Прокурор иронически.

[2] *Незачеркнутый вариант:* защитника

[3] Создает характер ∾ другое?» *вписано на полях.*

[4] Фетюкович: «Вы спрашиваете ∾ и тогда-то». *вписано на полях.*

...Что усматривается не только из многих прежних поступков его, но и теперь.

Герценштубе, так что вдруг появилось впечатление в пользу Мити. Адвокат с благодарностью, так что и Митя своим восклицанием почти не испортил дела. «Спасибо, немец: Gott... Я ведь чту, чту... Я ведь преклоняюсь. О, не знаете вы души моей. Я Шиллер. Любитель». Но защитник был доволен. И действительно,[1] когда начались свидетели à décharge,[2] т. е. вызванные защитником, то судьба как бы улыбнулась несколько Мите. А у Алеши так мелькнуло даже нечто как будто похожее на фактическое доказательство в пользу Мити, и это случилось почти [3] совсем нечаянно для защитника.

Алеша.

Но главное [4] впечатление в пользу Мити (хотя только отчасти) произвело показание Катерины Ивановны. Это было нечто беспримерное и потрясающее так, что даже от такой эксцентрической девушки, как она, трудно было ожидать такого высокооткровенного показания, похожего на жертвоприношение с ее стороны. ⟨191⟩

МИНУТНОЕ

Портрет председателя, прокурор бледен. Заметили.

Присяжные.

К слушанию Митю. Платье. Защитник. Портрет.

Список свиде⟨телей⟩. Смердяков. «Собаке собачья». Председатель.

Обвинит⟨ельный⟩ акт. Впечатление.

— Нет, не виновен.

Председатель. Судеб⟨ное⟩ след⟨ствие⟩. Присяга. Всех увидел. Алеша. По группам или нет — не знаю? Даже забыл порядок. Буду писать, припоминая впечатления.

Допрос Алеши.

Защит⟨ник⟩. С самого начала было видно, что у него предвзятая идея, тем не менее он пользовался всем, чем мог.

Развернулась та же потрясающая *картина*. Только концентрированная.[5] Показания неотразимы. Это уже не слухи, а въявь. (Не описываю всего, ибо в речах прокурора.) У защитника своя идея. Тем не менее он пользовался. Митя вел себя дурно. «Пьеро, 700 пуделей».

Равно и экспертиза, видно было, что защитник принял ее, не веря в *силу* помешательства, — но *нравственное* состояние чтоб определить.

---

[1] Герценштубе ∾ И действительно *вписано между строками и на полях.*

[2] защиты (*франц.*).

[3] почти *вписано.*

[4] *Далее было начато:* показ⟨анне⟩

[5] Развернулась ∾ концентрированная. *вписано.*

Совокуплял факты, чтоб все пошли в ход. На *много* ли обманул отец Митю?

Защитник хоть унимал Митю, а даже рад был его исступлению. Подробно расспрашивал Перхотина.

— Зарядил пистолет.

— Вы могли быть в свою очередь заинтересованы (послед⟨ние⟩ годы). Понимаю и щажу вашу скромность, вы были заинтересованы молодою красивою женщиной, охотно принимающей к себе цвет нашей молодежи.[1]

Я полагаю, что самое главное на суде неожиданная катастрофа, о которой и скажу и которая убила судьбу Мити. Но и до того уже всё было испорчено. Обвинительная сторона с самых первых шагов показала, что имела огромный верх. Трудно было представить, как будет бороться с этим адвокат. Но все предчувствовали, что у него уже *составилась* идея защиты. Тем не менее он пользовался всяким случаем. Загрязнить.

Но хоть досталось адвокату... Чьи это впечатления?... и хоть в пуб⟨лике⟩, как будто что...

Как продукт крепост⟨ного⟩ права в России, страдающей без соответственных учреждений. Независимостью мысли и необыкновенным благородством.[2] ⟨192⟩

Алеша.

Катер⟨ина⟩ Ив⟨ановна⟩.

Эксперты.

Григорий.

Умение адвоката подгрязнить; в ужасающем виде.[3]

Ракитин.

Поляки.

Ямщик.

Трифон Борисыч.

Об эпизоде. Грушенька. Эхо...[4]

Грушенька — плохое впечатление. Способствовало эпизоду. Иван, опять Катя и об остальных вскользь.

Ракитина сбил.

Дивились (про Фетюковича), как только мог он узнать такие подробности.

Прокурор: «„Gott der Vater”,[5] я не дам воспользоваться защитнику, я и сам готов защитить его».

Герценштубе. Тугое, картофельное и всегда радостно самодовольное немецкое остроумие.

— Аффект, но есть и то, что мы называем манией и что есть уже начало несомненного и настоящего помешательства. Есть мания, это 3000, о которых он не может говорить без чрезвычай-

---

[1] — Вы могли ∾ молодежи. *вписано на полях.*

[2] Но хоть ∾ благородством. — *разрозненные записи на полях.*

[3] Умение адвоката ∾ виде. *вписано.*

[4] Об эпизоде. Грушенька. Эхо... *вписано.*

[5] Бог отец (*нем.*).

ного раздражения, между тем он нестяжателен и даже великодушен.

— Так что вы, кроме аффекта, находите его и теперь уже на дороге к помешательству... и именно давеча... Здесь я должен противуречить моему ученому собрату — направо, а не налево...

Герцен⟨штубе⟩: «Это *маленькие, и их много*. Я купил фунт: на зубы — и кррах. Орехи. „Gott der Vater, Gott der Sohn",[1] и только забыл „Gott der heiliger Geist",[2] но я ему вспомнил, и вот протекли многие годы, и в одно утро входит».[3]

ФИНАЛ.

Прокурор: «Если Смердяков написал 2 строки, чтоб не винить никого, то как мог бы он не написать, что он виновный. На одно нашел совесть, на другое нет; это невероятно».

Был несколько оплеван и подгрязнен (Трифон Борисыч).

Фетюк⟨ович⟩: *«Не одна лишь кара, но и спасение души человеческой»*.

Фетюкович: «Раздавите душу милосердием: вам это легче сделать, ибо при отсутствии *всяких улик* вашей совести, конечно, тяжело сказать: „Да, виновен". Вы облегчите совесть свою. Милость прежде всего. Он воспользуется, и вы воскресите нового человека. Русский суд. Вперед! Вперед — и не пугайте нас русскими тройками! Русская колесница величаво прибудет к великой цели!» [4]

Фетюкович: «Что такое общество? или чем *должно быть общество*? [5] Церковь. Что такое церковь — тело Христово. Ваш суд есть суд церкви, ваш суд есть суд Христов. А суд Христов не одна только кара, а и спасение души *человеческой*». ⟨193⟩

— За чем пошел, то и нашел.

Герценштубе: «Ну да-а! За чем ты пришел, то [6] его и нашел.[7] Это всё равно».

— Пословица говорит: один ум это хорошо, а коли придет еще умный человек, то будет еще более (гораздо) лучше, ибо будет 2 ума, а не один.

— Ум хорошо, а два лучше.

— Ну да, лучше, лучше, и я тоже говорю, что 2 ума гораздо [8] лучше. Но к нему другой с умом не пришел, а он и свой пустил... Как это? Куда [9] он его пустил?.. Это слово, куда пустил... Я забыл. Ах да, шпацирен.

---

[1] Бог отец, бог сын (*нем.*).
[2] Бог святой дух (*нем.*).
[3] Gott der Vater ∾ входит». *вписано на полях.*
[4] *К тексту:* Вперед ∾ к великой цели!» — *начат незачеркнутый вариант:* и русская тройка домчится до своей цели, и русская колесни⟨ца⟩
[5] или чем ∾ *общество*? *вписано.*
[6] *Далее было:* на земле
[7] *Незачеркнутый вариант:* найдешь
[8] *Вместо:* 2 ума гораздо — *было:* 2 тогда гораздо
[9] *Далее было:* это

— Гулять?

— Ну да, прогуливаться. Вот ум его и пошел прогуливаться и пришел в такое глубокое место, в котором потерял себя. Утоп-п. Если кувшин пойдет [1] за водой, то там разломится. Повадится кувшин по воду ходить, там его голову сломить.

— Ну да, и я говорю.[2] Голову? [3] Ибо если привыкнет ходить за водой, то сломает верхнюю часть, а не голову, ибо у кувшина не голова, а [4] верхняя часть.

Экспертиза. Все действия его наоборот здравому смыслу. Сам объявил, что убьет, убил, вместо того чтоб убежать, едет сыпать деньги. Неподвижный взгляд, вдруг смех. Странные слова: «Бернар, эфика». Вошел, посмотрел направо.

Герценштубе: «Ничто не ново внизу месяца».

Герценштубе: «Я всё говорю и вдруг забыл слово, которое помню, но забыл. Я ему купил фунт — как это, чего я купил, я забыл слово».

— Гостинцев?

— Да, но каких? Да на дереве растет...

— Яблоки?

— Нет.

— Лимон?

— И, нет! На зубах, и кр-рах.

— Орехи?

— Да. «Gott der Vater». 23 года спустя в 1-й день пришел за орехи. «A, Gott der Vater». Помню, и я поцеловал его и заплакал, и он поцеловал и заплакал, и я сказал: «В вас честное сердце, юноша, ибо вы помнили всю жизнь мой фунт орехов!» Я был тогда цветущий юноша. Мне теперь 68 — ну да, я был тогда сорока лет.

Упал в обморок.

Серьезная часть публики осталась довольна.

— Психологии-то навергел-с много.

— Да ведь всё правда, неотразимая истина. Как по-писаному вывел.

— Итог подвел.[5]

— И нам, и нам итог подвел в начале-то речи.

— Да, долго ждал человек, а вот и сказал.

— Ну, неясности были.

— Были-то были. И увлекся маленько. А ловко.

— Что-то защитник скажет.[6]

— «Бьющих на чувствительность». А петербургских-то напрасно задел. «Бьющих-то на чувствительность».

---

[1] *Незачеркнутый вариант:* привыкнет ходить

[2] *Далее было:* тоже

[3] *Далее было:* Голову? т. е. верхнюю часть.

[4] *Далее было:* только

[5] *Далее было:* Что-то защитник скажет.

[6] Упал в обморок. ∾ скажет. *вписано на полях.*

— Да, это он неловко.

— Поспешил.

— Нервный человек-с! хе-хе!

— Риторики много, фразы длинные, длинные фразы-с.

— Ведь он речь-то прежде написал.[1] Сочинил. Говорил по-писаному.

— По-писаному, по-писаному.

— Тугой человек.

— Вот мы смеемся, а каково подсудимому-то?

— Да-с, Митеньке-то каково?

— Что-то защитник?[2]

— А ловко они его тогда накрыли, с Ник⟨олаем⟩ Парфен⟨ычем⟩ в Мокром-то.

— Да, рассказал-таки опять. Ведь он это всё, он уже здесь по домам сколько раз[3] рассказывал, много раз.

— Не утерпел и теперь. Самолюбие.

— Обиженный человек (хе-хе). Слаб человек.

— А тройка-то хороша.

— Да-с, тройка все-таки вышла хороша. Либерализму подкурил.

— Подкурил.

— Да ведь правда. Где он про народы-то говорил, что не будут ждать.

— А что?

— В английском. В английском парламенте один член уже спрашивал министерство по поводу нигилистов. Варварская, дескать, нация, не пора ли ввязаться политически? Это ведь Ипполит-то про него.

— Далеко кулику. ⟨194⟩

ЭПИЛОГ

Грушенька целует у барышни ручку.

Трифона Борисыча до того поразило предположение прокурора, что Митя спрятал[4] в его доме 1500 р., что он почти переломал весь дом, их отыскивая (щель, отдирал доску. Шаткая половица — «подымай ее»).[5]

Грушенька Кате: «Я ведь вижу теперь, кого ты любишь».
Митя, видя, что все примирились: «Вот мы и счастливы теперь».

---

[1] *Далее было начато:* Говор⟨ил⟩

[2] — «Бьющих на ∾ защитник? *вписано на полях.*

[3] сколько раз *вписано.*

[4] *Далее было:* почти

[5] *Рядом с текстом:* Трифона Борисыча ∾ «подымай ее»). — *помета:* Митя про Трифона.

Митя про брата Ивана, дружелюбно усмехаясь: «Не выдержал! (Но он выдержит. Он всех превзойдет. Не таков, как я [1].)».

Митя. Сам мечтает о каторге и боится полосатого платья.

Митя: «Другие уж „ты" говорят. Если кто драться полезет — убью! Нет, не готов человек. Гимн хотел петь, а ни на что не готов».

Алеша детям: «Помните всегда эту минуту, когда вы плакали. Это на всю жизнь останется, может быть, и верить не будете, и сердцем одервенеете, а вот эту минуту чистых слез всегда помнить будете, таких минут немного, но они-то и спасают, они всегда спасают. Хоть над всем будете смеяться, а над ними не усмехнетесь. А и усмехнетесь если, то вы же в сердце скажете: нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, над этим нельзя смеяться».

Назад из церкви: «Батюшка, где же батюшка, постелька его там осталась. Прибрали они».

Шляпу в руках. «Наденьте шляпу-то». «Не хочу шляпу, не хочу!» — кричал штабс-капитан и бросил шляпу. Мальчики подняли, он побежал, все очень скоро шли.

Возвращаясь из церкви,[2] всё бежал с цветочками в руках, вдруг стих: «Батюшка, батюшка, милый батюшка!» — и повернулся было бежать назад к церкви, но его потянули назад: «Там его постелька; они убрали».

— Мамочку обидел, к мамочке хочется, ножки ее больные. Постелька, постелька-то. Ему мерещилась хоть постелька.

— Сапожки! ⟨195⟩

Катя, увидя Грушеньку, засверкала глазами, точно говоря: «Разве это можно? Разве она может тут быть?» Но не сказала, подошла: «Простите меня!»

Красоткин: «Невинен ли ваш брат?»

— Да.

— Вам поверю! По городу говорят. Знаете, я хочу готовить себя публицистом или чему-нибудь, где бы я мог говорить правду, вечно правду, всегда правду вразрез всем злым и сильным мира сего. Я дал клятву и посвятил себя.

— И я тоже, — закричал мальчик (Тевкр, Дардан) и покраснел.

— Тяжело! Бог с ними! — проговорил Митя.

— Не верю, не верю.

М⟨итя⟩: «А тогда верила, когда показывала?» [3]

---

[1] Не таков, как я.)» *вписано.*

[2] *Далее было начато:* вдруг

[3] *В рукописи ошибочно:* показываешь

К⟨атя⟩: «Не мучь, зачем спрашиваешь? Нет, надо себя казнить. Не верила и тогда. Ненавидела тебя и себя на миг уверила, вот на тот миг, когда показывала».

— Катя, веришь ли, что я убил?

— Никогда не верила! — прошептала исступленно Катя. — Убей меня!

Алеша знал, что она себя оклеветала, он знал, что она верила, вначале по крайней мере, хотя, может быть, всегда был червь сомнения.[1]

Митя: «А когда кончила показывать, тотчас перестала верить и начала биться головой об землю? Знаю, знаю, Катя!»

К⟨атя⟩: «Да, да, да — там же, еще в суде, как сказала последнее слово, так и начала биться, потому-то и люблю тебя, великодушного!» [2]

Катя Алеше: «О, только не у этой! У этой не могу просить прощения! И я, я сказала ей: „Простите меня!" Я хотела казнить себя перед Митей. Вот почему ей сказала: „Простите меня". Она не простила, люблю ее за это!»

Митя: «Беги за ней!»

Алеша: «Не беспокойся. Она поймет. Приду в 4 часа». ⟨196⟩

М⟨итя⟩: «Буду ли честным? Вот и опять подлецом. Бежал от казни. Вдруг честным не сделаешься».

— Ну понемногу.

Митя: «Я родную землю люблю. Я Россию люблю. Тяжела Америка».

Алеша Мите за упреки Грушеньке: «Молчи, Митя, тебе ли ей говорить».

Митя: «Они помирятся, они потом помирятся». [3]

Митя и Алеша. Митя рассеян и раскидчив ⟨?⟩.

О Трифоне. О всем.

У церкви, в ограде. «И уж так он чисторечиво и словесно всё говорит».

(Хозяйка: «Останусь при мамочке».)

«Цветочек дайте». — «Ты у него пушку взяла». Мамочку обидел.

Воротился: «Ножки твои больные».

И увидел сапожки. «Где его-то ножки?»

Маменьке: «Дайте его ножки».

— Батюшка! Милый батюшка!

Алеша и Митя, про Катю. Катя уверена, что Иван выздоровеет. Она верить не хочет его смерти. Это феноменально.

Митя: «Может, потому, что всех больше и боится, что он умрет».

Алеша: «Именно. Насильно себя ободряет».

---

[1] — Катя, веришь ли ∾ сомнения. *вписано на полях.*

[2] Митя: «А когда ∾ великодушного!» *вписано на полях.*

[3] Митя: «Они ∾ помирятся». *вписано.*

Катерина Иван⟨овна⟩ на коленях перед Митей: «Радость моя, бог мой! Я тебя, как бога, любила», — ужасно нежные и страстные слова.

— Пусти меня, я потом приду.

— Теперь я выздоровлю, теперь всё.

— Ай, — сильно вскрикнула Катя, на пороге показалась Груша.

— Ты убьешь себя, или тебя расстреляют! Адвокат апелляцию. ⟨197⟩

У Кати. О побеге. «Это произойдет самым натуральным образом, и никто не пострадает. С пересыльного этапа».[1]

— Я вам скажу прямо, тогда я ему ссору сделала, не понравилось мне, что он бежит с Грушей.[2] Он мне записку (о побеге) оставил (идя на суд). Это дело идет.

Ал⟨еша⟩: «Он знает, что вы тут».

— Знаю, что знает. Он вас боится — того, что вы скажете, боится сделать дурное. У него идеи, фантазии, мистицизм: бог страдание послал, нельзя от страдания бежать. А разве он готов на страдание? Этакому ли страдать? (Горькое слово, Алеша не поднял его.)

А⟨леша⟩: «Нет, он не готов», — сказал Алеша.

К⟨атя⟩: «Он должен бежать — вы должны поддержать его».

А⟨леша⟩: «Я скажу, что надо».

(№3. Катя ни слова о своем предательстве. Алеша ни слова тоже. Алеша вдруг о цели своего посещения: «Зовет брат».)

К⟨атя⟩: «Разве я могу?» (т. е. после предательства).

— Можете: вы будете во всю жизнь несчастливы! Во всю жизнь!

Катерина Ив⟨ановна⟩ сдвинула брови и не возра⟨зила⟩.

А⟨леша⟩: «Он там помещен отдельно. Мы выпросили, все выпросили».

К⟨атя⟩: «Я приду.[3] Но не знаю — войду ли? Мне тяжело».

— Сейчас?

— Теперь, теперь.

— Вы меня вдруг. Я не могу оставить больного.

— На одну минуту можете (вы там *ни с кем* не встретитесь).[4]

Алеша: «Сжальтесь».

К⟨атя⟩: «Вы надо мной сжальтесь, — она говорила,[5] — он всю жизнь надо мной».

Ал⟨еша⟩: «Я пойду скажу, что вы придете».

К⟨атя⟩: «Нет, не говорите. Лучше не говорите.[6] Я, может

---

[1] С пересыльного этапа. *вписано.*

[2] *Над строкой:* Об Иване

[3] *Незачеркнутый вариант:* пойду

[4] — Сейчас? ∾ не встретитесь). *вписано.*

[5] она говорила *вписано.*

[6] Лучше не говорите. *вписано.*

быть, не войду. Алексей Ф⟨едорови⟩ч, Алеша, я пойду, но, может быть, не вой⟨ду⟩».

Алеша пошел. Описание, где Митя. *У Мити.*

(В остроге [1] на женском пересыльном дворе.)

Митя. Об Алеше: [2] «Придет ли?» А⟨леша⟩: «Может быть».

Груша там в женской, у смотрителя. Она знает. Не ревнует. Бить будут. Не готов.[3] Катя. Зовет Алешу, чтоб тот вышел. Вошла: «На всю жизнь в моей душе язвой останешься».

— Ведь я знала, что простишь. Мне тяжело, что простишь.

Груша нечаянно: «Знаю, кого ты любишь, виновата. Спаси его, матушка!»

Катя Груше в дверях: «Простите меня».[4]

— Только чтоб его-то спасла. Матушка, его только спаси. Злы мы, мать, обе злы. Где нам простить. Его только спаси, и ногу тебе поцелую.

— А простить не хочешь, — крикнул Митя с упреком.

К⟨атя⟩: «Довольно! Будь покойна, спасу!»

М⟨итя⟩: «Она у тебя прощения просила».

Гру⟨шенька⟩: «Где ей! Язык, уста ее говорили, а не сердце! Спасет тебя, всё прощу, тогда всё прощу. А теперь ногу поцеловала змее».

Митя: «Алеша, беги за ней!»

К⟨атя⟩: «Пойдемте, я туда цветов послала. Лиза послала тоже. Не говорите больше».[5] ⟨198⟩

---

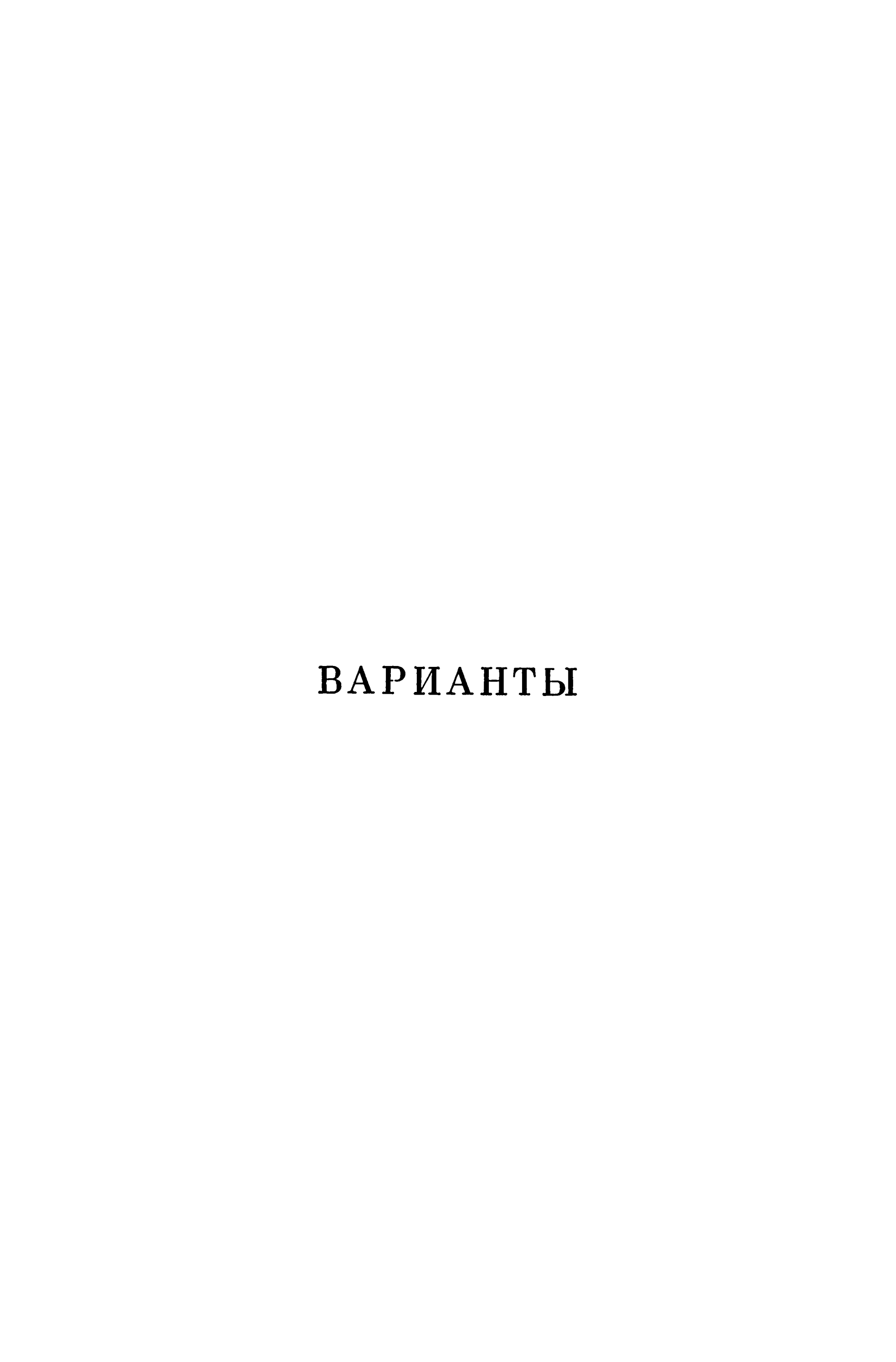
[1] *Над строкой:* Трифон. О Груше с Алешей.

[2] *В рукописи, очевидно, описка, нужно:* Катерине Ивановне

[3] Она знает. ∾ Не готов. *вписано.*

[4] *Далее было:* Катя, быстро уходя: «Не простила. Потом простит, после. Я свое сделала». — «Только чтоб его-то спасли».

[5] Катя Груше ∾ Не говорите больше». *вписано на полях.*



ВАРИАНТЫ

БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ

(Том XIV, стр. 5; том XV, стр. 5)

Варианты чернового автографа (ЧА)

*Стр. 196.**

29 для нас мальчик / для нас теперь мальчик◇

32–33 прокричали ∾ лицами / прокричали мальчики [с] своими звонкими светлыми голосами [и] с радостными умильными улыбками на лицах

40 — Ах, деточки ∾ друзья / — Но пора воротиться, — предложил Алеша. — Господа, милые, в последний раз

41–42 и правдивое! / и великое. ◇

43 восторженно повторили мальчики / кричали мальчики◇

43 *После:* мальчики. — Только помните, что хорошее вдруг не делается. Что вдруг делается, то, может быть, и красиво и прекрасно, но *никогда* так не будет велико и возвышенно, как то, что сделано терпеливо, с усилием, с убеждением. А вот чтоб чисты были убеждения, и не забудем воспоминания наши! Теперь вы над тем, что я говорю, не смеетесь, а, напротив, даже растрогались, а потом, может быть, *когда-нибудь* усмехнетесь, но уверяю вас, господа, что как усмехнетесь, так тотчас же в сердце скажете: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться...»

— Не засмеемся, клянусь, что не засмеюсь! — воскликнул Коля.

— Да, да, и мы, и мы! — заволновались мальчики.

44 воскликнул неудержимо / воскликнул◇

47 сверкали на глазах слезинки / сверкали слезинки◇

48 восторженно провозгласил / восторженно крикнул◇

Стр. 197.

1 *После:* мертвому мальчику! — Хорошему мальчику, милому мальчику!

1–2 с чувством прибавил / с чувством возгласил◇

3 снова / тотчас же

4 крикнул Коля / крикнул [Смур ⟨ов⟩] Карташов

9 ответил Алеша / воскликнул Алеша

10 *После:* у Коли. — Да, да! — отозвалось несколько голосков. Но и промолчавшие имели такой важный и проникновенный вид, что, может быть, еще лучше и сильнее почувствовали, чем те, которые прокричали.◇

11 *После:* и пойдемте — *а.* в жизнь, и начнем опять с Илюшечки, с Снегирева, но не верьте, деточки, не верьте, милые господа, что жизнь тя-

---

* *Здесь и ниже указаны страницы XV тома наст. изд.*

жела и страшна. Были бы только сердца мужественны, и всё преодолеется. Пойдемте же [рука в руку], вот мы теперь идем рука в руку... *б. Начато:* пойдемте. Коля, не смейтесь над поминками: это вера в

11–13 пойдемте ∾ Ну пойдемте же! / пойдем его поминать [обычай]. Не смейтесь, Коля, что блины будем есть. [Это] Ну пойдемте, пойдемте. ◇

14 теперь и идем / теперь идем ◇

15 *После:* рука в руку! — *а. Начато:* Ура Карамазову! — воскликнул *б.* прокричал Коля ◇

16 восторженно прокричал Коля / воскликнул Коля ◇

16–17 еще раз ∾ восклицание / еще раз [все] подхватили его восклицание все мальчики ◇

Варианты наборной рукописи (НР)

*Стр. 458.**

13 из всех я самый / что я самый

Стр. 461.

3 свирепо отрезал вдруг Мите / крикнул вдруг на Митю

11 сильно / крепко

18–19 раздался вдруг голос Калганова, вдруг откуда-то выскочившего / прокричал вдруг Калганов, вдруг откудова-то выскочивший

19–20 Подбежав к телеге, он протянул / и, подбежав к телеге, протянул

22–23 горячо воскликнул он / воскликнул он задрожавшим голосом

27 точно был еще маленький мальчик / *а.* как мальчик *б.* совсем как мальчик

27 а не двадцатилетний уже / а не двадцатилетний

28 он поверил / он верил

31 в ту минуту на свете / в эту минуту

32 восклицал огорченный юноша / восклицал бедный, на заре своих дней огорченный юноша

32 *После:* огорченный юноша. — Конец третьей части. Ф. Достоевский. ◇

Варианты корректуры «Русского вестника» (К)

*Стр. 179.***

18 Варвинский / Первинский ◇

Стр. 182.

44 вырвалось у Алеши / вырвалось и у Алеши ◇

Стр. 183.

31 врач Варвинский / врач Первинский ◇

34–35 Варвинский / Первинский ◇

43 Варвинского/Первинского ◇

Стр. 189.

34 Илюша / Илюшечка ***

---

* *Здесь и ниже указаны страницы XIV тома наст. изд.*

** *Здесь и ниже указаны страницы XV тома наст. изд.*

*** *Последующие варианты, совпадающие с вариантами прижизненных изданий, см. ниже, на стр. 387, где они обозначены К.*

*Стр. 5.**

1–2 *Текста:* Посвящается Анне Григорьевне Достоевской. — *нет.*
9–10 Роман в четырех частях с эпилогом. / Роман.

Стр. 8.

16 в два или три / в два или даже в три

Стр. 9.

35 эмансипацию / эманципацию

Стр. 11.

32 переменил в четвертый раз / переменил уже в четвертый раз

Стр. 19.

12 в самой природе / с самой природы
25 а смотрит как будто / а смотрит так, как будто

Стр. 20.

22 горько почувствовавшему / горько прочувствовавшему
44–45 тягости, а, может быть / тягости, а даже, может быть
47 целый год, как он вдруг / целый год, когда он вдруг

Стр. 21.

22 он сначала / он там сначала

Стр. 22.

16–17 не вымолвив ни слова / не вымолвив слова
32–33 глубоких морщинок / грубых морщинок

Стр. 23.

19 так их там называют / так их там и называют
43 кто же меня тогда крючьями-то потащит / кто же меня-то тогда крючьями потащит

Стр. 24.

42 доселе лишь бывший ему неизвестным / доселе ему лишь бывший неизвестным

Стр. 25.

20–21 не понимают эти юноши / не понимают часто эти юноши
40 невозможным жить по-прежнему / невозможным оставаться жить по-прежнему
46–47 к которому его протягивала его кликуша-мать / к которому протягивала его кликуша-мать

Стр. 37.

24 пятьдесят лет / пятьдесят пять лет

Стр. 40.

20 я поверил, что даже / я поверил тому, что даже

Стр. 45.

26–27 без трех только месяцев / без двух только месяцев

---

* *Здесь и ниже указаны страницы XIV тома наст. изд.*

Стр. 52.
13 всего этого нет / всего этого ничего нет

Стр. 84.
17–18 сегодня же переезжай / сегодня же переезжать

Стр. 88.
29 Была весна, он все три дня / Была весна, и он все три дня

Стр. 93.
39 сегодня же, может, отпустит / сегодня же может отпустить

Стр. 95.
43 чего ты шепчешь? / чего же ты шепчешь?

Стр. 105.
23 в ту же секунду / в ту же самую секунду

Стр. 106.
11 глупость была страшная / глупость была бы страшная

Стр. 110.
24 как животное / как низкое животное

Стр. 111.
33 написано / надписано

Стр. 112.
3 сказал / рассказал

Стр. 114.
35 на втором или третьем / на втором иль на третьем

Стр. 129.
42–43 он бы так и убил / он бы его так и убил

Стр. 132.
40 пошел / вошел

Стр. 133.
35–36 очень сконфузился / очень конфузится

Стр. 136.
10 *Слов:* Это страсть, а не любовь. — *нет.*

Стр. 139.
24 проговорила / прошептала

Стр. 141.
14 сжималось от боли / сжималось до боли
44 и вот теперь... сейчас... / и вот теперь... здесь... сейчас...

Стр. 145.
17 распечатывал их прежде / распечатывал и прочитывал их прежде

Стр. 147.
23–24 *После:* засыпая безмятежным сном, Алеша, — Конец первой части.

Стр. 149.
12 за всех и за вся / за всех и вся

Стр. 150.
[5] сообщила / сообщала

Стр. 159.
[17] *После:* не признаю совсем. — Не знаю я его совсем
[32] Если все / Если бы все

Стр. 160.
[38] одни в курточках / одни просто в курточках

Стр. 172.
[32] средство для его счастия / средство к его счастию

Стр. 176.
[9–10] *После:* Несправедливо и злобно... — Он должен опять прийти сюда, воротиться, воротиться...

Стр. 178.
[16] каким молодым человеком / каким молодым, молодым человеком

Стр. 180.
[37] осматривала / осмотрела

Стр. 185.
[26] паяцем / паясом

Стр. 186.
[34] не убьет / не убьет-с

Стр. 189.
[1] мог бы сейчас убить / мог бы тебя сейчас убить

Стр. 191.
[34] без посуды и воды-с? / без посуды и без воды-с?

Стр. 205.
[31] что бунтовать могу / что я бунтовать могу

Стр. 209.
[47] Алеша / Алешка

Стр. 210.
[24] жизнь полюбить / жить полюбить

Стр. 211.
[24] все эти три месяца / все эти месяцы

Стр. 215.
[42–43] с надрывом лжи / с надрывом, с надрывом лжп

Стр. 220.
[36] ее калом / ее же калом

Стр. 222.
[23] *После:* что виновных нет — и что всё прямо и просто одно из другого выходит

Стр. 227.
[25] в гробу / во гробу

Стр. 230.
16 прошло / прошли

Стр. 234.
2 сама же всегда / сама же себе всегда

Стр. 243.
18 всегда одинаково неясных / всегда, однако, неясных

Стр. 247.
24 — А когда я сам / — А коли я сам

Стр. 252.
39 не дело / не дела

Стр. 253.
17 аль правду говорит / аль вправду говорит

Стр. 263.
12 зато и меня / да зато и меня
22 велел жить / велел мне жить

Стр. 265.
15 в роды и роды / в роды и в роды

Стр. 267.
24–25 *Слов:* собирая на монастырь подаяние — *нет.*

Стр. 275.
7–8 Только об этом и думаю. / Только ведь об этом и думаю
16–17 и удивительно / и умилительно

Стр. 277.
2 он три дня / он дня три

Стр. 279.
23 выйти пред народом / выйти пред народ

Стр. 281.
6 прочел / прочитал

Стр. 282.
8 записную книжку / записную ее книжку

Стр. 286.
7 десятилетних даже детей / девятилетних даже детей

Стр. 295.
1 *Заголовка:* Часть третья. — *нет.*
22–23 был иеросхимонах / был иеросхимонахом

Стр. 299.
41–42 но уж, видно / но уж так, видно
46 у ворот скитских / у врат скитских

Стр. 300.
12 то, что давно / то, что уже давно
20 к костям приросшее / к костям присохшее

Стр. 301.
31 сие / всё сие

Стр. 302.
5 в ужасе / во ужасе

Стр. 303.
32 потерпел / претерпел

Стр. 311.
42–43 эмансипироваться / эманципироваться

Стр. 313.
41 записываю / вписываю

Стр. 316.
26 эстафет / естафет
27 эстафета / естафета

Стр. 322.
34 Ракитка / Ракита

Стр. 323.
41 эстафет / естафет

Стр. 331.
8 не анализирую / не анализую
15 всё пропадет / всё пропадает
34 что лучше даже / что лучше ему даже

Стр. 343.
3 и в душе его / и на душе его
18 своей «эстафеты» / своей «естафеты»

Стр. 344.
5 истинный ревнивец / истый ревнивец

Стр. 353.
3 обходившим кругом сада / обходившим кругом сад
28 Переждать теперь надобно / Переждать теперь надо

Стр. 357.
2 Внезапное решение / Часть II. Книга восьмая. Митя. V. Внезапное решение

Стр. 360.
35 и красного / да и красного

Стр. 379.
17–18 и глубоким / и с глубоким

Стр. 380.
43 Митя же был / Митя уже был

Стр. 389.
16 всплеснув руками / сплеснув руками

Стр. 397.
28–29 скажите мне все / скажите вы мне всё

Стр. 398.
[45] выговорила / выговаривала

Стр. 401.
[4] Книга девятая / Часть третья. Книга девятая.

Стр. 403.
[37] как решились / как вы решились

Стр. 405.
[24] может быть, не лишнее / может быть, не лишне

Стр. 406.
[36] три года / лишь три года

Стр. 410.
[32–33] прерывающимся голосом / прерывавшимся голосом
[37–38] подняли на полу / подняли с полу

Стр. 421.
[6] как плюнул / как плюнул, куда плюнул

Стр. 438.
[15–16] и довольно / и довольно, довольно

Стр. 451.
[1] Митрий Федорович / Митрий Федорыч

Стр. 455.
[8] или как-нибудь / али как-нибудь

Стр. 456.
[19] А при выезде / А при въезде
[44] не кормят / не накормят

Стр. 457.
[44–45] а копию сего постановления / и копию сего постановления

Стр. 461.
[29] какие же после того / какие же это после того
[32] *После:* восклицал огорченный юноша. — Конец третьей части

Стр. 462.
[14] почти четырнадцать лет / почти тринадцать лет
[21] все четырнадцать лет / все тринадцать лет

Стр. 463.
[39–40] во время вакаций / во время ваканций

Стр. 467.
[39] с тринадцатилетними / с двенадцатилетними

Стр. 471.
[29] лет одиннадцати / лет десяти

Стр. 472.
[21] что у меня / что это у меня

Стр. 477.
[24] Вишь ведь ты, да ты / Вишь ведь, да ты

Стр. 479.

31 А они его пуще. / А они-то его пуще.
33 это уж я не люблю / этого уж я не люблю
33 тотчас / тотчас же

Стр. 482.

31 и вся история / и вся эта история

Стр. 483.

40–41 То есть четырнадцатый ∾ весьма скоро. / То есть четырнадцатый, весьма скоро четырнадцать, весьма скоро.

Стр. 493.

16 тотчас / тотчас же

Стр. 498.

34 принадлежавшая / принадлежащая

Стр. 499.

18 доктор / этот доктор

Стр. 500.

23 только тринадцать лет / только двенадцать лет
25–26 не тринадцать ∾ четырнадцать / не двенадцать, а тринадцать, через две недели тринадцать

*Стр. 5.**

7 к Грушеньке / ко Грушеньке

Стр. 6.

47 даже и необходимым / даже и необходим

Стр. 7.

44–45 Ты вот говоришь, что он раздражен / Ты вот говоришь, он раздражен

Стр. 15.

42 с ним встречаюсь / с ним теперь встречаюсь

Стр. 16.

13 два месяца тому назад / два месяца тому

Стр. 28.

10 да и все подлецы / да все подлецы

Стр. 48.

8 всю ночь / всю ту ночь

Стр. 51.

45 Мыслей ваших тогдашних не знал-с / Мыслей ваших я тогдашних не знал-с

Стр. 52.

16 а сам / а я сам

Стр. 66.

8–9 если примерно / если бы примерно

---

* *Здесь и ниже указаны страницы XV тома наст. изд.*

Стр. 89.
9 никто уже не поверит / никто не поверит

Стр. 91.
11–12 не к рассматривающемуся делу / не к рассматривавшемуся делу

Стр. 101.
42 Нашим-то вшивым мужикам / Нашим-то, нашим-то вшивым мужикам

Стр. 108.
28 в невинности / в невиновности

Стр. 123.
14 заранее / заране

Стр. 128.
47–48 тут самоотверженые / тут самопожертвование

Стр. 129.
14 вперед / впредь

Стр. 133.
42 к чему он кричал / к чему же он кричал

Стр. 138.
46–47 то уже ни за что бы / то ни за что бы

Стр. 146.
9 Стало быть, несколько часов / Стало, было несколько часов

Стр. 147.
14 для ответа / для отпора

Стр. 153.
16 уже не первый раз / уже не в первый раз

Стр. 168.
39 при благородном / при благодарном

Стр. 172.
12 ни на одну минуту / ни на минуту
18 толкнул его / толкнул бы его

Стр. 175.
46 что убил отца / что я убил отца

Стр. 176.
8–9 Но не описываю подробности. / Но не описываю в подробности.

Стр. 182.
18 Или, по-вашему / Или, и по-вашему
44 вырвалось у Алеши / вырвалось и у Алеши

Стр. 184.
9 с страданием / со страданием

Стр. 189.
30 товарищей Илюшиных / товарищей Илюшечки
34 Илюша / Илюшечка

Стр. 190.

3 *После:* воскликнул Коля. — Он счастлив! (*К*)
18 В голубом / В голубеньком (*К*)
19 гробе / гробике (*К*)
22 руки / ручки (*К*)
23 вложили / положили (*К*)
32 мертвого мальчика / мертвого Илюшечку (*К*)
33 к гробу / к гробику (*К*)
38 на Илюшу / на Илюшечку (*К*)
44 в руках Илюши / в ручках Илюшечки (*К*)
45 цветок / цветочек (*К*)
46 за цветком / за цветочком (*К*)
47–48 воскликнул Снегирев / воскликнул папочка (*К*)

Стр. 191.

6 маме / мамочке (*К*)
6 Бедная помешанная / Бедная мамочка (*К*)
12 у камня / у камушка (*К*)
12 Илюша / Илюшечка (*К*)
14 у камня / у камушка (*К*)
23 мимо матери / мимо мамочки (*К*)
27 над гробом / над гробиком (*К*)
29 Мама / Мамочка (*К*)
32 Гроб / Гробик (*К*)
47 один цветок / один цветочек (*К*)

Стр. 192.

14 гроб / гроб Илюшечки (*К*)
22 вставлять ее / вставлять ее снова (*К*)
33 *После:* громко всхлипывая. — Плакали и все мальчики. (*К*)
38–39 несколько цветков / несколько цветочков (*К*)
39 на них / на цветки (*К*)
45–46 над открытою могилой / над открытою могилкой (*К*)
48 могилу / могилку (*К*)

Стр. 193.

9 свои цветы / свои цветочки (*К*)
34 *После:* бормотал Коля. — сам, однако, весь в слезах (*К*)
42–43 завопил жене ∾ поссорился / завопил «мамочке» (*К*)

Стр. 194.

7 завопила помешанная / завопила и «мамочка» (*К*)
20 с матерью / с «мамочкой» (*К*)
37 Илюшин камень / Илюшин камушек (*К*)
39 когда-то / тогда (*К*)
43 светлые лица / светлые личики (*К*)

Стр. 195.

22 милые лица / милые личики (*К*)
41 Илюшу / Илюшечку (*К*)
43 у этого камня / у камушка (*К*)
45 *После:* и хорош — и прекрасен (*К*)
48 Пусть усмехнется / Пусть и усмехнется (*К*)

Стр. 196.

33 с умиленными лицами / с радостными умиленными лицами (*К*)

Пометы Достоевского на печатном оттиске романа из «Русского вестника» (часть вторая, книга пятая, глава пятая), сделанные для чтения на литературном утре 30 декабря 1879 г.

Стр. 224. *

35–39 *Текст:* Великий инквизитор ∾ я сочинитель! — *отчеркнут в начале и конце черным карандашом.*

Стр. 225—226.

6–15 *Текст:* У нас в Москве ∾ в их «житиях». — *перечеркнут в виде буквы Z зеленым карандашом.*

Стр. 226.

42–44 *Фраза:* Это могло ∾ узнают его. — *отчеркнута в начале и конце чернилами.*[1]

Стр. 228.

18–44 *Текст:* — Я не совсем понимаю ∾ читал у их богословов. — *отчеркнут в начале и конце.*

44 *Перед:* Имеешь ли ты право — *вписано на полях:* Скажи

45–46 *Текст:* спрашивает его ∾ ему за него. — *отчеркнут в начале и конце.*

Стр. 229.

7–8 *Слова:* прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой — *отчеркнуты в начале и конце.*

9 *Слова:* продолжает он, строго смотря на него — *отчеркнуты в начале и конце.*

18–35 *Текст:* — Я опять не понимаю ∾ надо высказать. — *отчеркнут в начале и конце.*

37 *Слова:* продолжает старик — *отчеркнуты в начале и конце.*

41 *Рядом со словами:* А между тем если было когда-нибудь — *на полях помета крестом.*

Стр. 229—230.

41–19 *Текст:* А между тем если ∾ ничего нельзя более. — *отчеркнут в начале и конце.*

Стр. 230.

32 *После слов:* Ты возразил — *помета крестом.*

Стр. 231.

22 они-то станут / эти-то станут◇

---

* *Здесь и ниже указаны страницы XIV тома наст. изд.*

1 *Все отмеченные ниже пометы и вставки сделаны чернилами.*

21 *После:* выносить свободу — *вписано на полях:* которой он⟨и⟩ испугал⟨ись⟩

29–30 *Рядом со словами:* ты отверг ∾ выше всего. — *на полях помета крестом.*

Стр. 232.

4–5 *Слова:* знамя хлеба земного ∾ хлеба небесного. — *отчеркнуты в начале и конце; рядом на полях помета крестом.*

11–12 *Слова:* ибо ничего нет бесспорнее хлеба — *подчеркнуты.*

37 *Рядом со словами:* Они воскликнут наконец, что правда не в тебе — *вписано на полях:* в том и добр⟨о⟩, что

39 *Слова:* забот и — *подчеркнуты.*

Стр. 237—239.

16–20 *Текст:* Иван остановился ∾ кончить так: когда — *отчеркнут в начале и конце.*

Стр. 239.

20–21 то некоторое время / и некоторое время◇

23 *Рядом со словами:* смотря ему прямо в глаза — *вписано на полях:* и⟨н⟩квизитор ⟨*нрзб.*⟩

25–26 приближается к старику / приближается к нему◇

27 *Слова:* Вот и весь ответ. — *подчеркнуты.*

30–33 Пленник уходит. ∾ в прежней идее. / Пленник уходит, и хоть поцелуй горит на сердце несчастного старика, но он гордо остается в прежнем своем убеждении.◇

Пометы Достоевского на печатном оттиске романа из «Русского вестника» (часть четвертая, книга десятая), сделанные для чтения на литературном утре 27 апреля 1880 г.

Стр. 462.

[21] лет без / лет его без

Стр. 463.

[13-14] в беспорядок, бунт и в беззаконие / в беспорядок и в беззаконие◇
[43-45] *Текст:* (той самой ∾ в Москву). — *зачеркнут.*

Стр. 464.

[3] от двенадцати до пятнадцати лет / от одиннадцати до четырнадцати лет
[18] эти пятнадцатилетние / эти четырнадцатилетние

Стр. 465.

[44] *Фраза:* Но об этом как-нибудь после. — *зачеркнута.*

Стр. 466.

[9] если при этом находился / если только при этом находился◇
[24-25] *Рядом с текстом:* уже читателю ∾ штабс-капитана Снегирева — *вписано на полях:* маленький, десятилетний мальчик Илюша
[25-26] ножичком / ножиком◇

Стр. 466—467.

[37-18] *Текст:* В доме вдовы ∾ оставшихся одинешенькими. — *обведен чертой.*

Стр. 467—468.

[26-4] *Текст:* Но если что ∾ и не входил. — *обведен чертой.*

Стр. 468.

[6-8] *Текст:* разумеется взяв ∾ от страха плакать. — *зачеркнут.*

Стр. 468—471.

[20-22] *Текст:* Перейдя сени ∾ он мог уйти. — *обведен чертой.*

Стр. 471.

23 он огляделся / Коля огляделся ◇
29 лет одиннадцати / лет десяти

Стр. 473.

1–14 *Текст:* — Вовсе не Карамазов ∽ и разъяснить. — *обведен чертой.*

Стр. 473—474.

47–5 *Текст:* — И заметил ты ∽ главный двигатель. — *обведен чертой.*

Стр. 475—477.

11–4 *Текст:* Между другими ∽ крику будет. — *обведен чертой.*

Стр. 475.

32 Коля, остановясь и продолжая / Коля, опять остановясь и продолжая ◇

Стр. 477.

4 *После:* во всех слоях общества, — *вписано на полях:* заметил Коля Смуров /

Стр. 478.

4 с ним / с Алексеем Карамазовым ◇ *вписано между строками.*
18 *После:* он и подумает — *вписано на полях:* что я и чувствительный

Стр. 479.

36–37 *Фраза:* У меня и теперь ∽ меня задержали. — *зачеркнута.*

Стр. 480.

38–40 *Текст:* (вот этого самого ∽ был предан) — *зачеркнут*

Стр. 482.

8 *После:* мочалка-то? — *вписано на полях:* за бороду-то его вытащил из трактира.

Стр. 482—483.

45–22 *Текст:* — Скажите, с какой же ∽ ту самую Жучку. — *обведен чертой.*

Стр. 483.

39 тринадцатый год / двенадцатый год
40–41 — То есть четырнадцатый ∽ весьма скоро. / — То есть тринадцатый, весьма скоро тринадцать.

Стр. 483—484.

44–23 *Текст:* и наконец ... про меня ∽ пожав ему руку. — *обведен чертой; рядом вписано:* Спрашивайте, каковы мои убеждения, а не то, какой мне год.

Стр. 485—487.

11–34 *Текст:* Так думал и умненький ∽ было полное счастие! — *обведен чертой.*

Стр. 487—488.

43–1 а затем ∽ такой же поклон. / он, впрочем, знал, что она полоумная. ◇ *вписано на полях.*

Стр. 488.

[4-5] прочие-то папин гости / прочие-то мальчики◇
[14] *После:* а вот тот на том ... — *вписано на полях:* ответила бедная полоумная.◇
[22] что Илюша / что [бедный ⟨*нрзб.*⟩] мальчик◇ *вписано на полях.*

Стр. 490.

[44] — Это... Жучка! / — Да это... Жучка!◇

Стр. 492.

[38] *После:* протянулся на постельке — *вписано на полях:* заплакал
[39] *После:* шерсти свое лицо. — *пометка на полях:* До сих пор. — *и черта, обозначающая конец отрывка, прочитанного на литературном утре.*



ПРИМЕЧАНИЯ

В пятнадцатом томе Полного собрания сочинений завершается печатание романа «Братья Карамазовы». Кроме того, здесь помещены: а) подготовительные рукописные материалы к роману; б) варианты отрывков его черновой и наборной рукописей, корректуры («Эпилог») и первой (журнальной) публикации; в) вступительное слово, предпосланное автором 30 декабря 1879 г. литературному чтению главы «Великий инквизитор»; г) пометы на журнальном тексте этой главы (кн. V, гл. V) и начальных глав книги «Мальчики» (кн. X, гл. I—V), связанные с публичным чтением их в 1879—1880 гг. на литературных утрах в Петербурге.

Известные нам и полностью печатающиеся в данном томе рукописные материалы к «Братьям Карамазовым», впервые частично опубликованные на немецком языке В. Л. Комаровичем (1928) и более полно на русском А. С. Долининым (при участии Е. Н. Коншиной и Ю. Н. Верховского (1935)), составляют лишь часть рукописей к роману, хранившихся после смерти писателя у его вдовы А. Г. Достоевской. Местонахождение другой части этих материалов, не обнаруженной в 1922 г. при вскрытии ящиков с бумагами писателя правительственной комиссией, до сих пор остается неизвестным (см. об этом: Документы по истории литературы и общественности. Вып. I. Ф. М. Достоевский. Центрархив, М., 1922, стр. IV; В. С. Н е ч а е в а. Рукописное наследие Ф. М. Достоевского. В кн.: *Описание,* стр. 6—8). Главная редакция Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского пользуется настоящим случаем, чтобы напомнить о необходимости продолжить в различных странах поиски этих материалов, а также обращается ко всем лицам, которым могут быть известны места их хранения или их судьба, с просьбой сообщить имеющиеся в распоряжении указанных лиц сведения.

Пятнадцатым томом хронологически завершается первая половина Полного собрания сочинений. В ней собраны художественные произведения Достоевского, кроме подготовительных материалов к роману «Подросток», а также очерков и повестей, вошедших в состав «Дневника писателя» 1873—1877 гг. Рукописные материалы к «Подростку», наброски и планы незавершенных произведений второй половины 1870-х годов составляют тома XVI и XVII. «Дневник писателя» печатается по плану настоящего издания в целостном виде, в сопровождении рукописных подготовительных материалов к нему, в томах публицистики.

Текст романа «Братья Карамазовы» и варианты его журнальной редакции подготовила В. Е. Ветловская; рукописные материалы к роману, авторские

пометы на печатных оттисках романа из «Русского вестника» к чтению главы «Великий инквизитор» и отрывков из книги «Мальчики» — Е. И. Кийко. Примечания составили: Г. М. Фридлендер (вступительная заметка, §§ 1, 2, 4. 5, 7, 8, 10, участие в §§ 12, 14); Е. И. Кийко (§ 3, участие в §§ 4 и 8; реальный комментарий к подготовительным материалам); Л. М. Рейнус (§ 6); В. Е. Ветловская (§§ 9, 11; реальный комментарий к роману); А. О. Крыжановский (стр. 479—480 в § 9); А. И. Батюто (§ 12); А. А. Долинин (§ 13; § 14: зарубежные инсценировки); Г. В. Степанова (§ 14: русские инсценировки).

В редакционно-технической работе над томом, осуществлявшейся Г. В. Степановой, принимала участие К. А. Кумпан.

Редактор тома — Г. М. Фридлендер.

БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ

(Том XIV, стр. 5; том XV, стр. 5)

Источники текста

ЧН — Черновые наброски к книгам первой—двенадцатой и «Эпилогу». Записи на разрозненных листах (199 стр.). Апрель 1878 г.—октябрь 1880 г. Хранятся: *ГБЛ*, ф. 93. I. 2.1|1—13, 1 15—23, 3.15 и 6.41; *ИРЛИ*, ф. 100, № 29444. ССХб. 2, № 29495. ССХб.16, Р. III, оп. 2, № 1026; *ЦГАЛИ*, ф. 212.I.60; см.: *Описание*, стр. 37—48, и наст. том, стр. 199—374. Опубликованы: *Д*, *Материалы и исследования*, стр. 81—346; *ЛН*, т. 86, стр. 97—100. Наброски *ГБЛ* (под № 6.41), *ЦГАЛИ* и *ИРЛИ* (под № 29495) публикуются впервые.

С — Список отрывка главы V книги пятой рукой А. Г. Достоевской (с исправлениями Достоевского). Хранится: *ИРЛИ*, ф. 100, № 29444. ССХб.2(11).

ЧА — Черновой автограф конца «Эпилога» («...мы теперь всегда, всю жизнь вспоминать будем ∾ подхватили его восклицание...»). Апрель 1880 г. Факсимиле в кн.: Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в шести томах, т. I. СПб., 1886.

НР — Наборная рукопись начала и конца главы IX книги девятой. Фрагменты: 1) «Глава IX. Увезли Митю. Когда подписан был протокол ∾ обещал исправиться и каждый день творил всё те же пакости. Понимаю». 2 стр. Декабрь 1879 г.—начало января 1880 г. Хранится: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 6, № 319; см.: *Описание*, стр. 49. Публикуется впервые; 2) «...третьего дня дал четвертак ∾ конец третьей части: Ф. Достоевский». 2 стр. Декабрь 1879 г.—начало января 1880 г. Хранится: *ГБЛ*, ф. 93. I.2. 1|14; см.: *Описание*, стр. 44. Опубликован: *Д*, *Материалы и исследования*, стр. 242—244.

К — Корректура в гранках «Эпилога» («Эпилог. I. Проекты спасти Митю ∾ это лишь от легкомыслия; но уверяю вас, господа, что»). 14 полос. Ноябрь 1880 г. Хранится: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 6, № 160 и ф. 100, № 29447. ССХб. 3 (13-я полоса); см.: *Описание*, стр. 49. Публикуется впервые.

РВ — 1879, №№ 1—2, 4—6, 8—11; 1880, №№ 1, 4, 7—11.

$РВ_1$ — Пометы Достоевского на печатном оттиске романа из «Русского вестника» (1879, № 6, стр. 735—780), сделанные для чтения на литературном утре 30 декабря 1879 г. Хранится: *ГБЛ*, ф. 93. I.2.3. Опубликованы: *Описание*, стр. 49—50.

ВС — Автограф вступительного слова перед чтением главы «Великий инквизитор» (см.: *$РВ_1$*) на литературном утре 30 декабря 1879 г. Хранится: *ГБЛ*, ф. 93. I.2.2; см.: *Описание*, стр. 49. Опубликован: *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 350—351.

$РВ_2$ — Пометы Достоевского на печатном оттиске романа из «Русского вестника» (1880, № 4, стр. 566—614), сделанные для чтения на лите-

ратурном утре 27 апреля 1880 г. Хранится: *ГБЛ*, ф. 93. I. 2.4. Опубликованы: *Описание*, стр. 51—52.

1881 — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Роман в четырех частях с эпилогом. Тт. I (чч. 1. 2) — II (чч. 3, 4. Эпилог). СПб., 1881.

Впервые напечатано: *РВ*, 1879, №№ 1—2, 4—6, 8—11; 1880, №№ 1, 4, 7—11, с подписью: Ф. Достоевский.

Текст романа печатается по изданию *1881* с устранением явных опечаток и со следующими исправлениями по *РВ* и *НР*: [1]

Стр. 13, * *строки 3—4:* «не злой» вместо «злой» (по контексту).

Стр. 17, строка 31: «написать предисловие» вместо «выписать предисловие».

Стр. 22, строки 13—14: «Алеша не выказал» вместо «Алеша не высказал» (по контексту).

Стр. 26, строки 36—37: «в свою душу и в свою волю» вместо «в свою душу и свою волю».

Стр. 38, строки 9—10: «Вы видите пред собою шута, шута воистину! Так и рекомендуюсь» вместо «Вы видите пред собою шута воистину! Так и рекомендуюсь».

Стр. 41, строка 48: «сын лжи, и того будет довольно» вместо «сын лжи и до того будет довольно» (по контексту).

Стр. 84, строка 5: «да не смутишися» вместо «да не смутишася» (по контексту).

Стр. 92, строки 5—6: «странная молва» вместо «страшная молва».

Стр. 112, строка 5: «в Чермашню посылает» вместо «в Чермашню посылал».

Стр. 143, строка 16: «да муж был уличен» вместо «да муж уличен».

Стр. 143, строка 33: «страшно вдруг нахмурился» вместо «странно вдруг нахмурился».

Стр. 145, строка 35: «На то я и благословил» вместо «На то и я благословил».

Стр. 161, строки 8—9: «школьников, очевидно его же товарищей, с ним же вышедших сейчас из школы» вместо «школьников из школы».

Стр. 170, строки 40—41: «что каждому из них пожелать» вместо «что каждому пожелать».

Стр. 172, строки 33—34: «и это на всю жизнь, на всю жизнь, и чтоб он видел это впредь всю жизнь свою!» вместо «и это на всю жизнь свою».

Стр. 199, строка 15: «душу его анатомируем» вместо «душу анатомируем».

Стр. 247, строка 33: «уж он-то его не пустит» вместо «уж он-то не пустит».

Стр. 259, строка 39: «но и тебя люблю» вместо «но я тебя люблю».

Стр. 276, строки 11—12: «из уединения на подвиг» вместо «из единения на подвиг» (по контексту).

Стр. 297, строка 26: «снова заменил отца Иосифа» вместо «снова заметил отца Иосифа» (по контексту).

Стр. 303, строка 6: «Поган есмь» вместо «Погань есмь».

Стр. 310, строки 21—22: «о которой будет сказано ниже» вместо «о которой сказано ниже».

Стр. 314, строка 16: «у старика посидела» вместо «у старика просидела».

Стр. 327, строка 9: «вчера сидел с ними» вместо «вчера сидел с ним».

Стр. 329, строка 33: «Вот почему ему и могло казаться» вместо «Вот почему и могло казаться».

Стр. 366, строка 40: «хотя и восторжен» вместо «хотя и осторожен».

Стр. 390, строка 16: «до сих пор сидели» вместо «до сих сидели».

Стр. 422, строка 10: «Эк у вас времени-то» вместо «Эк у нас времени-то».

Стр. 424, строки 24—25: «Стыдно, господа, passons, а то, клянусь, я пе-

---

[1] Исправления по *НР* отмечены в скобках.

* *Здесь и ниже указаны страницы XIV тома наст. изд.*

рестану» вместо «Стыдно, господа, passons, а то, клянусь, passons, я перестану».

Стр. 452, строка 36: «выяснялось» вместо «выяснилось».

Стр. 457, строка 10: «к новому зовущему свету» вместо «к какому зовущему свету».

Стр. 461, строка 28: «О, он поверил» вместо «О, он верил» (по *НР*).

Стр. 51, строка 34:* «облилось слезами, и, проговорив» вместо «облилось слезами, проговорив».

Стр. 60, строка 31: «и положил на стол» вместо «и положил на стул».

Стр. 62, строка 24: «в шкатунке» вместо «в шкатулке» (по аналогии).

Стр. 83, строка 10: «только и имел в виду!» вместо «только имел в виду!».

Стр. 117, строка 10: «с яростным презрением» вместо «с злостным презрением» (в *РВ* опечатка: «с простным презрением»).[1]

Стр. 130, строка 1: «отделить из них» вместо «определить из них».

Стр. 133, строка 21: «представляла его» вместо «определяла его».

Стр. 133, строка 22: «еще не определяла» вместо «еще не представляла».

Стр. 164, строка 44: «бывшим благодетелями его детства» вместо «бывшим благодетелям его детства».

Стр. 175, строки 26—27: «обеспечена от обвинений» вместо «обеспечена от обвинения».

Стр. 186, строка 3: «себя осужу» вместо «тебя осужу».

1

Роман «Братья Карамазовы» — итог творчества Достоевского. Его сложное построение и жанр явились результатом длительных размышлений автора над проблемами современной литературы и искусства, а многие идеи, характеры, эпизоды романа либо подготовлены предшествующими произведениями писателя, либо возникли в его творческом воображении задолго до начала писания «Братьев Карамазовых», в процессе обдумывания и разработки предшествующих романов и различных неосуществленных замыслов.

Еще в 1862 г., заявив в редакционном предисловии к напечатанному во «Времени» переводу «Собора Парижской богоматери» В. Гюго, что проникающая творчество Гюго идея «восстановления погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков», «есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия», Достоевский выразил уверенность в том, что в недалеком будущем она получит свое воплощение в произведении несравненно более широком по замыслу и значительном по художественному масштабу: «...принято обвинять наше столетие, что оно после великих образцов прошлого времени не внесло ничего нового в литературу и в искусство. Это глубоко несправедливо. Проследите все европейские литературы нашего века, и вы увидите во всех следы той же идеи, и, может быть, хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, „Божественная комедия" выразила свою эпоху средневековых католических верований и идеалов».

В цитированных словах автора «Братьев Карамазовых» получило выражение не только горделивое желание русского романиста в недалеком будущем помериться силами с Данте и другими величайшими авторитетами европейских литератур. В них можно видеть намек на самую его эстетическую программу: создать не обычный роман, но произведение энциклопедического

---

* *Здесь и ниже указаны страницы XV тома наст. изд.*

[1] Исправление предложено Б. В. Томашевским в издании: Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений, т. X. ГИЗ, М.—Л., 1927, стр. 349, 447.

склада, всесторонне выражающее «стремления и характеристику своего времени». Пафос этого будущего своего романа, проникнутого идеей «восстановления погибшего человека», Достоевский — по-видимому, не случайно — через голову «Человеческой комедии» Бальзака сопоставляет по масштабу с представляющимся ему более грандиозным замыслом дантовской «Божественной комедии», основанной также на идее «восстановления» человека, но в ином, средневеково-католическом варианте.

Как справедливо указал Л. П. Гроссман, отраженное в предисловии к «Собору Парижской богоматери» стремление создать новый для литературы XIX в. образец романа-эпопеи, построенный на материале современной, «текущей» общественной жизни и проникнутый идеей «восстановления» человека, было в определенной мере стимулировано выходом в 1862 г. «Отверженных» В. Гюго, тогда же прочитанных Достоевским, по свидетельству Н. Н. Страхова во Флоренции, и оказавших значительное воздействие на основную проблематику его предисловия (см. об этом: *Биография,* стр. 244) и на направление проявившихся в нем творческих исканий.[1]

Трудно сказать, связывал ли автор, работая над двумя следующими своими романами, написанными после прекращения его журнальной деятельности в 1865 г., — «Преступлением и наказанием» и «Идиотом» (в основу которых также легла сформулированная им в 1862 г. идея обрисовать «восстановление погибшего человека»), — с ними надежды на осуществление романа-эпопеи «дантовского» масштаба. Во всяком случае несомненно, что он рассматривал их как подступы к решению этой задачи. Более определенный и конкретный характер мысль Достоевского о создании романа-эпопеи дантовского типа получила в годы завершения Львом Толстым «Войны и мира» и определившейся вскоре оценки романа Толстого частью критиков как образца нового, национально русского решения проблемы современного эпоса. Еще в 1868 г., до появления в «Заре» статьи Страхова о «Войне и мире» и книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», где была отчетливо намечена эта оценка, Достоевский формулирует, а затем развивает в письмах к А. Н. Майкову свой, противопоставленный в его глазах «историческому», ретроспективному характеру толстовского романа, уже вполне отчетливый замысел эпопеи о «восстановлении погибшего человека»: цикл романов «Атеизм» с героем — *современным* «русским человеком», скитающимся по России, в ходе своего развития переходящим сначала от веры к безверию, а затем к новому обретению потерянной им веры через приобщение к народу и его идеалу «русского Христа» (см. об этом примечания к «Житию великого грешника»: наст. изд., т. IX, стр. 500—502). Замысел этот надолго остается любимым детищем Достоевского, к которому он, видоизменяя его и дополняя новыми деталями, снова и снова возвращается в письмах 1869—1870 гг.[2] К лету 1869 г. название «Атеизм» отпадает (см. об этом: наст. изд., т. IX, стр. 502—504), но одновременно возникает план «Детства» — начального звена задуманного цикла (отдаленно предвосхищающего позднейший замысел «Подростка»). Вскоре после этого, в декабре 1869—мае 1870 г., создаются наброски «Жития великого грешника», преемственно связанные с замыслом «Атеизма» и в то же время намечающие (как и планы «Атеизма») ряд сюжетных коллизий и проблематику «Карамазовых». Работа над «Бесами» (1870—1872), а после ее окончания в 1873—1877 гг. редактирование «Гражданина», писание «Подростка» и двухлетнее издание «Дневника писателя» отодвигают в сторону «дантовский» план многотомного романа-эпопеи, но в 1878 г., после оставления «Дневника писателя» и нового обращения писателя к творческой работе, он снова возрождается в обновленном и преобразованном виде. Замысел «Жития великого грешника» в изменившихся условиях приобретает характер двухтомного (или трехтомного) романа-«жития» о нравственном скитальчестве Алексея Карама-

[1] См.: Л. П. Гроссман. Достоевский-художник. В кн.: *Творчество Достоевского,* стр. 380—382.

[2] О значении «Войны и мира» Л. Толстого для определения направления творческих исканий Достоевского в 1860—1870-х годах см. там же, стр. 385—386; ср.: наст. изд., т. IX, стр. 508—509.

зова и его братьев, один из которых — новый вариант Атеиста из задуманного ранее цикла романов, а сам герой (подобно «великому грешнику» из прежних планов эпопеи) воспитывается в качестве послушника в монастыре, откуда уходит в мир, где его ждут великий искус, потери и новое обретение в драматических борениях совести и сложных связях с людьми утраченных им нравственно-религиозных духовных ценностей.

К пониманию поэтики последнего романа-эпопеи Достоевского с характерной для него художественной «двусоставностью», переплетением «реального» и «идеального» начал, жанровых элементов «романа» и драматической «поэмы» подводит не только статья о «Соборе Парижской богоматери» 1862 г., история работы романиста над «Атеизмом» и «Житием великого грешника». Не менее важны для уяснения творческой предыстории романа некоторые из эстетических деклараций Достоевского 1870-х годов — периода, непосредственно предшествовавшего оформлению его замысла.

Так, в марте 1873 г. Достоевский опубликовал среди очерков первого «Дневника писателя» в «Гражданине» статью «По поводу выставки». Часть этой статьи, в особенности посвященная разбору картины русского художника Н. Н. Ге «Тайная вечеря», и намеченная там же общая оценка состояния русской реалистической живописи 1870-х годов весьма существенны для понимания жанрово-стилистических исканий Достоевского, проявившихся в «Карамазовых».

Разбирая в указанной статье полотна русских художников, экспонированные в Петербурге перед отправкой на Венскую всемирную выставку, Достоевский высоко оценил «Бурлаков» Репина и другие произведения бытовой живописи «передвижников» (В. Г. Перова, В. Е. Маковского и др.), заявив, что «наш жанр на хорошей дороге». И вместе с тем он призвал современных ему художников, не останавливаясь на достигнутом, завоевать для русской живописи также область исторического, «идеального» и фантастического, ибо «идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность». Этот призыв, косвенно обращенный не только к русской живописи, но и к литературе 1870-х годов, можно рассматривать как эстетическое выражение тех новых исканий, которые привели автора к созданию «Братьев Карамазовых» — романа, где «текущая действительность» выступает в сложном сплаве с исторической и философской символикой и обрамлена «фантастическими» элементами, восходящими к средневековым житиям и русскому духовному стиху.[1]

2

Если сложный, синтетический жанр «Братьев Карамазовых» явился завершением длительных размышлений и исканий романиста, зарождение которых можно отнести к началу 1860-х годов, то отдельные образы, эпизоды, идейные мотивы этого последнего романа Достоевского, как установлено рядом исследователей (В. В. Розановым, А. С. Долининым, В. Л. Комаровичем, Б. Г. Реизовым), уходят своими корнями еще более глубоко в предшествующие его произведения.

Уже в «петербургской поэме» «Двойник» (1846) предвосхищен один из важных художественных мотивов романа — раздвоение личности героя, в результате которого гонимые им от себя до этого тайные желания, возникавшие на дне его души, неожиданно в минуту душевной смуты «сгущаются», порождая в его сознании образ ненавистного ему, низменного и уродливого «двойника» (отражающего образ героя в кривом зеркале). «Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил», — писал о «Двойнике» в 1877 г., за год до начала работы над «Карамазовыми», автор (*ДП*, ноябрь, гл. 1, § II). В главе IX одиннадцатой книги четвертой части этого романа

[1] См. о связи эволюции эстетических деклараций Достоевского и его творчества 1860—1870-х годов в статье: Г. М. Фридлендер. Эстетика Достоевского. В кн.: *Достоевский — художник и мыслитель*, стр. 145—157.

«Черт. Кошмар Ивана Федоровича» романист на вершине творческой зрелости вернулся к своей старой «идее» и показал, какие могучие художественные возможности были потенциально в ней заложены.[1]

К 1840-м годам относится возникновение у Достоевского и другого важного мотива, получившего развитие в главе V пятой книги второй части «Великий инквизитор»: «... кто полюбит тебя, — говорит Мурин в повести «Хозяйка», — тому ты в рабыни пойдешь, сама волюшку свяжешь, в заклад отдашь, да уж и назад не возьмешь»; «За волюшкой гонится, а и сама не знает, о чем сердце блажит ⟨...⟩ слабому человеку одному не сдержаться! Только дай ему всё, он сам же придет, всё назад отдаст, дай ему полцарства земного в обладание, попробуй — ты думаешь что? Он тебе тут же в башмак тотчас спрячется, так умалится. Дай ему волюшку, слабому человеку, — сам ее свяжет, назад принесет» (наст. изд., т. I, стр. 309, 317). Приведенные иронические реплики Мурина по адресу Катерины непосредственно предвосхищают аналогичные идеи Великого инквизитора в поэме Ивана, а самый характер Катерины как воплощение изменчивой народной стихии, близкой образам русской народной песни и сказки, — характер Грушеньки. Существенно и то, что обе эти героини — грешницы, стоящие на распутье между нравственными угрызениями, воспоминаниями, связывающими их с прошлым, и настоящим, к которому призывает их обеих новая, чистая любовь; старому купцу, любовнику Катерины Мурину, в «Братьях Карамазовых» соответствуют разные персонажи — старик купец Самсонов, на содержании которого живет Грушенька (своего рода «двойник» Федора Павловича), и ее соблазнитель-офицер; но если в «Хозяйке» Катерина после ряда колебаний отвергает любовь Ордынова и остается во власти колдовских «чар» Мурина, то Грушенька находит в себе силы для того, чтобы порвать с прошлым и, соединившись в любви и страдании с Митей, начать новую жизнь.[2]

В творчестве Достоевского 1840-х годов кроются истоки не только мотивов «Двойника» и «Великого инквизитора», столь важных для «Карамазовых». Здесь же появляется в первом его романе и последующих повестях тема нищего чиновничьего семейства (первый ее эскиз — семья Горшковых в «Бедных людях»), образы кривляющихся и «самоунижающихся», страдающих «шутов» («Ползунков»), наконец, — самые ранние в творчестве Достоевского типы рано задумывающихся над сложностью жизни, больных, мечтательных и своевольных городских подростков — мальчиков и девочек («Елка и свадьба», «Неточка Незванова», «Маленький герой» и др.). Все это отдаленно подготовляет художественный мир «Карамазовых».

А. С. Долинин обратил внимание на перекличку богоборческих тирад Ивана в главе «Бунт» с некоторыми положениями доклада «Идеалистический и позитивный методы в социологии», прочитанного зимою 1848 г. петрашевцем Н. С. Кашкиным на собрании своего кружка. «...Неверующий видит между людьми страдания, ненависть, нищету, притеснения, необразованность, беспрерывную борьбу и несчастия, ищет средства помочь всем этим бедствиям, — говорил Кашкин, — и, не нашед его, восклицает: „Если такова судьба человечества, то нет провидения, нет высшего начала!". И напрасно священники и философы будут ему говорить, что „*небеса провозглашают славу божию*". Нет, скажет он, страдания человечества гораздо громче провозглашают злобу божию. Чем более творение его — вся природа — выказывает его искусство, его мудрость, тем более он достоин порицания за то, что, имея возможность к этому, он не позаботился о счастии людей. К чему нам все это поразительное величие звездных миров, когда мы не видим конца нашим страда-

---

[1] См. об этом: В. Ф. Переверзев. Творчество Достоевского. М., 1912, стр. 151—154; см. также: наст. изд., т. I, стр. 489.

[2] О воскрешении и трансформации мотивов «Хозяйки» в «Братьях Карамазовых» см.: *Розанов, Легенда,* стр. 127; А. Долинин. Зарождение главной идеи Великого инквизитора. «Достоевский. Однодневная газета Русского библиологического общества», 1921, 30 октября, стр. 16—17; см. также: наст. изд., т. I, стр. 510.

нпям? Пускай. Но для чего делать это высшему разуму, создавшему всю вселенную? И какая ему честь в том, что он создал вселенную? Если все эти миры населены такими же несчастными созданиями, как и мы, то ему мало чести в том, что он умеет так размножить число несчастных 〈...〉 Во всяком случае мы можем скорее видеть в нем духа зла, нежели начало всего доброго и прекрасного!

И атеиста нельзя винить за такое мнение 〈...〉 *По моему мнению, неверующий поступает гораздо логичнее слепо верующего»* (*Петрашевцы*, т. II, стр. 172—173). Хотя Кашкин и Достоевский не были близки и принадлежали к разным группировкам среди петрашевцев, «ход мыслей атеиста Ивана Карамазова 〈...〉 тот же, — справедливо писал Долинин, — отрицание не бога, а *благости* его; вернее — отрицание бога всемудрого и всеблагого, *атеизм* по мотивам *чисто этическим*» (А. Долинин. Достоевский среди петрашевцев. *Звенья*, т. VI, стр. 523).

Дальнейший существенный момент, оказавший двадцать пять лет спустя решающее влияние на формирование фабулы романа, — знакомство Достоевского на каторге в омском остроге с Дмитрием Ильинским, несправедливо обвиненным и осужденным за отцеубийство (см. изложение подлинных материалов процесса Ильинского по первоисточникам, разысканным Б. В. Федоренко, — наст. изд., т. IV, стр. 284—285). Достоевский дважды излагает историю этого мнимого отцеубийцы в «Записках из Мертвого дома» — в главе I первой части, создававшейся в момент, когда невиновность Ильинского не была известна, и в главе VII второй части, написанной после получения из Сибири известия об установлении его непричастности к убийству отца.

«Особенно не выходит у меня из памяти один отцеубийца, — гласит первое упоминание о прообразе Дмитрия Карамазова в «Записках». — Он был из дворян, служил и был у своего шестидесятилетнего отца чем-то вроде блудного сына. Поведения он был совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал; но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги, и — сын убил его, жаждая наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Сам убийца подал объявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он провел самым развратным образом 〈...〉 Он не сознался; был лишен дворянства, чина и сослан в работу на двадцать лет 〈...〉 Разумеется, я не верил этому преступлению. Но люди из его города 〈Тобольска, — *Ред.*〉, которые должны были знать все подробности его истории, рассказывали мне всё его дело. Факты были до того ясны, что невозможно было не верить» (там же, стр. 15—16).

Во втором случае, напомнив читателю об «отцеубийце из дворян» и повторив кратко сказанное о нем в первой части от имени Горянчикова, Достоевский писал уже от своего имени: «На днях издатель „Записок из Мертвого дома" получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно; что невинность его обнаружена по суду, официально. Что настоящие преступники нашлись и сознались и что несчастный уже освобожден из острога 〈...〉 Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, о загубленной еще смолоду жизни под таким ужасным обвинением. Факт слишком понятен, слишком поразителен сам по себе» (там же, стр. 195).[1]

Если история Д. Н. Ильинского — мнимого «отцеубийцы», осужденного на каторгу за чужое преступление, — подготовила историю Дмитрия Карамазова в фабульном отношении, то некоторые из черт этого образа: любовь к кутежам и цыганам, бурные увлечения женщинами, страсть к Шиллеру, контраст между внешним «неблагообразием» пьяных речей и поступков и высокими романтическими порывами — могли в известной мере явиться плодом наблюдений автора над обликом близко знакомого ему

---

[1] Об Ильинском как прообразе Дмитрия Карамазова см.: *ИВ*, 1895, № 11, стр. 449; *Гроссман, Семинарий,* стр. 69 (свидетельство А. Г. Достоевской); Б. Г. Реизов. К истории замысла «Братьев Карамазовых». В кн.: *Реизов,* стр. 129—138.

в 1860-х годах выдающегося русского поэта и критика Аполлона Григорьева — одного из основных сотрудников «Времени» и «Эпохи».[1]

Из персонажей повестей и романов Достоевского 1850—1860-х годов, генетически в той или иной мере связанных с персонажами «Братьев Карамазовых», особенно важны Алеша Валковский (в «Униженных и оскорбленных») и князь Мышкин как прообразы Алеши Карамазова; Ежевикин, Фома Фомич Опискин (в «Селе Степанчикове и его обитателях») и Лебедев (в «Идиоте») как предшественники Федора Павловича; Ипполит Терентьев (в «Идиоте») как вариант характерного для Достоевского типа «мыслителя» и «бунтаря», идейно-психологически наиболее родственный Ивану Карамазову; Коля Иволгин (там же) — как ближайший предшественник Коли Красоткина. Сближает «Идиота» с «Братьями Карамазовыми» и мотив соперничества героинь — гордой «барышни» и «содержанки», а также намеченный в черновых материалах к «Идиоту» мотив группы «детей», окружающих главного героя и воспитываемых им.

В образе лакея Видоплясова из «Села Степанчикова» и в особенности в характеристике «лакея, дворового», который, нося «фрак, белый официантский галстух и лакейские перчатки», «презирает» на этом основании народ, во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» (1861) Достоевским запечатлены и некоторые из черт той «лакейской» психологии, позднейшим законченным воплощением которой в его творчестве стал Смердяков.

В «Идиоте» (ч. IV, гл. VII; см.: наст. изд., т. VIII, стр. 450—453) была впервые высказана Достоевским (устами князя Мышкина) та оценка основной идеи «римского католицизма» как идеи «всемирной государственной власти церкви», идеи, являющейся прямым продолжением духа Римской империи и противоположностью учению Христа, которая получила развитие в позднейших многочисленных высказываниях на эту тему в «Гражданине» 1873 г. и в «Дневнике писателя» 1876—1877 гг., подготовивших главу «Великий инквизитор» (см. об этом ниже).

Новый этап в истории формирования будущей проблематики и отдельных звеньев фабулы «Карамазовых» — конец 1860-х—начало 1870-х годов. В это время в планах романических циклов «Атеизм» и «Житие великого грешника» складывается сохраненный в «Карамазовых» общий замысел будущего романа-эпопеи, состоящего из нескольких частей, посвященных отдельным этапам духовного созревания главного героя — «грешника». Намечаются и некоторые из тех общих очертаний его биографии, которые явились зерном истории Алексея Карамазова: юность, проведенная в качестве послушника в монастыре, близкое общение в эти годы с выдающимся по уму и нравственным качествам монахом-наставником, в беседах с которым закладывается фундамент религиозно-нравственного мировоззрения героя (Тихон, позже — Зосима), скитания в «миру», сложные, завязавшиеся в детские годы отношения с «Хроменькой» (отдаленный прообраз не только Хромоножки в «Бесах», но и будущей Лизы Хохлаковой), страстные споры о религии и «атеизме», потеря религиозной веры и новое ее обретение и т. д. (см. планы «Жития великого грешника» и «Романа о Князе и Ростовщике», а также примечания к ним — наст. изд., т. IX, стр. 122—139, 497—524). В «Бесах» в психологической «триаде» — Ставрогин, Верховенский и Федька Каторжный — предвосхищена аналогичная триада: Иван Карамазов, «черт» и Смердяков. В обоих случаях первый из трех названных персонажей — «свободный» мыслитель, наслаждающийся сознанием своей этической свободы и готовый допустить благоприятное для него по своим последствиям преступление (в первом случае — убийство Хромоножки, во втором — Федора Павловича), если оно совершится без его участия; второй — его сниженный, рассудочный и пошлый «двойник» с чертами «буржуазности» и моральной нечистоплотности; третий — реальный физический убийца, исполнитель чужой воли, лишенный совести, а по-

---

[1] Указанная гипотеза убедительно обоснована в статье: В. Г. Селитренникова, И. Г. Якушкин. Аполлон Григорьев и Митя Карамазов. «Филологические науки», 1969, № 1, стр. 13—24.

тому спокойно берущий на себя практическое осуществление того, от чего отшатываются теоретики имморализма Ставрогин и Иван.

Существенная веха творческой предыстории одного из центральных эпизодов «Братьев Карамазовых» — работа над главой III второй части романа «Бесы» (1871). Здесь в журнальной редакции Ставрогин рассказывал Даше о «бесе», который его посещает: «Я опять *его* видел ⟨...⟩ Сначала здесь, в углу, вот тут, у самого шкафа, а потом он сидел всё рядом со мной, всю ночь, до и после моего выхода из дому ⟨...⟩ Вчера он был глуп и дерзок. Это тупой семинарист, самодовольство шестидесятых годов, лакейство мысли, лакейство среды, души, развития, с полным убеждением в непобедимости своей красоты... ничего не могло быть гаже. Я злился, что мой собственный бес мог явиться в такой дрянной маске. Никогда еще он так не приходил ⟨...⟩ Я знаю, что это я сам в разных видах, двоюсь и говорю сам с собой. Но все-таки он очень злится; ему ужасно хочется быть самостоятельным бесом и чтоб я в него уверовал в самом деле. Он смеялся вчера и уверял, что атеизм тому не мешает» (наст. изд., т. XII, стр. 141). В дефинитивном тексте приведенный рассказ Ставрогина опущен и лишь в заключительной части диалога между героем и Дашей оставлены слова: «О, какой мой демон! Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся» (наст. изд., т. X, стр. 231). Как верно отметил А. С. Долинин, здесь намечена «генетически конструкция идеологическая и вместе с ней и композиция одной из центральных глав в „Братьях Карамазовых": главы о „черте"».[1]

В начале осени 1874 г., во время работы над «Подростком», Достоевский через 12 лет после окончания «Записок из Мертвого дома» вновь мысленно вернулся к истории Дмитрия Ильинского и занес в свою черновую тетрадь как материал для последующей художественной разработки заметку: «13 сент⟨ября⟩ 74 ⟨г.⟩ Драма. В Тобольске, лет двадцать назад, вроде истории Иль⟨ин⟩ского. Два брата, старый отец, у одного невеста, в которую тайно и завистливо влюблен второй брат. Но она любит старшего. Но старший, молодой прапорщик, кутит и дурит, ссорится с отцом. Отец исчезает ⟨...⟩ Старшего отдают под суд и осуждают на каторгу ⟨...⟩ Брат через 12 лет приезжает его видеть. Сцена, где *безмолвно* понимают друг друга ⟨...⟩ День рождения младшего. Гости в сборе. Выходит. „Я убил". Думают, что удар.

Конец: тот возвращается. Этот на пересыльном. Его отсылают. Младший просит старшего быть отцом его детей.

„На правый путь ступил!"».[2]

Приведенную заметку и ее дату мы имеем полное право рассматривать как начальные точки предыстории «Карамазовых». И все же можно говорить и в данном случае лишь о творческой предыстории романа, систематическая работа над которым началась три с половиной года спустя — в 1878 г.

Главное существенное отличие плана 1874 г. от окончательного плана «Карамазовых» в том, что в центре его — психологическая история преступления и этического перерождения двух главных героев-братьев, причем история эта не имеет пока широких выходов в окружающую общественную жизнь и органически не связана с основной народно-национальной эпической темой «Карамазовых» — темой борьбы и смены поколений, воплощающих прошлое, настоящее и будущее России. Соответственно на этой стадии будущий роман об убитом отце и двух братьях-соперниках мыслится не как роман, а как психологическая «драма». Главное содержание — различный, но в то же время

---

[1] А. С. Долинин. Страницы из «Бесов» (в канонический текст не включенные). В кн.: *Сб. Достоевский*, II, стр. 555. Ср. о Ставрогине в «Бесах»: «... он ⟨...⟩ открыл глаза ⟨...⟩, упорно и любопытно всматриваясь в какой-то поразивший его предмет в углу комнаты...» (ч. II, гл. I, § IV — наст. изд., т. X, стр. 182) и аналогичное место об Иване в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»: «... он ⟨...⟩ упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване» (стр. 70).

[2] План этот впервые опубликован и связь его с замыслом «Братьев Карамазовых» установлена Л. П. Гроссманом (см.: *Гроссман, Последний роман*, стр. 7; ср.: *1956*, т. X, стр. 466—467).

и сходный путь обоих братьев, старшего — невинного кутилы и младшего — убийцы, через унижение и страдание к нравственному возрождению и обретению в себе нового человека. События романа отнесены к 1850-м годам, т. е. к дореформенному периоду, что соответствует реальным обстоятельствам осуждения Ильинского; точного времени осуждения его (1847) Достоевский мог не знать; а слова «лет двадцать назад» могли быть подсказаны «Записками из Мертвого дома», где говорится об осуждении мнимого отцеубийцы на каторгу на двадцать лет. Место преступления — Тобольск, реальная родина Ильинского. Общественный фон не разработан; из существенных персонажей второго ряда в плане упомянуты лишь два непосредственных соучастника драмы обоих главных героев — убитый отец и «невеста» старшего брата, она же, вероятно, позднее — «жена» младшего, которая, пользуясь своей прежней властью над осужденным, на коленях через 19 лет, верная долгу, вымаливает у него спасение для нелюбимого мужа. Кроме эпизодов, разыгрывающихся в Тобольске, задумана сцена «в каторге», непосредственно связанная по содержанию с рассказом об отцеубийце в «Записках» и насыщенная автобиографическим элементом.

Лишь три с половиной—четыре года спустя драматическая коллизия, общие контуры которой зафиксированы в плане «драмы» 1874 г. об осужденном мнимом и действительном братьях-отцеубийцах, стала фабульным стержнем, вокруг которого начал кристаллизоваться сюжет «Карамазовых».

Трансформация задуманной в 1874 г. «драмы» в роман-эпопею совершилась в результате сращения ее фабулы с многочисленными возникавшими параллельно и позднее замыслами Достоевского 1874—1878 гг.

В первоначальных записках к «Подростку» (февраль—апрель 1874 г.) будущий роман характеризуется автором как «роман о детях, единственно о детях и о герое-ребенке». Возникают планы: «Заговор детей составить свою *детскую империю*. Споры детей о республике и монархии 〈...〉 Дети развратники и атеисты» и т. д. На более поздней стадии работы (август 1874 г.) основная тема «Подростка» осмысляется как тема отцов и детей. Несколько раньше появляется мысль об «ораве детей», «советник и руководитель» которых Федор Федорович — «идиот» (план этот — прямое развитие ситуаций, мелькавших уже в подготовительных материалах к «Идиоту», но не реализованных в этом последнем романе). По одному плану из трех героев-братьев задуманного романа «один брат — атеист. Отчаянье. Другой — весь фанатик. Третий — будущее поколение, живая сила, новые люди», и тут же рядом по замыслу автора уже зреет «новейшее поколение — дети». Эти замыслы, лишь частично или вовсе не получившие отражения в «Подростке», воскресают в «Карамазовых», где действуют три брата, один из которых — «атеист», а другой — носитель «живой силы»; тема же «новейшего поколения», «детей», реализуется в главах о Коле Красоткине и других «мальчиках», нравственно руководимых и воспитываемых Алексеем Карамазовым, которому удается в конце романа объединить их чувством высокого религиозно-этического «братства», противостоящим «химическому разложению» окружающего общества, основанного на эгоизме, издевательстве богатого и сильного над слабым и беззащитным.

В подготовительных материалах к «Идиоту», а затем к «Подростку» и черновых вариантах «Исповеди Версилова» впервые разрабатывается Достоевским и символическая тема «о трех дьяволовых искушениях», позднее перенесенная в «Братьев Карамазовых», где она получила глубокую и сложную философскую нагрузку, став одним из стержневых мотивов поэмы «Великий инквизитор». В рукописях 1870-х годов несколько раз назван и ярко психологически обрисованный в романе образ юродивой Лизаветы Смердящей.

Закончив «Подростка», Достоевский писал в «Дневнике писателя» за январь 1876 г.: «Я давно уже поставил себе идеалом — написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении», характеризуя при этом роман «Подросток» всего лишь как «первую пробу» своей мысли (*ДП*, 1876, январь, гл. 1, § II). Дальнейшими вехами в работе над этой темой явились замыслы неосуществленных романов «Отцы и дети», «Мечтатель» (1876) и, наконец, «Братья Карамазовы» (о соотношении проблематики набросков романа «Отцы и дети» с проблематикой

«Братьев Карамазовых» см.: Е. И. Семенов. Роман Ф. М. Достоевского «Подросток» (Проблематика и жанр). Автореферат кандидатской диссертации. Л., 1973, стр. 12—16).

Особая роль в истории подготовки замысла «Братьев Карамазовых», как не раз справедливо отмечалось исследователями, принадлежит «Дневнику писателя» за 1876—1877 гг. В нем стали для автора предметом предварительного художественного и публицистического анализа различные аспекты «детской» темы, столь широко и тревожно звучащей в романе (ср.: очерки о детском бале и о посещении детской колонии, рассказ «Мальчик у Христа на елке» — *ДП*, 1876, январь; анализ дела Кронеберга — *ДП*, 1876, февраль, и родителей Джунковских — *ДП*, 1877, июль—август, гл. 1 и т. д.),[1] проходящие через весь «Дневник» темы разложения дворянской семьи, экономического упадка и обезлесения России, обнищания русской деревни, роста деревенской буржуазии, темы суда, адвокатуры, русской церкви и сектантства и современного их положения, тема всеобщего «обособления» как характерной черты нынешнего общества (*ДП*, 1877, июль—август, гл. 2), тема католицизма в его взаимоотношениях с Римской империей и современной буржуазной государственностью, с одной стороны, и социалистическими учениями XIX в. — с другой (*ДП*, 1877, январь, гл. 1; сентябрь, гл. 1 и др.), наконец, темы Западной Европы и России, ее прошедшего, настоящего и будущего, символическим выражением которых являются три представленных в романе поколения. В рабочих тетрадях Достоевского, содержащих подготовительные материалы к «Дневнику писателя» за 1876 г., встречаются записи, непосредственно ведущие к «Карамазовым», — например: «Великий инквизитор и Павел. Великий инквизитор со Христом. В Барселоне поймали черта». На страницах «Дневника» предвосхищены в беглых зарисовках и некоторые отдельные характеры будущего романа: в этом смысле особенно существенна глава «Приговор» (*ДП*, 1876, октябрь, гл. 1, § IV); приведенное здесь рассуждение «идейного» самоубийцы содержит, как неоднократно указывалось, зародыш аргументации Ивана Карамазова в богоборческой главе «Бунт» пятой книги «Братьев Карамазовых» «Pro и contra»,[2] а самое заглавие этой книги повторяет более раннее название § II из главы 2 «Дневника» за март 1877 г.[3]

Сам Достоевский в письме к Х. Д. Алчевской от 9 апреля 1876 г. охарактеризовал «Дневник» как необходимую для подготовки к созданию будущего романа творческую лабораторию. «... Готовясь написать один очень большой роман, — писал он, — я ⟨...⟩ задумал погрузиться специально в изучение не действительности собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего. Одна из самых важных задач в этом текущем для меня ⟨...⟩ молодое поколение и вместе с тем современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, как всего еще двадцать лет назад...».

Важнейший документ из предыстории формирования философско-исторической проблематики романа, выраженной в главе «Великий инквизитор» — «кульминационной точке» романа, по авторскому определению, — ответное письмо Достоевского от 7 июня 1876 г. на запрос, обращенный к нему читателем «Дневника писателя», оркестрантом С.-Петербургской оперы В. А. Алексеевым, с просьбой разъяснить смысл слов о «камнях» и «хлебах», употребленных в майском номере «Дневника писателя» за 1876 г.

---

[1] См. об анализе Достоевским этих судебных процессов 1870-х годов в «Дневнике писателя» статью: Г. К. Щенников. Проблема правосудия в публицистике Достоевского 70-х годов. В кн.: Русская литература 1870—1890-х годов. Сб. 4. Свердловск, 1971, стр. 3—23.

[2] См. об этом: *Розанов, Легенда,* стр. 96, 244—249; ср. о связи «Дневника писателя» и «Карамазовых»: *Долинин,* стр. 238—242.

[3] О происхождении формулы «Pro и contra», впервые встречающейся у Достоевского в черновых материалах к «Преступлению и наказанию», см.: Л. М. Лотман. Достоевский и Н. Г. Помяловский. В кн.: *Достоевский и его время,* стр. 127—128.

Здесь анализировалось опубликованное в газете «Новое время» предсмертное письмо самоубийцы-«нигилистки» акушерки Писаревой. Писатель рассматривал его как документ, выражающий (по его словам в письме к Алексееву) настроения, характерные для демократической молодежи, мечтающей «о таком устройстве мира, где прежде всего будет хлеб и хлеб будет раздаваться поровну, а имений не будет», — молодежи, ожидающей «будущего устройства общества без личной ответственности», а потому вольно или невольно «чрезмерно» преувеличивающей значение денег «по идее, которую им придают». И Достоевский писал в связи с «денежными распоряжениями» Писаревой «той крошечной суммой, которая после нее осталась»: «Эта важность, приданная деньгам, есть, может быть, последний отзыв главного предрассудка всей жизни о „камнях, обращенных в хлебы".[1] Одним словом, проглядывает руководящее убеждение всей жизни, т. е. „были бы все обеспечены, были бы все и счастливы, не было бы бедных, не было бы преступлений". Преступлений нет совсем. Преступление есть болезненное состояние, происходящее от бедности и от несчастной среды...» (*ДП*, 1876, май, гл. 2, § II, «Одна несоответственная идея»). Своеобразное истолкование евангельского сюжета об искушении Христа дьяволом (От Матфея, гл. 4) в «Дневнике писателя» Алексеев просил ему разъяснить.

Ответ писателя был следующим: «Вы задаёте вопрос мудреный — тем собственно, что на него отвечать долго. Дело же само по себе ясное. В искушении диавола слилось три колоссальные мировые идеи, и вот прошло 18 веков, а труднее, т. е. мудренее, этих идей нет, и их всё еще не могут решить.

„Камни и хлебы" значит теперешний социальный вопрос, *среда*. Это не пророчество, это всегда было ⟨...⟩

Ты сын божий — стало быть, ты всё можешь. Вот камни, видишь, как много. Тебе стоит только повелеть — и камни обратятся в хлебы.

Повели же и впредь, чтоб земля рожала без труда, научи людей такой науке или научи их такому порядку, чтоб жизнь их была впредь обеспечена. Неужто не веришь, что главнейшие пороки и беды человека произошли от голоду, холоду, нищеты и из невозможной борьбы за существование.

Вот 1-я идея, которую задал злой дух Христу. Согласитесь, что с ней трудно справиться. Нынешний *социализм* в Европе, да и у нас, везде устраняет Христа и хлопочет прежде всего о *хлебе*, призывает науку и утверждает, что причиною всех бедствий человеческих одно — *нищета*, борьба за существование, „среда заела".

На это Христос отвечал: „не одним хлебом бывает жив человек" — т. е. сказал аксиому и о духовном происхождении человека. Дьяволова идея могла подходить только к человеку-скоту. Христос же знал, что одним хлебом не оживишь человека. Если притом не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии ⟨...⟩

Но если дать и Красоту и Хлеб вместе? Тогда будет отнят у человека *труд, личность, самопожертвование своим добром ради ближнего* — одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни. И потому лучше возвестить один идеал духовный...».

Более сжато ту же мысль, не прибегая на этот раз к символике евангельской легенды, Достоевский выразил в письме от 10 июня 1876 г. к другому читателю «Дневника», также откликнувшемуся на заметку, посвященную в майском номере самоубийству Писаревой,— П. П. Потоцкому: «... если сказать человеку: нет великодушия, а есть стихийная борьба за существование

---

[1] Еще раньше этот же символ был употреблен Достоевским в размышлениях о причинах растущей популярности спиритизма в русском обществе в январе 1876 г.: «О, разумеется, черти, в конце концов, возьмут свое и раздавят человека „камнями, обращенными в хлебы", как муху: это их главнейшая цель; но они решатся на это не иначе, как обеспечив заранее будущее царство свое от бунта человеческого и тем придав ему долговечность. Но как же усмирить человека? Разумеется: „divida et impera" (разъедини противника и восторжествуешь) ... А для того надобен раздор...» (*ДП*, 1876, январь, гл. 3, § II).

(эгоизм) — то это значит отнимать у человека личность и *свободу*. А это человек отдаст всегда с трудом и отчаянием».

Письма к Алексееву и Потоцкому (1876) — не единственное промежуточное звено между заметками об «искушениях дьяволовых» в подготовительных материалах к «Идиоту» (1867—1868) и «Подростку» и в «Исповеди Версилова» (1874—1875), с одной стороны, и главой «Великий инквизитор» (1878—1879) — с другой. Через полгода после них Достоевский вернулся к той же теме (всплывающей и на других страницах «Дневника») и развил ее более подробно в первой главе январского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. («Три идеи»). Характеризуя здесь идею насильственного единения человечества, провозглашенную Древним Римом и усвоенную папой, как *«идею католическую»* и рассматривая современные ему западные социалистические учения как всего лишь видоизменение старой «католической идеи» «устройства человеческого общества ⟨...⟩ без Христа и вне Христа», Достоевский противопоставляет как этой, «католической», так и родившейся в борьбе с нею протестантской идее, получившей, по его мнению, новую опору в воинственном национализме созданной Бисмарком германской империи, «нарождающуюся» «славянскую идею», которую оценивает как «третью мировую идею», засиявшую на Востоке «небывалым и неслыханным еще светом» (*ДП*, 1877, январь, гл. 1, § I). Лишь благодаря ей, на основе торжества идеала личной нравственной свободы и братской ответственности каждого отдельного человека за судьбы другого, за судьбы народа и человечества, «падут когда-нибудь, — провозглашает писатель, — перед светом разума и сознания естественные преграды и предрассудки, разделяющие до сих пор свободное общение наций эгоизмом национальных требований, и ⟨...⟩ народы заживут одним духом и ладом, как братья, разумно и любовно стремясь к общей гармонии» (*ДП*, 1877, январь, гл. 2, § I). В определенной мере предваряет круг идей, выраженных в «поэме» Ивана об Инквизиторе, по справедливому указанию А. С. Долинина, также и рассказ «Сон смешного человека» (*ДП*, 1877, апрель, гл. 2; ср. примечание А. С. Долинина в кн.: *Д*, *Письма*, т. III, стр. 362).

Заканчивая последний декабрьский номер «Дневника писателя» за 1877 г., прощаясь здесь в специальной заметке «К читателям» с подписчиками и другими читателями «Дневника» и вновь подтверждая в ответ на их вопросы, что в 1878 г. «Дневник» выходить не будет, Достоевский в объяснение причин этого писал: «В этот год отдыха от *срочного* издания я и впрямь займусь одной художнической работой, сложившейся у меня в эти два года издания „Дневника" неприметно и невольно» (*ДП*, 1877, декабрь, гл. 2, § V). Приблизительно в это же время Достоевский занес в одну из своих записных тетрадей следующую заметку:

«24 декабря ⟨18⟩77 г. Memento. На всю жизнь.
1) Написать русского Кандида.
2) Написать книгу о Иисусе Христе.
3) Написать свои воспоминания.
4) Написать поэму „Сороковины".
(Всё это, кроме последнего романа и предполагаемого издания «Дневника», т. е. minimum на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет.)».

Под «последним романом» здесь разумеется та же задуманная «художническая работа», о которой Достоевский писал в только что приведенной заметке, адресованной читателям «Дневника», т. е. будущие «Братья Карамазовы». Но и три других замысла, фигурирующие в этом плане, на что впервые указал Л. П. Гроссман,[1] не будучи осуществленными в виде самостоятельных произведений, влились в замысел «Карамазовых» или, во всяком случае, получили в нем определенное отражение.

Один из них — «поэма „Сороковины"», замысел которой относится еще к лету 1875 г. По известному нам авторскому плану она должна была быть осуществлена в виде «Книги странствий», описывающей «мытарства 1 (2, 3, 4, 5, 6 и т. д.)». Среди заготовок для нее в тетради Достоевского особенно важен разговор Молодого человека с сатаной, частично предвосхищающий беседу

[1] *Гроссман, Последний роман*, стр. 17 — 18.

Ивана Карамазова с чертом, ее интонации и самый образ собеседника Ивана: «Меня всего более бесит, что ко мне приставлен ты 〈...〉 как ты глуп».

Здесь же встречаем и другую заметку, тематически связанную с романом: «Дети. Мучения детей (что ж ты не помог?)». В «Братьях Карамазовых» название «Хождение души по мытарствам» отнесено к трем главам (III—V) девятой книги романа («Предварительное следствие»), описывающих «первое», «второе» и «третье» мытарства Мити (душе которого суждено в романе умереть и воскреснуть не буквально, но символически).

Как ответвление замысла «книги о Иисусе Христе» можно рассматривать поэму «Великий инквизитор».

Третья тема из отмеченных в списке, как верно установил Л. П. Гроссман, реализованная в «Карамазовых», это тема «русского Кандида».[1] С нею непосредственно связаны не только разговор Коли Красоткина с Алешей о «Кандиде» (1759) Вольтера в главе VI десятой книги («Раннее развитие») и упоминание Иваном изречения «старого грешника» Вольтера в главе «Братья знакомятся» о боге как «выдумке» человека (кн. V, гл. III), — но и одна из центральных нравственно-идеологических проблем всего романа, формулируемая Иваном в следующей главе «Бунт»: может ли человеческий разум принять мир, созданный богом, и поверить в установленную им в мире гармонию при наличии несправедливости, разрушений, зла и страданий невинных людей? Вольтер в «Поэме о гибели Лиссабона» (1756; русский перевод — 1763) и в примыкающей к ней по теме философской повести «Кандид» оспаривал отвлеченный оптимизм Попа и Лейбница, их учения о том, что частные случаи зла в природе и обществе компенсируются общим благом, являются подтверждением установленной богом, извечно заложенной в природе вещей «мировой гармонии». Напоминая о совершающихся постоянно зле и страдании, являющихся, по его оценке, не «частным случаем», но законом жизни природы и общества его эпохи, французский философ-деист призывал не закрывать на них глаза, не мириться с ними, но всегда помнить о страданиях окружающих людей, помогать им, активно трудиться и по мере сил этим способствовать общечеловеческому прогрессу. Точно так же Достоевский в главе «Бунт» отвергает всякое пассивно-созерцательное отношение к человеческим страданиям, независимо от того, какими — религиозными, философскими или мнимо гуманистическими — аргументами его бы ни пытались оправдать, по мнению Ивана, в различных случаях. В протесте против идеи «мировой гармонии», основанной на признании мнимой неизбежности зла и страданий невинных людей, освященных некими отвлеченными «высшими целями», и в то же время в призыве, сформулированном в речи о Пушкине, к труду на «родной ниве» во имя общего братства всех людей (перекликающимся с заключительными словами вольтеровского «Кандида»: «надо обрабатывать свой сад») и было, по-видимому, заключено зерно замысла неосуществленного «русского Кандида» Достоевского, основные идеи которого получили гениальное философско-художественное выражение в его последнем романе.

Особого упоминания заслуживает то, что в главах 8—9 повести Вольтера выведен Великий инквизитор, а в главах 14—15 действие переносится в государство иезуитов в Парагвае, о котором в «Кандиде» говорится: «Los padres 〈отцы-иезуиты, — *Ред.*〉 владеют там всем, а народ ничем: не государство, а образец разума и справедливости». [2] Эти мотивы, предваряющие проблематику поэмы «Великий инквизитор», могли учитываться Достоевским при обдумывании замысла «русского Кандида».

---

[1] См. об этом: Л. П. Гроссман. «Русский Кандид». (К вопросу о влиянии Вольтера на Достоевского). *ВЕ*, 1914, № 5, стр. 192—203.

[2] Вольтер. Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести. Изд. «Художественная литература», М., 1971, стр. 436. На то, что описанное еще в XVIII в. Вольтером (а также и Рейналем) государство иезуитов в Парагвае могло явиться одним из исторических прообразов при разработке «Утопии» Великого инквизитора у Достоевского, внимание составителей комментария обратил Г. А. Бялый. Он же отметил, что в статье «Забитые люди» (1861), посвященной творчеству Достоевского, Добролюбов,

Первое сообщение о замысле, к реализации которого Достоевский собирался приступить, прощаясь в конце 1877 г. с читателями «Дневника писателя», содержится в письме к писателю и педагогу В. В. Михайлову от 16 марта 1878 г.: «Я замыслил и скоро начну большой роман, в котором, между другими, будут много участвовать дети и именно малолетние, с семи до пятнадцати лет примерно. Детей будет выведено много. Я их изучаю, и всю жизнь изучал, и очень люблю, и сам их имею. Но наблюдения такого человека, как Вы, для меня (я понимаю это), будут драгоценны. Итак, напишите мне *об детях* то, что сами знаете».

О том, что в начале 1878 г. Достоевский всецело «был погружен» в составление плана романа «Братья Карамазовы», пишет в своих воспоминаниях и А. Г. Достоевская (*Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 327).

Первый же листок с черновыми заметками, сделанными в 10-х числах апреля 1878 г., позволяет заключить, что к этому времени план будущего романа «о детях» еще обдумывался, но уже было ясно, что сюжет его вберет в себя события, о которых Достоевский собирался рассказать в неосуществленном замысле 1874 г. «Драма. В Тобольске...». Об этом свидетельствует запись: «Справиться: жена *осужденного* в каторгу тотчас ли может выйти замуж за другого?» (стр. 199). Здесь убийца — младший брат кается и перед отсылкой на каторгу «просит старшего быть отцом его детей». В связи с этим у Достоевского и возник приведенный вопрос. В «Братьях Карамазовых» эта сюжетная ситуация видоизменилась. Хотя один из братьев (Иван) любит невесту другого (Мити), соперничества между ними нет. Кроме того, развитие действия здесь завершается осуждением Мити. История же покаяния убийцы нашла в «Братьях Карамазовых» косвенное отражение, с одной стороны, в рассказе Зосимы «Таинственный посетитель»,[1] а с другой — в публичном признании Ивана, что убил отца не Митя, а Смердяков, которого сам он «научил убить».

Помимо братьев Ильинских, в романе «о детях» должны были фигурировать: лицо, названное по близости характера с героем прежнего романа Идиотом, и юноша-дворянин, что зафиксировано в следующих записях: «Имеет ли право Идиот держать такую ораву приемных детей, иметь школу и проч.? 〈...〉 Справиться о том: может ли юноша, дворянин и помещик, на много лет заключиться в монастыре (хоть у дяди) послушником? (NЗ. По поводу провонявшего Филарета.)» (стр. 199).

Очевидно, что Идиот и юноша-дворянин, хотя они и напоминают, каждый по-своему, будущего Алешу Карамазова, пока мыслились как два разных персонажа, ибо юноша-дворянин, которого Достоевский предполагал сделать послушником, по своему положению не мог бы, как это сказано об Идиоте, «держать такую ораву приемных детей, иметь школу».

Записи, которые отражали бы дальнейшую работу Достоевского в следующие месяцы над общим планом «Братьев Карамазовых», до нас не дошли.

Можно предположить, что утраченные предварительные наброски плана последнего романа по своему характеру с самого начала отличались от рукописных материалов к «Идиоту», «Бесам» и «Подростку». Работу над этими романами Достоевский начинал с обдумывания фабулы. Он выдвигал и отклонял множество версий сюжетного развития, иногда коренным образом отличающихся друг от друга и от развития действия в окончательной редакции.

В основу же «Братьев Карамазовых», как об этом сказано выше, с самого начала легли, с одной стороны, история отцеубийства, происшедшего в семье

разбирая роман «Бедные люди» и иронизируя над представлением об иерархически устроенном обществе как обществе, достигшем некоего идеального совершенства, писал, что нечто подобное устроили отцы иезуиты в Парагвайской республике; но и там успех был далеко не полон. Добролюбов иронически говорит здесь также о «геологическом перевороте» — теме юношеской «поэмки» Ивана Карамазова (см.: *Добролюбов,* т. 7, стр. 252—253; ср.: наст, изд., т. XIV, стр. 584).

[1] См. об этом: *Гроссман, Последний роман,* стр. 8.

Ильинских, а с другой — ряд коллизий, намеченных для «Жития великого грешника». В процессе обдумывания и составления общего плана романа основные его контуры конкретизировались, но резко не менялись. Характерно, что Достоевский в процессе работы неоднократно сообщал, что пишет «Братьев Карамазовых» книгами, и все, что предназначается для очередной публикации, заключает «в себе нечто целое и законченное» (см. письмо к Н. А. Любимову от 30 апреля 1879 г.). Все это позволяет предположить, что объем утраченных заметок, намечавших общий план романа, невелик.[1]

16 мая 1878 г. умер сын Достоевских, Алеша. Писатель тяжело переживал утрату и долгое время не мог работать. «Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, — рассказывает А. Г. Достоевская, — я упросила Вл. С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом. Посещение Оптиной пустыни было давнишнею мечтою Федора Михайловича...» (*Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 321—322).

18 июня 1878 г. Достоевский выехал с Вл. Соловьевым из Петербурга в Москву, а оттуда через четыре дня в Оптину пустынь. Поездка длилась, как подсчитал Достоевский в письме к жене от 29 июня 1878 г., семь дней и имела важные последствия для работы над «Братьями Карамазовыми»; первые книги романа были написаны под живым впечатлением увиденного в этом монастыре.

Во время поездки Достоевский беседовал со своим спутником о задуманной и отчасти уже начатой им работе. Позднее, вспоминая о беседах с писателем, Вл. Соловьев утверждал, что «церковь как положительный общественный идеал должна была явиться центральною идеей нового романа или нового ряда романов, из которых написан только первый — „Братья Карамазовы"».[2] И дошедшие до нас черновые материалы, и сам роман свидетельствуют о том, что, передавая содержание своих тогдашних разговоров с писателем, Соловьев стилизовал взгляды Достоевского в духе собственных своих идеалов, односторонне охарактеризовав его философско-историческую и этическую концепцию.

Достоевский был убежден, что в современном ему «прогнившем обществе — ложь *со всех* сторон», что «само себя оно держать не может» и что «тверд и могуч лишь народ». Эти суждения, отражающие взгляды Достоевского, которые он развивал особенно настойчиво на протяжении всего периода издания «Дневника писателя», были высказаны им в начальный период работы над «Карамазовыми» в письме к студентам от 18 апреля 1878 г. Достоевский призывал в нем молодых людей найти путь к народу и его идеалам, чего не сумели сделать, по убеждению писателя, народники. «Все эти хождения *в народ*, — утверждал Достоевский, — произвели в народе лишь отвращение. „Барчонки", говорит народ (это название я знаю, я гарантирую его вам, он так назвал). А между тем ведь, в сущности, тут есть ошибка и со стороны народа...». И далее Достоевский заявлял, что «никогда еще не было у нас, в нашей русской жизни, такой эпохи, когда бы молодежь (как бы предчувствуя, что вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной) в большинстве своем огромном была более, как теперь, искреннею, более чистою сердцем, более жаждущею истины и правды, более готовою пожертвовать всем, даже жизнью, за правду и за слово правды. Подлинно великая надежда России!».

Возлагая великие надежды на русскую молодежь, Достоевский видел ее беду в том, что она «несет на себе ложь всех двух веков нашей истории. *Не в силах,* стало быть, она разобрать дело в полноте ⟨...⟩ Но хоть и *не в силах,* а блажен тот и блаженны те, которым даже и теперь удастся найти правую дорогу!». Писатель предостерегал своих молодых корреспондентов, что они

---

[1] Подробно о дошедших до нас и утраченных авторских рукописях «Братьев Карамазовых» см. стр. 605—606.

[2] *Соловьев,* т. III, стр. 197.

должны будут во имя общего дела, если они решатся в нем участвовать, пойти на жертвы и прежде всего на «разрыв с средой», «ибо, чтобы пойти к народу и остаться с ним, надо ⟨...⟩ *разучиться презирать его,* а это почти невозможно нашему верхнему слою общества в отношениях его с народом».

Отсюда вытекало и весьма сложное отношение Достоевского к вопросам церкви. Считая, что современное ему русское общество и церковь находятся «в параличе» (записная книжка 1880—1881 гг.), Достоевский стремился наметить для них пути духовного оздоровления. В противовес окостеневшей иерархической организации существующей церкви, догматизму ее учения и обрядов он выдвигает устами Зосимы и «мальчиков» утопический идеал свободного духовного союза людей, основанного на объединяющем их общем сознании ответственности каждого человека за судьбу другого, взаимной помощи, любви и доверии, — идеал, который сторонник церковной ортодоксии К. Леонтьев не случайно признал близким социалистическим идеалам, опасным и еретическим (см. стр. 496—498).[1]

Таковы были в наиболее общих чертах представления Достоевского о положении русского общества, когда он, вернувшись из Оптиной пустыни в Старую Руссу в начале июля 1878 г., приступил к писанию первых книг «Братьев Карамазовых».

11 июля 1878 г. в письме к С. А. Юрьеву, предлагавшему ему напечатать роман в задуманном им новом журнале, который должен был начать выходить с 1879 г., Достоевский, сообщая, что хотя роман обещан в «Русский вестник», но вопрос об этом еще не решен окончательно и что ответ Юрьеву он сможет дать в октябре, высказал в то же время предположение, что работа над романом будет протекать так же, как над предыдущими: «Роман я начал и пишу, но он далеко не докончен, он только что начат. И всегда у меня так было: я начинаю длинный роман (N3 форма моих романов —40—45 листов) с середины лета и довожу его почти до половины к Новому году, когда обыкновенно является в том или другом журнале, с января, первая часть. Затем печатаю роман с некоторыми перерывами в том журнале весь год до декабря включительно и всегда кончаю в том году, в котором началось печатание. До сих пор еще не было примера перенесения романа в другой год издания». Предположение это, однако, в дальнейшем не оправдалось, и печатание романа растянулось на два года. [2]

Наброски к главам I—III первой книги романа до нас не дошли. Сохранившиеся рукописные заметки к ней, связанные между собою тематически, относятся главным образом к главам IV и V («Третий сын Алеша», «Старцы»). Намеченные здесь типы или эпизоды, за небольшими исключениями, получили развитие в окончательном тексте. Записи эти можно предположительно датировать началом сентября 1878 г.: значительная их часть находится на конверте с почтовыми штемпелями «С.-Петербург. 1 сентября» и «Старая Русса. 2 сентября» 1878 г.

Среди заметок, относящихся к IV главе, Алеша неоднократно называется Идиотом (стр. 199, 202 и др.), что очевидно свидетельствует о генетической зависимости образа этого героя от Мышкина. Работая в 1868 г. над планами «Идиота», отражающими «странные приключенья» главного героя, Достоевский намеревался развить мысль, что, «может быть, в Идиоте человек-то более действит⟨елен⟩», чем во всех других окружающих его персонажах. В печатном тексте романа автор отказался от рассуждений на эту тему, возможно потому, что подобное утверждение казалось ему тогда неуместным. Сомнения автора отразились в наброске: «Действительность выше всего. Правда,

---

[1] Тот же Вл. Соловьев откровенно писал в середине 1880-х годов в частном письме к К. Н. Леонтьеву, что Достоевский, по его мнению, рассматривал религию лишь «в подзорную трубу» и «стать на действительно религиозную почву никогда не умел» (*РВ*. 1903, № 5, стр. 162).

[2] В. Ф. Пуцыковичу Достоевский также сообщал 29 августа: «Работаю роман, но дело идет как-то туго, и я только лишь в начале, так что я очень недоволен собой».

может быть, у нас другой взгляд на действительность...» (наст. изд., т. IX, стр. 377).

Характеризуя в «Братьях Карамазовых» Алешу как «героя из нового поколения» (стр. 200) и не желая, очевидно, вызывать у читателей прямых ассоциаций с Мышкиным, Достоевский в печатном тексте называет его не «идиотом», а «чудаком». Во вступлении «От автора» он пишет, что Алексей Федорович — герой «примечательный», хотя и «человек странный, даже чудак». «Но странность и чудачество скорее вредят, — продолжает автор. — чем дают право на внимание, особенно когда все стремятся к тому, чтоб объединить частности и найти хоть какой-нибудь общий толк во всеобщей бестолочи. Чудак же в большинстве случаев частность и обособление. Не так ли?

Вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом и ответите: „Не так" или „не всегда так", то я, пожалуй, и ободрюсь духом насчет значения героя моего Алексея Федоровича» (наст. изд., т. XIV, стр. 5). И Достоевский развивает тот взгляд на своего нового героя, который не решался прямо декларировать в 1869 г. в «Идиоте»: «...не только чудак „не всегда" частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались...» (там же).

Обдумывая и определяя в черновых набросках к главе «Третий сын Алеша» черты характера своего героя, Достоевский противопоставлял его юношам, часто обнаруживающим «желание беспорядка», о которых говорится в письме Николая Семеновича в заключительной части «Подростка» (см.: наст. изд., т. XIII, стр. 453). Хотя автор «Подростка» находил объяснение «ранним порывам безумия» (подразумевая революционные устремления) у таких юношей и писал, что «желание беспорядка» у них происходит, может быть, от затаенной жажды порядка и благообразия и что в этом проявляется «искание истины», он считал избранный этой частью молодежи путь ошибочным. Революционно настроенных молодых людей Достоевский характеризовал в черновом автографе «Подростка» как «охваченных своего рода восторгом», бросивших обществу «вызов на бой» и сознательно идущих на «жестокую раннюю гибель». Задумав в «Братьях Карамазовых» указать другой путь к истине, который предстояло пройти Алеше, Достоевский сразу же замечает в черновых набросках, что его герой также принадлежит к «новому поколению», отличительная черта которого «честность»; он, как и «интересные юноши» в «Подростке», личность активная («захотел и сделал»), стремящаяся к «благообразию», однако побудительным стимулом его поступков является не «фанатизм», а любовь. Достоевский отметил, что «подвиг» Алеши будет состоять не в безрассудной ранней гибели, а в смиренном служении людям. В печатном тексте по этому поводу сказано: «Алеша избрал лишь противоположную всем дорогу, но с тою же жаждой скорого подвига» (наст. изд., т. XIV, стр. 25). Старец Зосима называет Алешу: «Мой тихий мальчик», а заметка, характеризующая героя романа как человека дела, дополняется указанием на основополагающую черту его натуры: «умилительное, а не фанатическое» (стр. 201, 200).

Определяя «главное» в образе Алеши и считая важным объяснить, почему младший Карамазов хотел вступить в монастырь, Достоевский записал: «Мистик ли? Никогда! Фанатик? Отнюдь!». «Сила», которой обладал Зосима, и «слава», которая его окружала, «подействовали на юношеское воображение» Алеши, однако Достоевский настойчиво подчеркивал, что дорогу старца его герой избрал, руководствуясь человеколюбием.[1] Здесь же Достоевский отметил, что Алеша «уверовал как реалист» (стр. 199, 201).

Сделав Алешу достаточно образованным «реалистом», а не «фанатиком» или «мистиком», Достоевский столкнулся с необходимостью примирить в мировоззрении своего героя научные и религиозные представления, ум и веру. «Я должен сказать, что, предавшись раз, он уверовал вполне, несмотря

---

[1] «Я сказал уже, что у него человеколюбие на эту дорогу, на эту дорогу старика» (стр. 202).

на то что ум его был сильно развит», — отметил он. Это рассуждение свидетельствует, что автор «Братьев Карамазовых» допускал возможность противоборства «сильно развитого ума» «безусловной вере». В то же время, раскрывая отношение Алеши к миру и религии, Достоевский писал: «Он понял, что знание и вера — разное и противуположное». «Реализм» религиозных представлений Алеши основывался на его *ощущении* («он понял — постиг, по крайней мере, или почувствовал даже только»), что «есть другие миры» и «что человек бессмертен». «Если есть связь с тем миром, — рассуждает за своего героя Достоевский, отмечая это рассуждение знаком *NB*, — то ясное дело, что она может и должна даже выражаться *иногда* фактами 〈...〉 необыкновенными, не на сей только одной земле восполняемыми. Неверие же людей не смущало его вовсе; те не верят в бессмертие и в другую жизнь, стало быть, и не могут верить в чудеса, потому что для них всё на земле совершено 〈?〉. А что до доказательств, так сказать, научных, то он хоть и не кончил курса, но все-таки считал и был вправе не верить этим доказательствам, ибо чувствовал, и что знанием, которое от мира сего, нельзя опровергнуть дела, которые по существу своему не от мира сего...» (стр. 201).

В печатном тексте рассуждения о существовании «других миров», о соотношении научных доказательств и веры опущены. Вместо этого об Алеше сказано: «Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал себе: „Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю"» (наст. изд., т. XIV, стр. 25). Здесь же Алеша назван реалистом, и повествователь сделал обобщающее заключение: «В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо» (там же, стр. 24—25). [1]

Записи ко второй книге датируются сентябрем—началом октября 1878 г. В конце октября первые две книги «Братьев Карамазовых» были переписаны Анной Григорьевной и вручены 7 ноября издателю «Русского вестника» (см. письмо Достоевского к жене от 8 ноября 1878 г. из Москвы). Некоторые группы записей можно датировать и точнее: серединой и второй половиной сентября 1878 г. (см. стр. 203, 206, 609).

Публикация автографов, относящихся ко второй книге романа, замыкается набросками, извлеченными из разновременных и разнохарактерных записей, сделанных на двух сторонах одного из листов записной тетради 1874—1875 гг., относящихся к тому же времени и озаглавленных «Словечки». Впоследствии, очевидно в период обдумывания второй книги «Братьев Карамазовых», лист этот из записной тетради был вырван (см. стр. 211—212, 611, 612) и присоединен к рукописным наброскам к новому роману.

Рукописные материалы ко второй книге различны. Среди них — конспективные наброски диалогов, тем, разговоров, характеристики героев, их реплики. Почти все заметки в том или ином виде нашли отражение в тексте. В ходе обдумывания книги постепенно вырабатывалась общая композиция ее. Последовательность событий, составляющих ее содержание, была зафиксирована в виде двух Summarium'ов (см. стр. 207—210). Рукописные наброски дают представление и о всех главных персонажах второй книги.

Дмитрий Карамазов называется здесь Ильинским, ему «поскорее нужны 3000, потому что он задержал невестины». Эти деньги Митя пытается «после сцены в келье» получить у отца, предложив ему «мировую». Здесь же указано, что Митя произнес «компрометирующее слово вперед (о убийстве отца)» (стр. 203, 205).

Второй брат в предварительных набросках именуется Иваном Федоровичем, Ученым или Убийцей. Последнее его прозвище знаменательно. Не исключено, что на этой стадии работы над романом Достоевский предполагал, что именно Иван убьет Федора Павловича, как это и было в тобольской истории

---

[1] Ср. в одном из черновых набросков: «...если есть другие миры и если правда, что человек бессмертен, то есть и сам из других миров, то, стало быть, есть и всё, есть связь с другими мирами. Есть и чудо» (стр. 201).

(см. выше).[1] Возможно, что Смердяков как персонаж «Братьев Карамазовых» возник тогда, когда Достоевский обратился к давнишним записям, озаглавленным «Словечки», ища в них характерных выражений, которые можно было бы использовать в речи его героев (см. ниже, примеч. к стр. 211—212). У нас нет свидетельств, что в период создания «Подростка» записи о Лизавете Смердящей ассоциировались у Достоевского с жившей в деревне отца писателя «дурочкой Аграфеной», которая «претерпела над собою насилие и сделалась матерью ребенка».[2] Очевидно, только в ходе работы над первыми книгами «Братьев Карамазовых» Достоевский присвоил имя Лизаветы Смердящей действующему лицу нового романа, прототипом которого послужила реально существовавшая юродивая, а ее сына назвал Смердяковым.[3]

Происхождение последнего (незаконнорожденный — см. ниже, примеч. к стр. 205), особые обстоятельства рождения, наконец, его прозвище — Смердяков — определили в какой-то степени и главные черты нравственного облика этого персонажа.

Введение в повествование четвертого брата, которому была поручена роль отцеубийцы, позволило психологически и философски углубить характер Ивана и смысл авторского суда над ним. Образ Ивана — дальнейшее развитие определившейся уже в творчестве Достоевского традиции изображения героя-«бунтаря», исповедующего атеистические убеждения и призывающего к пересмотру существующих нравственных устоев. Тот факт, что убил Федора Павловича Смердяков, а не Иван, не только не снимает, но усугубляет нравственную ответственность и вину Ивана.

Иван генетически связан с Раскольниковым, Ипполитом Терентьевым и Ставрогиным. Не случайно Иван, как и Раскольников, изложил свои взгляды, послужившие идеологической основой преступления, в статье, обсуждавшейся затем в кругу его оппонентов; впоследствии, когда преступление совершилось, Иван, так же как Раскольников, «не вынес» своей идеи. Заметка: «Ученый брат, оказывается, был у Старца прежде...» (стр. 205) — отражает не введенный в роман мотив, аналогия которому находится в опущенной главе «Бесов», где Ставрогин посещает Тихона (см. главу «У Тихона»: наст. изд., т. XI, стр. 5—30). В рукописных набросках к двенадцатой книге романа «Судебная ошибка» в конспекте обвинительной речи прокурора читаем: «Но такие, как Иван Ф⟨едорови⟩ч, и в Европу не верят. И таких много, и, может быть, они еще больше имеют в таком важном деле влияния на ход событий, чем это множество твердых и прекрасных умов, ждущих обновления от Европы. Крайняя молодежь из этих опасных отрицателей рвется в социализм, но *высшие* из них и в него не верят и пребывают почти в отчаянии. Это отчаяние недалеко до воплощения в образ Федора Павловича: было бы мне хорошо» (стр. 354). Вместо этого в печатном тексте романа прокурор говорит об Иване, что он «есть один из современных молодых людей с блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни во что, однако, не верующим, многое, слишком уже многое в жизни отвергшим и похерившим, точь-в-точь как и родитель его» (стр. 126). Безверие Ивана прокурор объясняет здесь «ранним растлением» «от ложно понятого и даром добытого европейского просвещения» (стр. 127). Достоевский отказался от первоначально намеченной характеристики Ивана в речи прокурора, возможно, также и потому, что она давала повод к сближению этого героя со Ставрогиным из «Бесов».

---

[1] А. С. Долинин, которому в то время не был еще известен связанный с «Братьями Карамазовыми» замысел «Драма. В Тобольске...», опубликованный Л. П. Гроссманом позднее, считал, что, называя в черновых набросках Ивана «Убийцей», Достоевский имел в виду только нравственную вину героя-атеиста, с его теорией «всё дозволено» (см.: *Д, Материалы и исследования*, стр. 357).

[2] *Достоевский, А. М.*, стр. 63.

[3] См. об этом: Е. И. Кийко. Из истории создания «Братьев Карамазовых». (Иван и Смердяков). В кн.: *Материалы и исследования*, т. II, стр. 134—138.

Идеологическим зачином романа стала дискуссия в келье Зосимы. По первоначальному плану одной из главных тем этой дискуссии должно было быть обсуждение проблемы: «...есть ли такой закон природы, чтоб любить человечество? Это закон божий. Закона природы такого нет, правда ли?». Позиция Ивана характеризовалась Достоевским следующим образом: «Он (Убийца) утверждает, что нет закона и что любовь лишь существует из веры в бессмертие». Оппонентом Ивана выступает Миусов, который убежден, что «любовь к человечеству лежит в самом человеке, как закон природы». В другом варианте эта мысль высказывалась со ссылкой на Руссо: «Руссо — любовь, общество само из себя любовь». «Если нет бога и бессмертия души, то не может быть и любви к человечеству». «В таком случае можно делать что угодно?» — спрашивает, очевидно, Миусов. Иван, который везде здесь назван Убийцей, отвечает утвердительно (стр. 207, 208). В дефинитивном тексте точку зрения Ивана излагает, одновременно оспаривая ее, Миусов, Иван же только заключает: «Да, я это утверждал. Нет добродетели, если нет бессмертия» (наст. изд., т. XIV, стр. 65).

Здесь была затронута проблема, волновавшая самого Достоевского, проблема, обсуждению которой он посвятил главу декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. «Голословные утверждения». Там Достоевский писал: «Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству *вообще* — есть, *как идея,* одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство-то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой».

Вопрос о соотношении природного и нравственного начал человеческой личности был затронут Вл. Соловьевым в публичных лекциях о богочеловечестве, которые он читал в Петербурге в марте 1878 г. В первом «чтении» Вл. Соловьев, в частности, утверждал: «По природе люди ⟨...⟩ чужды и враждебны друг другу, природное человечество никак не представляет собою братства. Если, таким образом, осуществление правды невозможно на почве данных природных условий — в царстве природы, то оно возможно лишь в царстве благодати, т. е. на основании нравственного начала, как безусловного или божественного».[1]

Достоевский был знаком с идеями Вл. Соловьева этого периода. Молодой философ мог предварительно обсуждать содержание своих лекций с писателем, мнение которого он высоко ценил (см. письмо Достоевского от 24 марта 1878 г. к Н. П. Петерсону). Не исключена возможность, что диспут в келье Зосимы впитал ряд мотивов их тогдашних бесед.

Примечательно, что в черновых набросках, а потом и в печатном тексте Зосима ставит под сомнение атеизм Ивана. Старец говорит Ивану: «В вас этот вопрос не решен, и в том ваше горе». И в другом месте: «Или вы счастливы, или мучаетесь, если не веруете. В вас не кончен процесс» (стр. 207, 210).

В черновых записях ко второй книге романа было намечено и несколько других тем, которые, очевидно, должны были обсуждаться в келье Зосимы. Так, со знаком *NB* Достоевский записал: «Все вещи и всё в мире для человека не окончены, а между тем значение всех вещей мира в человеке же заключаются». Тут же рядом находим запись: «Только владение землей благородит. Без земли же и миллионер — пролетарий». Чтобы «перородить» пролетария, утверждал Достоевский, «надо, чтоб он стал владельцем земли» (стр. 208). Приведенные записи, перекликающиеся с рассуждениями Достоевского на эту же тему в главе четвертой июльско-августовского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. («Земля и дети»), не получили развития в печатном тексте. Однако мысль о том, что человек должен жить на принадлежащей ему земле, продолжала волновать романиста (см. письмо к А. Г. Достоевской от 13(25) августа 1879 г.).

При составлении окончательного плана второй книги Достоевский сделал поверх прежних записей, обозначенных «Summarium 2», заметку: «Церковн⟨ый⟩ суд» — и внизу того же листа еще помету: «Что церковь — для шутки или нет?»

---

[1] *Соловьев,* т. III, стр. 11.

(стр. 207, 208). Выяснение этого вопроса определило основное направление диспута в келье Зосимы. В черновых набросках нет детальной разработки этого эпизода. Ничего не сказано здесь и о том, что обсуждение книги «одного духовного лица» в келье старца возникло в связи с тем, что была упомянута статья Ивана, написанная в ответ на эту книгу. Большая часть рукописных материалов к указанному эпизоду романа — либо цитаты из статьи М. И. Горчакова «Научная постановка церковно-судного права» (Сборник государственных знаний, т. II. СПб., 1875), либо возражения ее автору без указания, кому из героев они будут поручены в романе. По содержанию возражения эти совпадают с мыслями, позднее высказанными Достоевским-публицистом (*ДП*, 1881, гл. 1, § IV, «Первый корень»; см. также: наст. том, стр. 535). Так, например, — рядом с пометой «233 стр.» сделана запись: «Не определенное положение в государстве, а заключающее само в себя всё государство, и если теперь это невозможно, то несомненно (желательно) должно поставиться целью всего дальнейшего развития христианского общества» (стр. 209). Эта заметка является ответом на следующее утверждение М. И. Горчакова, которое находится на указанной Достоевским 233 стр. вышеназванной книги: «Будучи установлением и обществом, церковь является во внешних формах в данном государстве и народе; поэтому она должна иметь определенное положение в государстве». Возражения Достоевского вызвали также рассуждения Горчакова (на 236 стр.) о том, что церковь — это «общественный союз в государстве». С точки зрения автора «Братьев Карамазовых», церковь — это «общественный союз для устранения государства, для перевоплощения в себе государства» (стр. 209).

Достоевский полагал, что идея государства и идея церкви противоположны друг другу, так как первое есть «установление языческое» и, следовательно, враждебное христианству. Высказав эту мысль, Достоевский тут же сделал заметку: «Что это смешение элементов будет вечное, что его и *нельзя* привесть в нормальный порядок, разъяснить, потому что ложь в основании» (стр. 208). В романе точку зрения Достоевского «разъясняет» и отстаивает Иван, к которому присоединяется затем старец Зосима (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 56—63; наст. том, стр. 534—536).

Объясняя механическое соединение противоположных по своей сущности начал государства и церкви историческими причинами, Достоевский близок к точке зрения, развитой Вл. Соловьевым в работе «Философские начала цельного знания» (1877). В первой ее главе «Общеисторическое введение (о законе исторического развития)» Вл. Соловьев писал, что в эпоху язычества «христианская церковь признавала себя единственным духовным священным обществом».[1] Когда императорская власть прекратила вражду против христиан и весь языческий мир стал христианским, «церковь дала свою санкцию обращенному государству, соединилась с ним, но соединилась только механически. Произошел внешний компромисс».[2] Государственный строй при императорах-христианах не изменился. Остался тот же принцип: римское языческое право, и те же учреждения — смесь римских республиканских форм с восточной деспотией. «Между тем, — утверждал далее Вл. Соловьев, — христианство для того и явилось, чтобы упразднить власть закона. Оно определяет себя как царство благодати...».[3]

Спор в келье старца о назначении и взаимоотношениях церкви и государства приобрел публицистический характер. Герои романа вступили в полемику с реально существующей статьей, автором которой был М. И. Горчаков, высказав при этом суждения, как отмечено выше, впоследствии повторенные Достоевским уже от собственного имени. Знаменательным является и то обстоятельство, что Иван, именовавшийся еще в рукописных набросках на этом этапе Убийцей, идейный антипод Зосимы, оказался в этом споре его союзником (ср.: *Д, Материалы и исследования*, стр. 359). Правда, в тексте

---

[1] *Соловьев*, т. I, стр. 268.
[2] Там же, стр. 269.
[3] Там же.

романа Зосима ставит под сомнение искренность Ивана (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 65). Однако тут же он высказывает и пророческое суждение относительно того, что если вопрос о боге и бессмертии души никогда не решится Иваном в положительную сторону, «то никогда не решится и в отрицательную».

Незавершенность мировоззрения Ивана, то, что в нем «не кончен процесс» формирования системы убеждений, в достаточной степени объясняет, почему Достоевский счел возможным в споре в келье старца сделать этого героя, у которого «сердце высшее, способное такою мукой мучиться» (наст. изд., т. XIV, стр. 66), выразителем близких ему идей. Сомнения Ивана, его стремление найти истину по первоначальному замыслу должно было быть подчеркнуто тем фактом, что он ранее приходил в поисках нравственной истины к Зосиме.

Среди черновых набросков ко второй книге романа есть запись: «*Перемещение* любви. Не забыл и тех. Вера, что оживим и найдем друг друга все в общей гармонии ⟨...⟩ *Воскресение предков* зависит от нас» (стр. 204, 205). Достоевский воспользовался здесь в качестве заготовок для будущего диалога формулами, близкими философским идеям Н. Ф. Федорова, с которыми он познакомился как раз в 1878 г. через его ученика и пропагандиста его идей Н. П. Петерсона (см. об этом стр. 470—471).

В записях к первым двум книгам романа еще нет имени Зосимы. Он обозначается просто как Старец, правда, на одной из страниц он дважды назван Макарием (см. стр. 210, 211, а также стр. 200), так же как странник в «Подростке».[1] Обращалось внимание на функциональную близость образов Макара Долгорукова и Зосимы и на характерное для них обоих умильно-восторженное отношение к миру.[2] Сходство этих персонажей, разумеется, не случайно: Макар — следующая после Тихона в «Бесах» попытка создания образа близкого народным идеалам современного подвижника и учителя-христианина, Зосима — дальнейшее развитие той же художественной идеи. В основу поучений Макара и Зосимы легли близкие фольклорные и книжные источники, что обусловило и общность стиля многих мест в сказе одного и другого героя. В ходе работы над первыми двумя книгами образ старца постепенно приобрел конкретность, пластическую осязаемость и философскую весомость. Назвав старца Зосимой (от греч. Ζῶον — живой, живущий), Достоевский одновременно усилил обобщенно-символическую трактовку этого персонажа.

Работа над третьей книгой началась во второй половине ноября 1878 г., после возвращения Достоевского в Петербург из Москвы, куда он ездил, чтобы вручить редакции «Русского вестника» две первые книги «Братьев Карамазовых» (см. письма к А. Г. Достоевской из Москвы от 8—11 ноября 1878 г.).

Из сохранившихся к третьей книге заметок с некоторой точностью можно датировать только страницы, представляющие записи на двойном листе почтовой бумаги с более ранним наброском письма студентам Института инженеров путей сообщения (см. стр. 215—216). Достоевский выражал сожаление по поводу того, что не смог выступить на музыкально-литературном вечере этого института. Судя по объявлению в «Голосе», вечер должен был состояться 26 ноября 1878 г. (см.: «Голос», 1878, 26 ноября, № 327, «Внутренние новости»). Таким образом, записи к «Братьям Карамазовым» могли быть сделаны не ранее конца ноября 1878 г. (см.: *Die Urgestalt*, стр. 511).

Хотя сюжет третьей книги обдумывался еще в период работы над предыдущей частью романа, при создании черновой рукописи последовательность некоторых эпизодов изменилась.

Проходя мимо сада ближайших соседей, Алеша первоначально должен был встретить не Митю, а Смердякова с Марьей Кондратьевной (в рукописи она названа Марьей Николавной) (см. стр. 213, 214). В связи с этим Достоевский намеревался подробно рассказать о хозяйке соседнего домика, о ее мошенни-

---

[1] Не следует также исключать возможность, что это имя возникло у Достоевского по ассоциации с названием Оптино-Введенской Макариевой пустыни.

[2] См.: Р. Плетнев. Сердцем мудрые. (О «старцах» у Достоевского). В кн.: *О Достоевском*, вып. II, стр. 82.

ческих проделках, о ее дочери, которой покровительствовала Марфа Игнатьевна, и изложить историю знакомства девушки со Смердяковым. Дойдя до сцены свидания, которая в рукописи только намечена, писатель отказался от прежнего плана, уводившего развитие сюжета в сторону от магистральной линии (см. стр. 212—215).

О том, что Достоевский внес изменения в развитие действия и прервал начатый рассказ о Смердякове, косвенно свидетельствует следующее замечание повествователя, высказанное в конце главы II «Лизавета Смердящая»: «Очень бы надо примолвить кое-что и о нем специально, но мне совестно столь долго отвлекать внимание моего читателя на столь обыкновенных лакеев, а потому и перехожу к моему рассказу, уповая, что о Смердякове как-нибудь сойдет само собою в дальнейшем течении повести» (наст. изд., т. XIV, стр. 93).

Изменив последовательность эпизодов, Достоевский сократил подробности, касающиеся соседки, ее дочери, а также, может быть, и предварительную характеристику Смердякова, поскольку сведения эти не имели отношения к встрече Алеши с Митей. В главе III сохранено только указание, кому принадлежал участок, примыкавший к саду Федора Павловича, где Алеша увидел Митю, и отмечено, что дочь хозяйки этого участка, носившая платье с «предлинным хвостом», ходила к Марфе Игнатьевне за супом (см. там же, стр. 95). В другом месте той же главы воспроизведено описание соседского сада, намеченное в отброшенном варианте (ср. там же, стр. 96). Разрозненные записи на полях реплик Марии Кондратьевны и Смердякова (см. стр. 214—215) легли в основу перенесенного затем в пятую книгу эпизода свидания этих персонажей, случайным свидетелем которого стал Алеша (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 203—206).[1]

Время работы над фрагментом автографа ⟨17⟩—⟨19⟩ можно определить только приблизительно: он возник раньше, чем дошедшие до нас наброски следующих глав третьей книги, где последовательность эпизодов соответствует окончательной редакции романа. Один из отрывков (⟨22⟩) содержит вариант рассуждения Смердякова в главе VII «Контроверза», близкий к дефинитивному тексту. Так как третья книга романа была напечатана в февральском номере «Русского вестника» за 1879 г., то страница эта могла быть заполнена не позже середины января того же года. Записи ⟨20⟩, ⟨21⟩ носят разрозненный характер, являясь как бы конспективными набросками реплик героев. Все они нашли отражение в тексте романа. Например, запись: «Разве она может любить такого, как я? (*NB* сравнительно с Иваном). — А мне так кажется, что она любит такого, как ты. — Она добродетель любит, а не меня» (стр. 215) — легла в основу диалога между Митей и Алешей в главе V «Исповедь горячего сердца. „Вверх пятами"» (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 108). К этой же главе относится заметка: «Калоши буду. За водой бегать» (в окончательном тексте: «У ее приятелей буду калоши грязные обчищать, самовар раздувать, на посылках бегать» — там же, стр. 110).

В третьей книге получили развитие также некоторые заметки, сделанные ранее. Запись: «Лизавета Смердящая. „Тело невеличко, всего двух аршин, двух вершков была (всего двух аршин, двух вершков с малыим)"» (стр. 212) — послужила исходным пунктом для характеристики ее в главе II.

Мало отличаются от печатного текста третьей книги и другие записи: ср. стр. 215—216 и наст. изд., т. XIV, стр. 119—120. Фраза Карамазова-старшего: «Да ты вот что созерцаешь. Да ты, пожалуй, черт знает до чего дойдешь», следующая сразу же за его восклицанием: «Ах ты, казуист!» — первый намек на то, что отцеубийцей мог стать Смердяков (стр. 215).

2 декабря 1878 г. в «Московских ведомостях» (№ 307) было помещено извещение о том, что публикация нового романа Достоевского «Братья Карамазовы» начнется с январской книжки «Русского вестника» 1879 г. Вскоре после этого началось печатание первых двух книг. Как свидетельствует письмо

[1] А. С. Долинин опубликовал текст этих страниц в составе рукописных набросков к пятой книге романа (см.: *Д, Материалы и исследования*, стр. 121—123), не отметив, что в более кратком виде некоторые описания из этого отрывка вошли в главу III третьей книги.

Достоевского к жене от 8 ноября 1878 г., наборная рукопись этих книг была переписана ее рукой, а из письма к соредактору Каткова Н. А. Любимову от 30 января 1879 г. видно, что корректурные листы первых двух книг, появившихся в январском номере журнала, посылались Достоевскому редакцией и тщательно просматривались им. Кроме того, надзор за корректурой осуществлялся Любимовым. Такой порядок прохождения корректур сохранился на всем протяжении печатания романа. Вероятно, значительная часть времени в декабре 1878—январе 1879 г. у автора ушла на чтение корректуры, что несколько задержало работу над продолжением «Братьев Карамазовых».

Закончив третью книгу и собираясь 31 января 1879 г. отправить ее в редакцию, Достоевский писал Н. А. Любимову накануне: «Я же эту *третью книгу*, теперь высылаемую, *далеко не считаю дурною*, напротив, *удавшеюся* (простите великодушно маленькое самохвальство...)». В этом же письме Достоевский сообщал, что в романе «всего частей будет три и каждая часть будет соответственно делиться на *книги,* а книги на *главы*».

Завершив первую часть «Братьев Карамазовых», окончание которой появилось в февральской книжке журнала, Достоевский счел необходимым сделать месячный перерыв в печатании. «Вместе с сим, многоуважаемый Николай Алексеевич, спешу Вас заранее предупредить, — писал Достоевский тогда же, — что на мартовскую книжку „Русского вестника" я ничего не могу (не в силах) прислать, так что печатание 2-й части начнется с 4-й, т. е. с апрельской, книжки „Русского вестника", и эту *вторую часть* я тоже напечатать желал бы не прерывая, до самого ее окончания...».

Работа над второй частью началась в феврале. В двадцатых числах Достоевский уже делал наброски, иногда почти без изменения перенесенные в текст глав II, V, VI и VII четвертой книги. Записи эти находятся на двойном листе почтовой бумаги, на одной из страниц которого начато письмо к К. П. Победоносцеву, датированное 19 февраля 1879 г. (см. стр. 216—219). Лист автографа (⟨23⟩, ⟨24⟩) заполнялся, очевидно, еще раньше, так как там записан подробный план главы I «Отец Ферапонт». Последовательность эпизодов, обозначенных в плане, совпадает с окончательным текстом. На этих же страницах имеются наброски реплик отца Ферапонта и обдорского монашка, почти все использованные в романе (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 152—154).

Среди записей следует выделить слова Ивана, произнесенные после разрыва с Катериной Ивановной, — намек на то, что он *ждет* убийства отца, хотя и не решается себе в этом признаться. Иван говорит: «Я поеду (в Москву), но не завтра, не сию минуту, несколько дней еще надо здесь пробыть...» (стр. 220). Странность поведения Ивана интуитивно ощущает Алеша. Так, в ответ на замечание отца, что Иван «у Дмитрия невесту хочет отбить, для того здесь и живет», Алеша говорит: «Неужто он это вам сказал?». Вслед за этими словами Достоевский сделал ремарку: «Тревожное чувство. И вдруг ему померещилось, что он действительно мог сказать это, не в самом деле, а для того, чтоб глаза отвести, зачем он живет» (стр. 218). В окончательном тексте подозрение, охватившее Алешу, обнаруживается иначе. В ответ на замечание отца об Иване: «Не зарезать же меня тайком и он приехал сюда?» — Алеша отвечает: «Что вы! Чего вы это так говорите?», причем автор добавляет: «смутился ужасно» (наст. изд., т. XIV, стр. 157).

Уточняя последовательность развития действия после главы V («Надрыв в гостиной»), Достоевский одновременно разрабатывал эпизоды, вошедшие в следующую книгу. Особенно подробно разработаны темы и отдельные реплики диалога Лизы и Алеши, развитые впоследствии в главе «Сговор», имеется также помета, намечающая встречу Алеши с Иваном в трактире: «Столичный трактир. Доброе лицо, какой-то новый человек сидел перед ним (брат Иван)» (стр. 220). В романе эта характеристика развернута в следующих словах Алеши, обращенных к Ивану: «...ты такой же точно молодой человек, как и все остальные двадцатитрехлетние молодые люди, такой же молодой, молоденький, свежий и славный мальчик, ну желторотый, наконец, мальчик!» (наст. изд., т. XIV, стр. 209).

Среди рукописных материалов к четвертой книге сохранились разрознен-

вые записи к главам VI и VII («Надрыв в избе», «И на чистом воздухе»). Они, как правило, фиксируют наиболее характерные реплики Снегирева, определяющие ход его беседы с Алешей. Из рукописных набросков к этим главам не нашли отражения в окончательном тексте только два.

В главе VII Снегирев говорит Алеше: «Вы, сударь, не презирайте меня: в России пьяные люди у нас самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные» (там же, стр. 188). В рукописи Снегирев продолжал: «Нечего делать, надо бюджет-с. Надо, чтоб Россия в Европе сияла-с, за просвещение Европе надо заплатить-с, вот и пьют наши самые добрые, чтоб за весь этот блеск оплатить. Шутка ли, сколько надо денег, чтоб одних дипломатов держать» (стр. 222, 613).

В другой записи, не использованной в окончательном тексте, речь шла о проблемах воспитания: «Фребелевску⟨ю⟩ систему у нас вводят-с, — просвещение-с. Читают. Песенки поют-с», — должен был говорить Снегирев (стр. 223, см. также стр. 607).

Четвертая книга была напечатана в апрельском номере «Русского вестника» 1879 г., и Достоевский, после небольшого перерыва, принялся за писание пятой «Pro и contra». Эту книгу в письме к Н. А. Любимову от 30 апреля 1879 г. автор «Братьев Карамазовых» назвал «кульминационной точкой романа». В том же письме Достоевский сообщил, что «с материалом для майского № „Русского вестника"» он «*принужден запоздать*», но все же постарается выслать его к 10—15 мая: «Надо выдержать хорошо, а для этого не слишком спешить». Обещая дать для майского номера «листа три (может быть, больше)», автор писал: «Во всяком случае всё, что будет теперь следовать далее, будет иметь, для каждой книжки, как бы законченный характер. Т. е. как бы ни был мал или велик отрывок, но он будет заключать в себе нечто целое и законченное». Этот принцип композиции был выдержан на протяжении всего продолжения романа: каждая из двенадцати книг «Братьев Карамазовых», являясь частью единого целого, была в то же время посвящена самостоятельной теме, которая определялась названием («Русский инок», «Алеша», «Митя», «Мальчики» и т. д.).

Рукописи пятой книги отражают, хотя и неполно, почти все стадии работы Достоевского над нею. Среди подготовительных материалов — планы отдельных глав, наброски эпизодов, распределенных впоследствии по нескольким главам, конспективные записи, черновой автограф, близкий к окончательному тексту, и, наконец, отрывок, переписанный рукою А. Г. Достоевской, с авторскими поправками.

Некоторые эпизоды первой главы обдумывались и были зафиксированы в виде реплик Алеши и Лизы, как отмечалось выше, еще в ходе работы над четвертой книгой (гл. IV, «У Хохлаковых», см. стр. 220—221). Не исключена возможность, что «сговор» между Алешей и Лизой должен был состояться сразу же после объяснения Ивана с Катериной Ивановной. Такое предположение возникает при анализе рукописей, где в двух вариантах планов (см. там же) последовательность эпизодов не совпадает с окончательной. Так, реплики сцены «сговора» (стр. 220), разработка которых следует непосредственно после материалов главы «Надрыв в гостиной», логически связаны со словами Хохлаковой, с которыми она обратилась к Лизе, уходя утешать Катерину Ивановну (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 178). Перейдя от планов к работе над связным текстом, Достоевский посвятил «сговору» молодых людей специальную главу, которой и открывается пятая книга.

В первоначальных набросках нравственная основа союза Алеши и Лизы, договорившихся соединить свои судьбы, чтобы за людьми «как за детьми ходить, а за иными как за больными в больницах», мотивировалась диалогом: «„Если б вы знали, Lise, какие голодные! Мы виноваты (Старец)". — Lise: „Чем же мы-то?" Ал⟨еша⟩: „Всё равно мы возьмем на себя, и если б никто не взял, а мы одни возьмем, то и то *не сомневаться*..."» (стр. 221). В конспектах, составленных уже в период обдумывания пятой книги (см. стр. 223—226), и в законченном тексте упоминание о «голодных» дополнено рассказом о семье Снегиревых. Сострадание Алеши, а через его воздействие и Лизы, к обездоленным получило дополнительную мотивировку благодаря тому, что Алеша

только что непосредственно соприкоснулся с безысходной нуждой, горестями и нравственными страданиями в доме Илюшечки. Это, с одной стороны, соответствовало проповеди Зосимы, призывавшего любить людей «деятельно и неустанно», а с другой — явилось аргументом, почерпнутым Алешей из собственного жизненного опыта и в то же время направленным против Ивана, утверждавшего: «Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда» (наст. изд., т. XIV, стр. 216).

Рассказ Алеши о том, что Снегирев растоптал две сторублевые ассигнации, врученные ему от имени Катерины Ивановны (вероятно, сложная трансформация мотива «Станционного смотрителя»), в заметках к главе «Сговор» представлен в виде связного текста. Но в сохранившемся автографе отсутствует чрезвычайно важный аспект характеристики Снегирева, а именно то, что «он из ужасно стыдливых бедных» (ср. стр. 225—226 и наст. изд., т. XIV, стр. 196).

Главы «Братья знакомятся», «Бунт», «Великий инквизитор» явились итогом давних творческих размышлений романиста (об этом см. стр. 407—409).

Характер заметок к главам III—V книги «Pro и contra» позволяет предположить, что по первоначальному замыслу при встрече с Алешей в трактире Иван должен был ограничиться только «бунтом» против созданного богом мира. Планы и наброски, отражающие содержание глав III и IV, дважды заканчиваются тем, что братья, прощаясь, покидают трактир (см. стр. 228, 230). Тема Великого инквизитора здесь едва намечена.[1] Даже закончив главу «Бунт» обращенной к Алеше просьбой Ивана выслушать его «поэму», Достоевский, очевидно, не предполагал, что она займет так много места в пятой книге, в которую по первоначальному плану должно было войти и «опровержение» идей Ивана. В письме к Н. А. Любимову автор 10 мая 1879 г. сообщал в соответствии с этим: «Сегодня выслал на Ваше имя в редакцию „Р⟨усского⟩ вестника" *два с половиною* (minimum) текста „Братьев Карамазовых" для предстоящей майской книги „Р⟨усского⟩ в⟨естни⟩ка".

Это книга пятая, озаглавленная „Pro и contra", но не вся, а лишь половина ее. 2-я половина этой 5-й книги будет выслана (своевременно) для июньской книги, и заключать будет *три* листа печатных. Я потому принужден был разбить на 2 книги „Р⟨усского⟩ в⟨естни⟩ка" эту 5-ю книгу моего романа, что, во-1-х) если б даже и напряг все усилия, то кончил бы ее разве к концу мая (за сборами и переездом в Старую Руссу — слишком запоздал), стало быть, не получил бы корректур, а это для меня важнее всего, во-2-х) эта 5-я книга в моем воззрении есть кульминационная точка романа, и она должна быть закончена с особенною тщательностью. Мысль ее, как Вы уже увидите из посланного текста, есть изображение крайнего богохульства и зерна идеи разрушения нашего времени в России, в среде оторвавшейся от действительности молодежи, и рядом с богохульством и с анархизмом — опровержение их, которое и приготовляется мною теперь в последних словах умирающего старца Зосимы...».

Не противоречит сделанному выше предположению и письмо к К. П. Победоносцеву от 19 мая 1879 г., где говорится: «...эта книга в романе у меня кульминационная, называется „Pro и contra", а смысл книги: богохульство и опровержение богохульства. Богохульство-то вот это закончено и отослано, а опровержение пошлю лишь на июньскую книгу. Богохульство это взял, как сам чувствовал и понимал, сильней, то есть так именно, как происходит оно у нас теперь в нашей России у *всего* (почти) верхнего слоя, а преимущественно у молодежи, то есть научное и философское опровержение бытия божия уже заброшено, им не занимаются вовсе теперешние *деловые социалисты* (как занимались во всё прошлое столетие и в первую половину нынешнего). Зато *отри-*

---

[1] А. С. Долинин полагал, что «необходимость объективировать идеи Ивана в плане общечеловеческой истории с точки зрения телеологической: в образе Великого инквизитора» — возникла у Достоевского при обдумывании заметок на стр. 227—232 (см.: *Д, Материалы и исследования*, стр. 369—370).

цается изо всех сил создание божие, мир божий и *смысл его*. Вот в этом только современная цивилизация и находит ахинею. Таким образом льщу себя надеждою, что даже и в такой отвлеченной теме не изменил реализму. Опровержение сего (не прямое, то есть не от лица к лицу) явится в последнем слове умирающего старца».

Можно думать, что на самый выбор названия книги «Pro и contra» повлияло то, что в ней должны были присутствовать не только идеи Ивана, но и их опровержение. Вот почему Алеша, прощаясь с Иваном, в ответ на его вопрос: «Жив ли твой Pater Seraphicus?» — отвечал: «Жив и последнее слово записал».[1] Очевидно, вслед за этим должна была идти «исповедь» Зосимы. Мысль о противопоставлении поучений Зосимы «богохульству» Ивана тут же, в пятой книге, не была отброшена и тогда, когда в сознании автора уже складывались контуры главы «Великий инквизитор». Об этом свидетельствует следующая запись среди конспективных набросков к поэме о Великом инквизиторе: «Испов⟨едь⟩ Старц⟨а⟩: „Не хочу оставить вас в неведении, как это сам понимаю. (Иди, входи.)"» (стр. 232).

Последовательность эпизодов в главах «Братья знакомятся» и «Бунт» и опорные пункты беседы Алеши с Иваном обдумывались параллельно. Судя по предварительным набросками, Достоевский стремился сделать аргументацию Ивана, отвергающего «мир божий и *смысл его*», предельно «реалистической», соответствующей «духу времени».[2] Так, Иван говорил Алеше, что он бы «желал совершенно уничтожить идею бога». В соответствии с этим он отрицал бессмертие и утверждал, что Христос «там ⟨на небесах, — *Ред.*⟩ ничего не нашел». В духе Фейербаха Иван объяснял, почему возникла идея бога: «Жизнь подла. Ум выдумал возмездие бога, но и бессмертие, если меня не будет — то подло» (стр. 228—230). Однако основное внимание Достоевский сосредоточил на выяснении вопроса, обращенного Иваном к Алеше: «Если б ты создавал мир, создал ли бы ты на слезинке ребенка, с целью в финале осчастливить людей, дать им мир и покой?» (стр. 229). Автор «Братьев Карамазовых» руководствовался, по собственным словам, направлением умов, характерным для эпохи, когда «научное и философское опровержение бытия божия» уступило место выяснению причин социального зла.

По первоначальному замыслу Алеша на вопрос Ивана: «Можешь понять, как мать обнимет генерала и простит ему?» — отвечал: «Нет, еще не могу. *Еще* не могу» (стр. 228). Тем самым Алеша хотя и не принимал жестокий и несправедливый мир, но выражал надежду, что в будущем, может быть, окажется в силах его понять и принять. В окончательном тексте Алеша соглашается с Иваном в том, что и никто из людей не должен допустить несправедливости и насилия (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 224).

Главы «Братья знакомятся» и «Бунт» насыщены острыми социальными проблемами и жестокими «картинками» общественно-семейного быта.[3] В главе «Великий инквизитор» затрагивались историко-философские и идейно-нравственные основы не только русской жизни, но и жизни всего европейского человечества. Значительное внимание в черновых набросках уделено обоснованию тезиса Ивана: «...истины нет, бога, т. е. того бога, которого ты ⟨Христос, — *Ред.*⟩ проповедовал». Определяя идеи, которые следует развить в речах Инквизитора, Достоевский сделал для себя следующие заметки: «Что религия невместима для безмерного большинства людей, а потому не может быть названа религией любви, что приходил он лишь для избранных, для сильных и могучих, и что и те, претерпев крест его, не найдут ничего, что было обещано, точно так же как и он сам не нашел ничего после креста своего» (стр. 236). Во многих

---

[1] Иван говорит Алеше: «Больше не приходи, ступай к своему Зосиме» (стр. 230).

[2] Эта проблема занимала Достоевского еще во время работы над «Подростком». Среди черновых набросков к роману есть следующая запись суждения «хищного типа»: «Если мир так идет, что подлое дело очутится на месте светлого, то пусть всё провалится, я не принимаю такого мира».

[3] См.: наст. том, стр. 553—555, примеч. к стр. 219—222.

заметках варьировалась мысль предыдущей главы о несовершенстве мира: «Инквизитор: „Зачем нам там? Мы человечнее тебя. Мы любим землю — Шиллер поет о радости, Иоанн Дамаскин. Чем куплена радость? Каким потоком крови, мучений, подлости и зверства, которых нельзя перенести?"». Тут же устами Инквизитора высказывался новый упрек богу: «Инквизитор: „*Бог как купец*. Я люблю человечество больше *тебя*"» (стр. 230). Увлечение, с которым Достоевский работал над обоснованием тезисов против созданного богом мира, отодвинув противостоящие им поучения старца Зосимы до следующей, шестой, книги, можно объяснить только тем, что многое, сказанное здесь устами Ивана, было близко самому автору романа.

11 июня 1879 г. Достоевский сообщил Н. А. Любимову, что «третьего дня» он отправил в редакцию для июньского номера журнала окончание пятой книги. Характеризуя посланную рукопись, автор писал: «В ней закончено то, что „*говорят уста гордо и богохульно*". Современный *отрицатель*, из самых ярых, прямо объявляет себя за то, что советует дьявол, и утверждает, что это вернее для счастья людей, чем Христос» (ср.: наст. изд., т. XIV, стр. 230—232).

Изложив в главах «Бунт» и «Великий инквизитор» идейно-теоретическую позицию Ивана, Достоевский перешел к наброскам «Иван и Смердяков (Сцена)» (стр. 238—241). Конспективные записи основных пунктов беседы Ивана со Смердяковым почти полностью нашли отражение в окончательном тексте. Заметки же, определявшие характер ночных раздумий Ивана, были позднее опущены. Вот как, например, Достоевский в рукописи передает воспоминания Ивана о разговоре со Смердяковым: «Сначала: „Он смеялся надо мной. Да, смеялся". А потом ночью вскакивает: „Уж не полагает ли, мерзавец, что мне приятно будет, что убьют отца? Да, это именно полагает!" (Фамильярность оскорбляет.)». Тут же Достоевский сделал помету: «Главное — смутно, о главном не догадывается». Но далее следовали записи, намечающие ход саморазоблачений героя: «Черт возьми! А может, мне и в самом деле приятно, ха-ха. Уж не считает ли он меня в заговоре с Дмитрием?». Анализируя тайный смысл слов Смердякова, Иван ближе, чем в дефинитивном тексте, подходил к осознанию его преступного замысла: «Черт возьми, может быть, он-то и хочет убить?» (стр. 240). В романе вместо этого автор ограничивается указанием на ощущение вины, охватившее героя: «В семь часов вечера Иван Федорович вошел в вагон и полетел в Москву. „Прочь всё прежнее, кончено с прежним миром навеки, и чтобы не было из него ни вести, ни отзыва; в новый мир, в новые места, и без оглядки!" Но вместо восторга на душу его сошел вдруг такой мрак, а в сердце заныла такая скорбь, какой никогда он не ощущал прежде во всю свою жизнь. Он продумал всю ночь; вагон летел, и только на рассвете, уже въезжая в Москву, он вдруг как бы очнулся. „Я подлец!" — прошептал он про себя» (наст. изд., т. XIV, стр. 255).

Отправив в редакцию «Русского вестника» окончание книги «Pro и contra», Достоевский 11 июня 1879 г. писал Н. А. Любимову, что центральным событием следующей книги, которую он пришлет к 10 июля для июльской книжки журнала, явится «смерть старца Зосимы и его предсмертные беседы с друзьями».

Приступая к созданию шестой книги, автор намеревался, как он писал в цитированном письме, показать, что «чистый, идеальный христианин — дело не отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее». Достоевский предвидел трудности в осуществлении этого своего замысла. И действительно, для июльского номера «Русского вестника» книга запоздала.

8 июля Достоевский писал Любимову: «По расстроившемуся здоровью мне безотлагательно прописано съездить в Эмс на 6 недель лечения ⟨...⟩ Поездка работе не помешает, напротив, в Эмсе, в совершенном уединении, я еще свободнее, но об этом потом.

Главное же в том, что на нынешний месяц (на июльскую 7-ю книжку) я бы очень просил Вас не требовать от меня продолжения „Карамазовых". Оно почти готово, и, при некотором усилии, я бы мог выслать и в нынешнем месяце, но важное *для меня* в том, что эту будущую 6-ю книгу («Pater Sera-

phicus», «Смерть старца») я считаю кульминационной точкой романа, а потому желалось бы отделать ее как можно лучше, просмотреть и почистить еще раз, а потому беру ее с собой в Эмс и из Эмса вышлю в редакцию „Русского вестника" не позже (ни в каком случае) 10—12 числа будущего августа...».

Предполагая, что шестая книга появится в «Русском вестнике» 31 августа, Достоевский тут же набрасывает план дальнейшего писания и печатания романа, как план этот виделся ему летом 1879 г.: «Затем последует 7-я книга на сентябрь и октябрь (по $2^1/_2$ листа на каждый месяц, вперед заявляю, что эффектна⟨я⟩, и этой 7-й книгой закончится 2-я часть романа „Бр⟨атьев⟩ Карамазовых".

И вот я теперь у самого главного пункта! В романе есть еще 3-я часть (не столь великая числом листов, как 2-я, но такого же объема, как и первая). Закончить же ее в нынешнем году я положительно не могу. Не рассчитал, принимаясь за роман, сил моего здоровья. Кроме того, работать стал гораздо медленнее и, наконец, смотрю на это сочинение мое строже, чем на все прежние: хочу, чтоб закончилось хорошо, а в нем есть мысль, которую хотелось бы провести как можно яснее. В ней суд и казнь и постановка одного из главнейших характеров, Ивана Карамазова. Одним словом, считаю долгом сообщить Вам и предложить на Ваше согласие следующее. После окончания 2-й части (в октябрьской книжке) я приостановлюсь до будущего года, до января, и 3-я часть появится в январской книжке. Эта 3-я часть (в 10 или в 11 листов) будет закончена, а с нею вместе и роман, в январе, феврале и марте (никак не далее), а может быть даже в январе и в феврале. Но чтобы не было газетных (фельетонных) обвинений на „Русский вестник" (как при „Анне Карениной"), что редакция нарочно растягивает роман на несколько лет, я в октябрьской же книжке сего года, т. е. при окончании 2-й части, пришлю Вам мое письмо для напечатания в той же книжке, за моею подписью, в котором принесу извинение, что не мог кончить работу в этом году по нездоровью и что виноват в этом перед публикой выхожу один только я. Письмо прислано будет предварительно на Ваше рассмотрение».

Этот план Достоевский просил Любимова довести до сведения Каткова, чтобы получить его санкцию на печатание романа в течение двух лет и помещение в журнале письма-извещения об этом.

Бо́льшая часть книги «Русский инок» писалась в Старой Руссе, а заканчивалась она в Эмсе, куда Достоевский выехал во второй половине июля.

По первоначальному плану старец Зосима, по-видимому, сам должен был «записать» свои предсмертные поучения (ср. приведенные слова: «Жив и последнее слово записал» (стр. 230). В ходе обдумывания шестой книги Достоевский отказался от этого. Автор, очевидно, счел маловероятным, чтобы слабый и больной старец был бы в состоянии сам писать свое завещание, и поручил записать предсмертное слово Зосимы Алеше, добавив и прежде записанные им рассказы и поучения. Это решение было оправдано и традицией: известны многочисленные средневековые жизнеописания и поучения святителей, записанные их учениками. Поясняя в законченном тексте особенности записок Алеши, Достоевский писал: «Биографические сведения ⟨...⟩ обнимают лишь первую молодость старца. Из поучений же его и мнений сведено вместе, как бы в единое целое, сказанное, очевидно, в разные сроки и вследствие побуждений различных. Всё же то, что изречено было старцем собственно в сии последние часы жизни его, не определено в точности, а дано лишь понятие о духе и характере и сей беседы, если сопоставить с тем, что приведено в рукописи Алексея Федоровича из прежних поучений» (наст. изд., т. XIV, стр. 293—294).

В письме к Е. А. Штакеншнейдер, написанном 15 июня 1879 г., т. е. в пору обдумывания шестой книги «Карамазовых», говорится: «Болезнь и болезненное настроение лежат в корне самого нашего общества, и на того, кто сумеет это заметить и указать, — общее негодование». Достоевский с сарказмом отмечал здесь же, что отрицавший реалистический характер его творчества Евг. Марков «печатает роман с особой претензией опроверг-

нуть пессимистов и отыскать в нашем обществе здоровых людей и здоровое счастье. Ну, пусть его. Уж один замысел показывает дурака. Значит ничего не понимать в нашем обществе, коли так говорить!».

Предварительные наброски к книге шестой дают основание утверждать, что по первоначальному замыслу поучения Зосимы должны были включать страницы с критикой социального быта России. В опубликованном тексте Зосима касается проблемы социального неравенства главным образом в разделе «Нечто о господах и слугах и о том, возможно ли господам и слугам стать взаимно по духу братьями». В частности, Зосима с неодобрением отмечает здесь, что «наступает и в народе уединение: начинаются кулаки и мироеды», укоряет высшие сословия, которые «хотят устроиться справедливо одним умом своим, но уже без Христа, как прежде, и уже провозгласили, что нет преступления, нет уже греха» (там же, стр. 285—286). Гневно упоминает Зосима о десятилетних детях, работающих на фабриках (там же, стр. 286).

Прочитав главу «Бунт», К. П. Победоносцев писал Достоевскому 9 июня 1879 г.: «Жду теперь появления книжки „Рус⟨ского⟩ вестника", чтобы знать окончание разговоров братьев Карамазовых о вере. Это очень сильная глава — но зачем Вы так расписали детские истязания!» (*ЛН*, т. 15, стр. 138).

Достоевский не принял во внимание упрек Победоносцева и как бы в ответ на него привел пример жестокой эксплуатации, нравственного растления детей в условиях капитализирующейся России 1870-х годов, причем заставил об этом говорить «русского инока», оппонента Ивана.

В рукописных заметках состояние русского общества характеризовалось еще более резко. «Что же, нельзя не сознаться, в России мерзко», — гласит одна из записей (стр. 250). В набросках текста поучений старца Зосимы неоднократно повторяется тезис: «Мир на другую дорогу вышел», уклонившись от праведного пути любви и всепрощения (стр. 245, 247, 249). «Не может быть, чтобы мир стоял для 1/10-й доли людей», — гласит другая запись (стр. 243).

Имея, очевидно, в виду оппонентов, которые «закричат»: «Таков ли Русский инок, как сметь ставить его на такой пьедестал?» (письмо к Н. А. Любимову 7(19) августа 1879 г.), Достоевский предполагал устами Зосимы обосновать возможность реального существования идеального монаха, о чем свидетельствует следующая запись: «У нас и прежде всегда из монастырей деятели народные выходили, отчего не может быть и теперь?» (стр. 250). Но рядом в подготовительных заметках сохранились и резкие отзывы о священнослужителях и их положении в пореформенной России: «Вопят духовные, что мало доходу ⟨...⟩ Что теперь для народа священник? Святое лицо, когда он во храме или у тайн. А дома у себя — он для народа стяжатель. Так нельзя жить. И веры не убережешь, пожалуй. Устанет народ веровать, воистину так. Что за слова Христовы без примера. А ты и слова-то Христовы ему за деньги продаешь» (стр. 253). И в другом месте: «...никто не исполнен такого матерьялизма, как духовное сословие» (стр. 249). Судя по рукописным наброскам, Достоевский собирался ввести в поучения Зосимы сомнение в возможности церкви в том виде, в каком она существовала в тогдашней России, выполнить свою миссию: «Правду ли говорят маловерные, что не от попов спасение, что вне храма спасение? Может, и правда. Страшно сие» (стр. 253; ср.: наст. изд., т. XIV, стр. 265).

Поучения старца Зосимы названы в письме к Любимову от 11 июня 1879 г. «предсмертными беседами с друзьями», может быть, не без скрытого намека на название книги «Выбранные места из переписки с друзьями». 4 ноября 1880 г. Достоевский писал И. С. Аксакову: «Ваш тезис мне о тоне распространения в обществе святых вещей, т. е. без исступления и ругательств, не выходит у меня из головы. Ругательств, разумеется, не надо, но возможно ли быть не самим собою, не искренним? Каков я есмь, таким меня и принимайте, вот бы как я смотрел на читателей. Заволакиваться в облака величия (тон Гоголя, например, в «Переписке с друзьями») — есть неискренность, а неискренность даже самый неопытный читатель узнает

чутьем». Тем не менее в рукописных материалах есть ряд тезисов, близких к проблемам, волновавшим в свое время Гоголя. На одной из страниц Достоевский записал: «Надо Россию знать. 1/10-я только. Сколько грехов. Мать избил, и догадался я, что весь мир на другую дорогу вышел» (стр. 245). Аналогичные записи были сделаны и на других страницах: «Нельзя сказать: „Простите". И вот на этом на одном уже видно, как неправильно устроен мир, на другую дорогу вышел»; «Мир на другую дорогу вышел, а тут чего: только люби друг друга, и всё сейчас сделается» и пр. (стр. 247, 253; ср.: *Гоголь*, т. VIII, стр. 400—401 и др.).

И Гоголь и Достоевский, проповедуя идею нравственного перерождения личности, отдавали себе отчет в том, что «всё общество», «весь мир» уклонились от «прямой дороги», другими словами, отмечали пороки не только отдельной личности, но и всего общества в целом.[1] Достоевский писал об этом в записной тетради 1876—1877 гг.: «О, и Гоголь думал, что понятия зависят от людей (кара грядущего закона), но с самого появления „Ревизора" всем хотя и смутно, но как-то сказалось, что беда тут не от людей, не от единиц, что добродетельный городничий вместо Сквозника ничего не изменит».

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь противопоставлял Россию Западной Европе. Он утверждал, что «есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе» и что «еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними ⟨...⟩ Знаю я твердо ⟨...⟩ У нас прежде чем во всякой другой земле воспразднуется светлое воскресение Христово» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 417—418). Близкие к этим мысли неоднократно высказывал и Достоевский.[2] Этой идеей проникнуты и поучения Зосимы. Например: «Самообладание, самопобежденпе, труд. Мы, монастыри, — образ того. Напротив, в мире теперь: развивай свои потребности, пользуйся всем», «Неверующий у нас в России ничего не сделает», «Легче христианство, чем ваше (социализм)», «Мечтают об алюминиевых колоннах...» (стр. 243, 245, 250). Перечисленные темы в большей или меньшей степени были развиты в шестой книге «Братьев Карамазовых», хотя текстуальных совпадений с приведенными записями там нет: идеи Достоевского выражены в шестой книге романа «словами Старца» (стр. 243). Об этом автор писал 7(19) августа 1879 г. Любимову: «...многие из поучений моего старца Зосимы (или, лучше сказать, способ их выражения) принадлежат лицу его, т. е. художественному изображению его. Я же хоть и вполне тех же мыслей, какие и он выражает, но если б лично *от себя* выражал их, то выразил бы их в другой форме и другим языком. Он же *не мог* ни другим языком, *ни в другом духе* выразиться, как в том, который я придал ему. Иначе не создалось бы художественного лица. Таковы, например, рассуждения старца о том: что *есть инок*, или *о слугах и господах*, или *о том, можно ли быть судьею другого человека* и проч. ⟨...⟩ при глубоком смирении надежды беспредельные, наивные о будущем России, о нравственном и даже политическом ее предназначении».

Свои наставления Зосима подкрепляет поучительными историями, почерпнутыми им из жизни. Такова вставная новелла «Таинственный посетитель». Судя по предварительным наброскам, таких новелл должно было быть больше. Сохранились записи, касающиеся истории девушки-утопленницы, не захотевшей просить милостыню из гордости, — ей «красота мешала». О причинах трагической гибели девушки говорится: «Кто же, как не город,

---

[1] Ср., например, у Гоголя: «Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклонения всего общества от прямой дороги» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 400).

[2] Совпадение некоторых идей «Дневника писателя» Достоевского с «Выбранными местами из переписки с друзьями» Гоголя было отмечено Л. П. Гроссманом (см.: *Библиотека*, стр. 76—77, 127).

виноват? Кажется, так. Но город — значит, другие. Кто же, как не ты, виноват — вот где правда». Намечена тема и другого рассказа — о солдате: «Воспоминание о чтении Библии. Умирающий солдат. Ходил просить прощения к одной женщине» (стр. 253, 245).

25 июля (6 августа) 1879 г. Достоевский обещал Любимову выслать шестую книгу в начале августа, так чтобы 10—12 августа посылка была уже в редакции. Однако отправлена в редакцию из Эмса она была несколько позднее — 7(19) августа 1879 г., о чем в тот же день Достоевский сообщил Любимову: «Спешу выслать Вам при сем *книгу шестую „Карамазовых"*, *всю*, для напечатания в 8-й (августовской) книге „Русского вестника". Назвал эту 6-ю книгу *„Русский инок"* — название дерзкое и вызывающее ⟨...⟩ Я же считаю, что против действительности не погрешил: не только как идеал справедливо, но и как действительность справедливо.

Не знаю только, удалось ли мне. Сам считаю, что и 1/10-й доли не удалось того выразить, что хотел».

Отсылая шестую книгу, Достоевский сообщил Любимову, что седьмая, объемом в 4 печатных листа, будет называться «Грушенька». Предполагая ею заключить вторую часть романа, Достоевский писал: «... с окончанием этой 2-й части, *восполнится* совершенно *дух и смысл* романа. Если не удастся, то моя вина как художника». Достоевский отдавал себе отчет, что «2-я часть выйдет таким образом как бы несоразмерно длинна. Но что было делать, так пришлось», — добавил он. Автор намеревался напечатать седьмую книгу в двух номерах журнала, сентябрьском и октябрьском. Считая возможным разделить ее на две части, Достоевский писал Любимову: «... в этой книге два отдельные эпизода, как бы две отдельные повести».

Работа над седьмой книгой началась в середине августа в Эмсе. 16(28) августа 1879 г. Достоевский сообщал жене: «Сел писать роман и пишу, но пишу мало, *буквально некогда* ⟨...⟩ К приезду моему (3-го или 4-го сентября) дай бог, чтоб привезть половину на сентябрьский-то номер, а остальную половину сяду дописывать на другой же день по приезде, ничего не отдыхая. А между тем работа должна быть чистая, щегольская, ювелирская. Это самые важные главы и должны установить в публике мнение о романе».

Вернувшись в Старую Руссу в начале сентября, Достоевский все еще предполагал печатать седьмую книгу в сентябрьском и октябрьском номерах журнала. 8 сентября, по возвращении из Эмса, он писал Любимову: «Я воротился в Старую Руссу, но так был изломан дорогой, что сел продолжать работу (на сентябр⟨ьский⟩ №) только третьего дня. Пишу Вам теперь с тем лишь, чтоб уведомить Вас, что на этот № принужден буду *сильнейшим* образом опоздать присылкою продолжения романа, т. е. *получится в редакции всё* (для сентябр⟨ьского⟩ №) не ранее как между 15 и 20 числами сентября (зато уж никак не позже). Торопиться же слишком я не могу, хотя бы и хотел, ибо предстоит закончить сцену из капитальнейших в целом романе и хочется сделать сколь возможно лучше. Таким образом я в крайнем беспокойстве, *не зная* наверно: опоздаю я теперь до невозможности напечатать (с моим сроком от 15 до 20) или *еще нет*? Величиною всё будет в $2^1/_2$ печатных листа, кажется, не более — отдельная и законченная сцена, или, лучше сказать, эпизод. Мне бы чрезвычайно, *чрезвычайно* желалось, чтобы появилось в сентябре. Само собой разумеется, что корректур я уже ждать не буду, а по примеру августовского № (за корректуру которого *довольно* тщательную изъявляю Вам полнейшую мою благодарность) попрошу продержать имеющее быть прислано продолжение так же тщательно, как и августовский отрывок. Обещаю не опаздывать впоследствии так ужасно. Во всяком случае, считал нужным написать Вам всё это, чтоб уведомить. Весьма может быть, что пришлю гораздо раньше 20-го, я взял *нарочно* самый отдаленный срок».

Указывая, что седьмая книга, предварительно названная «Грушенька», будет состоять из двух «отдельных повестей», Достоевский, вероятно, имел в виду события, описанные им в двух книгах: «Алеша» (книга седьмая) и «Митя» (книга восьмая) (см.: *Д, Письма*, т. IV, стр. 388, комментарий А. С. Долинина). Окончательный состав седьмой книги определился между 8 и 16

сентября, т. е. к моменту отправки большей части рукописи в редакцию «Русского вестника». В седьмой книге был оставлен только первый «эпизод», в соответствии с чем и объем ее уменьшился до $2^1/_2$ листов. 16 сентября 1879 г. Достоевский писал Любимову: «Вместе с сим высылаю ⟨...⟩ *книгу седьмую* „Карамазовых", для сентябрьской книги, в числе 41 полулистка. В этой книге четыре главы: три высылаю, а 4-ю вышлю через два дня ⟨...⟩ В этой 4-й главе всего будет 4 страницы печатных, но она важнейшая и заключительная ⟨...⟩ Последняя глава (которую вышлю) „Кана Галилейская" — самая существенная во всей книге, а может быть, и в романе».

Рукописные материалы, намечающие уже почти все темы седьмой книги, были обозначены Достоевским «Глава „Грушенька"» (стр. 254). Окончательное название книги «Алеша» было дано ей не только потому, что этот герой является в ней центральным, но, очевидно, из-за того, что именно в этот момент работы Достоевский решил посвятить каждому из братьев особую книгу: за седьмой последовала восьмая — «Митя», а одиннадцатая соответственно получила название «Брат Иван Федорович».

Сохранившиеся наброски седьмой книги, как правило, носят предварительный характер. Достоевский возвращался в них к одним и тем же темам по нескольку раз, меняя последовательность эпизодов и уточняя реплики персонажей. Почти все рукописные заметки получили развитие в романе, за исключением тех, которые относятся к характеристике Ракитина. Достоевский, очевидно, не сразу определил идейно-художественную функцию этого персонажа. Судя по черновым наброскам, автор предполагал сделать Ракитина побратимом Алеши и придать их спорам более резко выраженный идеологический характер. Об этом свидетельствуют записи: «Главное, Ракитину досадно было, что Алеша молчит и с ним не спорит. Крестами поменялись»; «А Ракитин пустился говорить: „Без религии всё сделать, просвещение. Люди всё гуманнее делаются. Просвещенные гуманнее непросвещенных.[1] Религия дорого стоит. Ты бы хоть Бокля прочел. А мы ее уничтожим"»; «Алеша: „Да этого народ не позволит". „Что ж, истребить народ, сократить его, молчать его заставить. Потому что европейское просвещение выше народа..." (помолчал). „Нет, видно, крепостное-то право не исчезло", — промолвил Алеша» (стр. 261).

Как следует из приведенных реплик, Ракитин и Алеша в споре должны были коснуться проблем, активно обсуждавшихся в 1860-х годах. Аргументы Ракитина — апелляция к Боклю, призыв «истребить народ» — уже вызвали в свое время возражения Достоевского в публицистических статьях 1860-х годов, «Записках из подполья» (1864), «Крокодиле» (1865) (см. об этом стр. 615; ср. также: В. С. Дороватовская-Любимова. Достоевский и шестидесятники. В кн.: Достоевский. М., 1928, стр. 13—19).

Здесь же, в черновых набросках, отмечены корыстные побуждения Ракитина: «А если уж всё сказать, он связывался, надеясь, что Алеша имеет в монастыре силу», «Без цели (выгодной) ничего не делал» (стр. 262, 265).

В письме к Любимову от 16 сентября 1879 г., высылая в редакцию седьмую книгу «Карамазовых», автор сообщал, что восьмая книга, которую он намеревался напечатать полностью в октябрьском номере, завершит вторую часть романа, после чего будет сделан перерыв в печатании. Предполагалось, очевидно, что в этой книге будет изложена вторая из двух «отдельных повестей», входившая по предварительному плану в седьмую книгу. В ходе работы содержание этой «повести» значительно расширилось. 8 октября Достоевский сообщал, что «принужден опоздать». К этому времени Достоевскому стало ясно, что в октябрьском номере «Русского вестника» он сможет напечатать только часть восьмой книги. «Вышлю опять от $2^1/_2$ до 3 печатн⟨ых⟩ листов, — почти ровно столько же, как и на сентябрьскую книгу. Дело в том, что работа для меня трудная и хотелось бы отделать

---

[1] В пору обдумывания восьмой книги романа Достоевский близкое суждение намеревался вложить в уста одного из поляков: «Поляки: „Русский народ не может быть добр, потому что не цивилизован"» (стр. 285).

по возможности лучше». Хотя вторая часть романа к этому времени состояла уже из пяти книг (вместо трех по первоначальному плану), Достоевский не отказался от прежнего деления на три части. В том же письме к Любимову он пояснял: «...в октябрьской книге не закончится еще то, что определено мною закончить в нынешнем году, но доставлю еще и на *ноябрьскую книгу* „Русского вестника" и тогда уже пришлю и то письмо ⟨...⟩ насчет объяснения с публикой *о последней части* „Карамазовых", которую я, по оплошности моей, принужден перевесть на будущий год». В следующем письме к Любимову от 16 ноября Достоевский разъяснял причину задержки: «Во всей этой 8-й книге появилось вдруг много совсем новых лиц, и хоть мельком, но каждое надо было очертить в возможной полноте, а потому книга эта вышла больше, чем у меня первоначально было намечено, и взяла больше и времени...».

Сохранившиеся рукописные наброски к восьмой книге «Митя», как правило, отражают первоначальную стадию работы. Намечая ход событий, отдельные темы разговоров, реплики героев, Достоевский еще не группировал заметки эти вокруг определенных глав: они относятся ко всей книге в целом, а иногда выходят даже за ее пределы. Некоторые наброски свидетельствуют, что Достоевский одновременно обдумывал заключительные главы восьмой и девятую книгу (см. стр. 285—288). Большинство заметок к восьмой книге использованы в романе.

Наиболее полно рукописные источники сохранились к главе III «Золотые прииски». До нас дошли не только ее предварительные конспекты, но и запись текста, близкого к окончательному (см. стр. 269—270). К главе IV, «В темноте», рукописные заметки не сохранились, если не считать наброска: «„Как ты отсюда попал⟨а⟩? Гостинчик приготовлен. Пойдем покажу". „Это он про деньги", — подумал Митя, и в сердце его вдруг закипела нестерпимая, невозможная *злоба*.

. . . .

В это время Григорий Васильич был глубоко пьян» (стр. 268).

Несмотря на предварительный характер записи, Достоевский уже здесь пометил, что после сообщения о злобе, охватившей Митю, будет следовать строка отточий, обозначающая кульминационный пункт романа. В законченном авторском тексте за строкой отточий идет, однако, другая фраза: «Бог, как сам Митя говорил потом, сторожил меня...» (наст. изд., т. XIV, стр. 355). Очевидно, что этот новый вариант возник после того, как Достоевский принял решение посвятить особую книгу «предварительному следствию», где Митя говорит: «...слезы ли чьи, мать ли моя умолила бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение — не знаю, но черт был побежден. Я бросился от окна и побежал к забору...» (там же, стр. 425—426). Эти слова и имеет в виду повествователь в первой фразе после строки отточий. Таким образом, в качестве кульминационного пункта в законченном тексте романа обозначен момент, когда в душе Мити «черт был побежден».

Знаменательна также в рукописи ремарка автора, разъясняющая суть отношения Грушеньки к Мите: «*Прельстилась Митей, что уступил* ее бесспорно *законному* (а сам завтра пулю в лоб)» (стр. 285). В соответствии с этим в окончательном тексте сцен Грушеньки с Митей подчеркивается нравственная основа их любви.

Готовясь писать восьмую книгу, в которой значительное место отведено разговорам поляков (не желавших изъясняться по-русски), Достоевский выписал в русской транскрипции необходимые ему польские выражения, рядом приведя перевод (см. стр. 276—280).

После опубликования первой части восьмой книги Достоевский получил письмо от читательницы Е. Н. Лебедевой с просьбой разъяснить смысл событий в главе IV «В темноте».

Ответное письмо от 8 ноября 1879 г. интересно тем, что автор объясняет в нем психологическую подоплеку поступков главнейших героев. Достоевский писал: «Старика Карамазова убил слуга Смердяков. Все подробности будут выяснены в дальнейшем ходе романа. Иван Федорович участвовал в убийстве лишь косвенно и отдаленно, единственно тем, что удержался

(с намерением) образумить Смердякова во время разговора с ним перед своим отбытием в Москву и высказать ему ясно и категорически свое отвращение к замышляемому им злодеянию (что видел и предчувствовал Ив⟨ан⟩ Ф⟨едорови⟩ч ясно) и таким образом *как бы позволил* Смердякову совершить это злодейство. *Позволение* же Смердякову было необходимо, впоследствии опять-таки объяснится почему. Дмитрий Федорович в убийстве отца совсем невинен.

Когда Дмитрий Карамазов соскочил с забора и начал платком вытирать кровь с головы раненного им старика слуги, то этим самым и словами своими „Попался старик" и проч. как бы сказал уже читателю, что он *не* отцеубийца. Если б он убил отца и десять минут спустя Григория, то не стал бы слезать с забора к поверженному слуге, кроме разве того, чтоб убедиться: уничтожен ли им важный для него свидетель злодеяния. Но он, кроме того, как бы сострадает над ним, говорит: попался старик и проч. Если б отца убил, то не стоял бы над трупом слуги с жалкими словами. Не один только сюжет романа важен для читателя, но и некоторое знание души человеческой (психологии), чего каждый автор вправе ждать от читателя».

Таким образом, Достоевскому вполне ясен был основной сюжетный узел романа — обстоятельства убийства Федора Павловича и вина каждого из причастных к нему героев, второстепенные же линии развития действия возникали и вводились в повествование непосредственно в процессе писания очередных книг. Так, приступая к работе над восьмой книгой «Братьев Карамазовых», названной «Митя», Достоевский, вероятно, предполагал закончить ее предварительным допросом и арестом Мити. Следы этого замысла обнаруживаются в рукописных набросках к этой книге. Например: «67) Арест Мити. Прокурор и проч. Вопрос: где Митя взял деньги? Ибо был у Самсонова, *под Чермашню просил* ⟨...⟩ 67) О *крови*, где и кто на Мите видели кровь» (стр. 285; ср.: *Д, Материалы и исследования,* стр. 381—382).

Приехав в конце сентября в Петербург и посоветовавшись «с одним прокурором (большим практиком)»,[1] Достоевский пришел к выводу, что, ограничившись изображением судебного разбирательства, он сузил бы роман. В этом случае, писал он Любимову 16 ноября 1879 г., из романа исчезла бы «чрезвычайно хромающая у нас часть нашего уголовного процесса ⟨...⟩ Эта часть процесса называется „*предварительным следствием*" — с старою рутиною и с новейшею отвлеченностью в лице молоденьких правоведов, судебных следователей и проч.». Так было обосновано для редакции появление книги, не предусмотренной прежним планом. Но главная причина, вероятно, была иная. Описывая подробно ход предварительного следствия, Достоевский намеревался наметить «еще сильнее характер Мити Карамазова». В приведенном письме к Любимову он пояснял, что Митя «очищается сердцем и совестью под грозой несчастья и ложного обвинения. Принимает душой наказание не за то, что он сделал, а за то, что он был так безобразен, что мог и хотел сделать преступление, в котором ложно будет обвинен судебной ошибкой. Характер вполне русский: гром не грянет, мужик не перекрестится. Нравственное очищение его начинается уже во время нескольких часов предварительного следствия, на которое и предназначаю эту девятую книгу. Мне как автору это очень дорого».

Седьмая и восьмая книги были напечатаны в «Русском вестнике» в составе второй части «Братьев Карамазовых». Очевидно, только после того, как возникла идея дополнить роман книгой о предварительном следствии, автору стало ясно, что непомерно разросшуюся вторую часть необходимо разделить на две. В цитированном письме к Любимову от 16 ноября 1879 г. говорится: «*...на декабрьскую книгу пришлю еще 9-ю новую книгу,* чтобы тем закончить часть». Речь здесь идет уже о завершении третьей части романа, что пояснено в конце того же письма: «Я первоначально действительно хотел сделать лишь в 3-х частях. Но так как пишу *книгами*, то забыл (или пренебрег) поправить то, что давно замыслил. А потому и пришлю при письме в редакцию и приписку, чтоб эту вторую часть считать за две части, то есть за

---

[1] Адрианом Андреевичем Штакеншнейдером (см. стр. 437).

2-ю и 3-ю, а в будущем году напечатана будет, стало быть, лишь последняя, *четвертая часть*». Так возник план разбить роман не па три, а на четыре части, причем каждая часть, как это и было задумано с самого начала, состояла из трех книг.

Девятую книгу автор собирался подготовить для декабрьского номера журнала 1879 г. Но объем ее значительно вырос по сравнению с первоначально намеченным, и Достоевский не успел написать ее к сроку.

Задумав книгу «Предварительное следствие», Достоевский предполагал, что объем ее будет «всего листа в полтора печатных» (письмо Любимову от 16 ноября 1879 г.). 8 декабря 1879 г. он сообщал уже, что «будет в ней *три листа minimum*, может быть, $3^1/_2$». Окончательный объем этой книги — около пяти печатных листов.

Колебания Достоевского в определении размера девятой книги навели в свое время А. С. Долинина на мысль, что две первые («Начало карьеры чиновника Перхотина», «Тревога») и две последние («Показания свидетелей. Дитё», «Увезли Митю») главы этой книги не предусматривались первоначальным планом и были включены в ее состав на последнем этапе работы (см.: *Д, Материалы и исследования*, стр. 383). Эту гипотезу нельзя признать обоснованной, так как: 1) глава V восьмой книги заканчивается тем, что Петр Ильич Перхотин стучится в ворота дома Морозовой, где жила Грушенька. Естественным продолжением этой главы является глава I девятой книги, начинающаяся фразой: «Петр Ильич Перхотин, которого мы оставили стучащимся изо всей силы в крепкие запертые ворота дома купчихи Морозовой, кончил, разумеется, тем, что наконец достучался» (наст. изд., т. XIV, стр. 401). Следовательно, заканчивая восьмую книгу романа, Достоевский уже четко определил, что допросу и аресту Мити будет предшествовать рассказ о том, как возникшие у Перхотина подозрения были подкреплены разговором с Феней и Хохлаковой; 2) В первоначальном замысле развития сюжета в девятой книге не могли быть опущены события двух последних глав, так как показания свидетелей являются необходимым элементом предварительного следствия, а по первоначальным планам восьмая книга должна была быть закончена арестом Мити. Следует учесть также, что глава «Показания свидетелей. Дитё» имеет важнейшее значение для уяснения начавшегося процесса нравственного очищения Мити (см. там же, стр. 456—457), ради чего и была введена в роман девятая книга. Кроме того, содержание девятой книги, охватывающее сюжетные линии, прослеживающиеся и в законченном тексте, зафиксировано было Достоевским в одном из ранних планов: «Глава 1. Рассказ. Глава 2. Митя показывает». Под «рассказом» несомненно имелись в виду события, о которых хроникер рассказывает в двух первых главах законченного текста книги, что подтверждается записями, сделанными ниже: «У Хохлаковой 3 (показания Перхотина) ⟨...⟩ *Хохлакова*: „О, боже! вы мне даете идею: ведь он меня мог убить!" „Ну, вас-то он бы не убил". — „Убивал! Убивал!" Записочку к исправнику: „Денег я никогда не давала"» (стр. 298—299).

Таким образом, увеличение в ходе работы объема девятой книги следует объяснить не введением в нее новых эпизодов, а более детальным изображением намеченных ранее фактов и событий.

В связи с этим 8 декабря 1879 г. Достоевский писал Любимову: «Опять я выхожу до крайности виноватым перед Вами и перед „Русским вестником": обещанную столь утвердительно девятую книгу „Карамазовых" на декабрь — я не могу прислать в декабре. Причина та — что я заработался до болезни, что тема книги (предварительное следствие) удлинилась и усложнилась, а главное, главное, — что эта книга выходит одна из важнейших для меня в романе и требует (я вижу это) такой тщательной отделки, что если б я понатужился и скомкал, то повредил бы себе как писателю и теперь, и навеки. Да и идея моего романа слишком бы пострадала, а она мне дорога. Роман читают всюду, пишут мне письма, читает молодежь, читают в высшем обществе, в литературе ругают или хвалят, и никогда еще, по произведенному кругом впечатлению, я не имел такого успеха. Вот почему и хочется кончить дело хорошо.

А потому простите меня, если можете. Эту девятую книгу я пришлю Вам на январский № 〈...〉 Девятая книга эта закончит три части „Карамазовых". Четвертую же часть напечатаю в будущем году, начав с мартовской книги (то есть пропустив февральскую). Этот перерыв мне решительно необходим. Зато кончу уже без промежутков.

Тем не менее я решительно прошу Вас, многоуважаемый Николай Алексеевич, напечатать в декабрьской теперешней книжке „Русского вестника" мое письмо в редакцию, о котором я писал Вам еще прежде. Письмо это пришлю Вам около 14-го декабря, то есть в этот день, может быть, и получите. В газетах я уже сам читал раза три обвинения и инсинуации на редакцию „Русского вестника" в том, что она нарочно (для каких-то причин непонятных) растягивает романы (Льва Толстого и мой) па два года. В письме моем я именно объявляю, что виноват один я в том, что *обещал кончить роман* в один год и оттянул на другой, и что от редакции „Русск〈ого〉 вестника" видел лишь самое деликатное и просвещенное к себе внимание как к писателю. (Это в ответ и на другие инсинуации.) Постараюсь написать прилично и убедительно (пройдет через Вашу цензуру.) Вместе с тем объявлю в письме: как и когда я намерен продолжать роман. Может быть, *кстати*, скажу несколько слов об идее романа для читателей; но не знаю еще. Вообще постараюсь не написать лишнего. По моему соображению, это письмо совершенно необходимо напечатать в декабрьской книжке, главное, *для меня* необходимо, это дело моей совести».

12 декабря обещанное «Письмо к издателю „Русского вестника"» было выслано Достоевским Любимову, где оно появилось в декабрьской книжке 1879 г. вместе с восьмой книгой «Карамазовых». Вот текст этого письма, которым автор объяснял задержку окончания романа и перенос его печатания на 1880 г.: «В начале нынешнего года, начиная печатать в „Русском вестнике" мой роман „Братья Карамазовы", я, помню это, дал Вам твердое обещание окончить его в этом же году. Но я рассчитывал на прежние мои силы и на прежнее здоровье и вполне был убежден, что данное обещание сдержу. К моему несчастью, случилось иначе: я успел написать лишь часть моего романа, а окончание его принужден перенести в будущий 1880-й год. Даже и теперь для декабрьской книжки не успел выслать в редакцию ничего и девятую книгу моего рассказа принужден отложить на январский нумер „Русского вестника" будущего года, тогда как еще месяц тому уверенно обещал редакции закончить эту девятую книгу в декабре. И вот вместо нее посылаю Вам лишь это письмо, которое и прошу убедительно напечатать в уважаемом Вашем журнале. Это письмо — дело моей совести: пусть обвинения за неоконченный роман, если будут они, падут лишь на одного меня, а не коснутся редакции „Русского вестника", которую, если и мог бы чем упрекнуть в данном случае иной обвинитель, то разве в чрезвычайной деликатности ко мне как к писателю и в постоянной терпеливой снисходительности к моему ослабевшему здоровью.

Кстати, пользуюсь случаем, чтоб исправить одну мою ошибку, вернее, простой недосмотр. Роман мой „Братья Карамазовы" я пишу „книгами". Вторая часть романа началась с четвертой книги. Когда же закончилась шестая книга, я забыл обозначить, что этою шестою книгой окончилась вторая часть романа. Таким образом, третью часть надо считать с седьмой книги, а заключится эта третья часть именно тою девятою книгой, которая предназначалась на декабрьский нумер „Русского вестника" и которую обещаю теперь выслать непременно на январский нумер будущего года. Так что на будущий год останется лишь четвертая и последняя часть романа, которую и попрошу Вас начать печатать с мартовской (третьей) книги „Русского вестника". Этот перерыв в один месяц мне опять необходим всё по той же причине: по слабому моему здоровью, хотя и надеюсь, начав с мартовской книжки, окончить роман уже без перерывов».

Обдумывая «Письмо к издателю „Русского вестника"», Достоевский намеревался ответить в нем, как видно из чернового варианта, некоторым из своих критиков. В. Л. Комарович установил, что писатель хотел, в частности, отвести упреки М. Е. Салтыкова-Щедрина и рецензента «Молвы»,

обвинявшего автора в мистицизме и искаженном, «эпилептически судорожном» восприятии действительности (см.: *Die Urgestalt*, стр. 517—522; *Борщевский*, стр. 323—335). Имея в виду общую концепцию романа, Достоевский обращался к критикам и читателям со следующим разъяснением: «Совокупите все эти четыре характера — и вы получите, хоть уменьшенное в тысячную долю, изображение нашей современной действительности, нашей современной интеллигентной России. Вот почему столь важна для меня задача моя». В печатном тексте двенадцатой книги (глава VI, «Речь прокурора. Характеристика») Ипполит Кириллович развивает эту мысль: «В самом деле, — продолжал он, — что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность по всей даже России? Может быть, я слишком преувеличиваю, но мне кажется, что в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества — о, не все элементы, да и мелькнуло лишь в микроскопическом виде, „как солнце в малой капле вод", но всё же нечто отразилось, всё же нечто сказалось» (стр. 125).

Существенно в том же черновике письма полемическое суждение Достоевского о философской концепции романа, перекликающееся с его суждениями о реализме в период писания «Идиота», «Бесов» и «Подростка»: «Инквизитор (Иван холоден.) Такие концепции, как билет обратно и Великий инквизитор, пахнут эпилепсией, мучительными ночами. А, скажут, сами сознались, что эпилепсией; да коли такие люди есть, то как же их не описывать? Да разве их мало, оглянитесь кругом, господа, эти взрывы — да вы после этого ничего не понимаете в современной действительности и не хотите понимать, а это уже хуже всего».

Намерение Достоевского вступить до завершения романа в полемику с критиками «Братьев Карамазовых» не было им осуществлено, в связи с чем он писал Любимову 12 декабря 1879 г.: «Я хотел было прибавить ⟨...⟩ некоторые разъяснения идеи романа для косвенного ответа на некоторые критики, не называя никого. Но, размыслив, нахожу, что это будет рано, надеясь на то, что по окончании романа Вы уделите мне местечко в „Р⟨усском⟩ вестнике" для этих разъяснений и ответов, которые, может быть, я и напишу, если к тому времени не раздумаю».

Работа над девятой книгой началась в конце ноября 1879 г. Однако некоторые ее эпизоды обдумывались раньше. Так, например, рядом с текстом заключительной главы восьмой книги, близким к окончательному, находятся наброски фраз, относящихся к допросу Мити (см. стр. 294, а также стр. 291 и др.).

«Глава 1» девятой книги не вместила «рассказ» о событиях, предшествовавших допросу Мити, и Достоевский разбил ее на две: «Начало карьеры чиновника Перхотина» и «Тревога». В то же время некоторые из эпизодов, которые, судя по рукописным заметкам, были задуманы для девятой книги, автор отбросил. Так, предполагалось, что после завершения предварительного следствия Митю увезли и должностные лица «славно позавтракали», обсуждая во время завтрака обстоятельства расследуемого дела.[1] При этом прокурор говорил о Мите: «Очень может быть, что он убил старика нечаянно в великом гневе». В ответ Михаил Макарович замечал: «А все-таки жаль природу человеческую». В последующих набросках прокурор доказывает, что Митя совершил убийство обдуманно: «Разговор после увоза Мити. Прокурор: „Дверь — факт подавляющий. Он ведь что думал? Он думал, что Григорий, бросившись за ним, авось не видел, что дверь отворена. Тогда легко подвесть, что Смердяков. Как узнал — весь осовел. О, он боролся хитро"» (стр. 292, 299). Последующие записи раскрывали подоплеку стремлений прокурора и «шалуна»-следователя, юриста новейшего направления:

---

[1] Намек на то, что такая сцена планировалась, можно усмотреть в окончательном тексте. Повествователь в конце главы VII сообщает: «Порешили, что если есть готовый чай внизу ⟨...⟩ то выпить по стаканчику ⟨...⟩ Настоящий же чай и „закусочку" отложить до более свободного часа» (наст. изд., т. XIV, стр. 449).

«След⟨ователь⟩: „Но интересное дельце, прокурор, на всю Россию можно блеснуть (хи-хи)". *Прокурор*: „Я полагаю, что у него может явиться рука, выпишут защитника — Миусов, эта Вершонская..." *След⟨ователь⟩*: „Да, но вы их раздавите, Иннокентий Семенович, — надо служить истине, общему делу" (и т. д. *Щедрин*, кн. Урусов). *Следователь*: „О, вы поставите дело, Иннокентий Кириллыч, предчувствую: это будет филигранная работа, и мы здесь, в нашем захолустье, — блеснем-с! Хоть самого Фетюковича, аблаката из Петербурга, присылай — мы их здесь раздавим-с". „Ну почему же в захолустье..." — „О, патриот!" *След⟨ователь⟩*: „Так и должно, так и должно, Михаил Макарыч, я уважаю, как я ни молод, а я эти порывы патриотизма ценю-с и уважаю искренно, было бы вам известно". „Да вы прекрасный молодой человек, только..." — „Что?" — „Шалун". — „Хи-хе-хи. Ах да, кстати, эта особа..." — и убегает к Грушеньке: *шалун*» (стр. 304).

А. С. Долинин справедливо заметил, что в этом не вошедшем в роман эпизоде намечалось разоблачение государственного суда, близкое к созданному десятилетием позже в «Воскресении» Л. Н. Толстого (см.: *Д, Материалы и исследования*, стр. 385).

Некоторыми набросками, сделанными для главы I, Достоевский воспользовался в главе II, где даны характеристики должностных лиц, прибывших в Мокрое. Неутоленное честолюбие Ипполита Кирилловича, его тайные надежды, связанные с процессом, характеризуют слова: «Неожиданное дело Карамазовых об отцеубийстве как бы встряхнуло его всего: „Дело такое, что всей России могло стать известно"» (наст. изд., т. XIV, стр. 407—408). Заметка: «*Следователь*: „Браво, прокурор (сердцеведец вы!). Ну, а покупка вина и гостинцев?" Завился» (стр. 304) — также использована в главе II. Обсуждая поведение Мити, закупившего вина и закусок, чтобы отвезти их в Мокрое, прокурор здесь говорит: «Помните того парня, господа, что убил купца Олсуфьева, ограбил на полторы тысячи и тотчас же пошел, завился, а потом, не припрятав даже хорошенько денег, тоже почти в руках неся, отправился к девицам» (наст. изд., т. XIV, стр. 411). Конспективные записи, которые содержат анализ обстоятельств убийства, данный прокурором с претензией на проникновение в психологию убийцы, впоследствии легли в основу обвинительной речи на суде (см. записи «Прокурор излагает душу Мити...» и т. д. — стр. 303).

Девятая книга построена на контрастных сопоставлениях внешних и внутренних скрытых свойств участников следствия. Достоевский стремился, в частности, обнаружить несостоятельность судебно-следственной психологии, которая есть не что иное, как «палка о двух концах». И прокурор и следователь не только не поняли естественного и искреннего поведения Мити, который находился накануне великого нравственного перелома, но и ложно истолковали его признания. «Подлинный Дмитрий остался вне их суда (он сам себя будет судить)», — справедливо заметил М. М. Бахтин.[1] В ходе следствия, сталкиваясь с мертвой неподвижностью «психологических законов» и схем, на которые опираются должностные лица, Митя «очищается сердцем и совестью». По аналогии с народно-христианскими представлениями, согласно которым душа на пути в рай проходит через различные «мытарства», Достоевский назвал главы, посвященные допросу Мити, «Хождение души по мытарствам» (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 412, 419 и 425).

Внутреннему перерождению Мити, разбудившему в нем страстное сострадание ко всем несчастным, Достоевский придавал такое же значение, как и приобщению Алеши к истине старца Зосимы. Имея в виду Митю, Достоевский сделал помету для себя: «Начало очищения духовного (патетически, как и главу «Кана Галилейская»)» (стр. 297). В дефинитивном тексте аналогия между кульминационными моментами нравственного становления обоих героев усугублена: возрождение к новой жизни, к деятельному добру во имя того, «чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и черная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слез от сей минуты ни у кого» (наст. изд., т. XIV, стр. 457), Митя ощущает, как и Алеша, во сне. В преследующих

[1] *Бахтин*, стр. 105.

спящего Митю видениях в третий раз в романе возникает образ страдающего ребенка. Образ этот возникал в произведениях Достоевского на протяжении всего его творческого пути (см. там же, т. II, стр. 470, 484). Мите же, очевидно, приснилось то же «дитё» и та же «иссохшая мать», о которых автор «Братьев Карамазовых» уже напоминал в рассказе «Мальчик у Христа на елке» и в набросках к § I главы 3 «Дневника писателя» за 1876 г. (январь), имея в виду жертвы голода в поволжских деревнях. Сочувственно высказываясь об образовании «Общества покровительства животным», Достоевский отмечал здесь, что мужичку такое общество пока покажется непонятным, «может быть, даже смешным, что всего хуже. А на случай поймет, то укажет вам на своих самарских ребятишек, умерших с голоду у иссохших грудей матерей их...».

Об ориентации на нравственные и художественные идеалы русского народа свидетельствуют такие записи, как восклицание Мити: «Горе мое, горе — вырвалось бежать» (см. ниже, примеч. к стр. 301). Попавший в беду Митя Карамазов ассоциируется у Достоевского с «добрым молодцем», которого преследовало Горе, — героем древнерусской «Повести о Горе и Злочастии» XVII в.

Среди заметок к девятой книге есть записи вопросов, касающихся процессуальной стороны ведения следствия, ответы на которые Достоевский, вероятно, хотел получить от юриста. Например: «Присягают ли свидетели? Может ли прокурор открывать подсудимому факты следствия, н⟨а⟩п⟨ример⟩ допрос Григория?» (стр. 300) и др. Из письма к Любимову от 16 ноября 1879 г. известно, что Достоевский по всем тонкостям юриспруденции советовался «с одним прокурором (большим практиком)» (т. е. упомянутым выше А. А. Штакеншнейдером). Этому же «бывшему (провинциальному) прокурору» Достоевский читал и законченный текст девятой книги, «...чтоб не случилось какой важной ошибки или абсурда в изложении „Предварительного следствия"», хотя, как сообщил Достоевский Любимову 8 января 1880 г., он и ранее, когда писал ее, все время советовался «с этим же прокурором». А. А. Штакеншнейдер в середине 1870-х годов был прокурором Изюмского окружного суда. Достоевский встречался с ним у его сестры Е. А. Штакеншнейдер, салон которой он посещал в период работы над «Братьями Карамазовыми» (см.: Е. А. Штакеншнейдер. Дневники и записки (1854—1886). Изд. «Academia», М.—Л., 1934, стр. 423—441). В одном из писем к Е. А. Штакеншнейдер (от 17 июля 1880 г.) Достоевский назвал ее брата «дорогой мой сотрудник».[1]

Девятая книга была закончена и отправлена в «Русский вестник» 14 января 1880 г. (см. письмо к слушательнице Высших женских курсов, датированное 15 января). Неделей раньше, 8 января 1880 г., Достоевский сообщил Любимову: «Эта 9-я книга ⟨...⟩ вышла несравненно длиннее, чем я предполагал, сидел я за нею 2 месяца и отделывал до последней возможности тщательно. Всего будет, *без малого разве*, до 5-ти печатных листов. Что делать! Зато на столько же неминуемо сократится 4-я часть, ибо сказанное в „Предварительном следствии" в 4-й части, естественно, может быть теперь передано уже не в подробности».

Работа над романом требовала от Достоевского чрезвычайного напряжения. Оправдываясь перед В. Ф. Пуцыковичем за долгое молчание, автор «Карамазовых» писал ему 21 января 1880 г.: «С моей стороны причина одна:

---

[1] В цитированном письме Адриан Андреевич назван Достоевским ошибочно Андреем Андреевичем; разъяснения Н. Н. Страхова по этому поводу см.: *РА*, 1892, т. III, № 12, стр. 478. А. Г. Достоевская в своих воспоминаниях пишет, что с Адрианом Андреевичем Штакеншнейдером, как с талантливым юристом, Федор Михайлович советовался во всех тех случаях, когда дело касалось порядков судебного мира, и ему Федор Михайлович обязан тем, что в „Братьях Карамазовых" все подробности процесса Мити Карамазова были до того точны, что самый злостный критик (а таких было немало) не мог бы найти каких-либо упущений или неточностей» (*Достоевская, А. Г. Воспоминания*, стр. 354—355).

страшная, каторжная работа, свыше сил моих. В последние три месяца написал и сдал до 12 печатных листов! Расстроил здоровье, запустил всё: визиты, посещения, письма».

В том же письме к В. Ф. Пуцыковичу писатель сообщал: «...теперь принимаюсь за *последнюю* часть романа, а пока имею неделю или даже 10 дней отдыха». Приступив к работе, Достоевский составил предварительный план, озаглавив его «Проект 4-й части» (стр. 315). «Проект» этот имеет три раздела, каждый из которых, вероятно, должен был соответствовать содержанию одной из трех книг этой части романа. Сюжеты первых двух книг разработаны были более подробно, третьей — «Суд» — только намечен. «Эпилог», которым завершается роман, «Проектом» не предусмотрен. На этой стадии работы Достоевский не выделял еще тему «мальчиков» из общего потока повествования и не придавал важного конструктивного значения похоронам Илюши (ср.: *Д, Материалы и исследования*, стр. 386—387). Этим эпизодом должна была открываться вторая книга четвертой части. В окончательном тексте клятва у камня после похорон Илюши венчает идейно-композиционную структуру «Братьев Карамазовых» и приобретает глубокий символический смысл. В предварительном «Проекте» отсутствовали и некоторые сюжетные линии, развитию которых впоследствии в одиннадцатой книге были посвящены специальные главы: «Больная ножка», «Бесенок», «Черт. Кошмар Ивана Федоровича».

Составив план четвертой части, Достоевский начал разрабатывать тему: Алеша и дети. Эта тема постепенно осложнилась таким количеством материалов, что автор решил посвятить ей отдельную книгу, осуществив, хотя бы отчасти, свою давнишнюю мечту написать роман о детях (см. стр. 411). Работая над книгой «Мальчики», автор воспользовался некоторыми темами и сюжетами прежних своих замыслов. Заметки в записях 1874 г. к роману «о детях, единственно о детях и о герое-ребенке»: «Заговор детей составить свою *детскую империю*. Споры детей о республике и монархии 〈...〉 Дети развратники и атеисты» — близки по духу к наброскам десятой книги, где юный атеист Коля Красоткин рассказывает Алеше о безнравственном поведении своих сверстников: о том, как «мальчики украли сундук с деньгами», как «в девичий пансион компания бросилась», и пр. (стр. 306). Красоткина, так же как и детей из давнишнего замысла, волновал вопрос о переустройстве общества. Он мечтал «основать социальную коммуну на разумных началах» (стр. 307). В подготовительных материалах к «Подростку» Достоевский наметил эпизод спора детей по поводу классического образования, не вошедший в роман. В заметке к десятой книге «Карамазовых» тема эта возникла вновь: «Опять теперь эти классические языки: ведь все переведены и проч. Сумасшествие»; «Нет, это потому, что это скучно. Так как же сделать, чтоб еще больше скуки. Колесо вертеть. Для дисциплины. Воду толочь. Для высшего послушания. Но этого, вероятно, нельзя, ну так и выдумали классические языки» (стр. 308). Рассуждение Красоткина на ту же тему в окончательном тексте получило остро полемический характер: он говорит здесь, что изучение классических языков является «полицейской мерой», их заставляют изучать потому, что они «отупляют способности» (наст. изд., т. XIV, стр. 498). Проблема бегства в Америку обсуждалась уже в «Бесах» и «Подростке». Заметки на эту тему есть и в рукописных материалах к «Братьям Карамазовым» (см. стр. 309), как и в самом романе (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 501).

Работая над книгой «Мальчики», Достоевский развернул некоторые наброски, сделанные в апреле 1878 г. и связанные с первой стадией обдумывания романа. Например, на первой же странице он сделал заметку: «Узнать, можно ли пролежать между рельсами под вагоном, когда он пройдет во весь карьер?» (стр. 199). В десятой книге Коля совершает такой поступок.

Некоторые из детских типов, намеченных в рукописных заметках автора, в том или ином виде встречались уже у Достоевского раньше. «Мальчик с ручкой», который, очевидно характеризуя своего «покровителя», пославшего его просить милостыню, говорит: «...он холесяго халяктера и немного выпивает» (стр. 306), генетически связан с одноименным этюдом Досто-

евского в «Дневнике писателя» за 1876 г. (январь, гл. 2, § I). Такие эпизоды, как «самоубийство маленького мальчика», «истязания 4-хлетнего мальчика», встречались уже в подготовительных материалах к «Подростку».

Существенны записи для несостоявшихся разговоров Коли Красоткина и Алеши, затрагивающих философско-религиозные и естественнонаучные проблемы. Например: «Всё изменяется под нашим зодиак⟨ом⟩, стало быть, нет добра, застрелиться хочет» или «Не верую Дарвину. Происхождение стрекозы» (стр. 306, 307). Следует отметить, что Н. Н. Страхов, излагая историческое значение и сущность теории Дарвина, именно выделял в ней как главную мысль, что «все изменяется». Он писал: «Все, что считалось неподвижным и несомненным, поколебалось и двинулось ⟨...⟩ величайшие авторитеты были разбиты в прах, вековые отношения и связи нарушились ⟨...⟩ Постепенно проникает всюду убеждение, что все изменяется и что постоянны не сущности, а *законы их изменения*. Вера в прогресс, в развитие, в усовершенствование заступила место веры в неизменные сущности и вечные истины. Последний успех этого взгляда, последнюю его победу мы видим в книге Дарвина. Эта книга опровергает так называемое *постоянство видов*, — догмат, который упорно защищали до сих пор все *признанные* натуралисты» (Н. Страхов. О методе естественных наук и значении их в общем образовании. СПб., 1865, стр. 179).

Еще в начале работы над «Братьями Карамазовыми» Достоевский записал одну из реплик Федора Павловича, с которой отец должен был обратиться к Ивану: «Знаешь, мой друг, я кой в чем усумнил⟨ся⟩, просто-запросто Христос был обыкновенный человек, как и все, но добродетель⟨ный⟩» (стр. 203). В тексте романа Федор Павлович спрашивает Ивана о другом: «Иван, говори: есть бог или нет?» (наст. изд., т. XIV, стр. 123). Делая заметку о Христе — добродетельном человеке, Достоевский мог вспомнить о своем давнишнем споре с Белинским. О споре этом он рассказал в «Дневнике писателя» за 1873 г. («Старые люди»). В ходе работы над десятой книгой романа Достоевский вновь вернулся к той же теме. В рукописи есть следующая запись: «Я не против Христа, это был гуманный человек, и, будь он в наше время и получи современное образование, он бы прямо примкнул к революционерам» (стр. 309). В окончательном тексте книги «Мальчики» Достоевский подчеркнул, что Белинский высказал это суждение не в статье, а в личной беседе, сближая тем самым этот факт с эпизодом собственной биографии (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 500 и примеч. к ней в наст. томе). С именем Белинского, возможно, связана и еще одна заготовка реплики Коли: «...конечно, надо вознести народ до себя» (стр. 310). Такую мысль не раз высказывал Белинский, полемизируя со славянофилами. Например: «...г-ну Хомякову хочется во что бы ни стало общество нагнуть к народу, а не народ поднять до общества ⟨...⟩ предполагаемый разрыв общества с народом уничтожится со временем успехами цивилизации, которая народ возвысит до общества» (*Белинский*, т. X, стр. 202).

Десятая книга была отправлена в редакцию «Русского вестника» в конце марта или в самом начале апреля 1880 г. 9 апреля Достоевский обратился к Любимову с просьбой прислать ему корректуру в двух экземплярах, в связи с тем что ему предстояло принять участие в литературном вечере в пользу Славянского благотворительного общества и прочесть что-нибудь из напечатанного в апрельском номере журнала.[1] В том же письме Достоевский просил Любимова навести справки относительно того, носили ли гимназисты форму тринадцать лет тому назад, т. е. в то время, к которому приурочено действие в «Братьях Карамазовых». Достоевский писал по этому поводу: «... уже отправив к Вам рукопись, я вдруг сообразил, что у меня все эти мои мальчики одеты в партикулярные платья ⟨...⟩ не нужно ли будет что-нибудь

---

[1] Чтение состоялось 27 апреля 1880 г. и прошло весьма успешно. В письме к Любимову от 29 апреля Достоевский сообщал: «...читал эпизод из этой книги ⟨...⟩ и эффект, без преувеличения и похвальбы могу сказать, был чрезвычайно сильный» (об этом см. также воспоминания М. А. Александрова: *РС*, 1892, № 5, стр. 320—322).

изменить насчет платья в корректуре. *Если нужно*, черкните мне одну строчку сверху 1-го листочка корректуры, и я изменю, что можно. *Если же не очень нужно*, то сойдет и так».

Н. А. Любимов ответил Достоевскому 12 апреля: «Два экземпляра „Карамазовых" будут высланы Вам в листах. Относительно формы те, с кем случалось говорить, воспоминаний не сохранили. Но у Вас в рассказе, кажется мне, и нет определенного указания. Говорится о верхней одежде, да и дети были не в училище. Превосходно удалась Вам эта часть (очень Вы любите детей). Я уверен, будет произведено сильное впечатление». Далее Любимов высказал сомнение в том, что Коле Красоткину, как он изображен в романе, только двенадцать лет. «Вы замечаете, — писал Любимов, — что подобную степень развития наблюдали в натуре. Но поэзия, кажется мне, должна быть вероятнее природы. Представляется мне, что хотя годик накинуть бы надобно» (*Д, Письма*, т. IV, стр. 410). Достоевский согласился с мнением Любимова, «но в том непременно смысле, что ему 13 лет, но *почти* 14, то есть через две *недели* 14». Романист просил Любимова 13 апреля 1880 г. «накинуть Коле Красоткину 1 год» и внести, если это еще возможно, в корректуру десятой книги соответствующие исправления, последовательно проводя эту систему исправлений от начала до конца. По техническим причинам внести перечисленные автором в письме многочисленные поправки в журнальный текст не удалось, и он сам сделал необходимые коррективы уже при подготовке отдельного издания «Братьев Карамазовых» (см. стр. 384-385).

Книга «Мальчики» была напечатана в апрельском номере «Русского вестника». В течение апреля Достоевский продолжал обдумывать заключительную часть романа; в конце месяца ему стало ясно, что для майской книжки журнала он ничего не сможет приготовить. Сообщая об этом Любимову в письме от 29 апреля 1880 г., Достоевский жаловался, что в Петербурге ему «не дают писать ⟨...⟩ Виноваты же в том опять-таки „Карамазовы"». По этому поводу он рассказывал: «...ко мне ежедневно приходит столько людей, столько людей ищут моего знакомства, зовут меня к себе — что я решительно здесь потерялся и теперь бегу из Петербурга!».

Достоевский предполагал начать печатание одиннадцатой книги в июньском номере «Русского вестника». В это время ему была уже ясна структура всей четвертой части романа. В указанном выше письме Любимову автор впервые упомянул о том, что роман будет завершаться «Эпилогом». Он писал: «...через неделю уезжаю с семейством в Старую Руссу и в 3 месяца *кончу весь роман*. Таким образом, продолжение может начаться (если одобрите) с июньской книжки, кончится четвертая часть в августовской книжке, и затем будет на сентябрьскую книжку еще заключение, 1 $^1/_2$ листа печатных...».

Несмотря на данное обещание, Достоевский вынужден был прервать работу в связи с поездкой в Москву на открытие памятника Пушкину. В Москве он пробыл с 23 мая по 10 июня 1880 г. Завершающий этап работы над одиннадцатой книгой падает на время с середины июня. 16—17 июня Достоевский составил новый план этой книги, в который были включены сюжетные линии, развернутые в главах «Больная ножка» и «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» (см. стр. 325—326).

Одиннадцатая книга печаталась в два приема. Первые пять глав (3 печатных листа) были отправлены в «Русский вестник» 6 июля 1880 г. В сопроводительном письме к Любимову Достоевский сообщил, что он работает «довольно легко, ибо всё уже давно записано и приходится лишь восстановлять». Сохранившиеся рукописи представляют собою наброски, иногда близкие к законченному тексту, перемежающиеся планами, конспектами и рабочими заметками. Примечательна запись, характеризующая эмоциональную настроенность главных героев этой книги: «Все в лихорадочном состоянии и все как бы в *своем синтезе*» (стр. 316).

Эпизод встречи Ивана с Лизой не был зафиксирован в первоначальном «Проекте», однако еще в ходе работы над книгой «Мальчики» автор сделал запись: «Лиза и брат Иван (не забыть)». В рукописных набросках к одиннадцатой книге разъяснено, что эта сюжетная коллизия нужна для раскры-

тия карамазовской «плотоядности»: Иван «Алеше говорит, что безумно и страстно любит Катю. „Лиза мне нравится. — И потом пересек: — Эта девочка мне нравится". „Ты про Лизу?" — спрашивает Алеша, вглядываясь. Не отвечая: „Боюсь, что я прямо в Федоры Павловичи вступаю. В известном отношении, по крайней мере". (Смеется.)» (стр. 311. 324).

Значительная часть сохранившихся набросков относится к главе «Гимн и секрет», в плане она названа «У арестанта» (стр. 318). Из заметок, относящихся к эпизоду свидания Алеши с Митей в тюрьме и не получивших развития в романе, наибольший интерес представляет конспективная запись рассуждения: «*Митя*: „Ну, брат, человек менее всего слушается собственного ума. Это-то и я знаю. Разумеется, коли порядочный человек; русский порядочный человек всегда чужого ума слушается, хотя бы сам очень самолюбив. А вот непорядочные, а тупые — ну, те свой ум ценят и всегда с брюхом смешивают, так что в конце концов одного брюха своего и слушаются"» (стр. 320).

Уже в рукописных набросках Митя несколько раз упоминает имя Бернара, приобретающее для него обобщенно-символическое значение: не вызывает сомнения, что Достоевский имел в виду Клода Бернара (ср.: *Die Urgestalt*, стр. 229—231), о котором как раз в период работы над «Братьями Карамазовыми», в связи со смертью ученого в 1878 г., в русской и иностранной печати появились некрологи и статьи (см.: наст. том, стр. 588—589; ср.: наст. изд., т. VII, стр. 392).

В ходе обдумывания и писания главы «Гимн и секрет» сложился окончательно план одиннадцатой книги, последовательность ее эпизодов (см. стр. 318—319).[1] По предварительному «Проекту 4-й части» первое и второе свидания Ивана со Смердяковым отделялись от третьего рядом эпизодов: «Смерть Илюши. Похороны. Накануне суда Алеша у Грушеньки. Та боится Кат⟨ерины⟩ Ив⟨анов⟩ны. Алеша к Катерине Ивановне: его не принимают» (стр. 316). Кроме того, первоначальный «Проект» предусматривал и иные побудительные причины третьей встречи Ивана со Смердяковым: «Иван дома после 2-го свид⟨ания⟩ с Смердяковым. Смердяков зовет его вдруг. Признается и возвращает деньги» (там же). Позднейшая запись в окончательном плане: «Иван к Смердякову (все прежние разы)» (стр. 319) — отражает решение, по которому первое и второе свидания будут описаны ретроспективно, непосредственно перед рассказом о третьем, хотя каждому свиданию и будет посвящена специальная глава.[2] Определив место каждой из глав в общей структуре одиннадцатой книги, Достоевский стремился четко уяснить психологическую мотивированность всех трех визитов Ивана к Смердякову.

Вслед за конспектом разговора Ивана со Смердяковым в первое их свидание Достоевский под знаком N3 сделал пометку: «Иван ушел, выругал его дураком, но убедился, что *Смерд⟨яков⟩* совсем искренен и невинен». Причину второго свидания первоначально предполагалось «не объяснять». Однако тут же была сделана ремарка «N3??? (придумать причины)». Вообще второму разговору Ивана со Смердяковым Достоевский придавал, по-видимому, большое значение, о чем свидетельствует помета: «*Важнейшее* 2-ое свидание». Сомнение: «В самом ли деле я хотел», по авторским наметкам, возникло у Ивана после второго свидания со Смердяковым, но потом писатель превратил это сомнение из следствия в причину второй встречи героев (стр. 314, 331, 333). Существенную роль для нравственного перелома в Иване, по замыслу Достоевского, должен был играть разговор Ивана с Алешей. Под знаком N3 автор сделал запись: «Сам Алешу спросил: „Помнишь, я сказал. что желать может всякий, ты, пожалуй, подумать мог, что я желаю... Что ж ты молчишь?" *Алеша*: „Я подумал, что ты желаешь"». Подводя итог второго свидания Ивана со Смердяковым, Достоевский следующим образом пояснил скрытые импульсы поведения Ивана: «2-ое свидание. Иван

---

[1] В окончательном тексте эпизод: «Иван дома. Ночью Алеша, от Илюши», — следует за сценой: «Иван один. Сатана», но Алеша приходит к брату из дому, а не от Илюши.

[2] См. главы: «Первое свидание со Смердяковым», «Второй визит к Смердякову», «Третье, и последнее, свидание со Смердяковым».

поражен. Хотел донести. Но Катин документ, но убеждение, что Смердяков *не мог* быть вместе с Митей в ту ночь (был у Мити для этого). Показание Григория. Приписал злобе Смердякова и его сумасшествию (Герценштубе). Не ходил опять к Смердякову и даже *старался забыть* о разговоре *из страху*, что Смердяков и в самом деле докажет, что он убил» (стр. 331—333).

Психологические мотивы третьей встречи Ивана со Смердяковым определились без колебаний: «(Когда дошел до своего звонка.) Ревность к Кате. И то, что трус». Эта запись имеет дополнение: «*Причина.* Слова Кати: „Я была у Смердякова". Самолюбие. Была и еще причина (сатана)» — и ниже: «3-е свидание. У звонка (причина свидания, — что говорил Алеша)». Последней записью открывается подробный конспект, намечающий ход размышлений Ивана по поводу его роли в убийстве Федора Павловича (см. стр. 322—333; ср. стр. 54).

Как уже было сказано выше, глава IX одиннадцатой книги «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» не была предусмотрена первоначальным планом. 10 августа 1880 г. Достоевский писал Любимову: «Хоть и сам считаю, что эта 9-я глава *могла бы и не быть*, но писал я ее почему-то *с удовольствием* и сам отнюдь от нее не отрекаюсь».

Задумав ввести в роман сцену с чертом, Достоевский стремился мотивировать появление черта в ходе повествования реалистически, о чем он сообщил Любимову 10 августа 1880 г. (см. стр. 449). Еще ранее в письме к Ю. Ф. Абаза от 15 июня 1880 г. Достоевский писал: «...фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны *почти* поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал „Пиковую даму" — верх искусства фантастического». То, что говорит Достоевский далее в этом письме о восприятии читателем пушкинского Германна, имеет прямое отношение к Ивану Карамазову и черту: «...вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, то есть прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов. (NЗ. Спиритизм и учения его.) Вот это искусство!».

Характерно, что в рукописных набросках, сделанных в ночь с 16 на 17 июня, т. е. на следующий день после того, как было написано цитировавшееся выше письмо, Достоевский обозначил детали, которые должны были придать образу «реалистичность»: «Сатана (бородавка и проч.)»; «Сатана («Становлюсь суеверен»)» (стр. 326). Аналогичные записи имеются и на других страницах. Например: «Сатана входит и садится (седой старик, бородавка)» или «Сатана иногда покашливал (реализм, бородавка)». Достоевский наделил своего черта предрассудками и суеверием и в то же время заставил его привить оспу. Все эти мелкие и «прозаические» штрихи к художественному образу черта были обдуманы заранее (стр. 320, 334). В то же время среди рукописных набросков находим следующую запись: «Иван бьет его ⟨черта, — *Ред.*⟩, а тот очутывается на разных стульях» (стр. 321). В окончательный текст этот эпизод не попал. Вероятно, Достоевский исключил его как «неправдоподобный».

В сохранившихся рукописях к одиннадцатой книге романа в конспекте монолога черта несколько раз упомянуто «Слово»: «После *Слова* и всего»; «Вот веришь, я этак иногда что-нибудь выдумаю, вот о Слове, например...» и «Я был при том, когда Слово» (стр. 337, 338). Близкая к последней заметке фраза есть и в законченном тексте (см. стр. 82), две же первых наводят на мысль, что рассуждения черта по поводу «Слова» могли затрагивать и более широкие теологические и философские проблемы. По-видимому, черт должен был, по авторскому намерению, толковать первые строки «Евангелия от Иоанна»: «Вначале было Слово, и Слово было у бога, и Слово было бог ⟨...⟩ Все через Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть».

Этот евангельский стих пытался переосмыслить Фауст Гете, переводя Новый завет (сцена «Рабочая комната Фауста»):

Написано: «Вначале было Слово» —
И вот уже препятствие готово.
Я Слово не могу так высоко ценить...

После отвергнутых вариантов перевода: «Разум был вначале», «Силу следует началом называть», Фауст останавливается на варианте «В Деянии начало бытия».[1]

Работая над одиннадцатой книгой, Достоевский вспоминал «Фауста» Гете (см. стр. 465—466). Под этим впечатлением он и мог включить в план упоминания черта о «Слове», но они могли явиться также откликом на работу Вл. Соловьева «Философские начала цельного знания» (1877), где толкованию философского и религиозного значения Слова-Логоса посвящен раздел «Основные определения по категориям сущего, сущности и бытия».[2]

По первоначальному замыслу сцена Ивана с чертом, очевидно, имела и некоторые прямые аналогии с «Фаустом» Гете. В рукописях, кроме приведенной выше записи о «Слове», обозначено еще: «*Сатана и Михаил*», «*Сатана и бог*» (стр. 335). В «Прологе на небе» у Гете также воспроизведен диалог бога и Сатаны в присутствии и при участии архангела Михаила. Впрочем, общим источником предполагавшейся сцены для Достоевского, равно как и для Гете, по собственному признанию немецкого поэта, могла быть ветхозаветная книга Иова.[3]

В законченном тексте романа Иван спрашивает черта: «Есть бог или нет?». И тот ему отвечает: «Голубчик мой, ей-богу, не знаю, вот великое слово сказал» (стр. 77). В одном из черновых вариантов свое сомнение Иван прикрывал декларацией нравственной безответственности: «Ив⟨ан⟩: „Совесть сами делаем". С⟨атана⟩: „Зачем же мучаешься?" „Привык. Отвыкнем и будем боги". С⟨атана⟩: „По крайней мере *какой-нибудь* выход". Сатана: „Один бог знает, кто *он*, и не умирает от этого знания"» (стр. 336). Здесь сатана, как прежде Зосима, указывает на причину трагической разорванности личности Ивана: он не решил для себя ни в ту, ни в другую сторону «вопрос о боге».

В романе Иван пытается доказать черту, что тот является не чем иным, как продуктом его собственной, Ивана, фантазии. В ответ на это черт говорит: «То есть, если хочешь, я одной с тобой философии, вот это будет справедливо. Je pense donc je suis, это я знаю наверно, остальное же всё, что кругом меня, все эти миры, бог и даже сам сатана, — всё это для меня не доказано, существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего *я*...» (стр. 77).

В рукописных набросках приведенному рассуждению соответствуют следующие заметки, содержащие ссылки на Гегеля: «Смысл твоего явления, — говорит Иван черту, — уверить меня, что ты есть, а не мой кошмар, не фантазия (Гегель. Ив. Кузьмич)». И в другом месте: «Сат⟨ана⟩: „Я люблю мечты"»; «Я тебе советую остановиться на этой мысли (Гегель). Иначе мы подеремся. Что ж, и подеремся, *может быть*, в фантазии» (стр. 335, 336). Соотнося философское рассуждение черта с абсолютным идеализмом Гегеля, Достоевский, очевидно, отзывался на недавнюю полемику вокруг Гегеля в публицистике 1870-х годов.

Полемика эта была вызвана диссертацией Вл. Соловьева «Кризис западной философии. Против позитивистов» (1874), где прослеживалась эволюция теории познания в философских системах начиная со средневековых схоластов и кончая «философией бессознательного» Гартмана. Большое место

---

[1] Гете. Собрание сочинений в переводах русских писателей, изданных под редакцией Н. В. Гербеля, т. II. СПб., 1878, стр. 40. Книга эта была в библиотеке Достоевского (*Библиотека*, стр. 128).

[2] *Соловьев*, т. I, стр. 358—374.

[3] См.: Н. Вильмонт. Гете и его «Фауст». В кн.: И. В. Гете. Фауст. Изд. «Художественная литература», М., 1969, стр. 477—478.

в работе Вл. Соловьева было уделено критике гегелевских «гипостазированных понятий», т. е. его тенденции придать отвлеченным понятиям самостоятельное бытие. В связи с этим Вл. Соловьев писал: «...если, как утверждает Гегель, логическое понятие своим внутренним развитием создает свое содержание, то это содержание не есть *действительно сущее,* а только *мыслимое*...».[1]

Диссертация Вл. Соловьева вызвала ряд откликов в печати, побудивших его выступить с ответными статьями. Так, К. Д. Кавелину,[2] обвинявшему автора диссертации в отрицании реальности внешнего мира, Вл. Соловьев отвечал в работе «О действительности внешнего мира и основании метафизического познания» (1875). Считая нужным в связи с замечаниями Кавелина дать философским вопросам, затронутым в диссертации, «более определенную и ясную постановку», Вл. Соловьев еще раз вернулся к критике Гегеля, отождествляющего, по оценке Соловьева, «внутреннюю сущность с логическими формами явления».[3]

В дефинитивном тексте черт говорит Ивану о том, что у «них» «там все теперь помутилось, и всё от ваших наук». При этом он упоминает об открытии «химической молекулы» и «протоплазмы» (см. стр. 78). Судя по рукописям, черт, по первоначальному плану, должен был касаться и других естественнонаучных тем. Среди заметок к «разговорам» намечены темы: «Эмбрион из бабочки, орангутанг и человек» (стр. 320). Не исключена возможность, что в первом случае черт должен был, по замыслу автора, говорить об имманентности процесса развития, о чем Вл. Соловьев писал в сочинении «Философские начала цельного знания» (1877). Там в главе I «Общеисторическое введение (о законе исторического развития)» говорится: «...все определяющие начала и составные элементы развития должны находиться уже в первоначальном состоянии организма — в его зародыше. Это фактически доказывается тем, что из семени известного растения или из эмбриона известного животного никакими средствами невозможно произвести ничего иного, кроме этого определенного вида растения или животного».[4]

Другая половина записи («орангутанг и человек»), возможно, имеет в виду книгу Н. Н. Страхова «Мир как целое» (1872).[5] В главе «Совершенствование — существенный признак организмов» Страхов доказывал, что умственная деятельность есть «образец, чистейший и высочайший вид развития вообще». Этот критерий, с его точки зрения, можно распространить и на животный мир, некоторые представители которого имеют очень высокую психическую организацию. В качестве примера Страхов указывал на орангутанга и для доказательства своей мысли приводил рассказ об охоте на это животное. Умирая, орангутанг бросил на людей «взгляд, полный такой мольбы и скорби, что они были тронуты до слез и раскаялись в том, что без необходимости убили существо столь сходное с ними самими».[6]

Следует также заметить, что, посетив в Берлине Aquarium и увидев там орангутанга (см. письмо А. Г. Достоевской от 9(21) июля 1876 г.), Достоевский еще в 1876 г. сделал следующую запись («Записная тетрадь», 1876—1877 гг.): «Орангутанг. Если он будет, так как же в 2000 лет он ничего

---

[1] Вл. Соловьев. Кризис западной философии. Против позитивистов. М., 1874, стр. 81. Книга имелась в библиотеке Достоевского (*Библиотека*, стр. 156).

[2] К. Д. Кавелин возражал Вл. Соловьеву в брошюре «Априорная философия или положительная наука? По поводу диссертации г-на В. Соловьева» (СПб., 1875).

[3] *Соловьев,* т. I, стр. 220.

[4] Там же, стр. 253. Ср. в окончательном тексте: «Я в тебя только крохотное семечко веры брошу, а из него вырастет дуб...» (стр. 80).

[5] Книга имелась в библиотеке Достоевского (см.: *Библиотека*, стр. 156).

[6] Н. Страхов. Мир как целое. Черты из науки о природе. СПб., 1872, стр. 94.

не выдумал, ну хоть арифметику. Но он ничего не выдумал, не только арифметики, но даже и слова, чтоб выразить свою думу. А разве это естественно: уж коль есть дума, то непременно природа дала бы и слово».

Из заметок, не получивших развития в окончательном тексте, следует выделить слова: «Про Зосиму. „Я тут постарался, таких духов нанес. Барыни-кокетки наиболее воняют в могилах. Я у каждой взял по букету"» (стр. 335). Очевидно, черт должен был признаться Ивану, что история с «провонявшим» Зосимой — дело его рук.

Работа над одиннадцатой книгой романа «Брат Иван Федорович» была завершена к 10 августа 1880 г. В этот день Достоевский отправил в редакцию «Русского вестника» ее окончание — главы IV—X. Одновременно автор сообщал: «Двенадцатая и последняя книга „Карамазовых" прибудет в редакцию *неуклонно* около 10-го или 12-го будущего (сентября) месяца. Величиной будет тоже в три или в 3 1/2 листа, не более. Затем останется „Эпилог" романа, всего в 1 1/2 печатных листа — это уже на октябрьскую книгу».

После недельного перерыва Достоевский продолжил работу над оставшейся частью романа. 28 августа 1880 г. он сообщал И. С. Аксакову: «Вы не поверите, до какой степени я занят, день и ночь, как в каторжной работе! Именно — кончаю „Карамазовых", следственно, подвожу итог произведению, которым, я по крайней мере, дорожу, ибо много в нем легло меня и моего. Я же и вообще-то работаю нервно, с мукой и заботой. Когда я усиленно работаю — то болен даже физически. Теперь же подводится итог тому, что 3 года обдумывалось, составлялось, записывалось. Надо сделать хорошо, то есть по крайней мере сколько я в состоянии. Я работы из-за денег на почтовых — не понимаю. Но пришло время, что все-таки надо кончить и кончить не оттягивая. Верите ли, несмотря, что уже три года записывалось,— иную главу напишу да и забракую, вновь напишу и вновь напишу. Только вдохновенные места и выходят зараз, залпом, а остальное всё претяжелая работа».

Первые наброски к книге «Суд» (так она первоначально была названа) [1] датированы 17 августа. Следует, однако, учесть, что многие рабочие записи, касающиеся юридических подробностей судебного разбирательства, очевидно, были сделаны еще весной, до переезда в Старую Руссу. Во всяком случае, отсылая 8 сентября 1880 г. Любимову главы I—V двенадцатой книги, Достоевский писал: «Не думаю, чтоб я сделал какие-нибудь *технические* ошибки в рассказе: советовался предварительно с двумя прокурорами еще в Петербурге». Одним из консультантов автора «Братьев Карамазовых» по юридическим вопросам был, как уже упоминалось выше, А. А. Штакеншнейдер, другим — А. Ф. Кони. Поскольку заметки, фиксирующие основные моменты процедуры суда, были сделаны задолго до начала непосредственной работы над текстом книги «Судебная ошибка», Достоевский не был уверен, что ничего в этих записях не упустил. Желая избежать упрека в ошибках, которые он мог допустить в рассказе о судебном разбирательстве, романист решил заранее предупредить читателей, что его повествование не претендует на абсолютную точность. Еще в рукописи были записаны пояснения, оправдывающие возможные отступления от реального хода событий. Пытаясь вспомнить, как шел допрос свидетелей, хроникер говорит: «По группам или нет — не знаю? Даже забыл порядок. Буду писать, припоминая впечатления» (стр. 366). Аналогичная оговорка имеется и в печатном тексте романа (см. стр. 89).

Рассказывая К. П. Победоносцеву о работе над заключительной частью романа в письме, написанном 16 августа 1880 г., накануне дня, которым датированы первые наброски к двенадцатой книге, Достоевский отмечал, что главными фигурами здесь будут адвокат и прокурор, выставленные «в некотором особенном свете». И действительно, наибольшее количество заметок было сделано автором именно к речам прокурора и адвоката.

---

[1] В ходе работы над книгой «Судебная ошибка» у Достоевского возник еще один вариант ее названия: «Уплата по итогу!» (стр. 346).

Ипполит Кириллович и Фетюкович были задуманы Достоевским как два типа юристов-практиков, сложившихся благодаря ложным и порочным, с точки зрения Достоевского, принципам, на которых зиждился современный автору «Братьев Карамазовых» суд. «...Адвокат и прокурор, — писал Достоевский Н. А. Любимову 8 сентября 1880 г., — представляют у меня отчасти типы нашего современного суда (хотя и ни с кого лично не списанные) с их нравственностью, либерализмом и воззрением на свою задачу».

Уже предварительные конспекты выступлений Фетюковича и Ипполита Кирилловича близки к окончательному варианту.

И в набросках, и в окончательном тексте Фетюкович постоянно ссылается на Евангелие. Как явствует из рукописи, Достоевский одно время предполагал даже поручить Фетюковичу свои собственные мысли о церковно-общественном суде. Адвокат должен был, обращаясь к присяжным, сказать: «Что такое общество? или чем *должно быть общество*? Церковь. Что такое церковь — тело Христово ⟨...⟩ ваш суд есть суд Христов. А суд Христов не одна только кара, а и спасение души *человеческой*» (стр. 368). Рассуждение это не вошло в текст романа. Автор, вероятно, счел затронутую проблему слишком серьезной и важной, чтобы подвергнуть ее невольной дискредитации в демагогической речи адвоката — «прелюбодея мысли», тем более что вопрос о соотношении государства и церкви, а также о суде и милосердии уже обсуждался в пятой главе второй книги.

В ходе работы запланированный предварительно объем двенадцатой книги, получившей название «Судебная ошибка», увеличился почти вдвое. Поэтому Достоевский выпужден был напечатать ее в двух номерах «Русского вестника» вместо одного. «Как ни старался, — писал Достоевский Любимову 8 сентября 1880 г., — кончить и прислать Вам всю *двенадцатую* и последнюю книгу „Карамазовых", чтоб напечатать зараз, но увидел наконец, что это мне невозможно. Прервал на таком месте, на котором действительно рассказ может представлять нечто целое (хотя, может быть, и не столь эффектное), да и действие кстати у меня на время прерывается ⟨...⟩ Остановил рассказ на перерыве пред „судебными прениями"». Для сентябрьского номера журнала Достоевский выслал лишь пять глав двенадцатой книги, пообещав остальные девять и «Эпилог» напечатать в октябре.

О работе над романом в период с июня по октябрь 1880 г. Достоевский писал П. Е. Гусевой (15 октября 1880 г.): «...если есть человек в каторжной работе, то это я. Я был в каторге в Сибири 4 года, но там работа и жизнь была сноснее моей теперешней. С 15-го июня по 1-е октября я написал до 20 печатных листов романа ⟨...⟩ И, однако, я не могу писать сплеча, я должен писать художественно. Я обязан тем богу, поэзии, успеху написанного и буквально всей читающей России, ждущей окончания моего труда. А потому сидел и писал буквально дни и ночи».

Работа над последней книгой закончилась к 6 октября, к моменту отъезда Достоевского из Старой Руссы в Петербург, однако «Эпилог» в это время еще не был написан. 18 октября 1880 г. Достоевский сообщал М. А. Поливановой: «Вы, конечно, не поверите, но, возвратясь из Москвы в Старую Руссу, я до самого 6-го октября (день выезда из Руссы) всё писал, день и ночь ⟨...⟩ по пяти раз переделывал и переправлял написанное. Не мог же я кончить мой роман кое-как, погубить всю идею и весь замысел». Здесь же романист сообщал, что с 20 числа он снова «должен сесть работать, чтоб написать заключительный „Эпилог"».

Еще 29 апреля, вскоре после завершения десятой книги, Достоевский писал Любимову, намечая основные контуры «Эпилога»: «...несколько слов о судьбе лиц и совершенно отдельная сцена: похороны Илюши и надгробная речь Алексея Карамазова мальчикам, в которой отчасти отразится смысл всего романа». Неудивительно, что, поскольку общий план «Эпилога» сложился у автора задолго до завершения работы, творческая работа над ним, судя по сохранившимся рукописным наброскам, протекала без каких-либо новых осложнений. Сделанные в процессе обдумывания основных линий повествования заметки в большинстве случаев нашли прямое отражение в тексте романа. Только один эпизод истории взаимоотношений главных

героев — Мити, Грушеньки и Кати — вызывал, по-видимому, у Достоевского некоторые колебания. Первоначально он хотел их примирить. Об этом свидетельствует следующая запись, сделанная на самом раннем этапе обдумывания «Эпилога»: «*Митя*, видя, что все примирились: „Вот мы и счастливы теперь"». Однако от намерения примирить соперниц Достоевский отказался, уже на следующей странице записав слова Кати Алеше, имеющие противоположный смысл: «О, только не у этой! У этой я не могу просить прощения! И я, я сказала ей: „Простите меня!" Я хотела казнить себя перед Митей. Вот почему ей сказала: „Простите меня". Она не простила, люблю ее за это!» (стр. 370, 372).

8 ноября 1880 г. Достоевский известил Н. А. Любимова, что «Эпилог» закончен и отправлен в редакцию «Русского вестника». В том же письме автор сообщал: «Ну, вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два — знаменательная для меня минута. К рождеству хочу выпустить отдельное издание. Ужасно спрашивают, и здесь, и книгопродавцы по России; присылают уже деньги».

4

28 июля 1879 г. — уже после создания глав «Бунт» и «Великий инквизитор» — Достоевский, не без законной авторской гордости, заявил в черновике письма к В. Ф. Пуцыковичу: «...*никогда* ни на какое сочинение мое не смотрел я серьезнее, чем на это».

Высокие требования, которые писатель предъявлял к себе в процессе творческой работы над «Карамазовыми», сознание важности этого своего труда заставляли его придавать особое значение тому, чтобы первопечатный текст романа точно соответствовал его авторской воле и намерениям. Хорошо помня, без сомнения, о конфликтах с редакторами «Русского вестника» во время печатания «Преступления и наказания» и «Бесов», которые повлекли в первом случае переделку центральной по своему значению главы романа о первом посещении Раскольниковым Сони и совместном чтении ими Евангелия, а во втором — исключение главы «У Тихона», повлиявшее на всю окончательную конструкцию третьей части «Бесов» (см. об этом: наст. изд., т. VII, стр. 326—327; т. XII, стр. 240—246), Достоевский опасался, чтобы аналогичный конфликт с Катковым не повторился во время печатания «Карамазовых». Отсюда постоянное стремление в письмах к Любимову, которые отсылались вместе с отдельными главами и книгами «Карамазовых», предупредить ожидавшиеся автором возражения редакции, предохранить те или иные эпизоды романа от цензурного вмешательства и корректорского произвола.

Так, в письме к Любимову от 10 мая 1879 г. по поводу пятой книги «Pro и contra» читаем: «Всё, что говорится моим героем в посланном Вам тексте, основано на действительности. Все анекдоты о детях ⟨рассказываемые Иваном в главе «Бунт», — *Ред.*⟩ случились, были напечатаны в газетах, и я могу указать где, ничего не выдумано мною. Генерал, затравивший собаками ребенка, и весь факт — действительное происшествие, было опубликовано нынешней зимой, кажется, в „Архиве" и перепечатано во многих газетах. Богохульство же моего героя будет торжественно опровергнуто в следующей (июньской) книге, для которой я работаю теперь со страхом, трепетом и благоговением, считая задачу мою (разбитие анархизма) гражданским подвигом. Пожелайте мне успеха, многоуважаемый Николай Алексеевич.

Корректуру жду с превеликим нетерпением. Адрес: Старая Русса. Ф. Михайловичу Достоевскому.

В посланном тексте, кажется, нет ни единого *неприличного* слова. Есть лишь одно, что ребеночка 5 лет мучители, воспитавшие его, за то, что она не могла проситься ночью, обмазали *ее же калом*. Но это прошу, умоляю не выкидывать. Это из текущего уголовного процесса. Во всех газетах (всего 2 месяца назад, Мекленбург, мать, «Голос») сохранено было слово *кал*. Нельзя смягчать, Николай Алексеевич, это было бы слишком, слишком

грустно! Не для 10-летних же детей мы пишем. Впрочем, я убежден, что Вы, и без моеей просьбы, сохранили бы весь мой текст.

Еще об одном пустячке. Лакей Смердяков поет лакейскую песню, и в ней куплет:

Славная корона,
Была бы моя милая здорова.

Песня мною не сочинена, а записана в Москве. Слышал ее еще 40 лет назад. Сочинилась она у купеческих приказчиков 3-го разряда и перешла к лакеям, никем никогда из собирателей не записана и у меня в первый раз является.

Но настоящий текст куплета:

Царская корона,
Была бы моя милая здорова.

А потому, если найдете удобным, то сохраните, ради бога, слово *царская* вместо *славная*, как я переменил на случай. (*Славная-то* само собой пройдет.)» Обе просьбы автора были выполнены редакцией.

Аналогичные опасения вмешательства обычной и духовной цензуры, а также небрежного отношения и возражений редакции содержатся в письме романиста к Любимову от 7(19) августа, 16 сентября и 16 ноября 1879 г.; 10 августа 1880 г. (см. стр. 428, 430, 432, 449).

«Чрезвычайно прошу Вас (*умоляю*), — пишет Достоевский в первом письме, — ⟨...⟩ поручить корректуру надежному корректору, так как сам эту книгу, за отсутствием, не могу корректовать. Особенно прошу обратить внимание на корректуру от *10 до 17-го* полулистка включительно (главка под рубрикой «О священном писании в жизни отца Зосимы»). Эта глава восторженная и поэтическая, прототип взят из некоторых поучений Тихона Задонского, а наивность — из книги странствий инока Парфения. Просмотрите сами, многоуважаемый Николай Алексеевич, будьте отцом родным! Когда корректуры всей книги будут отсмотрены, то сообщите Михаилу Никифоровичу. Мне бы хотелось, чтоб он прочел и сказал свое мнение, ибо очень дорожу его мнением.

В этой книге, надеюсь, ничего не найдете вычеркнуть или поправить как редактор, ни словечка, за это ручаюсь.

Очень еще прошу сохранить все разделения на главы и *подглавы*, как есть у меня. Тут вводится в роман как бы чужая рукопись (Записка Алексея Карамазова), и само собою, что эта рукопись разграфирована Алексеем Карамазовым по-своему. Здесь вставлю ропчущее N Bene: в июньской книге, в главе „Великий инквизитор", не только нарушены мои рубрики, но даже всё напечатано сплошь. страниц 10 сряду, без перенесения на *другую строчку* даже. Это очень меня огорчило и на это приношу Вам мою сердечную жалобу».

Здесь особенно характерны просьбы о тщательной корректуре и о сохранении разделения на авторские главы и подглавы. Они свидетельствуют о том значении, которое взыскательный художник придавал даже мелким деталям стилистической отделки романа.

Отправляя в редакцию седьмую книгу «Братьев Карамазовых», Достоевский вновь опасался, что она напугает редакцию. Он писал Любимову 16 сентября 1879 г.: «Умоляю Вас ⟨...⟩ в этой книге ничего не вычеркивать. Да и нечего, *всё в порядке*. Есть одно только словцо (про труп мертвого): *провонял*. Но выговаривает его отец Ферапонт, а он не может говорить иначе ⟨...⟩ Пропустите это, *ради Христа*. Больше ничего нет. Кроме разве про *пурганец*. Но это написано хорошо, и притом оно существенно, как важное обвинение». И далее Достоевский еще раз настойчиво возвращался к тому же вопросу: «Не подумайте, ради бога, что я бы мог себе позволить в сочинении моем хотя малейшее сомнение в чудодействии мощей. Дело идет лишь о мощах умершего монаха Зосимы, а уж это совсем другое». Защищая достоверность своего рассказа, Достоевский ссылался на аналогичный случай, описанный иноком Парфением (см. стр. 571), и, как бы желая умилости-

вить Любимова, сообщал, что седьмой книгой заканчивается описание монастыря. «Больше о монастыре ничего не будет», — заверил он.

В том же письме Достоевский «особенно» просил Любимова «хорошенько прокорректировать легенду *о луковке*» как драгоценную для него страницу.

16 ноября 1879 г. Достоевский писал по поводу окончания восьмой книги: «У меня в том, что теперь выслал, выведены два поляка, которые говорят или чисто по-польски (между собою), или ломаною смесью русского с польским. Фразы чисто польские у меня правильны, но в смешанной речи польские слова, может быть, вышли несколько и дико, но, я думаю, тоже правильно. Желательно мне очень, чтобы в этих польских местах корректура была продержана по возможности тщательнее. Переписано же у меня, кажется, четко.

Вставлен анекдот о пане Подвысоцком — легендарный анекдот всех мелких польских игрочишек — передергивателей в карты. Я этот анекдот слышал три раза в моей жизни, в разное время и от разных поляков. Они и не садятся в „банчишку", не рассказав этот анекдот. Легенда относится к 20-м годам столетия. Но тут упоминается Подвысоцкий, фамилия, кажется, известная (в Черниговской губернии есть тоже Подвысоцкие). Но так как в этом анекдоте собственно о Подвысоцком *не говорится ничего обидного, позорного или даже смешного,* то я и оставил настоящую фамилию. Не думаю, чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог обидеться и быть в претензии ⟨...⟩

P. S. Если не Подвысоцкий, то можно бы напечатать: Подвисоцкий, по-польски совсем другой смысл, но лучше, если оставить „Подвысоцкий", как у меня.

Д.

N3. Песня, пропетая хором, записана мною с натуры и есть действительно образчик новейшего крестьянского творчества».

Наконец, 10 августа 1880 г. Достоевский писал Любимову о главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича», разъясняя ее смысл и вместе с тем защищая ее от возможных посягательств со стороны своего адресата и самого Каткова, вызванных цензурными опасениями: «6-ю, 7-ю и 8-ю главы считаю сам удавшимися. Но не знаю, как Вы посмотрите на 9-ю главу, глубокоуважаемый Николай Алексеевич. Назовете, может быть, слишком характерною! Но, право, я не хотел оригинальничать. Долгом считаю, однако, Вас уведомить, что я давно уже справлялся с мнением докторов (и не одного). Они утверждают, что не только подобные кошмары, но и галюсинации перед „белой горячкой" возможны. Мой герой, конечно, видит и галюсинации, но смешивает их с своими кошмарами. Тут не только физическая (болезненная) черта, когда человек начинает временами терять различие между реальным и призрачным (что почти с каждым человеком хоть раз в жизни случалось), но и душевная, совпадающая с характером героя: отрицая реальность призрака, он, когда исчез призрак, стоит за его реальность. *Мучимый безверием, он (бессознательно) желает в то же время, чтоб призрак был не фантазия, а нечто в самом деле.*

Впрочем, что я толкую. Прочтя, увидите всё сами, глубокоуважаемый Николай Алексеевич ⟨...⟩ Не думаю, чтобы глава была и слишком скучна, хоть и длинновата. Не думаю тоже, чтобы хоть что-нибудь могло быть нецензурно, кроме разве двух словечек: „*истерические взвизги* херувимов". Умоляю, пропустите так: это ведь *черт* говорит, он не может говорить иначе. Если же никак нельзя, то вместо *истерические взвизги* поставьте *радостные крики*. Но нельзя ли *взвизги*? А то будет очень уж прозаично и не в тон.

Не думаю, чтобы что-нибудь из того, что мелет мой черт, было нецензурно. Два же рассказа о *исповедальных будочках*, хотя и легкомысленны, но уже вовсе, кажется, несальны. То ли иногда врет Мефистофель в обеих частях „Фауста"?

Считаю, что в 10-й и последней главе достаточно объяснено душевное состояние Ивана, а стало быть, и кошмар 9-й главы. Медицинское же состояние (повторяю опять) проверял у докторов».

Редакция согласилась с доводами Достоевского и сохранила в тексте выражения, судьба которых вызывала его беспокойство.

Закончив работу над журнальным текстом «Карамазовых», автор сразу же приступил к работе над отдельным их изданием, которое вышло до конца года, почти сразу после появления в «Русском вестнике» последней части и «Эпилога». Готовя его, романист внес в текст некоторые исправления.

Так, в ходе печатания романа и в соответствии с пожеланием автора (см. стр. 440) возраст Коли Красоткина и его сверстников был увеличен на один год. Но изменение это не удалось провести последовательно во всех частях журнального текста. В отдельном издании соответствующие места выправлены. Устранен также разнобой в наименовании ряда персонажей. Так, врач в отдельном издании во всех случаях именуется Варвинским (вместо Варвицкий, Первинский), один из мальчиков — Карташевым (вместо — то Карташов, то Сибиряков).[1] Кроме того, весь текст подвергся стилистической правке, наиболее существенной в разделе «Эпилог». В особенности она сводилась к уничтожению уменьшительных форм (см. выше, варианты к стр. 189—192, 194, 195 наст. тома).

Отдельное издание романа (в двух томах) вышло в свет в первых числах декабря (на титульном листе обе книги были помечены следующим 1881 г.). «Издание это имело сразу громадный успех, и в несколько дней публика раскупила половину экземпляров» (*Достоевская, А. Г. Воспоминания*, стр. 369).

5

В предваряющем «Братьев Карамазовых» предисловии «От автора» Достоевский характеризует свой последний роман как первый из задуманных двух романов, посвященных «жизнеописанию» главного героя — Алексея Карамазова.

Однако можно предположить, что замысел предисловия сложился осенью 1878 г.: непосредственно перед изготовлением наборной рукописи первой книги у романиста родилось желание предварить уже написанные к этому времени главы обращением к читателю, которое помогало бы последнему уяснить в общих чертах авторский замысел и открывало перспективу для дальнейшего рассказа. В подготовительных материалах к первой книге о плане из двух романов еще не говорится.

Поэтому нам остается неизвестным, мыслился ли роман автором с самого начала работы как первая часть более обширного целого, или замысел двух романов о Карамазовых возник несколько позднее. Так или иначе, план дилогии, первая часть которой была бы посвящена юности главного героя и его «воспитанию» в монастыре, а вторая дальнейшим этапам его жизни в миру, явился возрождением и видоизменением — через несколько лет и в новых условиях — того более раннего замысла романической эпопеи, состоящей из нескольких отдельных романов, который Достоевский вынашивал с 1868—1870-х годов и который в то время был впервые выставлен им в качестве программы для творческой разработки в письмах к М. Н. Каткову и Н. Н. Страхову, посвященных «Житию великого грешника» (см. об этом: наст. изд., т. IX, стр. 501—508).

Уже в плане «Жития великого грешника» обнаружилось и скрытое внутреннее противоречие, связанное с осуществлением такого замысла, — противоречие, которое вновь возникло в работе над «Карамазовыми». Достоевский-романист на всем протяжении своего творческого пути был, как сознавал он сам, одержим «тоской по текущему» и меньше всего собирался, подобно Толстому периода «Войны и мира», писать свою эпопею «в историческом роде». Об этом он прямо заявил и в эпилоге романа «Подросток» (см.: наст. изд., т. XIII, стр. 454), и в «Дневнике писателя» 1877 г. (январь,

---

[1] В наст. изд. устранен не замеченный Достоевским разнобой в именах некоторых персонажей: Марья Кондратьевна — Марья Игнатьевна, Марфа Игнатьевна — Марья Игнатьевна, Трифон Борисыч — Тимофей Борисыч.

гл. 2, § V). Но план романа-дилогии (а тем более — романа из нескольких частей) неизбежно вызывал необходимость в приурочении первых, начальных этапов биографии героя не непосредственно к «текущей» современности, а к недавнему прошлому, к одному из хронологически близких, но уже пережитых русским обществом десятилетий. В предисловии «От автора» это побудило Достоевского заявить, что лишь действие второй части задуманной им эпопеи будет происходить «в наше время, именно в наш теперешний, текущий момент», в то время как события первой его части (оставшейся единственной) совершились «тринадцать лет назад», в годы «первой юности» героя. Таким образом, формально действие романа оказалось приуроченным к 1866 г. (или шире — к середине 1860-х годов), ко времени вскоре после введения в России нового судебного устава и соответственно появления гласного судопроизводства, адвокатуры и института присяжных заседателей.

Относя формально — в соответствии с замыслом дилогии — время действия «Карамазовых» к недавнему прошлому, автор меньше всего собирался в новом своем романе, как и в предыдущих, предстать перед читателем в качестве исторического романиста. Как письма Достоевского, посвященные «Карамазовым», так и самые первые записи в подготовительных материалах связывают замысел романа с злободневной, живой современностью. В окончательном тексте уже в первой книге читатель оказывается перенесенным фактически не в 1860-е годы, а в самую гущу идейных проблем конца 1870-х годов, которые непосредственно затрагивает разворачивающийся в келье старца Зосимы спор о соотношении авторитета церкви и государства, а также государственного и церковного суда. [1]

Ориентация автора не на изображение недавнего прошлого, но на историческую действительность, философские и морально-нравственные проблемы рубежа 1870—1880-х годов ощущается едва ли не на каждой странице романа. Содержащиеся в нем многочисленные отклики на идеи, литературную полемику, исторические факты и события, журнальные статьи 1870-х годов, противоречащие формальному отнесению действия к 1860-м годам, раскрываются ниже в постраничном реальном комментарии.

В «Дневнике писателя» и в письмах второй половины 1870-х годов Достоевский многократно отмечал перелом, совершившийся, по его мнению, в настроениях русской молодежи в 1870-х годах по сравнению с 1860-ми. Если в 1860-х годах, в эпоху «Преступления и наказания», и особенно в начале 1870-х годов, когда создавались «Бесы», Достоевский, отдавая должное «национальной черте поколения» — «жертвовать собою и всем для правды», в то же время не признавал тогдашней «правды» русской молодежи и яростно спорил с нею о «понимании правды» (см.: наст. изд., т. XI, стр. 303), то с середины 1870-х годов Достоевский все более сочувственно пишет о современной русской молодежи, высоте ее пробудившихся духовных запросов и исканий. Как это изменившееся отношение к исканиям молодого поколения (сказавшееся уже в «Подростке»), так и новые авторские акценты в понимании психологии и нравственных запросов молодого поколения отразились не только в образах Алеши, Лизы, «мальчиков», но и в трагической фигуре Ивана Карамазова с его мощным богоборческим пафосом.[2]

---

[1] «Время событий ⟨в «Братьях Карамазовых», — *Ред.*⟩ отодвинуто на тридцать лет назад от 1879—1880-х годов, — справедливо замечает по этому поводу М. С. Гус. — Но Достоевский не привел в соответствие с такой хронологией содержание романа, и фактически действие протекает в конце 70-х годов. Так, например, эпизод с замученным в Средней Азии солдатом Даниловым, о котором Федор Павлович спорит со Смердяковым, произошел в 1875 году ⟨...⟩ К 1876 году относятся судебные дела Кронеберга и Джунковских, использованные в романе» (*Гус*, стр. 509—510).

[2] В романе не только воспроизведен духовный климат середины и конца 1870-х годов; как верно отметил Д. Д. Благой, в Иване и Лизе Хохлаковой предугаданы настроения и характерные психологические черты героев литературы «конца века» (*Благой*, стр. 12).

Как и при работе над всеми своими произведениями, Достоевский сложным образом слил при создании «Карамазовых» знакомое по личному опыту, реально виденное и пережитое с широкими социально-философскими обобщениями и величественной реалистической символикой. Из речи прокурора (кн. XII) видно, что «Карамазовы» были в глазах самого автора широким эпическим полотном, повествующим не только о двух поколениях семьи Карамазовых, но и шире — о прошедшем, настоящем и будущем России. Представители уходящего прошлого, «отцы» — Федор Павлович Карамазов, Миусов, штабс-капитан Снегирев, госпожа Хохлакова и др. — противопоставлены здесь воплощающему «настоящее» России, взятому в различных тенденциях его нравственной и идейной жизни поколению, к которому принадлежат все три брата Карамазовых, Ракитин, Смердяков, Катерина Ивановна, Грушенька, а на смену последним в романе уже поднимается новое, третье поколение — «мальчики» — символ еще бродящих, не вполне сложившихся будущих сил нации и страны.[1]

Материалы творческой истории романа и позднейшие свидетельства А. Г. Достоевской указывают на многообразие реальных жизненных и литературных источников романа.

Наиболее ранний в хронологическом отношении пласт жизненных наблюдений, сложным образом преломленный в романе, — это детские и юношеские впечатления писателя, вынесенные еще из родительского дома.

Дочь писателя Л. Ф. Достоевская выдвинула предположение, что «Достоевский, создавая тип старика Карамазова, думал о своем отце». «Но я должна обратить внимание моих читателей на то, — писала она при этом, — что мысль о сходстве между моим дедом Михаилом и стариком Карамазовым является исключительно моим предположением, которое я не могу подтвердить никаким документом. Возможно, что оно совершенно неверно». «Карамазов был развратен; Михаил Достоевский искренно любил свою жену и был ей верен. Старик Карамазов забросил своих сыновей и не интересовался ими; мой дед дал своим детям тщательное воспитание» (*Достоевская, Л. Ф.*, стр. 17—18).

Высказывая приведенную догадку, Л. Ф. Достоевская исходила, во-первых, из соображения, что, «быть может, не простая случайность, что Достоевский назвал Чермашней деревню, куда старик Карамазов посылает своего сына Ивана накануне своей смерти» (Чермашней называлась одна из двух деревень, принадлежащих родителям Достоевского), а, во-вторых, из узкобиографического толкования образов главных героев романа, — толкования, согласно которому Достоевский «изобразил себя в Иване Карамазове» (там же, стр. 18).

Несмотря на осторожную форму, в которой было высказано Л. Ф. Достоевской предположение о ее деде как одном из возможных прототипов старшего Карамазова и на сделанные ею при этом существенные оговорки, оно было некритически принято рядом последующих биографов писателя. Еще больший успех имело предложенное ею биографическое толкование конфликта между Карамазовым-отцом и его сыновьями, легшее в основу созданной З. Фрейдом и его последователями и завоевавшей на Западе большую популярность, несмотря на то что она не имеет под собой никакой реальной биографической почвы, легенды о Достоевском — потенциальном отце-

---

[1] О «Братьях Карамазовых» как изображении трех поколений русских людей, воплощающих в авторском понимании прошлое, настоящее и будущее России, см.: Вяч. Иванов. Лик и личины России. В кн.: Вяч. Иванов. Родное и вселенское. М., 1917, стр. 138—143; А. И. Белецкий. Судьбы большой эпической формы в русской литературе XIX—XX веков. В кн.: А. И. Белецкий. Избранные труды по теории литературы. Изд. «Просвещение», М., 1964, стр. 372. Ср. с «фантастической речью председателя суда» по делу Джунковских, сочиненной Достоевским: «Вы отцы, они ваши дети, вы современная Россия, они будущая...» (*ДП*, 1877, июль — август, гл. 1, § IV).

убийце и писателе-«грешнике», всю жизнь будто бы мучившемся сознанием своей нравственной вины перед отцом, вызванной «эдиповым комплексом».[1]

В связи с этим следует подчеркнуть, что содержание подготовительных материалов к роману, неизвестных Л. Ф. Достоевской в момент, когда она писала свою книгу об отце, не подтверждает ее догадки. В творческих заметках писателя к роману, сделанных для самого себя, нет никаких отзвуков автобиографического толкования психологии главных героев романа, в том числе Ивана и Федора Павловича Карамазовых, и нравственного конфликта между ними. Характеры как обоих этих, так и других основных персонажей не вызывали у Достоевского, как видно из подготовительных материалов, сколько-нибудь устойчивых и определенных биографических ассоциаций.

Допустимо лишь предположение, что при изображении Федора Павловича Карамазова и идеологических споров между ним и его сыновьями Достоевский мог воспользоваться штрихами, почерпнутыми из собственных юношеских воспоминаний (но для психологического отождествления Федора Павловича Карамазова с М. А. Достоевским, что отметила уже Л. Ф. Достоевская, а тем более для того, чтобы приписать самому писателю вслед за Фрейдом психологические импульсы и переживания Ивана, имеющие в романе к тому же совсем иную, несравненно более сложную и глубокую нравственную и идеологическую мотивировку, чем в интерпретации Фрейда, нет, разумеется, никаких оснований [2]).

К детским воспоминаниям писателя могут быть, по предположениям А. Г. Достоевской и младшего брата писателя, возведены истоки образов Лизаветы Смердящей и ее сына, а также ряд других деталей (см. об этом стр. 416, 541).

Второй пласт жизненных источников романа — сибирские воспоминания, в частности дело Ильинского.[3] Но наиболее важны были для автора при работе над окончательным текстом впечатления последних лет — жизнь с семьей в Старой Руссе, давшая Достоевскому многочисленные богатые краски для создания картины быта и нравов уездного города Скотопригоньевска, где совершается действие «Карамазовых», поездка в Оптину пустынь, непосредственные впечатления от которой были дополнены чтением обширной исторической литературы (см. об этом стр. 412, 528, а также: *Die Urgestalt,* стр. 59—139) и которая дала автору обильный материал для описания монастыря и всего внутреннего строя монастырской жизни, наконец, ежедневные размышления над текущей газетной хроникой и всей русской общественной жизнью конца 1870-х годов.[4]

6

Комментируя ряд мест романа, вдова писателя А. Г. Достоевская отметила, что, описывая торговый городок Скотопригоньевск, где разворачивается действие «Карамазовых», «Федор Михайлович говорит про Старую Руссу», где он подолгу жил в последние годы жизни (*Гроссман, Семинарий,* стр. 67).

---

[1] См.: И. Нейфельд. Достоевский. Психоаналитический очерк. Под ред. З. Фрейда. Л.—М., 1925; S. Freud. Dostojewski und die Vatertötung. В кн.: *Die Urgestalt,* стр. XIII—XXXIV.

[2] Вспомним, что в тех же «Карамазовых» Достоевский наделил Смердякова эпилепсией, заставив его испытывать перед припадком то, что испытывал он сам и во многом психологически родственные автору герои прежних его романов — князь Мышкин и Шатов.

[3] См.: И. Д. Якубович. «Братья Карамазовы» и следственное дело Д. Н. Ильинского. В кн.: *Материалы и исследования,* т. II, стр. 128—133.

[4] Еще А. С. Долинин отметил обостренное внимание Достоевского в 1878—1879 гг., в период работы над «Карамазовыми», к тогдашним судебным процессам *(Д, Письма,* т. IV, стр. 369, 385—386). Ср.: наст. том, стр. 553—555, 599, 601).

О том же рассказывает дочь писателя Л. Ф. Достоевская. Перечитывая роман уже взрослой и сравнивая его со своими детскими воспоминаниями, она легко узнала в нем «топографию Старой Руссы. Дом старика Карамазова — это наша дача с небольшими изменениями; красивая Грушенька — молодая провинциалка, которую мои родители знали в Старой Руссе. Купец Плотников был излюбленным поставщиком моего отца. Ямщики — Андрей и Тимофей — наши любимые ямщики, возившие нас ежегодно на берег Ильменя, где осенью останавливались пароходы» (*Достоевская, Л. Ф.*, стр. 77).

Самое название городка — Скотопригоньевск — навеяно старорусскими впечатлениями. На центральной Торговой площади города, на берегу упомянутой в романе заболоченной речки (Малашки), находился Конный рынок, где шла оживленная торговля скотом.

Изучение Старой Руссы 1870-х годов показывает, что Достоевский великолепно знал город, его жителей. В романе использованы не только впечатления и подробности старорусской жизни писателя, но также детали планировки и облика самого городка. По словам Л. Ф. Достоевской, дом Достоевских в Старой Руссе, купленный писателем в 1876 г. после смерти прежнего владельца А. К. Гриббе и построенный «в немецком вкусе прибалтийских губерний», был полон «неожиданных сюрпризов, потайных стенных шкафов, подъемных дверей, ведущих к пыльным винтовым лестницам» (*Достоевская, Л. Ф.*, стр. 76). В доме Федора Павловича Карамазова также много было «разных чуланчиков, разных пряток и неожиданных лесенок» (наст. изд., т. XIV, стр. 85). Дом писателя в Старой Руссе находился почти на окраине города, близ Коломца. За примыкавшим к нему садом протекала заболоченная Малашка. Подобные же детали мы находим в романе. «Дом Федора Павловича Карамазова стоял далеко не в самом центре города, но и не совсем на окраине», — читаем здесь, а из спора Смердякова с Григорием узнаем про «речку нашу вонючую 〈...〉 вот что у нас за садом течет...» (там же, стр. 120). В примыкавшем к дому писателя тенистом саду находилась построенная отставным подполковником Гриббе крытая беседка. Такой же поэтический уголок видим мы и в романе: «Дмитрий Федорович вел гостя в один самый отдаленный от дома угол сада. Там вдруг, среди густо стоявших лип и старых кустов смородины и бузины, калины и сирени, открылось что-то вроде развалин стариннейшей зеленой беседки, почерневшей и покривившейся, с решетчатыми стенками, но с крытым верхом и в которой еще можно было укрыться от дождя. Беседка строена была бог весть когда, по преданию лет пятьдесят назад, каким-то тогдашним владельцем домика, Александром Карловичем фон Шмидтом, отставным подполковником» (там же, стр. 96).

В саду Достоевских стояла русская баня. В «Братьях Карамазовых» около бани, находившейся в саду Федора Павловича, Дмитрий в ночь убийства старика перелез через забор и направился к дому.

Неподалеку от дома Достоевских, за поворотом на Мининскую улицу, одноименный переулок, поросший высокой травой, превращался в просвет между заборами огородов. В таком глухом месте, «у плетня, в крапиве и в лопушнике», компания подгулявших господ «усмотрела 〈...〉 спящую Лизавету» (там же, стр. 91). Следствием этого было появление на свет Смердякова — впоследствии убийцы старика Карамазова, его случайного отца. А у мостика, перекинутого через Малашку, произошло сражение мальчиков с Илюшей Снегиревым.

Многие события романа связаны с Михайловской и Большой улицами города Скотопригоньевска. На Михайловской улице живет госпожа Хохлакова с дочерью Лизой, «очень просторный и удобный дом на Большой улице» занимает Катерина Ивановна. В романе Михайловская улица параллельна Большой и отделена от нее «лишь канавкой». По свидетельству А. Г. Достоевской, канавка эта — «речка Малашка, которая обратилась в грязный ручей и обходила местность, где стоит дом Достоевских» (*Рейнус*, стр. 57).

На Пятницкой улице, где жил знакомый Достоевского священник Румянцев, находилась небольшая Владимирская церковь. «Церковь была древняя и довольно бедная, много икон стояло совсем без окладов», — го-

ворится в «Карамазовых» (стр. 192). «Шагов триста, не более», отделявших полуразвалившийся домишко на Ильинской улице от этой убогой церквушки, стали в романе, вероятно, последним путем Илюшечки.

Направляясь к больному Илюше Снегиреву, дети «шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих возов и было много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под навесами бубликами, нитками и проч. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городе ярмарками, и таких ярмарок бывает много в году» (наст. изд., т. XIV, стр. 473). Здесь же, вблизи арок гостиного двора, Коля Красоткин только завязал шутливый разговор с одной из торговок, «как вдруг из-под аркады городских лавок выскочил ни с того ни с сего один раздраженный человек, вроде купеческого приказчика, и не наш торговец, а из приезжих, в длиннополом синем кафтане, в фуражке с козырьком, еще молодой, в темно-русых кудрях и с длинным, бледным рябоватым лицом» и стал кричать на мальчика (там же, стр. 475).

В центре Старой Руссы помещался в 1870-х годах магазин купца второй гильдии Павла Ивановича Плотникова, о котором в романе говорится: «Это был самый главный бакалейный магазин в нашем городе, богатых торговцев, и сам по себе весьма недурной. Было всё, что и в любом магазине в столице, всякая бакалея: вина „разлива братьев Елисеевых", фрукты, сигары, чай, сахар, кофе и проч. Всегда сидели три приказчика и бегали два рассыльных мальчика» (там же, стр. 364). В магазин Плотникова, как писала А. Г. Достоевская, Федор Михайлович «любил заходить за закусками и сластями». «В магазине его знали и почитали и, не смущаясь тем, что он покупает полуфунтиками и менее, спешили показать ему, если появлялась какая новинка» (*Гроссман, Семинарий*, стр. 68; *Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 272).

О том же вспоминает и дочь писателя Л. Ф. Достоевская: «Я не могу удержаться от улыбки всякий раз, когда читаю, как Дмитрий Карамазов делал покупки у Плотникова перед поездкой в Мокрое. Я вижу себя в Старой Руссе, в том же магазине Плотникова, куда иногда ходила с отцом и где с интересом 〈...〉 следила за его оригинальной манерой делать покупки» (*Достоевская, Л. Ф.,* стр. 20).

В романе мы читаем, что от дома Грушеньки, «жившей в самом бойком месте города, близ Соборной площади», Дмитрий в ночь убийства отца «обежал большим крюком, чрез переулок, дом Федора Павловича, пробежал Дмитровскую улицу, перебежал потом мостик и прямо попал в уединенный переулок на задах, пустой и необитаемый, огороженный с одной стороны плетнем соседского огорода, а с другой — крепким высоким забором, обходившим кругом сада Федора Павловича» (наст. изд., т. XIV, стр. 353).

Современный читатель, оказавшийся в Старой Руссе, легко может повторить этот путь Мити Карамазова. От «дома Грушеньки», находившегося недалеко от площади близ собора, Дмитрий Карамазов, перейдя Соборный мост, мог броситься бежать по набережной Перерытицы, затем, свернув в переулок — возможно Дмитриевский, очутиться на Дмитриевской улице, упомянутой и в романе, и, миновав мостик над Малашкой, оказаться в пустынном Мининском переулке, куда выходил знакомый уже нам забор сада Достоевских. На карте города конец этого пути действительно выглядит «крюком», оканчивающимся у дома писателя.

В 24 верстах от Старой Руссы лежало село Буреги — почтовая станция по дороге на Новгород с постоялым двором и большой Воскресенской церковью, чей колокол призывно гудел на много верст вокруг. Возможно, что именно оно обрисовано в романе под именем Мокрого.[1]

Так — на основе поразительно точной фиксации внешнего облика и топографии Старой Руссы — воссоздан в романе в соответствии с обычной манерой Достоевского-художника предельно выразительный, обобщенный облик русского уездного городка 1870-х годов.

---

[1] О названии Мокрое и топографии «Братьев Карамазовых» см. также статью: Г. К о г а н. Достоевский на дорогах России. «Литературная газета», 1974, 25 декабря, № 52; ср.: наст. том, стр. 543.

Мемуаристами и исследователями романа указан ряд возможных реальных прототипов, душевные свойства или детали биографии которых были творчески преломлены автором при разработке характера и биографии различных персонажей романа. Выше критически анализировалось предположение Л. Ф. Достоевской о возможном отражении некоторых черт М. А. Достоевского (последних лет жизни) в характере Федора Павловича, — предположение, которое, как мы уже убедились (см. стр. 453), особенно наглядно свидетельствует о том, какой сложностью отличался творческий процесс Достоевского, пользовавшегося, как правило, при создании каждого из своих персонажей не одним, а множеством прототипов, черты которых служили ему всего лишь точкой отталкивания при решении собственных художественных задач. Указывалось выше и на возможность сближения характера Мити с психологическим обликом Ап. Григорьева (см. стр. 404), как и на ту роль, которую сыграла при обдумывании основной сюжетной коллизии романа судьба мнимого отцеубийцы Д. Н. Ильинского (см. стр. 403). Часть других прототипов, автобиографических штрихов и реальных, жизненных мотивов, творчески преломленных писателем в «Карамазовых», раскрыты А. Г. Достоевской в ее воспоминаниях и заметках о романе. Так, ряд характерных фразеологических оборотов в речах старца Зосимы, по ее сообщению, восходит к аналогичным словам «старца Амвросия ⟨оптинского подвижника, с которым Достоевский встречался во время своего посещения монастыря летом 1878 г., — *Ред.*⟩ в беседе с Федором Михайловичем». Отразились в разговорах баб и жалобах матери, потерявшей сына, в первой книге романа, по свидетельству жены писателя, и собственные переживания мужа и жены Достоевских после смерти сына Алеши, и слышанные писателем реальные разговоры баб в монастыре, и случай с нянькой в семье Достоевских, Прохоровной, которая год не получала писем от сына и спрашивала у писателя, не помянуть ли ей сына за упокой (ср.: наст. изд., т. XIV, стр. 45—47). В Зосиме и главном герое романа Алексее Карамазове А. Г. Достоевская отметила автобиографические черты, а в отношении к Алеше Зосимы, который говорит, что видит в нем своего воскресшего брата, — отражение сходного отношения Достоевского к молодому Вл. С. Соловьеву, душевным складом своим напоминавшему ему друга юности И. Н. Шидловского (*Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 323; Л. Гроссман. Собрание сочинений, т. II, вып. 1. Путь Достоевского. М., 1928, стр. 198—199; *Гроссман, Семинарий,* стр. 66—69; наст. том, стр. 471 — 472; ср.: М. П. Алексеев. Ранний друг Ф. М. Достоевского. Одесса, 1921).[1] Вдова писателя указала также, что с внешности петербургского домохозяина купца И. М. Алонкина (см. о нем: наст. изд., т. VII, стр. 410—411), по ее мнению, «нарисован купец Самсонов, покровитель Грушеньки, в „Братьях Карамазовых"» (*Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 106). Настойчивые просьбы Илюши, обращенные к отцу, подарить ему лошадку навеяны аналогичными просьбами сына Достоевского Феди, с детства пристрастившегося к лошадям (*Гроссман, Семинарий,* стр. 67—68; *Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 363—364).

Позднейшие исследователи дополнили сведения, сообщенные его дочерью и вдовой, установив ряд других — более или менее близких — прототипов персонажей романа. Выше цитировались слова Л. Ф. Достоевской о «молодой провинциалке», которая послужила прообразом Грушеньки. По предположению Л. М. Рейнуса, под этой «молодой провинциалкой» Л. Ф. Достоевская имела в виду упоминаемую Достоевским в письме к жене от 25 июля (6 августа) 1879 г. старорусскую знакомую своих родителей Агриппину Ивановну Меньшову (впоследствии по мужу — Шер), которую, так же как Грушеньку в романе, обманул уехавший и бросивший ее жених — поручик. Ф. М. и А. Г. Достоевские были посвящены в историю Грушеньки Меньшовой и принимали участие в ее судьбе. Тем же исследователем были вы-

---

[1] О гипотезе Л. П. Гроссмана, возводящего облик Алексея Карамазова и его последующую биографию к Д. В. Каракозову, см. стр. 486.

двинуты предположения о некоторых других возможных старорусских прототипах отдельных персонажей «Карамазовых».[1] В Зосиме различными учеными отмечались черты, допускающие сближение с Тихоном Задонским, упомянутым выше оптинским старцем Амвросием (1812—1891), старцем-пустынножителем, сыном смоленского воеводы, Зосимой-Захарием Тобольским (1767—1835), жизнь и деяния которого описаны в его «Житии» (1860), и рядом других духовных лиц.[2]

Указывалось также на полемическое, пародийное переосмысление Достоевским в биографии Ракитина ряда деталей биографии Г. З. Елисеева и Г. Е. Благосветлова,[3] а также на возможное отражение в характере этого «семинариста-нигилиста» психологических черт М. В. Родевича — сотрудника «Времени» и воспитателя пасынка Достоевского П. А. Исаева (*Д, Письма,* т. I, стр. 574—575). В Катерине Ивановне можно усмотреть некоторые черты сходства с первой женой писателя — М. Д. Исаевой. Наконец, близкое совпадение фамилий делает вероятным, что одним из прототипов г-жи Хохлаковой могла быть корреспондентка Достоевского, автор воспоминаний о нем писательница Л. Х. Симонова-Хохрякова (1838—1900; см. о ней: *Д, Письма,* т. III, стр. 372). Вскоре после выхода романа читатели и критика стали проводить параллель между фигурой Великого инквизитора и К. П. Победоносцевым.[4] Такое сопоставление, которое делают также Г. И. Чулков и А. Зегерс,[5] вряд ли входило в намерения Достоевского; тем не менее, если оценивать роман в более широкой исторической перспективе, едва ли его можно признать случайным (см. также стр. 463, 464). Более подробные сведения о прототипах различных персонажей см. на стр. 539, 541, 564, 597—598.

Свои наблюдения и впечатления от русской жизни Достоевский на всем протяжении творческой истории «Братьев Карамазовых» пополнял чужими рассказами и впечатлениями. Стремясь широко и разносторонне запечатлеть в романе переходную эпоху жизни России 1870-х годов, посвящая отдельные его части описанию монастыря, уездного торгового города, жизни и настроениям гимназистов, судебному следствию и пореформенному суду, романист в процессе писания (что особенно характерно для работы именно над «Карамазовыми» и отличает процесс работы над этим произведением от процесса создания других романов) настойчиво обращается к знатокам и специалистам, консультируясь с ними по конкретным вопросам, связанным с деталями каждой изображаемой им сферы тогдашнего русского быта. Выше уже говорилось о письме Достоевского на первой стадии обдумывания сюжета «Карамазовых» к педагогу В. В. Михайлову, которого романист просил поделиться

---

[1] См.: Л. М. Рейнус. О прототипе Грушеньки из «Братьев Карамазовых». *РЛ*, 1967, № 4, стр. 143—146; *Рейнус*, стр. 46—63.

[2] См.: *Die Urgestalt,* стр. 59—139; Р. Плетнев. Сердцем мудрые. (О «старцах» у Достоевского), стр. 73—92; *Д, Письма,* т. IV, стр. 395 (комментарий А. С. Долинина); М. С. Альтман. Прообразы старца Зосимы. В кн.: *Достоевский и его время,* стр. 213—216. Ср. о прототипах Ивана: М. С. Альтман. Этюды по Достоевскому. «Известия АН СССР», Отделение литературы и языка, 1963, т. XXII, вып. 6, стр. 489—490 (И. Н. Шидловский, Вл. С. Соловьев); Л. М. Розенблюм. Творческие дневники Достоевского. *ЛН*, т. 83, стр. 64—65 (Н. К. Михайловский).

[3] См. об этом: наст. том, стр. 539; *Борщевский*, стр. 306—311; ср. здесь же, стр. 311—314, о вероятной заостренности ряда реплик Ракитина (и всего его образа) против Щедрина.

[4] См.: «Приазовский край», 1907, 14 марта, № 9, передовая статья; «Слово правды», 1907, 27 мая, № 113; И. В. Преображенский. К. П. Победоносцев, его личность и деятельность в представлении современников его кончины. СПб., 1912, стр. 52—53, 56—57.

[5] См.: Г. Чулков. Как работал Достоевский. М., 1939, стр. 302; А. Зегерс. Заметки о Достоевском и Шиллере. «Вопросы литературы», 1963, № 4, стр. 128.

с ним своими наблюдениями над подрастающим поколением. Отмечалось и то, что при изображении болезненного состояния и галлюцинаций Ивана Карамазова в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» автор, по собственному признанию, учитывал мнения врачей, справлялся с медицинской и психиатрической литературой, а при описании следствия и суда над Митей пользовался указаниями А. А. Штакеншнейдера и А. Ф. Кони. Точно так же, как видно из писем к Достоевскому К. П. Победоносцева и Т. И. Филиппова, они сами и другие информаторы из среды духовенства помогали ему при описании подробностей жизни духовенства и церковных обрядов. Так, 24 февраля 1879 г. К. П. Победоносцев сообщает Достоевскому: «Сейчас был у меня о. архимандрит Симеон и привез, для передачи вам, выписанные им из книг подробности монашеского погребенья, о которых он при свидании запамятовал объяснить вам» (*ЛН*, т. 15, стр. 135—136, ср.: наст. том, стр. 571). Как отметил Л. П. Гроссман, выписки эти (из «Большого требника» и других церковных книг) послужили для изображения ряда деталей в главе I седьмой книги («Тлетворный дух»), которая появилась в сентябрьской книжке «Русского вестника» за 1879 г. (*1956*, т. X, стр. 471); о сообщенном Т. И. Филипповым Достоевскому тексте духовного стиха об Алексее человеке божием см. стр. 475. Во всех этих случаях характерно обращение Достоевского за нужным для романа материалом именно к специалистам, указывающее на то значение, которое он придавал точности и убедительности всех деталей, дающих впечатление пластической осязаемости изображаемого.

Пользуясь услугами своих информаторов, Достоевский, как видно из цитированного только что письма Победоносцева, опирался в работе над «Карамазовыми» не только на их устные и письменные сообщения, но и на огромный и пестрый круг книжных и фольклорных источников. Пожалуй, ни в одном из других романов Достоевского нет такого количества, как в последнем его романе, прямых ссылок на произведения русской и мировой литературы (в поле зрения автора находятся здесь и «Хождение богородицы по мукам», а также другие памятники древнерусской письменности и устной народной поэзии, и средневековые западные легенды и мистерии, и вольтеровский «Кандид», и «Фауст» Гете, и «Разбойники» Шиллера, и «Собор Парижской богоматери» Гюго, и материалы текущей русской газетной и журнальной периодики). Но круг печатных источников «Карамазовых» не ограничивается указываемыми в самом романе источниками: он значительно шире (источники эти — как названные Достоевским, так и неназванные — раскрываются далее в постраничном реальном комментарии, где делается попытка более конкретно охарактеризовать их значение для понимания общефилософской концепции и художественного построения романа).

Выше цитировалось письмо Достоевского к Н. А. Любимову от 10 мая 1879 г., где романист, предупреждая возражение редакции «Русского вестника» против «слишком» реалистических подробностей при рассказе об истязании малолетних детей и издевательствах над ними в главе «Бунт», указал, что детали эти восходят к реальной газетной хронике, тут же отметив фольклорный источник «лакейской песни» Смердякова (см. стр. 448). Аналогичные ссылки на печатные источники или на мнение специалистов содержат и другие цитированные выше письма автора к Любимову, целью которых было разъяснить смысл отсылаемой в редакцию «Русского вестника» главы или книги и вместе с тем защитить ее от возможного цензурного вмешательства, — от 7 (19) августа 1879 г. (здесь о житии Зосимы говорится: «Это глава восторженная и поэтическая, прототип взят из некоторых поучений Тихона Задонского, а наивность изложения—из книги странствований инока Парфения»; ср. стр. 528), от 16 сентября 1869 г. («Не подумайте, ради бога, что я бы мог себе позволить в сочинении моем хотя малейшее сомнение в чудодействии мощей ⟨...⟩ Подобный переполох, какой изображен у меня в монастыре, был раз на Афоне и рассказан вкратце и с трогательною наивностью в „Странствовании инока Парфения"»; ср. стр. 571), от 16 ноября 1879 г., 10 августа и 8 сентября 1880 г. и т. д.

«Для правильной разработки глав о школьниках Достоевский обращается

к образам педагогической литературы (Песталоцци, Фребель, статьи Льва Толстого о школе), — справедливо пишет, обобщая свои наблюдения и выводы других исследователей, Л. П. Гроссман, — для верного тона поучений русского инока — к богословию, церковной истории (Нил Сорский, Иоанн Дамаскин, инок Парфений, святой Феодосий, Исаак Сирин, Сергий Радонежский, Тихон Задонский). Наконец, для верного ощущения современной «минуты» он пользуется материалами судебной хроники (дело Кронеберга, Жезинг, Брунст и проч.) и различными случаями из современной общественной жизни, широко разработанными в его публицистике» (*1956*, т. X, стр. 485).

8

Говоря об исторических особенностях своего времени, Достоевский указывал как на одну из главных черт его па пробуждение у самых широких слоев населения сознательного интереса к таким глубоким, коренным вопросам человеческой жизни, которые в другие, менее напряженные, «мирные» эпохи не вставали с такою силою перед большой массою людей, а служили предметом размышления для немногих.

«...Теперь в Европе всё поднялось одновременно, все мировые вопросы разом, а вместе с тем и все мировые противуречия...» — писал в 1877 г. автор «Карамазовых» (*ДП*, 1877, май-июнь, гл. 2, § III). Эта острота «мировых противуречий», особенно усилившаяся и в России и на Западе к концу XIX в., ярко отражена в романе.

Роман писался в обстановке нараставшего в стране революционного кризиса, в период усиленного развития капитализма в России и высшего накала народнического освободительного движения. В этих условиях автор «Карамазовых» остро сознавал, что русское общество находится в состоянии глубокого брожения, переживает идейный и нравственный кризис огромной силы и напряжения. Отсюда — повышенный интеллектуализм «Карамазовых», тот мощный философский пафос, которым этот роман превосходит все остальные романы Достоевского. Автор показывает здесь, что в России не осталось ни одного самого тихого уголка, где бы не кипела скрытая борьба страстей, не ощущалась с большей или меньшей силой острота поставленных жизнью вопросов. Даже в провинциальном монастыре, где на поверхности царят спокойствие и «благообразие», происходит упорная, хотя и скрытая от внешних глаз, борьба старого и нового: сталкиваются между собой полудикий и невежественный фанатизм отца Ферапонта и ростки иного, более гуманного жизнепонимания, носителями которого являются Зосима и Алексей; суровый угнетающий и обезличивающий формализм и растущее чувство личности. Заурядное на первый взгляд уголовное преступление сплетается воедино с великими проблемами, над которыми веками бились и продолжают биться лучшие умы человечества. А в провинциальном трактире никому не известные русские юноши — почти еще мальчики по возрасту и личному жизненному опыту, — отложив в сторону все свои непосредственные текущие дела и заботы, спорят о «мировых» вопросах, без основательного решения которых, как они сознают, не может быть решен ни один, даже самый частный и мелкий, вопрос их личной жизни, не говоря уже об остальных, более широких вопросах жизни России и человечества.

Государство, церковь, семья, школа, суд и судебные учреждения, отношения родителей и детей, братьев, воспитателей и воспитуемых, людей, принадлежащих и к одной и той же, и к разной, порою противоположной общественной среде, моральный облик и материальное положение помещичьего класса, купечества, нарисованная незабываемыми штрихами, раздирающая душу и сердце картина нищей, голодающей русской деревни — подлинного фундамента возвышающегося над нею здания самодержавной государственности и всей культурной жизни образованного меньшинства, проблемы вины и преступления, страдания взрослых и детей, вопросы прошлого, настоящего и будущего России и человечества — таков перечень лишь одних

главных вопросов, исследуемых в последнем, самом широком и всеохватывающем по содержанию из романов Достоевского.

Глубина и емкость поставленных в романе «мировых» вопросов и острота «мировых противуречий» побудили автора шире, чем в других его романах, прибегнуть к языку обобщений и реалистических символов.

Одни и те же основные проблемы бытия эпохи выражены в романе как бы на двух различных «уровнях» — на языке реальной жизни и на языке философского обобщения. Отсюда такие художественно-философские темы, проходящие через весь роман, как темы карамазовского «безудержа», «идеала мадонны» и «идеала содомского», Христа и Великого инквизитора, — темы, освещающие трагедию персонажей первого плана и образующие как бы основные нервные узлы всего содержания «Карамазовых».

Стремясь раскрыть связь содержания романа с мировыми вопросами, указать читателю на широкий и емкий смысл характеров и переживаний героев, романист еще чаще, чем в других произведениях, вводит образы своих персонажей в широкий литературный и культурно-исторический контекст. Этой цели служат проходящие через весь роман уже с первых его страниц упоминания многочисленных образов и ситуаций из произведений искусства и литературы разных стран и эпох. Они не только насыщают роман воздухом истории, но и позволяют автору указать на живую связь между современной эпохой жизни человечества и его прошлым. На каждом этапе своей истории человечество по-разному решало, по мысли автора, одни и те же главные вопросы. И сегодня его герои в новой обстановке и в новых условиях жизни продолжают те же искания и ту же борьбу. Отсюда возникающие на страницах романа в речи разных его персонажей параллели между братьями Карамазовыми и братьями Моорами (из «Разбойников» Ф. Шиллера), поэмой о Великом инквизиторе и средневековыми апокрифами и мистериями, Иваном Карамазовым и Фаустом и т. д.

Поэтому упоминания литературных произведений и персонажей в романе никогда не нейтральны; произведения и персонажи эти, как правило, группируются вокруг нескольких основных тем: темы отцеубийства и враждующих братьев («Разбойники» Шиллера), темы человека и земли (почвы) («Жалоба Цереры» и «Элевзинский праздник» Шиллера), темы душевного «рыцарства» (его же «Перчатка»), демонического «бунта», соблазна и искушения (средневековые мистерии и апокрифы, легенда о Лютере, запустившем в черта чернильницей, «Фауст» Гете), темы «восстановления погибшего человека» (Евангелие, «Божественная комедия» Данте, «Хождение богородицы по мукам», «Отверженные» В. Гюго, роман Ж. Санд «Мопра»), темы возможности будущей «гармонии», проблемы мирового зла и его преодоления (ода «К Радости» Шиллера, «Кандид» Вольтера), темы католицизма и инквизиции («Дон Карлос» Шиллера) и т. д.

Для соблюдения верной исторической перспективы в оценке символического и философско-исторического «слоя» романа важно учитывать некоторые общие особенности литературной атмосферы второй половины 1870-х годов. К моменту, когда Достоевский работал над «Братьями Карамазовыми», в развитии русской литературы наметился перелом: после сравнительно длительного периода, когда подавляющее число крупных русских писателей уделяло преимущественное внимание темам и образам современной жизни, стремясь воссоздать ее во всей присущей ей непосредственной конкретности и полноте очертаний, вызывающей у читателя иллюзию максимально возможной достоверности и жизнеподобия, русская реалистическая литература с конца 1870-х годов начинает вновь охотно обращаться к «вечным» темам и образам, подсказанным размышлениями над тою же современностью и внутренне органически связанным с нею, но разрабатываемым в формах легенды, аллегории, притчи, «народных рассказов», с использованием характерного для этих жанров круга традиционных литературно-поэтических и фольклорных образов и мотивов, которые насыщаются при внешнем лаконизме изложения широким и емким символическим содержанием. Эта общая тенденция времени, которая в 1870—1880-х годах по-разному проявляется в России в творчестве таких несходных между собою творчески и идеологи-

чески писателей, как И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, В. М. Гаршин, позднее — В. Г. Короленко,[1] получила отчетливое отражение и в «Карамазовых», где в отличие от предшествующих романов Достоевского «высокие» поэтические и трагические образы мировой культуры и связанные с ними ассоциации не только образуют символические ориентиры, призванные осветить для читателя всемирно-исторические масштабы и значение рисуемых ситуаций и поднимаемых автором «вековечных» вопросов, но им отведено также и специальное, обширное место в кульминационных главах романа, представляющих как бы особую философско-символическую «надстройку» над главами, которые посвящены «текущим» социально-бытовым и психологическим типам и коллизиям эпохи.

В научной литературе освещены многочисленные идейно-тематические параллели и переклички между «Карамазовыми» и предшествующей им русской и мировой литературой. Уже критика 1880-х годов поставила вопрос о сходстве и различии между трактовкой проблем семьи и наследственности в «Карамазовых» и «Ругон-Маккарах» Э. Золя (также задуманных в форме своеобразной хроники «истории одной семьи»), равно как и о точках соприкосновения между «Карамазовыми» и «Господами Головлевыми» М. Е. Салтыкова-Щедрина в изображении упадка господствующего класса помещичьей России (см. стр. 492, 494).[2] В работах позднейших исследователей «Карамазовы» были введены в более широкий круг историко-литературных сопоставлений и ассоциаций — от пересказанной в житии Зосимы библейской книги Иова с глубокой постановкой проблемы мирового зла и страстным богоборческим пафосом, трагедий Эсхила и Софокла (темы отцеубийства, борьбы поколений, враждующих братьев и т. д.) до романов Ж. Санд, поэм В. Гюго «Папа» (1878) и «Христос в Ватикане» (1864) и других его произведений.[3]

Особенно широкую разработку в критической и научной литературе получил вопрос о многообразных шиллеровских реминисценциях в романе.

Первый из мотивов, который связывает художественный мир «Братьев Карамазовых» с художественным миром Шиллера, — это уже названный мотив старого отца и двух его, противоположных по складу характера, враждующих сыновей, одного — стихийно-эмоционального, предельно откровенного в добре и зле, действующего под влиянием непосредственного порыва, и другого — холодного, расчетливого «утилитариста» и «рационалиста». «Шиллеровское» ядро этого мотива, восходящего к хорошо известной русскому чита-

---

[1] См. об этом: Г. А. Бялый. «Власть тьмы» в творчестве Л. Н. Толстого 80-х годов. В кн.: Г. А. Бялый. Русский реализм конца XIX века. Изд. ЛГУ, Л., 1973, стр. 68—95. Ср. здесь же (стр. 85) о толковании Л. Толстым евангельского сказания об искушении Христа в пустыне, существенно отличающемся от толкования Достоевского.

[2] О соотношении «Карамазовых» и семейной хроники-эпопеи Э. Золя см.: *Реизов*, стр. 147—158; *Фридлендер*, стр. 349—354; о родстве проблематики последнего романа Достоевского и «Господ Головлевых» М. Е. Салтыкова-Щедрина см. в монографиях о творчестве сатирика В. Я. Кирпотина, А. С. Бушмина и Е. И. Покусаева, а также в ряде специальных работ о «Головлевых».

[3] О пушкинских мотивах в «Карамазовых» см.: Д. Д. Благой. Достоевский и Пушкин. В кн.: *Достоевский — художник и мыслитель*, стр. 413—417. Из обширной литературы, в которой собраны и освещены различные западные (и отчасти русские) историко-литературные параллели к «Карамазовым», в первую очередь см. также: Л. П. Гроссман. 1) «Русский Кандид». (К вопросу о влиянии Вольтера на Достоевского). *ВЕ*, 1914, № 5, стр. 192—203, 2) *Библиотека*, стр. 89—124, 3) Достоевский-художник. В кн.: *Творчество Достоевского*, стр. 333—339, 348—356; *Die Urgestalt*, стр. 167—235, 503 (Ж. Санд, Гюго); A. von der Brincken. George Sand et Dostoievsky. «Revue de littérature comparée», 1933, t. 13; A. Rammelmeyer. Dostojewsky und Voltaire. «Zeitschrift für slavische Philologie», 1958, Bd. XXVI, H. 2, S. 252—278; В. Е. Ветловская. Достоевский и поэтический мир Древней Руси. *ТОДРЛ*, т. XXVIII, стр. 299—300 (Данте); см. также: наст. том, стр. 474, 556.

телю и зрителю XIX в. первой, юношеской трагедии Шиллера «Разбойники» (1781), а через ее посредство и к «Королю Лиру» Шекспира, подчеркнуто автором в главе VI второй книги, где параллель между собой и своими сыновьями и соответствующими персонажами «Разбойников» проводит сам Федор Павлович, причем авторская ирония состоит в том, что, подобно шиллеровскому графу фон Моору, отец в романе Достоевского ошибочно представляет себе характеры обоих сыновей, сопоставляя эмоционального и совестливого Дмитрия с бесчестным и холодным Францем Моором, а замкнутого, рассудочного Ивана — со страстным и открытым Карлом (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 66, а также наст. том, стр. 537).

Другой важный руссоистско-шиллеровский мотив в романе, впервые отмеченный Вяч. Ивановым, — это мотив матери-земли как символического обозначения той природной и вместе с тем национально-народной «почвы», от которой трагически оторвался, в понимании автора, человек эпохи «цивилизации». Широкое философско-историческое истолкование этот мотив получает во вложенных автором в уста Дмитрия и содержащих указанную мысль цитатах из баллады Шиллера «Элевзинский праздник» в переводе В. А. Жуковского с ее характерным заключением:

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью-землею
Он вступи в союз навек

(наст. изд., т. XIV, стр. 99). [1]

К различным граням художественного мира любимого романистом и постоянно привлекавшего его интерес в течение всей жизни Шиллера [2] обращаются в «Карамазовых» не только Федор Павлович и Дмитрий (вспоминающий кроме перечисленных произведений Шиллера его оду «К Радости»), но и Иван, восторженно цитирующий в оригинале заключительный стих баллады Шиллера «Перчатка» (см. там же, стр. 175) и сложным образом художественно переработавший и трансформировавший в своей поэме образ шиллеровского Великого инквизитора (из трагедии «Дон Карлос», 1787) — исступленного и фанатического проповедника насилия над еретиками, противника всего гуманного и человечного (см. там же, стр. 224—241). К раннему философскому стихотворению Шиллера «Отречение» («Resignation»), как показали Д. Чижевский и Н. Вильмонт, восходит формула Ивана о «возвращении билета» на вход в мир вечности и грядущей гармонии.

Другой вопрос, закономерно привлекающий внимание исследователей, — вопрос о параллелях к поэме «Великий инквизитор», ее исторических, философских и литературных источниках.[3]

Как показали Ф. И. Евнин и В. А. Туниманов,[4] образ Великого инквизитора представляет собой весьма сложную кристаллизацию злободневно-публицистических, исторических и литературных мотивов. Постепенное созревание

---

[1] См.: Вяч. И в а н о в. О Шиллере. В кн.: Вяч. И в а н о в. По звездам. СПб., 1909, стр. 80—82.

[2] См.: наст. изд., т. III, стр. 526; т. VII, стр. 340, 366, 385, 396; ср.: наст. том, стр. 537, 540, 542, 543 и др. Кроме вышеуказанной статьи Вяч. Иванова специально вопросу о шиллеровских мотивах и реминисценциях в «Братьях Карамазовых» посвящен ряд работ: см. в особенности: *Реизов*, стр. 139—147; D. Č y z e v s k i y. Schiller und «Die Brüder Karamazov». «Zeitschrift für slavische Philologie», 1929, Bd. VI, № 1—2; Н. В и л ь м о н т. Великие спутники. Изд. «Советский писатель», М., 1966, стр. 217—255; А. З е г е р с. Заметки о Достоевском и Шиллере, стр. 118—138.

[3] См.: *Розанов, Легенда;* И н ф о л и о. Маленький фельетон. *НВр*, 1901, 24 ноября, № 9241, стр. 4; см. также: наст. том, стр. 477—479.

[4] См.: Ф. И. Е в н и н. Достоевский и воинствующий католицизм 1860—1870-х годов. (К генезису «Легенды о Великом инквизиторе»). *РЛ*, 1967, № 1, стр. 29—41; В. А. Т у н и м а н о в. О литературных и исторических «прото-

образа Инквизитора, более отдаленные истоки «философии» которого нетрудно отыскать уже в раннем творчестве Достоевского (см. стр. 402), отчетливо прослеживается в его публицистике 1873—1877 гг., в особенности в статьях, направленных против политики папского Рима, анализирующих деятельность представителей монархической и католической реакции 1870-х годов — графа Шамбора во Франции и претендента на испанский престол дона Карлоса. «Дон Карлос — родственник графа Шамбора, тоже рыцарь, — писал Достоевский в 1876 г., — но в этом рыцаре виден Великий инквизитор. Он пролил реки крови ad majorem gloriam Dei и во имя богородицы, кроткой молельницы за людей, „скорой заступницы и помощницы", как именует ее народ наш» (*ДП*, 1876, март, гл. 2, § I). В этих словах предвосхищен характер Инквизитора, каким он является в поэме.

Подготовленный политической публицистикой Достоевского образ Инквизитора впитал, однако, в дальнейшем и другие многообразные и сложные мотивы — философско-этические, исторические и художественно-психологические.

С разных сторон освещен исследователями — русскими и зарубежными — вопрос о генетической связи образов Великого инквизитора Достоевского с уже упомянутой фигурой Великого инквизитора в хорошо знакомой писателю и памятной ему с юношеских лет трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос», переведенной на русский язык в 1844 г. (опубл. — 1848) его старшим братом М. М. Достоевским. Содержательное наполнение и функции этого зловещего образа, а также внешние черты Инквизитора в обоих произведениях сходны, хотя в поэме Ивана он получил другой, более глубокий и емкий смысл и приобрел иной, более величественный, художественно-философский масштаб.[1]

По наблюдению Л. П. Гроссмана, в социалистической литературе 1840-х годов — у Т. Дезами и Э. Кабе — встречались такие мотивы, как «Иисус перед военными судами», «Иисус отвергает все искушения» и т. д. (*1956*, т. X, стр. 483). Из произведений позднейшей западной литературы, которые могли оказать влияние на формирование проблематики и построение «Легенды», можно — хотя и предположительно — назвать поэмы В. Гюго «Папа» (1878) и «Христос в Ватикане» (1864; из «Легенды веков») и его же романы, где, как и у Достоевского, встречи двух основных идейных антагонистов и дискуссии между ними по коренным вопросам человеческого бытия, в которых они занимают полярно противоположные точки зрения, являются (начиная с «Отверженных») одним из основных конструктивных принципов художественного построения. Помимо эпизодов встречи епископа Мириеля и старого члена Конвента, спора Жана Вальжана и Анжольраса в «Отверженных», из цикла аналогичных узловых сцен в романах Гюго следует особенно выделить сцены споров между Лантенаком и Говэном (ч. III, кн. VII, гл. I, «Предок»), а также между Говэном и Симурдэном (ч. III, кн. VII, гл. V, «В темнице») в романе «Девяносто третий год» (1874; русский перевод — 1874). Как у Достоевского, дискуссии здесь ведутся в темнице между осужденным на смертную казнь и его оппонентом, явившимся к нему в качестве ночного посетителя накануне предстоящей его смерти. В каждом случае один из участников беседы представляет закон и господствующую власть, а другой (осужденный) — милосердие и человечность, причем встреча племянника-якобинца Говэна и дяди-роялиста Лантенака заканчивается тем, что Говэн выпускает маркиза из подземелья, хотя и руководствуясь иными мотивами, чем Инквизитор в «Легенде».[2]

типах» Великого инквизитора. «Ученые записки Чечено-Ингушского педагогического института», серия филологическая, 1968, вып. 15, № 27, стр. 28—36.

[1] Трансформация мотивов «Дона Карлоса» в поэме «Великий инквизитор» подробно прослежена в вышеуказанных работах В. Туниманова, Н. Вильмонта, А. Зегерс и др. (см. стр. 462).

[2] Впрочем, сходными чертами отмечен и диалог дона Карлоса и Позы в трагедии Шиллера. Если сравнение «Легенды» с указанными эпизодами романа Гюго «Девяносто третий год» дает основание говорить о возможном

Наряду с «Доном Карлосом» Шиллера определенную роль как литературные возбудители «Легенды» могли сыграть, по предположению В. С. Нечаевой и Л. П. Гроссмана, опубликованные в журнале братьев Достоевских «Время» (1861, № 1, стр. 185—199) фрагменты поэмы друга писателя А. Н. Майкова «Легенда об испанской инквизиции» [1] и известная книга американского историка В. Прескотта «История царствования Филиппа второго, короля испанского», русский перевод которой в двух томах (СПб., 1858) имелся в библиотеке Достоевского.[2] Фанатическая речь одного из героев поэмы Майкова монаха Гуана ди Сан Мартино «о смысле и назначении инквизиции как спасительницы народных масс путем приведения их „духовным трибуналом" ⟨...⟩ к полному единству и унификации» [3] могла сложным образом отозваться в словах Инквизитора в поэме Ивана, где черты, подсказанные майковским образом Испании XVI в., слились с пушкинским, восходящим к начальным сценам «Каменного гостя».

Немецкая исследовательница Э. Вольф (ГДР) указала на параллели к «Легенде» в плебейской литературе и в графике эпохи Возрождения в Германии. Так, в одном из сатирических листков периода Реформации, направленном против католической церкви, говорится: «Если бы Христос вновь появился на свет, то на этот раз его предали бы, обвинили, подвергли мучениям и распяли на кресте собственные его слуги».[4] А среди гравюр Г. Гольбейна «Нетерпимость церковников» и «Истинные ученики и истинный свет господень» есть сцены, где изображен папа, отворачивающийся от Христа, кардинал-инквизитор, присутствующий при его бичевании и распятии, Христос, отворачивающийся от церкви и сильных мира сего и обращающийся к народу, и т. д. [5]

Ряд ценных, хотя часто и отдаленных, историко-литературных параллелей к «Легенде» можно найти у И. И. Лапшина. Среди них особенно интересны слова из латинского пародийного средневекового рукописного антиклерикального сборника начала XIII в. (содержащего песни бродячих клириков-«вагантов») «Carmina Burana» (опубл. — 1847): «Во время оно рече папа римлянам: „Если сын человеческий придет к престолу нашего величества, спросите его: «Друг, *зачем пришел ты?*». И если будет, ничего не дав вам, продолжать стучаться, *выбросьте его вовне во мрак*"». [6] Заслуживает внимания также отмеченная Лапшиным аналогия образа Вавилонской башни как символа бессилия отвлеченно-рационалистических проектов устроения человечества без помощи бога у Достоевского в публицистике и в «Карамазовых» и

воздействии этих эпизодов на разработку ее сюжета, то «Легенда» в свою очередь побудила французского поэта Ш. Леконта де Лиля (1818—1894) написать поэму «Доводы святого отца» (опубл. — 1895), в которой Л. де Лиль воспользовался сюжетом, почерпнутым из «Братьев Карамазовых». Место Инквизитора в бунтарской антиклерикальной поэме де Лиля занял глава римского престола папа Иннокентий III, повторяющий и развивающий аргументацию Инквизитора в ночном споре с призраком Христа. См. об этом: P. Clarac. Un chapitre des «Frères Karamazov» et «Les Raisons de Saint-Père» de Leconte de Lisle. «Revue de littérature comparée», 1926, № 3, p. 512—517; ср.: Леконт де Лиль. Из четырех книг. Гослитиздат, М., 1960, стр. 24 (статья Н. И. Балашова), 182—185, 210—211 (комментарий И. Поступальского).

[1] См.: *Нечаева, «Время»,* стр. 219.

[2] См.: *Гроссман, Семинарий,* стр. 38; Л. П. Гроссман. Достоевский-художник. В кн.: *Творчество Достоевского,* стр. 335.

[3] *Нечаева, «Время»,* стр. 219.

[4] E. Rosenow. Wider die Pfaffenherrschaft. Kulturbilder aus den Religionskämpfen des 16. und 17. Jahrhunderts, Bd. I. Buchhandlung Verlag Vorwärts, Berlin, 1904—1905, S. 238.

[5] Там же, S. 236—237.

[6] И. И. Лапшин. Как сложилась «Легенда о Великом инквизиторе». В кн.: *О Достоевском,* вып. I, стр. 127.

у Монтеня («Опыты», кн. II, гл. XII, «Апология Раймунда Сабундского»).[1] Лапшин высказал также предположение, что первый толчок к зарождению философско-символического истолкования евангельского рассказа о трех искушениях Христа, сформулированного Достоевским в подготовительных материалах к «Бесам» и к «Подростку», а позднее получившего отражение в «Дневнике писателя», в письме к В. А. Алексееву и в «Легенде», дало чтение §§ 54—55 знаменитой книги младогегельянца Д. Ф. Штрауса (1808—1874) «Жизнь Христа» (1835—1836), французский перевод которой Достоевский в 1847 г. брал из библиотеки Петрашевского;[2] здесь соответственно с общей тенденцией книги Штрауса эпизод искушений Христа дьяволом в пустыне вместо буквального получил обобщенное мифологическое толкование. Впрочем, следует учесть, что в английской теологической традиции эпизод этот также получил философскую интерпретацию, оказавшую в России влияние на Вл. Соловьева, который (возможно, не без прямого воздействия Достоевского) в своих философских работах дал близкое к интерпретации Достоевского толкование символического смысла трех искушений.[3]

Мысль противопоставить друг другу личность Христа и его антипода, Великого инквизитора, могла быть подсказана Достоевскому не только литературными источниками, но и одним из самых любимых им, по свидетельству А. Г. Достоевской, произведших на него особенно глубокое впечатление полотен Дрезденской галереи — картиной Тициана «Динарий кесаря» (ок. 1516), построенной на контрасте лиц Христа (царство которого «не от мира сего») и трезвого служителя государственной власти — сборщика налогов. Другая живописная параллель к легенде — образы Христа и представителей католической Испании эпохи абсолютизма на полотнах Эль Греко — указана Л. П. Гроссманом.[4] Отмечались более или менее отдаленные параллели к поэме «Великий инквизитор» у Вольтера (антиклерикальная стихотворная сказка «Папская туфля» («La Mule du pape»), где рассказ об искушении Христа в пустыне объединен с сатирой на папский Рим),[5] Гете (ср. фрагмент его юношеской поэмы «Вечный жид» (1773—1774) и слова в «Путешествии в Италию» (1816—1817) о том, что Христос, вернувшийся на землю, был бы распят вторично), Бальзака («Иисус Христос во Фландрии» (1831), замысел новелл о встречах Христа с папой Юлием II или Львом X) и др.

10 августа 1880 г. Достоевский писал Любимову о главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»: «Но простите моего Черта: это только черт, мелкий черт, а не Сатана с „опаленными крыльями"».[6] И далее, оправдывая цинизм речей своего черта, писатель заметил: «То ли иногда врет Мефистофель в обеих частях „Фауста"?». В самом романе черт-«приживальщик» также иронически соотносит себя с Мефистофелем. Он говорит Ивану: «Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро. Ну, это как ему угодно, я же совершенно напротив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренно желает добра» (стр. 82; ср. стр. 338).

---

[1] Там же, стр. 134—137. Ср.: М. Монтень. Опыты, кн. II. Изд. АН СССР, М.—Л., 1960, стр. 260—261 (серия «Литературные памятники»).

[2] Там же, стр. 129—131; *Бельчиков*, стр. 214.

[3] См.: В. Соловьев. Чтения о богочеловечестве (1877—1881). Чтение XI—XII. В кн.: *Соловьев*, т. III, стр. 169—170; В. Асмус, Е. Рашковский и др. Соловьев. В кн.: Философская энциклопедия, т. 5. М., 1970, стр. 54.

[4] Л. П. Гроссман. Достоевский — художник. В кн.: *Творчество Достоевского*, стр. 334—335.

[5] Ср. также: наст. том, стр. 410.

[6] Сам черт в тексте романа, обращаясь к Ивану, также замечает: «Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, „гремя и блистая", с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде» (стр. 81).

Противопоставление Достоевским своего «черта» величественному — мильтоновскому и романтическому — образу Сатаны, как и соотнесение его с Мефистофелем из «Фауста» Гете, свидетельствует о том, что в поле зрения Достоевского в пору писания романа находились различные, несходные между собою вариации образа черта, которые создала предшествующая мировая литература. Разрабатывая новую, оригинальную психологическую трактовку этого образа, Достоевский учитывал как достижения, так и слабости своих предшественников и вполне сознательно ставил перед собой иные задачи.

«Фауста» Гете, с которым он познакомился еще в юности, писатель перечитывал во время писания «Карамазовых» — недаром Зосима называется в романе гетевским термином «Pater Seraphicus» (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 241).

Черт Достоевского — не мильтоновский Сатана или байроновский Люцифер, не величественный вождь адских полчищ, а скорее «личный», «домашний» черт Ивана, занимающий весьма скромное место в дьявольской иерархии. Он близок к «товарищу» Саввы Грудцына из древнерусской повести или к гетевскому Мефистофелю, выступающему в основных драматических эпизодах поэмы (в отличие от открывающего ее «Пролога на небе») как товарищ, спутник и слуга Фауста. Но вместе с тем — в отличие от всех предшествующих вариантов образа дьявола в литературе — черт Ивана психологически не противопоставлен герою, а сближен с ним. Это не «вневременный» черт, но вполне «русский джентльмен», внутренний мир которого является проекцией души самого Ивана, еще одним, скрытым ее измерением. В отличие от Инквизитора в нем воплощено не общее «мировое зло», но отрицательные начала души героя, выражающие, в глазах автора, общие характерные свойства ума и сердца интеллигента конца XIX в., оторвавшегося от народной почвы.

Такая трактовка черта была в известной мере подготовлена уже предшествующей русской литературной традицией — «Сценой из Фауста» Пушкина (1825), «Ночью перед рождеством» Гоголя (1832) и «Сказкой для детей» Лермонтова (1839—1840, опубл. — 1842), где черт хотя и по-разному, но неизменно изображен в «сниженном» виде. Автор «Демона» наметил в «Сказке для детей» особенно явственно новый, иронический поворот в изображении черта: не ограничиваясь противопоставлением «Великого сатаны» и «мелкого беса из самых нечиновных», он сообщил здесь черту обличье аристократа и светского человека:

Но этот черт совсем иного сорта —
Аристократ и не похож на черта.

Характерно, что именно этого лермонтовского демона вспоминал Достоевский в 1861 г. во «Введении» к циклу «Ряд статей о русской литературе»: «Он любил нашептывать странные сказки заснувшей молодой девочке и слушал ее девственную кровь...». Демон, изображенный Лермонтовым в «Сказке для детей», как отмечено в самой поэме, пришел на смену другому «могучему образу», который «возмущал» «юный ум» поэта.

Черт у Достоевского — «известного сорта русский джентльмен», вхожий в дворянские дома. Стремясь придать ему светский лоск, Достоевский иронически пересыпал его речь французскими фразами. В рукописи имеется помета, свидетельствующая, что для Достоевского этот аспект речевой характеристики имел особое значение: «Французские разговоры. Готовлю специально» (стр. 332). Наружность черта, подчеркнуто сниженная, обыденная, напоминает описание «русского джентльмена» в «Маленьких картинках. (В дороге)» (1874), о котором Достоевский сказал, что он «одет широко, и портной у него был очевидно хороший ⟨...⟩ но... всё это на нем несколько как бы ветхо, так что если и был хороший портной, то только *был*, а теперь уже, может, и нет. Высок, худощав, очень даже; держит себя как-то не по летам прямо; смотрит прямо перед собой; вид смелый и с неотразимым достоинством; ни малейшего нахальства; напротив, благоговение ко всему, но без сахару. Небольшая с проседью

бородка клином, не то чтобы совсем наполеоновская, но зато самого дворянского образца», что он «особый, стародворянский тип благородного приживальщика высшей руки, сам помещик, но только маленький, благородный лентяй с чрева матери, действительно с хорошими знакомствами и всю жизнь витающий около высших людей».[1]

Если внешность черта кое в чем напоминает облик описанного Достоевским в «Маленьких картинках» «благородного приживальщика», то в его рассуждениях относительно того, как он понимает свою миссию «критика» человеческого общества, улавливается пародийное переосмысление некоторых эстетических деклараций Гоголя.[2] Критическое начало, элемент отрицания и сомнения в общественном сознании Достоевский и прежде сближал вслед за Пушкиным и Лермонтовым с «демоническим». Так, в упомянутой статье из цикла «Ряд статей о русской литературе» Достоевский назвал Гоголя «колоссальным демоном», который «смеялся всю жизнь и над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что наконец стали плакать от нашего смеха».

Судя по черновым записям, черт должен был, по первоначальному авторскому плану, обнаружить и еще большую осведомленность в русской литературе. При обдумывании диалога Ивана с чертом у Достоевского возникла важная для понимания художественной структуры этой главы ассоциация: в черновых набросках названа книга Герцена «С того берега». Черт говорит: «Ну, давай читать „С того берега"» (стр. 334). Автор «Братьев Карамазовых» познакомился с этой книгой, хранившейся в его библиотеке, на рубеже 1860-х годов, затем напомнил о ней в «Дневнике писателя» 1873 г. (см. стр. 618). Во время работы над последним романом он, очевидно, опять просматривал ее. В пользу этого предположения свидетельствует не только упоминание о книге в рукописи, но и сделанная там же заметка, содержащая отдаленный намек на отзыв о Руссо в указанном сочинении Герцена (см. там же).

При встрече с Герценом в Лондоне Достоевский обратил внимание, что «эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента». Достоевскому особенно понравилось, что «оппонент тоже очень умен». «Согласитесь, — сказал он Герцену, — что он вас во многих случаях ставит к стене» (*ДП*, 1873, «Вступление»). Достоевский отметил здесь особенность книги Герцена «С того берега», отражающую авторский замысел. В одной из глав «Былого и дум», рассказывая о глубоком нравственном и идейном кризисе, который он переживал после французской революции 1848 г., Герцен писал: «Наскучив бесплодными спорами, я схватился за перо и сам в себе, с каким-то внутренним озлоблением, убивал прежние упованья и надежды ⟨...⟩ Моя логическая исповедь, история недуга, через который пробивалась оскорбленная мысль, осталась в ряде статей, составивших „С того берега". Я в себе пре-

---

[1] Ср.: «Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых, „qui frisait la cinquantaine", как говорят французы, с не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженой бородке клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный ⟨...⟩ Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах. Похоже было на то, что джентльмен принадлежит к разряду бывших белоручек-помещиков ⟨...⟩ очевидно видавший свет и порядочное общество, имевший когда-то связи и сохранивший их, пожалуй, и до сих пор ...» (стр. 70—71).

[2] Ср., например, следующее рассуждение черта: «Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости. Но я не завидую чести жить на шаромыжку, я не честолюбив. Почему изо всех существ в мире только я лишь один обречен на проклятия ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами...» (стр. 82) — с известным лирическим отступлением в «Мертвых душах», где говорится о двух типах писателей (*Гоголь*, т. VI, стр. 133—134).

следовал ими последние идолы, я иронией мстил им за боль и обман; я не над ближним издевался, а над самим собой...» (*Герцен*, т. X, стр. 226, 233).

Аналогичное психологическое состояние, хотя и вызванное иными причинами, характерно в романе Достоевского для Ивана Карамазова.

Пережив идейный кризис, приведший к переоценке собственных убеждений, Герцен написал некоторые из глав «С того берега» в форме диалога. В первом издании книги эти главы были объединены еще и общим заголовком «Кто прав?» (см.: *Герцен*, т. VI, стр. 486). Такая композиция в еще большей степени оттеняла движение мысли Герцена, незавершенность высказанных точек зрения.

Достоевский применил сходный художественный прием. Явившийся к Ивану черт, с одной стороны, развивал его же мысли, а с другой — вступал с ним в полемику как оппонент. Иван говорит черту: «...ты — я, сам я, только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю ... и ничего не в силах сказать мне нового!» (стр. 73).

Отмечалось, что, применяя в своих произведениях диалогическую форму, Достоевский «отталкивался» «от опыта диалогического построения у Дидро ⟨...⟩ от жанра платоновского сократического диалога, а также от ⟨...⟩ книги А. И. Герцена „С того берега"» (Г. М. Фридлендер. Новые материалы из наследия художника и публициста. *ЛН*, т. 83, стр. 113). Но в известной мере Иван Карамазов может быть соотнесен и с Герценом-человеком в один из переломных моментов его жизни, запечатленных в книге «С того берега».

В период обдумывания главы «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» автор сам указал на то, что классическим прообразом фантастического в искусстве для него было «виденье Германна» в «Пиковой даме» Пушкина (см. стр. 442). Но, создавая ее, Достоевский опирался и на опыт других русских писателей в трактовке темы двойников (см.: наст. изд., т. I, стр. 486—488), и в особенности на опыт собственной своей художественно-психологической разработки темы двойничества и мотива галлюцинаций героя, от раннего «Двойника» (1846) до «Бесов» (см. стр. 405). Не прошли мимо внимания Достоевского и образы «Хромого беса» А. Р. Лесажа (1707), и в особенности «Мемуаров дьявола» (1837—1838) любимого им в молодости Ф. Сулье (см.: наст. изд., т. II, стр. 518; *Достоевский в воспоминаниях*, т. I, стр. 114, 131; Л. Гроссман. Поэтика Достоевского. М., 1925, стр. 39—41).[1]

Уже при жизни автора в письме к нему одна из читательниц романа охарактеризовала Ивана Карамазова как своего рода «русского Фауста» конца XIX в. (см. стр. 501). Та же мысль не раз высказывалась позднейшей критикой у нас и за рубежом.[2] Не случайно в романе «Доктор Фаустус» Т. Манн

---

[1] Р. О. Якобсон, исходя из сочувственной оценки Достоевским Э. По в предисловии 1861 г. к публикации во «Времени» трех рассказов американского писателя, выдвинул предположение, что, создавая сцену «кошмара Ивана Федоровича» и описывая его ночного посетителя, Достоевский мог вспоминать известную поэму По «Ворон» (1845), где явление «сверхъестественного» также мотивировано галлюцинацией героя, причем видению его, как и в новеллах По, придан характер эмпирически-допустимого и возможного (см.: R. Jakobson. La langage en action. В кн.: R. Jakobson. Questions de poétique. Paris, 1973, p. 209). Но был ли знаком Достоевский с поэзией По, нам неизвестно, скорее всего, он читал только его прозу. Да и сам образ Ворона в поэме По, имеющей субъективно-лирическую, мистически-тревожную окраску, далек от созданной Достоевским иронически трактованной фигуры черта-«приживальщика», являющегося сгущением души не отвлеченного «человека вообще», но человека данной, конкретной, исторически определенной эпохи.

[2] См.: С. Булгаков. Иван Карамазов (в романе Достоевского «Братья Карамазовы») как философский тип. В кн.: С. Булгаков. От марксизма к идеализму. СПб., 1903, стр. 87—88, 99, 106—112; Н. Мишаев. Русский Фауст. «Русский филологический вестник», 1905, № 2, стр. 298—308; № 3,

в сцене беседы А. Леверкюна с дьяволом вслед за Достоевским обрисовал черта как психологическую проекцию души своего героя (см. стр. 514, 515).

Наряду с широко разработанной исследователями проблемой литературных реминисценций в «Братьях Карамазовых» в критической и научной литературе многократно ставился вопрос о философских источниках романа. При этом называлось — с большей или меньшей степенью убедительности — множество имен философов и мыслителей от Платона и Плотина,[1] Канта,[2] Шатобриана [3] до русских современников Достоевского — Н. Ф. Федорова [4] и Вл. С. Соловьева.[5]

Достоевский-мыслитель в 1870-х годах примыкал к той линии русской философской мысли (восходящей к славянофилам), которая сложилась в борьбе с рационализмом. Стремление судить обо всем с точки зрения отвлеченных требований рассудка она считала общим свойством философской мысли Запада, отразившим получившую здесь свое завершение в буржуазную эпоху тенденцию к утрате целостности бытия, раздроблению внутренних сил общества и отдельного человека. Соответственно писатель полагал, что в противоположность западной философской мысли, определяющей чертой которой для него был культ абстрактного, расчленяющего рассудка, русская мысль должна исходить из идеала *цельного* человека, у которого различные духовные силы и способности находятся в единстве, а не противостоят друг другу, и у которого поэтому нет вражды между рассудком и интуицией, мыслью и сердцем, теоретическим разумом и нравственным, инстинктивным началом. Такой подход к человеку Достоевский связывал с традицией ранней восточнохристианской мысли, наследие которой, глубоко уходящее, по его мнению, своими корнями в народную «почву», сохранили Тихон Задонский, инок Парфений (см. о них стр. 528, 569, 570) и ряд других деятелей русской народно-религиозной мысли начиная с древности и до нового времени.

Это общее направление идей Достоевского, закрепленное в философских размышлениях «Дневника писателя» за 1876—1877 гг., получило выражение и в последнем его романе. Утверждая в главе «Бунт» и других философских его главах, что оторванный от «живой жизни» отвлеченный рассудок не только не способен разрешить загадок бытия, но что он неизбежно заводит личность в густой лес безысходных противоречий, логических и нравственных антиномий, Достоевский, на что указал Я. Э. Голосовкер, в этом отношении сближался с Кантом, с которым автора «Карамазовых» роднило и утверждение примата нравственности над теоретическим познанием. С другой стороны, как давно было отмечено исследователями, в своем восстании против взгляда на будущее человечества как на царство отвлеченной «вечной» гармонии, достижение

стр. 174—184; 1906, № 1—2, стр. 275—315; № 3—4, стр. 324—358; 1907, № 1, стр. 1—28; А. Луначарский. Русский Фауст. В кн.: А. В. Луначарский. Против идеализма. Изд. «Работник просвещения», М., 1924, стр. 9—20. См. также: А. Л. Бем. «Фауст» в творчестве Достоевского. В кн.: O Dostojevském. Sborník statí a materiálů. Praha, 1972, p. 183—220; F. Strich. Goethe und die Weltliteratur. Bern, 1946, S. 380—384.

[1] Ср. слова Зосимы в его поучениях: «...корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных» (наст. изд., т. XIV, стр. 290).

[2] См.: Я. Э. Голосовкер. Достоевский и Кант. Изд. АН СССР, М., 1963; Н. Н. Вильмонт. Достоевский и Шиллер. В кн.: Н. Н. Вильмонт. Великие спутники. Изд. «Советский писатель», М., 1966, стр. 261—283.

[3] R. L. Jackson. Chateaubriand and Dostoevsky. A Posing of the Problem. «Scando-Slavica», 1966, т. XII, p. 28—37.

[4] *Die Urgestalt*, стр. 3—58; А. К. Горностаев. Рай на земле. К идеологии творчества Ф. М. Достоевского. [Харбин], 1929; Д. Ляликов. Н. Ф. Федоров. В кн.: Философская энциклопедия, т. 5. Изд. «Советская энциклопедия», М., 1970, стр. 308—309.

[5] Э. Л. Радлов. Соловьев и Достоевский. В кн.: *Сб. Достоевский*, I, стр. 155—172.

которой оправдывает прошлые и настоящие страдания человечества, Достоевский повторил, усилив их при этом, аргументы не только Вольтера, но и В. Г. Белинского периода его страстного отречения от философского «колпака» «Егора Федоровича» (т. е. от гегелевского идеализма и метафизики).[1]

Тем не менее при всей близости некоторых философских идей «Карамазовых» целому ряду мыслителей — древних и новых — очевидно, что Достоевский не только как художник, но и как мыслитель остался в романе в высшей степени самобытен и оригинален. Несмотря на не раз предпринимавшиеся и предпринимающиеся до сих пор попытки истолковать философское содержание «Карамазовых» в духе идей того или иного философа — предшествующего или современного ему (не говоря уже о попытках отождествить взгляды Достоевского с воззрениями позднейших «модных» на Западе течений философской мысли вплоть до экзистенциализма), — для таких истолкований оснований нет. Это относится не только к взаимоотношениям Достоевского, автора «Карамазовых», с Кантом, но и к идейным взаимоотношениям романиста с такими его русскими философами-современниками, как Н. Ф. Федоров и Вл. С. Соловьев.

Оригинальный мыслитель-утопист, библиотекарь Румянцевского музея в Москве, Николай Федорович Федоров (1828—1903) отвергал всю современную ему цивилизацию, а также всякую собственность (в том числе на идеи и книги). Не желая примириться с гибелью хотя бы одного человеческого существа, Федоров отвергал также христианскую идею личного спасения (как и все традиционное христианство) и проповедовал идею союза живущих («сыновей») для воскресения умерших («отцов»). При жизни Федоров не издал ни одной книги, но через его учеников Н. П. Петерсона и В. А. Кожевникова его идеи стали известны многим современникам, в том числе Толстому и Достоевскому (впервые последний познакомился с некоторыми идеями Федорова в марте 1876 г. — см. об этом: *Die Urgestalt*, стр. 25—58).

Выше упоминалось о письме Достоевского от 24 марта 1878 г. к Н. П. Петерсону, который прислал ему в декабре 1877 г. более полное изложение идей своего учителя, заинтересовавших Достоевского и получивших непосредственное отражение в черновых набросках к роману (см. стр. 419). Как видно из этого письма, Достоевского особенно заинтересовала мысль Федорова о возможности будущей победы человечества над смертью, которая должна, по уче-

---

[1] Ср. с рассуждениями Ивана в главе «Бунт» (наст. изд., т. XIV, стр. 223) слова Белинского: 1) в письме к В. П. Боткину от 1 марта 1841 г.: «Благодарю покорно, Егор Федорович, — кланяюсь Вашему философскому колпаку, но со всем подобающим Вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития — я и там попросил бы Вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братий по крови, — костей от костей моих и плоти от плоти моея. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии; может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии» (*Белинский,* т. XII, стр. 22—23); 2) в письме к нему же от 8 сентября 1841 г.: «Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? 〈...〉 Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда бо́льшая часть и не подозревает его возможности? Прочь же от меня, блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими!» (там же, стр. 69). Цитированные отрывки из писем Белинского были опубликованы в 1875 г. А. Н. Пыпиным в его биографии критика (*ВЕ*, 1875, № 2, стр. 599, 617). Ср.: В. Я. Кирпотин. Достоевский и Белинский. Изд. «Советский писатель», М., 1960, стр. 228—248; Л. Гинзбург. О психологической прозе. Изд. «Советский писатель», Л., 1971, стр. 132—133.

нию Федорова, привести к физическому «воскресению предков»[1] и к грядущей согласной жизни на земле всех — настоящих, прошлых и будущих — поколений. Достоевский писал Петерсону: «Ваш мыслитель ⟨Федоров, — *Ред.*⟩ прямо и буквально представляет себе, как намекает религия, что воскресение будет реальное, личное, что пропасть, отделяющая нас от душ предков наших, засыплется, победится побежденною смертию и они воскреснут не в сознании только нашем, не аллегорически, а действительно, лично, реально, в телах ...». С точки зрения Достоевского, «ответ на этот вопрос необходим — иначе всё будет непонятно», и Достоевский тут же сообщает, что сам он верит «в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно сбудется на земле» (ср. разговор Коли Красоткина и Алеши на ту же тему о воскресении мертвых в «Эпилоге» романа — стр. 197).

Из опубликованных уже после смерти автора «Братьев Карамазовых» работ Н. Ф. Федорова видно, что «воскресение предков» он полагал возможным результатом того, что человечество достигнет «познания и управления всеми молекулами и атомами внешнего мира так, чтобы рассеянное собрать, разложенное соединить, т. е. сложить в тела отцов, какие они имели при своей кончине...». Н. Ф. Федоров не отвергал также другой возможности — достигнуть и «внутреннего управления психофизиологическим процессом...».[2] В работе «*Супраморализм*, или объединение для воскрешения путем знания и дела, средствами естественными, реальными, а не мистическими, *в противоположность мистицизму* вообще, и мистицизму Достоевского и Соловьева — в особенности» Федоров писал: «Достоевский хотя и признавал долг воскрешения предков, но никогда, по-видимому, никого к исполнению его не призывал, никогда о нем, кроме письма, напечатанного в № 80-м газеты „Дон" за 1897 г. и № 3-м „Русского архива" 1904 г.,[3] не писал, никогда, вероятно, и не думал о нем серьезно, считая, как выше сказано, вместе с Соловьевым, что воскресение совершится через 25 тысяч лет ⟨...⟩ Достоевский ⟨...⟩ был мистик и, как мистик, был убежден, что человечество находится „*в соприкосновении мирам иным*" и не видит их, не живет в этих мирах ⟨...⟩ смерть, к которой ведут болезни и пороки, и есть переход в иные миры». Федоров отмечал далее, что «с этой точки зрения — долг воскрешения является пустым звуком, потому что ни к чему не обязывает, никакого дела не указывает; всё делается само собою, без участия человека, без участия его ума, чувства, воли; все способности его и сам он оказываются ни на что не нужными, всё преподносится человеку даром».[4]

Таким образом, сам Федоров отверг предположение о воздействии своих идей на автора «Карамазовых». Федорова и Достоевского сближало неприятие западной цивилизации, вера в особую историческую миссию России и стремление к установлению грядущей гармонии не на небе, а на земле. Но пути, ведущие к этой гармонии, шестидесятник-разночинец Федоров, возлагавший свои надежды — в первую очередь — на спасительную силу техники, и Достоевский с его идеей союза русских «мальчиков», объединенных идеей общего нравственного служения, как зерна будущей России, представляли по-разному.

То же самое относится к не раз поднимавшемуся критикой вопросу о соотношении идеологических концепций «Карамазовых» с философским учением друга Достоевского Вл. Соловьева (1853—1900), с которым Достоевский обсуждал в 1878 г. замысел романа и чей юношеский образ, по свидетельству вдовы писателя, некоторыми из своих черт (см. стр. 456) повлиял на формирование образа Алеши.

Знаменателен рассказ близкой приятельницы А. Г. Достоевской М. Н. Стоюниной о споре и размолвке между ними: в ответ на напоминание Стоюниной о том, что Достоевский любил Соловьева и «его воплотил в Алеше

---

[1] Идея эта восходит к Э. Ренану (см.: Е. Ренан. Жизнь Иисуса. Берлин, 1875, стр. 240).

[2] Н. Ф. Федоров. Философия общего дела, т. I. Верный, 1906, стр. 442.

[3] Речь идет о письме Достоевского к Н. П. Петерсону от 24 марта 1878 г.

[4] Н. Ф. Федоров. Философия общего дела, т. I, стр. 441—442.

Карамазове — в самом дорогом, излюбленном и взлелеянном им образе, Анна Григорьевна в 1881 г. воскликнула: „Нет, нет, Федор Мих⟨айлович⟩ видел в лице Владимира Соловьева не Алешу, а Ивана Карамазова!"» (*Сб. Достоевский, II*, стр. 579). Стоюнина объясняет эти вырвавшиеся у А. Г. Достоевской слова ее тогдашним раздражением: консервативно настроенная А. Г. Достоевская не могла в ту минуту простить философу его выступление против смертного приговора революционерам-первомартовцам. И все же слова А. Г. Достоевской вряд ли могут рассматриваться как простая дань минутному настроению: они в определенной мере подчеркивают и двойственность образа Ивана, в котором, по авторскому замыслу, страстная гордыня и бунтарство сочетаются со страстной жаждой любви и гармонии, и двойственность (в понимании Достоевского) фигуры Соловьева: романист усматривал в нем черты, роднившие его молодого друга не только с созидателем земного братства Алешей, но и с отрицателем и разрушителем — Иваном.

Интерес и сочувствие Достоевского к идеям молодого Вл. С. Соловьева, как и к исканиям Федорова, был возбужден тем, что оба они, подобно ему самому, критически относились к современному им обществу и культуре и при этом в отличие от западных социалистов и революционеров-народников искали путей мирного преобразования жизни. Сближали их также критика индивидуализма и рационализма, вера в особую историческую миссию России. Но при определении конкретных средств преобразования жизни их пути расходились.

В отличие от консерваторов и ревнителей официальной церкви К. П. Победоносцева и К. Н. Леонтьева Соловьев, как и Достоевский, критически относился к самодержавию и православной церкви. Ее учению он стремился противопоставить собственное философско-религиозное учение, центральными пунктами которого были примирение культурных традиций Востока и Запада, воссоединение христианских церквей и утопия будущего «царства правды» на земле, залог победы которой Соловьев связывал со становлением «вселенской церкви» как добровольного нравственного союза людей.

Эти идеи сближали Соловьева с Достоевским, которого молодой философ, не без основания, считал своим учителем. Но по сравнению с Достоевским Соловьев во всем течении своей мысли был гораздо сильнее связан с теологической, богословской традицией. Свои утопические философские идеалы он стремился втиснуть в старые, сложившиеся веками схемы, образы и формулы гностического и христианского мистицизма. Все это, как и продиктованное рационализмом Соловьева стремление к построению стройной догматической философской системы, было чуждо автору «Карамазовых».

Разъясняя свое понимание общественного идеала Достоевского, выраженного в «Карамазовых», Соловьев определил этот идеал как «духовное братство, хотя и с сохранением внешнего неравенства социальных положений» (*Соловьев*, т. III, стр. 197). Но очевидно, что «Карамазовы» насыщены гневным протестом не только против нравственного разъединения общества, но и против политического и социального угнетения.

«Несмотря на диалектику и громадный критический талант Соловьева, его мышление остается догматическим, в то время как интуитивное мышление Достоевского, несмотря на противоречивость и несвязность отдельных частей, имеет характер критический, — справедливо писал близкий к кругу учеников Соловьева историк русской философии. — ⟨...⟩ Для него ⟨Достоевского, — *Ред.*⟩, как он сам пишет в „Дневнике писателя", „всё в вопросах"; для Соловьева же, напротив, истина дана, и задание состоит только в том, чтобы ее оправдать логически ⟨...⟩ Когда Соловьев говорит о церкви, то он имеет в виду историческое явление и принимает его как данный и необходимый факт, содержащий в себе законное осуществление христианской идеи; вселенская церковь Достоевского, которая, по его уверению, живет в глубине души русского народа, есть лишь расплывчатый образ и неопределенная задача, возможность осуществления которой едва намечена».[1]

---

[1] Э. Л. Радлов. Соловьев и Достоевский, стр. 162—163. Ср.: Вяч. Иванов. Родное и вселенское, стр. 165—167. См. о соотношении идей

Это принципиальное различие между складом мышления и утопиями Достоевского и Соловьева отчетливо отражено в «Карамазовых». Не случайны поэтому упреки Соловьева в отсутствии у Достоевского подлинной веры в потусторонний мир (см. стр. 413).

«Современная Достоевскому формула: „православие, самодержавие, народность", — не была его формулой», — справедливо писал еще Вяч. Иванов, подводя итог анализу мировоззрения писателя, как оно выражено в «Карамазовых». Монархизм Достоевского был «славянофильский, утопический, оппозиционный современной ему форме самодержавия, утверждаемый не как независимое от народа и ему внеположное начало, но лишь во взаимодействии со свободно определяющейся народною волею и в целях осуществления наиболее „полной" народной свободы...».[1]

Социально-утопический характер идей Достоевского был конечной причиной его расхождений не только с консерваторами Победоносцевым и Леонтьевым, но и с либерально настроенным теоретиком «всемирной теократии» Соловьевым, в том числе в чисто философской области.

Особое значение с точки зрения оценки философской проблематики романа в свете последующего развития науки и философии в XX в. имеет данная в нем критика «эвклидовского ума» Ивана, страстное утверждение Достоевским возможности и необходимости для человека иного, «неэвклидовского» сознания (см.: наст. том, стр. 231, и наст. изд., т. XIV, стр. 222). Отталкиваясь от геометрических идей Н. И. Лобачевского, Достоевский непосредственно устами Ивана перекидывает мост к великим физическим открытиям и новым философским идеям XX в. Не случайно сотрудник А. Эйнштейна и автор книги о нем А. Мошковский приводит слова ученого в беседе с ним: «Достоевский дает мне больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс!». [2] В этих словах получило выражение признание одним из великих преобразователей науки XX в. новаторского характера художественно-эстетических и философских идей автора «Карамазовых».[3]

Достоевского и Вл. Соловьева и о воздействии «Великого инквизитора» Достоевского на «Три разговора» Соловьева также статью: Н. И. Пруцков. Достоевский и Владимир Соловьев («Великий инквизитор» и «Антихрист»). В кн.: Н. И. Пруцков. Историко-сравнительный анализ произведений художественной литературы. Изд. «Наука», Л., 1974, стр. 124—162.

[1] Вяч. Иванов. Родное и вселенское, стр. 162—163.

[2] А. Мошковский. Альберт Эйнштейн. М., 1922, стр. 162. См. различные попытки анализа отношения А. Эйнштейна к Достоевскому: Б. Кузнецов: 1) Эйнштейн. Изд. АН СССР, М., 1963, стр. 87—98; 2) Этюды об А. Эйнштейне. Изд. «Наука», М., 1965, стр. 119—134; 3) Образы Достоевского и идеи Эйнштейна. «Вопросы литературы», 1968, № 3, стр. 138—165; Б. Мейлах: 1) Талант писателя и процессы творчества. Изд. «Советский писатель», Л., 1969, стр. 238—248; 2) На рубеже науки и искусства. Изд. «Наука», Л., 1971, стр. 89—114.

[3] Из исследований, посвященных отдельным частным аспектам «Братьев Карамазовых», кроме названных выше, см. о социально-философской и этической проблематике романа: А. А. Белкин. «Братья Карамазовы». (Социально-философская проблематика). В кн.: *Творчество Достоевского,* стр. 265—292 (перепечатано в кн.: А. Белкин. Читая Достоевского и Чехова. Изд. «Художественная литература», М., 1973, стр. 85—128); А. С. Долинин. Последняя вершина. (К истории создания «Братьев Карамазовых»). В кн.: *Долинин,* стр. 231—306; *Фридлендер,* стр. 309—364; *Чирков, 1967,* стр. 234—301; М. Я. Ермакова. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе XX века. Волго-Вятское книжное издательство, Горький, 1973, стр. 116—169; J. Janoşi. Dostoievski «tragedia subteranei». Bucureşti, 1968, p. 334—428; об образном строе, художественной структуре, композиции и языке романа см.: *Бахтин.*

9

Особый, важный пласт поэтических источников романа составляют памятники древнерусской средневековой литературы и фольклора.

Уже в 1860-е годы, в период работы над «Преступлением и наказанием» и «Идиотом», Достоевский-художник как бы поверяет свои образы образами народной легенды, черпая из нее мотивы для характеристики персонажей и руководствуясь в их оценке миром нравственных представлений, выраженным в ней. Еще более ярко проявляется нравственная и художественная ориентация на мотивы древнерусской книжности, мотивы жития святых, народной легенды, апокрифов, духовного стиха в планах «Жития великого грешника», при разработке образов Марии Лебядкиной в «Бесах» и Макара Долгорукова в «Подростке» (см. об этом: наст. изд., т. VII, стр. 343; т. IX, стр. 509—513). Но ни в одном из романов Достоевского мотивы Евангелия, народной легенды, древнерусского изобразительного искусства и литературы не играли такой роли, как в «Карамазовых». С ними так или иначе с помощью целой системы продуманных автором параллелей и ассоциаций соотнесены в подводном течении романа не только образы Алеши и Зосимы, но и многих других персонажей, а также весьма значительная часть сюжетных ситуаций романа.

Три брата Карамазовых (Митя, Иван, Алеша) соотносятся с тремя братьями народной сказки,[1] младший из которых, «странный» и «глупый», думающий и делающий вопреки привычному, оказывается в результате и самым удачливым, и самым умным, но в особом, высоком смысле, не уловимом для поверхностного восприятия. Такую же роль, хотя и в другом идейном плане, в житиях иногда играет третий сын, будущий святой и подвижник, чья странность и обособленность от мира привычных понятий поначалу вызывает у окружающих насмешки и укоризны.[2]

Роман был начат как «жизнеописание» Алексея Федоровича Карамазова, объединяющее, судя по вступительному слову рассказчика (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 6), два романа. Повествователь «Братьев Карамазовых» достаточно определенно стилизован под житийного повествователя (и именно этой стилизацией объясняется общий характер его речи — поучительный и пристрастный), а главный герой «жизнеописания» — под житийного героя.[3]

Основные мотивы предварительной характеристики Алеши (недетская задумчивость и серьезность, бескорыстие и отсутствие гордыни, исступленное целомудрие и желание уйти в монастырь) соотносятся с обычным описанием героя агиографического рассказа. Однако некоторые моменты повествования об Алеше, восходящие к житийному канону, даны двусмысленно и заставляют предположить возможность различных осложнений на стезе святости для этого героя.

Вслед за общей характеристикой, наделяющей Алешу житийным ореолом, появляется мотив, который связывает его имя с героем конкретного жи-

---

¹ Ср.: G. Gibian. Dostoevskij's Use of Russian Folklore. В кн.: Journal of American Folklore. Slavic Folklore: a symposium, [s. l.]. [s. a.], p. 240—241.

² Подробнее см.: В. Е. Ветловская. Символика чисел в «Братьях Карамазовых». *ТОДРЛ*, т. XXVI, стр. 139—141. Еще О. Миллер, говоря об Алеше, заметил: «*Чудак*, очевидно, значит тут то же, что идиот или Иванушка-дурачок по-народному» (О. Миллер. Русские писатели после Гоголя. СПб., 1886, стр. 278). В подготовительных материалах к роману Алеша поначалу именуется Идиотом (см. стр. 199, 202, 203 и др.).

³ Последнее обстоятельство, имея в виду портретную характеристику Алеши (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 24), в свое время отметил А. Волынский: «Его 〈Алеши, — *Ред.*〉 тихий взгляд, продолговатый овал лица, оживленность выражения — все это сливается в какой-то иконописный образ старого царского письма — образ, в котором нет ничего вызывающего, ничего резко индивидуального...» (А. Волынский. Царство Карамазовых. СПб., 1901, стр. 148—149).

тия — Алексеем человеком божиим (там же, стр. 47).[1] Этот мотив в дальнейшем повествовании возвращается неоднократно (там же, стр. 321, 528).

Основными моментами жития Алексея человека божия (как и некоторых других житий, которым оно служило образцом) являются: 1) уход героя от родных в целях подвижничества и спасения и 2) жизнь в родительском доме по возвращении. С тех пор, как святой поселяется в родном доме, и начинается для него тяжелый искус: пребывая в миру, он должен оставаться верен богу. Так же как Алексей человек божий, Алеша Карамазов направляется в мир и тоже к родным. Взаимоотношения этого героя с другими людьми строятся в русле житийных традиций, ибо мир юному подвижнику открывается поначалу лишь искусительной своей стороной. Речь Ивана перед младшим братом (главы «Бунт» и «Великий инквизитор»), где звучит тема невинно страдающего ребенка, является наиболее важным звеном в той цепи соблазнов и искушений, которая отягощает ум и душу Алеши в первые дни его знакомства с миром. Светлые, доселе ничем не омраченные отношения юного подвижника с миром и богом осложняются под влиянием брата Ивана и затем под влиянием смерти духовного отца Алеши — старца Зосимы. Это осложнение, однако, не изменяет самой сути «ангелической» природы героя. Оно является лишь временным помрачением ума и сердца еще не установившейся натуры.

Идея неизбирательной, неисключительной любви, любви ко всем как к родным, которую при жизни проповедовал старец, выводит Алешу из мрачного уединения и обособленности, философским выражением которых является в романе система воззрений Ивана. Эта мысль выделена и подчеркнута композиционно: она лежит в основе «Каны Галилейской» — последней главы в книге, названной именем главного героя. Идея, вполне примиряющая уже искушенного подвижника с миром и богом, связывает Алешу с Алексеем человеком божиим, героем не столько жития, сколько духовного стиха, в свое время чрезвычайно популярного и распространенного в многочисленных вариантах.[2] Народная трактовка жития Алексея человека божия, согласно которой святой и является выразителем идеи неизбирательной люб-

---

[1] «Без преувеличения можно сказать, — пишет В. П. Адрианова-Перетц, — что ни один из подвижников русской земли не вызвал к себе такого интереса, не пробудил такого сочувствия к своей жизни, как Алексей человек божий». Это житие вобрало в себя многие мотивы русской агиографии. «Талантливо скомбинированные в одном художественном рассказе 〈...〉 они ассоциировались в сознании русского читателя с целым рядом привычных образов и представлений и тем способствовали популярности и прочности запоминания этого жития, которое и на русской почве дало толчок к дальнейшим обработкам как в литературе, так и в народной поэзии» (В. П. Адрианова. Житие Алексея человека божия в древней русской литературе и народной словесности. Пгр., 1917, стр. 127, 144).

[2] См.: П. Бессонов. Калики перехожие, вып. I. М., 1861. Достоевский, по-видимому, знал и сборники П. В. Киреевского (П. Киреевский. Русские народные песни, ч. I. М., 1848) и В. Варенцова (В. Варенцов. Сборник русских духовных стихов. СПб., 1860), где имеется по одному варианту стиха об Алексее. В заметке А. А. Григорьева «Взгляд на книги и журнальные статьи, касающиеся истории русского народного быта» (*Вр*, 1861, № 4, отд. II, стр. 163—181) выход в свет сборника П. Бессонова, сборника Варенцова и былевых песен П. Киреевского (вып. I, М., 1860; вып. II, М., 1861) отмечен как явление в высшей степени положительное. Достоевскому могли быть известны и другие варианты. Ср. письмо к Достоевскому Т. И. Филиппова от 13 февраля 1873 г., содержащее один из таких вариантов, местами переданный точно, местами пересказанный. Сообщая его романисту, Филиппов писал: «Вот вам, многоуважаемый Федор Михайлович, нужные вам стихи с привесочком, который ничему не помешает, а может быть, и пригодится для освещения всей эпопеи» (*ИРЛИ,* 29883. ССХ б. 12. Указано Г. М. Фридлендером).

ви, привлекла внимание Достоевского; создавая своего Алешу, писатель явно следовал обмирщенному восприятию житийного текста.[1] Главный герой последнего романа, названный именем популярного святого, должен был, по замыслу автора, представить собой «деятеля», наделенного авторитетом народного признания (не случайно имя Алексея человека божия впервые звучит на страницах романа в устах верующих баб, т. е. в устах простонародья), «деятеля», еще «неопределенного» и «не выяснившегося», но, по мнению Достоевского, непременно долженствующего явиться в России в «роковую минуту» ее жизни.[2]

Житийные параллели романа не ограничиваются комплексом мотивов, связанных с Алешей. Помимо старца Зосимы, чье житие органически включается в текст повествования и совершенно отчетливо продиктовано задачами стилизации, здесь следует назвать Грушеньку и Митю. Грушенька, как и Митя, претерпевает в романе метаморфозу, ведущую ее «многогрешную» душу на путь покаяния и нравственного обновления. По-видимому, судьба и характер Марии Египетской, великой грешницы и «блудницы», долгим искусом и страданием снискавшей венец святости, имеет некоторое отношение к этой героине Достоевского. Мария Египетская сочувственно упомянута в романе (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 267). Отдельные мотивы, связанные с образом Грушеньки, прямо восходят к житийным текстам (см. об этом стр. 572).

Важнейшие эпизоды в судьбе Мити, героя, с которым связано движение основной линии сюжета, тоже опираются на житийную традицию. В этой связи обращает на себя внимание житие Ефрема Сирина. Как и житие Алексея человека божия или житие Марии Египетской, оно является одним из ранних агиографических рассказов. Герой этого повествования провел молодость среди грехов и заблуждений, «в легкомыслии и нерадении ⟨...⟩ он не старался укрощать страстей своих, ссорился с соседями своими, был завистлив и раздражителен».[3] Будучи ложно обвиненным в преступлении, Ефрем оказался в темнице, где некоторое время предавался горьким сетованиям на несправедливость судьбы и возведенных на него обвинений. Но однажды во сне Ефрем услышал таинственный голос: «Будь благочестив, и уразумеешь промысел божий. Перебери все свои дела и мысли, и поймешь, что если ты и теперь безвинно наказан, то заслужил наказание прежними поступками».[4] Ефрем стал припоминать свою жизнь и нашел, что «действительно был достоин наказа-

---

[1] Как свидетельствует А. Г. Достоевская, «имя св. Алексея человека божия было особенно почитаемо Федором Михайловичем» (*Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 283). В записной тетради 1880—1881 гг. Достоевский заметил: «Правда, народ еще безмолвствует, хотя и называет, кроме Алексея человека божия — Суворова например, Кутузова». Здесь же, отвечая на «Письмо Ф. М. Достоевскому» К. Д. Кавелина (*ВЕ*, 1880, № 11, стр. 431—456), Достоевский записывает: «Я скажу: Алексей человек божий — идеал народа, а вы сейчас скажете: а кулак». Еще раньше, в тетради 1876—1877 гг., говоря о народных идеалах, писатель тоже упоминает об Алексее:

«Алексей божий человек.

Пострадать. Я сам был свидетелем.

Жажда подвига, что́ деньги, лучше духовный подвиг. Спрашивают, где христианство, вот оно тут». В период работы над «Подростком» мысль ввести Алексея человека божия в художественный текст романа занимала Достоевского: «Подросток поражается легендой Алексея человека божия, которой он никогда не слыхал еще».

[2] Подробнее об отражении в «Братьях Карамазовых» мотивов жития Алексея человека божия и народного стиха о нем см. в статье: В. Е. Ветловская. Литературные и фольклорные источники «Братьев Карамазовых». В кн.: *Достоевский и русские писатели,* стр. 325—354.

[3] Избранные жития святых, кратко изложенные по руководству Четиих-Миней (январь). М., 1860, стр. 222. Издание имелось в библиотеке Достоевского (см.: *Гроссман, Семинарий,* стр. 43).

[4] Там же, стр. 223.

ния».[1] С этого момента глубокого сокрушения и осознания собственной греховности и вины началось его духовное перерождение.

Совсем особый круг источников связан с характером Ивана. Он вскрывается благодаря мотивам, соединяющим поэму «Великий инквизитор» с эсхатологическими сказаниями — апокрифами и духовными стихами о конце мира и явлении антихриста. Ощущение возможности грядущей мировой катастрофы было свойственно Достоевскому в последний период его жизни, и эсхатологические образы и картины, мельком возникающие в произведениях 1860-х годов, в 1870-е годы начинают настойчиво повторяться. В. В. Тимофеева (корректор типографии Траншеля, где печатался «Гражданин», редактируемый Достоевским) вспоминает о неожиданных и странных «пророцаниях», которые ей довелось услышать из уст писателя: «*Они* ⟨либералы, — *Ред.*⟩ и не подозревают, что скоро конец всему... всем ихним „прогрессам" и болтовне! Им и не чудится, что ведь антихрист-то уж родился и *идет!* — он произнес это с таким выражением и в голосе и в лице, как будто возвещал мне страшную и великую тайну ⟨...⟩ — Идет к нам антихрист! Идет! И конец миру близко, — ближе, чем думают!». «...Может быть, — кто знает, — продолжает далее В. В. Тимофеева, — может быть, именно в эту ночь ему *виделся* дивный „Сон смешного человека" или поэма „Великий инквизитор"!».[2]

Апокрифические сказания и народные стихи о конце мира повествуют о втором пришествии Христа. Согласно этим стихам и сказаниям оно должно наступить вслед за царством антихриста. Очень часто грядущее царство антихриста увязывалось с Римским царством. В картине страшного суда, представленной в русских подлинниках, изображается среди прочего ангел, который «показывает Даниилу четыре царства погибельных: первое Вавилонское, второе Мидское, третье Перское, четвертое Римское, еже есть антихристово».[3] Некоторые эсхатологические сочинения, восходящие ко II в., само имя антихриста соединяют с латинянами и Римом на том основании, что оно передает апокалиптическое «число зверино» — 666 (Откровение Иоанна, гл. 13, ст. 18).[4] Эта же мысль повторяется в русском народном стихе «Егда приидет кончина сего света...»:

Тогда сын злобы ⟨т. е. антихрист, — *Ред.*⟩ явится в мир царствуяй,
В лице слуг мерзких, в предтечах, в Риме властвуяй.[5]

Герой поэмы Ивана, Великий инквизитор, воплощает собой «римское» начало — католичество и иезуитство. Как и антихрист, он создает свое царство не без посредства дьявола: «...мы взяли от него ⟨т. е. дьявола, — *Ред.*⟩, — говорит он, — Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными ⟨...⟩ еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастии людей» (наст. изд., т. XIV, стр. 234).

Видимая заинтересованность в благополучии всех людей, о которых говорит со своим пленником Великий инквизитор, соотносится со свидетельствами эсхатологических памятников, где говорится о том, что антихрист

---

[1] Там же.

[2] *Достоевский в воспоминаниях*, т. II, стр. 170. Ср. сообщение В. И. Ламанского о Достоевском в письме к И. С. Аксакову от 8 октября 1875 г.: «...не знаю, говорил ли он когда с Вами об Апокалипсисе, где он находит ясные намеки на Россию, об антихристе и коммуне».

[3] Ф. И. Буслаев. Изображение страшного суда по русским подлинникам. В кн.: Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства, т. II. СПб., 1861, стр. 135.

[4] Ириней Лионский. Памятники древней христианской письменности в русском переводе. Пять книг против ересей. М., 1868, стр. 665. Ср. также: К. Невоструев. Слово святого Ипполита об антихристе в славянском переводе по списку XII века. М., 1868, стр. 79; 75 (втор. паг.).

[5] П. Бессонов. Калики перехожие, вып. V. М., 1863, стр. 114.

явится поначалу со словами любви и всеобщего счастья, что он сделает «вид, будто бы мстит за угнетенных».[1] Но в древних сказаниях все это — лишь выражение лжи и лицедейства, продиктованных стремлением приобрести таким путем авторитет и право на царство.

Властолюбие и гордыня, жажда поклонения и «рабских восторгов» в равной степени отличают и героя эсхатологических сказаний, и Великого инквизитора. Получив власть и царство, антихрист «умножит знамения ложная ⟨т. е. чудеса, — *Ред.*⟩[2] людем, во всѣм восхваляющим его, мечтании ради, воззовет гласом крѣпким ⟨...⟩ разумѣйте, людие, колѣна, языцы, мою великую власть и силу и крѣпость моего царства: кто силен, якоже аз; кто бог велий, развѣ мене; кто власти моей сѣпротиво станет» и т. д.[3] Наконец антихрист апокрифических сказаний обнаруживает свою истинную сущность, «и иже кроток, будет жесток ⟨...⟩ будет немилостив, и иже сердцем смиреный, будет жесток и безчеловечен, и иже неправду ненавидяй, праведных поженет ⟨...⟩ и по сих сотворит церковь иже во Иерусалимѣ ⟨...⟩ таже вознесется сердцем на всякого человека, не точию же, но и на бога хулная речет, помышляя окаянный, яко царь будет даже до века».[4] Это отступничество антихриста от бога, именем которого он собирает послушное себе стадо («Ибо он начнет, воцарившись, превозноситься на бога, истинно не боясь бога и не стыдясь сына божия, судии всех» [5]), в апокрифических и неапокрифических повествованиях о конце мира указывается постоянно.

Отказ Великого инквизитора от «безумия» веры в пользу ума соотносится, с одной стороны, со свидетельствами некоторых памятников о необычном уме (или хитрости) антихриста, с другой — со свидетельствами их всех о дьявольском происхождении его силы и обаяния.[6]

В письме Н. А. Любимову от 11 июня 1879 г., отсылая окончание пятой главы книги «Pro и contra» («Великий инквизитор»), Достоевский поясняет: «В ней закончено то, что *„говорят уста гордо и богохульно"*. Современный *отрицатель,* из самых ярых, прямо объявляет себя за то, что советует дьявол, и утверждает, что это вернее для счастья людей, чем Христос». Упоминание об устах, говорящих «гордо и богохульно», — цитата из Апокалипсиса (Откровение Иоанна, гл. 13, ст. 5), где, в частности, рассказывается о страшном фантастическом звере: «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно ⟨...⟩ И отверз он уста свои для хулы на бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе» (гл. 13, ст. 3—6).

В эсхатологических памятниках, опиравшихся на Апокалипсис, дракон, дающий власть зверю, приравнен к дьяволу, а зверь, отверзший «уста свои

---

[1] Ириней Лионский. Памятники древней христианской письменности в русском переводе, стр. 665.

[2] Этот мотив чудес, которые используются для соблазна людей, повторяется во всех сказаниях об антихристе.

[3] К. Невоструев. Слово святого Ипполита об антихристе..., стр. 205. См. также: И. Срезневский. Сказания об антихристе в славянских переводах с замечаниями о славянских переводах творений св. Ипполита. СПб., 1874, отд. II, стр. 41 и др. Ср.: Н. Тихонравов. Памятники отреченной русской литературы, т. II. М., 1863, стр. 265.

[4] К. Невоструев. Слово святого Ипполита об антихристе..., стр. 204. См. также: И. Срезневский. Сказания об антихристе..., отд. II, стр. 58—59. Сходные мотивы повторяются здесь в других списках.

[5] К. Невоструев. Слово святого Ипполита об антихристе..., стр. 87.

[6] Антихрист «исполнен будет дияволом ⟨...⟩ и обольстит лестию своею весь мир ⟨...⟩ и царе и патриархов преодолеет мудростию, воеводы и простьцы принужением» (см.: Летопися русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым, т. I. М., 1859, отд. II, стр. 64).

для хулы на бога», — к антихристу.[1] Иван, искушающий своего брата-«послушника» гордой богоборческой идеей, как бы исполняет в данном случае роль того и другого.[2]

Как отмечено выше, повествование в романе «Братья Карамазовы» ведется от третьего лица. Функция введенного в роман автора-рассказчика аналогична роли житийного повествователя, общий характер речи которого поучителен и назидателен. Автор-рассказчик также обладает своим взглядом на мир. Однако в отличие от житийных повествователей, нравственные идеалы которых были строго регламентированы, рассказчик «Братьев Карамазовых» как «современный человек» понимает, что далеко не все поступки героев могут быть оценены однозначно, в категориях «хорошо» или «плохо».

О рассказчике известно мало — только то, что он, как и другие персонажи, живет в городе Скотопригоньевске и пишет о событиях тринадцатилетней давности. Его прежде всего интересует личность человека. Рассказчику принадлежит несколько этюдов-исследований о различных типах человеческой личности: о реалистах и об отношении их к чуду, о созерцателях, о ревнивцах, о сумасбродах вроде Федора Павловича Карамазова. Причем выясняется, что рассказчик не «всеведущ» и не «непогрешим», знание его не всегда достоверно. В своих этюдах-исследованиях он представляется человеком, классифицирующим типы, при этом в его систематизации нет «оскорбительной» завершенности Если Ракитин говорит о Мите: «Он — сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть», то рассказчик относит Митю к разряду ревнивцев, но сказать, что в этом вся его внутренняя суть, не может. У него принципиально другая позиция — классификация рассказчика не исчерпывает сущности человека, даже такого, как Федор Павлович. Человековедческое исследование рассказчика не заканчивается классификацией, а начинается с нее. Не случайно обобщающую характеристику, претендующую на полноту, он дает, как правило, при первом появлении героя, при представлении его читателю. Позднее же в ходе повествования выясняется, что представленный им читателю несколько однолинейно персонаж более сложен и не укладывается в схему. Рассказчик, как и сами герои, чувствует разорванность времени и неустроенность мира Но он не только несет в себе эти черты эпохи, но и воспринимает их как требующие преодоления и снятия.

Рассказчик «Братьев Карамазовых» — исследователь человеческой души — в то же время своеобразный филолог и историк. Ему принадлежит комментарий к пушкинским словам «Отелло не ревнив, он доверчив», краткая история старчества, комментарий к рукописи Алеши «Из жития в бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы», к судебным речам прокурора и защитника, предисловие к изложению событий на суде и т. д. Будучи исследователем человеческой личности, историком, филологом, т. е. образованным современным человеком, рассказчик в то же время не раз представляет себя как литератора, писателя.

Тон рассказчика достаточно неустойчив, он сознательно стремится войти в сферу жизни героя, заговорить его языком. Недаром в речи рассказчика часто встречаются слова, приводимые в кавычках и взятые из речей персонажей (так, рассказчик вслед за Грушенькой называет пана Врублевского «офицером»).

Нередко автор-рассказчик передает слово самим героям. Так, главы «Исповедь горячего сердца» или «Из жития в бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы» почти сплошь написаны от первого лица, причем жи-

---

[1] См., например, толкование Апокалипсиса у Андрея Кесарийского. В кн.: И. Нильский. Об антихристе против раскольников. СПб., 1859, стр. 12; см. там же, стр. 27—28; см также: И. Срезневский. Сказания об антихристе..., отд. II, стр. 52, 82.

[2] Подробнее об отражении мотивов апокрифических сказаний в «Братьях Карамазовых» см. в статье: В. Е. Ветловская. Достоевский и поэтический мир древней Руси. *ТОДРЛ*, т. XXVIII, стр. 296—307. О других древнерусских и фольклорных источниках романа см. ниже, в реальном комментарии к роману.

тие Зосимы с его слов составлено Алексеем Карамазовым; поэма о Великом инквизиторе рассказана Иваном. Речи адвоката Фетюковича и прокурора Ипполита Кирилловича даны с сохранением их интонации и построены по всем правилам ораторского искусства, но при этом они перебиваются голосом рассказчика, то берущим на себя пересказ судебных речей, то комментирующим их. Литературные приемы автора-рассказчика и его стиль играют существенную роль в формировании общего тона повествования и жанровых особенностей романа.[1]

10

12 декабря 1879 г., отсылая в редакцию цитированное письмо к издателю «Русского вестника» (которое появилось в декабрьском номере журнала за 1879 г. вместе с восьмой книгой «Карамазовых»), Достоевский, как уже отмечалось выше, писал Любимову, что к объяснению причин, не позволивших ему окончить роман в 1879 г., он «хотел было прибавить ⟨...⟩ некоторые разъяснения идеи романа для косвенного ответа на некоторые критики, не называя никого» «Но, размыслив, — прибавлял он далее, — нахожу, что это будет рано, надеясь на то, что по окончании романа Вы уделите мне местечко в „Р⟨усском⟩ вестнике" для этих разъяснений и ответов, которые, может быть, я и напишу, если к тому времени не раздумаю».[2]

Проект выступить по окончании печатания романа с обращенными к читателям разъяснениями и ответом критикам остался неосуществленным (хотя в черновых материалах к «Карамазовым» есть наброски для такого выступления — см. стр. 434—435). И все же ни одному из своих произведений Достоевский не посвятил столько развернутых автокомментариев, как «Братьям Карамазовым». Уже в период создания романа писателю приходилось не раз в письмах к Н. А. Любимову и другим корреспондентам, защищаясь от ожидаемых им или высказанных ему упреков, замечаний и возражений этих первых читателей еще не завершенных «Карамазовых», давать авторскую оценку написанного, разъяснять свои художественные намерения и цели, намечать свое истолкование отдельных эпизодов, образов и общей идейно-философской проблематики. И позднее, до последних дней жизни, Достоевский постоянно продолжал оглядываться на «Карамазовых» и комментировать их.

Высылая Н. А. Любимову третью книгу «Карамазовых» и обращаясь 30 января 1879 г. к редакции с просьбой не дробить эту книгу, так как это нарушило бы «гармонию и пропорцию художественную», а поместить ее всю в одном (февральском) номере журнала, Достоевский отзывался о ней с похвалой, шутливо заключая: «Вспомните ап⟨остола⟩ Павла: „Меня не хвалят, так я сам начну хвалиться"».

30 апреля 1879 г., еще не кончив и не отправив в редакцию пятой книги («Pro и contra»), Достоевский характеризует ее в письме к Любимову как «кульминационную точку романа». Ту же оценку в более развернутом виде он повторил в письме от 10 мая 1879 г. — важнейшем автокомментарии к ней: «В том ⟨...⟩ тексте, который я теперь выслал, я изображаю лишь характер одного из главнейших лиц романа, выражающего свои основные убеждения. Эти убеждения есть именно то, что я признаю *синтезом* современного русского

---

[1] См. специально об образе автора-рассказчика и о манере повествования в «Братьях Карамазовых»: Я. О. Зунделович, Романы Достоевского. Изд. «Средняя и высшая школа» Уз. ССР, Ташкент, 1963, стр. 180—242; Д. С. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 2-е. Изд. «Художественная литература», Л., 1971, стр. 347—363; В. Е. Ветловская. Некоторые особенности повествовательной манеры в «Братьях Карамазовых». *РЛ*, 1967, № 4, стр. 67—78.

[2] Еще раньше, 8 декабря, до отправления этого письма, Достоевский писал Любимову, что предполагает в нем сказать «несколько слов об идее романа для читателей...».

анархизма. Отрицание не бога, а смысла его создания. Весь социализм вышел и начал с отрицания смысла исторической действительности и дошел до программы разрушения и анархизма. Основные анархисты были, во многих случаях, люди искренно убежденные. Мой герой берет тему, *по-моему*, неотразимую: бессмыслицу страдания детей — и выводит из нее абсурд всей исторической действительности. Не знаю, хорошо ли я выполнил, но знаю, что лицо моего героя в высочайшей степени реальное» (см. также стр. 423—424).

К разъяснению смысла глав «Бунт» и «Великий инквизитор» Достоевский вернулся 19 мая в письме к К. П. Победоносцеву. Здесь он повторил: «...эта книга в романе у меня кульминационная, называется „Pro и contra", а смысл книги: богохульство и опровержение богохульства. Богохульство-то вот это закончено и отослано, а опровержение пошлю лишь на июньскую книгу. Богохульство это взял, как сам чувствовал и понимал, сильней, то есть так именно, как происходит оно у нас теперь в нашей России *у всего* (почти) верхнего слоя, а преимущественно у молодежи, то есть научное и философское опровержение бытия божия уже заброшено, им не занимаются вовсе теперешние *деловые социалисты* (как занимались во всё прошлое столетие и в первую половину нынешнего). Зато *отрицается* изо всех сил создание божие, мир божий и *смысл его*. Вот в этом только современная цивилизация и находит ахинею. Таким образом льщу себя надеждою, что даже и в такой отвлеченной теме не изменил реализму. Опровержение сего (не прямое, то есть не от лица к лицу) явится в последнем слове умирающего старца. Меня многие критики укоряли, что я вообще в романах моих беру будто бы не те темы, не реальные и проч. Я, напротив, не знаю ничего реальнее именно этих вот тем...».

Оба последние письма — к Любимову и Победоносцеву, — по-видимому, имели в виду не только разъяснить замысел Достоевского, но и защитить только что написанную «кульминационную» книгу романа. Автор предвидел возражения и стремился их предупредить. Реакция Победоносцева на книгу «Pro и contra» (см. стр. 482, 491, 492) показала, что тревога Достоевского не была напрасной.

11 июня, после отправки в редакцию окончания главы «Великий инквизитор», писатель охарактеризовал Ивана как «современного *отрицателя*, из самых ярых» (см. стр. 425). Предвидя сопротивление редакции, он убеждал Любимова, что глава «Великий инквизитор» направлена против народнического социализма и не имеет в виду современные ему русскую церковь и государство: «Нашему русскому, дурацкому (но страшному социализму, потому что в нем молодежь) — *указание* и, кажется, энергическое: хлебы. Вавилонская башня (то есть будущее царство социализма) и полное порабощение свободы совести — вот к чему приходит отчаянный отрицатель и атеист! Разница в том, что наши социалисты (а они не одна только подпольная нигилятина, — вы знаете это) сознательные иезуиты и лгуны, не признающиеся, что идеал их есть идеал насилия над человеческой совестью и низведения человечества до стадного скота, а мой социалист (Иван Карамазов) человек искренний, который прямо признается, что согласен с взглядом Великого инквизитора на человечество и что Христова вера (будто бы) вознесла человека гораздо выше, чем стоит он на самом деле. Вопрос ставится у стены: „Презираете вы человечество или уважаете, вы, будущие его спасители?".

И всё это будто бы у них во имя любви к человечеству: „Тяжел, дескать, закон Христов и отвлеченен, для слабых людей невыносим" — и вместо закона Свободы и Просвещения несут им закон цепей и порабощения хлебом.

В следующей книге произойдет смерть старца Зосимы и его предсмертные беседы с друзьями. Это не проповедь, а как бы рассказ, повесть о собственной жизни. Если удастся, то сделаю дело хорошее: *заставлю сознаться*, что чистый, идеальный христианин — дело не отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее, и что христианство есть единственное убежище русской земли ото всех ее зол. Молю бога, чтоб удалось, вещь будет патетическая, только бы достало вдохновения. А главное, тема такая, которая никому из теперешних писателей и поэтов и в голову не приходит, стало быть,

совершенно *оригинальная*. Для нее пишется и весь роман, но только чтоб удалось, вот что теперь тревожит меня!».

Для верного понимания писем к Любимову и Победоносцеву и отразившихся в них тактических соображений их следует сопоставить со свидетельством В. Ф. Пуцыковича. Последний рассказывает, что Достоевский, встретив его летом 1879 г. в Берлине, на пути в Эмс, сделал ему «некоторые разъяснения», касающиеся поэмы «Великий инквизитор», а затем продиктовал, с просьбой напечатать, следующее: «Федор Михайлович с этою легендою — о Великом инквизиторе — достиг кульминационного пункта в своей литературной деятельности...». «На вопрос же мой, — продолжает Пуцыкович, — что значит то, что он поместил именно такую религиозную легенду в роман из русской жизни («Братья Карамазовы») и почему именно он считает не самый роман, имевший такой успех даже до окончания его, важным, а эту легенду, он объяснил мне вот что. Он тему этой легенды, так сказать, выносил в своей душе почти в течение всей жизни и желал бы именно теперь пустить в ход, так как не знает, удастся ли ему еще что-либо крупное напечатать. Относительно же самого содержания легенды он прямо объяснил, что она — против католичества и папства, и именно самого ужасного периода католичества, то есть инквизиционного его периода, имевшего столь ужасное действие на христианство и все человечество» (*НВр*, 1902, 16 января, № 9292). Пуцыкович ни единым словом не упоминает об антисоциалистической направленности поэмы: для него она — памфлет «против католичества и папства». Отсюда видно, что в письмах к Любимову и Победоносцеву, с одной стороны, и в разговоре с Пуцыковичем — с другой, Достоевский акцентировал *разные* стороны своего замысла в соответствии с характером собеседника или корреспондента и той целью, которую он каждый раз преследовал.

Автокомментарием к следующей, шестой книге явилось письмо к Любимову, отправленное вместе с нею (7(19) августа 1879 г.). Теперь автор — и, видимо, не случайно — называет ее, а не пятую книгу, «кульминационной точкой романа». Очевидно, это вызвано не только сознанием, что книга удалась, и значением, которое он ей придавал в момент написания письма, но и тем, что пятая книга была уже напечатана и у Достоевского возобновились опасения того, как примет редакция следующую (см. стр. 427—428).

24 августа (6 сентября) Достоевский указывает Победоносцеву, встревоженному «силой и энергией» «атеистических положений» Ивана (на которые «ответу ⟨...⟩ пока не оказалось, а ⟨...⟩ надо»), на шестую книгу романа, разъясняя ее значение почти в тех же словах, что и Любимову, но с рядом дополнительных штрихов: «...ответом на всю эту *отрицательную сторону* я и предположил быть вот этой 6-й книге „Русский инок", которая появится 31 августа. А потому и трепещу за нее в том смысле: будет ли она *достаточным* ответом. Тем более что ответ-то ведь не прямой, не на положения, прежде выраженные (в «В⟨еликом⟩ инквизиторе» и прежде), по пунктам, а лишь косвенный. Тут представляется нечто прямо противоположное выше выраженному мировоззрению, — но представляется опять-таки не по пунктам, а, так сказать, в художественной картине. Вот это меня и беспокоит, то есть буду ли понятен и достигну ли хоть каплю цели. А тут вдобавок еще обязанности художественности: потребовалось представить фигуру скромную и величественную, между тем жизнь полна комизма и только величественна лишь в внутреннем смысле ее, так что поневоле из-за художественных требований принужден был в биографии моего инока коснуться и самых пошловатых сторон, чтобы не повредить художественному реализму. Затем есть несколько поучений инока, на которые прямо закричат, что они абсурдны, ибо слишком восторженны. Конечно, они абсурдны в обыденном смысле, но в смысле ином, внутреннем, кажется, справедливы. Во всяком случае очень беспокоюсь и очень бы желал Вашего мнения, ибо ценю и уважаю Ваше мнение очень. Писал же с большой любовью».

Характерно, что, высылая в редакцию седьмую книгу романа, Достоевский снова пишет Любимову 16 сентября 1879 г. о последней ее главе

«Кана Галилейская», над которой в это время работал, что она «самая существенная во всей книге, а может быть, и в романе» (см. остальную часть этого письма на стр. 430, 431). В этой оценке (как и в приведенных выше аналогичных) сказалось не только действительно большое значение данной главы по авторскому замыслу и страстное увлечение художника ею в момент работы, но и желание заразить в какой-то мере своим энтузиазмом редакцию, внушив ей сознание исторической ответственности и необходимость бережного отношения к высылаемому тексту и его продолжению.

Развернутым автокомментарием к восьмой книге явилось и следующее письмо к Любимову — от 16 ноября 1879 г. (см. стр. 432; ср. также авторские разъяснения, касающиеся построения романа, в «Письме к издателю „Русского вестника"» — стр. 434, в других письмах к Любимову от конца 1879—начала 1880 г. и к читательнице Е. Н. Лебедевой — стр. 431—432).

30 декабря 1879 г. Достоевский выступает перед более широкой публикой с объяснением смысла главы «Великий инквизитор», предпосылая его своему чтению этой главы на литературном утре в Петербурге (текст этого вступительного слова полностью напечатан на стр. 198). Характерно, что «католическому» мировоззрению Инквизитора писатель противопоставляет во вступительном слове не современное ему, но «древнее апостольское православие». Инквизитор характеризуется как «атеист», стремящийся соединить Христову веру с «целями мира сего». О критике в поэме «социализма» (которая выдвигалась на первое место в письмах к Любимову и Победоносцеву), умалчивается вовсе, как и в сообщении Пуцыковича (см. стр. 482); суть идей Инквизитора характеризуется как «презрение» к человечеству под видом «*социальной* любви к нему». Сам Иван также назван не «социалистом», а «страдающим неверием атеистом».

В 1880 г. Достоевскому уже не пришлось так часто выступать с комментариями к роману, как в предыдущем. Это объясняется, во-первых, тем, что бо́льшая часть его была напечатана и общий замысел прояснился, а во-вторых, тем, что значительная часть года ушла у Достоевского на писание и печатание Пушкинской речи и на подготовку ответа ее оппонентам. Лишь три из писем этого года заслуживают особого рассмотрения в ряду других авторских комментариев к роману. Это, во-первых, цитированное выше письмо к Ю. Ф. Абаза от 15 июня, где в форме советов к своей корреспондентке писатель разъясняет и обосновывает свой творческий метод: особенно важны в этом смысле намерение «сделать из героя кого-нибудь в образе Алексея человека божия или Марии Египетской» (ср. стр. 476), а также указание на видение Германна (из «Пиковой дамы») как на шедевр «искусства фантастического» и художественный прообраз галлюцинаций Ивана (стр. 442).

Второе письмо — к Н. А. Любимову от 10 августа 1880 г. с уже известными нам развернутыми разъяснениями к главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» — см. на стр. 449.

Анализу сцены галлюцинаций Ивана посвящено и третье письмо 1880 г. с комментариями к роману.

10 декабря 1880 г., уже после окончания «Карамазовых», Достоевский получил письмо из г. Юрьева-Польского от тамошнего врача А. Ф. Благонравова. Последний писал: «Из того, что ваш последний роман „Братья Карамазовы", захватывающий в себя, предрешающий глубину вопросов, в нем поставленных, читается многими в нашей глухой провинции, хотя и под руководством лиц, более способных понимать ваше художественное создание, вы можете заключить, что живущая в провинции молодежь (я разумею чиновников и молодое купеческое поколение, воспитываемое на пустых романах) перестает коснеть в невежестве и мало-помалу умственно развивается — идет вперед.

Едва ли кому-либо, кроме вас, суждено так ярко и так глубоко анализировать душу человека во время различных ее состояний, — изображение же галлюцинации, происшедшей с И. Ф. Карамазовым вследствие сильной душевной напряженности (я пока остановился на этой главе, читая ваш роман понемногу), создано так естественно, так поразительно верно, что, перечитывая несколько раз это место вашего романа, приходишь в восхищение.

Об этом обстоятельстве я могу судить поболее других, потому что я медик. Описать форму душевной болезни, известную в науке под именем галлюцинаций, так натурально и вместе так художественно, навряд ли бы сумели наши корифеи психиатрии: Гризингеры, Крафт-Эбинги, Лораны, Сенкен и т. п., наблюдавшие множество субъектов, страдавших нарушенным психическим строем...» (*ЛН*, т. 86, стр. 490).

Достоевский ответил Благонравову 19 декабря: «Вы верно заключаете, что причину зла я вижу в безверии, но что отрицающий народность отрицает и веру. Именно у нас это так, ибо у нас вся народность основана на христианстве. Слова „крестьянин", „Русь православная" — суть коренные наши основы. У нас русский, отрицающий народность (а таких много), есть непременно атеист или равнодушный. Обратно, всякий неверующий или равнодушный решительно не может понять и никогда не поймет ни русского народа, ни русской народности. Самый важный теперь вопрос: как заставить с этим согласиться нашу интеллигенцию? Попробуйте заговорить: или съедят, или сочтут за изменника. Но кому изменника? Им — то есть чему-то носящемуся в воздухе и которому даже имя придумать трудно, потому что они сами не в состоянии придумать, как назвать себя. Или народу изменника? Нет, уж я лучше буду с народом: ибо от него только можно ждать чего-нибудь, а не от интеллигенции русской, народ отрицающей и которая даже не интеллигентна.

Но возрождается и идет новая интеллигенция, та хочет быть с народом. А первый признак неразрывного общения с народом есть уважение и любовь к тому, что народ всею целостию своей любит и уважает более и выше всего, что есть в мире, — то есть своего бога и свою веру.

Это новогрядущая интеллигенция русская, кажется, именно теперь начинает подымать голову. Именно, кажется, теперь она потребовалась к общему делу, и она это начинает и сама сознавать ⟨...⟩ За ту главу „Карамазовых" (о галлюцинации), которою Вы, врач, так довольны, меня пробовали уже было обозвать ретроградом и изувером, дописавшимся „до чертиков". Они наивно воображают, что все так и воскликнут: „Как? Достоевский про черта стал писать? Ах, какой он пошляк, ах, как он неразвит!" Но, кажется, им не удалось! Вас особенно, как врача, благодарю за сообщение Ваше о верности изображенной мною психической болезни этого человека. Мнение эксперта меня поддержит, и согласитесь, что другой этот человек (Ив⟨ан⟩ Карамазов) при данных обстоятельствах никакой иной галлюцинации не мог видеть, кроме этой. Я эту главу хочу впоследствии, в будущем „Дневнике", разъяснить сам критически». Своего обещания Достоевскому выполнить не удалось.

Итоговую авторскую оценку «Братьев Карамазовых» и ряд замечаний, полемически направленных против суждений о романе и речи о Пушкине либеральной и народнической критики, содержит записная тетрадь Достоевского 1880—1881 гг.: «Мерзавцы дразнили меня *необразованною* и ретроградною верою в бога, — читаем мы здесь. — Этим олухам и не снилось такой силы отрицание бога, какое положено в „Инквизиторе" и в предшествовавшей главе, которому ответом служит *весь роман*. Не как дурак же (фанатик) я верую в бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли меня учить!»

И далее: «*Черт*. (Психологическое и *подробное* критическое объяснение Ив⟨ана⟩ Федоровича и явления черта.) Ив⟨ан⟩ Фед⟨орович⟩ глубок, это не современные атеисты, доказывающие в своем неверии лишь узость своего мировоззрения и тупость тупеньких своих способностей ⟨...⟩ Нигилизм явился у нас потому, что мы *все нигилисты*. Нас только испугала новая, оригинальная форма его проявления. (Все до единого Федоры Павловичи.) ⟨...⟩ Совесть без бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного ⟨...⟩ Инквизитор уже тем одним безнравствен, что в сердце его, в совести его могла ужиться идея о необходимости сожигать людей ⟨...⟩ Инквизитор и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне хотя и научно, но не столь высокомерно по части философии, хотя филосо-

фия и не моя специальность. И в Европе такой силы атеистических *выражений* нет и *не было*. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое *горнило сомнений* моя *осанна* прошла, как говорит у меня же, в том же романе, черт».

В этих авторских самооценках не случайно ударение сделано на «силе» отрицания, «*горниле сомнений*», «силе атеистических *выражений*». Они, как сознает Достоевский, составляют тот заряд «Карамазовых», без которого не было бы и всего романа, ставшего наиболее полным выражением и могучего критического пафоса, свойственного Достоевскому, и его еретической по духу нравственно-религиозной утопии.

11

О предполагаемом содержании задуманного, но не осуществленного автором второго тома «Братьев Карамазовых» до нас дошло несколько дополняющих друг друга, но и частично расходящихся между собой свидетельств.

В 1916 г. вдова писателя А. Г. Достоевская сообщила А. А. Измайлову: «Смерть унесла его 〈Достоевского, — *Ред.*〉 действительно полного замыслов. Он мечтал 1881 год всецело отдать „Дневнику", а в 1882 засесть за продолжение „Карамазовых". Над последней страницей первых томов должны были пронестись двадцать лет. Действие переносилось в восьмидесятые годы. Алеша уже являлся не юношей, а зрелым человеком, пережившим сложную душевную драму с Лизой Хохлаковой, Митя возвращался с каторги» (см.: *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 332).

Об этом же А. Г. Достоевская пишет в своих «Воспоминаниях»: «Издавать „Дневник писателя" Федор Михайлович предполагал в течение двух лет 〈1881—1882, — *Ред.*〉, а затем мечтал написать вторую часть „Братьев Карамазовых", где появились бы почти все прежние герои, но уже через двадцать лет, почти в современную эпоху, когда они успели бы многое сделать и многое испытать в своей жизни. Намеченный Федором Михайловичем план будущего романа, по его рассказам и заметкам, был необыкновенно интересен, и истинно жаль, что роману не суждено было осуществиться» (*Достоевская, А. Г. Воспоминания*, стр. 370).

В своих воспоминаниях А. Г. Достоевская оба раза допустила одну и ту же неточность: время, которое должно было, по замыслу писателя, протечь между действием первого и второго романа об Алексее Карамазове, она определила в двадцать лет, в то время как в предисловии «От автора» указано: «Первый роман произошел 〈...〉 тринадцать лет назад» (наст. изд., т. XIV, стр. 6).

Свидетельства вдовы писателя о плане продолжения «Карамазовых» дополняются двумя рассказами А. С. Суворина.

Вскоре после смерти писателя Суворин писал: «На продолжение своего „Дневника" он 〈Достоевский, — *Ред.*〉 смотрел отчасти как на средство 〈...〉 завязать узел борьбы по существенным вопросам русской жизни. Все это теперь кончено, кончен и замысел продолжать „Братьев Карамазовых". Алеша Карамазов должен был 〈...〉 явиться героем, из которого он хотел создать тип русского социалиста, не тот ходячий тип, который мы знаем и который вырос вполне на европейской почве» (Н е з н а к о м е ц [А. С. С у в о р и н]. Недельные очерки и картинки. О покойном. *НВр*, 1881, 1 февраля, № 1771).

Более подробно Суворин изложил замысел Достоевского в своем дневнике. Он вспоминает здесь о встрече и беседе с писателем в день покушения Млодецкого на графа Лорис-Меликова 20 февраля 1880 г., во время которой Достоевский, еще не знавший в тот момент о покушении, но взволнованный другими террористическими актами народовольцев и процессами над ними, «сказал, что напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду, и в этих

поисках, естественно, стал бы революционером...» (А. С. Суворин. Дневник. М.—Пгр., 1923, стр. 16).[1]

Сообщенные Сувориным, со ссылкой на рассказ Достоевского, сведения корректирует и дополняет в свою очередь появившаяся при жизни писателя газетная заметка. Здесь говорилось: «...из кое-каких слухов о дальнейшем содержании романа, слухов, распространившихся в петербургских литературных кружках, я могу сказать 〈...〉 что Алексей делается со временем сельским учителем и под влиянием каких-то особых психических процессов, совершающихся в его душе, он доходит даже до идеи о цареубийстве...» («Новороссийский телеграф», 1880, 26 мая, № 1578, «Журнальные заметки», подпись Z). [2]

Однако в цитированной заметке в связи с рассказом о повороте в судьбе Алексея говорится лишь о том, что он доходит до «идеи о цареубийстве», а не о том, что он на практике совершает террористический акт. Возможно, что формулировка эта вызвана неполной осведомленностью автора заметки или цензурными соображениями. Но, вероятнее всего, из содержащихся в самом романе намеков и указаний[3] следует сделать другой вывод: казнь Алексея была лишь одним из нескольких вариантов развязки, которые в разное время мелькали в голове автора при обдумывании второго тома дилогии.

В пользу того, что Достоевский, не только начиная, но и заканчивая работу над «Карамазовыми», склонялся к иному завершению судьбы Алексея после постигших его сомнений и «идеи о цареубийстве», говорят свидетельства других мемуаристов.

Педагог и писатель А. М. Сливицкий (1850—1913), присутствовавший в 1880 г. на пушкинских торжествах в Москве, передает беседу Достоевского с молодежью: «Помолчав, он прибавил: „Напишу еще «Детей» и умру". Роман „Дети", по замыслу Достоевского, составил бы продолжение „Братьев Карамазовых". В нем должны были выступить главными героями *дети* предыдущего романа...» (*Достоевский в воспоминаниях,* т. II, стр. 355).

Наконец, немецкая исследовательница Н. Гофман в 1898 г. записала со слов А. Г. Достоевской (или других близких писателю людей): «Алеша должен был, таков был план писателя, по завещанию старца Зосимы идти в мир, принять на себя его страдание и его вину. Он женится на Лизе, потом покидает ее ради прекрасной грешницы Грушеньки, которая пробуждает в нем карамазовщину, и после бурного периода заблуждений и отрицаний, оставшись бездетным, облагороженный, возвращается опять в монастырь; он окружает там себя толпой детей, которых он до самой смерти любит и учит и руководит ими» (см.: N. Hoffmann. Th. M. Dostojewsky. Eine biographische Studie. Berlin, 1899, S. 425—427; С. Белов. Еще одна версия о продолжении «Братьев Карамазовых». «Вопросы литературы», 1971, № 10, стр. 254—255).

В. Д. Рак обратил внимание на то, что одна из деталей процесса над Митей представляет собой нарушение процессуальных правил, аналогичное допущенному в деле Е. П. Корниловой, о пересмотре которого в 1876 г.

---

[1] Сомнения в точности прочтения и воспроизведения отдельных мест дневника, в том числе данной записи Суворина, в печатном издании ввиду неразборчивости автографа высказаны в работе: Н. Роскина. Об одной старой публикации. «Вопросы литературы», 1968, № 6, стр. 250—253. Ср. тщательный и всесторонний анализ той же записи: *Благой*, стр. 14—19. Следует учесть также соображения Л. П. Гроссмана о Д. В. Каракозове как возможном прототипе Алеши Карамазова-революционера, — соображения, опирающиеся как на созвучие их фамилий, так и на настойчивый интерес Достоевского к личности и преступлению Каракозова (см.: наст. изд., т. XI, стр. 74, 103, 108, 279, и т. XII, стр. 335; *Гроссман, Биография,* стр. 569—572).

[2] Ср.: Н. И. Соколов. Достоевский и революционная Россия. «Октябрь», 1971, № 11, стр. 211.

[3] Анализ этих указаний см.: *Благой*, стр. 11—13, 15—19.

хлопотал Достоевский. Согласно 693 ст. Устава уголовного судопроизводства 1864 г., врачи Герценштубе и Варвинский не могли быть опрошены одновременно и в качестве свидетелей, и в качестве экспертов (см. стр. 103). Это юридическое нарушение могло быть допущено писателем сознательно, чтобы во втором томе «Карамазовых» оно послужило поводом для кассации и пересмотра дела Мити (см.: *Материалы и исследования,* т. II, стр. 163—168).

12

«Роман читают всюду, пишут мне письма, читает молодежь, читают в высшем обществе, в литературе ругают или хвалят, и никогда еще, по произведенному кругом впечатлению, я не имел такого успеха», — писал 8 декабря 1879 г. автор о приеме «Карамазовых» читающей публикой и критикой.

Достоевский не имел оснований быть недовольным романом. По свидетельству А. Г. Достоевской, ее муж «особенно ценил в „Карамазовых" Великого инквизитора, смерть Зосимы, сцену Дмитрия и Алеши (рассказ о том, как Катерина Ивановна к нему приходила), суд, две речи, исповедь Зосимы, похороны Илюшечки, беседу с бабами, три беседы Ивана со Смердяковым, Черта» (*1956,* т. X, стр. 476).

И все же до самого окончания печатания романа Достоевский продолжал тревожиться о его успехе: «Каждый раз, когда я напишу что-нибудь и пущу в печать, — делился он своей тревогой за судьбу романа 16 августа 1880 г. с К. П. Победоносцевым, — я как в лихорадке. Не то чтоб я не верил в то, что сам же написал, но всегда мучит меня вопрос: как это примут, захотят ли понять суть дела и не вышло бы скорее дурного, чем хорошего, тем, что я *опубликовал* мои заветные убеждения? Тем более что всегда принужден высказывать иные идеи лишь в основной мысли, всегда весьма нуждающейся в большом развитии и доказательности».

Уже до завершения публикации в «Русском вестнике» «Братья Карамазовы» породили огромную критическую литературу. За один 1879 г. о романе появилось свыше 30 откликов в столичной печати и еще больше — в провинциальной. И хотя в последние месяцы печатания Достоевский неоднократно заявлял, что «буквально вся литература» к нему «враждебна», что его «любит до увлечения *только* вся читающая Россия» (письмо П. Е. Гусевой от 15 октября 1880 г.),[1] заявления эти следует считать данью минутным настроениям, естественным в положении столь впечатлительного художника. В целом освещение его романа современниками отличалось пестрым многообразием как отрицательных, так и безусловно положительных идейно-эстетических оценок. Роман необычайно умножил число непримиримых противников и горячих почитателей Достоевского. Иначе и быть не могло, так как сложная философская проблематика «Братьев Карамазовых», представлявшая собою синтез идей всего предшествующего творчества писателя, не укладывалась в традиционные русла основных направлений общественно-политической и философской мысли той эпохи. Злободневному звучанию и восприятию романа в значительной степени способствовала и крайне тревожная политическая ситуация, складывавшаяся в России накануне и после событий, завершившихся убийством Александра II.

Первые отзывы о «Братьях Карамазовых», появившиеся в начале 1879 г., носят по необходимости предварительный, эскизный характер. Газетные рецензенты и обозреватели ограничиваются беглыми замечаниями по поводу пока немногих опубликованных глав, особенно подчеркивая яркий реализм в изображении карамазовского семейства, встречи его членов в монастыре,

---

[1] Еще раньше, 16 августа, Достоевский писал К. П. Победоносцеву: «...вот теперь кончаю „Карамазовых". Эта последняя часть, сам вижу и чувствую, столь оригинальна и не похожа на то, как другие пишут, что решительно не жду одобрения от нашей критики. Публика, читатели — другое дело: они всегда меня поддерживали».

«исповеди горячего сердца», встречи Катерины Ивановны с Грушенькой и т. п., но высказывая при этом иногда уже достаточно точные прогнозы о дальнейшем развитии сюжета романа. Так, например, восхищаясь «исповедью горячего сердца», автор анонимного обозрения «Русская литература», помещенного в газете «Сын отечества» (1879, 28 марта, № 72), заканчивает ее разбор следующим резюме: «...автор не оставляет в порочных Карамазовых ни одной складочки, которой не коснулся своим психологическим анализом. Что автор разовьет далее и создаст на подготовленной им почве — неизвестно, но из нескольких обстоятельств можно вывести заключение, что он готовит для читателей ужасную драму, в которой одну из главных ролей придется играть Грушеньке». Рецензент же газеты «Современность» (1879, 1 марта, № 25) проницательно указывал на Зосиму, который, «по-видимому, должен изобразить „положительное" лицо произведения и в речи которого ⟨...⟩ автор вкладывает весьма многое из высказанного уже им в „Дневнике писателя"».

Приблизительно с этого момента в объективно-беспристрастное, по преимуществу благожелательное обсуждение романа вторгается полемика. Тон откликов заметно меняется, переходя временами в крайне раздражительный. Авторы многих газетных статей и рецензий согласным хором предъявляют Достоевскому обвинение в мистицизме.

Предваряя более развернутые отрицательные суждения, выраженные в ряде статей о «Братьях Карамазовых», печатавшихся в ней в течение года, газета «Молва» уже в феврале помещает на своих страницах обзор «Мысли по поводу текущей литературы». Здесь отмечается с пренебрежением и даже сарказмом: «Кроме неизбежного во всех романах г. Достоевского психиатрического элемента, немалое мы видим в новом романе возлияние и деревянного маслица. Так, в монастыре ведется между действующими лицами целый богословский спор насчет того, церковь ли должна слиться с государством и обратиться в него, или, наоборот, государство обратиться в церковь, и кончается спор, конечно уж, утверждением последнего положения...» («Молва», 1879, 16 февраля, № 45).[1] «Возлияние ⟨...⟩ деревянного маслица» еще резче осуждается в газете «Голос». По мнению критика «Голоса», в «Карамазовых» «что ни „образованный" человек, то или негодяй, или психически больной, или готовый своротить с пути чести и правды ⟨...⟩ Наоборот, положительными героями в „Братьях Карамазовых" являются только те люди, которые говорят текстами из священных книг, читают Четьи-Минеи или по крайней мере носят подрясник и входят в общение с монастырскими подвижниками» («Голос», 1879, 8 марта, № 67).

В следующем фельетоне «Голос» писал о романе еще более резко: «Г-н Достоевский — прежде всего Жозеф де Местр, возмущенный безбожием современного мира и требующий самого радикального и беззаветного поворота к прошлому ⟨...⟩ к самым отдаленным и суровым временам средних веков. „Религия любви" у писателей пошиба де Местра постоянно на языке ⟨...⟩ Но кто не заражен де-местровским гневом и де-местровскими вожделениями, тому всегда будет казаться, что их религия, скорее всего, религия мести и ненависти ⟨...⟩ Неприятно ⟨...⟩ видеть, когда ненависть рядится в любовь, когда из-за слащавой физиономии смиренномудрого инквизитора высовываются красные языки пылающего костра...» (там же, 30 мая, № 148). «...Г-н Достоевский чистосердечно убежден, что как только будут приложены к делу его благочестивые мысли, так на земле воцарится братская любовь, полная кротости и всепрощения. К сожалению, история показывает не то. Она утверждает, что никогда жестокость и кровожадность не праздновали на земле таких исступленных оргий, никогда человеческая кровь не лилась такими обильными потоками, никогда утонченная злоба

---

[1] В 1879 г. «Молва» напечатала четыре статьи о «Братьях Карамазовых». Первая и вторая подписаны псевдонимом «Заурядный читатель» (А. М. Скабичевский), третья и четвертая — псевдонимом «Отшельник» (В. Ф. Корш).

не придумывала таких лютых и продолжительных пыток, как в те времена, когда государство забывало о своем временном, земном характере и врывалось в область вечного, в область догмата. Ничто не может сравниться с тою беспощадною свирепостью, с которою некогда государство, преследуя цели, чуждые ему по существу, насильно посылало людей в царствие небесное» (там же).

Уподобляя де Местра и Достоевского мореплавателям, которые, «видя приближение шквала, выбрасывают за борт ⟨...⟩ все, что только выбросить можно», обозреватель «Голоса» определил основную идею «Братьев Карамазовых» следующим образом: «Только религия, и притом религия ⟨...⟩ распространяемая огнем и мечом, способна удержать современное человечество как от язвы разврата, так и от гангрены атеизма и революционных учений» (там же).

Неудивительно, что Достоевский обратил особое внимание на враждебно тенденциозное освещение идейно-философской концепции его романа в «Голосе» и собирался полемизировать с этой газетой. 3 мая 1879 г. он писал В. Ф. Пуцыковичу: «...очень попрошу Вас по крайней мере в первых нумерах не отвечать „Голосу" и другим по поводу „Карамазовых" и проч. ⟨...⟩ Надо повременить. „Голосу" я отвечу и сам, но лишь осенью, когда узнаю в точности, кто писал. Это мне очень нужно для характера ответа».

Не менее резкие выпады религиозно-философские мотивы романа вызвали и в некоторых других умеренно-либеральных органах печати, вступивших в полемику с автором несколько позднее. Так, предъявляя писателю обвинение в нежелании «наблюдать людей и изучать жизнь», газета «Новости» (1879, 18 мая, № 125), например, настаивала на том, что «единственная несомненная реальность» у Достоевского — «его собственное воображение, могучее, но странное, искаженное, выродившееся». «Литературная хроника» этой газеты, подписанная инициалами «В. Ч.» (В. В. Чуйко), заканчивалась утверждением, что в романе задает тон «не объективная правда действительности», а «правда, лично принадлежащая г-ну Достоевскому, с мрачным характером мистического изуверства, с припадком почти сумасшествия». О полемике Достоевского как раз в это время с Е. Марковым, в споре с которым в письме к Е. А. Штакеншнейдер от 15 июня 1879 г. он отстаивал реальность своего творчества, мотивируя свой интерес к общественной патологии тем, что «болезнь и болезненное настроение лежат в корне самого нашего общества», см. на стр. 426—427.

Негодующей отповедью Достоевскому была пронизана и статья А. Горшкова (Н. А. Протопопова) «Русская журналистика», напечатанная в газете «Русская правда» (1879, 22 июня, № 51), издававшейся демократическим литератором Д. Гирсом. Здесь прежде всего утверждается, что вопрос об отношении церкви к государству, затронутый в романе Достоевского, — «логический результат его воззрения на человека как на „орудие сатаны" и вместилище всяческой скверны». «Не хлебом единым живет человек, это, конечно, так, — иронически соглашается критик, — но дело в том, что без хлеба жить человеку тоже невозможно ⟨...⟩ Вот почему ⟨...⟩ все проповеди аскетизма, умерщвления плоти и т. д. были голосом вопиющего в пустыне, не увлекали и не волновали масс, тогда как каждое слово, призывавшее к жизни, к борьбе за счастие, к надежде, жадно подхватывалось ими на лету». И далее: «До сих пор г-н Достоевский ограничивался в своих произведениях только ⟨...⟩ отрицательною разработкою своего идеала. В знаменитом „Преступлении и наказании" он, в лице Раскольникова, припизил протест личности против несправедливости жизни, только намекнувши, образом Сони, на то — где и в чем ⟨...⟩ человек должен искать исхода и утешения. Исход — в смирении, утешение — в самоотречении. Теперь, в „Братьях Карамазовых", этот основной мотив разрабатывается им во всех подробностях ⟨...⟩ Те страницы романа, — заключает критик, — на которых монастырские „старцы" являются перед читателями окруженные блестящим ореолом неземного величия и неземной мудрости, едва ли могут возбудить что-нибудь, кроме сожаления о писателе, которому даже почти гениальный талант не помог освободиться от уз мистицизма».

Немало аналогичных язвительных пассажей и в статье Л. Е. Оболенского о романе, помещенной в журнале «Свет» (подписана «N. N.»): «Господину Достоевскому угодно было сделать своего героя ⟨Алешу, — *Ред.*⟩ мистиком. Конечно, это его добрая воля; но позволяем себе заметить почтенному автору, что это анахронизм. Современная действительность имеет и пессимистов, и аскетов, но они являются не на мистической подкладке» («Свет», 1879, № 9, стр. 101). По существу ту же аргументацию выдвигает «Молва», вновь вступившая осенью в полемику с Достоевским: «Вместо того чтобы рисовать нам в перспективе реальные условия возможно большей справедливости и счастия на земле, г. Достоевский влечет нас за собою в опустевшую теперь Фиваиду, обещая доставить там счастие, которое, как уже давно и положительно дознано, может быть только фантастическим» («Молва», 1879, 19 октября, № 288).

Среди органов периодической печати, безоговорочно осуждавших «мистицизм» романа Достоевского, относительную сдержанность в оценках проявила лишь газета «Неделя». Для автора статьи, напечатанной в этой газете, очевидно, что «Алеша сильно напоминает» князя Мышкина, «с тем только различием, что герою нынешнего романа приданы черты религиозного энтузиазма», что «в этих вопросах и должно видеть главный нерв романа». Не одобряя склонности к разработке этих вопросов, а также и предисловия Достоевского, в котором на передний план выдвигался именно образ Алеши, критик дипломатично замечает: «Всякому понятна важность подобной темы, но, разумеется, все зависит от того, как будет трактовать ее автор ⟨...⟩ чтобы герой, по-видимому олицетворяющий в себе идею романа, мог изобразить собою „сердцевину" эпохи. Что до нас, мы не ожидаем этого, потому что тот оттенок новизны, который автор старается придать своему герою, есть оттенок обманчивый, вытекающий из некоторой сбивчивости понятий» («Неделя», 1879, 29 апреля, № 5, стлб. 160).

Несмотря на враждебную интерпретацию «мистицизма» Достоевского, почти во всех названных статьях не ставились под сомнение высокие достоинства романа как художественного произведения. Так, например, тот же критик «Недели» выражал уверенность, что «Братья Карамазовы» будут «одним из лучших романов г-на Достоевского ⟨...⟩ по обилию живых, реалистических черт всякого рода...» (там же, стлб. 163). Даже «Литературная летопись» «Голоса» отмечала, что талант Достоевского не только «велик», но и «очень своеобразен», так как он рисует жизнь «экстренную, чрезвычайную, изумительную», не похожую на будничную жизнь «дюжинных ⟨...⟩ Иванов Иванычей и Петров Петровичей, которых мы можем видеть на каждом шагу» («Голос», 1879, 30 мая, № 148).

Указывая на необычность сюжета романа, на исключительность его героев, обозреватель «Голоса» подчеркивает безошибочное художническое чутье Достоевского, помогающее ему успешно решать самые трудные психологические и композиционные задачи: «Несмотря на всю чудовищность и дикость положений, в которые ставятся его действующие лица, несмотря на несообразность их действий и мыслей, они являются живыми людьми. Хотя читателю иногда приходится ⟨...⟩ чувствовать себя в обстановке дома сумасшедших, но никогда в обстановке кабинета восковых фигур ⟨...⟩ в романах г-на Достоевского нет фальши...» (там же, 7 июня, № 156). Обращаясь к более конкретному рассмотрению героев романа, критик находит, что «верх искусства и верх вдохновения» представляет собою образ Дмитрия — «соединение необузданной чувственности и честной натуры, потребности в нравственной грязи и потребности в анализе собственной души, задорной неуживчивости и нежной, любящей натуры, мнительного самолюбия и совершенно искреннего самобичевания — характер новый в русской литературе, равно далекий от „лишнего человека", столь часто изображаемого с виртуозным совершенством, и от „новых людей", почти всегда рисуемых с наивным неуменьем вывесочного живописца ⟨...⟩ Среди обилия фигур, равно хороших и на первом, и на втором, и на третьем планах, выдается настоящим королем, как chef d'œuvre, Дмитрий Федорович Карамазов...» (там же, 30 мая, № 148). В pendant этой характеристике Дмитрия звучит

неожиданно положительная характеристика Алеши в журнале «Свет» (1879, № 9, стр. 101). И здесь говорится о непогрешимости «художественного чувства» Достоевского, которому «мы обязаны тем, что его Алексей и под рясой монаха остается немонахом. В нем столько черт, знакомых каждому, в нем так мало монашеского, такая жажда быть живым, деятельным членом окружающей действительности, он так часто мешается в чужие дела, дела совершенно земные, что ему недостает только идеи „общества", во имя которого он стал бы работать, вместо идеи *личности,* для которой работает теперь...».

Обозреватели газеты «Молва» и журнала «Свет» (А. М. Скабичевский и Л. Е. Оболенский) проявляют полную солидарность в оценке изображений «униженных и оскорбленных» в последнем романе Достоевского. Первый, говоря о главах «Надрывы в избе» и «На чистом воздухе», приходит к заключению, что «эти главы представляют собою лучшие страницы из всего когда-либо написанного г. Достоевским», так как здесь он «является перед нами 〈...〉 художником-страдальцем, пишущим кровью своего сердца...» («Молва», 1879, 25 мая, № 141). Второй наиболее удачными в этом отношении эпизодами считает встречу Илюшечки с Алешей и его «детское мщение» («Свет», 1879, № 9, стр. 102).

Почти восторженны суждения некоторых оппонентов Достоевского о языке и пластичности образов его романа. С этой точки зрения в «Братьях Карамазовых», по определению критика «Голоса», «хороша не эта или та глава, не это или то лицо, не этот или тот разряд лиц — нет, каждая страница хороша 〈...〉 Пишет ли он любовное письмо молодой, неопытной девушки — у него девический слог и девические мысли. Заставляет ли он, всего в двух строчках, жену лакея, степенную и умную женщину, отвечать тоном почтительного несогласия с своим мужем, у которого она в строжайшем подчинении, — у него простонародные слова и простонародные русские нравы, не те, которые можно списать у Решетникова или Слепцова, а прямо подслушанные у жизни. Изображает ли он монахов 〈...〉 он не путается, не сбивается во множестве толпящихся фигур, а каждой из них дает вполне отчетливые, жизненные, бойко и правильно нарисованные контуры, так что Зосима не похож на Паисия, Паисий не смахивает на Ферапонта, никто из них не напоминает собою отца игумена, а между тем и Паисий, и Зосима, и Ферапонт, и отец игумен — полны жизни, возбуждают и приковывают к себе воображение читателя 〈...〉 Та же тщательная отделка и та же неослабевающая сила кисти видны 〈...〉 в описаниях 〈...〉 разговорах; даже более всего мастерства именно в разговорах, исключая двух-трех мест, где разговоры 〈...〉 превращаются в диссертации, а действующие лица — в воплощения самого автора» («Голос», 1879, 30 мая, № 148). Обнаруживая тонкое понимание замысла шестой книги романа (см. письмо Достоевского к Н. А. Любимову от 7(19) августа 1879 г.: стр. 482), критик «Молвы» (на этот раз В. Ф. Корш) отмечал: «„Житие" 〈...〉 блещет талантом на каждой странице 〈...〉 Усвоив себе манеру старца в повествовании об его жизни, автор и от себя выражается точно так же, как и старец Зосима. Умершего старца убирают не по древнему, а по *древлему* обряду, множество граждан не пошло, а *потекло* в монастырь 〈...〉 греховное „уважать" заменяется более возвышенным „чтить"...» и т. п. («Молва», 1879, 19 октября, № 288). Эти суждения противоречили установившейся традиции, согласно которой язык Достоевского, однообразный и монотонный, проигрывает при сравнении его с языком других мастеров слова, а его персонажи, независимо от различия их социального положения, уровня интеллекта, образовательного ценза и даже возраста, говорят языком автора и т. п.

Ознакомившись с пятой книгой романа, К. П. Победоносцев, как мы уже знаем, писал Достоевскому 16 августа 1879 г.: «Ваш „Великий инквизитор" произвел на меня сильное впечатление. Мало что я читал столь сильное. Только я ждал — откуда будет отпор, возражение и разъяснение — но еще не дождался» (*ЛН*, т. 15, стр. 139). Достоевский заверил адресата, что «возражение» последует своим чередом, и оно действительно последовало в шестой книге «Русский инок» (ср. стр. 482). Однако содержание глав, возбудивших

столь явные опасения у Победоносцева, — глав, в которых, по определению А. С. Долинина, «рядом с реакционной идеей сила отрицания мирового порядка и всего существующего строя достигает своей вершины» (*Д, Письма*, т. IV, стр. 384), в дальнейшем не менялось. Достоевский не смягчил ни одной протестующей ноты в философско-исповедальных беседах Ивана Карамазова с Алешей. Вопреки желанию Победоносцева и субъективным намерениям самого Достоевского, «возражение» не возобладало в романе, и между pro и contra установилось некое зыбкое равновесие. Что же касается читателя, то идейно-эстетическое воздействие, производимое на него богоборческими главами, было настолько сильно, что нередко безусловно заслоняло впечатление от проповеди Зосимы. Этого не решались отрицать и политические противники Достоевского. В критике 1879 г. и последующих лет, переполненной и резонными, и тенденциозными нападками на монастырские сцены «Братьев Карамазовых», нет ни одного пренебрежительного суждения о главах «Бунт» и «Великий инквизитор». Даже М. А. Антонович, истолковывавший pro и contra как явления идеологически адекватные, способствующие упрочению ныне существующих религиозно-государственных устоев, все-таки вынужден был уже в 1881 г. признать: «Иван ⟨...⟩ религиозный вольнодумец или религиозный скептик; он видит в мире явления, которые служат для него камнем преткновения и соблазна и не гармонируют с его религиозными представлениями. Все эти свои сомнения и соблазны он откровенно исповедал Алеше, и его бурная, горячечная, иногда даже смахивающая на бред исповедь, так же как и его поэма „Великий инквизитор", представляют единственные поэтические страницы во всем романе ⟨...⟩ Конечно, по мыслям, по содержанию эта исповедь религиозно сомневающегося скорее сердца, чем ума, не представляет ничего нового и оригинального; эти сомнения формулированы и кодифицированы давным-давно, и для разбора и умиротворения их существует даже особый отдел в теологической философии, который называется теодицеей. Но форма этих сомнений у Ивана действительно художественна» («Новое обозрение», 1881, № 3, стр. 210—211).

Но уже в 1879 г. критик «Молвы», закончивший публикацию статей о романе значительно позже своих коллег по полемике и потому имевший возможность ознакомиться с главами «Бунт» и «Великий инквизитор» и высказаться о них, отмечает, что они производят «на читателя потрясающее впечатление. Страшную картину людской несправедливости и страданий рисует Иван Карамазов своему брату, чтоб объяснить свое неверие» («Молва», 12 октября, № 281).

Как видим, первые печатные отзывы о романе уже в 1879 г. показывают, что положительные оценки романа если и не уравновешивали нападок на него, то во всяком случае составляли им достаточно серьезную оппозицию. Пожалуй, наиболее положительную оценку реализму романа, не касаясь при этом его религиозно-философской проблематики, дала одесская газета «Правда». Автор статьи, напечатанной в этой газете (С. Сычевский), определяет роман как «произведение колоссальное, о размерах и значении которого теперь едва-едва можно догадываться». В его интерпретации «„Братья Карамазовы" — это целый мир русских типов» («Правда», 1879, 9 июня, № 125).

В конце 1879 г. в журнале «Русская речь» появляется восьмая по счету «Критическая беседа» Е. Маркова. Написанная, в противоположность предыдущим его статьям о Достоевском, более спокойно и благожелательно, она примечательна впервые данным в ней сопоставлением «Братьев Карамазовых» с «Ругон-Маккарами» Э. Золя и «Отверженными» В. Гюго. Марков утверждал, что Достоевский независимо от Золя и с бо́льшим, чем у того, эффектом применил в своем романе метод характеристики героев с учетом их наследственных данных. Достоевский, по словам Маркова, «представляет нам целую маленькую галерею семейных портретов», внешне как будто совсем не похожих друг на друга, «а вникнешь глубже — все та же карамазовщина на разные манеры. В старом греховоднике отце сидит та же коренная фамильная страстность, что и в иночествующем Алеше; и красноречивый дипломат Иван оказывается, в сущности, таким же грубым рабом своей

плоти, как и отпетый братец его, Дмитрий. Эта семейственность черт проведена в романе очень просто, без всяких натяжек, и сильно содействует правдивости, а стало быть, и жизненности типов» (*PP*, 1879, № 12, стр. 268). Далее Марков сравнивает Зосиму с епископом из «Отверженных», заключая, что выгода сравнения явно в пользу героя Достоевского, так как «старец Зосима, в каждом жесте и слове своем, дышит письмом с натуры, невыдуманною человеческою личностью» (там же, стр. 282).

В. П. Буренин в своих «Литературных очерках» полемизировал с поверхностными, «формально-либеральными», по его определению, критиками и читателями, осуждавшими Достоевского за обилие в его романе «лампадного масла» и «психиатрической истерики». «...„Лампадное масло", — пишет Буренин, — может претить и в художестве и в морали только тогда, если оно разливается ⟨...⟩ из лицемерных побуждений и ⟨...⟩ носит на себе характер простой обрядности, в которой не участвует искренность сердца и сознательное созерцание мысли. Но ведь при таких условиях равно претят и другие элементы в художестве и в морали ⟨...⟩ даже самые „современные", модные ⟨...⟩ Если же это ⟨...⟩ „лампадное масло" является продуктом исстрадавшейся глубокой жизненной скорбью души ⟨...⟩ то, как бы ни было „ненаучно" и несовременно подобное настроение, в нем несомненно заключается известная реальная сила ⟨...⟩ Нечто подобное можно сказать и об участии психиатрической истерики в таланте и произведениях нашего автора. Будь эта истерика искусственная, притянутая за волосы с расчетом на известные внешние эффекты, — она является ложным ⟨...⟩ элементом в романе или повести. Но когда эта истерика извлечена автором из действительности ⟨...⟩ когда этой истерикой проникнута наша современная жизнь ⟨...⟩ когда притом автор ⟨...⟩ наделен необычайною способностью схватывать самые выразительные и поразительные черты этой истерики ⟨...⟩ — при таких условиях эта ⟨...⟩ истерика является очень поучительной ⟨...⟩ В последнем произведении г-на Достоевского оба помянутые элемента связаны органически с теми фигурами и с теми мотивами романа, которые составляют основу его общего замысла и действия ⟨...⟩ в форме поучений умирающего старца автор затрогивает, в сущности, такие струны злобы дня, которые должны чутко отзываться в сердце каждого, кто живет этою тревожною злобой, для кого она невольно сделалась предметом неустанных дум» (*НВр*, 1879, 14 сентября, № 1273).

В полемических замечаниях Буренина обращает на себя внимание понимание теснейшей связи «Братьев Карамазовых» с животрепещущей современностью, с ее мучительно решаемыми и нерешенными социально-политическими и нравственно-философскими проблемами. О ней критик писал уже в первом из своих «Литературных очерков», характеризуя «психологический анализ и талантливо-нервное изложение» романа: «Несмотря на исключительность характеров, рисуемых автором, несмотря на психиатрический их склад, в них отражаются самые основные стороны русской жизни с ее своеобразными общественными и умственными искажениями, порожденными глубокой внутренней ломкой ее общего строя и тревожными порывами к самосознанию...» (там же, 9 марта, № 1087).[1]

Особого внимания среди откликов 1879 г. на «Карамазовых» заслуживает вызванный появлением восьмой книги романа полемический ответ Щедрина Достоевскому.

В ноябрьской и декабрьской книжках «Отечественных записок» за 1879 г. Щедрин помещает свои заметки «Первое октября» и «Первое ноября. — Первое декабря» (из цикла «Круглый год»), в которых он отозвался [2] на письмо к нему г-жи Хохлаковой (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 350). Возможно,

---

[1] Не случайно тонкий ценитель романа (см. стр. 512) художник И. Н. Крамской заметил, что «„Братья Карамазовы" Достоевского были оценены приблизительно верно одним Бурениным» (*Крамской*, т. II, стр. 166).

[2] См.: *Салтыков-Щедрин*, т. XIII, стр. 776—778.

что в одной из фраз этого письма сатирик усмотрел иронию по поводу закрытия «Современника» и намек на то, что идеи этого журнала развиваются в «Отечественных записках». В самом деле, если «Современник» был закрыт после покушения Каракозова, то в 1879 г., когда произошло новое покушение на жизнь Александра II, Щедрин вполне мог опасаться всякого рода литературных и политических намеков, грозивших тою же участью или по крайней мере цензурными гонениями и его журналу (см.: *Борщевский*, стр. 316—318). Но щедринская полемика захватывала и более широкий круг общественных и литературных вопросов.

Оценивая образ Хохлаковой как неудачную вариацию типов гоголевских дам — «просто приятной» и «приятной во всех отношениях», Щедрин пишет: «...писатель поступит несогласно с истиной и совершенно бестактно, если в уста Хохлаковой вложит „страшные слова" 〈...〉 незамоскворецкого пошиба. Таковы, например: „прозелит", „преуспеяние", „Современник" и другие. Перед этими словами Хохлакова может только трепетать, но произносить их отчетливо, безошибочно и притом самостоятельно она не в силах. Она наверное перепутает, смешает: „прозелита" с „протодиаконом", „преуспеяние" с „успением", „Современник" с „Временем" или „Эпохой"» (ОЗ, 1879, № 12, стр. 230). Упоминание в одном контексте о «Современнике», «Времени» и «Эпохе» воскрешало в памяти читателя многолетней давности полемику между Щедриным и Достоевским 1863—1864 гг. Едкими же словечками «протодиакон» и «успение» Щедрин метил в «теперешнего» Достоевского. Здесь речь шла уже не столько об образе Хохлаковой, сколько об идейной специфике романа в целом, обусловленной проповедями старца Зосимы и подвергавшейся как до, так и после опубликования заметок Щедрина ожесточенному обстрелу в ряде органов либеральной и демократической печати.

Далее Щедрин иронически замечает, что было бы гораздо естественнее и правдоподобнее речи, компрометирующие «Современник» и «Отечественные записки», вложить в уста не Хохлаковой, а Федора Карамазова. «Этот развратный и насквозь прогнивший старикашка, — замечает он, — действительно должен быть сердит на меня, и так как он, по природе своей, на всякие предательства способен, то, конечно, мог и в данном случае соорудить что-нибудь воистину язвительное» (там же). Роман к этому времени был еще далек от окончания, между тем Щедрин здесь и ниже судит о Федоре Карамазове как о персонаже, вполне раскрытом во всех своих потенциях. Больше того, он говорит даже о таких чертах характера Федора Карамазова, которые, по его мнению, не обозначены у Достоевского, но как бы имеют право на существование и независимо от его воли. «Г-н Достоевский, — продолжает он, — очень тонко подметил в своем герое одно очень гнусное качество, которое он назвал „сластничеством", но он упустил из вида, что рядом с „сластничеством" в этом протухлом сердце свило гнездо еще и человеконенавистничество 〈...〉 что такое Карамазов? — это не человек, а оборотень; это нечистое животное, которому горькая случайность дала возможность восхитить человеческий образ. Вот истина, которая сделалась понятною уже для очень многих, как равно и то, что у оборотня ничего другого и быть не может на уме, кроме первородного свинства» (там же, стр. 231).

В этих полемических заметках Щедрина образ Иудушки (из «Господ Головлевых») как бы незримо сопутствует образу Федора Карамазова. Назвав Достоевского в своих заметках одним из «наиболее чутких последователей Гоголя» (там же, стр. 229), Щедрин, возможно, желал намекнуть на использование в «Братьях Карамазовых» и своей, щедринской традиции.

О желании Достоевского (неосуществленном) ответить Щедрину см. стр. 434—435.

Печатные отзывы о романе, появившиеся в течение 1879 г., нужно дополнить дошедшими до нас читательскими письмами к Достоевскому, а также суждениями о «Карамазовых» в переписке современников.

В марте 1879 г. харьковская писательница и общественная деятельница Х. Д. Алчевская писала А. Г. Достоевской: «Новый роман Федора Михай-

ловича читается у нас с величайшим интересом — не успеваю удовлетворять просьбам моих знакомых выдать „Русский вестник" из моей библиотеки» (*ЛН*, т. 86, стр. 478; см. также стр. 479).

Однако даже среди близких друзей и знакомых Достоевского не все были довольны романом. Так, консервативно настроенный А. Н. Майков 18 июня 1879 г. писал о «Карамазовых»: «Не знаю, куда все приведет, но пока ни зги впотьмах не видно» (там же, стр. 485). Тревогу К. П. Победоносцева, опасавшегося, как бы сомнения Ивана и его «бунт» не оказались для читателя более убедительными, чем религиозная проповедь Зосимы, разделила отражавшая настроение придворных кругов фрейлина Е. Ф. Тютчева (дочь поэта). Она писала 4 октября 1879 г. Победоносцеву: «Мы прочли последнюю часть „Братьев Карамазовых". Достоевский взялся за слишком трудное дело, желая совместить в своем романе, изобразить *словом* то, что одна жизнь может *совокупить*, — и сильный человеческий дух, просвещаемый и наставляемый свыше, *примирить*, т. е. соблазн внешний веры, малодушия и малоумия верующего, с беспредельною гармониею Истины. Есть глубокие ключи, которых не может, не должно касаться человеческое слово. Не словопрениями изгоняется сей темный дух соблазна и самовольного сомнения — но токмо молитвою и постом. Разоблачать язву, выставлять ее напоказ — можно, но кто ее исцелит?» (там же, стр. 489).

Особый интерес для истории восприятия романа имеют дошедшие до нас два письма к другу и позднейшему биографу писателя О. Ф. Миллеру от 17 июля и 14 августа 1879 г. музыкального критика, беллетриста и композитора-дилетанта Ф. М. Толстого (с упоминанием о третьем — более раннем — письме). Резкое неприятие Достоевского, выраженное Толстым в первых письмах, сменяется в третьем восторженным панегириком исповеди Ивана, поэме «Великий инквизитор» и роману в целом, а вместе с тем и его автору — «суровому и глубокому мыслителю» (там же, стр. 486—489).

Интересна запись в дневнике В. Н. Третьяковой (жены основателя Третьяковской галереи) от 5 ноября 1879 г. о чтении ею вместе с мужем первых трех книг «Карамазовых», которые «послужили мотивом» для их «долгих бесед» и духовно сблизили их (там же, стр. 124). Через полгода, в июне 1880 г., В. Н. Третьякова снова записала в дневнике: «Это время я читала вещих „Братьев Карамазовых" Достоевского и наслаждалась психическим анализом вместе с Пашей, чувствуя, как в душе все перебирается и укладывается как бы по уголкам все хорошее и мелкое. Благодаря „Братьям Карамазовым" можно переработаться и стать лучше» (там же, стр. 127).

К 5 ноября 1879 г. относится и полная энтузиазма запись в другом дневнике — генерал-лейтенанта, члена Славянского благотворительного общества А. А. Киреева: «Я в восторге от „Карамазовых". Его определение вечных мук ада — глубоко философское: невозможность любить и жертвовать собою и страдать за других. Едва ли когда-либо в русской *беллетристике* появлялось что-либо более глубокое!!» (там же, стр. 490). Отзыв этот не мог стать известен Достоевскому, но из бесед с Киреевым и его писем (там же, стр. 475) он, без сомнения, знал о восторженном приеме романа Киреевым.

Поэт К. Р. (великий князь К. К. Романов) отозвался 11 ноября 1879 г. в своем дневнике о третьей части «Братьев Карамазовых»: «Есть блестящие места, но первые части лучше» (там же, стр. 136).

Скептическое отношение радикально настроенной демократической интеллигенции к «Карамазовым» и их автору отражает письмо Ф. Н. Китаева к Е. С. Некрасовой от 21 ноября 1879 г. с критикой психологического реализма Достоевского (там же, стр. 490-492; ср. о Китаеве: там же, стр. 441).

Отклики на роман, относящиеся к 1880 г., не столь многочисленны, как отклики 1879 г. Это можно объяснить временным охлаждением интереса к нему в связи с пушкинскими празднествами, вызвавшими чрезвычайное оживление прессы, и выжидательной политикой «толстых» журналов, по-видимому намеренно воздерживавшихся от обсуждения романа до тех пор, пока не будет закончена его публикация в «Русском вестнике».

Из отрицательных отзывов о романе в 1880 г. можно отметить статьи «Новости русской литературы. Ф. М. Достоевский — „Братья Карамазовы"» («Огонек», 1880, 16 апреля, № 17, стр. 333—335) и «Автор „Переписки с друзьями", воскресший в г-не Достоевском» («Новости и Биржевая газета», 1880, 19 августа, № 219). В первой из них, подписанной псевдонимом «Дилетант», встречается целый ряд определений, представляющих собою цитаты из охарактеризованной выше статьи В. В. Чуйко, помещенной в газете «Новости» за 1879 г. (стр. 489), что и неудивительно, ибо В. В. Чуйко и «Дилетант» — одно и то же лицо. Содержание обеих статей очень близко и по существу. Фельетон, напечатанный в «Новостях и Биржевой газете», принадлежал В. О. Михневичу, укрывшемуся под псевдонимом «Коломенский Кандид». Значительная часть его посвящена сопоставлениям «Дневника писателя» с «Перепиской с друзьями» с целью подчеркнуть реакционность публицистики Достоевского. Смысл немногих замечаний Михневича о «Карамазовых» сводился к тому, что «неконченный ⟨...⟩ и нескончаемый» роман представляет собою «нервическую чепуху», близкую той, которая отмечалась еще Белинским в произведениях Достоевского, написанных после «Бедных людей».[1]

В начале августа 1880 г. К. П. Победоносцев — по-видимому, намеренно — прислал Достоевскому отзыв К. Н. Леонтьева о Пушкинской речи и «Карамазовых», что вызвало ответную реплику писателя в письме Победоносцеву от 16 августа 1880 г.: «Благодарю за присылку „Варшавского дневника"; Леонтьев в конце концов немного *еретик* — заметили Вы это? Впрочем, об этом поговорю с Вами лично, когда в конце сентября перееду в Петербург, в его суждениях есть много любопытного».

Статья К. Н. Леонтьева «О всемирной любви» («Варшавский дневник», №№ 162, 169 и 173 от 29 июля, 7 и 12 августа 1880 г.),[2] как давно выяснено в литературе, имеет для понимания и оценки «Карамазовых» принципиальное значение. Отражая и свое собственное мнение строгого ревнителя православия, и взгляды консервативно настроенных церковных кругов, автор подверг в них роман и Пушкинскую речь суровой критике за отступление от ортодоксальной церковной догмы и «слишком *розовый* оттенок, вносимый в христианство *этою речью*» (*Леонтьев,* т. VIII, стр. 199). В страстной, восторженной проповеди Достоевским всечеловеческого братства, примирения и единения народов в некой всеобщей гармонии Леонтьев увидел опасные признаки тайной верности Достоевского демократическому гуманизму европейского типа, противоречащему аскетическим основам православия и религии вообще. «Все эти надежды на земную любовь и на мир земной, — писал Леонтьев, — можно найти и в песнях Беранже, и еще больше у Ж. Занд, и у многих других ⟨...⟩ Гуманность ⟨...⟩ может вести к тому сухому и самоуверенному утилитаризму, к тому эпидемическому умопомешательству нашего времени, которое можно психиатрически назвать mania democratica progressiva. Все дело в том, что мы претендуем *сами по себе,* без помощи божией, быть или очень добрыми, или, что еще ошибочнее, быть полезными ⟨...⟩ Горе, страдание, разорение, обиду христианство зовет даже иногда *посещением божиим*. А гуманность простая хочет стереть с лица земли эти *полезные* нам обиды, разорения и горести...» (там же, стр. 199, 203).

По учению церкви, мир «лежит во грехе», доказывал Леонтьев, и спасение его на земле невозможно. Блаженство возможно лишь за гробом, в потустороннем мире. Достоевский же, разделяя веру демократов и со-

---

[1] Ср. также статьи о «Братьях Карамазовых»: «Южный край», 1880, декабрь, №№ 19, 21, 26, 27; «Новости и Биржевая газета», 1880, 30 декабря, № 347.

[2] В письме от 12 августа Победоносцев упоминает лишь о второй статье Леонтьева (*ЛН,* т. 15, стр. 146). Неизвестно, была ли им послана Достоевскому только эта статья или все три (ср.: *Д. Письма,* т. IV, стр. 433—434).

циалистов, хочет преобразовать мир, стремится к раю не на небе, а на земле.

В тесной связи с этими упреками Достоевскому за стойкость его демократических и социалистических убеждений находятся критические высказывания Леонтьева о «Братьях Карамазовых».

По его мнению, сильные страницы романа предопределило ощущение «нестерпимого *трагизма жизни*», гармонирующее с учением церкви о том, что земной мир проклят и «лежит во грехе». Все «горячее, самоотверженное и нравственно привлекательное» в поступках и настроениях героев Достоевского осталось бы под спудом, если бы не было «будпично-трагических» условий жизни, избранных автором в качестве главного сюжетного основания для своего романа (там же, стр. 193). Развивая свою мысль, Леонтьев продолжает: «Мы найдем это в доме бедного капитана, в истории несчастного Илюши и его любимой собаки, мы найдем это в самой завязке драмы: читатель знает, что Дмитрий Карамазов не виновен в убийстве отца и пострадает напрасно. И вот уже одно появление следователей и первые допросы производят нечто подобное; они дают тотчас действующим лицам случайно обнаружить побуждения высшего нравственного порядка; так, напрм⟨ер⟩, лукавая, разгульная и даже нередко жестокая Груша только при допросе в первый раз чувствует, что она этого Дмитрия истинно любит и готова разделить его горе и предстоящие, вероятно, ему карательные невзгоды. Горести, обиды, буря страстей, преступления, ревность, зависть, угнетения, ошибки, с одной стороны, а с другой — неожиданные утешения, доброта, прощение, отдых сердца, порывы и подвиги самоотвержения, простота и веселость сердца! Вот *жизнь*, вот единственно возможная на этой земле и под этим небом *гармония. Гармонический закон вознаграждения — и больше ничего.* Поэтическое, живое согласование светлых цветов с темными — *и больше ничего.* В высшей степени цельная полутрагическая, полуясная опера, в которой грозные и печальные звуки чередуются с нежными и трогательными, — и *больше ничего!*» (там же, стр. 193-194).

Но в «Братьях Карамазовых» Леонтьев обнаружил и серьезные уклонения Достоевского от «церковного пути».

«В романе „Братья Карамазовы", — писал Леонтьев, — весьма значительную роль играют православные монахи; автор относится к ним с любовью и глубоким уважением ⟨...⟩ Старцу Зосиме присвоен даже мистический дар „прозорливости" ⟨...⟩ Правда, и в „Братьях Карамазовых" монахи говорят не совсем то, или, точнее выражаясь, *совсем не то,* что в действительности говорят *очень хорошие* монахи и у нас, и на Афонской горе ⟨...⟩ Правда, и тут как-то мало говорится о богослужении, о монастырских послушаниях; ни одной церковной службы, ни одного молебна... *Отшельник и строгий постник* Ферапонт, мало *до людей* касающийся, *почему-то* изображен неблагоприятно и насмешливо... *От тела* скончавшегося старца Зосимы *для чего-то* исходит *тлетворный дух* ⟨...⟩ было бы гораздо лучше сочетать *более сильное мистическое чувство с большею точностью реального изображения:* это было бы правдивее и полезнее, тогда как у г-на Достоевского и в этом романе *собственно мистические* чувства все-таки выражены слабо, а чувства *гуманитарной идеализации* даже в речах иноков выражаются весьма пламенно и пространно» (там же, стр. 197—198). Наконец, резчайшим выпадом против концепции романа можно считать и следующий ядовитый пассаж из статьи Леонтьева: «Братство *по возможности* и гуманность действительно рекомендуются св. писанием Нового завета для *загробного спасения личной души;* но в св. писании *нигде не сказано, что люди дойдут посредством этой гуманности до мира и благоденствия. Христос нам этого не обещал... Это неправда...*» (там же, стр. 202).

Таким образом, если Победоносцеву внушали опасения богоборческие мотивы романа, то Леонтьев пошел дальше: руководствуясь учением официального православия, он отыскал «изъяны» и в положительной программе Достоевского, вложенной в уста Зосимы. Эти «изъяны» — стремящийся к переустройству действительности гуманизм, тяготение к которому столь явственно обнаружилось в речи Достоевского о Пушкине; недостаточная

близость ищущей мысли писателя (как по существу, так и по форме) к неподвижной и аскетической православно-церковной ортодоксии.[1]

Из других суждений о романе, появившихся в 1880 г., наиболее значительны «Литературные очерки» Буренина, печатавшиеся в «Новом времени», и статья Н. Павлова в славянофильской газете «Русь», издававшейся И. С. Аксаковым.

В августовском выпуске «Литературных очерков» Буренин подверг осуждению то «психиатрическое возбуждение» и «истерику», которые он защищал в предшествующих статьях. Буренину претит «игра» Достоевского «на читательских нервах» посредством осложнения и нарочитого запутывания слишком затянувшейся, по его мнению, «темной драмы» таинственного убийства старика Карамазова (*НВр,* 1880, 15 августа, № 1603). Касаясь признаний Лизы Хохлаковой Алеше о дремлющей в ней затаенной злобе, критик пишет: «Надо заметить, что в романе г-н Достоевский уже воспользовался одним несчастным младенчиком, которого злой помещик затравил собаками. Эпизод об этом растерзанном собаками младенчике в романе рассказан превосходно, уместно и действительно производит страшное и мучительное впечатление. Но высокодаровитому автору показалось мало одного несчастного младенчика, и вот он пускает другого: распятого и даже с обрезанными пальчиками» (там же, стр. 3). Здесь предвосхищен один из тезисов Н. К. Михайловского — о ненужной «жестокости» Достоевского-художника.

Во втором очерке Буренин восторженно оценил изображение в романе судебного процесса. «Я ⟨...⟩ не знаю в нашей литературе ничего более ядовитого, более язвительного, как те главы „Братьев Карамазовых", в которых г-н Достоевский рисует либерально-лживую сущность ⟨...⟩ тенденциозно-фальшивого российского судебного красноречия. Сатирические разоблачения и изобличения г-на Щедрина, направленные против ⟨...⟩ наших прелюбодеев права и прелюбодеев мысли, по-моему, являются далеко не столь бьющими

---

[1] Резкие упреки Достоевскому в отсутствии у него подлинной религиозной веры, отступлениях его от церковного учения, незнании им подлинного монашества и «неправославном» изображении монахов в «Карамазовых» Леонтьев повторил в более развернутом виде после смерти писателя в письмах к В. В. Розанову (*РВ,* 1903, №№ 4—6). Здесь он писал между прочим: «...усердно молю бога, чтобы Вы поскорее *переросли Достоевского* с его „гармониями", которых никогда не будет, да и не нужно. Его монашество — сочиненное. И учение от⟨ца⟩ Зосимы — ложное; и весь стиль его бесед — фальшивый» (*РВ,* 1903, № 4, стр. 643). И далее: «Хотя в статье вашей о „Великом инквизиторе" многое множество прекрасного и верного, и сама по себе „Легенда" есть прекрасная фантазия, но все-таки и оттенки самого *Дост⟨оевского⟩* в его взглядах на католицизм и вообще на христианство ошибочны, ложны и туманны; да и вам, дай бог, от его *нездорового и подавляющего* влияния поскорее освободиться! Слишком сложно, туманно и к жизни неприложимо. В Оптиной „Братьев Карамазовых" *правильным правосл⟨авным⟩ сочинением не признают,* и *старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож.* Достоевский описал только его наружность, но *говорить* его заставил совершенно *не то,* что он говорит, и *не в том стиле,* в каком Амвросий выражается. У от⟨ца⟩ Амвросия *прежде всего* строго *церковная мистика,* и уже потом — прикладная мораль. У от⟨ца⟩ Зосимы (устами которого говорит сам Фед⟨ор⟩ Мих⟨айлович⟩ !) — прежде всего мораль, „любовь", „любовь" и т. д., ну а мистика *очень* слаба» (*РВ,* 1903, № 4, стр. 650—651; ср.: там же, № 5, стр. 162—163). В своих воспоминаниях Леонтьев писал: «Считать „Братьев Карамазовых" православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным православием, с христианством св. отцов и старцев афонских и оптинских». Творчество Золя (в «Проступке аббата Муре»), по мнению Леонтьева, «гораздо ближе подходит к духу истинного личного монашества, чем поверхностное и сентиментальное сочинительство Достоевского в „Братьях Карамазовых"» (*Леонтьев,* т. IX, стр. 13, 17; ср.: там же, т. VII, стр. 438—448).

сравнительно с тем выворачиванием адвокатской и прокурорской души, какое дает нам г-н Достоевский в образчиках речей обвинителя и защитника ⟨...⟩ Как для первых, так и для вторых, у нас в большинстве случаев важна не правда дела, не искреннее служение правосудию ⟨...⟩ а прежде всего и после всего либерально-тенденциозная казуистика». Буренин утверждал далее, что «только великий талантом романист мог сочинить такую речь, какую говорит в карамазовском деле прокурор Ипполит Кириллович...». Защитник же Фетюкович в его восприятии — настоящий «виртуоз⟨...⟩ своего рода Паганини либеральной лжи и безнравственности...» (*НВр*, 1880, 7 ноября, № 1687).

В статье славянофила И. Павлова с сожалением утверждалось, что Достоевский «лишь наполовину» справился с задачей, поставленной в романе: раскрыть перед читателем «глубину отпавшего от бога порока и высоту святой добродетели». Критик констатирует, что «бездна зловонного падения» представлена в романе «с потрясающей, возмутительною яркостью», между тем как «высшие идеалы» в сравнении с «ними выходят тусклы и бледны». «Слишком старательно изобразив вонючую грязь разврата, — сетует критик, — автор показывает нам в добродетели только отсутствие этой грязи ⟨...⟩ Нравственный идеал получает отрицательный характер. Добро является не потребностью человеческой природы, не общим, естественным законом ⟨...⟩ а чем-то труднодоступным для человека, покупаемым лишь ценою самобичевания, тяжелой борьбы ⟨...⟩ Где же здоровье? Напрасно мы ищем его в романе ⟨...⟩ Мы видим только патологические явления» («Русь», 1880, 29 ноября, № 3).

Такая трактовка романа, и в частности нравственного идеала, олицетворенного в образах старца Зосимы и Алеши, естественно, не могла импонировать автору, и он благодарил И. С. Аксакова «лишь за ⟨...⟩ редакторскую выноску и за обещание сказать еще нечто» (письмо от 3 декабря 1880 г.). Однако и редакционное примечание Аксакова, сопровождавшее статью И. Павлова, вряд ли можно счесть безусловной апологией романа. Оно гласило: «Роман „Братья Карамазовы" по богатству, важности и глубине поставленных им вопросов, по яркости и художественных достоинств, и художественных недостатков, по необычайной силе таланта, проявившейся здесь с бо́льшим блеском, чем во всех прежних произведениях Ф. М. Достоевского, — этот роман заслуживал бы целого исследования — и художественного, и психологического. В ожидании такой статьи даем место хоть беглому очерку одного из наших сотрудников» («Русь», 1880, 29 ноября, № 3). Недвусмысленное указание на «яркость» художественных недостатков романа свидетельствовало о том, что Аксаков в значительной мере разделял точку зрения своего сотрудника, обвинявшего Достоевского в пристрастии к изображению «патологических явлений». Следует отметить, что и несколько ранее (в личном письме к Достоевскому от 3 сентября 1880 г.) Аксаков по существу уклоняется от оценки романа, ограничиваясь крайне общими, ни к чему не обязывающими суждениями о нем: «Я знаю и без Ваших слов, как Вы пишете и чего стоит Вам писание романа, особенно такого, как „Братья Карамазовы". Такое писание *изводит* человека; это не произведение виртуоза, — тут Ваша собственная кровь и плоть — в переносном смысле» («Известия АН СССР», серия литературы и языка, 1972, т. XXXI, № 4, стр. 358).

К 1880 г. относятся и два отзыва о романе в органах печати православного духовенства. Положительные в официально-церковном смысле этого слова, они интересны полемическими замечаниями, направленными как против взглядов автора, так и его критиков на монашество и церковь, и суждениями о главе «Великий инквизитор».

Полемизируя с размышлениями Достоевского о причинах малого распространения старчества на Руси, А. Кириллов, автор статьи «Церковно-религиозные вопросы, затрагиваемые в романе ⟨...⟩ „Братья Карамазовы"», пишет, что «всеобщее признание нравственного превосходства какого-либо лица над другими снискивается с величайшим трудом и едва достижимо» («Донские епархиальные ведомости», 1880, 15 августа, № 16, стр. 605). Он

же, полемизируя с критиком «Русской правды» по поводу иронического заключения о «неземном величии и неземной мудрости» Зосимы, ссылался на вполне достоверное объяснение Достоевским прозорливости старца многолетним опытом общения с прихожанами, знанием их нужд, горестей и т. п. (там же, стр. 608—610).

Журнал «Православное обозрение» (1880, № 10, стр. 218, 219, 238) обращал особое внимание на «некоторый трагический элемент», вносимый Достоевским в историю католицизма вообще, и в частности в известную трактовку его, принадлежащую славянофилу А. С. Хомякову. Автор статьи «Идеалы будущего, набросанные в романе „Братья Карамазовы"» С. Д. Левитский (подпись С. Л.) подчеркивал в мыслях и чувствах Великого инквизитора тайное «нравственное страдание», обусловленное сознанием неправоты своего дела, но терпеливо переносимое «во имя любви к человечеству». Молчание Христа в течение всей беседы с Великим инквизитором и его тихий поцелуй в «бескровные девяностолетние уста» означают, по мнению рецензента, глубокое понимание именно трагизма этих переживаний. «В настоящем случае мы, таким образом, снова встречаемся, — заключает критик, — с тою особенностию таланта г-на Достоевского, в силу которой он даже в самом отвратительном явлении или нравственно испорченном характере сумеет найти некоторые светлые точки, добрые стороны...». Несколько неожиданным в статье официально-церковного органа было пастырское внушение Достоевскому в связи с его неверием в созидательную роль оторванного от почвы «безбожного» образованного меньшинства нации: «...симпатии нашего автора не лежат к миру современной интеллигенции 〈...〉 он держится того взгляда, что *русская* монастырская жизнь есть явление чисто народное и тесно связана с историческими судьбами России 〈...〉 монастырь сослужил добрую службу народу и государству, и г-н Достоевский твердо уверен, что ему предназначена и в будущем великая роль 〈...〉 Конечно, все бывает, всего можно ожидать, но нам кажется, что он слишком пессимистически относится к *мирской* жизни и слишком большие надежды возлагает на граждан монастырской общины» («Православное обозрение», 1880, № 9, стр. 56, 58).

Перечислим кратко и известные нам читательские отзывы 1880 г.

В феврале 1880 г. Е. Ф. Юнге, дочь вице-президента Академии художеств графа Ф. П. Толстого, написала матери письмо о «Карамазовых», в котором она восторженно оценила Достоевского — психолога и философа, поставив его выше западноевропейских романистов-современников (см.: Е. Ф. Юнге. Воспоминания (1843—1860 гг.). Изд. «Сфинкс», [М., 1914], стр. V—VII; ср.: *ЛН*, т. 86, стр. 496—497). Мать Е. Ф. Юнге А. И. Толстая передала письмо дочери Достоевскому, и это положило начало обмену письмами между ним и Е. Ф. Юнге (см. письмо Е. Ф. Юнге — *Д, Письма,* т. IV, стр. 408—410 — и ответ Достоевского от 11 апреля 1880 г.).

«Реализмом, лишенным всякой художественности», назвал в начале июня того же года изображение в романе убийства старшего Карамазова и судебного следствия историк русского права, профессор Московского университета Ф. М. Дмитриев, находивший, что «Карамазовы» «чрезвычайно туманны и мистичны» (*ЛН*, т. 86, стр. 501).

О том, что «христианский идеал — идеал Зосимы 〈...〉 крайне односторонен» и должен быть дополнен пропагандой «*деятельной* любви 〈...〉 клонящейся к преобразованию всей окружающей народной и общественной жизни», писал О. Ф. Миллеру 3 ноября 1880 г. С. А. Юрьев (там же, стр. 520).

4 декабря 1880 г. письмо Достоевскому прислал один из идеологов славянофильства Т. И. Филиппов. «Сейчас кончил „Карамазовых" и не нахожу слов, равных чувству моей признательности за испытанное мною наслаждение и полученную душою моею пользу. Очень желал бы лично повторить слова моей благодарности...» (*Д, Письма,* т. IV, стр. 442). Достоевский ответил Филиппову в тот же день: «Меня так теперь все травят в журналах, а „Карамазовых", вероятно, до того примутся повсеместно ругать (за бога), что такие отзывы, как Ваш и другие, приходящие ко мне по почте (почти беспрерывно), и, наконец, симпатии молодежи, в последнее время особенно высказываемые шумно и коллективно, решительно воскрешают и ободряют дух».

О письме к Достоевскому А. Ф. Благонравова от 10 декабря 1880 г. и ответе писателя см. стр. 483—484.

Особого упоминания заслуживает одно из последних полученных Достоевским читательских писем — А. М. Черницкой, где Иван Карамазов определяется как «русский Фауст» (*ГБЛ*, ф. 93, II. 9. 121). — определение, получившее впоследствии широкое хождение в критической литературе начала XX в.

Большой пестротой отличались отзывы о романе 1881 г. Вскоре после кончины писателя «Петербургская газета» печатает некролог с таким резюме о его творчестве: «...мы ценим в покойном Федоре Михайловиче теплоту чувства и глубокий психологический анализ в лучших его произведениях и во имя их забываем о недостатках его, которые происходили главным образом от страстности его натуры и болезней 〈...〉 Как в Гоголе мы видим творца „Ревизора" и „Мертвых душ", а не „Переписки с друзьями", так и в Достоевском будем видеть лишь автора „Бедных людей" и „Записок из Мертвого дома", предав забвению деяния его на поприще реакции» («Петербургская газета», 1881, 30 января, № 25). Несправедливо квалифицируя всю литературную деятельность Достоевского в 1860—1870-е годы как выражение идейного регресса, анонимный автор некролога ссылается на роман «Братья Карамазовы», представляющий собою, по его мнению, «лучшее доказательство» того, что в это время явно «клонился к упадку» и талант писателя (там же).

1 февраля 1881 г., выражая в связи со смертью Достоевского сочувствие его вдове, престарелый декабрист М. И. Муравьев-Апостол и его воспитанница А. П. Сазанович отметили, что в «Братьях Карамазовых», которыми автор «блестящим образом» закончил свою литературную деятельность, «типично отразилось наше взбаламученное общество» (*ЛН*, т. 86, стр. 540). О том, что «Братья Карамазовы» показывают, «сколько еще могучей творческой силы таилось» в душе Достоевского, писал 4 февраля к М. Ф. де Пуле библиограф Л. Н. Павленков (там же, стр. 542).

Среди последующих печатных откликов на роман преобладают журнальные статьи итогового характера, в которых спор с автором «Братьев Карамазовых» нередко перерастает в бурную полемику между его сторонниками и противниками. Несмотря на естественные в тех условиях односторонность и неполноту многих оценок, диктуемых направлением того или иного журнала, многое из сказанного о романе в критике начала 1880-х годов не утратило важного значения для процесса последующего фундаментального историко-литературного и теоретического исследования творчества Достоевского.

В феврале 1881 г. в журнале «Слово» (1881, № 2, стр. 1—29) печатается статья М. К. Цебриковой «Двойственное творчество», критикующая «Братьев Карамазовых» с позиций боевого демократизма. Роман квалифицируется в ней как «странная смесь высокоталантливого произведения» певца «униженных и оскорбленных» «с разговорами из царства мертвых» (стр. 5). Отрицательное отношение к проповеди Достоевского мотивировано здесь остроумной и неожиданной ссылкой на Евангелие, которое «не упоминает нигде о народе как о носителе истины 〈...〉 с практической точки зрения на христианское учение, он, как меньшая, обделенная братия, служит почвой для дел милосердия и справедливости. При узком кругозоре эта точка зрения открывает путь к филантропии; при широком — к устранению несправедливости из общественного строя» (там же, стр. 18). Выразительна в статье и ирония по поводу «туманных» прорицаний Зосимы о приближении эры всеобщего братства и любви. Отмечая преклонный возраст подобных прорицаний («все, что говорит Зосима, было высказано почти за тысячу девятьсот лет тому назад»), Цебрикова указывает на их иллюзорность, особенно очевидную в настоящий момент истории человечества: «Если телеграфы передают приказы двинуть стотысячные армии, а наука изобретает разрушительные снаряды после проповеди, раздававшейся за девятнадцать веков до нашего времени, то хотя бы Достоевский-проповедник и утверждал, что Зосима — сила, спасающая русский мир, мир этот не изменится от его проповеди» (там же,

стр. 20). Наконец, примечателен в статье спор с авторским тезисом «если нет бога, то нет добродетели и всё позволено». «История последних веков укажет ему ⟨Достоевскому, — *Ред.*⟩, — пишет Цебрикова, — на синодик имен друзей человечества, атеистов, рационалистов, пантеистов, а история всех веков — на великие подвиги, на высокий нравственный закал язычников, — и верующих и неверующих. Достоевский высоко ставит искание правды. Иван Федорович искал ее в отрицании, и потому, с точки зрения тенденции Достоевского, нелогично доказывать, что отрицание ведет к нравственному падению» (там же, стр. 23). В заключение статьи Цебрикова писала: «Мысль и наука внесли разъедающий фермент свой в предание, и когда в эпохи реакции отживающая идея вспыхивает с новой силой, то противоречие это — знамение, что огонь прогорит недолго ⟨...⟩ Предание создало Достоевского-проповедника. Идеи XIX века создали Достоевского-художника. Все, что есть живого в типах его, принадлежит всецело современному литературному движению...» (там же, стр. 29—30).

Анализ противоречивости идей Достоевского, при общей демократической интерпретации двойственности его творчества, содержат и «Записки современника» Н. К. Михайловского. Но в то время как Цебрикова, при всей ее вражде к отголоскам «предания», оттеняла у Достоевского как преобладающую ноту его произведений «потрясающий пафос человечности» (там же, стр. 6), Михайловский сосредоточил внимание на «жестокости таланта» писателя — мысль, которую он вскоре более подробно развил и обосновал в особой статье.

2 февраля 1881 г. в собрании Юридического общества с речью о Достоевском выступил А. Ф. Кони, выдвинувший тезис о том, что «правда и милость», лежащая в основе отношения Достоевского к преступлению и наказанию, вполне гармонирует с целями реформированного суда, помогает практическому и научному совершенствованию принципов юриспруденции.[1] Значительная часть «Записок современника» посвящена полемике с этой речью.[2] «Я не могу согласиться, — писал Михайловский, — чтоб связь творчества Достоевского с юриспруденцией была исчерпана речью г-на Кони. Не буду распространяться о той даже не особенно тонкой насмешке, которою Достоевский облил „новый, реформированный суд" ⟨...⟩ в „Братьях Карамазовых". Напомню только заветную, излюбленную мысль покойного о необходимости страдания, в силу которой он строго порицал суд присяжных за наклонность к оправдательным приговорам и требовал „строгих наказаний, острога и каторги". А юридическая идея, лежащая в основании „Братьев Карамазовых", та идея, что преступная мысль должна быть так же наказываема, как и преступное деяние? Нет, если бы я обладал красноречием г-на Кони, я сказал бы, может быть, о Достоевском: вот человек, в увлекательной форме вливавший в юридическое сознание общества самые извращенные понятия. Конечно, я сказал бы не правду, а только половину правды, но и г-н Кони тоже говорит половину правды, а не всю правду» (*ОЗ*, 1881, № 2, стр. 245).

Неприятие Михайловским «жестокого» таланта Достоевского сказалось в анализе «злонамеренных» приемов писателя при изображении вероотступников, «врагов общего порядка». «Наметив подходящую жертву, — писал с очевидной издевкой Михайловский, — Достоевский отнимает у нее бога и делает это так просто и механически ⟨...⟩ точно крышку с миски снимает. Отымет бога и смотрит: как себя ведет в этом положении жертва? Само собою разумеется, что испытуемый немедленно начинает совершать ряд более или менее гнусных преступлений. Но это не беда: для преступлений есть искупляющее страдание и затем всепрощающая любовь. Не для всех, однако, и в этом все дело. Если испытуемый, оставшись без бога, начинает корчиться

---

[1] В 1881 г. речь А. Ф. Кони под названием «Достоевский как криминалист» была напечатана дважды («Неделя», 1881, № 6, стр. 208—218; «Журнал гражданского и уголовного права», 1881, кн. 2, март—апрель, стр. 10—27).

[2] Н. К. Михайловский. Полное собрание сочинений, т. V. СПб., 1908, стр. 413, 417—418, 428—429.

в судорогах ущемленной совести, то Достоевский поступает с ним сравнительно милостиво: проволочив жертву по целому ряду гнусностей, он ее отправляет на каторгу или к „монаху-советодателю" и там ее, самоуничиженную и смиренную, осеняет крылом всепрощающей любви ⟨...⟩ Если жертва упорствует и до конца чинит „бунт", как называется одна характерная глава в „Братьях Карамазовых", бунт против бога, порядка вещей и обязательности страдания ⟨...⟩ Достоевский заставляет ее повеситься, застрелиться, утопиться, опять-таки прогнав предварительно сквозь строй подлости и преступлений...» (там же, стр. 258—259).[1]

Эта оценка Михайловского остро полемична: в «Братьях Карамазовых» вопрос об искуплении преступления обязательным страданием решался не так «просто и механически», как это представлялось Михайловскому. На каторгу идет верующий и невинный Дмитрий, а грешный в «преступном помышлении» безбожник Иван не вешается, не застреливается и остается на свободе. Страдание изображается в романе как норма исторической и действительной жизни, но вряд ли возводится в идеал. И не случайно Алеша, выражающий авторскую точку зрения, советует брату воспользоваться возможностью побега, чтобы избежать именно ненужного, необязательного в данном случае страдания. Апофеозом не страдания, а счастливого единения людей в «хорошем и правдивом» отношении друг к другу пронизан и «Эпилог» романа.

Следует выделить обобщающие суждения Михайловского об эволюции Достоевского-психолога: «...Достоевский со времен Добролюбова, — отмечал он, — значительно вырос как изобразитель внутренней, душевной драмы. „Преступление и наказание" (высший момент развития творческой силы Достоевского) по сложности мотивов и тонкости их разработки неизмеримо выше всего, что имел под руками Добролюбов. Да и в ⟨...⟩ „Идиоте", „Бесах", „Братьях Карамазовых" есть страницы такого огромного достоинства, что о „слабости художественного чутья" тут, конечно, не может быть и речи» (там же, стр. 249).

Вслед за статьей Михайловского в мартовской книжке журнала «Новое обозрение» появилась статья М. А. Антоновича «Мистико-аскетический роман». В полемическом истолковании Антоновича религиозно-философская проповедь Достоевского приобрела зловещий оттенок антигуманного клерикализма, направленного на подавление свободы человеческого духа. Антонович не заметил своеобразия воззрений Достоевского на западную и восточную церковь, на католицизм и православие; он поставил открыто тенденциозно знак равенства между убеждениями Достоевского и Великого инквизитора: «...Инквизитор уверен, что человечество, жестоко разочаровавшись в своих силах, своих надеждах и мечтах, придет *к ним*, т. е. к представителям высшего авторитета на земле, и сложит к ногам их свой гордый ум и свою буйную волю. Это так и должно быть, это и есть единственный исход, и по мнению наших старцев в романе, и самого автора его» («Новое обозрение», 1881, № 3, стр. 222).

В соответствии со своим отрицательным отношением к идейной концепции романа Антонович не признавал и его художественных достоинств. Он настаивал на том, что роман этот «вовсе не роман, а ⟨...⟩ какое-то средневековое душеспасительное чтение»; упрекал автора за «совершенную неестественность его лиц и их действий» и т. п. (там же, стр. 218, 239). О персонажах романа, что совсем уже несправедливо, Антонович писал: «Настоящих людей с плотью и духом, со смесью добра и зла здесь нет, а есть только, с одной стороны, святые, праведники, стоящие выше всяких человеческих слабостей ⟨...⟩ а с другой ⟨...⟩ нераскаянные и непробудные грешники, сомневающиеся и неверующие и вместе с верой потерявшие всякую духовную любовь, стыд и совесть, всякую нравственность, всякое человеческое

---

[1] О том, что на оценку Михайловским «Карамазовых» могли повлиять замеченные им сатирические намеки и выпады в романе против Г. Е. Благосветлова, Г. З. Елисеева и М. Е. Салтыкова-Щедрина см.: *Борщевский*, стр. 311.

подобие; словом, воплощенные дьяволы, с наслаждением предающиеся злу и сеющие его повсюду» (там же, стр. 197—198).

Статьям Цебриковой, Михайловского и Антоновича, отразившим отношение к роману тогдашних демократических кругов,[1] противостоит ряд статей в журнале «Мысль» и газете «Новое время». Среди них характерна первая статья редактора «Мысли» Л. Е. Оболенского, написанная под очевидным влиянием публицистики писателя. Основная идея романа определена в ней в соответствии с принципами «русского решения вопроса» о социальной злобе дня, выдвигавшимися Достоевским в «Дневнике писателя» (февраль 1877 г.): «Человечество страдает и требует скорой непосредственной помощи, как духовной, так и материальной. Отказ в такой помощи чаще всего есть величайшее из преступлений, тягчайшее из убийств ⟨...⟩ Готовить для человечества ⟨...⟩ „огромное" счастье, а не помогать немедленно, по мере сил ⟨...⟩ опасно потому, что пока мы придем с своей огромной помощью, Илюши надорвутся от страданий и озлобятся; крестьянка, убившая мужа, и крестьянка, потерявшая ребенка, которых успокаивает старец Зосима, или с ума сойдут, или наложат на себя руки; Дмитрий Карамазов дойдет до сумасшествия и станет избивать невинных ⟨...⟩ Смердяков, не видящий ниоткуда братски протянутой руки, убьет своего отца; невинного человека пошлют в каторгу ищущие истины и справедливости (но не любви) ⟨...⟩ Так что когда придет наконец „огромное" счастье, приготовляемое Колей Красоткиным и его „огромной" любовью, останутся только одни трупы, могилы да калеки» («Мысль», 1881, № 2, стр. 246). «Нравственное, то есть христианское, решение» проблемы классовых и сословных антагонизмов, противопоставленное в «Дневнике писателя» западным философским и социально-политическим учениям, соблазняющим обездоленных «перспективою разрушения и битвы», целиком переносится Оболенским на всю идейно-образную систему романа. Вопрос о том, что необходимо для счастья человеческого, решается в нем, по мнению критика, без тени сомнения и противоречия, самым категорическим образом: «Недостаточно ни европейской философии, ни бюрократической надежды — сделать людей счастливыми, помимо их воли и сознания, силой лишь авторитета и умственного порабощения, отвечает нам роман лицом Ивана Карамазова; недостаточно западного либерализма, отвечает он типом либерального барина 40-х годов Миусова; недостаточно социализма Красоткиных, отвечает он типом Красоткина ⟨...⟩ нужна любовь, такая глубокая любовь, которая бы насквозь видела и понимала чужие страдания и тотчас бросалась на помощь, все прощая, ни за что не осуждая, ибо человек человеку судьей быть не может. Такая любовь может быть на земле, это показывают такие младенческие души, как душа Алеши, такие отрешившиеся от личной жизни поэты-мистики, страстно любящие людей и их жизнь, как старец Зосима» (там же, стр. 247).

С оглядкой на «Дневник писателя», в частности на суждения Достоевского о характере русских семейных отношений, выполнен анализ романа и в «Литературно-критическом очерке» А. Кояловича, напечатанном в газете «Новое время». Согласно культурно-историческому экскурсу автора очерка, принципы основанного на любви русского семейного уклада, отразившегося в «Семейной хронике» Аксакова и трилогии Л. Толстого, были нарушены вторжением с Запада модных теорий воспитания. Смешение этой «чужой правды» со «своею», отечественной, породило нездоровый гибрид семьи, запечатленный в «Обломове». Настоящая же, «переходная, — по его определению, — эпоха нашего развития нашла себе художественного изобразителя в лице и таланте Достоевского. В его последнем романе выставлена перед нами та новая форма, в какую вылилась современная жизнь, бросившая наконец всякие компро-

---

[1] См. о полемике с «Братьями Карамазовыми» в демократической беллетристике и публицистике 1880-х годов также статьи: В. Б. Смирнов. 1) Достоевский и Златовратский. «Ученые записки Уральского университета», серия филологическая, 1969, вып. 7, № 75, стр. 20—38; 2) Достоевский в оценке «Отечественных записок». Там же, 1970, вып. 16, № 99, стр. 11—18.

миссы и как будто на минуту застывшая перед вами во всей неприглядной откровенности 〈...〉 Эта новая форма — *случайное семейство*» (*НВр*, 1881, 5 мая, № 1861).

Однако изображение распада семейных нравственных начал представляется критику симптоматичным. В этом процессе, считал он, можно видеть начало обновления всей русской жизни — семейной и общественной — в духе христианского учения. Дело в том, что на разных стадиях приближения к этому идеалу уже находятся, по его мнению, сыновья порочного Федора Карамазова, выражающие чаяния все-таки органически здоровых общественных сил. Так, «Митенька — Карамазов вполне, и вместе с тем он уже одной ногой стоит на новой дороге. Ему „всё позволено", но в то же время он видит всю мерзость такой свободы и жаждет искупления и обновления, хотя бы в форме „гимна каторжников"» (там же, стр. 3). Более высоки нравственные требования Ивана. В своем протесте против порока и социальной несправедливости он чуть было не уподобился Раскольникову и Смердякову, пролившим кровь, но «глубокая жажда высшей правды» спасает его, и в этом спасении — «великий залог спасения всего молодого поколения» (там же). Настоящий же нравственный подвиг совершается Алешей под руководством старца Зосимы. «В общем единении», в христианском «союзе любви и братства — решение всех мучивших нас вопросов» — таков итог анализа содержания романа в статье критика «Нового времени».

Злободневный политический подтекст такого поверхностно оптимистического понимания замысла Достоевского обнаруживается в следующей, верноподданнической статье Кояловича «Нигилизм и нигилисты в произведениях литературы», в которой «союз любви и братства» недвусмысленно провозглашается лозунгом борьбы политической реакции с революционным движением. Коялович называет Достоевского пророком, предсказавшим в «Бесах» «событие 1-го марта», а в романе «Братья Карамазовы» верно указавшим на самое надежное средство борьбы с «эпидемией нравственного растления», т. е. опять-таки с идеями революции и социализма. «Прочтите, — пишет он, — „Братьев Карамазовых", там вы найдете немало страниц, обещающих и указывающих эту надежду в тех новых людях, которые, подобно Алеше Карамазову, идут в жизнь не с целью „исправлять его подвиг", как о том мечтают нигилисты-социалисты, а с целью исправить себя путем самоусовершенствования и возрождения на почве национальной, исторически оправданной правды народной» (там же, 21 августа, № 1968).

При таком восприятии содержания романа литературные обозреватели и рецензенты «Мысли» и «Нового времени» не могли остаться равнодушными к демократической критике, разоблачавшей в авторе «Братьев Карамазовых» прежде всего поборника «предания», защитника «общего порядка». Наглядное представление о специфических приемах их полемики с критиками демократического направления дают, например, подзаголовки «Литературных очерков» Буренина: «Поход либерального фарисейства против покойного Достоевского, или г-н Михайловский в роли клеветника, бегущего за погребальной колесницей» (там же, 27 февраля, № 1796); «Г-н Антонович, „разносящий" роман Достоевского. — Нечто о семинарщине. — Семинарист Ракитин и ракитинские черты в г-не Антоновиче. — Остроумие фельетониста „Нового обозрения"» (там же, 17 апреля, № 1843). Более объективным тоном отличаются статьи Л. Е. Оболенского. Подразумевая Михайловского и Щедрина, проявляющих слишком суровое отношение к великим писателям, Оболенский писал: «Они уверяют, что следуют в этом случае наилучшим традициям критики 60-х годов; но критика 60-х годов, особенно добролюбовская, представляла именно совсем обратное. Нужно ли мне цитировать столь известное всем вступление Добролюбова в его статью о драмах Островского, нужно ли напоминать, что Добролюбов, обойдя вопрос о том, нет ли в некоторых драмах Островского славянофильских тенденций, отыскал сущность этих драм, их истинную идею и сделал этим услугу не только России, но и, быть может, самому Островскому» («Мысль», 1881, № 3, стр. 408). Интересны также возражения Оболенского Михайловскому, критиковавшему Достоев-

ского за «не особенно ⟨...⟩ тонкую насмешку» над реформированным судом: «Разве сотрудник тех же „Отечественных записок", Гл. Успенский, в самом лучшем из своих произведений „Разорение" не указывал почти тех же недостатков суда ⟨...⟩ Достоевский стоит еще на высшей точке зрения и указывает на недостаточность одного формального правосудия, если оно не согрето горячей любовью к людям ⟨...⟩ Указывать несовершенство не значит быть врагом. Только по странному смешению ролей оказывается, что либеральный публицист Н. М. преследует великого писателя за *критику* существующих учреждений, за указание элемента, недостающего в них!» (там же, стр. 409).

Полемизируя с Достоевским по поводу его оценки западноевропейских общественно-политических учреждений, Оболенский тем не менее видел в романе Достоевского произведение огромного масштаба, примечательное широчайшей постановкой социальных и философских проблем, захватывающей всю историю человечества. Некоторые его характеристики настроений «европейца» Ивана Карамазова, поднявшегося до исключительной «тонкости и высоты отрицания» и западноевропейской, и русской истории и злобы дня, граничат с апофеозом. В философии Ивана Оболенский находит общие черты с бунтарским пессимизмом Байрона и философией страдания Шопенгауэра. В рассказе Ивана о замученных детях и Ришаре, казненном «во имя Христа», ему слышатся отзвуки даже античной трагедии. Это «крик Прометея, прикованного к скале, видящего страдания и несправедливости человечества и не могущего сделать шагу для помощи ему» (там же, № 2, стр. 257).

Заслуживает внимания указание Оболенского на генетическую связь образа Ивана Карамазова с тургеневским Базаровым. Анализируя главу «Бунт», он приходит к выводу, что социально-философский протест Ивана по духу своему и даже по характеру выражения во многом сродни размышлениям знаменитого героя «Отцов и детей». Пересказывая негодующие речи Ивана, отказывающегося участвовать в будущей гармонии, Оболенский замечает: «Иными словами, это то же, что говорил Базаров: какое мне дело, что мужик станет счастлив, когда из меня лопух будет расти. Но какая глубокая разница в полноте обрисовки этого типа, в его грандиозности и глубине у Достоевского ⟨...⟩ В Базарове, когда он говорит эти слова, вы видите только узкого эгоиста, и только Достоевский умеет вам объяснить, что тут стоит не только эгоист, а человек, глубоко потрясенный тем, что не находит в мире справедливости» (там же, стр. 257—258). Последние слова Оболенского противоречат пониманию Базарова Достоевским: в глубоких и противоречивых переживаниях Раскольникова и Ивана Карамазова зачастую несомненны именно базаровские «признаки великого сердца».

Обособленную позицию в горячей полемике 1881 г. вокруг романа пытался занять издававшийся при «Новом времени» «Литературный журнал» А. С. Суворина, поместивший на своих страницах (№№ 2, 6, 7) статьи В. К. Петерсена «Федор Михайлович Достоевский» и «Вступление к роману Ангела» (обе статьи подписаны псевдонимом «Оникс»). Петерсен рассматривал творчество Достоевского как до крайности субъективное порождение гениальной личности, склонной к чрезмерному пессимизму и мизантропии: «Говорят ⟨...⟩ он любил и проповедовал любовь как разрешение всех сомнений, как отпущение грехов! — писал Петерсен. — Да, любил, но только *единственно* любил Христа распятого; он, подобно всем аскетам, любил несправедливо мучимого человека, именно и только в пределах несправедливо доставшихся ему страданий. С прекращением страданий его любовь холодела и саркастический и злой ум сейчас подсказывал насчет только что любимого какую-либо мерзость. В „Братьях Карамазовых" эти особенности личности самого автора выступают чрезвычайно ярко» («Литературный журнал», 1881, № 6, стлб. 379). Касаясь проповеди в «Братьях Карамазовых» и особенно в «Дневнике писателя» смирения и нравственного совершенствования, Петерсен приходит к выводу, что и она ни в коем случае не выражает идеала Достоевского, который был «слишком умен, чтобы верить в воспитательное значение какой бы то ни было формы» (там же, № 2, стлб. 192). «Совершенно обратно ходячему мнению, — утверждал далее критик, —

⟨...⟩ вся сила и достоинство художественных созданий Достоевского — в отрицании. Он не дал ни одного положительного типа, но зато с успехом обвинял человечество в ⟨...⟩ подлости, низости, грязи, лжи, нелепости ⟨...⟩ Все, даже самые благородные, возвышенные, мысли, действия и побуждения его героев оказываются или глупыми, или подлыми, не говоря уж о том, что всегда ведут к несчастию» (там же, стлб. 194).[1]

Признавая в Достоевском гениального мыслителя, Петерсен, однако, доказывал, что «Карамазовы» «по архитектуре своей — роман весьма неважный» (там же, № 6, стлб. 376).

Любопытна гипотетическая интерпретация Петерсеном плана продолжения романа, о котором говорится в авторском предисловии. «По словам покойного, — замечает он, — Алексей Карамазов должен был выразить положительный тип детолюбца-христианина, совершенно чистого сердцем». Далее критик развивает свои предположения о содержании второго тома: «Но братья явились бы несомненными деятелями социализма. Иван вышел бы подстрекателем, мрачным фанатиком идеи перестроить заново мир, создать именно те миллионы сытых кретинов, которые, по мнению коммунаров, должны увенчать прогресс и культуру человека на земле. Ему, словом, предназначалась роль великого инквизитора идеи ⟨...⟩ Жалеете ли вы, читатель, что этот роман никогда не будет написан Достоевским? Откровенно сказать, я не жалею; я убежден, что это наверное вышел бы плохой роман, нимало не способный помочь разобраться в окружающей нас путанице и раздражающем всех хаосе кровавого сентиментализма» (там же, № 7, стлб. 609).[2] В последних словах содержался прозрачный намек на революционную деятельность народовольцев. Продолжение романа, если бы оно было написано, отнюдь не способствовало бы, по мысли критика, умиротворению острых общественно-политических конфликтов и противоречий.

Анализ Петерсена обнаруживает в нем противника как «мечтательного» славянофильства, так и социально «опасного», с его точки зрения, западничества. Автор «Братьев Карамазовых» выглядит у него типичным представителем эпохи сороковых годов, зараженным угрюмо бесплодной рефлексией, в свете которой действительность предстает в искаженном виде. «Иван Карамазов (а с ним и Достоевский), — подчеркивает критик, — затвердили только анекдоты о мучениях мирской жизни; первый из них бунтуется и собирается метать камнями в небо, — второй пробует спастись проповедью мечтательного аскетизма (хотя уже знает, что и тут на одного Зосиму фактически попадается несколько Ферапонтов). Но и тот и другой проглядели тот факт, что если бы мирское житье было *действительно* так скверно, как это выходит из их анекдотов, то человечеству только и оставалось бы добровольно перестать существовать» (там же, стлб. 594—595; ср. письмо Петерсена к М. М. Стасюлевичу о своей статье — *ЛН,* т. 86, стр. 544).

Намекая на остро партийный характер разногласий в критике при освещении творчества Достоевского, М. К. Цебрикова писала: «Разноречие может явиться только в оценке идеи произведений его, а равно и тех общественных стихий, которые создали его; разноречие это — результат точки зрения, на которой стоит критик. „Русский вестник", „Русская мысль", „Русь" скажут одно; „Отечественные записки", „Дело", „Слово" — другое» («Слово», 1881, № 2, стр. 6). Это не означает, однако, что оценка романа разными органами и представителями демократического лагеря была однозначной.

---

[1] Свое заключение Петерсен подкрепляет, оттеняя неизбежность катастрофических последствий тайного визита Катерины Ивановны к Дмитрию: «Взаимное благородство измучивает в конце концов и того и другого так, что девушка является главною причиною осуждения офицера на каторгу! Не слишком ли это мрачно?⟨...⟩ Нет, каждая строчка романов Достоевского доказывает, что это был мрачный пессимист и уже далеко не смиренник!» (там же, стр. 195).

[2] О других версиях продолжения романа см. стр. 485—486.

В «Записках современника» Н. К. Михайловский настаивал на том, что струя «гуманического направления», характерная для произведений Достоевского, написанных при жизни Добролюбова, в дальнейшем почти иссякла. Михайловский считал, что верное для своего времени указание Добролюбова на глубокую симпатию автора «Бедных людей» к «униженным и оскорбленным» ни в коем случае не может распространяться на такие романы, как «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы». Напротив, вызывающе озаглавленная статья «Новые типы забитых людей», напечатанная в журнале «Дело» за подписью Ф. Б-ъ (П. Н. Ткачев?), была образцом неоправданного распространения идей статьи Добролюбова «Забитые люди» на все творчество Достоевского и в особенности на последний его роман. Согласно заключению критика, буквально все герои «Братьев Карамазовых» от Алеши и старца Зосимы до Федора Карамазова и Смердякова включительно — в равной степени заслуживающие сострадания «забитые люди», обязанные своим несчастным положением существующим ненормальным общественно-политическим и экономическим отношениям. Эта горячая защита Достоевского-гуманиста в известной степени нейтрализовала чрезмерно суровые выпады Михайловского.

Столь же резкими были расхождения между «Отечественными записками» и «Делом» в оценке специфики психологического анализа Достоевского. Михайловский утверждал, что Достоевский нередко злоупотребляет им, придает ему *мучительную* форму, побуждаемый к этому велением своего могучего, но «жестокого» художественного таланта. Критик же «Дела», не возражая против специфики психологической манеры писателя, подчеркивал в ней лишь один недостаток: слабое, по его мнению, развитие обобщающего, централизующего начала. В связи с этим он писал о Достоевском: «...психология дает главный материал и главное содержание всем его произведениям. Но его экскурсии в область психологии его героев ограничиваются во всех почти случаях одним лишь *анализом*; он великий мастер развинчивать человеческую душу на ее составные элементы 〈...〉 Но раз эти отдельные душевные состояния проанализированы с достаточною глубиною 〈...〉 раз душа разложена на некоторые из своих составных частей, раз каждая из этих частичек описана, *измерена* и взвешена, автор считает свою психологическую работу конченною; свинчивать развинченное, обобщать разъединенное, синтезировать материал, добытый анализом, — это не его дело. Оттого все герои автора страдают не то что *раздвоенностью,* а часто даже *растроенностью, расчетверенностью* своего внутреннего духовного мира 〈...〉 *Раздвоенность* и *растроенность* „я" своих героев автор нередко доводит до такой степени, что лишает их окончательно всякого сознания *единства и тождества их психической природы* 〈...〉 и заставляет их впадать в бред и галлюцинации. Сам герой, как бы пораженный и сбитый с толку противоречиями, раздирающими его душу, мало-помалу приходит к убеждению, что в нем сидит не одно, а несколько „я", затем он начинает объективировать эти „я", он воплощает их в реальные, живые существа, в привидения, в чертей и т. п. Так случилось 〈...〉 с героем повести „Двойник", отчасти и с Раскольниковым 〈...〉 с „Идиотом" 〈...〉 То же самое повторилось и с Иваном Карамазовым» («Дело», 1881, № 2, стр. 17—18). Таким образом, длительный и сложный процесс синтезирования, присущий психологической манере Достоевского, был ошибочно воспринят критиком как процесс только аналитический.

Развитием этих тезисов о характере и природе психологического анализа Достоевского можно считать суждения В. К. Петерсена в «Литературном журнале». Необычайную силу и своеобразие психологизма Достоевского Петерсен объяснял противоречиями религиозно-философского порядка, мучившими писателя на протяжении всей его жизни. По мнению критика, именно они явились той питательной почвой, на которой сформировался и окреп в Достоевском дар изощренно-проницательного психолога-диалектика. Называя «Братьев Карамазовых» «замечательным произведением мыслителя чрезвычайно глубокого», сумевшего высказать «мысли поразительной смелости и силы», Петерсен писал: «...Достоевский был христианином в гораздо большей степени по доводам разума, нежели по указанию сердца, и потому

именно он являет в себе чрезвычайно интересный тип верующего вопреки самым отчаянным сомнениям. Вечно сомневаясь и дерзая глубоко заглядывать в бездну отрицания, на что давал ему право очень сильный ум, он, с другой стороны, так же упорно и так же постоянно заставлял умолкать эти сомнения перед повелительными требованиями божественного откровения. Очевидно, что такая постоянная и упорная борьба между разными требованиями одного и того же мозга помогла Достоевскому выработать необыкновенную способность к рефлексу. Сам он в этом отношении представлялся решительным мучеником и ⟨...⟩ делал таковыми же всех без исключения своих героев. Все они раньше и прежде всего несомненные мученики рефлекса. В каждом из них сидит по два *я* — одно действующее, говорящее и осуждающее, другое критикующее и апеллирующее, причем оба *я* нередко находятся между собою в кровной вражде...» («Литературный журнал», 1881, № 6, стлб. 376, 377).

Последним откликом на роман в 1881 г., также свидетельствующим о разногласиях в демократической критике при оценке творчества и личности писателя, была статья Л. Алексеева (Л. А. Паночини) в журнале «Русское богатство».

«Общественно-политические идеалы Достоевского в основаниях своих, — вернее, те субъективные, основанные на нравственных требованиях автора положения, из которых он выводит свое мировоззрение, — так высоки и человечны, — отмечал автор статьи, — и в то же время выводимое из них нравственно-политическое учение так элементарно нелогично в своем построении, так несовместимо с умственными привычками интеллигентного меньшинства, что ожидать вреда от проповеди Достоевского невозможно: он — не опасный противник прогресса, он даже — не противник ⟨...⟩ Достоевский не найдет ⟨...⟩ последователей своему *учению*. Но своим искренним, честным, глубоко правдивым отношением ко всему, о чем он берется судить, он поучает читателя, *как* надо приступать к суждению о делах людских ⟨...⟩ Достоевский будит чувство и будит мысль. Вся непостижимая галиматья, в которую он веровал, вся его проповедь исчезает при этом ⟨...⟩ читатель не замечает ее, потому что все заступает, все покрывает собой — страстная любовь автора к людям, его глубокое „проникновение" в страждущие души... Несмотря на все усилия, какие он делал для того, чтобы стать поборником мрака, — он является светочем...» («Русское богатство», 1881, № 11, стр. 2).[1]

---

[1] Начало статьи Л. Алексеева по духу своему перекликается с некоторыми суждениями С. А. Венгерова, который, — по-видимому, несколько ранее — писал об авторе «Братьев Карамазовых» и «Дневника писателя»: «Ошибка перепуганных либералов наших состоит в том, что, сбитые с толку шумным одобрением Достоевскому, они в нем видят какого-то *умственного* вождя современного поколения. Это совершенно ложная тревога. Умственное главенство никогда не может принадлежать Достоевскому, потому что как мыслитель, *как* публицист, как человек, рассуждающий о непосредственных практических нуждах наших, он очень слаб и исполнен всевозможных противоречий. Учиться у него в этом отношении нечему. Но он все-таки один из самых любимых вождей нашего времени — *вождь нравственный*. Тому, *как* любить, какими путями прилагать любовь к действительности, Достоевский научить не всегда может, а иной раз даже и на совсем ложный путь направит, но *самой любви*, глубине ее, искренности у кого же иного поучиться...» (С. А. Венгеров. Достоевский и его популярность в последние годы. В кн.: Отклик. Литературный сборник в пользу студентов и слушательниц высших женских курсов города СПб. СПб., 1881, стр. 291—292). В целом же отношение С. А. Венгерова к «Братьям Карамазовым» напоминало точку зрения Л. Е. Оболенского, расшифровывавшего основную идею романа как призыв к братской любви, к немедленной «помощи» всем, кто в ней нуждается. С. А. Венгеров при этом ссылался на историю, утверждая, что «стремление к всеисчерпывающей любви и к действительному братству есть основная черта славянской психики вообще и русской в частности...». «Всякий, — продолжал он, — кто вдумается в *народную* историю славянских

Антонович, Михайловский и некоторые другие представители демократического лагеря, беспощадно критикуя реакционную проповедь автора, не замечали или не желали замечать глубокой диалектики, присущей идеям и образам романа. Л. Алексеев же находит и подчеркивает возражения против проповеди смирения у самого Достоевского. Лучшие страницы его статьи являются апофеозом Достоевского-скептика, который в поисках правды и справедливости вместе со своим alter ego Иваном Карамазовым бестрепетно заносит руку и на свои собственные догматы, на свою веру. «Достоевский,— пишет Алексеев, — верует и проповедует „смирение" ⟨...⟩ — и сам он сомневается и сам первый грешит против своей заповеди „смирения ума". Это я утверждаю на основании исповеди Ивана в главе, названной „Бунт". Из всего написанного Достоевским, из всех его рассуждений это кажется нам замечательнейшим; это ⟨...⟩ могучая, страстная речь, „пронзающая сердце"! ⟨...⟩ Это острый топор, подрубающий бесплодную смоковницу ⟨...⟩ Мы не можем поверить, чтобы у Достоевского хватило красок, огня, силы нарисовать такие потрясающие картины ⟨...⟩ если бы сам он не мучился той же скорбью противоречий, какою мучился Иван. Он казнит Ивана — и этим себя же казнит, сомнения и порывы своего гордого ума ⟨...⟩ Достоевский не мог бы так сочувственно, правдиво, а главное, с таким огненным красноречием высказать идеи Ивана Карамазова, если бы сам не разделял их, если бы эти сомнения не были присущи ему ⟨...⟩ Он проповедовал смирение и сам смирялся, но попранный разум восстал и заговорил громче, сильнее, заговорил огненным словом!» (там же, стр. 35—36).

Что касается общей оценки романа, то критик находит, что Достоевский в своем предшествующем творчестве еще не поднимался «до такого потрясающего лиризма, до такой глубокой психологической правды, наконец — до такой художественной правды ⟨...⟩ Если мы отбросим весь монастырский эпизод, старца Зосиму и Алешу, а также механически вставленную в целое историю мальчика Илюшечки, то останется у нас общественно-психологический роман — история заблуждений и гибели Мити Карамазова, и этот роман, очищенный от всего ненужного и напрасно загромождающего его, кажется нам лучшим изо всего, что написал Достоевский» (там же, стр. 3). Сравнивая Дмитрия Карамазова с центральным героем «Преступления и наказания», Алексеев отдает явное предпочтение первому: «В то время как Раскольников — явление слишком исключительное, своеобразное, — для того чтобы иметь значительный общественный интерес, — в Мите Карамазове мы видим среднего русского человека, такого, каких тысячи встречаем мы вокруг ⟨...⟩ в истории ⟨...⟩ Мити Карамазова — сама правда» (там же). «Карамазовский безудерж», столь характерный для Мити, критик считает типической особенностью «целых слоев общества», порождением политического строя, основанного на «бесправии громадного большинства граждан», — строя, который «давал развиваться страшной разнузданности „избранных" ⟨...⟩ А между тем, — отмечает критик, — сердце у Мити доброе и нежное ⟨...⟩ жаль ⟨...⟩ что он должен пропасть...» (там же, № 12, стр. 19, 22, 25).

В 1881—1882 гг. появляются первые мемуары о Достоевском, брошюры (а иногда и книги),[1] освещающие под тем или иным углом зрения его идеи.

племен, кто ознакомится с социальными стремлениями болгарского богомильства, чешского таборитства и русского раскола, согласится с нами, что народная сущность славянского племени кроется именно в страстном стремлении устроить общественный строй на началах любви и братства». Симпатизировавший народничеству С. А. Венгеров полагал, что необычайно бурное возрождение подобных стремлений характеризует жизнь русского общества 1870-х годов. «Можно положительно утверждать, — писал он, — что ни одна эпоха русской истории не видела такого грандиозного проявления идеализма, как именно последние десять лет» (там же, стр. 287, 288).

[1] К. Н. Я р о ш. Об всем по силе разумения. Литературно-общественные очерки. Харьков, 1882. Суждения автора о романе претенциозны и компилятивны.

В некоторых из них есть высказывания о «Братьях Карамазовых». Так, например, брат философа, романист Вс. Соловьев, усматривая, как и многие другие критики тех лет, в романах Достоевского такие недостатки, как литературная неотшлифованность и композиционная аморфность, и ставя их в прямую зависимость от хронической материальной необеспеченности, вынуждавшей писателя работать лихорадочно и торопливо, подчас даже без авторедактуры, писал о нем: «У него иногда, в горячие, вдохновенные минуты, выливались глубоко поэтические сцены, страницы красоты необыкновенной, которых очень много в каждом его романе ⟨...⟩ у него бывали глубокие психологические задачи, в его голове мелькали оригинальные и замечательные решения серьезных нравственных вопросов» (Вс. С о л о в ь е в. Воспоминания о Ф. М. Достоевском. СПб., 1881, стр. 18).

Аналогичное заключение высказывалось в брошюре А. Д. Тиличеева в форме полемики с Н. К. Михайловским, назвавшим Достоевского «самым слабым из наших крупных художников» в смысле «благоустройства романа» (*ОЗ*, 1881, № 2, стр. 249; ср.: А. Д. Т и л и ч е е в. Гуманизм и национализм Достоевского. Заметки о Достоевском и славянофильстве. СПб., 1881, стр. 13—14). В брошюре опровергалось и обвинение в адрес Достоевского как поборника «строгих наказаний, острога и каторги». Тиличеев напоминал, что «Достоевский устами старца Зосимы (в разговоре его с Иваном Карамазовым) прямо высказался *против* всяких наказаний и пророчествовал, что будет время, когда все эти остроги и каторги будут заменены глубоко гуманным всепрощающим судом Христа, который смотрел на преступников как на несчастных, а не как на диких зверей, которых надо мучить и казнить» (там же, стр. 25).

Как известно, вскоре после смерти Достоевского Тургенев отклонил предложение редакции «Вестника Европы» выступить со статьей о его творчестве. Тем не менее «Братьев Карамазовых» Тургенев читал. 18 февраля (2 марта) 1881 г. он обратился к А. В. Топорову с просьбой выслать в Париж отдельное издание романа (*Тургенев, Письма,* т. XIII$_1$, стр. 64). Весьма пристально следил он и за развернувшейся как вокруг романа, так и вообще вокруг всего творчества Достоевского газетно-журнальной полемикой, о чем свидетельствует его характерный запрос М. М. Стасюлевичу (май 1882 г.): «Кто это L, пишущий критические статьи (о Достоевском) в „Голосе"? Светлая голова и проницательный ум» (там же, стр. 253).

Когда появилась в печати статья Н. К. Михайловского «Жестокий талант», Тургенев писал Салтыкову-Щедрину: «Он ⟨Михайловский, — *Ред.*⟩ верно подметил основную черту его творчества. Он мог бы вспомнить, что и во французской литературе было схожее явление — а именно пресловутый маркиз де Сад. Этот даже книгу написал: „Tourments et supplices", в которой он с особенным наслаждением настаивает на развратной неге, доставляемой нанесением изысканных мук и страданий. Достоевский тоже в одном из своих романов тщательно расписывает удовольствие одного любителя...» (там же, т. XIII$_2$, стр. 49). Заключительная фраза приведенного неприязненного по отношению к Достоевскому отрывка из письма Тургенева могла быть косвенной характеристикой «жестокости таланта» Достоевского именно в последнем его романе. Упоминая об «одном любителе», Тургенев мог иметь в виду не только князя Валковского и Ставрогина, но и Федора Карамазова, с гадким смешком рассказывающего в присутствии Алеши и Ивана о том, как изощренно мучил он свою вторую жену, их мать, или же Смердякова, испытывавшего столь же изощренное наслаждение, издеваясь над животными.

В 1883 г. Л. Н. Толстой говорил Г. А. Русанову, что «не мог дочитать» «Карамазовых» (см.: Н. Н. Г у с е в. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, т. I. Гослитиздат, М., 1958, стр. 561). В последующие годы отношение его к роману меняется. 2—5 ноября 1892 г. Толстой перечитывает «Карамазовых» и пишет жене: «Очень мне нравится» (*Толстой,* т. 84. стр. 167). Особенно сочувственно выделял Толстой начиная с середины 1880-х годов в романе образ Зосимы и его поучения, созвучные нравственным идеалам позднего Толстого. Рассказ Зосимы о поединке (ч. II, кн. VI, гл. II) он в 1905 г. читал

вслух. «То место, где офицер дает пощечину денщику, Л⟨ев⟩ Н⟨иколаевич⟩ прочел внятно, — записал об этом чтении мемуарист, — а читая то, где он раскаивается в том, что сделал, рыдал и глотал слезы» (там же, т. II, М., 1960, стр. 511). «Братья Карамазовы» были одной из последних книг, читаемых Толстым (краткую сводку главных положительных и критических отзывов Толстого о романе см. там же (по указателю); см. также: Л. Толстой об искусстве и литературе, т. II. Изд. «Советский писатель», М., 1958, стр. 181).

В 1885 г. Толстой ставит в один ряд (по силе реалистического воплощения) образы Федора Карамазова и Ивана Грозного в знаменитой картине И. Е. Репина. Он пишет художнику: «У нас была геморроидальная полоумная приживалка старуха, а еще есть Карамазов-отец — и Иоанн ваш — это для меня соединение этой приживалки и Карамазова, и он самый плюгавый и жалкий, жалкий убийца, какими они и должны быть...» (*Толстой,* т. 63, стр. 223).

В 1886 г. Толстой писал с негодованием о тогдашней царской цензуре: «Все запрещают ⟨...⟩ Старца Зосиму и того запретили» (*Толстой,* т. 64, стр. 4). Толстой имел в данном случае в виду не пропущенную цензурой переработку для издания «Посредник» главы из романа Достоевского под заглавием «Старец Зосима» (см. об этом: *РЛ*, 1970, № 2, стр. 123—125).

Эмоциональны и глубоки суждения о романе «Братья Карамазовы» И. Н. Крамского. 14 февраля 1881 г. он писал П. М. Третьякову: «Я не знал ⟨...⟩ какую роль Достоевский играл в Вашем духовном мире, хотя покойный играл роль огромную в жизни каждого (я думаю), для кого жизнь есть глубокая трагедия, а не праздник. После „Карамазовых" (и во время чтения) несколько раз я с ужасом оглядывался кругом и удивлялся, что все идет по-старому, а что мир не перевернулся на своей оси. Казалось: как после семейного совета Карамазовых у старца Зосимы, после „Великого инквизитора" есть люди, обирающие ближнего, есть политика, открыто исповедующая лицемерие, есть архиереи, спокойно полагающие, что дело Христа своим чередом, а практика жизни своим: словом, это нечто до такой степени пророческое, огненное, апокалипсическое, что казалось невозможным оставаться на том месте, где мы были вчера, носить те чувства, которыми мы питались, думать о чем-нибудь, кроме страшного дня судного. Этим я только хочу сказать, что и Вы и я, вероятно, не одиноки. Что есть много душ и сердец, находящихся в мятеже ⟨...⟩ Достоевский действительно был нашею общественною совестью!» (*Крамской,* т. II, стр. 60—61). Прочность, долговременность такого отношения И. Н. Крамского к роману Достоевского подтверждается его письмом к А. С. Суворину от 21 января 1885 г.: «... когда я читал „Карамазовых", то были моменты, когда казалось: „Ну, если и после этого мир не перевернется на оси туда, куда желает художник, то умирай человеческое сердце!"» (там же, стр. 166).

Отзывы Крамского о «Братьях Карамазовых» можно, по-видимому, как и вышеприведенный отзыв Толстого, рассматривать в родственной связи с его впечатлениями от картины И. Е. Репина, в которой Крамской видел произведение искусства с огромным зарядом нравственно-воспитательного воздействия на зрителя («... человек, видевший хотя раз внимательно эту картину, навсегда застрахован от разнузданности зверя, который, говорят, в нем сидит», — там же, стр. 168). Эти впечатления совпадают с интерпретацией Крамским последнего романа Достоевского, оказывавшего, по его словам, «на всякого русского человека ⟨...⟩ огромное морализирующее влияние» (там же, стр. 59).

Противоположное Крамскому критическое отношение И. Е. Репина к «Братьям Карамазовым» отражено в его письме к художнику от 16 февраля 1881 г. (см.: И. Е. Репин и И. Н. Крамской. Переписка. 1873—1885. Изд. «Искусство», М.—Л., 1949, стр. 169; ср.: И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка. 1877—1894, т. II. Изд. «Искусство», М., 1949, стр. 59—60).

Из суждений русских писателей конца XIX—начала XX в. о романе надо выделить суждения В. Г. Короленко, непримиримо критиковавшего утопические идеалы автора «Карамазовых» и сочувственно выделявшего в нем главу «Бунт» (*ЛН,* т. 86, стр. 636—638),

В конце XIX и начале XX в. философская и этическая проблематика романа привлекла пристальный интерес представителей символистской критики и связанной с нею идеалистической философской мысли — В. В. Розанова, А. Л. Волынского, Д. С. Мережковского, С. Н. Булгакова, Вяч. Иванова, Л. Шестова, Э. Л. Радлова, Н. А. Бердяева и других, уделивших «Карамазовым» значительное место в общих трудах о Достоевском, а также ряд специальных статей. Однако, обратив серьезное внимание на философско-этическое содержание «Карамазовых» и подвергнув философскому анализу многие из образов романа, эти критики и исследователи — идеалисты и символисты — стремились опереться на «Карамазовых» в построении собственных философских и эстетических концепций, что вело к субъективным и тенденциозным толкованиям философского смысла и образов романа, к сближению его идей и проблематики с идеями позднейшей идеалистической буржуазной философии, темами и образами модернистского искусства и литературы в различных их вариантах.

Это реакционно-идеалистическое направление в толковании романа вызвало отпор А. Луначарского и М. Горького. Горький не только уделил пристальное внимание различным образам и аспектам идейного содержания романа в своих статьях и выступлениях дореволюционного и советского времени, подвергая при этом каждый раз страстной критике с позиций действенного, социалистического гуманизма «социальную педагогику» Достоевского и ее реакционные черты, но и творчески продолжил разработку ряда социальных и психологических мотивов «Карамазовых» в «Жизни Клима Самгина» и других произведениях, посвященных анализу жизни, идей и социальной психологии различных слоев населения дореволюционной России.[1]

О казуистике адвоката из «Братьев Карамазовых» («грабежа не было и убийства не было») напомнил в 1914 г. В. И. Ленин в статье «Еще одно уничтожение социализма», иронически сопоставив с его казуистическими рассуждениями либерально-буржуазную софистику П. Б. Струве.[2]

13

Первые переводы «Братьев Карамазовых» появились в восьмидесятые годы XIX в. сначала в Германии (1884),[3] а затем во Франции (1888).[4] В 1890 г. перевод «Карамазовых» выходит в Норвегии,[5] в 1894 г. — в Чехословакии,[6] в 1901 г. — в Италии,[7] в 1912 г. — в Англии,[8] в 1915 г. — в Румынии,[9] в 1923 г. — в Сербии[10] и т. д.

Еще до выхода в свет перевода романа на немецкий язык А. фон Рейнгольд писал, что в нем «гуманность Достоевского находит свое высшее

---

[1] См.: А. С. Мясников. Достоевский и Горький. В кн.: *Достоевский — художник и мыслитель*, стр. 523—602; М. Я. Ермакова. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе XX века. Волго-Вятское книжное издательство, Горький, 1973, стр. 257—318 (здесь же указана и проанализирована литература вопроса).

[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25. Изд. 5-е. М., 1961, стр. 45.

[3] F. M. Dostojewsky. Die Brüder Karamazow. Leipzig, 1884.

[4] Th. Dostoievski. Les Frères Karamazov, v. I—II. Traduit et adapté par E. Halperine-Kaminsky et Ch. Morice. Paris, 1888.

[5] F. M. Dostojevski. Brodrene Karamazov. Kristiania, 1890.

[6] F. M. Dostojevskij. Spisy. Sv. 3—5. Pr. J. Hruby. Praha, 1894.

[7] F. Dostojewski. I Fratelli Karamazoff. Milano, 1901.

[8] F. M. Dostoievsky. The Brothers Karamazov. London. 1912.

[9] F. M. Dostoievski. Fratii Karamazov. Bucuresti, 1915.

[10] См. об этом: M. Бабовић. Достојевски код Срба. Титоград, 1961, стр. 407.

выражение».[1] Сдержаннее отнесся к «Карамазовым» Э. Цабель, который писал о романе, что «он представляет собой бесконечный диалог, который назойливо жужжит около нас и не дает читателю остановиться на характеристическом изображении какого-либо положения».[2]

«Братья Карамазовы» не укладывались в рамки натуралистической эстетики и притягивали к себе тех, кто в Германии конца XIX—начала XX в. искал новых путей. В связи с этим здесь выходят в свет новые переводы романа, а его популярность неуклонно растет. Поэт и романист Ф. Верфель заявляет в 1910-е годы, что «Карамазовы» способствовали формированию его поэтики, идейных и эстетических привязанностей.[3] В стихах и романах Верфеля прямо или косвенно восходят к последнему роману Достоевского тема столкновения «детей» и «отцов», трактовка вины и ее искупления, мотив встречи человека с чертом. Многие его герои подобно Ивану Карамазову «не атеисты, но бунтари против авторитета божьего».[4]

Большой интерес вызвали «Братья Карамазовы» у А. Эйнштейна (см. стр. 473) и Ф. Кафки. В своем дневнике Кафка пишет о Федоре Павловиче: «... отец братьев Карамазовых отнюдь не дурак, он очень умный, почти равный по уму Ивану, но злой человек, и, во всяком случае, он умнее, к примеру, своего не опровергаемого рассказчиком двоюродного брата или племянника, помещика, который считает себя выше его».[5] Отмечалась определенная философская перекличка новеллы Кафки «В исправительной колонии» (1914; опубл. — 1919) с «Легендой о Великом инквизиторе».[6]

В 1920-е годы после вынужденного перерыва, вызванного первой мировой войной, интерес к «Братьям Карамазовым» вспыхивает в Германии с новой силой. Этому способствует интерес к новой, революционной России. Частью буржуазной интеллигенции Достоевский воспринимается как провозвестник грядущего заката Европы.[7] Иначе осмыслил роман Достоевского С. Цвейг, писавший о нем: «Это миф о новом человеке и его рождении из лона русской души».[8] Широкую популярность в Германии 1920-х годов получило психоаналитическое, антигуманистическое по своему духу истолкование «Карамазовых». Как З. Фрейд, так и его ученица И. Нейфельд видели в романе концентрированное выражение «Эдипова комплекса», т. е. импульса отцеубийства, а в его героях — расщепление характера самого автора (см. стр. 453). В борьбе с фрейдизмом в 1930—1940-х годах закладываются основы нового, действенно гуманистического восприятия «Карамазовых». Его вершина — «Доктор Фаустус» Т. Манна.[9] В период борьбы с гитлеризмом «интерес к больному, апокалиптически-гротесковому миру Достоевского решительно возобладал» у Т. Манна, по его собственному признанию, «над обычно более сильной привязанностью к гомеровской мощи Толстого». Беседа Ивана Карамазова с чертом, входившая в круг тогдашнего чтения Т. Манна, получила непосредственное отражение в «Фаустусе», где с дьяволом беседует герой романа — духовный потомок Ивана Карама-

---

[1] Цит. по: Th. Kampmann. Dostojewski in Deutschland. Münster, 1931, S. 13. См. о восприятии «Братьев Карамазовых» немецкой литературой и критикой конца XIX и XX в.: *ЛН*, т. 86, стр. 674—727.

[2] E. Zabel. Russische Litteraturbilder. Berlin, 1899, S. 177.

[3] См.: M. Turrian. Dostoevskij und Franz Werfel. Bern, 1950, S. 39.

[4] Там же, S. 64; ср.: F. Werfel. Einander. Leipzig, 1915.

[5] Из дневников Франца Кафки. «Вопросы литературы», 1968, № 2, стр. 157.

[6] Б. Сучков. Мир Кафки. В кн.: Франц Кафка. Роман, новеллы, притчи. М., 1965, стр. 29.

[7] См.: H. Hesse. Blick ins Chaos. Bern, 1921. Очерк о «Карамазовых» носит здесь название «„Братья Карамазовы", или крушение Европы».

[8] S. Zweig. Drei Meister: Balzac, Dickens, Dostojewski. Leipzig, 1923, S. 137.

[9] Т. Манн. История «Доктора Фаустуса». Роман одного романа. В кн.: Т. Манн. Собрание сочинений, т. IX. М., 1959, стр. 251, 287.

зова Адриан Леверкюн. В нем воплощена драма немецкого художника, а вместе с тем и национальная трагедия Германии в годы фашизма.

Глубокое социально-идеологическое истолкование основные образы романа и гуманизм «Братьев Карамазовых» получили в критическом этюде о Достоевском и Шиллере А. Зегерс.[1]

Во Франции судьба «Братьев Карамазовых» была сложнее, чем в Германии. Автор монографии «Русский роман» Э. М. де Вогюэ отозвался о романе Достоевского пренебрежительно, заявив, что «мало кому в России хватило терпения, чтобы добраться до конца этой нескончаемой истории».[2]

Эта пренебрежительная оценка оказала влияние на французских критиков и первых переводчиков романа — Гальперина-Каминского и Мориса, которые изъяли из романа целые главы и части, впоследствии составившие отдельную книгу,[3] где фамилия героев была из предосторожности заменена на Шестомазовы. Авторы второго,[4] претендовавшего на исчерпывающую полноту перевода, Бьинсток и Торкю, хотя и восстановили авторскую конструкцию «Карамазовых», но «лишили диалоги свойственной им незавершенности, трепещущей патетики ⟨...⟩ выбросили треть фраз, а часто и целые абзацы, порой самые важные».[5] Несмотря на это, на «Братьев Карамазовых» обратил внимание Леконт де Лиль, который под впечатлением «Легенды о Великом инквизиторе» создает поэму «Les Raisons de Saint-Père» («Доводы святого отца») (см. стр. 464), а Вилье де Лиль Адан, пораженный тою же главою из «Братьев Карамазовых», насыщает свою ранее написанную трагедию «Аксель» при окончательной обработке ее рядом отзвуков монолога Великого инквизитора.[6] В середине 1890-х годов с романом знакомится Ш.-Л. Филипп.[7]

Отношение к «Карамазовым» меняется в середине 1910-х годов. А. Жид посвящает «Карамазовым» восторженную статью, приурочив ее к премьере в парижском Театре искусств спектакля по мотивам романа (1911). Называя последний роман Достоевского его «величайшим творением», Жид говорит о том, что герои русского писателя обращены к современности: «Нет ничего более постоянно сущего, чем эти потрясающие образы, которые ни разу не изменяют своей настоятельной реальности».[8] М. Пруст включил рассуждения об «Идиоте» и «Карамазовых» в один из диалогов романа «Пленница» из цикла «В поисках утраченного времени»: «Я нахожу у Достоевского исключительно глубокие места, — говорит рассказчик, — которые, однако, затрагивают лишь некоторые отдельные стороны человеческой души. Тем не менее он — великий художник ⟨...⟩ Все эти беспрестанно повторяющиеся шуты, вся эта невероятная вереница Лебедевых, Карамазовых, Иволгиных, Снегиревых составляет более фантастический род человеческий, чем тот, которым населена „Ночная стража" Рембрандта».[9]

Огромным было влияние «Карамазовых» на французскую литературу 1920-х годов. «Присутствие Достоевского, — писал в 1924 г. М. Арлан, — ощущается чрезвычайно ясно; никогда французы не чувствовали себя ближе к некоторым героям „Карамазовых"».[10] Особенно ощутима эта близость в

[1] A. Seghers. Woher sie kommen, wohin sie gehen. In: Über Tolstoj, über Dostojewskij. Berlin, 1963, S. 53—122; А. Зегерс. Заметки о Достоевском и Шиллере, стр. 118—138. См. также: наст. том, стр. 457, 463.

[2] E. M. De Vogüé. Le roman russe. Paris, 1892, p. 265—266.

[3] Th. Dostojevski. Les Précoces. Paris, 1889.

[4] Th. Dostojevski. Les Frères Karamazov. Traduit du russe par Bienstock et Torquet. Paris, 1906.

[5] A. Gide. Dostojevski. Articles et causeries. Paris, 1964, p. 62.

[6] С. Макашин. Литературные взаимоотношения России и Франции XVIII—XIX вв. *ЛН*, т. 29—30, стр. LXVI.

[7] См.: F. Hemmings. The Russian Novel in France. London, 1950.

[8] A. Gide. Dostojevski..., p. 63.

[9] M. Proust. La Prisonnière. Paris, 1954, p. 406.

[10] M. Arland. Sur un nouveau mal du siècle. «Nouvelle Revue Française», 1924, № 125, p. 158.

творчестве Ф. Мориака. В романе А. Мальро «Удел человеческий» (русский перевод — «Условия человеческого существования» (1933)) присутствуют не только параллели к «Братьям Карамазовым, но и полемика с учением Зосимы. «Зачем человеку душа, если нет ни бога, ни Иисуса» — вот credo «старца» у Мальро.[1] В примечаниях к книге Ж. Пикона (1956)[2] Мальро высоко оценил художественные особенности романа Достоевского. Сопоставив его с популярной на Западе книгой американской писательницы М. Митчел «Унесенные ветром», он показал, насколько обширнее и глубже художественный мир «Карамазовых».

В середине 1930-х годов с «Братьями Карамазовыми» знакомится А. Камю, особый интерес которого на протяжении всей его жизни вызывал образ Ивана: однажды он даже сыграл роль этого своего любимого героя в спектакле, который поставил в Алжире в 1937 г. В «Мифе о Сизифе» (1942) — трактате на тему о бессмысленности мира, лишенного бога, — Камю несколько раз обращается к анализу «бунта» Ивана. Он видит главное достоинство Ивана в том, что тот находит в себе мужество, чтобы не отказаться от «силы духа» ради бессмертия, ибо за это надо платить унижением и свободой.

К аргументации Ивана Камю возвращается и в более поздние годы; так, в его романе «Чума» (1947) мы находим парафраз карамазовского монолога: «... даже на смертном одре, — восклицает доктор Риэ, потрясенный смертью безвинного ребенка, — я не приму этот мир божий, где истязают детей».[3] Позднее в трактате «Человек бунтующий» (1951) Камю оспаривает принцип «всё позволено», усматривая в «логике негодования» Ивана истоки чуждого ему современного нигилизма: «Иван представляет собой образ побежденного бунтаря ⟨...⟩ Бунт разума кончается для него безумием».[4]

В Англии первое упоминание о «Братьях Карамазовых» датировано 1880 г., когда в журнале «Контемпорэри ревью» появилось сообщение о том, что в Петербурге начал печататься «очень интересный роман Федора Достоевского».[5] Но в последующие 30 лет в Англии не проявляли интереса к роману. Критика обычно отделывалась шаблонными замечаниями об его архитектонических слабостях. Лишь в 1910 г. М. Баринг предпринял попытку реабилитации романа в своем труде «Вехи русской литературы».[6]

Оценка Баринга не осталась незамеченной. В том же году А. Беннет опубликовал в журнале «Нью Эйдж» рецензию, в которой писал, что прочел «Карамазовых» по-французски и обнаружил в этом романе «такие потрясающие сцены, каких никогда еще не встречал в литературе».[7] Беннет заявил даже, что «Братья Карамазовы» — это «одно из величайших чудес на свете».[8]

В 1912 г. выходит первый английский перевод «Братьев Карамазовых» К. Гарнетт. Он кладет начало новому этапу в восприятии Достоевского. «Ни одну книгу в Англии этого времени (1912 —1918 гг.) не читали больше, чем „Братьев Карамазовых"», — отмечает французский исследователь А. Шевали.[9] Рецензенты провозглашают Достоевского «самым русским из всех русских писателей», а роман его — единственным средством «понять русскую душу». «В „Братьях Карамазовых", — писал один из рецензентов, — все пронизано лихорадкой и возбуждением, все предельно напряжено; действие

---

[1] См. о Достоевском и Мальро: R. M. Mathewson. Dostoevskij and Malraux. 's-Gravenhage, 1958, p. 11.

[2] G. Picon. Malraux par lui-même. Paris, 1956, p. 40.

[3] А. Камю. Избранное. М., 1969, стр. 305.

[4] A. Camus. L'homme révolté. Paris, 1951, p. 79, 82, 83.

[5] См.: H. Muchnic. Dostoevsky's English Reputation. In: Smith College Studies in Modern Languages, 1938—1939, vol. XX, p. 7.

[6] M. Baring. Landmarks in Russian Literature. London, 1910, p. 249.

[7] «New Age», 1910, vol. V, № 6, p. 518.

[8] Там же, p. 519. С годами оценка романа А. Беннетом становится все более восторженной. См.: A. Bennett. Some Adventures Among Russian Fiction. In: The Soul of Russia. Ed. by W. Stephens. London, 1916, p. 86—87.

[9] См.: H. Muchnic. Dostoevsky's English Reputation, p. 109.

балансирует на грани безумия». Тем не менее критика не отрицала реализма «Карамазовых»: «Как это ни странно, — отмечал рецензент «Спектейтора», — но Достоевский, при всем его пристрастии к ненормальному и неестественному, — глубоко правдивый и человечный писатель».[1]

Перевод К. Гарнетт заставил пересмотреть устаревшее мнение о хаотичности и формальных «погрешностях» романа. Тот же «Спектейтор» писал, что в «Карамазовых» «видимая бесформенность оказывается завершенностью гигантского готического собора».[2]

Восторженно приняли «Карамазовых» В. Вулф, К. Мэнсфилд, Е. М. Форстер, Х. Уолпол. Однако нашлись у романа и влиятельные противники — Дж. Голсуорси, Г. Джеймс, Дж. Конрад, Д. Г. Лоуренс — автор предисловия к отдельному изданию «Великого инквизитора», написанного с ницшеанских позиций.[3]

После второй мировой войны интерес к «Братьям Карамазовым» в Англии вспыхнул с новой силой. Из статей и книг, им посвященных, можно привести трактат английского писателя К. Уилсона «Посторонний», написанный в духе философии экзистенциализма.

По словам Г. Фелпса, «Братья Карамазовы» способствовали разрушению старой традиции английского семейного романа, восходящей к Троллопу, и созданию нового типа повествования.[4]

Большое влияние английский перевод «Братьев Карамазовых» оказал на американскую литературу XX в., в особенности со времен первой мировой войны. Так, Т. Вулф упоминает «Карамазовых» среди самых любимых своих книг, ставя Достоевского в один ряд с Шекспиром и Сервантесом. «Братьев Карамазовых» вместе с «Дон-Кихотом» и «Тристрамом Шенди» он называет «примерами произведений, обретших „бессмертие" и в то же время *громокипящих и бьющих через край*».[5] Влияние последнего романа Достоевского ощущается в структуре персонажей наиболее известного произведения Вулфа, романа «Взгляни на дом свой, ангел» (1929), героев которого, членов семьи Гантов, объединенных любовью-ненавистью и особым «гантовским безудержем», критики называли «американскими Карамазовыми».

В автобиографическом романе Вулфа «Паутина и скала» (1939) главный герой размышляет над только что прочитанными страницами «Карамазовых». Речь Алеши на кладбище, ставшая для молодого Уэббера образцом искренности и правдивости в литературе, волнует его «сильнее самой изощренной риторики», а весь роман Достоевского герой Вулфа называет «великим виденьем жизни и судьбы человеческой, как ее понимает человек с великой душой».[6]

«Братья Карамазовы» входят в список любимых книг С. Фитцджеральда, ими восторгается Ш. Андерсон. «Во всей литературе нет ничего подобного „Карамазовым", — пишет он в 1921 г., — это Библия». Достоевский для него — единственный писатель, перед которым он «готов стать на колени».[7]

Неоднократно отмечалась «зараженность» У. Фолкнера идеями и мотивами «Карамазовых». И сам писатель, когда речь заходила о его литератур-

---

[1] Там же, p. 67.

[2] G. Phelps. The Russian Novel in English Fiction. London, 1956, p. 170.

[3] F. M. Dostoevsky. The Grand Inquisitor. Tr. by S. S. Koteliansky. Introduction by D. H. Lawrence. London, 1930. В те же годы Лоуренс, бравируя, говорил: «Я читал „Великого инквизитора" трижды, но так толком и не запомнил, о чем там идет речь» (D. H. Lawrence. On Dostoevsky and Rozanov. In: Russian Literature and Modern English Fiction. Ed. by D. Davie. Chicago—London, 1965, p. 100).

[4] См.: G. Phelps. The Russian Novel..., p. 184.

[5] «Вопросы литературы», 1972, № 7, стр. 179, 190.

[6] Th. Wolfe. The Web and the Rock. New York, 1960, p. 240, 241.

[7] «Вопросы литературы», 1965, № 2, стр. 176.

ных привязанностях, неизменно упоминал Достоевского: «Он не только сильно повлиял на меня, но и доставил огромное удовольствие при чтении, и я все еще перечитываю его чуть ли не каждый год. По своему мастерству, а также по силе проникновения в людей, по своей способности сострадания он был одним из тех, с кем каждый писатель хотел бы сравниться, если сможет...».[1] Эти слова прежде всего относятся к «Карамазовым». Отклик у Фолкнера вызвала концепция очищения через страдание, на которой строятся многие его романы и в первую очередь «Реквием по монахине».[2]

Отмечались многочисленные у Фолкнера параллели к поэме «Великий инквизитор». К ней восходят некоторые высказывания героев «Диких пальм», а герой наиболее сложного по структуре философского романа Фолкнера «Притча», по определению Т. Мотылевой, «символически соотнесен с Христом, вернувшимся на землю; его беседа с тюремным священником накануне казни даже текстуально тесно соприкасается с легендой из „Братьев Карамазовых"».[3]

С каждым годом растет число изданий и переизданий «Братьев Карамазовых» чуть ли не на всех языках мира. В одном только 1968 г. (по данным ЮНЕСКО) вышло 10 новых изданий романа на немецком, испанском, английском, финском, итальянском, японском и турецком языках.[4]

14

Еще до завершения «Карамазовых» в 1879—1880 гг. Достоевский не раз выступал с чтением отрывков из романа: 6 марта 1879 г. он читает в Петербурге на вечере в пользу Бестужевских курсов главу VII четвертой книги («И на чистом воздухе»), 9 марта на вечере в пользу Литературного фонда в зале Благородного собрания (ныне — помещение Ленинградской филармонии) «Исповедь горячего сердца», а 16 марта — «Рассказ по секрету». 30 декабря 1879 г. на литературном чтении в пользу студентов С.-Петербургского университета автор читает главу «Великий инквизитор» (*Достоевская, А. Г. Воспоминания*, стр. 465; *Д, Письма*, т. IV, стр. 133, 372) и при этом произносит уже известное нам вступительное слово к ней (стр. 198), 20 февраля 1880 г. Достоевский читает отрывок из романа на вечере в Коломенской женской гимназии, 20 марта того же года — на литературно-музыкальном вечере в пользу отделения несовершеннолетних Дома милосердия в зале С.-Петербургской городской думы — беседу Зосимы с «верующими бабами» (кн. II, гл. III), а 27 апреля на литературном вечере в пользу Славянского благотворительного общества — отрывки из недавно отосланной в редакцию книги «Мальчики». В последний раз Достоевский читал из романа 30 ноября 1880 г. на музыкально-литературном вечере в пользу студентов С.-Петербургского университета в зале городского Кредитного общества главу «Похороны Илюшечки» (*Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 278, 289, 290, 294, 296, 312, 350—351; *Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 350—353; *ЛН,* т. 86, стр. 136, 476, 479, 493). Все указанные чтения проходили с большим успехом и неизменно приносили автору шумные овации. До нас дошли экземпляры главы «Великий инквизитор» (кн. V, гл. V) и книги

---

[1] Faulkner in the University. New York, 1965, p. 69.

[2] W. Faulkner. Requiem for a Nun. London, 1953, p. 120.

[3] Т. Мотылева. Достоевский и зарубежные писатели XX века. «Вопросы литературы», 1971, № 5, стр. 115.

[4] См. о восприятии «Братьев Карамазовых» за рубежом также: А. Л. Григорьев. Достоевский и зарубежная литература. «Ученые записки Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена», кафедра зарубежной литературы, 1958, т. 158, стр. 3—49; Т. Мотылева: 1) Достоевский и мировая литература. В кн.: *Творчество Достоевского*, стр.15—44; 2)Достояние современного реализма. М., 1973, стр. 223—375.

«Мальчики» (кн. X, гл. I—V), специально подготовленные автором для публичного чтения, с его редакционными пометами, отчеркиваниями и сокращениями (см. стр. 388—391).[1]

С 1881 г. начались в России попытки инсценировать «Братьев Карамазовых».[2] Но почти два десятилетия царская цензура препятствовала проникновению романа на сцену, усматривая в нем, как и в предшествующих романах Достоевского («Преступление и наказание» и «Идиот»), «сплошной протест против существующего общества».[3]

27 декабря 1881 г. Совет Главного управления по делам печати рассмотрел доклад цензора драматических сочинений Е. Кейзера фон Нилькгейма об инсценировке «Братьев Карамазовых», представленной В. Д. Вольфсоном. «Чудовищное преступление отцеубийства, — заключил цензор, — в котором принимают самое деятельное или бессознательное участие трое сыновей ⟨...⟩ не может быть производимо на сцене». По докладу было принято решение «пьесу „Братья Карамазовы" запретить к представлению на сцене».[4]

Причины отрицательного отношения цензуры к роману Достоевского раскрыты в рапорте П. И. Фридберга от 16 ноября 1885 г. об инсценировке Н. И. Мердер: «Роман этот, приобретший в свое время громкую известность, несмотря на признанные за ним литературные достоинства, — говорится здесь, — ни в каком случае не мог послужить темой для разработки его в драматической форме для русской сцены ⟨...⟩ произведение это ложится позорным пятном на русское помещичье сословие. А в этом последнем смысле драма г-жи Мердер, независимо от других поводов, подлежит безусловному запрещению».[5]

В 1893—1894 гг. были запрещены и инсценировки эпизодов романа, связанные с историей штабс-капитана Снегирева. Цензоры писали, что благодаря своей «чрезмерной реальности» они порочат русского офицера и (в образе Алеши) лиц, облеченных в монашескую одежду. В 1897 и 1901 гг. в связи с еще двумя инсценировками романа (NN и П. И. Николаева-Степняка) была подтверждена его «полная несостоятельность» в «цензурном отношении».[6]

Поэтому первое исполнение как отдельных эпизодов, так и полной инсценировки романа было осуществлено на провинциальной сцене, где «Карамазовы» вошли в репертуар известных актеров-гастролеров. Так,

---

[1] Дочь писателя рассказывает, что Достоевский читал «несколько глав из „Братьев Карамазовых" до их публикации» также в салоне вдовы поэта А. К. Толстого, графини С. А. Толстой: «Достоевский, верный своей идее приблизить интеллектуальное общество к народу, читал на аристократических вечерах предпочтительно главу из „Братьев Карамазовых", в которой старец Зосима принимает бедных крестьянок, пришедших к нему на богомолье» (Л. Ф. Достоевская об отце. *ЛН,* т. 86, стр. 303, 306). Из дневника великого князя К. К. Романова известно также о чтении 8 мая 1880 г. у него на вечере Достоевским «исповеди старца Зосимы», «одного из величайших произведений» его, по оценке автора дневника (там же, стр. 137).

[2] Рукописи большинства инсценировок хранятся в Ленинградской государственной театральной библиотеке им. А. В. Луначарского. Описание их, сделанное А. Н. Гладцыной, Н. А. Домаревой и М. О. Тишкевич, см.: «Достоевский. Однодневная газета Русского библиологического общества», 1921, 30 октября (12 ноября), стр. 28—29.

[3] См. об этом подробнее: Т. И. Орнатская и Г. В. Степанова. Романы Достоевского и драматическая цензура. В кн.: *Материалы и исследования,* т. I, стр. 268—285.

[4] Там же, стр. 283.

[5] Там же, стр. 283 и 284. Рукопись этой инсценировки хранится в *ИРЛИ* (29578, ССХб. 35). На ней скрепленная печатью Главного управления по делам печати резолюция: «Драматическою цензурою к представлению признано неудобным. С.-Петербург. 18 ноября 1885 г.».

[6] См.: *Материалы и исследования*, т. I, стр. 284—285.

В. Н. Андреев-Бурлак, уже прославившийся концертным исполнением исповеди Мармеладова (из «Преступления и наказания»), в конце 1880-х годов в композиции «Мочалка» (ее основу составила сцена Алеши и Снегирева «У камня») сыграл роль штабс-капитана Снегирева, которая стала одним из лучших его сценических созданий.[1]

В роли Дмитрия Карамазова с большим успехом выступал в 1900-х годах на провинциальной и столичной сценах известный трагический актер П. Н. Орленев.[2] Впервые эта роль была исполнена им 24 ноября 1900 г. в Костроме в спектакле, поставленном режиссером Д. А. Бельским. На роль Грушеньки Орленев пригласил А. Назимову (ставшую впоследствии одной из «звезд» немого кино).

26 января 1901 г. состоялся первый спектакль «Братья Карамазовы» в Петербурге — в суворинском Малом театре (Театр Литературно-художественного общества). Роли исполнили: Митя — П. Н. Орленев, Федор Павлович — К. В. Бравич, Грушенька — З. В. Холмская. Рецензенты отметили из исполнителей лишь Орленева и резко отрицательно оценили инсценировку Дмитриева.[3]

Крупнейшим событием во всей сценической истории романов Достоевского стал спектакль Московского Художественного театра. Премьера его состоялась 12 октября 1910 г. Автор инсценировки и постановщик — Вл. И. Немирович-Данченко, художник — В. А. Симов. Роли исполнили: Федор Павлович — В. В. Лужский, Иван — В. И. Качалов, Митя — Л. М. Леонидов, Алеша — В. В. Готовцев, Грушенька — М. Н. Германова, Снегирев — И. М. Москвин, Смердяков — С. Н. Воронов. Режиссер и актеры стремились в постановке «Карамазовых» воплотить бунт человечности, бунт сердца и разума против уродливой и бесчеловечной действительности. Вл. И. Немирович-Данченко направлял творческие усилия актеров на выявление сложного и противоречивого внутреннего мира героев. «Достоевский создал новую эпоху в жизни Художественного театра, — свидетельствовал сам постановщик. — Первая русская трагедия. Спектакль, давший ряд крупнейших актерских побед: Качалов — Иван, Германова — Грушенька, Москвин — Мочалка, Коренева — бесенок ⟨Лиза, — *Ред.*⟩, Лужский — Карамазов ⟨Федор Павлович, — *Ред.*⟩, Воронов — Смердяков и какой-то стихией вырвавшийся блестящий Митя — Леонидов, обнаруживший потрясающий трагический темперамент».[4] Большие творческие достижения актеров — исполнителей ролей в этом спектакле были высоко оценены зрителем. Театральная критика писала о великолепном актерском ансамбле. Спектакль встретил признание и зарубежного зрителя. «Мне пришлось играть „Карамазовых" и у нас в провинции, и на сценах Европы и Америки, и этот спектакль сопровождался огромным успехом», — вспоминал Л. М. Леонидов.[5]

---

[1] См.: С. Нельс. Андреев-Бурлак. Изд. «Искусство», М., 1971, стр. 236—237.

[2] См.: Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанные им самим. Изд. «Искусство», Л.—М., 1961, стр. 85, 87—88, 305—310, 313.

[3] См., например, отзывы драматурга Б. И. Бентовина (псевдоним — Имп⟨рессионист⟩): «Новости», 1901, 27 и 28 января, №№ 27 и 28. В последующие годы «Братья Карамазовы» заняли прочное место в репертуаре П. Н. Орленева и его труппы, гастролировавших во многих городах России.

[4] Вл. И. Немирович-Данченко. Из прошлого. ГИХЛ, М., 1938, стр. 219.

[5] Л. М. Леонидов. Прошлое и настоящее. Из воспоминаний. Изд. МХАТ СССР им. М. Горького, М., 1948, стр. 116. В последующие годы в спектакль вводились новые исполнители (Федор Павлович — М. М. Тарханов, Алеша — Б. Г. Добронравов, Грушенька — А. К. Тарасова, Смердяков — В. О. Топорков и другие).

Литературу о спектакле МХАТ «Братья Карамазовы» и отдельных исполнителях см.: Н. А. Соколов. Материалы для библиографии Ф. М. Достоевского. 1903—1923 гг. В кн.: *Сб. Достоевский,* II, Приложение; Ф. М. До-

В 1913 г. М. Горький выступил со статьями «О „карамазовщине"» и «Еще раз о „карамазовщине"» («Русское слово», 1913, 22 сентября и 27 октября, №№ 219 и 248), направленными против постановок в годы нового революционного подъема по романам Достоевского на сцене Московского Художественного театра, в первую очередь против спектакля «Николай Ставрогин».[1] Исходя из того, что «на Русь снова надвигаются тучи, обещая великие бури и грозы, снова наступают тяжелые дни, требуя дружного единения умов и воль, крайнего напряжения всех здоровых сил ⟨...⟩ страны», Горький утверждал, что спектакли «Братья Карамазовы» и «Николай Ставрогин», «да еще в таком талантливом исполнении», в тогдашних условиях несвоевременны, не способствуют «оздоровлению русской жизни».[2] Остро полемические выступления М. Горького вызвали нападки на него в буржуазной печати. Но его поддержали В. И. Ленин и большевистская «Правда».[3]

Спектакль Московского Художественного театра шел два вечера. Позднее театр подготовил сокращенную его редакцию, давая главные отрывки из «Карамазовых» за один вечер. Большой успех в 1920—1930-х годах имело и концертное исполнение отдельных эпизодов из спектакля такими выдающимися актерами, как И. М. Москвин (сцена Снегирева с Алешей) и В. И. Качалов (глава «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»).

В 1960 г. МХАТ вновь поставил «Братьев Карамазовых». Инсценировал роман Б. Н. Ливанов. Постановка была осуществлена им совместно с П. А. и В. П. Марковыми. Художник спектакля — А. Д. Гончаров. Роли исполнили: Дмитрий — Б. Н. Ливанов, Федор Павлович — М. И. Прудкин, Иван — Б. А. Смирнов, Смердяков — В. В. Грибков.

В 1969 г. на экраны вышел трехсерийный фильм «Братья Карамазовы», поставленный на студии «Мосфильм» режиссером И. А. Пырьевым (третья серия его была закончена коллективом после смерти постановщика). Наиболее высокую оценку критики вызвало исполнение ролей Мити (М. А. Ульянов), Ивана (К. Ю. Лавров), Алеши (А. В. Мягков), Федора Павловича (М. И. Прудкин), Смердякова (В. Ю. Никулин).[4]

Юбилей 1971 г. вновь привлек внимание театров к «Карамазовым». В 1972 г. с успехом прошла премьера спектакля «Брат Алеша» в Московском Драматическом театре (на Малой Бронной). Драматург В. С. Розов написал пьесу по мотивам романа, выделив из него линию «Мочалка»—Илюшечка—Коля Красоткин—Алеша—Лиза Хохлакова. Ставил спектакль А. Эфрос, художник — В. Паперный. С большой силой исполнили свои роли О. Яковлева (Лиза Хохлакова) и Л. Дуров (Снегирев). В роли Алеши выступили А. Грачев и Г. Сайфулин, Коли Красоткина — В. Лакирев.[5]

Из многочисленных сценических обработок романа на Западе наибольшей известностью по сей день пользуется инсценировка французских драматургов Ж. Копо и Ж. Круэ (1910),[6] которая впервые была поставлена

стоевский. Библиография произведений Ф. М. Достоевского и литературы о нем. 1917—1965. Изд. «Книга», М., 1968 (см. Тематический указатель и Указатель имен).

[1] См. об этом: наст. изд., т. XII, стр. 272—273.

[2] См.: *Горький*, т. 24, стр. 148, 150 и 153.

[3] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 48. Изд. 5-е. М., 1964, стр. 226. См. также: С. Балухатый. Критика о М. Горьком. Библиография статей и книг. 1893—1932. ГИХЛ, Л., 1934.

[4] См. библиографию посвященных фильму статей и рецензий в кн.: 1) *Достоевский и его время,* стр. 343, 351—352; 2) Ф. М. Достоевский и Н. А. Некрасов. (Сборник научных трудов). Л., 1974, стр. 223—224 (Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена). См. также: Я. Билинкис. «Братья Карамазовы» на экране и Достоевский сегодня. В кн.: Ф. М. Достоевский и Н. А. Некрасов..., стр. 3—22.

[5] См.: М. Туровская. По мотивам Достоевского. «Театр», 1972, № 6, стр. 13—18.

[6] J. Copeau et J. Croué. Les Frères Karamazov. Paris, 1946.

в парижском «Театре искусств» в 1911 г. (режиссер Ж. Руше). С большим успехом роль Смердякова в этом спектакле исполнял знаменитый французский актер Ш. Дюллен, впоследствии приглашенный Ж. Копо в новый, организованный им театр «Старая голубятня». Поставленные здесь в сезоне 1913/1914 г. «Братья Карамазовы» стали заметным событием театральной жизни Парижа; работа постановщика Копо и мастерство Дюллена-Смердякова были высоко оценены критикой. В рецензии на этот спектакль А. В. Луначарский отмечал, что, хотя драматурги потеряли «неизмеримо много из данных нам Достоевским сокровищ», роман оказался настолько богат, «что и сохраненного достаточно, чтобы сделать драму выдающейся».[1]

Пьеса Копо и Круэ, пишет Луначарский, «ведет нас, так сказать, за кулисы романа, обнажает нам его пружины. Преступление, акт Смердякова, делается абсолютно доминирующим центром, отец и братья Смердякова располагаются *вокруг* него, каждый в соответствующей роли».[2] Несмотря на такое смещение акцентов и обеднение многих образов романа (Грушеньки, Катерины Ивановны, Алеши), несмотря на довольно слабую игру всех актеров, за исключением Дюллена, работу Копо — драматурга и режиссера — Луначарский признал удачной: в его инсценировке «достаточно ⟨...⟩ логики и сценической эффектности».[3]

Из других французских постановок пьесы Копо и Круэ заслуживает упоминания спектакль, поставленный А. Барсаком на сцене парижского театра «Ателье» в 1946 г. Об успехе его говорит то, что он выдержал более 220 представлений. В интерпретации Барсака (разыгранной почти без декораций и в современных костюмах) центральным персонажем стала Грушенька, в роли которой выступила М. Казарес.[4]

Пьеса Копо и Круэ была переведена на многие иностранные языки и поставлена в ряде стран. В 1913 г. состоялась премьера «Карамазовых» на сцене Народного театра в Белграде, в 1914 г. — в Нью-Йорке, в 1925 г. — в Бухаресте, в 1927 г. — снова в Нью-Йорке, на сцене театра «Гилд».

Были и другие инсценировки романа — весьма далекая от оригинала мелодрама «Медное пресс-папье» (поставленная Комиссаржевским в 1928 г. в Лондоне), пьеса итальянского писателя К. Альваро (1940), а также сербская версия Т. Строчича.

В 1964 г. роман «Братья Карамазовы» был инсценирован в варшавском Театре Польском (автор инсценировки и постановщик Е. Красовский).[5]

«Братья Карамазовы» послужили основой для одноименной оперы чешского композитора О. Йеремиаша (авторы либретто О. Йеремиаш и Я. Мариа). Постановка ее была осуществлена пражским Народным театром в 1928 г. Прогрессивная чешская критика высоко оценила оперу.[6]

Менее удачны были предпринимавшиеся в разные годы попытки экранизации «Братьев Карамазовых» за рубежом. Немецкий немой фильм 1920 г. (режиссеры К. Фрелих и Дм. Буховецкий) превратил «Карамазовых» в любовную мелодраму, и его не спасло даже участие Э. Яннингса, исполнявшего роль Дмитрия.[7] В соответствии с законами коммерческого, развлека-

---

[1] А. В. Луначарский. Собрание сочинений, т. VI. Изд. «Художественная литература», М., 1965, стр. 450.

[2] Там же, стр. 451.

[3] Там же, стр. 453.

[4] См. подробный анализ инсценировки Копо и Круэ и ее театральной судьбы в обзоре: Н. Л. Сухачев. Достоевский на французской сцене. *ЛН*, т. 86, стр. 745—748.

[5] Рецензию на эту постановку см.: Ю. Окунькова, Б. Ростоцкий. Русская классика на польской сцене. «Театр», 1965, № 6, стр. 148—149.

[6] См. об этом: F. Kautman. Boje o Dostojevského. Praha, 1966, s. 98—99.

[7] Н. Ефимов. Эмиль Яннингс. В сб.: Звезды немого кино. М., 1968, стр. 189.

тельного кинематографа были сделаны итальянский фильм «Братья Карамазовы» (1948) режиссера Джентильомо и американский фильм (1957) известного режиссера Р. Брукса, собравшего актерский ансамбль из одних только звезд мирового экрана (Дмитрий — Ю. Бриннер, Грушенька — М. Шелл, Иван — Ф. Безарт), что не спасло картину от сокрушительного провала. «Братья Карамазовы», из которых, как пишет С. Юткевич, «начисто „выпала" вся философская основа романа, оказались низкопробным боевиком с драками и погонями в духе вестерна, с поцелуями в диафрагму и со скачками по бумажному снегу на колесницах».[1]

С т р. 5.* *Посвящается Анне Григорьевне Достоевской.* — Анна Григорьевна Достоевская, урожденная Сниткина (1846—1918), — с 1867 г. вторая жена Достоевского. См. о ней: С. В. Б е л о в, В. А. Т у н и м а н о в. А. Г. Достоевская и ее воспоминания. В кн.: *Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 5—32.

С т р. 5. *Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода (Евангелие от Иоанна, гл. XII, ст. 24).* — Эти слова, повторенные в тексте романа, выражают надежду писателя на грядущее обновление и процветание России (и всего человечества), которое должно наступить вслед за всеобщим разложением и упадком.

С т р. 6. *Главный роман второй — это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент.* — О предполагаемом продолжении романа см. стр. 485—486.

С т р. 8. *...чтобы походить на шекспировскую Офелию...* — Упоминание Офелии, героини трагедии Шекспира «Гамлет», увязанное здесь с идеей женской эмансипации, указывает на западную природу этой идеи. В библиотеке Достоевского имелось издание: Ш е к с п и р. Полное собрание драматических произведений в переводе русских писателей, тт. I—IV. Изд. Н. А. Некрасова и Н. В. Гербеля. СПб., 1865—1868 (см.: *Гроссман, Семинарий,* стр. 31). «Гамлет» здесь дан в переводе А. И. Кронеберга.

С т р. 8. *...пленной мысли раздражением.* — Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова (1839):

> Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
> Как язвы бойся вдохновенья...
> Оно — тяжелый бред души твоей больной
> Иль пленной мысли раздраженье.

Это стихотворение Лермонтова Достоевский цитирует также в «фантастическом» рассказе «Кроткая» (1876).

С т р. 9. *...в радости воздевая руки к небу: «Ныне отпущаеши»...* — Согласно евангельскому рассказу, в Иерусалиме жил человек, именем Симеон, муж праведный и благочестивый, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Христа. Когда младенца Христа принесли во храм, Симеон взял его на руки, благословил и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему, с миром...» (Евангелие от Луки, гл. 2, ст. 25—29). Этими словами начинается молитва Симеона Богоприимца, которая в православной церкви читается во время вечернего богослужения.

С т р. 10. *...знавал лично и Прудона и Бакунина...* — Прудон, Пьер-Жозеф (Proudhon, 1809—1865) — французский социолог и экономист, социалист-утопист анархического толка. Был личным знакомым Герцена и Бакунина. Книга Прудона «Что такое собственность?» (1840), где утверждалось, что «собственность — это кража», принесла Прудону широкую известность. Достоевский неоднократно упоминает имя Прудона в своих художественных и публицистических произведениях (см.: наст. изд., т. IX, стр. 444—445).

---

[1] С. Ю т к е в и ч. Канн 1958. «Искусство кино», 1958, № 11, стр. 145, 146.

* Здесь и ниже указаны страницы XIV тома наст. изд.

Бакунин, Михаил Александрович (1814—1876) — русский революционер-народник, один из основоположников анархизма. В 1830-е годы входил в кружок Н. В. Станкевича, был близок с В. Г. Белинским, затем с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. С 1840 г. жил и работал за границей. Имя Бакунина было хорошо известно Достоевскому еще в 1840-х годах. О Бакунине и Достоевском см.: наст. изд., т. XII, стр. 192—201.

Стр. 10. *...о трех днях февральской парижской революции сорок восьмого года...* — Трехдневная революция 1848 г. произошла в Париже с 22 по 24 февраля. В объяснении следственной комиссии по делу петрашевцев Достоевский, имея в виду французскую революцию, писал: «На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная. Трещит и сокрушается вековой порядок вещей. Самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть и увлечь в своем падении всю нацию. Тридцать шесть миллионов людей каждый день ставят словно на карту всю свою будущность, имение, существование свое и детей своих! ⟨...⟩ Такое зрелище — урок!⟨...⟩ Неужели обвинят меня в том, что я смотрю несколько серьезно на кризис, от которого поет и ломится надвое несчастная Франция, что я считаю, может быть, этот кризис исторически необходимым в жизни этого народа, как состояние переходное (кто разрешит теперь это?) и которое приведет наконец за собою лучшее время». В библиотеке Достоевского имелась книга А. де Ламартина «История революции 1848 года» («Histoire de la revolution de 1848 par M-r A. de Lamartine». Bruxelles, 1849 — см.: *Гроссман, Семинарий,* стр. 39).

Стр. 10. *...мигом начал нескончаемый процесс за право каких-то ловель в реке или порубок в лесу...* — Эпизод тяжбы Миусова с монастырем навеян, по-видимому, сходным эпизодом тяжбы Оптина монастыря с «Савинской слободы тяглецом» Мишкой Кострикиным (а впоследствии с другими жителями Козельска) из-за мельницы на реке и ловли рыбы. Об этом рассказывается в кн.: Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни. Изд. 3-е. М., 1876, стр. 21—23, которая имелась в библиотеке Достоевского (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 43).

Стр. 10—11. *...начать процесс с «клерикалами»...* — «Клерикалы» — здесь в значении: «церковники». Ирония этих строк основана на том, что православное белое и черное духовенство обычно не именовалось этим французским по происхождению словом.

Стр. 11. *...и когда достигнет совершенных лет...* — По русскому законодательству совершеннолетие наступало в 21 год, когда человек получал право на полное распоряжение имуществом и свободу вступать в различные связанные с этим обязательства (см.: Свод законов Российской империи, т. X, ч. I. Законы гражданские. СПб., 1857, ст. 221, стр. 42).

Стр. 16. *...поднявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде.* — В 1864 г. в связи с судебной реформой возник вопрос о перестройке церковного суда. «Сознание в необходимости преобразования духовной судной части, — писал автор обозрения «Из современной хроники» журнала «Заря», — должно было сказаться особенно живо со времени введения в действие уставов 20 ноября 1864 г. ...» («Заря», 1870, № 5, отд. II, стр. 224). Вскоре после издания судебных уставов был созван временный Комитет для составления особых правил, разъясняющих новые законоположения, которые касались деятельности духовных учреждений. Работа Комитета не дала практических результатов. Высочайшим повелением от 12 января 1870 г. был созван новый Комитет для составления основных положений преобразования церковного суда. Задача нового Комитета, как писал тот же автор «Зари», «представляет большие трудности в том отношении, что в новом устройстве духовного суда должно будет согласить требования современной жизни и духа времени с неприкосновенностью церковного канона» (там же, стр. 225). В связи с реформой церковного суда в печати разгорелась многолетняя полемика, и в 1870-е годы об этом еще писали. Мнения авторов разделились. Одни («гражданственники») настаивали на укреплении государственного начала в будущем церковном суде, другие («церковники») — на всецелом подчинении этого суда духовенству (иерархически высшему или

простому духовенству). Вопросам реформы церковного суда уделял внимание и «Гражданин», редактируемый Достоевским. См., например: *Гр*, 1873, № 27 («Проект духовно-судебной реформы»), №№ 34, 36 («Реформа духовно-судебной части»).

Стр. 17. *...в ряске послушника.* — Послушник — человек, живущий в монастыре и готовящийся принять монашество.

Стр. 18. *...косые лучи заходящего солнца...* — один из постоянных образов в творчестве Достоевского. Истолкование его см. в статье: С. Дурылин. Об одном символе у Достоевского. Опыт тематического обзора. В кн.: Достоевский. (Сборник статей). М., 1928, стр. 163—198.

Стр. 21. *...непременно хочет сидеть в третьем классе.* — Имеются в виду общие вагоны с самыми дешевыми местами, в которых считалось неприличным ездить лицам привилегированных сословий.

Стр. 22. «*...настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка*». — Упадок древней Римской империи сопровождался распущенностью нравов, идейным и моральным разбродом. Замечание героя исподволь вводит параллель, согласно которой Россия описываемого здесь времени уподобляется древнему разлагающемуся Риму.

Стр. 23. *Знаешь, в одном монастыре есть одна подгородная слободка, и уж всем там известно, что в ней одни только «монастырские жены» живут* ∾ *Я там был, и, знаешь, интересно, в своем роде разумеется, в смысле разнообразия. Скверно тем только, что русизм ужасный, француженок совсем еще нет, а могли бы быть, средства знатные.* — Ср. одну из сцен в «Войне и мире». В эпизоде переправы, при отступлении русских войск к Вене (том первый, часть вторая, глава VI), между офицерами происходит такой диалог: «Нет, а чего бы я желал, — прибавил он, прожевывая пирожок в своем красивом влажном рте, — так это вон туда забраться.

Он указывал на монастырь с башнями, видневшийся на горе. Он улыбнулся, глаза его сузились и засветились.

— А ведь хорошо бы, господа!

Офицеры засмеялись.

— Хоть бы попугать этих монашенок. Итальянки, говорят, есть молоденькие. Право, пять лет жизни отдал бы!» (*Толстой*, т. 9, стр. 166—167).

Стр. 23. *Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю: крючья? А откуда они у них? Из чего? Железные?* — Представление о том, что после смерти души грешников черти утаскивают в ад, зацепив их крючьями, отражено в иконах, изображающих Страшный суд. В духовном стихе о богатом и убогом Лазаре убогий Лазарь, не получивший от богатого помощи, просит у бога смерти:

Сошли ты мне, господи, скорую смерть,
Пошли ты мне, господи, грозных ангелов,
Грозных, немилостивых,
Чтоб вынули душеньку сквозь ребер моих
Железными крючьями.

Но бог, сострадая убогому Лазарю, посылает ему тихих ангелов, которые вынимают его душу «и хвально, и честно В сахарные уста» и уносят ее в рай. Когда же богатый Лазарь просит у бога долгой жизни, —

Послал ему господи грозных ангелов, —
Грозныих, немилостивых;
Вынули душеньку сквозь ребра его
Железными крючьями;
Понесли душеньку во ад к сатане,
Положили душеньку на огненный костер.

(В. Варенцов. Сборник русских духовных стихов. СПб., 1860, стр. 71—72). См. также: П. Бессонов. Калики-перехожие, вып. 1. М., 1861, стр.

77—80, 84—87 (сводный вариант № 27). По-видимому, на этот духовный стих и указывают слова Федора Павловича. Евангельская притча о богатом и Лазаре, положенная в основу этого стиха, в дальнейшем упоминается в тексте романа (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 292).

Стр. 23. *Il faudrait les inventer, эти крючья, для меня нарочно...* — Ироническая перефразировка известного высказывания Вольтера (1694—1778): «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать» («Si dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer»). См. также примеч. к стр. 213—214.

Стр. 24. *Это как один француз описывал ад: «J'ai vu l'ombre d'un cocher, qui avec l'ombre d'une brosse frottait l'ombre d'un carrosse».* — Стихи (несколько переиначенные) из пародии на VI песнь «Энеиды», написанной братьями Клодом, Шарлем и Никола Перро (Perrault) и их другом Бореном (Beaurain) около 1648 г. (см.: Ch. Perrault. Mémoires de ma vie. В кн.: Mémoires de ma vie, par Ch. Perrault. Voyage à Bordeaux (1669), par Claude Perrault. Paris, 1909, p. 22—23). В мемуарах, впервые опубликованных в 1769 г., Ш. Перро (1628—1703) приводит только две строки из этого шуточного перевода Вергилия, и именно о кучере, «qui, tenant l'ombre d'une brosse, Nettoyait l'ombre d'un carrosse» (там же, p. 23). В предисловии к одному из изданий мемуаров Перро XIX в. эти два стиха дополнены новой строчкой: «Ce fut lui qui dans la description de l'enfer trouva ces vers fameux, tant de fois attribués à Scarron par les biographes et les critiques: J'aperçois l'ombre d'un cocher Qui, tenant l'ombre d'une brosse, Nettoyait l'ombre d'un carrosse» («Именно он в описании преисподней нашел эти прославленные стихи, столько раз приписанные Скаррону биографами и критиками: Я заметил тень кучера, Который, держа тень щетки, Чистил тень кареты») (P.-L. Jacob. Notice sur Charles Perrault. В кн.: Mémoires, contes et autres œuvres de Charles Perrault..., Paris, 1842, p. 2). Самая пародия на VI песнь «Энеиды», из которой цитируются стихи о кучере, впервые была опубликована только в 1901 г. с черновой копии, написанной К. Перро (1613—1688) («Revue d'histoire littéraire de la France», 1901, t. 8, p. 110—142). Здесь говорится об Энее: «Il voit Idée le cocher Qui tenant l'ombre d'une brosse Nettoyait l'ombre d'un carrosse» («Он увидел Идея, кучера, который, держа тень щетки, чистил тень кареты») (p. 128).

Упомянутые Федором Павловичем стихи были хорошо известны в устной передаче, в результате чего они сохранились в нескольких вариантах и иногда приписывались П. Скаррону (Scarron, 1610—1660), автору «Травестированного Вергилия» («Virgile travesti», 1648—1652). В библиотеке Достоевского имелась книга: К. Фламмарион. История неба. Перевод М. Лобач-Жученко. Изд. 2-е. СПб., 1879 (см.: *Гроссман, Семинарий,* стр. 48). Автор ее в одиннадцатой «беседе» (стр. 378), передавая представления о рае, чистилище, преддверии, аде, говорит о различных мучениях грешников и добавляет: «А между тем, по словам тех же поэтов и философов, те, которые испытывали эти мучения, были бестелесны; то были неосязаемые, но одушевленные тени. Дант в этом случае разделяет мнение, уже выраженное Вергилием, а в царствование Людовика XIV Скаррон, как известно, над ним подсмеивается:

Là, je vis l'ombre d'un cocher,
Qui de l'ombre d'une brosse
Frottait l'ombre d'un carrosse»

(Там я видел тень кучера, которая тенью щетки чистила тень кареты). Возможно, что Достоевский, вкладывая в уста своего героя слова пародии на VI песнь «Энеиды», заимствовал это место из Фламмарнона.

Стр. 25. *Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: «Господь мой и бог мой!».* — Один из учеников Христа, Фома, не хотел верить рассказу о воскресении учителя: «...если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Когда Христос явился

ученикам еще раз, Фома воскликнул: «Господь мой и бог мой!» Христос пояснил: «...ты поверил, потому что увидел меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» (Евангелие от Иоанна, гл. 20, ст. 19—29).

Стр. 25. *...вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без бога...* — Образ Вавилонской башни как символ атеистического устройства мира не раз встречается в произведениях Достоевского 1870-х годов. В библейском предании о происхождении различных языков и народов (Бытие, гл. 11, ст. 1—9) он выделяет мотив гордыни людей, решивших достигнуть небес без воли и желания бога.

Стр. 25. *Сказано: «Раздай всё и иди за мной, если хочешь быть совершен».* — См.: Евангелие от Матфея, гл. 19, ст. 21; от Марка, гл. 10, ст. 21; от Луки, гл. 18, ст. 22.

Стр. 26. *...надо бы здесь сказать несколько слов и о том, что такое вообще «старцы» в наших монастырях...* — В черновиках к «Братьям Карамазовым» сохранилась запись: «Старчество из Оптиной» (стр. 202). Ближайшим, но, разумеется, не единственным источником этого рассказа о старцах явилась глава «О старчестве» в кн.: Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни, стр. 112—119. Текст романа соотносится с этой главой и в целом, и в деталях.

Стр. 26. *...на всем православном Востоке, особенно на Синае и на Афоне...* — Синай — гористая местность на юге Синайского полуострова, в Западной Азии. Афон — полуостров в Греции, в Эгейском море. Здесь расположены древнейшие монастыри, сложились различные формы монашеской жизни, служившие примером и образцом для всего восточного христианства.

Стр. 26. *...после покорения Константинополя...* — Константинополь (древнерусское — Цареград, ныне — Стамбул) был захвачен турецким султаном Магометом II в 1453 г. В письмах Достоевского к А. Н. Майкову от 20 марта (2 апреля) 1868 г. и 15 (27) мая 1869 г. изложен замысел произведения на эту тему: «Вообразите себе, что в третьей или в четвертой былине (я их все в уме тогда сочинил и долго потом сочинял) у меня вышло взятие Магометом 2-м Константинополя (и это прямо и невольно явилось как былина из *русской истории*⟨...⟩). Вся эта ⟨...⟩ катастрофа в наивном и сжатом рассказе: турки облегли Царьград тесно; последняя ночь перед приступом, который был на заре; последний император ходит по дворцу —

(«Король ходит большими шагами»),

идет молиться образу Влахернской божией матери; молитва; приступ; бой; султан с окровавленной саблей въезжает в Константинополь. Труп последнего императора отыскивают по приказанию султана в куче убитых, узнают по орлам, вышитым на сапожках, Святая София, дрожащий патриарх, последняя обедня, султан, не слезая с коня, скачет по ступеням в самый храм (historique), доскакав до середины храма, останавливает коня в смущении, задумчиво и с смятением озирается и выговаривает слова ⟨...⟩ „Вот дом для молитвы Аллаху!" Затем выбрасывают иконы, престол, ломают алтарь, становят мечеть, труп императора хоронят, а в русском царстве последняя из Палеологов является с двухглавым орлом вместо приданого, русская свадьба, князь Иван III в своей деревянной избе вместо дворца, и в эту деревянную избу переходит и великая идея о всеправославном значении России, и полагается первый камень о будущем главенстве на Востоке, расширяется круг русской будущности, полагается мысль не только великого государства, но и целого нового мира, которому суждено обновить христианство всеславянской православной идеей и внести в человечество *новую* мысль, когда загниет Запад, а загниет он тогда, когда папа исказит Христа окончательно и тем зародит атеизм в опоганившемся западном человечестве».

Стр. 26. *Возрождено ∾ Паисием Величковским...* — Паисий Величковский (Величковский, Петр Иванович, 1722—1794) — русский православный деятель, много странствовавший по монастырям и живший на Афоне. Известен своими переводами на славянский и молдавский языки творений отцов церкви. Житие Паисия Величковского было напечатано в «Москви-

тянине» за 1845 г. (№ 4, стр. 1—88). В 1845 г. оно вместе с писаниями старца вышло отдельной книгой и затем переиздавалось. Сведения о Паисии Величковском, его житии и трудах Достоевский, в частности, мог почерпнуть в «Историческом описании Козельской Введенской Оптиной пустыни...», стр. 104. См. также подробный рассказ отца Иоанна о Паисии Величковском, помещенный Парфением в его книге и хорошо известный Достоевскому: *Парфений*, ч. II, стр. 20—24. Книга Парфения тоже имелась в библиотеке Достоевского (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 44).

Стр. 26. *...в одной знаменитой пустыне, Козельской Оптиной.* — Оптина Введенская Макариева пустынь — известный в свое время монастырь в Козельском уезде Калужской губернии, по преданию основанный еще в XIV в. Достоевский посетил Оптину пустынь вместе с Вл. С. Соловьевым в июне 1878 г. (см. стр. 412).

Стр. 27. *Рассказывают, например, что однажды, в древнейшие времена христианства, один таковой послушник, не исполнив некоего послушания, возложенного на него его старцем, ушел от него...* — Передается рассказ Пролога от 15 октября. В русском переводе с церковнославянского он целиком приводится в кн.: Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни, стр. 116—117. Достоевский, по-видимому, непосредственно опирался именно на эту книгу.

Стр. 27. *...один из наших современных иноков спасался на Афоне ∾ власти самого того старца, который наложил его.* — По указанию А. Г. Достоевской, это инок Парфений (Аггеев, Петр, 1807—1878), автор «Сказания о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле...» (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 66). В третьей части своей книги Парфений рассказывает о том, как его духовный отец, старец Арсений, вопреки желанию других отцов афонских, отправил Парфения в Россию, в Сибирь, объясняя это божьей волей: «... предел тебе от бога положен идти в Россию...» (*Парфений*, ч. III, стр. 91). Ни митрополит, ни даже иерусалимский патриарх не освободили Парфения от этого послушания, несмотря на то что, когда Парфений просил об этом патриарха, старца Арсения уже не было в живых. См. об этом: там же. стр. 85—132.

Стр. 28. *...служил на Кавказе обер-офицером.* — Обер-офицер — общее название для младших офицерских чинов до капитана (в кавалерии — ротмистра) включительно.

Стр. 28. *...под конец приобрел прозорливость уже столь тонкую ∾ даже какого рода мучение терзает его совесть...* — Прозорливость — обычное свойство подвижника в житийной литературе и рассказах о праведниках, которому Достоевский здесь дает реальную мотивировку. В книге Парфения повествуется, например, об одном афонском иеросхимонахе, отце Григории, который имел дар такой глубокой прозорливости, что никогда и ничего у исповедующегося не спрашивал, а сам видел и угадывал, в чем было дело (см.: *Парфений*, ч. II, стр. 120). Примерно то же сообщается и о Паисии Величковском: «И егда кий либо брат скорбен внидет в келию старцеву, то он уже уразумеваше, что имать, и вскоре подав ему благословение и предварив его, сам начинаше беседу к нему непрерывну, не дая брату глаголати: и сладчайшими и утешительными словесы своими отвождаше ум его от скорби далече» (Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. М., 1847, стр. 63). Этим же даром прозорливости отличался и прототип старца Зосимы, оптинский старец Амвросий (см. стр. 457).

Стр. 28. *Такие прямо говорили ∾ что он святой, что в этом нет уже и сомнения, и, предвидя близкую кончину его, ожидали немедленных даже чудес и великой славы в самом ближайшем будущем от почившего монастырю.* — Посмертные чудеса святого — общее место житийного жанра. Ими обычно заканчивается житие.

Стр. 31. *«Кто меня поставил делить между ними?»* — Цитируются слова Христа (см.: Евангелие от Луки, гл. 12, ст. 14). О значении этих слов в романе см.: В. Е. Ветловская. Символика чисел в «Братьях Карамазовых». *ТОДРЛ*, т. XXVI, стр. 145—148.

С т р. 31. *...чем манкирую уважением...* — Манкировать (франц. manquer) — пренебречь, обойти вниманием.

С т р. 33. *...получили аудиенцию «у сего лица»...* — Аудиенция (лат. audientia — слушание) — официальный прием у высокопоставленного лица.

С т р. 34. — *На фон Зона похож...* — См. ниже, примеч. к стр. 81.

С т р. 35. *Знаете, на Афоне* ∾ *не только посещения женщин не полагается, но и совсем не полагается женщин и никаких даже существ женского рода, курочек, индюшечек, телушечек...* — Ср.: «Женского же полу всяких животных держать (на Афоне, — *Ред.*) совершенно запрещено. И женам вход в Афонскую гору строго воспрещен. Дикие звери и птицы всякого рода водятся, мужеского и женского пола» (*Парфений*, ч. IV, стр. 193).

С т р. 35. *...вскакивал и бил палкой даже дамский пол...* — По-видимому, использованы некоторые факты из жизнеописания старца Даниила, включенного Парфением в его книгу «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле...» Парфений передает рассказ одной грешницы, которая, наслышавшись о старце Даниле, пошла к нему. Тот встретил ее «с самым гневным и сердитым видом, и громким голосом упрекнул меня: „Что ты, пустая странница, пришла ко мне? Я давно тебя ожидал; вот будешь меня помнить!" А сам палкой грозил на меня. Я вся от страха затрепетала, чуть не упала на землю...» (*Парфений*, ч. III, стр. 171).

С т р. 37. *...одна из них богородицы, огромного размера и писанная, вероятно, еще задолго до раскола.* — Раскол (старообрядство, староверие) — течение, возникшее в середине XVII в. в русской церкви как протест против новшеств патриарха Никона (1605—1681), которые заключались в исправлении церковных книг и некоторых церковных обычаев и обрядов.

С т р. 38. *...точность есть вежливость королей...* — «L'exactitude est la politesse des rois» — известное выражение Людовика XVIII, короля Франции в 1814 — 1824 гг.

С т р. 38. *«Господин исправник, будьте, говорю, нашим, так сказать, Направником!»* — Э. Ф. Направник (1839—1916) — русский композитор, с 1869 г. первый капельмейстер Мариинского театра в Петербурге.

С т р. 38. *«Ваша супруга щекотливая женщина-с»* ∾ *«А вы ее щекотали?»* — Этот каламбур записан Достоевским в тетради 1876—1877 гг.: «Женщины ужасно щекотливы. А вы пробовали щекотать?»

С т р. 39. *Я шут коренной, с рождения, всё равно, ваше преподобие, что юродивый; не спорю, что и дух нечистый, может, во мне заключается...* — Согласно религиозному представлению, чрезвычайно распространенному в средние века, шутовство, скоморошество считались сродни дьявольщине. И на Западе, и в России шуты осуждались церковью как язычники, предполагалось, что их действия внушены им нечистой силой.

С т р. 39. *...философ Дидерот.* — Дидро, Дени (Diderot, 1713—1784) — французский писатель и философ-материалист. Достоевский читал произведения Вольтера и Дидро зимою 1868—1869 гг. за границей. См. об этом в письме Достоевского к Н. Н. Страхову от 6(18) апреля 1869 г. См. также: *Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 184. О Достоевском и Дидро см.: *Библиотека,* стр. 122; *Д, Письма,* т. II, стр. 453; А. Г р и г о р ь е в. Достоевский и Дидро (к постановке проблемы). *РЛ*, 1966, № 4, стр. 88—102; В. К и р п о т и н. Лебедев и племянник Рамо. «Вопросы литературы», 1974, № 7, стр. 146—184.

С т р. 39. *...Дидерот-философ явился к митрополиту Платону при императрице Екатерине.* — Платон (Левшин, Петр Егорович) — митрополит Московский (1737—1812), известный проповедник, церковный писатель и деятель. В качестве ректора Троицкой семинарии обратил на себя внимание Екатерины II, был приближен ко двору и назначен ею в законоучители к наследнику престола, впоследствии императору Павлу I. Рассказ о встрече Дидро с Платоном, пародированный здесь героем, помещен в биографии Платона, написанной И. М. Снегиревым: «Тогда явился при дворе российском Дидрот, союзник Волтеров и глава якобинцев, которого

назначали было воспитателем наследника Российской монархии; увидясь с его законоучителем, хитрый софист, именовавшийся философом, хотел смешать и осмеять юного инока дерзким воззванием: „Знаете ли, отец святой, философ Дидрот сказал, что нет бога?" „Это еще прежде его сказано",— скромно отвечал ему законоучитель. „Когда и кем?" — с нетерпеливостию спросил софист. „Пророком Давидом, — подтвердил Платон: — Рече безумен в сердце своем несть бога, а ты устами произносишь". Пристыженный сим ответом Дидрот, клеврет энциклопедистов, умолк и обнял законоучителя, которого слова отозвались в России и Европе. Посольство лжеименного мудреца в России не достигло своей цели; он должен был отказаться от предложения воспитывать наследника всероссийского престола и отправился во Францию на посев тех плевел, кои там породили революцию со всеми ее бедствиями и ужасами» (И. М. Снегирев. Жизнь Московского митрополита Платона, ч. I. Новое издание, пересмотренное и значительно дополненное. М., 1856, стр. 34—35).

Стр. 39. *«Рече безумец в сердце своем несть бог!»* — Цитата из Псалтыри (стих 1 псалма 13 и стих 2 псалма 52).

Стр. 39. *Тот как был, так и в ноги: «Верую, кричит, и крещенье принимаю».* — Пародируются те места преимущественно мученических житий, где благодаря чудесам святых язычники с необыкновенной легкостью обращаются в христианство, восклицают «веруем» и принимают крещение. См., например, апокрифическое «Никитино мучение», где это общее место житийного рассказа повторяется многократно (Н. Тихонравов. Памятники отреченной русской литературы, т. II. М., 1863, стр. 119).

Стр. 39. *Княгиня Дашкова была восприемницей, а Потемкин крестным отцом...* — Дашкова, Екатерина Романовна (1743—1810) — ближайшая помощница Екатерины II в дворцовом перевороте 1762 г. Была в ее царствование президентом Российской академии. Живя за границей, встречалась со знаменитыми людьми, в том числе с Дидро и Вольтером. Потемкин, Григорий Александрович (1739—1791) — русский военный и государственный деятель, фаворит Екатерины II.

Стр. 40. *— Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие, — сосцы особенно!* — Слова Федора Павловича опошляют смысл евангельского текста (см.: Евангелие от Луки, гл. 11, ст. 27).

Стр. 41. *Учитель! — повергся он вдруг на колени, — что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?* — Повторяются слова, обращенные к Христу и названные в Евангелии искушением (см.: Евангелие от Луки, гл. 10, ст. 25; гл. 18, ст. 18; от Марка, гл. 10, ст. 17; от Матфея, гл. 19, ст. 16).

Стр. 41. *Воистину ложь есмь и отец лжи! Впрочем, кажется, не отец лжи, это я всё в текстах сбиваюсь, ну хоть сын лжи, и того будет довольно.* — Ср. слова Христа, сказанные о дьяволе: «Он лжец и отец лжи» (Евангелие от Иоанна, гл. 8, ст. 44). «Ошибка» и поправка героя в равной степени знаменательны: они косвенно характеризуют не только Федора Павловича, но и Ивана, так как слова «отец лжи» по отношению к Федору Павловичу в серьезном своем значении нацелены на Ивана.

Стр. 42. *...справедливо ли, отец великий, то, что в Четьи-Минеи повествуется где-то* ∾ *и долго шел, неся ее в руках, и «любезно ее лобызаше».* — Четьи-Минеи содержат расположенные по дням каждого месяца жития святых и поучения на весь год. Они складывались постепенно и неоднократно перерабатывались. Наиболее популярными в XIX в. были Четьи-Минеи св. Димитрия Ростовского (1651—1709), впервые напечатанные в Киеве в 1689—1705 гг. Были распространены и многочисленные издания сокращенных Четьих-Миней. Одно из таких изданий имелось в библиотеке Достоевского: «Избранные жития святых, кратко изложенные по руководству Четьих-Миней по месяцам в 12 книгах» (М., 1860—1861) (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 43). Федор Павлович имеет в виду не православного, а католического святого — Дионисия Парижского, не раз служившего объектом язвительной насмешки французских энциклопедистов. В качестве одного из персо-

нажей Дионисий действует в «Орлеанской девственнице» Вольтера (1762 г., в 1774 г. издана в окончательном виде). В своих «Объяснениях» Вольтер пишет: «Этот добрый Денис (Дионисий) не есть так называемый Дионисий Ареопагит, но епископ Парижский. Аббат Гилдуин был первый, кто написал, что этот епископ, будучи обезглавлен, нес свою голову в руках от Парижа до самого аббатства, носящего его имя. Впоследствии на всех тех местах, где этот святой останавливался по дороге, были воздвигнуты кресты. Кардинал Полиньяк, передавая эту историю маркизе дю ***, добавил, что Денису стоило труда нести свою голову только до первой остановки; на что означенная дама ему ответила: „Конечно, в подобных делах только первый шаг и труден"» (Вольтер. Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести. М., 1971, стр. 244). Возвращаясь к этой теме еще раз, Вольтер в тех же «Объяснениях» добавляет: «Этот Денис, патрон Франции, — святой в духе монахов. Он никогда не бывал в Галлии. См. легенду о нем в „Вопросах по поводу «Энциклопедии»" под словом „Денис": вы узнаете, что сперва он был рукоположен в епископы афинские святым Павлом; что он отправился навестить деву Марию и приветствовал ее по случаю смерти ее сына; что затем он покинул епископство афинское ради парижского; что его повесили и что с высоты своей виселицы он весьма красноречиво проповедовал; что ему отрубили голову, дабы он замолчал; что он взял голову в руки и лобызал ее по дороге, идя основывать аббатство своего имени в миле от Парижа» (там же, стр. 245). В тексте «Орлеанской девственницы» (песнь 11) святой Георгий, патрон Англии, понося святого Дионисия, покровителя Франции, так излагает соответствующий эпизод из его жития:

Уже твоя трясучая башка
С убогих плеч однажды отлетела;
Ее вторично отделить от тела
Не постесняется моя рука;
Достойный пастырь воровского края,
Которому ты милости творишь,
Снеси ее еще разок в Париж,
Держа в руках и нежно лобызая.

(Там же, стр. 145).

В своем «Прибавлении к философским мыслям, или разным возражениям против сочинений различных богословов» (1770) Дидро так же насмешливо упоминает о покровителе Франции: «Если понимать буквально слова hoc est corpus meum ⟨сие есть тело мое, — *Ред.*⟩, то он ⟨Христос, — *Ред.*⟩ давал апостолам свое тело собственными руками; но это так же нелепо, как рассказ о том, что св. Дионисий облобызал свою отрубленную голову» (Д. Дидро. Избранные атеистические произведения. М., 1956, стр. 51).

Стр. 44. *Старец стал на верхней ступеньке, надел эпитрахиль* ∾ *и она тотчас затихла и успокоилась.* — Эпитрахиль (греч. ἐπιτραχήλιον) — деталь священнического облачения. Ср. эпизод общения с народом больного, доживающего последние дни оптинского старца Леонида: «...привели к нему три женщины одну больную, ума и рассудка лишившуюся... Он же надел на себя эпитрахиль, положил на главу болящей конец эпитрахили и свои руки и, прочитавши молитву, трижды главу больной перекрестил...», после чего больная исцелилась (*Парфений,* ч. I, стр. 279).

Стр. 44. *...когда выносили дары...* — Святые дары — хлеб и вино, символизирующие плоть и кровь Христа, даются священником во время причастия.

Стр. 44. *...это всё притворство, чтобы не работать* ∾ *приводились для подтверждения разные анекдоты.* — Такого рода соображения часто встречаются в очерках И. Г. Прыжова 1860-х годов о русских кликушах, «дураках» и юродивых. В предисловии к очеркам «Нечто о воронежских пустосвятах и юродивых» (1861) он писал: «Влияние темной силы невежества глубоко проникает в самые чистые, в самые сокровенные источники

человеческого сердца ⟨...⟩ Желание ничего не делать, быть в почете, пить и есть за чужой счет, да еще и наживать деньги, породило в нашем простонародье множество ханжей, юродивых, блаженных и прорицателей» (см. в кн.: И. Г. Прыжов. Очерки, статьи, письма. М.—Л., 1934, стр. 437). Эта же мысль лежит в основе работы Прыжова «26 московских лжепророков, дур и дураков» (1865). В очерках «Русские кликуши» (1868) Прыжов говорит о том, что взгляд на кликуш и юродивых как на обманщиков вообще был распространен в XVIII и XIX вв.: «Министерство, считая беснование кликуш притворством и обманом, предписало принимать против них полицейские меры, подвергая их негласно легкому телесному наказанию или содержанию непродолжительное время под стражею» (там же, стр. 106). Не отрицая того мнения, что многое в «кликушестве» и «юродстве» идет от невежества и сознательного обмана, Прыжов здесь указывает, однако, на социальные причины подобных явлений: «Даже те люди, которые лечат от кликушества розгами, и те согласны, что болезнь эта таится в горькой участи женщины. „Иная молодая бабенка ⟨...⟩ живет в совершенном загоне, муж бьет, никто ее в доме не любит, за всякую малость все ее только ругают и колотят, нигде бедняжке ни сесть, ни лечь, и она, рыдая, рыдая, начинает кликать". Это-то горе, „призакрытое грудью", эти-то страданья сердца высказывались в тех причитаньях или заговорах, которыми женщина думала улучшить свою участь» (там же, стр. 111). О нервных болезнях в простонародье, особенно у женщин, см. также: *Гр*, 1873, № 35, стр. 951—952.

Стр. 45. — *Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы годика ему.* — По словам А. Г. Достоевской: «Отражение впечатлений Федора Михайловича после смерти нашего сына Алеши, умершего в 1878 году. Было ему без 3-х месяцев три года. В этом же году был начат роман „Братья Карамазовы"» (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 67). Однако в журнальном варианте текста романа фраза звучала иначе: «... без двух только месяцев и три бы годика ему» (*РВ*, 1879, № 1, стр. 155).

Стр. 45—46. *...однажды древний великий святой увидел во храме такую же, как ты, плачущую мать* ∾ *А потому и ты плачь, но радуйся.* — Подобный эпизод рассказан в Прологе («Повесть преподобного отца Даниила о Андронике и о жене его»). У благочестивой, богобоязненной Афанасии умерли одновременно два ее ребенка. Будучи в глубоком горе, женщина просила себе смерти и даже ночью не хотела уходить из церкви святого мученика Юлиана, где были погребены ее дети. «Въ полунощи же явися ей святый мученикъ во образе монаха, глаголя ей: что не оставляеши сущих здѣ почити, о жено. Она же рече: господи, да не оскорбишися на мя, понеже скорбна есмь: два убо чада имехъ, и сия погребохъ днесь вкупѣ. Онъ же рече к ней: колицѣмъ лѣтомъ быша отрочата твоя. Она же рече: едино двоюнадесяте лѣтъ, другое же десяти. И рече ей: и что убо о нихъ плачеши, больши есть, аще бы ты о грѣсѣхъ своих плакала. Глаголю бо ти, яко имже образомъ ищетъ естество человѣческое снѣди, и не мощно еже не дати ему: сице и младенцы просятъ у Христа въ день судный, глаголюще: праведный судие, лишилъ еси земныхъ, но не лиши насъ небесныхъ. Она же, слышавши сие, умилися и преложи скорбь на радость, глаголющи: аще убо живуть чада моя на небеси, что плачу азъ. И обратившися, поиска монаха, глаголющаго к ней, и не обрѣте» (Пролог, 9 октября).

Стр. 46. «*Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет*»... — Ср. слова пророка Иеремии (Книга пророка Иеремии, гл. 31, ст. 15), цитированные и в Евангелии: «...глас в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий: Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет» (Евангелие от Матфея, гл. 2, ст. 18). По свидетельству А. Г. Достоевской, писатель слышал эти слова в Оптиной пустыни из уст старца Амвросия (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 67).

Стр. 46. *И надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость...* — Ср. в Ветхом завете: «... и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после

скорби их» (Книга пророка Иеремии, гл. 31, ст. 13), а также слова Христа, обращенные к ученикам: «... вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет» (Евангелие от Иоанна, гл. 16, ст. 20).

Стр. 47. *На Алексея человека божия?* — Об Алексее человеке божием см. стр. 474—476.

Стр. 47. *Помяну, мать, помяну и печаль твою на молитве вспомяну и супруга твоего за здравие помяну.* — «Эти слова, — пишет А. Г. Достоевская, — передал мне Федор Михайлович, возвратившись в 1878 году из Оптиной пустыни; там он беседовал со старцем Амвросием и рассказал ему о том, как мы горюем и плачем по недавно умершему нашему мальчику. Старец Амвросий обещал Федору Михайловичу „помянуть на молитве Алешу" и „печаль мою", а также помянуть нас и детей наших за здравие. Федор Михайлович был глубоко тронут беседою со старцем...» (см.: *Гроссман, Семинарий,* стр. 67).

Стр. 47. *Сыночек у ней Васенька, где-то в комиссариате служил, да в Сибирь поехал ∞ или наверно письмо пришлет.* — А. Г. Достоевская по этому поводу пишет: «Случай с нянькой наших детей, Прохоровной, у которой был сын Васенька, уехавший или, вернее, сосланный в Сибирь. Не получая целый год писем, она спрашивала Федора Михайловича совета, не помянуть ли ей сына за упокой. Ф. М. разубедил ее и уверил, что Васенька скоро пришлет ей письмо. И действительно, письмо пришло через неделю или две» (см.: *Гроссман, Семинарий,* стр. 67).

Стр. 48. *Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простил господь воистину кающемуся. ∞ О покаянии лишь заботься, непрестанном, а боязнь отгони вовсе.* — Ср.: «Нет греха непростительного — кроме греха нераскаянного» (Исаак Сирин. Слова подвижнические. М., 1858, стр. 12). Это издание имелось в библиотеке Достоевского (см.: *Гроссман, Семинарий,* стр. 45). Мысль, высказанная здесь старцем, нередко встречается в богословской литературе.

Стр. 48. *А об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно.* — Ср.: «...на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Евангелие от Луки, гл. 15, ст. 7).

Стр. 50. *...гантированную...* (франц. gant — перчатка) — в перчатке.

Стр. 51. *Он объявил себя откуда-то с дальнего севера, из Обдорска...* — Обдорск, нынешний г. Салехард, некогда самое северное село Березовского уезда Тобольской губернии.

Стр. 51. — *Как же вы дерзаете делать такие дела? ∞ Всё от бога.* — Подобный эпизод рассказан Парфением. Однажды в странствиях своих он зашел в Оптину пустынь, где наблюдал, как женщины благодарили старца Леонида за «исцеление» одной из них. Пораженный Парфений воскликнул: «Отче святый, как вы дерзаете творить такие дела?..» Старец ответил: «Отец афонский! я сие сотворил не своею властию, но это сделалось по вере приходящих, и действовала благодать святого духа⟨...⟩ а сам я человек грешный» (*Парфений,* ч. I, стр. 279—280).

Стр. 52. *...и только «вырастет лопух на могиле», как прочитала я у одного писателя.* — Имеются в виду слова Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862): «...я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?» (*Тургенев, Сочинения.* т. VIII, стр. 325). Об отношении Достоевского к Тургеневу, и в частности к роману «Отцы и дети», см.: Ю. Никольский. Тургенев и Достоевский. (История одной вражды). София, 1921; А. Долинин. Тургенев в «Бесах». В кн.: *Сб. Достоевский, II,* стр. 119—138; Г. М. Фридлендер. К спорам об «Отцах и детях». *РЛ*, 1959, № 2, стр. 136—138; Г. А. Бялый. О психологической манере Тургенева (Тургенев и Достоевский). Там же, 1968, № 4, стр. 34—50; К. И. Тюнькин. Базаров глазами Достоевского. В кн.: *Достоевский и его время,* стр. 108—119; Н. Ф. Буданова. Проблема «отцов» и «детей» в романе Достоевского «Бесы».

В кн.: *Материалы и исследования*, т. I, стр. 164—188; а также: наст. изд., т. V, стр. 367, 377; т. XII, стр. 173—175 и др.

Стр. 56. *По поводу вопроса о церковно-общественном суде и обширности его права ответили журнальною статьею одному духовному лицу, написавшему о вопросе сем целую книгу...* — Прообразом этого «лица» явился М. И. Горчаков, профессор Петербургского университета и автор статьи «Научная постановка церковно-судного права» в кн.: Сборник государственных знаний, т. II. Под ред. В. П. Безобразова. СПб., 1875, стр. 223—270 (книга имелась в библиотеке Достоевского—см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 40). Горчаков пытается примирить «государственников» и «церковников». Симпатии его лежат на стороне последних, однако, стараясь согласовать желания духовенства с существующим государственным правом и считая это право незыблемым, он невольно оказывается в лагере «государственников». Значение статьи Горчакова для дискуссии о церковном суде в «Братьях Карамазовых» указано Л. П. Гроссманом: *1956*, т. X, стр. 490.

Стр. 56. *Духовное лицо, которому я возражал, утверждает, что церковь занимает точное и определенное место в государстве.* — Ср. слова Горчакова: «...церковь следует понимать ⟨...⟩ как общество и установление, занимающие определенное положение в государстве» (Сборник государственных знаний, т. II, стр. 233).

Стр. 57. — *Чистейшее ультрамонтанство! — вскричал Миусов* ∾ *Э, да у нас и гор-то нету! — воскликнул отец Иосиф...* — Каламбур основан на буквальном восприятии слова «ультрамонтанство» (от лат. ultra montis — буквально: за горами, по ту сторону гор). Ультрамонтанство — возникшее в XV в. течение в католической церкви, сторонники которого стремились целиком подчинить церковь папе, отстаивая его право на вмешательство в светские дела любого государства. В XIX в. ультрамонтанство особенно распространилось в качестве реакционного противовеса революционному движению. В 1870 г. на Ватиканском соборе ультрамонтанам удалось провести догмат о непогрешимости папы в делах веры. Это обстоятельство имело важное значение в размышлениях Достоевского о судьбах католической церкви.

Стр. 57. *...«ни один общественный союз не может и не должен присвоивать себе власть — распоряжаться гражданскими и политическими правами своих членов».* — Ср.: «...ни один общественный союз, допущенный в государстве для достижения своих особенных целей, не вправе, не может и не должен присвоивать себе власти — распоряжаться гражданскими и политическими правами своих членов» (Сборник государственных знаний, т. II, стр. 236).

Стр. 57. *...«уголовная и судно-гражданская власть не должна принадлежать церкви* ∾ *«церковь есть царство не от мира сего»...* — Почти дословный пересказ статьи Горчакова: «Церковь — царство не от мира сего: уголовная и судно-гражданская власть не должна ей принадлежать и несовместима с природою ее, и как божественного установления, и как союза людей, соединенных для религиозных целей» (Сборник государственных знаний, т. II, стр. 237).

Стр. 57. *В святом Евангелии слова «не от мира сего» не в том смысле употреблены.* — Имеются в виду слова Христа, сказанные Пилату: «Царство мое не от мира сего: если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвизались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям; но ныне царство мое не отсюда» (Евангелие от Иоанна, гл. 18, ст. 36).

Стр. 57. *Церковь же есть воистину царство* ∾ *на что имеем обетование...* — Ср., например: «...бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно...» (Книга пророка Даниила, гл. 2, ст. 44).

Стр. 57. *Когда же римское языческое государство* ∾ *языческим по-прежнему...* — Христианство сделалось государственной религией Римской империи в начале IV в. В 325 г. императором Константином I был созван первый (Никейский) вселенский собор, состоявший из представителей церковной

иерархии. На соборе был выработан Символ веры — свод догматов христианской религии — и оформлен союз церкви с государственной, светской властью: император был признан главой церкви, представителем Христа на земле. В черновиках к «Братьям Карамазовым» Достоевский записывает: «Государственное и языческое — это всё равно» (стр. 208).

С т р. 57. *Но в Риме, как в государстве, слишком многое осталось от цивилизации и мудрости языческой, как например самые даже цели и основы государства.* — Противоречие между «целями» и «основами» церкви и государства здесь рассматривается как продолжение борьбы между христианством и язычеством. Такое представление, которое разделял и Достоевский-публицист, восходит к славянофильским концепциям. «Христианство... — пишет А. С. Хомяков, — представляло идеи единства и свободы, неразрывно соединенные в нравственный закон взаимной любви. Юридический характер римского мира не мог понять этого закона», и «влияние римской стихии» было таково, что «Западная Европа развивалась не под влиянием христианства, но под влиянием латинства, т. е. христианства, односторонне понятого как закон внешнего единства» (А. С. Х о м я к о в. Полное собрание сочинений, т. I. Изд. 2-е. М., 1878, стр. 148). По мысли Хомякова, разделяемой и другими славянофилами, Запад объединился «в общем уважении к городу Риму 〈...〉 Обоготворение политического общества, истинная сущность римской образованности, было так тесно связано с нею, что западный человек не мог понять самой церкви на земле иначе, как в государственной форме. Ее единство должно было быть принудительным, и родилась инквизиция с ее судом над совестью и казнью за неверие. Епископ римский должен был домогаться власти светской, и он достиг ее» (там же, стр. 206—207).

С т р. 58. *...как «всякий общественный союз» или как «союз людей для религиозных целей»...* — Ср. у Горчакова: «Церковь, как общество, с точки зрения права, по самому существу своему, имеет точно такое же значение, как и всякий другой общественный союз, сложившийся в государстве для определенных самостоятельных целей» (Сборник государственных знаний, т. II, стр. 235; см. также стр. 237).

С т р. 58. *По русскому же пониманию ∾ и ничем иным более.* — В период работы над «Братьями Карамазовыми» идеи такого рода, как вспоминает Вл. С. Соловьев (см.: Три речи в память Достоевского. В кн.: *Соловьев*, т. III, стр. 198; ср.: там же, стр. 199—205), привлекали Достоевского.

В последнем выпуске «Дневника писателя» (1881) Достоевский высказывал сходные мысли: «Вся глубокая ошибка их 〈интеллигентных людей, — *Ред.*〉 в том, что они не признают в русском народе церкви. Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский „социализм" теперь говорю (и это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным) — цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созиждилась еще церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствуют. Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветлым единением во имя Христово. Вот наш русский социализм!» (*ДП*, 1881, январь, гл. 1, § IV).

С т р. 58. *...это, стало быть, осуществление какого-то идеала, бесконечно далекого, во втором пришествии.* — Говорится о втором пришествии Христа. Сроки его, по Евангелию, неизвестны, но оно должно быть перед концом мира, когда земля исполнится беззаконий и «восстанет народ на народ и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения...» (Евангелие от Матфея, гл. 24, ст. 7).

С т р. 61. *В Риме же так уж тысячу лет вместо церкви провозглашено государство.* — Папская, или Церковная, область (столица — Рим) возникла

в 756 г. и в качестве особого теократического государства существовала до 1870 г. Так же как и теоретики славянофильства (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин), Достоевский считал, что западная католическая церковь строится не на основе христианской любви, а на «государственной» основе власти и подчинения. Говоря о Западе, он писал: «...Церковь, замутив идеал свой, давно уже и повсеместно перевоплотилась там в государство» (*ДП*, 1880, апрель, гл. 3).

С т р. 61. *И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времен и сроков в мудрости божией, в предвидении его и в любви его.* — Ср. слова Христа: «...не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти» (Деяния апостолов, гл. 1, ст. 7; см. также: Первое послание к фессалоникийцам, гл. 5, ст. 1—2).

С т р. 61. *...накануне своего появления, при дверях.* — Слова восходят к тому месту из Евангелия, где Христос говорит своим ученикам о знамениях, по которым можно будет узнать о времени его второго пришествия: «...так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях» (Евангелие от Матфея, гл. 24, ст. 33; ср. также: Евангелие от Марка, гл. 13, ст. 29).

С т р. 61. *Это папе Григорию Седьмому не мерещилось!* — Григорий VII — в 1073—1085 гг. папа римский, в своей деятельности руководствовавшийся мыслью о превосходстве церкви над государством и стремившийся поставить себя (и соответственно — своих преемников) во главе церковной и светской иерархии. Власть папы, с его точки зрения, вполне самостоятельна и безгранична.

С т р. 62. *...не церковь обращается в государство, поймите это. То Рим и его мечта. То третье диаволово искушение!* — Имеется в виду третье (согласно Евангелию от Матфея) искушение Христа властью и славой: «Опять берет его диавол на весьма высокую гору, и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если, падши, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана» (Евангелие от Матфея, гл. 4, ст. 8—10).

С т р. 62. *...вскоре после декабрьского переворота...* — Имеется в виду переворот, совершенный 2 декабря 1851 г. Луи Наполеоном Бонапартом.

С т р. 64. *...вообще европейский либерализм, и даже наш русский либеральный дилетантизм, часто и давно уже смешивает конечные результаты социализма с христианскими.* — В записной тетради 1864—1865 гг. (очевидно, для публицистической статьи) Достоевский замечает: «N3. О социалистах (глубокая противуположность социализму христианства)». В 1870-е годы Достоевский задумывает цикл статей на эту тему, о чем сообщает в письме М. П. Погодину от 26 февраля 1873 г.: «Моя идея в том, что социализм и христианство — антитезы».

С т р. 65. *...всё будет позволено, даже антропофагия*; см. также с т р. 235: *... кончат антропофагией.* — Антропофагия (греч. ἀνθρωποφάγος) — людоедство.

С т р. 65. *...для каждого частного лица ∾ не верующего ни в бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному...* — Ср. рассуждение французского ученого и моралиста Б. Паскаля (Pascal, 1623—1662): «Несомненно, что из того, смертна душа или бессмертна, вытекает полное различие в морали» (Б. П а с к а л ь. Мысли (о религии). М., 1905, стр. 239).

С т р. 65. *Нет добродетели, если нет бессмертия.* — Ср. слова Пьера в «Войне и мире»: «Ежели есть бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель» (*Толстой*, т. 10, стр. 177).

С т р. 66. *...«горняя мудрствовати и горних искати, наше бо жительство на небесех есть».* — Слова старца объединяют в одно целое разные места из двух Посланий апостола Павла: 1) «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего ⟨...⟩ о горнем помышляйте, а не о земном» (Послание к колоссянам, гл. 3, ст. 1—2); 2) «Ибо многие ⟨...⟩ поступают как враги креста Христова: их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме; они мыслят о земном. Наше же жительство — на небесах» (Послание к филиппийцам, гл. 3, ст. 18—20).

С т р. 66. *Это мой почтительнейший, так сказать, Карл Мор ∾ Ве-*

gierender Graf von Moor! — Трагедия Ф. Шиллера «Разбойники» (1781) играет в романе важную роль. В письме к Н. Л. Озмидову от 18 августа 1880 г. Достоевский говорит: «Впечатления же *прекрасного* именно необходимы в детстве. 10-ти лет от роду я видел в Москве представление „Разбойников" Шиллера с Мочаловым, и, уверяю Вас, это сильнейшее впечатление, которое я вынес тогда, подействовало на мою духовную сторону очень плодотворно». «Разбойники» Шиллера в свое время были переведены на русский язык братом писателя, М. М. Достоевским. Получив этот перевод, Достоевский горячо откликнулся на него в письме к брату летом 1844 г.: «Песни переведены бесподобно 〈...〉 Проза переведена превосходно — в отношении силы выражения и точности 〈...〉 Но я заметил, что ты слишком увлекался разговорным языком и часто, весьма часто для натуральности жертвовал правильностью русского слова. Кроме того, кой-где проскакивают слова нерусские 〈...〉 Наконец, иная фраза переведена с величайшею небрежностью. Но вообще перевод удивительный в полном смысле слова. Я подчистил кое-что и приступил к делу тотчас». Некоторое время Достоевский был занят хлопотами по изданию этого перевода. Он был опубликован в собрании сочинений Шиллера, изданном под ред. Н. В. Гербеля (см.: Шиллер. Драматические сочинения в переводах русских писателей, т. III. СПб., 1857) и имевшемся в библиотеке Достоевского (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 31). Этот перевод Достоевский, по-видимому, читал своим детям, как об этом вспоминает дочь писателя (см.: *Достоевская, Л. Ф.*, стр. 88—89). Федор Павлович сближает с благородным Карлом Моором Ивана, а с коварным Францем Моором — Дмитрия. Как выясняется в дальнейшем, он заблуждается, потому что, подобно Францу Моору, предательскую роль по отношению к отцу и брату играет именно Иван.

Стр. 66. *Обвиняют в том, что я детские деньги за сапог спрятал и взял баш на баш...* — В записной тетради Достоевского 1876—1877 гг. среди разных заметок имеется следующая: « — А они думают, что я за сапог (деньги) спрятал (т. е. украл)». Баш на баш (от татарского «баш», т. е. голова) — ровно столько же. В подготовительных материалах к «Братьям Карамазовым» Достоевский переводит это выражение: «сто на сто» (стр. 212).

Стр. 67. *...имевшего Анну с мечами на шее...* — Орден св. Анны, учрежденный в 1735 г. герцогом голштинским, был включен в число русских орденов при Павле I (в 1797 г.). С 1855 г. к ордену св. Анны, как и к другим орденам, жалуемым за военные заслуги, присоединили два накрест лежащих меча. Орден св. Анны имел четыре степени; только орден первой степени, дававшийся редко, принадлежал к числу особо высоких наград.

Стр. 67. *— Бесстыдник и притворщик! — неистово рявкнул Дмитрий Федорович.* — Эта сцена между Федором Павловичем, Дмитрием и Зосимой восходит некоторыми мотивами к «Скупому рыцарю» Пушкина (1826—1830), к сцене между бароном, его сыном Альбером и герцогом (*Пушкин*, т. VII, стр. 114—120). См. об этом: А. Л. Бем. «Скупой рыцарь» в творчестве Достоевского. В кн.: *О Достоевском*, вып. III, стр. 115—117.

Стр. 68. *...которой даже имени не смею произнести всуе из благоговения к ней...* — См. ниже, примеч. к стр. 441.

Стр. 68. *...я в ту же минуту вызвал бы вас на дуэль... на пистолетах, на расстоянии трех шагов... через платок, через платок!* — В «Коварстве и любви» Ф. Шиллера (1784; действие 4, сцена 3) Фердинанд, убежденный в том, что Луиза ему изменила, подает своему сопернику, гофмаршалу фон Кальбу, пистолет и носовой платок: «Возьмите! Держитесь за этот платок. Он у меня от нее.

Гофмаршал. Через платок? В уме ли вы? Что вы это вздумали?

Фердинанд. Держись за этот конец, говорят тебе! А то промахнешься, трус!»

(Шиллер. Драматические сочинения в переводах русских писателей, изд. под редакцией Н. В. Гербеля, т. VII. СПб., 1859, стр. 285).

Комизм ситуации заключается в том, что Федор Павлович берет на себя роль молодого, благородного и вспыльчивого Фердинанда, оставляя Мите роль старого и трусливого гофмаршала.

С т р. 69. *Она, может быть, в юности пала, заеденная средой...* — Достоевский не принимал той теории, согласно которой человек есть продукт социальной среды и обстоятельств. По глубокому убеждению Достоевского, человек не исчерпывается и не должен исчерпываться ими. В противоположность теории среды Достоевский выдвигает христианство, «которое, вполне признавая давление среды ⟨...⟩ ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается» (*ДП*, 1873, III, «Среда»). Вместо этой теории среды, снимающей, по мнению писателя, всякую ответственность с человека, Достоевский выступил с проповедью вины каждого перед всеми и за всех (там же).

С т р. 69. *...но она «возлюбила много», а возлюбившую много и Христос простил...* — Достоевский воспользовался здесь толкованием евангельского текста (Евангелие от Луки, гл. 7, ст. 47) в речи Е. И. Утина (1843—1894), адвоката, выступавшего в качестве защитника в деле Кашровой (см. ниже, стр. 603—604, примеч. к стр. 177). Достоевский писал об этом в майском номере «Дневника писателя» за 1876 г. (гл. 1, § V, «Г-н защитник и Великанова»): «Г-н защитник в конце своей речи применил к своей клиентке цитату из Евангелия: „Она много любила, ей многое простится". Это, конечно, очень мило. Тем более что г. защитник отлично хорошо знает, что Христос вовсе не за этакую любовь простил „грешницу". Считаю кощунством приводить теперь это великое и трогательное место Евангелия; вместо этого не могу удержаться, чтобы не привести одного моего давнишнего замечания, очень мелкого, но довольно характерного. Замечание это, разумеется, нисколько не касается г. Утина. Я заметил еще с детства моего, с юнкерства, что у очень многих подростков, у гимназистов (иных), у юнкеров (побольше), у прежних кадетов (всего больше) действительно вкореняется почему-то с самой школы понятие, что Христос именно за эту любовь и простил грешницу, то есть именно за клубничку, или, лучше сказать, за усиленность клубнички, пожалел, так сказать, привлекательную эту немощь ⟨...⟩ Повторяю, г-н Утин, уж конечно, отлично знает, как надо толковать этот текст, и для меня сомнения нет, что он просто пошутил в заключение речи, но для чего — не знаю». Об этом же эпизоде в деле Кашровой впоследствии вспоминал А. Ф. Кони (статья «Приемы и задачи прокуратуры»): «Защищая женщину, имевшую последовательно ряд любовников и отравившую жену последнего из них, он ⟨имеется в виду Утин, — *Ред.*⟩, ссылаясь на прошлое подсудимой, просил об оправдании, приводя в пример Христа, простившего блудницу, „зане возлюбила много", что дало повод обвинителю заметить, что защитник, по-видимому, не различает разницы между *много* и *многих*» (см.: А. Ф. К о н и. Собрание сочинений, т. 4. М., 1967, стр. 131).

С т р. 70. *...все-таки вы родственник, как ни финтите, по святцам докажу...* — Святцы — список имен христианских святых и церковных праздников в календарном порядке на двенадцать месяцев года, месяцеслов. По ним нельзя доказать родства.

С т р. 70. *...после такого эскапада...* ; см. также с т р. 364: *за всю ту «эскападу»...* — Эскапад⟨а⟩ (франц. escapade — проказа, шалость) — здесь: выходка.

С т р. 72. *...что сей сон значит?* — В 1860—1870-х годах чрезвычайно распространенное выражение. Часто встречается у М. Е. Салтыкова-Щедрина (см.: *Борщевский*, стр. 313; наст. изд., т. XII, стр. 302). Представляет собой перефразировку стихов Пушкина из сказки «Жених» (1825):

...Что ж твой сон гласит?
Скажи нам, что такое?..

С т р. 73. *...благоглупости.* — Словообразование М. Е. Салтыкова-Щедрина (впервые в рассказе «Деревенская тишь» (1863) — см.: *Борщевский*, стр. 313).

С т р. 73. *...хотя всегда между двух стульев садишься...* — Слова, которыми М. Е. Салтыков-Щедрин характеризовал позицию Достоевского и редакции «Времени» в своей полемической статье «Тревоги „Времени"» (1863) (*Салтыков-Щедрин*, т. VI, стр. 46; см. об этом: *Борщевский*, стр. 313—314).

С т р. 74. *Певец женских ножек, Пушкин, ножки в стихах воспевал...* — См. ниже, стр. 589, примеч. к стр. 30.

С т р. 76. *В любви к свободе, к равенству, братству найдет...* — Свобода, равенство, братство (liberté, égalité, fraternité) — лозунги Великой французской революции. См.: наст. изд., т. V, стр. 81; т. IX, стр. 458.

С т р. 77. *...если я-де не соглашусь на карьеру архимандрита ∾ непременно к отделению критики...* — Достоевский здесь полемически обыгрывает ряд фактов из биографии Г. З. Елисеева (1821—1891). Г. З. Елисеев, как и Ракитин, начал свой жизненный путь семинаристом. Природный ум и образованность открывали ему блестящую духовную карьеру. 23-х лет Елисеев уже был профессором Казанской духовной академии и в это время писал и публиковал книги духовного содержания (см. ниже, стр. 597, примеч. к стр. 100). Но в начале 1860-х годов он порывает с духовной средой, приезжает в Петербург, где становится сотрудником «Искры», а вскоре и членом ее редакции. Затем, не прекращая работы в «Искре», Елисеев переходит в «Современник». Здесь он заведует «Внутренним обозрением» и становится одним из руководителей журнала, популярным среди передовой интеллигенции и революционной молодежи. См. об этом: В. С. Д о р о в а т о в с к а я-Л ю б и м о в а. Достоевский и шестидесятники («Искра», «Современник», Чернышевский). В кн.: Достоевский. (Сборник статей), стр. 16—17.

С т р. 77. *...пока не выстрою капитальный дом в Петербурге...* — К теме литераторов, наживших литературой себе дома (имеются в виду факты из жизни Г. Е. Благосветлова (1824—1880) и А. А. Краевского (1810—1889)), Достоевский возвращался неоднократно. См. об этом: наст. изд., т. XII, стр. 284.

В одной из статей «Гражданина» за 1873 г. среди рассуждений о всеобщем воодушевлении, наступившем после 1861 г., между прочим говорится: «В таком состоянии бумажные фабриканты, типографщики, книгопродавцы, чиновники по делам печати и иные журналисты выиграли кое-что, иные даже много (редакции «Голоса» и «Дела» выстроили себе дома), ибо писалось много и печаталось много, но что выиграла от всего Россия, — это другой вопрос...» (*Гр*, 1873, № 39, стр. 1051; ср. также: *Гр*, 1873, № 43, стр. 1161 («Последняя страничка»)).

С т р. 77. *...у Нового Каменного моста через Неву, который проектируется, говорят, в Петербурге, с Литейной на Выборгскую...* — Имеется в виду Литейный мост — второй постоянный мост через Неву в Петербурге, построенный в 1875—1879 гг. В справочнике Вл. Михневича о Литейном мосте говорится: «Литейный, с Литейного проспекта на Выборгскую сторону, устроен на плашкоутах; зимой наводится. (На этом месте проектируется постоянный мост на каменных быках, арочной системы.)» (*Михневич*, стр. 107).

С т р. 79. *...киселек вроде бланманже.* — Бланманже (франц. blancmanger) — желе из сливок или миндального молока.

С т р. 81. *...знаете вы, что такое фон Зон? Процесс такой уголовный был: его убили в блудилище ∾ А когда заколачивали, то блудные плясавицы пели песни и играли на гуслях, то есть на фортоплясах.* — Дело об убийстве фон Зона разбиралось в С.-Петербургском окружном суде 28 и 29 марта 1870 г. Фон Зона заманили в притон в центре Петербурга, недалеко от Сенной площади, отравили, зверски убили и ограбили. Когда совершалось убийство и «пошли в ход ремень, плед, утюги», — одна из соучастниц преступления, как говорил потом ее защитник, «садится за фортепиано, стучит руками и ногами и заглушает крики и стоны несчастной жертвы» (см.: В. Д. С п а с о в и ч. Сочинения, т. V. Изд. 2-е. СПб., 1913, стр. 124). Об этом преступлении в Петербурге много говорили, о нем писали в газетах (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 66—67 (примеч. А. Г. Достоевской); *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 187). Достоевский не раз упоминает об убийстве фон Зона (см.: наст. изд., т. IX, стр. 124, 498; т. XII, стр. 8, 217—218 и др.). Блудилище — слово, обозначающее в древних текстах притоны разврата. Плясавица, блудная плясавица — говорится о дочери царя Ирода, потребовавшей у отца

в награду за свою пляску голову Иоанна Крестителя (Евангелие от Матфея, гл. 14, ст. 6—11; от Марка, гл. 6, ст. 21—28). См., например, у Парфения: «...подле того места, где св. Иоанн Креститель принял мечную кончину от скверныя жены плясавицы и от безбожного царя Ирода» (*Парфений*, ч. IV, стр. 85).

Стр. 82. *...но я рыцарь чести и хочу высказать. Да-с, я рыцарь чести...* — Возможно, что эта самоаттестация героя навеяна словами Тургенева, сказанными о Белинском: «Люди, которые, судя о нем наобум, приходили в негодование от его „наглости", возмущались его „грубостью", писали на него доносы, распространяли про него клеветы, — эти люди, вероятно, удивились бы, если б узнали, что у этого циника душа была целомудренная до стыдливости, мягкая до нежности, честная до рыцарства...» (*Тургенев, Сочинения,* т. XIV, стр. 27). «Воспоминания о Белинском» Тургенева впервые напечатаны в «Вестнике Европы», 1869, № 4. Иначе об этом см.: W. Komarowitsch. Dostojewski und George Sand. In: *Die Urgestalt,* стр. 206; А. Л. Бем. «Скупой рыцарь» в творчестве Достоевского, стр. 117—118.

Стр. 82. *Святыми отцами установлено исповедание на ухо, тогда только исповедь ваша будет таинством, и это издревле.* — До XIII в. у христиан существовала публичная (открытая) исповедь. Индивидуальная («тайная») исповедь была установлена папой Иннокентием III на Латеранском соборе в 1215 г. (см.: Л. И. Емелях. Происхождение христианского культа. Л., 1971, стр. 137). Но публичная исповедь продолжала существовать и после установления индивидуальной. Один из отцов церкви Иоанн Лествичник (VII в.) в своем уставе монашеской жизни, положенном в основу многих монашеских уставов, в том числе и русских, пишет: «... исповедуем доброму судии нашему ⟨т. е. наставнику, — *Ред.*⟩ согрешения наши наедине; если же повелит, то и при всех, ибо язвы объявляемые не преуспевают...» (Иоанн ⟨Лествичник⟩. Лествица. М., 1873, стр. 39).

Стр. 82. *...в хлыстовщину втянешься.* . — Хлысты — религиозная секта, возникшая в России в XVII в. Главный догмат хлыстов — воплощение божества в человека во время экстатического обряда, цель которого заключается в очищении человеческого тела от «нечистой силы». См. также: наст. изд., т. IX, стр. 515—517.

Стр. 82. *...напишу в синод...* — Синод (греч. σύνοδος — сходка, собор) — высший орган управления православной церковью в России. Учрежден Петром I в 1721 г.

Стр 83. *«Поцелуй в губы и кинжал в сердце», как в «Разбойниках» Шиллера.* — В переводе М. М. Достоевского эта фраза Карла Моора звучит так: «Люди, люди! лживое, коварное отродье крокодилов! Вода — ваши очи, сердце — железо! На уста поцелуй, кинжал в сердце!» («Разбойники», действие 1, сцена 2; см.: Шиллер. Драматические сочинения в переводах русских писателей, т. III, стр. 31).

Стр. 83. *Портвейн старый Фактори...* — Фактори — одна из марок портвейна.

Стр. 83. *...медок разлива братьев Елисеевых...* — Братья Елисеевы — виноторговцы, владельцы магазинов и складов. Фирма Елисеевых по обширности торговли и качеству вин была одной из первых в России. См.: *Михневич,* стр. 483.

Стр. 83. *Вы меня на семи соборах проклинали...* — Из вселенских соборов (съездов высшего духовенства христианской церкви) православная церковь признает лишь семь первых, состоявшихся до разделения церквей (1054). Начиная с первого вселенского собора, на котором было осуждено как ересь арианство, почти на каждом из них кто-нибудь подвергался проклятию и осуждению.

Стр. 84. *Те-те-те, вознепщеваху! и прочая галиматья! Непщуйте, отцы, а я пойду.* — Непщевать (др.-русск. непьщевати, непщевати) — думать, полагать, рассуждать; не обращать внимания (см.: И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. т. II. СПб., 1902, стлб. 420).

Стр. 84. *...мамуровка есть...* — Мамуровка — наливка из красной моронки, или мамуры.

С т р. 85. *Дом Федора Павловича Карамазова стоял далеко не в самом центре города...* — См. стр. 454, а также: *Рейнус*, стр. 53—54.

С т р. 88. *Начали «Во лузях»...* — «Во лузях» — народная плясовая песня. в которой молодая девушка просит отца не выдавать ее замуж за старого (в некоторых вариантах и за молодого), а выдать за «ровнюшку» (см.: *Соболевский*, т. II, №№ 299—306). Судя по записным тетрадям 1880—1881 гг., Достоевский собирался дать анализ этой и некоторых других фольклорных песен.

С т р. 88. *Когда же родился, то поразил его сердце скорбью и ужасом. Дело в том, что родился этот мальчик шестипалым.* — Ср.: «...всякий ребенок, родившийся с физическими и душевными недостатками, в глазах суеверного народа был существо, в котором поселился нечистый дух» (А. А ф а н а с ь е в. Поэтические воззрения славян на природу, т. III. М., 1869, стр. 306).

С т р. 88. *...собрался причт...* — Причт (причет) — все духовенство какой-либо церкви.

С т р. 89. *Любил книгу Иова, добыл откуда-то список слов и проповедей «богоносного отца нашего Исаака Сирина»...* — Об отношении Достоевского к книге Иова см. ниже, примеч. к стр. 264. *Исаак Сирин (Сирианин)* — один из отцов церкви, христианский подвижник и писатель VII в. Впервые переведен на славянский язык Паисием Величковским. См. также выше, примеч. к стр. 48.

С т р. 89. *...городская юродивая ꝏ по прозвищу Лизавета Смердящая...* — А. М. Достоевский в своих воспоминаниях рассказывает о «дурочке Аграфене», которая, по-видимому, послужила прообразом Лизаветы Смердящей: «В деревне у нас была дурочка, не принадлежавшая ни к какой семье; она все время проводила шляясь по полям, и только в сильные морозы зимой ее насильно приючивали в какой-либо избе. Ей уже было тогда лет 20—25; говорила она очень мало, неохотно, непонятно и несвязно; можно было только понять, что она вспоминает постоянно о ребенке, похороненном на кладбище. Она, кажется, была дурочкой от рождения и, несмотря на свое таковое состояние, претерпела над собою насилие и сделалась матерью ребенка, который вскоре и умер. Читая впоследствии в романе брата Федора Михайловича „Братья Карамазовы" историю Лизаветы Смердящей, я невольно вспоминаю нашу дурочку Аграфену» (*Достоевский, А. М.*, стр. 62—63). Первые записи о Лизавете Смердящей появляются в черновых тетрадях Достоевского 1874—1875 гг. Ср. также стр. 416.

С т р. 92. *...пожилой и почтенный статский советник...* — Статский советник — один из гражданских чинов дореволюционной России, 5-го класса, соответствовал воинскому званию полковника.

С т р. 96.

Слава Высшему на свете
Слава Высшему во мне!..

— стихи Мити, повторенные им впоследствии еще раз (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 366), восходят, возможно, к словам «многочисленного воинства небесного», которое в Евангелии славит бога при рождении Христа: «...слава в вышних богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Евангелие от Луки, гл. 2, ст. 14).

С т р. 96. *Не верь фантому.* — Фантом (франц. fantôme) — призрак, видение; здесь: не верь тому, что видишь.

С т р. 96.

Не верь толпе пустой и лживой,
Забудь сомнения свои...

— строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Когда из мрака заблужденья...», напечатанного в 1846 г. в № 4 «Отечественных записок». Достоевский его цитирует и по-своему толкует в «Селе Степанчикове» и в «Записках из подполья» (1859; см.: наст. изд., т. III, стр. 160—161; 1864; см.: т. V, стр. 167). Достоевский прочел это стихотворение Некрасова 21 ноября 1880 г. на публичном чтении в

пользу Литературного фонда (см.: *Достоевская, А. Г. Воспоминания*, стр. 352).

С т р. 97. *...он попался ко мне, как золотая рыбка старому дурню рыбаку в сказке.* — Имеется в виду «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина (1833).

С т р. 98.

Будь, человек, благороден!

— строка из стихотворения Гете «Божественное» («Das Göttliche», 1783) в переводе А. Струговщикова:

Будь, человек, благороден!
Будь сострадателен, добр!

Лишь возвышенное чувство,
Чувство чести и добра,
Отличает человека
От других земных существ!

(А. С т р у г о в щ и к о в. Стихотворения, заимствованные из Гете и Шиллера, кн. 1. СПб., 1845, стр. 18). Перевод Струговщикова под названием «Человеку» был впервые опубликован в «Отечественных записках» (1842, т. 24, отд. I, стр. 1—2).

С т р. 98. *Я хотел бы начать... мою исповедь... гимном к радости Шиллера. An die Freude!* — Знаменитое стихотворение Ф. Шиллера (1785) — классический памятник гуманизма и оптимизма XVIII в. В гимне Шиллера радость прославляется за то, что, объединяя людей братской любовью, она возводит их к небесам, к богу — средоточию и воплощению любви. К этой теме Достоевский неоднократно возвращается в «Братьях Карамазовых».

С т р. 98.

И Силен румянорожий
На споткнувшемся осле

— заключительные строки стихотворения А. Н. Майкова «Барельеф» (1842). Силен — спутник Вакха (бога вина и плодородия в греческом пантеоне).

С т р. 98. *Робок, наг и дик скрывался...* — Свою исповедь Митя начинает стихотворением Шиллера «Элевзинский праздник» («Das Eleusische Fest», 1798), цитируя вторую, третью, четвертую строфы в переводе В. А. Жуковского: Ш и л л е р. Полное собрание сочинений в переводе русских писателей, изд. под ред. Н. В. Гербеля, т. I. Изд. 5-е. СПб., 1875, стр. 57. Этот том имелся в библиотеке Достоевского (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 32).

С т р. 99. *Чтоб из низости душою...* — Первая половина седьмой строфы стихотворения Шиллера «Элевзинский праздник» в том же переводе: Ш и л л е р. Полное собрание сочинений в переводе русских писателей, т. I, стр. 57—58.

С т р. 99. *Я не целую землю, не взрезаю ей грудь...* — Возможно, этот образ заимствован из стихотворения А. А. Фета «Пришла весна, — темнеет лес...», посвященного Ф. И. Тютчеву:

На плуг знакомый налегли
Все, кем владеет труд упорный,
Опять сухую грудь земли
Взрезает конь и вол покорный...

Стихотворение Фета впервые напечатано: *РВ*, 1866, № 2, стр. 852.

С т р. 99. *...но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается бог мой...* — Образ заимствован из стихотворения Гете «Границы человечества» («Gränzen der Menschheit», 1778—1781) в переводе А. А. Фета:

Край его ризы
Нижний целую,
С трепетом детским
В верной груди...

(опубликован в издании: Г е т е. Собрание сочинений в переводах русских писателей, изд. под ред. Н. В. Гербеля, т. I. СПб., 1878, стр. 67—68; издание имелось в библиотеке Достоевского — см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 23).

С т р. 99. *Душу божьего творенья...* — Митя цитирует из гимна Шиллера «К Радости» в переводе Ф. И. Тютчева («Песнь радости») сначала седьмую, затем пятую строфы (см.: Ш и л л е р. Полное собрание сочинений в переводе русских писателей, т. I, стр. 624).

С т р. 100. *...начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским.* — Содом и Гоморра — библейские города, жители которых за безнравственность и беззаконие были сурово наказаны богом (Бытие, гл. 19, ст. 24—25). Идеал Мадонны и идеал содомский — символические обозначения добра и зла, нравственной красоты и безобразия.

С т р. 101. *...цветочки польдекоковские...* — Поль де Кок (Paul de Kock, 1793—1871) — французский романист. См. о нем: наст. изд., т. I, стр. 481; т. II, стр. 480—481.

С т р. 101. — *Я ведь в этом баталионе, в линейном, хоть и прапорщиком состоял...* — Линейный батальон — батальон пограничных войск. Прототип Мити Карамазова, Ильинский (см. стр. 403—405), служил в линейном батальоне. Прапорщик — самый младший офицерский чин в дореволюционной России.

С т р. 103. *Бурбон я был ужаснейший...* Бурбон — грубый, невежественный человек (так первоначально назывались офицеры, выслужившиеся из солдат; слово образовалось от имени французской королевской династии Бурбонов).

С т р. 109. *...этим штабс-капитаном...* — Штабс-капитан — один из младших офицерских чинов, средний между поручиком и капитаном.

С т р. 110. *...на них и в Мокрое съездили.* — Мокрое — распространенное название русских деревень и сел. Один из районов старого Омска, где Достоевский провел несколько лет, тоже назывался Мокрым и так обозначался на старых картах города. В биографических сведениях о Чокане Валиханове, составленных Г. Н. Потаниным, говорится: «Чокан жил в это время в центре города ⟨Омска, — *Ред.*⟩, в той его части, которая называется Мокрое ⟨...⟩ Мокрое было тогда самой грязной в летнее время частью города; в дожди в его улицах стояли лужи во всю их ширину. Оно было расположено на правом берегу Оми, на нижней террасе, которую в большую воду иногда заливало» (Записки имп. русского географического общества по отделению этнографии, т. XXIX. Сочинения Чокана Чингисовича Валиханова. Изд. под ред. Н. И. Веселовского. СПб., 1904, стр. XIX).

С т р. 110. — *Митя, ты несчастен, да! Но всё же не столько, сколько ты думаешь, — не убивай себя отчаянием, не убивай!* — Ср. совет старого Моора о том, чтобы Франц осторожнее писал брату: «... но, смотри, не приводи его в отчаяние!» — и дальше: «Повторяю тебе, не доводи его до отчаяния!» («Разбойники», действие 1, сцена 1; см.: Ш и л л е р. Драматические сочинения в переводах русских писателей, т. III, стр. 12).

С т р. 110. *...а теперь я к Грушеньке пойду ...∾ У ее приятелей буду калоши грязные обчищать, самовар раздувать, на посылках бегать...* — Ср. в воспоминаниях Вс. С. Соловьева слова Достоевского: «Нет, кто любит, тот не рассуждает, — знаете ли, как любят! (и голос его дрогнул, и он страстно зашептал): если вы любите чисто и любите в женщине чистоту ее и вдруг убедитесь, что она потерянная женщина, что она развратна, — вы полюбите в ней ее разврат, эту гадость, вам омерзительную, будете любить в ней... вот какая бывает любовь!» (*Достоевский в воспоминаниях*, т. II, стр. 192).

С т р. 111. *...и душу мою из ада извлечет...* — Слова Мити восходят к молитве пророка Ионы и вводят высокую библейскую параллель к настоящим и будущим страданиям этого героя: «...отринут я от очей твоих ⟨...⟩ Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня ⟨...⟩ До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но ты, господи боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о господе, и молитва моя дошла до тебя ⟨...⟩ а я гласом хвалы

принесу тебе жертву; что обещал, исполню У господа спасение!» (Книга пророка Ионы, гл. 2, ст. 5—10).

Стр. 112. *...в Чермашню посылает...* — Чермашня (или Чермошня, или Черемошино) — так называлась деревня в Каширском уезде Тульской губернии. В 1832 г. она была куплена родителями Достоевского рядом с сельцом Даровым, приобретенным годом раньше. В конце жизни Достоевский любил вспоминать эти места своего детства, а летом 1877 г. посетил их. См. об этом: *Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 25—26, 265; *Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 313.

Стр. 114. *У нас Валаамова ослица заговорила...* — В библейском рассказе ослица Валаама, ехавшего по просьбе моавитского царя, чтобы проклясть Израиль, увидела ангела, который преградил ей путь, и остановилась. В ответ на побои Валаама она не тронулась с места, но вдруг заговорила (см.: Числа, гл. 22, ст. 21—31).

Стр. 114. *Ты разве человек ∾ ты не человек, ты из банной мокроты завелся, вот ты кто...» Смердяков, как оказалось впоследствии, никогда не мог простить ему этих слов.* — В записной тетради Достоевского 1876—1877 гг. среди других заметок есть следующая: «Ты всего-то из банной мокроты зародился, сказали бы ему, как говорили, ругаючись, покойники из Мертвого дома (а ведь половина, должно быть, теперь уж покойнички), когда хотели обозначить какое-нибудь бесчестное происхождение». Метафору этого «ругательства» Достоевский реализует: Смердяков действительно родился в бане. Ср.: *ЛН*, т. 83, стр. 72.

Стр. 114. *Свет создал господь бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?* — О создании света, солнца, луны, звезд говорится в библейской книге Бытия, гл. 1, ст. 3—5, 14—19. Вопрос героя заимствован из «Луцидариуса» (т. е. «Просветителя»), книги апокрифического характера, переведенной, по мнению Н. С. Тихонравова, на русский язык с немецкого. Произведение состоит из ряда вопросов ученика и ответов учителя. Например: «Ученикъ вопроси. Кои свѣтъ бѣаше тогда преже даже солнце не сотворено. Учитель рече. Нѣцин учители глаголютъ, ажъ богъ сотворилъ зѣло свѣтелъ облакъ, от негож и просвѣти бѣ» (Н. Тихонравов. Летописи русской литературы и древности, т. I. М., 1859, стр. 44).

Стр. 115. *...Федор Павлович вынул ему «Вечера на хуторе близ Диканьки».* — «Вечера на хуторе близ Диканьки» — первый сборник повестей Н. В. Гоголя, вышедший в свет в 1831—1832 гг.

Стр. 115. *...«Всеобщая история» Смарагдова ...* — Речь идет об учебнике С. Н. Смарагдова «Краткое начертание всеобщей истории для первоначальных училищ» (СПб., 1845), имевшем несколько изданий.

Стр. 116. *...сапоги свои опойковые...* — Опойковые — из тонкой кожи, выделанной из шкур молодых телят.

Стр. 116. *...три радужные бумажки...* — Радужная — сторублевая (наименование связано с ее расцветкой).

Стр. 116. *У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием «Созерцатель»...* — Крамской, Иван Николаевич (1837—1887) — русский художник-передвижник. Картина «Созерцатель» демонстрировалась на 6-й выставке картин Товарищества передвижных художественных выставок в Петербурге с 9 марта по 22 апреля 1878 г. Отчеты о выставке с отзывами о картине Крамского были помещены в «Петербургской газете», «Русском мире», «Новом времени» и т. д. (см.: Г. Бурова, О. Гапонова, В. Румянцева. Товарищество передвижных художественных выставок, т. 2. Обзоры выставок в периодической печати. М., 1959, стр. 33—34, 36—38). С И. Н. Крамским, чрезвычайно высоко ставившим талант писателя (см. стр. 512), Достоевский был лично знаком. Осенью 1880 г. они встречались у А. С. Суворина (см.: *Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 314—315). Художнику принадлежит рисунок, изображающий Достоевского на смертном одре. А. Г. Достоевская вспоминает: «... на другой день после кончины мужа в числе множества лиц, нас посетивших, был знаменитый художник И. Н. Крамской. Он по собственному желанию захотел нарисовать портрет с усопшего в нату-

ральную величину и исполнил свою работу с громадным талантом. На этом портрете Федор Михайлович кажется не умершим, а лишь заснувшим, почти с улыбающимся и просветленным лицом, как бы уже узнавшим неведомую никому тайну загробной жизни» (*Достоевская, А. Г. Воспоминания*, стр. 387). Этот рисунок Крамского хранится в *ИРЛИ* (см.: Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского Дома. V. И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский. М.—Л., 1959, стр. 109—110).

Стр. 117. *...услышал от него об одном русском солдате...* — Речь идет об унтер-офицере 2-го Туркестанского батальона Фоме Данилове, взятом в плен кипчаками и погибшем в Маргелане 21 ноября 1875 г. В «Дневнике писателя» за 1877 г. (январь, гл. 1, § III, «Фома Данилов, замученный русский герой») Достоевский писал, что Фома Данилов, пострадавший за веру и проявивший необычайную нравственную силу, — «эмблема России, всей России, всей нашей народной России, подлинный образ ее...» Развивая эту мысль, Достоевский говорит дальше: «...чтобы судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно, и даже хотя бы и в большинстве своем, может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок».

Стр. 120. *...иезуит ты мой прекрасный?* — Перефразировка стиха Пушкина из «Сказки о царе Салтане...» (1831): «Здравствуй, князь ты мой прекрасный!»

Стр. 120. *...сказано же в писании, что коли имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно и притом скажете сей горе, чтобы съехала в море, то и съедет. .* — Имеются в виду слова Христа ученикам: «...если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас...» (Евангелие от Матфея, гл. 17, ст. 20), а также: «...если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, — будет» (там же, гл. 21, ст. 21). См. также: Евангелие от Марка, гл. 11, ст. 23; от Луки, гл. 17, ст. 6. В некоторых житиях и сказаниях эти слова воспринимаются, как и Смердяковым, буквально (например: Пролог, 7 октября, «Слово о кузнецѣ, иже молитвою сотвори воздвигнутися горѣ и воврешися в Нил реку»). Сказания о способности святых сдвигать горы известны «как у восточных, так и у западных христиан по крайней мере с XIII в. и приурочиваются по большей части к Багдаду (в западных версиях) или к Египту (в восточных и частью в западных)» (см.: Н. Н. Дурново. Легенда о заключенном бесе в византийской и старинной русской литературе. I—III. М., 1905, стр. 79).

Стр. 122. *...русского мужика, вообще говоря, надо пороть. Я это всегда утверждал. Мужик наш мошенник...* — В ответе А. Д. Градовскому на критику речи о Пушкине Достоевский писал о том, что либерализм некоторых русских людей «старого времени» вполне уживался с презрением к мужику: «Я знаю и запомнил множество интимных изречений 〈...〉 „Рабство, без сомнения, ужасное зло 〈...〉 но если уже всё взять, то наш народ — разве это народ? Ну, похож он на парижский народ девяносто третьего года? Да он уж свыкся с рабством, его лицо, его фигура уже изображают собою раба, и, если хотите, розга, например, конечно, ужасная мерзость, говоря вообще, но для русского человека, ей-богу, розочка еще необходима: русского мужичка надо посечь, русский мужичок стоскуется, если его не посечь, уж такая-де нация“, — вот что я слыхивал в свое время, клянусь, от весьма даже просвещенных людей» (*ДП*, 1880, август, гл. 3).

Стр. 122. *В ту же меру мерится, в ту же и возмерится, или как это там...* — Имеются в виду слова Христа: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам 〈...〉 ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Евангелие от Луки, гл. 6, ст. 37—38). См. также: Евангелие от Матфея, гл. 7, ст. 1—2; от Марка, гл. 4, ст. 24.

Стр. 122. *...любим пуще всего девок по приговору пороть...* — По положению 1861 г. гражданские и уголовные дела крестьян (в установленных

законом пределах) решал волостной суд, выбиравшийся крестьянами из своей среды. Наряду с волостным судом, институтом вполне официальным, и нередко в обход ему существовали неофициальные сельские суды, суды стариков и т. д. Приговоры и тех и других крестьянских судов допускали всевозможные злоупотребления в силу невежества или недобросовестности. Порка в качестве меры наказания зачастую выражала решение крестьянского суда по разным вопросам. Все это обсуждалось в печати 1860—1870-х годов. «Гражданин», редактируемый Достоевским, тоже участвовал в этом обсуждении (см.: *Гр*, 1873, №№ 8, 32 и др.).

С т р. 122. *Каковы маркизы де Сады, а?* — Маркиз де Сад (de Sade, 1740—1814) — литературное имя французского писателя Донасьена Альфонса Франсуа, графа де Сада, автора произведений, изображающих разврат, соединенный с жестокостью. Имя де Сада стало нарицательным, так оно и употреблено в данном случае. Достоевский неоднократно упоминает де Сада в своих произведениях и черновиках начиная с «Униженных и оскорбленных» (см.: наст. изд., т. III, стр. 364, а также: *ЛН*, т. 83, стр. 246). О де Саде и Достоевском см.: П. Б и ц и л л и. К вопросу о внутренней форме романа Достоевского. Приложение III: Де-Сад, Лакло и Достоевский. В кн.: Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет, 1945—1946, т. XLII, стр. 59—63. О де Саде см. также: В. Е р о ф е е в. Метаморфоза одной литературной репутации. Маркиз де Сад, садизм и XX век. «Вопросы литературы», 1973, № 4, стр. 135—168.

С т р. 123—124. *...есть бог или нет? Только серьезно!* ∾ *— Нет, нету бога.* ∾ *— А черт есть? — Нет, и черта нет.* — Этот диалог между Федором Павловичем и сыновьями и некоторые мотивы одной из следующих книг романа («Pro и contra») напоминают аллегорический диалог между жизнью и молодым поколением, как он был изображен в одном из «Писем хорошенькой женщины», печатавшихся в редактируемом Достоевским «Гражданине» за подписью: Вера N (В. П. Мещерский): «Прислушайтесь-ка к ответам этих представителей молодого поколения, и я вам ручаюсь, что, подобно мне, вы придете, читатель, к убеждению, что молодое поколение это пока нуль и что можно не на шутку рассердиться, когда все станут уверять, что вся надежда России на этот нуль.

— Веришь ли в бога? — спрашивает их жизнь.

— Нет, не верю.

— А в черта веришь?

— И в черта не верю.

— А любить умеешь?

— Не пробовал.

— А меня неужели не любишь? — спрашивает жизнь.

— Сама знаешь, как я тебя люблю: пуля в лоб или веревка на шею, и дело с концом.

— А долг, труд, семья, отечество?

— Все это пустяки, старье...

— А загробная жизнь?

— Ну, до нее далеко и высоко» (*Гр*, 1874, 18 февраля, № 7, стр. 209). Фраза Мещерского: «Наше молодое поколение это ничто, и ничего более!» — сопровождена редакционным примечанием: «Редакция не может похвалить способ выражения своей испуганной сотрудницы, тем более что она вдается в некоторую односторонность. Тем не менее мы печатаем эти письма буквально, потому что они все-таки — знамение времени. Будь в этих обвинениях лишь одна десятая доля правды, то и тогда ужасно. А десятая доля правды, кажется, есть» (там же, стр. 208). Возможно, ответы Алеши уничтожают ту «односторонность» во взгляде на молодое поколение автора статьи из «Гражданина», которая была указана в редакционном примечании.

С т р. 124. *...il y a du Piron là-dedans.* — Пирон, Алексис (1689—1773) — французский поэт и драматург. Первыми своими произведениями приобрел репутацию скабрезного писателя, что впоследствии помешало выбору Пирона в Академию (см. ниже, примеч. к стр. 382). О Пироне рассказывались анекдоты, ему приписывались остроумные и злые эпиграммы. В конце жизни он изме-

нился, стал религиозен и занялся религиозной поэзией, однако былая слава за ним оставалась.

С т р. 124. *Есть в нем что-то мефистофельское или, лучше, из «Героя нашего времени»... Арбенин али как там...* — Арбенин — герой драмы Лермонтова «Маскарад» (впервые напечатана с купюрами в 1842 г.). Федор Павлович, вероятно, сознательно путает его с Печориным.

С т р. 125. *«Наафонил я, говорит, на своем веку немало».* — Наафонил — неологизм, образованный от слова Афон (см. выше, примеч. к стр. 26).

С т р. 126. *Для меня мовешек не существовало ∽ Даже вьельфильки...* — Мовешки (франц. mauvais) — дурнушки. Вьельфильки (франц. vieille fille) — старые девы.

С т р. 126. *...особенно богородичные праздники наблюдала...* — Имеются в виду праздники в честь богородицы. Основные из них — Рождество богородицы (8 сентября ст. ст.); Введение во храм (21 ноября ст. ст.); Благовещение (25 марта ст. ст.); Покров (1 октября ст. ст.); Успенье (15 августа ст. ст.).

С т р. 129. — *Он меня дерзнул!* — Запись из Сибирской тетради Достоевского, № 243 (см.: наст. изд., т. IV, стр. 242).

С т р. 129. *Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!* — Как указывает рассказчик, Иван кончил курс в университете естественником (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 16). В высказывании героя можно усмотреть отзвук биологической теории Ч. Дарвина о борьбе за существование в характерном для многих естественников 1870-х годов вульгарном ее варианте, переносящем биологические явления в область истории и социологии. Против такого рода перенесений Достоевский резко возражал уже в «Преступлении и наказании» (1866; см.: наст. изд., т. VII, стр. 339—340). Вопрос о взаимоотношении теории Дарвина с историей и социологией занимал русскую публицистику в 1860-е и 1870-е годы, когда в различных изданиях (прежде всего в «Отечественных записках») появились многочисленные работы по этому предмету. Некоторые русские публицисты и идеологи демократического направления — М. А. Антонович (1835—1918), П. Л. Лавров (1823—1900), Н. К. Михайловский (1842—1904) — испытали на себе заметное воздействие естественнонаучных идей Дарвина. См. ниже, примеч. к стр. 214.

С т р. 136. *Но он на ней не женится ∽ Это страсть, а не любовь.* — В сцене встречи двух соперниц звучат мотивы драмы Шиллера «Коварство и любовь» (действие 4, сцены 6 и 7, встреча леди Мильфорд и Луизы Миллер) (см.: Л. П. Г р о с с м а н. Достоевский — художник. В кн.: *Творчество Достоевского*, стр. 406). Для Достоевского в данном случае могла иметь значение и другая шиллеровская сцена — встреча Елизаветы и Марии Стюарт из «Марии Стюарт» (1800; действие 3, сцена 4) (см.: Д. Ч и ж е в с к и й. Шиллер в России. «Новый журнал», 1956, т. XLV, стр. 111).

С т р. 141. — *Кошелек или жизнь!* — В переводе «Разбойников» М. М. Достоевского, как и в оригинале, эти слова даны по-французски: «La bourse ou la vie!» (Ш и л л е р. Драматические сочинения в переводах русских писателей, т. III, стр. 24).

С т р. 143. *...вся она в этой ручке высказалась, инфернальница!* — Инфернальница (лат. infernalis — адский) — роковая, демоническая женщина.

С т р. 143. *Тут целое открытие всех четырех стран света, пяти то есть!* — Митя путает страны (север, юг, восток, запад) и части света, которых в XIX в. насчитывали пять: Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия. Антарктида, хотя и была открыта в 20-х годах прошлого столетия, вплоть до начала XX в. особой частью света не считалась.

С т р. 146. *«Алексей Федорович ∽ пишу вам от всех секретно...»* — Письмо Lise Алеше некоторыми своими мотивами перекликается с «Письмом Татьяны к Онегину» в «Евгении Онегине» (1825—1830; гл. III). Характер этой героини Пушкина Достоевский достаточно подробно анализирует в речи о Пушкине (1880).

С т р. 148. *По совершении обоих таинств началось соборование.* — Соборование — церковный обряд, совершаемый перед смертью, смысл которого заключается в испрашивании прощения и отпущении грехов.

Стр. 151. *...с воскресною просвиркой...* — Просвира (греч. προσφορά — приношение) — белый хлебец, употребляемый в православном богослужении.

Стр. 152. *Обдорский монашек повергся ниц пред блаженным и попросил благословения. — Хочешь, чтоб и я пред тобой, монах, ниц упал? — проговорил отец Ферапонт. — Восстани!* — Сходный эпизод рассказывает Парфений. Войдя в келью к оптинскому старцу Леониду, Парфений тотчас пал на колени. «Потом старец возгласил: „А ты, афонский отец, почто пал на колена? Или ты хочешь, чтобы и я стал на колена?"» (*Парфений*, ч. I, стр. 277).

Стр. 153. *...о четыредесятнице...* — Четыредесятница — великий пост, продолжающийся семь недель, от масленицы до пасхи.

Стр. 153. *В страстную же седмицу...* — Страстная седмица — последняя неделя великого поста.

Стр. 153. *Во святый же великий пяток ничесо же ясти, такожде и великую субботу ∽ Во святый же великий четверток...* — Великий пяток (пятница), великая суббота, великий четверток (четверг) — дни страстной недели. Символика этих дней великого поста связана с евангельским рассказом о страданиях и смерти Христа.

Стр. 153. *Ибо иже в Лаодикии собор о велицем четвертке тако глаголет...* — В 360 или 370 г. в Лаодикии, городе Малой Азии, входившем в состав Римской империи, состоялся церковный собор, правила которого вошли в состав церковного канона.

Стр. 153. *... во святую пятидесятницу восходил...* — Пятидесятница — троица, пятидесятый день после пасхи. Пятидесятницей называют также и всю неделю, следующую за троицей.

Стр. 154. — *Святый дух в виде голубине?* — В христианской символике святой дух соответственно библейской традиции изображается в виде голубя.

Стр. 154. — *А в духе и славе Илии, не слыхал, что ли?* — Имеются в виду слова из Евангелия об Иоанне Крестителе: «...и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников...» (Евангелие от Луки, гл. 1, ст. 17).

Стр. 155. *Ободняв уже в монастыре...* — Ободнять (обл.) — слово, означающее полное наступление дня; здесь: попривыкнув, осмотревшись.

Стр. 155—156. *...и врата адовы не одолеют его.* — Ср. слова Христа: «...на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» (Евангелие от Матфея, гл. 16, ст. 18).

Стр. 158. *Конечно, в теперешнее модное время принято отцов да матерей за предрассудок считать ∽ да похваляться прийти и совсем убить...* — Ср.: «Разбойники» (действие 1, сцена 1). См. ниже, стр. 602—603, примеч. к стр. 171.

Стр. 159... *эти люди, как Иван, это, брат, не наши люди, это пыль поднявшаяся... Подует ветер, и пыль пройдет...* — Ср.: «Не так — нечестивые; но они — как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники — в собрании праведных» (псалом 1, ст. 4—5).

Стр. 160. *Как только он прошел площадь ∽ внизу пред мостиком...* — А. Г. Достоевская пишет: «Федор Михайлович говорит про Старую Руссу. Место, где происходило побоище мальчиков, известно семье Достоевских» (*Гроссман, Семинарий*, стр. 67).

Стр. 161. *Алеша безо всякой предумышленной хитрости начал прямо с этого делового замечания...* — Поясняя эти строки, А. Г. Достоевская пишет: «Обычная манера Федора Михайловича, когда ему приходилось говорить с детьми. В своих прогулках по Ст. Руссе Федор Михайлович часто разговаривал с незнакомыми детьми, и дети потом сами к нему подбегали со своими расспросами, такое доверие он сумел внушать им» (*Гроссман, Семинарий*, стр. 67).

Стр. 163. — *Монах в гарнитуровых штанах!* — Гарнитуровый — искаженное: гродетуровый; гродетур — легкая шелковая ткань. Фраза представляет собой детскую дразнилку. Насмешка детей над Алешей — одна из деталей, соединяющих жизнеописание этого героя с житиями святых, прежде всего — юродивых.

Стр. 169. *...это монстр!* — Монстр (франц. monstre) — чудовище, урод.

С т р. 175. *Den Dank, Dame, begehr ich nicht...* — Цитата из баллады Ф. Шиллера «Перчатка» («Der Handschuh», 1797). В переводе Лермонтова (1829):

Благодарности вашей не надобно мне!

В издании, имевшемся в библиотеке Достоевского, «Перчатка» дана также и в переводе Жуковского (1831), где цитированный Иваном стих передан так:

... В лицо перчатку ей
Он бросил и сказал: «Не требую награды».

(Ш и л л е р. Полное собрание сочинений в переводе русских писателей, т. I, стр. 643, 78).

С т р. 181. *...извольте взять место-с. Это в древних комедиях говорили: «Извольте взять место»...* — Распространенный в XVIII и в начале XIX в. галлицизм (франц. prenez place — садитесь, буквально: возьмите место).

С т р. 182. *...стал говорить словоерсами.* — Словоерс — звук «с», прибавлявшийся к концу слов в знак особого почтения к собеседнику.

С т р. 183.

И ничего во всей природе
Благословить он не хотел

— цитата из стихотворения Пушкина «Демон» (1823).

С т р. 184. *...господин Черномазов.* — «Обмолвка» героини выявляет внутреннюю форму вымышленной фамилии Карамазов, включающей «кара» (на тюрко-татарских языках — черный) (см.: W. K o m a r o w i t s c h. Dostojewski und George Sand, стр. 205). Со словами тюрко-татарского происхождения Достоевский, по-видимому, познакомился в Сибири. Барон Врангель вспоминает: «Что касается прозвищ, то в Сибири это было в большой моде, особенно между татарами и киргизами: всем давали какую-нибудь кличку; так, у меня было наименование „Карасакаль", т. е. черная борода или, вернее, черные бакенбарды, которые я в то время носил, и усы...» (*Врангель*, стр. 67). О фамилии Карамазов см. также: П. Б и ц и л л и. Происхождение имени Карамазовых. «Россия и славянство», Париж, 1931, 24 октября, № 152; А. Б е м. Личные имена у Достоевского. Сборникъ в честь на проф. Л. Милетичъ. София, 1933, стр. 431.

С т р. 189. *А уж известно, что русский мальчик так и родится вместе с лошадкой.* — По этому поводу А. Г. Достоевская пишет: «Это говорил часто Федор Михайлович, видя, до чего любит лошадей наш старший сын Федя, постоянно расспрашивавший о лошадях отца, который охотно и с большими подробностями удовлетворял его любопытство» *(Гроссман, Семинарий,* стр. 67—68). См. также: *ДП*, 1876, июль-август, гл. 4, § IV.

С т р. 192. *...да лошадку-то вороненькую, он просил непременно чтобы вороненькую...* — По свидетельству А. Г. Достоевской, это была просьба старшего сына Федора Михайловича, Феди (см.: *Гроссман, Семинарий,* стр. 68).

С т р. 202. *Теперь я как Фамусов в последней сцене, вы Чацкий, она Софья, и, представьте, я нарочно убежала сюда на лестницу, чтобы вас встретить, а ведь и там всё роковое произошло на лестнице.* — Имеется в виду последнее действие комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), которое также происходит на лестнице. Об отражении комедии Грибоедова в произведениях Достоевского см.: А. Л. Б е м. «Горе от ума» в творчестве Достоевского. В кн.: *О Достоевском*, вып. III, стр. 13—33.

С т р. 203. *Непобедимой силой...* — С т р. 204. — *Царская корона...* — С т р. 206. *Сколько ни стараться...* — См. стр. 448.

С т р. 204. *«Ты, дескать, ей ложесна разверз».* — «Ложесна разверз» — оборот, идущий из библейских текстов (например: Исход, гл. 13, ст. 2, 12; гл. 34, ст. 19 и др.), — свидетельство начитанности Григория в духовной литературе.

С т р. 204—205. *Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь? ∽ Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна.* — В «Дневнике писателя» за 1876 г., давая общую характеристику людям, подобно

Смердякову едва приобщившимся к культуре, Достоевский писал: «...малообразованные, но уже успевшие окультуриться люди, окультуриться хотя бы только слабо и наружно, всего только в каких-нибудь привычках своих, в новых предрассудках, в новом костюме, — вот эти-то всегда и начинают именно с того, что презирают прежнюю среду свою, свой народ и даже веру его, иногда даже до ненависти» (*ДП*, 1876, апрель, гл. 1, § IV).

Стр. 205. *В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему...* — Наполеон I не был отцом Наполеона III, о котором говорит Смердяков. Наполеон III был сыном брата Наполеона I — Людовика Бонапарта, короля Голландии.

Стр. 205. *...могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке.* — Петровка — улица в центре Москвы.

Стр. 209. *...припал к этому кубку ∾ Впрочем, к тридцати годам, наверно, брошу кубок, хоть и не допью всего, и отойду... не знаю куда.* — Возможно, этот образ навеян стихами А. И. Полежаева, в которых поэт говорит о неизбежности для себя преждевременной смерти («Чахотка», 1837):

Ужель, ужель, — он мыслит грустно, —
Я подвиг жизни совершил
И юных дней финал безвкусный,
Но долго памятный, разбил!

(А. И. Полежаев. Полное собрание стихотворений. Л., 1939, стр. 327).

Стр. 210. *...клейкие, распускающиеся весной листочки...* — Завуалированная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Еще дуют холодные ветры...» (1828):

... Скоро ль у кудрявой у березы
Распустятся клейкие листочки,
Зацветет черемуха душиста.

Стр. 210. *...поеду лишь на кладбище ∾ паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними...* — Близким было отношение Герцена к Европе в период его духовного кризиса, после поражения революции 1848 г. В статье «Еще вариация на старую тему (Письмо к...)» Герцен говорил о том, что движения пока следует скорее ждать в Америке, в Австралии, и лишь позднее — в Европе: «Может быть, сама Европа переработается, встанет, возьмет одр свой и пойдет по своей святой земле, под которой лежат столько мучеников и на которую пало столько поту и столько крови» («Полярная звезда на 1857 г.», стр. 302).

Стр. 210. *Дорогие там лежат покойники...* — Возможно, что эти слова восходят к стихотворению А. А. Фета «Не первый год у этих мест...»:

Еще колеблясь и дыша
Над дорогими мертвецами,
Стремлюсь, куда-то вдаль спеша...

Стихотворение Фета впервые опубликовано: *РВ*, 1864, № 3, стр. 138.

Стр. 211. *...сохранить «оттенок благородства»...* — Неточная цитата из эпиграммы Пушкина «Сказали раз царю, что наконец...» (1825):

Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства.

Стр. 211. *Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию? ∾ Каинов ответ богу об убитом брате, а?* — По библейскому сказанию, Каин, сын Адама и Евы, убил своего брата Авеля из ревности и зависти к нему. «И сказал господь ⟨...⟩ Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?» (Бытие, гл. 4, ст. 9). Ср. со словами Смердякова Алеше (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 206).

Стр. 213. — *«Како веруеши...* — Вопрос из чина архиерейского посвящения, в ответ на который посвящаемый читает Символ веры — краткую формулу христианского вероучения.

Стр. 213. — *Ну говори же, с чего начинать, приказывай сам, — с бога? Существует ли бог, что ли?* ∾ *Ведь ты вчера у отца провозгласил, что нет бога...* И далее: — *Я вчера за обедом у старика тебя этим нарочно дразнил* ∾ *Ну, представь же себе, может быть, и я принимаю бога, — засмеялся Иван...* — Ср. со словами Франца Моора пастору Мозеру в «Разбойниках» Шиллера: «Я часто, насмехаясь, говорил тебе за бокалом бургонского: „Нет бога!" Теперь я без шуток говорю с тобою и повторяю: „Нет бога!" Опровергай меня теперь всеми орудиями, какие имеешь в своей власти, — и я их рассею одним дуновением уст моих» (действие 5, сцена 1; см.: Шиллер. Драматические сочинения в переводах русских писателей, т. III, стр. 151).

Стр. 213—214. *...был один старый грешник в восемнадцатом столетии, который изрек, что если бы не было бога, то следовало бы его выдумать, s'il n'existait pas Dieu il faudrait l'inventer.* — Имеется в виду Вольтер. Фраза, цитируемая Иваном, встречается у Вольтера в «Посланиях», CXI, «Автору новой книги о трех самозванцах» (1769).

Стр. 214. *...современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез...* — Аналогичные упреки по адресу русской атеистической и революционной мысли неоднократно в разной форме высказывались самим Достоевским. В «Дневнике писателя» за 1876 г. (май, гл. 1, § III) он писал: «То-то и есть, что у нас ни в чем нет мерки. На Западе Дарвинова теория — гениальная гипотеза, а у нас давно уже аксиома».

Стр. 214. *...находились и находятся даже и теперь геометры и философы* ∾ *которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее — всё бытие было создано лишь по эвклидовой геометрии...* — Одна из аксиом геометрии Эвклида (IV—III вв. до н. э.) заключается в том, что параллельные линии, как бы они ни были продолжены, никогда не пересекаются, даже в бесконечности. Русский математик Н. И. Лобачевский (1792—1856) создал новую систему геометрии, заменив аксиому Эвклида о параллельных линиях противоположной. Основные положения новой геометрии Лобачевский сформулировал в 1826 г., опубликовав в конце 1820-х и в 1830-е годы ряд работ на эту тему. Однако всеобщее признание и широкое распространение неэвклидова геометрия получила уже после смерти ее автора, в конце 60-х годов прошлого века. Достоевский был знаком с основными принципами геометрии Н. И. Лобачевского, по-видимому, еще в Инженерном училище. Ср. стр. 473.

Стр. 214. *...верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое само «бе к богу» и которое есть само бог...* — Ср.: «Вначале было Слово, и Слово было у бога, и Слово было бог. Оно было вначале у бога» и т. д. (Евангелие от Иоанна, гл. 1, ст. 1—2).

Стр. 215. *Я читал вот как-то и где-то про «Иоанна Милостивого»...* — Иоанн Милостивый (VI—VII вв.) — патриарх Александрийский (его память отмечается церковью 12 ноября ст. ст.). Как установил Л. П. Гроссман, эпизод, рассказанный Иваном, почерпнут из «Легенды о св. Юлиане Милостивом» Г. Флобера («La légende de Saint Julien l'Hospitalier», 1876). В переводе И. С. Тургенева она появилась в «Вестнике Европы» (1877, № 4) под названием «Католическая легенда о Юлиане Милостивом». В заключительной части легенды повествуется о прокаженном, которого кормит, поит и согревает своим телом Юлиан «ртом ко рту, грудью к груди» (*Тургенев, Сочинения*, т. XIII, стр. 250). Называя вместо Юлиана имя Иоанн, Иван побуждает читателя сопоставить некоторые факты из жития Юлиана с событиями, разыгрывающимися в романе в дальнейшем: самый страшный грех, который совершает святой и который всю жизнь потом старается искупить, был грех отцеубийства.

Стр. 215. *...из-за натащенной на себя эпитимии.* — Эпитимия (греч. ἐπιθυμία) — церковное наказание.

Стр. 216. *...они съели яблоко и познали добро и зло и стали «яко бози».* — В библейском рассказе о грехопадении первых людей Адам и Ева вкусили плодов от древа познания добра и зла вопреки воле бога и по наущению дьявола: «...в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы бу-

дете как боги, знающие добро и зло» (Бытие, гл. 3, ст. 5). За ослушание они были изгнаны из рая.

Стр. 216. *Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко...* — Иван возмущен учением церкви, согласно которому дети страдают в силу общей человеческой греховности (в наказание за первородный грех). А. С. Хомяков, сочинения которого Достоевскому были хорошо известны, писал: «Человек каждый, должник греха, по необходимости должник страдания и, следовательно, страдает вследствие, но не в меру своей доли нравственной нечистоты»; «...если бы человек был безгрешен, бог бы не мог его посещать страданием или смертью» (А. С. Хомяков. Полное собрание сочинений, т. 2. Изд. 2-е. М., 1880, стр. 331, 335, письмо к И. С. Аксакову).

Стр. 217. *...турки и черкесы там у них, в Болгарии, повсеместно злодействуют...* — В 1875—1876 гг. болгарское национально-освободительное движение приобретает самый широкий размах и вызывает беспримерную по жестокости расправу турок с населением страны. Достоевский неоднократно писал об этом (и о восточном вопросе в целом) в «Дневнике писателя». См.: И. Л. Волгин. Нравственные основы публицистики Достоевского (Восточный вопрос в «Дневнике писателя»). «Известия АН СССР», серия литературы и языка, 1971, т. XXX, вып. 4, стр. 312—324.

Стр. 217. *...выражаются иногда про «зверскую» жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек...* — Ср. со словами Герцена, сказанными в связи с сообщениями о зверствах помещиков: «Что за скоты, что за дикие звери живут в захолустьях ⟨...⟩ Впрочем, что мы обижаем зверей? Таких зверей нет — такие есть только русские помещики, которым редакторы-освободители оставили черкасскую розгу в руках» («Колокол», 1860, № 68—69, «Смесь»). Эта мысль также перекликается с «Песнью о колоколе» («Das Lied von der Glocke», 1799; см.: Шиллер. Полное собрание сочинений в переводе русских писателей, т. I, стр. 91).

Стр. 217. — *А ты удивительно как умеешь оборачивать словечки, как говорит Полоний в «Гамлете»...* — Ср. слова Полония Офелии («Гамлет», действие 1, сцена 3). В переводе А. Кронеберга они звучат так:

А Гамлету ты можешь верить вот как ⟨...⟩
Не верь его словам: они обманут;
Они не то, чем кажутся снаружи.
Ходатаи преступных наслаждений,
Они звучат, как набожных обеты,
Чтоб легче обольстить.

(Шекспир. Полное собрание драматических произведений в переводе русских писателей, т. II. Изд. Н. А. Некрасова и Н. В. Гербеля. СПб., 1866, стр. 17). Иное толкование и соотнесение см. в кн.: R. E. Matlow. The Brothers Karamazov. Novelistic Technique. 's-Gravenhage, 1957, p. 7—8.

Стр. 218. *Хорош же твой бог, коль его создал человек по образу своему и подобию.* — Ср. слова Герцена в связи с рассказом о злодействах помещицы Власовой, три дня избивавшей старую женщину, в результате чего та повесилась: «Хорош же ваш бог, если он установил крепостное право с пытками, убийствами и безнаказанностью» («Колокол», 1859, № 50, «Смесь»).

Стр. 218. *Знаешь, у нас больше битье, больше розга и плеть, и это национально ∽ это нечто уже наше и не может быть у нас отнято.* — Указами императрицы Елизаветы Петровны 1753 и 1754 гг. смертная казнь была отменена. Тем не менее практически она продолжала существовать в России и позднее из-за дозволенного наказания кнутом, плетью и шпицрутенами. Это наказание битьем поражало иностранцев. А. де Кюстин в книге «Россия в 1839 году» (1843) пишет: «Смертная казнь не существует в России, за исключением случаев государственной измены. Однако некоторых преступников нужно отправить на тот свет. В таких случаях, для того чтобы согласовать мягкость законов

с жестокостью нравов, поступают следующим образом: когда преступника приговаривают более чем к ста ударам кнута, палач, понимая, что означает такой приговор, из чувства человеколюбия убивает приговоренного третьим или четвертым ударом. Но смертная казнь отменена. Разве обманывать подобным образом закон не хуже, чем открыто провозгласить самую безудержную тиранию?» (Д е К ю с т и н. Николаевская Россия. М., 1930, стр. 138). В стихотворении А. И. Полежаева «Четыре нации» (1827), неоднократно напечатанном в русских заграничных изданиях, поэт говорит:

В России чтут
Царя и кнут;
В ней царь с кнутом,
Как поп с крестом...

(А. И. П о л е ж а е в. Полное собрание стихотворений, стр. 78—79). См. также: Кнут. (Подражание «Ветке Палестины» Лермонтова). В кн.: Русская потаенная литература XIX столетия, отд. 1, ч. 1. С предисл. Н. Огарева. Лондон, 1861, стр. 358—361.

С т р. 218. *...со времени религиозного движения в нашем высшем обществе.* — Такое «движение» действительно наблюдалось уже в 70-х годах прошлого века. В связи с публичными лекциями Вл. С. Соловьева, которые неизменно привлекали многочисленную публику и которые слушал Достоевский (см.: *Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 319—320, а также письмо Достоевского Н. П. Петерсону от 24 марта 1878 г.), корреспондент «Голоса» писал: «Мы твердо убеждены, что не одно пустое любопытство привлекает толпы светских людей в аудиторию Соляного городка на лекции по вопросам религии, но также и живая потребность проводить хоть изредка время в размышлениях о предметах, глубоко затрагивающих сознание современного человека» («Голос», 1878, 12 февраля, № 43).

С т р. 218. *Есть у меня одна прелестная брошюрка, перевод с французского...* — Этой брошюры разыскать не удалось.

С т р. 219. *У Некрасова есть стихи о том, как мужик сечет лошадь кнутом по глазам, «по кротким глазам».* — Имеется в виду стихотворение Некрасова «До сумерек» из цикла «О погоде. Уличные впечатления» (1859), где говорится о мужике-погонщике, который жестоко бьет свою еле живую лошадь:

Он опять по спине, по бокам,
И вперед забежав, по лопаткам
И по плачущим, кротким глазам!

Стихотворение Некрасова оставило в душе Достоевского самый глубокий след, отозвавшись некоторыми мотивами еще в «Преступлении и наказании» (см.: наст. изд., т. VI, стр. 46—49).

А. Г. Достоевская рассказывает, что весной 1880 г. в зале Благородного собрания Достоевский читал в пользу Педагогических курсов именно этот отрывок — «Сон Раскольникова о загнанной лошади». «Впечатление было подавляющее, и я сама видела, как люди сидели, бледные от ужаса, а иные плакали. Я сама не могла удержаться от слез» (*Достоевская, А. Г. Воспоминания*, стр. 351). В «Дневнике писателя» за 1876 г. (январь, гл. 3, § 1) Достоевский тоже вспоминает стихотворение Некрасова. Он говорит о том, что русские дети воспитываются, встречая отвратительные картины: «Они видят, как мужик, наложив непомерно воз, сечет свою завязшую в грязи клячу, его кормилицу, кнутом по глазам...» Такие картины, пишет далее Достоевский, «зверят человека и действуют развратительно, особенно на детей». См. также: наст. изд., т. VII, стр. 368—369.

С т р. 219. *И вот интеллигентный образованный господин и его дама секут собственную дочку, младенца семи лет, розгами...* — Имеется в виду дело С. Л. Кронеберга (Кроненберга), по поводу которого Достоевский выступил в «Дневнике писателя» за 1876 г. (февраль, гл. 2). Некоторые детали процесса, слова и выражения, воспроизведенные и сказанные Достоевским в «Дневнике писателя», повторены здесь Иваном.

С т р. 220. *Нанимается адвокат.* — В деле Кронеберга адвокатом был В. Д. Спасович (1829—1906). Достоевский дает развернутый анализ его речи в том же февральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (гл. 2).

С т р. 220. *Девчоночку маленькую, пятилетнюю, возненавидели отец и мать...* — В письме к Н. А. Любимову от 10 мая 1879 г. Достоевский говорит о «текущем уголовном процессе», кратко напоминая своему корреспонденту: «...всего 2 месяца назад, Мекленбург, мать, „Голос"». Как указано Л. П. Гроссманом (см.: *Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 280), с 20 марта 1879 г. в «Голосе» публиковались отчеты из Харькова по делу иностранцев, Евгении и Александра Брунст, обвинявшихся в истязании своей пятилетней дочери (см.: «Голос», 1879, №№ 79, 80, 82). Корреспондент «Голоса» так передает заключение обвинительного акта, прочитанного в зале Харьковского окружного суда: «...обвиняются: *во-первых,* жена мекленбург-шверинского подданного Евгения Густавова Брунст, 30-ти лет, в том, что в течение времени с августа 1876 года по май 1878 года неоднократно наносила своей пятилетней дочери Эмилии побои руками, ремнем с железною пряжкою, палкою и т. п.; толкала ее лицом в испражнения; давала ей в недостаточном количестве пищу; все это время содержала ее в нечистоте и крайней неопрятности; заставляла ее спать одну и в пустой комнате, причем постелью для ребенка служил ящик, в котором, вследствие нечистоты, завелись клопы, и, *во-вторых,* мекленбург-шверинский подданный Александр Иванов Брунст, 35-ти лет, в том, что, проживая в одном доме с своею женою Евгенией и имея возможность предупредить вышеописанные деяния своей жены, тем не менее заведомо допустил ее к совершению таковых, т. е. преступлении, предусмотренном 14-ю, 1, 489-ю и 1, 492-ю ст. улож. о нак.» (Мекленбург-шверинская мать. «Голос», 1879, 20 марта, № 79). Соглашаясь с адвокатом, что подобные преступления совершаются не только иностранцами, корреспондент «Голоса» припоминает и описывает подобный факт истязания пятилетней девочки ее родителями, полковником Сангайло и его женой (см.: «Голос», 1879, 23 марта, № 82).

С т р. 221. *...в «Архиве», в «Старине», что ли...* — Имеются в виду журналы: «Русский архив» (1863—1917) — историко-литературный сборник, затем ежемесячный журнал, издаваемый при Чертковской библиотеке до 1912 г. под редакцией П. И. Бартенева; «Русская старина» (1870—1918) — ежемесячное издание, выходившее под редакцией М. И. Семевского и др. В библиотеке Достоевского имелись комплекты этого журнала за 1876, 1877 и 1878 гг. (см.: *Гроссман, Семинарий,* стр. 49). И в «Русском архиве», и в «Русской старине» печатались материалы по истории России преимущественно XVIII—XIX вв. Как выяснил Л. П. Гроссман, рассказ о мальчике, затравленном собаками, был помещен в «Русском вестнике» в «Воспоминаниях крепостного»: «...У другого помещика один крестьянский мальчик зашиб по глупости камешком ногу борзой собаки из барской своры. Барин заметил это, и окружающие были принуждены назвать виновника. На следующий день барин назначил охоту. Привели на место охоты мальчика. Приказано раздеть и бежать ему нагому, а вслед за ним со всех свор пустили вдогонку собак, значит, травить его. Только борзые добегут до мальчика, понюхают и не трогают... Подоспела мать, леском обежала и ухватила свое детище в охапку. Ее оттащили в деревню и опять пустили собак! Мать помешалась, на третий день умерла» (*РВ,* 1877, № 9, стр. 43—44) (см.: *Гроссман, Последний роман,* стр. 36). Аналогичный рассказ («По части помещичьего человеколюбия») приведен в «Колоколе», 1860, № 74, «Смесь».

С т р. 221. *...и да здравствует освободитель народа!* — Имеется в виду Александр II «Освободитель», получивший это официальное имя за отмену крепостного права (1861).

С т р. 221. *Ай да схимник!* — Схимник — человек, принявший схиму (греч. σχῆμα — образ, вид), т. е. высшую монашескую степень, требующую выполнения особенно строгих правил. Алеша не схимник, он даже не монах.

С т р. 222. *Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси...* — Здесь объединены два сюжета: библейский — о грехопадении первых людей, в результате чего они утратили

рай, и античный — о титане Прометее, похитившем с неба божественный огонь и отдавшем его людям, за что Зевс наказал и Прометея, и людей. О Прометее у Достоевского см.: Л. П. Гроссман. Достоевский — художник, стр. 337.

Стр. 222. *Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его.* — В библейской книге пророка Исайи говорится о времени, когда «волк будет жить вместе с ягненком и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок и молодой лев и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их» и т. д. (Книга пророка Исайи, гл. 11, ст. 6; ср.: гл. 65, ст. 25).

Стр. 222. *...если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети ∾ но не с детками же солидарность в грехе...* — Эти слова перекликаются с одним из рассуждений Б. Паскаля: «...разве не противно правилам нашей жалкой справедливости — осудить навеки дитя, лишенное еще воли, за грех, в котором оно принимало столь мало участия, что родилось на свет спустя шесть тысяч лет с тех пор, как грех был совершен? Несомненно, ничто нас так жестоко не задевает, как это учение...» (Б. Паскаль. Мысли (о религии), стр. 115—116).

Стр. 223. *«Прав ты, господи, ибо открылись пути твои!»* — Свободное сочетание разных стихов Апокалипсиса: «...велики и чудны дела твои, господи боже вседержитель! Праведны и истинны пути твои, царь святых! Кто не убоится тебя, господи, и не прославит имени твоего? Ибо ты един свят: все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои» (Откровение Иоанна, гл. 15, ст. 3—4; см.: там же, гл. 16, ст. 7; гл. 19, ст. 1—2; а также: Псалтырь, псалом 118, ст. 137).

Стр. 223. *...свой билет на вход спешу возвратить обратно ∾ Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю.* — Последние слова Ивана — намек на стихотворение Ф. Шиллера «Резиньяция» («Resignation», 1784). В переводе Г. Данилевского соответствующие строки звучат так:

Моя весна прошла;
Безмолвный бог, о, плачьте! преклоняет, —
Безмолвный бог мой светоч погашает,
И греза отошла.
Я пред тобой, о, вечности равенство! —
У полных тайны врат...
Возьми свою расписку на блаженство:
Она цела — не знал я совершенства;
Возьми ее назад.

(Шиллер. Полное собрание сочинений в переводе русских писателей, т. I, стр. 35). Ср. также стр. 462.

Стр. 223—224. *...представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой ∾ Нет, не могу допустить.* — Сходную мысль Достоевский высказывает в речи о Пушкине (*ДП*, 1880).

Стр. 225. *В «Notre Dame de Paris» у Виктора Гюго ∾ свой bon jugement.* — В начале романа «Собор Парижской богоматери» (1831), опубликованном в русском переводе в журнале «Время», 1862, № 9 и сл., описывается народный праздник в Париже XV в., на котором дается представление «тайного действа» (mystère) о «милосердном суде» девы Марии.

Стр. 225. *...в честь рождения французского дофина...* — Как было отмечено уже Л. П. Гроссманом, Иван неточен. В «Соборе Парижской богоматери» говорится не о дне рождения дофина (наследника престола), а о приезде фламандских посланников, желавших устроить брак между дофином и Маргаритой Фландрской (см.: *1956*, т. X, стр. 500).

Стр. 225. *...при Людовике XI...* — Людовик XI — король Франции с 1461 по 1483 г.

Стр. 225. *«Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie».* — В переводе «Собора Парижской богоматери», напечатанном в журнале «Время», это название отсутствует.

С т р. 225. *...кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и «стихов»...* — Имеются в виду апокрифы и народные духовные стихи, разрабатывающие темы либо тех же апокрифов, либо вполне канонических житий и других церковных текстов. В середине прошлого века в связи с усилившимся интересом к народу, его мировоззрению и творчеству, появилась огромная литература по этому предмету. Печатались и научные исследования, и материалы.

С т р. 225. *Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого): «Хождение богородицы по мукам», с картинами и со смелостью не ниже дантовских.* — «Хождение богородицы по мукам» — одно из популярных апокрифических сказаний византийского происхождения, чрезвычайно рано проникшее на Русь. К моменту работы Достоевского над «Братьями Карамазовыми» было несколько публикаций этого апокрифа: *ОЗ*, 1857, № 11; Памятники старинной русской литературы, издаваемые Гр. Кушелевым-Безбородко. Вып. 3. Ложные и отреченные книги русской старины, собранные А. Н. Пыпиным. СПб., 1862; Н. Т и х о н р а в о в. Памятники отреченной русской литературы, т. II. М., 1863; Известия по Отделению русского языка и словесности Академии наук, т. X. СПб., 1861—1863; И. С р е з н е в с к и й. Древние памятники русского письма и языка (X—XIV веков). СПб., 1863. См. подробнее о каждой из этих публикаций и о знакомстве Достоевского с «Хождением»: В. Е. В е т л о в с к а я. Достоевский и поэтический мир Древней Руси. *ТОДРЛ*, т. XXVIII, стр. 298—300. Ср.: В. В. К у с к о в. Мотивы древнерусской литературы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». «Вестник МГУ», серия X, филология, 1971, № 5, стр. 22—28.

С т р. 225. *Там есть, между прочим, один презанимательный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, то «тех уже забывает бог» — выражение чрезвычайной глубины и силы.* — Кроме журнальной публикации А. Н. Пыпина в «Отечественных записках» (см. выше), все остальные упоминают о грешниках, мучающихся в огненной реке (не озере), где тьма и скрежет зубов. Далее Иван приводит слова сказания: «И рече Михаилъ к богородицы: „аще ся кто затворитъ во тмѣ сей, нѣсть памяти о немъ от бога“» (см.: Памятники старинной русской литературы, издаваемые Гр. Кушелевым-Безбородко, вып. 3, стр. 122).

С т р. 225. *...пророк его написал: «Се гряду скоро».* — См.: Откровение Иоанна, гл. 3, ст. 11; гл. 22, ст. 7, 12, 20.

С т р. 225. *«О дне же сем и часе не знает даже и сын, токмо лишь отец мой небесный».* — Ср.: «О дне же том или часе никто не знает: ни ангелы небесные, ни сын, но только отец» (Евангелие от Марка, гл. 13, ст. 32). См. также: Евангелие от Матфея, гл. 24, ст. 36.

С т р. 225.

Верь тому, что сердце скажет,
Нет залогов от небес

— цитата из заключительной строфы стихотворения Шиллера «Желание» («Sehnsucht», 1801) в переводе В. А. Жуковского (см.: Ш и л л е р. Полное собрание сочинений в переводе русских писателей, т. I, стр. 46). По-видимому, название этого стихотворения Шиллера («Sehnsucht») Достоевский мельком упоминает в «Дневнике писателя» за 1873 г. (VIII, Полписьма «одного лица»).

С т р. 226. *Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь.* — Имеется в виду Реформация, широкое антифеодальное движение, принявшее форму борьбы с католической церковью и в XVI в. охватившее большинство стран Западной Европы. В Германии, где в силу исторических причин и обстоятельств католическая церковь сделалась объектом особой ненависти, реформационная борьба протекала чрезвычайно остро. Достоевский вслед за славянофилами рассматривал Реформацию как прямое (хотя и отрицательное) развитие католицизма: «...Лютеров протестантизм уже факт: вера эта есть протестующая и лишь *отрицательная*, и чуть исчезнет

с земли католичество, исчезнет за ним вслед и протестантство наверно, потому что не против чего будет протестовать, обратится в прямой атеизм и тем кончится» (*ДП*, 1877, январь, гл. 1, § I).

Стр. 226. *Огромная звезда, «подобная светильнику» (то есть церкви) «пала на источники вод, и стали они горьки».* — Неточная цитата из Апокалипсиса (см.: Откровение Иоанна, гл. 8, ст. 10—11). Этот же апокалиптический образ был использован Достоевским в романе «Идиот», в речи Лебедева (1868; см.: наст. изд., т. VIII, стр. 254).

Стр. 226. *И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: «Бо господи явися нам»...* — Искаженный 27 стих 117 псалма: «Богъ — господь, и явися намъ...»; поется в церкви во время литургии, основной церковной службы, часто цитируется в христианских текстах. «Явися» в данном случае не повелительное наклонение (как это выходит в контексте речи Ивана), а форма прошедшего времени, и вся фраза переводится: «Бог — господь, и явился нам». Слово «бо» (ибо) вместе со звательным падежом «господи» лишает фразу всякого смысла. Возможно, что ошибка Ивана служит средством характеристики этого героя, указывая на нетвердое знание того, что Иван в своей речи опровергает. В черновиках романа встречаем характерную запись: «Важнейшее. *Помещик* ⟨в окончательном тексте Федор Павлович Карамазов, — *Ред.*⟩ цитует из Евангелия и грубо ошибается. *Миусов* поправляет его и ошибается еще грубее. Даже Ученый ⟨т. е. Иван, — *Ред.*⟩ ошибается. Никто Евангелия не знает» (стр. 206). В данном случае Иван ошибается не в Евангелии, а в Псалтыри — одной из важнейших книг Ветхого завета.

Стр. 226. *Удрученный ношей крестной...* — заключительная строфа стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855). Эти же стихи Достоевский, говоря о России, цитирует в заключительной части речи о Пушкине (*ДП*, 1880). См. также: *ДП*, 1876, июль—август, гл. 4, § 5; наст. изд., т. IX, стр. 306.

Стр. 226. *...в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции...* — Инквизиция (от лат. inquisitio — расследование) — институт римско-католической церкви, цель которого — розыск, суд и наказание еретиков. Особой жестокостью прославилась испанская инквизиция, возникшая в XIII в. и усилившаяся в конце XV в. благодаря деятельности доминиканца Торквемады (Torquemada, 1420—1498), первого «великого инквизитора». В 1480 г. в Севилье был учрежден инквизиционный трибунал, и с этих пор тысячи людей были осуждены и сожжены на костре. Деятельность испанской инквизиции служила образцом для инквизиторов других католических государств. С деятельностью испанской инквизиции Достоевский был знаком, в частности, по книге В. Прескотта «История царствования Филиппа второго, короля испанского», тт. I—II. Перевод с англ. СПб., 1858 (книга имелась в библиотеке Достоевского — см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 38). Д. Н. Любимов (1864—1942) в своих воспоминаниях пишет, что все, что говорит в дальнейшем Великий инквизитор, первоначально «могло быть отнесено вообще к христианству» и только после вмешательства М. Н. Каткова Достоевский якобы внес изменения, чтобы «не было сомнения, что дело идет исключительно о католичестве» (*Достоевский в воспоминаниях*, т. II, стр. 371). Свидетельство Д. Н. Любимова сомнительно: оно не подтверждается ни черновыми автографами главы «Великий инквизитор», ни письмами Достоевского.

Стр. 226.

В великолепных автодафе
Сжигали злых еретиков

— несколько переиначенные строки из поэмы А. И. Полежаева «Кориолан» (написана в 1834 г., полностью опубликована в 1857 г.; см.: А. И. Полежаев. Полное собрание стихотворений, стр. 247—248). См.: В. Безъязычный. Кого цитирует Иван Карамазов. «Огонек», 1969, № 20, стр. 7.

Стр. 226. *О, это, конечно, было не то сошествие ⟨...⟩ «как молния, блистающая от востока до запада».* — В Евангелии, объясняя ученикам, каким будет его второе пришествие, Христос говорит: «...ибо,

как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие сына человеческого» (Евангелие от Матфея, гл. 24, ст. 27; от Луки, гл. 17, ст. 24).

С т р. 226. *...всего лишь накануне* ∽ *была сожжена кардиналом великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков...* — В 1881 г., готовя ответ К. Д. Кавелину (1818—1885) на его «Письмо Ф. М. Достоевскому» (*ВЕ*, 1880, № 11), Достоевский замечает в записной тетради: «Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это лишь *честность* (русский язык богат), но не нравственность. Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос. Спрашиваю: сжег ли бы он еретиков — нет. Ну так, значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный ⟨...⟩ Инквизитор уж тем одним безнравствен, что в сердце его, в совести его могла ужиться идея о необходимости сожигать людей. Орсини тоже. Конрад Валленрод тоже».

С т р. 226. *...ad majorem gloriam Dei.* — Девиз ордена иезуитов (от лат. Jesus — Иисус), учрежденного в XVI в. испанцем Игнатием Лойолой (1491—1556). Первоначальная цель ордена заключалась в подавлении Реформации и защите католической церкви от каких бы то ни было нападок на нее. Иезуиты пользовались чрезвычайными привилегиями и руководствовались в своей деятельности такими нравственными принципами, которые допускали любое преступление, если оно было выгодно ордену или католической церкви. См. также: наст. изд., т. XII, стр. 340.

С т р. 227. *Солнце любви горит в его сердце* ∽ *Он простирает к ним руки...* — По предположению В. Л. Комаровича, эти строки романа перекликаются со стихотворением Г. Гейне «Мир» («Frieden») из первого цикла «Северное море» («Die Nordsee», 1826), которое на русский язык впервые полностью было переведено М. В. Праховым для литературного сборника «Гражданин» 1872 г. и отразилось в рассказе Версилова о «видении Христа на Балтийском море» в романе «Подросток» (1875; см.: наст. изд., т. XIII, стр. 379). См. об этом: В. К о м а р о в и ч. Достоевский и Гейне. «Современный мир», 1916, № 10, ч. II, стр. 100, 103—104.

С т р. 227. *...и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила.* — В книгах Нового завета рассказывается об исцелении больных прикосновением к одежде Христа (см., например: Евангелие от Матфея, гл. 9, ст. 20—22; от Марка, гл. 5, ст. 25—34; от Луки, гл. 8, ст. 43—48).

С т р. 227. *Народ плачет* ∽ *Дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему: «Осанна!»* — Картина встречи Христа народом, как она здесь нарисована, опирается на евангельские тексты (см.: Евангелие от Матфея, гл. 21, ст. 8—9; от Марка, гл. 11, ст. 8—10; от Иоанна, гл. 12, ст. 12—13). О детях, встречающих Христа ликованием, вскользь упоминается в Евангелии от Матфея (гл. 21, ст. 15—16). Но Достоевский мог иметь в виду и апокрифические тексты. В апокрифе, приписываемом ученику Христа — Никодиму, говорится: «...видѣхъ Иисуса, сѣдяща на жребяти осли, и дѣтии еврейскихъ множество, зовуще и глаголюще: „спаси насъ еже въ вышнихъ"; овии вѣтвие отъ финика держаху въ рукахъ, предхождаху; овииж ризы своя постилаху ему по пути, зовущи: „въ вышнихъ благословенъ грядый во имя господне". Рѣша же нудеи къ курсуру, глаголюще: „дѣти убо еврейскиа еврейскимъ языкомъ глаголюще, ты же, грекъ сый, како увѣда, что глаголаху?" Глагола курсуръ: „азъ вопросихъ единаго отъ иудей, что есть, еже глаголютъ дѣти жидовьскиа, — онъ ми сказа". Глагола имъ Пилатъ: „что глаголютъ: осанна?" И рѣша ему: „спаси насъ"» (Памятники старинной русской литературы, издаваемые Гр. Кушелевым-Безбородко, вып. 3, стр. 92). О ликовании детей, встречающих Христа, пишет и Э. Ренан (Renan, 1823—1892) в книге «Жизнь Иисуса» («Vie de Jésus»), впервые опубликованной в 1863 г. и позднее переработанной и сокращенной (гл. X). Об отношении Достоевского к этой книге см.: наст. изд., т. IX, стр. 396—399.

С т р. 227. *...уста его тихо и еще раз произносят: «Талифа куми» — «и восста девица».* — Имеется в виду евангельский рассказ о воскрешении де-

вочки: «...он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И взяв девицу за руку, говорит ей: талифа куми, что значит: девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить...» (Евангелие от Марка, гл. 5, ст. 40—42; от Луки, гл. 8, ст. 52—55; от Матфея, гл. 9, ст. 23—25). Этот же евангельский эпизод Достоевский упоминает в черновых материалах к роману «Преступление и наказание» (см.: наст. изд., т. VII, стр. 91) и в романе «Идиот» (см.: наст. изд., т. VIII, стр. 339).

Стр. 227. *Он простирает перст свой и велит стражам взять его.* — См. также: наст. том, стр. 464. Одним из источников изображенной здесь ситуации могло быть рассуждение Ф.-М. Клингера (Klinger, 1752—1831), немецкого писателя, жившего в России, представителя литературного движения «Буря и натиск», наименование которого восходит к его же драме: «Если бы он ⟨Христос, — *Ред.*⟩ теперь пришел и стал бы в Риме проповедовать свою религию, в том чистом духе и смысле, как он проповедовал ее когда-то, инквизиция быстро схватила бы его как еретика и заключила бы в Энгельсбург, если б только она не сделала чего-нибудь похуже, чтобы как можно скорее предупредить ужасное нечестие» (см. в кн.: F.-M. Klinger. Betrachtungen und Gedanken. Berlin, 1958, S. 384).

Стр. 227. *...настает темная, горячая и «бездыханная» севильская ночь. Воздух «лавром и лимоном пахнет».* — Измененная цитата из трагедии А. С. Пушкина «Каменный гость» (1826—1830; сцена 2):

Приди — открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух — ночь лимоном
И лавром пахнет...

Стр. 229. *Не ты ли так часто тогда говорил: «Хочу сделать вас свободными».* — В Евангелии Христос говорит уверовавшим в него иудеям: «...если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» и т. д. (Евангелие от Иоанна, гл. 8, ст. 31—36; ср.: от Луки, гл. 4, ст. 18).

Стр. 229. *...уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать...* — Великий инквизитор напоминает слова Христа, сказанные одному из апостолов: «...я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи царства небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Евангелие от Матфея, гл. 16, ст. 18—19; см. там же: гл. 18, ст. 18; от Иоанна, гл. 20, ст. 21—23).

Стр. 229. *...великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы «искушал» тебя.* — Имеется в виду евангельский рассказ об искушении Христа дьяволом (Евангелие от Матфея, гл. 4, ст. 1—11; от Луки, гл. 4, ст. 1—13). См.: наст. изд., т. XII, стр. 347.

Стр. 230 *...ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!* — Сходная мысль впервые встречается у Достоевского в повести «Хозяйка» (1846; см.: наст. изд., т. I, стр. 317, а также: наст. том, стр. 402).

Стр. 230. *«Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!»* — В Апокалипсисе говорится о звере, долженствующем явиться людям перед концом мира, и они «поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?» (Откровение Иоанна, гл. 13, ст. 4). Здесь же предсказывается появление другого зверя, который «творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю...» (там же, ст. 13).

Стр. 230. *...пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные* ∽ *которым разрушится храм твой.* — Ср. слова Герцена о Р. Оуэне (Owen, 1771—1858) в «Былом и думах»: «Это тот, один трезвый и мужественный присяжный „между пьяными" (как некогда выразился Аристотель об Анаксагоре), который осмелился произнести not guilty человечеству, not guilty преступнику» («Полярная звезда на 1861 г.», стр. 275).

Оуэн «объявил прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто, что главное препятствие к гармоническому развитию нового общежития людей — религия» (там же, стр. 283). И далее: «...является чудак, который прямо и просто говорит ⟨...⟩ что человек вовсе не преступник par le droit de naissance, что он так же мало отвечает за себя, как и другие звери, и, как они, суду не подлежит ⟨...⟩ что человек не сам творит свой характер, что стоит его поставить, со дня рождения, в такие обстоятельства, чтоб он мог быть не мошенником, так он и будет, так себе, хороший человек. А теперь общество рядом нелепостей наводит его на преступление, а люди наказывают не общественное устройство, а лицо» (там же, стр. 290—291). «Не один Оуэн в наше время, — пишет далее Герцен, — сомневался в ответственности человека за его поступки; следы этого сомнения мы найдем у Бентама и у Фурье, у Канта и у Шопенгауэра, у натуралистов и врачей и, что всего важнее, у всех, занимающихся статистикой преступлений» (там же, стр. 306). В последних словах имеются в виду А. Кеттле и его последователи (см.: наст. изд., т. VII, стр. 368).

С т р. 230—231. *...ибо к нам же ведь придут они* ∽ *«Лучше поработите нас, но накормите нас».* — Аналогичные мысли Достоевский развивал еще в 1873 г. См., например: *Гр*, 1873, № 41, стр. 1092—1093, № 42, стр. 1117—1119 («Иностранные события»).

С т р. 231. *...многочисленные, как песок морской...* — Распространенное в Библии сравнение, встречающееся и в Апокалипсисе, который часто цитирует герой (гл. 20, ст. 7).

С т р. 231. *Приняв «хлебы», ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе — это: «пред кем преклониться?»* — Ср. слова Макара Долгорукова в «Подростке»: «...невозможно и быть человеку, чтобы не преклониться; не снесет себя такой человек, да и никакой человек. И бога отвергнет — так идолу поклонится — деревянному, али златому, аль мысленному» (см.: наст. изд., т. XIII, стр. 302). Ср.: *Розанов, Легенда,* стр. 137.

С т р. 231—232. *Вот эта потребность общности преклонения* ∽ *всё равно падут пред идолами.* — Близкие мысли высказывал К. П. Победоносцев (1827—1907) в статьях «Русские листки из-за границы», печатавшихся в «Гражданине», редактируемом Достоевским. Ср., например: «Замечательно, что нет ни одного учения, в котором не обнаруживалась бы потребность религиозного обряда. Потребность религиозного чувства так сильна в человечестве, что и люди, отрицающие религию, рано или поздно склоняются к той или другой, хотя бы смутной и неопределительной, форме религиозного культа, так что в самом отрицании у них бессознательно проявляется стремление к чему-то положительному: нередко случается, что люди, стремясь к очищению отвергнутого верования и обряда, впадают в иное, сочиненное ими верование — сложнее прежнего покинутого, и принимают обряд грубее прежнего, осужденного ими за грубость. Так совершается течение в неисходном кругу: из христианства вырождается новейшее язычество, с тем чтобы снова прийти со временем к той же точке, из которой вышло. Люди, отвергнувшие бога и христианство в конце прошлого столетия, сочинили же себе богиню разума. Нет сомнения, что и атеисты нашего времени, если дождутся когда-нибудь до торжества коммуны и до совершенной отмены христианского богослужения, создадут себе какой-нибудь языческий культ, воздвигнут себе или своему идеалу какую-нибудь статую и станут чествовать ее, а других принуждать к тому же» (Русские листки из-за границы. VII. Деисты и унитарии в Лондоне. *Гр*, 1873, № 35, стр. 951; см. также стр. 465).

С т р. 232. *Вместо твердого древнего закона — свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло...* — Под твердым законом здесь понимается Ветхий завет, строго, до деталей регламентирующий жизнь древних евреев. Новый закон, закон Христа, заключается преимущественно в заповеди любви (см.: Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 43—44; гл. 22, ст. 37—40; от Марка, гл. 12, ст. 28—31; от Луки, гл. 10, ст. 25—28).

В Послании к римлянам сказанное Христом формулируется кратко: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди „не прелюбодействуй", „не убивай", „не кради", „не лжесвидетельствуй", „не пожелай чужого" и все другие заключаются в сем слове: „люби ближнего твоего, как самого себя"» (Послание к римлянам апостола Павла, гл. 13, ст. 8—9). Великий инквизитор упрекает Христа за эту неопределенность краткой заповеди любви. Ср.: наст. изд., т. XII, стр. 336—337.

Стр. 233. *...чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и бога, ибо человек ищет не столько бога, сколько чудес.* — Б. Паскаль писал о чудесах: «Чудеса важнее, чем вы думаете: они послужили основанию и послужат продолжению церкви, вплоть до антихриста, до конца мира» — и дальше, со ссылкой на св. Августина: «Я не был бы христианином, не будь чудес...» (Б. Паскаль. Мысли (о религии), стр. 213, 272). Эти известные мысли Паскаля могли послужить одним из поводов для рассуждений Достоевского.

Стр. 233. *Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им.* — Ср. со стихами Н. П. Огарева из стихотворения «1849 год», написанного в связи с поражением революции 1848 г. и опубликованного в «Полярной звезде на 1857 г.» (стр. 153):

Безропотно, как маленькие дети,
Они свободу отдали тотчас,
В смущении боясь отцовской плети,
И весь восторг, как шалость, в них погас.

Стр. 234. *Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч.* — Имеется в виду Иоанн Богослов, автор Апокалипсиса, одной из книг Нового завета. Как и другие апокалиптические сочинения, Откровение Иоанна написано в форме видения и содержит пророчества о последних днях и судьбах мира. По словам Вл. С. Соловьева, Апокалипсис Иоанна Богослова был одной из любимых книг Достоевского в последние годы жизни (см.: Вл. Соловьев. Три речи в память Достоевского, стр. 223). Об участниках первого воскресения см.: Откровение Иоанна, гл. 7, ст. 4—8.

Стр. 234. *Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовию облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения?*; см. также стр. 236: *...всякий грех будет искуплен* ∽ *возьмем на себя.* — Эти слова Инквизитора, как и другие, соотносятся с характеристикой иезуитов в «Письмах к провинциалу» (1657) Б. Паскаля. Мысль о безграничной снисходительности иезуитов к человеческой слабости повторена здесь во многих письмах: «Закон бога создавал нарушителей закона ⟨...⟩ а это учение ⟨иезуитов, — *Ред.*⟩ делает то, что все почти становятся невинными». «...Если мы терпим некоторую распущенность в других, — рассуждает иезуит в одном из писем, — то это скорее из снисхождения, чем с намерением. Мы вынуждены к этому. Люди до того теперь испорчены, что мы, не имея возможности привести их к себе, принуждены идти к ним сами ⟨...⟩ И вот, чтобы удержать их, наши казуисты и рассмотрели те пороки, к которым более всего склонны во всех положениях, для того чтобы ⟨...⟩ установить правила, настолько легкие, что надо быть чересчур требовательным, чтобы не остаться довольным ими, ведь главная задача, которую поставило себе наше общество ⟨...⟩ это не отвергать кого бы то ни было...» (Б. Паскаль. Письма к провинциалу. СПб., 1898, стр. 76—77).

Стр. 234. *Мы давно уже не с тобою, а с ним, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него* ∽ *Рим и меч кесаря...* — Имеется в виду образование теократического государства (центр — Рим), в результате чего глава католической церкви, папа римский, приобрел светскую власть (см. выше, примеч. к стр. 61).

С т р. 235. *Великие завоеватели, Тимуры и Чингис-ханы...* — Тимур (Тимурленг, Тамерлан, 1336—1405) — среднеазиатский полководец, предпринимавший опустошительные военные походы на Персию, монгольские владения, владения Золотой Орды (вплоть до Волги), Индию, Малую Азию, Китай. Чингис-хан (Темучин, ок. 1155—1227) — создатель монгольской империи, завоеватель северного Китая, Афганистана, Персии, в своих походах дошедший до Кавказа и Южной России. В библиотеке Достоевского была книга «Чингис-хан и его полчища, или Голубое знамя. Историческая повесть времен нашествия монголов». СПб., 1877 (см.: *Гроссман, Семинарий,* стр. 48). Тимур и Чингис-хан начали свою деятельность в качестве предводителей сравнительно небольших отрядов; оба добивались своих целей, не брезгуя никакими средствами, и отличались необыкновенной жестокостью.

С т р. 235. *...приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши...*— Ср.: Откровение Иоанна, гл. 13; гл. 17, ст. 3—17.

С т р. 235. *И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: «Тайна!»* — В видении Иоанна говорится о фантастической блуднице, облеченной в «порфиру и багряницу» и сидящей «на звере багряном». Она «держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (Откровение Иоанна, гл. 17, ст. 3—5). В объяснении Великого инквизитора эта фантастическая блудница замещена им и его единомышленниками, т. е. католической церковью. Ср. слова Достоевского в «Дневнике писателя» (1876, март, гл. 1, § V): «До сих пор оно ⟨речь идет о католичестве, — *Ред.*⟩ блудодействовало лишь с сильными земли и надеялось на них до последнего срока». См. также: наст. изд., т. XII, стр. 350.

С т р. 236. *...и мы всё разрешим, и они поверят решению нашему с радостию, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы...* — Ср. близкие критические рассуждения Герцена в «Былом и думах» о фурьеристах и последователях Кабе: «Готовая организация, стесняющий строй и долею казарменный порядок фаланстера, если не находят сочувствия в людях критики, то без сомнения сильно привлекают тех усталых людей, которые просят почти со слезами, чтоб истина как кормилица взяла их на руки и убаюкала ⟨...⟩ Люди вообще готовы очень часто отказаться от собственной воли, чтоб прервать колебание и нерешительность ⟨...⟩ На этом основании развилась в Америке Кабетовская обитель, коммунистический скит ⟨...⟩ Неугомонные французские работники, воспитанные двумя революциями и двумя реакциями, выбились, наконец, из сил, сомнения начали одолевать ими, испугавшись его, они обрадовались новому делу, отреклись от бесцельной свободы и покорились в Икарии такому строгому порядку и подчинению, которое, конечно, не меньше монастырского чина каких-нибудь бенедиктинцев» («Полярная звезда на 1858 г.», стр. 128—129).

С т р. 236. *Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть.* — По предположению, впервые высказанному Л. П. Гроссманом, в этих словах Великого инквизитора можно усмотреть отголоски главы «Речь мертвого Христа с вершины мироздания о том, что бога нет» из второго тома романа «Зибенкез» (Blumen-Frucht und Dornenstücke, oder Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs, 1796—1797) немецкого писателя Жана Поля Рихтера (Richter, Johann Paul Friedrich; Jean Paul — его псевдоним; 1763—1825) — см.: Jean Paul's sämmtliche Werke, Bd. XI. Berlin, 1841, S. 315—322. Здесь автор рассказывает фантастический сон. В нем Христос обращается к восставшим из гроба людям с речью, в которой он утверждает, что бога нет и что люди без бога осуждены чувствовать себя одинокими и трагически покинутыми (ср.: *Гроссман, Последний роман,* стр. 44).

С т р. 236. *Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь...* — В Евангелии и Апокалипсисе Иоанна говорится о грядущем пришествии Христа и конечной победе светлых сил над мрачными силами

зла и нечестия (см.: Евангелие от Матфея, гл. 24, ст. 30; Откровение Иоанна, гл. 12, ст. 7—11; гл. 17, ст.14; гл. 19, ст. 19—21; гл. 20, ст. 1—3). Эта же тема возникает в апокрифах о конце мира и других эсхатологических стихах и сказаниях.

Стр. 236. *Говорят, что опозорена будет блудница ∾ и обнажат ее «гадкое» тело.* — В Апокалипсисе ангел объясняет Иоанну: «...воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне...» (Откровение Иоанна, гл. 17, ст. 15—16; см. также: гл. 18; гл. 19, ст. 1—3).

Стр. 237. *Знай, что и я был в пустыне ∾ с жаждой «восполнить число».* — Ср.: «...я увидел под жертвенником души убиенных за слово божие ⟨...⟩ И возопили они громким голосом, говоря: доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число» (Откровение Иоанна, гл. 6, ст. 9—11).

Стр. 239. *...даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны в основе их ∾ должно быть едино стадо и един пастырь...* — Масоны, или франк-масоны (от франц. franc-maçon — вольный каменщик), — члены тайного союза, оформившегося в XVIII в. в Англии и затем распространившегося по всем странам. Цель масонства — нравственное усовершенствование людей, объединение их на началах братской любви и взаимопомощи. Деятельность масонов, их внутренняя иерархия и структура определены уставом, восходящим в своей основе к уставам средневековых ремесленных строительных товариществ, оберегавшим, как тайну, правила строительного искусства, числовую мистику, орнаментальную символику и т. д. Позднейшие масоны удержали для себя, переосмыслив, эти таинственные мистико-символические элементы. Некоторые масоны стремились в будущем возвести свое учение в ранг новой мировой религии и благодаря этому подчинить себе человечество. Ярыми противниками масонов были католические священники и папы. С момента возникновения союза и в дальнейшем буллы пап предавали масонов проклятию, и по мере распространения масонства глава католической церкви все чаще высказывался против него. В 1846, 1849, 1854, 1863, 1864, 1865 и 1875 гг. Пий IX обрушивался на масонов. Когда герой говорит о борьбе католической верхушки с масонами, он, по-видимому, имеет в виду слова Христа: «... всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделится сам с собою: как же устоит царство его?» (Евангелие от Матфея, гл. 12, ст. 25—26). *... едино стадо и един пастырь.* — См.: Евангелие от Иоанна, гл. 10, ст. 16.

Стр. 239. *...на «темные стогна града».* — Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Воспоминание» (1828):

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень...

Стр. 241. *Ну иди теперь к твоему Pater Seraphicus...* — По предположению исследователей (см., например: Д. И. Чижевский. Словарь личных имен у Достоевского. В кн.: *О Достоевском*, вып. II, стр. 16 (третьей пагинации); R. E. Matlow. The Brothers Karamazov. Novelistic Technique, p. 17; Л. П. Гроссман: *1956*, т. X, стр. 503), «Pater Seraphicus» восходит к заключительной сцене трагедии Гете «Фауст» (1773—1831; см.: Гете. Собрание сочинений в переводах русских писателей, т. II. «Фауст». СПб., 1878, стр. 402) (это издание имелось в библиотеке Достоевского — см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 23). Вторая часть «Фауста» Гете упоминается Достоевским в черновиках к «Братьям Карамазовым» (см. стр. 202). Следует учесть,

однако, что Pater'ом Seraphicus'ом именуют Франциска Ассизского (1181 или 1182—1226). Он, как повествует его житие, после продолжительного уединения и поста увидел серафима, который нанес ему раны, подобные крестным ранам Христа (отсюда: Seraphicus — серафический). В устах Ивана слова «Pater Seraphicus» прежде всего — выражение почтения по отношению к своему противнику, старцу Зосиме. В то же время они свидетельствуют о том, что для западника Ивана нет разницы между католицизмом и православием, как нет ее для западника Миусова или Федора Павловича Карамазова (см. выше, примеч. к стр. 10—11, 42).

Стр. 245. *...своим слугой Личардой при них состоять.* — Личарда — слуга короля Гвидона в переводной повести о Бове-Королевиче, появившейся на Руси не позже середины XVI в. и с тех пор бытовавшей и в письменной, и в устной форме. Со второй половины XVIII в. повесть стала одним из самых популярных произведений лубочной литературы и многократно переиздавалась вплоть до 1918 г. Вероятно, одно из таких изданий и читал Смердяков (см.: В. Д. Кузьмина. 1) Повесть о Бове-Королевиче в русской рукописной традиции XVII—XIX вв. В кн.: Старинная русская повесть. Статьи и исследования под ред. Н. К. Гудзия. М.—Л., 1941, стр. 83—134; 2) Рыцарский роман на Руси. Бова, Петр Златых Ключей. М., 1964, стр. 17—132). О Личарде см. также ниже, стр. 590, примеч. к стр. 59.

Стр. 259. *Чудно это, отцы и учители, что, не быв столь похож на него лицом, а лишь несколько, Алексей казался мне до того схожим с тем духовно, что много раз считал я его как бы прямо за того юношу* ⟨...⟩ *так что даже удивлялся себе самому и таковой странной мечте моей.* — «Так смотрел Федор Михайлович, — поясняет А. Г. Достоевская, — на Владимира Сергеевича Соловьева, который душевным складом своим напоминал ему Ивана Николаевича Шидловского, имевшего столь благотворное влияние на Федора Михайловича во дни его юности» (см.: *Гроссман, Семинарий,* стр. 68). См. также стр. 456, 471—473.

Стр. 260. *...родился я в далекой губернии северной, в городе В. ...* — Начало жития Зосимы перекликается с началом исповеди отца Иоанна, приведенной Парфением: «Я родом великороссиянин, из самой внутренней России. ..» (*Парфений,* ч. II, стр. 19). В экземпляре, принадлежавшем Достоевскому, на этой странице книги рисунок писателя — готические своды (экземпляр хранится в библиотеке *ИРЛИ*). Наставления Иоанна Парфению отозвались в поучениях старца Зосимы некоторыми мотивами и отдельными словами (см.: там же, стр. 5—8, 12—18, 34—35).

Стр. 263. *...в Петербург в кадетский корпус свезти...* — Кадетский корпус (от франц. cadet — младший, несовершеннолетний) — среднее учебное заведение для подготовки офицеров.

Стр. 263—264. *Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском...* — Подобное убеждение Достоевский не раз высказывал от своего лица. Например, в статью «Г.-бов и вопрос об искусстве» (1861) он вставляет рассуждение о человеке, который еще в отрочестве, «когда свежи и „новы все впечатленья бытия", взглянул раз на Аполлона Бельведерского, и бог неотразимо напечатлелся в душе его своим величавым и бесконечно-прекрасным образом ⟨...⟩ И кто знает? Когда этот юноша, лет двадцать, тридцать спустя, отозвался во время какого-нибудь великого общественного события, в котором он был великим передовым деятелем, таким-то, а не таким-то образом, то, может быть, в массе причин, заставивших его поступить так, а не этак, заключалось, бессознательно для него, и впечатление Аполлона Бельведерского, виденного им двадцать лет назад». В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский возвращается к этой же теме с другой стороны: «Вот опять „случайное семейство", опять дети с мрачным впечатлением в юной душе. Мрачная картина останется в их душах навеки и может болезненно надорвать юную гордость еще с тех дней

... когда нам новы
Все впечатленья бытия, —

а из того не по силам задачи, раннее страдание самолюбия, краска ложного стыда за прошлое и глухая, замкнувшаяся в себе ненависть к людям, и это, может быть, во весь век» (*ДП*, 1876, январь, гл. 1, § II). Та же тема развернуто дана в «Подростке».

Стр. 264. *«Сто четыре священные истории Ветхого и Нового завета»...* — «По этой книге ⟨Г. Гибнера,— *Ред.*⟩ Федор Михайлович учился читать» (примеч. А. Г. Достоевской — см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 68).

Стр. 264. *... помню, как в первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное, еще восьми лет от роду.* — «Это личные воспоминания Федора Михайловича из своего детства, — поясняет А. Г. Достоевская, — несколько раз от него слышала» (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 68).

Стр. 264. *Был муж в земле Уц...* — Библейская книга Иова, которая здесь пересказывается, в русском переводе начинается словами: «Был человек в земле Уц...» (гл. 1, ст. 1). Как замечено Н. А. Мещерским, именно этот текст не мог звучать в храме, где книга Иова читалась в древнейшем, славянском переводе и начиналась словами: «Человѣкъ нѣкий бяше во странѣ австидитийстѣй, емуже имя Иовъ». В письме жене от 10(22) июня 1875 г. Достоевский сообщает: «Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача ⟨...⟩ Эта книга, Аня, — странно это — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем!»

Стр. 265. *...старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость ∾ сияет ум и радостно плачет сердце...* — Рассуждение старца восходит к словам Тихона Задонского (1724—1783) (см: Р. Плетнев. Сердцем мудрые. (О «старцах» у Достоевского). В кн.: *О Достоевском*, вып. II, стр. 82).

Стр. 265. *...у нас иереи божии, а пуще всего сельские, жалуются слезно и повсеместно на малое свое содержание и на унижение свое...* — Сведения о плохом материальном обеспечении низшего духовенства, жалобы священников на бедность часто помещали газеты и журналы 1860—1870-х годов. Записные тетради Достоевского, где он отмечал для себя различные статьи, появлявшиеся на эту тему, свидетельствуют о непрекращавшемся интересе писателя к этому вопросу. Его касался и «Гражданин», в частности тогда, когда редактором издания был Достоевский (см., например: *Гр*, 1873, № 5, №№ 15—16, 26 и др.). В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский говорит: «Публиковались пренеприятные факты о том, что находились законоучители, которые, целыми десятками и сплошь, бросали школы и не хотели в них учить без прибавки жалованья. Бесспорно — „трудящийся достоин платы", но этот вечный ной о прибавке жалованья режет, наконец, ухо и мучает сердце. Газеты наши берут сторону ноющих, да и я, конечно, тоже; но как-то всё мечтается при том о тех древних подвижниках и проповедниках Евангелия, которые ходили наги и босы, претерпевали побои и страдания и проповедовали Христа без прибавки жалованья. О, я не идеалист, я слишком понимаю, что ныне времена наступили не те; но не отрадно ли было бы услыхать, что духовным просветителям нашим прибавилось хоть капельку доброго духу еще и до прибавки жалованья?» Здесь же Достоевский советует священникам рассказывать детям священные истории без «казенной морали» и особого нравоучения. «Ряд чистых, святых, прекрасных картин сильно подействовал бы на их жаждущие прекрасных впечатлений души» (*ДП*, 1876, январь, гл. 2, § III).

Стр. 266. *...угнетен всё время работой и требами...* — Требы — церковные службы.

Стр. 266. *Прочти им об Аврааме и Сарре, об Исааке и Ревекке, о том, как Иаков пошел к Лавану и боролся во сне с господом...* — Об Аврааме и Сарре см.: Бытие, гл. 11, ст. 29—31; гл. 12—18, 20—23; об Исааке и Ревекке — там же, гл. 24—27; об Иакове — там же, гл. 28—32; о борьбе Иакова с богом — там же, гл. 32, ст. 24—32.

Стр. 266. *Прочти им ∾ о том, как братья продали в рабство родного брата своего, отрока милого, Иосифа...* — См.: Бытие, гл. 37, 39—40.

С т р. 266. *...о том, что от рода его, от Иуды, выйдет великое чаяние мира, примиритель и спаситель его!* — Имеются в виду слова завещания Иакова: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов» (Бытие, гл. 49, ст. 10). Эти слова воспринимались христианами как пророчество о Христе.

С т р. 267. *...повесть ∽ о прекрасной Эсфири и надменной Вастии...* — Имеется в виду библейский рассказ о двух женах царя Артаксеркса. Первая жена Артаксеркса, Вастия (русская форма — Астинь), не захотевшая прийти по просьбе царя на пир, «чтобы показать народам и князьям красоту» свою, была наказана Артаксерксом за надменность и непослушание. Вместо нее царь выбрал себе в жены кроткую и разумную Эсфирь (см.: Книга Эсфирь).

С т р. 267. *...чудное сказание о пророке Ионе во чреве китове.* — См.: Книга пророка Ионы.

С т р. 267. *Не забудьте тоже притчи господни, преимущественно по Евангелию от Луки...* — Все канонические Евангелия (кроме Евангелия от Иоанна) включают в свой текст «притчи господни» — краткие иносказательные повествования, в наглядной форме передающие отвлеченную мысль. Евангелие от Луки содержит большее, в сравнении с другими, количество притч; некоторые из них многократно обрабатывались в изобразительном искусстве и поэзии (например, притча о добром самаритянине, притча о потерянной драхме, притча о блудном сыне, притча о богатом и Лазаре). Некоторые притчи Евангелия от Луки лежат в основе важнейших ситуаций «Братьев Карамазовых», например притча о дележе наследства.

С т р. 267. *...из Деяний апостольских обращение Савла...* — Согласно новозаветному преданию, гонитель христиан Савл однажды на пути в Дамаск увидел свет с неба и услышал голос Христа, который вопросил его: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» (Деяния апостолов, гл. 9, ст. 4). Пораженный юноша прибыл в Дамаск уже христианином и впоследствии стал апостолом, приняв уничижительное имя Павел (от лат. paulus — малый).

С т р. 267. *...великой из великих радостной страдалицы, боговидицы и христоносицы матери Марии Египтяныни...* — По агиографическому преданию, Мария Египетская (память чтится церковью 1 апреля ст. ст.) в молодости была блудницей. Случайно услышав о христианском учении, она присоединилась к паломникам, направлявшимся в Иерусалим, обратилась к вере и сорок семь лет прожила в пустыне, предаваясь молитве и покаянию. Мария Египетская не раз упоминается Достоевским, начиная с рассказа «Ползунков» (1848; см.: наст. изд., т. II, стр. 9).

С т р. 267. *...и разговорились мы о красе мира сего божьего и о великой тайне его. Всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчелка золотая, все-то до изумления знают путь свой...* — Некоторые черты этого рассказа соотносятся с повествованием о монахе Оптиной пустыни, отце Палладии: «Пойдет, например, иногда он в лес: всему удивляется, каждой птичке, мушке, травке, листику, цветочку. Подойдет к какому-нибудь дереву, сколько о нем разговору, сколько удивления! Удивляется, как все повелением божиим растет незаметно... Говоря об этом, о. Палладий вздыхает, прославляет творца, как он обо всем печется, о всем промышляет, всех греет и питает, а мы его забываем» (Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни, стр. 229).

С т р. 268. *И рассказал я ему, как приходил раз медведь к великому святому, спасавшемуся в лесу...* — Имеется в виду эпизод из жития Сергия Радонежского (ср. запись в черновых материалах: «Люби *животных, медведь и Сергий*» — см. стр. 244). Сергия Радонежского (1314—1392), Феодосия Печерского (? —1074) и Тихона Задонского Достоевский называл выразителями народных исторических идеалов (см.: *ДП*, 1876, февраль, гл. 1, § II).

С т р. 268. *...«на день и час, на месяц и год».* — Ср.: «И освобождены

были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год...» (Откровение Иоанна, гл. 9, ст. 15).

Стр. 275. *Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства.* — Убеждение, которое Достоевский неустанно повторял в своей публицистике и художественном творчестве, начиная с «Зимних заметок о летних впечатлениях» (1863).

Стр. 276. *Тогда и явится знамение сына человеческого на небеси...* — См.: Евангелие от Матфея, гл. 24, ст. 30. Речь идет о втором пришествии Христа.

Стр. 280. *«...приходите скорее с нами „Детское чтение" читать».* — Журналов с таким названием в России было несколько. В 1785—1789 гг. «Детское чтение для сердца и разума» издавал Н. И. Новиков в качестве еженедельного приложения к «Московским ведомостям». В 1865 г. вышли три тома «Детского чтения», издаваемого Г. Головачовым. С 1869 г. «Детское чтение» — ежемесячный иллюстрированный журнал — стало издаваться регулярно. Если учесть хронологию, здесь имеется в виду журнал Н. И. Новикова, который Достоевский упоминает в «Униженных и оскорбленных» (1861; см.: наст. изд., т. III, стр. 178). Однако в данном случае для Достоевского точность, по-видимому, значения не имела, и он выбрал обычное название детского журнала, не думая связывать его с каким-либо конкретным изданием.

Стр. 281. *«Страшно впасть в руки бога живаго».* — В Послании апостола Павла этот стих отнесен к тем, кто, несмотря на «познание истины», не чтет Христа и его учение (Послание апостола Павла к евреям, гл. 10, ст. 31).

Стр. 281. *— Страшный стих, — говорит...* — К. П. Победоносцев в письме к Достоевскому от 9 июня 1879 г. (время, когда Достоевский работал над книгой «Русский инок») сообщает: «Часто с волнением в душе перечитываю 10 главу послания к евреям и страшный 31 стих» (см.: Л. П. Гроссман. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов (приложение). *ЛН*, т. 15, стр. 138).

Стр. 285. *А от нас и издревле деятели народные выходили...* — Среди других имеются в виду те же Феодосий Печерский, Сергий Радонежский, Тихон Задонский. См. выше, примеч. к стр. 268.

Стр. 286. *Народ загноился от пьянства и не может уже отстать от него.* — Вопрос о все более и более распространяющемся в народе пьянстве и бедствиях, которые оно несет, — один из постоянных вопросов русской пореформенной публицистики. Достоевский специально откликнулся на него в одной из статей «Гражданина» за 1873 г. (см.: *ДП*, 1873, XI, «Мечты и грезы»).

Стр. 286. *Видал я на фабриках десятилетних даже детей...* — Ср. запись в черновых набросках к роману: «Справиться о детской работе на фабриках» (стр. 199). При подготовке последнего номера «Дневника писателя» Достоевский в конце 1880 г. снова для себя заметил: «Дети. О работах детей на фабриках. И скорее». См. также: *ДП*, 1876, июль-август, гл. 4. Еще в 1860-х годах в русской печати появились тревожные сообщения о положении детей, работающих на фабриках. Автор обозрения «Вестника Европы» (раздел «Историческая хроника») писал, ссылаясь на корреспонденцию из Костромы: «Работа на фабриках продолжается 12 часов в сутки, и из этого правила не исключены даже дети ⟨...⟩ Одним детям приходится работать с 6 часов вечера до 12 часов ночи и быть опять готовыми к 6 часам утра; другим — просыпаться в 12 часов ночи и бежать иногда от теплой постели в грязь, вьюгу, дождь и непогоду, чтобы сменить товарищей. Ни о каких школах при фабриках для детей не слышно, да и странно бы было посылать еще в школу и без того заморенных детей, единственно бьющихся день и ночь из-за куска хлеба ⟨...⟩ Что около фабрик процветают фирмы распивочно и навынос — это не доказательство излишних заработков, а доказа-

тельство крайней бедности и, может быть, одного отчаяния» (*ВЕ*, 1867, № 12, стр. 75).

Стр. 286. ... *«проклят гнев их, ибо жесток».* — Старец повторяет слова завещания Иакова, осудившего двух своих сыновей, Симеона и Левия, которые, вступившись за честь сестры, неоправданно жестоко отомстили целому городу: «... проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа» (Бытие, гл. 49, ст. 7).

Стр. 287—288. *Без слуг невозможно в миру, но так сделай, чтобы был у тебя твой слуга свободнее духом, чем если бы был не слугой.* — В «Дневнике писателя» за 1880 г. Достоевский так поясняет эту мысль: «Слуги же не рабы. Ученик Тимофей прислуживал Павлу ⟨апостолу, — *Ред.*⟩, когда они ходили вместе, но прочтите послание Павла к Тимофею: к рабу ли он пишет, даже к слуге ли, помилуйте! Да это именно „чадо Тимофее", возлюбленный сын его. Вот, вот именно такие будут отношения господ к своим слугам, если те и другие станут совершенными христианами! Слуги и господа будут, но господа уже будут не господами, а слуги не рабами» (см.: *ДП*, 1880 г., август, гл. 3, § III). Ср.: наст. изд., т. IX, стр. 120, 497; т. XI, стр. 85, 122, 140 и др.; т. XII, стр. 337.

Стр. 288. ...*изо всех сил пожелает стать сам всем слугой по Евангелию.* — В Евангелии Христос говорит ученикам: «... вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою...» (Евангелие от Матфея, гл. 20, ст. 25, 26, см. также: гл. 23, ст. 11; от Марка, гл. 9, ст. 35, гл. 10, ст. 43).

Стр. 288. *«Камень, который отвергли зиждущие, стал главою угла».* — См.: псалом 117, ст. 22. Ср.: Евангелие от Матфея, гл. 21, ст. 42. Этот стих не раз повторяется в новозаветных текстах.

Стр. 288. ...*кончат тем, что зальют мир кровью* ∞ *и истребили бы друг друга даже до последних двух человек на земле. Да и сии два последние не сумели бы в гордости своей удержать друг друга...* — Близкий этому мотив есть в стихотворении Байрона «Тьма» («Darkness», 1816), где в фантастической картине изображены последние дни земли:

...пожирал скелет скелета,
И даже псы хозяев раздирали ⟨...⟩
лишь двое граждан
Столицы пышной — некогда врагов
В живых осталось: встретились они
У гаснущих остатков алтаря ⟨...⟩
когда же стало
Светлее, оба подняли глаза,
Взглянули, вскрикнули, и тут же вместе
От ужаса взаимного внезапно
Упали мертвыми...

(Сочинения лорда Байрона в переводе русских поэтов, изд. под ред. Н. В. Гербеля, т. I. Изд. 2-е. СПб., 1874, стр. 43 (перевод И. С. Тургенева)). В этом же переводе стихотворение было помещено и в первом гербелевском издании сочинений поэта (см.: т. II. СПб., 1864, стр. 40—42). Одно из этих изданий было в библиотеке Достоевского. У писателя имелись также сочинения Байрона в переводе на французский язык (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 22, 32).

Стр. 288. ...*кровь зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом.* — Ср.: «... все, взявшие меч, мечом погибнут» (Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 52).

Стр. 288. *И сбылось бы, если бы не обетование Христово, что ради кротких и смиренных сократится дело сие.* — В Евангелии эти слова звучат несколько иначе: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Евангелие от Матфея, гл. 24, ст. 22; ср.: Евангелие от Марка, гл. 13, ст. 20). В евангельских тек-

стах в данной связи говорится не о кротких и смиренных, но только об избранных.

Стр. 289. *Деток любите особенно ∽ Горе оскорбившему младенца.* — Слова старца предлагают в качестве примера для подражания отношение к детям Христа, свободно развивая евангельскую мысль. Ср., например: Евангелие от Матфея, гл. 18, ст. 1—10; гл. 19, ст. 13—15.

Стр. 290. *Будьте веселы как дети, как птички небесные.* — Высказывание объединяет разные места евангельского текста: «... истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное» (Евангелие от Матфея, гл. 18, ст. 2—3); «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницу; и отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Евангелие от Матфея, гл. 6, ст. 26; см. также: от Луки, гл. 12, ст. 22—24)

Стр. 290. ... *нечто великое и прекрасное делаем.* — «Великое и прекрасное» (или также «высокое и прекрасное») — понятия, которые в представлении Достоевского и других русских образованных людей прошлого века по преимуществу увязывались с эстетикой Ф. Шиллера. См. ниже, стр. 591, примеч. к стр. 75—76.

Стр. 290. *На земле же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа пред нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом.* — Мысль о том, что только образ Христа может вывести позднейшее человечество из состояния глубокой греховности, разделял в эти годы Достоевский, повторяя ее в письмах, художественных произведениях и публицистике. «Не в православии ли одном, — говорит он, например, в «Дневнике писателя» за 1873 г. (VII, «Смятенный вид»), — сохранился божественный лик Христа во всей чистоте? И, может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтоб сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, — явить этот образ миру, потерявшему пути свои!»

Стр. 290. *...корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле.* — Мысль, высказанная старцем, восходит к философии Платона (V—IV вв. до н. э.) и является общей для всех объективных идеалистических философских систем. Ср.: Л. П. Гроссман. Достоевский — художник, стр. 383.

Стр. 290. *Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой...* — Образ опирается на обычные библейские уподобления. Наиболее тесно, однако, он связан с евангельской притчей (см.: Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 24—30, 37—39; ср. также: Бытие, гл. 1, ст. 11—12).

Стр. 291. *...не можешь ничьим судиею быти.* — Ср.: «Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом судите, таким будете судимы...» (Евангелие от Матфея, гл. 7, ст. 1—5).

Стр. 291. *Ибо был бы я сам праведен, может, и преступника, стоящего предо мною, не было бы.* — Подобные мысли Достоевский развивал в «Дневнике писателя». Ср., например: «Если он ⟨т. е. преступник, — *Ред.*⟩ преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он бы был лучше и не стоял бы теперь перед нами...» (*ДП*, 1873, гл. III, «Среда»).

Стр. 291 ....*значит, срок его еще не пришел, но придет в свое время...* — Сходные мысли высказывал Тихон Задонский. См. об этом: Р. Плетнев. Сердцем мудрые (О «старцах» у Достоевского), стр. 80.

Стр. 291. *Если же все оставят тебя и уже изгонят тебя силой, то, оставшись один, пади на землю и целуй ее...* — О символическом понятии земли, могучей подательницы жизни, в творчестве Достоевского см.: Р. Плетнев. Земля. (Из работы «Природа в творчестве Достоевского»). В кн.: *О Достоевском*, вып. I, стр. 153—162.

Стр. 292—293. *...мыслю: «Что есть ад?» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя уже более любить». ∽ в мучении материальном хоть на миг позабылась бы ими страшнейшая сего мука духовная.* — Рассуждение

старца об аде восходит к Исааку Сирину: «Говорю же, что мучимые в геенне поражаются бичом любви. И как горько и жестоко это мучение любви! Ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение вящее всякого приводящего в страх мучения; печаль, поражающая сердце за грех против любви, язвительнее всякого возможного наказания. Неуместна человеку такая мысль, что грешники в геенне лишаются любви божией. Любовь есть порождение ведения истины, которое (в чем всякий согласен) дается всем вообще. Но любовь силою своею действует двояко: она мучит грешников, как и здесь случается другу терпеть от друга, и веселит собою соблюдших долг свой. И вот, по моему рассуждению, таково геенское мучение — оно есть раскаяние. Души же горних сынов любовь упоевает...» (Исаак Сирин. Слова подвижнические, стр. 112). Ср.: *О Достоевском*, вып. I, стр. 161—162.

Стр. 292. *...видит и лоно Авраамово и беседует с Авраамом, как в притче о богатом и Лазаре нам указано ∾ на земле ее пренебрегши...* — В евангельской притче о богатом и Лазаре и в духовном стихе на эту тему повествуется о том, как некий богач не подавал милостыни лежащему у его ворот нищему Лазарю. Когда умер Лазарь, то был отнесен ангелами «на лоно Авраамово». Умерший же богач попал в ад и увидел оттуда и Авраама, и Лазаря «и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам ответил, что богач и Лазарь получили по заслугам, что между ними пропасть, и ни тому, ни другому не перейти ее (Евангелие от Луки, гл. 16, ст. 19—26). Под «лоном Авраамовым» понимается место, где, согласно христианским понятиям, после смерти успокаиваются в вечном блаженстве души праведников.

Стр. 293. *...горе самим истребившим себя на земле, горе самоубийцам!* ∾ *можно бы и за сих помолиться.* — Самоубийство, по понятиям христианской церкви, один из самых тягчайших грехов. Церковь запрещает погребать самоубийц по тем же правилам и обрядам, что и прочих, приравнивая их к язычникам или еретикам. Слова Зосимы, обнаруживающие такую широту любви и прощения, которая не предусмотрена официальной церковью, возможно, опираются на аналогичные высказывания Тихона Задонского (см.: *О Достоевском*, вып. II, стр. 80). Ср. также сходный мотив в «Очарованном страннике» Н. С. Лескова (1873) (*Лесков*, т. IV, стр. 386—390).

Стр. 293. *Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал.* — По-видимому, этот образ восходит к Исааку Сирину: «Пес, который лижет ноздри свои, пьет собственную свою кровь и, по причине сладости крови своей, не чувствует вреда своего. И инок, который склонен бывает упиваться тщеславием, пьет жизнь свою...» (Исаак Сирин. Слова подвижнические, стр. 582).

Стр. 294. *...он* ∾ *тихо опустился с кресел на пол и стал на колени, затем склонился лицом ниц к земле, распростер свои руки и, как бы в радостном восторге, целуя землю и молясь (как сам учил), тихо и радостно отдал душу богу.* — Высказывалось мнение, что кончина старца напоминает кончину схимонаха Зосимы Верховского (Верховский, Захария Васильевич, 1767—1833), который, по-видимому, явился одним из прототипов старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». См. об этом: *О Достоевском*, вып. II, стр. 84—86. *...тихо и радостно отдал душу богу.* — Обычная формула житийного рассказа, когда речь идет о кончине святого.

Стр. 295. *Тлетворный дух.* — И название этой главы, и общая ситуация, в которой небо видимо безразлично к земным делам, вероятно, восходят к стихотворению Ф. И. Тютчева «И гроб опущен уж в могилу...» (1836):

И гроб опущен уж в могилу,
И всё столпилося вокруг...
Толкутся, дышат через силу,
Спирает грудь тлетворный дух...

Стр. 295. *Тело усопшего иеросхимонаха отца Зосимы приготовили к погребению по установленному чину.* — Достоевский использовал здесь выписки о «подробностях монашеского погребения» (хранятся в ГБЛ, ф. 93. II. 7.93), переданные ему через К. П. Победоносцева (см. стр. 458).

Стр. 295. *...куколь с осьмиконечным крестом.* — Куколь (лат. cucullus — капюшон) — монашеский головной убор.

Стр. 295. *...лик же усопшего закрыли черным воздýхом.* — Воздýх — вид покрывала.

Стр. 296. *...точно ждали для сего нарочно сей минуты, видимо уповая на немедленную силу исцеления, какая, по вере их, не могла замедлить обнаружиться.* — Чудеса после смерти праведника (обычно чудеса исцеления) — одно из общих мест житийного рассказа.

Стр. 298. *Дело в том, что от гроба стал исходить мало-помалу, но чем далее, тем более замечаемый тлетворный дух...* — В письме к Н. А. Любимову от 16 сентября 1879 г. Достоевский этот эпизод романа пояснил так: «Подобный переполох, какой изображен у меня в монастыре, был раз на Афоне и рассказан вкратце и с трогательною наивностью в „Странствовании инока Парфения"» (см.: *Парфений*, ч. III, стр. 63—64). В черновиках романа, однако, есть запись: «N3. По поводу провонявшего Филарета» (стр. 199). Кончина Филарета, митрополита Московского (1782—1867), вызвала толки из-за «тлетворного духа», исходившего от тела покойного. Тогда же сложилась эпитафия-эпиграмма:

Вы слышали про слухи городские?
Покойник был шпион, чиновник, генерал, —
Теперь по старшинству произведен в святые,
Хотя немножко провонял...

(см.: Текущая хроника и особые происшествия. Дневник В. Ф. Одоевского 1859—1869 гг. *ЛН*, т. 22—24, стр. 237).

Стр. 300. *...на Афоне например, духом тлетворным не столь смущаются ∽ а цвет костей их...* — Парфений рассказывает об обычае на Афоне откапывать кости умерших через три года после смерти: «Которых кости обретаются желтые и светлые, яко восковые или елейные, противного запаха не испущающие, а иногда и благоуханные, те признаются за людей богоугодных⟨...⟩ Которых кости обретаются белые, трухлявые, истлевающие, о тех полагают, что находятся в милости божией. Кости черные, овые же и смердящие, признаются за кости людей грешных. О таковых более творится поминовение, и братия молятся, чтобы господь даровал прощение грехов их. Овогда обретаются тела неистлевшие, целые, но черные и смрадные; сии признаются за людей, связанных родителями или духовными отцами, т. е. находящихся под клятвою» (*Парфений*, ч. II, стр. 189—190; см. также: ч. IV, стр. 232, 241, 245—246).

Стр. 300. *Они там под туркой сидят и всё перезабыли. У них и православие давно замутилось, да и колоколов у них нет»...* — Колоколов не было в некоторых церквах, расположенных в местностях, которые находились под властью Турции. Парфений пишет: «Воистину ⟨...⟩ церковь ⟨...⟩ в неволе турецкой пребывает и тяжкое несет иго ⟨...⟩ храмы не имеют ни крестов, ни куполов, ни звона, ни вида, ни доброты...» (*Парфений*, ч. III, стр. 44). Но на Афоне, сообщает Парфений, «в каждом монастыре есть особенные колокольни с колоколами, и звонят когда хотят: турки не запрещают» (там же, ч. IV, стр. 179).

Стр. 303—304. *...«Помощника и покровителя» станут петь — канон преславный, а надо мною, когда подохну, всего-то лишь «Кая житейская сладость» — стихирчик малый...* — Канон (греч. κανών) — песнопение в честь святого или какого-либо церковного праздника. Стихира (греч. στιχηρά) — песнопение на библейские темы.

Стр. 309. *Всего-то антидорцу кусочек, надо быть, пожевал.* — Антидор (греч. ἀντί — вместо; δῶρον — дар) — часть особой просфоры, которая раздается молящимся в конце литургии.

С т р. 311. *...молодая особа ∞ пустилась в то, что называется «гешефтом»...* — Гешефт (нем. Geschäft) — выгодное предприятие, мелкая сделка, спекуляция; здесь: неразборчивая нажива.

С т р. 319. *Это только басня, но она хорошая басня ∞ Вот она эта басня...* — По поводу легенды о луковке Достоевский писал Н. А. Любимову 16 сентября 1879 г.: «... особенно прошу хорошенько прокорректировать легенду о *луковке.* Это драгоценность, записана мною со слов одной крестьянки и, уж конечно, *записана в первый раз.* Я по крайней мере до сих пор никогда не слыхал». Достоевскому, по-видимому, не был известен сборник народных русских легенд А. Н. Афанасьева (Народные русские легенды, собранные Афанасьевым. Лондон, 1859; М., 1859), где приводится легенда «Христов братец» со сходным сюжетом (см.: Народные русские легенды, собранные Афанасьевым. М., 1859, стр. 30—32) и в приложении указывается ее малороссийский вариант, почти совпадающий с тем, который дает Достоевский (там же, стр. 130—131). См.: Н. К. П и к с а н о в. Достоевский и фольклор. «Советская этнография», 1934, № 1—2, стр 162. Иначе об этом: Л. М. Л о т м а н. Романы Достоевского и русская легенда. В кн.: Л. М. Л о т м а н. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л., 1974, стр. 305—307.

С т р. 323. *Сорву я мой наряд, изувечу я себя, мою красоту, обожгу себе лицо и разрежу ножом, пойду милостыню просить.* — Звучат житийные мотивы. Например, в Житии преподобной Мастридии-девицы, «яже избоде сама очи свои Христа ради», рассказывается, как некий юноша влюбился в нее и, соблазняя, нашептывал ей любовные речи каждый раз, когда она шла в церковь. Однажды праведница послала к юноше свою рабыню, чтобы та привела его. После того как обрадованный юноша пришел, Мастридия спросила его, что именно его в ней соблазняет. Тот ответил: очи. Тогда святая немедленно их выколола. Юноша был поражен, через некоторое время ушел в скит и стал черноризцем (Пролог, 24 ноября). В Синайском патерике рассказывается о юноше Магистрияне, к которому одна женщина воспылала любовью. Магистриян, узнав об этом, «постриже главу и, възьмъ прогонъ, ожьже — чело си и бръви, и прокази вьсю лѣпоту свою». Сделавшись безобразным, он показался этой женщине, после чего все страдание ее прекратилось. Так юноша «чистоты ради не пощадѣ своея доброты, нъ погуби ю и положи душю свою любъве ради и въ зъла мѣсто добрая сътвори» (И. С р е з н е в с к и й. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. «Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук», т. XX, № 4. СПб., 1879, стр. 82—83).

С т р. 324. *— Что ж, обратил грешницу? ∞ Семь бесов изгнал, а?* — Семь бесов изгнал Христос из Марии Магдалины, исцеляя ее (см.: Евангелие от Марка, гл. 16, ст. 9; от Луки, гл. 8, ст. 1—2).

С т р. 325. *Продал, дескать, истинного друга. Да ведь ты не Христос, а я не Иуда.* — Поскольку Ракитин действительно «продает» Алешу, конкретная ситуация между ними уподобляется библейской (см., например: Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 14—15, 46—50).

С т р. 325. *Кана Галилейская.* — Городок в Галилее, где, по евангельскому рассказу, Христос совершил первое чудо, претворив воду в вино.

С т р. 326. *«И в третий день брак бысть в Кане Галилейстей»...* — Этот стих и следующие за ним — цитаты из Евангелия от Иоанна, гл. 2, ст. 1—10. Высказывалось предположение, что сон Алеши о браке в Кане Галилейской навеян описанием грядущей радости «на браке агнчем», «на вечери велией, бесконечно увеселяющей», у Тихона Задонского (см. об этом: Р. П л е т н е в. Сердцем мудрые (О «старцах» у Достоевского), стр. 83).

С т р. 326. *Вон пишут историки, что около озера Генисаретского и во всех тех местах расселено было тогда самое беднейшее население, какое только можно вообразить...* — Достоевский в данном случае, вероятно, имел в виду книгу Э. Ренана «Жизнь Иисуса», где замечания о бедности населения, среди которого проповедовал Христос, многочисленны. См. также выше, примеч. к стр. 227.

С т р. 330. *...некоторое невольное и гордое презрение к этому посланию*

из Сибири... — Ирония этих строк основана на подразумеваемом сопоставлении сказанного здесь с знаменитым посланием Пушкина «Во глубине сибирских руд...» (1827), которое под названием «В Сибирь» было впервые опубликовано в «Полярной звезде на 1856 г.», кн. 2, стр. 13. Возможно, что Достоевскому было известно и ответное послание из Сибири А. И. Одоевского «Струн вещих пламенные звуки...» (конец 1828 — начало 1829?). Впервые без имени автора оно было опубликовано в сборнике «Голоса из России», кн. 4. Изд. Вольной типографии А. И. Герцена. Лондон, 1857, стр. 40, под названием «Ответ на послание Пушкина». С тех пор оба стихотворения и порознь, и вместе печатались в разных русских заграничных изданиях (см., например: Лютня. Собрание свободных русских песен и стихотворений. Лейпциг, 1869, где послание Пушкина «В Сибирь» помещено на стр. 63—64, а ответ Одоевского из Сибири — на стр. 146—147). Послание Одоевского при жизни Достоевского в России не публиковалось.

Стр. 334. *Старик важно и строго ожидал его стоя...* — По свидетельству А. Г. Достоевской, внешность Самсонова списана с богатого петербургского купца Алонкина, в доме которого (Столярный пер., угол Малой Мещанской, ныне дом № 7 по Казначейской улице) жил Достоевский в 1866 г. (см.: *Гроссман*, *Семинарий*, стр. 70).

Стр. 343. *«Отелло не ревнив, он доверчив», — заметил Пушкин...* — В заметках Пушкина 1830-х годов «Table-talk» есть запись: «Отелло от природы не ревнив — напротив: он доверчив. Вольтер это понял...» (*Пушкин*, т. XII, стр. 157).

Стр. 348. *Довольно! как сказал Тургенев.* — «Довольно. Отрывок из записок умершего художника» — повесть И. С. Тургенева (1865). «Довольно» в ней звучит лейтмотивом: «„Довольно", — говорил я самому себе, между тем как ноги мои, нехотя переступая по крутому скату горы, несли меня вниз, к тихой речке, — „довольно", — повторял я ⟨...⟩ „довольно" — сказал я еще раз...» (*Тургенев*, *Сочинения*, т. IX, стр. 110 и сл.). Достоевский уже пародировал это произведение в романе «Бесы». См. об этом: Ю. Никольский. Тургенев и Достоевский. (История одной вражды), стр. 71—82; А. С. Долинин. Тургенев в «Бесах», стр. 119—136; наст. изд., т. XII, стр. 226.

Стр. 348. *...вы отыщете прииски, наживете миллионы, воротитесь и станете деятелем, будете и нас двигать, направляя к добру.* — Совет Хохлаковой Мите отправиться в Сибирь на золотые прииски, затем вернуться и способствовать общему благу, по предположению В. Л. Комаровича, имеет литературный источник и навеян чтением романа Жорж Санд (1804—1876) «Мопра» («Mauprat», 1837) (см.: W. Komarowitsch. Dostojewski und George Sand, стр. 227—228, а также: Jan Van der Eng. A Note on Comic Relief in The Brothers Karamazov. In: Dutch Studies in Russian Literature. 2. The Brothers Karamazov by F. M. Dostoevskij. The Hague — Paris, 1971, p. 160).

Стр. 349. *...министерству финансов, которое теперь так нуждается. Падение нашего кредитного рубля не дает мне спать...* — Состояние русских финансов постоянно обсуждалось в печати 1860—1870-х годов. В «Гражданине», редактируемом Достоевским, был помещен ряд статей А. Шипова на эту тему. В одной из них автор говорит о том, что в 1857 г. русским правительством были проведены такие финансовые меры и экономические операции, от которых Россия не может оправиться и в 1870-е годы. Они «так расстроили наше экономическое положение, что, несмотря на 18 лет мира, на освобождение труда, на открытие множества банков и построение 13 тысяч верст железных дорог, — несмотря на такие благотворные средства к улучшению финансов и к возрастанию благосостояния народного, все ярмарки наши ⟨...⟩ доказывают, что внутренняя торговля наша падает ⟨...⟩ что преимущественно бедствует крестьянское сельское население ⟨...⟩ что усилия правительства, очевидно с благотворною целью прилагаемые, оказываются тщетными» (*Гр*, 1873, № 45, стр. 1203—1204). Финансовое положение России особенно ухудшилось в результате русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и военных расходов. Денежный курс неуклонно падал.

В «Голосе», например, сообщалось: «У нас в настоящее время, на население в 80 миллионов, находится в обращении кредитных билетов на один миллиард рублей, и наш рубль упал на 40%. Во Франции, при населении в 35 миллионов, находится в обращении бумажных денег также в один миллиард рублей ⟨...⟩ но франк ценится в 100%, потому что масса бумажных денег уравновешивается соответствующим количеством звонкого металла» («Голос», 1878, 13 января, № 13).

Стр. 349. — *Это из Киева* ∾ *от мощей Варвары великомученицы.* — По некоторым сказаниям, мощи св. Варвары великомученицы, время жизни которой III—IV в. (?) (память — 4 декабря ст. ст.), в начале XII в. были перенесены в Киев. Святая считается заступницей страдающих от огня и на море.

Стр. 350. *Я написала по этому поводу писателю Щедрину.* ∾ *И подписалась: «мать».* — О полемике Достоевского с Щедриным, начавшейся в 1860-е годы и продолжавшейся до конца жизни Достоевского, см.: *Борщевский*; *Кирпотин, Достоевский в шестидесятые годы*, стр. 122—131; Л. М. Розенблюм. Творческие дневники Достоевского. *ЛН*, т. 83, стр. 40—44. Письмо Хохлаковой Щедрину напоминает письмо от неизвестной особы, отправленное, согласно почтовому штемпелю, 1 марта 1876 г. из Петербурга и адресованное Достоевскому: «Если бы можно было сейчас, сию минуту очутиться возле Вас, с какой радостью я обняла бы Вас, Федор Михайлович, за Ваш февральский „Дневник" ⟨имеется в виду февральский выпуск «Дневника писателя» за 1876 г. Он в основном посвящен делу об истязании малолетней девочки, делу Кронеберга, — *Ред.*⟩. Я так славно поплакала над ним и, кончив, пришла в такое праздничное настроение духа, что спасибо Вам. Мать» (Письма читателей к Ф. М. Достоевскому. Вступит. статья, публикация и комментарий И. Волгина. «Вопросы литературы», 1971, № 9, стр. 181). В ответ на упоминание своего имени в связи с письмом Хохлаковой Щедрин возразил Достоевскому в «Отечественных записках» за 1879 г. (статья «Первое октября»), говоря, что о назначении «современной женщины» он всего менее писал, но вместо этого много занимался изображением людей, «которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси». А это изображение действительно стоит благодарности. Слова о людях, стучащих «мертвыми дланями» «в мертвые перси», имели в виду Достоевского (*ОЗ*, 1879, № 11, отд. II, стр. 115—116). В следующем номере «Отечественных записок» Щедрин еще раз к этому вернулся (статья «Первое ноября. — Первое декабря»).

Стр. 350. *...да и слово «современная» напомнило бы им «Современник» — воспоминание для них горькое ввиду нынешней цензуры...* — «Современник» — литературный и общественно-политический журнал, основанный в 1836 г. А. С. Пушкиным и ставший в 1840—1860-х годах органом русской революционной демократии. «Современник» часто подвергался суровым цензурным преследованиям, в частности из-за произведений Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина. В 1862 г. выход журнала был приостановлен на 8 месяцев. В 1865 г. «Современник» получил два предостережения. В 1866 г. в связи с покушением Д. В. Каракозова на Александра II журнал был закрыт. Выпад Достоевского против Щедрина и «Современника», в котором активно сотрудничал и который одно время редактировал Щедрин, служит поздним отголоском ожесточенной полемики этого журнала (и непосредственно Салтыкова-Щедрина) с журналами братьев Достоевских «Время» (январь 1861—апрель 1863 г.) и «Эпоха» (январь 1864—март 1865 г.).

Стр. 353. *«И только шепчет тишина»...* — Измененная цитата из «Руслана и Людмилы» А. С. Пушкина (1820):

И мнится... шепчет тишина...

Стр. 360. — *В лавку к Плотниковым...* — По свидетельству Л. Ф. Достоевской, старорусский купец Плотников был «излюбленным поставщиком ⟨...⟩ отца» (*Достоевская, Л. Ф.*, стр. 77). Об этом же пишет и А. Г. Достоевская: «Федор Михайлович говорит о бакалейном магазине Павла Ива-

новича Плотникова в Старой Руссе, в который сам любил заходить за закусками и сластями (*Гроссман, Семинарий*, стр. 68).

Стр. 362. ...*как солнце взлетит, вечно юный-то Феб как взлетит, хваля и славя бога...* — Контаминация разных мотивов. Феб — одно из имен древнегреческого бога Аполлона как божества света; «хваля и славя бога» — цитата из Евангелия от Луки, гл. 2, ст. 20. Ср. также: Первая книга Ездры, гл. 3, ст. 11; Первая книга Паралипоменон, гл. 25, ст. 3; Деяния апостолов, гл. 3, ст. 8; псалом 65, ст. 2.

Стр. 362. — *Был Мастрюк во всем, стал Мастрюк ни в чем!* — Цитата из народной исторической песни «Мастрюк Темрюкович»:

Мастрюк без памяти лежит,
Не слыхал, как платье сняли, —
Был Мастрюк во всём, стал Мастрюк ни в чем...

(Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. Изд. 3-е. М., 1878, стр. 28).

Стр. 362.

Легковерен женский нрав,
И изменчив, и порочен

— слова «вдохновенного Одиссея» в стихотворении Ф. И. Тютчева «Поминки. (Из Шиллера)» (1851).

Стр. 367. *Помнишь Гамлета: «Мне так грустно, так грустно, Горацио... Ах, бедный Иорик!»* — Имеется в виду сцена 1 заключительного, пятого действия трагедии Шекспира «Гамлет», где Гамлет, держа в руках череп Иорика, бывшего королевского шута, говорит о бренности всего живого. Митя цитирует неточно. См.: Шекспир. Полное собрание драматических произведений в переводе русских писателей, т. II. Изд. Н. А. Некрасова и Н. В. Гербеля. СПб., 1866, стр. 58—59.

Стр. 367. *Еще последнее сказанье и...* — Неточная цитата из монолога Пимена в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1824—1825):

Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя...

В речи о Пушкине (1880) Достоевский дал чрезвычайно высокую оценку этому образу «русского инока-летописца»: «О типе русского инока-летописца ⟨...⟩ можно было бы написать целую книгу, чтоб указать всю важность и всё значение для нас этого величавого русского образа, отысканного Пушкиным в русской земле, им выведенного, им изваянного и поставленного пред нами теперь уже навеки в бесспорной, смиренной и величавой духовной красоте своей, как свидетельство того мощного духа народной жизни, который может выделять из себя образы такой неоспоримой правды».

Стр. 372. ...*когда сын божий на кресте был распят ∾ до того времени, пока снова приду».* — Существуют апокрифы, где повествуется о том, как Христос, сошедший с креста, посещает ад, например «Вопросы св. Варфоломея» (в кн.: Памятники старинной русской литературы, издаваемые Гр. Кушелевым-Безбородко, вып. 3). Рассказанная героем легенда ближайшим образом соотносится, однако, с народными сказаниями и духовным стихом «Сон пресвятой богородицы», в свое время широко распространенными и записанными в разных вариантах (см.: П. Бессонов. Калики-перехожие, вып. 6. М., 1864, №№ 605—631). Вариант № 619 (стр. 206—207), начинающийся словами «На горе на Горюне ...», передает диалог Христа с адом (после того, как Христос выводит оттуда грешников) наиболее близким к роману образом:

Ну туто жь застонало адие,
Ну застонало проклятое!
— Не стони ты, адие,
Не стони, проклятое:
Ты будешь, адие,
Ты будешь, проклятое,

Пред останною кончиною
Наполнено клетовщиками, зубчиками,
И ябедниками, и ябедницами,
Платонами, архиереями,
Архимандритами, протопопами...

Возможно, что именно этот вариант духовного стиха послужил Достоевскому основой для пересказанной здесь легенды, и писатель только изменил не устраивавшую его антицерковную концовку этого произведения, введя социальные мотивы.

Стр. 373. *Две младшие дочери, в храмовой праздник...* — Храмовой праздник — праздник в честь святого или события, которому посвящен храм.

Стр. 376. — *Пане, мы здесь приватно.* — Шаржированные образы поляков Муссяловича и Врублевского отчасти близки аналогичным образам антинигилистического романа 1860—1870-х годов, например в романе Н. С. Лескова «Некуда» (1864), в «Мареве» (1864) В. П. Клюшникова, «Панургowом стаде» (1869) Вс. В. Крестовского. См. об этом: Л. Гроссман. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов, стр. 108—110; *Гроссман, Последний роман*, стр. 29-30. М. А. Антонович в свое время заметил, что пан Муссялович «очень напоминает пана Копычинского в „Юрии Милославском"; и этот представлен таким же глупым, пошлым и трусливым, каким изображен у Загоскина тот» (см.: М. А. Антонович. Мистико-аскетический роман. В кн.: М. А. Антонович. Литературно-критические статьи. М.—Л., 1961, стр. 412). Роман М. Н. Загоскина (1789—1852) «Юрий Милославский, или Русские в 1612 г.» (1829), по свидетельству брата писателя, читался в доме Достоевских на семейных чтениях (см.: *Достоевский, А. М.*, стр. 69).

Стр. 380. ...*и с тантой...* — Танта (франц. tante) — тетка.

Стр. 381. ...*он претендует ∾ что Гоголь в «Мертвых душах» это про него сочинил. Помните, там есть помещик Максимов, которого высек Ноздрев...* — Имеется в виду заключительный эпизод главы IV поэмы «Мертвые души» (1842).

Стр. 381. ...*«за нанесение помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде»...* — Цитата из названной главы (см.: *Гоголь*, т. VI, стр. 87).

Стр. 381. ...*Ноздрев-то ведь был не Ноздрев, а Носов, а Кувшинников — это уже совсем даже и не похоже ∾ А Фенарди действительно был Фенарди...* — Ноздрев, Кувшинников — персонажи «Мертвых душ». Фенарди, известный в 1820-е годы фокусник, упоминается в той же главе IV поэмы Гоголя (см.: *Гоголь*, т. VI, стр. 68).

Стр. 382. *«Ты ль это, Буало...»* — Из стихотворения И. А. Крылова «Эпиграмма на перевод поэмы „L'art poétique"» (впервые напечатано в 1814 г.):

«Ты ль это, Буало?.. Какой смешной наряд!
Тебя узнать нельзя: совсем переменился!»
— Молчи! Нарочно я Графовым нарядился:
Сбираюсь в маскерад.

Стр. 382. *Ты Сафо, я Фаон, об этом я не спорю...* — Эпиграмма К. Н. Батюшкова «Мадригал новой Сафе» (1809), первый стих которой слегка изменен. В оригинале:

Ты — Сафо, я — Фаон, — об этом и не спорю,
Но, к моему ты горю,
Пути не знаешь к морю.

(К. Н. Батюшков. Полное собрание стихотворений. М.—Л., 1964, стр. 242).

Стр. 382.

Ci gît Piron qui ne fut rien
Pas même académicien.

— «Моя эпитафия» — двустишие французского поэта Алексиса Пирона (см. выше, примеч. к стр. 124). Написано вследствие несостоявшегося выбора поэта в академики. Эти стихи цитирует Карамзин в «Письмах русского путешественника» (см.: Н. М. Карамзин. Избранные сочинения в двух томах, т. I. М.—Л., 1964, стр. 423). «Письма русского путешественника» вместе с другими произведениями Карамзина читались Достоевскими на семейных чтениях (см.: *Достоевский, А. М.*, стр. 69).

Стр. 383. ...*за Россеюшку, старую бабусеньку...* — Намек на финальные строки романа И. А. Гончарова «Обрыв» (1869). «За ним ⟨Райским,— *Ред.*⟩ все стояли и горячо звали к себе — его три фигуры: его Вера, его Марфенька, бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе — еще другая, исполинская фигура, другая великая „бабушка" — Россия» (*Гончаров*, т. VI, стр. 430).

Стр. 383. — *За Россию в пределах до семьсот семьдесят второго года!* — При первом разделе Польши между Россией, Пруссией и Австрией в 1772 г. к России отошли восточная часть Белоруссии и католическая часть нынешней Латвии (Латгалия), собственно польские земли отошли к Австрии и Пруссии, но не к России.

Стр. 385. — *Пан капитан, может, слышал про пана Подвысоцкего?* — Об этом анекдоте Достоевский писал Н. А. Любимову 16 ноября 1879 г. (см. стр. 449).

Стр. 385. — *Угол! ∾ семпелечком ∾ на пе!..* — Термины карточной игры. Угол — четверть ставки с загибанием угла карты; семпель (франц. simple) — простая ставка; на пе — удвоенная ставка.

Стр. 388. *Тот был сокол, а это селезень.* — Традиционные образы русских народных песен, обозначающие суженого.

Стр. 390. ...*«ходи изба, ходи печь»...* — Слова плясового припева, частушки, имеющей в разных вариантах при сходном начале разное продолжение, например:

Ходи, изба, ходи, печь,
Хозяину негде лечь:
На печи широко,
Растянешься далеко.

(Русские народные песни, собранные П. В. Шейном, ч. I. М., 1870, стр. 220—221).

Стр. 392. *«...это у них весенние игры, когда они солнце берегут во всю летнюю ночь».* — Начиная с масленицы, целый ряд народных весенних праздников, приуроченных в позднейшее время к почитаемым церковью дням, связан с языческими верованиями глубокой древности и имеет самый «вакхический» характер. Встреча солнца, ряженье (очень часто в шкуру медведя) — обычные элементы весенних игр. «В России на Петров день (29 июня) разводят огни на пригорках перед самым рассветом и караулят восход солнца, которое тогда играет на небе» (А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу, т. II. М., 1868, стр. 404, см.: там же, т. III. М., 1869, стр. 140—142, 689—727). Игры и пляски в Мокром, происходящие в самом конце августа, соотносятся с весенними праздниками лишь своим откровенным разгулом.

Стр. 392. *Барин девушек пытал...* — По поводу этой песни Достоевский писал Н. А. Любимову 16 ноября 1879 г.: «Песня, пропетая хором, записана мною с натуры и есть действительно образчик новейшего крестьянского творчества».

Стр. 393. ...*хочет протанцевать танец саботьеру.* — Саботьера (франц. sabotière) — французский народный танец, исполняемый в деревянных башмаках (франц. sabot).

С т р. 394. *Пронеси эту страшную чашу мимо меня!* — Герой повторяет слова Христа, сказанные им накануне крестного страдания и смерти (см.: Евангелие от Марка, гл. 14, ст. 36; от Луки, гл. 22, ст. 42; от Матфея, гл. 26, ст. 39).

С т р. 396. ...«*точно горячий уголь в душе*»... — Свободное переложение известных строк из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» (1826, напечатано в 1828):

И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Достоевский любил это стихотворение Пушкина и не раз читал его публично с неизменным успехом. Об одном из таких чтений на вечере в пользу Литературного фонда, состоявшемся 19 октября 1880 г., А. Г. Достоевская пишет: «Чтение это было настоящим триумфом для Федора Михайловича: казалось, стены городского Кредитного общества дрожали от рукоплесканий, когда Федор Михайлович окончил „Пророка". Надо сказать, что это было поистине высокохудожественное чтение, оставившее в слушателях неизгладимое впечатление. Мне случалось встречать людей, которые по прошествии двух десятков лет помнили, как поразительно хорошо удавалось прочесть Федору Михайловичу это талантливое стихотворение. Почти на всех последовавших в 1880 году чтениях публика непременно требовала, чтобы Федор Михайлович прочел „Пророка"» (*Достоевская, А. Г. Воспоминания*, стр. 367—368). Ср.: *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 302; Д. Д. Б л а г о й. Достоевский и Пушкин. В кн.: *Достоевский — художник и мыслитель*, стр. 423—424.

С т р. 397. ...*под конец проплясал еще один танец под одну старую песенку, которую сам же и пропел. В особенности с жаром подплясывал за припевом: Свинушка хрю-хрю, хрю-хрю...* — Такой припев имеет песня «Давай-ка, хозяюшка, домик наживать!» (*Соболевский*, т. VII, №№ 484—486), а также песня «Служил я пану по первое лето...» (там же, №№ 481—483). Песня со сходным началом «Свиньи хрю, поросята гиги, гуси гого...» записана у Кирши Данилова (см.: Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М.—Л., 1958, стр. 285—287, 499—500). В последнем сборнике это шуточная, скоморошья песня, которая представляет собой цепь эпизодов, острот и каламбуров, сюжетно не связанных друг с другом и объединенных лишь общей задачей вышучивания любовных и семейных отношений.

С т р. 397. *Ножки тонки, бока звонки...* — Ср.:

Ноги тонки,
Бока звонки,
А хвост закорючкой.

(Д. С а д о в н и к о в. Загадки русского народа. СПб., 1876, стр. 110. Указано А. А. Гореловым). В романе Лескова «Некуда» приводятся те же самые слова песенки (см.: *Лесков*, т. II, стр. 261). Загадки нередко включались в состав народных песен.

С т р. 398. *Хор грянул: «Ах вы сени, мои сени».* — Народная плясовая песня, в которой от лица молодой девушки говорится о том, как, несмотря на запрет «грозна батюшки», она «потешила молодца»:

...Я не слушаю отца, а потешу молодца!
Я за то его потешу, что один сын у отца,
Он один сын у отца, уродился в молодца,
Зовут Ванюшкою-пивоварушкою...

(см.: *Соболевский*, т. II, №№ 72—77). В записной тетради 1880—1881 гг. Достоевский отмечает высокое художественное достоинство этой песни: «„Ах вы сени, мои сени". Анализ песни. Она вся в страсти. Только что потешила раз ⟨...⟩ Батюшка грозен... Но еще намеревается потешить. Один

сын у отца, как предлог. Поэт не ниже Пушкина ⟨...⟩ Да хоть стыдите, хоть нет, не стыжусь, не хочу стыдиться, один сын у отца».

С т р. 400. *...исправник ∽ товарищ прокурора ∽ судебный следователь, «из Правоведения» ∽ становой...* — Исправник — в дореволюционной России — начальник полиции в уезде. Товарищ прокурора — тогдашнее официальное название должности помощника прокурора. «Правоведение» — императорское училище правоведения, закрытое учебное заведение, учрежденное в 1835 г. для детей потомственных дворян. Становой (пристав) — полицейский чиновник, начальник стана — административной и полицейской единицы уезда.

С т р. 406. *...переименованный в надворные советники...* — В Табели о рангах, введенной Петром I в 1722 г. и действовавшей до 1917 г., все чины делились на четырнадцать классов; самым низшим был четырнадцатый. Надворный советник по Табели о рангах — гражданский чин седьмого класса.

С т р. 407. *...наш земский врач...* — Земские учреждения в качестве органов местного самоуправления начали действовать после земской реформы с 1 января 1864 г.

С т р. 407. *...один из блистательно окончивших курс в Петербургской медицинской академии.* — С.-Петербургская императорская медико-хирургическая академия — высшее специальное учебное заведение для подготовки врачей, соответствующее медицинскому факультету университета, — в конце 1850-х и в 1860-х годах считалась рассадником вольнодумства и атеизма. Герои романа Чернышевского «Что делать?» (1863), Лопухов и Кирсанов, учились в этой академии. Говоря о Варвинском, что он окончил курс Петербургской медицинской академии, рассказчик намекает, что герой из «новых людей».

С т р. 408. *Жуир* (франц. jouir — наслаждаться) — человек, ищущий наслаждений.

С т р. 410. *Помощнику городового пристава тотчас же поручили набрать штук до четырех понятых...* — Пристав — низший полицейский чин. Понятой — лицо, которое привлекают в качестве свидетеля для констатации тех или иных фактов.

С т р. 410. *Земский врач, человек горячий и новый...* — См. выше, примеч. к стр. 407.

С т р. 411. *«Помните того парня, господа, что убил купца Олсуфьева, ограбил на полторы тысячи и тотчас же пошел, завился, а потом, не припрятав даже хорошенько денег, тоже почти в руках неся, отправился к девицам».* — Отголоски дела Зайцева, которое упоминается в «Братьях Карамазовых» еще раз в дальнейшем (см. ниже, стр. 600, примеч. к стр. 157—158). Как выяснилось в ходе следствия, мелкий торговец с лотка, восемнадцатилетний Зайцев, после убийства и ограбления отправился к парикмахеру, где «приказал себя завить», затем пошел в трактир и угощал там своего приятеля, объявив, что «он хочет в этот вечер покутить... Из трактира они отправились в дом терпимости...» (см.: «Голос», 1879, 16 января, № 16).

С т р. 411. *...изготовить понятых, сотских...* — Сотский — низшее должностное лицо сельской полиции, избиравшееся сельским сходом.

С т р. 412. *Хождение души по мытарствам. Мытарство первое.* — Мытарство — истязание. По христианским верованиям, душа человека по смерти, поднимаясь от земли, встречается с злыми духами, которые обличают ее в различных грехах и стремятся низвести в ад. Таких мытарств 20. Их избегают лишь души праведников. В записной тетради Достоевского 1872—1875 гг. набросан замысел произведения, к которому писатель позднее возвращается и который отчасти осуществляет в «Братьях Карамазовых»: «Сороковины. Книга странствий. Мытарства 1 (2, 3, 4, 5, 6 и т. д.)». Об этом см. стр. 409—410.

С т р. 412. *— Не повинен! ∽ Хотел убить, но не повинен! Не я!* — Высказывалось предположение, что эти слова Мити, как и ситуация, которую они передают, в какой-то мере восходят к новелле Бальзака «Красная хар-

чевня» («L'auberge rouge», 1821), где также идет речь об обвинении и наказании невиновного. См. об этом: *Гроссман, Последний роман*, стр. 10—11.

Стр. 416. *Я ведь и сам поражен до эпидермы...* — Эпидерма (греч. ἐπί — на и δέρμα — кожа) — верхний слой кожи. Митя, употребляя иностранное слово, смысл которого он знает смутно, говорит противоположное тому, что хотел сказать.

Стр. 416. *...страдальцем благородства и искателем его с фонарем, с Диогеновым фонарем...* — Диоген Синопский (ок. 404—323 гг. до н. э.) — древнегреческий философ — киник. Согласно преданию, среди бела дня Диоген ходил с зажженным фонарем и на вопрос, зачем он делает это, отвечал: «Ищу человека». Этот исторический анекдот был упомянут Достоевским в «Селе Степанчикове и его обитателях» (см.: наст. изд., т. III, стр. 154).

Стр. 420. *...ведь упрячете же вы меня ∽ в смирительный ∽ хотя и без лишения прав, ведь без лишения прав, прокурор?* — Смирительный дом — здесь: тюрьма. См. также стр. 604, примеч. к стр. 178.

Стр. 423. *«Терпи, смиряйся и молчи»...* — Неточная цитата из стихотворения Тютчева «Silentium!» (1830?):

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои...

Стр. 423. *А черт, не надо! ∽ А черт! Не скрыл бы от вас, небось без него бы не обошлось...* — Ср. такая же игра со словом «черт» у Рабле (Rabelais, 1494—1553): «Я человек бедный, — отвечал Гимнаст, — бедный, как черт знает что. — А-а, ну если черт тебя знает, тогда я тебя пропущу, — рассудил Триппе, — потому черти и все их знакомые и родные ни податей, ни пошлин не платят» (Ф. Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1973, стр. 109). Ср. также: *Гр*, 1873, № 39, стр. 1056 («Последняя страничка»).

Стр. 441. — *О, не произносите имени ее всуе!* — Ср.: «Не произноси имени господа, бога твоего, напрасно» («Не приемли имене господа бога твоего всуе») — третья заповедь (Исход, гл. 20, ст. 7; Второзаконие, гл. 5, ст. 11).

Стр. 451. *...оказался чиновником двенадцатого класса в отставке, служил в Сибири ветеринаром...* — Двенадцатый класс по Табели о рангах — один из низших (см. выше, примеч. к стр. 406).

Стр. 458. *Но гром грянул.* — Имеется в виду поговорка: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Поясняя в письме к Н. А. Любимову от 16 ноября 1879 г. характер Мити, как он должен был окончательно наметиться в книге «Предварительное следствие», Достоевский говорил, что Митя «очищается сердцем и совестью под грозой несчастья и ложного обвинения. Принимает душой наказание не за то, что он сделал, а за то, что он был так безобразен, что мог и хотел сделать преступление, в котором ложно будет обвинен судебной ошибкой. Характер вполне русский: гром не грянет, мужик не перекрестится» (см. стр. 432).

Стр. 462. *...ветер «сухой и острый»...* — Цитата из стихотворения Некрасова «Перед дождем» (1846):

На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей сухой и острой
Набегает холодок.

Стр. 462. *...воспитанию этого своего нещечка...* — Нещечко (обл.) — здесь: сокровище, любимое существо.

Стр. 463. *...задать «экстрафеферу»...* — От нем. extra — особый и Pfeffer — перец, т. е. сильно распечь, дать хорошую взбучку.

Стр. 463. *...во время вакаций...* — Вакации (лат. vacatio — освобождение) — каникулы.

Стр. 465. *...«Кто основал Трою?»...* И далее: *Коля ж вычитал об основателях Трои у Смарагдова...*; см. также стр. 497: — *Трою основали Тевкр,*

Дардан, Иллюс и Трос, — разом отчеканил мальчик... — В «Кратком начертании всеобщей истории для первоначальных училищ» С. Н. Смарагдова (СПб., 1845) сведений об основателях Трои нет. В другом учебнике, принадлежавшем тому же автору (и тоже имевшемся в нескольких изданиях), в качестве основателей Трои (Илиона) названы Трой и сын его Ил (см.: С. Смарагдов. Руководство к познанию древней истории для средних учебных заведений. СПб., 1840, стр. 144).

Стр. 466. *...в то морозное и сиверкое ноябрьское утро...* — Сиверкое (обл.) — здесь: холодное с сыростью.

Стр. 470. — *Ох, дети, дети, как опасны ваши лета.* — Начало басни И. И. Дмитриева «Петух, кот и мышонок» (1802). В оригинале:

О дети, дети! как опасны ваши лета!

Возможно, что слова эти, как и басня в целом, по авторскому замыслу, скорее имеют отношение к самому Коле, чем к детям, которым они здесь адресованы. Литературные параллели к образу Коли Красоткина см.: *Гроссман, Последний роман*, стр. 27—28.

Стр. 470. *...ишь пупырь!* — В просторечии — наименование ребенка, то же, что пупырышек, прыщик.

Стр. 472. *...щеночка ему принесет, настоящего меделянского...* — Меделянские собаки — порода догов (от Mediolanum, латинского названия города Милан).

Стр. 473. *...а религия и все законы как кому угодно...* — Возможно, намек на название небольшого цикла М. Е. Салтыкова-Щедрина «Как кому угодно. Рассказы, сцены, размышления и афоризмы», впервые опубликованного в «Современнике» (1863, № 8). Название этого цикла было упомянуто Достоевским в резко полемическом контексте в «Записках из подполья» (1864). Достоевский возвращается к нему в черновых записях 1863 — 1864 гг.: «„Как кому угодно" 〈...〉 Учитесь, милые дети. Нет, не дается нигилизм г-ну Щедрину, не дается» и т. д. О цикле Щедрина «Как кому угодно...», полемике с ним в «Записках из подполья» и приведенной черновой записи см.: *Борщевский*, стр. 76 и сл.; Л. М. Розенблюм. Творческие дневники Достоевского, стр. 42—43.

Стр. 480. *...выдержать на фербанте...* — На фербанте (нем. Verbannung — изгнание, ссылка) — на расстоянии.

Стр. 483. *О, все мы эгоисты, Карамазов!* — Намек на теорию разумного эгоизма, развитую Н. Г. Чернышевским в романе «Что делать?» и популярную среди оппозиционно настроенной революционно-демократической молодежи.

Стр. 484. *...в рекреационное время...* — Рекреация (лат. recreatio — буквально: восстановление) — перемена, промежуток между уроками.

Стр. 493. *...выменял ему на книжку* ∽ *«Родственник Магомета, или Целительное дурачество». Сто лет книжке, забубенная, в Москве вышла...* — Коля говорит о книге: Родственник Магомета, или Целительное дурачество. Сочинение нравственное с приобщением гравированных фигур. Ч. I—II. Перевод с французского. Печатан с дозволения Управы благочиния. Иждивением С. Петрова. В Москве, в вольной типографии Пономарева, 1785 года. В этой книжке, рассказанной от лица героя — француза, волею случая попавшего в Константинополь, повествуется о его разнообразных любовных приключениях. Характеристика, которую дает книжке Коля, соответствует ее содержанию.

Стр. 495. *Мы отстали от народа — это аксиома* ∽ *Я верю в народ и всегда рад отдать ему справедливость...* — Коля повторяет, невольно пародируя, штампы демократической и либеральной печати 1860—1870-х годов, эпохи создания народнических теорий и массового хождения в народ.

Стр. 497. *...да и вообще всемирную историю не весьма уважаю* ∽ *Изучение ряда глупостей человеческих, и только.* — Ср. слова Т. Н. Грановского в одном из писем Герцену 1849 г.: «Жму вам обоим руку, обнимаю детей ваших. Учить их истории более не хочу, не стоит. Довольно им знать, что

это глупая, ни к чему не ведущая вещь» («Полярная звезда на 1859 г.», стр. 218).

Стр. 497. *Я уважаю одну математику и естественные...* — Слова Коли отражают увлечение естественными и точными науками, характерное для молодежи 1860—1870-х годов и получившее особенно сильный отзвук в статьях Д. И. Писарева (1840—1862). Ср. также рассуждения Герцена в «Былом и думах»: «Без естественных наук нет спасения современному человеку; без этой здоровой пищи, без этого строгого воспитания мысли фактами, без этой близости к окружающей нас жизни, без смирения перед ее независимостью — где-нибудь в душе остается монашеская келья и в ней мистическое зерно, которое может разлиться темной водой по всему разуменью» («Полярная звезда на 1856 г.», стр. 134).

Стр. 498. — *Классические языки ∽ это полицейская мера...* — Насаждение классических языков в гимназиях реакционным министром народного просвещения Д. А. Толстым (1823—1889) было продиктовано желанием оторвать учащуюся молодежь от современных запросов и растущего революционного движения. Вопрос о реальном и классическом образовании широко обсуждался в печати 1860—1870-х годов. Этому вопросу посвятил ряд страниц и журнал братьев Достоевских «Время» (см.: *Нечаева, «Время»*, стр. 125—154). В одной из своих работ «Чарльз Дарвин и его теория» М. А. Антонович, ссылаясь на авторитет Дарвина, писал о классических гимназиях: «Такой многосторонний и проницательный ум, какой был у Дарвина, и так высоко ценивший всякое дельное значение и всякое полезное техническое влияние, конечно, открыл бы хоть одну если не благодетельную, то хоть сносную сторону классицизма, если бы только она была в нем. Но ее не оказалось ⟨...⟩ Все убийственные подробности и мелочи синтаксиса, где можно или нельзя употребить такой-то оборот, где нужно употребить то, а не другое из двух однозначащих слов или форм, — все направлено к тому, чтобы ученик не мог погрешить против классической речи в своих произведениях на классических языках. Самое зубрение вокабул ведется с таким же умыслом ⟨...⟩ Бесплодность и бессмысленность такой системы очевидна для самых обыкновенных здравомыслящих людей и, вероятно, очевидна для самих защитников этой системы, которые, наверное, имеют какие-нибудь особенные умыслы и задние мысли и только потому горячо стоят за нее» (М. А. Антонович. Избранные философские сочинения. [М.], 1945, стр. 339). Вспоминая свои гимназические годы (конец 1860-х годов), Н. А. Чарушин пишет: «... в то время под влиянием прессы, страстно обсуждавшей вопросы о преимуществах классического и реального образования, мы почти все были на стороне последнего и отрицательно относились к классицизму и, в частности, к изучению латинского языка...» (Н. А. Чарушин. О далеком прошлом. Из воспоминаний о революционном движении 70-х годов XIX века. М., 1973, стр. 51). В спорах «реалистов» и «классиков» Достоевский оставался на стороне «классицизма», полагая, что узкое техническое образование недостаточно, чтобы формировать действительно образованного человека. В записной тетради 1872—1875 гг. он отмечает: «Там, где образование начиналось с техники (у нас реформа Петра), никогда не появлялось Аристотелей. Напротив, замечалось необычайное суживание и скудость мысли. Там же, где начиналось с Аристотеля (Renaissance, 15-е столетие), тотчас же дело сопровождалось великими техническими открытиями (книгопечатанье, порох)... и расширением человеческой мысли (открытие Америки, Реформация, открытия астрономические и проч.)». См. также: *ДП*, 1876, июль-август, гл. 3, § II.

Стр. 498. *...ведь классики все переведены на все языки ∽ вот это же самое, что я вам сейчас толковал про переведенных классиков, говорил вслух всему третьему классу сам преподаватель Колбасников...* — В статье «Школьный вопрос», публиковавшейся в ряде номеров «Голоса» за 1879 г., автор (В. Модестов) пишет: «Интересно то, что даже у самых горячих поклонников древних языков не хватало духа защищать их нынешнюю постановку в наших средних учебных заведениях. Но один молодой, даже очень молодой филолог пишет мне, что, по его мнению, древние языки должны быть совсем устранены из гимназической программы, а знакомство с классическими писателями мог-

ло бы быть получаемо в классах при помощи переводов, которыми будет снабжать Россию „центральный филологический институт", где древними языками занимались бы усиленным образом под руководством наилучших преподавателей» («Голос», 1879, 10 октября, № 280).

Стр. 499. *Я слышал, вы мистик и были в монастыре.* ∽ *Прикосновение к действительности вас излечит...* — По мнению Г. Чулкова, Достоевский в данном случае пародирует некоторые идеи Белинского, высказанные в «Письме к Н. В. Гоголю» (1847): «...Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности» (*Белинский*, т. X, стр. 213). См. об этом: Г. Чулков. Последнее слово Достоевского о Белинском. В кн.: Достоевский. (Сборник статей), стр. 68. Письмо Белинского к Гоголю Достоевский читал в кружке Петрашевского. Это обстоятельство следственная комиссия по делу петрашевцев поставила ему в особую вину. См. об этом: *Бельчиков*. Впоследствии Достоевский, исходя из своей «почвеннической» программы, не раз полемизировал с идеями, высказанными критиком в письме к Гоголю (см.: наст. изд., т. X, стр. 33—34, т. XII, стр. 289).

Стр. 499. *...бог есть только гипотеза* ∽ *и если б его не было, то надо бы его выдумать...* — Коля повторяет слова Вольтера (см. выше, примеч. к стр. 213—214).

Стр. 500. *... можно ведь и не веруя в бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в бога, а любил человечество?* — Рассуждения Коли — перифраза слов Белинского в «Письме к Н. В. Гоголю»: «... Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели Вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста...» (*Белинский*, т. X, стр. 214—215). В соответствии с последними словами Достоевский передает мысль критика устами гимназиста, приноравливая ее к его уровню понятий и психологическому восприятию. Ср.: Г. Чулков. Последнее слово Достоевского о Белинском, стр. 68.

Стр. 500. *Я, впрочем, «Кандида» читал, в русском переводе ... в старом, уродливом переводе, смешном...* — «Кандид, или Оптимизм» — философская повесть Вольтера (1759), высмеивающая философию оптимизма немецкого математика и философа Г.-В. Лейбница (Leibniz, 1646—1716). Об отношении Достоевского к Вольтеру см.: Л. П. Гроссман. «Русский Кандид». (К вопросу о влиянии Вольтера на Достоевского). *ВЕ*, 1914, № 5; A. Rammelmeyer. Dostojevskij und Voltaire. «Zeitschrift für slavische Philologie», 1958, Bd. XXVI, H. 2, S. 252—278, а также: наст. том, стр. 409—410.

Стр. 500. *Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист...* — По наблюдению Г. А. Бялого, Коля цитирует здесь слова А. И. Герцена из «Письма к императору Александру Второму», опубликованного в «Полярной звезде на 1855 г.», стр. 11—14: «Разумеется, моя хоругвь — не ваша, я неисправимый социалист...» (*Герцен*, т. XII, стр. 273).

Стр. 500. *...вам еще только тринадцать лет, кажется?* ∽ *не тринадцать, а четырнадцать, через две недели четырнадцать...* — Аналогичные объяснения между героями (взрослым и ребенком) происходят в повести Вс. Крестовского (1840—1895) «Бесенок» (1860), посвященной Достоевскому:

« — А теперь вам *только* четырнадцать? 〈...〉

— Мне? пятнадцатый!.. — защебетала она с достоинством, — то есть пятнадцать, потому что чрез полторы недели, даже меньше еще, пойдет шестнадцатый...

Замечательно, что все подрастающие дети всегда почти прибавляют себе год и даже два, а если говорят правду, то никогда не скажут просто: тринадцать или четырнадцать, но всегда с некоторым достоинством: четырнадцатый или пятнадцатый. Это почти общая черта» («Светоч», 1861, кн. 1, стр. 58). См. также ниже, стр. 588, примеч. к стр. 20. О Вс. Крестовском см.: наст. изд., т. V, стр. 362.

С т р. 500. *...христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?* — Коля здесь на своем языке гимназиста излагает слова Белинского в «Письме к Н. В. Гоголю»: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делаете? ⟨...⟩ Что Вы подобное учение опираете на православную церковь — это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма...» И дальше: «Церковь ⟨...⟩ явилась иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем и продолжает быть до сих пор» (*Белинский*, т. X, стр. 214). См. об этом: Г. Ч у л к о в. Последнее слово Достоевского о Белинском, стр. 68—69.

С т р. 500. *...я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам* ∾ *Это еще старик Белинский тоже, говорят, говорил.* — Белинский в «Письме к Н. В. Гоголю» писал: «... но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною, церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения ⟨...⟩ смысл учения Христа открыт философским движением прошлого века». И дальше: «Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, — тот носит Христа в груди своей...» (*Белинский*, т. X, стр. 214, 218). Такое отношение к евангельскому учению разделялось многими революционно настроенными молодыми людьми 1860—1870-х годов. Один из рядовых участников народнического движения Н. А. Чарушин (1852—1937), вспоминая ученические годы и настроения тогдашних своих друзей-гимназистов, пишет: «... наша официальная церковность скорее действовала на нас не в положительном смысле, а в отрицательном. И лишь евангельское учение импонировало нам, но не как божественное откровение, а как моральная доктрина, во многом совпадающая с усвоенными нами понятиями и принципами. Словом, общий характер тогдашней передовой литературы с преобладающим народническим направлением захватил нас, а потому служение обездоленному народу, поднятие его духовного и материального уровня, а вместе с тем и освобождение его от угнетающего его произвола становились символом нашей веры» (см.: Н. А. Ч а р у ш и н. О далеком прошлом, стр. 65). Г. Чулков сближает слова Коли со словами Белинского в разговоре с Достоевским, о котором последний вспоминал в «Дневнике писателя» (*ДП*, 1873, II, «Старые люди»):

«... Поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком ⟨...⟩ — Ну, не-е-ет! — подхватил друг Белинского ⟨...⟩, — ну, нет: если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал бы во главе его... — Ну да, ну да, — вдруг с удивительною поспешностью согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними» (Г. Ч у л к о в. Последнее слово Достоевского о Белинском, стр. 69; там же, стр. 71,77—78).

С т р. 501. *...место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал.* — В девятой статье о Пушкине Белинский гневно писал об ответе Татьяны Онегину: «Вот истинная гордость женской добродетели! Но я другому отдана — отдана, а не отдалась! Вечная верность — кому и в чем? Верность таким отношениям, которые составляют профанацию чувства и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освящаемые любовпю, в высшей степени безнравственны» (*Белинский*, т. VII, стр. 501). Ту же полемическую мысль Белинский еще раньше выразил в письме к В. П. Боткину от 4 апреля 1842 г., где говорил, что с тех пор, как Татьяна «хочет век быть верною своему генералу ⟨...⟩ ее прекрасный образ затемняется» (там же, т. XII, стр. 94). Анализируя в 1880 г. в речи о Пушкине характер Татьяны и причины ее отказа последовать за Онегиным, Достоевский, в отличие от Белинского, оценил решение пушкинской героини как проявление высокого нравственного чувства, которое не позволяет ей строить личное счастье на страдании других людей.

С т р. 501. *Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из отечества — низость, хуже низости — глупость. Зачем в Америку, когда и у нас*

можно много принести пользы для человечества? — Здесь, вероятно, имеется в виду роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», один из главных героев которого, Лопухов, эмигрирует в Америку. Об Америке и жизни в ней переселенцев много писалось в различных периодических и непериодических изданиях 1860—1870-х годов. Достоевский коснулся этой темы в «Бесах» (см.: наст. изд., т. X, стр. 111—112, 291). В «Дневнике писателя» за 1873 г. (XVI, «Одна из современных фальшей») Достоевский, повторив сообщение «Волжско-Камской газеты» о трех гимназистах третьего класса, собравшихся бежать в Америку, заметил: «Двадцать лет назад известие о каких-то бегущих в Америку гимназистах из 3-го класса гимназии показалось бы мне сумбуром ⟨...⟩ Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бежали раньше их и другие, а те потому, что бежали старшие братья и отцы их ⟨...⟩ Винить ли таких маленьких детей, этих трех гимназистов, если и их слабыми головенками одолели великие идеи о „свободном труде в свободном государстве" и о коммуне и об общеевропейском человеке; винить ли за то, что вся эта дребедень кажется им религией, а абсентеизм и измена отечеству — добродетелью?» В № 2 «Гражданина» за 1873 г. в разделе «Библиография» рекомендовалась книга Э. Циммермана «Соединенные Штаты Северной Америки. Из путешествий 1857—58 и 1869—70 годов» (М., 1873). Как факт, который особенно заинтересует русского читателя в этой книге, отмечалось большое и все увеличивающееся количество русских эмигрантов, переселяющихся в Америку (см.: *Гр*, 1873, № 2, стр. 55).

Стр. 501. *Я совсем не желаю попасть в лапки Третьего отделения и брать уроки у Цепного моста...* — III Отделение собственной его императорского величества канцелярии в Петербурге с 1838 г. помещалось у Цепного моста (ныне мост Пестеля), Фонтанка, 16. Здание сохранилось в перестроенном виде.

Стр. 501.

Будешь помнить здание
У Цепного моста!

— Коля цитирует первую часть стихотворения «Послания» («Из Петербурга в Москву»), опубликованного в «Полярной звезде»:

У царя, у нашего,
Верных слуг довольно,
Вот хоть у Тимашева
Высекут пребольно.
Влепят в наказание,
Так, ударов со сто,
Будешь помнить здание
У Цепного моста.

(«Полярная звезда на 1861 г.», кн. 6, стр. 214). См.: Г. В. Иванов. Из комментария к произведениям русских писателей. «Здание у Цепного моста». (Об источнике одной цитаты в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»). *РЛ*, 1972, № 3, стр. 183—184.

Вторая часть цитируемого Колей стихотворения («Из Москвы в Петербург»), опубликованная в «Полярной звезде» вслед за первой, иронически развивает ту же тему. Именно вторая часть стихотворения (а не его начало, которое цитирует Коля) была напечатана в № 221 «Колокола» от 1 июня 1866 г. в разделе «Смесь» (стр. 1812):

У царя, у нашего,
Все так политично,
Что и без Тимашева
Высекут отлично;
И к чему тут здание
У Цепного моста?
Выйдет приказание —
Отдерут и просто.

Опубликованное в «Полярной звезде» стихотворение в то время было широко известно и перепечатывалось в русских заграничных изданиях. Приведенный текст полностью воспроизведен, например, в «Лютне» (см.: Лютня. Собрание свободных русских песен и стихотворений, стр. 160—161). В последнем издании напечатан и другой вариант этого стихотворения под названием «Современная песня. Питер. Москва», где строки о «здании у Цепного моста» совпадают со строками первого варианта (см.: там же, стр. 190).

Стр. 501. *...у меня в отцовском шкафу всего только и есть один этот нумер «Колокола»...* — «Колокол» — революционная газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева, печатавшаяся в 1857—1867 гг. за границей и нелегально распространявшаяся в России. «Колокол» сыграл важнейшую роль в воспитании демократически настроенной прогрессивной русской интеллигенции.

Стр. 505. *— Сиракузы — это в Сицилии...* — Город Сиракузы расположен на юго-восточном побережье острова Сицилия. Путешествие в Италию, Францию, Швейцарию в лечебных целях нередко предписывалось врачами богатым пациентам, но оно требовало средств, которых не могло быть у Снегиревых. В записной тетради 1875—1876 гг. Достоевский для себя отмечает: «В „Нов⟨ом⟩ времени" о петербургс⟨ких⟩ чиновниках (гигиена из журн⟨ала⟩ „Здоровье")». Достоевский имел в виду заметку в «Новом времени», 1876 г., № 7 (6 марта), в которой излагается содержание статьи А. Зиссермана «О некоторых болезненных припадках, вызываемых службой чиновников, и о способах их предупреждения», опубликованной в журнале «Здоровье», 1876, № 34, стр. 103—105. «Автор, — пишет газета, — дает множество гигиенических советов: в карты не играть, табаку не курить, сидя не писать, летом путешествовать по Швейцарии, вино пить самое лучшее и т. д.». Выводы Зиссермана «основаны на легком недоразумении. Чиновники, имеющие средства, далеко не утомляют себя работою, а те, которые из-за куска насущного хлеба корпят по целым дням в канцеляриях, без сомнения, вышеозначенным гигиеническим советом не воспользуются» (см. об этом: *ЛН*, т. 83, стр. 502). В одном из очерков о Новой Земле В. Н.-Д. (В. И. Немировича-Данченко), опубликованном в «Гражданине», редактируемом Достоевским, автор иронически вспоминает «рецепт, данный одним гуманным доктором жалкому, оборванному и голодному пролетарию: „Если вы хотите спастись от чахотки, поезжайте в Италию, в Неаполь. Там самый воздух вылечивает"» (см.: *Гр*, 1873, № 19, стр. 568). Подобные «гигиенические советы» высмеивает в данном случае и Достоевский.

Стр. 507. *...похорони ты меня у нашего большого камня, к которому мы с тобой гулять ходили, и ходи ко мне туда с Красоткиным, вечером...* — Камень, о котором здесь и дальше идет речь, имеет символическое значение, как первый камень здания будущей гармонии, уже теперь закладываемого Алешей и мальчиками, его учениками.

Стр. 507. *Аще забуду тебе, Иерусалиме, да прильпнет...* — Стих из известного псалма, начинающегося словами «При реках Вавилона — там сидели мы и плакали...»: «Если я забуду тебя, Иерусалим, — забудь меня, десница моя; прильпни язык мой к гортани моей...» (псалом 136, ст. 5—6).

Стр. 6.* *Феня и ее мать, кухарка Грушеньки...* — В другом месте сказано, что кухарка Грушеньки приходилась Фене бабушкой (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 352).

Стр. 10. *Адвокат Фетюкович больше бы взял...* — Фамилия адвоката образована по созвучию с фамилией известного юриста, адвоката В. Д. Спасовича (1829—1906), с которым Достоевский резко полемизировал по поводу дела С. Л. Кронеберга (см. выше, стр. 553—554, примеч. к стр. 219, 220). О го-

---

* Здесь и ниже указаны страницы XV тома наст. изд.

порарах Спасовича Достоевский писал в записной тетради 1875—1876 гг. в связи с делом Овсянникова и др., обвинявшихся в умышленном поджоге для получения страховой субсидии: «А что Спасович взял с общества страхового. Ведь немало, наверно, Тургенев за „Дворянское гнездо" или Толстой за „Детство" и „Отрочество" взяли дешевле. А может, и за всё собрание-то сочинений взяли дешевле». В то же время образ Фетюковича имеет обобщающее, собирательное значение. Так, по мнению Л. П. Гроссмана, прототипом защитника в «Братьях Карамазовых» был не только Спасович, но и адвокат П. А. Александров (1836—1893), защищавший Веру Засулич 31 марта 1878 г. (см. об этом: *Гроссман, Последний роман*, стр. 24; Л. П. Гроссман. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов, стр. 102—103).

Стр. 13. *...дезабилье...* (франц. déshabillé) — Домашнее платье, которое обычно не носят при посторонних.

Стр. 13. *...в будуаре...* — Будуар (франц. boudoir) — небольшая дамская гостиная.

Стр. 14. *Вот здесь в газете «Слухи», в петербургской. Эти «Слухи» стали издаваться с нынешнего года...* — По предположению М. И. Тульского, высказанному в дипломной работе «Пушкинские торжества в 1880 году» (ЛГУ, 1969), Достоевский пародирует название и содержание некоторых статей газеты «Молва», которая издавалась в Петербурге в 1879—1881 гг. Насмешки Достоевского могли быть вызваны полемическими выпадами этой газеты против его речи о Пушкине.

Стр. 15. *«Из Скотопригоньевска (увы, так называется наш городок...* — В обрисовке Скотопригоньевска сказались впечатления Достоевского от разных провинциальных городков России, главным образом — от Старой Руссы. См. об этом: *Рейнус*, стр. 53—63, а также: наст. том, стр. 453—455.

Стр. 15. *Извещалось лишь, что преступник ∾ отставной армейский капитан, нахального пошиба, лентяй и крепостник ∾ Игривая корреспонденция эта, как и следует, заканчивалась благородным негодованием насчет безнравственности отцеубийства и бывшего крепостного права.* — Пародия на сенсационные известия и обличительные штампы в корреспонденциях газет и журналов либерального направления 1860—1870-х годов. См. об этом: В. С. Дороватовская-Любимова. Достоевский и шестидесятники..., стр. 33—34. Ряд литературных параллелей к образу Ракитина-журналиста приводит Л. П. Гроссман (см.: *Гроссман, Последний роман*, стр. 26—27, а также: Л. П. Гроссман. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов, стр. 104—107).

Стр. 16.

Эта ножка, эта ножка
Разболелася немножко...

— См. ниже, стр. 589, примеч. к стр. 30.

Стр. 17. *Вашему Пушкину за женские ножки монумент хотят ставить...* — Еще в 1862 г. в печати был поднят вопрос о памятнике Пушкину. Подписка на памятник была открыта в 1871 г., в связи с чем появился ряд статей в газетах и журналах. «Гражданин», редактируемый Достоевским, поместил на своих страницах несколько заметок о проектах московского памятника поэту (см.: *Гр*, 1873, № № 14, 17 и др.). Открытие памятника состоялось 6 июня 1880 г. и сопровождалось праздничными торжествами. 8 июня, на втором публичном заседании Общества любителей российской словесности, Достоевский произнес свою речь о Пушкине (см.: *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 301—302; Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., 1966, стр. 78—79).

Стр. 17. *— Судебный аффект. Такой аффект, за который всё прощают.* — Аффект — болезненное душевное потрясение, при котором человек лишается способности осознания своих действий и самообладания. По уголовному праву пореформенной России ссылка па аффект служила обстоятельством, снижающим наказание или устраняющим его вовсе, если состояние аффекта означало полную невменяемость. В процессах 1860—1870-х годов, за которыми

Достоевский внимательно следил, защита нередко указывала на аффект для смягчения или отмены обвинительного приговора. Злоупотребление этими указаниями вызывало протесты Достоевского-публициста. Однако и сам он ссылался на аффект, защищая Корнилову, молодую женщину, которая в болезненном состоянии выбросила из окна четвертого этажа свою шестилетнюю падчерицу, и добился пересмотра и благополучного исхода ее дела (см. об этом: *ДП*, 1876, май, гл. 1, § V; октябрь, гл. 1, § I; 1877, апрель, гл. 2; декабрь, гл. 1, § 1).

Стр. 19. *Фраппировало* (франц. frapper — ударять) — поразило.

Стр. 20. *Монструозно* (франц. monstrueux) — чудовищно.

Стр. 20. *Бесенок.* — Название этой главы перекликается с названием повести Вс. Крестовского «Бесенок» (см. выше, стр 583, примеч. к стр. 500). В центре внимания Крестовского здесь также находится анализ противоречивой психологии и сознания девочки-подростка.

Стр. 22. *Вы умеете кубари спускать?* — Кубарь — то же, что и волчок.

Стр. 22. *Есть даже дети, лет по двенадцати, которым очень хочется зажечь что-нибудь...* — Достоевский вспоминает дело Ольги Умецкой, вызвавшее в 1860-х годах самое пристальное его внимание и отразившееся в творческой истории романа «Идиот». См. об этом: наст. изд., т. IX, стр. 340—342.

Стр. 24. — *Вот у меня одна книга ∽ а потом распял на стене...* — Как было отмечено Гроссманом, Достоевский в данном случае пользуется материалами реакционной печати, в частности «сведениями об убийстве евреями христиан», которые печатал «Гражданин». См. об этом: *Гроссман, Последний роман,* стр. 30—32; Л. П. Гроссман. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов, стр. 110—114.

Стр. 26. *...пропал, как швед, от пьянства и беспорядка!* — Часть поговорки: «Пропал, как швед под Полтавой».

Стр. 26. *В последний год старик как раз засел за апокрифические евангелия...* — Апокрифические евангелия — повествования о жизни Христа, не признаваемые церковью.

Стр. 27. *Эфика. Это что такое эфика?* — Имеется в виду этика (или, устар., ифика, греч. ἔθος — обычай) — учение о нравственности.

Стр. 28. *...Клод Бернар. Это что такое?* — Бернар, Клод (Bernard, 1813—1878) — французский естествоиспытатель, физиолог и патолог. По своим философским убеждениям сторонник позитивизма. Особое значение придавал эксперименту, полагая, что только таким путем вырабатываются точные знания. К. Бернара, среди прочего, интересовала деятельность центральной нервной системы, он стремился найти общие принципы, равно руководящие жизнью животных и растений. В его лаборатории работали русские ученые, в том числе и И. М. Сеченов (1829—1905). Труды Бернара были хорошо известны в России, и в 1860—1870-е годы они не раз переводились на русский язык. Одна из основных его работ — «Введение в изучение экспериментальной медицины» — в 1866 г. была переведена Н. Н. Страховым. Имя Бернара как авторитетного ученого одобрительно упоминает Н. Г. Чернышевский в романе «Что делать?» (глава 5 «Новые лица и развязка», III). Идеи Бернара имели большое значение для теории экспериментального романа Э. Золя (1840—1902). О Бернаре, Золя и Достоевском см.: Б. Г. Реизов. Борьба литературных традиций в «Братьях Карамазовых». В кн.: *Реизов*, стр. 148—158.

Стр. 28. *...де мыслибус non est disputandum.* — Перефразировка известного латинского изречения: De gustibus non est disputandum (О вкусах не спорят).

Стр. 29. *«Все, говорит, так теперь пишут, потому что такая уж среда»...Среды боятся.* — См. выше, стр. 538, примеч. к стр. 69.

Стр. 29. *«В первый раз, говорит, руки мараю, стихи пишу, для обольщения значит, для полезного дела. Забрав капитал у дурищи, гражданскую пользу потом принести могу».* — Отголосок полемики Достоевского 1860-х годов с теорией утилитаризма в эстетике (Г. -бов и вопрос об искусстве.

«Время», 1861, № 2). См. об этом: В. С. Дороватовская-Любимова. Достоевский и шестидесятники..., стр. 18.

Стр. 30. *Уж какая ж эта ножка ∽ Чтоб головка понимала.* — Стихи Ракитина вызваны пародией «Обличительного поэта» (Д. Д. Минаева, 1835—1889) на стихотворение Пушкина о Петербурге («Город пышный, город бедный...», 1828):

Я от ножек сам в угаре
И за них-то ноет грудь:
Ведь на наших тротуарах
Их легко себе свихнуть...

Стихи Ракитина являются ответом Достоевского на пародию Минаева, причем объектом насмешки здесь становятся сами «обличительные поэты». См. об этом: В. С. Дороватовская-Любимова. Достоевский и шестидесятники..., стр. 17—18.

Стр. 30. *Что же мне о смердящем этом псе говорить ∽ Не хочу больше о смердящем, сыне Смердящей!* — Выражения, употребленные здесь Митей, возможно, восходят к некоторым вариантам народного стиха о богатом и убогом Лазаре. Ср., например:

...Ах ты смердин, смердин, смердящий ты сын,
Да как же ты смеешь к окну подходить?
Да как же ты смеешь братом называть?

(П. И. Якушкин. Русские песни. СПб., 1860, стр. 45).

Стр. 32. «*Ты ∽ о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась ∽ Я ему на это ∽ сам еще на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку*». — По-видимому, ответ на критику речи Достоевского о Пушкине в газете «Молва», которая писала: «Если, вращаясь в атмосфере полицейского участка, мы можем помышлять об уничтожении „европейской тоски" и за обедом Московской думы примиряться с тем, что „наша земля нищая в экономическом отношении"; если мы помышляем теперь о том, какой „исход указать" Европе, а не о том, как бы нам самим избавиться от гнетущей тоски, как бы освободить и окрылить полную умственную работу, прекратить насильственное вторжение в сферу совести; если мы не заботимся по крайней мере о том, чтобы хотя цены на мясо не делали его малодоступным даже для среднего класса населения и четверть пшеницы не достигала 17 рублей, — то какого же добра ждать от оживления „добрых чувств", которым служила муза чествуемого поэта?» (Что же дальше? «Молва», 1880, 10 июня, № 161). См. выше, стр. 587, примеч. к стр. 14.

Стр. 33. *До конца отплатит, последний кодрант. Не хочу ее жертвы!* — Кодрант — мелкая медная римская монета. Слова героя напоминают следующие стихи из Нагорной проповеди: «... если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта» (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 23—26). Евангельская параллель подчеркивает гордыню Катерины Ивановны, «надрыв» в той жертве, которую она собирается принести (и затем на суде приносит).

Стр. 33. *...Цезаря не замарает!* — Гай Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. э.) — древнеримский государственный деятель, полководец и писатель. Имя Цезаря здесь употреблено в значении: великий человек.

Стр. 52. *...ведь убей они, то тогда всех прав дворянства лишатся, чинов и имущества, и в ссылку пойдут-с.* — См. ниже, стр. 604, примеч. к стр. 178.

Стр. 59. *...а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным...* — Смердяков уже называл себя «слугой Личардой», но по отношению к Мите (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 245). Ирония сказанного здесь заключается в том, что литературный прообраз Смердякова «любезный слуга Личарда» из повести о Бове-Королевиче также одинаково «верно» служил и королю Гвидону, и его злой жене Милитрисе Кирбитовне, когда та задумала своего мужа убить.

Стр. 61. *Подробности, главное подробности.* — Как указывает А. Г. Достоевская, это «любимое выражение Федора Михайловича, если он был чем-либо заинтересован» (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 69).

Стр. 69. *...дотащить мужика в частный дом...* — Частный дом — полицейский участок.

Стр. 69. *Я не доктор, а между тем чувствую, что пришла минута, когда мне решительно необходимо объяснить хоть что-нибудь в свойстве болезни Ивана Федоровича...* — Достоевский писал Н. А. Любимову 10 августа 1880 г. о том, что по поводу болезни и галлюцинаций Ивана «справлялся с мнением докторов (и не одного)». Уже после окончания романа в письме к А. Ф. Благонравову от 19 декабря 1880 г. Достоевский высказал желание «разъяснить» кошмар и болезнь Ивана в «будущем „Дневнике"». По мнению В. Чижа, доктора медицины, «психиатр может читать эту главу как часть истории болезни, составленной умелой рукой» (В. Чиж. Достоевский как психопатолог. М., 1885, стр. 18).

Стр. 70. *Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен...* — В сниженном изображении черта в «Братьях Карамазовых» можно видеть известную традицию, восходящую к «Ночи перед рождеством» Гоголя (1832) и «Сказке для детей» Лермонтова (1842). См. об этом: А. Л. Бем. «Фауст» в творчестве Достоевского. В кн.: O Dostojevském. Sborník statí a materiálů. Praha, 1972, s. 194—195.

Стр. 71. *...в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные ∽ Тот свет и материальные доказательства, ай-люли!* — В статьях 1876 г. по поводу спиритизма Достоевский развивал подобные мысли от своего имени: «...в мистических идеях даже самые математические доказательства — ровно ничего не значат 〈...〉 Вера и математические доказательства — две вещи несовместимые. Кто захотел поверить — того не остановите» (*ДП*, 1876, март, гл. 2, § III; см. также: апрель, гл. 2, § III).

Стр. 71. *Фома поверил...* — См. выше, стр. 526—527, примеч. к стр. 25.

Стр. 71. *Вот, например, спириты... я их очень люблю...* — Об отношении Достоевского к спиритизму см.: наст. изд., т. XII, стр. 293. Достоевский присутствовал на спиритическом сеансе 14 февраля 1876 г. (см.: *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 245) и несколько раз полемизировал со сторонниками спиритизма в «Дневнике писателя» (см.: *ДП*, 1876, январь, гл. 3, § II; март, гл. 2, § III; апрель, гл. 2, § III). Записные тетради Достоевского 1875—1876, 1876—1877 гг. содержат многочисленные замечания на ту же тему. См. также: И. Л. Волгин, В. Л. Рабинович. Достоевский и Менделеев; антиспиритический диалог. «Вопросы философии», 1971, № 11, стр. 103—115.

Стр. 74. *Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto.* — Перефразировка стиха из комедии Теренция (Publius Terentius Afer, ок. 185—159 гг. до н. э.) «Самоистязатель» («Heauton timorumenos», поставлена в 163 г. до н. э.), акт 1, сцена 1, ст. 25: «Homo sum, humani nihil a me alienum puto» («Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо»).

Стр. 74. *...иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность ∽ что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит...* — В художественном методе Л. Н. Толстого современников поражало обилие деталей, разного рода «подробностей» внешней и внутренней жизни людей. Сопоставляя художественные методы крупнейших русских романистов, Гончарова, Л. Толстого и Достоевского, Вл. Соловьев (по-видимому, не без учета оценок и высказываний последнего) писал: «Что же касается до Л. Толстого, то все его произведения отличаются 〈...〉 мастерством в детальной живописи, ярким изображением всяческих подробностей в жизни

человека и природы, главная же его сила в тончайшем воспроизведении механизма душевных явлений. Но и эта живопись внешних подробностей, и этот психологический анализ являются на неизменном фоне готовой, сложившейся жизни, именно жизни русской дворянской семьи ⟨...⟩ В этом неподвижном мире все ясно и определенно, все установилось ⟨...⟩ Совершенно противоположный характер представляет художественный мир Достоевского. Здесь все в брожении, ничто не установилось, все еще только становится...» (Вл. Соловьев. Три речи в память Достоевского, стр. 191—192). Об отношении Достоевского к Л. Толстому см.: А. Л. Бем. У истоков творчества Достоевского (в кн.: *О Достоевском,* вып. III); Б. И. Бурсов. Толстой и Достоевский. «Вопросы литературы», 1964, № 2, стр. 66—92; Н. Н. Арденс. Достоевский и Толстой. М., 1970; К. Н. Ломунов. Достоевский и Толстой. В кн.: *Достоевский — художник и мыслитель,* стр. 462—522; а также: наст. изд., т. I, стр. 497; т. IX, стр. 502, 508—509. Рассуждение о снах, имеющих столь полное сходство с действительностью, что «их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев», Достоевский вводит в текст «Преступления и наказания» (наст. изд., т. VI, стр. 45—46).

Стр. 75. *...в воде-то этой, яже бе над твердию...* — Цитата из Библии: «И создал бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал бог твердь небом» (Бытие, гл. 1, ст. 7—8).

Стр. 75. *...Гатцук внесет в календарь...* — А. А. Гатцук (1832—1891) в 1870—1880-е годы издавал в Москве «Газету А. Гатцука. Политико-литературную, художественную и ремесленную» и «Крестный календарь» на предстоящий год с еженедельным иллюстрированным приложением.

Стр. 75—76. *Ты ∾ решительно ждешь от меня чего-то великого, а может быть, и прекрасного;* см. также стр. 81: *...не требуй от меня «всего великого и прекрасного»...* — Выражение из «Разбойников» Ф. Шиллера. Франц Моор говорит отцу о Карле: «Пылкий дух, который бродит в мальчике, говаривали вы всегда, который заставляет его сочувствовать всему великому и прекрасному...» (действие 1, сцена 1; см.: Шиллер. Драматические сочинения в переводах русских писателей, т. III, стр. 6—7).

Стр. 76. *Совсем, совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор ∾ я вам, скажет, только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, это не моя специальность...* — Вариация мотива из философской повести Вольтера «Задиг, или Судьба» (1748): «...нарыв, образовавшийся на раненом глазу, возбуждал серьезные опасения. Послали даже в Мемфис за великим врачом Гермесом, который приехал с многочисленной свитой. Он осмотрел больного, объявил, что тот потеряет глаз, и предсказал даже день и час этого злополучного события. „Будь это правый глаз, — сказал врач, — я бы его вылечил, но раны левого глаза неизлечимы". Весь Вавилон сожалел о судьбе Задига и удивлялся глубине познаний Гермеса. Два дня спустя нарыв прорвался сам собою, и Задиг совершенно выздоровел» (Вольтер. Задиг, или Судьба. Восточная повесть. В кн.: Вольтер. Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести, стр. 329). В записной тетради Достоевского 1875—1876 гг. замечено: «Специализация докторов, так что не знаешь, кого позвать полечиться...» И далее: «Специальности врачей, специализировались, — один лечит нос, а другой переносицу. У одного всё от болезни матки».

Стр. 76. *...мальц-экстракт...* — Солодовый экстракт, употребляемый в диетических целях.

Стр. 76. *...«я ведь тоже разные водевильчики».* — Слова Хлестакова из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836; действие 3, явление 6): «Да меня уже везде знают. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики... Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге» (*Гоголь,* т. IV, стр. 48).

Стр. 77. *...надо, чтоб «осанна»-то эта переходила через горнило сомнений...* — Эти слова Достоевский повторяет в записной тетради 1880—1881 гг., собираясь возражать одному из своих критиков: «Инквизитор и глава

о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне хотя и научно, но не столь высокомерно по части философии, хотя философия и не моя специальность. И в Европе такой силы атеистических *выражений* нет и *не было.* Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое *горнило сомнений* моя *осанна* прошла, как говорит у меня же, в том же романе, черт». См. стр. 484—485.

Стр. 77. *Je pense donc je suis...* — Афоризм, принадлежащий французскому философу Р. Декарту (Descartes, 1596—1650). В «Рассуждении о методе» (1637; часть четвертая) эти слова служат одним из основных положений, на которых строится рационалистическая философия этого ученого.

Стр. 78. *...у нас ведь тоже есть такое одно отделение...* — Намек на III Отделение собственной его императорского величества канцелярии — орган политического сыска и следствия, созданный Николаем I в 1826 г. и упраздненный в 1880 г. Достоевский познакомился с деятельностью III Отделения, будучи привлеченным по делу Петрашевского.

Стр. 78. *...«всё отвергал, законы, совесть, веру»...* — Слова Репетилова из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие 4, явление 4).

Стр. 78. *Это тоже от вас завелось, от «смягчения ваших нравов».* — Вопрос о том, происходит ли постепенное «смягчение нравов» (словосочетание, в XIX в. уже ставшее штампом) в связи с прогрессом человечества, развитием наук, ремесел и искусства, чрезвычайно занимал французских просветителей XVIII в. В отличие от Руссо Вольтер отвечал на него положительно. К благам, которыми обладают современные нации (писал он, например, в «Рассуждении о древней и новой трагедии»), следует «причислить и процветание изящной словесности, благодаря которому мало-помалу смягчились жестокие и грубые нравы наших северных народов и мы можем ныне гордиться нашей цивилизованностью, нашими усладами и нашей славой» (см.: Вольтер. Эстетика. М., 1974, стр. 100).

Стр. 78. *...пророка Ионы, будировавшего во чреве китове три дня и три ночи...* — Согласно библейскому рассказу, пророк Иона по велению бога должен был отправиться в Ниневию и проповедовать там, убеждая людей не делать зла. Но Иона ослушался и, убегая «от лица господня», сел на корабль, отплывавший в другую страну. Когда корабль был в пути, на море поднялась буря, и только после того, как корабельщики бросили Иону в волны, «утихло море от ярости своей». Тогда по воле бога большой кит поглотил Иону, «и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи» (Книга пророка Ионы, гл. 2, ст. 1).

Стр. 79. *Как тысячи вещей припоминаются иногда бессознательно, даже когда казнить везут...* — Отражение собственного опыта писателя, когда он, привлеченный по делу Петрашевского, был приговорен к смертной казни (1849). См., например, в «Преступлении и наказании» (наст. изд., т. VI, стр. 60); «Идиоте» (наст. изд., т. VIII, стр. 56).

Стр. 80. *...в «отцы пустынники и в жены непорочны» пожелаешь вступить...* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...» (1836), являющегося поэтическим переложением молитвы Ефрема Сирина (IV в.).

Стр. 80. *...как говорит актер Горбунов.* — И. Ф. Горбунов (1831—1896) — актер, писатель, талантливый рассказчик-импровизатор. Его устные миниатюры пользовались неизменным успехом. Будучи лично знаком с И. Ф. Горбуновым, Достоевский участвовал вместе с ним в литературных чтениях (об одном из таких чтений 16 декабря 1879 г. вспоминает А. Г. Достоевская: *Достоевская, А. Г. Воспоминания*, стр. 340) и встречался с ним по воскресеньям у А. С. Суворина осенью 1880 г. Достоевский высоко ценил художественный дар Горбунова. В черновых заметках к первой главе «Дневника писателя», январь, 1876 г. («Елка в клубе художников») Достоевский писал: «Он ⟨Горбунов, — *Ред.*⟩ замечательно талантливый артист, и все это знают, но мне всегда казалось, что его хоть и ценят как артиста, но всё еще мало ценят как литератора-художника. А он стоит того; у него в его сценах много чрезвычайно тонких и глубоких наблюдений над русской душой и над русским народом...» Как вспоминает А. И. Суворина, «особенно любил

Ф. М. слушать роль генерала Дитятина и смеялся как ребенок...» (см.: Достоевский в воспоминаниях А. И. Сувориной. В кн.: *Достоевский и его время,* стр. 300). Во время пушкинских праздников, 7 июня 1880 г., на обеде, данном Обществом любителей российской словесности, И. Ф. Горбунов выступил от имени своего героя, «„генерала Дитятина", обиженного, что „чествуют какого-то Пушкина, человека штатского, небольшого чина, а он, генерал Дитятин, даже не приглашен"» (Д. Н. Любимов. Из воспоминаний. В кн.: *Достоевский в воспоминаниях,* т. II, стр. 368).

Стр. 81. «*...потеряв нос, вы тем самым всё же как бы остались с носом*»... — В основе этого анекдота лежат, по-видимому, стихи эпиграммы Пушкина (1821):

Лечись — иль быть тебе Панглосом,
Ты жертва вредной красоты —
И то-то, братец, будешь с носом,
Когда без носа будешь ты.

Стр. 81. *Что же до исповедальных этих иезуитских будочек, то это воистину самое милое мое развлечение в грустные минуты жизни.* — «В 1783 году, — пишет исследователь, — инквизицией был издан особый указ „в целях искоренения злоупотреблений, допускаемых духовенством против нравственности". Указ предусматривал, что „женщина может исповедоваться только в изолированной ⟨от исповедника, — *Ред.*⟩ исповедальне с отдельным входом, причем духовник должен сообщаться с ней только через решетку, устроенную так, чтобы неумышленно или намеренно духовник не мог коснуться ее ног, а равно она его ног. Решетка должна быть такой, чтобы через нее нельзя было просунуть палец и тем паче руку". Если же дама совершает обряд в своей домовой церкви, где не имеется исповедальни, то „двери во время исповеди должны оставаться открытыми, и вход должен быть свободен для всех членов семьи и других лиц". Уж если предпринимались такие меры предосторожности, значит, были основания к тому, чтобы беспокоиться за судьбу женщин, приходивших на исповедь» (Л. И. Емелях. Происхождение христианского культа, стр. 139). Любовные плутни священников и монахов-исповедников — традиционный мотив средневековых фаблио, антиклерикальной новеллистики Возрождения и более позднего времени. Об одном из иезуитских исповедников, Жираре (ок. 1680—1733), который, пользуясь своим высоким положением, занимался развращением своих «духовных дочерей», упоминает Вольтер в песни второй «Орлеанской девственницы» (см.: Вольтер. Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести, стр. 47). В записной тетради Достоевского 1864 г. встречается заметка: «Католицизм (сила ада). Безбрачие, отношение к женщине на исповеди. Эротические болезни. Есть тут некоторая тонкость, которая может быть постигнута только самым подпольным постоянным развратом (Marquis de Sade)».

Стр. 81. *Вот тебе еще один случай, совсем уж на днях.* ~ *слышу, патер в дырочку ей назначает вечером свидание...* — Случай, рассказанный здесь чертом, близок эпизоду исповеди из пятой песни «Войны богов» Парни (Parny, 1753—1814):

«К таинству другому
Я перейду, не менее святому.
То — исповедь. Секрет я сохраню;
Не лги, ответь: ты много ли грешила?
Что за грехи, признайся, совершила?»
«Мои грехи — особые грехи,
Их угадать нетрудно вам, хи-хи!»
«Так, понял я: Венерины забавы.
А сколько раз?» — «Да не считала я».
«Ну, круглым счетом?» — «Десять тысяч».
— «Право?

Не хвастайся! Как добрый судия,
Absolvo te — грехи тебе прощаю,
Эпитимью за них я налагаю:
Со мною точно так же согреши!»

(Э. П а р н и. Война богов. Поэма в десяти песнях с эпилогом. Л., 1970, стр. 83—84). Ср. подобный эпизод в стихотворении «Капуцин» (с итальянского) В. Н.-Д. (В. И. Немировича-Данченко): *Гр*, 1873, № 33, стр. 900.

С т р. 81. *Ça lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine!* — Острота восходит к эпиграмме на известную французскую актрису Ж.-К. Госсен (Gaussin, 1711—1767):

Tendre Gaussin, quoi! si jeune et si belle,
Et votre cœur cède au premier aveu!
— Que voulez-vous, cela leur fait, dit-elle,
Tant de plaisir et me coûte si peu.

(Нежная Госсен, как! Так молода и так прекрасна, и ваше сердце уступило первому признанию! — Что же вы хотите, это доставило ему такое удовольствие, а мне стоило так мало).

С т р. 81. *...злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, «гремя и блистая», с опаленными крыльями...* — Ср. апокрифическое «Сказание о Моисее»: «Смотри ж, жидовине, како ти обита въ ня богъ, не гремя, ни блистая, якоже въ Синаи, но тихостию, обожнвъ собою человѣчьство» (Памятники старинной русской литературы, издаваемые Гр. Кушелевым-Безбородко, вып. 3, стр. 48).

С т р. 81—82. *Я вот думал ∽ для шутки предстать в виде отставного действительного статского советника, служившего на Кавказе, со звездой Льва и Солнца на фраке.* — Действительный статский советник — один из высших гражданских чинов в дореволюционной России; принадлежал по Табели о рангах к четвертому классу. Орден Льва и Солнца — персидский орден, которым иногда награждались русские чиновники на Кавказе. Ср. позднейший рассказ А. П. Чехова «Лев и солнце» (1887).

С т р. 82. *...а не прицепил по крайней мере Полярную звезду али Сириуса.* — Полярная звезда — шведский орден. Здесь — игра словами. Говоря о Полярной звезде, черт намекает на литературный альманах декабристов, издававшийся в 1823—1825 гг. К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым, и на «Полярную звезду» — литературный и общественно-политический сборник А. И. Герцена и Н. П. Огарева, выходивший в 1855—1862 и 1869 гг. за границей. Говоря о Сириусе, черт, по-видимому, намекает на Вольтера. Герой философской повести Вольтера «Микромегас» (1752) является «обитателем Сириуса». Смысл этой насмешки в том, что Иван напрасно предполагал в своем собеседнике некоего революционера и бунтовщика. На самом деле черт придерживается самых консервативных убеждений.

С т р. 82. *Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро.∽ любит истину и искренно желает добра.* — Имеются в виду слова Мефистофеля в сцене 3 трагедии Гете «Фауст», которые в переводе Н. А. Холодковского звучат так:

Частица силы я,
Желавшей вечно зла, творившей лишь благое.

(Г е т е. Собрание сочинений в переводах русских писателей, т. II. «Фауст», стр. 44). Слова Мефистофеля, на которые указывает здесь черт, приведены Достоевским и в повести «Кроткая» (*ДП*, 1876, ноябрь, гл. 1). В записной тетради 1876—1877 гг. Достоевский замечает: «Какая разница между демоном и человеком? Мефистофель у Гете говорит⟨...⟩ на вопрос Фауста, кто он такой: „Я часть той части целого, которая хочет зла, а творит добро". Увы! Человек мог бы отвечать, говоря о себе совершенно обратное: „Я часть той части целого, которая вечно хочет, жаждет, алчет добра, а в результате его деяний — одно лишь злое"».

С т р. 82. *Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника...* — Слово здесь: Христос. По евангельскому преданию, он был распят между двумя разбойниками. Один из них, уже будучи на кресте, хулил Иисуса, другой же попросил: «... помяни меня, господи, когда приидешь в царствие твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю» (Евангелие от Луки, гл. 23, ст. 42—43).

С т р. 82. *...я слышал радостные взвизги херувимов ᔕ и громовый вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и всё мироздание.* — Когда Иисус «испустил дух» свой, «завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись» (Евангелие от Матфея, гл. 27, ст. 50—52; см. также: от Луки, гл. 23, ст. 44—45; от Марка, гл. 15, ст. 38). Херувимы (др.-евр. kerūbim) и серафимы (др.-евр. serāphim) — ангелы, занимающие высшее место в небесной иерархии. Объясняя названия этих ангелов, Псевдо-Дионисий Ареопагит говорит: «...*наименование серафимов* 〈...〉 означает или *пламенеющих,* или *горящих,* а название *херувимов — обилие познания* или *излияние мудрости*» (Д и о н и с и й А р е о п а г и т. О небесной иерархии. М., 1839, стр. 25).

С т р. 82. *...я не завидую чести жить на шаромыжку, я не честолюбив.* — Жить на шаромыжку — жить на чужой счет.

С т р. 82. *...чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время оно!* — См. выше, стр. 565, примеч. к стр. 264.

С т р. 83. *...эта «осанна»-то в небе ᔕ Затем сейчас этот саркастический тон à la Гейне...* — По предположению В. Л. Комаровича, здесь, в частности, имеется в виду стихотворение Г. Гейне «Мир» (см. выше, стр. 558, примеч. к стр. 227; В. К о м а р о в и ч. Достоевский и Гейне, стр. 104).

С т р. 83. *— Ну, а «Геологический-то переворот»? Помнишь?* — Мысль о нравственном перевороте, подобном геологическим, могла быть, в частности, навеяна Ренаном, который писал: «Хотя наши принципы позитивной науки не мирятся с мечтами, проповедуемыми Иисусом, хотя мы знаем историю земли, знаем, что перевороты вроде тех, которые ожидались Иисусом, могут происходить лишь от геологических или астрономических причин и не имеют никакой связи с моральными благами, но, чтобы быть справедливыми относительно великих реформаторов, не надо останавливаться на предрассудках, которые они могли разделять» (Э. Р е н а н. Жизнь Иисуса. Изд. 3-е. СПб., [б. г.], стр. 47—48).

С т р. 83. *...разрушить всё и начать с антропофагии.* — См. выше, стр 536, примеч. к стр. 65.

С т р. 83. *Люди совокупятся, чтобы взять от жизни всё, что она может дать, но непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире.* — Картина счастья людей на земле и без бога не раз представлялась сознанию героев Достоевского. В «Подростке» такую картину рисует Версилов (см.: наст. изд., т. XIII, стр. 375). Ср. исповедь Ставрогина: наст. изд., т. XI, стр. 21—22. По мнению В. Л. Комаровича, рассуждение Версилова и его вариант — «поэмка» Ивана «Геологический переворот» — восходят к стихотворению Г. Гейне «Мир» (см.: В. К о м а р о в и ч. Достоевский и Гейне, стр. 104). Ср. также: *ДП*, 1877, апрель, гл. 2, «Сон смешного человека».

С т р. 83. *Но так как, ввиду закоренелой глупости человеческой...* — Насмешка над рационалистическими теориями, согласно которым все несчастье людей заключается в их непросвещенности и непонимании истинной выгоды. Развернутую полемику с теориями такого типа, в частности с Чернышевским («Что делать?»), Достоевский предложил в «Записках из подполья».

С т р. 84. *...вспомнил Лютерову чернильницу!* — Вождь Реформации в Германии Мартин Лютер (Luther, 1483—1546) верил в существование дьявола. «По мнению его, дьявол вмешивается во все: он изменяет ход природы, причиняет болезни и несчастия; но всего более мутит души людей, вселяя в них сомнения, дурные мысли и уныние. Лютер рассказывал, что сам видел дьявола в виде свиньи или блуждающих огней, что в Вартбурге ему чудилось, что дьявол грызет орехи и бросает скорлупу на его постель» (Е. Л и х а -

ч е в а. Европейские реформаторы. СПб., 1872, стр. 94). Дьявол в галлюцинациях Лютера иногда выступал в качестве противника его учения и серьезного оппонента: «Не раз уже он хватал меня за глотку, но приходилось ему все-таки отпускать меня. Я-то уж по опыту знаю, каково иметь с ним дело. Он часто так донимал меня, что я уже не ведал, жив я или мертв. Бывало, доводил он меня до такого смятения, что я вопрошал себя, есть ли на свете бог, и совсем отчаивался в господе боге нашем» (Л ю т е р. Застольные беседы. В кн.: Легенда о докторе Фаусте. М.-Л., 1958, стр. 21—22). Существует «позднее по своему происхождению апокрифическое сказание, будто дьявол явился искушать Лютера, когда он переводил Библию, скрываясь от преследования папистов в замке Вартбург в Тюрингии, и реформатор бросил в него чернильницей: темное пятно на штукатурке Лютеровой кельи долгое время считалось чернильным пятном и было по кусочкам выскоблено верующими, посещавшими это памятное место» (см.: В. Ж и р м у н с к и й. Очерки по истории классической немецкой литературы. Л., 1972, стр. 70). Как отметил В. Чиж, кошмар Ивана вообще «напоминает известную галлюцинацию Лютера (dialogus cum diabolo), с которою Достоевский был знаком» (В. Ч и ж. Достоевский как психопатолог, стр. 18).

С т р. 84. — *Отопри же, отопри ему. На дворе метель, а он брат твой. Monsieur, sait-il le temps qu'il fait? C'est à ne pas mettre un chien dehors...* — Ср. выписку Достоевского в тетради 1876—1877 гг.: «„Baptiste, tout de suite ce mot à son adresse". „Tout de suite? Madame ignore peut-être le temps qu'il fait, c'est à ne pas mettre un chien dehors". „Mais, Baptiste, vous n'êtes pas un chien"» («„Батист, тотчас же передайте ему эту записку". — „Тотчас? Госпожа, быть может, не знает, какая стоит погода. Собаку на двор не выгонишь". — „Но, Батист, вы ведь не собака"» (*ЛН*, т. 83, стр. 622).

С т р. 85. — *Он тебя испугался, тебя, голубя. Ты «чистый херувим»*. — В христианской символике голубь служит обозначением святого духа. Исчезновение черта с появлением Алеши здесь поставлено в связь с традиционным мотивом исчезновения нечистой силы от лица святости. «Чистый херувим» — возможно, цитата из «Демона» М. Ю. Лермонтова (1839):

...Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим...

(Часть 1,I)

Достоевский вспоминает и цитирует «Демона» в «Ряде статей о русской литературе» («Время», 1861, январь). Возможно также, что образ восходит и к гимну «К Радости» Ф. Шиллера в переводе А. Струговщикова. Здесь звучит призыв поднять чаши

В честь того, к кому взывает
Златокрылый серафим
И кого стопу лобзает
Сердцем чистый херувим!

(А. С т р у г о в щ и к о в. Стихотворения, заимствованные из Гете и Шиллера, кн. 1, стр. 46). Выше Митя уже цитировал в переводе того же Струговщикова стихотворение Гете. См. выше, стр. 542, примеч. к стр. 98.

С т р. 86. *Который час? — Скоро двенадцать ∾ это был не сон!* — Согласно старинному поверью, полночь — время, когда исчезают призраки и прекращается действие волшебных чар.

С т р. 86. *Раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, бурый...* — По народному поверью, нечистая сила может принимать любое обличье; чаще всего она является в образе собаки или кошки.

С т р. 89—90. *...дело это получило всероссийскую огласку ∾ потрясло всех и каждого ∾ Приехали юристы, приехало даже несколько знатных лиц, а также и дамы*. — По наблюдению Л. П. Гроссмана, при описании обстоятельств суда над Митей в ряде бытовых деталей Достоевский отталкивается от процесса Веры Засулич 31 марта 1878 г., на котором писатель присутство-

вал лично в качестве представителя печати. См. об этом: *Гроссман, Последний роман*, стр. 23—24; Л. П. Гроссман. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов. стр. 101—103. Ср.: W. Komarowitsch. Dostojewskij und George Sand, стр. 214—220.

Стр. 90. *...и «гетеры»...* — Гетера (греч. ἑταίρα — подруга, любовница) — в древней Греции образованная незамужняя женщина, ведущая свободный образ жизни. Позднее так именовались женщины легкого поведения.

Стр. 92. *На средине залы, близ помещения суда стоял стол с «вещественными доказательствами». ∾ и прочие многие предметы, которых и не упомню.* — Над тем, что в качестве «вещественного доказательства» в судебных процессах 1870-х годов использовалось все, что угодно, нередко иронизировали в русской печати. В одном из дел о поджоге (1878 г.) «в качестве вещественного доказательства был прилавок из суровской лавки, под которым начался пожар и который обгорел. Размер этого прилавка не позволил внести его в залу заседания» (см.: «Голос», 1878, 11 февраля, № 42).

Стр. 96. *...подмарать их нравственную репутацию, а стало быть, само собой подмарать и их показания.* — Этот адвокатский прием как один из распространенных приемов защиты Достоевский отмечает у В. Д. Спасовича: *ДП*, 1876, гл. 2, § III.

Стр. 97. *...старший сын учили;* см. также стр. 135: *Но старший брат подсудимого;* стр. 136: *... разговорами с старшим сыном барина, Иваном Федоровичем...;* стр. 137: *Когда старший сын Федора Павловича, Иван Федорович...* — Григорий (а затем и прокурор) называет Ивана. а не Митю старшим сыном Федора Павловича Карамазова. О значении этой оговорки см.: В. Е. Ветловская. Символика чисел в «Братьях Карамазовых», стр. 142—144.

Стр. 97. — *Был шалфей положен.* — Шалфей — растение, применяемое для лекарственных настоев.

Стр. 98. *Можно и «райские двери отверсты» увидеть...* — Неточная цитата из Апокалипсиса: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе...» (Откровение Иоанна, гл. 4, ст. 1).

Стр. 100. *...господин Ракитин, которого брошюру ∾ «Житие в бозе почившего старца отца Зосимы», полную глубоких и религиозных мыслей, с превосходным и благочестивым посвящением преосвященному, я недавно прочел...* — Этот эпизод из жизни «семинариста-карьериста» заимствован из биографии Г. З. Елисеева, видного сотрудника «Искры» и «Современника», в молодые годы написавшего книги «История жизни первых насадителей и распространителей Казанской церкви святителей Гурия, Варсонофия и Германа» (Казань, 1847) и «Краткое сказание о чудотворных иконах Казанской, Семиозерской, Раифской и Мироносицкой пустыни» (М., 1849). Первая из этих книг была сопровождена благочестивым посвящением «Его высокопреосвященству высокороднейшему Владимиру, архиепископу Казанскому и Свияжскому». В конце 1870-х годов этот факт биографии Г. З. Елисеева был использован правой печатью в целях компрометации писателя. См. об этом: В. С. Дороватовская-Любимова. Достоевский и шестидесятники..., стр. 14—16.

Стр. 103. *Оба последние фигурировали тоже и как просто свидетели, вызванные прокурором.* — См. об этом стр. 486—487.

Стр. 103. *...какой-то гернгутер или «моравский брат»...* — Гернгутерство — религиозно-общественное движение, возникшее в XVIII в. в местечке Гернгуте в Саксонии и получившее распространение в XVIII—XIX вв. и в России. Учение гернгутеров имело в виду нравственное перевоспитание людей. Своими корнями оно восходило к учению «моравских братьев» — чешской религиозной секты, зародившейся в середине XV в. Учение «моравских братьев» первоначально заключалось в отрицании государства, сословности, имущественного неравенства и проповеди «непротивления злу», но постепенно оппозиционные моменты его сошли на нет и проповедь примирения и непротивления в нем возобладала.

Стр. 107. *...начались свидетели à décharge...* — Французский юридический термин, обозначающий свидетелей, которых вызывает защита обви-

няемого «для разгрузки», т. е. для ослабления обвинительных заключений.

Стр. 116. *— Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка ∾ «Захоцу — вскоцу, захоцу — не вскоцу»...* — Аналогичные мотивы встречаются в русских свадебных песнях, когда невеста в ответ на просьбу жениха так или иначе ему услужить вначале выказывает строптивость и своеволие. Ср., например:

...Прасковьюшка, перевей кудри,
Тарасьевна, перевей черны.
Захочу я — перевью,
А захочу — не перевью,
Я еще, сударь, не твоя,
Я еще, сударь, батюшкина...

(Сахаров. Песни русского народа, ч. III. СПб., 1839, стр. 485—486; там же, стр. 77—78, 91—92, 386—388).

Стр. 117. *Есть у вас вода или нет, дайте напиться, Христа ради!..* — Символический мотив. В противоположность «хлебу», материальной силе мира, под водой здесь разумеется «живая вода» христианской истины и любви. См., например: Евангелие от Иоанна, гл. 4, ст. 10, 14; там же, гл. 7, ст. 37—38. См. также: Откровение Иоанна, гл. 21, ст. 6; гл. 22, ст. 1, 17; ср.: наст изд., т. XII, стр. 352. Возможно, что стихотворение В. К. Кюхельбекера «Поминки», в заключительной своей части обрабатывающее эти мотивы, тоже сыграло здесь свою роль:

Тоскуем мы и страждем...
Бессмертия водой,
Водой, которой жаждем,
Создатель, нас напой!
Владыка, вождь, хранитель!
Не дай споткнуться нам!
Да внидем в ту обитель!
Да будем чисты там!

Стихотворение Кюхельбекера впервые было напечатано в кн.: Собрание стихотворений декабристов. Лейпциг, 1862, стр. 93—95.

Стр. 118. *...завопил неистовым воплем.* — Т. е. воплем бесноватого, одержимого злым духом (ср.: Деяния апостолов, гл. 8, ст. 6—7).

Стр. 124. *...залы нового гласного суда, дарованного нам в настоящее царствование.* — По судебной реформе 1864 г. в России был введен суд присяжных, который был открытым и гласным. Газеты и журналы 1860—1870-х годов помещали на своих страницах судебные отчеты и речи, произносившиеся в ходе более или менее заметных процессов.

Стр. 124. *Вот там молодой блестящий офицер высшего общества ∾ Зарезав обоих, уходит, подложив обоим мертвецам под головы подушки.* — Имеется в виду дело об отставном прапорщике лейб-гвардии саперного батальона Карле Христофорове фон Ландсберге, обвинявшемся в убийстве надворного советника Власова и мещанки Семенидовой. Дело слушалось на заседании петербургского окружного суда 5 июля 1879 г. Как сообщал «Голос», Ландсберг «сознался в убийстве Власова и Семенидовой и объяснил, что, при недостатке денежных средств для удовлетворения всех потребностей, которые обусловливались его общественным положением, он, Ландсберг, должен был делать долги и, между прочим, занял у своего знакомого, Власова, без процентов 5 000 руб., выдав на эту сумму расписку 〈...〉 Не имея возможности уплатить долга к означенному сроку и опасаясь, что Власов не согласится на отсрочку долга и заявит о нем командиру саперного батальона, Ландсберг задумал убить Власова и похитить у него свою расписку» («Голос», 1879, 6 июля, № 185). Дело Ландсберга подробно освещалось в «Голосе» (см.: «Голос», 1879, 7—10 июля, №№ 185—189). Суд приговорил Ландсберга к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу в рудниках на 15 лет.

Упоминание о преступлении Ландсберга см. в письме Достоевского Е. А. Штакеншнейдер от 15 июня 1879 г.

Стр. 124. *Посмотрите, господа, посмотрите, как у нас застреливаются молодые люди: о, без малейших гамлетовских вопросов о том: «Что будет там?»*... — Имеется в виду монолог Гамлета в трагедии Шекспира «Гамлет» (действие 3, сцена 1), начинающийся словами: «Быть иль не быть? вот в чем вопрос!»:

...Умереть — уснуть;
Уснуть? —
Но если сон виденья посетят?
Что за мечты на смертный сон слетят,
Когда стряхнем мы суету земную?..

(перевод А. И. Кронеберга; см.: Шекспир. Полное собрание драматических произведений в переводе русских писателей, т. II, стр. 33—34). Мысль о пагубности «индифферентизма» к самым важным вопросам жизни и смерти в связи с явлениями самоубийства Достоевский развивал в «Дневнике писателя» за 1876 г. (декабрь, гл. 1, § III, «Голословные утверждения»): «Для меня же лично одно из самых ужасных опасений за наше будущее ⟨...⟩ состоит именно в том, что, на мой взгляд, в весьма уже, в слишком уже большой части интеллигентного слоя русского, по какому-то особому, странному... ну хоть предопределению, всё более и более, и с чрезвычайною прогрессивною быстротою, укореняется совершенное неверие в свою душу и в ее бессмертие. И мало того, что это неверие укореняется убеждением ⟨...⟩ но укореняется и повсеместным, странным каким-то индифферентизмом к этой высшей идее человеческого существования, — индифферентизмом, иногда даже насмешливым, бог знает откуда и по каким законам у нас водворяющимся, и не к одной этой идее, а и ко всему, что жизненно, к правде жизни, ко всему, что дает и питает жизнь, дает ей здоровье, уничтожает разложение и зловоние. Этот индифферентизм есть в наше время даже почти русская особенность сравнительно хотя бы с другими европейскими нациями». В январском номере «Дневника писателя» за тот же 1876 г. (гл. 1, § I) Достоевский, говоря о современных русских самоубийцах, тоже вспоминает слова Гамлета в трагедии Шекспира.

Стр. 124. ...*«он между нами жил»*... — Первая строка из стихотворения Пушкина, посвященного А. Мицкевичу (1834).

Стр. 125. *Великий писатель предшествовавшей эпохи, в финале величайшего из произведений своих*... — Имеется в виду финал поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» (1842).

Стр. 125. ...*в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества*... — Ср. со словами Достоевского из неоконченного чернового варианта «Письма к издателю „Русского вестника"»: «Совокупите все эти четыре характера — и вы получите, хоть уменьшенное в тысячную долю, изображение нашей современной действительности, нашей современной интеллигентной России. Вот почему столь важна для меня задача моя» (стр. 434—435).

Стр. 125. ...*«как солнце в малой капле вод»*... — Цитата из оды Г. Р. Державина «Бог» (1784). Оду Державина Достоевский хорошо знал еще по семейным чтениям: «Из чисто литературно-беллетристических произведений, — писал А. М. Достоевский, — помню, читали Державина (в особенности оду «Бог»)...» (*Достоевский, А. М.*, стр. 69).

А. П. Милюков вспоминает, как однажды в кружке Дурова речь зашла о Державине и кто-то неодобрительно отозвался о поэте, в ответ на это «Ф. М. Достоевский вскочил, как ужаленный, и закричал: „Как? да разве у Державина не было поэтических, вдохновенных порывов? Вот это разве не высокая поэзия?" И он прочел на память стихотворение „Властителям и судиям" с такою силою, с таким восторженным чувством, что всех увлек своей декламацией и без всяких комментарий поднял в общем мнении певца Фелицы» (*Милюков*, стр. 179).

С т р. 126. *Все нравственные правила старика — après moi le déluge.* — Выражение, приписываемое Людовику XV (королю Франции с 1715 г. по 1774 г.) или маркизе де Помпадур (1720—1764). У Достоевского встречается впервые в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (см.: наст. изд., т. V, стр. 75).

С т р. 127. *...ищущий прилепиться, так сказать, к «народным началам», или к тому, что у нас называют этим мудреным словечком в иных теоретических углах мыслящей интеллигенции нашей.* И далее: *В нем* ∾ *выразилось то робкое отчаяние, с которым столь многие теперь в нашем бедном обществе, убоясь цинизма и разврата его и ошибочно приписывая всё зло европейскому просвещению, бросаются, как говорят они, к «родной почве», так сказать, в материнские объятия родной земли...* — Речь идет о теориях славянофильского толка, в том числе о почвенничестве, основные положения которого были сформулированы в журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» и легли в основу последнего серьезного публичного выступления писателя — речи о Пушкине. См. о почвенничестве: *Кирпотин, Достоевский в шестидесятые годы;* У. А. Г у р а л ь н и к. Достоевский в литературно-эстетической борьбе 60-х годов. В кн.: *Творчество Достоевского,* стр. 293—329. Слова прокурора — форма своеобразной автопародии Достоевского. Однако насмешка звучит только в этом узком контексте (в устах героя), в системе всего романа она снимается.

С т р. 128. *...мы любители просвещения и Шиллера...* — Шиллер здесь, как часто у Достоевского, — символ «высокого и прекрасного», нравственной красоты и благородства. См. об этом: Б. Г. Р е и з о в. Борьба литературных традиций в «Братьях Карамазовых», стр. 139—158.

С т р. 144—145. *...думал ли в ту минуту Карамазов, «что будет там», и может ли Карамазов по-гамлетовски думать о том, что там будет?* — См. выше, стр. 599, примеч. к стр. 124.

С т р. 150. *...роковая тройка наша несется стремглав и, может, к погибели...;* см. также с т р. 173: *...и не пугайте, о, не пугайте нас вашими бешеными тройками...* — См. выше, стр. 599, примеч. к стр. 125.

С т р. 152. *...в английском парламенте уж один член вставал на прошлой неделе* ∾ *чтобы нас образовать.* — Ср.: *ДП*, 1876, сентябрь, гл. 1, § I.

С т р. 152—153. *...«ударить по сердцам с неведомою силой».* — Из стихотворения Пушкина «Ответ анониму» (1830):

И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой.

С т р. 157—158. *Недавно в Петербурге один молодой человек, почти мальчик, восемнадцати лет* ∾ *Часов через пять он был арестован...* — Имеется в виду дело восемнадцатилетнего крестьянина Зайцева, разбиравшееся 15 января в Петербургском окружном суде. Как сообщал «Голос» в разделе «Судебная хроника», «24-го ноября 1878 года, около трех часов пополудни, на Невском проспекте, в доме № 84, в меняльной лавке купца Лямина, приказчик его, мещанин Красильников, 17-ти лет, найден лежавшим на полу за выручкою, в луже крови, с тяжкими ранами⟨...⟩ и со слабыми признаками жизни, причем у головы лежал новый средней величины окровавленный топор. Ящики выручки были вынуты и из них похищено более 1 500 руб. кредитными билетами, разменною серебряною монетою и ценными бумагами» («Голос», 1879, 16 января, № 16). О виновнике преступления, Зайцеве, газета писала: «Ему теперь 18 лет. Он невысокого роста, блондин, острижен по-немецки, без усов и бороды, и на вид кажется совершенным мальчиком, так что производит впечатление крайнего недоумения, как такой мальчик мог совершить подобное преступление» («Голос», 1879, 17 января, № 17). Зайцев был признан виновным в умышленном убийстве с корыстною целью, но заслуживающим снисхождения. Суд приговорил обвиняемого к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы в рудниках на 8 лет. О деле Зайцева см.: «Голос», 1879, 16 и 17 января, №№ 16 и 17.

С т р. 158. *Да уж не в подвалах ли Удольфского замка, господа?* — «Тайны Удольфского замка» («The Misteries of Udolpho», 1794) — популярный в России в первой половине XIX в. роман английской писательницы А. Радклиф (Radcliffe, 1764—1823). В письме к Я. П. Полонскому от 31 июля 1861 г. Достоевский говорит о том, что произведения этой писательницы еще в детстве произвели на него глубокое впечатление: «Сколько раз мечтал я, с самого детства, побывать в Италии. Еще с романов Радклиф, которые я читал еще восьми лет, разные Альфонсы, Катарины и Лючии въелись в мою голову. А дон Педрами и доньями Кларами еще и до сих пор брежу». Об этом же Достоевский вспоминал и в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (наст. изд., т. V, стр. 46). Об отношении Достоевского к «готическому» («черному») роману и произведениям А. Радклиф см.: Л. Г р о с с м а н. Поэтика Достоевского. М., 1925, стр. 21—35; Л. П. Г р о с с м а н. Достоевский-художник, стр. 372.

С т р. 167. *...вам дана необъятная власть, власть вязать и решить.* — Ср.: Евангелие от Матфея, гл. 18, ст. 18; гл. 16, ст. 19.

С т р. 169. *...любит Шиллера, любит «прекрасное и высокое».* И далее: *...сделаться высоким и честным — «высоким и прекрасным», как ни осмеяно это слово!* — См. выше, стр. 569, примеч. к стр. 290.

С т р. 169. *«Аз есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает душу свою за овцы, да ни одна не погибнет...»* — Ср.: Евангелие от Иоанна, гл. 10, ст. 11; ст. 14—15.

С т р. 169. *«Отцы, не огорчайте детей своих», — пишет из пламенеющего любовью сердца своего апостол.* — Неточная цитата из Послания апостола Павла: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Послание к колоссянам, гл. 3, ст. 21). Защитник сознательно опускает слова, непосредственно предшествующие приведенным: «Дети, будьте послушны родителям (вашим) во всем, ибо это благоугодно господу» (там же, ст. 20; ср. также: Послание к ефесянам апостола Павла, гл. 6, ст. 1—4). Это дает ему возможность придать цитате нужный смысл.

С т р. 170. *...как человек и гражданин взываю — vivos voco!* — Vivos voco! — первые слова эпиграфа Ф. Шиллера к «Песни о колоколе»: «Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango» (Зову живых. Оплакиваю мертвых. Сокрушаю молнии) (см.: Ш и л л е р. Полное собрание сочинений в переводе русских писателей, т. I, стр. 87). Слова «Vivos voco!» были лозунгом «Колокола» (1857—1867), газеты А. И. Герцена и Н. П. Огарева.

С т р. 170. *«В ню же меру мерите, возмерится и вам» — это не я уже говорю, это Евангелие предписывает: мерить в ту меру, в которую и вам меряют.* — См. выше, стр. 545, примеч. к стр. 122. Смысл евангельского текста в толковании защитника искажен.

С т р. 170. *Будем смелы ∾ будем дерзки даже, мы даже обязаны быть таковыми ∾ и не бояться иных слов и идей, подобно московским купчихам, боящимся «металла» и «жупела».* — Жупел — библейское слово, означающее горящую серу или смолу. Имеется в виду действие 2, явление 2 драмы А. Н. Островского «Тяжелые дни» (1863). Две купчихи и стряпчий говорят здесь об «ужасных» словах, встречающихся в книгах:

«М у д р о в:

Вот, например, металл! Что-с? Каково слово! Сколько в нем смыслов! Говорят: «презренный металл!» Это одно значит; потом говорят: «металл звенящий» — «Глагол времен, металла звон». Это значит, сударыня, каждая секунда приближает нас ко гробу. И колокол тоже металл. А то есть еще благородные металлы...

Н а с т а с ь я П а н к р а т ь е в н а:

Ну, будет, батюшка, будет. Не тревожьте вы меня! Разуму у меня немного, сообразить я ваших слов не могу; мне целый день и будет представляться.

М у д р о в:

Вот тоже я недавно в одном сочинении читал, хотя и светского писателя, но достойного уважения. Обаче, говорит...

Н а с т а с ь я П а н к р а т ь е в н а:

Оставьте, я вас прошу. Уж я такая робкая, право, ни на что похоже.

Вот тоже, как услышу я слово „жупел", так руки-ноги и затрясутся» (А. Н. Островский. Собрание сочинений, т. III. СПб., 1874, стр. 352—353; это издание имелось в библиотеке Достоевского — см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 27).

Слова защитника о «металле» и «жупеле» — пародия Достоевского на Е. Л. Маркова (1835—1903), либерального писателя и критика, уделившего творчеству Достоевского и его роману «Братья Карамазовы» немало места в своих критических обозрениях (см. стр. 492—493). В одном из них он приветствовал светлые «бюргерские идеалы» и «буржуазность» некоторых западных романистов в противоположность мрачному взгляду на мир Достоевского. «Если действительно все, — писал Марков, — что не умещается в этой теории отрицания и отчаяния, есть „буржуазность", то мы с гордостью поднимаем знамя подобной „буржуазности". Мы не боимся слов, хотя ими и в наше время, и в литературных сферах, любят стращать наивных, точно мы замоскворецкие купчихи из комедий Островского, которые вздрагивают при одном звуке „жупел" или „металла звон". Право, этот прием несколько напоминает зверообразные маски дикарей, которыми те, за неимением действительных условий силы, стараются, еще без боя, одним впечатлением фантазии, запугивать своих противников. Но эти средства дикаря действуют только на дикарей. Пора бы убедиться в этом» (Евгений Марков. Критические беседы. «Буржуазные идеалы». *РР*, 1879, № 6, стр. 238). Достоевский собирался ответить Маркову, так же как и другим критикам, по окончании «Братьев Карамазовых» (см. письмо Достоевского к Е. А. Штакеншнейдер от 15 июня 1879 г.; ср. также стр. 480), но, не дожидаясь конца печатания, ответил на его упреки уже в самом романе. Непосредственно о Маркове Достоевский сказал в том же письме к Е. А. Штакеншнейдер: «...Евг. Марков есть старое ситцевое платье, уже несколько раз вымытое и давно полинявшее ⟨...⟩ Прибавьте к тому, что Евг. Марков сам в нынешнем году печатает роман с особой претензией опровергнуть пессимистов и отыскать в нашем обществе здоровых людей и здоровое счастье. Ну и пусть его. Уж один замысел показывает дурака. Значит ничего не понимать в нашем обществе, коли так говорить!» Отрицательного мнения об этом критике Достоевский не переменил. См. письмо к К. П. Победоносцеву от 13 сентября 1879 г.: «Верите ли, что злость у меня иногда перерождается в решительный смех, как например при чтении статей 11-летнего мыслителя, Евг. Маркова, о женском вопросе. Это уж глупость до последней откровенности». Выражение «„металл и жупел" московских купчих» Достоевский использует еще раз в «Дневнике писателя» за 1881 г., январь, гл. 2, § III. Иначе об этом см.: *Борщевский*, стр. 319.

Стр. 171. *«Он родил тебя, и ты кровь его, а потому ты и должен любить его»* ∾ *считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим.* — В связи с делом Кронеберга и полемикой с защитником Кронеберга В. Д. Спасовичем Достоевский, готовя февральский номер «Дневника писателя» за 1876 г., в записной тетради заметил: «Я тебя родил. Ответ Франца Мора. Рассуждение этого развратного человека я считаю правильным. А не знаете, так справьтесь. Шиллер ведь так давно писал, да и драма так давно не дается на сцене». В «Братьях Карамазовых» рассуждение Франца Моора передано Фетюковичу и дано писателем в неодобрительном контексте. В переводе М. М. Достоевского слова Франца Моора, которые имел в виду романист, звучат так: «... это твой отец! он дал тебе жизнь, ты его плоть, его кровь, и потому — да будет он для тебя священ! Опять претонкая штука. Хотелось бы мне знать, зачем он меня произвел на свет? Или думал он обо мне, как меня делал? или угадывал, что из меня будет? ⟨...⟩ Могу ли я признавать любовь, которая не основывается на уважении к моему собственному *я*? Но могло ли быть тут уважение к моему *я*, которое именно произошло из того, чему оно само должно служить началом? Где же тут священное? Разве в самом акте, через который я получил бытие? Как будто это было что-нибудь особенное, а не скотский процесс удовлетворения скотской похоти?» («Разбойники», действие 1, сцена 1; см.: Шиллер. Драматические сочинения в переводах русских писателей, т. III, стр. 15). Далее Франц возвращается к той же теме:

«Все зависит оттого, как кто смотрит на вещи — и тот прямой дурак, кто не видит своих выгод. Отца, который выпьет за ужином лишний бокал вина, ни с того ни с другого начинает разбирать — и из этого происходит человек» (действие 4, сцена 2; см: там же, стр. 115—116).

Стр. 171. *«Гони природу в дверь, она влетит в окно...»* — Цитата из басни Ж. Лафонтена «Кошка, превращенная в женщину» в вольном переводе Н. М. Карамзина, который включил эти два стиха в свой очерк «Чувствительный и холодный. Два характера» (1803):

Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено.
Гони природу в дверь: она влетит в окно!

(Н. М. Карамзин. Избранные сочинения в двух томах, т. I, стр. 741). Защитник здесь именует естественными такие чувства и рассуждения, которые, по мнению автора романа, глубоко порочны и ненормальны.

Стр. 173. *Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одного невинного — слышите ли, слышите ли вы этот величавый голос из прошлого столетия нашей славной истории?* — Несколько измененные слова Петра I из его Воинского устава (1716) «Краткое изображение процессов или судебных тяжеб», ч. II, гл. V, ст. 9: «Но понеже к свидетельствованию явные и довольные требуются доказы, того ради судье надлежит в смертных делах пристойным наказанием его наказать опасаться ⟨...⟩ понеже лучше есть 10 винных освободить, нежели одного невинного к смерти приговорить» (см.: Полное собрание законов Российской империи с 1649 года, т. V. Спб., 1830, стр. 403). Слова Петра I повторены и в «Своде законов Российской империи...», т. XV, ч. II. СПб., 1876: «... лучше освободить от наказания десять виновных, нежели приговорить невинного» («Законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках», разд. III, гл. III, ст. 346). В одной из статей «Гражданина», редактируемого Достоевским, слова Петра I приписываются Екатерине II (см.: *Гр*, 1873, № 50, стр. 1355, 1356).

Стр. 174. *Слабоумный идиот Смердяков, преображенный в какого-то байроновского героя, мстящего обществу за свою незаконнорожденность, — разве это не поэма в байроновском вкусе?* — Возможно, в этих словах содержится не только указание на традиционное представление о байроновском герое-мстителе, но и более прямой намек на поэму Байрона «Паризина» («Parisina», 1816). Ее герой, незаконнорожденный Уго, будучи привлечен к суду, не признает себя виновным и истинным виновником своего преступления называет отца, который обесчестил его мать.

Стр. 174. *...по мере надобности, всё по размеру надобности!* — Достоевский вкладывает в уста прокурора слова, ранее сказанные им самим об адвокатах (см.: *ДП*, 1876, февраль, гл. 2, § VI): «Мне всё представляется какая-то юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных, постоянная и неустанная, по мере спроса и требования, и возведенная в какой-то принцип, а с нашей непривычки и в какую-то доблесть, которой все аплодируют». Достоевский писал это в связи с делом Кронеберга и защитой В. Д. Спасовича.

Стр. 175. *...бога нашего, которого защитник удостоивает назвать лишь «распятым человеколюбцем»...* — Т. е. рассматривает Христа как человека и не признает божественной его природы.

Стр. 175. *...в противоположность всей православной России, взывающей к нему: «Ты бо еси бог наш!..».* — Слова многих молитв, обращенных к Христу, например: «Господи, помилуй нас, на тя бо уповахом ⟨...⟩ и избави ны от враг наших: ты бо еси бог наш, и мы людие твои...» (Акафист Иисусу сладчайшему, слава) — или: «...святое воскресение твое поем и славим: ты бо еси бог наш...» (Воскресная песнь).

Стр. 177. *...ведь оправдали же у нас великим постом актрису, которая законной жене своего любовника горло перерезала.* — Имеется в виду дело А. В. Каировой. Достоевский дал подробный анализ этого процесса в май-

ском номере «Дневника писателя» за 1876 г. (гл. 1). Речь защитника Каировой, адвоката Е. И. Утина, вызвала ряд неодобрительных замечаний будущего автора «Братьев Карамазовых»: соглашаясь с оправдательным решением присяжных, Достоевский упрекнул адвоката за намерение снять с подсудимой всякую вину и «почти похвалить преступление».

Стр. 178. — *Двадцать лет рудничков понюхает.* — Митя Карамазов в романе осужден на двадцать лет каторжной работы. По предположению Б. Г. Реизова, Достоевский избрал этот срок потому, что к двадцати годам был приговорен прототип Мити, прапорщик Ильинский, как и Митя, осужденный по ложному обвинению в отцеубийстве. Достоевскому запомнился этот срок, и он не стал наводить дополнительных справок. На самом деле Митя, который обвинялся в убийстве отца и был признан виновным по всем пунктам, должен быть приговорен по действовавшим в то время законам Российской империи к пожизненной каторге. Каторга на срок была бы лишь в том случае, если бы выяснились по ходу дела и были учтены судом смягчающие обстоятельства. «... Закон 1845 г. о наказаниях отцеубийц гласит: „За умышленное убийство отца или матери виновные подвергаются лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу в рудники без срока. По прибытии их в место каторжной работы они ни в коем случае и ни по каким причинам не переводятся в отряд исправляющихся, увольняются от работы не иначе, как за совершенною к оным от дряхлости неспособностью, и даже тогда не освобождаются от содержания в остроге"» (Б. Г. Реизов. К истории замысла «Братьев Карамазовых». В кн.: *Реизов*, стр. 135).

Стр. 185. *Не всем бремена тяжкие, для иных они невозможны...* — Ср. слова Христа о книжниках и фарисеях: «... связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плеча людям...» (Евангелие от Матфея, гл. 23, ст. 4; от Луки, гл. 11, ст. 46).

Стр. 186. *...в тот край, к последним могиканам.* — «Последний из могикан» (1826) — роман американского писателя Ф. Купера (Cooper, 1789—1851). В библиотеке Достоевского было собрание сочинений Купера на французском языке: Œuvres complètes de Fenimore Cooper, traduction de la Bédollière. Paris, Gustave Barba, libraire-éditeur, [s. a.] (см.: *Гроссман, Семинарий*, стр. 32).

Стр. 189. *Всех их собралось человек двенадцать...* — Намек на двенадцать апостолов.

Стр. 190. *...я желал бы умереть за всё человечество, а что до позора, то всё равно: да погибнут наши имена.* — Коля цитирует слова французского политического деятеля, известного оратора, жирондиста Верньо (Vergniaud, 1753—1793), произнесенные им на одном из заседаний Конвента (1792): «Périssent nos noms, pourvu que la chose publique soit sauvée!» («Пусть погибнут наши имена, лишь бы общее дело было спасено!»). Эти же слова Верньо сочувственно повторяет И. С. Тургенев в очерке «По поводу „Отцов и детей"» (1869) из цикла «Литературные и житейские воспоминания» (см.: *Тургенев, Сочинения*, т. XIV, стр. 105).

Стр. 191. *...у камня похороню...* — См. выше, стр. 586, примеч. к стр. 507.

Стр. 192. *После Апостола он вдруг шепнул стоявшему подле его Алеше, что Апостола не так прочитали...* — Апостол (греч. ἀπόστολος — посланец) — здесь: название одной из книг Нового завета, включающей Деяния апостолов, апостольские Послания и Откровение Иоанна.

Стр. 192. *За Херувимской принялся было подпевать...* — Херувимская — название одного из церковных песнопений.

Стр. 195. *Голубчики мои...* — Голубь в христианской символике означал не только духа святого, но и апостола.

Стр. 197. *...неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга...* — Ср. вышеприведенное письмо Н. П. Петерсону от 24 марта 1878 г.: «...Я и Соловьев ⟨имеется в виду Вл. С. Соловьев, — *Ред.*⟩ по крайней мере, — пишет здесь Достоевский, — верим в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно сбудется на земле» (стр. 470—471).

Черновые наброски

Публикующиеся в настоящем томе рукописные материалы отражают главным образом одну стадию работы Достоевского над «Братьями Карамазовыми» — непосредственно предшествующую переходу к последовательному связному повествованию.

По сохранившимся немногочисленным фрагментам, относящимся к другим творческим этапам, можно с большей или меньшей долею вероятности установить, какие рукописи романа утрачены или до сих пор не обнаружены.

Листок, озаглавленный «*Memento* (о романе)», свидетельствует, что творческим записям к отдельным книгам предшествовали заметки, сделанные автором в период обдумывания общего плана «Братьев Карамазовых» (см. стр. 199). Не исключена возможность, что заметки этого типа вместе с не дошедшими до нас листками, аналогичными тем, которые публикуются в настоящем томе, были переплетены А. Г. Достоевской в особую книгу, которую она сдала на хранение 4 июня 1899 г. в Государственный банк. В завещании А. Г. Достоевской сказано, что в этой книге «закл⟨ючены⟩ материалы к р⟨оману⟩ „Бр⟨атья⟩ Карамазовы"» (см.: *ЦГАЛИ*, ф. 212, оп. 1, № 224, л. 43 об.; ср.: *Описание*, стр. 8). Дальнейшая судьба этой книги неизвестна.

Фрагменты черновых рукописей, сохранившиеся среди листков подготовительных материалов,— описание сада Федора Павловича Карамазова, вошедшее в третью книгу романа в сокращенном виде, рассказ о падении в погреб и болезни Смердякова, которым завершается пятая книга, и т. д., — дают основание предполагать, что и ко многим другим частям «Братьев Карамазовых» имелись не дошедшие до нас черновые авторские рукописи.

В одном из своих писем А. Г. Достоевская сообщала: «... рукопись „Карамазовых" удалось мне сохранить в полном порядке, без пропусков. Но должна сказать, что „Бр⟨атья⟩ Кар⟨амазовы⟩" почти не имеют вариантов с напечатанным текстом».[1] Последнее замечание наводит на мысль, что А. Г. Достоевская в данном письме имела в виду не подготовительные материалы, а наборную рукопись романа. Из ее завещания видно, что 17 февраля 1907 г. она сдала на хранение в Государственный банк рукопись «Братьев Карамазовых» в виде двух переплетенных в коленкор томов в 439 и 465 страниц (см.: *ЦГАЛИ*, ф. 212, оп. 1, № 224, л. 13 об.; ср.: *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 316). Весьма вероятно, что в этих двух томах содержалась наборная рукопись. Об этом свидетельствует объем сданных на хранение томов: в них около 900 страниц, т. е. примерно столько, сколько должна была занимать наборная рукопись «Братьев Карамазовых».[2] Из всей наборной рукописи в настоящее время известны только два листа автографа Достоевского (*НР*). На одном из этих листов имеется помета А. Г. Достоевской: «Возвращено Любимовым».

Более подробные сведения о составе и истории известных нам листов и соображения о возможной судьбе не дошедших до нас рукописей «Братьев Карамазовых» см.: *Die Urgestalt*, стр. 236—241, 491, 540; *Д, Материалы и исследования*, стр. 347—393; *Описание*, стр. 6—8; *ЛН*, т. 86, стр. 140—141.

Сохранившиеся наброски (*ЧН*) сделаны на разрозненных листах почтовой бумаги, нередко на недописанных письмах или на конвертах. В настоящем томе они печатаются в последовательности, соответствующей

---

[1] «Ученые записки Орехово-Зуевского педагогического института», 1956, т. III, вып. 2, стр. 106.

[2] См. расчеты объема посылаемых в редакцию «Русского вестника» страниц наборной рукописи романа в соотношении с печатным листом в письме Достоевского к Н. А. Любимову от 10 августа 1880 г., из которых ясно, что примерно 20 стр. рукописи составляли один печатный лист. Объем же всего романа — около 48 печатных листов.

дефинитивному тексту, т. е. группируются вокруг сюжета каждой из книг романа.[1]

Такая систематизация разрозненных заметок отражает хронологию работы Достоевского, писавшего «Братьев Карамазовых» книгами (см. стр. 432), в качестве предварительных заготовок к которым и были сделаны публикующиеся наброски. Наличие в ряде случаев авторских или других дат, позволяющих установить время работы над подготовительными заметками и материалами к той или иной книге романа, подтверждает общее соответствие принятого в настоящем томе порядка расположения рукописного материала хронологическому принципу, хотя, конечно, в дальнейшем, при обнаружении новых материалов, здесь возможны и отдельные уточнения.

Граница каждой страницы рукописи обозначена порядковым номером, печатающимся в ломаных скобках.

По фрагментам черновой и наборной рукописей, а также по корректуре «Эпилога» дается исчерпывающий свод вариантов.

Печатающиеся в настоящем томе рукописные материалы хранятся:

ИРЛИ — ⟨6⟩—⟨10⟩, ⟨16⟩, ⟨20⟩—⟨35⟩, ⟨38⟩—⟨41⟩, ⟨43⟩—⟨48⟩, ⟨50⟩—⟨61⟩, ⟨62⟩, ⟨63⟩, ⟨65⟩—⟨78⟩, ⟨80⟩—⟨93⟩, ⟨96⟩—⟨103⟩, ⟨105⟩, ⟨110⟩—⟨112⟩, ⟨122⟩—⟨128⟩, ⟨152⟩, ⟨160⟩—⟨169⟩, ⟨172⟩—⟨198⟩.

ГБЛ — ⟨1⟩—⟨4⟩, ⟨11⟩—⟨15⟩, ⟨17⟩—⟨19⟩, ⟨36⟩, ⟨37⟩, ⟨42⟩, ⟨49⟩, ⟨61[а]⟩, ⟨64⟩, ⟨79⟩, ⟨94⟩, ⟨95⟩, ⟨104⟩, ⟨106⟩—⟨109⟩, ⟨113⟩—⟨121⟩, ⟨129⟩—⟨151⟩, ⟨153⟩—⟨159⟩, ⟨170⟩, ⟨171⟩.

ЦГАЛИ — ⟨5⟩.

Стр. 199.* *Справиться о детской работе на фабриках.* — Тема фабричного труда малолетних не получила развития в «Братьях Карамазовых». В «Беседах и поучениях старца Зосимы» упомянуто только о работе на фабриках «десятилетних даже детей: хилых, чахлых, согбенных и уже развратных» (наст. изд., т. XIV, стр. 286).

Стр. 199. *О гимназиях, быть в гимназии.* — Достоевский внимательно следил за развитием начального и среднего образования в России, что нашло отражение в его публицистических и художественных произведениях. В «Братьях Карамазовых» изображена группа школьников (см. книгу десятую «Мальчики») и обсуждается вопрос о преподавании классических языков в гимназии (см. там же, стр. 498 и примеч. к ней на стр. 582 наст. тома).

Стр. 199. *У Бычкова.* — Бычков, Афанасий Федорович (1818—1899), историк и археолог, был в 1875 г. избран вместе с Достоевским в комиссию для издания сборника в пользу славян.

Стр. 199. *У Александра Николаевича.* — Сниткин, Александр Николаевич, двоюродный брат А. Г. Достоевской (о нем см.: *ЛН*, т. 86, стр. 450—466).

Стр. 199. *У Михаила Николаевича (Воспит⟨ательный⟩ дом).* — Очевидно, Достоевский собирался еще раз посетить Воспитательный дом, где врачом-педиатром работал Михаил Николаевич Сниткин, двоюродный брат А. Г. Достоевской (см.: *ЛН*, т. 86, стр. 336: ср.: *Достоевская, А. Г. Воспоминания,* стр. 361). Первое посещение Воспитательного дома Достоевский описал в «Дневнике писателя» за 1876 г. (май, гл. 2, «Нечто об одном здании. Соответственные мысли»). В «Братьях Карамазовых» Воспитательный дом не упоминается.

Стр. 199. *О Песталоцци...* — Песталоцци, Иоганн Генрих (Pestalozzi, 1746—1827), швейцарский педагог-просветитель, создатель методики начального обучения родному языку, арифметике и географии, автор педагогических романов и повестей («Лингард и Гертруда» (1781—1787) и др.).

---

[1] Аналогичный принцип расположения материала был принят и в предшествующих публикациях (см.: *Die Urgestalt*, стр. 242—490; *Д, Материалы и исследования,* стр. 81—346, ср. также стр. 348).

* Здесь и ниже указаны страницы XV тома наст. изд.

Стр. 199. ...о *Фребеле.* — Фребель, Фридрих (Fröbel, 1782—1852) — немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, создатель «детских садов». Летом 1871 г. в России было организовано Фребелевское общество, в деятельности которого Достоевский принимал активное участие (см.: Отчет Совета С.-Петербургского Фребелевского общества 1871—1896. СПб., 1897, стр. 25). Фребелевская школа упоминалась Достоевским и в набросках к неосуществленному замыслу «Отцы и дети» (1876). Хотя в рукописных заметках Снегирев и говорит Алеше: «Фребелевску⟨ю⟩ систему у нас вводят-с, — просвещение-с. Читают. Песенки поют-с» (стр. 223), в «Братьях Карамазовых» эта тема развития не получила.

Стр. 199. *Статью Льва Толстого...* — Имеется в виду статья «О народном образовании» (*ОЗ*, 1874, № 9). В этой статье Л. Н. Толстой разбирает существовавшие в то время методики первоначального обучения, отстаивая те, которые не требуют больших затрат и могут быть введены в народных школах.

Стр. 199. *Ходить по Невскому с костылями.* — Такого эпизода нет в «Братьях Карамазовых».

Стр. 199. *Участвовать в фребелевской прогулке. См. «Новое время»...* — Речь идет об «образовательных частных прогулках» для детей «первого возраста», которые намеревались устроить члены петербургского Фребелевского общества (см. выше). Каждая прогулка, во время которой дети будут усваивать элементарные сведения о природе и ее явлениях, должна заканчиваться, как сообщалось в специальной заметке на эту тему в газете «Новое время», «танцами, пением и разными играми» на траве (*НВр,* 1878, 12 апреля, № 762).

Стр. 200. *Чиновник.* — Здесь и ниже (см. стр. 202), очевидно, указание на то, что Зосима в миру был чиновником. В печатном тексте иначе: он «в самой ранней юности был военным и служил на Кавказе обер-офицером» (наст. изд., т. XIV, стр. 28).

Стр. 200. *...Семинарист и Мечтатель.* — Ракитин и, очевидно, Калганов. В окончательном тексте романа Алеша общается только с семинаристом Ракитиным, хотя там и сказано, что Калганов «с Алешей был приятелем» (наст. изд., т. XIV, стр. 32). Калганов является одним из участников событий, описанных в книгах второй, восьмой и девятой. В главе VII «Прежний и бесспорный» (книга восьмая), характеризуя его, повествователь говорит: «Иногда в выражении лица его мелькало что-то неподвижное и упрямое: он глядел на вас, слушал, а сам как будто *упорно мечтал* о чем-то своем» (там же, стр. 379; курсив наш, — *Ред.*).

Стр. 200. *Были в монастыре ∾ Один постник, другой полуюродивый.* — В романе вместо «постника» и «полуюродивого» выведено одно лицо — отец Ферапонт.

Стр. 200. *Говорили, Макарий видит по глазам.* — В набросках к первым двум книгам Макарием назван старец Зосима. В романе в главе «Старцы» сказано, что Зосима «... с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать: с чем тот пришел...» (наст. изд., т. XIV, стр. 28).

Стр. 200. *Предисловная глава.* — Так называет повествователь главу IV «Третий сын Алеша» первой книги романа (ср.: наст. изд., т. XIV, стр. 17).

Стр. 201. *Мечтатель уверует с условиями, по-лютерански.* — Лютеранство — протестантское вероисповедание, сложившееся на основе учения Мартина Лютера и отколовшееся от католической церкви в XVI в. (см. выше, стр. 595—596, примеч. к стр. 84). Судя по контексту черновых заметок, Достоевский имел здесь в виду толкование так называемых таинств — магически-культовых обрядов, цель которых — приобщение к «божьей благодати». Католическая и православная церковь признают семь таинств: крещение, причащение, покаяние, брак и пр. Дав таинствам рационалистическое объяснение, считая их высшими знаками общения с богом, лютеранство признавало только два — крещение и причащение, магическая сила которых в свою очередь проявляется, согласно этому учению, при условии, что таинства принимаются с верою.

С т р. 202. — *Ибо редко сдержится любовь на одном сострадании.* — Эта сентенция, аккуратно выписанная в центре листа и не нашедшая отражения в первой книге, полнее всего развита в главе IV «Бунт» пятой книги.

С т р. 202. — «*Мне всё так и кажется* ∾ *в таком умилении.* — Предварительный вариант рассуждения Федора Павловича Карамазова в главе II «Старый шут» (книга вторая) и реплики повествователя (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 41). Эта черта характера Федора Павловича (добровольное шутовство) в разных психологических вариациях присуща многим героям предшествующих произведений Достоевского (см.: наст. изд., т. II, стр. 474).

С т р. 202. *Удовлетворительного ответа* ∾ *в себе — Фома.* —Разрозненные записи на конверте письма Ф. Д. Вебера к Достоевскому с почтовым штемпелем 25 августа 1878 г. Поскольку следующие страницы заполнялись после 7 сентября того же года (см. ниже), можно заключить, что эти заметки были сделаны между 25 августа и 7 сентября 1878 г.

С т р. 202. *Высшая красота не снаружи, а извнутри (см. Гете, 2-я часть «Фауста»).* — Запись эта, очевидно, имеет отношение к характеристике Зосимы, каким он был в Алешином представлении (ср.: «Действительный клад внутри себя, но какая-то внешность, чудо. Как будто ждавший чуда. Старца святым» — стр. 202). В окончательном тексте эта тема развита в главе V «Старцы» первой книги (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 28—29). Следует иметь также в виду, что и в черновых набросках (см. стр. 230), и в окончательном тексте (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 241) Зосима назван «Pater Seraphicus» (серафический, ангелоподобный отец), т. е. именем, взятым из второй части «Фауста» (картина «Горные ущелья, лес, скалы, пустыня»).

С т р. 202. *Идиот разъясняет детям о положении человечества в 10-м столетии (Тен)...* — В законченном романе в беседах «Идиота» (т. е. Алеши) с детьми эта тема не затрагивается. Исследователи (*Die Urgestalt*, стр. 496; *Д, Письма*, т. IV, стр. 359) высказали предположение, что в данном случае подразумевалась первая часть многотомного исторического сочинения Ипполита Тэна (Taine, 1828—1893), появившаяся в 1876 г. под названием «L'Ancien Regime» («Старый порядок»). В библиотеке Достоевского был русский перевод книги Тэна «De L'Intelligence» («Об уме и познании», 1870), вышедший в 1872 г. под редакцией Н. Страхова. Писатель, очевидно, читал и «Философию искусства» (1865—1869) Тэна, появившуюся в русском переводе в 1869—1874 гг. в 3-х выпусках (см.: *ЛН*, т. 86, стр. 436, письмо Е. А. Штакеншнейдер А. Г. Достоевской).

С т р. 202... *разъясняет детям «Поминки»: «Злое злой конец приемлет»...* — Речь идет о стихотворении Ф. И. Тютчева «Поминки (из Шиллера)», в котором имеются следующие строки:

Злое злой конец приемлет!
За нечестьем казнь следит —
В небе суд богов не дремлет!
Право царствует Кронид...
Злой конец началу злому!

С т р. 202. *...разъясняет дьявола (Иов, Пролог)...* — В романе историю Иова пересказывает старец Зосима, упомянуто также, что книгу Иова любил Григорий Васильевич.

С т р. 202. *...разъясняет о грядущем социализме, новые люди. Maxime du Camp, отрицательное, нет, положительное, положительное — Россия, — христиане.* — Обсуждение этих проблем Достоевский перенес в шестую книгу, в раздел «Из бесед и поучений старца Зосимы» (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 284—288). Максим Дюкан (1822—1894) — французский писатель. Здесь имя его названо, очевидно, в связи с тем, что он был автором книги о Парижской коммуне «Convulsions de Paris» («Конвульсии Парижа»), вышедшей в 1878 г. и широко обсуждавшейся. Дюкан изобразил Парижскую коммуну 1871 г. как «отрицательное» явление истории, которому Достоевский противопоставляет здесь «положительное» — связанное в его представлении с идеалами русского христианства.

С т р. 203. *Помещик: «Что мне делать* ∽ *как читаешь?»* — Заметки, намечающие диалог Федора Павловича и Зосимы в главе «Старый шут» (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 40—41). В записи на стр. 206 «помещиком» назван не Федор Павлович, а Марков, именующийся в романе «помещиком Максимовым» (см.: там же, стр. 33).

С т р. 203—206. *Слова, словечки* ∽ *скажите, пожалуйста?* — Записи на этих страницах сделаны на двойном листе почтовой бумаги через несколько дней после 7 сентября, что определяется выпиской из газеты «Новое время» (1878, № 907, 7 сентября) об архимандрите, завещавшем «выбросить его тело ⟨...⟩ на съедение псам» (см.: *Die Urgestalt,* стр. 495).

С т р. 203. *Ильинский в келье говорит* ∽ *за ребенка.* — Здесь и далее Дмитрий Карамазов иногда называется по имени своего прототипа поручика Ильинского (см. стр. 405—406, о неосуществленном замысле «Драма. В Тобольске...»). В романе о вине Мити перед «ребенком», т. е. перед Илюшей, на глазах которого он оскорблял его отца, подробно рассказано в четвертой книге «Надрывы» (см. главы III, VI, VII). Во второй книге Федор Павлович только упоминает о том, что Митя в трактире схватил капитана за бороду и вытащил на улицу (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 67; ср.: «Слово о том, что Ильинский подрался и за бороду тянул Капитана» — стр. 204).

С т р. 203. *NB Ильинский рассчитывает* ∽ *И тут драка.* — Записи, определяющие сюжет главы «Сладострастники», несколько измененный, однако, в законченном тексте романа: Митя приходит к Федору Павловичу один, когда тот сидит «за коньячком» вместе с Иваном и Алешей, и затевает драку не из-за денег, а в припадке ревности (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 127—128).

С т р. 203. — *Встала злее собаки.* — Эту фразу, несколько раз повторяющуюся в рукописях, в окончательном тексте произносит Грушенька: «Поутру встану злее собаки, рада весь свет проглотить» (наст. изд., т. XIV, стр. 320).

С т р. 203. *Вечером Убийце* ∽ *это сделал».* — В законченном романе этой темы касается и Коля Красоткин в разговоре с Алешей (см. выше, стр. 584, примеч. к стр. 500).

С т р. 203. *«Grattez le Russe — trouverez le tartare».* — «Поскоблите русского — найдете татарина». Крылатая фраза, у Достоевского см.: наст. изд., т. XI, стр. 284, т. XIII, стр. 454 и в «Дневнике писателя» за 1876 г. (июнь, гл. 2, § I, «Мой парадокс»).

С т р. 203. *«La Russie se recueille».* — «Россия собирается с мыслями» — фраза, встречающаяся в записной тетради Достоевского 1880—1881 гг. («Месяца на четыре в году отдых, la Russie se recueille. Отдых и необходим, чтоб не наскучить беспрерывностью: хорошего, дескать, понемножку») и затем в «Дневнике писателя» (*ДП*, 1881, гл. 2, § IV).

С т р. 204. *Камень* ∽ *в Германии, 100 руб.* — Темы историй, которые, очевидно, должен был рассказывать Федор Павлович. Анекдот о камне см. в «Подростке» (наст. изд., т. XIII, стр. 165—167).

С т р. 205. — *А жаль, если* ∽ *ничего не будет.* — Разговор на эту тему ведут Федор Павлович и Иван в третьей книге романа в главе «За коньячком».

С т р. 205. *«Humble et hautain comme tous les fanatiques» (V. Hugo).* — Цитата из вышедшего в 1862 г. романа В. Гюго «Отверженные» (ч. 1, кн. V, глава V); в тексте «Братьев Карамазовых» не приводится. Слова эти взяты из характеристики Жавера, о котором там сказано: «Il était stoïque, sérieux, austère, rêveur, triste, humble et hautain comme les fanatiques» («Он был стоически тверд, серьезен и суров, печален и задумчив, скромен и надменен, как все фанатики») (V. H u g o. Les Misérables. Première partie. Fantine. T. 2. Paris, 1862, p. 68). «Впервые комментируемая французская фраза появилась в записной тетради Достоевского за 1875—1876 гг. Там были отмечены и некоторые другие характерные черты этого героя Гюго: «Il était humble et hautain comme tous les fanatiques. Il avait la réligion de ses fonctions ⟨...⟩ Это был шпион без всякой злобы, il l'était espion comme on est prêtre» («Он был скромен и надменен, как все фанатики. Он свято чтил свои обязанности ⟨...⟩ он был шпио-

ном, как бывают священником»). Запись эта может быть датирована по месту положения в тетради декабрем 1875 г. В 1876 г. Достоевский вспомнил о Жавере в связи с посещением Воспитательного дома для незаконнорожденных детей (см.: «Дневник писателя» за 1876 г., май, гл. 2, «Нечто об одном здании. Соответственные мысли», где описано это посещение). Размышляя о том, как воспримут дети внушаемую им мысль, что они «*не обыкновенные дети* 〈...〉 что они *хуже всех*», Достоевский сделал заметку: «Почему? Это 〈...〉 потому-де, что отец твой и мать бесчестные. Почему бесчестные? Чувства. Средина и бездарность — подла. Верхушка — злодейство или благородство, или и то и другое вместе. Вот где героя романа взять. У Victor'a Hugo — enfant trouvé 〈подкидыш〉, сыщик» (см. записную тетрадь 1876—1877 гг. за май месяц). Продолжая свои размышления о возможных судьбах «подкидышей», Достоевский тогда же писал: «Поэзия иногда касается этих типов, но редко. Кстати. мне припомнился сыщик Javert из романа Victor'a Hugo „Les Misérables" — он родился от матери с улицы, чуть ли не в укромном уголке 〈...〉 и всю жизнь ненавидел этих женщин. Он за ними присматривал как полицейский и был их тираном. Он всю жизнь обожал крепкий порядок, данный строй общества, богатство, имущество, родоначальность, собственность, и не как лакей, о, совсем нет».

Несмотря на то что психологический рисунок образов Жавера и Смердякова, их нравственная сущность и положение в обществе не имеют, казалось бы, ничего общего (ср.: Die Urgestalt, стр. 503—506), при создании незаконнорожденного, четвертого из братьев Карамазовых, у Достоевского (как об этом свидетельствует комментируемая запись) возникали ассоциации с героем Гюго. Имея в виду достоинства Жавера как совершенного художественного создания, Достоевский писал еще в 1876 г.: «Я ничего не читал глубже в этом „отрицательном" роде. Говорят о реализме в искусстве: Javert не реализм, а идеал, но ничего нет реальнее этого идеала» (записная тетрадь 1876—1877 гг. за май месяц).

Создав образ Смердякова, Достоевский выполнил намерение дать свой, русский вариант «enfant trouvé», принадлежащего к «средине и бездарности» и поэтому «подлеца».

С т р. 205—206. *Сигары. «Я бросил их ∽ Щекотливая женщина.* — Почти все эти записи, по определению Достоевского, имеют характер «слов, словечек и выражений» (см. стр. 203) и являются заготовками для всего романа, а не только для его первых двух книг. Так, фраза: «А Надежда Ивановна — это исчадие ада» — встречается, в измененном виде, в четвертой книге (глава «Надрыв в избе» — см.: наст. изд., т. XIV, стр. 184); выражение: «Вьель филька» — в третьей (глава «За коньячком» — см. там же, стр. 126). Намеченная же здесь тема: «Мальчик научил булавку в хлеб. *За Жучку*» — получила развитие в десятой книге, в главе «Жучка». Тезис: «Никто Евангелия не знает» — обосновывал старец Зосима в шестой книге (см.: «О священном писании в жизни отца Зосимы»).

С т р. 206. *Из Евангелия: «Похвалил господин ловкого грабителя управляющего».* — См.: Евангелие от Луки, гл. 16, ст. 1—13.

С т р. 206. — *Я вас беспокою ∽ скажите, пожалуйста?* — Текст записан на обороте конверта с адресом: «Старая Русса (Новгород). Его высокоблагородию Федору Михайловичу Достоевскому. В случае выбытия просим вернуть в редакцию „Недели"» (почтовые штемпели: С.-Петербург 〈нрзб.〉, Старая Русса, 18 сентября 1878).

С т р. 209. *Ни один общественный союз ∽ для религиозных целей.* — Цитата из статьи М. И. Горчакова «Научная постановка церковно-судного права» (см.: Сборник государственных знаний, т. II, стр. 236—237).

С т р. 211. *Две вставки ∽ в таком умилении?* — Беловой автограф с пометой автора для А. Г. Достоевской, которая переписывала две первые книги «Братьев Карамазовых», перед тем как они были вручены редакции «Русского вестника» (см. стр. 421). Текст вставок совпадает с окончательным (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 40—41).

С т р. 211—212. *Словечки ∽ в повиновении держать».* — В. Л. Комарович относит эти записи, и в том числе наброски, связанные с «Братьями Кара-

мазовыми», к 1876 г., на том основании, что некоторые из них нашли отражение в выпусках «Дневника писателя» за 1876 г. А. С. Долинин, не соглашаясь с версией В. Л. Комаровича, будто Достоевский «более чем за четыре года до окончания романа уже над ним работал» и что в то время только один Смердяков и был «намечен с известной отчетливостью» (*Die Urgestalt,* стр. 491—494), обосновал иную точку зрения. Он полагал, что записи отдельных слов и выражений, озаглавленные Достоевским «Словечки», были сделаны в разное время (см.: *Д, Материалы и исследования,* стр. 361—362). В настоящем издании записи эти, как и в публикации А. С. Долинина, печатаются в составе подготовительных материалов к первым двум книгам романа на следующих основаниях. Записи: *Словечки* ꝏ *двух вершков с малыим»* — едины по манере начертания и сделаны одинаковыми чернилами. Они относятся к 1875 г., к периоду работы над «Подростком» и обдумывания первых выпусков «Дневника писателя» за 1876 г., что устанавливается заметками о Лизавете Смердящей в подготовительных материалах к «Подростку» (печатание которого завершилось в декабре 1875 г.) и фразой «Э-эх! да и зачем же и жить, коли не для гордости?», повторенной с незначительными изменениями в январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (гл. 1, § I). Момент же «целеустремленной фиксации» заметок, соотнесение их с замыслом «Братьев Карамазовых» Долинин относит к 1878 г. Просматривая этот листок со «Словечками» в период работы над первыми двумя книгами «Братьев Карамазовых», Достоевский пометил некоторые из них на левом поле листа тремя восклицательными знаками (см. стр. 211—212). Почти все эти записи получили отражение в законченном тексте романа, в том числе и во второй его книге. В тот же период получила новый смысл и давняя запись о Лизавете Смердящей: этим именем была названа героиня «Братьев Карамазовых» (прототипом ее послужила реальная «дурочка Аграфена», у которой был незаконнорожденный сын — см. стр. 416). Так возник Смердяков, имя которого было записано на левом поле листа рядом с характеристикой Лизаветы Смердящей тем же цветом чернил, что и сделанные выше пометы в виде трех восклицательных знаков. Определив имя этого героя, Достоевский выбрал несколько записанных ранее выражений и рядом с ними на левом поле написал «Смердяков», обозначив тем самым, что эти фразы будет произносить именно он. В одном случае фамилия «Смердяков» была записана поперек трех восклицательных знаков рядом с текстом: «„Ударил ножом", — вскричала она и стала ловиться за нож». В другом — реплика Смердякова «Нет-с, женщину я бы стал в повиновении держать» была сочинена уже в период работы над первыми книгами «Братьев Карамазовых» в 1878 г., о чем свидетельствует графический характер этой заметки: фамилия «Смердяков» и его реплика записаны в одну строку и теми же чернилами, которыми имя Смердякова выписывалось выше, рядом с более ранними заметками.

С т р. 211. — *Они сходят с крыльца, а мы* ꝏ *по окаянной шее.* — Эти записи, отмеченные тремя восклицательными знаками, нашли отражение во второй книге романа, в главе «Приехали в монастырь». Федор Павлович говорит там, что предшественник Зосимы, старец Варсонофий, «... изящности-то, говорят, не любил, вскакивал и бил палкой даже дамский пол» (наст. изд., т. XIV, стр. 35).

С т р. 211. — *В этой речи* ꝏ *de noblesse*). — Во второй книге, в главе «Скандал», эти выражения повторяет Федор Павлович (см.: там же, стр. 82).

С т р. 212. *Смердяков. «Ударил ножом* ꝏ *за нож.* — В романе эта реплика Смердякова соответствия не имеет. По содержанию она связана с темами рассказов Макара Долгорукова о Лизавете Смердящей в подготовительных набросках к «Подростку», не получивших развития в дефинитивном тексте романа.

С т р. 212. *Смердяков. Лизавета* ꝏ *с малыим)».* — Так характеризуют Лизавету Смердящую «богомольные старушки» (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 90), затем эту характеристику обсуждает Смердяков (см.: там же, стр. 204).

Стр. 212. *«Э-эх, влюбился ∞ и пропал».* — В романе эту реплику в измененном виде повторяет Митя Карамазов, а не Смердяков (см.: там же, стр. 96).

Стр. 212. *«Нет-с, женщину ∞ держать».* — Этой фразы в романе нет.

Стр. 212—214. *Сад Федора Павловича ∞ считал это изящнее.* — Черновой автограф текста, который должен был по первоначальному плану входить в третью книгу «Сладострастники» (см. стр. 419—420).

Стр. 214—215. — *Я зашел-с ∞ «Непобедимой силой».* — Предварительные наброски реплик Смердякова и Марьи Кондратьевны в сцене свидания (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 203—206).

Стр. 219—220. — *У меня теперь ∞ Как я смел!* — Эти записи сделаны на одной из страниц двойного листа почтовой бумаги, на которой начато письмо к К. П. Победоносцеву: «19 февр./79. Многоуважаемый Константин Петрович, во-первых, благодарю Вас очень за уведомление о прибытии М. Н. Каткова...» Письмо Достоевского к К. П. Победоносцеву от 19 февраля 1879 г. неизвестно.

Стр. 220. *Столичный трактир. ∞ (брат Иван).* — Записи, имеющие отношение к сцене свидания Алеши и Ивана в главе «Братья знакомятся» (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 208—215).

Стр. 220. *Вы охраняете ∞ нравственность хороша.* — Эти заметки не получили развития в романе. Возможно, что здесь имеется в виду речь министра народного просвещения Д. А. Толстого, произнесенная им в Киеве 21 октября 1873 г. В своей речи министр высказал удовлетворение по поводу того, что «в последние годы молодежь несравненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательно работает...» («Русский мир», 1873, 1 ноября, № 289). Об этом выступлении Д. А. Толстого Достоевский писал в «Дневнике писателя» за 1873 г. в главе «Одна из современных фальшей».

Стр. 220—221. — *А об остальных ∞ раньше меня ни слова.* — Предварительные наброски сцены «Сговор», перенесенной в ходе работы в пятую книгу романа (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 194—202).

Стр. 222. *...надо бюджет-с ∞ блеск оплатить.* — Этой проблемы Достоевский уже касался в «Дневнике писателя» за 1873 г., в главе «Мечты и грезы», где сказано: «Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, т. е., по-теперешнему, народное пьянство и народный разврат, — стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашею платим за наш величавый бюджет великой европейской державы».

Стр. 225. — *О, теперь уже ∞ он умирает.* — Этот текст записан на странице, содержащей начало незаконченного письма Достоевского к Н. А. Любимову: «1-е апреля/79. Многоуважаемый Николай Алексеевич, Христос воскресе! прежде всего. Желаю Вам, конечно ⟨?⟩ встречать этот праздник еще...» Письмо Достоевского к Н. А. Любимову от 1 апреля 1879 г. неизвестно.

Стр. 226—227. *«Великая корона». ∞ я думаю, хорошо.* — Более поздние записи, сделанные другими чернилами, перпендикулярно к тексту на стр. 225 (*— О, теперь уже ∞ он умирает.*).

Стр. 226. *«Великая корона». «Милочка» (стих сочиняет).* — В романе этим записям соответствуют следующие строчки куплетов Смердякова: «Царская корона / Была бы моя милая здорова» (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 204). В тексте романа, посланного в редакцию «Русского вестника», был и другой вариант первой строки: «Славная корона», на тот случай, если бы определение «царская» вызвало цензурные затруднения (см.: письмо к Н. А. Любимову от 10 мая 1879 г.).

Стр. 229. *Louis* XVII, *отрубить всем головы.* — Имя Людовика XVII, погибшего в возрасте десяти лет в 1795 г. в тюрьме, было для Достоевского символом безвинных страданий детей, которые не могут быть, с его точки зрения, ни объяснены, ни тем более оправданы «исторической необходимостью», в данном случае — событиями Французской буржуазной революции XVIII в. (см. записную тетрадь 1876—1877 гг.). Годом раньше по этому же поводу Достоевский писал: «*В идеале* общественная совесть должна ска-

зать: пусть погибнем мы все, если спасение наше зависит лишь от замученного ребенка, — и не принять этого спасения» (там же.). В основном тексте «Братьев Карамазовых» Людовик XVII не упоминается.

С т р. 235—236. *И ты думал ∽ эти места тебе укажет.* — Текст записан на полосе писчей бумаги, внизу которой — черновой вариант следующей телеграммы: «В Москву. В редакцию „Русского вестника". Страстной бульвар. Не получил 6 книжку. [Покорнейше] Прошу выслать [ко] мне в Старую Руссу немедленно. Ф. Достоевский».

С т р. 236—238. *«...перед кем преклониться?» ∽ пример тому.*— Отрывок текста, переписанный А. Г. Достоевской на двойном листе почтовой бумаги; поправки рукою автора (ср.: наст. изд., т. XIV, стр. 231—232).

С т р. 241—242. *А Ф⟨едор⟩ П⟨авлович⟩, проводив ∽ в этот-то раз придет.* — Черновой автограф, соответствующий (при некоторых стилистических отклонениях) отрывку текста из главы «С умным человеком и поговорить любопытно» (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 255—256).

С т р. 242. *Лицо — период людей ∽ до уединения.* — Конспективные записи рассуждений «Таинственного посетителя» (ср.: там же, стр. 275—276).

С т р. 243. *См. «Русское решение вопроса».* — Указание на то, что в основе положительной программы книги «Русский инок» лежат взгляды Достоевского, изложенные им, в частности, и в главе «Дневника писателя» за 1877 г. под названием «Русское решение вопроса» (февраль, гл. 2, § IV). Многие из записей на этой странице рукописи повторяют в конспективной форме обоснованные там идеи. Например: «Самообладание, самопобеждение, труд» (ср. в «Дневнике писателя»: «А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага»), «Знание края, край узнай» (в «Дневнике писателя»: «У нас одно изучение России сколько времени возьмет, потому что ведь у нас лишь редчайший человек знает нашу Россию»), «Напротив, в мире теперь: развивай свои потребности, пользуйся всем» (в «Дневнике писателя»: «В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей...»), «Стою ли я того весь, чтоб мне другой служил?» (в «Дневнике писателя»: «Если ты, по твоим способностям, приносишь в сто раз больше пользы мне и всем, чем я тебе, то я за это благословляю тебя ⟨...⟩ и если работаю на тебя и на всех, по мере моих слабых способностей, то вовсе не для того, чтоб сквитаться с тобой, а потому, что люблю вас всех»).

С т р. 243. *—Всё рай. Не многим дано, но так легко видеть.* —Ср. слова «Таинственного посетителя»: «Рай, говорит, в каждом из нас затаен, вот он теперь и во мне кроется...» (наст. изд., т. XIV, стр. 275).

С т р. 243. —*Аще кто ∽ (предмогильное слово).* —Ср. с заметкой (апрель 1876 г.) в записной тетради 1876—1877 г.: «Кончить проповедью Златоуста „Аще в 9-й час и т. д."».

С т р. 244. *О застрелившихся (Авраам и Лазарь).* —См.: наст. изд., т. XIV, стр. 292.

С т р. 245. *Свет фаворский.* —Таинственный свет, которым просияло лицо Христа при преображении на горе Фавор (см.: Евангелие от Матфея, гл. 17, ст. 1—13; от Марка, гл. 9, ст. 1—12; от Луки, гл. 9, ст. 28—36).

С т р. 246. *Изваяние мира. ∽ мало у них содержания.* — Наброски, разработанные в поучениях Зосимы (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 264—265).

С т р. 248. —*Ожеро Наполеону: «ты»...* —Ожеро, Пьер Франсуа Шарль (Augereau, 1757—1816), французский военный деятель, маршал наполеоновской армии, перешедший, однако, в 1814 г. на сторону Бурбонов. Пример обращения Ожеро к Наполеону на «ты», очевидно, должен был быть использован в главе «Нечто о господах и слугах и о том, возможно ли господам и слугам стать взаимно по духу братьями» (см.: там же, стр. 285—288).

С т р. 249. *...простит и первосвященнику Каиафу ∽ простит и Пилата...* — Первосвященник Каиафа возглавлял синедрион, собравшийся, чтобы осудить Иисуса Христа на смерть. Понтий Пилат — «правитель»,

предавший по требованию синедриона Христа на распятие вопреки своей совести. На допросе Христос возвестил Пилату: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Пилат сказал ему: что есть истина?» (см.: Евангелие от Иоанна, гл. 18, ст. 37—38).

Стр. 250. — *Мечтают об алюминиевых колоннах...* — Очевидно, намек на «Что делать?» Н. Г. Чернышевского. См.: наст. изд., т. V, стр. 113 и примеч. к ней; т. XI, стр. 272 и примеч. к ней.

Стр. 250. — *Тогда не побоимся и науки. Пути даже новые в ней укажем.* — «Тогда», т. е. когда осуществится принцип всеобщего братства на основе христианского идеала. Очевидно, этот вывод должен был сделать в конце своих рассуждений о перспективе развития человеческого общества «Таинственный посетитель», который говорил Зосиме: «Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства. Никогда люди никакою наукой и никакою выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих» (наст. изд., т. XIV, стр. 275). Ср. с разделом «Мечты о Европе» из мартовского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. (гл. 1, § 4).

Стр. 252. *...ибо сатана входит ∾ их пожирающий.* — Запись сделана на черновом автографе письма Достоевского к В. Ф. Пуцыковичу от 28 июля (9 августа) 1879 г.

Стр. 252. — *Деточки с животными ∾ станут их души.* — Эта идея, изложенная Достоевским в «Дневнике писателя» за 1876 г. (июль—август, гл. 4, § IV), не получила развития в поучениях старца Зосимы.

Стр. 252. — *«Ненавижу Россию». До ненависти даже дошло.* — В данном случае, очевидно, имеются в виду слова Потугина из романа Тургенева «Дым» (1867): «...я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину» (*Тургенев, Сочинения*, т. IX, стр. 174). Потугин стал для Достоевского символом антипатриотического отношения к России. Ср., например, в «Дневнике писателя» за 1876 г.: «... можно бы, кажется, нашим потугиным быть подобрее к России и не бросать в нее за всё и про всё грязью» (январь, гл. 2, § III) — или: «Наши потугины бесчестят народ наш насмешками...» (апрель, гл. 1, § III).

Стр. 252. *... ленив русский (Обломов), русский ли народ не работает.* — В записной тетради 1864—1865 гг. о герое одноименного романа И. А. Гончарова сказано: «Обломову же было бы только мягко — это только лентяй, да еще вдобавок эгоист. Это даже и не русский человек, это продукт петербургский. Он лентяй и барич...» В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский писал, что Гончарову удалось в «Обломове» «соприкоснуться с народом», и это придало роману и его «народным типам» черты «вековечного и прекрасного» (февраль, гл. 1, § II). Приведенные суждения Достоевского проясняют намеченное в комментируемой записи противопоставление «лентяя и барича» Обломова русскому народу труженику.

Стр. 252—253. — *Дети 8 лет работают ∾ навеки закинешь семя.* — Об этом Достоевский писал уже в «Дневнике писателя» за 1877 г.: «Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые говорят поминутно, чтобы их слышали: „Не дают ничего делать, связывают руки, вселяют в душу отчаяние и разочарование!" и пр. и пр. Всё это фразеры и герои поэм дурного тона, рисующиеся собою лентяи. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра» (февраль, гл. 2, § IV). В романе призыв защитить детей обращен к «инокам»: «Да не будет же сего, иноки, да не будет истязания детей, восстаньте и проповедуйте сие скорее, скорее» (наст. изд., т. XIV, стр. 286).

Стр. 254. *Срачица.* — Церковное наименование сорочки (см.: *Даль*, т. IV, стр. 303).

Стр. 254. *Параман.* Иначе аналав, церковное наименование платка с изображением креста и прочих религиозных символов, который носили на груди монахи (см.: там же, т. I, стр. 15). В романе, описывая, как приго-

товили к погребению тело усопшего Зосимы, Достоевский не упоминает ни о срачице, ни о парамане (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 295).

Стр. 256—257. 59) — *Грушенька, ты добрая ∞ постник был.* — Эти записи сделаны на листке с отрывком беловой рукописи: «Прими и пострадай за него и сам. Если же он прямо против тебя виноват, то без укора отпусти его: уйдет и осудит сам себя, еще горше суда твоего» (ср.: наст. изд., т. XIV, стр. 291, строки 15—18).

Стр. 261. *...истребить народ ∞ крепостное-то право не исчезло...* — Суждение Ракитина — перелицовка идей В. Зайцева. Достоевский пародировал их уже в рукописных набросках к «Крокодилу» (1865). Характерно, что там один из персонажей, так же как здесь Алеша, отождествлял принудительное навязывание народу «выгоды» с «крепостным рабством» (см.: наст. изд., т. V, стр. 333, 389—390).

Стр. 261. *Просвещенные гуманнее ∞ Бокля прочел.* — Имеются в виду идеи английского историка и социолога-позитивиста Генри Бокля (Buckle, 1821—1862), который в двухтомном труде «История цивилизации в Англии» (1857—1861), выступая против клерикализма, обосновывал безграничную силу разума и связывал общественный прогресс с расширяющимися возможностями использования научных методов (особенно статистических) для познания исторических законов. Достоевский неоднократно полемизировал с Боклем, в особенности с его «арифметическим» подходом к явлениям общественной жизни (см., например, «Записки из подполья» — наст. изд., т. V, стр. 111 и примеч. к ней).

Стр. 264. *Слащавость.* — Этой ремарке соответствует следующее описание Грушеньки: «Все манеры ее как бы изменились тоже со вчерашнего дня совсем к лучшему: не было этой вчерашней слащавости в выговоре почти вовсе, этих изнеженных и манерных движений...» (наст. изд., т. XIV, стр. 315).

Стр. 273. — *Как не читать Чичикова...* — Речь идет о «Мертвых душах» Н. В. Гоголя. Очевидно, Митя должен был упомянуть здесь об известном рассуждении Чичикова по поводу «птицы тройки» и любви русских к быстрой езде. В романе сравнение скачущей тройки, на которой Митя ехал в Мокрое, с тройкой из «Мертвых душ» принадлежит повествователю (см.: там же, стр. 370).

Стр. 284. *Восстание мертвецов в «Роберте».* — Этот эпизод из оперы Джакомо Мейербера (Meyerbeer, 1791—1864) «Роберт-Дьявол» (1824) Достоевский вспоминал уже в «Белых ночах» (см.: наст. изд., т. II, стр. 116 и примеч. к ней).

Стр. 287. *Волостной старшина. ∞ следствие.* — Заметки юридического характера, к которым Достоевский обращался при работе над книгой девятой «Предварительное следствие». Так, например, в протоколе было записано: «... для пресечения такому-то (Мите) способов уклониться от следствия и суда, заключить его в такой-то тюремный замок...» (наст. изд., т. XIV, стр. 457).

Стр. 291. *...«нет на свете царицы краше польской девицы»...* — Строка из баллады Пушкина «Будрыс и его сыновья» (1833).

Стр. 296. *...живая жизнь...* — Впервые это выражение встречается в «Записках из подполья» «Живая жизнь» противопоставлена там «мертворожденным парадоксам» нравственно растленного «подпольного человека» (см.: наст. изд., т. V, стр. 176 и 381). В «Подростке» «живую жизнь» олицетворяет Ахмакова, которой доступно непосредственное «естественное восприятие простых человеческих радостей».

Стр. 301. — *Горе мое, горе — вырвалось бежать.* — Эту реплику, не вошедшую в текст романа, очевидно, должен был произносить Митя во время предварительного следствия. Приведенный здесь образ олицетворенного Горя восходит к мифологическим народным представлениям (см.: Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием Кушелевым-Безбородко. Под ред. Н. Костомарова. Вып. 1. СПб., 1860, стр. 11), отразившимся в песнях о Горе-Злочастии и в «Повести о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин» (см.: В. Ржига.

Повесть о Горе и Злочастии и песни о Горе. «Slavia», 1931, т. X, вып. 1 и 2, стр. 40—66, 288—315). «Повесть о Горе и Злочастии» была открыта в 1856 г. и напечатана в № 3 «Современника» за тот же год, затем дважды переиздавалась. Появление этой повести вызвало обостренный интерес к аналогичной теме в русском народном творчестве (см.: Ф. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства, т. I. Русская народная поэзия. СПб., 1861, стр. 548—643). В то время когда Достоевский писал и печатал последние книги «Братьев Карамазовых», в журнале «Огонек» (1880, №№ 1—10) появилась «старинная повесть» Д. В. Аверкиева, в которой рассказана история Ивана и преследовавшего его «лиха», т. е. горя.

Стр. 303. «*Словами из Шиллера: „Только тот чертог и крепок"*... — У Шиллера в хоровой песне «Das Siegesfest» («Победное торжество»): «Glücklich, wenn der Gattin Treue / Rein und keusch das Haus bewahrt» («Счастлив, кому супруги верность чистым и целомудренным дом хранит» — *нем.*). Перевод, очевидно, сделан самим Достоевским, так как к слову «чертог» дан вариант «союз». Ср. эти строки в переводах Жуковского: «Счастлив тот, чей дом украшен / Скромной верностью жены»... («Торжество победителей», 1828) и Тютчева: «Тот лишь дом и тверд и прочен / Где семейный свят устав...» («Поминки», 1851). Перевод, предложенный Достоевским, отличается от других, более ранних переводов этого произведения Шиллера. В романе Митя цитирует другие строчки из этого стихотворения в переводе Тютчева (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 362 и примеч. к ней на стр. 575 наст. тома).

Стр. 304. ...*эти радужные, эти десятки екатерин*. — Т. е. бумажные деньги в купюрах сторублевого достоинства, на которых был портрет Екатерины II.

Стр. 304. ...*он — по всем трем*. — Т. е. кутит, не задумываясь о последствиях своих поступков. Это выражение, восходящее к пословицам, сложившимся в среде ямщиков, и означающее ударить, стегнуть кнутом по всем лошадям в упряжке тройкой (коренная и две пристяжных), уже встречалось в повести «Село Степанчиково» (см.: наст. изд., т. III, стр. 119) и в черновых набросках к роману «Подросток».

Стр. 304. ...*эта Вершонская*...» — В романе Катерина Ивановна носит фамилию Верховцева.

Стр. 304. ...*служить истине, общему делу» (и т. д. Щедрин, кн. Урусов)*. — М. Е. Салтыков-Щедрин и А. И. Урусов названы, очевидно, как деятели (по представлению Достоевского) новейшей либеральной формации. О Салтыкове-Щедрине в записной тетради 1880—1881 гг. Достоевский писал: «Никто против него не посмеет: дескать, либерал, проеден либерализмом». В другом месте той же тетради Достоевский советовал Щедрину переменить тему сатир и писать «о том, что никто-то из наших деятелей, во всех сферах, *в сущности сам не знает, чего хочет*». Александр Иванович Урусов (1843—1900) — юрист, уже в 1867 г. приобрел известность как защитник. Урусов упомянут Достоевским в подготовительных набросках к «Идиоту»; о нем, не называя его имени, говорят в том же романе Евгений Павлович и князь Щ. Последний напомнил о талантливых защитниках в «молодых новооткрытых судах» (см.: наст. изд., т. IX, стр. 461—462).; В 1871 г. А. И. Урусов выступил защитником П. Г. Успенского в процессе нечаевцев и добился смягчения приговора. «Демаркационная черта, проведенная им между заговором и тайным обществом, предопределила исход процесса» (ВЕ, 1900, № 9, стр. 434).

Стр. 307 ...(*детям о Куликовском сражении*). — В романе Алеша этой темы в разговорах с детьми не касается. Куликовская битва произошла 8 сентября 1380 г. между русскими войсками под предводительством Дмитрия Донского и монголо-татарскими завоевателями; закончилась полной победой русских войск. Достоевский избрал Куликовскую битву в качестве возможной темы для бесед с детьми потому, что считал это событие одним из важнейших в истории русского народа. Кроме того, в тот период, когда обдумывалась книга «Мальчики», шла подготовка к празднованию 500-летнего юбилея

Куликовской битвы. Достоевский в связи с этим писал 26 августа 1880 г. О. Ф. Миллеру: «Какая прекрасная мысль, особое торжественное заседание нашего общества на память 500-летия Куликовской битвы 〈...〉 Это именно надо теперь. Надо возрождать впечатление великих событий в нашем интеллигентном обществе, забывшем и оплевавшем нашу историю».

Стр. 310. *Поразила ∾ наш Колбасников.* — В окончательном тексте вторая строка читается иначе:

Что женился неряха Колбасников (наст. изд., т. XIV, стр. 496).

Стр. 312. — *Семиричная система...* — Система счисления, в которой в отличие от десятичной за основу принято число семь.

Стр. 312. *Костя Алеше ∾ старик.* — Этот текст записан в обратном направлении листа поверх адреса: «Александр Михайлович Земский. Москва, Никольская, дом Ремесленного общества. Через контору Российского общества».

Стр. 317. *Симеон Столпник.* — Подвижник, христианин-аскет (V в.), прославившийся тем, что во имя добродетели и благочестия стоял на столпе около 40 лет. Симеону Столпнику подражали многие монахи-аскеты. О столпничестве Достоевский упоминал уже в рукописных набросках к «Подростку». Выражение «в столпе сидеть» (ср. стр. 31), очевидно, связано с тем, что столп, на котором подвижник проводил большую часть времени, был окружен на близком расстоянии стеною, образующей замкнутое пространство, куда никто не имел права входить.

Стр. 320. *Секуляризовать* (франц. séculariser) — обращать духовное в светское.

Стр. 320. «*Я вижу мои〈ми〉 чувствами, но правильно ли это, не знаю*». — Далее в рукописи (см. стр. 320—321), как и в романе (см. стр. 28), эту мысль развивает Митя.

Стр. 322. — *Амфазники* — От франц. emphase, что означает напыщенность, напускная важность.

Стр. 322. *Архимандрит и отделение критики.* — Заметка эта нашла отражение в характеристике Ракитина, который написал брошюру «Житие в бозе почившего старца отца Зосимы» с благочестивым посвящением ее преосвященному (см. стр. 100) и в то же время собирался в Петербург, чтобы сотрудничать в отделении критики «с благородством направления» (стр. 27).

Стр. 325. — *А теперь в бога ∾ нового любовника.* — Этот текст вписан между строками и на полях; рядом начало письма: «Милостивая государыня, многоуважаемая Катерина Федоровна, простите, что слишком промедлил» (ср. письмо Достоевского к Е. Ф. Юнге от 11 апреля 1880 г.).

Стр. 330—331. *Где живут Алеша и Иван? ∾ Говядина.* — Заметки сделаны на последней странице двойного почтового листа; на первой — начало письма редактору «Русского вестника», опубликованного в декабрьском номере журнала за 1879 г.

Стр. 334. *...читать «С того берега».* — Книгу А. И. Герцена, состоящую из цикла статей, написанных в 1848—1850 гг. Первое немецкое издание ее вышло в свет в 1850 г., второе — заново просмотренное автором — в 1858 г. в Лондоне. В библиотеке Достоевского хранилось лондонское издание книги (см.: *Библиотека*, стр. 128). При встрече с Герценом в июле 1862 г. Достоевский «хвалил ему 〈...〉 его сочинение — „С того берега"» (*ДП*, 1873, «Вступление»).

Стр. 335. *С Жан-Жак Руссо это пошло, угрызения совести.* — Это суждение о Руссо (Rousseau, 1712—1778), возможно, возникло в рукописях Достоевского под воздействием книги А. И. Герцена «С того берега». Там в главе «Consolatio» о Руссо сказано: «Современники не могли ему простить, что он высказал тайное угрызение их собственной совести...» (*Герцен*, т. VI, стр. 87). В романе (глава «Черт. Кошмар Ивана Федоровича») об «угрызениях совести» говорится без ссылки на Руссо (см. стр. 78).

Стр. 336. *Листок 15-й.* — Указание на то, что нужно посмотреть записи на листке 〈141〉, обозначенном Достоевским цифрой 15 (см. стр. 322).

С т р. 343. *Попреклива* — очевидно, женский род от слова «попречливый», что означает «охочий попрекать» (см.: *Даль,* т. III, стр. 303).

С т р. 343. *Папильонничать* — т. е. совершать легкомысленные поступки (от франц. papillon — легкомысленный человек).

С т р. 343. *Анвелопа* — оболочка, обертка (от франц. enveloppe).

С т р. 343. «*Rome* ∾ *ressentiment*». — Строка из трагедии П. Корнеля «Горации» (1640; действие 4, сцена 5, монолог Камиллы).

С т р. 345. *Фетюкович. (Во 100 раз преувеличено, Глеб Успенский)...* — Достоевский повторяет здесь упрек, высказанный ему Г. И. Успенским в одной из статей цикла «Праздник Пушкина» (1880) по поводу изображения в романе «Бесы» революционного движения. «Сам г. Достоевский, — писал Успенский, — взявшийся изобразить один процесс в форме романа, предпочел остановиться и даже во сто раз против действительности преувеличить гнусности и безобразия, обнаруженные в нем, и ни единым словом не попытался отделить от этих гнусностей той самой всечеловеческой задачи русского человека, о которой он так хорошо теперь разговаривает на кафедре Общества любителей русской словесности» (*Успенский,* т. VI, стр. 426). Отмеченный в черновых набросках к последней книге «Братьев Карамазовых» отклик на статью Г. И. Успенского о пушкинском празднике позволяет заключить, что Достоевский, обдумывая содержание выступлений в суде прокурора и адвоката, находился под впечатлением полемики, которую вызвала его собственная речь о Пушкине. Ипполит Кириллович и его оппонент, Фетюкович, в равной степени чужды Достоевскому, тем не менее некоторые их суждения, касающиеся состояния России того времени, отражали авторскую точку зрения (см. стр. 435, 446). Формулируя эти свои выводы, Достоевский, вероятно, принял во внимание и обращенные к нему критические замечания Успенского. Об идейных и художественных связях обоих писателей см. в статье В. А. Туниманова «Достоевский и Глеб Успенский» в кн.: *Д, Материалы и исследования,* т. I, стр. 30—58.

Комментируемая реплика Фетюковича направлена против прокурора, который, с точки зрения адвоката, сгустил краски, рисуя картину нравственного падения русского общества. Ипполит Кириллович уподобил Россию «роковой тройке», которая «несется стремглав и, может, к погибели» (стр. 150). В ответ на это Фетюкович заявил: «...вперед, Россия, и не пугайте, о, не пугайте нас вашими бешеными тройками, от которых омерзительно сторонятся все народы! Не бешеная тройка, а величавая русская колесница торжественно и спокойно прибудет к цели» (стр. 173).

С т р. 349. *Я составляю о нем себе такое понятие: 2 бездны».* — В романе Фетюкович говорит: «Но ведь сами же вы кричали, что широк Карамазов, сами же вы кричали про две крайние бездны, которые может созерцать Карамазов» (стр. 159). Ср. также рассуждения Мити в третьей книге романа в главе «Исповедь горячего сердца. В стихах» об «идеале содомском» и «идеале Мадонны» (см.: наст. изд., т. XIV, стр. 100).

С т р. 363. *Такие отцеубийства* ∾ *переменить.* — Набросок к книге двенадцатой сделан на обеих сторонах вскрытого конверта, поверх адреса на имя Достоевского в Старую Руссу, написанного рукою Ф. П. Гаевского. На почтовых штемпелях даты — 29 и 30 сентября 1880 г.

С т р. 363. «*Дайте, дайте мне взаймы», — кричит Хлестаков.* — Имеется в виду четвертое действие «Ревизора» (1836) Н. В. Гоголя. В законченном романе нет сравнения Мити с Хлестаковым. Вместо этого прокурор, характеризуя Митю, приписывает ему слова: «О, дайте, дайте нам всевозможные блага жизни...» (стр. 128).

С т р. 364. *...все подробности угаснут, а зеленая кровля останется в голове. Марию Антуанетту везли* ∾ *было что-то написано».* — Мария Антуанетта (1755—1793), французская королева, жена Людовика XVI. Гильотинирована по приговору Революционного трибунала в октябре 1793 г. Судьба Марии Антуанетты давно интересовала Достоевского. О ней вспоминает Разумихин (см.: наст. изд., т. VI, стр. 169 и примеч. к ней; т. VII, стр. 379), имя ее («вдова Капет») упомянуто в связи с событиями французской рево-

люции и в подготовительных набросках к «Преступлению и наказанию» (см.: наст. изд., т. VII, стр. 77 и примеч. к стр. 404).

Суждения о психологическом состоянии приговоренных к смерти в последние минуты их жизни, сходные с комментируемыми заметками, высказывали Раскольников (см.: наст. изд., т. VI, стр. 60 и примеч. к ней), князь Мышкин (см.: наст. изд., т. VIII, стр. 56 и примеч. к ней), а также сам Достоевский в письме к М. М. Достоевскому из Петропавловской крепости от 22 декабря 1849 г.

Стр. 365. *Катя, Катя, что мя гониши?»* — Ср. слова бога, обращенные к Савлу (Деяния апостолов, гл. 9, ст. 4). См. выше, стр. 566, примеч. к стр. 267.

ОТ РЕДАКЦИИ

Уже после того, как настоящий том был отпечатан, в Рукописном отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина в Москве была обнаружена нерасшифрованная стенографическая запись А. Г. Достоевской (24 листа), воспроизводящая, как установила Ц. М. Пошеманская, одну из ранних стадий текста речей прокурора и защитника из двенадцатой книги романа «Братья Карамазовы» (главы VI—XII). По окончании расшифровки этой стенограммы извлеченные из нее новые варианты к основному тексту романа будут опубликованы и прокомментированы в разделе «Дополнения» в последнем томе настоящего издания.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Места хранения рукописей

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград).
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

Печатные источники

Бахтин — М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 3-е. Изд. «Художественная литература», М., 1972.
Белинский — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, тт. I—XIII. Изд. АН СССР, М., 1953—1959.
Бельчиков — Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. Изд. «Наука», М., 1971.
Библиотека — Л. П. Гроссман. Библиотека Достоевского. Одесса, 1919.
Биография — Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883 (Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, т. I).
Благой — Д. Д. Благой. Путь Алеши Карамазова. «Известия АН СССР», серия литературы и языка, 1974, № 1, стр. 8—26.
Борщевский — С. Борщевский. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. Гослитиздат, М., 1956.
ВЕ — «Вестник Европы» (журнал).
Вр — «Время» (журнал).
Врангель — А. Е. Врангель. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854—1856 гг. СПб., 1912.
Герцен — А. И. Герцен. Собрание сочинений, тт. I—XXX. Изд. АН СССР — «Наука». М., 1954—1966.
Гоголь — Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV. Изд. АН СССР, М., 1937—1952.
Гончаров — И. А. Гончаров. Собрание сочинений, тт. I—VI. Изд. «Правда», М., 1972.
Горький — М. Горький. Собрание сочинений, тт. I—XXX. Гослитиздат, М., 1949—1955.
Гр — «Гражданин» (газета).
Гроссман, Биография — Л. П. Гроссман. Достоевский. Изд. 2-е, испр. и доп. Изд. «Молодая гвардия», М., 1965.
Гроссман, Жизнь и труды — Л. П. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. Изд. «Academia», М.—Л., 1935.

Гроссман, Последний роман — Л. П. Гроссман. Последний роман Достоевского. В кн.: Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы, т. I. ГИХЛ, М., 1935, стр. 3—51.
Гроссман, Семинарий — Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. ГИЗ, М.—Пгр., 1922.
Гус — М. Гус. Идеи и образы Ф. М. Достоевского. Изд. 2-е. Изд. «Художественная литература», М., 1971.
Д, Материалы и исследования — Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Под ред. А. С. Долинина. Изд. АН СССР, Л., 1935.
Даль — В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, тт. I—IV. Госиздат иностр. и нац. словарей, М., 1955.
Добролюбов — Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений, тт. I—IX. Гослитиздат, М.—Л., 1961—1964.
Долинин — А. С. Долинин. Последние романы Достоевского. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 1963.
Достоевская, А. Г. Воспоминания — А. Г. Достоевская. Воспоминания. Изд. «Художественная литература», М., 1971.
Достоевская, Л. Ф. — Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской. ГИЗ, М.—Л., 1922.
Достоевский, А. М. — А. М. Достоевский. Воспоминания. «Изд. писателей в Ленинграде», 1930.
Достоевский в воспоминаниях — Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, тт. I—II. Изд. «Художественная литература», М., 1964.
Достоевский и его время — Достоевский и его время. Под ред. В. Г. Базанова и Г. М. Фридлендера. Изд. «Наука», Л., 1971.
Достоевский и русские писатели — Достоевский и русские писатели. Традиции. Новаторство. Мастерство. Изд. «Советский писатель», М., 1971.
Достоевский — художник и мыслитель — Достоевский — художник и мыслитель. Сборник статей. Изд. «Художественная литература», М., 1972.
ДП — «Дневник писателя».
Д, Письма — Ф. М. Достоевский. Письма, тт. I—IV. Под ред. А. С. Долинина. ГИЗ — Academia — Гослитиздат, М.—Л., 1928—1959.
Звенья — Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV—XX вв., тт. I—IX. Изд. «Academia» — Госкультпросветиздат, М.—Л., 1932—1951.
ИВ — «Исторический вестник» (журнал).
Кирпотин, Достоевский в шестидесятые годы — В. Я. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы. Изд. «Художественная литература», М., 1966.
Крамской — И. Н. Крамской. Письма. Статьи, тт. I—II. Изд. «Искусство», М., 1965—1966.
Леонтьев — К. Н. Леонтьев. Собрание сочинений, тт. I—IX. Изд. М. В. Саблина, М., 1912—1914.
Лесков — Н. С. Лесков. Собрание сочинений, тт. I—XI. Гослитиздат, М., 1956—1958.
ЛН — «Литературное наследство», тт. 1—86. Изд. АН СССР — «Наука», М., 1931—1973. Издание продолжается.
Материалы и исследования — Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования, тт. I—II. Изд. «Наука», Л., 1974, 1976.
Милюков — А. П. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890.
Михневич — Вл. Михневич. Петербург весь на ладони. СПб., 1874.
НВр — «Новое время» (газета).
Нечаева, «Время» — В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. Изд. «Наука», М., 1972.
О Достоевском — О Достоевском. Сборник статей, вып. I—III. Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1929—1936.
ОЗ — «Отечественные записки» (журнал).
Описание — Описание рукописей Ф. М. Достоевского. Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957 (Библиотека СССР им. В. И. Ленина — Центр. Гос.

архив литературы и искусства СССР — Институт русской литературы АН СССР).

Парфений — Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле постриженника Святой горы Афонской инока Парфения, чч. I—IV. Изд. 2-е, испр. М., 1856.

Петрашевцы — Петрашевцы. Сборники материалов, тт. I—III. Под ред. П. Е. Щеголева. ГИЗ, Л.—М., 1926—1928.

Пушкин — А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, тт. I—XVII. Изд. АН СССР, М.—Л., 1937—1959.

РА — «Русский архив» (журнал).

РВ — «Русский вестник» (журнал).

Реизов — Б. Г. Реизов. Из истории европейских литератур. Изд. ЛГУ, Л., 1970.

Рейнус — Л. М. Рейнус. Достоевский в Старой Руссе. Изд. 2-е, доп. Лениздат, Л., 1971.

РЛ — «Русская литература» (журнал).

Розанов, Легенда — В. В. Розанов. Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Изд. 3-е. Изд. М. В. Пирожкова. СПб., 1906.

РР — «Русская речь» (журнал).

РС — «Русская старина» (журнал).

Салтыков-Щедрин — М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений, тт. I—XVII. Изд. «Художественная литература», М., 1965—1975. Издание продолжается.

Сб. Достоевский, I — Достоевский. Статьи и материалы. Сборник I. Под ред. А. С. Долинина. Изд. «Мысль», Пб., 1922.

Сб. Достоевский, II — Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сборник II. Под ред. А. С. Долинина. Изд. «Мысль», Л.—М., 1924.

Соболевский — Великорусские народные песни. Изданы А. И. Соболевским, тт. I—VII. СПб., 1895—1902.

Соловьев — В. С. Соловьев. Собрание сочинений, тт. I—X. Изд. 2-е. Изд. «Просвещение», СПб., 1911—1914.

Творчество Достоевского — Творчество Ф. М. Достоевского. Изд. АН СССР, М., 1959.

ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы, тт. I—XXVIII. Изд. АН СССР — «Наука», Л., 1934—1974. (Институт русской литературы АН СССР).

Толстой — Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, тт. 1—90. Гослитиздат, М., 1928—1958.

Тургенев, Письма — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Письма, тт. I—XIII. Изд. АН СССР — «Наука», М.—Л., 1961—1968.

Тургенев, Сочинения — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Сочинения, тт. I—XV. Изд. АН СССР — «Наука», М.—Л., 1960—1968.

Успенский — Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV. Изд. АН СССР, М.—Л., 1940—1954.

Фридлендер — Г. М. Фридлендер. Реализм Достоевского. Изд. «Наука», М.—Л., 1964.

Чирков, 1967 — Н. М. Чирков. О стиле Достоевского. Проблематика. Идеи. Образы. Изд. «Наука», М., 1967.

1956 — Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений, тт. I—X. Гослитиздат, М., 1956—1958.

Die Urgestalt — F. M. Dostojewski. Die Urgestalt der «Brüder Karamazoff». München, [1928].

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ. *Часть четвертая (продолжение)*

Книга одиннадцатая. Брат Иван Федорович

I. У Грушеньки 5
II. Больная ножка 12
III. Бесенок 20
IV. Гимн и секрет 26
V. Не ты, не ты! 36
VI. Первое свидание со Смердяковым 41
VII. Второй визит к Смердякову 49
VIII. Третье, и последнее, свидание со Смердяковым 57
IX. Черт. Кошмар Ивана Федоровича 69
X. «Это он говорил!» 85

Книга двенадцатая. Судебная ошибка

I. Роковой день 89
II. Опасные свидетели 95
III. Медицинская экспертиза и один фунт орехов 103
IV. Счастье улыбается Мите 107
V. Внезапная катастрофа 115
VI. Речь прокурора. Характеристика 123
VII. Обзор исторический 131
VIII. Трактат о Смердякове 135
IX. Психология на всех парах. Скачущая тройка. Финал речи прокурора 143
X. Речь защитника. Палка о двух концах 152
XI. Денег не было. Грабежа не было 156
XII. Да и убийства не было 161
XIII. Прелюбодей мысли 167
XIV. Мужички за себя постояли 173

Эпилог

I. Проекты спасти Митю 179
II. На минутку ложь стала правдой 183
III. Похороны Илюшечки. Речь у камня 189

Приложение

⟨Вступительное слово, сказанное на литературном утре в пользу студентов С.-Петербургского университета 30 декабря 1879 г. перед чтением главы «Великий инквизитор»⟩ 198

Рукописные редакции

Черновые наброски 199
⟨Часть первая⟩ 199
⟨Часть вторая⟩ 216
⟨Часть третья⟩ 254
⟨Часть четвертая. Эпилог⟩ 306

Варианты 375

Пометы Достоевского на печатном оттиске романа из «Русского вестника» (часть вторая, книга пятая, глава пятая), сделанные для чтения на литературном утре 30 декабря 1879 г. 388

Пометы Достоевского на печатном оттиске романа из «Русского вестника»(часть четвертая, книга десятая), сделанные для чтения на литературном утре 27 апреля 1880 г. 390

Примечания 393

Список условных сокращений 620

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том XV

Редакторы издательства *Н. Г. Герасимова, Е. А. Гольдич, Т. А. Лапицкая, К. Н. Феноменов*

Оформление художников *С. Н. Тарасова* и *Л. А. Яценко*

Технический редактор *М. Н. Кондратьева*

Корректоры *Р. Г. Гершинская, А. И. Кац* и *Э. В. Коваленко*

Сдано в набор 9/X 1975 г. Подписано к печати 28/IV 1976 г. Формат 60×90$^{1}/_{16}$.
Бумага № 1. Печ. л. 39-39 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 50.97. Изд. № 6044. Тип. зак. № 1946.
Тираж 200 000 экз. *Цена 2 р. 30 к.*

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, д. 1

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.